



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

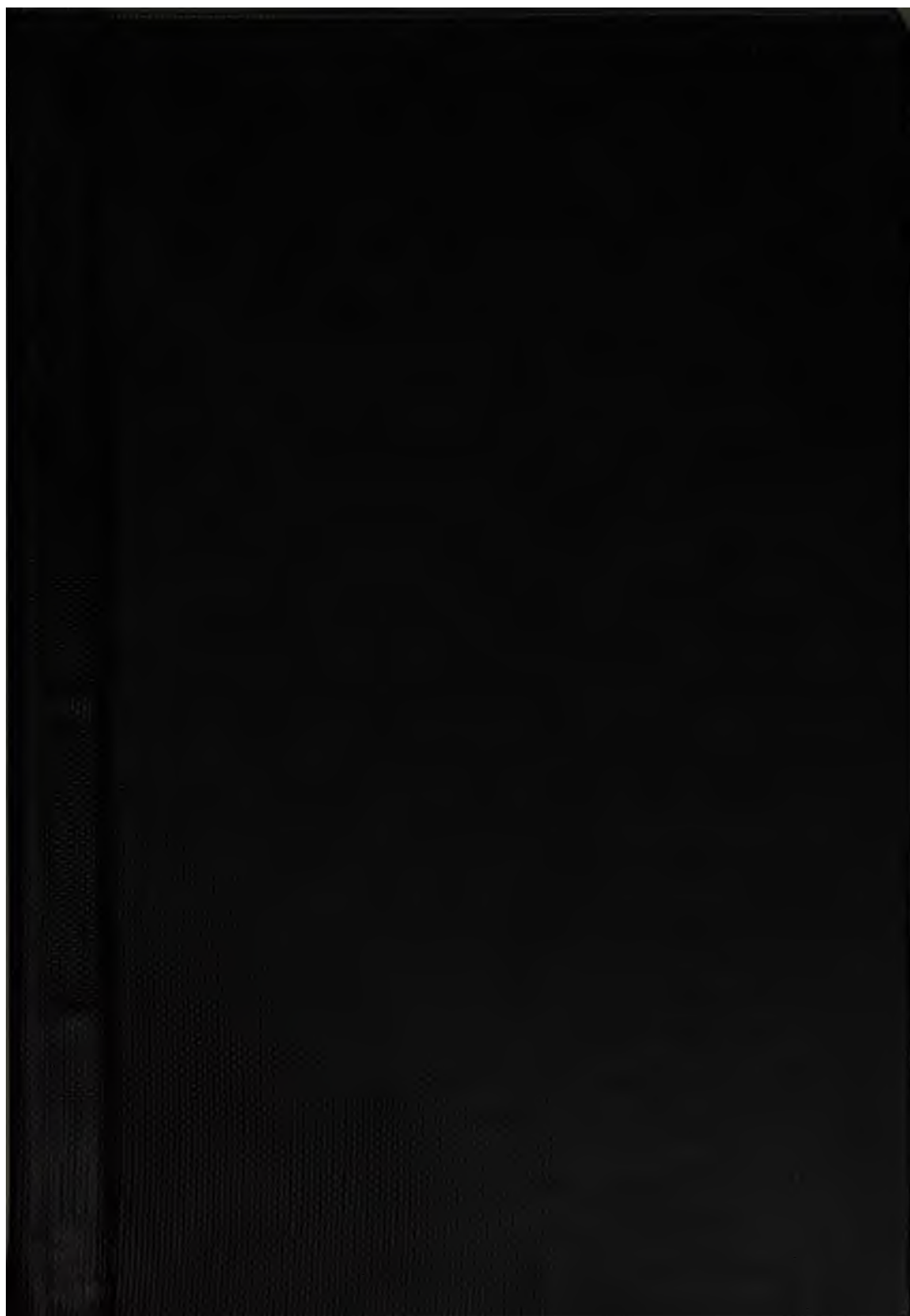
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

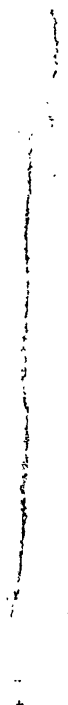
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

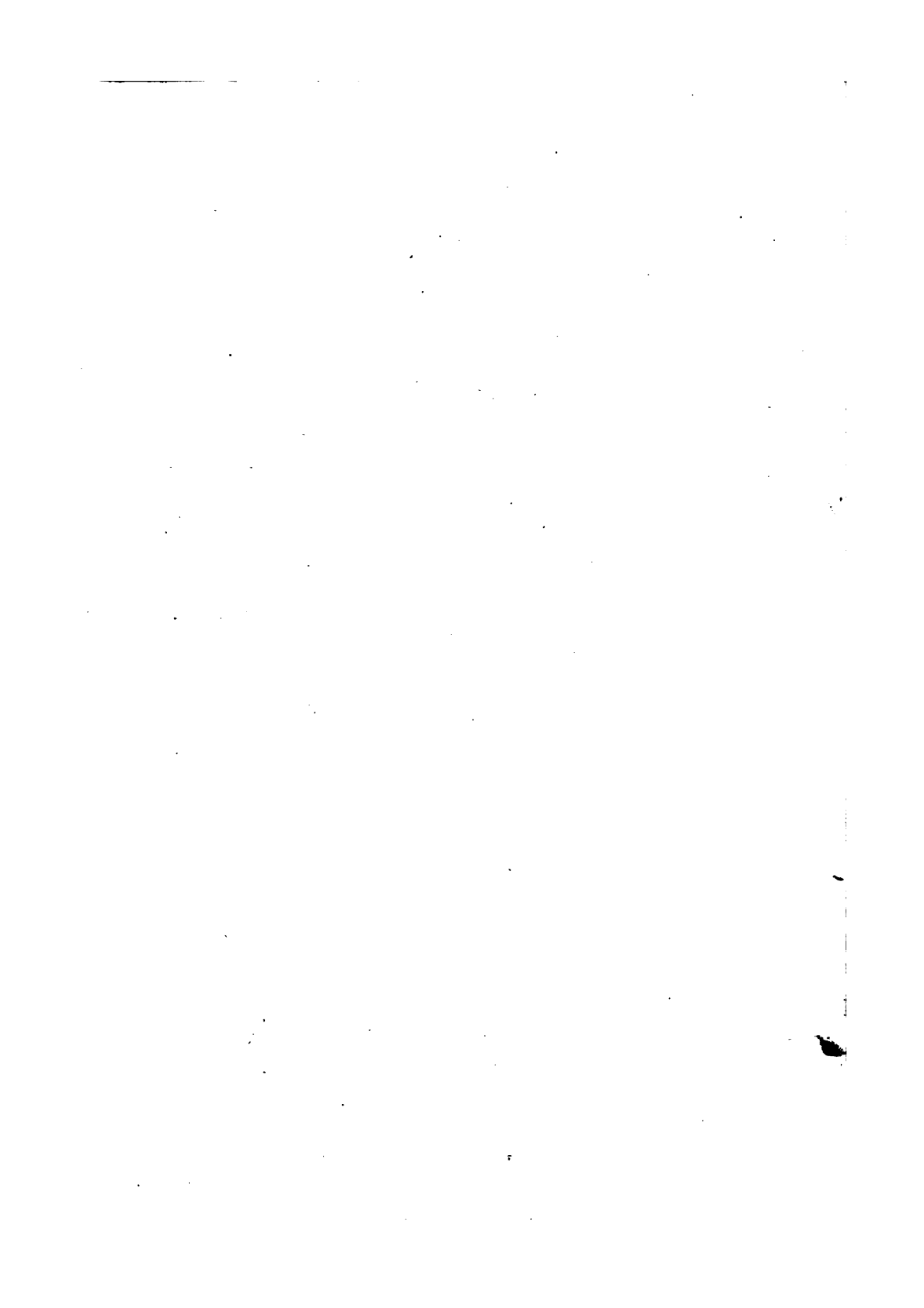
88

89

90

91

92





ДАНИИЛЪ ЛУКИЧЪ МОРДОВЦЕВЪ

Смущеніе въскому избраннымъ, хвала въ
 покаяніи свидѣствъ уресса въ храмъ Апол-
 лонна идеалъ свой мистіи мурми, келіирии пада.
 сивъ почти до мистии, гни, вуртени, ветила бон-
 кои. 1900. *В. Мордовцевъ*

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Д. Л. Мордовцева.

ЗА ЧЬИ ГРѢХИ?

ПОВѢСТЬ

ИЗЪ ВРЕМЕНЪ БУНТА РАЗИНА.

Томъ I.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе Н. О. Мертца

1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 11-го января 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К“, Фонтанкѣ

I.

Царское сидѣнье.

Въ грановитой палатѣ, въ столовой избѣ, у великаго государя съ боярами „сидѣнье“.

Это было 5-го мая 1664 года.

Съ ранняго утра, которое выдалось такимъ яркимъ и теплымъ, обширная площадь около дворца запружена каретами, колымагами и боярскою дворовою челядью съ осѣдланными конями въ богатой сбруѣ. Экипажи и кони принадлежатъ московской знати, нахлынувшей во дворецъ къ царскому сидѣнью: обширное постельное крыльцо, словно маковое поле, пестритъ цвѣтною и золотою одеждою площадныхъ стольниковъ, стряпчихъ и дворянъ московскихъ.

Эта пестрая и шумная толпа поминутно разступается и поклонами провожаетъ знатныхъ и близкихъ бояръ, которые черезъ постельное крыльцо проходятъ прямо въ царскую переднюю. Это уже великая честь, до которой стольникамъ, стряпчимъ и дворянамъ высоко, какъ до креста на колокольнѣ Ивана Великаго.

Но и передняя уже давно полна: кромѣ бояръ, въ ней толпятся, по праву, окольничіе, что удостоиваются великой чести быть иногда „около“ самого государя, равно думные дворяне и думные дьяки.

Наконецъ, въ самой столовой избѣ, въ „комнатѣ“, — высшая знать московская, самые сановитые бородачи. Тутъ же и великій государь, царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, всеа Русіи самодержецъ. Онъ сидитъ въ переднемъ углу, на возвышеніи со ступенями. Подъ нимъ большое золоченое кресло. Столовая изба такъ и блеститъ золотомъ и серебромъ изящной, а чаще аляповатой московской работы: на одномъ окнѣ, на золотномъ бархатѣ, красуются рядомъ четверо серебряныхъ часовъ-курантовъ; у того же окна—серебряный стѣнной „шандалъ“; на другомъ окнѣ—большой серебряникъ съ лоханью, а по сторонамъ его — высокіе разсолъники; на третьемъ окнѣ, на золотомъ бархатѣ — другой серебряный разсолъникъ, да серебряная позолоченая бочка, „мѣрою въ ведро“. На рундукѣ, противъ государева мѣста, и на ступеняхъ, посланы дорогіе персидскіе ковры; около стола, упирающагося въ потолокъ столовой избы — поставецъ: на немъ ярко горятъ подъ лучами весенняго солнца всевозможные драгоценные сосуды—золотые, серебряные, сердоликовые, яшмовые.

Едва царь усьлся въ кресло, какъ на постельномъ крыльцѣ произошло небывалое смятеніе. Послышался смѣшанный говоръ, изъ котораго выдѣлялись отдѣльные голоса:

— Хохлы! хохлатые люди ѣдутъ!

— Это черкасы, гетмановы Ивана Брюховецкаго посланцы на отпускъ къ великому государю.

— Смотрите! смотрите! каки усищи!

— И головы бриты, словно у татаръ.

— Только у татаръ хохловъ нѣту, а эти съ хохлами.

Дѣйствительно, изъ-за каретъ и колымагъ, запружавшихъ дворцовую площадь, показалась небольшая группа всадниковъ. Это и были гетманскіе посланцы, всего пять человѣкъ. Ихъ сопровождалъ стрѣлецкій сотникъ, а почетную свиту ихъ составляли три взвода стрѣльцовъ отъ трехъ приказовъ, только безъ пищалей, какъ полагалось по придворному церемоніалу. Своеобразная, очень красивая одежда и вся виѣшность украинцевъ, столь рѣдкихъ въ то время гостей на Москвѣ, не могли не поражать москвичей. Высокія смушковые шапки съ красными верхами, лихо заломанныя къ затылку и набекрень; выпущенные изъ-подъ шапокъ, словно дѣвичьи косы, чубы-оселедцы, закинутае за ухо и спускавшіеся до плечъ; длинныя, ниспадавшіе жгутами, черныя усы; яркіе цвѣтныя жупаны, отороченныя золотыми позументами; такія же яркія, только другихъ, еще болѣе кричащихъ цвѣтовъ шаровары, пышныя и широкія, какъ юбки, и убранныя въ желтые и красныя сафьянныя сапоги съ серебряными „острогами“ и подковами, — все это невольно бросалось въ глаза, вызывало удивленіе москвичей.

Посланцы сошли съ коней и направились къ постельному крыльцу:

— Потѣснитесь малость, господо стольники и стряпчіе! Дайте дорогу посланцамъ его ясновельможности гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкаго и всего войска запорожскаго низоваго, — говорилъ стрѣлецкій сотникъ, проводя посланцевъ чрезъ постельное крыльцо.

— Добро пожаловать, дорогіе гости! — слышались привѣтствія среди толпившихся на крыльцѣ.

Посланцы вступили въ переднюю, а изъ нея введены были въ столовую избу предъ лицо государя. Ихъ встрѣтилъ думный дякъ Алмазь Ивановъ. Бояре, чинно сидѣвшіе въ избѣ и почтительно уставившіе брады свои и очи въ свѣтлыя очи „тишайшаго“, такъ же чинно повернули брады свои и очи къ вошедшимъ. Полное, добродушное лицо царя и особенно глаза его освѣтились едва замѣтною привѣтливою улыбкой.

Посланцы низко поклонились и двумя пальцами правыхъ рукъ дотронулись до полу. Это они ударили челомъ великому государю, по этикету. Но всѣ молчали.

Тогда выступилъ Алмазь Ивановъ и, оборотясь къ лицу государя, громко возгласилъ:

— Великій государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, всеа Русіи самодержецъ и многихъ государствъ государь и обладатель! Запорож-

скаго гетмана Ивана Брюховецкаго посланцы, Гарасимъ Яковлевъ съ товарищи, вамъ, великому государю, челомъ ударили и на вашемъ государскомъ жалованьѣ челомъ бьютъ.

Посланцы снова ударили челомъ.

— Гарасимъ! Павелъ! — снова возгласилъ дьякъ, обращаясь уже къ посланцамъ: — великій государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, всеа Русіи самодержецъ и многихъ государствъ государь и обладатель, жалуетъ васъ своимъ государскимъ жалованьемъ: тебѣ, Гарасиму, — отласъ гладкой, камка, сукно лундышъ, два сорока соболей да денегъ тридцать рублевъ.

Гарасимъ ударилъ челомъ на государскомъ жалованьѣ и поправилъ оселедецъ, который, словно дѣвичья коса, перевѣсился съ бритой головы на крутой лобъ запорожца.

— А тебѣ, Павлу, — продолжалъ дьякъ, обращаясь къ Павлу Абраменку, товарищу Гарасима, — тебѣ — отласъ, сукно лундышъ, сорокъ соболей да денегъ двадцать рублевъ.

И Абраменко ударилъ челомъ.

— А васъ, запорожскихъ казаковъ (это дьякъ говорилъ уже остальнымъ тремъ запорожцамъ, стоявшимъ позади посланцевъ) и твоихъ посланныхъ людей (это опять къ Гарасиму) царское величество жалуетъ своимъ государскимъ жалованьемъ отъ казны.

И остальные ударили челомъ.

Царь, сидѣвшій до этого времени неподвижно въ своемъ золотномъ одѣяніи, словно икона въ золотой ризѣ, повернулъ лицо къ Алмазу Иванову и тихо проговорилъ:

— Сказывай наше государское слово.

И дьякъ возгласилъ заранѣе приготовленную и одобренную царемъ и боярами рѣчь.

— Гарасимъ! Великій государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, всеа Русіи самодержецъ и многихъ государствъ государь и обладатель, велѣлъ вамъ сказать: пріѣзжали есте къ намъ, великому государю, къ нашему царскому величеству, по присылкѣ гетмана Ивана Брюховецкаго и всего войска запорожскаго съ листомъ. И мы, великій государь, тогъ листъ выслушали, и гетмана Ивана Брюховецкаго и все войско запорожское, за ихъ службу, что о нашей царскаго величества милости ищутъ, жалуетъ, милостиво похваляемъ и, пожаловавъ васъ нашимъ царскаго величества жалованьемъ, велѣли отпустить къ гетману и ко всему войску запорожскому. И посылаемъ съ вами къ гетману и ко всему войску запорожскому нашу царскаго величества грамоту. Да къ гетману-жъ и ко всему войску запорожскому посылаемъ нашего царскаго величества ближнего стольника Родіона Матвѣевича Стрѣшнева да дьяка Мартемьяна Бредихина. И какъ вы будете у гетмана, у Ивана Брюховецкаго, и у всего войска запорожскаго, и вы ему, гетману, и всему войску запорожскому нашу царскаго величества милость и жалованье расскажите.

Проговоривъ это, Алмазь Ивановъ, по знаку царя, приблизился къ „тишайшему“ и взялъ изъ рукъ его грамоту, и тутъ же передалъ ее главному гетманскому посланцу, который, почтительно поцѣловавъ ее и печать на ней, бережно уложилъ въ свою объемистую шапку.

Затѣмъ дьякъ, опять-таки по знаку царя, обратился снова къ посланцу:

— Гарасимъ! Великій государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, всеа Русіи самодержецъ и многихъ государствъ государь и обладатель, жалуетъ васъ, посланцевъ гетмана и всего войска запорожскаго, къ рукѣ.

„Гараско - бугай“, какъ его дразнили въ Запорожѣ товарищи за его воловью шею и за такое же воловье здоровье, тихо, но грузно ступая по полу своими желтыми сафьянными сапожками съ серебряными острогами, приблизился къ ступенямъ, которыя вели къ государеву сидѣнью, осторожно поставилъ ногу на первую ступень, какъ бы боясь, что она не выдержитъ воловьяго груза, потомъ на вторую и, перегнувшись всѣмъ своимъ массивнымъ корпусомъ, бережно приложился къ бѣлой, пухлой, „якъ у матушки игуменьи“ (подумалъ онъ про себя), выхоленной царской рукѣ, словно къ плащаницѣ. За нимъ приложились и остальные посланцы. Только послѣдній изъ нихъ, Михайло Брейко, поцѣловавъ царскую руку и почтительно пятясь назадъ, оступился на ступенькѣ и грузно повалился на полъ у подножія государскаго сидѣнья.

— Оце лихо! николи съ коня не падавъ, а тутъ, бачъ, упавъ!—невольно вырвалось у него.

Наивность запорожца разсмѣшила „тишайшаго“, а за нимъ разсмѣялась и вся столовая изба.

Молодецъ, однако, скоро оправился и сталъ на свое мѣсто, а дьякъ Алмазь снова выступилъ съ отпускной рѣчью.

— Гарасимъ! — возгласилъ онъ: — Великій государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, всеа Русіи самодержецъ и многихъ государствъ государь и обладатель, жалуетъ васъ своимъ государскимъ жалованьемъ—въ стола мѣсто кормъ.

Посланцы въ послѣдній разъ ударили челомъ на государевѣ жалованьи—на корму—и удалились.

— Какіе молодцы!—весело сказалъ Алексѣй Михайловичъ, когда за казаками затворилась дверь:—съ такимъ народомъ любо жить въ братской пріязни и любительствѣ.

Въ это время изъ-за широкихъ боярскихъ спинъ, съ задней скамьи, поднимается стройный молодой человекъ и выступаетъ на середину избы. Одежда на немъ была богатая, изысканная, какую носила тогдашняя золотая молодежь. Изъ-подъ кафтана темно-малиноваго бархата ярко выдѣлялся зипунъ изъ бѣлаго атласа съ рукавами изъ серебряной обьяри; къ вороту зипуна пристегнута была высокая, шитая, разукрашенная жемчугомъ и драгоценными камнями „обнизъ“ — родъ стоячаго воротника. Кафтанъ, скорѣе—кафтанецъ, на немъ былъ такой же щегольской: запястья у рукавовъ кафтанца были вышиты золотомъ, по которому сверкали крупныя

зерна жемчуга, а разръзъ спередѣ кафтанца и подолъ оторочены были золотною узкою тесьмою съ серебрянымъ кружевомъ; шелковые шиуры съ кистями и массивныя пуговицы съ изумрудами дѣлали кафтанецъ еще наряднѣе.

При видѣ наряднаго молодого человѣка Алексѣй Михайловичъ привѣтливо улыбнулся. Тотъ истоиво ударилъ челомъ—по-божески: поклонился до земли и коснулся лбомъ пола.

— А—это ты Иванъ Воинъ,—привѣтствовалъ его государь.

Молодой человѣкъ поднялся съ полу и откинулъ назадъ курчавые волосы. Лицо его рдѣло отъ смущенія, хотя онъ и отвѣтилъ улыбкой на улыбку царя.

— На отпускъ пришелъ?—спросилъ послѣдній.

— На отпускъ, великій государь,—былъ отвѣтъ.

Алексѣй Михайловичъ обратился къ Алмазу Иванову.

— Все готово къ отъѣзду?

— Все, государь,—отвѣчалъ дьякъ,—все въ посольскомъ приказѣ.

— И грамоты къ посламъ, и наша царская казна?

— Все, великій государь, какъ ты указалъ и бояре приговорили.

— Хорошо. Поѣзжайте же (Алексѣй Михайловичъ обратился къ молодому человѣку)—поѣзжай съ Богомъ, да кланяйся отъ меня отцу. Простись со мной—и ступай съ Богомъ.

Молодой человѣкъ поднялся къ царскому сидѣнью и горячо поцѣловалъ государеву руку. Алексѣй Михайловичъ поцѣловалъ его въ голову, какъ роднаго сына.

— Учись у отца служить намъ, великому государю,—сказалъ онъ въ заключеніе.

Молодой человѣкъ вышелъ изъ столовой избы весь взволнованный.

II.

А соловей-то заливается!..

Вечеромъ того же дня, съ котораго началось наше повѣствованіе, по одному изъ глухихъ проулковъ, выходившихъ къ Арбату, осторожно пробиралась закутанная въ теплый охабень высокая фигура мужчины. Легкая соболевая шапочка такъ была низко надвинута къ самымъ бровямъ и воротъ охабня такъ поднять и съ затылка и выше подбородка, что лицо незнакомца трудно было разглядѣть. По всему видно было, что онъ старался быть незамѣченнымъ и неузнаннымъ. По временамъ онъ осторожно оглядывался—не видать-ли кого-либо сзади. Но переулковъ, скорѣе проулковъ, былъ слишкомъ глухъ, чтобы по немъ часто могли попадаться пѣшеходы, особливо же въ такой поздній часъ, когда Москва собиралась спать или уже спала.

Но сѣверныя весеннія ночи—предательскія ночи. Онѣ не для тайныхъ похождений: ни для воровъ, ни для влюбленныхъ. Впрочемъ, глядя на нашего незнакомца, смѣло можно было сказать, что это не воръ, а скорѣе политическій заговорщикъ или влюбленный.

По обѣимъ сторонамъ проулка, по которому пробирался таинственный незнакомецъ, тянулись высокіе каменные заборы, съ прорѣзами наверху, оканчивавшіеся у Арбата и загигавшіеся одинъ вправо, другой влево. И тотъ, и другой заборъ составляли ограды двухъ боярскихъ домовъ, выходящихъ на Арбатъ. При обоихъ домахъ имѣлись тѣнистые сады, поросшіе липами, кленами, березами и высокими рябинами, только на-дняхъ начавшими покрываться молодою яркою листвою. Изъ-за высокой ограды сада, тянушагося съ правой стороны, по которой пробирался ночной гость, неслись переливчатая трели соловья. Незнакомецъ вдругъ остановился и сталъ прислушиваться. Но, не трели соловья заставили его остановиться: до его слуха донесся черезъ ограду тихій серебристый женскій смѣхъ.

— Это она,—беззвучно прошепталь незнакомецъ,—видно, что ничего не знаетъ.

Онѣ сдѣлавъ нѣсколько шаговъ впередъ и очутился у едва замѣтной калитки, продѣланной въ оградѣ праваго сада. Онѣ еще разъ остановился и прислушался. Изъ-за ограды слышно было два голоса.

— Только съ мамушкой... Господи благослови!

Тихо, тихо щелкнулъ ключъ въ замочной скважинѣ, и калитка беззвучно отворилась, а потомъ также беззвучно закрылась. Незнакомецъ исчезъ. Онѣ былъ уже въ боярскомъ саду.

Русскія женщины, особенно жены и дочери бояръ XVI и XVII вѣка, жили затворницами. Онѣ знали только теремъ да церковь. Ни жизни, ни людей онѣ не знали. Но люди—ездѣ и всегда люди, подчиненные законамъ природы. А природа вложила въ нихъ врожденное, роковое чувство любви. Любили люди и въ XVII вѣкѣ, какъ они любятъ въ XIX и будутъ любить въ XX и даже въ двухсотомъ столѣтіи. А любовь—это божественное чувство—всемогуща: передъ нею безсильны и уединенные терема, и „свейскіе замки“, считавшіеся тогда самыми крѣпкими, и высокія каменные ограды, и даже монастырскія стѣны!

А если люди любятъ—а любовь божественная тайна,—то они и видятся тайно, находятъ возможность свиданій, несмотря ни на какія грозныя препятствія.

Недаромъ юная Ксенія Годунова, заключенная въ царскомъ терему и ожидавшая постриженія въ черницы, плакалась на свою горькую долю:

„Ино мнѣ постритчися не хочетъ,
„Чернеческаго чина не здержати,
„Отворити будетъ темна келья—
„На добрыхъ молодцовъ посмотрити“...

Хоть посмотришь только!—да не изъ терема даже, а изъ монастырской кельи...

— Воинушко! свѣтъ очей моихъ!—тихо вскрикнула дѣвушка, когда, сбросивъ съ себя охабень и шапку, передъ нею, словно изъ земли, выросъ тотъ статный молодой человѣкъ, котораго утромъ мы видѣли въ столовой избѣ и котораго царь Алексѣй Михайловичъ назвалъ Иваномъ Воиномъ.

Дѣвушка рванулась къ нему. Это было еще очень юное существо, лѣтъ шестнадцати—не болѣе. На ней была тонкая бѣлая сорочка съ запястьями, вышитыми золотомъ и унизанными крупнымъ жемчугомъ. Сорочка видѣлась изъ-за розоваго атласнаго лѣтника съ широкими рукавами—„накапками“, тоже вышитыми золотомъ съ жемчугами.

— Вотъ не ждала—не гадала...

Пришедшій молчалъ. Онъ какъ будто боялся даже заговорить съ дѣвушкой, и потому обратился прежде къ старушкѣ-мамушкѣ, вставшей со скамьи при его появленіи.

— Здравствуй, мамушка,—тихо сказалъ онъ.

— Здравствуй, соколъ ясный! Что давно очей не казалъ?

Пришедшій подошелъ къ дѣвушкѣ. Та потянулась къ нему и, положивъ маленькія ручки ему на плечи, съ любовью и лаской посмотрѣла въ глаза.

— Что съ тобою, милый?—съ тревогой спросила она.

— Я пришелъ проститься съ тобой, солнышко мое!—отвѣчалъ онъ дрогнувшимъ голосомъ.

— Какъ проститься?—для чего?—испуганно заговорила дѣвушка, отступая отъ него.

— Меня государь посылаетъ къ батюшкѣ и къ войску,—отвѣчалъ тотъ.

Дѣвушка, какъ подкошенная, молча опустилась на скамью. Съ розовыхъ щочекъ ея медленно сбѣгалъ румянецъ. Она безпомощно опустила руки, словно плети.

Теперь она глядѣла совсѣмъ ребенкомъ. Голубые ея съ длиннымъ разрывомъ глаза, слишкомъ большіе для взрослой дѣвушки, смотрѣли совсѣмъ по-дѣтски, а поблѣднѣвшія отъ печали губки также по-дѣтски сложились, собираясь, повидимому, плакать вмѣстѣ съ глазами.

— Для тово я такъ давно и не былъ у тебя,—пояснилъ пришедшій,—таково много было дѣла въ посольскомъ приказѣ.

Дѣвушка продолжала молчать. Губы ея все болѣе и болѣе вздрагивали. Пришедшій приблизился къ ней и взялъ ея руки въ свои. Руки дѣвушки были холодны.

— Наташа!—съ любовью и тоской прошепталъ пришедшій.

Дѣвушка заплакала и, высвободивъ свои руки изъ его рукъ, закрыла ими лицо.

— Наташа!—продолжалъ онъ съ глубокой нѣжностью,—если ты любишь меня...

При этихъ словахъ дѣвушка быстро встала, какъ ужаленная...

— А ты этого не зналъ?—глухо спросила она, вся оскорбленная въ своемъ чувствѣ этимъ „если“.

— Прости, радость моя! Мое сердце кровью исходить, умъ мутится,—быстро заговорилъ пришедшій,—силъ моихъ нѣту оторваться отъ тебя... Коли ты любишь, ты все сдѣлаешь.

Дѣвушка вопросительно посмотрѣла на него. Но онъ, повидимому, не рѣшался продолжать и стоялъ, потупивъ голову, словно бы прислушиваясь къ соловью, который изливаетъ свою безумную любовь въ страстныхъ треляхъ любовной мелодіи.

— Наташа! обвиняемся нынѣ же, сейчасъ!—и поѣдемъ вмѣстѣ къ батюшкѣ!—вырвалось у него признаніе, какъ порывъ отчаянья.

Дѣвушка, казалось, не поняла его сразу. Только глаза ея расширились.

— Я уже и священника знакомаго условилъ,—продолжалъ пришедшій,—я уже совершенъ возрастомъ—могу дѣлать, что Богъ на душу положитъ: а мнѣ Богъ тебя далъ, сокровище безцѣнное! Мы обвиняемся и поѣдемъ къ батюшкѣ—онъ благословитъ насъ: онъ знаетъ тебя.

Безумная радость блеснула въ прекрасныхъ глазахъ дѣвушки, но только на мгновенье. Русая головка ея, отягченная огромною пепельнаго цвѣта косой, опять безпомощно опустилась на грудь.

— А мой батюшка?—съ тихимъ отчаяньемъ прошептала она,—какъ же безъ батюшкова благословенья?

— Твой батюшка опосля благословитъ насъ.

Дѣвушка отрицательно покачала головой.

— Бѣжать отай изъ дому родительскаго... отай вѣнчаться безъ батюшкова—безъ матушкова благословенья... да такова грѣха небывывало, какъ и свѣтъ стоять,—говорила она словно во снѣ.

Молодой человѣкъ опять взялъ ея холодныя руки.

— Не говори такъ, Наташа. Вонъ въ польскомъ государствѣ—сказывалъ мнѣ мой учитель, изъ польской шляхты—въ ихнемъ государствѣ молодыя боярышни всегда такъ дѣлаютъ: отай повѣнчаются, а послѣ вѣнца прямо къ родителямъ: повинную голову и мечъ не счѣтетъ. Ну—назадъ не перевѣнчаешь—и прощаютъ, и благословляютъ. Такъ водится и за моремъ, у всѣхъ иноземныхъ людей.

Дѣвушка грустно покачала головой.

— Али я бусурманка? али я поганая еретичка?—тихо шептала она:—бѣглянка—соромъ—отъ, соромъ—отъ какой! Какъ же потомъ добрымъ людямъ на глаза показаться? Да за это косу урѣзать мало—такого сорому и грѣха и чернеческая ряса не покроетъ.

— Наташя! не говори такъ!—недовольнымъ голосомъ перебилъ ее молодой человѣкъ:—это все московскія забобоны—это тебѣ наплели старухи да потаскуши-странницы. Мы не грѣхъ учинимъ, а пойдемъ въ храмъ Божій, къ отцу духовному: коли онъ согласенъ обвинять насъ—какой же тутъ грѣхъ и соромъ?... А коли и грѣхъ, то на его душѣ грѣхъ, не на нашей. Ты говоришь—соромъ!—соромъ любить, коли самъ Спаситель сказалъ: „любите другъ друга, любите!“ Но соромъ ли то, что мы

съ тобою любился въ этомъ саду, аки въ раю, сердцемъ радовалися! Ахъ, Наташа, Наташа! ты не любишь меня...

Дѣвушка такъ и повисла у него на шеѣ.

— Милый мой! Воинъ мой! свѣтъ очей моихъ! я-ли не люблю тебя!

— Ты идешь со мной?

— Хоть на край свѣта!

— Наташа! идемъ же...

— Куда, милый?—не помня себя, спохватилась дѣвушка.

— Въ церковь, къ вѣнцу.

— Къ вѣнцу!—дѣвушка опомнилась.—Безъ батюшкова благословенья?

— Да, да! нонѣ же, сейчасъ, со мной, съ мамушкой!

— Нѣтъ! нѣтъ!—и дѣвушка въ изнеможеніи упала на скамейку.

Молодой человѣкъ обѣими руками схватился за голову, не зная на что рѣшиться.

А соловей заливался въ сосѣднихъ кустахъ. Пѣня его, счастливая, беззаботная, рвала, казалось, на части сердца влюбленныхъ. Мамушка сладко спала на ближайшей скамѣ, свѣсивъ на бокъ сѣдую голову.

— Наташа! ласточка моя!—снова заговорилъ молодой человѣкъ, цагибаясь къ дѣвукѣ и кладя руки на плечи ей:—Наташечка!

— Что, милый?—какъ бы во снѣ спросила она.

— Всемогущимъ Богомъ заклинаю тебя! святою памятью твоей матери молю тебя! будь моею женою—моимъ спасеньемъ.

— Буду, милый мой, суженный мой!

— Такъ идемъ же—разбудимъ мамушку.

— Нѣтъ! нѣтъ! не тяни моей душеньки! Охъ, и безъ того тяжко... Владычица! сжался.

— Такъ нейдешь?

— Милый! суженый!—о-охъ!

— Последнее слово—ты гонишь меня на прощанье?

— Воинушко! родной мой! не уходи!

Дѣвушка встала и протянула къ нему руки. Но онъ уклонился съ искаженнымъ отъ злобы лицомъ.

— О! проклятая Москва! ты все отняла у меня... Прощай же, Наталья, княженецка дочь!—словно бы прошипѣлъ онъ:—не видать тебѣ больше меня—прощай! Жди другого суженаго!

И схвативъ охабенъ и шапку, онъ юркнулъ въ калитку и исчезъ за высокой оградой.

Дѣвушка протянула было къ нему руки—и упала на-земь, какъ подрѣзанный косою полевой цвѣтокъ.

А соловей-то заливается!..

III.

Батюшна и сынонь.

Молодой человекъ, собиравшійся похитить дѣвушку изъ родительскаго дома и такъ презрительно отзывавшійся о московскихъ обычаяхъ, былъ сынъ извѣстнаго въ то время царскаго любимца Аѳанасія Лаврентьевича Ордина-Нащокина, по имени Воинъ.

Воинъ представлялъ собою только что нарождавшійся тогда въ московской Руси типъ западника. До нѣкоторой степени западникомъ былъ уже и отецъ его, любимецъ царя, Аѳанасій.

За нѣсколько времени до того Нащокинъ посланъ былъ на воеводство въ Псковъ, въ его родной городъ. А по тогдашнимъ обычаямъ, московскимъ, воеводство—это было въ буквальномъ смыслѣ „кормленіе“: такого-то послали воеводою туда-то „на кормленіе“, другого — въ другой городъ, третьяго — въ третій, и все это — „на кормленіе“; и вотъ для воеводы дѣлаются всевозможные поборы, и хлѣбомъ, и деньгами, и рыбою, и дичью; даже пироги и калачи сносились и свозились на воеводскій дворъ горами.

Нащокинъ первый возсталъ противъ этихъ „приносовъ“ и „привозовъ“. По тому времени это уже было „новшество“, нѣчто даже богопротивное съ точки зрѣнія подъячихъ и истинно-русскихъ людей.

Мало того, Нащокинъ перевернулъ въ Псковѣ вверхъ дномъ весь строй общественнаго управления, урѣзавъ даже свою собственную, почти неограниченную, воеводскую власть.

Ему жаль было своего родного города, когда-то богатого и могущественнаго, гордаго союзника и соперника „Господина Великаго Новгорода“. Какъ пограничный городъ, стоявшій на рубежѣ двухъ сосѣднихъ государствъ—Швеціи и Польши, Псковъ еще недавно богатѣлъ отъ заграничной торговли съ этими обоими государствами. Войны послѣднихъ лѣтъ почти убили эту торговлю. Между тѣмъ вся экономическая жизнь города и его области сосредоточилась въ рукахъ кулаковъ, богатыхъ „мужиковъ-горлановъ“, положительно не дававшихъ дышать остальному населенію страны.

— Я не хочу только кормиться отъ моей родины, — я самъ хочу ее кормить! — говорилъ новый воевода въ сѣзжей избѣ во всеуслышаніе.

— Какъ же ты ее, батюшка воевода, кормить станешь? — лукаво спрашивали „мужики-горланы“.

— А вотъ какъ, господо старички: съ примѣру стороннихъ, чужихъ земель...

— Это съ заморщины-то, отъ нехристей? — ухмылялись въ бороды лукавые старички.

— Съ заморщины и есть: за моремъ есть чему поучиться. Такъ вотъ я и помышляю въ разумѣ, что какъ во всѣхъ государствахъ славны тѣ только торги, которые безъ пошлины учинены, то и для Пскова-города я

учиню такожде: быть во Псковѣ-городѣ безошплинному торгу разъ съ Бого-явленія по день преподобнаго Евѣимія Великаго, сирѣчь по 20-е число мѣсяца януарія; другой разъ—съ вешняго Николы по день мученика Михаила Исповѣдника.

— Такъ, батюшка воевода, такъ! Да какая же намъ-отъ съ той безошплины корысть будетъ, да и казнѣ-матушкѣ? — лукаво спрашивали горланы-мужики, по нынѣшнему консерваторы.

— А вотъ такая корысть! — то, что вы нонѣ, стакавшись промежъ себя, продаете въ три-дорога молодшимъ и чорнымъ людямъ и рольникамъ, то у иноземныхъ гостей они купятъ за полцѣны.

— Что-жъ, батюшка воевода, — это корысть токмо подлымъ людишкамъ, смердьему роду, а казнѣ-ту-матушкѣ пошплинная деньга плакала, — твердили свое старья лисичы.

— И казну не обойду, — отражалъ ихъ доводы ловкій воевода. — Нонѣ, вѣдомо вамъ буди, по всей матушкѣ Русіи торговые люди плачутся на иноземныхъ гостей: гости-де, стакавшись промежъ себя, какъ и вы вотъ, мошной своей — а у нихъ мошна не вашей чета! — мошной своей всѣхъ нашихъ торговыхъ людей задавили. Вы сами не лѣвой ногой сморкаетесь...

— Хе-хе-хе! — отвѣчали на шутку воеводы старики, — шутникъ ты!

— Нѣтъ, я не шучу; а вы сами вѣдаете, что иноземные гости, чтобы проносить ложку съ русской кашей помимо вашихъ ртовъ, стакались съ вашимъ же братомъ, которые побѣднѣе, задаютъ имъ деньги впередъ, на вѣру, а то и по записи, и на эти-то деньги вашъ братъ, который побѣднѣе, и скупаетъ на торгахъ, и по пригородамъ, и по селамъ товаръ малою цѣною — и все это имъ же, толстосумымъ гостямъ. Вотъ отъ такого-то неудержанія русскіе люди на иноземцевъ, на ихъ корысть, торгуютъ ради скуднаго прокормленія и оттого въ послѣднюю скудость приходятъ, а которые псковичи и свои животы имѣли, то и они отъ своихъ же сговорщиковъ съ нѣмцами для низкой цѣны товаровъ — также оскудѣли.

— Правда, истинная правда, бояринъ, — соглашались старички и удивлялись: — и откуда это ты, бояринъ, въ нашемъ торговомъ дѣлѣ таково сталъ дотошень?

— Откуда? Я не изъ княжаго роду, не изъ богатыхъ бояръ: знавалъ и я, почему ковшъ лиха, да и нонѣ цѣны тому ковшу не забылъ.

— Такъ-такъ... Да какъ же ты, бояринъ, этого ковша изведешь, чтобы насъ то-есть нѣмцы не заѣдали?

— А вотъ какъ: чтобы не было такого тайнаго сговора съ нѣмцами, чтобы маломочные псковичи не брали у нихъ въ подрядъ денегъ и не роняли цѣны русскимъ товарамъ, вы, старички и молодшіе, лутчіе торговые люди, распишите сами, по свойству и по знакомству, во Псковѣ-городѣ и по пригородамъ, всѣхъ маломочныхъ людей, распишите ихъ по себѣ, и вѣдайте ихъ торговлю и промыслы, а во мѣсто того, что они брали деньги у нѣмцевъ и на нихъ работали, на ихъ колеса воду лили, будемъ давать имъ ссуду изъ земской избы. Когда такимъ изворотомъ маломочные люди

на земскія деньги накупятъ товару, то пушай везутъ его во Псковъ, къ примѣру, въ декабрѣ мѣсяцѣ, сдаютъ товаръ въ земскую избу, въ амбары, гдѣ и записываются всѣ подвозы въ книги, а вы, лутчіе люди, должны принимать тотъ товаръ каждый у своего, кто за кѣмъ записать, и давать имъ цѣну съ наддачею для прокормленія, и чтобы къ маю мѣсяцу они накупили новыхъ товаровъ—къ самому никольскому торгу; послѣ же торгу вы, лутчіе люди, продавши товары сваломъ иноземцамъ, должны заплатить маломочнымъ людямъ ту цѣну, по какой сами продали.

— Ну, и дока же нашъ воевода,—твердили послѣ этого псковичи.

Но Нащокинъ въ своихъ преобразованіяхъ пошелъ еще дальше, урѣзавъ свою собственную власть, и опять-таки по образцу западному—„съ примѣру стороннихъ, чужихъ земель“.

Собравши въ земской избѣ всѣхъ „лутчихъ людей“ Пскова, онъ держалъ къ нимъ такую рѣчь:

— Господо псковичи, лутчіе люди! увѣрились-ли вы, что я хочу добра Пскову-городу?

— Увѣрились! увѣрились!—послышались голоса,—въ торговомъ дѣлѣ ты уже утеръ носа нѣмцамъ.

— Спасибо! Такъ сотворите теперь сами доброе дѣло Пскову-городу и пригородамъ. Доселѣ воевода судилъ васъ во всѣхъ дѣлахъ и обидахъ; но воевода не всевѣдущъ; вы свои дѣла и обиды лучше знаете. Такъ выберите изъ себя пятнадцать человекъ добрыхъ людей на три года, чтобы изъ нихъ каждый годъ сидѣло въ земской избѣ по пяти человекъ. Эти пятеро выборныхъ должны судить посадскихъ людей во всѣхъ торговыхъ и обидныхъ дѣлахъ, а ко мнѣ, къ воеводѣ, отводить только въ измѣнѣ, разбоѣ и душегубствѣ. Ежели же случится тяжба между дворяниномъ и посадскимъ, то судить дворянину—кто будетъ у судныхъ дѣлъ—съ выборными посадскими людьми. Пошлины же съ судныхъ дѣлъ, рѣшенныхъ пятью выборными, держать въ земской избѣ для градскихъ расходовъ. Люба-ли вамъ моя рѣчь?—закончилъ воевода.

— Люба-то, любя, только дай намъ малость подумать,—былъ отвѣтъ.

— Думайте, думайте.

За этими думами Псковъ раздѣлился на двѣ партіи: меньшіе люди всѣ примкнули къ „новшеству“ Нащокина, „лутчіе“—уперлись на старинѣ, что для нихъ было выгоднѣе.

Такъ и въ иномъ другомъ Нащокинъ шелъ нѣсколько впереди своего вѣка. За это его и не любили старые бояре и подьячіе.

Оттого, когда сегодня утромъ молодой Нащокинъ, Воинъ, шелъ изъ столовой избы черезъ переднюю, его провожало злобное шинѣе приверженцевъ старины:

— Вона—изъ молодыхъ да ранній—весь въ батюшку.

— А что батюшка! Отъ него старымъ людямъ житья нѣтъ: все бранится, всѣхъ укоряетъ... все, по его, дѣлается не хорошо... толкуетъ о новыхъ порядкахъ, что въ чужихъ земляхъ!

— Знамо! А какими-то эти порядки? Что онъ завелъ во Псковѣ? Приѣдетъ воевода въ городъ, а ему тамъ и дѣлать нечего, всѣмъ вла- дѣютъ мужики!

— Да что-жъ будешь дѣлать! Великій государь его жалуетъ: грамоты шлетъ ему прямо изъ приказа тайныхъ дѣлъ, и онъ, Аеоныка, пишетъ туда же. Ужъ коли заведенъ приказъ тайныхъ дѣлъ, такъ всякому бы можно писать великому государю, что хочетъ, обноситъ кого хочетъ—никто не свѣдаетъ.

— И чему дивиться! Былъ бы изъ честнаго стараго роду, а то откуда взять?

— Умный человекъ!—ядовито замѣчаетъ кто-то.

— Умный! Никто у него ума не отнимаетъ, да какъ будто всѣ дру- гіе глупы?

— Ну, а сынокъ, поди, шагнетъ еще выше! Вонъ и сейчасъ у вели- каго государя у ручки былъ.

Дѣйствительно, сынокъ пошелъ дальше отца, только нѣсколько въ дру- гомъ родѣ.

Во многомъ приверженецъ Запада и его общественныхъ порядковъ, Аеоныка Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ, проникнутый благоговѣніемъ къ европейскому образованію, пожелалъ и сыну своему, Воинѣ, дать по воз- можности отвѣдать этого роскошнаго плода. Но какія были средства для этого въ тогдашней московской Руси? Ни университетовъ, которыми давно гордилась Европа, ни высшихъ, даже среднихъ образовательныхъ училищъ, ни даже учителей—ничего этого не было на Руси. Даже для царскихъ дѣтей приходилось брать учителей изъ Малороссіи. Но Малороссію Ординъ-Нащокинъ не любилъ. Онъ былъ приверженецъ монархическихъ порядковъ. Не будучи самъ знатнаго рода, онъ душою лнулъ къ древней родовитости, къ аристократизму. Онъ презрительно отзывался даже о Голландіи и ея республиканскомъ управленіи.

— Голландцы—это наши псковскіе и новгородскіе мужики-вѣчники, тѣ же горланы!—отвѣчалъ онъ Алексѣю Михайловичу, когда тотъ желалъ знать его мнѣніе о союзѣ французскаго и датскаго королей съ голландцами про- тивъ Англіи.

Понятно, что онъ не долюбивалъ и Малороссію съ ея выборнымъ началомъ.

— Эти хохлатые люди еще почище нашихъ вѣчевыхъ горлановъ!— говорилъ онъ о запорожскихъ казакахъ.—Они своихъ кошевыхъ атамановъ и гетмановъ кіями бьютъ, словно своихъ воловъ.

Зато сердце его лежало къ полякамъ—къ аристократической націи по преимуществу.

И вотъ изъ поляковъ, попавшихъ къ русскимъ въ плѣнъ, Ординъ-Нащокинъ выбралъ учителей для своего балованнаго сына Воина. Не уди- вительно, что, вмѣстѣ съ мечтательной любовью къ Западу, учителя эти посягали въ сердца своего пылкаго и впечатлительнаго ученика презрѣніе

къ Москвѣ, къ ея обычаямъ и порядкамъ, даже къ ея вѣрованіямъ. Все московское было для него или смѣшно, или противно.

Подъ вліяніемъ западно-европейскихъ воззрѣній на жизнь онъ рѣшился на самый отчаянный по тому времени шагъ—похитить любимую имъ дѣвушку. Однако, всѣ усилія его разбились въ прахъ объ унаслѣдованное московской боярышней отъ матерей и бабушекъ понятіе о женской чести и стыдливости. Ни любовь, ни страхъ вѣчной разлуки, ни страданія оскорбленнаго чувства—ничто не могло заставить дѣвушку переступить роковую грань обычая. Она не перенесла страшнаго момента разлуки—и потеря сознанія облегчила на нѣсколько минутъ ея муки, ея ужасное горе—первое послѣ потери матери великое горе въ ея молодой жизни.

Когда она пришла въ себя, то увидѣла склонившееся надъ нею, ужасомъ искаженное, лицо мамушки.

— Гдѣ онъ? что съ нимъ?—были первыя ея слова.

— Не знаю, дитятко,—словно онъ сквозь землю провалился. А что съ тобой, мое золото червонное!

— Я ничего не помню, мамушка: только онъ сказалъ, что мы больше съ нимъ не увидимся.

— Ахъ, онъ злодѣй! да какъ же это такъ?—встревожилась старушка:—что тутъ у васъ вышло? чѣмъ онъ тебя обидѣлъ, ласточка моя?

— Онъ ничѣмъ меня не обидѣлъ: онъ только сказалъ, что намъ больше не видаться на семъ свѣтѣ.

— Владычица!—всплеснула руками старушка:—да что съ нимъ, съ окаяннымъ, подѣялось?

Дѣвушка молчала. Даже старой мамкѣ своей она не могла выдать того, что она считала святою, великою тайною.

А соловей все заливался...

IV.

Таинственное исчезновеніе молодого Ордина-Нащонина.

Прошло недѣли двѣ послѣ 5-го мая, и по Москвѣ, среди бояръ и придворныхъ, разнеслась вѣсть, что молодой Ординъ-Нащокинъ, Воинъ, пропалъ безъ вѣсти.

Стало также извѣстно, что царь лично отправилъ его съ важными бумагами и большою суммою денегъ къ отцу, который вмѣстѣ съ другими боярами, съ Долгорукими и Одоевскимъ, находился на польскомъ рубежѣ для переговоровъ съ польскими послами о мирѣ.

Одни говорили, что молодой Нащокинъ кѣмъ-либо на дорогѣ былъ убитъ и ограбленъ. Враги же Нащокиныхъ распускали слухъ, что Воинъ, прельстясь деньгами, которыя были ему довѣрены царемъ, и будучи ученикомъ коварныхъ польскихъ панковъ, съ царскими денежками и съ важ-

ными бумагами улизнуть за рубежъ и тамъ протираеть глаза этимъ де-нежкамъ.

Извѣстіе объ исчезновеніи молодого Нащокина, естественно, очень смутило Алексѣя Михайловича, и онъ тоже началъ думать, что молодой человѣкъ былъ увлеченъ въ сѣти злоумышленниками и погибъ безвременно. Онъ даже упрекалъ себя въ томъ, что далъ серьезное порученіе такому неопытному юношѣ и ему же довѣрилъ значительную сумму денегъ. Алексѣй Михайловичъ тотчасъ приказалъ отправить гонцовъ во всѣ концы; но все напрасно: молодой человѣкъ словно въ воду канулъ.

Какъ громомъ поразила эта вѣсть дѣвушку, съ которою онъ видѣлся наканунѣ отбѣзда изъ Москвы. Она винила себя въ гибели своего возлюбленнаго. Точно окаменѣлая бродила она по переходамъ своего терема и по саду, гдѣ видѣла его въ послѣдній разъ и гдѣ, казалось, на дорожкѣ, ведущей отъ скамейки къ калиткѣ, оставались еще слѣды его ногъ. Какъ безумная припадала она къ этимъ кажущимся слѣдамъ и все звала своего милаго. Она глухо кляла теперь свой напрасный страхъ, свою нерѣшительность. Что для нея людскіе толки и пересуды, если-бъ около нея былъ ея суженый? Тогда она боялась идти съ нимъ подъ вѣнецъ, а теперь съ нимъ охотно бы пошла на плаху. Зачѣмъ же ей теперь жить? — для кого? Вѣдь только для него свѣтило это солнце, для него синѣлъ этотъ сводъ неба, для него раздавались эти трели соловья. А соловей пѣлъ и тогда, въ тотъ чудный и ужасный вечеръ, когда она, безумная, оттолкнула его отъ себя.

Она не могла даже плакать, не могла молиться. По пѣлымъ часамъ она сидѣла на той скамейкѣ, на его мѣстѣ, неподвижная, холодная.

Старая мамушка насильно увела ее изъ саду и уложила въ постель. Къ вечеру дѣвушка вся разгорѣлась, а ночью бредила, говорила безсвязныя слова, или вздрагивала, прислушиваясь къ трелямъ соловья.

Больше недѣли оставалась она такимъ образомъ между жизнью и смертью. По ней служили молебны, кропили ее крещенскою водою, къ ней приносили изъ церквей чудотворныя иконы, приводили знахарокъ со всей Москвы. Все напрасно!

Страшно поразило отца исчезновеніе любимаго сына. Онъ также думалъ, что его Воинъ погибъ отъ руки злоумышленниковъ. Въ нѣсколько дней онъ осунулся, постарѣлъ. Переговоры его съ польскими послами о мирѣ шли вяло—онъ, казалось, утратилъ сразу и умъ, и энергію, и находчивость, и даръ слова, которому прежде всѣ завидовали.

Между тѣмъ розыски пропавшаго безъ вѣсти производились самымъ тщательнымъ образомъ. Изслѣдованъ былъ весь путь отъ Москвы вплоть до польскаго рубежа, до того мѣстечка надъ рѣкою Городнею, гдѣ отецъ пропавшаго, Аванасій Ординъ-Нащокинъ, и другіе русскіе послы вели переговоры съ польскими комиссарами о мирѣ. Разспрашивали въ каждомъ попутномъ селѣ, въ каждой деревенькѣ, по кабакамъ и корчмамъ—не проѣзжалъ-ли въ такіе-то и такіе дни такой-то, на такой-то лошади, съ та-

кими-то примѣтами. И почти вездѣ отвѣчали, что видѣли такого-то, проѣзжать-де, а кто такой — того не вѣдаютъ. И вдругъ слѣдъ его пропалъ какъ разъ у рубежа, въ пограничномъ лѣсу, гдѣ змѣнились три расходившіяся въ разныя мѣста дорожки. Тутъ онъ исчезъ безслѣдно. За рубежомъ, на польской землѣ, его уже не видали.

Какъ и чѣмъ объяснить это таинственное исчезновеніе? Всѣ теряли головы и никто не могъ ничего придумать.

Несчастный отецъ остановился на одной ужасной мысли: сына его убили.

Но гдѣ убійцы? кто? для чего? для грабежа? Но кто зналъ, что у него деньги? Вѣдь гонцы часто ѣздили и изъ Москвы, и въ Москву, — и ни одинъ не пропалъ. Пропалъ его единственный сынъ, гордость и утѣха его старости, его надежды!

Онъ убить и Аѳанасій знаетъ, кто его убійцы. Враги отца, завистники они наложили злодѣйскую руку на его сына. Они видѣли, какъ 5-го мая великій государь жаловалъ его къ рукѣ. Они знали, куда онъ ѣдетъ и съ какими порученіями. Съ нимъ были бумаги изъ ненавистнаго имъ приказа тайныхъ дѣлъ. Надо захватить эти бумаги и отмстить высокомерному отцу въ его единственномъ сынѣ.

Они подослали убійцъ къ неминуемой жертвѣ. За нимъ слѣдили по пятамъ до самаго рубежа, и въ послѣднюю ночь, въ этомъ порубежномъ лѣсу убили, зарѣзали!

Но гдѣ же трупъ несчастнаго? Трупъ зарыли или бросили въ Городню съ камнемъ на шеѣ.

— Что тебѣ, Аѳанасій, за твою гордыню, за царскія милости, за приказъ тайныхъ дѣлъ! —

Вотъ что теперь они говорятъ промежъ себя, усмѣхаясь въ бороды. А у Аѳанасія сердце кровью исходитъ, мозгъ сохнетъ подѣ черепомъ.

Недаромъ этотъ „Тараруй“ — князь Хованскій — все теперь передѣлываетъ на свой ладъ во Псковѣ, что сдѣлалъ тамъ онъ, Аѳанасій. Такъ этого мало надо сына отнять!

Ахъ бы кости его найти да похоронить по-христіански!

И Нащокина часто видѣли бродящимъ въ лѣсу, гдѣ — онъ былъ увѣренъ — зарѣзали его сына.

Такъ онъ набрелъ тамъ на старика, сдиравшаго лыки на лапти.

— Чинистуй, старичокъ! — сказалъ онъ: — Богъ въ помощь. Ты здѣшній оудень?

Старикъ былъ глуховатъ и не разслышалъ словъ незнакомаго боярина. Онъ только кланялся. Нащокинъ заговорилъ громче и повторилъ свой вопросъ.

Тутешній, тутешній, батюшка бояринъ, — отвѣчалъ старикъ, — грѣшнымъ дѣломъ лычки деру на лапотки — только лапотками и кормлюсь.

— Доброе дѣло, — ласково заговорилъ Нащокинъ: — Богъ труды любить.

— Чаво баишь, бояринушко? — не разслышалъ старикъ.

— Богъ, говорю, любить труды, а ты вотъ трудишься.

— Тружусь, батюшко, — кормлюсь лапотками. А ты, чаю, на зайчика?

— На зайчика, дѣдушка.

— Воръ зайчикъ—молоденьку корочку грызеть—божье деревцо портить зря.

— А что, дѣдушка, не опасно здѣсь на рубежѣ, въ лѣсу? Не шалить, бываетъ, польскіе, а то и русскіе людишки тутъ?

— Бываетъ, батюшко, бываетъ—пошаливаютъ.

— И убивства случаются?

— Попускаетъ Богъ—убиваютъ. Вотъ и нынѣшней весной, сказывали, убили тутъ боярскаго сына.

Нашокина словно что ударило подъ сердце.

— Боярскаго сына, говоришь, убили?—спросилъ онъ съ дрожью въ голосѣ.

— Убили, бояринушко, попустилъ Богъ. Я, поди, и злодѣевъ—ту этихъ видѣлъ, да невдомекъ мнѣ было, что это злодѣи. Опосля ужъ смекнулъ—да поздно.

— Расскажи же, дѣдушка, когда и какъ это дѣло было?—Нашокинымъ овладѣло страшное волненіе.—Припомни, дѣдушка: можетъ, злодѣи и сыщутся.

— А такъ было дѣло, бояринушко. Однажды этой весной, передъ вѣшнымъ Миколой, замѣшкался я въ лѣсу съ лычками—ночь захватила.

— Такъ передъ вѣшнымъ Миколой, говоришь?—переспросилъ Нашокинъ.—„Такъ—передъ Николой и должно быть“, съ ужасомъ соображалъ онъ.—Ну, что же?

— Позамѣшкался я эта тады въ лѣсу, надралъ лычекъ эдакъ свѣженькихъ охапochку, да грѣшнымъ дѣломъ и ковыляю домой. Анъ глядь—вонъ тамъ изъ лѣсу и выѣзжаютъ на коняхъ невѣдомые люди, да туда вонъ прямо за рубежъ и повѣялись.

— Трое, говоришь?

— Трое, бояринушко, трое.

— А обличья ты ихъ не разглядѣлъ?

— Гдѣ разглядѣть, батюшко!—далече ѣхали. А что меня въ сумлѣнье ввело, батюшка, такъ конь у нихъ, у злодѣевъ, лишній: два, какъ и слѣдъ, верхами, а одинъ—отъ злодѣй—одвуконь—друго-то коня въ поводу вель. Для-че имъ лишній конь? Знаю, не ихъ конекъ, а изъ-подъ того боярскаго сына, что они, злодѣи, убили въ лѣсу, и ограбили: теперича эта я такъ мекаю, а тады—и не вдомекъ было—украли, думаю, конька, злодѣи, да и за рубежъ. А дѣло-ту вышло во-како: душегубство, а окаянныхъ—ту злодѣевъ и слѣдъ, чу, простылъ.

Теперь для Нашокина стало несомнѣннымъ, что то были убійцы его сына, убійцы, подосланные его врагами изъ Москвы. Ясно, что они слѣдили за нимъ по пятамъ, до самаго польскаго рубежа, и тутъ, совершивъ свое гнусное злодѣяніе, перебрались за рубежъ, чтобъ воротиться въ Москву уже другою дорогою. Лошадь убитаго они не могли оставить въ лѣсу, а увели ее съ собою и, вѣроятно, продали въ какомъ-нибудь польскомъ мѣстечкѣ.

Нащокинъ далъ старику нѣсколько алтыновъ и пошелъ къ тому мѣсту лѣса, гдѣ, по его мнѣнію, былъ убитъ его сынъ. Но и тамъ не нашелъ онъ никакихъ слѣдовъ преступленія — ни подозрительной насыпи, ни слѣдовъ борьбы или насилія.

А лѣсъ между тѣмъ жилъ полною жизнью, какою только можетъ жить природа въ весеннее время, когда говоромъ и любовнымъ шопотомъ, кажется, звучить отъ каждаго куста, когда говорятъ вѣтви и листья на деревьяхъ и трава съ цвѣтами шелеститъ любовнымъ шопотомъ. Все такъ полно жизни, блеска и радости, все дышетъ любовью и счастьемъ, которое слышится въ этомъ неумолчномъ говорѣ птицъ, въ этомъ жужжаньи пчелъ, въ этомъ беззаботномъ гудѣніи и какомъ-то дѣтскомъ лепетѣ неуловимыхъ глазомъ живыхъ тварей, — и среди этой жизни, среди этого блаженства природы — смерть, наглая, ужасающая смерть въ самомъ расцвѣтѣ молодой жизни!

„И за что, Боже правый!“ — шепталъ несчастный старикъ: — „не за его — за мои прегрѣшенія!“

„За что его, а не меня, Господи!“

Онъ упалъ лицомъ въ траву и беззвучно заплакалъ.

А надъ нимъ было такое голубое небо, такое ласковое утреннее солнце.

У.

Въ своей семьѣ.

На Москвѣ, между тѣмъ, дѣла шли своимъ порядкомъ.

Патріархъ Никонъ, поссорясь съ царемъ, давно сидѣлъ безвыѣздно въ Воскресенскомъ монастырѣ, и на всѣ попытки государя примириться съ нимъ отвѣчалъ глухимъ ворчаніемъ. Алексѣй Михайловичъ съ своей стороны, мѣшая государственныя дѣла съ бездѣльемъ, тѣшилъ себя тѣмъ, что, проживая въ селѣ Коломенскомъ, отъ скуки каждое утро купалъ въ пруду своихъ стольниковъ, если кто изъ нихъ опаздывалъ къ царскому смотру, то-есть — къ утреннему выходу *).

Но сегодня почему-то не занимало его это купанье стольниковъ. Онъ вспоминалъ о своемъ бывшемъ „собинномъ“ другѣ Никонѣ, и его грызло сознаніе, что онъ былъ слишкомъ суровъ съ нимъ. Но и Никонъ не хотѣлъ идти на примиреніе.

*) Государь самъ писалъ объ этомъ стольнику Матюшкину: „Извѣщаю тебѣ, что тѣмъ утѣшаюся, што стольниковъ купаю ежеутрь въ прудѣ. Иорданъ хороша сдѣлана, человѣка по четыре и по пяти, и по двѣнадцати человѣкъ, за то: кто не поспѣетъ къ моему смотру, такъ того и купаю; да послѣ купанья жалую, зову ихъ ежедень, у меня купальщики тѣ ядять вдоволь, и инныя говорятъ: мы-де нарочно не поспѣемъ, такъ-де и насъ выкупають да и за столъ посаждать“...

А тутъ еще это исчезновение молодого Ордина-Нащокина. По его винѣ онъ погибъ! Каково же должно быть бѣдному отцу?

„А все я—всему я виной“, грызла ему сердце эта мысль:—„отъ меня все исходить — и горе, и радость... А кому радостно? Больше слезъ я вижу, чѣмъ радости... Бѣдный, бѣдный Аѳанасій! Не пошли я малаго, онъ бы живъ теперь былъ... А то на! Обласкалъ своею милостью — и малаго не стало“...

Въ такія грустныя минуты Алексѣй Михайловичъ любилъ заходить къ своей любимицѣ, къ маленькой царевнѣ Софьѣ. Она своими ласками, своими дѣтскимъ щебетаньемъ, развлекала его, отвлекала отъ думъ.

И Алексѣй Михайловичъ задумчиво побрелъ по переходамъ къ свѣтлицѣ своей дѣвочки.

Уже передъ дверью свѣтлицы онъ услышалъ ея серебристый смѣхъ.

— Блаженни!—тихо, съ грустной улыбкой, проговорилъ онъ,—ихъ бо есть царствіе Божіе.

И онъ тихонько вступилъ въ свѣтлицу. Отъ этого свѣтленькаго теремка, отъ всего, что онъ увидѣлъ, такъ на него и повѣяло чистотой дѣтства, невинности, счастьемъ невѣдѣнія. Дѣвочка сидѣла у стола надъ какой-то книгой и теребила свои пышные, еще не заплетенные волосы. А въ сторонкѣ, у окна, сидѣла ея мамушка и что-то вязала.

— Ахъ, мамка, какъ это смѣшно, какъ смѣшно,—повторяла дѣвочка.

— Что смѣшно, моя птичка?—вдругъ услышала она за собою голосъ отца—и вздрогнула отъ нечаянности, потому что ноги Алексѣя Михайловича, обутыя въ мягкія сафьянныя туфли, тихо ступали по коврамъ, не дѣлая ни малѣйшаго шума.

Дѣвочка вскочила и радостно бросилась отцу на шею.

— Батюшка! государь! свѣтикъ мой!—обнимала она его, лаская руками шелковистую бороду родителя.

— Здравствуй, здравствуй, птичка моя, ясные глазыньки!—любовно цѣловалъ и гладилъ онъ дѣвочку.—Здравствуй и ты, мамушка.

— Самъ здравствуй, свѣтикъ нашъ, царь-государь, на многія лѣта!—кланялась мамушка.

— Что это вы тутъ смѣшное читаете? — спросилъ Алексѣй Михайловичъ:—не сказку-ли какую?

— Нѣтъ, батюшка, не сказку, — отвѣчала царевна, и опять ея голосокъ зазвенѣлъ смѣхомъ, точно серебряный колокольчикъ. — Вотъ эта книга—она называется: „Книга глаголемая Лусидаріусъ или златый бисеръ“ *). Тутъ обо всемъ писано — и о звѣздахъ, и о землѣ, и о зѣло дивныхъ людяхъ въ землѣ индѣйской. Вотъ послушай.

И дѣвочка нагнулась надъ раскрытою книгой, писанною полууставомъ.

— Слушай, — читала она, — „тамъ есть люди, именуемые“ силюкпеси

*) Книга эта имѣется у автора.

(циклопесы — циклопы), имѣютъ только по единой ногѣ и рыщутъ борзѣ птицына летанія, а егда сядетъ или ляжетъ, тою ногою отъ зноя и отъ дождя закрывается“. Какъ же это, батюшка, обѣ одной ногѣ?—удивленно посмотрѣла она на отца.

— А такъ, дитятко, чудеса Господни неисповѣдимы,—отвѣчалъ царь серьезно.

Дѣвочка какъ бы смутилась немножко, но снова нагнулась надъ книгой и что-то искала въ ней.

— А вотъ, смотри,—сказала она торопливо,—слушай: „тамо же есть люди безглавніи, имъ же есть очи на плечахъ, и вмѣсто устъ и носа имѣютъ на персехъ по двѣ дыры“. Какъ же это, батюшка? Развѣ безъ головы можно жить?—спросила она.

— Не знаю, милая; но у Бога все возможно, — задумчиво говорилъ Алексѣй Михайловичъ.—А гдѣ ты взяла эту книгу?—спросилъ онъ.

— Мнѣ мама дала ее почитать, а мамѣ ее подарилъ протопопъ Аввакумъ.

— Аввакумъ,—повторилъ про себя Алексѣй Михайловичъ.

Онъ опять задумался, опять что-то укоромъ подкатилось къ его сердцу. „Можетъ быть, за правду и этотъ страдаетъ“, думалось ему, — „но гдѣ правда, гдѣ истина... Истина! Иисусъ же отвѣта не даде! Боже великій!“

При имени Аввакума онъ вспомнилъ, что этотъ мученикъ религіознаго фанатизма, по его же повелѣнію, прикованъ на цѣпь въ одной изъ келій монастыря Николы на Угрѣшѣ. А кто правъ? онъ-ли, Аввакумъ, Никонъ-ли? Двуперстное или троеперстное сложеніе? Гдѣ же истина?

„Иисусъ же отвѣта не даде“, ныло у него на сердцѣ.

Видя грустную задумчивость отца, юная царевна стала робко ласкаться къ нему, и ему представилась другая такая же сцена: юный Воинъ ласкается къ своему отцу; а теперь этотъ отецъ осиротѣлъ, и осиротилъ его онъ.

Желая отогнать мрачныя мысли, Алексѣй Михайловичъ машинально беретъ подаренную царичѣ Аввакумомъ книгу и читаетъ вслухъ:

— А—вонъ оно что! о нашей Европѣ тутъ пишется—вишь ты!—Европой ее именуетъ:—„Вторая часть сего міра зовется Европа, яже прострѣя по горамъ, тамо языкъ германскій, Готы, тамо же величайшая рѣка Дунай“...

— Вишь ты!—перебилъ онъ самъ себя,—Дунай, а мою Волгу-ту и забыли? А, може, мы не въ Европѣ живемъ? Посмотримъ, что дальше будетъ (читаетъ): „а отъ моря языкъ благоизбранный и людіе храбри словенстїи, яже суть Русь“!..

— Вишь ты!—улыбнулся онъ:—не забыли и насъ—спасибо! Ну, нинѣ далѣ: „таможе брияне“—это еще что за брияне? Не вѣмъ... „чехи, ляхи, поляки, воринганы (варяги, надо бы думать), фрязи, микіане (такихъ не знаю), дауцы, керенгвяне (и такихъ не слыхалъ), Фрисляндія, и инныя многія земли. На другой половинѣ тоя же Европы земли Остерляндія, Сунгорія, Вѣсемія, галове, греки, та страна даже до моря“.

Книга такъ заинтересовала Алексѣя Михайловича, что онъ присѣлъ къ столу, а юная царевна взмолилась къ нему на колѣни и обвила рукою его шею.

— Ахъ, ты, дѣвка! тяжелая какая стала! — ласково трепалъ онъ волосы у дѣвочки: — и не диво — тринадцатый годокъ ужъ пошелъ.

— Нѣтъ, батюшка-царь, четырнадцатый! — поправила она отца.

— Ой-ли? Ну, совсѣмъ невѣста — пора замужъ.

— Я замужъ не хочу!

— Ну, захочешь... Сиди смирно! Посмотримъ, что тамъ далѣ книга пишетъ.

Онъ нагнулся и сталъ читать: „И земля Дамасія, въ ней же есть источникъ дивный, иже отъ него зажигаются свѣщи“... Дивны дѣла твои, Господи! — перебилъ онъ себя. — „Тамо и великая гора Олимпусъ, ея же высота превыше облакъ, отъ той же горы начинается земля Италія, тамо украинна имянуемая Римъ“... Точно — Римъ, гдѣ папѣжъ живетъ... „И Галлія, Вританія, тамо Венеція, юже созда царь Ипутусъ, оттолѣ вышла рѣка Рынъ *), и течетъ по французской землѣ; подлѣ той рѣки прилежать мнози велиции украинны — Кастилія, Колонія (Каталонія!), Местинія, Страстборхъ, Стерія, потомъ начнется Испанія, къ ней прилежать широкія страны, Картеза градъ и иные многіе. Сіе испанское государство лежитъ все подлѣ моря. Къ тому государству близъ страны, иже есть Вританія и Англія, губернія Ганатосъ; изъ сихъ странъ вывозятъ злато. Тамо же на заподѣ край моря страна нарицаемая Схоттія: тамо пришедъ солнце отъ востокъ, скрывается; то есть мѣсто, глаголемое заподъ; тамо же въ морѣ близъ островъ, на немъ же дрѣвеса, которые растутъ, отнюдъ не повалятся; тамо же есть Мерзлое море; въ томъ мѣстѣ толика студеность, еже тамо невозможно человѣку быти“.

— Вотъ, батюшка, — перебила его Софья, — ты все воюешь съ поляками — на что они тебѣ? А ты-бъ завоевалъ намъ рай.

— Какой рай, птичка? — удивился Алексѣй Михайловичъ.

— А гдѣ великая рѣка Гангъ.

И царевна стала перелистывать книгу.

— Ахъ, все твоя борода мѣшается, — отвѣла она рукою пушистую бороду отца: — вотъ! „Тамъ же есть люди въ величѣй рѣцѣ Ганги (начала она читать), яже изъ рая течетъ“ — видишь? изъ рая... „Тѣ люди имѣють овошце, иже изъ рая плывутъ, и отъ тѣхъ овощей питаются живыми ядрами, а иные пища не требуютъ, и тѣ овощи осторожно вельми у себя блюдутъ того ради, пожеже они зѣло боятся злосмраднаго всякаго обонія, и тѣми овощами защищаютъ животъ свой; аще, если которой изъ нихъ обоняетъ какую злосмрадную воню, а тѣхъ вышепомянутыхъ овощей при себѣ имѣть не будетъ, то вскорѣ умираетъ и живъ быти не можетъ, яко рыба на сушѣ“. Вотъ, видишь, гдѣ рай?

*) Рейнъ, конечно.

— Вижу токмо, дитятко мое, что дивны творенія рукъ божіихъ,—задумчиво проговорилъ государь,—а гдѣ ужъ намъ, грѣшнымъ, рая достигнуть въ сей жизни! Хоть бы послѣ смерти Господь сподобилъ насъ рая пресвѣтлаго своего.

Онъ замолчалъ. Слышны были только благочестивые вздохи мамушки.

— Что, мамка, вздыхаешь?—спросилъ ее государь.

— О грѣхахъ, батюшка-царь,—отвѣчала старушка.

Послышался шорохъ атласнаго платья, и въ дверяхъ свѣтлицы показалась царица Марья Ильишна, какъ ее тогда называли, а не Ильинишна.

Софья соскочила съ колѣнъ отца и бросилась къ матери.

— Ахъ, мама! что мы тутъ съ батюшкой читали! И объ раѣ, и объ Европѣ, и объ людяхъ безъ головъ!—торопилась, почти захлебываясь, будущая правительница русской земли.

— Гдѣ-жъ это вы таки чудеса вычитали?—улыбалась Марья Ильишна.

— А въ той книгѣ, что ты мнѣ дала—„Книга глаголемая Лусидаріусъ“.

— Такъ и есть таки люди, что безъ головъ?—недовѣрчиво спросила царица.

— Есть, мама; только у нихъ очи на плечахъ, а вмѣсто устъ и носа—на персяхъ по двѣ дыры.

— А чѣмъ же они ядятъ?

— Должно быть, мама, этими дирами.

— А гдѣ они живутъ?

— Въ Индѣйской землѣ, мама. И есть тамъ люди объ одной ногѣ.

Алексѣй Михайловичъ тоже подошелъ къ царицѣ.

— Что, Маша, слышно о протопопѣ Аввакумѣ?—какъ-то робко спросилъ онъ, не смѣя взглянуть ей въ глаза.

— Во узахъ сидитъ мученикъ-святитель—на чепи у Николы на Угрюшю!—какъ бы нехотя, но съ нервной дрожью въ голосѣ отвѣчала царица.

— Ты спосылала къ нему?

— Спосылала не разъ.

— Отъ меня?

— Отъ тебя и отъ себя: твоимъ царевымъ словомъ умоляла.

— И что-жъ онъ?

— Стоитъ такъ, ченью окованъ, руки горѣ: „не соединюсь—говорить—со отступниками: онъ—говорить—мой царь, мой! Я—говорить—не сведу съ высоты небесныя рукъ, дондеже Богъ его отдастъ мнѣ!“ И ручки такъ къ небу простираетъ: „не сведу—говорить—рукъ съ высоты! не сведу *)!“ Это онъ къ тому, что будто тебя у него отступники отняли.

— Охъ, Маша, тяжель мой крестъ—крестъ царевъ!—горько покачалъ головой Алексѣй Михайловичъ:—тяжела шапка Мономаха! Кто правъ? гдѣ истина? повторяю я съ Пилатомъ: „что есть истина? Иисусъ же отвѣта не даде“. Помнишь это, Маша?

*) „Житіе протопопа Аввакума“. Изд. проф. Тихонравова.

И царь, задумавшись, повернулся и направился къ себѣ.

— А что молодой Ординъ-Нащокинъ? такъ и не сыскали?—кликнула ему вслѣдъ царица.

Но Алексѣй Михайловичъ ничего не отвѣтилъ.

VI.

Стеньга Разинъ въ гостяхъ у Аввакума.

Что же, въ самомъ дѣлѣ, было съ Аввакумомъ, котораго участь такъ горячо принималась къ сердцу всею царскою семьей и изъ-за котораго у царя съ царицей были иногда очень горькія препирательства?

Онъ, дѣйствительно, сидѣлъ на цѣпи у Николы на Угрѣшѣ. Ему, впрочемъ, не привыкать было къ этимъ цѣнямъ, къ битью плетью, палками, къ тасканью за волосы, за бороду.

А теперь и таскать было не за что. У него отрѣзали его святительскую бороду, остригли его іерейское украшеніе—волосы.

— Видишь,—говорилъ онъ посланцу царицы, князю Ивану Воротынскому:—полюбуйся, какъ окарнали меня! Волки, а не люди: оборвали меня, горюна, словно собаки, одинъ хохолъ оставили, какъ у поляка на лбу. Да что говорить! Богъ ихъ проститъ. Я своего мученія на нихъ не спрошу—ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій, и буду молиться о нихъ—о живыхъ и о преставльшихся. Діаволъ между нами разсѣченіе положилъ.

Теперь онъ былъ одинъ въ своей темницѣ, лежалъ на полу, на связкѣ соломъ, и бормоталъ что-то про себя. Онъ былъ страшно изможденъ, худъ, какъ скелетъ, но въ энергическихъ, совсѣмъ юношескихъ ясныхъ глазахъ свѣтилась дѣтская радость. Чему же онъ радовался? А радовался своимъ мукамъ, истязаніямъ, которымъ его подвергали въ жизни за идею—за двуперстное сложеніе, за трегубую аллилуйю, за букву І въ словѣ Ісусъ, а не Іисусъ... Онъ теперь лежалъ и съ дѣтской радостью припоминалъ всѣ эти истязанія.

— Это тогда, когда воевода у вдовы отнял дочь дѣвицу, а я за нихъ заступился, — и онъ воздвигъ на мя бури! У церкви его слуги мало до смерти меня не задавили. И азъ, лежа мертвъ полчаса и больше, и паки оживъ божіимъ мановеніемъ; но его опять научилъ діаволъ: пришелъ въ церковь, билъ и волочилъ меня за ноги по землѣ въ ризахъ, а я въ то время молитвы говорю. Это разъ.

Но ему помѣшали продолжать перечисленіе испытанныхъ имъ истязаній. Кто-то постучался въ желѣзную дверь его тюрьмы.

— Господи Ісусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ!—проговорилъ за дверью чей-то незнакомый голосъ.

— Аминь!—съ удивленіемъ отвѣчалъ Аввакумъ; потому что къ нему въ тюрьму никого не впускали, даже посланцевъ отъ царицы.

Загребѣли ключи, три раза щелкнулъ замокъ, закригѣла на ржавыхъ петляхъ дверь и въ тюремную келью вошелъ неизвѣстный человѣкъ.

Аввакумъ разомъ окинулъ его взглядомъ, и даже какъ будто смутился. Передъ нимъ стоялъ могучій, широкоплечій мужчина въ казацкомъ одѣяніи, подстриженный въ кружало, какъ стриглись тогда донскіе и воровскіе казаки. Широкій лобъ обличалъ въ пришельцѣ могучую энергію. Но особенно поражали его глаза: въ нихъ было что-то властное, непреклонное; за этими глазами люди идутъ въ огонь и въ воду; этимъ глазамъ повинуются толпы,—было что-то непостижимое въ нихъ, что-то такое, что смутило даже Аввакума, котораго не смущали ни плахи, ни костры, ни убійственные очи Никона, ни царственный взглядъ царя Алексѣя Михайловича.

Аввакумъ быстро поднялся съ соломы.

— Благослови меня, святой отецъ! — сказалъ пришелецъ повелительнымъ голосомъ.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, — какъ-то смущенно проговорилъ протопопъ-фанатикъ. — Ты кто, сынъ мой?

— Я казакъ съ вольнаго Дону.

— А какъ имя твое, сыне?

— Зовутъ меня Стенькой.

— Рабъ божій Степанъ, значить. А по отчеству?

— Отца Тимошкой звали.

— А развѣ отецъ твой помре?

— Да. По ево душѣ я и молился въ Соловкахъ да по братней, по Тимошеевой же, что казнили неправедно.

— Кто и за что? — удивился Аввакумъ.

— Казнили его князь Юрій Долгорукій. Братъ мой старшій, Тимошеевъ же, какъ и отца, звали, былъ у насъ атаманомъ и съ казаками ходилъ въ походъ супротивъ поляковъ, въ помощь этому князю Юрью. По окончаніи похода братъ мой оставилъ Долгорукаго и повелъ казаковъ на Донъ. Мы люди вольные — служимъ бѣлому царю по нашему хотѣнію, коли казачій кругъ приговорить. Мы креста никому не цѣловали на холопство — братъ и ушелъ съ казаками домой, а князь Юрій, осерчавъ на то, обманомъ заманилъ къ себѣ брата — и отрубилъ ему голову.

— Царство небесное славному атаману, рабу божію Тимошееву, — набожно проговорилъ Аввакумъ. — А куда же ты, Степанъ Тимошеевичъ, путь держишь? — спросилъ онъ.

— Къ себѣ, на тихій Донъ, отче святой. Я иду изъ Соловокъ.

— Изъ Соловокъ! — удивился протопопъ. — Немаленькій путь сотворилъ ты, сынъ мой, во имя божіе: подвигъ сей зачтется тебѣ. Какъ же ты обо мнѣ узналъ, миленькій?

— Твое имя, отче святой, аки кадило на всю святую Русь сіяетъ, — былъ отвѣтъ.

Аввакумъ набожно перекрестился.

— Недостойнъ я сего, сыне: я — песъ, лающій во славу божію за

святое двуперстіе да за истинную вѣру,—сказалъ онъ смиренно, но глаза его разомъ засвѣтились:—и буду лаять до послѣдняго издыханія—на илахъ, на висѣлицѣхъ, на кострѣхъ, на крестѣхъ!

Онъ заходилъ было по своей тюрьмѣ, но она была такъ тѣсна, какъ клѣтка, и онъ остановился, видимо любуясь своимъ неожиданнымъ посѣтителемъ.

— Какъ же ты, сынъ мой, попалъ ко мнѣ во узилище?—спросилъ онъ гостя.—Вишь, ко мнѣ никого не пускаютъ; даже вонъ царьчины посланцы—и тѣ со мною разговариваютъ черезъ оконную да дверную рѣшетку. Онамедни самъ царь приходилъ, да только походилъ около моея темницы, и опять пошелъ прочь. И Воротынскій бѣдной, князь Иванъ, просился же ко мнѣ въ темницу; ино не пустили горюна; я лишь, въ окно глядя, поплакалъ на него *). А какъ ты попалъ ко мнѣ? чѣмъ отперъ сердце недреманной стражи?

— Золотымъ ключемъ,—былъ отвѣтъ.

— А! разумѣю. А что нонѣ, сынъ мой, въ Соловкахъ творится, въ обители святыхъ угодниковъ Зосимы-Савватія?—спросилъ Аввакумъ.

— Крѣпко стоять за двуперстіе и Никона клануть.

У фанатика опять засверкали глаза при имени Никона.

— У! Никонишко, адовъ песь!—всплеснулъ онъ руками:—ты знаешь ли, какъ онъ книги печаталъ? „Печатай“,—говорить, — „Арсенъ, книги какъ-нибудь, лишь бы не по старому“. Такъ-су и сдѣлали! О, будь они прокляты, окаянныя, со всѣмъ лукавымъ замысломъ своимъ, а страждущимъ отъ нихъ вѣчная память трижды! Вить ты не знаешь, что у насъ дѣлается: за старую вѣру жгутъ и пекутъ, что барановъ. Охъ, Господи! какъ это они въ познаніе не хотятъ прійти? Слыхано-ли! Огнемъ да кнутомъ, да висѣлицею хотятъ вѣру утвердить! Хороши апостолы съ кнутами! Развѣ тѣ такъ учили? Развѣ Христось приказалъ имъ учить огнемъ, кнутомъ да висѣлицею? О! да что и говорить! Зато много ангельскихъ вѣнцовъ роздали новые апостолы—такъ и сыплютъ вѣнцами. А я говорю: еще бы не были борцы, не бы даны были вѣнцы. Есть борцы! Нонѣ кому охота вѣнчаться мученическимъ вѣнцомъ, незачѣмъ ходить въ Персиду, либо въ Римъ къ Діоклетіану,—у насъ свой Вавилонъ! Ну-тко, сынокъ (обратился онъ къ Стенькѣ), нарцы имя Христова истово—Іеусъ, стань среди Москвы, перекрестись двѣми персты,—вотъ тебѣ и царство небесное, и вѣнецъ! Ну-тко, стань!... **)

— И стану!—громовымъ голосомъ отвѣчалъ Разинъ (это былъ онъ), такъ что даже фанатикъ вздрогнулъ и попятился отъ него:—и стану среди Москвы, и крикну имя Христова.

Онъ былъ величественъ въ своемъ негодованіи и, казалось, выросъ на цѣлую голову. Аввакумъ смотрѣлъ на него въ какомъ-то умиленіи, въ

*) См. „Житіе пр. Аввакума“.

**) Подлинныя слова изъ „Житія“.

экстазѣ. Онъ самъ былъ весь энергія и сила, а тутъ передъ нимъ стояла теперь такая силаща!

— Слышишь, Москва? слышите, бояре? я къ вамъ приду — я вездѣ найду васъ! Ждите меня!

Разинъ остановился—его душило негодованіе. Потомъ онъ сталъ говорить спокойнѣе.

— Я прошелъ теперь всю Русь изъ конца въ конецъ—отъ Черкаска до Соловковъ: вездѣ-то бѣднота, вездѣ-то слезы и рыданія, вездѣ голодъ. А тутъ, на Москвѣ-то! палаты, что твои храмы божьи. Да куда! богаче церквей. Не такъ залиты золотомъ и жемчугами ризы матушки Иверской, какъ ферязи да кафтаны боярскіе. А колесницы въ золотѣ, а кони—тожъ въ золотѣ—сущіе фараоны! Тамъ—корки сухой нѣту, а тутъ за однимъ обѣдомъ съѣдаютъ и пропиваютъ цѣлыя селы, цѣлыя станицы. Это-ли правда? Это-ли по-божески?

Аввакумъ стоялъ передъ нимъ какъ очарованный и все крестилъ его.

— Охъ, сыночекъ мой богоданный! Степанушко мой свѣтикъ!—шепталъ онъ со слезами на глазахъ.

Они долго еще бесѣдовали, и Аввакумъ со всею пылкостью, на какую только онъ былъ способенъ, съ неудержимою страстностью своего кипучаго темперамента изобразилъ такую потрясающую картину смутнаго состоянія умовъ въ тогдашней московской Руси, что въ пылкой головѣ Разина созрѣлъ кровавый планъ—завести новые порядки на Руси, хотя бы для этого пришлось бродить по колѣна въ крови.

— Будь благонадеженъ, святой отецъ,—сказалъ онъ съ свойственною ему энергіею,—мы положимъ конецъ господству притѣснителей.

— Какъ же ты это сдѣлаешь, чадо мое богоданное?—спросилъ Аввакумъ.

— Мы начнемъ съ Дона, Яика и съ Волги: тѣхъ, что голодаютъ и плачутъ, больше, чѣмъ тѣхъ, что объѣдаются и радуются. Всѣ голодные за мной пойдутъ, только надо дать имъ голову. А головой той для нихъ буду я, Степанъ Тимоѣевъ сынъ Разинъ. Жди же меня, отче святой!

— Буду ждать, буду ждать, чадо мое милое, ежели до той поры не сожгутъ меня въ срубѣ,—говорилъ фанатикъ въ умиленіи, обнимая и цѣлуя своего страшнаго гостя.

Разинъ ушелъ, а Аввакумъ долго стоялъ на колѣняхъ и молился, звеня цѣпью.

VII.

„За нунлой—женихъ забыть“!..

Миновало лѣто. Прошло и около половины зимы 1664 года, и о молодомъ, пропавшемъ безъ вѣсти, Ординѣ-Нащокинѣ уже и забывать стали. Не забывали о немъ только отецъ несчастнаго да царь Алексѣй Михайло-

вичъ. Не могла забыть и та юная боярышня, съ которой онъ такъ грустно простился наканунѣ своего рокового отъѣзда изъ Москвы.

Это была единственная дочь боярина, князя Семена Васильевича Прозоровскаго, шестнадцатилѣтняя красавица Наталья. Хотя она и оправилась нѣсколько послѣ постигшаго ее удара и тяжелой болѣзни—молодость взяла свое—однако, она въ душѣ чувствовала, что молодая жизнь ея разбита. Куда дѣвалась ея живость, неукротимая веселость! Правда, ея похудѣвшее, томно-задумчивое личико стало еще миловиднѣе, еще прелестнѣе; но при взглядѣ на нее, всѣмъ, знавшимъ и незнавшимъ ее прежде, почему-то думалось, что это милое созданіе не отъ міра сего, что такіа не живутъ среди людей и мѣсто ихъ среди ангеловъ свѣтлыхъ.

Отецъ, боготворившій ее, хотя угадывалъ сердцемъ, какое страданіе подтачиваетъ эту молодую жизнь, но онъ слишкомъ уважалъ святость ея чувства, и съ грустью молчалъ, будучи увѣренъ, что всемогущая молодость все побѣдитъ, что богатства молодости такъ неисчислимы, такъ неисчерпаемы, что ихъ никакая сила, кромѣ смерти, не ограбить, даже не умалить.

Дѣвушка тоже молчала. Чувство ея и ея горе были слишкомъ святы для нея, чтобы въ эту святыню могъ заглянуть чей бы то ни было взоръ, даже взоръ отца или матери.

Однажды, за нѣсколько дней передъ Рождествомъ, отецъ, желая ее развлечь, купилъ ей очень много подарковъ и разныхъ нарядовъ, самыхъ изящныхъ, самыхъ дорогихъ, какіе только можно было найти въ Москвѣ. Дѣвушка горячо благодарила отца, цѣловала его руки, голову, лицо, обнимала его, но тутъ же не выдержала и расплакалась, горько-горько расплакалась.

— О чемъ ты, дитятко мое ненаглядное, радость моя единая, о чемъ же?—испугался и растерялся злополучный отецъ.

— Батюшка! милый мой! родной мой!—плакала она, обливая слезами щеки растерявшагося князя. — Знаешь, мой дорогой, о чемъ я хочу просить тебя?

— О чемъ, мое дитятко золотое, солнышко мое! Проси—все для тебя сдѣлаю!

— Батюшка! свѣтикъ мой! отдай меня въ монастырь.

— Въ монастырь! Что съ тобой, моя ягодка? мое дитя! утѣха моя!

— Да, мой родной, отдай: я хочу принять ангельскій чинъ, не жилища я на міру, я хочу быть Христовой невѣстой.

И несчастная разрыдалась пуще прежняго: слово „невѣста“ точно ножомъ ее по сердцу полоснуло.

— Да Господь же съ тобой, чистая моя голубица! Господь съ тобой, сокровище мое!—утѣшалъ ее отецъ.—Обдумай свое хотѣніе—пощади и меня, старика: на кого ты оставишь меня? Съ кѣмъ я буду доживать свой вѣкъ, съ кѣмъ раздѣлю я мое одинокое старчество? Для кого мои добра, мои богатства? *).

*) У него было еще два малолѣтнихъ сына отъ второй жены; но за какой-то проступокъ онъ сослалъ ее съ сыновьями въ ея вотчину.

И онъ самъ горько заплакалъ, обхвативъ руками бѣлокурую головку дочери, какъ бы боясь, что вотъ сейчасъ-сейчасъ она уйдетъ отъ него, улетитъ на крыльяхъ ангела.

— Хоть погоди малость, поживи со мной до весны, дай мнѣ одуматься, съ государемъ переговоришь: онъ же объ тебѣ спрашивалъ... ты такъ ему полюбила... онъ часто видѣлъ тебя въ Успенскомъ, какъ ты молилась тамъ и плакала этими днями. И царевнушка Софья въ тебѣ души не чаешь: она просила привезти тебя въ соборъ на „пещное дѣйство“. Поѣдемъ, мое золото, а тамъ подумаемъ, потолкуемъ; можетъ... Государь спосылаетъ гонцовъ въ Польшу... можетъ, Богъ дастъ... еще не вѣрно...

Онъ не договорилъ, боясь, что зашелъ слишкомъ далеко. Онъ самъ хорошо понималъ, что въ довѣрчивое сердце своей любимицы онъ забрасываетъ напрасную надежду; какъ и всѣ въ Москвѣ, онъ зналъ, что молодого Ордина-Нащокина уже не воскресить; но ему во что бы то ни стало хотѣлось подольше удержатъ дочь отъ рокового рѣшенія... „Молодо-зелено, перегоритъ, а тамъ еще свѣжѣе расцвѣтетъ“, думалось ему, и онъ давалъ понять дѣвушкѣ, что онъ что-то знаетъ, чего-то—а чего именно, она сама догадается—онъ ждетъ, что имъ-де съ царемъ что-то извѣстно, а что—пусть сама соображаетъ. Онъ слѣпо вѣрилъ во всемогущество молодости и времени: все переживается человѣкомъ, всякія душевныя раны, даже, повидимому, смертельныя—исцѣляется время. Развѣ онъ думалъ, что переживетъ свою Аннушку, мать этой самой дѣвочки? А пережилъ. Сколько разъ, когда она, такая молоденькая да хрупенькая, умерла у него на рукахъ и онъ свезъ ее въ Новодѣвичій на погостъ,—сколько разъ онъ пытался наложить на себя руки! Такъ не попустилъ: не попустилъ вотъ этотъ невинный ангелочекъ, вотъ эта самая Наталенька—вся въ мать! Наталенька, что теперь тихо плачетъ у него на плечѣ. Ее было жаль кинуть одну на бѣломъ свѣтѣ, ее, этого чистаго ангелочка, и онъ остался жить для нея. И смертельная его рана зажила, закрылась съ годами, хоть по временамъ и саднить,—охъ, какъ саднить! Переживетъ и она свое дѣвичье великое горе, заживетъ и ея кровавая рана—заживетъ, Богъ милостивъ.

— Вотъ ужъ повезу тебя, дитятко, на „пещное дѣйство“,—говорилъ онъ, лаская всхлипывавшую у него на плечѣ дѣвушку:—а тамъ съ государемъ перемолвлюсь о вѣстяхъ нѣкіихъ... кубить, надо бы надѣяться... а Аванасій Лаврентьичъ (онъ знаетъ, что дѣвочка понимаетъ, о комъ онъ говоритъ)—и Аванасій Лаврентьичъ, кубить, повеселіе сталъ малость... Богъ милостивъ, не оставитъ...

Онъ чувствовалъ, какъ при этихъ словахъ у него на груди, подъ шитою шелками тонкою срачицею, колотилось сердце его дѣвочки.

— А развѣ послы наши воротились съ польскаго рубежа?—робко спросила она.

— Воротились, дитятко.

— И Аванасій Лаврентьичъ?

— И онъ, золото мое... Сказываю тебѣ—кубыть, веселіе маленьчко сталь... Вѣстимо, Богъ его, горюна, не оставитъ: доберь уже зѣло челоуѣкъ.

Все это онъ выдумалъ. Ничего веселаго онъ не замѣтилъ въ старикѣ Ординѣ-Нащокинѣ. Видѣлъ онъ его въ Успенскомъ соборѣ, какъ тотъ служилъ панихиду по сынѣ и плакалъ. Вотъ все, что онъ замѣтилъ. Но ему нужно было во что бы то ни стало удержать дочь на краю пропасти, къ которой влекло ее ея молодое чувство, ея разбитая любовь и отчаяніе.

— Все вотъ гонцовъ ждутъ изъ Польши—позамѣпкались они,—на что-то намекалъ онъ.

— А далеко, батюшка, эта Польша—Аршавъ-городъ?—спрашивала дѣвушка, переставая плакать и отирая слезы шелковою пиринкой.

— Варшава, дитятко, а не Аршавъ,—поправлялъ онъ (тогда наши боярышникъ въ гимназіяхъ не учились):—а далекомъ-таки, правда, эта Варшава.

— И тамъ все еретички живутъ, какъ наша Маришка-безбожница?

— По нашему онѣ еретички, милая, а все-жъ онѣ христіанскаго закону, токмо латынскою, папешскою вѣры.

— Сказываютъ—все красавицы?

— Не все красавицы, милая,—люди какъ люди.

Онъ зналъ, къ чему она гнетъ; догадывался, что у нея на сердчикѣ копошилось, но показывалъ видъ, что ни о чемъ не догадывается.

— А какъ у нихъ, батюшка, вѣнчаются? Съ родительскаго благословенія?

— Вѣстимо, дитятко. Гдѣ-жъ это видано, чтобъ безъ родительскаго благословенія что ни на есть доброе чинилось—упаси Богъ! А который челоуѣкъ дѣлаетъ что безъ родительскаго благословенія, и отъ того челоуѣка самъ Господь отвернется.

Мало-по-малу дѣвушка успокоилась и они рѣшили ѣхать въ Успенскій соборъ на „пещное дѣйство“.

„Пещное дѣйство“ это въ древней Руси былъ особый церковный обрядъ, не сохранившійся до нашего времени. Онъ состоялъ въ томъ, что за нѣсколько дней до праздника Рождества Христова, и обыкновенно въ послѣднее воскресенье, во время заутрени, въ церкви, въ присутствіи патріарха и царя, если служба шла въ Успенскомъ соборѣ, изображалась въ лицахъ, „лицедѣйно“, извѣстная библейская исторія о трехъ благочестивыхъ отрокахъ—Ананіи, Азаріи и Мисаилѣ, посаженныхъ въ горящую печь по повелѣнію халдейскаго царя за то, что отроки не хотѣли поклониться его идоламъ.

Для этого, по распоряженію соборнаго ключаря, убирали въ соборѣ большое паникадило, что надъ амвономъ, принимали и самый амвонъ, а на его мѣсто ставили „халдейскую печь“. Это былъ большой полукруглый шкафъ безъ крыши, на подмосткѣ и съ боковымъ входомъ. Стѣны „халдейской печи“ раздѣлены были, по числу отроковъ, на три части или внутреннія стойла, украшенныя рѣзьбою, позолотою и приличными „пещ-

ному дѣйству“ изображеніями. Около „печи“ ставились желѣзные „шандалы“ съ вставленными въ нихъ витыми свѣчами.

„Пещное дѣйство“ начиналось обыкновенно съ вечерни. Это было нѣчто въ родѣ увертюры или пролога къ самому „дѣйству“. Начинали благовѣстомъ въ большой колоколъ, и благовѣстъ отличался особенной торжественностью: онъ продолжался цѣлый часъ. Москва вся спѣшила на это удивительное зрѣлище, замѣнявшее ей и наши театры, и концерты, и наши оперы съ оперетками, балеты и феэрин. Шествовалъ на это зрѣлище и царь съ своимъ семействомъ и съ боярами.

Собственно дѣйствующихъ лицъ полагалось шестеро, не считая самого патріарха, сослужащаго ему духовенства, подьяковъ или иподіаконовъ и двухъ хоровъ пѣвчихъ: это были—„отроческій учитель“, три „отрока“—самые юные и красивые мальчики изъ дѣтей бѣлаго соборнаго духовенства, и два „халдея“.

Когда Прозоровскіе, отецъ и дочь, пріѣхали въ соборъ и вошли въ храмъ, „пещное дѣйство“ только что начиналось. Царь и царица уже возсѣдали на державномъ мѣстѣ, а около „государя“ свѣтилось дѣтскимъ любопытствомъ оживленное личико его любимицы, царевны Софьюшки. Она съ необыкновеннымъ интересомъ наблюдала за всѣмъ, что происходило на соборѣ, все видѣла, все замѣчала, почти всѣхъ знала, и поминутно, хотя незамѣтно, дергала отца то за рукавъ, то за полу одежды, и предавала ему свои наблюденія, замѣчанія, или спрашивала о чемъ-либо.

Когда вошли Прозоровскіе, она, „непосѣда-царевна“, не преминула толкнуть отца. Царь замѣтилъ Прозоровскихъ и ласково поглядѣлъ на блѣдное, задумчивое, но прелестное личико княжны. Она замѣтила, замѣтила и сочувственно остановившійся на ней взглядъ юной царевны,—и слабый румянецъ окрасилъ ея матовыя, нѣжныя щечки.

Соборъ горѣлъ тысячами огней, которые, отражаясь въ золотыхъ и серебряныхъ окладахъ иконъ, на лампадахъ и паникадилахъ, наконецъ — на золотыхъ и парчевыхъ ризахъ духовенства, превращали храмъ въ какое-то волшебное святилище. „Пещь“, освѣщаемая громадными витыми свѣчами въ массивныхъ „шандалахъ“, смотрѣла чѣмъ-то зловѣщимъ.

Вдругъ весь соборъ охватило какое-то трепетное волненіе: всѣ какъ бы вздрогнули и, оглядываясь ко входу въ трапезу, чего-то ожидали.

Это начиналось шествіе—начало „дѣйства“. Это шествовалъ самъ святитель, блюститель патріаршаго престола, ростовскій митрополитъ Іона (патріархъ Никонъ, послѣ неудачной попытки, 19-го декабря, вернуть свое значеніе, предавался въ этотъ часъ буйному негодованію въ своемъ Воскресенскомъ монастырѣ). Впереди святителя шествовали „отроки“ съ зажженными свѣчами. Они были одѣты въ бѣлые стихари, и юныя, розовыя личики ихъ освѣщались блестящими вѣнцами: что-то было въ высшей степени удивительное въ этихъ полудѣтскихъ вѣнчанныхъ головкахъ.

По бокамъ „отроковъ“ шли „халденъ“ въ своихъ „халдейскихъ одеж-

дах": они были въ шлемахъ, съ огромными трубками, въ которыя была вложена „плавающая трава“, со свѣчами и пальмовыми вѣтками.

Процессія двигалась дальше по собору между двухъ сплошныхъ стѣнъ зрителей, напутствуемая тысячами горящихъ любопытствомъ, тревогой и умиленіемъ глазъ.

Князь Прозоровскій украдкой наблюдалъ за дочерью. Онъ видѣлъ, что глаза ея блестятъ, нѣжныя щечки рдѣютъ румянцемъ. Она была вся зрѣніе. Онъ глянулъ на державное мѣсто—на царицу, на юную царевну. И у нихъ на лицахъ такое же оживленіе и восторгъ.

„Охъ, женщины, женщины!“ думалось ему: „вы — до старости дѣти: дай вамъ куклу, игрушку, дѣйство—и вы все забыли... за куклою—женихъ забыть!...“.

Святитель вошелъ въ алтарь. За нимъ вошли и „отроки“, только сѣверными дверями.

Халдеи остались въ трапезѣ.

Началось пѣніе подъяковъ, къ которому присоединились свѣжіе, звонкіе голоса „отроковъ“.

VIII.

„Пещное дѣйство“ *).

Собственно „пещное дѣйство“ совершалось уже послѣ полуночи, въ заутрени, за шесть часовъ до разсвѣта.

Внутренность собора еще ярче, чѣмъ во время вечерни, горитъ тысячами огней. Царская семья опять на державномъ мѣстѣ, но болѣе торжественно разодѣтая. Духовенство и святитель еще въ болѣе пышныхъ ризахъ.

И Прозоровскіе, князь и юная княжна, тоже на своихъ мѣстахъ. Только у послѣдней глазки немножко заплаканы: „кукла“ ненадолго утѣшила бѣдную. Въ молодой душѣ засѣло что-то болѣе могучее и оттѣснило собой весь остальной міръ. Она думаетъ о гонцахъ изъ Польши, о послѣднемъ весеннемъ вечерѣ, когда такъ безумно пѣлъ соловей въ кустахъ. Отецъ видитъ это и страдаетъ.

Предшествуемый „отроками“ со свѣчами и „халдеями“ съ пальмовыми вѣтками, святитель опять проходитъ между стѣнами молящихся и входитъ въ алтарь. И „отроки“ входятъ туда же.

Утренняя служба началась. Хоры пѣвчихъ съ особенною торжественностью и силою исполняли каноны. Соборъ гремѣлъ богатыми, могучими голосами, которые всегда такъ любила Москва.

Во время пѣнія седьмого канона, гдѣ, какъ извѣстно, упоминаются „три отрока“, когда хоръ грянулъ—„Отроки богомудріи“, и когда ирмосы

*) Подробное описаніе „пещнаго дѣйства“ находится въ „Древ. рос. вивліое.“, VI, 375 и далѣе.

и причеты чередовались по клиросамъ, на иконостасное возвышеніе выступилъ „отроческій учитель“ и сотворилъ по три земныхъ поклона передъ мѣстными иконами.

Затѣмъ, подойдя и поклонившись святителю Іонѣ, возсѣдавшему на возвышеніи противъ „пещи“ въ сонмѣ соборнаго духовенства, возгласилъ:

— Благослови, владыко, отроковъ на уреченное мѣсто предпоставити!

Святитель поблагословилъ его „по главѣ“ и съ своей стороны возгласилъ:

— Благословенъ Богъ нашъ, изволивый тако!

„Отроки“ въ это время стояли въ сторонѣ, лицомъ къ святителю и ко всему собору молящихся.

— Бѣдненькіе!—не вытерпѣла царевна Софья, вся превратившаяся въ зрѣніе.

„Учитель“ отошелъ къ „отрокамъ“, обвязалъ ихъ по шеямъ убрусами, и, когда святитель сдѣлалъ соотвѣтственный знакъ рукою, передалъ ихъ на жертву „халдеямъ“.

„Халдеи“, взявъ „отроковъ“ за концы убрусовъ, повели ихъ къ „пещи“: одинъ „халдей“ шелъ впереди, ведя перваго „отрока“, за нимъ два остальныхъ, держась руками другъ за друга, а другой „халдей“ позади отроковъ.

Вотъ, наконецъ, „отроковъ“ привели къ „пещи“.

— Дѣти царевы! — громко возгласилъ первый „халдей“, указывая пальмовою вѣткой на „пещь“: — видите ли сію пещь, огнемъ горящу и вельми распалаему!

— Сія пещь,—поясняя другой „халдей“,—уготовася вамъ на мученіе.

„Отрокъ“, изображавшій собою лицо Ананія, гордо выпрямился и сказалъ:

— Видимъ мы пещь сію, но не ужасаемся ея: есть бо Богъ нашъ на небеси, Ему же мы служимъ,—той силенъ изъяти насъ отъ пещи сія!

— И отъ рукъ вашихъ избавить насъ!—повторилъ за нимъ „второй“ „отрокъ“, изображавшій Азарію.

— А сія пещь будетъ не намъ на мученіе, но вамъ на обличеніе!—съ силою и твердостью заканчивалъ Мисаилъ.

— Вотъ такъ молодцы отроки!—вырвалось у царицы Софьи: — не убоились пещи огненной.

Она сказала это такъ громко, что даже святитель Іона улыбнулся и многіе обернулись къ державному мѣсту. Софья сидѣла вся красная, и мать укоризненно качала ей головой.

Между тѣмъ протодіаконъ, стоя въ царскихъ вратахъ, зажигалъ „отроческія свѣчи“, а „отроки“, готовясь къ мученію, безбоязненно гѣли:

„И потщимся на помощь“...

Свѣчи зажжены, гѣніе отроковъ окончено. Тогда протодіаконъ съ зажженными свѣчами направился къ святителю и вручилъ ему свѣчи.

Затѣмъ отроки поочередно подходили къ святителю и, получивъ отъ него по свѣчѣ, кланялись и цѣловали его руку.

Тогда „учитель“ развязывалъ каждого изъ „отроковъ“, и святитель благословлялъ ихъ на мученіе.

Выходили затѣмъ „халдеи“ и вели такой разговоръ:

— Товарищъ!

— Чево?

— Это дѣти царевы?

— Царевы.

— Нашего царя повелѣнія не слушаютъ?

— Не слушаютъ.

— А златому тѣлу не поклоняются?

— Не поклоняются.

— И мы вкинемъ ихъ въ печь?

— И начнемъ ихъ жечь!

— Ахъ, злые, гадкіе мучители!—опять вырвалось у юной царевны; но она, спохватившись, сама зажала себѣ ротъ рукой.

Тогда „халдеи“ взяли подъ руки Ананію и толкнули въ „пещь“.

— А ты, Азарія, чево сталъ?—обращались они ко второму „отроку“.— И тебѣ у насъ то же будетъ.

Брали затѣмъ и Азарію и также толкали въ „пещь“. Потомъ и Мисаила ввергли къ братьямъ на мученіе.

Едва „отроки“ ввергнуты были въ „пещь“, какъ выходилъ чередной звонарь съ горномъ, наполненнымъ горящими угольями, и ставилъ его подъ пещь. Протодіаконъ же возглашалъ:

— Благословенъ еси Господи Боже отецъ нашихъ! Хвально и прославлено имя твое во вѣки!

„Отроки“ повторяли за протодіаконъ этотъ стихъ, и „халдеи“, ходя около печи со свѣчами, пальмовыми вѣтвями и трубками, бросали изъ трубокъ „плавучую траву“ и махали пальмовыми вѣтвями, какъ бы раздувая огонь.

Въ это время протодіаконъ читалъ „пѣснь отроковъ“.

— И прави путіе твой, и судьбы истины сотворилъ еси!

Чтеніе протодіакона поддѣлки сопровождали пѣніемъ, которое такъ оживляло и разнообразило оригинальное „пещное дѣйство“.

Прозоровскій украдкой взглянулъ въ это время на дочь и увидѣлъ, что его „дѣвочка“ опять нашла свою куклу“. Это его успокоило.

— Ты не притомилась, дѣвчонка?—шепнулъ онъ ей.

— Нѣтъ, батюшка,—таково хорошо дѣйство!—былъ отвѣтъ и ласковый взглядъ ясныхъ глазъ.

Между тѣмъ протодіаконъ возглашалъ:

— И распалашеся пламень надъ пещію!

А отроки какъ бы подкрѣпляли его возглашеніе:

— Яже обрѣте о пещи халдейстѣй!

Въ это время выступалъ изъ сонма духовенства соборный ключарь и подходилъ къ священнику подъ благословеніе.

— Благослови, отче, ангела спускати въ пещь.

Священникъ благословлялъ его, а діаконъ бралъ у „халдеевъ“ трубки съ „плавучею травой“ и огнемъ. Протодіаконъ же громогласно возглашалъ:

— Ангелъ же Господень сниде купно со Азаріиною чадію въ пещь, яко духъ хладенъ и шумящъ!

Въ этотъ моментъ сверху появляется ангелъ съ крыльями, со свѣчею въ рукѣ, и съ громомъ спускается въ „пещь“.

При видѣ съ громомъ спускающагося ангела, „халдеи“, которые очень высоко держали пальмовыя вѣтки, разомъ попадали, а дьяконы опаляли ихъ свѣчами.

Но скоро „халдеи“ опомнились отъ ужаса, но еще боялись подняться.

— Товарищъ!—заговорилъ первый „халдей“.

— Чего?—спросилъ второй.

— Видишь?

— Вижу.

— Было три, а стало четыре...

— Грозенъ и страшенъ зѣло, образомъ уподобися Сыну Божію.

„Отроки“ же между тѣмъ ухватились за ангела—два за крылья, а одинъ за лѣвую, конечно, босую ногу. Затѣмъ ангелъ сталъ подниматься вверхъ вмѣстѣ съ отроками, а потомъ сбрасывалъ ихъ въ „пещь“ обратно.

Протодіаконъ снова читалъ „пѣснь отроковъ“; отроки тоже опять пѣли въ „пещи“, имъ вторили дьяки праваго, потомъ лѣваго клироса.

„Халдеи“ между тѣмъ поднялись съ полу, зажгли свои свѣчи и стояли уничтоженные, съ поникшими головами. Они были посрамлены.

А съ клиросовъ несло стройное пѣніе... „благословите, тріе отроцы!“

Ангелъ снова спускался въ пещь „съ громомъ и трясеніемъ“, а „халдеи“ въ ужасѣ падали на колѣни.

Наконецъ, ангелъ совсѣмъ улеталъ, и тогда „халдеи“, ободренные этимъ, подходили къ „пещи“, отворяли ее, въ удивленіи стояли безъ шлемовъ, давно валявшихся на полу, и вели такой разговоръ:

— Ананія! гряди вонъ изъ пещи!

— Чего сталъ?—говорилъ второй „халдей“.

— Поворачивайся! не иметъ васъ ни огонь, ни солома, ни смола, ни сѣра.

— Мы чаяли—васъ сожгли, а мы сами сгорѣли!

Тогда „халдеи“ сами брали „отроковъ“ подъ руки, выводили изъ пещи одного за другимъ, снова надѣвали на себя шлемы, брали въ руки свои трубки съ „плавучею травой“ и огнемъ и становились по обѣ стороны отроковъ.

Затѣмъ протодіаконъ возглашалъ многолѣтіе царю, всему царствующему дому и властямъ.

Послѣ славословія протодіаконъ вмѣстѣ съ „отроками“ входилъ въ „пещь“ и читалъ тамъ евангеліе.

Такъ кончалось „пещное дѣйство“.

Прозоровскіе возвращались домой, когда было еще совсѣмъ темно. Свѣтъ отъ факеловъ и фонарей, сопровождавшихъ кареты и пѣшеходовъ, возвращавшихся изъ собора по домамъ, освѣщала иногда внутренность кареты Прозоровскихъ и блѣдное личико княжны. Она сидѣла съ закрытыми глазами, и отецъ думалъ, что она, утомленная продолжительной службой, дремлетъ.

— Батюшка!—вдругъ произнесла она:—ты такъ и не говорилъ съ государемъ.

Онъ даже вздрогнулъ отъ неожиданности.

— Нѣту, дитятко, отвѣчалъ онъ:—когда же было?—дѣйство шло... Вотъ ужъ—на смотру.

Дѣвушка опять закрыла глаза. Факелы опять по временамъ освѣщали ея блѣдное, грустное личико.

„Оо-хо-хо!“—думалось Прозоровскому:—„дѣвочка опять потеряла куклу“.

— А смотрѣ государевъ рано будетъ?—снова услыхалъ онъ вопросъ.

— Рано, ласточка, ты еще почишь будешь.

„Нѣтъ, тутъ не куклой пахнетъ... Оо-хо-хо!“

IX.

Бѣглецъ Воинъ въ Венеціи.

Князь Прозоровскій напрасно, однако, тѣшилъ себя надеждою, что всесильное время и молодость, которую никогда нельзя ограбить—такъ она богата и всемогуща—возвратить ему его прежнюю веселенькую Наталеньку. Время еще не успѣло затуманить и вытравить изъ ея сердца свѣтлые образы ея перваго дѣвическаго счастья, которое она сама погубила своимъ безразсудствомъ, а молодость, на забывчивость которой онъ надѣялся, молодость, которая вездѣ, въ самой себѣ, въ самой этой молодости, найдетъ новые источники счастья, какъ богачъ новые капиталы, эта молодость слишкомъ бурно чувствовала пережитое ею счастье, потому что оно было первое счастье въ ея жизни, счастье, въ первый разъ сознанное, какъ бы открытое на груди того, кого она сама оттолкнула отъ себя и погубила его,—эта молодость не могла помириться съ мыслью, что она уже никогда-никогда не будетъ трепетать на этой именно груди, давшей ей первые въ жизни моменты блаженства,—эта молодость жаждала только его—его одного, со всѣмъ пыломъ страсти. Она ждала только его, и его не было.

Она скоро поняла, что гонцы, посланные въ Польшу отъ царя, что намеки отца на то, что онъ, котораго она погубила—живъ,—что это—куклы, которыми ее, какъ маленькую, хотѣли обмануть, развлечь. Она все поняла—и ей захотѣлось умереть. Но смерть не шла къ ней. Такъ надо похоронить себя заживо. Надо уйти отъ міра, отъ людей, чтобъ ничто не напоминало ей о жизни, о ея радостяхъ, которыя она похоронила вмѣстѣ съ тѣмъ, кого любила.

Прозоровскій, наконецъ, долженъ былъ сознаться дочери, что молодой Ординъ-Нащокинъ, дѣйствительно, пропалъ безъ вѣсти: никакіе царскіе гонцы не въ состояніи были найти того, кого уже не было на свѣтѣ.

Дѣвушка, казалось, нѣсколько успокоилась на этомъ. Странное, но свойственное любящимъ успокоеніе: такъ не достанется же онъ никому, какъ не достался ей. Теперь ее уже не будетъ мучить мысль о красавицахъ-еретичкахъ, о полькахъ: ея Воинъ не достанется имъ.

Не достанется же и она никому! Монастырь, черническая ряса, клобукъ, темная келья—вотъ кому она достанется. Тамъ она будетъ за него молиться, его ждать въ предсмертный часъ, чтобъ тамъ съ нимъ свидѣться, тамъ, за гробомъ.

Она стала торопить отца—отдать ее въ монастырь, и именно въ Ново-дѣвичій, гдѣ похоронена ея мать. Какъ ни плакалъ отецъ—она осталась непреклонна.

— Батюшка!—утѣшала она его:—все же я останусь твоей дочерью—ты будешь ѣздить ко мнѣ, видѣть меня. Ежели что и перемѣнится—такъ только имя мое: я ужъ тогда не буду княжной Натальей, а инокинею или старицею Надеждою.

И она была пострижена, и дѣйствительно получила ангельскій чинъ подъ именемъ Надежды. Всѣ инокини и бѣлицы навзрыдь плакали въ церкви, когда ея прелестное, блѣдненькое личико выглядывало изъ-подъ чернаго монашескаго покрывала и на возгласы постригавшаго ее святителя Іоны: „откуда еси притекла въ обитель сію“—или: „подаждь ми ножницы сія!“—она кротко отвѣчала или покорно нагибалась, чтобъ поднять бросаемаго святителемъ на полъ, по чину постриженія, ножницы.

Но какъ плакалъ ея отецъ—этого словами люди никогда не сумѣютъ передать.

Между тѣмъ, вскорѣ послѣ ея постриженія, вотъ что случилось.

Въ то время, когда у московскихъ пословъ кончились переговоры съ польскими комиссарами о мирѣ, съ обѣихъ сторонъ послѣдовало обмѣнъ плѣнныхъ и бѣглыхъ.

Обыкновенно партіи этихъ полоняниковъ пригонялись въ Москву, въ подлежащій „разрядъ“, а изъ „разряда“, послѣ переписки, ихъ препровождали въ патриаршіи дворцовый приказъ для допросовъ: не осквернился ли кто въ половину скоромною пищею, не перемѣнилъ ли вѣры, не держалъ ли тамъ папешскую или иную вѣру, не бывалъ ли у „латынскаго ксенжа“ на исповѣди или въ костелѣ, не биралъ ли „секраментъ“ вмѣсто причастія, или даже „не бусурманенъ“ ли и т. д.

Въ числѣ присланныхъ такимъ образомъ въ патриаршіи приказъ для допроса былъ одинъ крѣпкій старикъ, который, какъ оказалось, находился въ полону около сорока лѣтъ!

Подъячій патриаршаго приказа, записывавшій его „распросныя рѣчи“, глазамъ своимъ не вѣрилъ, чтобы можно было вынести то, что вынесъ на своемъ вѣку этотъ старикъ и остался живъ и бодръ.

Вотъ что говорилъ онъ въ своихъ „распросныхъ рѣчахъ“:

— Зовутъ меня Варсунофей старецъ. Родина моя городъ Москва. Въ дѣтствѣ моемъ отецъ взялъ меня въ Кіевъ, и отдалъ учиться грамотѣ. По возрастѣ былъ я во дячкѣхъ у Николы чудотворца у Пустынного въ Кіевѣ же, а забаловавшись хмельнымъ дѣломъ, во дячкѣхъ не восхотѣлъ быть, и служилъ у желныря у Гулявича въ Луцку—отдала меня мать въ службу тому желнырю за пьянство. И живучи я у желныря, по середамъ и въ посты мясо и всякую скверну ѣдалъ, а въ Филипповъ и въ великой постъ мяса не ѣдалъ. А вѣру держалъ папешскую и секраментъ дважды принималъ. И живучи я у желныря, занемогъ, и обѣщался опять притти къ Николѣ на Пустынь, и пришедъ постригся въ меньшей образъ; постригалъ въ церквѣ на обѣдѣ тое-жъ Никольскіе пустыни игуменъ Іевъ Непитушей о Троицынѣ дни. А тотъ игуменъ молилъ за патріарха царяградскаго за Кирила...

— Какъ!—удивился подъячій, закладывая перо за ухо:—за царяградскаго, а не за нашего святителя, за московскаго и всеа Русіи?

— Нѣту, батюшка, какъ было, такъ и сказываю, словно на духу.

— Охъ, ужъ эти хохлы!—вздыхнулъ подъячій. — Ну, говори дальше.

— Такъ молилъ онъ, Іевъ, сказываю, за патріарха Кирила да за архимандрита печерскаго за Елисея Плетенецкаго, — продолжалъ допрашиваемый. — А переманатка и манатя на мнѣ не положена, потому что въ большой иноческой образъ я не постриженъ.

— А какъ тамъ, у хохловъ, крестють?—спросилъ подъячій.

— По-хохлацки, батюшка, по кіевской вѣрѣ: въ крещенье обливають, а не погружаютъ—оттого хохлы и слывуть обливанцы, и муромъ, и масломъ помазуютъ. А постригшися, я не причащался. И я про то отцу своему духовному, что я секраментъ дважды принималъ, сказывалъ и отецъ же духовной положилъ за то на меня епитимью на два года. А идучи я отъ Николы въ Васильковъ, и взяли меня въ полѣ въ полонъ нагайскіе татары, будетъ тому нонѣ лѣтъ съ сорокъ, и свели меня съ протчими половняники въ Крымъ, а изъ Крыму свели въ Козловъ городъ, а изъ Козлова продали на рынкѣ въ Кафу, а изъ Кафы продали въ Царь-городъ, и въ Царь-городѣ посадили на катаргу, и былъ я на катаргѣ лѣтъ съ тридцать; будучи-жъ я на катаргѣ, по середамъ и по пятницамъ и въ великіе посты и мясо и всякую скверность ѣдалъ, а не бусурманенъ и отъ христіанскія вѣры не отступилъ. И будучи на катаргѣ въ морѣ, отгромили насъ шпанскаго короля нѣмцы, и шпанскаго короля владѣтель дука Ференцъ, давъ мнѣ листъ, отъ себя отпустилъ. И будучи я въ шпанской землѣ, у ксенза бывалъ и секраментъ не разъ биралъ, и въ костель хаживалъ, по шпанской католицкой вѣрѣ маливался, по середамъ и пятницамъ и въ великіе посты и въ иные посты мясо и всякую скверность ѣдалъ, а у отца духовнаго не бывалъ. А изъ шпанской земли ушелъ во французскую землю, а изо французскія земли шолъ берегомъ въ тальянскую землю, въ городъ Лигорны, а изъ Лигорны въ Римъ, и былъ въ

Римъ двѣнадцать день, и по папину велѣнію ксенжъ исповѣдывалъ, а секраменту не ималъ; и будучи въ Римѣ, вѣру держалъ римскую и до костела хаживалъ. Изъ Риму пошелъ въ осень, о Михайловѣ дни, въ прошломъ году, и шолъ черезъ Венецію, и въ Венеции взяли меня на катаргу; да съ катарги меня выкупилъ русской человѣкъ, нашего боярина Аванасья Лаврентьича Ордина-Нащокина сынъ, Воинъ Аванасьичъ...

При этомъ имени какъ-будто что дрогнуло въ приказной палатѣ... У подьячаго, записавшаго „распросныя рѣчи“ старца Варсунофія, перо выпало изъ рукъ, и онъ съ изумленіемъ, не то съ испугомъ, вскочилъ съ мѣста; сидѣвшій за другимъ столомъ и что-то писавшій приказный, повидимому дьякъ патриаршаго приказа, сухой и лысый старикъ, тоже вскочилъ съ мѣста...

— Какъ! Воинъ Аванасьичъ, говоришь?—радостно воскликнулъ онъ:— такъ онъ живъ?

— Живехонекъ былъ, милостивецъ батюшко! пошли ему Господь здравія на многи лѣты, — отвѣчалъ допрашиваемый, не понимая въ чемъ дѣло.

— И ты его самъ видѣлъ и говорилъ съ нимъ?—допытывался дьякъ.

— И видѣлъ, батюшко, и говорилъ.

— Слава тебѣ, Господи!—перекрестился дьякъ набожно:— вотъ радость-то будетъ благодѣтелю моему, Аванасью Лаврентьичу! А ужъ по немъ давно и сорокоусты читаютъ по монастырямъ... Ахъ, Господи! Да Расскажи же, старче, какъ дѣло было... Садись, старичокъ... Проша! дай ему стулъ!

Подьячій, котораго называли Прошей, тотъ, что записывалъ со словъ старца „распросныя рѣчи“, метнулся по приказу, досталъ и притащилъ стулъ.

— Садись, садись, старичокъ, да Расскажи по порядку, какъ дѣло было,—волновался и суетился старый дьякъ:—скажывай.

Старецъ сѣлъ на стулъ, набожно перекрестился и началъ свой рассказъ. Всѣ подьячіе сбились около него въ кучу и жадно слушали.

— Дакъ вотъ, милостивцы мои,—говорилъ старецъ-бродяга,—будучи я въ Венецѣ-градѣ, побирался Христовымъ именемъ. Площадь тамъ есть эдакая, что у самаго ихняго собора да около дворца,—а дога у нихъ, у венеційцовъ, какъ-бы во мѣсто царя править. На площади этой столбы высокіе каменные стоятъ, и на одномъ столбѣ этта левъ поставленъ, на другомъ аки-бы ангелъ. Сижу я этта на ступенькахъ подъ ангеломъ и пою тихонько каличій стихъ, что у насъ калики переходжи поютъ Христа-ради для милостыньки,—пою про Лазаря убогаго. Дѣло этта было подъ вечеръ. Коли смотрю, милостивцы мои, пловать по морю чорна лодочка—гондолой у нихъ называется, длинная такая, а на ей храмinka махонька съ дверцой и оконцами, словно-бы часовенка, вся коврами цвѣтными да кистями золотными изукрашена. Многое множество въ Венецѣ-градѣ такихъ гондолъ, потому—городъ на водѣ стоитъ, и коней въ городѣ—ни единого, всѣ пѣши ходятъ либо на носилкахъ, а чаще всего ѣздятъ по морю и по

каналамъ въ этихъ самыхъ гондолахъ. Такъ и плыветъ, говорю, этта така-жъ гондола мимо тѣхъ столовъ, гдѣ я, горюнь-бродяга, сижу. Коли слышу — поетъ кто-то въ гондолѣ той, да таково сладостно и горько, Владычица Богородица! Меня словно ножемъ по-сердцу рѣзануло... Слышу! поетъ... что бы вы думали, соколики мои! О-охъ! поетъ:

„Какъ и не бѣлы-то снѣжки въ полѣ забѣлѣлися!“

— Господи! что со мной было! Пятьдесятъ лѣтъ, какъ меня съ Москвы свезли — да гдѣ пятьдесятъ! — болѣе шестидесяти лѣтъ, мыкаючись по бѣгу свѣту да по катаргамъ, не слыхалъ я этой пѣсни. А ужъ и пѣлъ же онъ — не пѣлъ, а горячими слезами разливался, когда выводилъ:

„А хуть и ночью — всю ночь протоскую!“

— Какъ безумный, голубчики вы мои, вскакиваю я изъ-подъ того ангела, да за гондолой — бѣгу и кричу — кричу и плачу: „остановись! погоди!“ Такъ гдѣ тебѣ! Не дошелъ мой старческій гласъ до гондолы — такъ и скрылась изъ глазъ моихъ... Что я слезъ выплакалъ за ту ночь — и сказать не сумѣю: на катаргѣ, въ крымской и турецкой неволѣ такъ не плакивалъ...

И старикъ дрожащими руками утеръ катившіяся по его морщинистымъ щекамъ слезы. Слушатели видимо были тронуты: у нихъ тоже на глазахъ блеснули слезы.

— Ну, и что-жъ, родимый? — прервалъ общее молчаніе старый дьякъ.

Бродяга какъ бы очнулся и заплаканными глазами взглянулъ на окружавшихъ его подьячихъ.

— Ну, и какъ же потомъ, дѣдушка? Сыскалъ тово, кто пѣлъ? — подсказалъ одинъ изъ подьячихъ.

— Да, точно, милостивцы, — заговорилъ снова бродяга: — проплакавши эдакъ всю ночь, я наутрѣ опять усѣлся подъ тѣмъ ангеломъ. А катарга, на котору меня брали, уходила въ море черезъ два дня: я и былъ свободенъ — бродилъ на волѣ, а бѣжать, колибъ и охота была, некуда, потому — море кругомъ, да и ярлыкъ ужъ у меня на плечѣ красный пришить былъ — катаржный, значить: никто-бъ и не перевезъ меня до берега. Сижу я этта опять подъ ангеломъ, пою про Лазаря убогаго, — кто идетъ — копѣечку дастъ, а то и такъ послушаетъ, послушаетъ, покачаетъ головой, и пойдетъ прочь. Коли эдакъ къ полудню подходить ко мнѣ невѣдомый челоуѣкъ, сталъ поблизъ меня, и слушаетъ, да таково взглядывается въ меня. А тамъ и говоритъ по нашему, по-московски, да таково радостно: „здравствуй — говорить — землячокъ! — какъ тебя Богъ занесъ сюда?“ — Меня отъ этихъ его словъ точно варомъ обварило — узналъ я гласъ, что вчера пѣлъ „не бѣлы снѣжки“. Молодой такой, пригожій, черные волосы и борода. А я стою и слова вымолвить не умѣю: отъ радости у меня языкъ отнялся, потому — въ кой-то годы челоуѣка увидать съ родимой сторонушки. Сердечушко во мнѣ заходило, какъ не выпрыгнуть. — „Сказывай же, — говоритъ, — землячокъ:“

въ неволѣ томишься? полоняникъ? катаржний?“—Я и расскажи ему все про себя, какъ на духу—откуда и слова брались!—„А ты,—пытаю его,—кто, отецкій сынъ?“—„Я,—говоритъ,—бѣженецъ... бѣжалъ съ родимой сторо-нушки... бѣгунъ... въ бѣгахъ обрѣтаюсь, и былъ,—говоритъ,—допрежъ сего сынокъ Аеонася Лаврентьича Ординъ-Нащокина, Воинъ по имени.“—„А почто,—пытаю его,—бѣжалъ отъ отца-матери?“—„Съ тоски сердечной,—гово-рять,—бѣжалъ“. А съ чево та сердечная тоска, про то не сказалъ.—„Какъ же, говорю, думаешь впредь быть, Воинъ Аеонасычъ? Домой воротиться, али здѣсь, на чужбинѣ, останешься?“—„И самъ,—говоритъ,—не знаю: когда я былъ,—говоритъ,—на Москвѣ, то она такъ мнѣ опостылѣла, что не гля-дѣлъ бы ни на что; я,—говоритъ,—и бѣжалъ, потому—за моремъ мнѣ та-кой рай сулили, что я обезумѣлъ, говоритъ. А какъ помыкался, говоритъ, на чужбинѣ—и въ польской землѣ, и во французской, и здѣсь, въ тальян-ской землѣ, въ Венецѣ,—да такая,—говоритъ,—тоска лютая къ сердцу подступила, что хоша съ мосту да въ воду, и то впору.“—„Дакъ отчего-жъ,—говорю,—не воротиться къ отцу-матери?“—„Нельзя, говоритъ, этого сдѣлать: мнѣ ужъ,—говоритъ,—на Москву путь-дороженька заказана: на Москвѣ,—говоритъ,—меня плаха ждетъ. А ты,—говоритъ,—старче, развѣ не хочешь на родную сторонушку нести старья кости свои?“—„Какъ,—говорю,—не хо-тѣть?—сорокъ лѣтъ плачу по святой Руси; а вонъ опять меня ждетъ ка-тарга да и смерть въ морѣ незнаемомъ“. Жаль ему меня стало.—„Я,—гово-рять,—землячокъ, выкуплю тебя изъ неволи: иди,—говоритъ,—на святую Русь да поклонись ей отъ меня горячими слезами“. И самъ заплакалъ, а я за нимъ.—„Поклонись,—говоритъ,—отъ меня, блуднаго сына, батюшкѣ моему роженому—можетъ, онъ проститъ меня. Да поклонись еще,—гово-рять“,—а кому—такъ и не кончилъ: еще пуще залился горячими слезами.

Старикъ замолчалъ и задумчиво опустилъ голову.

— Ну, и чтожъ, дѣдушка?—спросилъ кто-то.

— Выкупилъ, точно—выкупилъ меня изъ неволи, пошли ему Господь здравіе и спасеніе!—отвѣчалъ бродяга.

— А самъ въ Венецѣ остался?—спросилъ старый дьякъ.

— Въ Венецѣ, батюшка, да и въ Римѣ хотѣлъ побывать.

— А ты самъ какъ же?—спросили его.

— Я, спасибо ему, Воину Аеонасычу—онъ мнѣ и денегъ на дорогу далъ—я изъ Венеци побрелъ въ цысарскую землю, а изъ цысарской земли вышелъ въ Польшу, въ Аршавъ-городъ, а изъ Аршава-города въ Литву, а ужъ изъ Литвы на русской рубежъ: тамъ меня и взяли за при-ставы и отправили на Москву, въ „разрядъ“, а изъ „разряда“ къ вамъ.

— Ну, спасибо тебѣ, дѣдушка, за добрыя вѣсти,—сказалъ старый дьякъ. — Ты, Проша, пропиши до конца распросныя рѣчи, а я побѣгу обрадовать благодѣтеля своего, Аеонася Лаврентьича. Шутка-ли! схоро-нилъ сына, поминалъ и сорокоусты заказалъ, а онъ—на поди!—живехо-некъ... Охъ, младость, младость!

Онъ торопливо вышелъ изъ приказа, но опять скоро воротился.

— Отъ радости чуть было не запомнилъ, — говорилъ онъ впопыхахъ. — Ты, вѣрно, голоденъ, дѣдушка? — обратился онъ къ бродягѣ.

— Да, батюшка, самъ вѣдаешь, чѣмъ мы, узники, кормимся — отъ Бога да отъ добрыхъ людей.

— Такъ вотъ что, Проща, — сказалъ дякъ: — пока я сбѣгаю къ Аванасью Лаврентичу, ты спосылай въ обжорный рядъ, да хорошенько накорми дѣдушку. Не ровенъ часъ ево потребуешь къ себѣ на глаза Аванасій Лаврентичъ, — чтобъ онъ здѣсь былъ.

И дякъ поспѣшно удался.

X.

„Твой сынъ — воръ!..“

Дякъ патриаршаго приказа, желая первымъ сообщить Нащокину радостную вѣсть, чуть не загналъ лошадь возчика, котораго онъ нашелъ около приказа.

— Гони въ мою голову! — торопилъ онъ его: — гони, какъ на пожаръ, — прибавку получишь знатную!

И возчикъ гналъ, хлесталъ свою лошадь и кнутомъ и возжами, и даже самъ привскакивалъ на облучкѣ.

— Соколикъ! вывози! — грабуютъ! — кричалъ онъ.

Этотъ окрикъ на московскихъ улицахъ никого тогда не удивлялъ: грабежи на улицахъ въ городѣ, особенно по вечерамъ, были явленіемъ обыкновеннымъ. И оттого лошади приучены были къ такому своеобразному понуканью, и когда слышали крикъ ямщика — „грабуютъ!“ — неслись стремглавъ. Ямщицкое „грабуютъ“ до настоящаго времени удержалось на нашихъ проселкахъ и даже на почтовыхъ трактахъ.

— Ой, батюшки, грабуютъ! рѣжутъ! — вопилъ извозчикъ, несясь по Москвѣ.

Къ счастью, для усерднаго дяка, Нащокинъ былъ дома.

Уже одно появленіе гостя въ неурочный часъ почему-то взволновало Нащокина; но радостный видъ дяка нѣсколько успокоилъ его.

— Батюшка Аванасій Лаврентичъ! вамъ Господь милость свою посылаетъ! — выпалилъ онъ, кланяясь и крестясь на передній уголъ съ образами.

— Спасибо, Карпъ Ивановичъ, на добромъ словѣ, — отвѣчалъ хозяинъ: — Господь и великій государь милостями своими меня не оставляютъ; токмо...

— Знаю, знаю, батюшка! — безцеремонно перебилъ его гость: — только нонѣ эту токму приходится бросить — токму-ту эту.

— Какую токму, Ивановичъ? — не понялъ Нащокинъ.

— Да объ ней, объ этой самой токмѣ ты самъ сичасъ упомянулъ, — хитро улыбаясь, отвѣчалъ гость: — ты говорилъ о милостяхъ, благодарилъ Бога и великаго государя; токмо — говоришь... Знаю я эту токму — это объ

сынѣ, объ Воинѣ Аѳанасѣ — токмо-де ево у меня Богъ взять... Анѣ нѣтъ! Нонѣ твоя токма въ нѣтъхъ обрѣтается.

Нащокинъ началъ было уже думать, что дьякъ съ ума сошелъ, какъ тотъ вновь выпалилъ:

— Воинъ Аѳанасѣ живехонекъ! поклонъ тебѣ прислать!

Нащокинъ растерялся: жгучая радость охватила было его, но въ тотъ же моментъ онъ еще болѣе убѣдился, что бѣдный дьякъ дѣйствительно рехнулся. Онъ испуганно попятился назадъ.

— Молись Богу, Аѳанасій Лаврентѣйчъ,—продолжалъ дьякъ:—сынокъ твой въ Венеци-градѣ... здоровехонекъ... поклонъ тебѣ прислать.

— Что ты! что ты!—снова испугался Нащокинъ:—такъ это правда?—Господи! да какъ же это? Ты отъ кого это узналъ?

— Семинаутъ, батюшка Аѳанасій Лаврентѣйчъ, сымалъ я въ приказѣ распросныя рѣчи съ одново полоняника...

— Съ полоняника, говоришь? кто-жъ онъ такой?

— Московской человѣкъ—въ полону былъ сорокъ лѣтъ въ турецкой землѣ, и въ шпанской землѣ...

— Ну, а какъ же сынъ-отъ мой?

— Да Воинъ-отъ Аѳанасѣ въ Венеци! Да ты погоди малость — не сшибай меня съ рѣчей—дай толкомъ, по ряду все разсказать. Полоняникъ-ту этотъ былъ въ турецкой землѣ на катаргѣ тридцать лѣтъ, да съ катарги оттромили ево шпанскаго короля нѣмцы, и жилъ онъ въ шпанской землѣ, а изъ шпанской земли ему отпущеніе дали, потому — старъ человѣкъ; и пришелъ въ италійскую землю, въ Римъ-городъ, а изъ Риму по папину велѣнью въ Венецію пришелъ. Вотъ въ этой самой Венециѣ онъ и столкнулся съ сыномъ твоимъ богоданнымъ. Да и сустрѣлись-ту они чудно таково, божимъ изволеніемъ — и разсказать тебѣ, Аѳанасій Лаврентѣйчъ, дакъ не повѣришь... И „не бѣлы-то снѣжки“ — и „ночку-ту не ночую“... „а хутъ и ночую—всю ночь протоскую“...

Нащокину опять страшно стало: спятилъ съ ума старый дьякъ! Какъ же такъ? И Венеция, и „не бѣлы снѣжки“, и сынъ его Воинъ.

— Онъ-то, Воинъ Аѳанасѣйчъ, и выкупилъ старца Варсунофія съ катарги,—продолжалъ дьякъ.

— Да кто этотъ Варсунофій?—допытывался Нащокинъ.

— Да полоняникъ, говорю тебѣ толкомъ: онъ и поклонъ тебѣ отъ сына принесъ.

— Гдѣ-жъ онъ, полоняникъ твой?

— У меня, въ патріаршемъ приказѣ сидитъ, да теперь, поди, жретъ — я велѣлъ накормить ево съ обжорново ряду. Велишь, милостивецъ, я самъ его къ тебѣ приволоку... семинаутъ приволоку... пуцай самъ тебѣ разскажетъ и про „не бѣлы снѣжки“, и про сына.

Соблазнъ былъ слишкомъ великъ: Нащокинъ начиналъ вѣрить.

— Ну, волоки ево ко мнѣ,—сказалъ онъ:—да допрежь выпей у меня, подкрѣпись, пойдемъ въ столовую избѣ.

Черезъ нѣсколько минутъ дьякъ уже опять гналъ по Москвѣ.

— Соколики, грабуютъ! рѣжутъ!—опять слышалось вдоль Неглинной.

Наконецъ, полоняникъ былъ привезенъ къ Нащокину и вторично разсказалъ ему свою безконечную Одиссею. Съ неизъяснимымъ волненіемъ слушалъ его Аванасій Лаврентьевичъ. Надо знать состояніе умовъ тогдашней Руси, смутное и ужасное представленіе москвичей о заморщинѣ, чтобы понять душевное потрясеніе отца, узнаваго, что сынъ его, одинокій, покинувшій родину, бродитъ по этой незнаемой чуждальной сторонѣ. Ести и имѣлось тогда, даже относительно у образованныхъ москвичей, смутное представленіе о „Европіи“, то развѣ только по „Лусидариусу“, изъ котораго москвичи узнавали, что гдѣ-то за Аглицкой землей солнце доходитъ до „запада“ и опускается въ море, что великая рѣка Гангъ течетъ изъ рая и приноситъ съ собою какія-то райскія овощи; что есть люди съ песьими головами, или одноногіе, или даже безъ головъ съ глазами на плечахъ и т. п. Конечно, Ординъ-Нащокинъ, умный дипломатъ и по тогдашнему времени западникъ, былъ выше этихъ дѣтскихъ представленій о „Европіи“; онъ зналъ, что такое „Вениця“; но—знать, что тамъ гдѣ-то, за рубежомъ, въ качествѣ бѣглеца и „вора“ (по тогдашнему „воръ“—государственный преступникъ), скитается его милый Воинъ, — это было выше его силъ.

— Ну и какъ же, говоришь ты, старче божій, плакалъ мой сынъ, когда прощался съ тобой?—спрашивалъ онъ своего дорогого гостя.

— Плакалъ, бояринъ, горько плакалъ.

— И велѣлъ мнѣ кланяться?

— Земно,—говоритъ,—кланяюсь моему богоданному родителю и прошу говорить—его родительскаго благословенія.

— Ну, а насчетъ сердечной тоски?

— Сказывалъ и о сердечной тоскѣ, а въ, чемъ и съ чего та его сердечная тоска—тово не сказалъ.

Нащокинъ начиналъ догадываться, что это была за „сердечная тоска“. Въ послѣднее время онъ что-то замѣчалъ за сыномъ: его частая задумчивость, томный взглядъ, иногда безпричинная ласковость къ нему, а потомъ видимая тоска,—ясно, что у него было что-то на сердцѣ...

„Была зазноба“, рѣшилъ онъ теперь въ умѣ: — „но для чево было бѣжать?“

„Влудный сынъ!“ вспомнилось ему „комидійное дѣйство“, которое недавно сочинилъ Симеонъ Полоцкій и приносилъ ему для прочтенія.

— Ну, а про то не говорилъ, чтобъ воротиться ему съ повинной? — который уже разъ спрашивалъ огорченный отецъ.

— Говорилъ — какъ не говорилъ! Да только,—говоритъ,—мнѣ въ Москву ужъ путь-дороженька заказана: не видать-де мнѣ родной стороны.

— Что такъ?

— А плаха,—говоритъ,—ждетъ меня на Москвѣ.

— А про то не говорилъ, кто его провель за рубежъ?

Теперь Нащокину вспомнился прошлогодній разсказъ порубежнаго старика, что въ лѣсу надъ рѣчкою Городнею лыжи дразь: онъ говорилъ, что изъ лѣсу тогда, весной, о Николинѣ днѣ, трое выѣхало за рубежъ, а одинъ изъ нихъ — одвуконь. Ясно, что ему указали дорогу за рубежъ; у него были соучастники; но кто? поляки? не учителя ли изъ польскихъ полоняниковъ подвели такъ? Ну, заплатили за хлѣбъ-соль.

— А про царскія деньги ничего не сказывалъ? — снова допытывался онъ.

— Нѣту, бояринъ, про деньги не было рѣчи; а что мнѣ далъ малость на дорогу—это точно; да и меня съ катарги выкупилъ, пошли ему Господь здравіе.

Хотѣлъ было Нащокинъ спросить и про бумаги изъ приказа тайныхъ дѣлъ, что царь поручилъ Воину отвезти къ отцу; но раздумалъ. Конечно, сынъ его не говорилъ объ этомъ съ полоняникомъ — никакого резону не было. Бумаги, конечно, онъ уничтожилъ, если не передалъ полякамъ. А если передалъ, то это усугубляетъ его страшное преступленіе. Не потому ли такъ неподатливы были польскіе комиссары, коронный канцлеръ Пражмовскій и гетманъ Потоцкій, при заключеніи мира въ Андрусовѣ? Эта мысль терзала Нащокина. Что можетъ подумать царь, когда узнаетъ о преступленіяхъ и предательствѣ его сына? Продать отечество! За что? изъ-за чего?

„Сердечная тоска...“ Тутъ что-то непонятное... И почему княжна Наталья Прозоровская, такая юная, такая красавица, безъ всякой видимой причины пошла въ монастырь — постриглась въ шестнадцать лѣтъ? Съ какой стати самъ Прозоровскій, князь Семень, такъ часто спрашивалъ его о Воинѣ—есть ли какіе слухи? живъ ли онъ? Вотъ откуда эта „сердечная тоска“ и это постриженіе княжны.. Что между ними было? Почему такъ все склалось? За что, для чего погубили себя — и тотъ и эта?

Но всего больше терзала его мысль о томъ, что его Воинъ измѣнилъ Россіи, царю, который такъ былъ милостивъ къ нему? Какъ теперь онъ, Аѳанасій, покажется на глаза великому государю? Нечего сказать! воспиталъ сына на позоръ себѣ, на позоръ всей Россіи. Что теперь скажутъ его враги, этотъ „Тараруй“ и вся его роденка, когда узнаютъ о преступныхъ дѣлахъ его сына? А они скоро узнаютъ.

Ужъ лучше бы его, въ самомъ дѣлѣ, убили! Не было бы тогда безчестія на его сѣдую голову. Всѣ бы жалѣли, какъ и теперь жалѣютъ, бѣднаго отца. А то теперь вся Москва заговорить: „У Аѳанасья, у царскаго любимца и гордеца, сынъ—воръ! — воровствомъ ушелъ за море и за моремъ воруетъ! Не фыркалъ было Аѳанасью на Москву, Москва-де старыми порядками держится—надо все новое въ ней завести, съ иноземнаго, съ заморщины! Вотъ тебѣ и завелъ—родного сына воровъ съдѣлалъ! Во Псковѣ мужиковъ во мѣсто воеводы посадилъ. Хороші новшества, нечего сказать! Ай да Аѳанасій Ординъ-Нащокинъ!“

Казалось, онъ уже слышалъ эти укоризны, видѣлъ злорадныя лица враговъ, перешоптыванья, лукавыя улыбки...

И зачѣмъ явился этотъ полоняникъ? зачѣмъ разсказать все?

— Ахъ, зачѣмъ его не убили!—невольно вырвалось у него отчаянное восклицаніе.

„Воръ, твой сынъ воръ!“ шумѣло у него въ ушахъ.

Теперь онъ, казалось, возненавидѣлъ этого старца-полоняника, которому сначала такъ было обрадовался. Онъ, этотъ старикъ, принесъ ему роковую вѣсть—принесъ позоръ на его голову! Онъ, казалось, ненавидѣлъ и дьяка патриаршаго приказа, способствовавшего перенесенію къ нему роковой тайны. Пусть бы лучше служили сорокоусты по его сынѣ, чѣмъ теперь будутъ благовѣстить вездѣ о его позорѣ.

Сказать дьяку, чтобъ все это замялъ, что никакого полоняника не допрашивали, уничтожить самыя „распросныя рѣчи“, а его самого сослать въ такое мѣсто, куда воронъ костей не занавивалъ?

Да, сослать, „распросныя рѣчи“ сжечь, дьяку ротъ запечатать! Онъ, Аванасій Ординъ-Нащокинъ, все это можетъ сдѣлать—онъ силенъ въ московскомъ государствѣ, онъ правая рука царя...

Къ вечеру Ординъ-Нащокинъ слегъ—онъ не выдержалъ страшнаго душевнаго потрясенія.

Въ горячечномъ бреду онъ шепталъ: „какъ я покажусь на глаза великому государю!.. Онъ скажетъ мнѣ: Аванасій! твой сынъ—воръ!..“

XI.

„Возьми одръ свой и ходи ..“

Между тѣмъ, наверху, у царя, вотъ что происходило.

Алексѣю Михайловичу въ тотъ же вечеръ успѣли доложить, что сынокъ Аванасія Лаврентьевича не убитъ и не пропалъ безъ вѣсти, а проявился за моремъ, во градѣ-Веницѣ; что тамъ онъ гуляетъ въ нѣмецкомъ платьѣ, „пьетъ богомерзкую табакъ“ и играетъ въ зернь; что словами своими безчеститъ московское государство и его, великаго государя; что онъ вывезъ съ собою за море столько денегъ, что швыряетъ ими направо и налѣво и выкупаетъ съ каторги полоняниковъ; что, наконецъ, собирается въ Римъ, къ папѣ, чтобъ перейти тамъ въ папину вѣру, а свою православную вѣру ногами потоптать. Говорили намеками, что Аванасьевы новшества къ добру не приведутъ.

Вообще все это говорилось осторожно, съ оглядкою—неровень-де часъ..

Алексѣй Михайловичъ слушалъ всѣ эти подходы, но своего мнѣнія не высказалъ, хотя и выразилъ сожалѣніе объ отцѣ, обманувшемся въ любимомъ сынѣ.

Его только одно удивляло—почему самъ Аванасій не явился къ нему, чтобъ лично доложить обо всемъ, что онъ узналъ.

Потому на другой день, рано утромъ, государь приказалъ позвать къ себѣ Ордина-Нащокина. Посланный воротился и доложилъ слѣдующее: Аѳанасій Лаврентьевичъ такъ убитъ, что опасно занемогъ и не можетъ головы поднять съ подушки; что всю ночь онъ метался и въ бреду все повторялъ: какъ онъ теперь явится великому государю на очи. Боятся, какъ бы старикъ со стыда и горя, когда придетъ въ себя, рукъ на себя не наложилъ.

Это извѣстіе такъ встревожило государя, что онъ тотчасъ же пошелъ на половину царицы, чтобъ посоветоваться. Въ такихъ дѣлахъ женскій умъ можетъ иногда скорѣе разобраться, чѣмъ мужской: въ дѣлѣ Нащокина затрогивалась область семьи, область сердца; а тутъ женщина — дальновиднѣе мужчины и найдетъ разгадку тамъ, гдѣ мужчина, можетъ быть, и искать не будетъ. Онъ же такъ любилъ Аѳанасія, что ему страшно было потерять его.

У царицы онъ засталъ свою любимицу—Софьюшку. Юная царевна все носилась съ своимъ „Луисидаріусомъ“. Онъ ей просто спать не давалъ—такъ эта книга волновала ея воображеніе. Теперь ей не давалъ спать вопросъ о томъ, гдѣ собственно находится рай на землѣ; а что онъ былъ на землѣ—изъ „Луисидаріуса“ это ясно какъ день.

— Какъ же, мама,—горячилась она,—тутъ именно глаголетъ „Луисидаріусъ“, что первая часть міра есть Азія, въ ней же восходитъ солнце, отъ рая же исходитъ источникъ единъ, изъ того источника текутъ четыре рѣки: едина нарицается Виссонъ; егда же изыдетъ изъ рая, тогда именуется Гангя... Ну, видишь, мамочка, на землѣ рай.

— Кажись бы, на землѣ,—неувѣренно отвѣчала Марья Ильишна.

— Такъ, мамочка,—продолжала Софья,—ну, слушай: „вторая рѣка Гедеонъ; егда же изыдетъ изъ рая, нарицается Нилъ; третія Тигръ; четвертая Евратъ“.

— Такъ, такъ, милая,—задумчиво соглашалась царица.

— Какъ же, мамочка, въ рай попасть? можно?—приставала неугомонная дѣвочка.

— Нѣтъ, нельзя, милая: вѣтъ Богъ Адама и Еву изгналъ изъ рая.

— Такъ что-жь, мама! Онъ согрѣшилъ—яблочко съѣлъ, а мы не ѣли.

Царица невольно разсмѣялась.

— Дурочка еще ты—вотъ что.

— Нѣтъ, мама, а ты слушай,—настаивала Софья:—тутъ пишется, что до рая человѣку сушу во плоти дойти невозможно...

— Видишь?—перебила ее Марья Ильишна.

— Нѣтъ, а ты слушай:—понеже, —говоритъ,—облежать рай великія горы и чащи лѣсныя; подлѣ оныхъ лѣсовъ великія поля, широты и долготы презельныя, и на тѣхъ поляхъ много превеликихъ драконовъ и иныхъ лѣсныхъ звѣрей; потомъ начнется ближе всѣхъ къ тѣмъ мѣстамъ край земли—Индія земля и великая рѣка Индусъ, яже течетъ изъ горы Каука-зосы и течетъ въ Чермное море. Въ тое землю трудно дойти человѣку, понеже на единой половинѣ въ Вендейское море течетъ рѣка превеликая

Идусь, и прилежить ко границѣ великое море, яко невозможно по немъ перейти въ четыре лѣта "... Такъ какъ же, мамочка,—волновалась Софья,—коли невозможно въ четыре лѣта перейти сіе поле, то въ пять можно? Говори же, мама, можно?

За этимъ горячимъ разговоромъ засталъ ихъ Алексѣй Михайловичъ.

— Чево Софья-ту изъ себя выходитъ?—спросилъ царь.

— Да все вотъ рай хочеть найти,—улыбнулась государыня.

— Рай?—обратился Алексѣй Михайловичъ къ дочери:—ужь и ты не хочешь ли по Воиновымъ слѣдамъ идти?

— По какимъ Воиновымъ слѣдамъ, батюшка царь?—удивилась Софья.

— А сына Аванасьева Ордина-Нащокина.

— А что, батюшка?—встрепенулась царевна.

Она знала, что Воинъ пропалъ безъ вѣсти. Она знала этого Воина, красиваго молодца, часто его видѣла и во дворцѣ, и въ церкви, и была къ нему, по своему, конечно, по-дѣтски, очень неравнодушна. А потому она очень покраснѣла, когда отецъ упомянулъ его имя.

— Что-жъ Воинъ?—не глядя на отца, переспросила она.—Вить его давно нѣтъ на свѣтѣ.

— Нѣтъ, дочушка, здравствуетъ, и такъ же, какъ ты вотъ, дорогу въ рай отыскиваетъ,—серьезно отвѣчалъ Алексѣй Михайловичъ.

И царица, и царевна посмотрѣли на него въ недоумѣніи.

— Ты шутишь, государь?—спросила первая.

— Не до шутокъ мнѣ, матушка-царица,—грустно отвѣчалъ царь.—

Я пришелъ къ тебѣ объ этомъ именно и посоветовать. Воинъ отыскался, живъ и невредимъ.

— Ахъ, батюшка!—невольно воскликнула Софья.

— Подлинно говорю—живъ,—продолжалъ Алексѣй Михайловичъ,—и нонѣ во градѣ Венецѣ обрѣтается. Отай ушелъ онъ изъ московскаго государства, бѣженцемъ, какъ блудный сынъ, и своимъ воровствомъ отца убилъ: Аванасій, узнавъ про воровство сына, зѣло занемогъ. Да и каково отцу, и то надо сказать. Всю ночь, нонѣ, говорятъ, Аванасій-ту огнемъ горѣлъ и метался: „какъ я, говорить, теперь великому государю на очи покажусь?“ Смерти бѣдный старикъ просить.

— Ахъ, онъ, горемычный!—соболезновала царица.

— И мнѣ ево жалъ, ахъ, какъ жалъ!—повторялъ Алексѣй Михайловичъ.—А какъ поправить дѣло? Что дѣлать—я и ума не приложу.

Царица задумалась. Всѣ молчали. Софья тихо ласкалась къ отцу и вопросительно глядѣла въ его задумчивые глаза.

— Какъ ни какъ, а старика надоть пожалѣть,—сказала Марья Ильишна:—вѣрный старикъ, царства твоего и твоего государскаго покоя рачитель—ево побережь надоть, утѣшить.

— И я такъ думаю, Маша,—согласился „тишайшій“.

— А съ сыномъ—расправа послѣ,—пояснила царица.

— А что Воину будетъ, батюшка?—тревожно спрашивала отца Софья.

Она была дѣвочка умная, всегда любила быть съ большими, и потому она много знала, что говорилось и дѣлалось при дворѣ: оттого, можетъ быть, она и вышла изъ-роду вонъ—стала небывалымъ явленіемъ среди женщинъ XVIII вѣка.

Алексѣй Михайловичъ не отвѣчалъ на ея вопросъ, а только погладилъ ея головку.

— Ты права, Маша, повторилъ онъ: утѣшимъ старика, и понѣже, ни мало не помедля: я напишу ему самъ, успокою его. А то долго ли до грѣха! Помретъ старикъ съ печали и со страху. Пойду—напишу.

И Алексѣй Михайловичъ поспѣшилъ къ себѣ.

— Вонъ оно, дочка, что значить рай-ту искать,—сказала Марья Ильишна.

— А развѣ, мама, онъ рай искалъ?—встрепенулась Софья.

— Вѣстимо. Тѣсно, вишь, и душно ему стало въ московскомъ государствѣ: пойду-де и я поищу, гдѣ солнце встаетъ и гдѣ оно заходитъ. Ишь новый Иванъ-царевичъ выискался—поѣхалъ жаръ-птицу искать да молодеватые яблоки! Живой-ту воды не нашолъ, а мертвой-отъ водицы родителемъ прислалъ. Утѣшилъ старика!

— А что ему за это будетъ, мама?—робко спросила Софья.

— Ну, не похвалить за это государь.

— Казнить велить?

— Не знаю; а только не похвалить.

— Ево, мама, привезутъ изъ Венеціи?

Софья что-то вспомнила и бросилась къ своей излюбленной книгѣ—къ „Лусидаріусу“. Она торопливо перевернула нѣсколько страницъ и остановилась.

— Такъ вонъ онъ гдѣ теперь, Воинъ, въ Венеціи,—сказала она, что-то соображая; потомъ прочла: „Тамъ Венеція, уже созда царь Упутусъ, оттолъ вышла рѣка Рынъ, и течетъ по французской землѣ...“ Ахъ, мама, куда онъ зашелъ! Вотъ молодецъ!

— Смотри, какъ бы этому молодцу не пришлось отвѣдать этой Венеціи въ Москвѣ,—замѣтила царица.

Но Алексѣй Михайловичъ оказался добрее, чѣмъ думала Марья Ильишна.

Когда Ординъ-Нащокинъ, послѣ мучительно проведенной ночи и тревожнаго утра, къ полудню забылся сномъ, ему принесли отъ царя письмо.

Сонъ нѣсколько подкрѣпилъ несчастнаго старика. Открывъ глаза, онъ увидѣлъ передъ собою улыбающееся лицо Симеона Полоцкого.

— Великій государь тебѣ милость прислалъ, Аванасій Лаврентіевичъ,—сказалъ онъ съ южно-русскимъ акцентомъ:—бальзамъ на раны.

— Какую милость?—испуганно спросилъ Нащокинъ.

— Говорю: бальзамъ на раны,—повторилъ вкрадчиво хохолъ:—возьми одръ твой и ходи; прочти сіе.

Онъ подаль ему письмо Алексѣя Михайловича.

Руки Нащокина дрожали, когда онъ распечатывалъ его; но когда сталъ

читать, слезы умиленія полились у него изъ глазъ: царь утѣшалъ его, просилъ не предаваться отчаянiю, оправдывалъ даже его преступнаго сына.

Нащокинъ не могъ долѣе сдерживать себя: онъ вслухъ, восторженно прочелъ окончанiе царскаго письма:

„Твой сынъ—человѣкъ молодой (читалъ онъ, глотая слезы)—хочетъ созданiе Владычье и руку его видѣть на семъ свѣтѣ, якоже и птица летаетъ сѣмъ и овамо, и, полетавъ довольно, паки къ гнѣзду своему прелетитъ. Такъ и сынъ твой вспомнеть гнѣздо свое тѣлесное, наипаче же душевное привязанiе ко святой купели и къ тебѣ скоро возвратится“.

Нащокинъ съ благоговѣнiемъ цѣловалъ посланiе царя, цѣловалъ и плакалъ.

— Возьми одръ твой и ходи,—повторялъ Симеонъ Полоцкiй.

XII.

Слѣпцы вонатые

Во все время, пока продолжались переговоры русскихъ или вѣрнѣе—московскихъ пословъ съ польскими комиссарами о мирѣ, военныя дѣйствiя не прекращались ни съ той, ни съ другой стороны; но только, если можно такъ выразиться, боевая линiя, съ весны 1665 года, передвинулась гораздо южнѣе. Война шла почти исключительно, можно сказать въ предѣлахъ правобережной Украины, къ западу и югу отъ Кiева.

Въ то время правобережная Украина совершенно огнала отъ Малоросiи и имѣла своихъ гетмановъ, польскихъ или турецкихъ сглавленниковъ, какъ Юрiй Хмельницкiй, Тетеря и другiе. Вся же лѣвобережная Украина и Запорожье находились подъ главенствомъ гетмана Брюховецкаго, посланцевъ котораго мы уже видѣли въ Москвѣ, весною 1664 года, на аудiенцiи у Алексѣя Михайловича въ сѣловой избѣ, гдѣ мы въ первый разъ увидѣли и Воина Ордина-Нащокина.

Весною 1665 года, Брюховецкiй съ нѣсколькими украинскими полками и великорусскими ратными людьми перешелъ на правую сторону Днѣпра. Съ польской же стороны противъ него шелъ знаменитый польскiй полководецъ Чарнецкiй съ неменѣе знаменитымъ короннымъ хорунжимъ Яномъ Собѣскимъ, впоследствии королемъ Рѣчи Посполитой, съ Махновскимъ, съ гетманомъ Тетерею и другими.

Чарнецкiй двигался по направленiю къ Суботову, нѣкогда бывшему владѣнiю Богдана Хмельницкаго, гдѣ когда-то этотъ послѣднiй держалъ у себя въ плѣну этого самаго Чарнецкаго, посла поляковъ при Желтыхъ-Водахъ.

Брюховецкiй же въ это время стоялъ ниже Чигирина, у Бужина, гдѣ тогда находился и запорожскiй кошевой Сѣрко съ своими казаками.

Весеннiй день близился къ вечеру, когда одинъ изъ передовыхъ отрядовъ польскаго войска, среди пересѣкающихся лѣсныхъ дорожекъ, тропъ

и болотъ, какъ казалось его предводителю, сбился съ пути. Въ это время на одной изъ боковыхъ тропъ, изъ-за болота, показалось трое путниковъ. Это были бродячіе нищіе, слѣпцы, которыхъ тамъ называютъ „старцами“ и которые, какъ великорусскіе „калики перехожіе“, бродятъ по ярмаркамъ и распѣвають духовные стихи, думы, а иногда и сатирическія пѣсни, по желанію слушателей. Иногда они поютъ и подъ звуки лиры, кобзы или бандуры, почему и называются то лириками, то кобзарями, то бандуристами.

Завидѣвъ слѣпцовъ, польскіе жолнеры остановили ихъ. Двое изъ нихъ были слѣпые—одинъ старикъ, другой помоложе; а третій—мальчикъ, ихъ „поводатырь“ или „мѣхоноша“. У всѣхъ у нихъ было въ рукахъ по длинному посоху, а за плечами крестъ-на-крестъ висѣли сумы для подаяній.

— Вы здѣшніе, хлопцы?—спросилъ ихъ усатый шляхтичъ со шрамомъ на щекѣ.

— Тутошни, панове,—отвѣчалъ старшій слѣпецъ.

— А дорогу до Суботова хорошо знаете? — спрашивалъ дальше шляхтичъ.

— Какъ же не знать, панове?—отвѣчалъ младшій:—вы сами, бувайти здорови, вѣдаете, что жебрака, какъ и волка, ноги кормятъ: какъ волкъ знаетъ въ лѣсу всѣ дорожки, такъ и слѣпцы жебраки.

Нѣкоторые жолнеры разсмѣялись.

— И точно волки, а малецъ совсѣмъ волчонкомъ смотреть. — Ты чей?

— Ничей,—бойко отвѣчалъ мальчикъ.

— Какъ ничей?—удивился шляхтичъ.

— Ничей, пане: моего батька татары зарѣзали, а мать въ полонъ увели.

— А это за то, что вы противъ пановъ все бунтуете.

— Мы не бунтуемъ, пане.

— Ладно! Такъ показывайте намъ дорогу до Суботова. А сегодня мы туда дойдемъ?

— Не скажу,—отвѣчалъ старшій.

— Какъ не скажешь, пся крѣвь!—вспылилъ шляхтичъ.

— Не скажемъ,—повторили оба слѣпца.

Шляхтичъ замахнулся—было палашомъ, чтобъ ударить того или другого за дерзкій отвѣтъ, какъ его почтительно остановилъ одинъ изъ городскихъ казаковъ, родомъ украинецъ.

— Они, вашмость, не не хотятъ сказать, а не знаютъ,—сказалъ онъ:—это такая хлопская рѣчь: когда они чего не знаютъ, то говорятъ — „не скажу“.

— Такъ-такъ, паньство,—подтвердилъ старшій слѣпецъ:—ужъ такая у насъ, у хлоповъ, рѣчь поганая. А сдается мнѣ, панове, что сегодня вы не дойдете до Суботова—далеконько еще.

— Такъ маршъ впередъ!—скомандовалъ шляхтичъ.

Скучившіся-было около слѣпцовъ жолнеры разступились, и отрядъ двинулся. Гдѣ-то позади какой-то хриплый голосъ затянулъ:

Wyszła dziewczyna wyszła jedyna,
Jak różowy kwiat,

и тотчасъ же оборвался. Слышны были шутки, перебранки, смѣхъ.

— А пусть жебраки запоютъ какую-нибудь думу—все будетъ веселѣй идти,—предложилъ городской казакъ съ огромной серьгой въ ухѣ.

— И то правда! пусть затянутъ свою хлопскую думу, — согласились другіе.— Эй, вы, слѣпаки! затяните-ка думу, да хорошую!

— Какую-жъ вамъ, панове?—отвѣчалъ старшій слѣпецъ, не оглядываясь, но ощупывая посохомъ путь.

— Какую знаете,—былъ отвѣтъ.

Слѣпцы тихонько посовѣтывались между собою, и младшій изъ нихъ, вынувъ изъ-подъ полы своей ободранной „свитины“ бандуру, сталъ ее налаживать и тихо перебирать пальцами струны. Скоро онъ затянулъ одну изъ любимѣйшихъ для каждаго украинца думу—„Невольничій плачъ“,—думу, содержаніе и мелодія которой хватали за душу каждаго, потому что въ то время чуть ли не изъ каждой украинской семьи кто-либо томился въ крымской или въ турецкой неволѣ. Скоро и второй голосъ присоединился къ первому, и оба голоса, равно какъ и мелодія думы, буквально рыдали.

Дума говорила о томъ, что не ясный соколъ плачетъ-выкрикиваетъ, а то сынъ къ отцу-матери изъ тяжелой неволи въ города христіанскіе поклонъ посылаетъ, яснаго сокола роднымъ братомъ называетъ: „соколъ ясный, братъ мой родненькій!—ты высоко летаешь, ты далеко видишь, отчего ты у моего отца и матери никогда въ гостяхъ не побываешь? Полети ты, соколъ ясный, братъ мой родненькій, въ города христіанскіе, сядь—упади у моего отца и матери передъ воротами, жалобно прокричи, про мою казачью участь припомани. Пусть отецъ и матушка мою участь казачью узнаютъ, свое добро-имущество съ рукъ сбываютъ, богатую казну собираютъ, головоньку мою казачью изъ тяжелой неволи вывозяютъ! Потому что какъ станетъ Чорное море выгравать, такъ не будутъ знать ни отецъ, ни матушка, въ которой каторгѣ меня искать—въ пристани ли Козловской, или въ Цареградѣ на базарѣ. А тутъ разбойники, турки-янычары, станутъ на насъ, невольниковъ, набѣгать, за Красное море въ Арабскую землю продавать, будутъ за насъ серебро-злато, не считая, и сукна дорогія поставами, не мѣряя, безъ счету брать“...

Воодушевленіе пѣвцовъ росло все больше и больше. Слушателямъ, особенно же изъ городскихъ казаковъ, которые всѣ были чистѣйшіе украинцы, казалось, что это поютъ и плачутъ сами невольники, измученные, ослѣпленные мучителями-янычарами, что дѣйствительно они обращаются къ соколу, къ ясному солнцу, къ небесному своду. Всѣ толпились поближе къ пѣвцамъ и слушали-слушали, затаивъ дыханіе или же украдкой смахивая

со щеки предательскую слезу. А они, поднимая свои слѣпые глаза къ небу, пѣли все съ большимъ и большимъ воодушевленіемъ. Самая бандура, совсѣмъ не хитрый инструментъ, и та, казалось, рыдала—и у нея духъ захватывало отъ рыданій.

Потомъ бандура и голоса пѣвцовъ какъ-то обрывались, и этотъ перерывъ еще больше томилъ душу слушателя: казалось, онъ ждалъ, что же будетъ дальше въ этомъ безбрежномъ морѣ печали.

А бандура опять тренькала, сначала одинъ голосъ, потомъ другой, — и снова раздавался невольничій плачъ и проклятіе:

„Будь ты проклята, земля турецкая, вѣра бусурманская! ты наполнена серебромъ-златомъ и дорогими напитками, только бѣдному невольнику на свѣтѣ невольно: ни Рождества Христова, ни Свѣтлаго Воскресенья бѣдные невольники не знаютъ, все въ проклятой неволѣ, на турецкой каторгѣ, на Черномъ морѣ изнываютъ, землю турецкую, вѣру бусурманскую проклинаятъ: ты, земля турецкая, ты, вѣра бусурманская, ты, разлука христіанская: не одного ты разлучила за семь лѣтъ войною—мужа съ женою, брата съ сестрою, дѣтей маленькихъ съ отцомъ и матерью! Высвободи, Боже, бѣднаго невольника на святорусскій берегъ, на край веселый, межъ народъ крещеный!“

— Поганая пѣсня! самая хлопская!—послышалось среди жолнеровъ.

— Спойте другую, а то мы уснемъ. Пойте веселую!

— Вотъ что, люди божьи, — спойте имъ про казака, что штаны латаетъ, либо про Пазину!—со смѣхомъ отозвался городской казакъ съ огромной серьгой въ ухѣ.

И вдругъ неожиданно старый слѣпецъ, повернувшись лицомъ къ жолнерамъ и взявъ бандуру у товарища, быстро забренчалъ и, семена погами, запѣлъ:

Хто попа й попадю,
А я Пазину люблю.
Люблю у день и въ ночу,
Ясне свѣтло гасючи.
На Пазини корали —
Сто золотыхъ давали.
А ни батько купивъ,
А ни мати дала:
Сама добра була —
Съ козаками добула:
Здобула, здобула —
Бо хороша була!

— Ай да дѣдъ! вивать! вивать!—кричали жолнеры.

А слѣпецъ, серьезно отилясавъ, снова повернулся и зашагалъ, ощупывая посохомъ дорогу.

— Еще веселой! еще, старче Божій!—не унимались жолнеры.

Старикъ опять повернулся къ нимъ лицомъ, повелъ слѣпыми очами, въ которыхъ видны были только бѣлки, взялъ у товарища бандуру и, пере-

бирая по струнамъ пальцами, залихватски затренькалъ и сталъ выдѣлывать ногами невообразимые выкрутасы, приговаривая:

Баба рака купила,
Три полушки дала,
Тричи юшку варила
Добра юшка була!

Снова взрывъ хохота и одобрительные возгласы.

— Да эти хлопы хоть куда! превеселый народъ! А еще говорить, что подъ польскою властью имъ не хорошо живется: если-бъ въ самомъ дѣлѣ было не хорошо, то не выдумывали бы такихъ пѣсенъ.

Между тѣмъ начинало темнѣть. Пора было и привалъ дѣлать.

— Эй, слѣпаки!—крикнулъ шляхтичъ со шрамомъ на щекѣ:—далеко еще до Суботова?

— Далеконько, пане,—былъ отвѣтъ.

— За-свѣтъ не дойдемъ?

— Гдѣ дойти, пане,—не дойдемъ.

— Такъ дѣлать привалъ!—скомандовалъ шляхтичъ.

Приказъ начальника облетѣлъ весь отрядъ. Задніе ряды также остановились. Надвигались задніе отряды и располагались у опушки густого лѣса.

Скоро по всей равнинѣ запылали костры. Слышался смѣшанный гулъ голосовъ, ржанье коней, хлопанье бичей. У одного изъ крайнихъ къ лѣсу костровъ расположились и слѣпцы, снявъ съ себя сумки, и слышно было, какъ тихо тренькала бандура и такъ же тихо, монотонно, раздавался голосъ младшаго слѣпца, который пѣлъ:

Лечить орелъ проти сонця,
Згорда позирає:
Хто не знає коханячка,
Той счастья не знає.
Плыве козакъ черезъ море,
Въ мори потопає:
Хто не знає коханячка —
Той журбы не знає.

Скоро весь польскій станъ, утомленный продолжительнымъ переходомъ, спалъ крѣпкимъ сномъ. Скоро и костры потухли.

XIII.

Вмѣсто нарася—щуна.

Ночь была тихая, теплая, но темная. Въ такія ночи особенно ярко горять звѣзды.

Тихо было и въ станѣ. Слышно было, какъ иногда, фыркали лошади, позвякивая путами, но и тѣ, кажется, послули. Не спалъ только соловей, задорно щелкавшій въ сосѣдней чашѣ, да иногда изъ этой чащи доносился глухой стонъ „пугача“—филина.

Какъ ни была темна ночь, но при слабомъ мерцаніи звѣздъ хорошій глазъ могъ различить на бѣломъ фонѣ разбитой у опушки лѣса палатки человѣческую тѣнь, которая медленно шевелилась, то нагибаясь къ землѣ, то поднимаясь. Всматриваясь пристальнѣе, можно было замѣтить, что отъ одного изъ потухшихъ костровъ, именно отъ того, около котораго расположились на ночлегъ слѣпые нищіе, тихо отдѣлились двѣ человѣческія фигуры и такъ же тихо поползли по направленію къ той палаткѣ, на бѣломъ фонѣ которой шевелилась человѣческая тѣнь.

Когда тѣ двѣ тѣни, которыя отдѣлились отъ костра, неслышно подползли ближе къ палаткѣ, то по движеніямъ той одинокой тѣни они могли различить, что эта одинокая тѣнь молится.

Двѣ тѣни все ближе и ближе подползаютъ къ палаткѣ.

Вдругъ эти тѣни моментально накрываютъ собою молящуюся тѣнь, наклонившуюся къ землѣ. Произошло какое-то движеніе, борьба; но ни звука.

Такъ же беззвучно эти тѣни понесли что-то въ кусты и исчезли въ чашѣ лѣса. Около палатки одинокой тѣни уже не было.

Въ станѣ опять тихо—ни звука, ни движенія. Въ чашѣ, между двумя трелями соловья, глухо простоналъ филинъ. Ему отвѣтилъ, ближе къ стану, такой же стонъ ночной птицы.

Но не ночная птица стонала это. Крикъ филина раздался изъ горла одной изъ человѣческихъ тѣней, пробиравшихся въ глубину лѣсной чащи и тащившихъ ту одинокую тѣнь, которая молилась у палатки.

— Не крутись, ляше,—не выпустимъ,—шопотомъ сказала одна тѣнь, и въ этомъ шопотѣ можно было узнать голосъ того слѣпого нищаго, который недавно пѣлъ у костра:

Хто не знае коханячка —
Той счастья не знае.

— Не бойся, ляше,—мы тебѣ ничего не сдѣлаемъ,—говорилъ шопотомъ другой голосъ — голосъ другого слѣпца:—а пуще всего не вздумай кричать — такъ и всажу межъ реберъ вотъ этотъ ножъ по самый черенокъ.

Тотъ, къ кому относились эти слова, силился что-то сказать, но не могъ,—у него во рту было „кляпъ“.

— Ну, теперь его можно и на ноги поставить,—сказалъ старшій нищій, мнимый слѣпецъ:—ну, ляше, иди съ нами, а то тебя важно нести.

— Ну-ну, ляшеньку, вставай... держись... мы люди добрые.

Они опустили ношу на землю. Тотъ всталъ и набожно перекрестился.

— А! да ляхъ, кажись, по нашему крестится, — замѣтилъ одинъ нищій:—а ну, ляше, перекрестись.

Плѣнникъ перекрестился.

— Вотъ чудо! А побожись, перекрестись, поклонись, что не будешь кричать, и мы у тебя „кляпъ“ вынемъ изо рта. Ну!

Плѣнникъ повиновался и перекрестился три раза.

Стоявъ филина слышался ближе. Ему отвѣчалъ одинъ изъ нищихъ такимъ же стономъ.

— Ну, вотъ теперь ты и безъ „кляпа“, ляше.

Плѣннику освободили ротъ отъ затычки.

— Ну, теперь здравствуй, ляше, вашмосць! Мамъ гоноръ, — шутливо заговорилъ старшій нищій:—сказывай, паяъ, кто ты?

— Я не полякъ, я—русскій изъ московскаго государства,—отвѣчалъ плѣнный чистою московскою рѣчью.

Тѣ были ошеломлены этой неожиданностью.

— Какъ! ты не ляхъ? Оттакá ловись!

— Вотъ поймали шуку замѣсь карася! Какъ же ты попалъ къ ляхамъ?

— Меня польскіе жолнеры взяли въ полонъ, когда я изъ Мультянской земли, отъ волохъ, пробирался въ Черкасскую землю, въ Кіевъ-градъ, къ святымъ угодникамъ печерскимъ,—отвѣчалъ плѣнникъ.

— Те-те-те! вотъ подсидѣли райскую птицу!

— Какъ же ты, человѣче, попалъ къ волохамъ?—спросилъ старшій нищій.

— По грѣхамъ моимъ... Такъ Богу угодно было,—уклончиво отвѣчалъ плѣнникъ.

— Э! да ты, человѣче, я вижу не разговорчивъ: думаю, что съ нашимъ „батькомъ“ ты скорѣй согласишься.

Они продолжали двигаться лѣсною тропой. Начинало свѣтать, когда передъ ними открылась небольшая полянка среди чащи лѣса.

— Пугу! пугу! — раздался вдругъ крикъ филина; но это выкрикнулъ не филинъ, а старшій нищій.

— Пугу! пугу!—слышался отвѣтъ съ полянки.

— Козаки съ лугу!—сказали оба нищіе.

На этотъ возгласъ слышалось тихое, радостное ржаніе коней.

— Здоровы бывали, хлопцы! съ добычею! А какую птицу поймали?

Это говорилъ показавшійся на полянкѣ запорожець въ высокой смушковой шапкѣ съ краснымъ верхомъ, въ широкихъ синихъ штанахъ и съ пистолетами и кинжалами за поясомъ. Съ боку у него болталась длинная кривая сабля. Тутъ же оказался и мальчикъ „поводатырь“ съ бандурою въ рукахъ и съ мѣшкомъ за плечами.

— И ты ужъ тутъ, вражій сынъ?—замѣтилъ ему старшій нищій.

— Тутъ, дядьку,—улыбнулся мальчикъ.

Это уже были не слѣпцы, жалкіе и согбенные, а молодцы съ блестящими глазами, хотя и въ нищенскомъ одѣяніи, ободранные и перепачканные.

Тотъ, кого они привели съ собой, оказался богато одѣтымъ молодымъ человѣкомъ, но не въ польскомъ, а въ нѣмецкомъ платьѣ.

Запорожцы—это оказались они—съ удивленіемъ глядѣли на своего плѣнника. Они, повидимому, не того искали.

— Такъ ты не ляхъ?—снова спросили его.

— Я ужъ вамъ сказалъ, что я изъ московскаго государства,—былъ отвѣтъ.

— А въ польскомъ войскѣ давно?

— Недѣли три будетъ.

— А кто ведетъ войско—не Янъ Собѣскій?

— Нѣтъ, самъ Чарнецкій, а съ нимъ и Собѣскій, и Махновскій съ гетманомъ Тетерею и татарами.

— Тетеря! собачій сынъ! совсѣмъ обляхился!—съ сердцемъ произнесъ старшій запорожець—нищій:—попадется онъ намъ въ руки, лядскій поныхачъ! А теперь они идутъ къ Суботову?

— Къ Суботову, а послѣ,—сказывали,—Чигиринъ добывать будутъ, а добывши Чигирина, хотятъ перепуститься за Днѣпръ.

— За Днѣпръ! какъ бы не такъ! Мы имъ заьемъ за шкуру сала.

— А сколько у нихъ войска и всякой потребы?—спросилъ другой запорожець, что былъ при лошадяхъ.

— Силы не маленьки,—отвѣчалъ плѣнникъ:—а сколько числомъ—тово не вѣдаю.

Запорожцы сгали собираться въ путь. Мнимые нищіе сняли съ себя лохмотья и надѣли казацкое одѣяніе, которое вмѣстѣ съ оружіемъ и „ратищами“—длинные пики—спрятано было въ кустахъ. Тотчасъ же были и кони осѣдланы.

— Такъ скажи же теперь намъ, человѣче, какъ тебя зовутъ?—спросилъ старшій запорожець.—Надо-жъ тебя по имени величать.

— Зовутъ меня Воиномъ,—отвѣчалъ плѣнникъ.

— Воинъ! вотъ чудное имя!—удивились запорожцы.

— Вотъ имячко дали эги москали! Чудной народъ. Мы знаемъ въ святцахъ только одного Ивана Воина. А по батюшкѣ какъ тебя звать?

— Мой батюшка Аѳанасій.

— А прозвище?

— Ординъ-Нащокинъ.

— Не слышали такого. Ну, да все равно: батько кошевой, можетъ, и знаетъ. Ну, теперь на-конь, братцы. Да только вотъ что, Остапе,—обратился старшій запорожець къ тому, который осгавался при лошадяхъ:—мы, братъ, этого воина несли на рукахъ, а ты его повези теперь на конѣ, потому—у насъ четвертаго коня не припасено для него.

— Добре!—отвѣчалъ тотъ:—пускай хлопцы подумаютъ, что я везу банку—красавицу ляхку. Ну, братъ Воинъ, взбирайся на моего коня, да садись позади сѣдла и держись руками за мой „чересъ“.

Воиная одѣлалъ, что ему велѣли. Передъ нимъ на сѣдлѣ помѣстился Остапъ.

— Что, ловко сидѣть? не упадешь?—спросилъ онъ плѣнника.

— Не упаду.

Мальчикъ „поводатырь“ снялъ свой измятый „бриль“ и сталъ прощаться съ запорожцами.

— А, вражій сынъ!—улыбнулся старшій запорожець:—на же тебѣ золотаго.

И онъ подаль мальчику монѣту. Получивъ награду, мальчуганъ, словно лѣсной мышенокъ, юркнулъ въ чащу и исчезъ.

Запорожцы двинулись въ путь.

XIV.

„Опять соловьи!..“

Къ вечеру этого же дня наши запорожцы вмѣстѣ съ плѣнникомъ прибыли къ войску гетмана, которое расположилось станомъ у Бужина. Въ таборѣ уже пылали костры—то украинскіе казаки, запорожцы и московскіе ратные люди варили себѣ вечернюю кашу.

Завидѣвъ приближающихся всадниковъ, запорожцы узнали въ нихъ своихъ товарищей и уже издали махали имъ шапками.

— Э! да они везутъ кого-то: вѣрно, языка захватили.

— Вотъ такъ молодцы! У бабы пазуху скрадутъ, какъ пить дадутъ—и не услышитъ.

Тѣ подѣхали ближе и стали здороваться.

— Что, паны-братцы, языка везете?—спрашивали ихъ.

— Языка-то языка, да только языкъ ужъ очень мудреный, — былъ отвѣтъ.

— А что—не говоритъ собачій сынъ? перцу ждетъ?

— Нѣтъ, языкъ-то у него московскій, а не лядскій.

— Такъ не тотъ черевикъ баба надѣла?

— Нѣтъ, тотъ, да ужъ очень дорогой, кажется.

Всѣ окружили пріѣхавшихъ и съ удивленіемъ разсматривали плѣнника въ нѣмецкомъ платьѣ.

Вдругъ раздались голоса:

— Старшина ѣдетъ, братцы! старшина! Вонъ и панъ гетманъ и батько кошевой сюда ѣдутъ.

Дѣйствительно, вдоль табора ѣхала группа всадниковъ, приближаясь къ тому мѣсту, гдѣ остановились наши запорожцы съ плѣнникомъ. Послѣдніе сошли съ коней въ ожиданіи гетмана и кошевого. Тѣ подѣхали и замѣтили новоприбывшихъ.

— Съ чѣмъ, братцы, прибыли? — спросилъ Брюховецкій, остановивъ коня.

— Языка, ясновельможный пане гетмане, у Чарнецкаго скрали, — отвѣчалъ старшій запорожець.

— Спасибо, молодцы! — улыбнулся гетманъ.

— Да только, ваша ясновельможность, человекъ онъ сумнительный, — пояснилъ запорожецъ: — говорить, что онъ изъ московскаго государства, а черезъ волоховъ простоваль до Киева.

Брюховецкій пристально посмотрѣлъ на молодого человека. Благородная наружность плѣнника, красивыя черты лица, нѣжныя, незагрубѣлыя руки, кроткій, задумчивый взглядъ, въ которомъ сквозила затаенная грусть, — все это разомъ бросилось въ глаза гетману и возбудило его любопытство.

— Ты кто будешь и откуда? — ласково спросилъ онъ молодого человека.

— Ясновельможный гетманъ! — съ дрожью въ голосѣ отвѣчалъ казакъ плѣнникъ. — Я сынъ думнаго дворянина московскаго, Аѳанасія Лаврентьевича Ординъ-Нащокина.

Гетманъ выразилъ на своемъ лицѣ глубочайшее удивленіе.

— Ты сынъ Ординъ-Нащокина, любимца его царскаго пресвѣтлаго величества! — воскликнулъ онъ.

— Истину говорю, ясновельможный гетманъ, я сынъ его, Воинъ.

— Но какъ же ты находился въ польскомъ станѣ?

— Я возвращался изъ Рима и Венеціи черезъ Мульянскую землю. Я не хотѣлъ возвращаться чрезъ Варшаву, опасаясь того, что случилось: въ Волощинѣ я узналъ, что войска твоей ясновельможности и его царскаго пресвѣтлаго величества привернули въ покорность московскому государю все города сей половины Малыя Россіи, бывшіе подъ коруною польскою, и я Подольскою землею направился сюда, — намѣреніе мое было достигнуть Киева; но, къ моему несчастію, я попалъ въ руки польскихъ жолнеровъ и сталъ плѣнникомъ Чарнецкаго. Не вѣдаю, ясновельможный гетманъ, какъ сіе совершилось, но Богу угодно было, чтобы нынѣшнею ночью меня выкрали изъ польскаго стана, и я благодарю моего Создателя, что онъ привелъ видѣть мнѣ особу твоей ясновельможности.

Гетманъ внимательно слушалъ его, и задумался.

— А какою видимостью ты подкрѣпишь показаніе свое, что ты несумнительно сынъ Ордина-Нащокина? — спросилъ онъ. — Есть у тебя наказъ, память изъ Приказа?

— Нѣтъ, ясновельможный гетманъ...

Молодой человекъ остановился и не зналъ, что сказать далѣе.

— Какъ же намъ вѣрить твоимъ рѣчамъ? — продолжалъ гетманъ. — Тебя здѣсь никто не знаетъ.

— Ясновельможный гетманъ! — быстро заговорилъ вдругъ плѣнникъ. — Есть ли здѣсь у тебя въ войскѣ твои посланцы, которыхъ въ прошломъ, во 143 году, я видѣлъ въ Москвѣ, въ столовой избѣ, на отпускѣ у великаго государя, — то я узнаю ихъ.

— А кто были именно мои посланцы? — спросилъ гетманъ.

— Гарасимъ да Павелъ, ясновельможный гетманъ, — отвѣчалъ допрашиваемый.

Брюховецкій переглянулся съ кошевымъ Сѣркомъ.

— Развѣ и ты былъ тогда въ столовой избѣ? — спросилъ онъ снова своего плѣнника.

— Да, ясновельможный гетманъ, былъ; меня великій государь, тоже жаловалъ къ рукѣ.

— Жаловалъ къ рукѣ! тебя! — удивился гетманъ.

— Меня, ясновельможный гетманъ, точно жаловалъ; великій государь посылалъ меня на рубежъ къ отцу, въ Андрусово, съ его государевымъ указомъ, въ гонцахъ.

— Но какъ же ты очутился въ Римѣ? — спросилъ Брюховецкій.

Вопрошаемый замаялся. Гетманъ настойчиво повторилъ вопросъ.

— Прости, ясновельможный гетманъ, — сказалъ молодой человѣкъ: — на твои о семъ вопросныя слова я не смѣю отвѣчать: на оныя я отвѣчу токмо великому государю и моему родителю, когда буду на Москвѣ.

Гетманъ не настаивалъ. Онъ думалъ, что тутъ кроется государственная тайна — дѣло его царскаго пресвѣтлаго величества.

Во время этого допроса вся казацкая старшина полукругомъ обступила гетмана. Онъ оглянулся и окинулъ всѣхъ быстрымъ взоромъ. Среди войсковой старшины онъ замѣтилъ и своихъ бывшихъ посланцевъ къ царю Алексѣю Михайловичу — Гарасима Яковенка, онъ же и „Гараська-бугай“, Павла Абраменка и Михайлу Брейка.

Онъ опять обратился къ своему плѣннику.

— Посмотри, — сказалъ онъ, — не опоздаешь ли ты среди казацкой старшины кого-либо изъ тѣхъ моихъ посланцевъ, что ты видалъ въ прошломъ году на Москвѣ, въ столовой государевой избѣ?

Тотъ сталъ пристально всматриваться во всѣхъ. Взоръ его остановился на Брейкѣ.

— Вотъ его милость былъ тогда въ столовой избѣ и жалованъ къ рукѣ, — сказалъ онъ, указывая на Брейка.

— Правда, — подтвердилъ тотъ. — Якъ у око влипивъ!

— Еще тогда его милость упалъ и великаго государя насмѣшилъ, — пояснилъ плѣнникъ.

— Овва! про се бѣ можно було й помовчати, — пробурчалъ великанъ, застыдившись, — кинь объ чотырехъ ногахъ, и то спотыкается.

Въ заднихъ рядахъ послышался смѣхъ. Улыбнулись и Брюховецкій, и Сѣрко.

Скоро опознанъ былъ и другой великанъ — „Гараська-бугай“. Опознанъ былъ и Павло Абраменко.

Убѣдившись въ правдивости рѣчей своего плѣнника и считая вполне достовѣрнымъ, что молодой человѣкъ — дѣйствительно сынъ знаменитаго царскаго любимца и, слѣдовательно, сама по себѣ особа важная, гетманъ приказалъ Гарасиму Яковенку провести его въ гетманскій шатеръ, а самъ отправился дальше вдоль казацкаго стана, чтобы сдѣлать на ночь необходимыя распоряженія.

Думалъ ли молодой Ординъ-Нащокинъ, что изъ Рима и Венеціи онъ попадетъ въ казацкій станъ и притомъ такимъ необычайнымъ способомъ?

Ему вдругъ почему-то припомнилась послѣдняя ночь, проведенная имъ въ Москвѣ, и тотъ вечеръ, когда, какъ и теперь, такъ громко заливался соловей. Впрочемъ, всякій разъ теперь, когда онъ слышалъ пѣніе соловья, этотъ роковой вечеръ вставалъ передъ нимъ со всеми его мучительными подробностями—и томительной болью ныло его сердце. Тогда ему казалось, что дѣвушка не достаточно любила его; но теперь?.. А если она нашла другого суженаго? Ужели напрасно онъ выносилъ въ теченіе года и болѣе въ душѣ своей тоску, какъ преступникъ дѣпи?

И вчера ночью, когда онъ, въ польскомъ станѣ, лежалъ въ палаткѣ Яна Собѣскаго и не могъ спать, и вчера такъ же пѣлъ соловей, напоминая ему мучительный, послѣдній вечеръ пребыванія его въ Москвѣ. Душа его жаждала молитвы—и онъ молился, повременамъ обращая молитвенный взоръ къ далекимъ звѣздамъ, мерцавшимъ на темномъ небѣ, — и вдругъ его схватили...

Не божественный ли это Промыселъ, ведущій его къ спасенію, къ счастью?

Онъ такъ былъ поглощенъ своими мыслями и такъ возволнованъ, что почти не слышалъ, что говорилъ ему его спутникъ, какъ онъ вспоминалъ о своемъ пребываніи въ Москвѣ въ качествѣ гетманскаго посланца, какъ на прощанье царь жаловалъ ихъ къ рукѣ и какъ упалъ Брейко.

— Только жъ и ночи у васъ на Москвѣ! — удивлялся запорожецъ:— хоть иголки собирай... А все жъ-таки и у васъ соловьи поютъ, хоть имъ, должно быть, и холодноенько въ вашей сторонѣ...

„Опять соловьи!..“

XV.

Поруганіе надъ прахомъ Хмельницкаго.

Когда утромъ въ этотъ день проснулись въ польскомъ лагерѣ, то всѣхъ поразило исчезновеніе слѣпыхъ нищихъ съ поводагыремъ и—что уже совсѣмъ неразгаданно — исчезновеніе вмѣстѣ съ ними молодого московскаго дворянина.

Тутъ только поляки догадались, что подъ личиною слѣпцовъ скрывались казацкіе лазутчики, а почему вмѣстѣ съ ними исчезъ и московскій дворянинъ—это для нихъ такъ и осталось тайной. Предполагали, что между лазутчиками и молодымъ москалемъ существовалъ таинственный сговоръ; но гдѣ и когда онъ состоялся? Почему москаль узналъ, что то были лазутчики? Значить, и то неправда, что онъ говорилъ о себѣ, о возвращеніи будто-бы изъ Рима, изъ Венеціи. Несомнѣнно, что и онъ былъ подосланъ или казаками, или москалями.

Въ виду всего этого Чарнецкій строго-настрою приказалъ усилить въ войскѣ предосторожности и разсылать во всѣ стороны развѣдчиковъ — нѣтъ ли по близости проклятыхъ запорожцевъ или даже самого гетмана съ войскомъ.

Какъ бы то ни было, но поляки въ этотъ день достигли Суботова.

Весь этотъ день, вслѣдствіе ли тревогъ, всегда неизбѣжныхъ въ военное время, вслѣдствіе ли просто физическихъ причинъ, но Чарнецкому весь этотъ день было не по себѣ. Онъ часто задумывался, машинально води рукою по своимъ длиннымъ сѣдымъ усамъ, отдавалъ приказанія и снова ихъ отмѣнялъ, а когда показалось Суботово и онъ увидѣлъ суботовскую церковь, гдѣ, какъ онъ зналъ, былъ похороненъ Богданъ Хмельницкій, странная улыбка прозѣвилась подъ его сѣдыми усами, а изрѣзанное морщинами лицо мгновенно покрылось краскою. Это была краска стыда и негодованія. Онъ вспомнилъ, какъ когда-то въ этомъ Суботовѣ онъ, гордая отрасль древняго рода, всегда претендовавшаго на корону польскую, онъ Стефанъ Чарнецкій, былъ плѣнникомъ у хлопа, у Хмельницкаго! Лицо Чарнецкаго побагровѣло. Рана на щекѣ, которую когда-то пробилла насквозь хлопская стрѣла, во время штурма Монастырища, теперь налилась кровью.

— Я отомщу тебѣ, было! — бормоталъ онъ: — отомщу, хотя тебя и похоронили съ царскими почестями. Все это твоё дѣло: ты посылалъ эти драконовы зубы — ни теперь выросли въ людей, въ разбойниковъ... Но я выбью эти проклятыя зубы!

Суботово было занято безъ сопротивленія, такъ какъ въ немъ не оставалось ни одного казацкаго отряда.

Прежде чѣмъ двинуться къ Чигирину, Чарнецкій, довѣдавшись, въ какомъ направленіи удалились вчерашніе мнимые слѣпцы, отрядилъ по этому направленію часть своего войска подъ начальствомъ Незабитовскаго и Тетери, и приказалъ имъ искать Сѣрка съ запорожцами, а если Сѣрко соединился съ Брюховецкимъ, то не допускать до Чигирина ни того, ни другого; самъ же остался ночевать въ Суботовѣ.

Чарнецкій приказалъ разбить свой шатеръ на холмѣ, откуда виденъ былъ весь его лагерь и откуда онъ могъ созерцать Суботово, съ которымъ у него соединялись такія обидныя воспоминанія. Теперь онъ смотрѣлъ на это мѣстечко, бывшее когда-то гнѣздомъ унижившаго его врага, съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія: онъ могъ превратить его въ развалины, въ мусоръ, и разметать этотъ мусоръ по полю. При закатѣ солнца онъ долго сидѣлъ у своего шатра, и передъ нимъ проносились воспоминанія его бурной, полной тревогъ жизни. Вся жизнь — на конѣ, въ полѣ, подъ свистомъ пулъ и татарскихъ стрѣлъ. Постоянно кругомъ смерть, похороны, стоны. Но онъ свыкъ съ этимъ — въ этомъ вся его жизнь. Но гдѣ же его личное счастье — не счастье и гордость побѣдъ, не слава полководца, а счастье раздѣленнаго чувства? Кажется, его и не было.

Нѣтъ, было-было! но такъ кратковременно... Этотъ высокий замокъ во мракѣ ночи, темный паркъ, мерцающія и отражающіяся въ тихой, сонной рѣкѣ звѣзды... Тутъ было это счастье — и такое мимолетное...

И вдруг налетает съ войскомъ этотъ бѣшеный вепрь, что теперь лежитъ подъ могильной плитой вонъ въ той церкви! Замокъ въ огнѣ, замокъ разрушенъ, дорожки парка потоптаны конскими копытами. А та, чей шопоть еще наканунѣ сулилъ счастье,—лежитъ мертвая, какъ скошенная облая лилія...

Мракъ все болѣе и болѣе надвигается на Суботово и на лагерь. Въ воздухѣ душно—быть грозѣ. Оттого ему и дышется такъ и тяжело, и въ душу тѣсняются одни мрачныя воспоминанія...

Ночь. Чарнецкій одинъ въ своемъ роскошномъ шатрѣ. Тускло горятъ свѣчи въ высокомъ канделябрѣ. Сонъ не хочетъ или не смѣетъ войти въ этотъ шатеръ, точно онъ боится часовыхъ, стоящихъ у входа въ ставку стараго полководца.

Чарнецкій встаетъ и тушитъ свѣчи. Онъ ложится на походную кровать и прислушивается, какъ гдѣ-то вдали глухо раскатывается громъ.

И опять передъ нимъ разворачивается панорама пережитой жизни... Да, пережитой... Только передъ смертью встаютъ въ душѣ подобныя панорамы, И не удивительно—ему уже 66 лѣтъ!

Гроза все ближе и ближе. Въ порывахъ вѣтра слышится не то стонъ, не то плачъ...

Это она плачетъ... это замокъ горитъ... вѣтеръ бушуетъ въ деревьяхъ парка. А онъ не можетъ ее спасти... не можетъ пробиться съ горстью жолнеровъ сквозь густыя ряды казакаго войска.

„Сидите, ляхи! Всѣхъ вашихъ дуковъ, всѣхъ князей вашихъ загоню за Вислу! А будуť кричать за Вислою, я ихъ и тамъ найду! не оставлю ни одного князя, ни шляхтишка на Украинѣ!..“

Это онъ, разъяренный вепрь, кричитъ—это Хмельницкій... Онъ врывается въ палатку!..

Чарнецкій вскакиваетъ... его душилъ кошмаръ... онъ слышалъ голосъ Хмельницкаго... Нѣтъ, это ударъ грома разразился надъ самою его палаткою.

И мертвый—онъ не даетъ ему покоя...

Гроза бушуетъ уже дальше—раскаты грома несутся туда, на востокъ...

„На востокъ и Польша понесетъ свои громы... Я понесу эти громы“,—опять забываясь, грезить Чарнецкій:—„а тамъ и на сѣверъ, въ Московію полетятъ польскіе орлы... Сидите, москали! молчите, москали!..“

Утромъ, окруженный своимъ штабомъ, Чарнецкій торжественно въѣзжаетъ въ Суботово. Онъ направляется прямо къ церкви, гдѣ въ то время только-что кончилась обѣдня.

Народъ началъ было выходить изъ церкви, но, увидавъ приближеніе богато-одѣтыхъ всадниковъ, остановился. Чарнецкій, сойдя съ коня, направился прямо въ церковь, а за нимъ и вся его свита. Старенькій священникъ, служившій обѣдню, еще не успѣлъ разоблачиться, а потому, увидѣвъ входящихъ пановъ, вышелъ къ нимъ навстрѣчу съ крестомъ.

— Прочь, попь!—крикнулъ на него Чарнецкій:—мы не схизматики.— Показывай, гдѣ могила Хмельницкаго.

Перепуганный батюшка пошелъ къ правому придѣлу.

— Здѣсь покоится тѣло раба божія Зиновія-Богдана, при жизни божіею милостію гетмана Украины,—робко выговорилъ онъ.

— Божіею милостію,—злобно улыбнулся гордый ляхъ:—много чести.

Онъ подошелъ къ гранитной плитѣ и ткнулъ ее ногою.

— Поднять плиту!—громко сказалъ онъ.

Свищенникъ еще больше растерялся и испуганными глазами уставился на страшнаго гостя.

Чарнецкій обернулся къ стоявшему въ недоумѣніи народу.

— Сейчасъ же принести ломы!—скомандовалъ онъ.

Бывшіе въ церкви нѣкоторые изъ жолнеровъ бросились исполнять приказаніе своего вождя.

Ломы и топоры были скоро принесены. Плита была поднята. Въ темномъ каменномъ склепѣ видѣлся массивный дубовый гробъ. Свѣтъ, падавшій сверху, освѣщаль нижнюю его половину.

— Вынимайте гробъ!—продолжалъ Чарнецкій.

— Ясновельможный, сіятельный князь!—это святотатство!—съ ужасомъ проговорилъ священникъ; крестъ дрожалъ у него въ рукахъ.—Пощади его кости, сіятельный...

— Молчать, попь!—крикнулъ на него обезумѣвшій старикъ.

Жолнеры бросились въ склепъ, и гробъ былъ вынутъ.

— Поднимите крышку!

Топорами отбили крышку—и въ очи Чарнецкому глянуло истлѣвшее лицо мертваго врага. Чарнецкій долго глядѣлъ въ это лицо. Оно уже въ гробу обросло сѣдою бородой. Черныя брови, казалось, сердито насупились, но изъ-подъ нихъ уже не глядѣли глаза, передъ которыми трепетала когда-то Рѣчь Посполитая. Только широкій бѣлый лобъ оставался еще грознымъ...

Чарнецкій все глядѣлъ на него...

„А! помнишь тотъ замокъ надъ рѣкою! помнишь ту ночь! помнишь ту бѣлую лилію съ распущенною косою,—лилію, которую убилъ одинъ ужасъ твоего приближенія!“—бушевало у него въ душѣ.

„Сидите, ляхи! молчите, ляхи!“—А... не крикнешъ ужъ больше!

Онъ все смотрѣлъ на него. Ему вспомнилась эта бурная ночь, ударъ грома...

Всѣ стояли въ оцѣпенѣніи. У стараго священника по лицу текли слезы. Онъ отпѣвалъ его, онъ хоронилъ этого богатыря Украины...

Чарнецкій, наконецъ, отвернулся отъ мертвеца. Лицо его было блѣдно, только шрамъ на щекѣ отъ раны, полученной при штурмѣ Монастырища, оставался багровымъ.

— Вынести гробъ изъ церкви и выбросить надалѣ собакамъ!—сказалъ онъ—и вышелъ изъ церкви.

За нимъ жолнеры несли гробъ, окруженный свитою Чарнецкаго, точно почетнымъ карауломъ.

На лицѣ Яна Собѣскаго вспыхнуло негодование; но онъ смолчалъ...

Едва Чарнецкій вышелъ на крыльцо дерквы, какъ къ нему почтительно приблизился дежурный ротмистръ его штаба съ двумя пакетами въ рукѣ.

— Что такое?—спросилъ Чарнецкій.

— Гонецъ съ Москвы, ваша ясновельможность!—отвѣчалъ ротмистръ, подавая пакеты:—листы отъ царя московскаго и отъ думнаго дворянина Аванасія Ордина-Нащокина.

Чарнецкій взялъ пакеты и вскрылъ прежде письмо отъ царя Алексѣя Михайловича.

Странная улыбка скользнула по его лицу, когда онъ пробѣжалъ царское посланіе, и обернулся къ Собѣскому.

— Это все насчетъ того вайделоты, что вчерашнюю ночью пропалъ у насъ безъ вѣсти,—сказалъ онъ съ видимою досадою.

— Молодого Ордина-Нащокина?—спросилъ Собѣскій.

— Да, пане. Царь шлетъ милостивое прощеніе.

— Прощеніе?—удивился Собѣскій:—въ чемъ?

— Объ этомъ не говорится въ письмѣ; панъ можетъ самъ прочесть его.

И Чарнецкій подаль царское посланіе будущему спасителю Вѣны и дома Габсбурговъ, а самъ вскрылъ посланіе Ордина-Нащокина.

— Та же пѣсня,—съ досадою произнесъ онъ:—а гдѣ мы найдемъ этого вайделоту, чтобъ объявить ему царскую милость и отцовское прощеніе?

— Я думаю,—отвѣчалъ Собѣскій:—его надо искать въ станѣ Брюховецкаго или у этой собаки—у Сѣрка.

— Такъ пусть панъ ротмистръ скажетъ царскому гонцу, чтобъ онъ искалъ бѣглеца у Брюховецкаго или у Сѣрка,—сказалъ Чарнецкій дежурному:—а панъ ротмистръ прикажетъ списать копіи съ этихъ листовъ и вручить ихъ гонцу съ пропускомъ моимъ,—закончилъ онъ, передавая ротмистру оба письма.

Между тѣмъ за церковью, на площади, слышенъ былъ гулъ голосовъ, заглушаемый женскими воплями и причитаніями.

То выбрасывали изъ гроба останки Хмельницкаго—„псамъ на поруганіе“...

XVI.

Она узнала его.

Въ одинъ изъ іюльскихъ вечеровъ, когда уже начинало темнѣть, отъ Москвы по Дѣвичьему полю ѣхалъ одинокій всадникъ по направленію къ монастырю.

Судя по богато-убранному коню и по одеждѣ, всадникъ принадлежалъ къ богатому или знатному роду. Низкое, плоское, съ вызолоченными лу-

ками сѣдло, обшитое зеленымъ сафьяномъ съ золотыми узорами, лежало плотно на богатомъ малиноваго бархата чапракѣ съ серебряною оторочкою, изъ-подъ которой видѣлся голубого цвѣта „покровецъ“ или попова, расшитая шелками и съ вензелевымъ изображеніемъ на заднихъ, удлинненныхъ концахъ съ серебряными кистями. Вензель состоялъ изъ трехъ серебряныхъ буквъ: В. О. Н. Уздечка на лошади также отличалась красотой и богатствомъ: „ухваты“ и „оковы“ на мордѣ коня были серебряные съ такими же цѣпочками. Ожерелье на шеѣ лошади унизано было серебряными же бляхами, узенькими поверхъ шеи и широкими снизу. Пывыше копытъ коня висѣли маленькіе колокольчики, у самыхъ щетокъ, и при движеніи издавали гармоническій звонъ, который издавна москвичи называли „малиновымъ звономъ“. Сверхъ всего этого, сзади у сѣдла придѣланы были маленькія серебряныя литавры, которыя при ударѣ объ нихъ бичомъ звенѣли, заставляя лошадь бодриться, красиво изгибать шею и вообще играть.

На молодомъ всадникѣ былъ также богатый нарядъ: и ферязь, и охабень, и ожерелья—все блестяло или золотомъ, или жемчугами.

По небу ходили сплошныя тучи, но когда онѣ раздвигались и изъ-за нихъ выплывалъ на минуту полный мѣсяцъ, то въ молодомъ всадникѣ легко можно было узнать нашего бродягу—Война Ордина-Нащокина.

Онъ опять въ Москвѣ. Но сколько горя, сколько душевныхъ мукъ дало ему это возвращеніе на родину. Онъ узналъ здѣсь, что та, отъ которой онъ въ ослѣпленіи безумной страсти бѣжалъ, куда глаза глядятъ, бѣжалъ на край свѣта, та, мыслью о которой онъ только и дышалъ эти полтора года, милый образъ который не отходилъ отъ него ни днемъ, ни ночью, о которой онъ думалъ, что она промѣняла его на другого, не захотѣвъ для него пожертвовать глупою дѣвичьею славою,—онъ узналъ здѣсь и сердцемъ понялъ, что она не вынесла разлуки съ нимъ и навѣки похоронила свою дивную красу, свое дѣвство, прикрывъ свое прелестное личико и свою роскошную дѣвичью косу—черничьею ризой! Сердце его обливалось кровью, когда онъ думалъ объ этомъ.

Объ этомъ онъ думалъ и теперь. Онъ ѣхалъ туда, гдѣ она похоронила себя заживо.

„Все кончено“, ныло у него на сердцѣ. И онъ съ тоской прислушивался, хотя вовсе не хотѣлъ этого, какъ гдѣ-то недалеко чей-то хриплый голосъ, вѣроятно голосъ пьянаго шатуна, напѣвалъ знакомую ему, любимую пѣсню кабацкихъ гулякъ. Хриплый голосъ пѣлъ:

„Какъ рябина, какъ рябина кудрявая!
„Какъ тебѣ, рябинушка, не стошнитъся,
„Во сыромъ бору стоячи,
„На болотину смотрячи!“

Ему досадно было, что его чистыя думы о ней, о томъ невозвратномъ прошломъ, когда она давала ему свои горячія, хотя стыдливыя ласки,

что эти святые думы грязнятся этою пьяною пѣснью. А пьяная пѣсня все терзала ему слухъ и душу...

„Молодица ты, молодушка!
„Молодица ты пригожая!
„Какъ тебѣ не стошнитъся,
„За худымъ мужемъ живучи,
„На хорошаго смотрячи,
„На пригожаго глядячи“.

Онъ готовъ былъ свернуть съ дороги и отодрать этого шатуна своимъ бичемъ изъ гибкой татарской жимолости, но его удерживала мысль о той чистой и невинной, о которой онъ думалъ и по которой томилась его пораненная душа... Вѣдь при ней бы онъ этого не дѣлалъ—стыдно бы, не хорошо было...

А тотъ все тянулъ:

„Наварю я пива пьянаго,
„Накурю вина зеленого,
„Напою я мужа дѣпьяна,
„Положу его середь-двора,
„Оболоку его соломою
„Да зажгу его лучиною“...

— Ишь наливался! — слышится чей-то другой голосъ: — да еще подъ праздникъ.

— Съ радости, милый человѣкъ: кто празднику радъ—съ вечера пьянъ, — отвѣчалъ пѣвецъ, и снова гнусилъ:

„Выду я тоды на улицу,
„Закричу я громкимъ голосомъ:
„—Осудари вы, люди добрые,
„Вы сусѣди приближены!
„А ночесъ громъ-отъ былъ,
„А ночесъ молонья сверкала,
„Моего мужа убило,
„Моего мужа опалило“.

Это тебя-то, видно, пьяницу, жена подожжетъ лучиною,—опять по слышался нравоучительный голосъ.

Нѣтъ, шалишь! я самъ ее за косы! я самъ пропою!

Онъ допѣлъ окончаніе пѣсни:

„А ты, шельма-страдница
„А не громъ убилъ, а не молонья сожгла,
„А ты сама мужа извела“ *).

*) Пѣсня эта выписана покойнымъ историкомъ, С. М. Соловьевымъ, изъ столбцовъ приказнаго стола. № 3313. См. „Исторію Россіи“, XIV, 359.

Пѣніе смолкло. А вотъ и монастырскія стѣны, ворота. Молодой Ординъ-Нащокинъ сошелъ съ коня, погладилъ его лоснящуюся шею, потрепалъ за гриву и, привязавъ чумбуромъ къ кольцу, вбитому въ стѣну, сунулъ монету въ руку старика-привратника.

— Пригляди за конемъ, дѣдушка, — сказалъ онъ: — я пойду ко всенощной.

— Добро, добро батюшка-боляринъ, попригляжу, — отвѣчалъ старикъ.

Воинъ вошелъ въ ограду. Ему казалось, что онъ входитъ въ обширный могильный склепъ, въ которомъ похоронено все, что только онъ имѣлъ дорогого въ жизни. Церковь между тѣмъ горѣла огнями, которые лились на дворъ сквозь узкія окна съ желѣзными рѣшетками.

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и какимъ-то страхомъ Воинъ вступилъ въ церковь.

Навстрѣчу ему несло изъ царскихъ вратъ: — „Слава святѣй, и единосущнѣй, и животворящей, и нераздѣльной Троицѣ, всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ!“

— Аминь! — какъ бы дрогнулъ весь клиръ тихими ангельскими голосами, и среди всего клира ему, казалось, отчетливо послышался милый, нѣжный, давно знакомый голосъ.

— „Приидите поклонимся Цареві нашему Богу, — опять несло изъ алтаря вмѣстѣ съ дымомъ кадильнымъ: — приидите поклонимся и припадемъ Ему!“

Онъ, дѣйствительно, припалъ горячею головою къ холодному полу, а слезы такъ и лились на этотъ полъ, такъ и лились... А голоса клира звенѣли подъ сводами храма, высоко, точно пѣли невидимые ангелы:

— „Благослови, душе моя, Господа!“

— „Благословенъ еси, Господи!“ — отвѣчалъ пригѣвомъ другой клиръ.

Воинъ не поднималъ головы отъ пола: ему казалось, что онъ весь изойдетъ горькими и въ то же время сладостными слезами, всю душу выльетъ, а съ нею и свое горе...

А дивная мелодія все болѣе и болѣе наполняла своды храма, все неудержимѣе и неудержимѣе охватывала умиленіемъ растопившуюся въ слезахъ душу...

— „На горахъ стаянутъ воды...“

„О, Боже великій! для тебя все возможно, ты установилъ воды на горахъ, ты растопилъ мое окаменѣлое сердце“, — шепталъ несчастный, все еще не поднимая съ полу мокраго отъ слезъ лица...

За псалмомъ „на горахъ станутъ воды“ прошла великая ектенія, потомъ первая каѳизма, антифонъ, и „Господи воззвахъ“, и стихиры, — а онъ все молился и плакалъ.

Да, теперь онъ явственно различаетъ ея голосъ... Изъ всего клира выделяется этотъ чистый голосокъ, когда клиръ запѣлъ вечернюю пѣснь: „Свѣте тихій!..“

Снова возгласеніе: — „Господь воцарися, въ лѣпоту облечеса...“

Ему казалось, что все это онъ слышитъ первый разъ въ жизни: такъ все казалось ему святымъ, божественнымъ, не отъ міра сего!

Но мало-по-малу онъ нѣсколько успокоился, слезы незамѣтно унялись сами собою, и онъ всталъ съ колѣнъ, чтобы искать глазами ту, голосъ которой, какъ ему казалось, онъ узналъ. Онъ глядѣлъ на клиросъ, который весь былъ занятъ то черными клобуками монахинь, то такими же черными покрывалами молодыхъ черничекъ и послушницъ. Но всѣ ихъ лица были обращены къ алтарю, и только инныя въ полъ-оборота глядѣли на мѣстныхъ иконы.

Гдѣ же она? Ему до этого казалось, что въ тысячѣ незнакомыхъ фигуръ, не видя лицъ, онъ отличить ея головку, ея плечи, гибкій станъ, изгибъ бѣлой шейки; но теперь все это было закрыто длинными черными фатами—головы, шеи, плечи. Но она тамъ—онъ это чувствовалъ и слышалъ ея милый голосъ.

А служба между тѣмъ шла. Изъ алтаря уже несло горячее моленіе:— „Услыши ны, Боже, Спасителю нашъ, упованіе всѣхъ концовъ земли и сущихъ въ морѣ далече!“

„Онъ услышитъ, онъ помилуетъ“,—беззвучно шептали его губы.

И въ этихъ моленіяхъ, стояніяхъ, каѳизмахъ, поклонахъ, протечетъ вся ея жизнь! Гдѣ же радости, гдѣ счастье? И сегодня такъ, и завтра, и послѣзавтра: а тамъ... старость, усталость духа и тѣла,—все то же, то же, то же!

А тамъ, глядишь, и послѣднее возгласеніе, послѣднія слезы: „Житійское море, воздвигаемое зря напастей бурей...“

Гдѣ же бuri? И ихъ здѣсь нѣтъ... „Тихое пристанище...“ Да, тихое, могильное.

Но вотъ на клиросѣ произошло какое-то движеніе. Нѣсколько темныхъ фигуръ отдѣляются и, проходя мимо мѣстныхъ иконъ, дѣлаютъ земные поклоны. Черезъ нѣсколько времени онъ возвращаются одна за другою: въ рукахъ у нихъ—у одной кружка для сбора приношеній, у другой блюдо, у третьей опять кружка, а тамъ снова блюдо...

Что это! У него чуть ноги не подкосились, въ глазахъ потемнѣло, потомъ опять просвѣтлѣло... свѣтлѣе, кажется, стало въ храмѣ... что-то лучезарное блеснуло ему въ глаза...

Это она! Это ея лучезарное личико, полуприкрытое полями клобука, ея нѣжный овалъ, ея мраморное чело, отбѣненное клобукомъ... Совсѣмъ, совсѣмъ дитя въ такомъ безнадежномъ одѣяніи—въ саванѣ, въ черномъ саванѣ ребеночъ!

Онъ узнать ее. Но она не поднимаетъ глазъ отъ блюда—длинные рѣсницы опущены.

Онъ идутъ посреди толпы, одна за другой, и кланяются. Впереди идетъ старуха, за ней другая. Послѣднюю идетъ—она! Слышно: то алтынъ съ глухимъ стукомъ упадетъ въ кружку, то копѣйка или полушка брызнетъ на жемчужное блюдо. И на ея блюдо бросаютъ алтыны, полушки. Но она не поднимаетъ глазъ—все личико ея словно мраморное, ни одинъ движокъ на немъ не дрогнетъ.

Но какъ она измѣнилась, поблѣкла! Словно полузавядшій бѣлый ландышъ съ опущенною головкой.

Неужели не поднять глазъ? Онъ все ближе и ближе... Вотъ прошла первая кружка, за нею блюдо, опять кружка... Ея блюдо поровнялось съ нимъ... Она не глядитъ!

Въ какомъ-то безумномъ отчаяннѣ онъ съ силою бросаетъ крупную золотую монету на ея блюдо. Она дрогнула — подняла удивленные глаза — глаза ихъ встрѣтились на мгновенье... Она замерла на мѣстѣ...

Блюдо со звономъ повалилось на полъ, и она упала на полъ, какъ подкошенный колосъ.

XVII.

Только бы видѣть его!

Послѣ душевнаго потрясенія, бывшаго причиною обморока за всеночной, инокиня Надежда, перенесенная изъ церкви въ свою келью, придя понемногу въ себя, почувствовала глубокую, все ея существо охватившую радость. Она помнила только, что онъ не умеръ, что она не была причиною его смерти, не убила его, какъ казалось ей прежде. Онъ живетъ, онъ будетъ жить. Она будетъ думать о немъ, будетъ знать, что онъ есть на свѣтѣ, видитъ и землю, и небо, и солнце, а она будетъ молиться о немъ — чего-жъ ей больше!

Она встала съ своего скромнаго ложа и стала молиться. Она теперь въ первый разъ почувствовала сладость молитвы. Теперь ей есть о чемъ молиться — и какою молитвою! — высшими степенями молитвы!

Матушка игуменья, часто бесѣдовавшая съ нею о молитвѣ, сказывала, что молитва не одна живетъ, а есть три степени молитвы: первая степень — это „прошеніе“ — просить Бога о чемъ-либо, о комъ-либо, о себѣ, о прощеніи грѣховъ, о душевномъ покоѣ и т. д.; вторая степень, высшая — это „благодареніе“ — благодарить Бога за то, что онъ далъ намъ жизнь и хлѣбъ насущный, и душевный покой, что онъ печется о нашемъ здоровьѣ, что онъ все даетъ намъ по нашему „прошенію“; это молитва человѣческая; но есть еще высшая степень молитвы — молитва ангельская: это — „славословіе“: славословить Бога ангелы на небесахъ да святые угодники. Этой же благодати удостоены иноки и инокини, потому что они воспріяли ангельскій чинъ и носятъ ангельскій образъ. Монашествующіе, удостоившіеся высшей благодати — ангельскаго чина — должны только славословить Бога, а просить и благодарить могутъ только за другихъ. О чемъ имъ просить за себя? Они все имѣютъ, даже больше — они сопричислены къ ангельскому чину!

Теперь только юная инокиня Надежда поняла всю глубину поученій матушки-игуменьи. Ей хотѣлось не только благодарить — но не за себя, а

за него, что онъ живъ, что онъ можетъ жить; но ей теперь хотѣлось славословить!

И она, радостная, сіяющая, распростерлась передъ кіотою, откуда глядѣлъ на нее кроткій ликъ Спасителя, и славословила, славословила! Ей казалось, что она дѣйствительно стала ангеломъ, она трепетала отъ счастья, поднималась съ полу, поднимала къ небу свои нѣжныя руки, точно крылья ангела, и, казалось, неслась въ пространствѣ, неслась все выше и выше, такая легкая, воздушная... Она чувствовала за собою вѣяніе своихъ крыльевъ, чувствовала, какъ она раздѣкала воздухъ своимъ легкимъ тѣломъ—и славословила: „Святъ, святъ, святъ, Господь Саваоѣ, исполнь небо и земля славы твоя!“

Это была какая-то дѣтская радость, чистая, невинная. Расплетенная коса опутала прядями всю ея бѣлую сорочку; ея босыя ножки не чувствовали прикосновенія къ холодному полу; сорочка спустилась съ плечъ...

Но вдругъ она опомнилась. Она—босая, въ одной ночной сорочкѣ, съ распущенными и растрепавшимся волосами—она славословить Бога! Ей стало и стыдно, и страшно. Матушка-игуменья говорила ей, что на молитву надо приступать съ благоговѣніемъ и непременно въ ангельскомъ одѣяніи, чинно... А она вскочила съ постели чуть не нагая и какъ неистовая поднимала руки, радовалась, трепетала отъ счастья, летѣла по небу!

Смущенная, она робко отошла отъ кіоты, одѣлась снова вся, какъ бы къ выходу въ церковь, причесала и заплела косу, надѣла клубукъ, и стала молиться смиренно, тихо, чинно.

Но и теперь внутри ея клокотала радость, и она, сама того не сознавая, славословила Бога такъ же страстно, какъ и за нѣсколько минутъ передъ этимъ, когда она была въ одной рубашонкѣ и босая.

Наплакавшись потомъ счастливыми слезами, она уснула какъ ребенокъ, не успѣвъ даже вытереть мокрые глаза и щеки.

И какія грезы окутали ее спящую! Такого высокаго блаженства, такого счастья, отъ котораго духъ захватывалъ, она никогда не испытывала въ жизни... Что-то сладостное до истомы, до изнеможенія...

Когда она потомъ утромъ проснулась и вспомнила томительно-сладостныя ощущенія ночной грезы, когда ее, уже бодрствующую, охватила эта истома, смутное сознаніе чего-то невыразимо блаженнаго, совершившагося съ нею, помимо ея воли, въ сонномъ мечтаніи, „въ тонцѣ снѣ“, она вся вдругъ зардѣлась отъ стыда и счастья—больше отъ счастья—вся затрепетала... и расплакалась—расплакалась какъ ребенокъ, у котораго отняли что-то очень дорогое...

Она долго не могла встать съ постели; ей не хотѣлось покинуть сейчасъ это теплое ложе, гдѣ ночью, въ сонномъ мечтаніи, она ощутила что-то такое, чего съ нею еще никогда не бывало въ жизни... И это ощущеніе, это блаженство онъ ей далъ, онъ и видимый и невидимый, и осязаемый и неосязаемый...

Когда, затѣмъ, она встала, тщательно, тщательно же чѣмъ когда-либо,

причесалась, заплела косу, одѣлась въ свое ангельское одѣяніе и стала молиться, она молиться уже не могла, не умѣла—не умѣла и не могла ни славословить, ни благодарить, ни даже просить. Она повторяла какія-то слова, потерявшія для нея силу и смыслъ, и, распростершись на полу передъ кіотою, думала только о немъ: онъ здѣсь, въ Москвѣ, онъ такъ близко отъ нея.

Она приподнялась на колѣни и стала смотрѣть на ликъ Спасителя—такой кроткій, милостивый. Она хотѣла думать только о Спасителѣ; но его божественный ликъ мало-по-малу затуманивался въ какой-то дымкѣ и исчезалъ, а вмѣсто него вставала ночная греза, сладостное видѣніе...

Въ этомъ положеніи застала ее мать-игуменья. Худая, маленькая, вся сморщенная старушка, но съ живыми, сѣрыми большими глазами, она, казалось, видѣла все насквозь. Она пришла навѣстить свою любимую духовную дочь, носившую прежде знатное, но суетное имя княжны Прозоровской. Вчерашній обморокъ и испугалъ и огорчилъ мать игуменью. Она знала, какъ усердна была къ своимъ обязанностямъ юная инокиня Надежда, какъ горячо она всегда молилась въ храмѣ, какая она была постница,—и старушка думала, что юная черничка, не привыкшая къ суровому монастырскому уставу, изнѣженная въ родительскомъ домѣ, что она испостилась и изнемогла.

— Молись, молись, дочь моя,—сказала она, входя въ келію юной отшельницы и видя, что она встаетъ съ колѣнъ,—доканчивай молитву.

— Я кончила, матушка, — сказала дѣвушка, подходя къ рукѣ игуменьи.

— Ну что, дитя мое, оправилась послѣ вчерашняго-то?—спросила старушка.

— Оправилась, матушка.

— Ну, и благодареніе Создателю. Душно вчера въ церкви-то было, ты же усердно—я видѣла—молилась; ну и сомѣла. Это Онъ тебѣ зачтетъ, Отецъ небесный. Что наша жизнь?—тлѣнь и прахъ: тамъ наше житіе, о немъ надо думать о вѣчномъ житіи.

Теперь почему-то юная черничка смотрѣла на старушку съ какимъ-то сожалѣніемъ. Неужели вся ея жизнь протекла въ этомъ? Неужели она...

И дѣвушка почувствовала въ душѣ своей холодъ—холодъ отъ этихъ стѣнъ, отъ окна съ желѣзною рѣшеткой, отъ всего этого черного, мрачнаго.

Когда игуменья ушла, дѣвущкѣ стало какъ будто бы легче. Но это не надолго.

Что-то холодное и безнадежное стало шевелиться у нея въ душѣ и расти, расти!.. Вчерашнее блаженное состояніе прошло. Тогда отуманило ее счастье сознанія, что онъ живъ, что она его видѣла. Но теперь она начала сознавать, что потеряла его навсегда, потеряла радость и счастье всей своей жизни. Для чего теперь ей жизнь? Чтобы ожидать той, другой жизни? Но для нея теперь не было другой жизни, кромѣ этой, кромѣ той, отъ которой она, въ ослѣпленіи горя, сама бѣжала. Но тогда она готова

была убѣжать въ могилу, не только за эти мрачныя стѣны. А теперь— вдругъ все прошло! все, все—и не для нея!

Гдѣ искать помощи? Въ молитвѣ? Но послѣ вчерашняго молитвеннаго порыва она не могла больше молиться. Какою „степенью“ молитвы могла она теперь молиться? „Славословіемъ?“ Но вчерашнее уже не повторится—оно прошло. Ей вчерашняго мало—ея душа требуетъ большаго. „Благодареніемъ“. Но за что же ей благодарить? За то, что она сама оборвала нитку своей жизни? Благодарить! Нѣтъ, и эта степень молитвы отнята у нея—но кѣмъ? Она сама ее утратила. Остается „прошеніе“. Но о чемъ просить, когда ничего уже воротить невозможно.

Гдѣ же помощь! кѣ кому обратиться?

Она опять подошла къ кіотъ и стала смотрѣть на ликъ Спасителя. Съ какою тоской она смотрѣла на этотъ кроткій, всепрощающій ликъ.

„Онъ всѣхъ прощаль“,—шевелинулось у нея въ душѣ:—„простилъ разбойника, простилъ ту бѣдную жену, которую хотѣли побить камнями, а онъ простилъ ее за то, что она много любила...“

И она любить!

Дѣвушка съ ужасомъ поняла, что теперь монастырь сталъ для нея ненавистенъ. И такъ быстро совершился этотъ переворотъ въ ея душѣ! Она ненавидитъ его, какъ тюрьму, лишившую ее свѣта, счастья. И чѣмъ дальше, тѣмъ больше она будетъ грѣшить этимъ чувствомъ. Все равно душа ея погибнетъ въ монастырѣ-ли, или внѣ монастыря.

Но тамъ, внѣ монастыря—онъ, который пришелъ вчера съ того свѣта, а ночью приходилъ къ ней въ видѣніи, „въ тонцѣ снѣ“. Тамъ онъ и наяву придетъ, какъ тогда приходилъ къ ней въ садъ, когда пѣлъ соловей и распускалась береза.

Дѣвушка подошла къ окну своей кельи, которое выходило на Дѣвичье поле. Передъ нею вставалъ Кремль, золотыя маковки церквей, а тамъ, невидимо, на Арбатѣ ихъ домъ, ея дѣвичій теремъ, садъ... Сирень теперь давно отцвѣла, и соловей, и кукушка давно перестали пѣть...

Она отошла отъ окна и, припавъ лицомъ къ подушкѣ, горько плакала.

Но вдругъ она увидѣла себя въ церкви... онъ глянулъ ей въ глаза... Какъ онъ похудѣлъ и постарѣлъ за то время, какъ она его не видѣла! Не радостно и ему жилось...

Она услышала шорохъ за дверью. Вздыхая и крестясь въ келью вошла ея бывшая мамушка. Что-то родное, далекое, навѣки потерянное напомнило ей этотъ приходъ старушки—и домъ отца, и ея свѣтлый теремокъ, и тѣнистый садъ со скамейкою, на которой онъ когда-то съ нею сидѣвалъ.

Старушка съ благоговѣніемъ цѣловала руки своей боярыни.

Что, мамушка, у насъ дома? что батюшка?—спросила юная затворница.

Старушка еще глубже вздохнула.

Что, ягодка! чему у насъ быть хорошему? Тотъ же монастырь,—сказала она.

— А батюшка?

— Все тоже—кручинится: осиротѣлъ онъ, какъ перстъ одинъ безъ тебя.

— А матушка и братцы не прѣзжали?

— Нѣту, родная; да они словно чужіе для него.

Дѣвушка хотѣла что-то спросить, но не рѣшалась. Ей все же хотѣлось заговорить о томъ, что ее терзало. Она заговорила стороной.

— А я, мамушка, вѣчоръ у всенощной сомѣла,—сказала она.

— Господь съ тобой!—встревожилась старушка.—Съ чево это, ягодка?

— Должно быть, отъ жару и ладаннаго духа... Я такъ съ блюдомъ и грохнулась... И какъ бы ты думала, знаешь, кого я увидѣла въ церкви?

— Ково, золотая моя?

— Вонна Аванасыча... Я, можетъ, съ тово и сомѣла: сказывали до-прежъ того, что онъ пропалъ безъ вѣсти—либо померъ, либо убить—такъ и поминали его... Каковожъ мнѣ было увидать ево, мертвеца-то, да прямо предъ моими очушками! Я не спомнилась, какъ меня и изъ церкви-ту вынесли.

Мамушка въ знакъ сожалѣнія качала головой и охала; но для нея не было новостью, что молодой Ординъ-Нащокинъ отыскался. Ее тревожила мысль, какъ ея боярышня-черничка приметъ это извѣстіе.

Теперь она поняла, почему боярышня ея „сомѣла“ вчера... Теперь быть бѣдѣ! Какъ-то она, голубушка, перенесетъ это? Затѣмъ старушка и явилась въ монастырь.

— Не слѣдъ было ему приходить сюда!—сказала она строго.

— Для чевожъ, мамушка, не придти и сюда? Никому не заказано молиться.

— Не заказано-ту не заказано,—качала укоризненно головой старушка:—да только смущать-ту чистую душеньку грѣхъ—охъ, грѣхъ какой!

— Да это, мамушка, я испужалась только сразу, а вдругорядъ не испужаюсь.

— А думать станешь—мысли пойдутъ мірскія...

— Чтожъ, мамка, о мірскомъ-ту и молиться.

— О-охо-хо!—качала головой мамка:—смущать-ту грѣхъ.

Юная черничка въ душѣ не соглашалась съ этимъ. Какъ! отказаться даже отъ того, чтобы его видѣть иногда, когда можно! Одно, что осталось у нея—это видѣть его, какъ видѣть иногда вотъ ее, мамку, отца—и вдругъ отказаться даже отъ этого!

Но она не знала, что теперь, правда, достаточно только видѣть его иногда; но скоро этого будетъ не достаточно. Она не знала, какое зерно заброшено было вчера въ ея душу, что выростетъ изъ этого зерна...

„Нѣтъ, нѣтъ! только бы видѣть его! только бы знать, что онъ...“

Съ большой тревогой старушка возвращалась изъ монастыря въ городъ.

XVIII.

Она больше не черница.

Не въ меньшемъ волненіи, какъ и юная черничка, возвратился отъ всеночной Войны Ординъ-Нащокинъ. Только волненіе его было иного рода. Послѣ мгновенной радости и потрясенія, какія испыталъ онъ въ моментъ встрѣчи съ бывшей невѣстой, когда она узнала его и отъ радости или отъ неожиданности упала въ обморокъ, имъ овладѣло глубокое отчаянье. Этотъ обморокъ доказалъ ему, какъ много она любила его, а, быть можетъ, и теперь любить. Чтожъ ему изъ этого? Сознаніе, что она любитъ его, еще болѣе увеличивало въ глазахъ его цѣну понесенной имъ утраты. Страданія, причиняемая этимъ сознаніемъ, усугублялись еще мыслью, что его тогдашняя безумная вспышка столкнула его въ бездну отчаянія. Что тогда стоило выждать мѣсяцъ, другой, наконецъ цѣлый годъ при спокойной увѣренности, что ожидаемая имъ минуты полного блаженства только отсрочены? А что онъ сдѣлалъ? Въ ослѣпленіи минутной страсти онъ самъ разбилъ свое счастье. Онъ тогда бросилъ ей въ глаза незаслуженный ею укоръ: „жди другого суженаго!“

И она нашла его подъ саваномъ черницы...

Чтожъ ему оставалось теперь дѣлать? Тогда впереди у него было что-то—много было впереди! Видѣть чужія земли, всѣ чудеса заморщины, сбросить съ себя родительскую опеку, забыть на время постылую Москву: цѣлый океанъ неизвѣданнаго былъ у него тогда впереди! И онъ извѣдалъ все это, и кончилъ тѣмъ, что плакалъ въ гондолѣ, въ Венеціи, когда вспоминалъ объ этой самой Москвѣ, о брошенной въ ней невѣстѣ, и пѣлъ „не бѣлы-то снѣжки“, глотая слезы раскаянія.

И вотъ теперь... Нѣтъ, такъ оставаться нельзя! Теперь для него Москва—пытка: отъ нея такъ близко Новодѣвичій монастырь!

Теперь надо стараться забыть ее, похороненную въ стѣнахъ монастыря. А какъ забыть? гдѣ?

Онъ теперь зналъ гдѣ: тамъ, гдѣ люди умираютъ подъ громъ пушекъ, подъ крики побѣды, подъ свистомъ пуль и стрѣлъ. Онъ пойдетъ туда—къ запорожцамъ, къ Брюховецкому, къ Косагову, что воютъ теперь съ поляками, его лютыми врагами, отравившими ему жизнь своею польскою наукою, отнявшими у него счастье, любовь къ родинѣ.

А сложить онъ тамъ голову—тѣмъ лучше! Слишкомъ ужъ тяжело стало носить ее на плечахъ. Да и кому она нужна? Отцу? У него на плечахъ государскія заботы. Ей? Все равно ей не обнимать ужъ, не цѣловать эту буйную головушку, какъ когда-то она цѣловала ее.

На другой же день онъ сказалъ о своемъ рѣшеніи отцу. Старика удивило это внезапное рѣшеніе: всего дней пять какъ воротился изъ долго-

временной отлучки, послѣ скитанія по чужимъ землямъ,—и вдругъ опять покидать Москву!

— Хочу заслужить вины мои предъ государемъ!—одно твердилъ онъ на всѣ доводы отца:—либо лягу костью въ полѣ ратномъ, либо со славою возвращусь, дабы тебѣ не краснѣть за блуднаго сына.

Рѣшеніе это въ то же время и радовало старика... „На путь истинный возвращается малый“, думалъ онъ, и доложилъ объ этомъ государю.

И Алексѣя Михайловича обрадовало это рѣшеніе молодого человѣка. Онъ полюбить его какъ сына, особенно послѣ его чистосердечнаго раскаянія въ своемъ опрометчивомъ проступкѣ. Отца же, старика Аванасія, онъ давно любилъ и высоко цѣнилъ его государственный умъ.

Онъ велѣлъ Воину явиться къ нему—попросту, не во время смотра и купанья запоздавшихъ стольниковъ, а въ его образную и въ то же время рабочую горницу, по нынѣшнему—въ свой кабинетъ, смежный съ моленной государыни.

Царь принялъ Воина милостиво, хвалилъ за доброе рѣшеніе.

— Хочу вины свои заслужить предъ тобою, пресвѣтлый государь!—повторялъ и здѣсь то же самое Воинъ, что говорилъ и отцу:—либо положу свою голову въ ратномъ полѣ...

— Зачѣмъ же?—ласково перебилъ его государь, любуясь мужественной его осанкой.

— Батя! ты знаешь—мы отъ рода римскаго кесаря Августа...

Это стрѣлой влетѣла въ отцовскую рабочую горницу царевна Софья, думая, что отецъ у себя одинъ—и остолбенѣла, вся вспыхнувъ: серебристый голосокъ ея оборвался на „Августъ“.

Она стояла съ тетрадкою въ рукахъ, какъ зайчикъ, застигнутый врасплохъ.

Воинъ низко поклонился ей.

— Что? что?—съ любовною улыбкой глядѣлъ на нее Алексѣй Михайловичъ:—отъ рода кесаря Августа, говоришь?

— Да, батюшка государь,—нѣсколько оправившись отъ смущенія, проговорила она и взглянула на Воина.

Замѣтивъ, что статный молодой человѣкъ любитъ ея, она стала смѣлѣй.

— Откудажъ ты это узнала, всезнайка?—спросилъ отецъ, продолжая любоваться дѣвочной.

— А вотъ въ этой книгѣ написано,—прозвѣла она, и подошла къ отцу:—вотъ, читай: „выписано изъ житія преподобнаго Нила, Столбенскаго чудотворца“...

— Ну, читай ты, у тебя глазки лучше моихъ: а тутъ такъ блѣдно написано,—сказалъ Алексѣй Михайловичъ, глядя головку дочери.

— Вотъ!—и Софья прочла:—„Приде во обитель преподобнаго Нила“... Ахъ!—остановила она себя:—не съ того листа начала... Это о нѣкоей дѣвицѣ, не о кесарѣ Августѣ...

Алексѣй Михайловичъ разсмѣялся и повернулъ дѣвочку лицомъ къ себѣ.

— Ты что-й-то пугаешь, торопыга.

Софья вспыхнула: она не хотѣла показаться смѣшной передъ молодымъ человѣкомъ, который ей нравился, когда она была еще совѣтъ „чюпишная“, а теперь уже ей почти четырнадцать лѣтъ.

— Нѣтъ, не пугаю!—она перевернула листъ.—Вотъ: „Грань десятая, глава вторая. Въ лѣто проименитаго и самодержавнаго царя и великаго князя Владимера, просвѣтившаго всю россійскую землю святымъ крещеніемъ, въ храбрости великаго князя Святослава, внука самодержавнаго Игоря и достохвальныя въ премудрости блаженныя великія княгини Ольги правнука Рюрекова“...

— Рюрикова,—поправилъ ее отецъ.

— Нѣтъ, Рюрекова!—настаивала упрямая дѣвочка:—тутъ такъ написано! Смотри.

— Ну, добро,—согласился отецъ.—Читай дальше.

— ... „первовладычествующаго въ Великомъ Новѣградѣ и во всей русской землѣ, не худа рода бяху и незнаема, но опаче проименитаго и славнаго римскаго кесаря Августа, обладающаго всею вселенною, единоначальствующаго на земли, во время перваго пришествія на землю Господа Бога Спаса Нашего Иисуса Христа, иже нашего ради спасенія изволи родитися отъ без... отъ безневѣстныхъ“....

Дѣвочка остановилась и вопросительно посмотрѣла на отца.

— Что это такое „безневѣстныхъ?“—спросила она.

— Это такъ Богородицу величаютъ,—отвѣчалъ Алексѣй Михайловичъ.

— Для чевожъ „безъ невѣсты?“—недоумѣвала Софья:—на что ей невѣста?

— Ну, инъ читай дальше!—перебилъ ее отецъ.

— „Отъ безневѣстныхъ,—покорно продолжала юная царевна,—и пресвятыя и приснодѣвы Маріи“.

— Воистину такъ: при римскомъ кесарѣ воплотился Сынъ Божій—при Августѣ,—замѣтилъ Алексѣй Михайловичъ.—А вотъ Воинъ и самъ былъ въ Римѣ,—указалъ онъ на молодого человѣка.

Юная царевна такъ, кажется, и облила его съ головы до ногъ свѣтомъ своихъ ясныхъ глазъ.

Воинъ скромно улыбнулся:—„точно... сподобился... былъ въ Римѣ и лобызалъ каменныя ступени лѣстницы дома Пилатова, по ней же сводили на пропѣіе Спасителя“, пояснилъ онъ.

— А развѣ она въ Римѣ?—удивился Алексѣй Михайловичъ.

— Въ Римѣ, государь,—отвѣчалъ Воинъ:—ее перенесли изъ Ерусалима крестоносные рыцари.

— Эка святыня какая, Господи?—покачалъ головою царь.—Ну, чтожъ кесарь Августъ?—обратился онъ къ царевнѣ.

Та въ это время такъ и произывала своими лучистыми глазами молодого Нащокнина: „Шутка ли! въ Римѣ былъ, воинъ этими губами цѣло-

вахъ лѣстницу Пилатову, слѣды Христовыхъ ножекъ“, казалось, говорили ея глаза.

Слова отца заставили ее опомниться. Она нагнулась къ книгѣ.

— „Сей кесарь,—начала она снова читать,—Августъ раздѣли вселенную братиі своей и сродникомъ, ему же быша присный братъ, именемъ Прусь, и сему Прусу тогда поручено бысть властодержательство въ бере-зѣхъ Вислѣ рѣкѣ градъ Мовберокъ *) и Турокъ **)—Хваница (?) и пре-славный Гданскъ, и иные многіе города по рѣку глаголемую Нѣманъ, впадшую, иже зовется и понынѣ Прусская земля; сего же Пруса сѣмени отъяша вышереченный Рюрекъ и братія его; егда еще живяху за моремъ, и тогда варяги именовахуся и изъ-заморья имаху дань на чюдѣ, то-есть на нѣмцехъ и на словянехъ, то-есть на новгородцехъ, и на кривичехъ, т-е. на торопчанехъ“ ***).

Кончивъ чтеніе, Софья Алексѣевна съ торжествующимъ видомъ посмотре-ла на отца и на молодого Ордина-Нащокина.

— Такъ вотъ откудова мы родомъ,—улыбаясь, сказала Алексѣй Ми-хайловичъ: — а я думалъ, что мы простаго роду; а оно вонъ куда мах-нуло—въ родню съ кесаремъ Августомъ! Не махонька у насъ роденька! А гдѣ ты взяла эту книгу?—спросилъ онъ.

— Симеонъ Ситіановичъ Полоцкой принесъ мнѣ,—отвѣчала царевна.

— Балуетъ онъ тебя, я вижу.

— А потому балуетъ, что я хорошо учу всѣ уроки.

— Добро, добро! Ты у меня умница. Иди же къ матери.

Алексѣй Михайловичъ погладилъ дочь по головкѣ, и царевна, поцѣло-вавъ у отца руку, вышла изъ горницы, съ улыбкой кивнувъ головой Войну.

Скоро государь отпустилъ и этого послѣдняго, пожаловавъ къ рукѣ и пожелавъ ему счастья на ратномъ полѣ.

Три дня Войнъ лихорадочно готовился къ отъѣзду: выбиралъ лошадей, закупалъ новаго оружія, заказывалъ дорожное и боевое платье.

А на душѣ у него было очень тяжело. Хотѣлъ онъ было еще разъ съѣздить въ Новодѣвичій монастырь ко всенощной, но рѣшимости не хва-тило: „увиджу ее—и все прахомъ пойдетъ“...

На четвертый день утромъ, когда отецъ засѣдалъ въ царской думѣ, Войну доложили, что его желаетъ видѣть монашка изъ Новодѣвичьяго. Сердце у него дрогнуло при этомъ словѣ. Но онъ велѣлъ впустить: — „за сборомъ, должно быть, на монастырь“.

Но сердце у него такъ и колотилось. Онъ всталъ...

Въ дверяхъ стояла она въ своемъ монашескомъ одѣяніи — блѣдная, блѣдная...

*) Малборкъ, Мариенбургъ.

**) Торунъ, Торнъ.

***) Изъ старинной рукописи, принадлежащей автору, а прежде при-надлежавшей „лейбъ-гвардіи Преображенскаго полку боѣбордирской ротѣ отъ мушкатеръ каптенармусу Михайле Голенищеву Кутузову“.

Онъ протянулъ къ ней руки. Она бросилась къ нему, да такъ и повисла у него на шеѣ.

— Милый мой! суженый мой!—шептала она и плакала.

Онъ сжималъ ее въ своихъ объятіяхъ.

— Милая! Наташечка! да какъ же ты?

— Я совсѣмъ къ тебѣ, совсѣмъ! и до гробовой доски! Я твоя... бери меня какъ знаешь... въ жоны, въ полюбовницы... все равно я пропала, погубила мою душеньку... Я только твоя, твоя!

— А монастырь?

— Не черница я больше! не Надежда! Я твоя Наташа! твоя вся! вся!

Онъ ласкалъ ее, шепталъ всевозможныя нѣжныя слова, цѣловалъ ея свѣтлорусую головку...

Клобукъ ей упалъ съ головы на полъ. Она больше не черница...

XIX.

Любовь Стеньки Разина.

Прошло три года.

Быль конецъ августа 1668 года. На Волгѣ, у астраханской пристани, стояла многочисленная флотилія рѣчныхъ и морскихъ судовъ—„струговъ“. Было уже поздно. Темная южная ночь давно стояла надъ Волгой и городомъ; мерцавшія въ небѣ звѣзды показывали уже время къ полуночи, а между тѣмъ въ Астрахани было, повидимому, очень шумно: оттуда доносились веселые голоса, подчасъ слышалось пѣніе, говоръ, и отъ времени до времени ночной воздухъ потрясается былъ пушечными выстрѣлами съ крѣпостныхъ башенъ.

При каждомъ такомъ выстрѣлѣ, ходившій взадъ и впередъ по одному стругу казакъ останавливался, прислушивался и скучающимъ голосомъ проговаривалъ:

— Ишь, черти, загуляли, а ты тутъ слоняйся, какъ утѣкъ по верстаю!

Въ Астрахани, дѣйствительно, гуляли. Астраханскій воевода, нашъ московскій знакомый, князь Семень Васильевичъ Прозоровскій, справлялъ именины своей любимой дочери Натальи, которую мы покинули въ Москвѣ, три года назадъ, уже не Натальею, а инокинею Надеждою.

Это и былъ Натальинъ день, 26-е августа.

Князь Прозоровскій назначенъ былъ астраханскимъ воеводою недавно—меньше года тому назадъ. Теперь у него шелъ пиръ горой. Да и не удивительно: онъ очень любилъ свою бѣлокуренькую Наталью, а съ другой стороны онъ принималъ у себя сегодня рѣдкихъ, дорогихъ гостей. Главнымъ и почетнѣйшимъ гостемъ былъ славный атаманъ вольныхъ донскихъ

казаковъ, Степанъ Тимоѣевичъ Разинъ. Онъ недавно только воротился съ своею флотиліею и казаками изъ морского похода. Слава его громкихъ подвиговъ наполнила уже всю Россію, и хотя эти подвиги сильно озабочивали московское правительство, однако, до поры до времени оно принуждено было не только не показывать своего неудовольствія удалому атаману, предводителю буйнаго казачества, но какъ бы и поощрять его подвиги „великаго государя милостивыми грамотами“.

Дѣйствительно, въ одинъ годъ Степанъ Тимоѣевичъ успѣлъ показать, на что онъ способенъ. Едва онъ вышелъ съ своими молодцами съ Дону на Волгу и основался ватагой на знаменитомъ „бугрѣ“, какъ тотчасъ же разбилъ весенній караванъ судовъ, направлявшійся въ Москву съ казенными, патріаршими товарами и товарами частныхъ лицъ, а также съ партіею арестантовъ; начальника стрѣleckаго отряда, слѣдовавшаго съ караваномъ, приказалъ изрубить въ куски, какъ барана на шашлыкъ, судового приказчика и трехъ служащихъ—повѣсить, арестантовъ—освободить, чѣмъ и сдѣлалъ ихъ своими слугами, готовыми за него въ огонь и въ воду. Потомъ Степанъ Тимоѣевичъ уже на тридцати трехъ стругахъ, полныхъ, сверхъ своихъ казаковъ, еще и стрѣльцами, вышелъ въ Каспійское море, оттуда рѣкою Яикомъ дошелъ до Яицкаго городка и обманомъ взялъ его, а взявши—велѣлъ тамошнему стрѣльцкому головѣ, начальнымъ людямъ и „несогласнымъ“ стрѣльцамъ поотрубать головы, ушедшихъ же изъ Яицкаго городка—тоже порубить и потопить. Дальше—разгромилъ кочевыхъ татаръ у устья Волги и ограбилъ турецкое судно. Астраханскому воеводѣ, князю Хилкову, предшественнику князя Прозоровскаго, приславшему къ нему просить, чтобъ онъ отпустилъ и стрѣльцовъ и всѣхъ своихъ плѣнниковъ, велѣлъ сказать:

— Коли-де придетъ ко мнѣ великаго государя милостивая грамота, тогда отпущу, а теперь не пушу никого.

Когда же князь Прозоровскій послалъ къ нему съ той же просьбой двухъ пятидесятниковъ стрѣльцкихъ, то одного изъ нихъ, „грубіана“, Степанъ Тимоѣевичъ убилъ, а другого отпустилъ живымъ, но ни съ чѣмъ.

Затѣмъ Степанъ Тимоѣевичъ съ своими молодцами опять вышелъ въ море, и на этотъ разъ уже громилъ прибрежныя владѣнія шаховъ персидскихъ, потомковъ царей Кира, Камбиза, Ксерксовъ и Даріевъ. Мало того, онъ послалъ въ Испагань трехъ молодцовъ въ качествѣ своихъ пословъ, которые и были приняты съ честью. А между тѣмъ самъ Степанъ Тимоѣевичъ успѣлъ уже взять городъ Фарабадъ, разграбить его, сжечь до основанія, разорить увеселительные дворцы шаха,—и все это въ ожиданіи возврата своего почетнаго посольства. Но молодцовъ скоро раскусили въ Испагани,—и шахъ отправилъ противъ Степана Тимоѣевича флотилію изъ семидесяти судовъ.

— Плевое дѣло!—сказалъ Степанъ Тимоѣевичъ своему есаулу, Ивашкѣ Черноярцу:—ребята! громи ихъ!

И ребята разгромили флотилію. Адмиралъ, командовавшій ею, асти-
ранскій ханъ Менеды, бѣжалъ съ позоромъ, оставивъ въ добычу Степану
Тимоѣевичу красавицу, тринадцатилѣтнюю дочку Заиру и сына Рустема.

Когда юную полонянку привели къ Степану Тимоѣевичу, онъ, грубый
и сильный, человѣкъ желѣзной воли и стальныхъ нервовъ, онѣмѣлъ отъ
изумленія: онъ даже не подозрѣвалъ, чтобы на землѣ могла существовать
такая поразительная красота! Это смѣшеніе чего-то вѣчнаго, какъ лилія,
съ огнемъ, съ огненнымъ темпераментомъ, сверкавшимъ въ черныхъ огром-
ныхъ глазахъ, это личико ребенка съ пышною черною косой, гибкость и
уирогость юныхъ членовъ, невыразимая грація въ движеніяхъ,—все это
отуманило буйную голову атамана. Онъ полюбилъ ее всею силою своей
огневой души: тигръ по природѣ, онъ сдѣлался кротокъ и робокъ съ своею
пленницею.

Ребята! сказалъ онъ своимъ молодцамъ:—ежели кто дотронется
до меня пальцемъ, хоть ненарокомъ, не до нея, а хоть до края ея одежды,—
мочу я зарѣжу. Знайте это!

И онъ убралъ ся горенку на своемъ стругѣ съ неслышанною роскошью:—
лукъ, серебро, жемчуга, алмазы, парчи, атласъ—все награбленные со-
кровища брошены къ маленькимъ ножкамъ Заиры.

И самъ Степанъ Тимоѣевичъ сталъ другимъ человѣкомъ. Молодцы не
ламали его. По цѣлымъ часамъ онъ сидѣлъ въ горенкѣ своей красавицы,
и выходилъ оттуда сначала мрачный и задумчивый, а потомъ все свѣтлѣе
и радостнѣе, и ласковѣе ко всемъ. Кровь, которую онъ прежде проливалъ,
какъ воду, теперь стала для него противна. Онъ прекратилъ разбой.
Что-то мягкое и тихое стало проглядывать въ чертахъ энергическаго лица.
Какалось, онъ теперь стыдился того, что прежде считалъ своею славою.
Въ немъ, казалось, опять проснулся тотъ человѣкъ, который пѣшкомъ про-
шелъ чрезъ всю Россію, отъ устьевъ Дона до Ледовитаго океана, чтобы
только помолиться и поплакать надъ могилами соловецкихъ угодниковъ.

Въ это лѣто Каспійское море было очень спокойное—ни бурь, ни вѣт-
ровъ, и казачья флотилія иногда по цѣлымъ недѣлямъ стояла въ откры-
томъ морѣ неподвижно. Въ тихіе, теплые вечера казаки часто пѣли свои
грустные, мелодическія пѣсни, о „тихомъ Донѣ“, о раздольныхъ степяхъ,
о разлукѣ съ милыми.

Въ это время они часто видѣли, что ихъ атаманъ, теперь такой тихій
и кроткій, выходилъ вмѣстѣ съ своею юною пленницею изъ ея роскошной
горенки, и по цѣлымъ часамъ въ сторонѣ отъ всѣхъ они сидѣли вдвоемъ,
тихо разговаривая или любясь зеркальною поверхностью моря, въ кото-
ромъ отражались звѣзды. Заира умѣла говорить по-русски, потому что съ
дѣтства за нею ухаживала любимая рабыня ея отца, русская полонянка
изъ казачекъ. Въ эти тихіе вечера, подъ грустное, мелодическое пѣніе
своихъ молодцовъ, укрощенный чистою любовью тигръ, ихъ „батьюшка ата-
манушка“ Степанъ Тимоѣевичъ, рассказывалъ Заирѣ о своемъ родномъ
Донѣ—что и тамъ такое же голубое небо, какъ и у нихъ, въ Персіи,

то и звѣзды, которыя она видѣла съ дѣтства въ родной Астирани и въ Испагани, такія же и на Дону, надъ его тихими водами и надъ широкими полями.

Сначала робкая и часто плакавшая, теперь Заира, повидимому, свыклась съ своимъ положеніемъ. И не удивительно: теперешнюю свою жизнь на морѣ она уже не хотѣла бы промѣнять на прежнюю, когда она затворницей жила въ отцовскомъ сералѣ. Она полюбила своего кроткаго и ласковаго, подчасъ бурнаго въ своихъ ласкахъ, повелителя: онъ теперь замѣнилъ для нея весь міръ. Она прежде не знала, что такое любовь, а теперь она полюбила первую, чистою и нѣжною, какъ она сама, любовью. Зачѣмъ же ей Персія, отецъ, всё, что не могло ей дать того, что далъ ей вотъ этотъ самый сильный, какъ левъ, и кроткій, какъ египетскій голубь, мужчина, этотъ грозный атаманъ, побѣдитель ея отца и самого шаха? Онъ повезетъ ее на Донъ; онъ броситъ свои разбои и будетъ атаманомъ вольнаго Дона. Онъ самъ говорилъ ей это, а она, положивъ свою дѣтскую головку на его плечо, жадно слушала своего богатыря, какъ она его называла, а онъ тихо гладилъ и цѣловалъ ея шелковистые волосы. Любовь дѣйствительно переродила его.

Вотъ почему, когда князь Прозоровскій выслалъ противъ него своего товарища, князя Львова, съ отрядомъ стрѣльцовъ, и когда князь Львовъ, не увѣренный въ успѣхѣ, послалъ къ Разину парламентаера сказать, что если онъ возвратитъ захваченныя имъ на Волгѣ суда и казенныя пушки, а также уведенныхъ съ собою служилыхъ людей и плѣнниковъ, то можетъ свободно воротиться на Донъ съ своими молодцами,—вотъ почему это страшилище, переродившееся подъ ласками обожаемой дѣвушки, смиренно склонило передъ княземъ Львовымъ свою гордую голову: Разинъ присягнулъ на крестъ и евангеліи, что навсегда бросаетъ ненавистные ему разбои,—и съ своей ватагой явился въ Астрахань.

Вмѣстѣ съ есауломъ и другими казацкими старшинами Разинъ сошелъ съ своего струга и направился въ городъ, прямо въ приказную избу. Заира долго стояла на борту атаманскаго струга и любящимъ взоромъ провожала прирученнаго ею тигра:—она такъ любила его!

Въ приказной избѣ, гдѣ его ждали князь Прозоровскій и князь Львовъ съ другими влѣтями города, Разинъ смиренно положилъ на столъ свой бунчукъ—„насъку“, знакъ атаманской власти: этимъ онъ изъявлялъ полную покорность.

— Повинную голову не сѣкутъ,—сказалъ онъ кротко со вздохомъ.

Князь Прозоровскій и всѣ бывшіе въ избѣ глаза не вѣрили, чтобы это былъ тотъ ужасный человѣкъ, передъ которымъ всѣ трепетали. Даже во взоръ его было что-то мягкое, задумчивое.

„Дивны дѣла твои, Господи!“—шепталъ князь Прозоровскій, всматриваясь въ этого непостижимаго человѣка.

XX.

К л е в е т а .

Вотъ почему сегодня, въ Натальинъ день, князь Прозоровскій съ такимъ торжествомъ праздновалъ именины своей любимицы Натальи: онъ принималъ у себя такого дорогого гостя, которому радъ бы былъ и царь Алексѣй Михайловичъ—такимъ страшнымъ стало на Руси его имя! — и вдругъ онъ—такой покорный, смиренный, ласковый, обходительный.

Одно всёхъ удивляло на этомъ пиру: Разинъ, который прежде предавался буйному разгулу, которому понятны были только два наслажденія—рѣзани и попойки,—этотъ Разинъ теперь почти ничего не пилъ.

Его угощала изъ своихъ рукъ сама княгиня, мачиха княжны Натальи, взятая мужемъ обратно изъ ея деревенской ссылки вмѣстѣ съ сыновьями, когда князя послали на воеводство въ Астрахань,—и Разинъ благодарилъ любезную хозяйку, но пить—почти не пилъ.

— Аль въ монахи постригся, Степанъ Тимоѣевичъ? — улыбалась княгиня.

— Точно, матушка княгиня, хочу свой маленькій скитокъ завести, — уклончиво отвѣчалъ Разинъ.

Но это не мѣшало другимъ гостямъ пить и веселиться. Пили здравицы—и каждую такую здравницу сопровождали пушечные выстрѣлы съ крѣпостныхъ башенъ, потому-что за окномъ, гдѣ происходилъ пиръ, стояли махальщики съ зажженными факелами, которыми и передавали сигналы на крѣпостныя башни. Пили за здоровье царя, царицы и всей царской семьи. Пили здравницу всему „тихому Дону“ и отдѣльно—„славному сыну его—Степану Тимоѣевичу“.

Съ необыкновеннымъ женскимъ чутьемъ княгиня Прозоровская догадась, однако, что происходило въ душѣ ихъ дорогого необычайнаго гостя, съ извѣстіемъ о покорности котораго уже поскакалъ гонецъ отъ астраханскаго воеводы въ Москву къ царю Алексѣю Михайловичу. Княгиня заговорила съ нимъ о его молоденькой плѣнницѣ.

— Она, чаю, бѣдненькая, скучаетъ теперь тамъ одна на стругѣ,—сказала она.

— Нѣтъ, матушка княгиня, она привыкла, —отвѣчалъ Разинъ.

— А всежъ, чаю, плачетъ по отцу, по матери.

— Плакала малость прежде, а нонѣ нѣтъ.

— Ахъ, глупая я!—спохватилась княгиня:—и не вдомекъ мнѣ послать ей гостинца.

Разина это видимо тронуло. Княгиня же между тѣмъ взяла серебряный подносъ, наложила на него прекрасныхъ грушъ, винограду и другихъ, большею частью восточныхъ, сластей: кишмишу, рахатъ-лукума, изюму, винныхъ ягодъ и пр.

Тогда Разинъ подозвалъ своего персидскаго толмача, Хабибуллу, который былъ въ числѣ его пословъ у шаха, приказалъ отнести поднось съ гостинцемъ на его стругъ и вручить отъ имени княгини Заирѣ Менедовнѣ, какъ онъ называлъ свою плѣнницу при другихъ.

Черные восточные глазки Хабибуллы почему-то блеснули радостью, когда онъ принималъ поднось изъ рукъ княгини.

— Кто идетъ?—раздался окликъ съ атаманскаго струга, когда въ темнотѣ на его сходни стала подниматься какая-то темная фигура.

— Это мы, Хабибулла съ гастынцамъ,—отвѣчалъ гортанный голосъ.

— А! это ты, Хабибулка! съ какимъ гостинцемъ? ко мнѣ?

— Нѣтъ, Иванъ Петровичамъ, не тебѣ, а ханымъ Заирѣ Менеды.

— Какой гостинецъ?

— Кипмишъ, ниджиръ, рахатъ-лукумъ, грушамъ.

— Отъ кого? отъ батюшки Степана Тимофеевича?

— И отъ батюшка, и отъ матушка.

— Отъ какой матушки?

— Отъ самова княгини, отъ матушка воеводиха.

— А что атаманъ?

— Атаманъ скучилъ, ничаво не ѣдилъ, ничаво не пилъ, толка хадылъ и молчилъ.

— А наши ребята пьютъ здорово?

— Ай-ай какъ пьютъ! все болшимъ кавшамъ.

Это разговаривали посланный Разинымъ къ Заирѣ съ фруктами и другими сластями его толмачъ, персіанинъ Хабибулла, и есаулъ Разина, Ивашка Черноярецъ, остававшійся на атаманскомъ стругѣ въ качествѣ охранителя прекрасной персіанки.

— А что ханымъ скучилъ адынъ безъ батюшка? — спросилъ Хабибулла.

— Вѣстимо, скучаетъ,—отвѣчалъ есаулъ.

— Тѣперь нѣ будеть скучилъ.

И Хабибулла направился къ роскошно убранной горенкѣ Заиры, откуда свѣтился огонекъ.

Заира сидѣла на богатомъ персидскомъ коврѣ съ брошенными на него шитыми шелками подушками и играла съ маленькой бѣлой собачкой, которую она учила служить на заднихъ лапкахъ.

Робко вошелъ въ уютную свѣтличку Хабибулла и, припавъ на одно колено, поставилъ передъ Заирой поднось съ фруктами.

— А это ты, Хабибулла. — сказала персіанка на своемъ родномъ языкѣ.—Отъ кого это?

— Отъ княгини, отъ супруги воеводы,—отвѣчалъ Хабибулла тоже по-персидски и приложилъ руку ко лбу и къ сердцу.

Прелестное личико Заиры зарумянилось. Она поправила на шеѣ нитку жемчуговъ, и въ смущеніи спросила:

— А развѣ княгиня меня знаетъ?

— Вѣроятно, знаетъ отъ батюшки Степана Тимосеевича,—быль отвѣтъ.

— А что батюшка атаманъ?—спросила дѣвушка.

— Онъ скучаетъ—ничего не пьетъ, не ѣстъ, какъ ни увивается около него княгиня.

Это извѣстіе видимо встревожило дѣвушку. Она какъ-то вся встре-
пенулась.

— Скучаетъ, говоришь?—съ боязнью спросила она.

— Скучаетъ, ханымъ.

— Отчего же? не боленъ-ли онъ? ты не замѣтилъ? — продолжала тревожно спрашивать дѣвушка.

— Этого, ханымъ, не замѣтилъ,—уклончиво отвѣчалъ персіанинъ:—а замѣчаю только, что у насъ, съ пріѣздомъ въ Астрахань, что-то не ладно пошло дѣло.

— А что? развѣ воевода сердится?

— Нѣтъ, ханымъ, не воевода, а его жена,—загадочно отвѣчалъ Хабибулла.

— Что его жена? она сердится?—живо заговорила дѣвушка.

— Да, и сердится, и льнетъ къ нему, какъ гурія,—быль отвѣтъ.

Этотъ отвѣтъ еще болѣе встревожилъ Заиру.

— А она молоденькая? хороша собой?

— И молоденькая, и красавица.

Розовыя щечки Заиры мгновенно покрылись блѣдностью. Она, какъ раненый тигренокъ, вскочила съ ковра. Глаза ея горѣли.

— Говори все, что знаешь!—схватила она за руку Хабибуллу. — Говори! Онъ знаетъ ее прежде?

— Зналъ, ханымъ,—угрюмо отвѣчалъ персіанинъ.

— И?... говори же! говори все!—страстнымъ шопотомъ настаивала дѣвушка.

— Что мнѣ говорить!... Извѣстное дѣло... они спознались раньше...—воевода старъ.

Бѣдная дѣвушка упала на коверъ и горько заплакала, уткнувъ свое личико въ подушку.

У Хабибуллы глаза сверкнули плотояднымъ огнемъ. Онъ сталъ передъ дѣвушкой на колѣни и, нагнувшись къ ней, страстно шепталъ:

— Не плачь, ханымъ не печалься, звѣзда Востока. Я отвезу тебя домой, въ Персію, къ отцу. У меня уже и буса изготовлена и снаряжена—богатое и прочное судно, которое и доставитъ насъ въ Персію. Завтра же ночью мы и бѣжимъ отсюда. Завтра атаманъ назначаетъ пиръ у себя на стругѣ—зовеъ къ себѣ въ гости и воеводу съ женой...

— Съ женой?—какъ ужаленная вскочила дѣвушка съ подушки.

— Да, съ женой,—отвѣчалъ соблазнитель.—Такъ ты сдѣлай вотъ что, жемчужина Востока: русскіе любятъ, чтобъ на пирѣ ихъ угощали жены хозяевъ. Ты здѣсь хозяйка—ты и угощай ихъ завтра. Завтра атаманъ будетъ пить, потому что если хозяинъ не пьетъ, то и гости не будутъ пить.

Атаманъ долженъ будетъ пить---и напьется пьянымъ. Казаки всѣ переньются и уснутъ. Уснетъ и атаманъ какъ убитый. Тогда я тихонько приѣду въ лодкѣ и возьму тебя на мою бусу. А чтобъ за нами не было погони—я и это устроилъ. Я подкупилъ одного персіянина, моего пріятеля, который послѣ завтра, когда мы уже будемъ далеко отъ Астрахани, придетъ сюда на стругъ и объявитъ, что ночью онъ видѣлъ, какъ съ атаманскаго струга какая-то женщина бросилась въ Волгу и утонула, что онъ кричалъ, чтобъ со струга ей подали помощь, но со струга никто не откликнулся—всѣ спали мертвымъ сномъ; что онъ самъ отыскалъ у берега лодку и бросился искать утопленницу, но такъ и не нашелъ—она пошла ко дну. Такъ бѣжимъ, солнце Востока? Все равно, атаманъ разлюбилъ тебя, промѣнялъ на прежнюю возлюбленную.

Дѣвушка опять горько заплакала, уткнувшись личикомъ въ подушку. Хабибулла утѣшалъ ее какъ маленькаго ребенка—гладилъ ее головку, говорилъ нѣжныя слова, тѣшилъ ее возвратомъ на родину.

Неопытная какъ младенецъ, она на слово повѣрила хитрому и своекорыстному обманщику, и ее охватило чувство полной безпомощности. Она очутилась одна вдали отъ родины. Брата ея, взятаго въ полонъ вмѣстѣ съ нею, Разинъ давно отправилъ назадъ къ отцу, такъ какъ мальчикъ очень тосковалъ по родинѣ. Дѣвушка же съ дѣтскою вѣрою и съ дѣтскою нѣжностью привязалась къ атаману, который былъ съ ней такъ добръ и ласковъ—добрѣе и ласковѣе отца; она скоро полюбила его первымъ, беззаветнымъ чувствомъ молодости, сосредоточила въ немъ весь свой міръ,—и вдругъ! этотъ ея кумиръ обманывалъ ее: онъ любилъ другую.

Что же ей остается? бѣжать отъ него? Но она не въ силахъ это сдѣлать: она любитъ его, онъ для нея все.

Но вдругъ въ ней зашевелилось сомнѣніе въ искренности словъ Хабибуллы. А если онъ обманываетъ ее для своихъ цѣлей; чтобъ получить богатый выкупъ отъ отца? Къ ней воротилась надежда, и она со всею страстью южнаго темперамента бросается на шею Хабибуллѣ.

— Именемъ Аллаха и его пророка умоляю тебя—скажи: ты пошлешь? ты выдумалъ на атамана? Онъ не любитъ этой русской женщины?—порывисто шептала она.

И Хабибулла страстно ласкалъ ее...

Но еслибъ только онъ видѣлъ, что съ самаго того момента, какъ онъ вошелъ къ Заирѣ, Ивашка Черноярецъ змѣей подползъ къ освѣщенному окошечку Заириной каюты и все видѣлъ, и все слышалъ, что тамъ дѣлалось и говорилось,—онъ окаменѣлъ бы отъ ужаса.

Ивашка зналъ персидскій языкъ—и все слышалъ...

Разинъ воротился съ воеводской пирушки очень поздно. Его встрѣтилъ ссаулъ Ивашка, и, отведя въ сторону, долго шепталъ ему что-то. Движенія,

которыя дѣлалъ атаманъ, слушая своего есаула, и порывистое дыханіе его богатырскихъ легкихъ обнаруживали, что онъ глубоко взволнованъ.

Войдя потомъ осторожно въ горенку Заиры, онъ, при свѣтѣ сильно нагорѣвшихъ восковыхъ свѣчъ канделябры, увидѣлъ, что дѣвушка, горько наплакавшись, уснула тутъ же на коврѣ невиннымъ сномъ младенца. На длинныхъ рѣсницахъ ея еще блестѣли слезинки. Рядомъ съ нею спала собачка—и та не проснулась.

Разинъ сталъ передъ нею на колѣни и съ глубокой нѣжностью и тоскою долго смотрѣлъ на милое личико ребенка.

Изъ Астрахани доносился одинокій гулъ церковнаго колокола: то на соборной колокольнѣ били полночь. Было тихо кругомъ. Слышно было только, какъ журчала волжская вода подъ килемъ струга и плескалась около его крутыхъ боковъ.

Разинъ съ нѣжностью трижды перекрестилъ спящую дѣвушку, съ глубокой мольбою поднялъ глаза къ небу, всталъ съ ковра, тихо потушилъ свѣчи канделябры и неслышными шагами вышелъ въ свою каюту.

XXI.

„Нанъ тебѣ—возьми!“

На другой день всѣ замѣтили, что атаманъ былъ какъ-то особенно задумчивъ. Иногда онъ встряхивалъ своей курчавой головой, какъ бы отгоняя отъ себя докучливую мысль. То иногда подолгу останавливался у борта своего струга и какъ бы безцѣльно глядѣлъ куда-то вдаль, ничего не видя.

Онъ, однако, съ утра отдалъ приказаніе своему есаулу, Ивашкѣ Черноярцу, все приготовить для предстоящаго пира, такъ какъ онъ ожидаетъ къ себѣ въ гости воеводу, князя Прозоровскаго, его товарища, князя Львова, и нѣкоторыхъ другихъ представителей власти.

— Чтобы пиръ былъ на славу!—сказалъ онъ.

Вчерашнее сообщеніе есаула о подслушанномъ имъ у Заиры и о томъ, что онъ вообще видѣлъ, глубоко поразило Разина. Конечно, онъ далекъ былъ отъ мысли, чтобы его маленькая Заира была не искренна, чтобы она обманывала его,—онъ этого никогда бы не допустилъ! Она такой ребенокъ! такъ наивна въ своихъ ласкахъ и признаніяхъ, такъ неопытна. Но это же самое можетъ и отнять ее у него, а онъ такъ полюбилъ этого ребенка. Вѣдь, она же, повидимому, не понимала вчера, какія чувства заставляли Хабибуллу утѣшать ее, гладить по головкѣ, обнимать; она принимала эти утѣшенія и ласки мужчины, какъ ласки няни. Но въ ней могла проснуться отъ этихъ ласкъ и женщина, какъ она проснулась въ ней отъ его ласкъ,—и все это будетъ въ ней невинно, искренно, и сама она не сумѣетъ дать себѣ отчета въ своихъ чувствахъ. Какъ ему обвинить ее за это? какъ обвинить ребенка, который тянется къ огню, не зная, что такое огонь!

И какъ же, послѣ этого, на такой зыбкой почвѣ основывать свое счастье!

Теперь Разинъ только въ первый разъ задался этой мыслью. Конечно, мысль эта въ душѣ казака слагалась въ иной формѣ. Но онъ, въ данномъ случаѣ, думалъ такъ же логически, какъ и всякій другой умный человѣкъ думалъ бы на его мѣстѣ: человѣческая логика и въ XVII-мъ вѣкѣ доходила до извѣстныхъ умозаключеній тѣмъ же путемъ, такъ и теперь, особенно же въ области чувства. А Разинъ былъ, безспорно, умный человѣкъ, богато одаренная натура, которая, смотря по обстоятельствамъ, могла быть направлена и на величайшее добро, и на величайшее зло.

Случайная любовь къ такому цевинному, чистому созданію, какъ Заира, повернула его на добро, разбудила въ его богатой душѣ лучшія, благороднѣйшія ея силы. Онъ разомъ сдѣлался добръ, мягокъ, возненавидѣлъ жестокость, грубость. Онъ пересталъ пить.

И вдругъ вчерашній случай чуть не разбудилъ въ душѣ прежняго Разина-звѣря. Онъ шелъ въ каюту своей милой дѣвочки, чтобъ растерзать ее за одно прикосновеніе къ презрѣнному татарину-режегату. Но когда онъ увидѣлъ ея невинное спящее личико съ остатками слезъ на рѣсницахъ, онъ сталъ передъ нею на колѣни и съ материнской нѣжностью и благоговѣніемъ сталъ крестить ее.

Что же будетъ дальше? Неужели для такого непрочнаго хрупкаго счастья онъ долженъ отречься отъ самого себя, проститься со славою, съ властью, съ громкими подвигами? Онъ, атаманъ цѣлаго войска и братъ казеннаго атамана же,—неужели онъ долженъ отказаться отъ всего, даже отъ мести за позорную смерть брата, и похоронить себя заживо въ глухой донской станицѣ или на какомъ-нибудь хуторкѣ!

А отказаться отъ нея, отъ этой милой дѣвочки, отъ своего счастья, чтобъ это милое дитя досталось какому-нибудь презрѣнному холопу Хабибуллѣ, а не ему—такъ другому! Онъ чувствовалъ, что это выше его силъ. Онъ такъ любилъ ее! Для нея онъ рѣшился пожертвовать славою, для нея онъ позорно преклонилъ свой бунчукъ передъ воеводой, котораго онъ могъ когда угодно повѣсить; онъ все для нея бросилъ. Когда онъ держалъ ее въ своихъ объятіяхъ, а она, ласкаясь къ нему, шептала самыя нѣжныя слова, онъ искренно рѣшился всѣмъ пожертвовать для нея.

И теперь уступить ее другому! Нѣтъ, пусть лучше она никому не достается: та, которую онъ ласкалъ, не должна знать ласкъ другого мужчины.

Муки иного рода переживала теперь и Заира.

„А что, если въ самомъ дѣлѣ онъ любитъ другую?“ — думала она, поздно проснувшись въ своей хорошенькой каюткѣ. Хотя, по ея восточнымъ понятіямъ, мужчина могъ любить разомъ нѣсколькихъ женщинъ, и она видѣла это въ своемъ отцѣ, у котораго былъ сераль и который приближалъ къ себѣ и хорошенькихъ рабынь, но ея чистая привязанность возмущалась одною этою мыслью. „Развѣ она сама можетъ полюбить кого-либо другого, кромѣ своего повелителя-атамана? Нѣтъ, никогда!“

И она робко выглянула из окошечка своей горенки. Атаманъ задумчиво стоялъ у борта струга, спиною къ ней. О чемъ, о комъ онъ думаетъ?

Въ эту минуту, какъ бы подъ вліяніемъ ея взгляда, онъ обернулся. Изъ окошечка смотрѣло на него милое личико, — и задумчивое лицо его разомъ просвѣтлѣло. Онъ вошелъ въ горенку Заиры. И на лицѣ дѣвушки отразилась радость, но она не бросилась къ нему на шею, какъ бывало прежде. Она робко подошла къ нему, смущенная, краснѣющая: въ первый разъ по отношенію къ нему въ ней заговорила женская стыдливость. Онъ молча обнялъ ее, крѣпко прижать къ себѣ, какъ бы боясь потерять это нѣжное существо, и сталъ ласкать — цѣловалъ ея головку, глаза. Онъ чувствовалъ, что она дрожитъ въ его объятіяхъ. Но ни онъ, ни она не говорили. О вчерашнемъ онъ не сказалъ ей ни слова — онъ ждалъ, не скажетъ-ли она. Но и она молчала. Онъ замѣтилъ, что присланныя ей вчера княгиней Прозоровскою лакомства не тронуты. Подносъ съ фруктами стоялъ въ сторонѣ на столѣ.

— Ты, кажись, не дотронулась до княгинина гостинца? — спросилъ онъ, заглядывая ей въ глаза.

— Мнѣ не хотѣлось, чуть слышно отвѣчала она. Но ни слова о вчерашнемъ.

Онъ сталъ наблюдать за нею, обдумывать ея поведеніе. Онъ видѣлъ, что она таится отъ него. Въ своей грубой совѣсти онъ такъ и рѣшилъ, что она виновата: молчать значитъ бояться. Эта совѣсть не умѣла подсказать ему, что дѣвушка щадитъ его спокойствіе, что ей жаль видѣть человѣка, котораго неминуемо ждетъ лютая казнь, хоть человѣкъ этотъ и былъ для нея непріятель — это Хабибулла.

И онъ и она со вчерашняго вечера вдругъ почувствовали, что между ними уже что-то стояло: это что-то и было обоюдное подозрѣніе — „черная кошка“.

Онъ сказалъ, что сегодня у него будутъ гости — воевода и другія власти города.

— А она будетъ? — чуть слышно спросила Заира.

— Кто она? — удивился Разинъ.

— Воеводиха, княгиня.

— Зачѣмъ ей быть? Боярыня это непригоже — на Москвѣ нѣту такого звыва, — отвѣчалъ онъ.

— Значить, Хабибулла солгалъ? Можетъ быть, онъ и все солгалъ? —

Дѣвушка крѣпче прижалась къ своему возлюбленному, точно боялась, что у нея возьмутъ его. Она чувствовала, какъ стучало его сердце, точно молотъ.

Въ это время на стругѣ послышался какой-то говоръ. Можно было различить, что казаки Разина переговаривались съ кѣмъ-то на берегу. Съ берега слышно было: „Хотимъ видѣть батюшку Степана Тимошенча!“

Разинъ вышелъ на палубу. Передъ стругомъ стояла группа стариковъ. При появленіи Разина всѣ сняли шапки.

— Здорово, старички почтенные!—ласково сказалъ Разинъ.

— Ты здравъ буди, батюшка Степанъ Тимоееичъ!—послышалось съ берега.—Мы пришли къ тебѣ съ поклономъ: рыбный рядъ осетромъ тебѣ, батюшкѣ нашему, кланяется.

— Спасибо на поклонѣ!—отвѣчалъ Разинъ:—милости прошу пожаловать ко мнѣ на стругъ—выпить по чарѣ вина заморскаго.

Старики гурьбой стали всходить по сходнямъ на стругъ.

— Ужъ и осетрище изволеніемъ божіимъ попался, батюшка Степанъ Тимоееичъ,—говорилъ одинъ старикъ съ бородой по поясъ:—такова осетра не запомню съ тѣхъ мѣстъ, какъ царилъ у насъ въ Астрахани проклятая Маринка-безбожница съ Ивашкою Заруцковымъ. А нонѣ трехъ такихъ пымали наши ловцы:—дакъ одново осетра мы спосылаемъ на Москву великому государю царю Алексѣю Михайловичю, а другово—святѣйшему патриарху, а третьево тебѣ подносимъ, батюшка Степанъ Тимоееичъ.

— Спасибо, спасибо за честь, почтенные старички!—благодарилъ атаманъ.—А воеводѣ-то своему вы что поднесете?—улыбнулся онъ.

— Воевода и севрюжиной будетъ доволенъ,—отвѣчалъ старикъ, тоже улыбаясь.—А ну, ребята, покажите чуду-юду!—крикнулъ онъ ловцамъ, бывшимъ въ косной лодкѣ близъ струга.

Рыбаки съ трудомъ приподняли надъ водою громадную голову чудовища, которое такъ билось въ водѣ, что казалось, лодку опрокинетъ.

— И впрямь чудо-юдо,—говорилъ Разинъ.

А въ это время Ивашка Черноярецъ съ казаками вынесли изъ трюма огромный боченокъ и серебряныя стоны, въ которыя и стали наливать вино.

Разинъ сталъ подавать вино гостямъ.

— Э! нѣтъ, батюшка Степанъ Тимоееичъ,—отказывался старѣйшій изъ депутаціи рыбаго ряда:—не по русскому звичаю: въ священномъ писаніи сказано: какъ донощику первый кнутъ, такъ и хозяину первая чара.

Разинъ выпилъ. За нимъ всѣ. Рыбакамъ молодцы Разина поднесли зелена вина, осетра привязали къ одной изъ желѣзныхъ уключинъ струга, и депутація откланялась.

Разинъ приказалъ убить и выпотрошить осетра, а потомъ сварить его въ артельномъ котлѣ.

Между тѣмъ на стругѣ разставляли столы и приборы—серебряныя и золотыя мисы, стоны и т. д.

Къ полудню начали собираться гости. Разинъ былъ необыкновенно привѣтливъ и оживленъ. Казаки давно не видали его такимъ. Это тѣмъ болѣе ихъ удивило, что недалѣе какъ сегодня утромъ онъ былъ необыкновенно задумчивъ и грустенъ. Что было у него на душѣ—никто не зналъ; но многихъ это тревожило. Иные думали даже, что онъ испорченъ, и что испортила его эта персидская чаровница-княжна.

Началось угощеніе. Въ послѣднее время, особенно когда среди казакаго бойска завелась эта чаровница, атаманъ почти ничего не пилъ—совсѣмъ сталъ красной дѣвицей. Но сегодня онъ пилъ, какъ никогда. Щеки

его разгорѣлись, глаза блещли нехорошимъ огнемъ. Казаки это видѣли—они хорошо изучили своего атамана, чего-то побаивались: быть худу... Въ иные моменты онъ какъ бы забывалъ все—гдѣ онъ, что онъ... Глаза его дико блуждали...

Но черезъ минуту онъ опять овладѣвалъ собой, и голосъ его звучалъ на всю пристань.

Князь Прозоровскій и другіе гости ничего этого не замѣчали и пировали отъ всей души—ѣли, пили, смѣялись. Всѣхъ поразилъ чудовищный оостръ.

— Гдѣ это ты, Степанъ Тимоѣевичъ, досталъ такого великана? — спросилъ воевода.

— Шахъ персической мнѣ въ подарокъ прислалъ за городъ Фарабадъ, — загадочно отвѣчалъ Разинъ.

Вдругъ точно что остигло его. Онъ всталъ и пошелъ въ горенку Заиры. Черезъ нѣсколько минутъ онъ воротился, держа дѣвушку за руку. Онъ былъ блѣденъ. Заира одѣта была въ дорогое персидское одѣяніе—вся въ золотѣ, въ жемчугахъ—драгоценные камни такъ и горѣли на ней. Она была поразительно хороша въ своемъ смущеніи.

Гости ничего не ожидали подобнаго, и всѣ встали при ея появленіи, подавленные, казалось, блескомъ чего-то невиданнаго, ослѣпительно прекраснаго.

— По русскому звичаю, — сказалъ Разинъ, — и нижняя челюсть его задрожала: — по русскому звичаю хозяика должна поднести изъ своихъ рукъ по чарѣ добраго вина. Вотъ моя хозяйка.

Всѣ низко поклонились, точно бы къ нимъ вышла царица.

Разинъ налилъ виномъ стоявшіе на серебряномъ подносѣ стопы, и Заира, не поднимая глазъ, стала разносить вино. Руки ея дрожали вмѣстѣ съ подносомъ. Всѣ пили и почтительно кланялись дѣвушкамъ.

Разинъ потомъ сѣлъ и посадилъ ее около себя.

— Дай Богъ тебѣ, Степанъ Тимоѣевичъ, счастья и здоровья на многія лѣта, — сказалъ князь Прозоровскій, и всталъ: — и великій государь не оставитъ тебя своими милостями.

Помняувъ имя великаго государя, онъ сѣлъ.

— Спасибо, князь, — отвѣчалъ Разинъ. — Я много счастливъ, такъ много, какъ тотъ эллинскій царь, о которомъ сказывалъ мнѣ одинъ святой мужъ. Счастье тово эллинскаго царя было такъ велико, что оракулъ сказалъ ему: „дабы тебѣ не лишиться твоего счастья, пожертвуй Богу то, что есть у тебя самово дорогово“. И царь тотъ зарѣзалъ любимую дщерь свою—лучшее свое сокровище.

Разинъ взглянулъ на Запру. Онъ былъ блѣденъ. А она сидѣла рядомъ съ нимъ, все такая же прекрасная и смущенная.

— Вотъ мое сокровище! — сказалъ онъ, обнимая дѣвушку.

Потомъ онъ всталъ, шатаясь, и остановился у борта струга, лицомъ къ Волгѣ. Онъ былъ страшенъ.

— Ахъ, ты, Волга-матушка, рѣка великая! много ты дала мнѣ злата и серебра и всего добраго. Какъ отецъ и мать славою и честью меня надѣлила, а я тебя еще ничѣмъ не поблагодарилъ.

Сказавъ это, онъ быстро повернулся, схватилъ Заиру одной рукой за горло, другою за ноги—и бросилъ за бортъ, какъ сорванный цвѣточекъ.

— Нажъ тебѣ—возьми!

Что-то яркое мелькнуло въ воздухѣ, послышался плескъ воды...

Всѣ въ ужасѣ вскочили. Заира исчезла подъ водой. Утромъ рыбаки вытаскивали изъ Волги трупъ Хабибуллы съ кинжаломъ въ груди...

XXII.

«Купанье стольниковъ.»

Сообщая этотъ ужасный эпизодъ изъ жизни Разина, Н. И. Костомаровъ полагаетъ, что „этотъ варварскій поступокъ не былъ только пьянымъ порывомъ буйной головы“, съ чѣмъ, конечно, нельзя не согласиться. „Стенька, какъ видно,—говоритъ историкъ,—завелъ у себя запорожскій обычай—считать сношенія казака съ женщиною поступкомъ достойнымъ смерти. Его увлеченіе красивою персіанкою, естественно, должно было возбудить негодованіе и ропотъ тѣхъ, которымъ Стенька не позволялъ того, что дозволилъ себѣ, и, быть можетъ, желая показать, что не въ состояніи привязаться къ женщинѣ, онъ пожертвовалъ красивой персіанкой своему вліянію на товарищей“.

Такъ разсуждалъ историкъ, приговоры котораго всецѣло обуславливаются тѣмъ, что говорятъ ему находящіеся въ его рукахъ матеріалы или болѣе или менѣе достовѣрные источники, документы. Но о подобнаго рода явленіяхъ, обуславливаемыхъ душевными движеніями человѣка, всего менѣе говорятъ документы, какъ не говорятъ на судѣ о своемъ преступленіи тотъ, кого уличаютъ въ немъ на основаніи не вполне ясныхъ уликъ. У историка въ этомъ случаѣ связаны руки.

Не таково положеніе романиста. Онъ долженъ все знать, даже то, чего нѣтъ и не могло быть въ документахъ: онъ долженъ знать душу своихъ героевъ, знать ихъ тайныя думы и помышленія.

И романистъ объясняетъ ужасный поступокъ Разина съ Заирой такъ, какъ онъ его объяснилъ на основаніи психологической критики, которой онъ подвергъ своего героя.

Неудивительно послѣ этого, что Разинъ, смирившійся было передъ властью, положившій свой бунчукъ къ ногамъ этой власти, подружившійся съ воеводою и водившій съ нимъ хлѣбъ-соль, вдругъ опять превращается въ звѣря, еще болѣе лютаго, чѣмъ онъ былъ прежде.

Астрахань теперь опустылѣла ему. Здѣсь онъ самъ разбилъ свое счастье—и его потянуло домой, на родину, туда, гдѣ протекло его дѣт-

чувашскіе людишки, а во всёхъ ихъ мѣсто Багай Кочюрентѣевъ сынъ да Шелмеско Шевоевъ сынъ: велѣно намъ, сиротамъ твоимъ государевымъ, по твоему государеву наказу, твоя государева пашня пахати за твой государевъ ясакъ. И мы, сироты твои государевы, твою государеву пашню пахали многіе годы—рожь и ячмень и овесъ сѣяли. И мы твою государеву пашню пашючи, лошади покупали, животишки свои и достальныя истощали. А за твоей государевой пашнею ходячи, одёжонко все придрали, и женишка и дѣтишка испроѣли, и нынѣче, государь, помираемъ голодною смертію. А одёжонки намъ, государь, сиротамъ твоимъ государевымъ, купити не на што и нечимъ, и мы, государь, сироты твои государевы, погибаемъ нужною смертію, волочась съ наготы и съ босоты. А въ осеннюю пору, государь, мы жъ, сироты твои государевы, на гумна возимъ твой государевъ хлѣбъ, и въ кладѣ кладемъ, и молотимъ. Да въ лѣтнюю пору, государь, и въ зимнюю ѣздятъ въ Астрахань твои государевы воеводы, и дѣти боярскіе, и казаки, съ твоими государевыми дѣлы къ Москвѣ и съ Москвы, и они, государь, емлютъ насъ въ подводы и съ судами въ лѣтнюю пору, и въ зимнюю пору съ лошадьми и санями, и у насъ, государь, у сиротъ твоихъ государевыхъ, въ подводахъ ѣздячи и ходячи, голодною смертію и нужною съ волокиты лошадежки помирають. А которые, государь, изъ насъ татаровя и иные людишки по дорогамъ у Волги жили, и они, государь, отъ подводъ разбѣгаются, живутъ по лѣсамъ въ незнаемыхъ мѣстахъ. И у насъ, государь, у сиротъ твоихъ государевыхъ лучшихъ людишекъ, у мурзинковъ и у сотничисковъ, въ подводахъ людишки и лошадежки помирають; а другіе бѣгаютъ по лѣсамъ отъ твоихъ государевыхъ посланниковъ потому: они, государь, посланники твои и воеводы насъ, сиротъ твоихъ государевыхъ, всякими пытками пытають, и поминки съ насъ всякія емлютъ, и насъ, сиротъ твоихъ государевыхъ, грабительски грабятъ—коровенка и куры, и гуся и утку, и рыбу, чѣмъ мы сироты твои государевы сыты бываемъ, емлютъ насильствомъ же, грабежомъ, государь, сымають съ насъ, сиротъ твоихъ государевыхъ, съ плечъ шубы и зипуны, и порты и лапти, а у ково, государь, изъ насъ сиротъ твоихъ государевыхъ и портовъ нѣтъ, и тѣхъ, государь, морятъ голодомъ до смерти, а иныхъ, государь, емлютъ себѣ въ холопи, а жонъ, государь, и дѣвокъ...

Алексѣй Михайловичъ нетерпѣливо махнулъ рукой:

— Скоро конецъ?

— Скоро, государь.

И Алмазъ Ивановъ, пробѣжавъ глазами челобитную, продолжалъ:

„А мастеровъ, государь, у насъ въ нашей бусурманской вѣрѣ нѣтъ, ни дровишекъ, государь, усѣчи нечимъ, ни на звѣря, государь, засѣки сдѣлать безъ топора не можно и нечимъ, а обуви, государь, безъ ножа сдѣлать не можно же. И намъ, государь, сиротамъ твоимъ государевымъ, съ студи и съ босоты и съ наготы голодною смертію погибнуть, и намъ, сиротамъ твоимъ, жити стало невозможно, и впредь, государь, погибнуть.

— Слышалъ!—нетерпѣливо перебилъ докладчика Алексѣй Михайловичъ.—Ну?

Дьякъ продолжалъ чтеніе:

„ Милосердый царь государь, пощади сиротъ своихъ, покажи милость, не помори сиротъ своихъ напрасною смертію, вели намъ, сиротамъ своимъ, попрежнему покупать у русскихъ людей топоры и ножи и котлы, чтобъ мы сироты твои государевы въ конецъ не погинули и съ студи и съ босоты и наготы не померли, впредь бы твоего государева ясаку не отстали. Царь государь, смилуйся, пожалуй“.

Алмазъ Ивановъ кончилъ и вытеръ вспотѣвшій лобъ ширинкой. Алексѣй Михайловичъ вздохнулъ съ облегченіемъ.

— Ну, слава Богу!—сказалъ онъ, зѣвая и крестя ротъ рукой, „чтобъ съ зѣвотой не вошелъ въ ротъ и въ утробу нечистый“. — Передай челобитѣ въ думу: коли буду сидѣть съ бояры, тогда разберу и указъ учиню. А теперь пойду на крыльцо: тамъ, чаю, стольники заждались мово купанья. Да на ихъ счастье и день теплый выдался.

И царь двинулся на крыльцо.

У крыльца уже давно толпилась дворская челядь—стольники, стряпчіе, дворяне московскіе и жильцы. На самомъ же крыльцѣ, на площадкѣ, имѣли право дожидаться только бояре, думные люди и другая знать.

Появленіе царя вызвало бурю поклоновъ, земныхъ и поясныхъ. Все заколыхалось, сдержанно кашляло, робко сморкалось „въ персты“, по „Домострою“, „въжливенько, дабы не рычать носами“.

Послѣ скучнаго доклада лицо „тишайшаго“ просіяло при видѣ порядочной группы стольниковъ, стоявшихъ въ сторонѣ отъ прочихъ. Это были тѣ, за которыми числилась провинка: они опоздали къ утреннему царскому „смотру“—къ выходу. Ихъ и ожидало купанье въ пруду.

— Ну, Алмазъ, — вели начинать дѣйство, — обратился государь къ Алмазу Иванову.

Послѣдній подалъ знакъ жильцамъ, которые стояли около провинившихся стольниковъ: это были „купальные“.

„Купальные“ подхватили подъ руки стоявшаго впереди молодого стольника, высокаго и стройнаго, и повели къ „ердани“—къ купальной открытой сѣни.

— Многая лѣта великому государю!—едва успѣлъ крикнуть стольникъ, какъ „купальные“ толкнули его въ прудъ „прямо мордой“.

Стольникъ скрылся подъ водой, но черезъ нѣсколько секундъ вынырнулъ и, ловко держась на водѣ, клалъ поклоны, ударяя лбомъ о поверхность воды.

— Ай да ловокъ Еремѣй!—послышались одобрительные возгласы среди бояръ:—и на водѣ великому государю челомъ бьетъ.

— И точно ловокъ! ахъ, язва!

А стольникъ, видя произведенный имъ эффектъ, поднялъ правую руку и возгласилъ:

— Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояніе твое! Побѣды благовѣрному государю нашему Алексѣю Михайловичу на супротивныя даруй...

— Ахъ, язва! и вода его не беретъ.

Алексѣю Михайловичу видимо понравились продѣлки стольника.

— Похваляю, похваляю, Еремѣй!—милостиво улыбался онъ.

Еремѣй вышелъ изъ воды и, оставляя за собою мокрый слѣдъ и низко кланяясь, приближался къ царю. Тотъ пожаловалъ ловкаго стольника къ рукѣ.

— Похваляю, похваляю,—продолжалъ Алексѣй Михайловичъ,—жалую тебя двумя обѣдами.

Всѣ съ завистью смотрѣли на счастливица: его ожидала карьера по службѣ. Шутка-ли! два обѣда разомъ!

Между тѣмъ „купальные“ тащили уже другую жертву царской іотъхи. Это былъ старенькій, сухенькій и тщедушный стольничшко, которому плохо везло по службѣ. Онъ никогда не опаздывалъ къ царскому смотру і потому, что, съ одной стороны, былъ холопски усерденъ къ службѣ и вѣрентъ „аки песь“, съ другой—онъ боялся воды, такъ какъ во всю свою жизнь не купался, предпочитая холодной рѣчной водѣ паровую баню съ вѣнникомъ; но сегодня, на обѣду, опоздалъ, за своею глухотою не разслышавъ боя часовъ на одной изъ кремлевскихъ колоколенъ.

Онъ весь дрожалъ со страха, крестился и жалобно просилъ:

— Царь государь! смилуйся, пожалуй! я отродясь не плавалъ... я немощенъ... у меня утинъ въ хребтѣ...

Это тѣшило „тишайшаго“, и онъ смѣялся, а бояре вторили ему почти-тѣльнымъ ржаніемъ.

„Купальные“, подстрекаемые общимъ весельемъ, взяли свою жертву за ноги и за руки, и, раскачавъ въ воздухѣ, бросили далеко въ прудъ. Тщедушное тѣло бутыхнуло въ воду и пошло ко дну. На поверхности всплыли пузыри...

Ждутъ, а онъ не показывается. Еще ждутъ—нѣтъ его, только пузыри вскакиваютъ.

— Ишь, старый, словно тебѣ выхухоль въ водѣ живетъ,—слышалось межъ боярами.

— Что выхухоль! настоящий соболь...

А соболя все нѣтъ. Алексѣй Михайловичъ начинаетъ тревожиться.

— Онъ шутить, государь,—успокаиваютъ его бояре:—ишь проказникъ!

Но проказника все нѣтъ—и вода въ пруду сравнялась—гладко, какъ зеркало.

— Ищите его! вымайте изъ воды!—тревожно заговорилъ государь:—охъ, Господи!

Всѣ засуетились, но никто не смѣлъ броситься въ воду. Слышались только возгласы, оханья. Всѣ столпились у пруда, разводили руками, топтались на мѣстѣ, какъ овцы...

Вдругъ кто-то протискивается сквозь толпу, крестится и съ рѣзкимъ бросается въ прудъ.

— Еремѣй! Еремѣй Васильевичъ Сухово!—послышались радостные голоса. Это былъ дѣйствительно онъ. Смѣльчакъ быстро доплылъ до того мѣста, гдѣ скрылся подъ водою старенькій столычникъ, и нырнулъ. Черезъ нѣсколько секундъ онъ вынырнулъ, держа въ одной рукѣ за шиворотъ утопленника и поддерживая его безпомощную лысую голову надъ водою,—и скоро достигъ „средины“.

— Не клади на зѣмь! не клади!—послышались возгласы.

— Дайте охабень! на охабени качайте! отойдетъ!

— Ахъ, Господи! ахъ, Господи!—повторялъ Алексѣй Михайловичъ, глядя на посинѣвшее лицо утопленника.

Несчастнаго положили на охабень, качали шибко, сильно. Жалкое маленькое тѣло въ мокрой одеждѣ безпомощно перекачивалось по охабню, руки и ноги болтались какъ плети, посинѣвшее лицо какъ бы о чемъ-то просило...

Но его такъ и не откачали...

XXIII.

Роновое поманіе руни.

Въ то время, когда Алексѣй Михайловичъ выслушивалъ доклады дьяка Алмаза Иванова, а потомъ купалъ своихъ столычнковъ, его любимца, царевна Софья Алексѣевна, затѣяла прогулку въ лѣсъ по грибы. Она воспользовалась прекраснымъ, теплымъ сентябрьскимъ днемъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что царская семья и весь дворъ на-дняхъ должны были переехать изъ села Коломенскаго въ Москву.

Теперь Софья Алексѣевна была уже не подростокъ-дѣвочка, а настоящая дѣвица „большая“: ей уже семнадцать лѣтъ, и она выросла, пополнила и вполне развила физически.

Въ это утро, по обыкновенію, она училась съ Симеономъ Полоцкимъ, который никакъ не могъ удовлетворительно объяснить ей, отчего это бываетъ снѣгъ. Хотя онъ объяснять по ученому, но ужасно туманно, и это раздражало царевну.

— Егда пара восходитъ на воздухъ,—толковать онъ,—и вѣтръ далече проженетъ, и та пара отолстѣетъ, обаче же не можетъ въ камень смерзнутися, понеже тамо есть мгла посреди: все же строится судьбами Всесотворшаго, и идетъ снѣгъ, дождь, и градъ, роса и иней, мразъ и зной, воздухомъ и солнцемъ, обаче же токмо единъ Онъ всесильный творецъ вѣсть.

— Ахъ, Симеонъ Ситановичъ,—зѣвала царевна,—лучше пойдемте въ лѣсъ по грибы: вонъ какое ведро—хорошо, зѣло хорошо: а то скоро въ городъ переѣдемъ.

Конечно, учитель охотно согласился прогуляться въ лѣсу съ своей хорошенькой ученицей, и они, захвативъ корзинки, отправились неболь-

шимъ обществомъ въ рощу, примыкавшую къ дворцу села Коломенскаго: съ ними пошли за грибами и старая царевнина мамка, и случайно бывшая во дворцѣ у царицы молоденькая Ордина-Нащокина, Наталья Семеновна, урожденная княжна Прозоровская.

Читатель, можетъ быть, помнить, что княжну Прозоровскую, постригшуюся было съ отчаянія, мы видѣли въ послѣдній разъ, три года тому, когда она вдругъ неожиданно явилась въ монашескомъ одѣяніи къ Воину Ордину-Нащокину и рѣшительно заявила, что въ монастырь она больше не возвратится.

Проясненіе это въ свое время надѣлало много шуму въ Москвѣ, особенно въ придворныхъ сферахъ. Сдѣлалось извѣстнымъ, что инокиня Надежда, урожденная княжна Наталья Прозоровская, отпросилась у игумена пойти въ Успенскій соборъ, во время службы, съ кружкой для сбора пожертвованій на святую обитель. Ее отпустили съ одной почтенной старицей. Но въ соборѣ, среди литургіи, молоденькая инокиня Надежда попросила старицу поддержать на минуту и ея кружку, пока она поставитъ свѣчку Николѣ Чудотворцу, — и тотчасъ же исчезла! Изъ собора она поѣхала прямо къ тому, кого она давно любила — къ своему Воину.

Многихъ хлопотъ стоило родителямъ ихъ спасти юную обгланку отъ жестокаго наказанія по „Номоканону“ и по монастырскому уставу. Только личное участіе царя въ судьбѣ молоденькой преступницы и его любовь къ старику Нащокину отвратили отъ ея пылкой головки суровую кару. При томъ же Алексѣю Михайловичу проходу не давала его „непосѣда“, царевна Софьюшка, которую онъ иногда называлъ „запорожцемъ въ юпкѣ“. Она съ утра до вечера нудила надъ ухомъ: „прости да прости Наташу Прозоровскую“...

И пришлось простить. Но ее, конечно, по тогдашнему выраженію, „обнажили отъ ангельскаго чина“, другими словами — разстригли.

Потомъ любящаяся парочка сочеталась бракомъ, и съ той поры молодая Ордина-Нащокина, жена Воина, глубоко привязалась къ царевнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ за ея заступничество предъ отцомъ, и при всякомъ удобномъ случаѣ являлась во дворецъ.

Всѣ шли съ корзинками въ рукахъ, и Симеону Полоцкому дали огромную корзину, потому что онъ хвастался, что у нихъ въ Полоцкѣ онъ считался первымъ „грибонаходчикомъ“.

Дорогой говорили о томъ, что занимало тогда умы московскаго общества — о бывшемъ патриархѣ Никонѣ и о заключеніи его въ Ферапонтовомъ монастырѣ, о сылкѣ протопопа Аввакума въ Пустозерскъ, въ земляную тюрьму, наконецъ, объ изъясненіи Разиннымъ покорности.

— А что онъ послѣ того, матушка царевна, сдѣлалъ! Не приведи Богъ, — замѣтила молодая Ордина-Нащокина.

— А что такое, Наташа? — спросила Софья Алексѣевна.

— Да вотъ что, государыня царевна. Вечоръ отъ батюшки съ Астрахани гонецъ пригналъ съ гостинцами мнѣ отъ родителя — груши да вино-

градъ. Дакъ сказывалъ гонецъ: была-де въ полонянкахъ у Разина царская дочь, персичково царя—красавица! ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать. И полюбись, матушка, та царская дочь атаману Разину—ужъ такъ любилъ ее, такъ любилъ!—и берегъ какъ зѣницу ока. Пришло,—говорить,—атаману Разину пора-время говѣть, и на духу его батюшка пытается: „что-де у тебя, рабъ Божій, дороже всего на свѣтѣ?“—А такъ и такъ, батюшка,—говорить Разинъ: дороже мнѣ всево,—говорить,—царска дочь.—„Кинь,—говорить батюшка,—кинъ ее въ море, какъ кинулъ въ море царь Соломонъ свой драгоцѣнный перстень. Ежели,—говорить,—Богъ приметъ твою жертву, то на третій же день рыба-кить, аки Іону, возвратитъ тебѣ царевну“.

— Ну, и чтожь?—въ волненіи спрашивала царевна:—кинулъ?

— Кинулъ, государыня,—отвѣчала Ордина-Нашокина.

— Господи!—всплеснула руками Софья Алексѣевна.— Ну, и какъ же было дѣло?

— Да такъ: былъ,—говорить,—у атамана Разина пиръ-большой, у нево на струѣ; былъ у нево,—говорить,—въ гостяхъ и мой батюшка. Вышла,—говорить,—изъ своей свѣтлицы къ гостямъ и царска дочь—вся въ золотѣ да въ камняхъ самоцвѣтныхъ, поднесла гостямъ по чарѣ, какъ законъ велитъ. А Разинъ и говоритъ къ гостямъ: „вотъ мое сокровище!“ это на царскую-то дочь.—„Царь Соломонъ,—говорить,—бросилъ въ море свое сокровище—драгоцѣнный перстень, а я—ее!“ Да съ этимъ словомъ схватилъ ее поперекъ и словно золотъ перстень бросилъ въ море!

Всѣ пришли въ ужасъ отъ этого разсказа, дошедшаго до Москвы уже въ искаженномъ вариантѣ.

— Ну и чтожь — рыба-кить не принесла ее на третій день?—спросила Софья Алексѣевна.

— Не принесла, матушка царевна.

Симеонъ Полоцкій полагалъ, что это просто бабья сказка, и потому больше думалъ о грибахъ, чѣмъ о царской дочери и ея участи.

— А вотъ сыроѣжка! вотъ и бѣлый грибъ! — радостно воскликнулъ онъ, нагибаясь, чтобъ сорвать грибы.

Скоро и всѣ увлеклись грибами.

Въ это время у опушки лѣса показались два всадника. По всему видно было, что это соколиные охотники, потому что у каждаго изъ нихъ на рукавицѣ сидѣло по соколу—одинъ въ красной шапочкѣ, другой въ голубой.

— Да это никакъ князь Василій Васильевичъ Голицынъ? — замѣтила Ордина Нашокина.

— Онъ и есть,—подтвердилъ Симеонъ Полоцкій.

Царевна Софья Алексѣевна почему-то при этомъ вся вспыхнула.

— Должно, съ соколиной охоты ѣдутъ,—какъ бы нехотя сказала она.

Всадники подъѣзжали все ближе и ближе, и вдругъ одинъ изъ нихъ, остановивъ лошадь, соскочилъ съ сѣдла, передалъ и лошадь и своего сокола другому всаднику, что-то наказавъ ему, и торопливо пошелъ къ грибоискателямъ.

Это былъ, дѣйствительно, князь Василій Васильевичъ Голицынъ, мужчина среднихъ лѣтъ, широкоплечій и достаточно плотный. Онъ издали узналъ Софью Алексѣевну и, приближаясь къ ней, почтительно снялъ шапку.

— Здравствуй, князь Василій!—ласково сказала царевна.

— Будь ты здрава, государыня царевна,—поклонился Голицынъ.—Грибнымъ дѣломъ тѣшишься?

— Точно,—отвѣчала Софья, скользнувъ глазами по всей фигурѣ собесѣдника.

Голицынъ поздоровался и съ другими.

— А князь Василій былъ на соколиныхъ ловахъ?—спросила царевна.

— Грибнымъ дѣломъ, государыня... Чтожъ я смотрю!—спохватился онъ:—позволь государыня, я хутъ кошницу буду носить за тобой.

— И то дѣло,—согласилась царевна.

Всѣ занялись исканіемъ грибовъ, изрѣдка перекидываясь словами: „ай да рыжикъ!“—а у меня волнушка!“—„грузди!“ Усердїе всѣхъ лазилъ по кустамъ Симеонъ Полоцкій, желая поддержать свою старую репутацію.

Молодая Ордина-Нащокина, не сильная насчетъ грибной части, боясь набрать мухоморовъ вмѣсто рыжиковъ, держалась профессора по грибной части—старой мамки, и не отходила отъ нея.

Софья же Алексѣевна, порывистая, нетерпѣливая, быстро переходила отъ одного мѣста къ другому, и Голицынъ долженъ былъ слѣдовать за ней. Она вся раскраснѣлась отъ ходьбы и груди ея высоко поднималась. Часто взоръ ея скользилъ по лицу Голицына, но какъ-то украдкой, стыдливо. Она испытывала какое-то радостное волненіе вблизи этого сильнаго мужчины, и ее все дальше и дальше тянуло въ глубь рощи.

Они давно потеряли всѣхъ изъ виду, и, кажется, забыли о грибахъ.

— Вонъ грибъ, государыня!—сказалъ Голицынъ, нагибаясь.

Нагнулась и Софья Алексѣевна—и глаза ихъ встрѣтились. Что-то горячее сказалося съ обѣихъ сторонъ въ этихъ глазахъ, и когда рука Голицына потянулась было къ грибу, она ощутила не грибъ, а другую руку—руку царевны. Руки соединились порывисто, судорожно. Но теперь они не смѣли взглянуть другъ другу въ глаза, хотя и чувствовали, что въ этотъ моментъ они составляютъ одну душу, одно существо...

— Ау! ау!—послышался голосъ Ординой-Нащокиной.

— Я не могу откликнуться,—шепталъ въ волненіи князь Голицынъ:—не хочу!

— И не надо,—прошентала и Софья, вставая и не выпуская изъ руки руку Голицына.

Изъ-за ближнихъ кустовъ показался Симеонъ Полоцкій. Онъ торжествовалъ—въ корзинѣ у него были всевозможные грибы.

— А вы?—обратился онъ къ царевнѣ и къ князю Голицыну.

— Мы нашли всего одинъ грибъ,—отвѣчалъ послѣдній.

— А Симеонъ Ситиановичъ помѣшалъ намъ сорвать его,—добавила Софья, лукаво глянувъ на Голицына.

— Ау! ау! ау!—повторились ауканья Нащокиной.

— Ау! ау!—отвѣчала царевна, думая про себя: „теперь пушай ее падеть“.

Софья Алексѣевна давно уже чувствовала влеченіе къ Голицыну, часто встрѣчая его во дворцѣ. Еще дѣвочкой она видѣла въ немъ образецъ мужчины, а чѣмъ старше становилась, тѣмъ очевиднѣе для нея самой росло въ ней нѣжное и тревожное чувство къ тому, кого она въ душѣ называла „Васенькой“.

И вотъ сегодня она въ первый разъ почувствовала, что одно прикосновеніе его сильной, мускулистой руки дало ей столько счастья и чего-то такого сладостнаго, чего она еще ни разу не испытывала въ жизни. Это прикосновеніе точно обожгло ее, и между тѣмъ ей хотѣлось, чтобы онъ не выпускалъ ея руку, ей хотѣлось чувствовать ея теплоту, ея силу, ея близость.

Всѣ пошли дальше, продолжая искать грибы и уже не разбиваясь на отдѣльныя единицы. Софья Алексѣевна теперь стала внимательнѣе къ своему дѣлу, и въ корзинку ея, которую продолжалъ носить Голицынъ, все чаще и чаще попадали то рыжики, то сыроѣжки, то и настоящіе бѣлые. Она рассказала Голицыну о варварскомъ поступкѣ Разина съ своею хорошенькою плѣнницей, и Голицынъ тоже принялъ было это за сказку, если-бы рассказъ царевны не поддержала молодая Ордина-Нащокина, сказавъ, что гонецъ, привезшій эту вѣсть изъ Астрахани, еще не выѣхалъ изъ Москвы обратно и можетъ лично подтвердить все сообщенное князю.

Но пора, наконецъ, было возвращаться и по домамъ. Когда они выходили изъ рощи, у опушки ся, на дорогѣ, ведущей въ Москву, Голицынъ ожидалъ его сокольничій съ лошадыю и соколомъ. Голицынъ простился и вскочилъ на коня, взглянувъ послѣдній разъ на царевну.

Софья долго провожала его глазами.

Весь этотъ день и она и онъ постоянно вспоминали, какъ руки ихъ встрѣтились тамъ, въ рощѣ; но они, конечно, не могли предвидѣть, какія кровавыя послѣдствія въ будущемъ пронстекутъ для Россіи и для нихъ самихъ изъ этого рокового пожатія одной руки другою.

XXIV.

Въ нуль да въ воду.

Въ то время, когда въ Астрахани и въ Москвѣ происходили описанныя нами событія, какъ извѣстно, заключенъ былъ съ Польшею Андрусовскій миръ.

Виновникомъ этого гибельнаго для Малороссіи мира былъ старый нашъ знакомый, Ординъ-Нащокинъ-отецъ. Этимъ постыднымъ миромъ Малороссія разрѣзывалась пополамъ, такъ сказать—по живому тѣлу: вся правобереж-

ная Украина, Волинь и Подолія, отдавалась Польшѣ вмѣстѣ съ величайшею святынею русскаго народа—Кіевомъ!

Мало того! Ходили слухи—и не безосновательные—что Ординъ-Нащокинъ совѣтывалъ царю совсѣмъ уничтожить казачество, какъ корень всѣхъ смутъ внутри государства и какъ начало всѣхъ несогласій и недоразумѣній съ сосѣдними государствами: долой Запорожье! долой донское и яицкое войско!

Когда эти слухи проникли на Запорожье и на Донъ, тогда все казачество подняло голову.

— Лучше жить въ братствѣ съ турками, чѣмъ съ москалями!—крикнувъ на полковничей радѣ Брюховецкій, потрясая въ воздухъ гетманскою булавою.

Это онъ выкрикнулъ въ Гадячѣ. Подобный же возгласъ раздался и на Дону, на небольшомъ островѣ Кагальникѣ.

— Я вырѣжу до-ноги все московское боярство и всѣхъ господъ, и поставлю надъ Русской землею одинъ казацкій кругъ!—сказалъ Разинъ, когда къ нему на Донъ явились посланцы отъ Брюховецкаго.

Посланцы эти—наши старые знакомые, которыхъ мы видѣли, въ первой главѣ нашего повѣствованія, въ Столовой избѣ Грановитой палаты, на отпускѣ у царя Алексѣя Михайловича: это—Гарасимъ Яковенко или „Гараська-бугай“, Павло Абраменко и Михайло Брейко, тотъ самый великанъ, который растянулся во весь ростъ на ступеняхъ державнаго мѣста и восклицаніемъ—„оце лихо! николи съ коня не падавъ, а тутъ, бачъ, упавъ!“—вызвалъ общій смѣхъ.

Посланцы привели отъ гетмана въ подарокъ Разину прекраснаго бѣлаго арабскаго коня подъ богатымъ чапракомъ, а для казацкаго круга пригнали сто превосходныхъ черкасскихъ воловъ, рога которыхъ перевиты были красными, голубыми, алыми и зелеными лентами.

— Ужъ и хохлы дошлые! Словно красныхъ дѣвокъ воловъ своихъ лентами изнарядили!—удивлялись донцы, любясь прекрасными волами.

Станъ Разина въ это время, какъ сказано выше, находился на островѣ Кагальникѣ. Станъ былъ обнесенъ высокимъ землянымъ валомъ, на которомъ въ разныхъ мѣстахъ поставлены были пушки очень внушительныхъ размѣровъ. За валомъ вся площадь острова, т. е. внутренняя часть острова, состояла изъ массы небольшихъ кургановъ съ торчавшими изъ нихъ плетеными трубами: это были земляныя избы или „курени“, въ которыхъ помѣщались казаки Разина и онъ самъ.

— Тебѣ бы, батюшка Степанъ Тимошенчъ, особый куренекъ срубить,—говорилъ ему есаулъ Ивашка Чернойрецъ, когда рыли землянки для войскъ.

— У Христа и норы лисей не было, а онъ былъ царь надъ царями,—отвѣчалъ Разинъ.

Гетманскихъ пословъ Разинъ принялъ безъ всякихъ излишнихъ церемоній, которыхъ онъ терпѣть не могъ, говоря, что они служатъ „для отводу глазъ дуракамъ“, и только приказалъ стрѣлять изъ всѣхъ пушекъ, когда

послы съ берега сажались въ лодки, чтобъ ѣхать на островъ, и когда пристали къ острову.

Присланныхъ гетманомъ воловъ оставили на берегу, конечно, на время, для корму, а коня перевезли на островъ и торжественно провели передъ выстроившимися казаками.

Разинъ тотчасъ же собралъ „кругъ“. Въ кругу стояли: Разинъ съ своимъ есауломъ и три гетманскіе посла. Въ рукахъ у Разина была богатая атаманская „наѣвка“ или бунчукъ.

Гарасимъ Яковенко нѣсколько отступилъ отъ товарищей впередъ и подалъ Разину „листъ“ отъ гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкаго и всего войска запорожскаго низоваго къ господину атаману Степану Тимошеевичу Разину и всему вольному войску донскому. Разинъ взялъ „листъ“—пакетъ, поцѣловалъ печать, бережно разломалъ ее и, вынувъ изъ пакета бумагу, подалъ ее есаулу.

— Вычитай, что пишетъ намъ ясновельможный гетманъ и все славное запорожское войско низовое,—сказалъ онъ, нѣсколько преклоняя бунчукъ въ знакъ почтенія къ посольству.

Въ посланіи говорилось о нестерпимыхъ утѣсненіяхъ, дѣлаемыхъ Москвою и ея воеводами Украинѣ, объ отдачѣ Кіева и всѣхъ печерскихъ угодниковъ полякамъ, о намѣреніи уничтожить все казачество.

Казаки не дали есаулу дочитать посланіе до конца.

— Не бывать этому!—кричали они, хватаясь за сабли, точно бы врагъ стоялъ передъ ними на лицо.

— На осину всѣхъ бояръ! въ куль да въ воду!—кричали другіе.

Посланцы Брюховецкаго объяснили, что заводчикомъ всего этого у царя—Аеонька Ординъ-Нащокинъ.

— Онъ и сына своего, проклятаго Воинку, подсылалъ къ намъ лазутчикомъ,—пояснялъ великанъ Брейко.

— А наши казаки выкрали его у ляховъ. Мы думали, что оно чтонибудь доброе, а оно вонъ что—змѣиное отродье! — добавилъ „Гараська-бугай“.

— Мы его и въ Москвѣ найдемъ!—кричали казаки.

— И батюшку и сына въ одинъ куль!—добавляли другіе.

„Майданъ“ долго волновался, пока Разинъ не махнулъ бунчукомъ. Все утихло.

— Атаманы-молодцы и все вольное войско казацкое!—возвысилъ голосъ Разинъ;—Москва хочетъ утопить насъ въ ложкѣ воды, отобрать отъ насъ казацкія вольности...

— Этому не бывать!—опять слышались крики.

— Не бывать!—подтвердилъ и Разинъ. — Мы сами зажжемъ московское государство съ двухъ концовъ: мы съ Волги, запорожскіе казаки и татары—съ Днѣпра, и тогда посмотримъ, кто кого въ крови утопить!

— Любо! любо! Только не мы утонемъ!—кричали казаки

Между тѣмъ на кострахъ, разведенныхъ еще съ утра, на пищальныхъ

шомполахъ уже жарились огромные куски черкаской говядины, а изъ войскового подвала выкатывались бочки съ виномъ.

Скоро на майданѣ начался пиръ.

И донскіе, и запорожскіе казаки всё были горазды выпить, а потому гульня была жестокая.

Чей-то голосъ вдругъ затянулъ:

„Какъ у насъ на Дону,
„Во Черкаскомъ городу“...

— Къ бѣсу Черкаской городъ,—раздались другіе голоса:—тамъ Корнилка Яковлевъ заодно съ Москвою! Въ воду всёхъ согласниковъ!

Тогда другой голосъ запѣлъ:

„Какъ у насъ на Дону,
„Въ Кагальницкомъ городу“!

— Любо! любо! въ Кагальницкомъ городу!

Пьяные голоса перебивали одинъ другого, никто никого не слушалъ. А какой-то казакъ съ вырванною ноздрей, взявшись въ боки, присѣдалъ пьяными ногами и приговаривать:

„А какъ нашъ-отъ козелъ
„Всегда пьянъ и веселъ,—
„Онъ шатается,
„Онъ вальяется“...

Ему вторила другая пьяная, тоже вырванная ноздря—изъ „сибирныхъ“, которая, приставивъ сложенные ладони ко рту, дудѣла какъ на дудкѣ:

„А-бу-бу-бубу-бу-бу,
„Сидитъ воронъ на дубу,
„Онъ играетъ во трубу,—
„Труба точеная,
„Позолоченая“!

Между тѣмъ Разинъ, который въ это время разговаривалъ съ запорожскими послами, вспомнивъ что-то, всталъ на ноги (онъ сидѣлъ и пировать съ послами на разостланномъ персидскомъ коврѣ) и крикнулъ такимъ голосомъ, который всёхъ заставилъ очнуться.

— Атаманы-молодцы! слушать дѣло!—поднялъ онъ бунчукъ. — Привести сюда бабника съ бабой!

Нѣсколько казаковъ бросились къ небольшой земляной тюрьмѣ и вывели оттуда рослаго, широкоплечаго и мускулистаго казака и молоденькую дѣвушку-казачку. За ними еще одинъ казакъ несъ длинный рогожный кулъ, въ которомъ отчаянно метался и мяукалъ котъ.

Приведенный изъ земляной тюрьмы молодой казакъ смотрѣлъ кругомъ смѣло, вызывающе, дерзко. Юная же подруга его была блѣдна, какъ мѣлъ,

и едва стояла на ногахъ. Молодость и миловидность ея были таковы, что даже грубыя, зачерствѣлыя черты убійцы при видѣ ея смягчались.

Несчастные обвинялись въ тяжкомъ для „казака въ полѣ“ преступленіи. Тренька Порядинъ — такъ звали молодого казака—нынѣшней ночью стерегъ на войсковомъ лугу казацкихъ коней. Когда же дозорные казаки обходили ночью войсковой табунъ и провѣряли варту, то застали Треньку Порядина съ этой дѣвушкой, съ Палагой Юдиной, съ сосѣдняго хутора. А по казацкому обычаю, „казакъ въ полѣ“ за сношеніе съ бабой подвергался смертной казни: „въ куль да въ воду“, притомъ вмѣстѣ съ бабой, если она поймана, и вдобавокъ — съ котомъ, который бы ихъ царапалъ въ куль.

Когда вины несчастныхъ были сказаны есауломъ въ казацкомъ кругу передъ гетманскими послами, Разинъ сказалъ:

— Вершите, атаманы-молодцы! въ куль да въ воду!

Говоря это, онъ не сводилъ глазъ съ трепетавшей дѣвушки. Въ его душѣ вдругъ всталъ другой милый образъ, такъ безчеловѣчно погубленный имъ. За что? за чью вину? И уже никогда, никогда этотъ милый образъ не явится ему на яву, какъ онъ часто является ему во снѣ и терзаетъ его душу позднимъ, напраснымъ раскаяньемъ. И его разомъ охватила такая тоска, такая душевная мука, что онъ самъ, кажется, охотно бы пошелъ въ этотъ куль и въ воду...

— Въ куль да въ воду! — повторили голоса въ кругу, иные видимо неохотно.

Осужденный посмотрѣлъ въ глаза своему атаману такимъ взглядомъ, что даже Разинъ смутился.

— Тебя, вора, въ куль да въ воду! — глухо произнесъ осужденный. — Ты не по закону жилъ съ персипкою княжной, бусурманкой, а Палага — моя законная невѣста...

Глухой ропотъ пронесся какъ вѣтеръ по майдану. Разинъ страшно поблѣднѣлъ и пошатнулся, словно бы отъ удара. Слезы и судороги сдавили ему горло...

— Онъ правъ... онъ правъ, братцы! — рыдая говорилъ онъ: — вяжите меня въ куль... я не отецъ вамъ... я не жилецъ на этомъ свѣтѣ... Охъ, смерть моя!.. вяжите! вяжите меня!..

Разинъ упалъ на колѣни и положилъ бунчукъ на землю.

— Простите меня, братцы! — и онъ кланялся въ землю. — А теперь вяжите... вотъ мои руки... въ куль, въ куль, да въ воду!..

Онъ говорилъ точно въ бреду. Весь майданъ онѣмѣлъ отъ ужаса...

Наконецъ, нѣкоторые изъ казаковъ опомнились, бросились къ своему атаману, подняли его...

— Батюшка! отецъ нашъ! не покидай насъ, сиротъ твоихъ, — умоляли они его: — безъ тебя мы пропали.

Стоявъ прошелъ по всему майдану. Разина обступили, цѣловали его руки, плакали...

Плакать и онъ... Въ плачѣ этомъ слышалось глубокое отчаяніе.

Но потомъ онъ быстро подошелъ къ осужденному и горячо обнялъ его:

— Прости меня, Тренюшка! прости, родной мой! И ты меня прости, Палагеюшка!

Онъ поклонился дѣвухѣ въ землю. Та блѣдная, все еще растерянная и трепещущая отъ ужаснаго надъ нею и ея возлюбленнымъ приговора, силалась поднять валявагося въ ея ногахъ страшнаго атамана.

— Прости! прости меня!—повторилъ Разинъ:—за твой дѣвичій стыдъ! за мое окаянство—прости!

— Богъ всѣхъ проститъ! Богъ всѣхъ проститъ!—раздались отдѣльные голоса на майданѣ, а за ними въ одинъ голосъ закричало все войско:— Богъ всѣхъ проститъ! Богъ всѣхъ проститъ!

Эта картина, полная глубокаго драматизма, произвела сильное впечатлѣніе на запорожцевъ.

Въ концѣ концовъ, осужденные были помилованы и какъ почетные гости посажены въ кругѣ, а ни въ чемъ неповинный котъ, выпущенный изъ куля, съ сердитымъ фырканьемъ вскочилъ на ближайшую развѣсистую вербу и злобно глядѣлъ оттуда своими круглыми, горѣвшими зеленымъ огнемъ глазами.

XXV.

Жена Разина.

Посольство Брюховецкаго къ Разину, какъ извѣстно, ни къ чему не привело. Гетманъ правобережной Украины, Дорошенко, въ нѣсколько недѣль покорилъ подъ свою власть всю лѣвобережную Украинну, и Брюховецкій своею же чернью—„голоото“—въ нѣсколько минутъ былъ забитъ палками и ружейными прикладами, „какъ бѣшеная собака“, по выраженію лѣтописца.

Разину предстояло дѣйствовать одному съ своими казаками.

Наступалъ 1669 годъ. Донъ вскрылся рано. Надо было думать о походѣ.

Вдругъ однажды подъ вечеръ разинскіе молодцы, которые ловили въ Дону, ниже Кагальника, рыбу, замѣтили лодку, которая осторожно, среди густыхъ тальниковъ и видимо крадучись пробиралась къ казацкому стану. Ловцы настигли ее и увидѣли, что въ ней сидитъ женщина. На окликъ сначала отвѣта изъ лодки не послѣдовало и лодка продолжала спѣшить къ острову.

— Остановись, каюкъ, стрѣлять будемъ!—закричалъ одинъ изъ ловцовъ и выстрѣлилъ по подозрительному каюку.

Послѣ выстрѣла каюкъ остановился. Ловцы подплыли ближе: въ каюкъ находилась только одна женщина среднихъ лѣтъ, повидимому казачка.

— Ты кто такая и откель?—спросили ловцы.

— Сами видите, атаманы-молодцы, что я казачка и їду изъ Черкаскова, — смѣло и даже гордо отвѣчала неизвѣстная женщина.

— Видимъ, что не татарка, — улынулся одинъ изъ ловцовъ, — а куда путь держишь?

— Къ атаману Степану Тимоѣевичу Разину, — былъ отвѣтъ.

— О-го-го! — покачалъ головой тотъ же ловецъ, — высоко, болѣзная, летаешь, а гдѣ-то сидешь!

— Сяду рядомъ съ вашимъ батюшкой атаманомъ! — гордо отвѣчала казачка.

— Не погниѣвайся, молода-молодка, — замѣтилъ другой ловецъ, по-старше, — въ нашъ городокъ вашъ братъ, баба, и ногой ступить не можетъ; а то заразы кесимъ башка!

— Што такъ строго? — презрительно улыбнулась смѣлая казачка.

— А такъ — у насъ законъ таковъ: чтобъ бабьиной и не пахло, — отвѣчалъ младшій ловецъ.

— Что-жъ — али баба псиной пахнетъ? — презрительно пожала плечами казачка.

— Псиной не псиной, а припахиваетъ.

Этотъ дерзкій отзывъ взорвалъ казачку: она вспыхнула и замахнулась весломъ, чтобъ ударить обидчика. Тотъ едва увернулся.

— О! да она и въ самомъ дѣлѣ съ запашкомъ! — засмѣялся онъ.

— Прочь, вислоухіе! — закричала внѣ себя казачка: — мнѣ не до васъ, сволочь! Мнѣ спѣшка видѣтъ атамана; а задержите меня — завтра-жъ васъ въ куль да въ воду!

Она торопливо сняла съ своей руки перстень съ бирюзой и подала старшему ловцу.

— На! заразы же покажь этотъ перстень атаману, — мнѣ ждать неколи, а ему и тово меньше! — сказала она повелительно.

Все это говорилось такимъ тономъ, и вообще незнакомая женщина такъ вела себя, что казаки уступили ея требованію и поплыли къ острову. Незнакомка слѣдовала за ними. Она такъ сильно и умѣло работала весломъ, что ея легкій каючокъ не отставалъ отъ казацкой лодки.

Скоро они были у острова. Изъ-за земляного вала, которымъ былъ обнесенъ станъ Разина, кое-гдѣ поднимался синеватый дымокъ къ небу.

Лодка и каюкъ пристали къ берегу. Старшій ловецъ тотчасъ же отправился въ станъ, а младшій съ незнакомой казачкой остались на берегу.

— Чтожъ у васъ въ Черкаскомъ дѣлается? — спросилъ-было незнакомку оставшійся на берегу ловецъ.

— Это я скажу атаману, — былъ сухой отвѣтъ.

„Фу ты, ну ты!“ подумалъ про себя ловецъ, и только пожалъ плечами.

Скоро воротился и тотъ казакъ, который ходилъ въ станъ съ перстнемъ.

— Иди за мной, — сказалъ онъ незнакомкѣ, — батюшка Степанъ Тимоѣевичъ приказалъ звать тебя.

Незнакомка повиновалась. По лицу ея видно было, что волненіе и страх боролись въ ней съ какимъ-то другимъ чувствомъ.

Разинъ ждалъ ее на майданѣ въ кругу нѣсколькихъ казаковъ. Выраженіе лица его было сурово.

Незнакомка робко подошла къ нему и опустилась на колѣни. Разинъ молча вглядывался въ ея черты.

— Степанушка! Стеня! али ты не узналъ меня?—съ нѣжнымъ упрекомъ произнесла пришедшая.

— Нѣтъ, узналъ,—сухо отвѣтилъ Разинъ.

Но и на его холодномъ лицѣ отразилось волненіе и какое-то другое чувство. Стоявшая передъ нимъ женщина была когда-то его женой. Была! Да она и теперь его жена: вотъ тотъ перстенецъ съ бирюзой, который когда-то, въ ту весеннюю ночку, онъ самъ надѣлъ ей на пальчикъ. Помнить онъ эту ночку—онъ не забываются. Но чѣмъ-то другимъ, какою-то пеленою заслонились воспоминанія этой, давно минувшей ночи. Послѣ нея были другія ночи—не здѣсь, не на Дону, а на морѣ...

— Встань, Авдотья, — болѣе мягкимъ голосомъ сказалъ атаманъ, — тебѣ сказали, что у насъ здѣсь нѣтъ женъ?

— Сказали, — отвѣтила жена Разина, — да я не къ мужу пришла, а къ атаману.

— Сказывай же, съ чѣмъ пришла?—спросилъ тотъ.

— Я при нихъ не скажу,—указала она на казаковъ.

— У меня отъ нихъ тайны нѣтъ,—возразилъ атаманъ.

— Такъ у меня есть,—съ своей стороны возразила жена атамана,—отойдемъ къ сторонѣ.

Разинъ нетерпѣливо пожалъ плечами, но исполнилъ то, чего требовала отъ него жена.

Когда она передала ему что-то на ухо, Разинъ сдѣлать движеніе не то удивленія, не то досады. Жена продолжала говорить что-то съ жаромъ. Глаза атамана сверкнули гнѣвомъ.

— А! дакъ они вотъ какъ!—глухо произнесъ онъ,—ладно же! я имъ покажу!

— Атаманы-молодцы! — громко обратился онъ къ кругу, — нынче же въ Черкаской! Слышите?

— Слышимъ, батюшка Степанъ Тимоѣичъ! любо! — гаркнули казаки.

— А тебѣ, Авдотья, спасибо за вѣсти, — сказалъ Разинъ женѣ. — А теперь уходи восвояси: тебѣ здѣсь не мѣсто.

— Не мѣсто! А персицкой любовницѣ было мѣсто!—крикнула жена атамана.

Глаза оскорбленной женщины и жены сверкали негодованіемъ. Не такого пріема ожидала она отъ мужа послѣ столькихъ лѣтъ разлуки. А онъ словно царь какой принялъ свою—когда-то Дуню, желанную, суженую. Въ этотъ моментъ она забыла, что сама когда-то знать его не хотѣла, когда онъ былъ невѣдомымъ бродягой и шатался съ такими же бродягами... А

теперь онъ царь, настоящій царь!.. „Спасибо за вѣсти, а намъ тебя не надо... тебѣ здѣсь не мѣсто!...“ Безсильная злоба кинѣла въ ея душѣ...

И какъ на зло—бывшій ея мужъ сталъ теперь еще красивѣе: сѣдина въ курчавой головѣ такъ шла къ его черной бородѣ... А когда-то она ласкала эту бороду, эту буйную голову... Послѣ нея ласкала другая... Эта была милѣе, желаннѣе...

Не мѣсто! женѣ не мѣсто, а любовницѣ—мѣсто!—повторила она злобымъ шопотомъ.

— Авдотья!—тихо, сдержанно сказалъ ей мужъ,—уйди, если не хочешь сейчасъ же напиться донской воды.

— Хочу! утопи меня!—настаивала упрямая казачка.

— Ты не стоишь этого!—махнулъ рукою Разинъ, и началъ готовиться къ походу въ Черкасскъ.

Жена бросилась было за нимъ, но потомъ, закрывъ лицо руками, со слезами ушла съ майдана.

Скоро ея какучокъ отчалилъ отъ берега и скрылся во мракѣ.

„Нѣ солоно хлебала“,—сказалъ про себя провожавшій ее до каюка молодой ловецъ.

XXVI.

На Москву шапонъ добывать!

Вѣсти, привезенныя изъ Черкаска женою Разина, были дѣйствительно тревожнаго свойства.

Изъ Москвы прибылъ на Донъ бывший недавно въ „жильцахъ“ стольникъ Еремѣй Сухово-Евдокимовъ, который такъ отличался въ прошломъ году, во время послѣдняго купанья стольниковъ и жильцовъ въ Коломенскомъ пруду, что Алексѣй Михайловичъ пожаловалъ его двумя обѣдами разомъ. Еще тогда же дворскіе завистники говорили, что Еремѣй шибко пойдетъ въ гору послѣ такой „царской ѣствы, о какой у него и на умѣ не было“.

Дѣйствительно, въ Сухово-Евдокимовѣ учуяли ловкаго малаго, который въ одно ушко влѣзетъ, а въ другое вылѣзетъ, и раннею же весною ему уже дали серьезное порученіе: ѣхать на Донъ съ милостивою царскою грамотою, а подъ рукою разузнать—не затѣваетъ ли вновь чего Разинъ. Въ Москвѣ уже извѣстно было и о варварскомъ его поступкѣ съ дочерью хана Менеды—Запирою, и томъ, что онъ не соединился съ прочими донскими казаками, а основалъ свой особый станъ на Кагальникѣ. Все это очень беспокоило Алексѣя Михайловича.

Вотъ съ этимъ-то двойственнымъ порученіемъ и явился въ Черкасскъ Сухово-Евдокимовъ „съ товарищи“.

— Я знаю, Еремѣй, твое усердіе: ты и тамъ сухъ изъ воды выдешь,—

сказать ему на милостивомъ отпускѣ „тишайшій“, остроумно намекая игрою словъ и на его „сухую“ фамилію, и на его умѣнье плавать.

— Ну, какъ бы тамъ изъ „сухово“ не вышло мокренько,—процѣдилъ себѣ въ бороду Алмазъ Ивановъ, который лучше другихъ понималъ всю серьезность дѣла на Дону.

Эти-то вѣсти и сообщила Разину жена, которая оставалась все время въ Черкасѣ, когда мужъ ея въ теченіе многихъ лѣтъ рыскалъ съ своею „голытьбой“ то по Дону и Волгѣ, то по Яику и Каспійскому морю.

Въ ту же ночь Разинъ съ частью своихъ молодцовъ отправился въ Черкасѣ. На Дону въ это время начиналось весеннее половодье и потому удобнѣе было бѣжать въ Черкасѣ на лодкахъ. Столица донскихъ казаковъ, какъ извѣстно, въ половодье была неприступна ни съ луговой, ни съ нагорной стороны Дона, такъ какъ ее со всѣхъ сторонъ окружала вода, и весь Черкасѣ—его курени, сады и церкви—казалось, плавали на водѣ.

Утромъ флотилія Разина неожиданно окружила Черкасѣ. Въ станицѣ всѣ переполошились, когда услыхали три вѣстовыхъ пушечныхъ выстрѣла съ атаманскаго струга, и когда молодцы Разина стали высаживаться на берегъ и гурьбой, съ криками и угрозами по адресу Москвы, направляться къ соборной площади.

Разинъ тотчасъ же приказалъ бить „снлохъ“, и соборный колоколъ оповѣстилъ всю станицу, что готовится что-то необычайное. Всѣ спѣшили на площадь—одни, чтобъ узнать въ чемъ дѣло, другіе—чтобы только взглянуть на Разина, имя котораго успѣло покрыться такъ быстро небывалою славою и который представлялся уже существомъ сверхъестественнымъ: его ни пуля не брала, ни огонь, ни вода, ни сабля; на Волгѣ, напримѣръ, онъ разстелетъ на водѣ войлочную кошму, сядетъ на нее и, точно въ лодкѣ, переплываетъ рѣку; когда въ него стрѣляютъ, онъ хватаетъ пули рукою и бросаетъ ихъ обратно въ непріятеля.

Но за то станичныя и войсковыя власти всѣ спѣшили прятаться отъ страшнаго гостя. Войсковой атаманъ Корнило Яковлевъ укрылся въ соборѣ, въ алтарѣ, думая, что нечистая сила, съ которой знается Разинъ, не посмѣетъ проникнуть въ храмъ Божій.

На соборной площади, или на майданѣ, собрался между тѣмъ кругъ. Разинъ вышелъ на середину круга, махнулъ бунчукомъ на колокольную, и набатный колоколъ умолкъ. Тогда Степанъ Тимофеевичъ съ свойственнымъ ему краснорѣчіемъ, съ глубокимъ знаніемъ своего народа и его пистинктовъ, началъ говорить образнымъ, самымъ пламеннымъ языкомъ о томъ, какъ Москва посягаетъ на ихъ казацкія вольности, какъ бояре задумали обратить весь Донъ и все казачество въ своихъ холопей, сдѣлать холопками ихъ женъ и дочерей; напомнилъ имъ, какъ князь Долгорукій самовольно казнилъ ихъ атамана, а его родного брата Тимофея. Онъ говорилъ страстно, убѣжденно. Это былъ одинъ изъ тѣхъ народныхъ ораторовъ, которые рождаются вѣками и за которыми массы идутъ слѣпо. Онъ былъ грозенъ и прекрасенъ въ своемъ воодушевленіи, особенно когда говорилъ о

томъ, что онъ видѣлъ, исколесивъ русскую землю отъ Черкаска до Соловковъ,—что вездѣ страшная бѣдность, голодъ, болѣзни, притѣсненія, а за то на Москвѣ, въ царствѣ бояръ,—какія палаты, какая роскошь!—и все это награблено съ бѣдныхъ, съ подневольныхъ, съ голодныхъ. И вдругъ теперь тоже хотятъ сдѣлать съ вольнымъ Дономъ, съ вольными казаками.

Вся площадь, казалось, замерла, слушая страстные рѣчи человѣка, въ которомъ видѣлась уже сверхъестественная сила.

Среди слушателей была и его жена. Она робко затерлась теперь въ толпѣ, и изъ-за широкихъ спинъ казаковъ жадно и благоговѣйно глядѣла на своего бывшего мужа. Она теперь не узнавала его, но за то никогда и не любила такъ, какъ въ этотъ моментъ, хотя онъ вчера и смертельно обидѣлъ ее.

„Степанушка! Степанушка мой!“ молитвенно, беззвучно шептали ея губы.

— Гдѣ этотъ московскій лазутчикъ, что хочетъ казаковъ въ дурни пошить?—вдругъ оборвалъ свою жгучую рѣчь Разинъ, обратившись къ своимъ молодцамъ.—Подать мнѣ ево сюда!

Казаки бросились исполнять приказаніе атамана.

Черезъ нѣсколько минутъ Сухово-Евдокимова и его товарищей, московскихъ жильцовъ, ввели въ казачій кругъ.

— Долой шапки!—крикнулъ Разинъ.—Здѣсь вамъ не кабакъ!

Оторопѣлые послы московскаго царя сняли шапки.

— Ты зачѣмъ сюда пріѣхалъ?—спросилъ атаманъ, подступая къ Сухово-Евдокимову.

— Я пріѣхалъ съ царскою милостивою грамотою,—отвѣчалъ послѣдній.

— Не съ грамотою ты пріѣхалъ, а лазутчикомъ—за мною подсматривать и про насъ узнавать! Такъ вотъ же тебѣ!

И Разинъ съ всего размаху ударилъ царскаго посланца по щекѣ.

— Чево вамъ отъ насъ нужно?—продолжалъ атаманъ.—Али и безъ насъ мало вамъ съ кого кровь высасывать! Мало вамъ холопей вашихъ, да крестьянъ, да оброшниковъ, да ясашныхъ! Мало вамъ на Москвѣ палатъ, что на холопскихъ костяхъ сложены! У насъ вонъ нѣтъ каменныхъ палатъ—одни курени да мазанки. Чевожъ вамъ надо? Нашихъ головъ? Такъ нѣтъ же! вотъ тебѣ грамота!

И онъ снова ударилъ посла.

— Въ воду его!—махнулъ онъ бунчукомъ.

Казаки набросились на несчастнаго и избили его до полусмерти. Затѣмъ потащили къ Дону и, еще живого, бросили съ атаманскаго струга въ воду.

— Ну-ка, бояринъ, полови стерлядей у насъ во Дону! У васъ на Москвѣ ихъ, слышь, нѣту,—издѣвались казаки надъ своей жертвой.

— Пушай пловецъ къ туркамъ—они добрѣя Москвы!

Искусный пловецъ тотчасъ же пошелъ ко дну.

— Ишь—только ножкой дрыгнулъ...

— Пстой, атаманы-молодцы! погоди! не топи ево!—кричала съ берега голытьба.

— Што такъ, братцы?

— А цвѣтно платье зачѣмъ топить? У насъ зипуновъ нѣту — съедемъ съ боярина цвѣтно платье.

Казаки согласились съ доводами голытьбы, и тотчасъ же бросились въ другія лодки, чтобъ баграми отыскивать утопленника.

Трупъ скоро былъ вытащенъ изъ воды, не успѣвъ еще окоченѣть. За то тѣмъ легче было его раздѣвать—и его дѣйствительно раздѣли до-нага.

— Эко зипунъ завидный! да и рубаха и порты знатныя!

— А то на! эко добро да въ воду! Жирно будетъ.

— А сапоги-ту! сафьянъ рудожолтъ—заглядѣнье!

— Только чуръ, братцы;—и зипунъ, и рубаху, и порты, и онучи, и сапоги—все въ дуванъ!—по жеребью.

— А хрестъ тѣльной? и ево въ дуванъ?

— Знамо! мы не бусурманы: на насъ, чаю, тоже хресты.

И обнаженное тѣло московскаго посла снова бросили въ Донъ.

— Чать и ракамъ надо тѣмъ нибудь кормиться.

— Вѣстимо...

— А шапка, братцы, боярска идѣ?—спохватилась голытьба, — шапки не видать!

— Да! шапка! шапка! идѣ шапка? неужто утопили?

— Шапка, должно, въ кругу осталась,—тамъ ево атаманы били.

Бросились въ кругъ искать шапку.

— Идѣ боярска шапка? Подавай шапку въ дуванъ!

Разинъ, увидѣвъ мечущуюся голытьбу, лукаво улыбнулся.

— Эхъ, братцы, я вамъ на Москвѣ такихъ шапокъ добуду! — сказалъ онъ задорно.

— На Москву, братцы! на Москву—шапокъ добывать!—закричала голытьба.

— На Москву! За батюшкой Степаномъ Тимофеевичемъ—шапки, зипуны добывать!—стоналъ майданъ.

И среди этой бушующей толпы только одни глаза съ любовью и тоскою слѣдили за каждымъ движеніемъ народнаго героя: то были глаза его жены съ навернувшимися на рѣсницы слезами. Но она не смѣла подойти къ нему.

Вечеромъ того же дня флотилія Разина возвращалась въ Кагальникъ. Но это была уже не прежняя маленькая флотилія: почти весь Черкасскъ ушелъ теперь за атаманомъ, захвативъ всѣ лодки, какія только были въ станицѣ.

Съ одного струга неслась заунывная пѣсня и грустная мелодія ея далеко разлегалась по водѣ. Одинъ голосъ особенно отчетливо выводилъ:

„Какъ во городѣ, во Черкаскіемъ,

„У одной-то вдовы было семь сыновъ,

„А восьмая—дочь несчастная.

„Возлелѣявъ-то сестру, всѣ въ розбой пошлп,
„Своей матушкѣ все наказывали:
„Не давай-ка безъ насъ сестру въ замужь“...

Вечеръ былъ тихій и теплый. Полная луна серебрила и поверхность широко разливашагося Дона, и прибрежные кусты тальника, и развѣсистыя вершины тополей. Съ луговой стороны неслись по водѣ трели соловья...

Разинъ сидѣлъ на носу своего струга въ глубокой задумчивости: эта пѣсня напомнила ему дѣтство... А теперь? Онъ грустно покачалъ головой...

Если-бъ онъ поднялъ глаза къ нагорному берегу, подъ которымъ плыль его стругъ, то увидѣлъ бы силуэтъ женщины, которая шла за стругомъ высокимъ берегомъ Дона и отъ времени до времени утирала глаза рукавомъ.

XXVII.

Васьна-Усѣ.

Весна и лѣто настоящаго года принесли Алексѣю Михайловичу много несчастій и огорченій. Тяжелъ былъ для него и предыдущій—1668 годъ; но то былъ годъ високосный—онъ и не ожидалъ отъ него ничего хорошаго.

А теперь такъ и повалила бѣда за бѣдою.

Въ началѣ марта царица Марья Ильинишка, съ которою они прожили душа въ душу двадцать лѣтъ, умерла отъ родовъ. За нею черезъ два дня умерла и новорожденная царевна.

Изъ Малороссіи, съ Дона, съ Волги—отовсюду неутѣшительныя извѣстія. Молороссію раздражаютъ смуты: тамъ разомъ борятся изъ-за власти семь гетмановъ—Многогрѣшный, Дорошенко, Ханенко, Суховіенко и Юрій Хмельницкій—и кровь льется рѣкою.

Разинъ, послѣ звѣрскаго убіенія въ Черкасѣ Сухово-Евдокимова, уже двигается съ своими полками къ Волгѣ.

Вдоль всего средняго Поволжья волнуются татары и другіе племена, которыхъ поднимаютъ противъ царскихъ воеводъ Багай Кочюрентѣвъ да Шелмеско Шевоевъ.

„А еще бояре въ думѣ называли челобитье ихъ непутевымъ—и ихъ же батоги бить велѣно нещадно“,—вспоминаетъ Алексѣй Михайловичъ свою оплошность:—„оплошка, точно оплошка“.

И патриархъ Никонъ, сидя въ Ферапонтовѣ въ заточеніи, продолжаетъ гнѣваться—не шлетъ царю прощенія...

„Сердитуется святѣйшій патриархъ, сердитуется... И протопопъ Аввакумъ не шлетъ съ Пустозерска благословенія“...

„Охъ, быть бѣдѣ, быть бѣдѣ!“—сокрушается Алексѣй Михайловичъ.

И бѣда дѣйствительно надвигалась.

Въ началѣ мая Разинъ съ своими толпищами уже приближался къ Волгѣ нѣсколько выше Царицына. Безконечная панорама этой многоводной

рѣки всегда воодушевляла этого необыкновеннаго разбойника. Онъ ѣхалъ впереди своего войска на бѣломъ конѣ, котораго прислалъ ему въ подарокъ покойный гетманъ Брюховецкій.

При видѣ величественной рѣки, раскинувшей здѣсь свои воды по затонамъ и воложкамъ почти на необозримое пространство, Разинъ снялъ шапку точно передъ святыней. Поснимала шапки и ватага его. Разинъ воскликнулъ:

— Здравствуй, Волга-матушка, рѣка великая! Жаловала ты насъ, сыновъ твоихъ, допрежь сево златомъ-серебромъ и всякимъ добромъ; чѣмъ-то теперь ты насъ, Волга-матушка, пожалуешь?

Но въ то же мгновеніе онъ какъ будто вспомнилъ что-то и какъ-то загадочно посмотрѣлъ на своего есаула: въ душѣ атамана что-то давно назрѣвало противъ Ивашки Черноярца.

По Волгѣ между тѣмъ двигалась его флотилія съ пѣшею голытьбою. Вся Волга, казалось, стонала отъ пѣсни, которая неслась надъ водою. Голытьба пѣла:

„Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“...

Въ это время изъ сосѣдняго оврага показалось нѣсколько всадниковъ. Передній изъ нихъ на поднятой надъ головою пикѣ держалъ какую-то бумагу.

Всадники эти при приближеніи Разина сошли съ коней и поклонились до земли.

— Встаньте! кто-вы?—спросилъ Разинъ, останавливая коня.

Всадники поднялись съ земли. Это были повидимому татары — всѣхъ человекъ пятнадцать. Впереди ихъ были, какъ казалось, атаманъ и есаулъ: одинъ худой и высокій, другой приземистый.

— Кто вы?—повторилъ Разинъ.

— Мы сибирскіе татарова, мурзишки, батюшка Степанъ Тимоѣенчъ: я—мурзишка Багай Кочюрентѣевъ, а онъ—мурзишка Шелмеско Шевоевъ,—отвѣчалъ высокій татаринъ.—Мы къ тебѣ, батюшка Степанъ Тимоѣенчъ.

— Съ какимъ дѣломъ?

— Съ челабителямъ, батюшка.

И Багай подаль Разину бумагу. Разинъ передалъ ее есаулу.

— Вычитай,—сказалъ онъ.

Ивашка Черноярецъ развернулъ бумагу и сталъ читать:

„Славному и преславному атаману вольнаго войска донскаго, батюшкѣ Степану Тимоѣевичу, бьютъ челомъ и плачутся сибирскіе татарова, а во всѣхъ ихъ мѣсто Багай Кочюрентѣевъ сынъ да Шелмеско Шевоевъ сынъ: жалоба намъ, батюшка Степанъ Тимоѣевичъ, на государевыхъ воеводъ да на подъячихъ да на служилыхъ людей; били мы, сироты твои, челомъ великому государю и плакались, что мы-де, сироты ево государевы, ево государеву пашню пашючи, лошаденка покупали и животиншка свои и достальныя истощали, а за ево государевою пашнею ходячи, одержонко все придрали, и женишка и дѣтишка испроѣли, и нынѣче, государь, помирдемъ

голодную смертію; а одёжонка намъ, государь, сиротамъ твоимъ государевымъ, купити не на што и нечимъ, и мы-де, государь, сироты твои государевы, погибаемъ нужною смертію, волочась съ наготы и босоты. И за то челобитье насъ, государь, батюшка Степанъ Тимоѣевичъ, сиротъ твоихъ, указано битъ батоги нещадно. Атаманъ государь, смилуйся, пожалуй“.

Разинъ внимательно прослушалъ все челобитье, и брови его сурово сдвинулись.

— Такъ за это челобитье васъ и драли?—спросилъ онъ.

— За этамъ челабитьямъ, батюшка, нашъ воеводъ сѣкилъ насъ батогамъ нещаднымъ,—отвѣчалъ смиренно Вагай.

— Добро. Я и до вашево воеводы доберусь,—сказалъ Разинъ. — А теперь поѣзжайте домой и ждите меня, да и всѣмъ—и въ Саратовъ, и въ Самаръ, и въ Сибирскъ скажите, чтобъ меня ждали! Я приду...

Татары усердно кланялись. Въ это время по дорогѣ изъ Царицына еще показались двое всадниковъ. Разинъ тотчасъ узналъ ихъ: то были казаки, его лазутчики, которыхъ онъ предварительно подослалъ въ Царицынъ, чтобъ они заранѣе предупредили въ городѣ своихъ единомышленниковъ о скоромъ прибытіи атамана съ войскомъ. Единомышленники должны были тайно, ночью, отворить городскія ворота для незваныхъ гостей.

Разинъ да и всѣ казаки съ удивленіемъ замѣтили, что у одного изъ лазутчиковъ на сѣдлѣ сидѣлъ какой-то ребенокъ, и казакъ-лазутчикъ бережно придерживалъ его рукой.

— Это что у тебя за проява?—спросилъ Разинъ.

— Да вотъ самъ видишь, батюшка Степанъ Тимоѣевичъ,—калмычонокъ,—отвѣчалъ казакъ:—дѣвочка сиротка.

— Да гдѣ ты ее добылъ и зачѣмъ?—недоумѣвалъ Разинъ.

— Да вотъ видишь ли, атаманъ: повернули это мы уже изъ Царицына—тамъ тебя ждутъ не дождутся! коли посмотримъ—идеть навстрѣчь намъ калмычка съ ребенкомъ на рукахъ; да какъ увидала насъ — и ну улепетывать!—испугалась насъ должно быть. Я кричу это: „стой! стой! не бойся!“ А бѣжала она, дура, яромъ, да къ Волгѣ,—а ярь-отъ крутой она возьми да и споткнись — и полетѣла внизъ съ кручи, да прямо въ Волгу. Вода-то полая подошла къ самой кручѣ—глубоко тамъ—калмычка-ту и бултыхни въ воду только пузыри попли. А это пигалица какъ-то зацѣпилась за коренья барыни-ягоды застряла—оретъ. Я и взялъ ее, жаль крошку. Калмычка, должно думать, нищенка шла изъ Дербетевыхъ улусовъ въ городъ побираться; а какъ увидала насъ, ну, знамо, заячій духъ напалъ—и бултыхъ въ воду: сказано—дура баба.

Маленькая калмычка, совсѣмъ голенъкая, точно бронзовая, лѣтъ, можетъ, двухъ или немного больше, во время этого разсказа довѣрчиво глядѣла на Разина и усердно жевала изюмъ, сама доставая его изъ пазухи своего спасителя, а спаситель этотъ захватилъ малую толку изюмцу въ Царицынѣ у знакомаго армянина. Встрѣчая ласковый взглядъ своей бородатой няньки, дѣвочка весело улыбалась.

Разинъ также съ доброю улыбкою глядѣлъ на черныя, косоглазое и косматое существо, и въ немъ заговорило хорошее чувство: онъ вспомнилъ, что судьба не дала ему дѣтей отъ его Дуни, съ которою онъ давно разстался; но, быть можетъ, она дала бы ему эту отраду въ жизни отъ другой, отъ той...

Онъ какъ-то машинально поманилъ къ себѣ маленькую калмычку, и она съ улыбкой потянулась къ нему, быть можетъ, потому, что онъ былъ въ богатомъ съ золотыми кистями кафтанѣ. Онъ взялъ ее и посадилъ къ себѣ на сѣдло, и дѣвочка тотчасъ же занялась кистями.

Казаки съ удивленіемъ, а татары просто съ умиленіемъ смотрѣли на эту невиданную сцену: страшный атаманъ съ ребенкомъ на рукахъ!

„Чертъ съ младенцемъ!“—не одному казаку пришло на умъ это присловье.

Но забавляться ребенкомъ не приходилось долго. Разинъ опять перedalъ маленькую калмычку ея спасителю.

— Куда-жъ мы ее дѣнемъ?—спросилъ онъ.

— Оставимъ у себя, атаманъ,—не бросать же ее какъ котенка,—отвѣчалъ казакъ.—Все равно—матери у нея нѣту, а тащиться съ нею до Дербетевыхъ улусовъ—не рука, да и тамъ оно, поди, съ голоду околѣетъ; а у насъ, по крайности, забавочка будетъ.

— Ишь ты бабу въ казацкій станъ пущать!—улыбнулся есаулъ.

— Какая она баба? Козьявка, одно слово—мразь.

Разинъ махнулъ рукой:

— Ну, инъ пущай!

Но едва они двинулись впередъ, какъ справа, по возвышенному сырту, замелькали толпы народа—и пѣшіе, и конные.

— Кому бы это быть?—удивился Разинъ.—Царскія рати такъ не ходятъ; да это и не воеводская высылка, не разъѣздъ.

И онъ тотчасъ же приказалъ казакамъ развѣдать—что тамъ за люди. Нѣсколько казаковъ поскакали по направленію къ сырту. Издали видно было, какъ тамъ, въ невѣдомой толпѣ, при приближеніи казаковъ, стали поднимать на никахъ шапки. Другіе просто махали шапками и бросали ихъ въ воздухъ.

— Кажись, нашъ братъ—вольная птица,—замѣтилъ Разинъ.

— Что-то гуторять, руками на насъ показываютъ,—съ своей стороны замѣтилъ есаулъ.—Не калмыки ли?

— Нѣтъ, не калмыки: ни колчановъ, ни стрѣлъ — ничего таково не видать.

Теперь посланные скакали уже назадъ. Они видимо чему-то были рады.

— Ну, что за люди?—окликнулъ ихъ Разинъ.

— Нашей станицы прибыло, батюшка Степанъ Тимошенчъ! — кричали издали:—Васька-Усъ бьетъ тебѣ челомъ всею станицей!

— А! Вася-Усъ, — обрадовался Разинъ: — слыхомъ слышали, видна птица по полету! Что-жъ, милости просимъ нашей капи отвѣдать: а ужъ заварить заваримъ! Онъ раньше меня варить началъ.

— Раньше-то, раньше,—подтвердилъ Иванка Черноярецъ,—да только каша ево пожиже нашей будетъ.

— Кулишъ, по-нашему, по-запорожски,—пояснилъ одинъ казакъ изъ бывшихъ запорожцевъ.

Скоро толпы Васьки-Уса стали сближаться съ толпами Разина. Голытьба обнималась и цѣловалась съ голытьбою и казаками. Шумъ, говоръ, возгласы, топотъ и ржаніе коней... картина становилась еще внушительнѣе.

Сошлись и атаманы обонхъ толпищъ. Васька-Усъ, проникнутый уваженіемъ къ славѣ Разина, хоть былъ и старше его и лѣтами, и подвигами, первый сошелъ съ коня и снялъ шапку. Это былъ маленький, худенькій человѣчекъ, изъ дворовыхъ холопей, уже сѣдой, съ усами неровной величины: одинъ усъ былъ у него выщипанъ по приказанію его вотчинника за то, что онъ, будучи добѣждачимъ, раньше своего господина затравилъ въ полѣ зайца. За этотъ усъ Васька и мстилъ теперь всѣмъ боярамъ и вотчинникамъ, и за этотъ выщипанный усъ онъ и получилъ свою кличку.

Разинъ тоже сошелъ съ коня, и оба атамана трижды поцѣловались.

— Батюшка Степанъ Тимоѣичъ! — поклонился Усъ, — прими меня и мою голытьбу въ твое славное войско.

— Спасибо, Василей, а, какъ по отчеству величать — не знаю,—отвѣчалъ Разинъ.

— Трофимовъ,—подсказалъ Усъ.

— Спасибо, Василей Трофимычъ!..

— А я съ тобой, батюшка Степанъ Тимоѣичъ, и въ огонь, и въ воду.

— И на бояръ?—улыбнулся Разинъ.

— О! да на этихъ супостатовъ я какъ съ ковшомъ на брагу!

XXVIII.

Смѣна часовыхъ.

Ночь передъ Царицынымъ.

Полный дискъ луны и блѣдныя звѣзды показываютъ, что время давно перевалило за полночь. Станъ Разина, обогнувшій съ трехъ сторонъ городскія стѣны, давно спитъ; только отъ времени до времени въ ночномъ воздухѣ проносятся караульные оклики:

— Славенъ городъ Черкасской,—несется съ освѣщенного луною холма, что высится у обрыва надъ рѣчкою Царицею.

— Славенъ городъ Кагальникъ! — отвѣчаетъ ему голосъ съ другого берега рѣчки Царицы.

— Славенъ городъ Курмояръ! — цѣвуче заводитъ голосъ съ тѣневой стороны предмѣстья.

— Славенъ городъ Чирь!

— Славенъ городъ Цымла!

Это перекликаются часовые въ станѣ Разина. Имъ вторить дружное кваканье лягушекъ, раздающееся въ камышахъ да въ осокахъ по берегу Царицы. Тамъ же отъ времени до времени раздается глухой протяжный стонъ, наводящій страхъ въ ночной тиши: но это стонетъ небольшая съ длинною шеей водяная птица—бугай или выпь!

Безбрежная равнина водной поверхности Волги кое-гдѣ сверкаетъ растопленнымъ серебромъ.

Чудная весенняя ночь!

Разинъ лежитъ въ своемъ атаманскомъ наметѣ съ открытыми глазами. Ему не спится, его томить какая-то глухая тоска. Какъ ключья громадной разодранной картины проносятся передъ нимъ сцены, образы, видѣнія, звуки изъ его прошлой бурной жизни: то пронесется въ душѣ отголосокъ давно забытой пѣсни, то мелодія знакомаго голоса, то милый образъ, милое видѣние,—и опять мракъ, или зарево пожара, или стонъ умирающихъ...

Но явственнѣе всего передъ нимъ носится милый образъ. Въ наметѣ у него темно, но онъ видитъ это милое личико, точно оно сходитъ откуда-то вмѣстѣ съ блѣднымъ свѣтомъ мѣсяца, проникающимъ въ шатеръ черезъ отдернутую полу намета. Онъ не можетъ его забыть, не можетъ отогнать отъ себя это видѣние... Отогнать! Но тогда что-жъ у него останется?..

Онъ старается прислушаться къ окликамъ часовыхъ, къ ночнымъ неяснымъ звукамъ. Но среди этихъ неопредѣленныхъ звуковъ слышится чей-то дѣтскій плачь...

Нѣтъ, это сонное пѣніе пѣтуха въ городѣ...

— Славенъ городъ Раздоры!

— Славенъ городъ Арчада!

На свѣтлую полосу въ наметѣ, освѣщенную мѣсяцемъ, легла какъ будто прозрачная тѣнь. Разинъ всматривается и видитъ, что эта тѣнь приняла человѣческія формы...

Что это? Кто это? Но тѣнь все явственнѣе и явственнѣе принимаетъ человѣческій обликъ...

Это она—Заира! Она нагибается надъ нимъ, и онъ слышитъ тихій укоръ ея милаго голоса: „Зачѣмъ ты это сдѣлалъ? Я такъ любила тебя“...

— Славенъ городъ Курмоярь!

— Славенъ городъ Кагальникъ!

Разинъ въ испугѣ просыпается... Но и теперь его глаза продолжаютъ видѣть, и онъ ясно сознаетъ это нѣсколько мгновений: какъ легкая, прозрачная, точно дымъ отъ кадила, тѣнь отошла за отдернутую полу намета и исчезла въ лунномъ свѣтѣ. Ему стало жаль, что онъ проснулся и отогналъ давножданное видѣние. Если бы не эти оклики часовыхъ, она осталась бы дольше съ нимъ.

Онъ закрываетъ глаза. Онъ ждетъ—можетъ быть повторится видѣние... Слышенъ какой-то свистъ со стороны Волги, что-то знакомое напоминаетъ

этотъ свистъ... Да, онъ вспоминалъ-вспоминалъ высокіе камыши въ заводяхъ Каспійскаго моря, такую же ночь прошлаго года и тихо качающійся съ морской зыбью струтъ... Такъ же и тогда свистѣла эта ночная водная птичка—это овчарикъ... Но тогда онъ не одинъ прислушивался къ свисту этой ночной птички...

Со стороны города опять доносится пѣніе пѣтуха. Это, должно быть, уже третій пѣтухъ. Скоро должны придти изъ города тѣ, которые отопрутъ городскіе ворота. Но нѣтъ, до зари еще далеко.

Не слышать болѣе окликовъ часовыхъ. Да это и не нужно. Кто же осмѣлится напасть на спящій станъ Разина? Да и кому нападать?

Слышится чей-то вздохъ, тихій, тихій, какъ вздохъ младенца...

Разинъ открылъ глаза... Что это? Опять она! На лицѣ ея грустная улыбка... Онъ слышитъ опять ея голосъ: „Зачѣмъ ты ему повѣрилъ? Онъ только хотѣлъ погубить меня... Онъ не хотѣлъ, чтобы я была твоя“...

— Кто онъ? — глухо спросилъ Разинъ и самъ проснулся отъ своего голоса.

Но онъ теперь зналъ, кто онъ... Онъ и прежде это зналъ. Если бы не его наушничество, она бы и теперь была жива. Это сознаніе давно его мучило, и онъ уже давно терзался глухою ненавистью къ своему есаулу. Онъ всему виновъ!

Разинъ всталъ и вышелъ изъ шатра. До утра еще далеко.

— Славенъ городъ Раздоры!

— Славенъ городъ Арчада.

Это опять оклики часовыхъ, но ихъ самихъ не видать.

Разинъ обогнулъ уголь своего просторнаго намета и въ тѣни, бросаемой имъ отъ мѣсяца, увидѣлъ спящаго есаула. Ивашка Черноярецъ лежалъ на разостланной буркѣ. Въ головахъ у него было сѣдло, а руки подложены подъ голову. Онъ лежалъ лицомъ вверхъ, растянувшись во весь ростъ.

Разинъ вынулъ изъ-за пояса, изъ оправленныхъ серебромъ и бирюзой ноженъ, длинный персидскій ножъ и по самую рукоятку всадилъ его въ грудь своего есаула, подъ самымъ лѣвымъ сосцомъ.

Черноярецъ открылъ глаза...

— Атаманъ!—съ ужасомъ прошепталъ онъ.

Разинъ быстро повернулъ ножъ въ груди своей жертвы и вынулъ.

— Это тебѣ за нею!—глухо произнесъ онъ.

Убитый даже не шевельнулся больше.

Тщательно вытеревъ ножъ объ бурку и вложивъ въ ножны, Разинъ пошелъ вдоль своего стана. Казалось, онъ прислушивался къ ночнымъ звукамъ. Кваканье лягушекъ умолкло, но вмѣсто нихъ въ камышахъ Царицы заливалась очеретянка. Повременамъ стонала выпь и насвистывала овчарикъ. На Волгѣ, вправо отъ Царицына, длинная водная полоса сверкала серебромъ.

— Кто идетъ?—послышался окликъ часового.

— Атаманъ,—отвѣчалъ Разинъ.

— Пропускъ?

— Кагальникъ.

Разинъ шелъ дальше. Видны уже были очертанія городскихъ стѣнъ и длинная черная тѣнь тянулась отъ крѣпостной башни съ каланчою.

— Славенъ городъ Москва!—глухо донеслось съ каланчи.

— Славенъ городъ Ярославль!

— Славенъ городъ Астрахань!

Это перекинулись часовые на стѣнахъ города. И Разину вдругъ ясно представилось, какъ эти города, которые теперь славятъ часовые, будутъ его городами, особенно Москва. И онъ вспомнилъ маленькую келейку въ монастырѣ у Николы на Угрѣшѣ и Аввакума, прикованнаго къ стѣнѣ этой келейки. Бѣдно и сурово въ кельѣ, только солома шуршитъ подъ ногами узника. А тамъ, въ городѣ—какія палаты у бояръ! какое убранство на ихъ коняхъ, сколько золота на ихъ одеждахъ! сколько соборей изведено на ихъ шубы, на шапки!

И этотъ городъ будетъ его городомъ! Онъ станетъ среди Москвы, на Лобномъ мѣстѣ, станетъ и крикнетъ, какъ тогда обѣщалъ Аввакуму: „Слышишь, Москва! слышите, бояре!“ И услышать этотъ голосъ во всей русской землѣ, за моремъ услышать!

Изъ-за обрыва, спускавшагося къ Царицѣ, осторожно выюркнула человѣческая фигура и, увидѣвъ при свѣтѣ мѣсяца Разина, попятилась назадъ.

— Кто тамъ?—окликнулъ Разинъ и взялся за свой персидскій ножъ.

— Васька-Усъ,—былъ отвѣтъ:—а въ придачу—Кагальникъ.

— А! это ты, старина?—удивился Разинъ.—Што полуношничаетъ?

— Не спится, атаманъ, дакъ робять повѣрью.

— Какихъ ребятъ?

— Часовыхъ... Который изъ ихъ задремить—я тово и смѣняю.

— Какъ смѣняешь?

— Вотъ этимъ самымъ ножемъ. Васька-Усъ показалъ широкій ножъ, на которомъ видна была свѣжая кровь.—Который часовой меня не окликнетъ и я подкрадусь къ ему—тому прямо ножъ подъ микитки—и баста! Ужъ тотъ што за часовой, къ которому подкрасться можно—послѣднее дѣло: я тово и смѣняю. Я всегда такъ-ту, батюшка Степанъ Тимоѣичъ, и у меня никогда часовой не задремить—ни-ни! ни Боже мой! Ужъ это всѣ знаютъ.

— Ну и молодецъ же ты, Василій Трофимычъ!—удивился Разинъ:—вотъ умно придумалъ! Молодецъ! Ну, а я не дошелъ до этого, не додумался.

— Ничего, атаманъ, Богъ простить,—утѣшалъ его разбойникъ.

— Ну и что-жъ! смѣнилъ кого?—спросилъ Разинъ.

— Двухъ смѣнилъ—таки—порѣшилъ... Другимъ наука.

— Ну и молодецъ же ты!—похлопалъ разбойника по плечу Разинъ.—Будь же ты за это моимъ есауломъ!

— А Иванъ Черноярецъ што? — удивился въ свою очередь Васька-Усь. — Не хорошъ?

— Я ево тоже смѣнилъ, какъ ты молодцовъ, — отвѣчалъ Разинъ.

— А-а! — протянулъ Усь.

Изъ оврага, идущаго отъ Царицы, слышался протяжный, очень осторожный свистъ. Разинъ отвѣчалъ такимъ же свистомъ, только два раза.

Изъ оврага вышелъ человѣкъ въ поповскомъ одѣяніи.

— Здравствуй, отецъ протопопъ, — поздоровался съ нимъ Разинъ.

— Здравствуй, батюшка Степанъ Тимофеевичъ, — отвѣчалъ пришедшій.

Къ нему подошелъ Васька-Усь и снялъ шапку.

— Благослови, отче, — сказалъ онъ, протягивая руку горстью, какъ за подачкой.

— Во имя Отца и Сына... — благословилъ пришедшій.

— Ну что, отецъ Никифоръ? — спросилъ Разинъ. — Уговорилъ?

— Уговорилъ — все готово, хоть голыми руками бери городъ.

Въ это время въ станъ слышались голоса, говоръ, шумъ.

— Злодѣи! есаула зарѣзали!

— Это Васькины ребята! Вяжи злодѣевъ! А гдѣ Васька?!

— Батюшки! и чаевою зарѣзаны!

Разинъ съ улыбкой переглянулся съ своимъ новымъ есауломъ, и они поторопились въ станъ.

Начинало свѣтать.

XXIX.

Воевода Тургеневъ на веревнѣ.

— Едва первые лучи солнца позолотили кресты и главы царицынскихъ церквей, какъ казаки двинулись къ городу.

Разинъ и его новый есаулъ ѣхали впереди, — Разинъ съ бунчукомъ въ рукѣ, Васька-Усь — съ обнаженною саблей.

Разинцы подступали къ городу двумя лавами: одна шла къ тому мѣсту, гдѣ пологій валъ и городская стѣна, казалось, представляли наибольшее удобство для приступа, хотя эта часть стѣны и башни были защищены пушками; другая лава подавалась впередъ правѣе, къ тому мѣсту, которое казалось неприступнымъ и гдѣ находились городскія ворота, прочно окопанныя желѣзомъ.

Разинъ попеременно находился то въ головѣ правой лавы, то въ головѣ лѣвой.

Воевода Тургеневъ, недавно назначенный командиромъ Царицына, и стрѣльцы, его подкомандные, повидимому спокойно ожидали приступа, потому что, съ одной стороны, увѣрены были въ невозможности взять крѣпость безъ стѣнобитныхъ орудій, съ другой — что со дня на день ожидали прибытія по Волгѣ сверху сильнаго стрѣleckаго отряда.

Тургеневу и другим защитникамъ Царицына очень хорошо видно было со стѣнъ, какъ Разинъ разѣзжалъ впереди своей, казалось, нестройной толпы. Тургеневъ, высокій и плотный мужчина съ сильною сѣдиною въ длинной бородѣ, стоялъ на стѣнѣ, опершись на дуло пушки, и, казалось, считалъ силы непріятели.

— Дядя,—обратился къ нему стоявшій рядомъ молодой воинъ въ богатыхъ доспѣхахъ,—дозволь мнѣ попужать орла-стервятника.

— Каково это, племянникъ?—спросилъ воевода.

— А вонъ тово, што на бѣломъ конѣ—самово Стеньку.

— А чѣмъ ты его попужаешь?

— Вотъ этой старушкой!—онъ указалъ на пушку.

— Добро—попробуй: только наводи вѣрнѣй.

Молодой воинъ при помощи пушкарей навелъ дуло орудія на Разина. Взылся дымокъ и грянулъ выстрѣлъ. Ядро не долетѣло до цѣли и глухо ударилося о глинистую сухую почву.

Разинъ издали погрозилъ бунчукомъ.

Правая лава, между тѣмъ, достигла городскихъ воротъ и остановилась. Разинъ поскакалъ туда.

Вдругъ въ городѣ, какъ бы по сигналу, зазвонили колокола во всѣхъ церквахъ. Воевода съ удивленіемъ глянулъ на окружающихъ.

Со стѣны, ближайшей къ воротамъ, послышались крики:

— Батюшки! злодѣи въ городѣ!—ихъ впустили въ ворота.

Дѣйствительно, Разинъ безпрепятственно вступилъ въ городъ въ головѣ правой лавы: городскія ворота были отворены передъ нимъ, настѣжь.

Навстрѣчу новоприбывшимъ отъ собора двигалось духовенство въ полномъ облаченіи, съ крестами и хоругвями. Впереди, съ Распятіемъ въ рукахъ, шелъ тотъ священникъ, соборный протопопъ Никифоръ, котораго мы уже видѣли ночью около стана Разина. Рыжая, огненнаго цвѣта борода его и такіе-же волосы, разметанные по плечамъ, горѣли подъ лучами солнца, какъ червонное золото.

Разинъ сошелъ съ коня и приложился къ кресту. При этомъ онъ что-то шепнулъ на ухо протопопу, и тотъ утвердительно наклонилъ голову. Затѣмъ стали прикладываться къ кресту казаки.

Между тѣмъ на площади разставляли столы для угощенія дорогихъ гостей. Сначала робко, а потомъ все смѣлѣе и смѣлѣе начали выходить изъ своихъ домовъ царицынцы, и спѣшили на площадь.

Колокольный звонъ смолкъ и духовенство возвратилось въ соборъ.

Царицынцы со всѣхъ сторонъ сносили на площадь калачи, яйца, всякую рыбу и горы сушеной и копченой воблы. Мясники рѣзали воловъ, барановъ, и тутъ же на площади свѣжевали и потрошили убоину. Другіе обыкновенно разводили костры, жарили на нихъ всякую живность, и сносили потомъ на разставленные столы, а съ кружечнаго двора выкатывали бочки съ виномъ.

Всѣмъ, повидимому, распоряжался соборный протопопъ, отецъ Никифоръ. Его огненная борода мелькала то здѣсь, то тамъ.

— Ишь какъ батько-то хлопочетъ—такъ и порывается,—судачили царицынскія бабы, глазѣя на приготовленія къ пиру.

— Да и какъ, мать моя, не хлопотать горюну? Все это чтобъ насолить супостату своему, воеводѣ жеребцу, за дочку.

— Что и говорить, милая, дочка-то у нево одна, что глазокъ во лбу, а онъ, волкъ лихой, и польстись на дѣвчонку.

— Эка невидаль! дѣвчонка!—ввязалась въ разговоръ Мавра, извѣстная на весь Царицынъ сплетница:—онамедни дѣвка сама къ яму, къ воеводѣ-то, бѣгала.

— Плещи, плещи, язва!—осадила ее первая баба.

— Не плещу я! а ты сама язва язвенная!—окрысилась сплетница.—Ишь святая нашлась! Сама, своими глазыньками видѣла, какъ она, Фроська-то, шмыгнула къ нему въ ворота—такъ и засвѣтила рыжей косой.

— Тыфу ты, негодница! Помолчала бы хоша, сама была дѣвкой, — отвернулась первая баба.

— Глядь! глядь-ко-ся! мать моя!—удивилась вторая баба. — Что-й-то у тово казака на рукахъ? Никакъ махонька калмычка?

— И то, милая, калмычка, да совсѣмъ голенька. Должно на дорогѣ подбирая.

— Ахъ, бѣдная! Семь-ка я сбѣгаю, принесу ей рубашонку отъ моей Фени.

И сердобольная баба побѣжала за рубашкой для маленькой калмычки.

Вскорѣ начался и пиръ. За почетнымъ столомъ помѣстился Разинъ съ своимъ новымъ есауломъ, а также всѣ казацкіе сотники. Ихъ угощаль отецъ Никифоръ.

За сосѣднимъ столомъ возсѣдали на скамьяхъ другіе сподвижники Разина, и въ томъ числѣ Онуфрій Лихой, тотъ самый, что вчера привезъ въ казачій станъ маленькую калмычку. Дѣвочка сидѣла тутъ же, на колѣняхъ у своего сѣдобородаго покровителя, и, безпечно поглядывая своими узенькими глазами на все окружающее, серьезно занималась медовымъ пряникомъ. Она была видимо довольна своей судьбой—какъ сыръ въ маслѣ каталась, чего она въ своемъ улусѣ никогда не испытывала. Теперь она была въ чистенькой рубашенкѣ, и даже въ ея черную какъ смоль косенку была вплетена алая ленточка. Все это оборудовала сердобольная баба.

Пиръ, между тѣмъ, разгорался все болѣе и болѣе. Слышно было оживленіе, громкіе возгласы, смѣхъ. Разинъ, разгоряченный виномъ и подчиняясь своему огневому темпераменту, громко объявилъ, что онъ во всей русской землѣ изведетъ неправду, переведетъ до корня все боярство...

— На сѣмена не оставляю! А Ордина-Нащokinна съ сыномъ Воинномъ на крестъ Ивана Великаго повѣшу!

— Марушка! Марушка! подь сюды, ходи черезъ столъ.

Это манилъ черезъ столъ маленькую калмычку казачій пятидесятникъ,

Яшка Лобатый, коренастый увалень, первый силачъ на Дону. Дѣвочкѣ уже дали подходящее имя: ее назвали „Марушкой“.

— А гдѣ воевода?—вспомнилъ, вспомнилъ, наконецъ, Разинъ.—Подать сюда воеводу!

— Да воевода, батюшка Степанъ Тимоѣичъ, запѣрся съ своими приспѣшниками въ башнѣ,—отвѣчалъ попъ Никифоръ.

— А! въ башнѣ? Такъ я его оттудова выкурю. Атаманы-молодцы! за мной!—крикнулъ Разинъ, вставая изъ-за стола.

Сотники, пятидесятники и другіе казаки, пировавшіе по близости, обступили атамана.

— Идемъ добывать воеводу!—скомандовалъ Разинъ.—Щука въ вершу попала—выловимъ ее!

— Щуку ловить, щуку ловить!—раздались голоса.

— Въ Волгу ее! Пушай тамъ карасей ловить!

Ватага двинулась къ крѣпостной башнѣ. Впереди всѣхъ торопливо шелъ попъ Никифоръ. Полы его рясъ раздувались, а рыжіе волосы ярко горѣли на солнцѣ.

— Ай да батька! ай да долгогривый!—смѣялись казаки.—Да ему хуть въ атаманы, дакъ въ пору.

Башня была заперта. На крики и стукъ въ башенную дверь въ одну изъ стѣнныхъ прорѣзей отвѣчали выстрѣломъ, никого, впрочемъ, не радившимъ.

— А! щука зубы показываетъ!—крикнулъ Яшка Лобатый.—Такъ я-жь тебя!

И онъ побѣжалъ куда-то къ площади. Вскорѣ оказалось, что богатырь несъ на плечѣ громадное бревно, почти цѣлый брусъ.

— Сторонись, атаманы-молодцы! ушибу!—кричалъ онъ.

Всѣ посторонились, а богатырь со всего разбѣгу ударилъ бревномъ въ башенную дверь. Дверь затрещала, но не упала. Лобатый вновь разбѣжался,—и отъ второго удара дверь подалась на петляхъ. Послѣдовалъ третій, сильнѣйшій ударъ—и дверь соскочила съ петель.

— Ай да Яша! онъ бы и лбомъ вышибъ!—смѣялись казаки.

И Лобатый же первымъ бросился вверхъ по лѣстницѣ. За нимъ другіе казаки. Разинъ стоялъ внизу рядомъ съ попомъ Никифоромъ.

— Щуку не убивайте, молодцы!—крикнулъ онъ вверхъ.

Оттуда доносились шумъ борьбы, крики, стоны. Въ нѣсколько минутъ все было покончено—никого не оставили въ живыхъ. Поощадили только воеводу. Его снесъ съ башни Лобатый словно кулъ съ овсомъ.

Какъ безумный подскочилъ къ несчастному попъ Никифоръ и ударилъ его по щекѣ.

— Нна! это тебѣ за Фросю! за ея дѣвичью честь!—говорилъ онъ задыхаясь, и тутъ же накиннулъ на шею воеводы веревку.—На осину его, на осину Іуду!

— Нѣтъ, бачка, онъ не твой,—сказалъ Разинъ, отстраняя попу.—

Онъ найшъ—войсковой; что кругъ присудить, то съ нимъ и будетъ. Ска-
зывайте вашъ присудъ, атаманы-молодцы,—обратился онъ къ казакамъ.

— Въ воду щуку—карасей ловить!—раздались голоса.—Въ Волгу злодѣя!

— Быть по-вашему,—согласился Разинъ.—А теперь скажи, воевода,—
обратился онъ къ Тургеневу,—за што ты грабилъ народъ? Али тебя
царь затѣмъ посадилъ на воеводство, чтобъ кровь христіанскую пить?
Мало тебѣ своего добра, своихъ вотчинъ? Не отпирайся—я все знаю:
про тебя, про твое неистовство и на Дону ужъ чутка прошла. Кайся
теперь, проси прощенья у тѣхъ, кого ты обидѣлъ.

Тургеневъ молчалъ. Онъ зналъ, что его не любили въ городѣ. Онъ
видѣлъ, какъ сбѣжавшіеся на шумъ парицынцы враждебно смотрѣли на него.

— Православные!—обратился Разинъ къ горожанамъ,—што вы скажете?

Всѣ молчали. Всѣмъ казалось страшнымъ говорить смертный приговоръ
беззащитному человѣку.

— Казни, батюшка, казни злодѣя!

Всѣ оглянулись въ изумленіи. Страшный приговоръ произнесла —
баба!—и то была—сплетница!

— Ахъ, ты, язва!—не утерпѣла сердобольная баба, которой стало
жаль человѣка, стоявшаго передъ толпой съ безропотной покорностью.

Послышался лошадиный топотъ. Это прискакалъ гонецъ съ верхней пристани.

— Стрѣльцы сверхуплывутъ—видимо-невидимо!—торопливо сказалъ онъ.

Разинъ глянулъ на Тургенева и махнулъ рукой. Казаки поняли его жестъ.

— Въ воду щуку! къ стрѣльцамъ на подмогу!—заговорили они.

Одинъ изъ казаковъ взялъ за веревку, которая все еще висѣла на
шеѣ воеводы, и потащилъ къ Волгѣ, къ крутому обрыву. Толпа хлынула
за ними въ глубокомъ молчаніи.

Вдругъ откуда не возьмись молоденькая дѣвушка, которая быстро про-
билась сквозь толпу и съ воплемъ бросилась на шею осужденному.

— Соколъ мой! Васенька! возьми и меня съ собой! Безъ тебя я не
жилица на бѣломъ свѣтѣ!..

— Владычица! да это Фрося!—всплеснула руками сердобольная баба!

Это и была дочка попа Никифора: изкрасна золотистая коса, жгу-
томъ лежавшая на спинѣ дѣвушки, подтверждала это кровное родство съ
рыжимъ попомъ, который весь задрожалъ, увидѣвъ дочь въ объятіяхъ не-
навистнаго ему человѣка.

Тургеневъ съ плачемъ обнялъ дѣвушку...

— Бѣдное дитя, прости меня!—шепталъ онъ.

— Меня прости, соколикъ,—я погубила тебя.

Но казаки тотчасъ же розняли ихъ.

Обрывъ былъ подъ ногами—и воеводу толкнули туда. Не успѣли
опомниться, какъ и дѣвушка бросилась туда же, и Волга мгновенно при-
няла обѣ жертвы.

Попъ Никифоръ стоялъ надъ кручей и рвалъ свои рыжія космы.

XXX.

Струги съ мертвой кладью.

Разниъ между тѣмъ дѣлалъ распоряженія о встрѣчѣ стрѣльцовъ, которые плыли сверху на защиту какъ собственно Царицына, такъ и другихъ низовыхъ городовъ.

Все свое „толпище“, какъ иногда называли въ казенныхъ отпискахъ его войско, онъ раздѣлилъ на двѣ части: одну половину, меньшую, подъ начальствомъ Васьки-Уса, онъ оставлялъ въ городѣ, съ другою, большею, онъ самъ выступилъ для встрѣчи московскихъ гостей и для усиленія отряда, находившагося на его флотилии.

Есаулъ долженъ былъ выстроить свой отрядъ вдоль городскихъ стѣнъ, обращенныхъ къ Волгѣ, и всю крѣпостную артиллерію расположить такъ, чтобы она могла обстрѣливать всю поверхность Волги вплоть до небольшого островка, лежащаго какъ разъ противъ Царицына и заросшаго густымъ тальникомъ и верболозомъ.

Лодки же, на которыя онъ посадилъ часть пѣхоты, онъ приказалъ отвести за островокъ и тамъ укрыть ихъ за верболозомъ. Онъ это сдѣлалъ для того, что когда стрѣльцы, подплывъ къ городу и встрѣтивъ тамъ артиллерійскій огонь съ крѣпостныхъ стѣнъ, вздумаютъ укрыться за островомъ, то чтобы тамъ ихъ встрѣтилъ не менѣе губительный огонь съ флотилии, которая и должна была отрѣзать стрѣльцамъ отступление.

Самъ же онъ съ небольшимъ отрядомъ конницы пошелъ вверхъ берегомъ прямо навстрѣчу московскимъ гостямъ.

Скоро показались и струги съ стрѣльцами. Издали уже слышно было, что стрѣльцы шли съ полной увѣренностью „разнести воровскую сволочь“, и на первомъ же стругѣ раздавалась удалая верховая стрѣleckая пѣсня, до сихъ поръ раздающаяся по Волгѣ отъ Рыбинска, въ то время Рыбное, до Астрахани. Стрѣльцы пѣли:

„Вдоль да по рѣчкѣ, вдоль да по Казанкѣ

„Сизый селезень плыветъ!

„Ишь ты, поди-жъ ты, чтожъ ты говоришь ты,—

„Сизый селезень плыветъ!“

Но стрѣleckое пѣніе вдругъ оборвалось, когда съ берега казаки, среди которыхъ было не мало изъ волжскаго бурлачья, гаркнули продолженіе этой пѣсни:

„Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому

„Добрый молодецъ идетъ:

„Онъ со кудрями, онъ со русыми

„Разговариваетъ!

„Ишь ты, поди-жъ ты, что ты говоришь ты,—

„Разговариваетъ!“

Увидѣвъ на берегу небольшой отрядъ, стрѣльцы направили свои струги ближе къ берегу и открыли по казакамъ огонь. Казаки отвѣчали имъ тѣмъ же, и началась перестрѣлка.

Но мѣръ усталости огня, казаки ощутили, все болѣе и болѣе приближаясь къ городу. Стрѣльцы изъ этого заключили, что казаки не выдерживаютъ огня, и пустились за ними въ догонку.

Но къ это время со стѣнъ города, о взятіи котораго казаками стрѣльцы и не подозревали, открыли имъ стругамъ убійственный огонь. Пораженные неожиданностью, стрѣльцы не выдержали артиллерійскаго огня и повернули отъ города, чтобы укрыться въ островѣ, но тамъ ихъ встрѣтила такая же убійственная пальба изъ засады.

Царское войско тѣпилось, поражаемое съ двухъ сторонъ и ядрами, и пулями. Но стрѣльцы все-таки упорно защищались, и только тогда, когда двѣ трети были уже перебиты, стали просить пощады.

Разинъ велѣлъ прекратить пальбу и привести струги съ остальными стрѣльцами къ берегу.

Когда струги причалили къ берегу, казаки стали считать убитыхъ и насчитали болѣе двести труповъ. Въ живыхъ осталось до трехсотъ стрѣльцовъ.

Они вышли на берегъ и кланялись побѣдителю. Разинъ сказалъ имъ:

Былъ вынужденъ служить мнѣ, оставайтесь со мною, а нѣтъ...

Хорошо, хотимъ, батюшка Степанъ Тимоѣичъ! — закричали побѣжденные, — мы были противъ тебя неволею... Прости насъ!

Разинъ, сказавъ Разинъ, — оставайтесь съ нами. А чтобы воеводамъ да боярамъ мѣрь неповадно было перечить мнѣ, я имъ покажу, какая ждемъ имъ широкая масляница. Атаманы-молодцы! — крикнувъ онъ къ казакамъ, — порадиште-ка два струга, которые будутъ лишніе, и изукрасимъ ихъ, какъ конь въ пѣснѣ поется:

Хорошо были стружечки изукрашены,
Они коньками, знаменами, будто тѣсомъ поросли".

А мы изукрасимъ ихъ получше, поцвѣтимъ.

Казаки, повидимому, не понимали его и ждали, что будетъ дальше. Тогда Разинъ указалъ на два морскихъ струга изъ тѣхъ, которые имъ были оставлены прошлою осенью въ Царицынѣ послѣ морскаго похода и стояли теперь у пристани порожніе.

— Вотъ что, братцы, сказалъ онъ: — снесите всѣхъ убитыхъ стрѣльцовъ на эти струги, снесите поровну, а тамъ я скажу, что дальше дѣлать. Помогайте и вы, ребята, — сказалъ онъ оставшимся въ живыхъ стрѣльцамъ. — А у кого въ карманѣ сыщите деньги, снесите ихъ есаулу — въ дуванъ пойдутъ.

Всѣ принялись за работу, не понимая для чего это, и скоро оба струга наполнины были трупами. Разинъ взошелъ на одинъ изъ струговъ.

— А! — обратился онъ къ трупамъ: — жаль мнѣ васъ, горюны, да

что дѣлать! Коли лѣсъ рубятъ, то и щепки летятъ... А я—охъ... какой лѣсъ задумалъ вырубить!—заповѣдной! Да хочу вырубить дочиста, чтобъ и побѣговъ не осталось.

Онъ задумался, глядя на обезображенные лица мертвецовъ.

— Ну, теперь, братцы, распоясывайте у мертвецовъ кушаки!—снова заговорилъ Разинъ.

Казакѣ повиновались. Когда было распоясано нѣсколько десятковъ на томъ и другомъ стругѣ, Разинъ остановилъ эту странную работу.

— Ну, довольно, братцы: есть чѣмъ изукрасить стружечки,—сказалъ онъ.—Теперь развѣшивайте мертвецовъ по всѣмъ снастямъ,—вотъ какъ въ Астрахани бѣлорыбцу либо осетрину, а то и воблю развѣшиваютъ вялить да балыки провѣсные дѣлаютъ... Да чтобъ поварадѣе были—всѣ бы снасти и мачты, и шесты изнавѣсить боярскими балыками... Пушай любуются да кушаютъ на здоровье... А я изъ нихъ такихъ балыковъ надѣлаю!

Только теперь всѣ поняли, къ чему клонились эти странные распоряженія атамана.

И вотъ казакѣ и стрѣльцы принялись развѣшивать мертвецовъ, подвѣзывая ихъ къ снастямъ кушаками.

Страшную картину представляло это необычайное зрѣлище. Изъ Царицына все населеніе высыпало смотрѣть на то, что дѣлали казакѣ. Весь берегъ былъ усыпанъ зрителями.

А Разинъ ходилъ по стругу, иногда останавливался и задумывался, качалъ головою, какъ бы отгоняя назойливыя мысли, и потомъ встряхивалъ кудрями и отдавалъ приказанія:

— Выше, выше подвѣшивай!—да шапку набекрень надѣнь... Такъ, такъ—ладно... Каковы балыки! Это я моему другу любезному, князю Прозоровскому... Пушай отпишетъ къ Москвѣ тестенькѣ своему Ордину-Нащокину, каковы-таковы казакѣ бываютъ... А то на! — перевести казаковъ, вольный Донъ да Волгу-матушку перелить въ Москву-рѣку да въ Яузу... Захлебнетесь Дономъ да Волгою... Я вамъ не Ермакъ дался — не поклонюсь ни Дономъ, ни Волгою, ни казацкою волею, какъ тотъ поклонился царствомъ сибирскимъ: глупъ былъ батюшка Ермакъ Тимофеевъ, не тѣмъ будь помянутъ... Да, отольются волку овечьи слезки... Ей! этово гладково на самый верхъ посадите, на палю, какъ вонъ у запорожцевъ да у турокъ дѣлаютъ—такъ, такъ—нишъ важно на палѣ сидитъ! А то на—милостивая грамота... похваляемъ, а тамъ и въ бараній рогъ, какъ старца Аввакума... Нѣтъ, я вамъ не Аввакумъ!..

Когда ужасная ослѣстка струговъ была окончена, Разинъ обратился къ стрѣльцамъ:

— А кто ваши головы?—спросилъ онъ.

Стрѣльцы отвѣчали:

— Были у насъ, батюшка Степанъ Тимофеевъ, пять головъ съ нами изъ Казани послано, да нонѣ въ бою твоими казакѣми трое изъ нихъ убиты до смерти, а осталось только двое,—вотъ они.

Разинъ подозвалъ ихъ къ себѣ. Тѣ стояли ни живы, ни мертвы.

— Я всѣхъ начальныхъ людей, и головъ, и бояръ убиваю,—сказалъ Разинъ.—Васъ я не трону: вы такъ головами и останетесь; одною изъ васъ я посажу на одинъ стругъ, другою на другой. Плывите въ Астрахань съ своими стрѣльцами, какъ плыли сюда изъ Казани, и кланяйтесь отъ меня астраханскому воеводѣ, князю Прозоровскому, и скажите, что я ему балыковъ посылаю... Вонъ какіе осетры висятъ! Да скажите астраханцамъ всякаго званія людямъ, что я чиню расправу только надъ боярами да мироѣдами, а бѣдныхъ людей не трогаю: бѣдные—мои братья и всѣ мы промежъ себя равны. Слышали?

— Слышали, батюшка Степанъ Тимоѣичъ,—покорно отвѣчали стрѣleckіе головы.

— Такъ помните, что я вамъ сказалъ, и астраханцамъ всякаго званія людямъ передайте мои рѣчи отъ слова до слова, какъ я сказалъ,—заклучилъ свою рѣчь Разинъ.

Стрѣleckіе головы поклонились.

— А теперь,—обратился Разинъ къ казакамъ,—снесите на оба струга корму всякаго и питья на недѣлю и больше того, чтобъ головамъ было чѣмъ дорогою кормиться. Живо!

Казаки бросились исполнять приказаніе атамана, и чрезъ нѣсколько минутъ изъ города принесено было множество калачей, нѣсколько окороковъ, балыковъ, копченой воibly и нѣсколько боченковъ вина.

— Это вамъ кормъ,—сказалъ Разинъ головамъ:—голодны не будете. Да не перепейтесь дорогой!

Головы кланялись и благодарили.

— А чтобъ вы не бѣжали съ дороги, я васъ обоихъ вѣлю приковать—каждо къ своему рулю,—пояснилъ Разинъ:—рулемъ-то вы будете править, а бѣжать не бѣжите... Гребцовъ вамъ не надо: сама Волга-матушка донесетъ васъ до Астрахани. Эй! атаманы-молодцы! принесите двѣ якорныхъ цѣпи, да подлиннѣе, и прикуйте господъ головъ — каждо къ своему рулю.

Казаки принесли двѣ цѣпи и исполнили, что имъ приказывалъ атаманъ: одного стрѣleckаго голову помѣстили на одномъ стругѣ съ мертвецами и приковали, другого—на другомъ, и тоже приковали.

Затѣмъ оба струга съ мертвой кладью и съ прикованными рулевыми отвѣли на середину Волги и пустили на произволъ судьбы.

Струги тихо поплыли по теченію...

Зрѣлище было до того ужасно, что многіе стрѣльцы, тѣ, что остались въ живыхъ, глядя, какъ уплывали ихъ мертвые товарищи, горько плакали.

Разинъ долго провожалъ струги глазами и затѣмъ молча воротился въ городъ.

XXXI.

Страшная вѣсть.

Царь Алексѣй Михайловичъ, впечатлительный и мечтательный по природѣ, поэтъ въ душѣ, говоря современнымъ языкомъ, очень любилъ всякую торжественную обрядность и „дѣйство“, въ родѣ „пещнаго дѣйства“, а впоследствии и „комидійныхъ дѣйствъ“. Нравились ему и благочестивыя зрѣлища съ обрядовою обстановкою, и благочестивое, душевспасительное пѣснопѣіе странниковъ и „каликъ переходжихъ“, и онъ охотно слушалъ духовные стихи о „богатомъ и убогомъ Лазарѣ“, „о грѣшной душѣ“ и т. п.

И теперь, когда онъ занимался въ своей образной горницѣ съ дѣлкомъ Алмазомъ Ивановымъ, на заднемъ крыльцѣ Коломенскаго дворца сидѣли двое „каликъ переходжихъ“, о которыхъ онъ слышалъ отъ царевенъ и въ особенности отъ царевны Софьи, что они поютъ разные, „зѣло предивные стихи“.

Дѣла были неотложныя. Съ нижней Волги съ самаго ея вскрытія не было вѣстей, а между тѣмъ ходили слухи, что Разинъ съ Дону уже двинулся къ Волгѣ. Нужно было озаботиться о снаряженіи на Волгу, въ „плавную службу“, какъ можно болѣе ратныхъ людей съ верхней Волги и съ Камы. Поэтому сегодня долженъ былъ выѣхать на Вятку съ государевою „памятью“ молодой Ординъ-Нащокинъ, Воинъ, который съ ратными людьми просился въ Астрахань—на всякій случай—въ помощь къ тестю своему, къ князю Прозоровскому.

Вотъ эту „память“ и докладывалъ теперь царю Алмазъ Ивановъ. О взятіи Разиннымъ Царицына и о разгромѣ посланныхъ изъ Казани стрѣльцовъ до Москвы еще не дошли слухи, такъ какъ единственный путь для сношенія съ низовыми городами—Волга—былъ уже въ рукахъ у казаковъ, одинъ отрядъ которыхъ, посланный Разиннымъ изъ Царицына вверхъ по Волгѣ, овладѣлъ Дмитріевскомъ, что нынѣ Камышинъ.

— Да, да, настали для насъ „злы дни“,—говорилъ Алексѣй Михайловичъ какъ бы самъ съ собою, пока Алмазъ Ивановъ надѣвалъ очки, чтобы читать память:— надо торопиться съ павною службою. Ну, вычти...

Алмазъ Ивановъ началъ читать: „Лѣта 7179-го, маія 30 день, по государеву цареву и великаго князя Алексѣя Михайловича всеа Русіи указу, память Воину Ордину-Нащокину. Ъхати ему на Вятку, для того: по государеву указу, велѣно быти на государевѣ службѣ, въ плавной, съ бояринѣмъ и воеводою, со княземъ съ Юрьемъ Борятинскимъ съ товарищи, съ Вятки ратнымъ людямъ полтрети тысячи человѣкомъ; да велѣно на Вяткѣ для государевы плавныя службы сдѣлати сто струговъ“.

— Сто струговъ? не мало?—спросилъ государь.

— Въ первую версту, государь, довольно,—отвѣчалъ дьякъ.

— Добро. Ну?

Дьякъ продолжалъ: „А посланъ изъ Казани для тѣхъ судовъ Офонька Косыхъ. И Воину, пріѣхавъ на Вятку, отдать отъ боярина и воеводы отъ князь Юрья Борятинскаго съ товарищи дьяку Сергѣю Резанцеву съ товарищи жъ отписку, и говорити имъ, чтобъ они собрали на Вяткѣ ратныхъ людей полтрети тысячи человекъ: тотчасъ, съ вогненнымъ и съ лучшимъ боемъ, и рогатины бъ у нихъ съ прапоры были; а были бъ ратные люди молоды и рѣзвы...“

— Не то что мы съ тобой,—улыбнулся Алексѣй Михайловичъ.

— Гдѣ-жъ намъ, государь, холопомъ твоимъ тягаться съ твоею государевою рѣзвостью!—пробурчалъ дьякъ свой придворный комплиментъ, и продолжалъ докладъ:—„и изъ пищалей бы стрѣляти были горазды, а старыхъ бы и недорослей въ нихъ не было. А какъ на Вяткѣ ратныхъ людей себрутъ, и Воину съ тѣми ратными людьми ѣхати въ Казань тотчасъ съ вешнею водою вмѣстѣ, а Офонасю Косыхъ со стругами велѣти ѣхати въ Казань тотъ же часъ не мѣшкая, чтобъ за тѣмъ государевѣ службѣ молчанья не было. А не пришлютъ съ Вятки ратныхъ людей вскорѣ, по государевѣ указу, всѣхъ сполна, а государевѣ службѣ учинитца за ними мотчанье, и вятчанъ пошлютъ изъ прогоновъ и пеню имъ учинять по государеву указу“.

Алмазъ Ивановъ кончилъ.

— Быть по сему,—заключилъ государь.—Пушай же Воинъ ѣдетъ безъ мотчанья. Все доложить?

— Все, государь,—отвѣчалъ дьякъ, собирая въ сумку докладные свитки.

Дьякъ откланялся и вышелъ, а государь отправился на дѣвичью половину. Тамъ въ покояхъ царевны Софьи онъ засталъ постоянного посѣтителя дѣвичьихъ покоевъ Симеона Полоцкаго, который продолжалъ заниматься съ любознательной царевной, а также пріятельницу ея, молоденькую жену Воина Ордина-Нащокина, Наталью Семеновну, и Артамона Сергѣевича Матвѣева съ своею юной воспитанницей, Натальей же Кирилловной Нарышкиной.

— А! и ты, старый, тутъ съ молоденькими,—милостиво поздоровался государь съ Матвѣевымъ.

Матвѣевъ сталъ замѣчать, что Алексѣй Михайловичъ, встрѣчая иногда у дочери юную его воспитанницу, обращалъ на нее особенное вниманіе, и, казалось, она ему серьезно нравилась. Это и заставило его учащать къ Софьѣ Алексѣевнѣ съ своею „царевною Несмѣяною“, какъ онъ называлъ ее за то, что она почти никогда не смѣялась и хорошенькіе глазки ея были всегда серьезны и задумчивы.

— Да вотъ, государь, моя-то царевна Несмѣяна соскучилась по государынѣ царевнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ, я и привезъ ее,—отвѣчалъ Матвѣевъ, кланяясь.—А я у нея и мамка, и нянька.

— Что же, дѣло хорошее,—замѣтилъ Алексѣй Михайловичъ:—намъ, старикамъ, чѣмъ же инымъ и быть, какъ не няньками?

— Помилуй, государь!—возразилъ Матвѣевъ.—Не тебѣ бы это говорить, не намъ бы слушать! Тебѣ, великому государю, самая верста жениться.

Алексѣй Михайловичъ поспѣшилъ замѣять этотъ разговоръ, и обратился къ Симеону Полоцкому.

— А слыхалъ ты, Симеонъ Ситіановичъ, што нонѣ весной было трясеніе земли въ Персидѣ?—сказалъ онъ, садясь около дочери.

— Сказывали, государь,—отвѣчалъ ученый бѣлорусъ.—Быль трусъ и въ Грекахъ.

— А отчего оное трясеніе земли бываетъ?—спросилъ государь.

— Я знаю, батюшка, отчего,—отозвалась Софья.

— О! да ты у меня всезнайка,—улынулся государь.—А ну-ну, разскажи.

— Оттого,—начала царевна по книжному,—егда вѣтры выйдутъ въ скважни подъ землю и паки оттуду исходити имутъ, и не могутъ поразитися вонъ, и тогда отъ нихъ бываетъ трясеніе земли.

— Такъ, такъ... Ну, а съ чево эти скважни бываютъ?—допытывался государь.

— А съ тово—гдѣ земля вельми жестока, тамо есть на всякомъ мѣстѣ вода подъ тою землею въ исподѣ, и егда та бездна водная подвизается отъ вѣтровъ и вонъ выразитися вода жестокости ради земныя не можетъ, тогда раздраетъ землю великою силою, и снче ту страну движаетъ,—скороговоркой проговорила Софья, какъ заученный урокъ *).

Симеонъ Полоцкій съ любовью смотрѣлъ на свою ученицу—она не ударила лицомъ въ грязь.

— Да, дивны дѣла рукъ Божіихъ,—задумчиво проговорила Алексѣй Михайловичъ; и потомъ, обратясь къ молодой Ординой-Нащокиной, съ улыбкой спросилъ:—а что, Наталья, будешь плакать, муженька провожамши на ратное дѣло?

— Я ужъ и такъ, государь, плакала,—вспыхнула молодая женщина.—Я бѣ и сама съ нимъ, коли можно, къ батюшкѣ поѣхала.

— О-о! прятка!—улыбнулся государь.—А впротчемъ што дивить! Ужъ коли матушки-игуменьи не испужалась—бѣжала къ жениху, дакъ вора Стеньки и подавно не испужаешься.

Молодая бѣглянка еще больше покраснѣла. Но Софья Алексѣевна замяла этотъ разговоръ.

— Что-жъ, батюшка, позвать каликъ?—сказала она.

— Позови, позови,—согласился Алексѣй Михайловичъ.

Царевна вышла и вскорѣ воротилась, но уже не одна: за нею, осторожно ступая, какъ бы опасаясь провалиться, вошли въ свѣтлицу два странника. Одинъ изъ нихъ, помоложе, былъ совсѣмъ слѣпой: волосы его, сбившіеся шапкой и никогда, повидимому, нечесанные, падали на лобъ и на слѣпые глаза. Другой былъ зрячій старикъ, но безъ правой руки.

*) „Книга глаголемая „Гусидаріусъ“.

Войдя въ свѣтлицу, они разомъ поклонились земно, а потомъ, стоя на колѣняхъ, проговорили, осявѣвъ крестнымъ знаменіемъ:

— Благословеніе дому сему и всѣмъ обитающимъ въ ономъ.

— Аминь,—набожно сказалъ царь. — Встаньте, странники; — куда путь держите?

— Къ преподобнымъ Зосимъ-Савватию на Соловки,—отвѣчалъ слѣпецъ.

— А откуда Богъ несетъ?

— Съ Астрахани, государь-батюшка.

Этотъ отвѣтъ произвелъ общее движеніе. Молодая Ордина-Нашокина даже привскочила на мѣстѣ.

— Изъ Астрахани?—переспросилъ Алексѣй Михайловичъ.—А что тамъ слышно? Что воевода, князь Прозоровскій?

— Были мы, государь-батюшка, у воеводы, — отвѣчалъ зрячій:—онъ насъ милостиво принялъ, отпустилъ съ миромъ и съ милостынею и велѣлъ помолиться святымъ угодникамъ о здравіи твоёмъ, великій государь, и всево государева дома, да велѣлъ еще помолиться о здравіи рабы божьей Натальи...

— Батюшка, родной мой!—вырвалось у Ординой-Нашокиной.

— Да приказалъ еще воевода,—продолжалъ старшій калика,—помолиться объ избавленіи града Астрахани отъ вора и супостата Отенъки Разина.

— А што объ немъ слышно, гдѣ онъ? надъ кѣмъ промыслъ чинить?—встрепенулся Алексѣй Михайловичъ.—Оттудова давно нѣтъ вѣстей.

— Слышно, надежа-государь, сказывали, будто воръ городъ Царицынъ добылъ и воеводу предалъ лютой смерти, — отвѣчалъ чуть слышно калика.

— Боже Всемогуцій!—воскликнулъ Алексѣй Михайловичъ, блѣднѣя:—пощади люди твоя, и грады, и веси, всемилостивый Господи! Штожь еще слышно—сказывайте.

— Охъ, надежа-государь!—заплакалъ старшій странникъ:—не слышали мы, а самъ я своими глазами видѣлъ злое дѣло ево — какъ и глаза у меня не ослѣпли отъ того, што видѣли... Прошли мы это ужъ Енотаевскій городъ и Черный-Яръ, идемъ Волгою, бережечкомъ, коли слышимъ: птица это каркаетъ, воронье, да коршуны и орлы клекочутъ, ажъ страшно стало. Смотрю я: птица надъ Волгой тучею носится—такъ хмарою и застилаетъ небо. Далѣ, болѣ, надежа-государь, вижу я: кружить та хмара не то надъ высокими деревьями, не то надъ островомъ какимъ, и то подымается хмара, то спустится къ тѣмъ деревьямъ. Далѣ-ближе, государь-батюшка, вижу я: то не дерева и не острова, а плывутъ по Волгѣ какъ бы двѣ посудины—ни то расшивы, ни то струги большіе, а на снастяхъ у тѣхъ струговъ изнавѣшено что-то будто красное, а на томъ красномъ понасѣло птицы видимо-невидимо: и коя птица стаями садится на тѣ снасти, да на то красное, а коя птица хмарою кружить, да каркаетъ, да клекочетъ—и уму непостижимо! Далѣ-ближе, надеженька-государь, вижу

ясно: плывутъ два большіе струга, а помосты-то у нихъ — вымолвить страшно! — устланы мертвыми людьми — мертвецъ на мертвецѣ, — и все то стрѣльцы...

— Стрѣльцы! — въ ужасѣ проговорилъ царь.

— Стрѣльцы, надежа-государь, — продолжалъ калика: — сотни ихъ тамъ понаметано, либо и тысячи, и на снѣгахъ-ту все висятъ стрѣльцы: што ихъ тамъ изнавѣшено, и сказать не умѣю! А на всемъ этомъ трупѣ сидятъ воронье, да орлы, да коршуны, и клюютъ тѣ трупы, и дерутся промежъ себя за добычу, и каркаютъ, и клечутъ, и тучею-хмарою кружатъ! Волосы ожили у меня на головѣ, надежа-государь, дыбомъ встали! Мы стоимъ, смотримъ, да только крестимся. А струги все плывутъ тихо, все плывутъ. И слышимъ мы, надежа государь, съ тѣхъ струговъ гласы человѣческіе: — „люди божьи! помолитесь объ насъ, грѣшныхъ, — объ рабѣ божьемъ Ларивонѣ, да объ рабѣ божьемъ Панкратѣ: мы-де стрѣлцкіе головы, посланы были съ Казани съ ратными людьми для обереженья низовыхъ государевыхъ городовъ, и супостатъ-воръ Стенька надъ нами-де воровской промыслъ подъ Царицыномъ учинилъ и всю государеву рать, мало не до единого перебилъ вогненнымъ смертнымъ боемъ, а насъ-де, Ларивона да Панкрата, оставилъ въ живыхъ для тово: плыли бъ мы, Ларивонъ да Панкратъ съ мертвою государевою ратью въ Астракань на двухъ стругахъ, и поклонились бы астраканскому воеводѣ, князю Прозоровскому, мертвою государевою ратью, и сказали бъ воеводѣ, чтобъ онъ скоро ждалъ къ себѣ ево, вора Стеньки, приходу. А мы-де, — говорятъ Ларивонъ да Панкратъ, — прикованы къ стругамъ чепью“.

Какъ громомъ поразила всѣхъ эта страшная вѣсть. Алексѣй Михайловичъ, блѣдный, съ дрожащими губами, растерянно озирался. Симеонъ Полоцкій крестилъ и дулъ въ лицо молодой Ординой-Нащокиной, которая лежала въ обморокѣ. Юная Нарышкина Наталья вся дрожала и плакала. Матвѣевъ Артамонъ Сергѣевичъ тоже растерялся. Одна царевна Софья, по видимому, не растерялась: блѣдная, съ плотно сжатыми губами, она подошла къ отцу, который какъ-то безпомощно шепталъ: „злѣдѣи, злѣдѣи...“

— Батюшка, касатикъ! — взяла она его за руку: — пойдемъ... созови сейчасъ думу... бояръ всѣхъ, дьяковъ... За тебя станетъ вся русская земля — за тебя Богъ...

И какъ бы въ подкрѣпленіе мужественныхъ словъ юной царевны, калики тихо, молитвенно зашѣли:

„Ой, у Бога великая сила...“

XXXII.

Братскія похороны и походъ.

Струги съ мертвой кладью достигли наконецъ Астрахани.

Этотъ страшный караванъ съ мертвецами, расклеванными до костей хищными птицами, прежде всѣхъ увидѣли астраханскіе рыбаки, заки-

дывавшие тони выше Астрахани. Какъ и калики переходіе, они не могли сначала понять, что такое плыло по Волгѣ и почему надъ этимъ невѣдомымъ „что-то“ тучами кружились и кричали птицы.

Но скоро и для нихъ это „что-то“ — что-то страшное — стало понятнымъ, особенно когда струги подплыли ближе и съ нихъ послышались слабые человѣческіе голоса, скорѣе — два стона, исходившіе отъ каждого струга. Приблизившись къ нимъ въ лодкахъ, рыбаки, не смѣя выйти на страшныя пловучія кладбища, отъ прикованныхъ къ рулямъ стрѣлцкихъ головъ узнали всю ужасную ихъ исторію. Невольные рулевые были чуть живы, но все еще настолько владѣли мускулами рукъ, что могли съ трудомъ направить свои струги по стержню рѣки: они боялись приткнуться гдѣ-либо къ берегу или къ острову, чтобъ не погибнуть голодною смертію за недостаткомъ корма. Когда же они плыли мимо Чернаго-Яра и Ено-таенска, то жители какъ того, такъ и другого, узнавъ что это за струги такіе и какую они кладь везутъ, съ ужасомъ уплывали отъ нихъ къ берегу.

Выслушавъ эту страшную исторію, астраханскіе рыбаки тотчасъ же посѣщили съ ужасною вѣстью въ городъ.

— Не даромъ тогда старый Илья Осиповъ изъ рыбнова ряду сказывалъ, когда, лѣтось, мы пымали тѣхъ ужасенныхъ трехъ осетровъ, что послали тады одново государю-царю, дорогово — святому владыкѣ патріарху, а третьимъ поклонились батюшкѣ Степану Тимоеичу, — не даромъ, чу, Осиповъ сказывалъ, что съ самой той поры, какъ въ Астраканѣ у насъ царилъ Маришка-безбожница съ Ивашкою Заруцковымъ, такихъ осетровъ въ Волгѣ не выдывали, — говорилъ одинъ старый рыбакъ, посѣщая съ товарищами въ городъ. — Должно и нонѣ будетъ государствовать надъ нами батюшка Степанъ Тимоеичъ.

— Дай-то Богъ! — отозвался на это молодой пловецъ изъ затинщиковъ.

— Такъ-ту такъ, милый, може и будетъ онъ государствовать, да надолго ли? — возразилъ старый ловецъ. — У боярь-ту на Москвѣ сила не махонька.

Рыбаки тотчасъ же посѣщили къ воеводскому подворью.

Князь Прозоровскій въ это время объѣзжалъ у себя на дворѣ прекраснаго карабахскаго коня, присланнаго ему изъ Испагани въ подарокъ персидскимъ купцомъ Сѣхамбетомъ въ благодарность за то, что въ прошломъ году, когда Разинъ ограбилъ на Каспійскомъ морѣ купеческую персидскую бусу, везшую поминки шаха царю Алексѣю Михайловичу, и захватилъ въ полонъ ѣхавшаго на этой бусѣ сына Сѣхамбета, князь Прозоровскій своимъ вліяніемъ на Разина, смягченнаго тогда любовью къ прекрасной Заирѣ, способствовалъ выкупу изъ полона молодого перса.

Вмѣстѣ съ отцомъ упражнялся на дворѣ въ верховой ѣздѣ и старшій сыннишка князя, десятилѣтній княжитъ Степа, подъ руководствомъ опытнаго наѣздника, пятидесятника конныхъ стрѣльцовъ, Фрола Дуры.

— Я теперь, батя, и свою тески не испужаюсь, Стеньки Разина, — хвастался мальчикъ, трепля гриву своего смирнаго киргизскаго конька.

— О! княжить! — улыбался его менторъ, Фроль Дура: — да Стенька теперь тебя самъ испужается. Вонъ какой ты ратникъ—страхъ!

— Да, — улыбался и воевода: — по нынѣшнимъ временамъ, сынокъ, намъ нужны ратники: не ровень часъ—опять нагрянетъ чадушка.

Въ это время вошли на дворъ рыбаки.

Принесенная ими вѣсть до того ошеломила всѣхъ, что воевода видимо растерялся. Онъ не ожидалъ, что въ смирившемся-было крамольникѣ опять проснулся кровожадный звѣрь. Пославъ тотчасъ же коннаго пятидесятника съ этимъ извѣстіемъ къ своему товарищу, къ князю Семену Ивановичу Львову, онъ приказалъ вмѣстѣ съ тѣмъ созвать къ себѣ всѣхъ стрѣльцкихъ головъ, а самъ поскакалъ къ митрополиту Іосифу—просить его совѣта.

Едва онъ вошелъ во владычныя палаты, какъ подъ окнами раздались крики:

— Плывуть! плывутъ струги съ мертвецами!

Услыхавъ страшную вѣсть, митрополитъ тотчасъ же поспѣшилъ въ соборную церковь, приказавъ по пути немедленно собраться туда же и прочему духовенству.

Скоро отъ собора къ Волгѣ потянулась церковная процессія съ крестами, иконами и хоругвями. Митрополитъ и прочее духовенство были облачены въ черныя ризы. За процессіей повалилъ народъ со всѣхъ концовъ города.

На Волгѣ процессію ожидало потрясающее зрѣлище. Выѣхавшіе съ пристани навстрѣчу стругамъ ловцы и ратные люди плавной службы буксировали къ берегу страшные струги. Испуганные необычайнымъ движеніемъ на берегу, вороны, сидѣвшіе на трупахъ и кружившіеся въ воздухѣ, оглашали воздухъ еще болѣе оглушительнымъ карканьемъ. Въ толпѣ слышался плачь женщинъ и дѣтей, и весь этотъ плачь и карканье хищныхъ птицъ покрывалъ похоронный звонъ всѣхъ астраханскихъ церквей.

Наконецъ струги были прибуксированы къ берегу и на борты ихъ кинуты сходни. Когда стрѣльцы отковали прикованныхъ къ рулямъ головъ и свели ихъ подъ руки на землю, митрополитъ и священники, поднявшись по сходнямъ и не вступая на струги, гдѣ за трупами негдѣ было стать, начали общее отпѣваніе на брани побѣжденныхъ.

Въ воздухѣ почти не слышно было трупнаго запаха, потому что мертвецы обклеваны были птицею до костей, а отъ многихъ и кости были растащены и разнесены по степямъ орлами и коршунами.

За воплями женщинъ почти не слышно было погребальныхъ гимновъ, и только кадильный дымъ вился струйками въ воздухѣ и таялъ, да отъ времени до времени съ крѣпостныхъ стѣнъ пушкарни и затинщики пушечными выстрѣлами отдавали послѣднюю почесть погибшимъ въ бою товарищамъ.

Между тѣмъ на кладбищѣ Троицкаго монастыря сторожа и боярскіе холопы, по распоряженію городского приказчика, копали нѣсколько огромныхъ ямъ для общихъ братскихъ могилъ.

Изъ города въ то же время выслано было на пристань нѣсколько телѣгъ для перевозки труповъ, и скоро началась страшная процессія перенесенія ихъ съ струговъ въ телѣги. Зрѣлище было потрясающее!

Но когда хоръ митрополичьихъ пѣвчихъ вмѣстѣ со всѣмъ духовенствомъ возгласилъ стихирѣ Юанна Дамаскина: „плачу и рыдаю, всегда помышляю смерть“ и когда въ этомъ надрывающемъ душу пѣніи слышались такіе слова, какъ „вижу красоту твою, безобразную и безславную, не имущую виду“, или „како предаемся тлѣнію“, то со всѣхъ сторонъ послышались глухіе рыданія...

Плакалъ и князь Прозоровскій. Никогда не могъ онъ и подумать, чтобы когда-нибудь привелось ему видѣть такое зрѣлище, или чтобы, отправляясь на воеводство въ Астрахань, онъ могъ ожидать, что еще будетъ когда-либо плакать такъ, какъ въ послѣдній разъ плакалъ, четыре года тому назадъ, въ Москвѣ, въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, когда тамъ постригали, а ему казалось—хоронили его любимицу, юную дочку Наталеньку...

„Плачу и рыдаю“—стонало у него въ душѣ, и онъ плакать, плакалъ, какъ бы предчувствуя, что черезъ нѣсколько дней и его самого будутъ стрѣльцы тащить такого же „безобразнаго, безславнаго, не имущаго виду“ и бросать въ общую могилу съ сотнями такихъ же какъ и онъ „безславныхъ и обезображенныхъ...“

И вотъ подъ заунывный, нестройный, но тѣмъ болѣе удручающій душу перезвонъ колоколовъ всѣхъ астраханскихъ церквей потянулся рядъ телѣгъ съ жертвенцами къ Троицкому кладбищу,—телѣга за телѣгой, по тряской и изрытой водоройнами дорогѣ, а трупы въ лохмотьяхъ, въ красныхъ, изодранныхъ когтями и клювами орловъ и коршуновъ стрѣлцкихъ кафтаныхъ, точно недобитые и недоѣденные, подпрыгивали на этихъ водоройнахъ и еще болѣе увеличивали тѣмъ ужасъ общей картины. За ними валилъ толпами народъ, жадный до всякаго рода зрѣлищъ, даже до такихъ каково было это...

Скоро на кладбищѣ образовалось около десятка высокихъ земляныхъ бугровъ.

А къ вечеру—новое зрѣлище. За день воеводы и стрѣлцкіе головы усилія снарядить и вооружить до сорока большихъ морскихъ струговъ и посадить на нихъ около трехъ тысячъ ратныхъ людей—стрѣльцовъ и другихъ служилыхъ съ княземъ Львовымъ во главѣ. Флотилія эта должна была идти навстрѣчу Разину и истребить его „воровское толпище“ до послѣдняго человѣка.

Съ возгласами и пѣснями отплывали стрѣльцы отъ Астрахани. Чтобы показать свою удалъ, стрѣльцы, едва отплыли отъ берега подъ прощальные выстрѣлы крѣпостныхъ пушекъ, какъ тотчасъ же грянули хоромъ любимую тогда всѣми ратными людьми „весновую пѣсню“, которая въ одномъ старинномъ сборникѣ записана была дословно еще въ 1619 году. Запѣвалой былъ Костка „гудошникъ“, и онъ началъ подголоскомъ:.

„Сотворилъ ты, Боже,
„Да и небо-землю,
„Сотворилъ же, Боже,
„Весновую службу.
„Не давай ты, Боже,
„Зимовыя службы!

Съ берега пѣвцамъ махали шапками, ширинками это бабы. На со-
сѣднемъ стругѣ подхватили другимъ хоромъ, низкими голосами:

„Зимовая служба—
„Молодцамъ кручинно
„Да сердцу насадно.
„Ино дай же, Боже,
„Весновую службу:
„Весновая служба—
„Молодцамъ веселье,
„А сердцу утѣха“.

— Любо! любо! — кричали стрѣльцы изъ вятичей и ветлужанъ: — ай да
понизовые! У насъ такъ не сумѣютъ голосомъ низы забрать.

А понизовые, поощряемые похвалами, надавали верхними голосами
съ подголосками:

„А емлите, братцы,
„Яровы весельца,
„А сядемте, братцы.
„Въ ветляны стружечки.
„Да грянемте, братцы,
„Въ яровы весельца
„Ино внизъ по Волги...“

— Не внизъ, братцы, а вверхъ! — поправилъ Костыка „гудошникъ“: —
вверхъ по Волгѣ.

— Ино вверхъ — точно...

„Сотворилъ намъ Боже,
„Весновую службу *).

Князь Львовъ, сидя подъ наметомъ на передовомъ стругѣ и слушая
эту пѣсню, самодовольно улыбался: онъ видѣлъ, что его ратные люди съ
добрымъ духомъ и съ „рѣзвостью“ идутъ противъ вора и злодѣя Стеньки.

Скоро флотилія князя Львова скрылась изъ глазъ провожавшихъ ее

*) Эта замѣчательная пѣсня записана, какъ сказано выше, въ 1619
году, для оксфордскаго бакалавра Ричарда Джемса, вмѣстѣ съ другими
шестью пѣснями, въ томъ числѣ знаменитыя пѣсни царевны Ксеніи Го-
дуновой, которыя и донынѣ хранятся въ Оксфордѣ. Напечатаны въ „Из-
вѣстіяхъ II отд. Акад. Наукъ“.

астраханцевъ, а они все стояли на берегу и прислушивались къ молодецкому пѣнію, все болѣе и болѣе замиравшему вдаль.

Флотилии этой, однако, не суждено было воротиться въ Астрахань...

Что съ нею случилось—это мы узнаемъ изъ послѣдующихъ главъ.

XXXIII.

„Они тамъ, а мы тутъ...“

Прошло нѣсколько томительныхъ дней ожиданія возврата стрѣльцовъ съ княземъ Львовымъ; но ни стрѣльцовъ, ни вѣстей никакихъ сверху не было.

Только однажды, на зарѣ, знакомые намъ ловцы, закинувъ тони нѣсколько выше Астрахани, вмѣстѣ съ осетрами и бѣлорыбцей вытащили—къ ужасу—нѣсколько труповъ. Закинули еще и опять утопленники!

Но когда хорошенько рассмотрѣли обезображенные и распухшія да притомъ изъѣденныя раками лица мертвецовъ, то хотя съ трудомъ, однако же, распознали въ нихъ тѣхъ стрѣлцкихъ головъ, сотниковъ и дворянъ, которые отправились противъ Разина вмѣстѣ съ княземъ Львовымъ. Не оставалось никакого сомнѣнія, что и эту высылку, состоявшую почти изъ трехъ тысячъ стрѣльцовъ и другихъ ратныхъ людей, постигла та же участь, какую испытала подъ Царицыномъ прежняя высылка изъ Казани.

Астрахань, такимъ образомъ, должна была готовиться ко всему.

— Я давно зналъ, што такъ оно и выдетъ,—лукаво замѣтилъ, отпихивая подальше въ воду весломъ тѣло одного стрѣлцаго головы, тотъ молодой ловецъ изъ затинчиковъ, который охотно ожидалъ въ Астрахань батюшку Степана Тимоѣеича.

— А ты почему, возгрякъ, зналъ про то?—спросилъ старикъ рыбакъ.

— Мнѣ сказывалъ Костка гудошникъ,—отвѣчалъ малый: —мы-де, говорить,—спѣвку сдѣлали промежъ себя и всѣмъ нашимъ головамъ да сотникамъ зальемъ за шкуру сала, штобъ они напредки не заѣдали нашево кормовово да посонново жалованья.

Плывшіе по Волгѣ трупы этихъ головъ да сотниковъ были, наконецъ, усмотрѣны съ берега и въ Астрахани и выловлены. Не нашли между ними только князя Львова. Гдѣ онъ? что съ нимъ?..

Ждать было спасенія не откуда, а тѣмъ болѣе изъ Москвы: не было болѣе пути, по которому можно было бы тайно послать въ Москву гонца съ вѣстью о предстоявшей Астрахани гибели, потому что Волга была въ рукахъ Разина, а посылать черезъ степь—было бесполезно: тамъ по всѣмъ направленіямъ рыскали калмыки, давно озлобленные противъ русскихъ воеводъ за ихъ грабежи и притѣсненія.

Оставалось одно—запереться въ городѣ и укрѣпиться.

Въ тотъ же день совершенъ былъ крестный ходъ вокругъ городскихъ

стѣнъ. Ходъ былъ особенно торжественный и внушительный: церковная святыня всѣхъ астраханскихъ церквей, хоругви, кресты, горящіе громадныя свѣчи въ массивныхъ паникадилахъ,—все двигалось вокругъ стѣнъ, а впереди всего этого шествовала величайшая святыня города—икона Божіей Матери въ драгоценномъ окладѣ. У каждаго воротъ шествіе останавливалось и воздухъ оглашался молебствіемъ и пѣніемъ всѣхъ церковныхъ хоровъ и всего духовенства. День былъ такой тихій, что свѣчи горѣли на воздухѣ и пламя ихъ совсѣмъ не колебалось. Надъ процессіей кружились стаи голубей, вполосенныхъ церковнымъ звономъ и пѣніемъ.

Вмѣстѣ съ процессіей двигался весь городъ, особенно женское населеніе. Во главѣ шествія, позади духовенства, шелъ воевода и внимательнымъ взоромъ осматривалъ городскія стѣны и ворота. Тутъ же шла и княгиня Прозоровская съ двумя сыновьями. Старшій мальчикъ шелъ бодро, увѣренно. Казалось, что онъ былъ убѣжденъ въ истинѣ словъ своего „коневаго учителя“ Фрола Дуры: Степанъ Разинъ „самъ испугается своего тезки“, княжича Степана Прозоровскаго. Но младшій сынишка воеводы, Сеня, былъ больше занятъ голубями, между которыми онъ искалъ своихъ любимыхъ „турмановъ“.

Однако не весь городъ участвовалъ въ процессіи. Если бы князь Прозоровскій могъ видѣть и прислушаться къ тайственнымъ перешоптываньямъ на базарахъ разныхъ кучекъ холопей и посадскихъ ободранцевъ, то онъ увидѣлъ бы въ этомъ нѣчто зловѣщее...

А вечеромъ, когда воевода обошелъ всѣ городскія стѣны и башни, осмотрѣлъ пушки и боевые запасы, разставилъ по мѣстамъ пушкарей, зачинщиковъ и воротниковъ, роздалъ стрѣльцамъ запасное оружіе и приказалъ стрѣльчихамъ кипятить въ котлахъ воду,—стрѣльчихи коварно между собой переглядывались...

— Ты, Дарьюшка, не больно-то перекипичивай воду...

— Знаю, меня не учить стать: не перекипичу, не впервой своихъ стрѣльчатъ купать въ корытцахъ...

— Ха-ха-ха! вотъ сказала!—стрѣльчатъ купать...

— А то какъ же? Може и твой соколъ полѣзетъ на стѣну, дакъ и ему кипяткомъ очи заливать! А сподручнѣ тепленькой водицей...

— Да они тамъ и не полѣзутъ... А тутъ мы ихъ сами за бѣлы ручки востягнемъ на стѣну...

— Такъ, такъ: они тамъ, а мы тутъ...

XXXIV.

Разинъ въ Астрахани.

Надъ Астраханью спускаются сумерки.

Тихо надъ городомъ и надъ Волгою. И въ городѣ тихо, какъ будто все поснуло, а между тѣмъ никто и не думалъ спать. Тихо такъ, что даже

слышится въ томнотѣ какой-то шопотъ. Кое-гдѣ неслышно перебѣгаютъ человѣческія тѣни. Слышно даже, какъ у Волги, подѣ учугами, соловей заливается...

— Не долго тебѣ, соловушко, пѣть,—говоритъ боярскій сынъ, стоя на часахъ надъ Вознесенскими воротами:—до Петрова дни ужъ не далеко.

И то правда,—тихо отвѣчаетъ другой часовой, сидя тамъ же „въ записѣ“:—ужъ и кукушка, сказываютъ, галушкой подавилась, не кукуетъ болѣ; и какъ овесъ выкинетъ колосъ, дакъ и соловей потеряетъ голосъ.

При всеобщей тишинѣ въ воздухѣ, однако, проносятся иногда какіе-то неопредѣленные звуки: но слухъ не можетъ ихъ уловить: не то жужжанье пастушьихъ, не то шопотъ прибрежныхъ камышей съ осокою.

Но небу звѣздочка прокатилась и сгасла...

Што это — видишь?

— А што такое?... а?... гдѣ?

— Гляди точно лѣсъ движется и шевелится.

— Вижу, вижу... Это они!.. звонъ въ колоколь! бей сполохъ.

И вдругъ въ вечерней тишинѣ раздался звонъ башеннаго колокола. За нимъ другой, третій — всѣ башни заговорили.

Въ городѣ началась тревога. Послышались голоса со стѣнъ.

Воры идутъ!.. къ Вознесенскимъ воротамъ!

Теперь ясно было видно, какъ къ городу надвигались массы. Въ темнотѣ можно было различить, кто нападающіе тащили къ стѣнамъ лѣстницы.

Услыжавъ тревогу, князь Прозоровскій быстро вышелъ на дворъ, гдѣ уже ожидалъ его осклабанный карабахскій скакунъ, подаренный ему Сэхам-бетомъ. Тутъ же на дворѣ суетливо готовились къ бою дворяне, дѣти боярскіе, подьячіе и стрѣлцкіе головы.

Вложивъ ногу въ стремя, князь приказалъ трубить.

Трубачи! — крикнулъ онъ, — трубить къ Вознесенскимъ воротамъ!

Онъ выхлѣлъ со двора, за нимъ остальные служилые люди. Впереди неслись колонны съ зажженными смоляными факелами и освѣщали путь.

Сидя у Вознесенскихъ воротъ съ коня, воевода поспѣшилъ на стѣну. Тамъ факелами мрякъ кругомъ еще болѣе сгустился, такъ что нельзя было различить осаждающихъ. Что-то металось внизу, подѣ стѣнами, слышны были голоса осаждающихъ!.. приставляя къ стѣнамъ!... дружно, атаманы-мощны!

Лей кипятокъ на головы имъ, окаянными! — распорядился воевода.

Послышался плескъ воды со стѣнъ.

Лей дружнѣ!... не жалѣй кипятку!

А внизу вдругъ раздастся хохотъ...

Вода-то у васъ, братцы, тепленька! не замерзла бы! — слышится снизу.

И впрямь вода не горяча!.. Што за притча!.. Остыла что-ли... слышны голоса на стѣнѣ.

Между тѣмъ, на стѣнѣ ближе къ Троицѣ творилось что-то необычайное.

Тамъ приставленъ былъ сплошной рядъ лѣстницъ, и по нимъ быстро, но безшумно взбирались на стѣну казаки и стрѣльцы.

Слышенъ былъ шопотъ и сдержанный смѣхъ.

— Давай руку! такъ, такъ, взлѣзай!

— Соколики! сюда! сюда!—слышались бабьи голоса,—мы васъ давно ждемъ.

Слышны поцѣлуй, радостный говоръ.

— А гдѣ батюшка Степанъ Тимофеевичъ?

— Ужъ онъ въ городѣ... Городъ нашъ!

Астрахань взята была безъ выстрѣла. Оказалось, что все втайнѣ было подготовлено для пріема Разина и его войска. Согласники его составляли большую часть населенія города: и посадскіе, и стрѣльцы, и холопы—все ждали его, какъ своего спасителя, милостивца, защиту отъ боярѣ, отъ приказныхъ, отъ дѣтей боярскихъ и всякаго начальства. Тотъ трехтысячный отрядъ, который былъ отправленъ противъ казаковъ съ княземъ Львовымъ, сдѣлся Разину безъ боя и потерялъ только своихъ головъ и сотниковъ, которыхъ Разинъ приказалъ перебить и побросать въ Волгу.

Князя Львова Разинъ велѣлъ оставить въ живыхъ и приказалъ ему ходить за маленькой калмычкой, за Марушкой, съ которой казаки не хотѣли разстаться.

Когда казаки подошли къ Астрахани на приступъ, то ужъ они заранѣе знали, съ которой стороны брать ее: они показывали видъ, что начнутъ штурмовать городъ съ Вознесенскихъ воротъ, куда и направились все защитники злополучнаго города, а между тѣмъ приставили лѣстницы къ стѣнѣ тамъ, гдѣ ихъ всего менѣе могли ожидать. Но тамъ ждали ихъ свои—посадскіе люди, стрѣльцы и ихъ жены, а также холопы и базарная, и кабацкая голытьба: они-то и подавали руки осаждающимъ, когда ихъ лѣстницы немного не доставали до верху стѣны. Стрѣльчижи же вмѣсто кипятку налили въ чаны, кадки и перерѣзы теплой воды, въ какой они своихъ дѣтей купаютъ.

Въ ночной темнотѣ грянули вдругъ выстрѣлы: это былъ знакъ, что городъ въ рукахъ у казаковъ.

Воевода, сбѣжавъ со стѣны, вскочилъ на своего карабаха и помчался туда, гдѣ онъ слышалъ крики торжества. За нимъ ринулись дѣти боярскіе, дворяне и оставшіеся вѣрными стрѣлцекіе головы. Но ихъ ждала тамъ гибель: чернь и казаки бросились на нихъ и всѣхъ перебили.

Костка гудошникъ, замѣтивъ воеводу, бросился на него съ копьемъ.

— А! такъ я-жъ тебя ссажу съ коня!

Копье вонзилось въ животъ воеводы, и князь Прозоровскій свалился съ своего великолѣпнаго карабаха. Испуганный конь умчался, а стонущаго воеводу какой-то сердобольный старикъ на своихъ плечахъ стащилъ въ соборную церковь и тамъ положилъ на коверъ.

Городскія ворота, между тѣмъ, отворили, и вся масса разинцевъ двинулась въ городъ и затопила площади и улицы.

Начались неистовства, о которых мы говорить не намѣрены...

Скажемъ только, что князь Прозоровскій самимъ Разинымъ былъ столкнута съ раската, и его защитникъ, Фроль Дура, изрубленъ казаками въ куски...

Разинъ пробылъ въ Астрахани три недѣли, завелъ въ городѣ казацкіе порядки и уничтожилъ посты—всѣмъ велѣлъ ѣсть скоромное.

Сдавъ городъ Васкѣ-Усу, какъ своему намѣстнику, Разинъ наканунѣ выступления въ походъ приказалъ привести къ себѣ сыновей князя Прозоровскаго.

— Какъ зовутъ тебя?—спросилъ онъ старшаго мальчика.

— Князь Степанъ, князь сынъ Семеновъ Прозоровской, — бойко отвѣчалъ мальчикъ.

— Мудрено что-то,—зло усмѣхнулся атаманъ,—и самъ князь и князь сынъ, да еще и Степанъ, мой тезка, значить... Ладно... А бояриномъ будешь?

— Буду,—отвѣчалъ мальчикъ.

— Ну, это еще старуха надвое сказала,—снова усмѣхнулся Разинъ.— А въ казаки хочешь?

— Нѣтъ, не хочу.

— Молодецъ! изъ тебя будетъ прокъ. А тебя какъ зовутъ?—обратился онъ къ младшему.

— Сеней,—отвѣчалъ робко мальчикъ.

— Только-то? А тоже, поди, князь и князь сынъ... А бояриномъ будешь? Высоко пойдешь?

Мальчикъ молчалъ.

— Вотъ что, атаманы-молодцы,—обратился Разинъ къ окружавшимъ его,—эти щенята высоко пойдутъ, какъ выростутъ... Пушай же теперь пойдутъ повыше... только ногами кверху. Поняли? а? Повѣсить ихъ за ноги!

Двое изъ казаковъ распустили на себѣ кушаки, связали ноги юнымъ Прозоровскимъ, которые отъ страха не могли даже плакать, и подвѣсили ихъ съ раската... Тутъ только слышались крики несчастныхъ дѣтей... Личики ихъ затекали кровью...

— Довольно! Тащи сюда щенятъ!

Ихъ подняли и развязали.

— Ну, тезка, а теперь будешь бояриномъ? Будешь вѣшать нашего брата?—спросилъ Разинъ старшаго.

Мальчикъ плакалъ и молчалъ.

— Аспидъ будетъ,—замѣтилъ Разинъ, глядя на него.—Туда ево — къ отцу!

И казаки столкнули мальчика съ раската...

— Ну, а этово малыша жаль,—сказалъ Разинъ.— А чтобъ онъ не былъ бояриномъ, все-таки—выпороть его! Подымайте рубашонку.

Ребенка тутъ же высѣкли ремнемъ, но слегка.

— Ну, теперь не будешь бояриномъ,—глядя мальчика по головѣ

сказалъ Разинъ.—Сѣченый—что за бояринъ! А теперь отвезите сѣченова къ матери.

Подъ раскатомъ кто-то шелъ и пьянымъ голосомъ распѣвалъ:

„Поставлю я келью со дверью,
„Стану я Богу молиться,
„На красную-горку поститься,
„Чтобы меня дѣвки любили,
„Крашоныя яйца носили.
„Или-или, или-или, или!
„Крашоныя яйца носили!“

— Да это никакъ поэтъ Никифоръ? Ахъ, горемыка!

Это и быть, дѣйствительно, царицынскій соборный протопопъ. Послѣ ужасной смерти дочери, онъ присталъ къ казакамъ и съ горя сталъ пѣть.

XXXV.

Съ самимъ встрѣтиться!..

Быль уже сентябрь мѣсяцъ на исходѣ.

Воинъ Аванасьевицъ Ординъ-Нащокинъ, съ успѣхомъ исполнивъ возложенное на него царемъ трудное порученіе по сбору ратныхъ людей съ при-вятскихъ и при-камскихъ волостей, находился уже въ Казани въ распоряженіи воеводы Борятинскаго и ожидалъ со дня на день выступленія въ походъ, когда рано утромъ, сидя на берегу озера Булака, куда онъ ходилъ, чтобы размыкать свою тоску, къ нему подошла старая цыганка и, взглянувъ на него, таинственно проговорила:

— Объ чемъ закручинился, добрый молодецъ? Коли о томъ, что на Москвѣ, такъ ту кручину я руками разведу, а коли о томъ, что случилось въ Астрахани—такъ и къ той кручинѣ я ума-разума приложу.

Воина поразилъ этотъ двойственный намекъ цыганки.

— А ты почему знаешь о моей кручинѣ?—спросилъ онъ.

— Черная птица всюду летала, всюду все видала и добрымъ людямъ помогала: поможетъ и тебѣ черная птица, добрый молодецъ,—попрежнему таинственно отвѣчала цыганка.

— Чѣмъ же она поможетъ мнѣ?

— А кручину съ сердца съметь, а замѣсть кручины—радость положить; а та радость астраханской кручинѣ сродни будетъ, а тебѣ, добрый молодецъ вдвое сродни,—все также загадочно отвѣчала цыганка.

Суевѣрный страхъ внушали Воину эти слова—онъ былъ сынъ своего вѣка и вѣрилъ въ чудесное, какъ Аввакумъ вѣрилъ тому, что онъ бѣса въ-подъ печки выгналъ и скуфьей билъ.

— Что-жъ ты судьбу мою покажешь мнѣ?—спросилъ онъ нерѣшительно.

— Покажу,—отвѣчала цыганка.—Ты видишь въ озерѣ вонъ то бѣлое оболочко?

Она показала на воду.

— Вижу,—отвѣчалъ Воинъ.

— Такъ я и судьбу твою вижу изъ глазъ твоихъ: вонъ Арбатъ, а вонъ Венеція градъ — вонъ, вонъ — съ оболочкомъ все уплыло, и вотъ новая судьба плыветъ...

Воинъ вскочилъ съ мѣста: ему казалось, что онъ видитъ сонъ. .

— Почему-жъ Венеція?—спросилъ онъ.

— Не знаю, такъ мнѣ черная птица говорить... А слышишь, какъ кто-то „не бѣлы-то снѣжки“ поетъ и плачетъ?

Воинъ испуганно перекрестился...

Чуръ! чуръ! сгинь-пропади!

Полно, добрый молодецъ, не чурайся!—улыбнулась цыганка. — Ты думаешь, что я бѣсъ? Нѣтъ, на мнѣ крестъ—видишь? — и она показала висѣвшій у нея на груди крестъ.

Воинъ чувствовалъ, что имъ овладѣваетъ какая-то таинственная сила, и сила эта исходитъ отъ этой невѣдомой женщины. Но въ то же время разсудокъ говорилъ ему, что изъ него хотятъ что-то выпытать—для чего? для кого?

Вслѣдствіе этого, онъ самъ рѣшился выпытать изъ цыганки, что она дѣйствительно знаетъ о немъ.

— А ты знаешь, кто я?—спросилъ онъ.

— Знаю, кто ты былъ, и узнаю, кто-ты есть, — былъ уклончивый отвѣтъ.

Кто-жъ я былъ?—спросилъ Воинъ.

Цыганка посмотрѣла ему въ глаза, потомъ стала глядѣть на воду.

Вижу: столовая изба—въ ней царь сидитъ и бояре... Какіе холода-ааа! большіе... царску руку цѣлуютъ... А послѣ нихъ—тотъ, что на тебя похожъ, тожъ руку у царя цѣлуетъ... На Арбатѣ въ саду ночью со-юной заливается, а красная дѣвица въ слезахъ потопаетъ... Сгинулъ доб-рой молодецъ, пошелъ искать за море живой и мертвой воды... Не нашелъ живой воды —кручину нашелъ... Томится добрый молодецъ, что птица въ клеткѣ: и дверцы отворены, и крылья есть, да летать страшно—коршуны кружить въ небѣ... И заплѣла пташечка: „не бѣлы-то снѣжки...“ Плачется добрый молодецъ на свою горькую судьбину...

Цыганка остановилась, а Воинъ, казалось, все еще слушалъ ее: передъ нимъ проходила вся его жизнь. Но въ то же время онъ ясно видѣлъ, что эта женщина, дѣйствительно, многое знаетъ: несомнѣнно, что ей извѣстны главные моменты изъ послѣднихъ лѣтъ его жизни. Но откуда она могла узнать все то, что извѣстно только ему одному да его женѣ? И онъ рѣшился выпытать, что еще ей извѣстно.

— Хорошо говорить тебѣ твоя черная птица,—сказалъ онъ послѣ не-большого раздумья!—А што она еще скажетъ тебѣ?

— Вижу, вижу,—заговорила она снова таинственно:—вонъ опять плыветъ оболочко въ водѣ, и затѣмъ за оболочкомъ летитъ изъ-за моря пташка... Откуда ни возмись коршуны, и пымали бѣдную пташку... Опять пташка въ полону... Это не пташка, а добрый молодецъ. въ полону у польскихъ людей... Польскіе люди спятъ, а слѣпые люди выкрадываютъ добра молодца, и добрый молодецъ очутился у хохлатыхъ людей... Надъ Москвою оболочко... Въ Новодѣвичьемъ монастырѣ всеобщая, и добрый молодецъ тамъ ищетъ красну дѣвицу, а во мѣсто красной дѣвицы—черная черница!

Цыганка вдругъ замолчала, и, казалось, собиралась совсѣмъ уходить.

— Ну, что-жъ дальше было съ добрымъ молодцемъ и съ черничкой?—спросилъ съ улыбкою Воинъ.

— Что было — самъ знаешь, — ноохотно, повидимому, отвѣчала цыганка:—а вотъ што было:

„Какъ и курочка бычка родила,
„Поросеночекъ яичко снесъ,
„А черничка да сынка привела“...

Воинъ въ волненіи схватилъ ее за руку.

— Такъ это правда?... У меня сынъ родился?... Сказывай?

Но цыганка вдругъ вырвалась и побѣжала берегомъ Булака въ городъ.

— Куда-жъ ты? погоди! — кричалъ ей вслѣдъ Воинъ:—возьми денегъ за трудъ.

— Черной птицѣ твоей казны не надо! — не оборачиваясь отвѣчала цыганка и скрылась.

Въ странномъ смущеніи остался на берегу Булака Воинъ. Что отъ него нужно было этой цыганкѣ? Несомнѣнно — она изъ Москвы и кѣмъ-нибудь подслана. Но кѣмъ? Отъ кого она могла узнать такіе подробности объ его жизни? Она сказала, что сниметъ съ его сердца кручину, а вмѣсто кручины дастъ ему радость. И эту радость она повѣдала ему: она прямо сказала, что та, которая была черничкой, привела ему сына. Неужели это правда? А они съ женой почти четыре года кручинились, что у нихъ нѣтъ дѣтей. Его Наталья думала, что неплодіемъ наказалъ ее Богъ за побѣгъ изъ монастыря. И вотъ она теперь мать... Ясно, что цыганка ею подслана. Но отчего-жъ она этого не сказала прямо? Отчего Наталья не увѣдомила его о себѣ? Вѣдь почти четыре мѣсяца, какъ онъ съ нею разстался, а она ничѣмъ не дала о себѣ знать. Да и гдѣ было искать его, когда онъ мыкался все лѣто по Вяткѣ да по Камѣ?

Да и Богъ знаетъ, когда еще имъ придется свидѣться. Вонъ какой пожаръ распустили по всей русской землѣ! Съ Дона началось, съ какого-то кабака, а вонъ куда зарево хватается—до Москвы до самой, до державнаго мѣста! Астрахань, Царицынъ, Саратовъ, Самара — вся низовая сторона, все въ огнѣ. И полямъ все дальше и все шире захватываетъ—до Бѣлаго моря дошло, до Соловокъ, до Пустозерска; Аввакума—де изъ земляной тюрьмы выручать пошли, патриарха Никона изъ Ферапонтова вывести хотятъ...

А какія „прелестныя“ грамоты разсылаетъ воръ по всему московскому государству! Хава крымскаго съ ордами зоветъ на Русь, персидскаго шаха въ братья себѣ прочить, въ Запорожьѣ его воры мутятъ... Теперь всѣ языки поднимаются — татарва, черемиса, мордва, чуваша... Нижній обложили...

Такія невеселыя мысли бродили въ головѣ Воинна, когда онъ, послѣ встрѣчи съ цыганкой, возвращался отъ Булака.

А тестя, князя Прозоровскаго, не воротить ужъ къ жизни. А знаетъ, ли объ этомъ Наталья? Дошло-ли до нея, что отца ея уже нѣтъ на свѣтѣ? Съ низу, — говорятъ, — нѣтъ къ Москвѣ ни проходу, ни проѣзду: всюду пожаръ и кровь.

Въ тихомъ, ясномъ осеннемъ воздухѣ стелются по небу бѣлыя нити паутины... Ведро, значить, еще долго постоятъ... Но вонъ и гуси длинною вереницею тянутся ужъ на теплыя воды, за море...

Воинъ грустно покачалъ головой: ему вспомнилось его мыканье по бѣлу свѣту, тамъ, въ заморщинѣ... А тутъ онъ мыкался по Вяткѣ да по Камѣ... дикая, бѣдная сторона, не то что тамъ: какіе города, села! а здѣсь — одна бѣдота, голодъ... Вотъ голодные люди и идутъ добывать себѣ хлѣба, либо смерти: имъ все равно помирать голодною смертію съ наготы да съ босоты...

„Женишка и дѣтишка испроѣли“ — правда, правда: Воинъ самъ все это видѣлъ... Онъ все это доложить великому государю, когда Богъ живымъ донесетъ его до Москвы. А тамъ его ждетъ сыночекъ, Наталья, — да дождется-ли...

— А! Воинъ Аонасѣичъ! здравствуй на многая лѣта — до конца вѣка!

Спасибо, Аонасѣй Ивличъ, какъ твое здоровье?

Самъ себѣ дивуюсь, какъ еще на ногахъ Богъ держитъ.

Да, правда, Аонасѣй Ивличъ, кручинно тебѣ было съ этою тяготою на Вяткѣ: — шутка ли! сто струговъ снарядить въ такую пору, когда все въ нѣтъхъ. Ну, да слава Богу, за тобой государево дѣло не стало.

Что встрѣтилъ Воинна товарищъ его по наряду на Вяткѣ ратныхъ людей для главной государевой службы и по постройкѣ тамъ же ста струговъ для Волги. — Аонасѣй Косыхъ, мужчина лѣтъ подъ шестьдесятъ, но еще бодрый, съ рѣзкою сѣдиной въ русой бородѣ.

Ты откудова это теперь? — спросилъ Воинъ Аонасѣя.

Отъ нововоды, отъ князя отъ Юрья: назавтра походъ объявилъ противъ нора, и стружечки мои чтобъ наутрѣ отошли отъ Бакалды внизъ до Симбирсково съ кормомъ и съ зелеными запасы, а самъ онъ идетъ на нора по сухопутью. — отивчалъ Косыхъ.

Такъ завтра? Ну, слава Богу! — и Воинъ перекрестился, хотя у него на сердцѣ зискребли кошки: — шутка ли! съ самимъ встрѣтиться, — подумалъ онъ.

XXXVI.

Монисто князя Юрія Борятинскаго.

— Кажись, онъ, соколикъ, глазки открылъ?

— И точно, матушка Ираида, смотреть: не подымаетъ-ли его Босподь?

— Охъ, отецъ Варсунофей, я, кажись, ужъ не чаю.

— Не говори, матушка, на все божья воля: ужъ коли меня, старца негоднаго, Богъ вызволилъ съ турской каторги да изъ Шпанской земли довелъ досюдова и сподобилъ меня приложиться къ мощамъ святыхъ угодниковъ, преподобныхъ Гурія и Варсунофія, такъ ево, воина Христова, подниметь Господь.

Этотъ разговоръ осторожнымъ шопотомъ вели между собой старый инокъ въ черной скуфейкѣ съ старенькою живою монашкой, черные живые глаза которой такъ, повидимому, не ладили съ ея сухимъ, темнымъ морщинистымъ лицомъ.

Они сидѣли въ просторной горницѣ, въ окна которой проникалъ нѣжный свѣтъ загоравшейся на востокъ зари. Въ той же горницѣ, на высокой кровати у стѣны, полузадернутой зеленымъ тафтянымъ пологомъ, лежалъ среднихъ лѣтъ мужчина, повидимому, тяжело больной. Голова его, обрамленная спутавшимися волосами, и мертвенно блѣдное, съ слѣдами сильнаго загара-лицо рѣзко отбѣнялись отъ бѣлой подушки.

Больной дѣйствительно открылъ глаза.

— Гдѣ я?—слабо прошептали его запекшіяся губы.

Старый инокъ на цыпочкахъ подошелъ къ нему и осторожно нагнулся.

— А!—съ горечью протянулъ больной:—такъ я все еще въ Венеции... а мнѣ чаялось...

— Нѣту, батюшка, ты не въ Венеции, а на святой Руси, — съ нѣжностью сказалъ старый инокъ:—ты, должно, меня стараго пса призналъ, што выкупилъ съ полону, съ каторги: тебѣ и мерещиси Венеция.

— Такъ гдѣ-жъ я?—изумленно спросилъ больной.

— Въ Сибирскомъ, батюшка, у боярина и воеводы Ивана Михайлыча Милославсково въ опочивальнѣ,—проговорилъ старый инокъ.

Больной закрылъ глаза. Ему казалось, что все это сонъ. Но между тѣмъ въ умѣ его вставали новые неясные образы. Эти запорожцы, которыхъ онъ видѣлъ въ столовой избѣ у царя. Но это сонъ: онъ во снѣ, будто бы въ Казани, на берегу Булака видѣлъ цыганку, и она много ему наговорила и о сынѣ, и о запорожцахъ. Только теперь онъ видѣлъ ихъ не въ столовой избѣ, и не у Брюховецкаго, а гдѣ-то здѣсь, близко... И тотъ еще, самый большой, что упалъ въ столовой избѣ, закричалъ: „вотъ оно, аспидово отродье—сыночекъ Ордина-Нащокина!“ А вотъ самъ Разинъ... Онъ помнить, какъ онъ этого самаго вора Разина хватилъ саблей по го-

ловѣ... Да, все это сонъ, хотя онъ, кажется, и лежитъ съ открытыми глазами...

— Онъ опять, соколикъ, открылъ глазки, слышитъ онъ шопотъ.

— Бредить, должно въ огнѣ.

— Кто это говорить?—спрашиваетъ больной, сияясь поворотить голову.

— Я, соколикъ,—говоритъ монашка, подходя къ нему робко.

— Опять цыганка! слабо простоналъ больной.

— Я не цыганка, я старица Ираида, отъ Натальи Семеновны къ тебѣ прислана.

— Отъ Натальи? А гдѣ она?

— Въ Москвѣ, соколикъ.

— Такъ это не сонъ?

— Не сонъ, соколикъ, опомнись... Припомни—ты былъ въ бою съ воеводою Стенькою, тебя порубили въ бою казаки воровскіе, и мы не чаяли видѣть тебя въ живыхъ. А теперь, слава Господу, ты въ память приходишь... Перекрестись, родной.

Воинъ (это былъ онъ) хотѣлъ было перекреститься—и не могъ, застоялъ: рука его была на перевязи; онъ былъ раненъ.

Но эта боль заставила его вспомнить все или почти все. Рать воеводы и князя Юрія Борятинскаго изъ Казани подоспѣла къ Симбирску въ то время, когда симбирскій воевода, бояринъ Иванъ Милославскій, истомленный почти мѣсячнымъ сидѣньемъ въ обложѣ отъ воровъ, уже хотѣлъ было сдаться—отворить ворота въ кремль. Разинъ съ казаками и татарами стремительно бросился на царское войско. Завязалась отчаянная борьба...

Воинъ все вспомнилъ, но это все былъ какой-то адъ... Громъ пушекъ, гиканье налетавшихъ на нихъ казаковъ, аллалаканье татаръ, вышедшихъ съ топорами и рогатинами, — все это смѣшалось въ какой-то страшной картинѣ...

Лично онъ вспомнилъ, какъ на то крыло, гдѣ онъ находился, ударили татары подъ предводительствомъ мурзъ Багая и Шелмеско; потомъ въ середину лавы врѣзался самъ Разинъ съ тремя запорожцами... Запорожцы узнали его, онъ узналъ ихъ... Но тутъ все смѣшалось въ его умѣ: мелькнулъ бѣлый конь подъ Разинымъ, готовый, кажется, раздавить Воина; но Воинъ махнулъ саблей и угодилъ въ голову Разину... Больше онъ ничего не помнить.

Теперь Воинъ осмотрѣлся кругомъ сознательно. Да, это не сонъ, и тѣмъ не былъ сонъ.

Около его постели опять стояли старый инокъ и цыганка въ монашескомъ одѣяніи. Въ первомъ онъ узналъ бывшаго полонянина Варсонофія, котораго онъ выкупилъ въ Венеціи.

— Ты какъ сюда, старче, попалъ? — спросилъ его Воинъ, все еще смутно сознавая свое положеніе.

— Къ тебѣ, батюшка Воинъ Аонасѣичъ, припелся я съ Москвы, — отвѣчалъ старикъ:—тебѣ отслуживать за мою волю, што ты далъ.

— Какъ же ты узналъ, что я здѣсь?

— Я за тобой, батюшка, съ самой Казани.

Войнъ недоумѣвающе посмотрѣлъ на монашенку.

— А меня прости Христа-ради, батюшка Войнъ Аѳанасійчъ, за Казань,—сказала она, низко кланяясь. — Я не цыганка: я старика Ираида изъ Новодѣвичей обители.

— Для чего-жъ ты въ Казани цыганкой прикинулась?—спросилъ Войнъ съ удивленіемъ.

— Такъ, батюшка, приказала Наталья Семеновна,—отвѣчала монашка.

— Моя жена?

— Она самая, батюшка.

— А для чего?—еще съ большимъ удивленіемъ спросилъ Войнъ.

— Ее спытай, батюшка: ея это воля была,—отвѣчала монашка.—Для ради ея супокою мы вотъ съ Варсунофьюшкомъ и пошли искать тебя, потому—насъ, людей божьихъ, старцевъ, кому охота обижать? А пошли она гонца съ грамоткою, и по нонѣшнему времячку ему бы не сносить своей головы: нонѣ и царскихъ гонцовъ по дорогамъ воры вѣшаютъ. А мы што?—мы та же каличь, нишняя братья убогая, съ насъ нечево взять. А мы-то съ Варсунофьюшкомъ въ бродячемъ дѣлѣ дотошны: онъ, самъ вѣдаешъ, съ самой бусурманской вѣры, да съ Шпанской земли доплелся до бѣлокаменной; а я, родимый, съ той самой поры, какъ насъ съ инокиней Надеждой, што нонѣ твоя благовѣрная, отпустила мать игуменья изъ Новодѣвичья за мірскимъ сборомъ и какъ инокиня Надежда изъ Успенского собору ушла къ тебѣ, — съ той поры и я все брожу по свѣту, по угодничкамъ: и кievскимъ угодничкамъ маливалась, и самово етмана Брюхатова видала, и соловецкимъ угодничкамъ, Зосимъ-Савватею, маливалась же, да и у казанскихъ чудотворцевъ, у Гурія и Варсунофен, святыхъ раки лобызала. Тамъ мы съ Варсунофьюшкомъ и тебя, соколика, сустрѣли, да за тобою какъ псы вѣрные и сюда прибрели. А все для-ради супокою матушки Натальи Семеновны. И цыганкой-то я обернулась для-ради ея же благополучія. А нонѣ вотъ Богъ привелъ и за тобой походить. Какъ это пришелъ подъ Сибирской съ ратными людьми съ Казани князь Борятинскій,—и ты, батюшка, съ нимъ же пришелъ, да какъ учинился у васъ смертный бой съ воромъ и антихристомъ Стенькой,—съ утра до ночи бой шолъ, а мы ни живы, ни мертвы ждемъ, чѣмъ кончится,—коли къ ночи слышимъ: побили-де царскія рати вора Стеньку на голову, и самъ-де онъ бѣжалъ въ маломъ числѣ, и голова-де у него перевязана—саблей разсѣчена, и разсѣкъ-де ево, сказываютъ, Войнъ Ординъ-Нащокинъ, а самъ-де Войнъ убитъ лежитъ. Какъ услыхали мы это, батюшка Войнъ Аѳанасійчъ, что ты мертвъ лежишь, мы и свѣта божьяво за слезами не взвидѣли. Коли слышимъ: живъ-де еще Ординъ-Нащокинъ, токмо зѣло порубленъ. И велѣлъ тогда воевода и бояринъ Иванъ Михайловичъ Милославскій снести тебя, голубчика, къ ему въ палаты, и лѣкаря къ тебѣ приставилъ, а насъ—во хожалокъ мѣсто. И былъ ты все безъ памяти который день, а нонѣ вонъ божіимъ изволеніемъ въ себя пришелъ.

Монашка радостно при этомъ перекрестилась на иконы. Перекрестился и старикъ Варсонофій.

— Такъ воръ Стенька, рассказываете, разбить?—спросилъ Воинъ съ просвѣтлѣвшимъ взоромъ.

— Разбить нѣчисто, батюшка Воинъ Аванасъичъ, — въ одинъ голосъ отвѣчали старца и старецъ:—и тою же ночью бѣжалъ.

— Бѣгу яся, нѣ солоно хлебавши,—добавилъ Варсонофій:—а клевереты его, што не успѣли бѣжать, вонъ всѣ висятъ на висѣлицахъ вдоль берега,—ишь какое ожерелье изнаѣшано ихъ!—и старикъ показалъ рукою въ окно.

— И запорожцевъ повѣсили, тѣхъ, что съ тобой вмѣстѣ, батюшка, въ столовой избѣ у государевой руки были—Гараську, да Пашку, да Мишку,—добавила старица Ираида.

— Да и татарскія мурзы Багай да Шелмеско, што государю челомъ били на государевыхъ воеводъ, — и они повѣшены-жъ, — присовокупилъ Варсонофій.—А этотъ мурза Багай,—сказывали,—мало не закололъ боярина и воеводу Ивана Михайловича Милославскаго: мы,—говорить,—помираемъ голодною смертью, съ наготы да съ босоты, а вы, говорить, вонъ какіе жирные,—дакъ ево ратные люди съ коня сбили и связали, а нонѣ вонъ онъ болтается у самой Волги, што твоя колода.

Въ это время въ опочивальню, въ которой лежалъ раненый Воинъ, вошелъ пожилой мужчина съ окладистой бородой и широкой лысиной ото лба. На немъ было богатое боярское одѣяніе.

— Ба-ба-ба!—весело заговорилъ вошедшій:—да кажись нашъ богатырь Илья Муромецъ въ добромъ здоровьѣ?

— Спасибо, бояринъ Иванъ Михайловичъ,—по милости божьей, самъ видишь, я очнулся,—отвѣчалъ Воинъ.

Вошедшій былъ бояринъ и воевода симбирскій Иванъ Михайловичъ Милославскій.

— Слава Богу, слава Богу!—продолжалъ бояринъ.—Надо тотчасъ же еще гонца послать—родителя и супругу твою порадовать вѣсточкою, што ты въ себя пришелъ наконецъ. Да и великій государь радъ будетъ такой вѣсти: вить ты саблей огрѣлъ вора прямо по башкѣ — зѣло добръ назнаменовалъ!.. Можетъ, отъ твоего знаменья онъ, воръ Стенька, и плечи намъ показалъ: бѣжалъ, аки тотъ Святополкъ Окаянный.

— А гдѣ воевода князь Юрій?—спросилъ Воинъ.

— Да все еще монистомъ своимъ занятъ,—съ улыбкой отвѣчалъ Милославскій.

— Какимъ монистомъ, бояринъ?—удивился Воинъ.

— Да вонъ воровъ нанизывать на веревки—шутка ли, болѣ шести-сотъ зеренъ жемчугу бурмицково нанизать ужъ на свое монисто... Самыя крупныя зерна у него — три запорожца, што еще съ Брюховецкимъ воровали, да двое мурзишекъ татарскихъ, Багайка да Шелмеско, кои всю татарву да черемису на насъ подняли, — знатное монисто! — есть чѣмъ по-

хвастать князь Юрью... А не подоспѣй онъ—я бы попалъ въ монастырь къ вору Стенькѣ... Никто какъ Богъ!

XXXVII.

Э п и л о г ъ.

Въ Грановитой палатѣ, въ столовой избѣ, у великаго государя съ боярами сидѣнье. Тутъ же и святѣйшій патріархъ Іосифъ съ освященнымъ соборомъ.

Великій государь и святѣйшій патріархъ и бояре думаютъ: великая смута и крамола охватила всю русскую землю; всѣ низовые города взяты воромъ на коньѣ; воеводы, дѣти боярскіе и служилые люди пріяли отъ злодѣевъ наглую смерть; царскія рати либо осилены воромъ и побиты, либо передались злодѣю; замутилась вся русская земля, и что будетъ дальше—Богу вѣдомо...

Никтокуда—ни луча надежды...

Какъ быть? что умыслить? гдѣ набрать столько ратей?

Великій государь самъ думаетъ идти чинить промыслъ надъ крамольниками... Но съ кѣмъ? гдѣ его воеводы? Всѣ они оказались безсильными...

Отвратилъ Создатель лицо свое отъ людей своихъ... За чьи грѣхи?..

„Услыши ны, Боже, Спасителю нашъ, упованіе всѣхъ концевъ земли и сущихъ въ мори далече!“—шепчетъ святѣйшій патріархъ, поднимая глаза къ лику Спасителя.

Дьякъ Алмазь Ивановъ, угрюмо уставившійся въ какую-то бумагу, прислушивается, кажется, какъ за окномъ ворона каркаетъ...

Думаютъ бояре—есть имъ о чемъ подумать!—на нихъ идетъ эта страшная буря; а кто ихъ укроетъ? Ромодановскій, Шереметевъ, Бояринскій, Долгорукій? Но отъ нихъ нѣтъ вѣстей; да и гонцы ихъ всѣ погибаютъ въ пути—всѣхъ ловятъ и убиваютъ крамольники.

Вонъ какъ постарѣлъ Алексѣй Михайловичъ за этотъ годъ... И сколько потерь: жену потерялъ, дочь и двухъ сыновей похоронилъ... „И бѣ домъ его пустъ“...

Слышатся подавленные вздохи да карканье вороны за окномъ...

И на крыльцѣ, гдѣ обыкновенно собирались стольники, стряпчие и дворяне, теперь не слышно „шумства“ и споровъ; напротивъ, испуганнымъ шопотомъ передаютъ собравшіеся одинъ другому, что будто бы ужъ и Симбирскъ взятъ и выжженъ, взята и разорена Казань, Лысково, Нижній, Темниковъ, Корсунъ, Саранскъ, оба Ломова, Пенза, Арзамасъ—все въ рукахъ у злодѣевъ,—что всѣ холопы и крестьяне разбѣжались, рѣжутъ и вѣшаютъ господъ, жгутъ боярскія усадьбы,—что хлѣбъ въ поляхъ потопченъ, потравлены или выжжены,—что скоро страшный атаманъ, котораго ни пуля, ни сабля не берутъ, нагрянетъ въ Москву... Куда дѣваться?.. гдѣ спасеніе?..

Алексѣй Михайловичъ ждетъ совѣта отъ святѣйшаго патріарха, на него вопросительно поглядываетъ — не вразумить-ли его Господь?

А святѣйшій патріархъ только шепчетъ, глядя на ликъ Спасителя: „Услыши ны, Боже, Спасителю нашъ, упованіе всѣхъ концевъ земли и сущихъ въ мори далече“...

И Онъ услышалъ!..

Тамъ, на крыльцѣ, или на дворѣ, пронесся вдругъ ропотъ не то изумленія, не то испуга:

— Гонецъ!.. гонецъ пригналъ!.. съ какими вѣстями?..

И столовая изба вся встрепенулась — точно шумъ вѣтра прошелъ по ней...

Глаза всѣхъ уставлены на дверь—ожиданіе, томленіе, испугъ...

„Услыши ны, Боже!..“

Гонецъ въ дверяхъ—едва переступаетъ порогъ, онъ блѣденъ, шатается онъ, кажется, скоро грохнетъ на полъ... Онъ ничего не видитъ — ни царя, ни бояръ...

— Поддержите... онъ упадетъ...

Бояре его поддерживаютъ... Онъ силится говорить...

— Великій государь!.. воевода князь Юрій... твои государевы рати... вора Стеньку... и его толпища... разбили на-голову...

Крикъ радости вырвался изъ сотни грудей. Всѣ крестились...

— Самово вора Стеньку... Воинъ Ординъ-Нащокинъ... саблею постѣкъ въ голову... а Воинъ изрубили...

Гонецъ не договорилъ. Отъ Симбирска до Москвы онъ загналъ семь лучшихъ коней—не спалъ и не ѣлъ во весь путь...

Гонца увели, онъ потерялъ сознаніе...

Всѣ оглянулись на стараго Ордина-Нащоккина, который сидѣлъ недалеко отъ царя: по лицу старика текли слезы—слезы и скорби и радости.

К О Н Е Ц Ъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ГЛАВЫ:	СТР.
I. Царское сидѣнье	3
II. А соловей-то заливается!.. . . .	7
III. Батюшка и сынокъ	12
IV. Таинственное исчезновеніе молодого Ордина-Нащокина	16
V. Въ своей семьѣ	20
VI. Стенька Разинъ въ гостяхъ у Аввакума	25
VII. „За куклой—женихъ забыть“	28
VIII. „Пещное дѣйство“	33
IX. Бѣглець Воинъ въ Венеціи	37
X. „Твой сынъ—воръ!“	43
XI. „Возьми одръ свой и ходи“	47
XII. Стѣпцы вожатые	51
XIII. Въмѣсто карсая—щука	55
XIV. „Опять соловьи“	59
XV. Поруганіе надъ прахомъ Хмельницкаго	62
XVI. Она узнала его	66
XVII. Только-бы видѣть его	71
XVIII. Она больше не черница	76
XIX. Любовь Стеньки Разина	80
XX. Клевета	84
XXI. „На-жъ тебѣ—возьми!“	88
XXII. Купанье стольниковъ	93
XXIII. Роковое пожатіе руки	98
XXIV. Въ куль да въ воду	102
XXV. Жена Разина	107

II

ГЛАВЫ:	СТР.
XXVI. На Москву—шапокъ добывать	110
XXVII. Васька Усь	114
XXVIII. Смѣна часовыхъ	118
XXIX. Воевода Тургеневъ на веревкѣ	122
XXX. Струги съ мертвой кладью	127
XXXI. Страшная вѣсть	131
XXXII. Братскія похороны и походъ	135
XXXIII. „Они тамъ, а мы тутъ...“	140
XXXIV. Разинъ въ Астрахани	141
XXXV. „Съ самимъ встрѣтиться!..“	145
XXXVI. Мониство князя Юрія Борятинскаго	149
XXXVII. Эпилогъ	153

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Д. Л. Мордовцева.

САГАЙДАЧНЫЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ.

Томъ II.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издание Н. О. Мертца

1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 15-го января 1901 г.

Типографія „В. С. Валашевъ и К “, Фонтанка, 95.

I.

Это было очень давно.

Въ тотъ годъ, съ котораго начинается пестрая историческая ткань нашего повѣствованія, русскіе люди, теперь столь увѣренные въ будущемъ своей неисходимой земли, не знали еще, окрѣпнеть-ли на этой расшатанной смутами землѣ „благоцвѣтущая отрасль благороднаго корени“ и осѣнить ее миромъ и благоденствіемъ, или же опять придутъ польскіе и литовскіе люди и настанетъ на Руси иноземное владычество. Не вѣдали и польскіе и литовскіе люди—„славянскіе-ль ручьи сольются въ рускомъ морѣ, оно-ль изсякнетъ“ и „злата вольносьць польщизны“ затопитъ собою болота „москеевскаго барбаржинства“ и „украинскаго хлопства“. Всего же менѣе могло догадываться украинское „хлопство“, какая роковая роль выпадетъ на его долю въ будущей исторіи двухъ самыхъ крупныхъ представителей независимаго тогда славянства—Москвы и Польши.

Было это весною 1614 года.

Внизъ по Днѣпру, не доходя порожиистой части его, тихою, ровною греблею плыли казацкія „чайки“ или „човны“, на которыхъ, словно пышный макъ либо васильки и „чорнобривци“ въ огородѣ, пестрѣли подъ лучами утренняго солнца красные верхи казацкихъ шапокъ, желтыя, какъ спѣлыя дыни, штаны на цвѣтныхъ „очкурахъ“ и съ цвѣтными поясами, яркія ленты въ воротахъ рубахъ и голубые да зеленые „вылеты“ на кунтушахъ. „Чаекъ“ было около десяти, и на невысокой мачтѣ каждой изъ нихъ длинныя, яркія, всѣхъ цвѣтовъ ленты полоскались, рѣяли и трепались въ воздухѣ, словно бы надъ казацкими чайками развѣвались дѣвичьи косы—косы невидимыхъ украинокъ, провожавшихъ казаковъ въ далекую дорогу.

Передняя чайка была изукрашена болѣе другихъ. На носу у нея водружено было на красномъ древкѣ голубое знамя съ изображеніемъ на немъ скачущаго на конѣ казака и съ крупною, нашитую мишурою подписью:

Куды схоче, туды й скаче,
Нихто за нимъ не заплаче.

Съ заднихъ чаекъ иногда доносилось скорѣе грустное, чѣмъ веселое пѣніе, словъ котораго вполнѣ не слышно было, а можно было уловить только отдѣльные слова: то „плыве човенъ воды повенъ“, то „дивчина плаче“, то „кличе мати вечеряти“, „казакъ молоденькій“, „далека дорога“,

„турецка неволя“. Словъ отъ пѣсенъ потому нельзя было разобрать, что тамъ, гдѣ-то ниже, недалеко, что-то ревѣло и стонало, точно наступающая съ грозой и градомъ туча, хотя небо было ясное, тихое, безоблачное.

— Что бы оно гудѣло такъ? Ни вѣтръ, ни градъ, и аеръ, кажись, не оболочень, а гудить!—съ удивленіемъ говорилъ, прислушиваясь и поглядывая кругомъ, невысокій бородатый человѣкъ въ высокой горластой шапкѣ и въ цвѣтномъ охабнѣ московскаго покроя, сидѣвшій на передней чайкѣ, на покрытомъ ковромъ тюкѣ.

— Да то пороги ревуть, пане дяче,—отвѣчалъ, лѣнливо покуривая „люльку“, сѣдоусый казакъ, сидѣвшій тутъ-же, по-турецки, на разостланной циновкѣ.

— Пороги? ноли они недалече?

— Да недалечко... А, аспидская люлька—опять потухла!..

„Панъ дякъ“, какъ называли казаки бородатаго человѣчка въ шапкѣ горластой и въ цвѣтномъ охабнѣ, всталъ и, отѣнивъ глаза ладонью, тревожно глядѣлъ впередъ, между тѣмъ какъ сивоусый казакъ, доставъ изъ кармана синихъ широкихъ штановъ „кресало“, кремень и труть, преспокойно вырубилъ огонь, ворча на неповинную трубку: — „отъ, иродова люлька,—усе гасне“...

Гулъ впереди становился яснѣе и яснѣе. Слышно было, какъ какія-то двѣ силы сшибались одна съ другою, и удары все учащались, а глухой гулъ такъ и стоялъ въ воздухѣ.

Стоявшій у руля передовой чайки старый казакъ съ растегнутымъ воротомъ и черною, загорѣлою, покрытою какъ у звѣря шерстью грудью, налегъ на правильное весло и повернулъ лодку на самый стержень рѣки.

А нуте, хлопцы, разомъ ударъ!—крикнулъ онъ.

Гребцы, которыхъ было человѣкъ двѣнадцать на чайку, дружно ударили веслами, перегнулись назадъ, словно какъ ушибленные въ лобъ, снова нагнулись, глубоко захватили зеленую воду, опять откинулись назадъ, опять ударили... Чайка летѣла точно въ самомъ дѣлѣ крылатая птица...

— А нуте, соколята, еще разъ! еще разъ!—грымнулъ рулевой „отаманъ“.

„Панъ дякъ“ испуганно глядѣлъ то на гребцовъ, то на рулевого, то впередъ, на эту страшную воду. А впереди она дѣйствительно становилась страшною. Что-то, казалось, ныряло въ ней, выскакивало на поверхность—бѣляки какіе-то, точно испуганные зайчики, либо ключья бѣлой кудели, и снова прятались въ воду, и снова выскакивали... Гулъ, перебой воды и грохотъ становились все явственнѣе...

— Довольно, хлопцы! добре! суши весла!—гремѣлъ голосъ рулевого.

Гребцы подвѣли весла, звякнули ключицами—и разомъ поднялись.

До правѣла, дѣтки, до стерна!—гукалъ рулевой.

Гребцы бросились къ рулю, налегли на него, осилили напоръ воды и направили чайку въ самыя „ворота“—въ клокочущую между „заборами“ пучину... Бѣлый, зло ревущій водяной гребень перегораживалъ Днѣпръ отъ одного каменистаго берега до другого. Зеленая вода, стремясь черезъ по-

рогъ, превращалась въ бѣлую массу—въ страшную гриву какого-то невидимаго подводнаго чудовища... А тамъ дальше клекотала и бѣшено прыгала пѣна съ брызгами. Бѣшеному потоку, казалось, не хватало мѣста, и онъ клубами прыгалъ въ воздухѣ, снова обрывался и падалъ, опять скакалъ вверхъ, выпираемый новыми бурунами, и опять падалъ и разбивался...

Чайка стрѣлою летѣла на бѣлую гриву этого чудовища. Вотъ она на самомъ гребнѣ—дрогнула, качнулась, заскрипѣла въ пазахъ — опять дрогнула, полетѣла внизъ съ водяной горы, ткнулась носомъ, вынырнула... И скачущаго на знамени казака и „пана дяка“, который стоялъ на колѣняхъ, уцѣпившись за уключину, и посинѣвшими губами бормоталъ молитву, и сивоусаго съ „люлькой“ казака обдало водяною пылью и брызгами...

— Молись, дѣтки!—гукнулъ рулевой „отаманъ“.

Всѣ перекрестились.

— Смотрите, хлопцы, вонъ москаль ракомъ стоитъ!—раздался чей-то веселый голосъ.

Всѣ глянули впередъ. На передѣ чайки, гдѣ молился „панъ дякъ“, товарищъ его, тоже московскій человѣкъ, перепуганный всѣмъ видѣннымъ сейчасъ, стоялъ на-четверенькахъ, держась руками за днище, за кокорникъ, и беспомощно оглядывался по сторонамъ, не зная въ комъ искать спасенья...

— А, аспидская люлька! Опять погасла!—ворчалъ сивоусый казакъ, тыча пальцемъ въ трубку, залитую водой.

Скоро, однако, чайка пошла ровно — опасный порогъ былъ пройденъ благополучно. Казаки уцѣлись кто гдѣ и какъ хотѣлъ, перекидывались шутками, смѣялись надъ струсившими москалями, смотрѣли, какъ другія, заднія чайки перепускались черезъ порогъ.

— А какъ сей порогъ именуется?—обратился, немного успокоившись, „панъ дякъ“ къ сивоусому казаку, вырубавшему огонь для своей непокорной трубки.

— Да это Кодакъ, пане дяче,—пробурчалъ тотъ, углубившись въ свою „люльку“.

— А еще много ихъ будетъ?

— А! сто копанокъ! Вотъ чортова...

— Ноли сто? Быть не можетъ!

— Да не сто-жъ! вотъ, дяче, выдумалъ!

— Да ты-жъ самъ сказалъ—сто...

— Тю! то у меня такое слово—сто копанокъ чертей.

Всѣ чайки, однако, перепустились черезъ Кодакъ благополучно и быстро повеселись силою теченія къ другимъ, менѣе опаснымъ порогамъ и „заборамъ“.

„Панъ дякъ“, нѣсколько успокоившись, снова уцѣлся на коврѣ рядомъ съ другимъ московскимъ человѣкомъ, съ тѣмъ, надъ которымъ сейчасъ только смѣялись казаки, будто бы онъ съ испуга стоялъ на карачкахъ, а сѣдоусый казакъ, запаливъ наконецъ, свою непослушную „люльку“, тутъ-же примостился на корточкахъ и повелъ свою бесѣду съ московскими людьми.

— Такъ вы, говорите, новаго царя себѣ выбрали?

— Новово, точно.

— А кого-жъ вы выбрали?

— Божією милостію Михаила Θεодоровича Романова, благоцвѣтущую лѣторосль благороднаго корене.

— А какъ-же вы съ царевичемъ?

— Какимъ царевичемъ?

— А Ивашкою, Димитріевымъ сыномъ?

— А! вотъ нагадалъ!—выпорткомъ-ту Розстрига?

— Эте! какой онъ Розстрига!

— Да Розстрига-жъ—подлинно.

— Ну хоть и Розстрига, а всежъ былъ царемъ... А у него теперь сынъ, вѣдь...

— Сынъ! Этотъ сынъ Розстригой и не пахнетъ: всѣмъ вѣдомо, что Гришку вора убили весной въ прошлымъ во 114-мъ году, а иной Ивашка выпортокъ рожонъ Маришкою ворухою во 117-мъ году... Али она воровское сѣмя-то три года въ черевѣ носила?—а?

Казакъ только свистнулъ: „фью!.. ну, это точно долго—три года“.

— То-то и есть! Да и песъ ее, воруху, знаетъ, отъ каково вора она поносъ понесла и оценилась—отъ тушинскаго-ли вора, отъ друго-ли царика-вора, отъ Ивашки-ли Заруцкова, а можетъ и отъ пана польскова—поди разбирай ее...

— Те-те-те-те!.. А сказываютъ—подончики за него стали?

— Пустое! Онъ ноне съ Маришкой въ Астрахани, слышно,—и ево, чу, скоро изымаютъ.

Сказавъ это, московскій человѣкъ невольно остановился и испуганно глянулъ кругомъ. Онъ замѣтилъ опять необыкновенное движеніе между гребцами и услышалъ зловѣщій шумъ воды. По поверхности Днѣпра опять за-скакали бѣленькіе зайчики, а ниже пѣнилась и бурлила бѣшеная рѣка. Большая длинношеяя птица съ длинными ногами, вродѣ цапли или журавля, перелетая черезъ Днѣпръ и надлетѣвъ на бушующій гребень, испуганно шарахнулась въ сторону, беспорядочно забивъ въ воздухъ своими несуразными крыльями. Впереди безстрашные стрижи такъ и чертили крыльшками да ножками поверхность бѣшеной рѣки.

— До стерна, соколята!—раздался вновь зычный голосъ рулевого.

Московскій человѣкъ опять уцѣпился за уключину. Его товарищи въ голубомъ охабнѣ съ красными кистями припалъ къ сидѣнью. Чайка дрогнула, колыхнулась, ткнулась носомъ... Днѣпръ, казалось, звенѣлъ...

— Сурскій—это два порога,—проговорилъ бѣлоусый казакъ какъ бы въ утѣшеніе московскимъ людямъ:—а скоро Лоханскій и Звонецъ.

Дѣйствительно, скоро миновали пороги Лоханскій и Звонецкій все съ такими же предосторожностями. Но впереди еще оставалось много ихъ, и въ особенности самый страшный—Ненасытець.

Днѣпръ, при всѣхъ его ужасахъ, былъ необыкновенно красивъ. Этого

не могли не замѣтить московскіе люди, которыхъ царская служба бросила въ качествѣ пословъ въ эту чудную черкасскую сторонку. Ничего подобнаго этой рѣкѣ они не видали въ предѣлахъ московскаго государства, хотъ и помыкались по ней изъ конца въ конецъ. Какія у нихъ рѣки, особенно подъ Москвою!—плывыя, непутящія. Еще куда ни шла Ока-рѣка, а все не чета Днѣпру. Видали они и Волховъ-рѣку въ Новгородѣ, и рѣзу Великую во Псковѣ: только и славы, что великая прозывается, а ничего въ ней нѣтъ великаго. Волга—это точно что великая рѣка: велика и широка, что море; не даромъ о ней въ пѣсняхъ поютъ, моремъ хвалынскимъ называютъ; богатырская рѣка, что и говорить—великанъ! Видали они и Енисей, и Обь—большія рѣки, красивыя, только студенныя, непривѣтныя... А все Днѣпръ лучше—зѣло хорошъ! Зато и страшень...

Впереди все грозитѣ и грозитѣ что-то реветъ... И Тягинскій порогъ пробѣжали, а впереди все реветъ...

— А это что реветъ тамъ, панъ атаманъ?

— То Дѣдъ реветъ.

— Какой-чу дѣдъ?

— Дѣдъ Ненасытець... У! здоровая глотка...

— Али хуже всѣхъ?

— Да самый поганый... Такой татарюга!

Впереди показались зубчатыя скалы, что грядой тянулись отъ одного берега Днѣпра до другого. Вода, тѣснимая каменными великанами, рвалась и кипѣла, чтобъ снова еще съ большею быстротою ринуться съ высоты въ пропасть. Ревъ былъ такъ силенъ, что голоса рулевыхъ и гребцовъ были не слышны. Надъ самымъ порогомъ стоялъ водяной паръ, и въ немъ искрилась и переливалась радуга...

По самому ходу чайки чувствовалось, что ее влечетъ необыкновенно стремительнымъ теченіемъ. Она даже не вздрагивала — не успѣвала. Всѣ рабочія ея силы—рулевой „отаманъ“, гребцы и остальные казаки — какъ клешни впились въ длинное, съ широкою лопастью правильное весло. Голоса „отамана“ не слышно было, а видны были только его поминутно раскрывавшіеся подъ рыжими усами ротъ и глаза, уставившіеся куда-то впередъ, на одну точку... Точка эта—роковой проходъ, страшная пасть между каменными зубами: надо было направить чайку въ эту пасть, въ самую ея середину, чтобы не черкнуться объ острые боковые камни...

Сивоусый казакъ, взглянувъ на московскихъ людей, показалъ на небо, какъ-бы говоря: „ну, москали, молитесь—одна надежда на небо“...

Москали поняли его нѣмую рѣчь и упали на колѣни... Тихая, смиренная, хотя и грязная Москва-рѣка въ этотъ моментъ показалась имъ такую дорогою, что они готовы были проклинать тотъ несчастный день и часъ, въ который покинули берега своего родного, священнаго Іордана... Для того-ли они крестились въ святой водѣ Москвы-рѣки, чтобъ погибнуть въ этой проклятой черкасской рѣкѣ?.. А тамъ у нихъ жены, дѣти, сродники... Не видать имъ больше родной стороны...

Чайка дрогнула—оборвалась куда-то... Они попадали и закрыли глаза... Ихъ обдало водой... „Охъ! Господи! прими духъ мой съ миромъ“...

Все пропало... всему конецъ... они потонули...

— Вставайте, панове маскали! молитесь Богу! проѣхали Ненасытець!—
раздался вдругъ надъ ними знакомый голосъ.

Они съ ужасомъ открыли глаза: сивоусый козакъ сидѣлъ на залитомъ водою сидѣньѣ и вырубалъ изъ огнива огонь... Страшная водяная гора бѣллась и пѣнилась и ревѣла далеко назади... Только на этомъ водяномъ гребнѣ чернѣлись и ныряли двугія чайки, перепускавшіяся черезъ страшный порогъ... Тутъ-же разомъ они замѣтили, что на правомъ берегу рѣки, у самой воды и на кручѣ, лѣнилось нѣсколько шалашей и хатокъ, а у воды виднѣлись люди, махавшіе шапками. У самаго берега привязано было нѣсколько маленькихъ лодокъ „душегубокъ“, и нѣкоторыя изъ нихъ, съ двумя или тремя виднѣвшимися въ нихъ человѣческими фигурами, качались на водѣ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ берега.

Вдругъ на заднихъ чайкахъ послышались крики. Сначала нельзя было разобрать, что кричали. Но скоро крики достигли и передней чайки.

— Заднюю чайку перевернуло!

Байдакъ потопаетъ! Спасайте, братцы!

— Спасайте, кто въ Бога вѣруетъ!

Дѣйствительно, ниже порога, среди пѣнистыхъ валовъ и буруновъ, ныряя въ водѣ и выныряя, чернѣлось потопавшее судно... Изъ воды то тамъ, то сямъ показывались казацкія головы—это утопающіе мужественно боролись со смертью... Опрокинувшуюся чайку вертѣло и несло какъ щепку...

Въ тотъ-же моментъ отъ берега отдѣлялись всѣ маленькія лодочки и стрѣлою понеслись на перемъ утопавшимъ. Иные изъ утопавшихъ, болѣе сильные и умѣлые,плыли имъ навстрѣчу. Остальныя чайки также повернули противъ теченія и ударили веслами по вспѣнной поверхности рѣки—всѣ спѣшили спасти погибающихъ товарищей... Весь Днѣпръ, казалось, покрылся чайками и маленькими, необыкновенно юркими лодочками „душегубками“ или „дубами“. Утопающіе отчаянно боролись съ быстрою, увлекашею ихъ водою. Имъ бросали съ чаекъ веревки, протягивали весла—тѣ хватались за эту помощь и храбро держались на водѣ. Другихъ теченіемъ наносило на чайки и душегубки, и они цѣплялись за края, за весла. Иныхъ, обезсиленныхъ въ борьбѣ со свирѣпою стихіею и уже съ трудомъ державшихся на водѣ, товарищи, нагибаясь съ чаекъ, хватали за чубъ, за сорочку и встаскивали на борть.

Опрокинутая чайка была также перехвачена и прибуksирована къ берегу. Вся флотилія, покончивши съ вытаскиваніемъ изъ воды потопавшихъ, сбилась въ кучу и тоже пристала къ берегу. Казаки выскакивали изъ чаекъ, кричали, смѣялись какъ дѣти, встряхивались, толкали другъ друга, кувыркались. Иной катался колесомъ на рукахъ и на ногахъ. Пострадавшіе скидали съ себя сорочки и штаны, вѣшали ихъ для просушки на деревья и кусты и разстилали на камни. Тотъ жаловался, что у него пропала шапка, другой

лишился „люльки“ и „кресала“, у третьяго пропали чоботы, а у иного— „и штанивъ чортъ-ма!“

— Да всё-ли казаки цѣлы, панове?—опомнился московскій человѣкъ, „панъ дякъ“.

И точно, пересчитать себя казаки и забыли: шапки и чоботы считаютъ, а всё-ли у нихъ головы—про то и не вдомекъ.

— А ну, вражьи дѣти, становитесь лавою—я васъ пересчитаю,—скомандовалъ сивоусый казакъ съ передовой чайки, которому наконецъ удалось опять закурить свою люльку.

— Лавою, хлопцы, становитесь, лавою! — кричали сами пострадавшіе и не пострадавшіе.

— Становитесь всё—и голые, и босые!

Всѣ стали лавою. Сивоусый казакъ началъ считать.

— Это голый—разъ, это босый—два...

Всеобщій взрывъ хохота прервалъ казацкаго контролера.

— Это кудый—разъ!—хохотали казаки:—развѣ мы волю?

— Да стойте, вражьи дѣти!—гукаль на нихъ отаманъ и опять началъ считать, уже не упоминая голыхъ и босыхъ.

На послѣднемъ онъ остановился п руками развелъ.

— Овва! одного нѣтъ... Было тридцать, а стало двадцать девять... А! сто копанокъ!

— Братцы! одного козака недостаётъ! пропалъ козакъ!—загадѣли голоса.

— Кто пропалъ? кого недостаётъ?

— Да я вотъ тутъ!—отозвался кто-то.

— И я, хлопцы, тутечки.

— Кого-жъ нѣтъ?

— А катъ его знаетъ!.. Считай, батьку, сызнова—можетъ и найдется, казакъ не пропалъ...

— Гдѣ пропасть! Казакъ не иголка—не пропадетъ...

Опять началось считанье. Опять одного недостаётъ.

— А! матери его сто копанокъ чертей! Нѣтъ козака...

— Да кого, хлопцы?

— Да озовись, сучій сынъ,—кто пропалъ!

Взрывъ хохота былъ снова отвѣтомъ на этотъ возгласъ: возгласъ этотъ принадлежалъ казаку Хомѣ, который считался въ своемъ куренѣ силачомъ, но былъ на лихо себѣ „придурковатый“.

— Овва, Хома! какъ же онъ озовется, когда онъ пропалъ, утонулъ?—замѣтили несообразительному Хомѣ. Хома только въ затылкѣ почесалъ... И въ самомъ дѣлѣ—какъ ему отозваться?

— Э! да пропалъ Харько Лютый,—вспомнилъ Хома:—онъ еще мою люльку курилъ... Э! пропала моя люлька...

Всѣ оглянулись. Дѣйствительно недоставало Харька.

Всѣ лица мгновенно сдѣлались серьезными. Казаки сняли шапки и стали креститься...

— Царство ему небесное, вѣчный покой!.. А добрый былъ козакъ...
Хоть бы за дѣло пропалъ—такъ нѣтъ!

А Ненасытецъ продолжалъ стонать и реветъ, какъ бы заявляя, что ему мало одной человѣческой жертвы...

II.

Въ тотъ же день маленькая флотилія чаекъ достигла Сѣчи.

Запорожская Сѣчь находилась въ то время на островѣ Базавлукѣ, образуемомъ однимъ изъ днѣпровскихъ рукавовъ, Чортомлицкимъ, или, по выраженію самихъ запорожцевъ, „кошъ“ ихъ „мишкавъ коло чортомлицького Дніпринца“. Устройство этого перваго запорожскаго „становища“ было самое первобытное. Самый „кошъ“ или крѣпость обнесена была землянымъ вѣломъ, на которомъ стояли войсковыя пушки, обстрѣливавшія входъ въ Запорожье со всѣхъ сторонъ и въ особенности съ юга—съ крымской стороны. „Курины“, въ которыхъ помѣщалось товариство и ихъ военная сбруя, сдѣланы были изъ хвороста и покрыты, для защиты отъ дождя и всякой непогоды, конскими шкурами. Впрочемъ, казаки не любили жить въ „куриняхъ“: ихъ свободной казацкой душѣ было тѣсно подъ крышей, или подъ какимъ бы то ни было прикрытіемъ. Лѣтомъ, весной и сухою осенью они любили спать подъ открытымъ небомъ, на сѣнѣ или на травѣ, на разостланной „свиткѣ“, или на кошмѣ, съ сѣдломъ подъ головою, а то и просто подъ деревомъ, подъ кустомъ, гдѣ-нибудь у воды, „на купинѣ головою“, чтобъ коли ночью, послѣ выпивки, душа загорится, такъ чтобъ тутъ-же была и вода—душу залить, а утромъ—очи промыть да казацкое „бѣлое лицо“—конечно, это такъ только къ слову говорится, что „бѣлое“, а большею частью черное какъ голенище, загорѣлое, искусанное комарами,—такъ чтобъ было тѣмъ и казацкое бѣлое лицо всполоснуть. Въ „куриняхъ“ поэтому находилось только „добро казацкое“, а самъ казакъ—постоянно на воздухѣ: ѣсть, гуляеть, спать и „громадское“ дѣло справляеть. Когда ночью казакъ „прокинется“—проснется, то чтобъ сразу могъ узнать, сколько ночи прошло и сколько осталось. А это онъ узнавалъ легко: вѣчно вдали отъ жилья, либо въ степи необозримой, либо въ темномъ лѣсу, либо въ морѣ, онъ скоро осваивался съ природой, и ему не трудно было, поглядѣвъ на небо хотя-бы ночью, узнать—гдѣ полдень, гдѣ полночь. Ему помогали въ этомъ звѣзды, которыя были ему знакомы не хуже астрономовъ или вавилонскихъ, халдейскихъ и египетскихъ звѣздочетовъ: онъ зналъ на небѣ и „Чапига“, и „Визъ“, и „Мамаеву дорогу“, и „Утячѣ гвиздо“, и „Зиньскѣ щеня“, и „Волосожары“ и „Лемишъ“. И небо, какъ и степь, какъ и „Великій лугъ“ были для него—своя сторона. Никто такъ не любилъ природу любовью поэта и мечтателя, какъ казакъ; зато никто и не зналъ ее такъ, и не пользовался ею въ такой степени для своихъ цѣлей, какъ запорожецъ; чтобъ извѣстить невидимыхъ друзей-казаковъ о своемъ присутствіи и сбить съ толку врага, отвлечь его вни-

маніе, перехитрить, уйти от него—казакъ „пугаль“ какъ настоящей „пугачъ“, отлично куковалъ кукушкой, вылъ волкомъ, лаялъ собакой, „брехалъ“ лисицей, ревлѣлъ по туриному и шипѣлъ по змѣиному...

Когда маленькая флотилія приблизилась къ самому „кошу“, то съ переднихъ чаекъ послѣдовали три пушечныхъ выстрѣла. Изъ „коша“, съ крѣпостного вала, имъ отвѣчали тѣмъ-же.

Необыкновенное зрѣлище представлялъ берегъ и рукавъ Днѣпра въ томъ мѣстѣ, гдѣ находилась Сѣчь. Весь рукавъ съ широкими и глубокими заливами и особенно берегъ были покрыты лодками, чайками, дубами и байдаками всевозможныхъ величинъ, но болѣе всего видѣлось походныхъ или морскихъ чаекъ. Цѣлые десятки ихъ были вывлочены на берегъ, опрокинуты вверхъ дномъ и сушились на солнцѣ, смолились или проконопачивались паклей. Дымъ и запахъ отъ кипящей смолы стоялъ надъ всею этою половиною острова невообразимый: дымили и чадили десятки огромныхъ „казановъ“—котловъ со смолою. Это былъ чистый адъ, да и сами казаки похожи были на чертей: они подкладывали подъ котлы огонь, размѣшивали въ нихъ смолу длинными шестами и „квачами“, потомъ смолили, чайки, и, конечно, были сами перепачканы смолою отъ головы до пятокъ. Такъ какъ день былъ жаркій, а „женскаго пола“, по запорожскому обычаю, не полагалось въ Сѣчи и, слѣдовательно, казакамъ „соромиться“ было некого, то они большею частью занимались этою смоляною работою въ чемъ мать родила, но непременно въ шапкахъ—знакъ казацкаго достоинства, а иногда, вмѣсто „виноградныхъ листовъ“ на извѣстныхъ казацкихъ частяхъ тѣла—съ лопухами или „лататтемъ“, чтобъ комары и мухи не кусали того, что казаку Богъ далъ и что казаку когда-нибудь, хоть и не въ Сѣчи, да пригодится... Иные, тоже въ костюмѣ Адама, сидѣли на берегу съ иглками въ рукахъ и „латали“—чинили—свои сорочки и шаравары, ибо въ Сѣчи не было бабятины и чинить казацкія прорѣхи было некому. Другіе, наконецъ, купались въ Днѣпрѣ, мыли свои сорочки или купали коней.

Московскіе гости, прибывшіе съ маленькой флотиліей, были поражены этою невиданною ими массою голаго тѣла на берегу. Но это не помѣшало имъ видѣть, какая кипучая дѣятельность господствовала на всемъ этомъ уединенномъ, удаленномъ отъ всякаго человѣческаго жилья островѣ. Нѣсколько въ сторонѣ отъ главной пристани стучали сотни топоровъ, визжали пилы, грохотали сваливаемая на берегу брусья и бревна: это шла лихорадочная стройка новыхъ чаекъ... Видно было, что казаки готовились къ большому морскому походу... Московскіе гости теперь не узнавали этихъ „хохловъ“: всегда такіе, повидимому, лѣнливые, неповоротливые, занятые только своими „люльками“ да лежаньемъ на брюхѣ или гульней, пѣньемъ, плясками да всякими выгадками—они теперь, казалось, переродились, смотрѣли богатырями, живыми, проворными, неутомимыми. Изъ рукъ у нихъ ничто не валилось—все шло быстро, стройно, толково. Московскіе гости и глазамъ своимъ не вѣрили; имъ казалось теперь, что

въ дѣлѣ, за работой, одинъ „хохолъ“ трехъ московскихъ людей за поясъ заткнетъ, а четвертаго на плечѣ унесетъ, что съ такими чертами не легко справиться.

А тамъ вблизи, на лугу, слышалось ржанье конскихъ табуновъ, ревъ скота, какіе-то свирѣльные или сопѣльные звуки: это пастухи запорожскихъ стадъ отъ скуки наигрывали на „сопилкахъ“ да на „рожкахъ“,— особенно послѣдніе звуки были необыкновенно мелодичны.

Сказочное царство, истинно сказочное, словно я въ сонѣи все это вижу!—невольнo думалось московскому гостю „пану дьяку“, при видѣ этого дѣйствительно волшебнаго царства, населеннаго какими-то богатырями, гомеровскими лестригонами:—А! поди-жъ ты! Диво, воистину диво!..

Въ то самое время, когда прибывшія сверху съ московскими посланцами чайки подъ громъ пушекъ пристали къ берегу, на крѣпостномъ валу въ разныхъ мѣстахъ показались казаки съ длинными шестами въ рукахъ. Но это только казалось, что они держали шесты: это были кошевые и куринные кухари, которые держали въ рукахъ почетные значки своего благороднаго званія—огромные, словно шесты, „ополоники“ — громадные на длинныхъ рукояткахъ ложки, употреблявшіеся ими для размѣшиванья и разливанья по куреннымъ мисамъ всевозможной казацкой стравы — „кулиша“ съ саломъ, „галушекъ“, всевозможныхъ борщей, „юшекъ“, изъ рыбы и всякихъ „пундикивъ“ и „ласоцъ“. Эти казацкія яства на три, четыре, а иногда на десять и двадцать тысячъ казаковъ варились въ такихъ гигантскихъ „казаняхъ“ — котлахъ, что въ нихъ буквально можно было плавать по ухѣ или борщу въ маленькой лодкѣ „душегубкѣ“, а, слѣдовательно, мѣшать варимое въ такихъ казанищахъ приходилось огромными ложками на длиннѣйшихъ шестахъ.

Кухари, выйдя на крѣпостной валъ, отчаянно замахали своими чудовищными ложками. У иныхъ на ложки вздѣты были шапки. Это были призывъ казаковъ къ общему кошевому обѣду. Но такъ какъ нѣе казаки могли быть далеко отъ коша и не увидали бы ни махающихъ ложекъ, ни шапокъ, то къ маханію присоединилъ свою громкую дробь войсковой „довбышъ“—нѣчто вродѣ герольда, колотившій во что-то звонкое, металлическое, а войсковой трубачъ заигралъ на звонкомъ рожкѣ какую-то пѣсню, въ тактъ ударамъ „довбыша“ и на голосъ извѣстной пѣсни: „Эй, нуте, косари!“

Увидавъ маханье кухарей и услыхавъ призывные звуки „довбыша“ и трубача, казаки оставили свою работу и толпами сыпанули до „коша“, на ходу справляя свой разстроенный за жаркою работою туалетъ: кто накидывалъ на себя сорочку, кто надѣвалъ штаны, если возился съ „човнами“ въ водѣ, а общій войсковой лыбимецъ и балагуръ, „Пилипъ зъ конопель“, выскочивъ изъ толпы впередъ и взявшись въ боки, сталъ выплясывать подъ звуки призывнаго рожка.

Съ этими толпами казаковъ вступили въ Сѣчь и новоприбывшіе товарищи сѣчевиковъ, сопровождавшіе московское посольство. За посольствомъ

на носилкахъ несли тюки съ разными московскими подарками для „низового товариства“.

Необыкновенное зрѣлище представилось москвичамъ при входѣ ихъ въ Сѣчь. На обширной равнинѣ, обнесенной земляными валами, огромнымъ четырехугольникомъ расположены были длинныя, плетенныя изъ хвороста и обмазанныя глиной, невысокія постройки, сверхъ камыша покрытыя конскими шкурами. Такихъ построекъ насчитывалось болѣе сорока. Это были „курины“—бараки или казармы „низового товариства“, носившіе каждый особое названіе. По этимъ „куринамъ“ дѣлилось и все запорожское войско какъ по полкамъ или по бригадамъ. Въ старшины каждаго „курина“ избирался „отаманъ“ или „куринный батько“. „Куринные отаманы“ вмѣстѣ съ „кошевымъ“ составляли „войсковую старшину“, которая находилась подъ безпощаднымъ контролемъ всего „товариства“ и въ то же время сама въ предѣлахъ своей временной должности, особенно въ военное время, пользовалась диктаторской властью.

Теперь, при входѣ московскихъ пословъ, вся громадная площадь между „куринами“ представляла поразительную картину. Въ разныхъ мѣстахъ, со всѣхъ четырехъ сторонъ, дымились и чадили костры и горны, по числу „куриней“: это были „куринныя“ печи, изготовлявшія „страву“ разомъ тысячъ на пять или на десять казацкихъ ртовъ. Надъ горнами висѣли громаднѣйшіе котлы, нѣсколько сажень въ окружности, клочкавшіе подобно адскимъ котламъ и распускавшіе по всей Сѣчи неизобразимый паръ и запахъ отъ кипѣвшихъ въ нихъ—либо „галушекъ“, величиною въ малый кулакъ каждая „галушка“, либо „кулиша“ или каши съ саломъ, либо уха изъ тарани, сомины, окуней, осетровъ и всякой рыбы, какая только водилась въ Днѣпрѣ и по ближайшимъ плавнямъ. Тамъ чадили на огромныхъ вертеляхъ поджариваемые огнемъ бараны, сайгаки, дикіе кабаны, волы и цѣлыя громадные дикіе туры. Около котловъ и вертеловъ возились, жарясь на адской жарѣ, войсковые кухари и ихъ всевозможные помощники—дроворубы, водоносы, шеномои, крупосѣвы, салотовки—спеціалисты по толченію соленого свиного сала для каши и галушекъ, рѣзники, хлѣбопеки, хлѣбодары и всевозможные мастера кухарскаго дѣла.

На разостланныхъ по всей площади, въ безчисленномъ множествѣ, пологихъ, конскихъ и воловьихъ шкурахъ, на доскахъ и просто на травѣ лежали горы хлѣба, приготовленнаго для обѣда войску. Тутъ же стояли на землѣ сотни огромныхъ деревянныхъ солонокъ. Ни ножей, ни вилокъ, ни столовъ, ни скатертей, а тѣмъ менѣе чего-либо похожаго на салфетки или „рушники“ и въ завѣтъ не было: была только голая земля или трава, а на ней—горы хлѣба и сотни солонокъ. Не было даже ложекъ,—ложка и ножъ имѣлись у каждаго казака и носились или у пояса вмѣстѣ съ прочимъ боевымъ оружіемъ, или въ глубочайшихъ карманахъ широчайшихъ штановъ, въ которыхъ равнымъ образомъ хранились кисеты съ табакомъ, „люльки“ и огниво со всѣми принадлежностями.

Казаки, наскоро приодѣвшись, вынувъ ложки и ножи, разсаживались кругами вокругъ солоницъ и горъ хлѣба, также наскоро крестились „на схи́дъ сонця“, брали по короваю, намѣчали на его горбушкѣ ножомъ крестъ и рѣзали его на богатырскіе ломти для себя и для „товариства“. Всѣ садились по-казацки или скорѣе по восточному—„навкрестъ ноги“ и вытирали ножи и ложки либо объ траву, либо объ штаны и рукава сорочки; усы подбирали кверху или закидывали за плечи, у кого были богатырскіе усы—„вусы мовъ ретязи“, чтобъ они не мѣшали казаку ѣсть.

Между тѣмъ толпы кухарей съ помощью своихъ громадныхъ шестовъ-ложекъ наливали изъ кипящихъ котловъ въ огромныя, иногда въ сажень въ обхватѣ, деревянныя мисы готовыя кушанья: „кулишій“—жидкую пшеничную кашу съ саломъ, или галушки, тоже съ саломъ, конечно, въ скоромные дни, уху изъ рыбы, борщъ изъ щавельной зелени, и тоже съ саломъ, а то съ сухой рыбой, съ лещами и таранью,—и на огромныхъ шестахъ разносили ихъ по казацкимъ кругамъ. И тогда начиналась войсковая ѣда—обѣдъ нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ на воздухѣ подъ открытымъ небомъ. Сперва протягивалъ ложку въ общую гигантскую мису „отаманъ“, зачерпывалъ „страву“, чинно несъ ложку ко рту, поддерживая ее кускомъ хлѣба, чтобъ на себя не капнуть, и чинно же, медленно, „поважно“ опрокидывалъ ложку подъ богатырскіе усы, медленно же и „поважно“ пережевывалъ хлѣбъ и не спѣшилъ глотать, чтобъ „товариство“ не подумало, что онъ торопится, жадничаетъ, и не сказало бы: „глыта якъ собака“. Затѣмъ также медленно и „поважно“ утиралъ рукавомъ, а то и „хусткою“, усы и снова кусалъ хлѣбъ. За „батькомъ отаманомъ“ тянулся съ своею ложкою къ мисѣ тотъ казакъ, который сидѣлъ по лѣвую его руку; за этимъ тянулся третій казакъ къ мисѣ — третья лѣвая ложка—и подобно тому, какъ солнце ходитъ по небу отъ востока къ западу, такъ ходили и казацкія ложки вокругъ мисы, пока очередь не доходила опять до „батька отамана“. Когда миса опорожнялась, кухари вновь наполняли ее, пока не была съѣдаема вся страва, ибо по казацкому обычаю надо было непременно съѣсть все, что было наварено и запечено. Затѣмъ, послѣ галушекъ, борщей и „кулишей“ или послѣ толченого луку съ водой и солью, кухари волокли на широкихъ доскахъ „печене“ — жареныхъ на веретелахъ кабановъ, барановъ, воловъ, туровъ и сайгаковъ. „Печене“ тутъ-же разрубали топорами или „рѣзничкиими“ ножами на куски, солили пригоршнями соли и разбирали по кускамъ. При этомъ сердце животнаго отдавалось „батькови отаманови“ для того, „щобъ добрый бувъ до своихъ дитей-козаковъ и мавъ горяче сердце до ворогивъ“, а легкое дѣлилось между всѣми казаками—„щобъ козакъ легенько бигавъ противъ татарвы и бувъ легкій на води и на мори“.

Зрѣлище это поразило московскихъ гостей, которыхъ запорожская старшина пригласила къ своему войсковому обѣду. Въ самомъ дѣлѣ — тысячи народу, самая лучшая половина мужского населенія, всѣ молодцы на подбѣ, отбились куда-то далеко отъ своего края, отъ отцовъ и матерей,

часто отъ женъ, дѣтей и невѣсть, отъ всѣхъ семейныхъ радостей, и за-
сѣли въ недоступной глуши, на краю, такъ-сказать, свѣта, гдѣ кончается
„міръ хрещеный“ и гдѣ начинается сторона .бусурманская, чужая вѣра,
чужіе люди, злые враги. Эти отбившіеся отъ человеческого жгльа люди
основали какое-то могучее гнѣздо, и сосѣднимъ царствамъ приходится счи-
таться съ буйными вылетками изъ этого гнѣзда: съ ними считаются и ихъ
боятся и Польша, и Москва, и Крымъ; передъ ними заискиваютъ и во-
лошскіе господа, и седмиградскіе князья, и самъ римскій императоръ.

Вотъ и нынѣ Москва, едва выпарапавшись изъ-подъ польскихъ и швед-
скихъ тисковъ и кое-какъ отмахавшись отъ всевозможныхъ самозванныхъ
царей, цариковъ и воровъ, первымъ долгомъ сочла прислать посольство къ
этимъ сынамъ пустыни, чтобъ извѣстить ихъ о призваніи на свой престолъ
настоящаго царя, не самозваннаго, а всѣмъ извѣстнаго боярича—Михайла
Федоровича Романова, и просить пановъ казаковъ, чтобъ впредь они къ
воровскимъ царикамъ не приставали и на московскаго государствованія
превысочайшій престолъ всякихъ псовъ не возводили, какъ возвели они
своею помощію на этотъ престолъ проклятаго Гришку Отрепьева.

Московскіе посланцы явились въ Сѣчь съ милостивою грамотою отъ
юнаго царя. Послѣ обѣда собрана была войсковая „рада“ для выслушанія
грамоты. Когда послы входили въ казацкій кругъ, то войсковые трубачи
затрубили въ трубы. Многіе изъ молодцовъ, хвативъ лишнее за обѣдомъ,
разбрелись было спать—кто въ тѣни куреней, кто подъ деревомъ, кто
просто на травѣ; но „осаулы“ тотчасъ же подняли ихъ „кіями“, называя
„сучьими дѣтьми“, и „сучьи дѣти“, почесываясь и позѣвывая, должны были
идти слушать московскую грамоту.

Когда рада собралась, московскій посолъ, или, какъ его называли ка-
закъ, „панъ-дякъ“, державшій въ рукахъ небольшой ящичекъ, обитый ма-
линовымъ бархатомъ, открылъ его, и въ немъ оказалось что-то завернутое
въ зеленую тафту. Затѣмъ, снявъ шапку, онъ обратился къ стоявшей около
него казацкой старшинѣ.

— Есть до васъ, войска запорожскаго, до кошевого атамана, старшинъ
и казаковъ отъ великаго государя, царя и великаго князя Михайла Федо-
ровича всеа Руссін, его царскаго величества милостивое слово, и вы бы,
то слово слышачи, шапки сняли,—провозгласилъ онъ торжественно.

Старшина сняла шапку. За старшиною сняли и казаки. Обнажился дѣ-
лый дѣсъ головъ со всевозможными, большими и малыми чубами.

— Божіею милостіею,—продолжалъ посолъ,—великій государь, царь и
великій князь Михайлъ Федоровичъ всеа Руссін, васъ, запорожскаго войска,
кошевого атамана, старшинъ и казаковъ жалую, велѣлъ о здоровьѣ спро-
сить: здорово-ли есте живете?

— Спасибо, живемо здорово,—отвѣчала старшина въ одинъ часъ.

Посолъ, развернувъ зеленую тафту, вынулъ оттуда царскую грамоту.
Онъ ее такъ бережно вынималъ, какъ-бы боялся обжечься отъ одного при-
косновенія къ страшной бумагѣ.

Казаки понадвинулись, желая видѣть диво, привезенное москалемъ.

— Что-то маленькое, — слышались тихія замѣчанія въ толпѣ

— Эге! маленькое, да велика въ немъ сила...

Посоль передалъ грамоту старѣйшему изъ атамановъ, потому что на тотъ часъ въ Съѣзди кошевого не имѣлось и его должны были избирать теперь же.

Атаманъ, взглянувъ на грамоту и повертѣвъ ее въ рукахъ какъ нѣчто странное, непонятное для него, передалъ ее стоявшему около него немолодому, понурому казаку съ чернильницей у пояса и „каламаремъ“ за ухомъ. То былъ войсковой писарь Стецко, прозвищемъ Мазепа, отецъ будущаго знаменитаго гетмана и противника царя Петра.

Мазепа взялъ грамоту, привычными руками развернулъ ее и глянулъ на титулъ и на печать.

— Печать отворчата, безъ подписи, — проговорилъ онъ, взглянувъ на посла.

— Точно безъ подписи, — отвѣчалъ посоль.

— А какъ ей вѣрить? — спросилъ Мазепа.

— Все едино, что и съ подписью.

— А мы не вѣримъ, — возразилъ писарь.

— Не вѣримъ! не вѣримъ! — раздались голоса въ толпѣ.

— Это не грамота: это ка-зна-що! тьфу!

— Это москаль самъ нацарапалъ, чтобъ насъ одурить!

— Го-го-го! не на такихъ наскочилъ! кіями его! — ревѣла громада.

Посоль, видимо, оторопѣлъ. Онъ растерянно глядѣлъ то на писаря, то на бѣшущую громаду съ разсвирѣпѣвшими лицами и отверстыми, кричащими глотками, то на старшинъ... Старшины видѣли опасность положенія... Искра недовѣрія брошена... Надо потушить пожаръ, а то того и гляди начнется свалка, кровопролитіе...

— Послушайте меня, панове молодцы, вельможная громада! — закричалъ, поднявъ къверху шестоперъ, одинъ изъ старшихъ „буриныхъ отамановъ“ съ добрымъ, худымъ лицомъ и добрыми, ласковыми черными глазами.

— Петръ Конашевичъ говоритъ! послушаемъ, хлопцы!

— Сагайдачнаго слушайте! Сагайдачный говоритъ!

— Пускай Петро Конашевичъ-Сагайдачный слово скажетъ! Онъ дорчорта мудрый!

— Слушайте, сто копанокъ чертей, вражьи дѣти!

Буря голосовъ разомъ смолкла. Всѣ ждали, что скажетъ Сагайдачный, котораго очень уважали казаки.

— Панове молодцы, вельможная громада, — тихо началъ Сагайдачный: — пускай самъ его милость посоль скажетъ, кому они какъ пишутъ и какіе у нихъ порядки: кому какая печать подъ грамотою, кому подпись... Вотъ и вы, здоровы будьте, коли часомъ кого привѣтаете, то не всѣхъ одинаково: коли батько старенького либо мать-старуху — то такъ, коли своего брата козака, — то иначе, а коли дивчину — то еще иначе...

— Добре! добре! — загудѣла громада: — отаманъ правду говорить...

— Гдѣ не правда! развѣ-жъ мы дивчину такъ привѣтаемъ, какъ козака!

— Эге! дивчину заразъ — тее-то.... женихаться... у пазуху тее...

Посолъ нѣсколько оправился. Онъ знаками поблагодарилъ Сагайдачнаго и поклонился громадѣ, которая начинала ему казаться страшною.

— Его милость атаманъ Сагайдачный истинно говоритъ, — началъ онъ дрожащимъ голосомъ: — у насъ, господа казаки, грамоты его пресвѣтлаго царскаго величества бываютъ разны: коли великій государь пишетъ королю польскому, либо цесарю римскому, либо султану турецкому, то печать подъ грамотою бываетъ большая, глухая, подъ кустодією съ фигуры, и подписи дьячьи живутъ на загибкѣ, а кайма той грамоты и фигуры живутъ писаны золотомъ, и богословіе и великаго государя именованіе по рѣчь *и иныхъ* — писано живетъ золотомъ-же, а дѣло — чернилы. Это коли великій государь пишетъ равному себѣ государю. А коли не государю пишетъ, а примѣромъ воеводамъ, либо казакамъ донскимъ, либо запорожскому славному войску — такъ печать живетъ не глухая, а отворчата, и дьячьи подписи на ней не живутъ, а токмо титуло царское все прописываетца... А титуло царское — великое дѣло...

Казака молчали. Казалось, слова посла и его поклонъ усмирили горячія головы вольницы. Сагайдачный далъ знакъ писарю, чтобы тотъ читалъ грамоту. Мазепа откашлялся въ кулакъ и началъ высокою нотою:

„Божією милостією, отъ великаго государя царя и великаго князя Михаила Федоровича, всея Русіи самодержца и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчича и дѣдича и наслѣдника и государя и обладателя...“

— Погоди, панъ писарь, не такъ прочесть, — остановилъ чтеца посолъ.

— Какъ не такъ? — удивился послѣдній и глянулъ въ грамоту: такъ — государя и обладателя....

— Не обладатели, а облаадатели — обла-адателя, — повторилъ посолъ: — два *аза*...

— На что два *аза* — и одного довольно, — изумлялся писарь.

— Да ты прочти: тамъ два *аза* живетъ — облаадателя...

Писарь снова глянулъ въ грамоту и пожалъ плечами.

— Такъ, два... Да на что оно два?

— Такъ отъ старины повелось, чтобы въ царскомъ титулѣ облаадателя съ двумя *азами* писать... Въ семь азѣ великая сила сокровенна... Коли въ царскомъ титулѣ, въ именованіи великаго государя, пропискою одинъ азъ прилучится, и за ту прописку велѣно казнить безо всякія пощады и дьяка и писца — дьяка бить батоги нещадно, а писцу ноздри рвать... А коли прилучится сія прописка въ титулѣ великаго государя отъ иного государя либо короля, и та грамота не въ грамоту, и за ту прописку великій государь войною велитъ итти на прописчика...

Писарь недовѣрчиво глянулъ на старшину.

— Читай, пане писаре, два аза,—внушительно сказалъ Сагайдачный;—развѣ ты не знаешь, что на насъ, на матку нашу Украину поднялись и ляхи, и ксендзы, и самъ папа, и шарпають Украину, мордуютъ нашихъ поповъ и берутъ наши церкви за то только, что мы, православные, не приедемъ ихъ другого аза въ „Вѣрю“—не говоримъ: „отъ Отца и Сына исходяща“, а только отъ Отца... Это и есть нашъ азъ... Такъ и у нихъ...

Всѣ съ глубокимъ вниманіемъ слушали эту простую, всѣмъ вразумительную рѣчь своего „мудраго дядьки“, какъ иногда называли Сагайдачнаго. Московскій же посоль, повидимому, проникался къ нему все большимъ и большимъ уваженіемъ и удивленіемъ.

И Мазепа остался доволенъ толкованіемъ Сагайдачнаго. „Такъ, такъ“, утвердительно кивнулъ онъ головой и, снова опустивъ глаза на грамату, продолжалъ:

„... государя и обла-адателя войска запорожскаго кошевому отаману, кому нынѣ вѣдати належить, и всему при немъ будущему войску наше царского величества милостивое слово. Въ прошлыхъ годѣхъ, божіимъ попущеніемъ и діаволовою гнусною прелестію, бысть въ російскомъ царствѣ смута и кроволитіе великое и сотворися на Москвѣ и во всемъ московскомъ государствѣ пакость ведія: безбожный и богоненавистный прелестникъ, исчадіе ада и сатанинъ внукъ, воръ и чернокнижникъ и растрига Гришка Отрепьевъ, извѣся гнусный языкъ свой, дерзновенно назвался царевичемъ Димитріемъ, сыномъ государя царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Русіи, и съ помощью польскихъ и литовскихъ людей въ нашъ престольный градъ Москву взбѣжалъ и на превысочайшій російскаго царствія престоль аки песь вскочилъ, а за нимъ и другіе воры и злодѣи, похищая царское имя, на тотъ превысочайшій престоль скакали-жъ. Вы же, войско запорожское, по злымъ смутнымъ прелестямъ тѣхъ псовъ, не вѣдая ихъ лукавства, имъ подлегли и на царское мѣсто имъ наскакать съ польскими и литовскими людьми невѣдѣніемъ своимъ помогали-жъ и всякое дурно московскому государству чинили многаяжды. А нынѣ московское государство, божіею помощію, отъ польскихъ и литовскихъ людей и отъ оныхъ псовъ и самозванцевъ свободно, а мы, наше царское пресвѣтлое величество, водею божіею и хотѣніемъ и моленіемъ всея російскія земли всѣхъ чиновъ людей на превысочайшій російскаго царствія престоль законно вступили, и о семъ васъ, войско запорожское, извѣствуемъ. Еще же васъ, войско запорожское, нашимъ царскаго величества словомъ наставляемъ, чтобы вы, памятуя Бога и души свои и нашу православную крестьянскую вѣру и видя на насъ, великомъ государствѣ, и на всемъ нашемъ великомъ государствѣ божію милость и надъ врагами побѣду и одолѣніе, отъ таковыхъ, бывшихъ въ прошлыхъ годѣхъ непригожихъ дѣлъ отстали и снова кроворазлитія въ нашихъ государствахъ не всчинали, тѣмъ души своей и тѣла не губили, во всемъ намъ великому государю челомъ бы били и съ нами въ любопытствѣ и мирѣ жили, а мы, великій государь, по своему царскому милостивому

праву васъ пожалуемъ таковымъ жалованьемъ, какова у васъ и на умѣ нѣтъ. И тебѣ-бъ, кошевому атаману, кому нынѣ вѣдати належить, и всему будущему при тебѣ войску ни на какіе прелести не прельщатца, а также и иныхъ атамановъ и старшинъ, которые еще не во обращеніи съ вами, къ нашему царскому величеству въ союзъ и любительство приводить и нашею великаго государя, нашего царскаго величества, милостію ихъ обнаживати, чтобъ быть имъ съ вами, запорожскимъ войскомъ, въ совѣтъ и противъ непріятелей стоять воцѣ. А служба ваша, у насъ, великаго государя, нашего царскаго величества, въ забвеніи никогда не будетъ. Писанъ въ государствіи нашего дворѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія міра 7122-е, мѣсяца марта въ 31 день“.

Писарь кончилъ. Громада молчала; никто не смѣлъ первымъ подать голосъ насчетъ того, что было прочитано; надо было обсудить цѣлою громадою, „чорною-ли радю“, или „отаманьемъ“, или же всею чернью и старшиною вмѣстѣ.

Между тѣмъ посолъ вынималъ изъ тюковъ привезенные для войска царскіе подарки и картинно бросалъ ихъ на разостланныя кошмы, какъ бы нарочно дразня глаза казаковъ яркими цвѣтами разныхъ камокъ куфтерей, да камокъ кармазиновъ, крушчатыхъ и травныхъ, камокъ адамашокъ, да бархату черленаго кармазину, да бархату лазореваго, да бархату таусиннаго, да бархатовъ рытыхъ, да портищъ обьярей золотныхъ, да отласцовъ цвѣтныхъ, да косяковъ зуфей анбурскихъ...

А суконъ на казацкія шапки! И суконъ красныхъ что огонь, и суконъ шарлату черленаго, и суконъ багрецовыхъ, и суконъ настрафилю, и суконъ лятчины...

— У! матери его сто копанокъ чертей—какія-жъ славныя сукна!—раздалось невольное восклицаніе, море голосовъ заревѣло и какъ бы затопило всю площадь...

III.

На другой день въ Сѣчи было необыкновенно шумно: происходило избраніе новаго кошевого и вмѣстѣ съ тѣмъ гетмана для предстоявшаго морского похода. Послѣдній гетманъ и кошевой, креатура и сторонникъ поляковъ, желавшій вести казаковъ на помощь полякамъ въ войнѣ ихъ съ Москвою, тогда какъ казаки желали „погулять по морю“ и Цареградъ „мушкетнымъ дымомъ окурить“, былъ до полусмерти избитъ кіями со стороны этихъ разсвирѣпѣвшихъ дѣтей своихъ и утопленъ въ Днѣпрѣ.

Волненіе было страшное. Слышалась ужасная ругань, крики, то и дѣло звенѣли сабли: это уже пускали въ ходъ самые сильные доводы—кулачные и сабельные удары, рукопашный бой и угрозы кого-то „утопить“, кого-то „забить кіями якъ собаку“, кому-то „кишки выпустить...“

Московскіе послы боялись выходить изъ куреня, въ который ихъ помѣстили, и издали смотрѣли и слѣшали, что происходило на площади. Пло-

щадь, действительно, представляла бурное море. Слышно было, что войско раздѣлилось на партіи, и каждая партія выкрикивала своего кандидата.

— Старого Нечая!—слышалось въ одной группѣ.

— Небабу Хвилона!—ревѣла другая.—Небаба козакъ добрый!

— Къ бѣсу Небабу! Сто копанокъ ему чертей! Нечая!

— Небабу!

— Небабу! Небабу, сто копанокъ чертей! Небабу!

Небаба, видимо, побѣждалъ своихъ противниковъ. Онъ стоялъ въ сторонѣ и, моргая сивымъ усомъ, спокойно закуривалъ „гаспидьску люльку“.

А тамъ уже шла драка: сторонники Нечая схватились съ сторонниками Небабы и уже скрещивались саблями.

Въ это время выступилъ забытый крикунами Петро Конашевичъ Сагайдачный. Худое лицо его казалось блѣднѣе обыкновеннаго, хоть и носило на себѣ слѣды загара и всевозможныхъ вѣтровъ, а глаза изъ-подъ нависшихъ, черныхъ, тронутыхъ сѣдиною бровей смотрѣли, казалось, еще добрѣе.

— Вельможная громада!—раздался вдругъ его здоровый, какъ бы не вмѣщавшійся въ худомъ тѣлѣ голосъ: — послушайте меня, старую собаку, братчики.

— Сагайдачный! Старый Сагайдакъ!—покрыли его голосъ другіе голоса:—а ну, что онъ скажетъ!

— Сагайдачный! Сагайдачный, братцы! Послушаемъ, что Сагайдакъ скажетъ!

— Онъ говоритъ, какъ горохомъ въ очи сыплеть!

Эти окрики и своеобразныя похвалы оратору вродѣ „горохомъ сыплеть“ подѣйствовали на буйную толпу. Всѣмъ хотѣлось слышать, какъ человекъ словами точно „горохомъ сыплеть“: это были дѣти—порохъ, который вспыхивалъ отъ одной искры кремня и также мгновенно потухалъ.

— Что, хлопцы, краше: лапти московскіе или чоботы-сафьянцы турецкіе?—вдругъ озадачилъ ихъ вопросомъ Сагайдачный.

— Чоботы! чоботы-сафьянцы!—отвѣчали нѣкоторые.

Толпа понадвинулась ближе—такъ интересна была рѣчь Сагайдачнаго.

— И мнѣ сдается—чоботы,—подтвердилъ ораторъ.

— Да чоботы-жъ, батьку! Хай имъ тряся—московскимъ лаптямъ!

— Добре, дѣти,—продолжалъ ораторъ:—чоботы такъ чоботы... А какая, братцы, вѣра бусурманская!?

— Турецкая, батьку!—обрадовались „хлопцы“—поняли оратора.

— А неволя какая, дѣтки?—допытывался ораторъ.

— И неволя турецкая!—закричало разомъ множество голосовъ:—неволя турецкая! разлука христіанская. Вотъ такъ старый Сагайдакъ! Какъ въ око влѣпилъ!—радовались казаки.

— А кто, дѣтки, въ турецкой неволѣ?—продолжалъ Сагайдачный.

— Да козаки-жъ, батьку, да наши дивчата.

— Добре. А московской неволи нѣтъ?

— Да еще, кажись, не было такой.

— А чайки у насъ на что подѣланы?—въ Москву плыть?

Казаки даже разсмѣялись,—такую дикою казалась имъ эта мысль, плыть въ Москву, гдѣ и моря нѣтъ, а только лѣса да лапти.

— Нѣтъ, батьку,—чайки у насъ на татарву да на туречину!

— И сабли и самопалы!

Болѣе горячіе изъ казаковъ тотчасъ-же поставили вопросъ на прямую дорогу.

— Такъ пускай Сагайдачный и ведетъ насъ въ море!—раздавались голоса.

— Долой Небабу! долой Нечая! долой Мазепу! Пускай Сагайдакъ отамануеъ!

— Сагайдачнаго! Сагайдачнаго, братцы, выберемъ!.. Пускай онъ пануеъ!

— Сагайдачному булаву!—До булавы надо голову, а у него голова разумная, добрая!

— Сагайдачнаго, братцы,—сто копанокъ чертей!—подтвердилъ и самъ Небаба:—на что лучшаго!

— Сагайдакъ! Сагайдакъ! го-го-го!—заревѣла, какъ-бы осантѣвъ, вся площадь,—и шапки, словно тучи испуганныхъ птицъ, полетѣли въ воздухъ.

Избраніе Сагайдачнаго, такимъ образомъ, состоялось: метаніе вверхъ шапокъ было знакомъ, что этого требуетъ народная воля—поворота для избраннаго уже не было.

Сагайдачный сталъ было кланяться, просить, чтобъ его освободили, говорилъ, что уже старъ—„не добаваетъ“ и булаву въ рукахъ не удержитъ... Ему тотчасъ-же пригрозили смертью.

— Въ воду его, старого собаку, коли не беретъ булавы!—раздались не-терпѣливые голоса.

— Кіями его, матери его хиря!

Какъ не обаятельна и ни заманчива власть вообще, но власть надъ казаками было дѣло страшное, и ни для кого не было такъ тяжело бремя власти, какъ для казацкаго батька—для кошевого или для гетмана. Они по справедливости могли сказать: „О, тяжела ты, булава гетманская!“ Уже самый процессъ избранія былъ сопровождается такими подробностями, которыя могли испугать всякаго, даже далеко не робкаго. Ужъ коли кого казаки излюбили и „обрали“ на отаманство—такъ повинуйся, а то сейчасъ же проявить себя народная воля—или кіями забьютъ до смерти, или въ Днѣпрѣ утопятъ. А принявъ булаву, покорился—выноси личныя оскорбленія и всякіе казацкіе „выбрыки“ и „примхи“: новоизбранные диктатора и соромъ обсыпаютъ съ головы до ногъ, и грязью лицо ему мажутъ, и бьютъ то въ ухо, то по шеѣ, чтобъ онъ помнилъ, что народъ далъ ему власть и что народъ можетъ и взять ее обратно у недостойнаго. Зато, когда весь обидный процессъ избранія конченъ, кошевой становится въ полномъ смыслѣ диктаторомъ: казаки трепетали его. Онъ велъ ихъ куда

хотѣлъ; ему повиновались безпрекословно; но зато всякая неудача падала только на его голову—онъ за все былъ въ отвѣтъ. Оттого рѣдкій кошевой кончалъ собственною смертью.

Сагайдачный очень хорошо зналъ эту страшную отвѣтственность власти, какъ равно и неизмѣнность народной воли, и съ рѣшительнымъ мужествомъ поднялъ голову.

— Пусть будетъ такъ, вельможная громада,—я принимаю войсковые клеймоты: на то воля Божія,—сказалъ онъ и поклонился на всѣ четыре стороны.

Опять туча шапокъ полетѣла въ воздухъ. Послышались неистовые возгласы.

— На могилу новаго батька! На могилу кошевого!

— На козацкій престолъ новаго кошевого!—пускай высоко сидитъ надъ нами!

— Везы давайте! землю на могилу копайте!

Московскіе послы, слыша эти возгласы, никакъ не могли понять ихъ значенія и съ изумленіемъ переглядывались: зачѣмъ могила? кому копать могилу? Развѣ старому кошевому?—Такъ его нѣтъ ужъ—утопили въ Днѣпрѣ какъ щенка...

Откуда ни взялись везы, влекомые самими казаками: что за диво! Везы очутились въ серединѣ казацкаго круга. Казаки, поставивъ ихъ по два въ рядъ, опрокинули вверхъ колесами.

Пускай такъ до горы ногами Орду ставят!

— И турецчину!

И ляховъ до горы пузомъ!

И казаки, вынувъ изъ ноженъ сабли, стали копать ими землю, гдѣ кто стоялъ. Землю набирали въ шапки, въ приполы, тащили къ возамъ и бросали ее на веза, какъ-бы засыпая покойника въ ямъ. Эта мысль бродила и въ головѣ Сагайдачнаго, который съ Мазепою и куренными отаманами стоялъ въ сторонѣ и задумчиво смотрѣлъ, какъ казаки засыпали везы землею. Ему вспоминалась кобзарская дума, въ которой жалобно поется, какъ казаки своего брата-казака, убитаго татарами, „постриляного-порубаного“, въ степи хоронили, закрывъ ему глаза „голубою кийтайкою“, какъ они острыми саблями „сухидилъ копали“ и эту землю шапками и приполами таскали и своего бѣднаго товарища засыпали...

Горькое чувство сдавило ему сердце. Передъ его глазами какъ-бы разомъ пронеслась картина его бурной казацкой жизни, которая всѣми своими кровавыми сценами не могла вытѣснить изъ его души далекихъ, свѣтлыхъ воспоминаній дѣтства—бѣлую отцовскую хату въ Самборѣ, добрые, ласковые глаза матери, высокія, сѣрыя съ темною зеленью горы, бѣленькую церковь, гдѣ онъ своимъ юнымъ, свѣжимъ голосомъ поддѣввалъ дьячкамъ на клиросѣ, а потомъ въ качествѣ молодого „рыбалты“ читалъ апостоль... Вспомнился ему почему-то и польскій коронный гетманъ, гордый воевода Жолкевскій, тогда еще молодой панничъ, но и тогда гордый, надменный...

Вспомнились и жгучія минуты мимолетнаго счастья... А теперь онъ вонъ въ какой славѣ! какую высокую могилу для него копаютъ!.. а смерть за плечами...

А насыпь росла все выше и выше... Вонъ уже казаки, смѣясь, болтая, толкаясь, съ трудомъ взбираются на нее, таская землю шапками и приполами и насыпая все большую „могилу“...

— Выше, выше насыпайте, хлопцы!—болтали казаки:—пускай будетъ такая высокая могила, чтобъ съ вѣтромъ говорила.

— Сыпьте, сыпьте, панове, козацкую славу! — пускай растетъ козацка слава!

И Сагайдачному думалось, что это растетъ слава — его собственная слава... Но какъ она всегда поздно вырастаетъ!—большую частью на могилѣ. Такъ и его, Сагайдачнаго, слава только теперь вырастаетъ изъ земли, когда ужъ онъ самъ смотреть въ землю... А ляжетъ въ землю—такъ она еще вырастетъ, по всему свѣту „дуною“ пойдетъ...

Но вотъ „могила“ готова — высокая могила! выше всѣхъ „могилъ“, какія насыпались прежнимъ гетманамъ и кошевымъ... Казаки утаптываютъ ее ногами, вытряхаютъ послѣднюю пыль изъ шапокъ и приползъ, надѣваятъ шапки и сходятъ на площадь, становясь попрежнему въ кругъ.

Писарь обращается къ новоизбранному и къ куреннымъ отаманамъ.

— Часть, панове, новому кошевому на престолѣ сѣсть,—говоритъ онъ, кланяясь старшинѣ.

— Идите, батьку, законъ брать, — обращается старшина къ Сагайдачному.

Сагайдачный всходитъ на могилу и садится на самой верхушкѣ кургана. Высоко сидитъ онъ! Далеко оттуда видно новаго кошевого!

— Здоровъ бувъ, новый батько!—слышались голоса изъ толпы:—дай тебѣ Боже лебединный вѣкъ та журавлиный крикъ!

— Чтобъ тебя такъ было видно, какъ теперь, коли съ ворогами будемъ биться!

Мужду тѣмъ кухари подмели полы въ куреняхъ, вывели соръ на площадь и сложили его въ огромную, плетеную изъ лозы корзину—„кошъ“. Потомъ подняли „кошъ“ на плечи и втащили на могилу, къ тому мѣсту, гдѣ сидѣлъ Сагайдачный. Новоизбранный кошевой сидѣлъ какъ истуканъ, задумчиво глядя, какъ Днѣпръ катилъ свои синія воды къ далекому морю.

Кухари подняли корзину надъ головою новаго кошевого. Сагайдачный закрылъ глаза...

— На счастье, на здоровье, на новаго батька!—воскликнули кухари и опрокинули весь бывший въ корзину соръ на голову своего новаго диктатора:—дай тебѣ Боже журавлиный крикъ та лебединный вѣкъ!

— На счастье, на здоровье, на новаго батька!—громомъ повторили казаки.

Тогда писарь взомель на курганъ и поклонился обсыпанному соромъ кошевому.

— Какъ теперь тебя, пане отамане, обсыпали соромъ, такъ во всякой невгодѣ и взгодѣ обсыпать тебя козаки, словно пчолы матку!—сказалъ Мазепа торжественно.

Тогда на курганъ толпами полѣзли казаки и стали дѣлать съ „новымъ батькомъ“ что кому въ голову приходило. Иной мазалъ ему лицо грязью, другой дергалъ за чубъ...

— Чтобъ не гордовалъ надъ нашимъ братомъ козакомъ! — пояснилъ одинъ.

— Чтобъ былъ добръ до головы!—объяснилъ другой.

— Чтобъ вотъ-такъ билъ татарву да ляховъ, какъ я тебя бью!—заявилъ третій, колотя въ-зашей своего „батька“.

Наконецъ Сагайдачный всталъ и, весь въ пыли и грязи, напутствуемый добродушными криками своихъ „дитокъ“, направился въ свое помѣщеніе.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ вышелъ оттуда переодѣтый начисто, мытый и съ булавою въ рукахъ. За нимъ вынесли другіе войсковые клейноты...

Казаки приемирили какъ пойманные на проказахъ дѣти: теперь одного мановенія руки этого новаго „батька“ достаточно было, чтобъ у любого казака слетѣла съ плечъ голова...

Сагайдачный объявилъ походъ въ море... Восторгамъ казаковъ не было конца...

IV.

Во всей исторіи Россіи, какъ великой, такъ и малой—съ одной стороны, и Польша — съ другой, не было момента болѣе рокового, какъ та четверть вѣка—конецъ XVI и начало XVII столѣтія — въ предѣлахъ которой вращается наше повѣствованіе.

Въ это время Польша была самымъ могущественнымъ и самымъ обширнымъ государствомъ во всей Европѣ. На востокъ — линія ея владѣній шла отъ Лифляндіи и почти отъ Пскова, захватывая такъ-называемый Инфлянть съ Полоцкомъ, Витебскомъ и Оршею, проходя почти мимо Смоленска и Краснаго, а оттуда почти вплоть до Сумъ, и далѣе, мимо Сѣвернаго Донца, вплоть до устья Дона и Азовскаго моря. Все, западнѣе этой линіи, фактически было Польшей: Вѣлая Русь, Черная Русь, Малая Русь, Червоная Русь, такъ-называемыя Вольности Запорожскія, Подоль, Волинь, Подлясье, Подляхія и сама Польша — вотъ что вмѣщалось въ этомъ гигантскомъ рогѣ изобилія, который назывался Рѣчью Посполитою и изъ котораго, по національному девизу, должны бы были сыпаться на входящія въ составъ Польши страны величайшія для людей блага—„рувнось“, „вольность“, „неподлеглось“. На югѣ линія эта граничила съ владѣніями Оттоманской Порты и ея вассальныхъ государей. Съ запада и сѣвера Польша почти не знала границъ—и Саксонія, и Швеція прикрывались, можно сказать, польскою государственною мантиею, и короли ихъ нерѣдко шли подъ польскую корону, какъ нѣкогда новобранцы подъ „красную шапку“. Въ

этомъ океанѣ „польщизны“ герцогство Пруссія съ тогдашними Вильгельмами и Бисмарками торчала какъ ничтожный островокъ, который, казалось, совсѣмъ залется польскимъ моремъ. Наконецъ, около 1612 года, когда русскій царь—Василій Шуйскій—былъ плѣнникомъ привезенъ въ Варшаву, а поляки взяли Москву, даже Россія признала надъ собою владычество Польши, выпросивъ себѣ у нея короля. Взгляните на карты тогдашняго времени, и васъ поразятъ очертанія польскаго королевства — въ этой какой-то размашистости границъ его было что-то страшное, внушающее.

Внутри этого рога изобилія самый внутренній строй представлялъ собою, казалось, несокрушимыя гарангіи вѣчнаго довольства и счастія. Самая идеальная свобода, какую только когда-либо видѣли люди на землѣ, свила себѣ гнѣздо въ этой благословенной странѣ, богатая природа которой и благодатная почва, казалось, гармонировали съ богатыми задатками ея гордаго своєю „вольностью“ и „неподлежностью“, даровитаго населенія лехитовъ и нелехитовъ. Каждый благородный лехитъ имѣлъ право быть первымъ лицомъ въ государствѣ—„крулемъ“ надъ равными себѣ „крулями“ и простыми смертными, если только личныя дарованія, умъ и заслуги ставили его головой выше надъ всѣми другими лехитами-магнатами и немагнатами: каждый изъ нихъ носилъ у себя въ „кешени“ или подъ черепомъ наслѣдственную корону, — и изъ „кешени“, и изъ-подъ черепа она могла очутиться на его даровитой головѣ, если она была таковою. Лехита не удивишь, бывало, королемъ: „я самъ могу быть крулемъ“, говорилъ онъ—и это не была простая фраза. Каждый король зналъ это—и былъ первымъ слугою своихъ подданныхъ.

Обаяніе этого строя было тѣмъ неотразимѣе, что Польша стала носителницею культуры своего вѣка. Для образованнаго поляка высшая европейская культура была доступна, и онъ черпалъ изъ нея все, что въ ней было лучшаго. Польша шла въ-уровень съ Европою и во многомъ, на примѣръ, хоть-бы въ примѣненіи гражданской свободы, далеко оставила ее за собою. Замоискіе, Радзивиллы, Жолкевскіе и цѣлые ряды ихъ современниковъ могли считаться лучшими европейцами въ лучшемъ и благороднѣйшемъ значеніи этого слова, европейцами не по образованію только, а убѣжденіями и дѣлами своей жизни: Янъ Замоискій, на примѣръ, былъ ректоромъ падуанскаго университета, одного изъ самыхъ яркихъ свѣточей тогдашней науки, а дома посилъ титулъ и портфель канцлера королевства.

Перечислять всѣ признаки высшаго развитія тогдашняго поляка—это значило бы изображать то высокое развитіе, до котораго достигла тогда Европа, имѣвшая уже и Шекспира, и Тасса, и Данте, и Камозенса.

Неудивительно, что всѣ знатнѣйшіе русскіе роды, происходившіе еще отъ дружинниковъ и бояръ Владиміра, Ярославъ, Святославъ и Мономаха, князья кіевскіе, и обитавшіе не въ московской Руси, побѣжденные обаяніемъ польской культуры, ея „вольностью“ и „неподлежностью“, не захотѣли оставаться „русичами“, а всѣ окунулись въ „золотую польщизну“.

Ополяченіе всего, что входило въ очерченныя ниже границы, што неи-

мовѣрно быстрыми шагами — ополяченіе вѣры, обычаевъ, одежды, образа жизни, языка. И это было не насильственное ополяченіе, не изъ-подъ палки, а ополяченіе вольное, любовное: каждому болѣе или менѣе образованному русскому хотѣлось если не быть полякомъ совсѣмъ, то хоть походить на него, подражать ему въ языкѣ, въ костюмахъ, въ манерахъ, въ жизни... Я не говорю о русскихъ московскаго государства — это особь-статья: межъ „москалями“ и поляками были свои историческіе счеты. Но „хохлу“ пока еще незачто было не любить поляка — и онъ любилъ его, вѣрилъ ему, подражалъ ему, и самъ становился полякомъ съ головы до ногъ, даже болѣе полякомъ, чѣмъ настоящій, „уродзонай“ полякъ — *plus royal que roi*; такими стали хохлы Жолкевскіе, Ходкевичи, Тышкевичи, Вишневецкіе, Сапѣги, Пацы — столпы польской аристократіи во всѣ послѣдующіе вѣка. Надъ хохлами сбывалась историческая истина: побѣждаетъ всегда любовь и свобода, а насиліе всегда проигрываетъ. Этой-то свободой и любовью и завоевали поляки себѣ всю Малую, Червоную, Бѣлую и иныя Руси, кромѣ Московской, Великой. Литературный, ученый и юридическій языкъ хохла сталъ чисто-польскимъ или сколкомъ съ него во всемъ: хохолъ XVI и XVII-го вѣка писалъ также свободно по-польски, какъ онъ нынѣ пишетъ по-русски. Я говорю не объ ополячившихся хохлахъ, а о тѣхъ даже, которые протестовали противъ этого ополяченія. Они не только писали по-польски, но не могли, не умѣли иначе писать, потому что „писанаго“ хохлацкаго языка не существовало вовсе, а былъ разговорный народный языкъ. Тогдашній Руссо или хохлолюбъ, воображая, что пишетъ по-украински, писалъ именно по-польски, — такъ сильно господствовалъ польскій духъ во всемъ, къ чему ни прикасался его творческій гений.

Однимъ словомъ, поляки сдѣлали громадные завоеванія — и духовныя, и территоріальныя. Оставалось окончательно завоевать украинскій народъ. Они его уже и завоевали почти, но не оружіемъ, а свободою. Украинскому народу жилось хорошо подъ польскимъ владычествомъ. Онъ имѣлъ полную свободу передвиженія: могъ переходить отъ пана къ пану, съ однихъ земель на другія, гдѣ казалось ему льготнѣе. Земли у него было вдоволь, да и земля благодатная.

Но Польша измѣнила одному изъ главныхъ принциповъ своей государственности — свободѣ, и черезъ это лишилась свободы сама; она захотѣла отнять эту свободу у „хохловъ“, у хлоповъ; она насиліемъ хотѣла ускорить ополяченіе въ краѣ, окатоличеніе хохловъ, и эти хохлы погубили ее, ибо насиліе въ концѣ концовъ всегда убиваетъ насилующаго вмѣсто насилуемаго...

Передъ нами замокъ князей Острожскихъ, знаменитыхъ въ исторіи просвѣщенія Руси своимъ покровительствомъ типографскому дѣлу. Замокъ этотъ величественно высится надъ красиво извивающеюся Горынью и господствуетъ не только надъ всѣми зданіями и церквями Острога, но и надъ цѣлымъ всхолмленнымъ краемъ съ его красивыми рощами и дремучимъ боромъ, растянутымъ на десятки верстъ. Башни замка, въ перемежку

съ высокими тополями, гордо тянутся къ небу, а почернѣлыя крыши и зубчатая стѣны съ узкими прорѣзями, узкія, неправильно расположенныя окна, тяжелыя массивныя ворота подъ башнями, кое-гдѣ торчащія черныя пасти пушекъ въ стѣнныхъ прорѣзяхъ—все это дѣйствительно напоминаетъ мрачный „острогъ“, въ которомъ томятся люди въ ожиданіи казни.

Но внутри этого мрачнаго дѣтища среднихъ вѣковъ было далеко не то. Снаружи—все грозно, мрачно и неприступно для непріятеля, которымъ въ то откровенное время могъ быть всякій сосѣдъ; внутри — роскошь, блескъ, грубое, бросающееся въ глаза богатство и такое же грубое, широкое радушіе для дорогихъ гостей, которые, можетъ быть, недавно были врагами.

Особенно былъ знаменитъ своимъ гостепрѣимствомъ этотъ замокъ при отцѣ настоящаго его владѣльца—при князѣ Василии-Константинѣ Острожскомъ, за восемь лѣтъ передъ этимъ скончавшемся почти столѣтнимъ старикомъ. Тутъ, въ мрачныхъ, но ярко освѣщенныхъ залахъ или среди зелени замковаго сада, пировали и короли польскіе, и знатнѣйшіе магнаты „золотоу вѣка“ этого блестящаго „лыцарства“; по цѣлымъ мѣсяцамъ гостили и иностранцы изъ всѣхъ странъ свѣта, и высшіе духовные сановники Рима, и знатныя духовныя лица Востока, тутъ, среди гостей, можно было видѣть и князя Курбскаго, перваго русскаго эмигранта и врага Грознаго царя, и ораторствующаго польскаго Іоанна Златоуста, знаменитаго іезуита Петра Скаргу; тутъ терлись среди вельможныхъ гостей знаменитые въ исторіи нашего „смутнаго времени“ иноки Варлаамъ и Михаилъ; промелькнула и загадочная фигура молодого рыжаго чернеца съ бородавкой, оказавшагося впоследствии якобы московскимъ царевичемъ Димитріемъ.

Обнесенный мрачными стѣнами съ башнями, обширный замокъ составлялъ какъ-бы особый городъ съ великолѣпнымъ палацомъ, официнами и множествомъ другихъ зданій для дворцовой шляхты, для музыкантовъ, типографщиковъ и для цѣлой стаи гайдуковъ, доѣзжачихъ, „лакузовъ“ и всякой дворской челяди. Къ главнымъ воротамъ замка, украшеннымъ массивнымъ позолоченнымъ гербомъ князей Острожскихъ, вела широкая аллея, обсаженная роскошными пирамидальными тополями. Княжескій палацъ стоялъ на горѣ фасомъ къ Горыни, а отъ широкаго крыльца и крытой съ колоннами галлерей по полугорѣ раскинутъ былъ внутренній замковый садъ, украшенный дорогими растеніями мѣстной и тропической флоры, изъ-за которыхъ бѣлѣлись мраморныя статуи прекрасной итальянской работы, граціозно выглядывали изящныя павильоны и кіоски. Слышался пемулкаемый плескъ фонтановъ, шумъ искусственныхъ водопадовъ, низвергавшихся съ сѣрыхъ, проросшихъ зеленою скаль, нагроможденныхъ руками покорныхъ пеласговъ—хлоповъ...

Внутри палацъ блестѣлъ пышною, подавляющею роскошью. Горы золотой и серебряной посуды, разставленной на обтянутыхъ малиновымъ бархатомъ полкахъ въ видѣ амфітеатра, дорогое оружіе, покрывавшее стѣны, олени и туры рога, шкуры и чучелы медвѣдей, стоящихъ на заднихъ

лапахъ и держащихъ передними лапами массивныя серебряныя канделябры, живописныя изображенія на стѣнахъ главнѣйшихъ видовъ въ безчисленныхъ, разбѣянныхъ по всей Украинѣ княжескихъ „маіонткахъ“, яркіе горящіе золотомъ и серебромъ образцы чеканнаго искусства, дорогіе, словно усыпанные живыми цвѣтами ковры, блестящіе и ослѣпляющіе золотою и серебряною мишурой гайдуки и пахолки, какъ-бы составлявшіе часть дворцовой утвари и мебели,—все это поражало глазъ, давило массивностью и грубымъ эффектомъ, било по нервамъ, если только таковыя полагались въ то сангвиническое время...

Въ замкѣ гости. Послѣ роскошнаго обѣда ксенже Янушъ, владѣлецъ этого чуднаго палаца, пригласилъ своихъ вельможныхъ сотрапезниковъ на галлерей—подышать свѣжимъ воздухомъ. На галлерей между зеленью разставлены столы и столики, унизанные батареями фляжекъ и покрытыхъ мохомъ бутылокъ „старого венгрчины“, мушкетеля, мальвазій, ревуль, аликантовъ и другихъ всевозможныхъ винъ и медовъ. Турпіи рога на ножкахъ и массивныя стопы опоражниваются, *ad maiorem Dei Poloniæque gloriam*, по мѣрѣ наполненія ихъ прислуживающею вельможнымъ гостямъ благородною шляхтою... Хлоповъ здѣсь нѣтъ, а все свой братъ „уродзоны“ полякъ, и потому панство можетъ говорить откровенно... Гайдуки и пахолки сидятъ теперь по официнамъ и тоже пируютъ, подражая панству и хвастаясь богатствомъ и вельможностью своихъ господъ... Рай, а не жизнь!..

Ясневельможный ксенже Янушъ—видный мужчина, уже далеко не первой молодости: онъ уже при покойномъ крулѣ его милости Стефанѣ Баторіи былъ смышленнымъ ксенгентомъ, а *reverendissimus pater* Скарга возлагалъ на него свои католическія надежды. Въ круто „закреационныхъ“ вонсахъ“ князя Януша уже давно серебрится сѣдина, искусно прикрываемая французскими и итальянскими фабрами. Лысая голова князя краснорѣчиво говоритъ о томъ, что этою головою больше пожито и выпито, чѣмъ продумано. Подъ сѣрыми безцвѣтными глазами висятъ мѣшечки: можно было подумать, что это тамъ, подъ кожей, накопились мѣшечки слезъ, не выплаканныхъ въ теченіе веселой, беззаботной жизни... Да и когда ихъ было выплакивать!.. Короткія ножки князя Януша какъ-то неохотно носятъ на себѣ полное, упитанное тѣло своего владыки, которое привыкло болѣе пользоваться лошадиными и хлопскими ногами, чѣмъ своими собственными, созданными развѣ только для мазура да для расшаркиванья передъ прелесными паянами... А шаркано много, и мазура танцовано охъ какъ много!

— А я хочу васъ, панове, угостить такимъ виномъ, какого, я увѣренъ, нѣтъ и въ погребѣхъ его милости пана круля, — сказалъ князь Янушъ, многозначительно покручивая свой нафабранный усь и окидывая торжественнымъ взоромъ присутствующихъ.

Слова эти привлекли всеобщее вниманіе: польскіе паны любили похвастаться рѣдкими винами другъ передъ другомъ, и это какъ-бы составляло ихъ національную гордость.

— Слово гонору, панове!—такое вино, такое!..—И князь Янушъ, сложивъ пучкомъ свои пухлые пальцы, слегка дотронулся до нихъ губами.

— А изъ какихъ, панъ ксенже?—спросилъ высокій, бѣлокурый и сухой гость съ холодными сѣрыми глазами, которые, казалось, никогда не улыбаются, какъ не улыбаются и его сухія губы.

— Старого венгржина, пане ксенже,—отвѣчалъ князь Янушъ, медленно переводя глаза на сухого гостя и какъ-бы тоже спрашивая: что-жъ дальше?

Гость равнодушно посмотрѣлъ на него холодными глазами.

— А какъ оно старо? Старше меня съ паномъ?—спросилъ онъ.

Князь Янушъ еще выше задралъ свой усъ.

— Гмъ!—улыбнулся онъ:—это вино, пане ксенже, видѣло, какъ вѣчной памяти круль Владиславъ третій Ягайловичъ короновался венгерскою короною. Его милость круль Владиславъ прислалъ тогда-же изъ Венгріи моему предку князю Острожскому двѣнадцать дюжинъ этого божественнаго напитка.

И князь Янушъ, подойдя къ столу, открылъ серебряный колпакъ въ видѣ колокола, подъ которымъ на такомъ-же серебряномъ блюдѣ стояла покрытая мохомъ бутылка. Нѣкоторые изъ гостей тоже подошли къ столу—взглянуть на древность.

— Вспомните, панове, что эта ничтожная склянка съ заключенною въ ней влагою пережила и своего перваго хозяина, злополучнаго короля Владислава, погибшаго подъ Варною, и славнаго Казимира, и Сигизмунда Августа... Это жалкое стекло пережило домъ Ягеллоновъ, но въ немъ живеть душа Ягеллоновъ... Выпьемте же, панове, за вѣчную память этого славнаго дома, съ которымъ Польша достигла неувялой славы и могущества! Выпьемъ изъ этого сосуда, на которомъ я вижу прахъ нашихъ славныхъ предковъ!

И князь Янушъ торжественно дотронулся до горлышка бутылки.

— Правда, пане ксенже, я слышу запахъ гроба, — тихо и грустно сказалъ одинъ изъ гостей, юноша лѣтъ двадцати, съ смуглымъ лицомъ южнаго типа и съ умными, задумчивыми глазами:—эта бутылка пережила золотой вѣкъ Польши, а ея другія сестры переживутъ насъ.

— О! непременно переживутъ!—беззаботно воскликнулъ князь Янушъ.— Я объ остальныхъ бутылкахъ и въ своей духовной упоминаю... Я завѣщаю тому поляку, который сядетъ на московскій престолъ и коронуется шапкой Мономаха, выпить одну бутылочку въ память обо мнѣ.

Князь Янушъ подаль знакъ одному изъ прислуживавшихъ шляхтичей, чтобъ тотъ раскупорилъ завѣтную бутылку. Вертлявый шляхтичъ, ловко звякнувъ „острогами“ въ знакъ вниманія и почтительности къ ясновельможному пану воеводѣ, подскочилъ къ бутылкѣ съ такимъ „рыцѣрскимъ“ видомъ, какъ-бы это была дама, которую онъ приглашалъ на мазура. Онъ осторожно взялъ бутылку и, обернувъ ее салфеткой, сталъ откупоривать засмоленное горлышко: онъ, казалось, священнодѣйствовалъ.

Бутылка раскупорена. Драгоценная влага налита въ маленькія рю-

мочки. Гости смакуютъ двухсотлѣтнюю древность, пережившую и ихъ отцовъ, и славу Польши.

— Аромать! Я слышу, тутъ сидитъ душа Ягеллонова! — восторгался одинъ гость.

— *Divinum!* — прогдѣдилъ сквозь зубы панъ бискупъ.

Князь Янушъ видимо торжествовалъ.

— Въ погребѣ моего отца есть нѣчто древнѣе этого, панове, — ска- залъ одинъ изъ гостей, бѣлокурый юноша съ голубыми глазами, ставя рюмку на столъ.

— Что говорить панъ Томашъ? — отозвался князь Янушъ, поднявъ голову какъ припиренный конь.

— Панъ Томашъ говорить о реликвіяхъ своего отца, почившаго въ мирѣ пана Яна Замойскаго, — пояснилъ панъ бискупъ, повидимому, любуясь цвѣтомъ вина въ своей рюмкѣ.

— Реликвию почившаго пана Яна? — удивился хозяинъ.

— Да, пане ксенже, — лѣниво отвѣчалъ бѣлокурый юноша: — въ погребѣ моего отца сохранилась еще одна бочка меду изъ присланныхъ нашему предку ея милостью королевою Ядвигою въ память соединенія Литвы съ Польшею... Я радъ буду угостить этимъ медомъ пановъ, если они сдѣлаютъ мнѣ честь — навѣстятъ меня въ моему замкѣ въ Замостьѣ.

Со всѣхъ сторонъ посыпались любезности и похвалы домамъ Замойскихъ и Острожскихъ и ихъ славнымъ, недавно умершимъ представителямъ — пану Яну Замойскому и князю Василию-Константину.

— Нѣхъ бѣздзе Езусъ, похвалены! — заключилъ панъ бискупъ, ставя пустую рюмку на столъ.

— На вѣки вѣкувъ! — отвѣчалъ хозяинъ.

— А чи не осталось у кого-либонъ изъ ясновельможныхъ пановъ хочай одной бутылочки изъ того вина, которымъ нѣкогда упивался праотецъ нашъ, Ной небожчикъ? — отозвался вдругъ голосъ, доселѣ молчавшій. — Мню же, то есть самое старе вино...

Всѣ съ изумленіемъ посмотрѣли на вопрошающаго. Никто сразу не нашелся, что отвѣтить. Князь Янушъ, казалось, подмигивалъ и однимъ глазомъ, и усомъ въ ту сторону, гдѣ сидѣлъ бѣлокурый юноша, похвалившійся древностью своего меда.

„Не въ бровь, панове, а прямо въ глазъ“, казалось, говорилъ коварно моргающій усъ князя Януша: „каковъ хохолъ!“

V.

Прежде чѣмъ продолжать настоящій рассказъ, не лишнимъ будетъ познакомиться съ нѣкоторыми изъ гостей, находящихся теперь у князя Януша Острожскаго.

Гости все замѣчательные. Не одинъ изъ нихъ оставилъ слѣдъ въ исторіи Польши и южной Руси. Высокій, совсѣмъ еще молодой сухой блон-

динъ съ холодными сѣрыми глазами—это князь Іеремія Корибутъ-Вишневецкій, одинъ изъ богатѣйшихъ и родовитѣйшихъ вельможъ южной Руси, владѣлецъ необозримыхъ маѣнтковъ и иныхъ богатствъ на правой и лѣвой сторонѣ Днѣпра, гордый и древностью рода, и своими огромными связями. Онъ уже давно ополчился, давно проникнулся обаятельной культурой Запада; но онъ терпитъ вѣру предковъ—православіе, но не по убѣжденію, не по влеченіямъ сердца, а такъ себѣ—по привычкѣ, по панской традиціи, да и потому еще, что мать его, Раида, дочь молдавскаго господаря Могилы, не любила бритыхъ ксендзовъ, а охотнѣе бесѣдовала о спасеніи души съ волосатыми и бородатыми попами и монахами „греческой“, хлопской вѣры, вродѣ хоть бы вотъ этого коряваго и загорѣлаго „шленды“, что заговорилъ о Ноѣ и его винныхъ погребяхъ...

Этотъ „шленда“ смотритъ не то монахомъ, не то попомъ, не то запорожцемъ, хотя безъ чуба—такое на немъ странное одѣяніе и большущіе чоботищи съ подковами. Въ желтыхъ глазахъ его и на тонкихъ губахъ постоянно играетъ какъ будто насмѣшливая или недовѣрчивая улыбка. Это—Мелетій Смотрицкій, ученѣйшій изъ всѣхъ „хохловъ“ и злѣйшій врагъ отцовъ іезуитовъ. Онъ много читалъ, многому учился, много писалъ, въ особенности противъ уніи. Политически-богословскій памфлетъ его—„Вирши на отступниковъ“—надѣлалъ много шума во всей южной Россіи и Польшѣ и создалъ ему много враговъ. Но Мелетій—этотъ корявый „шленда“—чувствовалъ свою силу: долго побродивъ въ Европѣ въ качествѣ учителя одного литовскаго панича вельможи, наслушавшись ученѣйшихъ профессоровъ лучшихъ европейскихъ университетовъ этотъ хохолъ боролся съ своими врагами не какъ неучъ, а во всевооружіи тогдашней учености. Не разъ онъ схватывался, на веселыхъ диспутахъ у стараго князя Острожскаго, съ знаменитымъ польскимъ Демосееномъ—Петромъ Скаргою, и всегда, по выраженію стараго князя, выбивалъ у него либо зубъ, либо ребро, хотя и самъ иногда отступалъ съ „махіне подбитыми глазами“. Теперь этотъ „шленда“ надѣлалъ новаго шума своимъ памфлетомъ—„Плачъ восточной церкви“, выпустивъ его въ свѣтъ подъ псевдонимомъ „Феофила Ореолога“, и княгиня Раида, въ восторгѣ отъ этого „Плача“, приглашала учить и воспитывать своего сына Іеремію—не ученаго іезуита, не шаркающаго патера, а именно этого коряваго шленду“, какъ называлъ его въ шутку князь Іеремія.

Тотъ изъ гостей князя Януша, которому показалось, что отъ бутылки съ „старымъ венггриномъ“ пахнетъ могильною затхлостью, юноша съ черными глазами и южнымъ типомъ—это почти державный юноша, сынъ бывшаго молдавскаго господаря Могилы, Петръ Могила. Онъ учился въ Парижѣ, въ коллегіи, а послѣ потери отцомъ его, господаремъ Симеономъ, престола Молдавіи и Валахіи, юный господаричъ долженъ былъ искать убѣжища въ Польшѣ и теперь состоялъ въ войскахъ пріютившей его республики. Вотъ его-то двоюродная сестра Раида и была женою князя Михаила Вишневецкаго и поклонницею волосатаго „Ореолога“.

Смелый юноша, блѣлокурый и блѣдный, похвалившійся, что въ его на-
дѣленныхъ погребахъ есть меду, сохранившіеся отъ временъ королевы
Бонны и вызвавшій замѣчаніе о винныхъ погребахъ праотца Ноя, былъ
Замойскій, сынъ знаменитаго Томаша Замойскаго,—богатѣйшій женихъ во
всѣхъ королевъ польской, въ Литвѣ и южной Руси.

Наконецъ „панъ бискупъ“ въ дорогой фіолетовой сутанѣ, чистенькій,
блестящій, съ бѣлыми изящными руками и дорогими манжетами—это Юса-
фъ Кунцевичъ, „новый апостолъ Литвы“, надежда Рима и католической
Литвы, и въ то же время врагъ коряваго и волосатаго Мелетія Смот-
чковаго.

Когда Мелетій спросилъ, не осталось-ли у кого-либо изъ пановъ хоть
одной бутылки того вина, которымъ упился Ной, Кунцевичъ вскинулъ на
него своими ласковыми лисьими глазами и, поднявъ брови, словно въ по-
мыслѣ благочестія, сказалъ:—А это пану Орелюгу лучше знать.

— Почему, пане бискупе?—улыбнулся князь Янушъ.

— Потому, ясновельможный ксенже, что ключи отъ погреба Ноя на-
ходились у нихъ.

— У кого—у нихъ?

— У пана Хама, праотца схизматиковъ.

Злая шутка пана бискупа разсмѣшила пановъ.

— Слово гонору! Панъ бискупъ правду говорить! Правда! правда!
одобрили гости.

Мелетій молча улыбался. Всѣ на него смотрѣли, какъ-бы ожидая отвѣта.

— А я еще больше скажу, панове,—отвѣчалъ онъ на обращенные къ
нему взгляды:—мы, хамы, выпили все старое вино своихъ праотцевъ и
теперь пьемъ токмо горѣлку.

— Браво! браво!—одобрялъ панъ хозяинъ.

— А я боюсь, панове,—сказалъ серьезно юный Могила,—какъ бы они,
эти хамы, выпивъ свою горѣлку, не вздумали потомъ забраться и въ
ваши погреба... А на то похоже...

— Панъ господарчикъ неправо говорить,—вмѣшался панъ бискупъ:—
хамамъ у вельможныхъ пановъ не жизнь, а рай.

— О, не желалъ бы я пану бискупу такого рая!—горячо возразилъ
юный Могила.—Развѣ вы забыли, что пишетъ вамъ, панамъ бискупамъ и
всему панству, Іоаннъ изъ Вишны? Не вы ли—говоритъ онъ—забираете
у бѣдныхъ подданныхъ изъ оборы кони, волю, овцы, тянете съ нихъ де-
нежныя дани, дани пота и труда, обдираете ихъ до живого, обнажаете,
мучите, томите, гоните лѣтомъ и зимою въ непогоднее время на комяги и
шкуны, а сами, точно идолы, сидите на одномъ мѣстѣ, и если случится
перенести сей оплодотворный трущъ на другое мѣсто, то переносите его
безскорбно на колыскахъ, какъ будто и съ мѣста не трогаясь!

Юный Могила, забывши, гдѣ онъ и съ кѣмъ, говорилъ точно съ ка-
редры, обращаясь больше къ пану бискупу и воодушевляясь все болѣе и
болѣе. На смуглыхъ щекахъ его выступилъ румянецъ, въ голосѣ звучало

убъяденіе. Мелетій Смотрицкій, весь обратившись во вниманіе, глядѣлъ на юношу съ восторгомъ, прочіе гости—съ удивленіемъ и недоумѣніемъ. Одинъ князь Янушъ лугаво улыбался.

— Реторика, пане Могила, манахеская реторика!—пожималъ плечами панъ бискупъ. — Кто-же изъ хлопскаго поту дѣлалъ злотые, пане? Да они бы и воняли...

Гости разсмѣялись.

— Не смѣйтесь, ясновельможные панове!—серьезно сказалъ Смотрицкій. Его милость господарчикъ говорить святую истину... Тільки не паны тутъ винни...

— А кто, пане Ореолугу?—спросилъ хозяинъ.

— Той, якъ кажуть, ясновельможный пане ксѣнже, кто забравсь у очереть та й шелестить.

— А кто въ очерети?

— Палижникъ, пане ксѣнже... Недаромъ посольство аки бчолы летать за пороги.

— Панъ Мелетіушъ говоритъ правду, панове,—отозвался молчавшій до этой минуты князь Вишневецкій, смакуя остатки венгрина въ рюмкѣ:—этотъ мотлохъ все ростеть... Хлопы цѣлыми ватагами уходятъ въ Запорожье: тамъ у нихъ появился какой-то отважный ватажокъ, Конашевичъ-Сагайдачный, и хлопство все больше и больше поднимаетъ голову.

— Пустое, пане ксѣнже!—безпечно перебилъ князь Янушъ:—стоитъ только этому быдлу рога сбить...

— Пу, панъ ксѣнже легко смотреть...

— Легко! Наливайко ужъ попробовалъ мѣднаго вола...

— Теперь не Наливайкомъ пахнетъ, пане ксѣнже... Вонъ при мнѣ черезъ Кіевъ проѣхали къ этимъ галганамъ послы новаго московскаго царя...

— Фе-фе-фе! Московскаго царя! какого, пане ксѣнже? Что въ лаптяхъ?

— А хоть-бы и въ лаптяхъ...

— Ну—это пустое... Царица Марина дастъ имъ нашего царя...

— Въ самомъ дѣлѣ, панове,—выѣшался вновь въ разговоръ юный Могила,—что слышно о царицѣ Маринѣ и объ ея царевичѣ?

— Есть вѣсти, что они въ Астрахани,—отвѣчалъ князь Вишневецкій.

— На своемъ царствѣ, панове!—пояснилъ князь Янушъ.—А! кто-бы могъ подумать, что эта черноглазенькая Марыньця, которую я зналъ вотъ такой—и князь Янушъ приподнял надъ столомъ свою пухлую ладонь не болѣе какъ на двѣ четверти—и носилъ на подносѣ какъ букетъ цвѣтовъ,—кто-бы, панове, могъ подумать, что эта маленькая Мишикова будетъ царицей московской и астраханской!

— Да, была,—вздыхнулъ юный Могила.

— Какъ и ты, пане, могъ быть господаремъ молдавскимъ,—вставилъ молодой Замойскій.

Князь Янушъ мигнулъ шляхтичамъ-прислужникамъ, чтобы снова наполнили бокалы.

Выпьете, панове, за здоровье царицы Марины и царевича!—громко сказали онъ и встали.

Нѣкоторые изъ гостей тоже встали и, взявъ бокалы, подвѣли ихъ вверхъ. Мелетій Смотрицкій сидѣлъ неподвижно, какъ-бы наблюдая за оолачкомъ, которое тихо плыло по голубому небу.

Нѣхъ жіе Марина царица московска!—возгласилъ князь Янушъ.

Нѣхъ жіе царица Марина! Нѣхъ жіе царевичъ! Нѣхъ жіе злата вольность!—раздались голоса.

Слово гонору, панове!—воскликнулъ панъ Будзило, кругленькій панокъ, закручивая свои кругленькіе усики:—я еще разъ побываю въ Москвѣ.

— А развѣ панъ опять захотѣлъ кошатины да мышатины?—лукаво улынулся своими желтыми глазами хитрый хохолъ Мелетій.

— Ну, нѣтъ, пане Ореологу,—теперь будетъ не то... А проклятое это было, панове, времячко, какъ мы сидѣли въ Кремлѣ и какъ насъ вымаривали эти—Мининъ да Пожарскій,—ужъ и времячко!—началъ панъ Будзило, входя въ свою роль.—Повѣрите-ли, панове, когда мы все поѣли, что тамъ у насъ было, мы стали воровать у лошадей овесъ и сами съѣдали, точно кони. Не стало осва—коней поѣли! Не стало коней—стали ѣсть траву, всякіе корни, а тамъ сначала собакъ всѣхъ переѣли, потомъ кошекъ...

— А не царапали пана кошки?—подзадоривать хозяинъ, подмигивая гостямъ.

— Царапали, пане ксѣнже, да это что!—и кошекъ не стало...

— Безъ кошекъ васъ мыши, я думаю, съѣли?—подмигивать хозяинъ.

— Нѣтъ, пане ксѣнже, мы ихъ сами поѣли.

— И послѣ того не мяукали по-кошачьи?

— Мяукали, да еще какъ, пане ксѣнже! Особенно, панове, пришлось мяукать, какъ ничего не осталось кушать, кромѣ падали и мертвецовъ: этихъ и изъ земли вырывали и ѣли...

— Безъ соли?

— Безъ соли, пане... А тамъ начали ѣсть живыхъ—другъ дружку... Начали съ пѣхоты...

— А панъ не въ пѣхотѣ служилъ?—допрашивалъ князь Янушъ.

— Нѣтъ, пане ксѣнже, я выросъ на конѣ... Вотъ и начали ѣсть пѣхоту... Однажды спохватились—нѣтъ цѣлой роты: всю роту пана Лесницкаго съѣли... Одинъ пѣхотный поручикъ съѣлъ двухъ сыновей своихъ, одинъ гайдукъ съѣлъ сына, другой—мать-старуху. Офицеры повиѣли своихъ денщиковъ и гайдуковъ, а то случилось, что и гайдуковъ съѣдалъ пана...

— Ахъ онъ лся кревь!—не вытерпѣлъ одинъ панокъ.—Какъ-же это хлопъ смѣлъ ѣсть пана?

— Съѣлъ, пане, что будешь дѣлать! Ужъ мы такъ и остерегались другъ дружки—вотъ-вотъ накинется и съѣстъ... А потомъ, панове, мы такое правило постановили: родственникъ можетъ ѣсть родственника, какъ-бы по наслѣдству, а товарищъ—товарища... Не одинъ разъ и судились изъ-за этого: случилось, что иной съѣдалъ своего родственника, дядя пле-

мянника, а у съѣденнаго былъ ближайшій родственникъ—отецъ: такъ при- судили отцу за съѣденнаго у него братомъ сына—съѣсть этого брата.

— И съѣлъ?

— Съѣлъ, панове... А то другое такое судное дѣло было во взводѣ пана-же Лесницкаго: гайдуки съѣли умершаго въ ихъ взводѣ гайдука—товарища. Такъ родственникъ съѣденнаго, гайдукъ изъ другого взвода, предъявилъ своему ротмистру искъ на тотъ взводъ, который съѣлъ его родственника, доказывая, что онъ имѣлъ больше права съѣсть его какъ родственника, а тотъ взводъ доказывалъ, что онъ имѣлъ ближайшее право на умершаго въ ихъ взводѣ товарища:—„это, говорятъ, наше счастье“...

— Боже мой! Какой ужасъ!—тихо всплеснулъ руками юный Могила.

— А удивительный все-таки, панове, былъ этотъ неразгаданный че- ловѣкъ!—задумчиво сказалъ панъ бискупъ.

— Кто?—спросилъ князь Янушъ.

— Да этотъ Димитрій, что былъ царемъ московскимъ: я все что-то подозрѣвалъ въ немъ.

— Да имнѣ онъ казался не простой птицей.

— А ваша мосць, ксенже, развѣ зналъ его лично?

— Какъ же, пане бискупе: онъ сначала въ нашемъ дворѣ толкался съ московскими монахами, съ греками, казѣками да недоучившимися ры- бальцами и спудеями... У покойнаго батюшки вѣдь тутъ было просто ва- вилонское столпотвореніе. Кого тутъ не перебивало!.. Часто я видѣлъ его—царевича-то въ подряничкѣ—какъ онъ все о чемъ-то шептался вотъ съ этимъ галганомъ, съ Конашевичемъ-Сагайдачнымъ, что теперь, говорятъ, атамануетъ въ Запорожьѣ. Сагайдачный тоже болтался тутъ одно время, когда вышелъ изъ братской школы.

— Ваша княжеская мосць говорить, что Сагайдачный учился въ брат- ской школѣ?

— Да, здѣсь въ Острогѣ, пане бискупе; но это было давно.

— Жаль... Его мосць князь Василій, вашъ батюшка, много способ- ствовалъ разведенію этой саранчи—тѣго пржеклентого схизматства.

— Но онъ же, пане бискупе, усердно служилъ и интересамъ свя- того отца.

— Ваша мосць говорить правду... Только не надо было плодить этихъ Сагайдачныхъ...

— И всѣхъ этихъ, пане, „Грицей“,—добавилъ юный Замоискій.

— Какую же шкоду чинять вамъ эти Сагайдачные и „Грици“, па- нове?—вмѣшался Мелетій Смотрицкій.

— Много шкоды... Они ссорять Рѣчь Посполитую съ Турцією.

— А не они-ли, пане, помогали Рѣчи Посполитой въ ея войнѣ съ Москвою? Да они жъ, пане, эти грязные „Грици“, и орютъ, и сѣють, и жнутъ для васъ, и служатъ вамъ.

— На то они хлопы—быдло паньске...

— На то ихъ и панъ Бугъ создалъ, панове,—подтвердили гости.

Ха-ха-ха! —разразился вдруг князь Янушъ:—посмотрите, панове! Ха-ха-ха!

Князь Янушъ, охвативши пухлый животъ обѣими ладонями, залился смѣхомъ.

Потомъ взглянулъ по тому направленію, куда смотрѣлъ хотавшій ходить. Съ замковой террасы, на которой среди роскошной зелени прокладывалась пана, видна была извилистая, тонувшая въ зелени Горынь и далекое Загорынье, и ближайшая тополевая аллея, которая вела къ главнымъ замковымъ воротамъ. По этой аллеѣ, подымая страшную пыль, двигалось что-то необыкновенно странное: ѣхала небольшая крытая таратайка, въ которую вмѣсто лошадей, казалось, впряжены были люди, и звенѣлъ дорожный колокольчикъ.

— Ха-ха-ха-ха! —не унимался князь Янушъ.—Точно въ Римѣ триумфальная колесница, запряженная плѣнными царями.

— Правда, панове, онъ ѣдетъ на хлопахъ, — подтвердилъ панъ Будаило.

— Да это патерь Загаило,—пояснилъ панъ бискупъ:—онъ такъ называетъ непокорныхъ схизматиковъ или совратившихся въ схизму... Онъ очень ревностный служитель церкви, и его святой отецъ лично знаетъ.

Станный поѣздъ между тѣмъ приближался. Впереди ѣхалъ конный жолнеръ со значкомъ въ рукахъ, на которомъ изображено было распятіе. За жолнеромъ слѣдовалъ самъ патерь Загаило. Онъ сидѣлъ въ легкой, плетеной таратайкѣ, словно въ рѣшетѣ или въ корзинѣ, въ какихъ возятъ на гулянье дѣтей. Верхъ таратайки былъ тоже плетеный съ сафьяннымъ фартукомъ.

Таратайку съ патеромъ везла запряженная въ нее шестерка хлоповъ. Это были почти все молодые парни и одинъ уже съ простѣю, худой и понурый. Запряжены они были такъ, что впереди шло двое, какъ обыкновенно ходили въ старину кони „цугомъ“ и „на выносъ“, а сзади, у самой таратайки, четверо. За таратайкою слѣдовалъ другой конный жолнеръ. Къ концу дышла подвязанъ былъ колокольчикъ, который и звенѣлъ при движеніи необыкновеннаго поѣзда.

При вѣздѣ на замковый дворъ хлопы прибавили рыси. Видно было, что молодежь дѣлала это съ умысломъ — просто озорничала: иной закидывалъ назадъ голову, изображая ретиваго коня, другой семенилъ ногами и ржалъ, третій, казалось, брыкался...

— Ги-ги-ги-ги! —ржалъ коренастый парубокъ, подражая жеребцу.

— Ой лищечко! Грицько задомъ бьетъ! — дурачились другой хлопецъ.

— Держите! держите меня, пане, а то брыкаться буду! —кричалъ третій.

Патерь, высунувшись изъ таратайки, хлестнулъ сплетеннымъ изъ тонкихъ ремешковъ хлыстомъ разыгравшихся хлоповъ и благочестиво поднялъ глаза къ небу...

— Пеккави, доминне! —пробормоталъ, онъ, пряча хлысть.

Таратайка бойко подкатила къ замковому крыльцу, на которомъ уже стоялъ хозяинъ съ нѣкоторыми изъ гостей.

Сухой и сморщенный патеръ, поддерживаемый спѣшившимися жолнерами, выползъ изъ таратайки.

— Нѣхъ беддзе Христусъ Езусъ похвалены!—привѣтствовалъ онъ хозяина и гостей.

— На вѣки вѣкувь!—отвѣчала князь Янушъ съ гостями.

Запряженные хлопы стояли у крыльца и съ любопытствомъ смотрѣли на пановъ, какъ деревенскіе дѣти смотрятъ на медвѣдей. Паны также смотрѣли на нихъ съ веселымъ самодовольствомъ, какъ на отличнѣйшую и курьезнѣйшую выдумку патера Загайлы: ни тѣмъ, ни другимъ не было стыдно, и только хлопъ съ просьбѣю глубоко опустил свое хмурое, потытое потомъ и пыльное лицо...

— И это вольнощъ, рувнощъ, неподлеглощъ!—съ горестной задумчивостью проговорилъ какъ-бы про себя молодой Могила и отвернулся.

Всѣ снова вошли въ палацъ.

VI.

Въ то время, когда вельможные паны проклажались въ палацѣ князя Януша Острожскаго, разсуждая о своихъ панскихъ дѣлахъ, подъ горою, на выѣздѣ изъ Острога, на дворѣ зажиточнаго острожскаго „обывателя“ Омелька, по прозванію Дряпъ-киця, тоже „въ холодку“, подъ „повиткою“, сидѣли хлопы и тоже толковали о своихъ хлопскихъ дѣлахъ. Обширный дворъ былъ заставленъ разными принадлежностями хозяйства: плугъ съ опрокинутымъ кверху раломъ и однимъ колесомъ безъ обода, чумацкіе возы съ малеваными ярмами, толстыя, изъ цѣльнаго вяза колеса, „мазници“ съ дегтемъ, вилы и грабли, поставленные рядышкомъ вдоль плетня,—все это занимало заднюю часть двора, гдѣ рылись въ соломѣ куры съ цыплятами, хрюкала свинья съ многочисленнымъ семействомъ, а пѣтухъ, гордо выходя и поглядывая то однимъ, то другимъ глазомъ на небо, остерегалъ повременамъ свою семью особымъ крикомъ отъ рѣявшихъ въ воздухѣ коршунѡвъ. Передняя половина двора, ближе къ хатѣ, выѣленной и расписанной у оконъ и у „присѣбы“ (заваленки) желтою глиною, занята „вишневымъ садочкомъ“, въ которомъ ярко пестрѣютъ пышные цвѣты мака, „горицвить“, васильки, нагидки, желтый дрокъ и желтыя же махровыя шапки „соняшника“. Отъ воротъ направо расположены „комори“, сарай, „стани“ съ колесомъ, вздѣтымъ на шесть: на этомъ колесѣ черѣется огромное гнѣздо аиста, изъ котораго выглядываютъ длинноносые съ длинными шеями „бусолата“, въ ожиданіи матери, шагающей по ту сторону Горыни въ высокой прибрежной травѣ. Въ сарай и изъ-подъ сараевъ съ пискомъ снуютъ ласточки и воробьи, которые ловко хватаютъ всякую играющую на солнцѣ козявку и „комашню“ и тащутъ къ своимъ крикливымъ и прожорливымъ дѣтямъ. А за ними, прикрываясь зеленью клоповника и „ка-

лачиковъ“, устилающихъ кое-гдѣ дворъ, зорко слѣдить сѣрый съ бѣлымъ грудкою котъ, котораго можно было бы принять совсѣмъ за мертваго, еслибы иногда не сверкали изъ-за зелени его фосфорическіе глаза и не шевелился кончикъ предательскаго хвоста.

Въ сторонѣ отъ всего этого, въ тѣни, бросаемой навѣсомъ или „по-виткою“, подъ которою сидѣлъ самъ Омелько съ семьею и нѣкоторыми изъ сосѣдей, лежалъ, вытянувъ переднія лапы, другъ дома — лохматый Рябо, умнѣйшій песъ, про котораго Омелько говаривалъ, бывало, гостямъ: „такой разумный собака, такой разумный, только що „Оче-наша“ не знае“. Рябо, постукивая своимъ косматымъ, усѣяннымъ репьями хвостомъ по землѣ, казалось, внимательно слушалъ, что говорилось подъ повѣтью, и выражалъ на своемъ собачьемъ лицѣ живую радость, когда Омелько говорилъ что-либо, какъ ему казалось, веселое.

А Омелько, сѣдой, съ сѣдыми, подрѣзанными у верхней губы усамъ старикъ — подрѣзанными затѣмъ, чтобы они, „гасыпидски вусы“, ему, „Омелькови шевцеви“, не мѣшали брать въ зубы дратву, — Омелько, сидя подъ повѣтью на маленькомъ трехногомъ „дзигликѣ“ и постукивая шиломъ объ сапогъ и колодку, лежавшіе у него на колѣняхъ, тачалъ „козацкій чоботъ“ и съ оживленіемъ разглагольствовалъ, допекая, повидимому, одного высококаго, съ блѣднымъ, испытанымъ лицомъ парня, сидѣвшаго верхомъ на оглоблѣ.

— И какого-жъ бѣса вы тамъ друкуете въ нашей друкарнѣ? — допытывался Омелько, продѣвая дратву въ проколъ, сдѣланный шиломъ.

— Да книжки, дядьку, друкуемъ, — отвѣчалъ, улыбаясь парень.

— Какія тамъ книжки?

— Всякія, дядьку.

— Овва! вотъ сказаѣ! всякія! Книга — это не чоботъ... Вотъ я — такъ всякіе чоботы тачаю — и козацкіе, здоровенные, и дѣтскіе, маленькіе: все оно будетъ чоботъ. А книги, небого — гай-гай! Бываетъ книга добрая, православная, бываетъ и поганая — католическая. Вотъ что!

— „Вертоградъ словесный“ друкуемъ...

— Ну, коли вертоградъ, то это что-нибудь доброе.

— Да еще „Лѣстницу духовную“.

Нѣсколько въ сторонѣ отъ этихъ собесѣдниковъ передъ сложеннымъ изъ четырехъ кирпичей маленькимъ горномъ сидѣлъ молодой усачъ. Онъ держалъ надъ огнемъ большую желѣзную ложку съ деревянною ручкой: это онъ растапливалъ свинецъ въ ложкѣ для литья пули. На колѣняхъ у усача лежала формочка для пули — нѣчто вродѣ обрубленныхъ ножницъ, и тутъ же стояла миска съ водою, въ которой должны были охлаждаться пули.

Накаливъ желѣзную ложку и растопивъ свинецъ, онъ сталъ наливать его въ формочку, предварительно перекрестившись. Послышался всплескъ воды въ мискѣ — то пуля упала въ воду.

— Первая пуля во имя Отца! — торжественно проговорилъ усачъ.

— Аминь! — подтвердилъ Омелько, моргнувъ усомъ.

Молодой парень, говорившій о томъ, какія они книги печатаютъ въ

острожской типографіи, подошелъ къ усаду, чтобы посмотрѣть на литье пуля. Подошелъ и заинтересованный этимъ дѣломъ Рябо и, махая хвостомъ, сталъ обнюхивать миску.

— Вторая пуля во имя Сына!—продолжалъ усадъ.

— Еще аминь!—подтвердилъ Омелько.

— Третья пуля во имя Духа Святого!

Усадъ перебралъ всѣхъ извѣстныхъ ему святыхъ — и „Богородицу“ и „Покрову“ особо, и „святую пятницу“, и Миколу, и Ивана „головосѣку“, и „святого Юрка“—и всѣмъ имъ отлилъ по пулѣ.

— А добрыя пули? — спросилъ молодой парень, выловивъ изъ воды одну пулю и разсматривая ее.

— Добрыя, братъ, такія добрыя, что въ самое око будутъ бить, — улыбнулся усадъ.

— Еще-бы! И свинецъ добрый!—тоже улыбнулся и парень:—свинецъ утѣный, письменный.

— Какъ письменный?—удивился Омелько, вынимая изъ рта драгву.

— Да письменный-же, дядьку,—загадочно улыбался парень: — этимъ свинцомъ польскія книги друковали.

Парень вынулъ изъ кармана нѣсколько черныхъ полосокъ и показалъ ихъ на ладони старому Омельку. То были типографскія литеры. Молодой высокій парень, котораго звали Хведькомъ, состоялъ наборщикомъ въ знаменитой тогда типографіи князей Острожскихъ, въ Острогѣ,—въ типографіи, изданія которой, въ особенности церковныя книги, цѣнятся въ настоящее время очень дорого. Хведько, который, какъ хлопъ, былъ наборщикомъ поневолѣ, по приказу стараго князя, бравшаго изъ острожской школы въ свою типографію всякаго, кого его ясновельможности угодно было взять, не чувствовалъ никакой склонности къ типографскому дѣлу. Сидѣть или болышею частью стоять передъ ящичками съ литерами въ мрачной тюрьмѣ, какою казалась типографія, съ утра до ночи щелкать противными литерами и въ это время думать о зеленомъ лѣсѣ, о полѣ, о волѣ, о козакованѣ и вслѣдствіе этого, по разсѣянности, хватать не ту литеру, какую слѣдовало, вмѣсто *буки* ставить *како*, и вмѣсто *како*—*ижицу*, и за это получать „ляпаса“ или уходранку, а то и кіемъ въ спину отъ „справщика“ или отъ пана ревизора—всего этого было слишкомъ достаточно, чтобы возненавидѣть „чортову друкарню“. Хведько мечталъ о Задорожѣ, а тутъ набирай „Духовный вертоградъ“, либо „Лѣстницу до раю“. Ему опротивѣли эти „вертограды и „лѣстницы“, но всего болѣе опротивѣли литеры. И вотъ онъ сталъ потихоньку таскать ихъ изъ типографіи и давать казакамъ на литье пуля. Но Хведько дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ съ разборомъ: онъ не трогалъ „своихъ“, славянскихъ литеръ, которыми печатались церковно-славянскія книги, — Хведько безсознательно явился сторонникомъ „кирилицы“; а таскалъ онъ „проклятую латиницу“ да „лядщину“—шрифты латинскій и польскій, и употреблялъ ихъ на казачьихъ дѣлахъ.

Такимъ образомъ, по странному сдѣленію идей и обстоятельствъ, типографія—орудіе іезуитской пропаганды въ южной Руси—стала орудіемъ и совершенно противной ей идеи—орудіемъ казацкой независимости: іезуитская книга, напечатанная въ острожской типографіи, побивала народность и вѣру Украйны; а казацкая пуля, вылитая изъ латинско-польскаго шрифта той-же типографіи, разрушила не только возведенное іезуитами зданіе окатоличенія южно-русскаго народа, но и самое государство, пріютившее этихъ разбойниковъ церкви Христовой.

— Что-жь это такое?—удивлялся старый Омелько, вертя межъ пальцами черненькую пластинку.

— Да литера-жь, дядьку,—отвѣчалъ Хведько.

— Какая матери ей—литера? Вотъ этотъ воробьиный глазокъ?

— Нѣтъ, дядьку, не воробьиный глазокъ, а литера о, онъ.

Рябко неожиданно вдругъ залаялъ и бросился къ воротамъ.

— Цуц! Рябко!—послышалось за воротами.

Песь радостно замоталъ хвостомъ и сунулся въ подворотню.

— Кого Богъ даетъ?—глянулъ къ воротамъ Омелько.

Глянула по тому же направленію и его старшая внучка, и вся „почервонила“: собачье чутье и дѣвичье сердце угадали, кто шель...

Отворилась калитка, и во дворъ вошли два знакомыхъ уже намъ молодца—тѣ, которые запряжены были въ таратайку патера Загайлы изъ которыхъ одинъ ржалъ жеребцомъ, а другой предупреждалъ патера, что брыкаться будетъ...

— Ги-ги-ги-ги!—вдругъ заржалъ одинъ изъ пришедшихъ,—коренастый, красивый парубокъ съ сѣрыми веселыми глазами, и заржалъ такъ хорошо, что даже Рябко удивился и хотѣлъ было залаять, но одумался, понялъ, что человекъ дурачится, и еще неистовѣ замоталъ хвостомъ.

— Ги-ги-ги-ги!—продолжалъ веселый парубокъ.

— Тю на тебя! Что ты—спятилъ, что-ли?—удивился Омелько.

— Нѣтъ, дядьку, я оконячился,—отвѣчалъ веселый парубокъ.

— А, матери твоей!.. Какъ оконячился?

— Конемъ сталъ, дядьку, вотъ и ржу по жеребячьи.

— А я брыкаюсь; не подходите ко мнѣ—задомъ ударю,—сказалъ и другой парубокъ, черномазый дѣтина съ сросшимися черными бровями.

— Да ты на васъ, аспидскія дѣти,—волновался Омелько.

Всѣ приблизились къ пришедшимъ и съ удивленіемъ глядѣли на нихъ. Хорошенькая старшая внучка Омелькова украдкой посматривала на ржущаго парубка, и глаза ея вспыхивали нѣжностью. Старая Омельчиха, подперевъ щеку рукой, качала старою головою и тоже улыбалась шепча: „отъ дурни—молоди ще, весели“...

Парни рассказали, какъ было дѣло.

Усатый казакъ насунулся... — Вотъ до чего дошло,—тихо бормоталъ онъ:—людей крещеныхъ въ коней перевертываютъ...

— За что же это васъ такъ?—спросилъ онъ, помолчавъ немного.

— Да что въ воскресенье до костела не пошли, а пошли въ церковь.

Хорошенькая дивчина продолжала украдкой взглядывать на Грицька, который беззаботно рассказывалъ о томъ, что возилъ на себѣ ксендза и что его, какъ лошадь, хлестали плеткой. Нѣсколько разъ загорѣлыя щеки ея покрывались румянцемъ—то была краска стыда и негодованія.

— А нѣтъ ли у васъ, бабусенька, чего-нибудь мокраго? — вдругъ обратился Грицько къ старой Омельчихѣ.

Старушка ласково улыбнулась.

— Мокраго, хлопче?

— Да, мокренькаго, бабцю, коней напоить.

— Такъ чего-бъ тебѣ, хлопче? Квасу?

— Да квасу, что-ли—только-бы мокренькое да холодненькое.

— Добре, хлопче... А ну, Одарю, бѣжи скоренько въ погребъ, наточи квасу, обратилась старушка къ внучкѣ.

Пока ходили за квасомъ, всѣ перешли въ холодокъ, и Омелько опять принялся постукивать шиломъ то по сапогу, то по колодкѣ.

— Ужели же и этотъ чоботище будетъ возить поганцевъ, матеріи ихъ!—задался онъ вдругъ этой обидной мыслью.

— Будетъ, дядьку,—отвѣчалъ смѣясь Грицько.

Омелько посмотрѣлъ на него укоризненно, а усаѣтый запорожецъ сердито крикнулъ.

— Паны и ксендзы говорятъ, что насъ на то Богъ создалъ, — мы вишь, быдло, скотина,—продолжалъ Грицько.

Въ это время Одаря, вся захватившись и раскраснѣвшись, подошла къ нему и, подавъ большую миску съ пѣнистымъ квасомъ, поклонилась. Грицько, взявъ обѣими руками миску, осклабился.

— А ну, Юхима,—глянулъ онъ на товарища,—перекрестись за меня, а я за тебя выпью.

— А пуръ тебѣ!—отшутился Юхимъ.—Кони безъ креста пьютъ.

Между тѣмъ запорожецъ вынулъ изъ кармана своихъ широкихъ шараваръ трубочку и кisetъ съ табакомъ, не спѣша наложилъ трубочку, досталъ огниво, молча вырубилъ огня, положилъ дымящійся трутъ въ трубку, закрылъ ее мѣдной, съ прорѣзами, крышечкой, висѣвшей на ремешкѣ вмѣстѣ съ кривой иглой для чистки трубки, потянулъ и выпустилъ изъ-подъ суровыхъ усовъ струю синяго дыму, сплюнулъ на сторону и посмотрѣлъ своими маленькими лукавыми глазами на парубковъ.

— А хотите, хлопцы, я васъ научу, какъ на панахъ и на ксендзахъ ѣздить?—медленно сказалъ онъ.

Всѣ посмотрѣли на него—кто съ улыбкой, кто съ удивленіемъ.

— Научите, дядьку,—улыбнулся Грицько:—вотъ бы поѣздить на чортовомъ Загайлѣ!

Запорожецъ снова потянулъ изъ трубочки, выпустилъ синій дымокъ и сплюнулъ.

— Добре, научу... Только этому учать у насъ на Запорожьѣ,—~~про-~~
~~и~~дѣлй онѣ сквозь зубы.

Парубки переглянулись между собой. Хорошенькая Одаря глянула ~~на~~
нихъ и потупилась; краска замѣтно сходила съ ея живого, теперь какъ-~~бы~~
застывшаго личика... Запорожець опять пустил струйку дыму...

— Пойдемте со мною на низъ, въ Великій лугъ. Великій лугъ ~~будетъ~~
вамъ батько, Сѣчь—мати, а я буду вашимъ дядькомъ,—продолжалъ запорожець.

Парубки опять переглянулись нерѣшительно... Омелько молча ~~сердито~~
стучалъ по сапогу...

— Добре, дядьку, идемъ,—сказалъ Грицько, тряхнувъ головою, и ~~гля-~~
нулъ на Одарю.

Дѣвушка стояла блѣдная—хоть-бы кровинка въ лицѣ...

VII.

Слова запорожца сдѣлали свое дѣло.

Когда на другой день утромъ патеръ Загаило приказалъ своимъ ~~гай-~~
дукамъ вновь закладывать хлоповъ въ свою таратайку для дальнѣйшей
поѣздки по парафин, ему доложили, что хлопы исчезли—двуногіе кони ~~па-~~
тера какъ въ воду канули. Мало того: дворецкій князя Януша съ вели-
кимъ смущеніемъ доложилъ его мосци, своему ясновельможному нану, что
ночью изъ конюшни уведены кѣмъ-то любимѣйшія скаковые лошади ~~сто-~~
милости князя, что и въ городѣ произошло что-то необыкновенное, потому
что ночью изъ разныхъ заведеній князя, въ томъ числѣ и изъ типографіи,
попропадало нѣсколько хлоповъ. Ходили слухи, что причиной этому былъ
какой-то оборвышъ, усатый запорожець, бродившій въ городѣ и подби-
вавшій хлоповъ къ бѣгству на Запорожье, и что это былъ эмиссаръ за-
взятого казацкаго разбойника Конашевича-Сагайдачнаго, тайно вербовавшій
молодежь въ свои проклятыя шайки.

Князя Януша это извѣстіе привело въ ярость, и онъ приказалъ тутъ же,
у самаго крыльца своего палаца разложить „на коберцу“ и перепоротъ
„канчуками“ нѣсколькихъ еще не проспавшихся послѣ вчерашней гулянки
панковъ изъ своей дворцовой шляхты, и въ то же время велѣлъ немед-
ленно отправить отряды городовыхъ казаковъ и жолнеровъ для поимки
дерзкихъ бѣглецовъ.

Ясновельможные гости князя Януша, ночевавшіе у гостепріимнаго хо-
зяина, узнавъ обо всемъ случившемся, очень смѣялись надъ комическимъ
положеніемъ почтеннаго патера Загаилы, которому не на комъ было ~~ви-~~
ѣхать, чтобы продолжать объѣздъ своей парафин.

— Что-жъ!—лукаво подмигивалъ князю Вишневецкому Медетій Сю-
трицкій.—Сіи на колесницахъ и сіи на коняхъ, мы же во имя Господа...

— На палочкѣ?—подсказалъ князь, не улыбнувшись ни сухими гу-
бами, ни холодными глазами.

— По образу пѣшаго хожденія—по-апостольски.

— Ну, у апостоловъ мозолей не было...

— Его мѣсъцъ хочеть сказать—подагры...

Между тѣмъ бѣглецы были уже далеко. Они—знакомый уже намъ уса-
тый запорожець Карпо, по прозванію Колокузни, и два парубка, возившіе
Загайлу, Грацько и Юхимъ—пользуясь сномъ подгулявшей челяди князя
Острожскаго, успѣли захватить изъ его конюшни по отличному коню и къ
утру выѣхали изъ Острога. За городомъ къ нимъ присталъ четвертый то-
варищъ, и хотя онъ былъ пѣшій, добрый запорожець не могъ отказать ему
въ помощи за его послуги и посадилъ къ себѣ за сѣдло. Четвертый при-
ставшій къ нимъ товарищъ былъ тотъ самый и худой и высокій набор-
щикъ изъ типографіи, который снабжалъ запорожца типографскими лите-
рами для литья изъ нихъ пуль.

Утро было нѣсколько пасмурное и свѣжее. Сѣверный вѣтерокъ игралъ
гривами коней, которыхъ бѣглецы не особенно гнали, отчасти желая сбе-
речь ихъ силы, отчасти же и потому, что ѣзду ихъ замедлялъ четвертый
товарищъ:—онъ прибавлялъ собою лишнюю тяжесть на спину добраго коня.
Оставивъ за собою лѣса, бѣглецы вступили въ открытую степь, которая
тянулась вплоть до Запорожскихъ Вольностей, какъ назывались фактическія
владѣнія запорожцевъ, и переходила во владѣнія крымскихъ татаръ, хотя
настоящей пограничной черты въ то время не существовало. Правда, степь
эта не представляла еще изъ себя пустыни, какою она дѣлалась по мѣрѣ
приближенія къ „Черному шляху“ и далѣе къ югу: тутъ были еще и рѣчки,
и озера, и лѣсныя заросли, но жилья уже не видать было, потому что
опытный запорожець избиралъ для своего похода путь, гдѣ было неизменно
возможно встрѣтить живое существо, исключая, конечно, сайгаковъ, дикихъ
туровъ, кабановъ и всевозможной птицы, начиная отъ утокъ и чаекъ и
кончая орлами—„билозерцами“.

Невѣдомая даль, открывавшаяся передъ нашими бѣглецами, представ-
ляла поистинѣ что-то внушающее суевѣрный страхъ, особенно для нович-
ковъ, что-то непостижимое, необъятное. Это была роскошно поэтическая
пустыня, наводящая на душу благоговѣніе, священный ужасъ передъ чѣмъ-то
неисповѣдимымъ; но наши молодые бѣглецы, дальше Острога и ближай-
шихъ селъ ничего не видавшіе, чувствовали одно въ этой чудной поэзіи
дѣйственной природы—не то страхъ, какъ бы пробѣгающій по корнямъ
волось, не то глухую тоску, щемящую молодое сердце. Вѣдь ими покинуто
все близкое и знакомое для далекаго и невѣдомаго! Куда ведетъ ихъ эта
безбрежная пустыня? Не туда-ли, гдѣ кончается земля, упираясь въ небо?
Глянуть онѣ на небо—и по небу несутся облака, точно такіе же бѣглецы,
какъ и они, и тоже бѣгутъ туда, въ невѣдомую даль, отъ полуночи къ
полудню. И вѣтеръ туда же клонить, и тырса шумить въ этомъ безбраж-
номъ морѣ, нагибаясь туда же, къ невѣдомому полудню. Шумять у опушки
стеннаго озерца и лозы, нагибая свои гибкія вѣтви туда же, куда и ихъ
несутъ послушныя ноги коней. Вонъ вдали показались сайгаки, остано-
вились, подыали свои острые мордочки, глядятъ сюда, нюхаютъ воздухъ и,

точно чѣмъ вспугнутые, убѣгаютъ туда же, въ невѣдомую даль. Вонъ пролетаетъ надъ степью, ширяя въ воздухѣ, бѣлый, ширококрылый лунь и тоже исчезаетъ вдаль. Вонъ слетѣла и закигикала чайка и, сдѣлавъ въ воздухѣ нѣсколько круговъ, опустилась гдѣ-то въ высокую траву. Впереди выскочилъ откуда-то зайчикъ, сѣлъ на заднія лапки, насторожилъ длинныя уши и стремглавъ махнулъ черезъ „высоку могилу“—черезъ курганъ, черезъ который вѣтромъ гонить сухое перекасти-поле—и все туда же, въ невѣдомую даль...

А тамъ, еще дальше, что-то чернѣется по степи, что-то бродить, точно люди: то нагнется, то поднимется; иногда что-то блеснетъ на солнцѣ, когда облако перебѣжитъ черезъ него,—можетъ быть, это блестятъ косы косарей, а можетъ—это татары... Страшно становится... А запорожецъ молчитъ, покуривая свою трубочку: ему не привыкать къ молчанію; по цѣлымъ недѣлямъ иногда приходится запорожцу одному бродить по степи, охотиться на сайгака или тура, или сторожить татаръ, или ловить рыбу на плавнѣ—и онъ молчитъ. Молчать и молодые бѣглецы... А оно, то черное, бродящее по степи, все виднѣе и виднѣе... Страшно становится...

— То, дядьбу, люди вонъ тамъ?—рѣшаются спросить молчаливаго запорожца.

Запорожецъ глянулъ, выпустилъ изъ-подъ усовъ дымокъ — и опять молчитъ.

— Можетъ татары, дядьку?—новый вопросъ.

— Дрохвы,—вылетаетъ короткій отвѣтъ изъ-подъ усовъ вмѣстѣ съ дымомъ.

И опять настало молчаніе, такое же полное, какъ молчалива эта степь. Да и говорить никому не охота. Каждый думаетъ, и каждому думается свое, прошлое, еще такое недавнее, но такое уже далекое.

Солнце перешло уже за полдень; облака ушли всѣ къ горизонту; становилось жарко, и кони, видимо, притомились, да и напоить бы ихъ давно пора.

Какъ разъ въ это время въ сторонѣ показались кусты терна и верболоза. Блеснула на солнцѣ полоса воды—то была рѣчка. Увидавъ воду, кони радостно заржали.

— Ага! пить захотѣли... Добре... Заворачивайте, хлопцы, къ водѣ: и коней напоимъ да попасемъ, п сами отдохнемъ,—распорядился запорожецъ.

— И у меня въ горлѣ пересохло,—сказалъ Грицько.

Привернули къ рѣчкѣ. Она тихо и ровно протекала среди пологихъ береговъ, поросшихъ кое-гдѣ высокимъ камышомъ. По берегу меланхолически бродили цапли; увидавъ всадниковъ, онѣ испуганно замахали крыльями и полетѣли дальше. Дикія утки выпорхнули изъ камышей и съ криканьемъ понеслись за цаплями.

Бѣглецы сошли съ коней, тревожили ихъ и пустили на траву, которая казалась такою роскошною, сочною и мягкою. Запорожецъ, какъ запасливый,

досталъ изъ своей переметной сумы хлѣба, вяленой тарани, огурцовъ и добрую баклажку водки — „оковиты“: все это ему насовала въ „саквы“ старъ Омельчиха, которой сынокъ, Одарочкинъ батько, тоже казаковалъ гдѣ-то, и она безъ слезъ не могла видѣть запорожца. Съли кружкомъ на траву. Запорожець досталъ изъ саковъ маленькій серебряный „корячокъ“ — чарочку, которую, между прочимъ добромъ, онъ нашелъ когда-то въ сумкѣ у заарканеннаго татарина.

— Добрый корячокъ, — сказалъ онъ, любуясь чаркой: — стоить татарской головы.

И онъ налилъ изъ баклажки живительной влаги.

— Сторонись, козацкая душа, оболью! — сказалъ онъ, крестясь, и опрокинулъ корячокъ подъ богатые усы, даже не крикнувъ.

Онъ налилъ снова и подаль Грицьку.

— А ну, хлопче, вонзи въ душу сіе копіе.

Грицько перекрестился, выпилъ и крикнулъ.

— О, чтобъ ее! точно кота въ горло посадилъ, — замоталъ головою Грицько.

— Ничего, хлопче: твоя душа — не мышъ, котъ не задавить, — утѣшалъ его запорожець.

Выпили и остальные молодцы, и у всѣхъ на душѣ какъ-будто стало легче.

Принялись за огурцы, за тарань. Здѣсь, у воды, степь не была такою мертвою и молчаливою, какою она была за нѣсколько часовъ до этого. Коростели задорно трещали въ травѣ; то тамъ, то здѣсь „хававкали“ и „пидьподомкали“ перепела, чайки перекликались за рѣчкою, въ камышахъ гдѣ-то гудѣла глухо выпъ — „бугай птица“. Распѣвала въ тернахъ и по лозамъ мелкая пташка, жужжала и трескотѣла всякая мелкая живая тварь — всевозможная „комашня“.

— А далеко еще, дядьку, до Сѣчи? — спросилъ черномазый Юхимъ, высасывая голову тарани.

Запорожець глянулъ на него лукавыми глазами и насмѣшливо моргнулъ усомъ.

— Нѣтъ, уже близко, — проронилъ онъ лѣниво: — рукой подать.

— А какъ-таки будетъ?

— Да недѣли двѣ ходу будетъ.

Остальные товарищи разсмѣялись. Юхимъ догадался, что это вадъ нимъ, и самъ захохоталъ.

— Вотъ поймавъ облизня, дурный! — похвалилъ онъ самъ себя.

Лошади забрались въ воду и, утоливъ жажду, фыркали, видимо довольные своей судьбою.

Грицько, кончивъ трапезу и помолившись на востокъ, тоже подошелъ къ водѣ, прилегъ на берегъ грудью, припалъ ртомъ къ рѣкѣ и сталъ пить лежа.

— Не пей такъ, хлопче, — татары поймають, — оставилъ его запорожець.

— А какъ же, дядьку?—спросилъ Грицько, поворачива голову.

— Пей горстью, по козацки.

Скоро всё кончили трапезу, помолились, напились воды изъ рѣчки. убрали припасы, связали лошадей поводками другъ съ дружкой и пустились на одномъ арканѣ.

— Теперь отпочинемъ,—скомандовалъ запорожець.

Молодежь, повалившись на животы и уткнувъ носы въ шапки, тотчасъ же захрапѣла: бессонно проведенная ночь дала себя знать.

Онъ спалъ одинъ запорожець. Растянувшись носомъ къ небу, онъ, глядя въ безконечную синеву, посасывалъ свою трубочку и думалъ, о чемъ только можетъ думать запорожець... Далекая бѣленькая хатка за Сулою, вся въ зелени... Зеленые вербы у ставка... Подъ вербами сидитъ дѣвушка; глубоко наклонивъ голову и тихо напѣвая, она что-то шьетъ... На томъ боку, за Сулою, у опушки темнаго лѣса казакъ траву косить и часто поглядываетъ туда, гдѣ шумятъ вербы надъ черною, низко склоненною головою съ васильками въ волосахъ... Потомъ на этой черной головкѣ, надъ блѣднымъ какъ стѣна лицомъ, золотой вѣнецъ, поютъ „Исаія, ликуй“... А молодой казакъ, что косилъ траву за Сулою, смотритъ издали, изъ толпы, на это блѣдное подъ вѣнцомъ лицо, и кажется ему, что у него сердце вырѣзываютъ — вырѣзываютъ и поютъ „Исаія, ликуй“... А тамъ Запорожье—не слышать ни женскаго голоса, ни „Исаія“, не видать милаго, блѣднаго лица—одни хмурья, усатыя лица товариства.. Дѣвиръ голубой, еще болѣе голубое море, и голубое и безконечное небо... Козловъ городъ, Кафа, Синопъ, Трапезонтъ—галеры, невольники...

Все это въ полусонной дремѣ грезится запорожцу. А трубочка посипываетъ, потухла,—глаза сонъ смежаетъ...

Вдругъ гдѣ-то отдался какъ-бы далекій собачій лай...

Запорожець открылъ глаза; лай повторился, сначала какъ бы съ одной стороны, потомъ съ другой... Запорожець приподнялся на локтѣ, вслушивается,—ничего не слышать... Онъ тихо приподнялся сначала на колѣни, осмотрѣлся кругомъ,—ничего не видать... Опять вѣтромъ донесло откуда-то собачій лай... Запорожець всталъ на ноги—голая, безконечная степь, да кое-гдѣ курганы... Черезъ одинъ изъ кургановъ пронеслись темныя точки—это сайгаки... Это недаромъ—они вспугнуты кѣмъ-то...

На берегу, гдѣ отдыхали бѣглецы, росла старая ива. Запорожець, цѣпляясь за вѣтви, взобрался на самую вершину дерева и окинулъ глазами степь. То, что онъ увидалъ, заставило расшириться его маленькіе зрачки...

Онъ быстро слѣзъ съ дерева и сталъ расталкивать заспавшихся товарищей.

— Хлопцы! вставайте живѣй... За нами погонь...

— Что? что, дядьку? Пань?.. Загайло?..

— Вставайте, стонадцать вамъ чертей! за нами гоны!

— Гоны? Охъ, лишечко? что намъ дѣлать!

— На коней заразы, дядечку!

— Э! поздно на коней... надо въ воду.

— Какъ въ воду, дядьку? Вотъ бѣда!

— Въ воду! топить—стонадцать копѣ чертей!

— Батечки! Мы, можетъ, еще убѣжимъ...

Лай собакъ слышался теперь совершенно явственно. Молодые бѣглецы въ ужасѣ смотрѣли другъ на друга безумными глазами: они узнали издали голоса гончихъ собакъ князя Острожскаго—отъ нихъ не уйти.

Запорожецъ между тѣмъ бросился къ сухому прошлогоднему камышу, торчавшему у воды изъ-за зелени молодого, досталъ ножъ, срубалъ четыре самыхъ толстыхъ камышины, обрубалъ ихъ наскоро, продулъ ихъ, такъ что воздухъ проходилъ свободно—и воротился къ товарищамъ, растерянно топтавшимся на мѣстѣ.

— Возьмите вотъ это—по камышинкѣ...^ѣ

— На что, дядьку?

— Стонадцать копѣ чертей! Слушайте: возьмите по камышинкѣ въ ротъ, да и прячьтесь въ воду промежъ осокою, либо межъ очеретомъ—такъ съ головою и прячьтесь, чтобъ головы не видно было съ берега... Такъ тихонько и сиди въ водѣ и дыши черезъ камышинку... Хотя день просидѣть можно подъ водою... Мы такъ отъ татарвы прячемся...

Молодые бѣглецы жадно ухватились за камышинки и дрожащими руками стали совать ихъ въ ротъ и дуть. Утопающіе хватались за соломинки...

— Да глядите, чтобъ одинъ конецъ камышинки былъ во рту, а другой надъ водою, а не въ водѣ, а то вода въ ротъ полетится, тогда—стонадцать копѣ—все пропало...

Погоня приближалась. Слышны были голоса людей, конскій топотъ и веселый лай собакъ. Заржали лошади бѣглецовъ—узнали, что свои близко; имъ отвѣчали ржаніемъ оттуда.

Запорожецъ что-то вспомнилъ: онъ бросился къ терновому кусту, отломилъ нѣсколько острыхъ колючекъ, метнулся къ спутаннымъ лошадямъ, быстро распуталъ ихъ, отвязалъ отъ аркана и, ткнувъ подъ потники каждой по нѣсколько колючихъ иглъ, хлестнулъ каждую нагайкой. Лошади, почуввавъ острую боль отъ терновыхъ колючекъ, какъ бѣшенныя понеслись по степи.

Погоня была близко.

— Полѣзай въ воду, стонадцать копѣ!

Бѣглецы бросились въ водѣ, держа во рту камышинки и крестясь.

— Въ камыши! бредите въ камыши!—распоряжался запорожецъ, таща съ собой въ воду все свое имущество.

Бѣглецы погрузились въ воду. Видно было, какъ на поверхности изволнованной рѣчки двигались и дрожали камышинки, выскакивали изъ воды пузыри; потомъ все сгладилось. Только зная, гдѣ каждый изъ бѣглецовъ погрузился въ воду, можно было бы послѣ долгаго наблюденія замѣтить,

какъ между зелеными тростинками свѣжаго камыша дрожали и какъ-бы двигались сухія камышинки, торчавшія изъ воды.

Послѣднимъ вошелъ въ воду запорожецъ, оглядѣлся кругомъ, чихнулъ, помянулъ „стонадцать копъ чертей“ и скрылся подъ водою.

— А далибугъ, пане, я самъ видѣлъ, какъ онъ бросился въ воду, — слышался, вмѣстѣ съ конскимъ топотомъ и собачьимъ лаемъ, сильный голосъ.

— Галганы, пся кровь, далеко не могли уйти, — отвѣчалъ другой голосъ.

— А, пся вѣра! Рыбу и огурки ѣли—вотъ и слѣды...

Погоня подсакала къ самой водѣ. Собаки, обнюхивая землю и рыбью шелуху съ костями, заливались звонкимъ лаемъ и были. Онъ чувствовалъ, что добыча тутъ, но не видалъ ея.

— Пиль! пиль! Шукай, Менторъ, шукай!—понуждали собакъ.

— Они тутъ,—лови ихъ, псю кровь, лови, Огаръ!

Собаки бросились въ камыши, въ кусты, лѣзли въ воду, лаяли на иву. Менторъ, чую добычу и угадывая даже, гдѣ она, кружился по водѣ, захлебывался, фыркалъ. Но онъ не умѣлъ нырять.

Нѣкоторые собаки переплывали черезъ рѣчку, обнюхивали противоположный берегъ, но находя, что слѣды тамъ исчезли, возвращались назадъ.

— Они тутъ—имъ некуда было уйти.

— Проклятые хамы въ водѣ сидятъ: они это умѣютъ дѣлать.

— Что хамамъ дѣлается! Они, какъ выхухоль, и въ водѣ могутъ жить.

— А не усакали-ли они, пане, на лошадахъ, — я видѣлъ, какъ они понесли по степи.

— То одни кони, безъ людей: я самъ видѣлъ.

— Все-жъ надо, пане, поймать княжескихъ коней: его мосць князь очень дорожитъ ими.

— Знаю! Вонъ сколько перепоролъ за нихъ нашего брата шляхтича!

— Коней и панъ Сондачъ съ своими жолнерами поймаешь.

Если бы преслѣдующіе нашихъ бѣглецовъ внимательнѣе смотрѣли на воду, они увидѣли бы въ одномъ мѣстѣ, какъ тамъ дрожала и ходенемъ ходила по водѣ сухая камышинка, стоявшая торчмя, какъ она нагибалась, снова вставала, какъ выходили изъ воды пузыри... Они видѣли-бы, какъ наконецъ камышинка выскочила изъ воды, покружилась на мѣстѣ и тихо-тихо поплыла внизъ.

— Нѣтъ, это черти, а не люди—именно въ воду канули!

— Да они, пане, потонули навѣрное.

— Нельзя-же не захлебнуться: столько времени подъ водою!

— Этихъ проклятыхъ схизматиковъ ни огонь, ни вода не беретъ!

— А! вонъ одного коня поймали—ведутъ...

— Какъ онъ бьется!... Точно бѣшеный, далибугъ бѣшеный...

Въ это время въ водѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ недавно выскочила сухая

камышпинка, что-то забарахталось, зашлепало водой... Показалась рука, голова... Собаки залаяли и кинулись въ воду.

— Видалъ, панъ? Тамъ что-то изъ воды показалось...

— Рука... голова... волосы...

— Гдѣ, панъ, видѣлъ?

— Вонъ тамъ, гдѣ Огаръ ищетъ.

Но тамъ ничего опять не видно было: руки и волосы исчезли подъ водой... Собака вертѣлась на томъ мѣстѣ и выла.

— Надо, пане, поискать тамъ.

— Раздѣнься, Яцекъ,—пощупай тамъ саблей.

Одинъ жолнеръ раздѣлся и побрелъ въ воду, держа передъ собой саблю. Вдругъ онъ споткнулся на что-то и въ испугѣ бросился назадъ...

— Езусъ-Марія! тамъ что-то лежитъ... мягкое...

— Ну, тащи изъ воды—увидимъ.

— Какъ-же, пане?... Оно... можетъ оно...

— Тащи, собачій сынъ, а то палашемъ покормлю!

Яцекъ, бормоча молитву, побрелъ снова, нагнулся, нащупалъ что-то и потащилъ. Скоро изъ воды показалась штанина синихъ шараваръ, сапогъ...

— Тащи, Яцекъ, тащи!

Показались руки, блѣдное лицо съ закрытыми глазами... Это былъ Хведоръ Безридный. Собаки обнюхивали его и выли.

Всѣ приблизились къ утопленнику, который лежалъ на берегу головой къ водѣ, разметавши руки.

— А! это друкаръ изъ княжеской друкарни... Утонулъ, бѣдный хамъ...

— Не бѣгай... Туда схизматику и дорога...

VIII.

Увѣрившись, что „схизматики“ потонули, чѣмъ сами себя достаточно наказали, и бросивши безжизненное тѣло Хведора Безриднаго „на потраву звѣрю и птицѣ“, отрядъ городскихъ казаковъ, предводительствуемый легковѣрными панками, отправился въ другую сторону разыскивать бѣглыхъ хлоповъ, а главное—чтобы поймать панскихъ коней, за которыхъ такъ досталось благороднымъ спинамъ дворовой шляхты.

Когда отрядъ скрылся изъ вида, камышъ въ одномъ мѣстѣ зашевелился и изъ воды показался сначала красный, весь намокшій верхъ казацкой шапки, а затѣмъ и усатое лицо запорожца. Съчевику, оглядѣвши кругомъ и не видя своихъ преслѣдователей, характерно свистнулъ, выражая этимъ свистомъ и удивленіе, и презрѣніе.

— Фю-фю-фю! Удрали, крутивусы!..

Увидавъ на берегу бѣднаго „друкаря“, онъ быстро выползъ изъ воды, таща за собою мокрую, тяжелую переметную суму и длинное ратище копыя.

— Хлопцы! хлопцы! Будетъ вамъ воду пить!—окликнулъ онъ товарищей.

Въ разныхъ мѣстахъ показались изъ воды головы — лица блѣдныя, посинѣвшія.

Запорожець бросился къ „друкарю“ и началъ его сильно трясти, поднимая съ земли.

— Захлебнулся хлопецъ — да можетъ очнется...

И Грицько, и Юхимъ вышли изъ воды. Они дрожали всѣмъ тѣломъ.

— Утонулъ? — спрашивали они съ боязнью: — какъ онъ сюда попалъ?

— Полно распытывать! Берите за ноги — потрясемъ его!

„Друкаря“ начали трясти. Мало-по-малу посинѣвшее лицо начало принимать болѣе живой цвѣтъ.

— Трясите, хорошенько трясите! Онъ немножко теплый.

Вскорѣ у утопленника хлынула вода ртомъ и носомъ.

— Будетъ! Оживаетъ.

Его положили на траву. Несчастный открылъ глаза.

— Холодно! — было его первымъ словомъ.

— Добре! Заразъ будетъ тепло.

Запорожець метнулся къ сумѣ, досталъ оттуда баклажокъ съ водкой и серебряный корячокъ.

— Оковитонько! Матушка родная! Вызволяй!

Онъ наполнилъ корячокъ и поднесъ его „друкарю“, ставъ на колѣни.

— Посадите его, хлопцы, — поднимите!

„Друкаря“ приподняли. Зубы его стучали какъ въ лихорадкѣ. Запорожець приставилъ корячокъ къ его посинѣвшимъ губамъ.

— Пей, хлопецъ, пей разомъ до дна.

„Друкаръ“ съ трудомъ выпилъ, закашлялся. Лицо его стало оживать, краска заиграла на щекахъ.

— Добре, друкарю, заразъ встанешь! — успокаивалъ его запорожець.

Онъ налилъ себѣ и опрокинулъ подъ мокрые усы. Налилъ товарищамъ — и тѣ опрокинули.

— Добре!.. Выпьемъ, братцы, по другой! Вонзимо копѣе въ душу!

„Вонзили“ еще по разу — и всѣ ожили. Друкаръ сидѣлъ на травѣ и глядѣлъ кругомъ посоловѣвшими глазами: онъ, повидимому, не помнилъ ничего, что съ нимъ было.

— Какъ это ты, друкарю, вылѣзъ изъ воды? — спросилъ его запорожець.

— Не знаю, — отвѣчалъ тотъ, качая головой.

— Должно быть воды перепилъ, — замѣтилъ Грицько: — и я, матери ей лихо, много пилъ и чуть не лопнулъ... Еще спасибо, что тарани шибко наѣлся, такъ и въ водѣ пить хотѣлось.

— А меня чортовъ ракъ за ухо ущипнулъ — я чуть не крикнулъ, — пояснилъ Юхимъ.

Запорожець по привычкѣ полѣзъ было въ карманъ, вытащилъ оттуда кисетъ и трубку, чтобъ послѣ долгаго сидѣнья подъ водою и послѣ двухъ чарокъ водки затянуться, да увидавъ, что и съ кисета вода течетъ, и въ

трубокъ вода, и трутъ мокрый, и самъ онъ весь мокрый. какъ мышь, такъ и ухватилъ себя за чубъ.

— А, стонадцать копъ чертей съ горохомъ! О, чтобъ васъ, чортовыхъ крутивусовъ, черти рѣдкою по пятницамъ били! Чтобъ ваши матери ежей родили противъ шерсти! Чтобъ вамъ подавиться дохлою мерзлою собакою, чтобъ она у васъ въ поганомъ брюхѣ и таяла, и лаяла!

Выругавшись вдоволь и облегчивъ этимъ хоть немножко казацкую душу, онъ тотчасъ же сорвалъ нѣсколько широкихъ листовъ лопуха, разложилъ ихъ на солнцѣ, высыпалъ на нихъ подмоченный тююнъ, вздѣлъ на сухой сукъ орѣшника кусокъ мокраго труту, потомъ повѣсилъ на кусты мокрую-же шапку, связъ сапоги, штаны, сорочку— все это развѣсилъ на солнцѣ и остался въ такомъ видѣ, въ какомъ поплъ, „отецъ Данило“, вынулъ его когда-то изъ купели.

— Раздѣвайтесь, хлопцы!—скомандовалъ онъ.—Теперь и такъ тепло.

Товарищи послѣдовали его примѣру. Друкаръ послѣ водки смотрѣлъ совсѣмъ молодцомъ.

Изъ переметной сумы вынули намокшій хлѣбъ, вяленую, тоже намокшую рыбу, и стали все это сушить на солнцѣ, которое не лѣнилось исполнять возложенныя на него казаками обязанности: оно пекло такъ, какъ только оно въ состояніи печь въ стѣняхъ южной Россіи.

Молодые бѣглецы, допекаемые жаромъ и чтобы сократить время, стали купаться въ той самой рѣчкѣ, въ которой они недавно прятались отъ погони. Теперь, наученные недавнимъ опытомъ, они выдумали очень полезную для ихъ цѣлей игру, которую и называли „очеретянкою“. Игра состояла въ томъ, что, вырѣзавъ себѣ опять такія камышинки, съ помощью которыхъ имъ удалось спастись отъ преслѣдователей, они по жребію прятались въ водѣ: тотъ, кому выпадалъ жеребій „ховаться“, бралъ камышинку въ ротъ и нырялъ съ нею въ воду, а товарищи должны были слѣдить за нимъ на поверхности рѣки и замѣчать, гдѣ покажется изъ-подъ воды кончикъ камышинки.

Солнце между тѣмъ дѣлало свое дѣло. Развѣшенное платье бѣглецовъ было имъ достаточно высушено, тююнъ подсохъ также порядочно, труту возвратилась его воспламенительная способность, и запорожецъ, одѣвшись молодцомъ, распустивъ свои широкія, какъ запорожская воля, шаравары и закуривъ „люльку“, казался совсѣмъ счастливымъ.

— Ну, хлопцы, теперь въ дорогу, въ ходку!—сказалъ онъ, поглядывая на солнце.—Солнышко еще высоко—до вечера немало степи пройдемъ, а вечеромъ отдохнемъ часть-другой, да вновь въ ходку на всю ночь.

Отойдя отъ мѣста стоянки небольшое пространство, запорожецъ взмошелъ на ближайшій курганъ, осмотрѣлъ степь своими зоркими, привычными глазами на нѣсколько верстъ кругомъ и, убѣдившись, что степь свободна отъ польскихъ развѣдчиковъ, велѣлъ рушась дальше.

Степь становилась все пустыниѣе и казалась необозримѣе и диче. Они перерѣзали знаменитый Черный шляхъ, которымъ не рѣшались идти изъ

опасенія встрѣтиться либо съ польскими гонцами, часто ѣздившими въ Крымъ, либо съ купеческими караванами, конвоируемыми вооруженною стражею. Наши бѣглецы шли по правую сторону Чернаго шляха, мѣстами, повидимому, очень хорошо знакомыми запорожцу.

— Вотъ кабы кони у насъ не бѣжали—то-то-бъ хорошо было!—сожалѣлъ Грицько, талца на себѣ суму съ балагомъ.

— Эге! коли-бъ кони, то и Ома съ Еремою умѣли-бъ ѣздить!—процѣдилъ запорожець, сося трубочку.

— А что, поймали ихъ ляхи?—интересовался Юхимъ.

— Эге! ловила баба воду рѣшетомъ,—пояснилъ запорожець.—Я имъ такого терну далъ, что они поди и теперь летаютъ по степи, коли не дали дуба.

Подъ-вечеръ бѣглецы остановились въ небольшой балкѣ, недалеко отъ Чернаго шляха, гдѣ, какъ это извѣстно было запорожцу, можно было найти „криницу“ съ холодною ключевою водою. Молодцы подкрѣпились пищею, напились холодною воды и легли спать въ этой самой балкѣ, въ густой травѣ, гдѣ ихъ не легко было найти.

Встали они съ восходомъ мѣсяца и снова продолжали путь. Ночь была необыкновенно хороша. Полный мѣсяцъ, поднявшись высоко, казалось, стоялъ очарованный чудною картиною ночи. Онъ казался почти бѣлымъ, какого-то серебристо-молочнаго цвѣта, и этимъ серебромъ обливалъ безконечную степь, которая представлялась чѣмъ-то волшебнымъ, полнымъ таинственныхъ чаръ и видѣній. Грицьку такъ и чудилось, что вотъ-вотъ онъ увидитъ, какъ, обдаваемая серебромъ изъ этого большаго серебрянаго окна въ небѣ, баба Вивдя, всему Острогу знаемая вѣдьма, въ одной сорочкѣ, „расхристаная“, съ распушенною косою, пролетитъ на метлѣ надъ этою волшебною степью, а за нею на „слонѣ“ промчится „коваль“ Шкандибенко, котораго она околдовала чарами... Глянувъ на мѣсяцъ, онъ, казалось, въ самомъ дѣлѣ видѣлъ, какъ тамъ „братъ брата вилами колетъ“, и ему хотѣлось закричать на всю таинственную степь: „не коли, человекъ,—грихъ!“ То ему казалось, что вотъ-вотъ въ это окно на небѣ кто-то выглянетъ на землю, на эту тихую, посеребреную бѣлыми лучами степь, и закричитъ: „куда вы, хлопцы, идете?..“ То казалось, что *воно* закричитъ сзади, гдѣ-нибудь за спиною, и Грицько оглядывался назадъ,—и тамъ казалось все еще болѣе таинственнымъ и безмолвнымъ... Чудилось, будто трава шепчется между собою и „тирса“ лепечетъ дѣтскими головами: „не топчѣте мене, хлопцы, бо мене ще никто не топтавъ...“ Кое-гдѣ сюрчали ночные полевые сверчки, какъ-бы кого-то предостерегая:—„го-го-го-го!“—вонъ кто-то идетъ степью—берегитесь, не показывайтесь...“ Въ шелестѣ травы подъ ногами слышалось что-то таинственное: не то русалка косу чешетъ на мѣсяцѣ и тихо смѣется, не то подъ землею кто-то тихо плачетъ... Именно это самое безмолвіе ночи и степи и наполняло окрестность таинственными звуками и видѣніями: вмѣстѣ съ лучами отъ мѣсяца, казалось, сыпалось на степь что-то живое, движущееся, но неуловимое, и тѣмъ болѣе шевелившееся корнями волосъ на головѣ...

„Ги-ги-ги-ги!“ закричало вдругъ въ степи что-то страшное, и Грицько такъ и присѣлъ со страха и неожиданности.

— Охъ, лишеечко! что это такое?

— Господи! Покрова пресвятая! покрой насъ!

„Ги-ги-ги-ги!“—повторилось ржаніе, и темная масса, описавъ полукругъ по степи, остановилась передъ изумленными путниками.

— Косю... косю... тируськи, иди сюда, дурный!—ласково заговорилъ запорожець, идя къ темной массѣ.

— Да это конь, хлопцы! Вотъ испугалъ!—опомнились молодые бѣглецы.

Это дѣйствительно былъ конь, одинъ изъ тѣхъ коней князя Острожскаго, на которомъ ѣхали бѣглецы днемъ. Благородное животное стояло, освѣщенное луною, наостривъ уши...

— Косю, косю, дурный! — соблазнялъ его запорожець, подходя все ближе и ближе.

Но конь фыркнулъ, повернулся, взмахнулъ задними копытами и какъ стрѣла полетѣлъ степью... Не на такого дескать наскочили...

— И не чортова-жъ конина!—проворчалъ запорожець.—Стонадцать копѣ! Вотъ ушкварилъ!

Когда солнце нѣсколько поднялось надъ горизонтомъ, рѣшено было сдѣлать роздыхъ.

— Вотъ теперь будетъ козацкая ночь,—пояснилъ запорожець.

Пройдя всю ночь, бѣглецы дѣйствительно нуждались въ отдыхѣ, и этотъ отдыхъ имъ выгодно было позволять себѣ днемъ, чѣмъ ночью: ночью они безопаснѣе могли продолжать свой путь, да ночью же не такъ и жарко, какъ подъ полуденнымъ раскаленнымъ солнцемъ.

На этотъ разъ они расположились въ верховьяхъ небольшой рѣчки, впадающей въ Бугъ, гдѣ можно было найти и тѣнь, и воду, и проспали безмятежно почти до полудня. Только пробужденіе ихъ, какъ и накануне, было трагическое.

Раньше всѣхъ проснулся „друкаръ“. Въ моментъ пробужденія слухъ его пораженъ былъ какимъ-то глухимъ, сиплымъ, но могучимъ ревомъ, напоминавшимъ ревъ разъяреннаго „бугая“. Боясь какой-либо опасной случайности, Безридный поспѣшилъ разбудить своихъ товарищей.

— Ты что, друкарь?—спросилъ, торопливо вскакивая, запорожець:—ужъ не ляхи-ли, либо татары?

— Нѣтъ, дядьку, а что-то реветъ.

Ревъ повторился и совсѣмъ близко: животное, безъ сомнѣнія, шло сюда.

— Это туръ,—сказалъ запорожець, тревожно оглядываясь:—надо прятаться—этотъ чортъ хуже ляха и татарина.

Дѣйствительно, звѣрь не замедлилъ показаться. Это было страшное чудовище, хотя оно и напоминало собою обыкновеннаго украинскаго вола или „бугая“. Громадная голова съ широчайшимъ лбомъ, на которомъ пѣтушился въ обѣ стороны огромный чубъ, встрепанный, съ впѣпившимися въ него колючками репейника и терновника; овально изогнутые рога—ро-

жища такой величины и толщины, что въ нихъ, дѣйствительно, по сказанію былинь богатырскаго цикла, могло войти по „чарѣ зелена вина въ полтора ведра“; широчайшая, истинно турья, шире, чѣмъ воловья, шея на спинѣ сходилась съ надлопаточнымъ горбомъ, а книзу, морщась широкими, жирными складками, оканчивалась лохматой бородой. Все это было необыкновенно страшныхъ размѣровъ, а дикіе глаза изобличали такую же дикую, безпредметную свирѣлость—свирѣлость ко всему, на что они не смотрѣли — на человѣка, на дерево и на все живое: все это ему хотѣлось посадить на рога и затоптать толстыми, обрубковатыми ногами съ двукопытными „ратицами“. Хвостъ чудовища кончался длиннымъ пучкомъ волосъ, который украсилъ бы собою лучшій султанскій бунчукъ.

Ясно было, что чудовище шло къ водою—шло, понуривъ голову, и страшно ревѣло. Къ счастью, недалеко отъ этого мѣста, надъ самою „криницею“, росъ старый вѣтвистый дубъ. Запорожецъ сразу оцѣнилъ всѣ выгоды своей позиціи и моментально рѣшилъ, какъ ему дѣйствовать въ виду страшнаго врага. Онъ самъ былъ своего рода „буй-туръ“, хотя немногимъ умиѣ рогаго тура.

Чудовище, увидавъ людей, остановилось въ изумленіи и перестало ревѣть. Потомъ оно начало рыть ногами землю, бить хвостомъ по бокамъ и, понуривъ голову, снова заревѣло, но еще болѣе угрожающимъ ревомъ.

— Хлопцы! — быстро скомандовалъ запорожецъ. — Заразъ лѣзьте на дубъ, — скорѣй, скорѣй!

Молодцы не ждали повтореній. Какъ кошки они подрались на дерево, цѣпляясь за кору и сучья, и расположились на высшихъ вѣтвяхъ дуба. Запорожецъ же, съ длиннымъ копьемъ—„ратищемъ“ наперевѣсь, остановился у самаго дуба и смѣло ждалъ врага. Чудовище продолжало ревѣть и шло медленно, угрожающе потрясая громадною рогатою головою и бородою.

Запорожецъ, снявъ шапку съ краснымъ верхомъ, замахалъ ею какъ-бы въ знакъ привѣтствія рогагому гостю. Высокій рогатый гость, увидавъ красное, окончательно освирѣпѣлъ и бросился на дерзкаго казака, хрустя по землѣ огромными копытами... Вотъ-вотъ онъ посадить на рога несчастнаго...

Но запорожецъ ловко увернулся и сталъ за дубомъ. Чудовище ринулось прямо и стукнулось лбомъ о дерево, въ полной бычачьей увѣренности, что толстый кражевикъ-дубъ повалится какъ гибкій тростникъ. Но дубъ не валился, а несообразительное животное продолжало переть лбомъ въ несокрушимый кряжъ. Тогда хитрый хохоль, запорожецъ, высунувшись изъ-за дуба, своими лукавыми глазами и красною верхушкою шапки еще болѣе обозлилъ свирѣлое животное и въ одинъ мигъ всадилъ копье подъ лѣвую лопатку звѣря, въ то самое мѣсто, гдѣ природа помѣстила сердце какъ у человѣка, такъ и у животнаго. Почувствовавъ боль, туръ заревѣлъ такъ неистово, что Грицько чуть не свалился съ дуба, а друкаръ сталъ испуганно креститься и читать „Вогородицу“.

Стоя за дубомъ, запорожець продолжалъ глубже всаживать свое „ратие“ въ сердце чудовища, которое не выдержало и съ ревомъ и хрипѣніемъ опустилось на колѣни. Кровь изъ раны лилась фонтаномъ, окрашивая темнымъ пурпуромъ коренья дуба и сосѣдную зелень и землю. Животное силилось приподняться и снова било рогами дубъ, не догадываясь, что, сдѣлавъ оно шагъ вправо или влево вокругъ дуба,—тѣло запорожца трепетало-бы у него на рогахъ или извивалось какъ червякъ подъ копытами.

Запорожець, всадивъ копье еще глубже, какъ кошка выскочилъ изъ-за дуба съ длиннымъ ножомъ въ рукѣ и, размахнувшись во все плечо, вонзилъ блестящее желѣзо въ темя животнаго или вѣрнѣе—въ затылокъ, въ то самое мѣсто, гдѣ кончается черепъ, голова, и начинается позвоночный столбъ... Желѣзо вонзилось по самую рукоятку... У тура подкосились ноги, и онъ запѣвнною мордочою ткнулся въ корень дуба, падая всею массою своего громаднаго тѣла...

— Вотъ-же тебѣ, туре!—запыхавшись проговорилъ побѣдитель.—Кланяйся ниже-низенько, кланяйся козаку въ ноги!

Умирающее животное хрипѣло, судорожно вздрагивая.

— Хлопцы, будетъ вамъ воробьями на дубѣ сидѣть,—обратился запорожець къ своимъ товарищамъ.

Тѣ слѣзди съ дуба и съ изумленіемъ и страхомъ смотрѣли на бездыханное уже чудовище.

— Фю-фю-фю!—засвистѣлъ Грицько:—вотъ такъ бугай!

— Да еще и съ бородою, точно козелъ!—удивлялся Юхимъ.

Запорожець по преимуществу любовался рогами и хвостомъ убитаго имъ животнаго. Онъ гладилъ рога рукою, восхищался ихъ гладкостью, измѣрялъ ихъ длину четвертями.

— Да и пороховницы жъ добрыя выйдутъ! — невольно восклицалъ онъ:—вотъ пороховницы, стонадцать копъ!

Роскошный, густой хвостъ тура вызывалъ въ немъ другія казацкія мечтанія.

— А изъ хвоста — бунчукъ на все войско запорожское! Такого бунчука и у самого султана нѣтъ...

Побѣда надъ туромъ являлась торжествомъ и въ другомъ отношеніи—въ экономическомъ, какъ теперь сказали бы. Провизія у бѣглецовъ была на исходѣ: рыба вышла, огурцы вышли, хлѣба—самая малость. А туряго мяса хватить на всю дорогу, особенно если его порѣзать на куски да помянуть, закоптить хорошенько на кострѣ. На этомъ запорожець и порѣшилъ, сообщивъ о своемъ рѣшеніи товарищамъ.

Всѣ четыре молодца подѣлали изъ своихъ широкихъ поясовъ лямки, прикрутили ихъ къ рогамъ тура, впряглись въ нихъ и потащили чудовище внизъ, въ лѣсную чащу, чтобы тамъ его ободрать, расчленивъ и приготовить въ прокъ.

— А что, хлопче,—лукаво обратился къ Грицьку запорожець:—кто тяжеле—этотъ туръ или Загайло?

— Эге, дядьку!—насутился Грицько:—тотъ въ таратайкѣ, Загайло,— въ таратайкѣ легко...

— А вы бъ его безъ таратайки, какъ тура...

И запорожець многозначительно подмигнулъ.

IX.

Конашевичъ-Сагайдачный... Если кому изъ сыновъ своихъ должна поставить памятникъ Малороссія, то, безспорно, Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Сагайдачный — одна изъ самыхъ крупныхъ и благороднѣйшихъ личностей въ исторіи Малороссіи, хотя эта самая исторія почти пропустила его, тогда какъ такіе разорители малорусскаго народа и всей Украины, какъ Богданъ Хмельницкій, Дорошенко и другіе, попали, что-называется, въ передній уголь исторіи, въ ея барскіе хоромы.

Что-же была за личность—Конашевичъ-Сагайдачный?

На Днѣпрѣ, въ городѣ Самборѣ, жила себѣ жена благочестивая, „удова старенька“, по прозвищу Сагайдачиха. Было у нея единственное чадо любимое сыночекъ Петрусь. Это былъ хлопчикъ тихій, „слухъяный“, хотя нерѣдко огорчавшій мать странными выходками, которыя состояли въ томъ, что онъ нерѣдко пропадалъ по цѣлымъ днямъ и недѣлямъ, а потомъ появлялся гдѣ-нибудь верстъ за сто и болѣе отъ родного города и возвращался оттуда либо съ чумаками, либо съ почоевскими и кievскими богомолками. Когда мать, бывало, спрашивала его: „гдѣ ты, сыночекъ, пропадалъ?“—онъ отвѣчалъ, что либо „ходилъ къ рахманамъ“, либо „искалъ гдѣ конецъ свѣта“, либо, наконецъ, „роспытувавъ старцевъ, де живе Вернигора“—и старушка, бывало, только обѣ полы руками ударить. Все, что Петрусь слышалъ чудеснаго и таинственнаго, все это онъ хотѣлъ самъ видѣть. Слышалъ онъ какъ-то, что живутъ гдѣ-то невѣдомые люди, какіе-то „рахманы“, и что найти ихъ можно слѣдующимъ образомъ: когда бываетъ у людей „великдень“ и люди ѣдятъ крашенныя яйца, то если бросить отъ освященнаго яйца кожуру въ воду, такъ, чтобъ она не потонула въ рѣкѣ, то кожура эта поплыветъ по рѣкѣ, будетъ плыть день, два, три, можетъ быть недѣлю и болѣе, и доплыветъ наконецъ до „рахманскаго царства“. И вотъ тогда, когда „рахманы“ увидятъ, что приплыли къ нимъ крашенныя кожуры съ того „свѣта“, тогда и у нихъ начнется „великдень“. Вотъ, наслышавшись этого, Петрусь Сагайдачный однажды и бросилъ на „великдень“ яичную скорлупу въ Днѣпръ—и исчезъ изъ Самбора: онъ пошелъ по берегу Днѣпра вслѣдъ за плившею по водѣ скорлупою, потерялъ ее, конечно, изъ виду и все шелъ, пока знакомые чумаки не встрѣтили его на дорогѣ и не привели къ матери. Такимъ же точно образомъ онъ искалъ и „конца свѣта“, и таинственнаго „Вернигору“, про котораго онъ слышалъ, что „горами ворочаетъ“.

Старая Сагайдачиха, сокрушаясь о сынкѣ, говорила о его странностяхъ

на исповѣди самому батюшкѣ, и батюшка успокоилъ ее, что хлопчикъ недаромъ ищетъ конца свѣта, что ему такъ отъ Бога положено: что въ отрочествѣ, по неразумію своему, онъ ищетъ рахмановъ и Вернигору, а когда возмужаетъ, то станетъ угоднымъ Богу и будетъ „истину взыскати“; что поэтому его слѣдуетъ отдать книжному наученію,—„и процвѣтетъ разумъ хлопчика, яко сухій жезлъ Аароновъ“, сказалъ въ заключеніе батюшка и, увидѣвъ послѣ того Петруся, погладилъ его по головкѣ и сказалъ улыбаясь: „быть тебѣ Вернигорою“.

Тогда Сагайдачиха, отслуживъ напутственный молебень, отвезла своего любимца въ Острогъ и отдала въ тамошнюю школу. Въ школѣ Петрусь учился хорошо, но также отличался разными выбрыками: то удивлялъ учителей необыкновенно быстрымъ пониманіемъ предмета ученія, то опережалъ всѣхъ знаніями, то вдругъ начиналъ лѣниться, пропадалъ по цѣлымъ днямъ, бродилъ невѣдомо гдѣ и потомъ снова являлся. Когда наставники спрашивали его, гдѣ онъ пропадалъ, юный Сагайдачный нехотя отвѣчалъ, что онъ ходилъ въ пустыню, искалъ Бога, постился, въ надеждѣ, что ему явится бѣсъ для искушенія, но бѣсъ не являлся, и тому подобное. Между тѣмъ наставники не могли не видѣть, что онъ былъ очень богомоленъ; много читалъ священныхъ книгъ, много зналъ, и надѣялись, что изъ него выйдетъ пустынный. Но вышло не то—юный Сагайдачный пропалъ, такъ-таки пропалъ безъ-вѣсти.

Гдѣ онъ пропадалъ—никому не было извѣстно; одни предполагали, что, по своей письменности и, порой, необыкновенной набожности, онъ ушелъ на Аѳонъ, гдѣ съ давнихъ поръ спасался его землякъ Іоаннъ изъ Вишни; другіе, болѣе смѣлые, подозревали, что онъ „помандровалъ“ на Запорожье.

Черезъ много лѣтъ случилось такое обстоятельство. На Спаса, въ городѣ Черкасахъ, на рынкѣ, среди разряженного по праздничному поспольства, среди степенныхъ мѣщанъ и длинноусыхъ казаковъ, среди пестрой молодежи—парубковъ, „дивчатъ“, „молодицъ“ и „дитворы“, среди наваленныхъ на площади горъ арбузовъ, дынь и огурцовъ, посреди воевъ съ яблоками, сливами и грушами, бродилъ себѣ одиноко неизвѣстный ободранецъ—„бидный козакъ нетяга“, какимъ онъ казался всѣмъ видѣвшимъ его: не то бурлакъ—„попихачъ жидовскій“, которому жизнь не удалась, не то пропившійся казакъ, не то горемычный свинопасъ и волопасъ, забравшійся на рынокъ и не имѣющій въ карманѣ ни шеляга, на что бы купить себѣ праздничное яблочко, либо свѣчку Богу поставить отъ своего сиротства. На „бѣдномъ козакѣ нетязѣ“, какъ говорится въ думѣ, болтались три „сиромязи“—три сорта лохмотьевъ: „опанчина рогозовая“—это епанечка, сшитая изъ „рогозы“, изъ травы-ситника, нѣчто вродѣ плохой и дырявой рогожки; другое на немъ украшеніе—„поясина хмелевая“—поясъ, скрученный изъ завядшихъ плетей хмеля; еще на козакѣ украшеніе—„чоботы сафьянцы“, да такіе, что сквозь нихъ видны пятки и пальцы; „гдѣ ступить—босой ноги слѣдъ пишетъ...“ Таковъ-то былъ молодецъ! Мало того: еще на козакѣ красовалась баранья шапка—„шапка бирка,

сверху дирка“, мѣхъ давно облѣзъ и околыша тоже, какъ-говорится, „чортма“: вообще шапка на удивленіе— „дождемъ прикрыта и вѣтромъ на славу козацкую подбита“... Но молодецъ ходитъ себѣ гордо, пошлевываетъ черезъ губу и даже задорно поглядываетъ на какихъ-то пышныхъ трехъ не то ляховъ-пановъ, не то казаковъ, которые корчатъ изъ себя ляхковъ-панковъ и даже немножко „ляхомъ вырубать“, то есть стараются говорить по-польски: однимъ словомъ, это были настоящіе „дуки-срибляники“, богачи, значные казаки.

— А не пойти-ли намъ, шановные панове, до шинкарки? — сказала одинъ изъ „дуковъ“, — искоса поглядѣвъ на оборванца „нетягу“.

— До Насти Горовой—шинкарочки степовой? — спросилъ, ухмыляясь, другой „дука“.

— А хоть бы и до Насти, — отвѣчалъ первый.

— Добре, панове! У нея такой есть запри-духъ — горѣлка оковита, что ажъ очи рогомъ лѣзутъ отъ единой чарки, — пояснилъ третій.

„Нетяга“ какъ-бы и не слышитъ этого — да и исчезъ межъ возами съ яблоками и грушами.

Когда однако „дуки“ вошли въ шинокъ и повдоровались съ красивою молодою шинкаркою, которая показала имъ всѣ жемчужные зубы изъ-за коралловыхъ губокъ, они замѣтили, что оборванецъ „нетяга“ былъ уже тутъ: онъ стоялъ скромно у топившейся печки и, повидимому, сушилъ у огня свою еще наканунѣ промокшую отъ дождя шапку, готовую, казалось, совсѣмъ развалиться.

Хотя, по народному обычаю, позже вошедшіе въ шинокъ и должны были поздороваться съ прежде вошедшимъ, какой бы онъ ни былъ оборванецъ и даже пропойца, однако кичливые „дуки“ этого не сдѣлали и важно усѣлись за столъ.

— Гей, Насте-сердце! — сказалъ старшій изъ „дуковъ“: — давай намъ меду и доброй горѣлки!

— Какой же, паночку, вамъ горѣлки дать, — защебетала шинкарка, звеня монистами и мѣднымъ крестомъ; вистѣвшими на полной груди: — простой или оковитой?

— Самой пекельной — запри-духу! — пояснилъ второй.

— Спотыкачу — дядька спотыкайленка, — добавилъ третій.

Шинкарка метнулась къ стойкамъ, достала требуемое, поставила на столъ, сбѣгала потомъ за медомъ, который такъ и пѣнился, какъ сердитый панъ, — все это разставила на столѣ, а потомъ отошла въ-сторону и подперла розовую щеку рукою.

— Пейте, паночки, на здоровьечко да не забывайте вашу милостію Настю кабачную, — прошептала она и поклонилась.

А „нетяга“ все стоитъ у печи, все сушишь свою лохмотную шапку и искоса поглядываетъ на кичливыхъ „дуковъ“. Тѣ принялись пить — и снова, вопреки народному обычаю, хотъ бы одинъ изъ нихъ предложилъ бѣдному оборванцу „меду шклянку“ либо „горилки чарку“.

По лицу „нетяги“ пробѣжала недобрая улыбка, и онъ продолжалъ поглядывать на пирующихъ. Въ этихъ ясныхъ черныхъ глазахъ было что-то такое, отчего „дукамъ“ становилось жутко, водка не шла въ горло... Злилъ ихъ этотъ оборванецъ своимъ спокойнымъ взглядомъ; казалось, что эти глаза, глаза оборванца, смотреть на нихъ такъ, какъ иногда глаза больного пана, какого-нибудь ясновельможного князя, смотреть на самого жалкого хлопа...

Не вынесли этого „дуки“, тѣмъ болѣе, что и хмѣль сталъ уже разбирать ихъ головы.

— Гей, шинкарка Горовая, Настя молодая!—закричалъ Войтенко, ломаясь и корча изъ себя великаго пана. — Гей, шинкарко! намъ сладкаго меду подливай, а этого козака, пресучаго сына, въ-зашей изъ хаты выпихай!

— Вонъ его! вонъ!—прикрикнулъ и Золотаренко.—Должно быть онъ, пресучій сынъ, по винницамъ да пивоварнямъ валялся — опалился, ошарпался, ободрался, да теперь къ намъ пришелъ добывать, чтобъ въ другую корчму нести пропивать.

Оборванецъ на это только улыбнулся, а шинкарка со смѣхомъ подошла къ нему и взяла за черный чубъ.

— Пошелъ, пошелъ, козаче,—иди съ Богомъ, — хохотала она, таща оборванца словно вола за рога, а другой рукою слегка колотя въ затылокъ.

Оборванецъ, конечно, упирался. Настя хохотала и тащила его дальше, пока съ величайшимъ трудомъ, вся запыхавшись, не дотащила до порога. Но дальше порога оригинальный гость не шелъ: онъ уперся голыми пятками въ порогъ, зацѣпился репьемъ въ дверяхъ и не идетъ... Умаялась Настя.

— А цуръ тебѣ да пекъ! Вотъ бугай какой здоровый!—смѣялась она, дую себя на ладони:—ажъ ладони болятъ.

Тогда старшему изъ „дуковъ“, Гаврилъ Довгополенку, стало жаль несчастнаго, и онъ, вынувъ изъ кармана мелкую монету и подойдя къ шинкаркѣ,—тихонько сказалъ:

— Вотъ что, Настя-сердце: хоть ты на этихъ бѣдныхъ козаковъ и зла, да все-таки добрая... Колибъ-ты, сердце, сбѣгала въ погребъ да на вотъ эту людскую денежку хоть какого-нибудь пива нацѣдила — этому козаку бѣдному „нетягъ“ на похмѣлье животъ его козацкій подкрѣпила.

Шинкарка взяла денежку, лукаво улыбнулась и сказала, что напоитъ оборванца. Вышла она за перегородку и шепнула „наймичкѣ“:

— Бѣги, дѣвка-наймичка, въ погребъ, да возьми ендову четвертнюю, да наточи пива, да только не изъ первыхъ бочекъ:—пропусти ты восемь бочекъ, а съ девятой наточи поганаго пива: ужъ лучше его такимъ нетягамъ раздавать, чѣмъ свиньямъ выливать.

Но молодая „наймичка“ оказалась жалостливѣе своей хозяйки. Она сама знавала нужду и сочувствовала бѣдности. Притомъ же лицо оборванца

показалось ей добрымъ и красивымъ, а такихъ ласковыхъ, говорливыхъ глазъ подъ черными бровями она ни у кого не видала. Поэтому она не послѣдовала наказу хозяйки—миновать восемь бочекъ въ погребѣ и наточить изъ девятой негоднаго, промзглаго пива. Напротивъ, захвативъ толстую, новую, тяжелую четвертную ендову съ ушками, она минула девятую бочку и наточила меду изъ десятой—лучшаго, крѣпчайшаго меду, какой только былъ въ погребѣ и который назывался „пьяное чоло“.

Воротившись съ ендовой въ свѣтлицу, наймичка отвернула лицо отъ меду, показывая видъ, будто-бы напитокъ этотъ очень воняетъ, а между тѣмъ ласково подмигнула бродягѣ и, подавая ему ендову, поклонилась.

Бродяга, сочувственно сверкнувъ своими черными глазами, взявъ изъ рукъ ея ендову, медленно прислонился къ печкѣ, неторопясь попробовалъ напитокъ, посмаковалъ — нашель, что онъ отличный, улыбнулся своею загадочною улыбкой, плотно приложился губами къ ендовѣ и напился до-сыта. Передохнувъ немного, онъ снова взялъ ендову „за одно ухо“, наклонилъ ее, припалъ къ краю — и стало въ той ендовѣ „сухо“... Бросилась козаку въ голову хмѣлинушка — „пьяное чоло“ дѣйствительно оказалось пьянымъ.

А „дуки“ все бражничаютъ...

Вдругъ бродяга какъ хватить дубовой ендовой объ полъ! Ударъ былъ такъ силенъ, что со стола у „дуковъ“ повалились чарки и „пьяшки“, изъ печи полетѣла сажка, а шинкарка съ испугу присѣла за прилавокъ.

— Охъ, лищечко! — завопила она.

Пирующіе вскочили съ мѣстъ. Они былишибко озадачены.

— Вотъ дурень! — укоризненно сказалъ Золотаренко: — вѣрно онъ доброй горѣлки не пивалъ, что его такъ и поганое пиво опьянило.

Услыхавъ это, бродяга выпрямился, бодро подошелъ къ столу и, глядя смѣлыми, сверкающими глазами на „дуковъ“, закричалъ:

— Гей вы, ляхове, вражьи сынове! Ну-ка подвигайтесь къ порогу, чтобъ мнѣ, козаку-нетягѣ, было гдѣ въ переднемъ углу съ лаптями сѣсть.

„Дуки“ нерѣшительно переглянулись. Бродяга смотрѣлъ на нихъ уже не тѣмъ жалкимъ бродягой.

— Вонъ, дуки срибляники! — повторилъ онъ свой окрикъ.

„Дуки“ видѣли, что съ такимъ пьяницей и силачомъ не совладаешь, что онъ, пожалуй, и въ нихъ ендовой пустить, и заблагоразсудили подвинуться, дать за столомъ мѣсто этому разбойнику.

Шинкарка тоже присмирѣла и удивленно посматривала на страннаго гостя. Наймичка выглядывала изъ-за перегородки, стараясь уловить его сердитый взглядъ.

Бродяга между тѣмъ сѣлъ за столъ на переднее мѣсто, отодвинулъ отъ себя чужія чарки и бутылки и вынулъ изъ своей рогожаной епанчи „широ золотный обушокъ“.

— Гей, шинкарко! — крикнулъ онъ, кладя свой закладъ на столъ, — чеберъ меду за этотъ обушокъ!

Перепуганная недавнимъ громомъ шинкарка не знала, что ей дѣлать,

и вопросительно поглядывала на „дуковъ“, боясь встрѣтиться съ сердитымъ взглядомъ бродяги.

„Дуки“ съ улыбкою переглянулись.

— Не давай ему, Настя,—сказалъ наконецъ Войтенко,—не выкупить онъ у тебя этого залога, пока не станетъ у насъ воловъ погонять или у тебя печи топить.

Тогда бродяга, не говоря ни слова, распустилъ свой поясъ изъ хмѣлевыхъ плетей, разстегнулъ находившійся подъ рогожною епанчою кожаный широкій поясъ—„чересь“—тряхнулъ имъ—и изъ него посыпались блестящіе червонцы, которые такъ и устлали собою весь столъ.

Картина быстро измѣнилась.

Шинкарка ахнула и перегнулась всѣмъ тѣломъ черезъ стойку. Красивые глаза ея засверкали алчностью, губы задрожали. У „дуковъ“, при видѣ такой кучи золота, и хмѣль изъ головы выскочилъ. Они бросились наперерывъ ухаживать за бродягой.

— Охъ, братику, пане козаченку! какъ-же ты насъ одурачилъ!—заговорилъ Золотаренко.

— Выпей, козаченку, выпей, сердце, нашего меду-горѣлки!—юлилъ Войтенко.

— Не держи на насъ, братику, пересердія, что мы надъ тобой насмѣялись—то мы шутили...

Нетяга, не говоря ни слова, подошелъ къ отворенному окошку и свистнулъ.

И вдругъ—откуда ни возьмись—въ шинокъ входятъ три хорошо одѣтыхъ казака, въ видѣ „джуръ“ или оруженосцевъ, и, низко кланяясь, подходятъ къ бродягѣ.

— Здоровъ бувъ, батьку козацкій! Вотъ твои шаты,—сказалъ, первый изъ нихъ,—шелковые жупаны.

— А вотъ твои, батьку, желтые сафьянцы!—привѣтствовалъ его второй „джура“.

— А это твои, батьку, червонны шаровары да шапка-оксамитка,—привѣтствовалъ третій.

И дѣйствительно, въ рукахъ у пришедшихъ были дорогія одежды: у перваго—голубые шелковые жупаны съ золотыми кистями и шитьемъ, у другого—желтые сафьянные сапоги, у третьяго—красные широчайшіе штаны, такіе широкіе, что когда въ нихъ казакъ идетъ, то самъ за собою штанами слѣдъ заметаешь.

Бродяга тутъ-же, не стѣсняясь присутствіемъ прекраснаго пола, сдѣлалъ свой туалетъ и закрутилъ усы.

Когда неизвѣстный бродяга преобразился въ богато-одѣтаго казака, въ „лыцаря“, старшій „джура“ обратился къ нему съ слѣдующими словами, повергшими „дуковъ“ и шинкарку въ крайнее смущеніе:

— Гей, Хвесько Ганжа Андыбере, батьку козацкій, славный лыцаре! долго-ли тебѣ тутъ бездѣльничать? Часъ-пора идти на Украинѣ батьковать.

„Дуки“ даже отшатнулись назадъ при этихъ словахъ и подвинулись къ самому порогу.

— Так это не есть, братцы, козакъ бѣдный „нетяга“!—шептались они испуганно.

— Эге! это есть Хвесько Ганжа Андыберъ—гетманъ запорожскій...

— Отаманъ кошевой, братцы,—про его славу давно было слышно!

Оправившись немного, они съ поклонами приблизились къ преобразившемуся бродягѣ и стали извиняться, что ошибкой пошутили съ нимъ.

А Гаврило Довгополенко, подойдя къ нему и кланяясь низко, сказалъ:

— Придвинься жъ и ты къ намъ, батьку козацкій, ближе; поклонимся мы тебѣ пониже—будемъ думать да гадать, какъ-бы хорошо было на славной Украинѣ проживать.

А Войтенко и Золотаренко стали тотчасъ-же подносить ему изъ своихъ рукъ медъ и вино. Странный незнакомецъ не отказывался отъ угощенья, но, принимая изъ рукъ напитки, не пилъ ихъ, а выливалъ на свою дорожную одежду.

— Эй, шаты мои, шаты!—восклидалъ онъ при этомъ,—пейте, гуляйте! Не меня чествать—васъ поважають, потому какъ я васъ на себя не надѣвалъ, то и чести отъ дуковъ-сребляниковъ не видалъ.

Озадаченные „дуки“ растерянно переминались съ ноги на ногу, стыдясь взглянуть въ глаза этому какъ съ неба свалившемуся дьяволу и его тремъ чубатымъ, загорѣлымъ аггеламъ. Шинкарка тоже стояла ни жива, ни мертва. Одна „наймичка“ видимо ликовала, тараща свои радостные глаза на „козака-нетягу“, что теперь такъ и сиялъ въ дорожныхъ шатахъ.

Но недолго длилось это замѣшательство. Страшный незнакомецъ глянулъ на своихъ молодцовъ.

— Эй, козаки-дѣтки, други молодцы!—крикнулъ, онъ и ласково и грозно въ одно и то же время.—Прошу я васъ, други, добре дбайте этихъ дуковъ-сребляниковъ за лобъ, словно воловъ изъ-за стола выводите, передъ окнами положите, по три березины имъ всыпьте, чтобъ они меня вспоминали, до конца вѣка не забывали.

И онъ указалъ на Войтенка и на Золотаренко, а къ Гаврилѣ Довгополенку обратился дружески:

— А ты, брате, садись около меня, выпьемъ: ты бѣднымъ человѣкомъ не погордовалъ, а кто бѣднымъ человѣкомъ не гордуешь, того и Богъ добромъ взыскуеть.

Войтенка и Золотаренка „джуры“ между тѣмъ взяли за чубы и словно воловъ вывели изъ шинка, разложили подъ окнами и, несмотря на ихъ крики, на то наконецъ, что со всего рынка и съ берега сбѣжались толпы любопытныхъ, выпороли березою преисправно и еще прочли имъ нравоученіе.

— Эй, дуки вы, дуки!—приговаривалъ тотъ, который сѣлъ,—за вами луга и лѣса—негдѣ нашему брату козаку-нетягѣ стать, коня попасать...

— Такъ ихъ, такъ ихъ, дуковъ!—кричала толпа,—они у бѣднаго человѣка послѣднюю сорочку снимають.

— Вотъ такъ Хвесько козакъ! Вотъ такъ Ганжа Андыберъ!—раздавались радостные голоса.—Это онъ за нашего брата стоитъ—за голоту...

Этот таинственный оборванецъ, этотъ Ганжа Андыберъ и былъ Петръ Конашевичъ-Сагайдачный, столько лѣтъ пропадавшій безъ вѣсти.

X.

Послѣ объявленіи Сагайдачнымъ, вслѣдъ за послѣднимъ его избраніемъ въ кошевые атаманы, морского похода прошло болѣе недѣли въ приготовленіяхъ. Приготовленія эти были не особенно сложныя: приводились въ окончательный порядокъ чайки, конопатились поплотибѣ, смолились и уснащались канатами, причалками, якорями—изъ желѣза и просто изъ булыжника съ положенными накрестъ деревянными лапами; изготовлялись запасныя веревки, весла и „правила“; чинилась и штопалась рваная одежда—„штаны“, „сорочки“, „шапки“, „кожухи“, „чоботы“ и пояса—„череса“ для татарскихъ и турецкихъ „будущихъ“ золотыхъ; пеклись хлѣбы, рѣзались на сухари и сушились по горнамъ и просто на пологахъ и конскихъ попонахъ; запасались въ дорогу и предметы роскоши—„цыбуля“, чеснокъ, соль, тютюнъ, сушеная тарань и лещъ; наливались боченки, „боклагы“ и „барилы“ доброю водкою—„горилкою“, „оковитою“. Войсковою грамотой, „письменникъ“ Олексій Поповичъ—отчаянный „пройдисвистъ“ изъ кievскихъ бурсаковъ, захватилъ въ дорогу и „свѣте письмо“.

Необыкновенно трогательно было по своей простотѣ и дѣтской наивности выступленіе въ походъ и собственно напутственное молебствіе, которое, за неимѣніемъ въ Сѣчи попа и церкви, какъ-то особенно по-козацки отмахалъ Олексій Поповичъ. Нѣкоторымъ козакамъ захотѣлось помолиться передъ выступленіемъ въ грозную, далекую, невѣдомую дорогу; а какъ молиться—они не знали... „Богъ его зна, що воно таке тамъ поць чита, коли у дорогу напутствіе“,—говорили иные изъ нихъ, видѣвшіе иногда въ Кіевѣ напутственные молебны: „про якогось-то тамъ Пилипа мурина, то про царця якусь Кандакію, а до чого ся царця—Богъ его знае...“

И вотъ, когда всѣ „курини“, все войско запорожское высыпало на берегъ къ „чайкамъ“ и когда гребцы заняли уже свои мѣста, а все остальное „товарищество“ толпилось то вокругъ своихъ хоругвей, „короговъ“, то у чаекъ, вниманіе всѣхъ было привлечено появленіемъ на гетманской чайкѣ Олексія Поповича съ книгою въ рукахъ. Онъ былъ безъ шапки. Всегда дерзкая, забубенная, постоянно поднятая кверху голова его теперь была смиренно наклонена надъ книгою. Полуденный теплый вѣтерокъ игралъ его чернымъ чубомъ и хоругвями, которыя тихо поскрипывали... Берегъ на цѣлую версту былъ усыпанъ казаками, какъ огородъ цвѣтами.

Олексій Поповичъ, поднявъ глаза на атаманскую хоругвь, перекрестился. Какъ-бы по волшебному мановенію все войско сняло шапки.

— Олексій Поповичъ свѣте письмо читаетъ!—прошло по рядамъ: — слушайте, братцы!

„Ангель же Господень рече къ Филипу, глаголя: возстани и иди на полудне, на путь сходящій отъ Іерусалима въ Газу—и той бѣ пусть...“

Громко раздавалось по водѣ и по всему берегу внятное, внушительное чтеніе Олексія Поповича. Казаки слушали его напряженно, едва дыша... Они слушали сердцемъ и дѣтскою, вѣрующею мыслью, слушали не Олексія Поповича, этого подчасъ пьянаго „гульвису“, этого задорнаго „розбишаку“ и отчаяннаго „пройдисвита“, не дававшего, гдѣ это было можно (только не въ Сѣчи), спуску ни „дивчатамъ“, ни „молодицямъ“, а слушали они своимъ чистымъ сердцемъ „свiate письмо“. Лица казаковъ были серьезны, внимательны, тѣмъ болѣе серьезны, чѣмъ менѣе понимали они читаемое, это таинственное „свiate письмо“, котораго сами они не умѣли читать. Ихъ чубами на наклоненныхъ, задумчивыхъ головахъ игралъ полуденный вѣтерокъ.

Голосъ чтеца крѣпчалъ все болѣе и болѣе—онъ самъ увлекался, выкрикивая церковныя слова съ украинскимъ акцентомъ превращая *ять* въ *и*, а *и* въ *еры*, въ *ы*, что особенно было по душѣ слушателямъ. Эти непонятныя для нихъ слова—этотъ „муринъ“, этотъ „евнухъ“ и кака-то „царица“—все это входило въ душу слушателей такимъ-же непонятнымъ, таинственнымъ, по тѣмъ болѣе умиляющимъ сердце. Кто-то куда-то ѣдетъ на колесницѣ, читаетъ пророка Исаію... А тутъ и „духъ“, и „Пилипъ“, и „рече“. И они, казаки, куда-то ѣдутъ—далеко, далеко... И подъ голосъ чтеца, подъ звуки этого „святого письма“, каждому вспоминается либо родная хата съ вербою, либо „старенька мати“, вся поглощенная горемъ разлуки, либо „дивчина коло криници“, прощающаяся съ казакомъ, а слезы текутъ по поблѣднѣвшимъ щекамъ да въ криницу капъ-капъ-капъ...

— Смотрите! смотрите!—раздались вдругъ голоса.

— Козакъ бугая ведутъ!

— Да то не бугай-же! Развѣ тебѣ повылазило!

— Да бугай-же и есть, чортовъ сынъ!

— Не бугай, Иродова цуцня! То самъ туръ! Развѣ не видишь—бородою трясеть?

— Да туръ же, братцы, туръ и есть! Вотъ внезапія, такъ внезапія!

Дѣйствительно, глазамъ молящихся казаковъ представилась невиданная „внезапія“. На томъ берегу Днѣпра, какъ разъ противъ берега, усыпаннаго казаками, какіе-то два—не то казаки, не то просто „хлопцы“—вели на веревкѣ живого тура, который упирался и сердито моталъ головой. Развѣ-же это не чудо, не внезапія! Живого чорта за рога тащутъ! Да развѣ-же это видано! Два хлопчика живого тура ведутъ, а онъ ломается какъ свинья на веревкѣ... Это какія-нибудь чары...

Хлопцы, ведущіе тура, машутъ шапками, зовутъ...

— Да это можетъ татары, чортовы сыны, глаза отводить...

— Какіе татары! Въ нашихъ штанахъ...

— Да глаза-жъ отводятъ—характерники можетъ...

— Мы имъ отведемъ...

Нѣкоторые изъ казаковъ бросились въ стоявшую у берега большую рыбацкую лодку, схватили весла и, лавируя между „чайками“, птицей по-неслись къ тому берегу, гдѣ проявилась эта „внезапія“. Скоро лодка при-

стала, казаки выскочили из нея, подбѣжали къ чуду... Разводить руками, дивуются... Тѣ, что привели чудо на арканѣ, снимаютъ шапки, здороваются съ казаками...

Видятъ казаки съ этого берега еще большее диво: туръ вачинаетъ плясать и брыкаться... Слышно, какъ тамъ казаки, глядя на пляшущаго тура, смѣются—за животы берутся...

— Что оно такое, сто копанокъ чертей! — не вытерпѣлъ Хвилонтъ Небоба.

— Да то ученый туръ! Можетъ, москали какъ медвѣдя научили его танцовать...

— Эге! научишь бабу козакомъ быть!

Скоро увидѣли, что всѣ—и прѣхавшіе въ лодкѣ казаки, и приведшіе тура, и самъ туръ—сошли къ Днѣпру и сѣли въ лодку... Видно, какъ туръ стоитъ въ лодкѣ и бородою трясетъ....

— Вотъ чортова проява!—и не диво-жъ!

— А рога какіе, братцы! Вотъ рога!

— Операкіе! А хвостиче!

— А борода точно у козла... Цапиная борода...

— Гдѣ козлу до такой! Точно у добраго москаля...

Между тѣмъ лодка пристала къ этому берегу, и изъ нея вмѣстѣ съ козаками и двумя неизвѣстными молодцами вышелъ самъ туръ, крутя головою и потрясая бородою... Его такъ и обсыпали кругомъ запорожцы...

Но въ этотъ моментъ изъ него выскочилъ... казакъ, запорожецъ.

— Пугу! пугу!—запугалъ онъ пугачемъ.

— Козакъ съ лугу!

— Ай! да это-жъ Карпо!

— Да Карпо-жъ Колокузни, чортовъ сынъ! Вотъ выдумалъ!

Изъ тура выскочилъ и другой молодецъ, знакомый нашъ Грицько, что возилъ патера Загайлу въ таратайкѣ... Туръ, то-есть его шкура, никѣмъ не поддерживаемая, повалилась на землю.

— Карпо! Карпуха, братику! Здоровъ бувъ, братику! — начались прѣтвствія со всѣхъ сторонъ и разпросы.

— Откуда? Какъ? Какъ Богъ принесъ? Самъ убилъ этого чертяку? Что паны ляхи? что ксендзы?

— Ксендзы на хлопцахъ ѣздятъ...

— Какъ на хлопцахъ?

— Да вотъ я и коней панскихъ привелъ... Они возили на себѣ Загайлу... Это Грицько, это Юхимъ, это „друкаръ“, Хведоръ Безридний—козаками будутъ...

Въ этотъ моментъ на валу прогремѣла вѣстовая пушка, и бѣлый дымокъ ея понесло туда, къ Украинѣ... Другой бѣлый дымокъ взвился съ другой стороны вала и снова грянулъ выстрѣлъ... И этотъ дымокъ понесло къ Украинѣ, пока не развѣяло его въ голубомъ воздухѣ... И третій дымокъ, третій выстрѣлъ...

Почти каждый из казаков глянул на хоругви и перекрестился. Лица стали серьезнѣе.

Какъ пчелы въ свои ульи, сыпнули казаки каждый къ своему куреному значку, къ своей „чайкѣ“, гдѣ молодые гребцы-казаки, „молодики“, пробовали ловкость и удобство своихъ весель.

— А какъ-же хлопцы?—спросили Карпа другіе казаки, указывая на его молодыхъ товарищей, которые стояли какъ-бы растерянные, пораженные никогда невиданнымъ прежде зрѣлищемъ отправленія запорожскаго войска въ походъ.

— Хлопцы со мною,—отвѣчалъ Карпо.

— Да у нихъ нѣтъ ничего.

— Добудутъ въ морѣ да за-моремъ—еще какіе жупаны добудутъ.

— А этого чорта—тура?

— И онъ съ нами поѣдетъ—въ нашей чайкѣ... Берите его, хлопцы,—да гайда до чолна!

Днѣпръ заплылся отъ нѣсколькихъ сотъ весель, которыми гребцы бороздили его голубую поверхность. Выступало въ походъ болѣе полусотни чаекъ, изъ которыхъ на каждой было по пятидесяти и по шестидесяти казаковъ вмѣстѣ съ гребцами. Крикъ и говоръ стоялъ невообразимый: гребцы сталкивались веслами, перебранивались, слышались окрики рулевыхъ... Казаки размѣщались по мѣстамъ, закуривали трубки... Съ берега махали шапками тѣ изъ казаковъ, которые оставались стеречь Сѣчь; пасти войсковые табуны, ловить и сушить на зиму рыбу...

— Берегите, братики, моего Лысуна!

— Стригунца, братцы, моего доглядайте!

Это послѣднія заботы казаковъ, выступающихъ въ море, послѣдніе ихъ, какъ-бы предсмертные, наказы — беречь ихъ любимыхъ боевыхъ коней... А еще кто-то воротится?..

Скоро и „Сичь-мати“ исчезла изъ виду. Передовыя чайки были уже далеко, точно будто онѣ особенно торопились въ далекую, невѣдомую дорогу. Вся флотилія скользила по водѣ тихо, безшумно. Не слышно было ни криковъ, ни обычныхъ веселыхъ пѣсень. Предстояло дѣло не шуточное: надо было такъ осторожно пробраться въ море, чтобъ „поганые“ и не опомнились, какъ казаки упадутъ на нихъ „мокрымъ рядомъ“...

XI.

Казацкая флотилія благополучно доплыла до Кызыкермея.

Это была небольшая турецкая крѣпость, стоявшая почти у входа въ днѣпровскіе лиманы и предназначенная собственно для того, чтобы запереть собою Днѣпръ съ его страшными чубатыми обитателями и не давать имъ возможности съ ихъ легкими, неуловимыми какъ молвія и ужасными какъ громъ Божій чайками выплывать въ Черное море—въ этотъ дорогой бассейнъ падишаха, обставленный по берегамъ такими богатыми и краси-

выми городами, какъ Козловъ, Кафа, Трапезонтъ, Синопъ и самъ Стамбулъ, блестящее подножіе тѣни Аллаха на землѣ.

На стѣнахъ Кызыкермена торчало до дюжины черныхъ пушекъ, мрачныя дула которыхъ обращены были къ Днѣпру и каждую минуту готовы были изрывать огонь и смерть тѣмъ дерзкимъ смертнымъ, которые осмѣлились-бы изъ Днѣпра пробраться въ заповѣдный бассейнъ падишаха, въ голубое море, названное Чернымъ потому, что во время бури на немъ, какъ увѣрялъ Копчи-паша московскаго посла Украинцева, „дѣлаются черными сердца человѣческія“. Кромѣ того, у крѣпостцы отъ одного берега къ другому перекинута была цѣпи, которыя преграждали рѣку, а если и не могли преградить ее окончательно, потому что отъ собственной тяжести опускались въ воду довольно глубоко и, во всякомъ случаѣ, глубже, чѣмъ сидѣли на водѣ легкія казачіи чайки, какъ орѣховыя скорлупы скользившія почти по поверхности,—если, повторяемъ, и не могли окончательно загородить Днѣпра, то посредствомъ разныхъ поплавокъ, прикрѣпленныхъ къ нимъ, и звонкихъ металлическихъ погремушекъ предупреждали часовыхъ крѣпости, особенно темной ночью, что непріятель крадется черезъ цѣпи. Тогда пушки, наведенныя какъ-разъ на это мѣсто, на заграждающія цѣпи, дѣлали нѣсколько залповъ, и непріятель неминуемо бы погібъ подъ ядрами или пошелъ-бы ко дну со всѣми своими чайками „раковъ ловить“, какъ выражались запорожцы.

Все это очень хорошо зналъ хитрый „батько козацкій, старый Сагайдакъ“, и потому заблаговременно принялъ свои мѣры.

Онъ приказалъ флотиліи остановиться, не доѣзжая нѣсколькихъ верстъ до Кызыкермена, у берега Днѣпра, гдѣ образовалась какъ-бы природная гавань. Берегъ покрытъ былъ лѣсомъ—старыми дубами, осокорями, тополями. Сагайдачный, выйдя на берегъ, приказалъ казакамъ рубить самыя толстыя деревья и стаскивать ихъ къ водѣ. „Дѣтки“ принялись усердно за работу и скоро повалили на землю нѣсколько десятковъ дубовъ и осокорей, украшавшихъ дѣвственные берега этой дѣвственной рѣки.

— Сколько чаекъ, столько и дубовъ, дѣтки!—распоряжался Сагайдачный.

— Добре, батьку,—отвѣчали дружно „дѣтки“ и начали считать нарубленные кряжи.

— Считаю ты, Хомо!—подтрунивали козаки надъ придурковатымъ, простодушнымъ Хомою: — не въ чорта-жъ ты и считать здоровъ!

Хома началъ считать, загибая свои обрубковатыя пальцы на правой рукѣ.

— Оце разъ, оце два, оце три...

Такъ онъ благополучно досчитался до двадцати девяти, а тамъ спутался...

— Оце двадцать девять, оце двадцать десять, оце двадцать одиннадцать...

Варывъ хохота прервалъ его своеобразное счисленіе. Хома оторопѣлъ и безъ толку пригибалъ то тотъ, то другой палець.

— Добре! добре, Хомо! Считаю дальше: двадцать десять, двадцать-люлька, тридцать-кресало...

Опять взрывъ хохота.

— Чего ржете, сто копанокъ, чертей! — гукнулъ на нихъ старый атаманъ Небаба.

Наконецъ срубленные дубы были сосчитаны.

Подопелъ „старый батько Сагайдакъ“, опираясь на саблю.

— А теперь, дѣтки, въ воду дубы, да привязывайте ихъ легонько къ чолнамъ, распорядился онъ.

— У! не въ чорта-жъ и хитрый у насъ батько, стонадцать копъ! — ворчалъ про себя Карпó, волоча съ „друкаремъ“, Грицькомъ и Юхимомъ огромный дубъ въ воду.

Когда всѣ срубленные деревья были стащены въ Днѣпръ, Сагайдачный приказалъ къ каждой чайкѣ привязать по дереву, но такъ, чтобы они плыли не позади чаекъ, а впереди ихъ. Потомъ сдѣлали роздыхъ на берегу, поужинали, не разводя огня, чтобы не выдать сторожевымъ туркамъ и, быть можетъ, бродящимъ въ окрестностяхъ татарамъ своего присутствія, отдохнули немного. Скоро надвинулись сумерки, а затѣмъ наступила и ночь, темная, вѣтряная... Подулъ сѣверный вѣтеръ, нѣсколько свѣжій, извѣстный у запорожцевъ подъ именемъ „москаля“.

— Москаль поднялся — это намъ на руку, — поясняли казаки.

— Москаль насъ и въ море вынесетъ.

Къ полуночи флотилія двинулась далѣе, но уже такъ, что каждая чайка шла почти весло къ веслу съ другою чайкою — двигались „лавою“, въ одинъ или въ два ряда. Шли необыкновенно тихо: ни одно весло не плеснуло сонною водою, потому что флотилія шла не на веслахъ, а просто плыла по теченію.

Впереди чаекъ плыли какія то темныя чудовища — не то люди-великаны, не то звѣри, не то черныя чудовищныя рыбы... Торчали изъ воды какія-то руки, гигантскіе пальцы на этихъ рукахъ: это плыли привязанные къ чайкамъ дубы и осокори...

Тихо, необыкновенно тихо — хоть быдохнулъ кто-либо... Только дышетъ „москаль“ —дохнетъ небольшимъ порывомъ, пробѣжитъ по водѣ и стихнетъ...

Гдѣ-то тамъ, въ темнотѣ, запѣлъ пѣтухъ: это въ Кызыкерменѣ — турецкій пѣтухъ, и онъ поетъ такъ же, какъ казакскій „пивень“ на Украинѣ... Еще запѣлъ пѣтухъ — это полночь... Небо такъ вызвѣздило: вонъ Петровъ Крестъ, вонъ Чапига горитъ, Волосожары... И въ Днѣпрѣ, изъ темной воды, смотрятъ и мигаютъ звѣздочки... Одна покатила по небу и, казалось, упала въ Днѣпръ... Застоналъ гдѣ-то филинъ...

На одной изъ чаекъ, нѣсколько выдвинувшейся впередъ, чернѣется на носу словно статуя. Это стоитъ неподвижно самъ Сагайдачный и не сводитъ глазъ съ туманной дали...

Тамъ, впереди, въ этомъ мракѣ, залаяла собака... это въ Кызыкерменѣ турецкая собака на вѣтеръ лаеетъ — не спится ей, какъ всякой собакѣ...

Чуть-чуть замигалъ впереди огонекъ... Должно быть въ окошечкѣ сторожевой „башни“... А можетъ быть это звѣздочка... Нѣтъ, не звѣздочка—темянѣется силуэтъ башни, стѣнъ...

Опять порывъ вѣтра—„москаль“ дунулъ казакамъ въ затылокъ—и опять тихо...

— Веса въ воду, остановить чайки, ни шагу дальше!—раздался вдругъ голосъ Сагайдачнаго, но такъ тихо, что услышали только ближайшія чайки.

— Веса въ воду, стой, ни шагу!—прошло по всей флотилии.

И чайки моментально остановились. Впереди рисовались темные выступы башни.

Наступилъ рѣшительный моментъ...

— Спускай дубы! Рѣжь!—опять раздался голосъ кошевого.

— Рѣжь! спускай дубы!—прошло по всей флотилии отъ одного берега Днѣпра до другого.

Отрѣзанные отъ чаекъ дубы и осокори, шевеля надъ водою обрубленными вѣтвями, точно гигантскими руками, поплыли внизъ по теченію...

Чайки, удерживаемыя веслами, стояли на водѣ неподвижно...

Дубы исчезли изъ виду... Нѣкоторые изъ казаковъ крестились...

Тихо, необыкновенно тихо кругомъ—даже „москаль“ не дуетъ... Прошло нѣсколько минутъ... Какъ бы спросонокъ хрипло запѣлъ пѣтухъ, ему отвѣчала соннымъ лаемъ собака—и опять стало тихо.

Вдругъ впереди, далеко за этою тьмою, послышалось какое-то глухое звяканье—еще, еще...

— Зацѣпили!—прошенталъ про себя Карпо, налегая на весло.

Въ этотъ моментъ раздался пушечный выстрѣлъ—за нимъ другой третій... Проснулась крѣпость, загремѣла стѣна—жарятъ турки по колодамъ, по дубамъ да осокорямъ, воображая, что стрѣляютъ по казакамъ и по ихъ дерзкимъ лодкамъ... „Алла! Алла! Алла!“ воютъ въ темнотѣ голоса.

Ударъ за ударомъ гремитъ со стѣнъ крѣпости. Слышно, какъ ядра бултыхаются въ воду, звенятъ цѣпами, разрываютъ ихъ, мутятъ воду, колотятъ ядрами и картечью по колодамъ.

— Кихъ-кихъ-кихъ!—зажимая рукою носъ и ротъ, не можетъ удержаться отъ смѣху добрякъ Хома.—Вотъ дуриш, по колодамъ лупать...

— И хитрый до сто-бѣса у насъ батько!—шепчутъ молодые казаки.

Залпы, прогремѣвъ еще нѣсколько разъ, смолкли: или всѣ заряды выстрѣлены, или турки воображали, что уничтожили дерзкихъ гауровъ.

Тихо и темно впереди, хотъ глазъ выколи—„хочъ у око стрель...“

— Трогай, дѣтки, да тихо, тихо, водою не плесни!—раздается опять въ темнотѣ голосъ Сагайдачнаго.

— Трогай! Трогай!—пронеслось тихо отъ берега до берега.

Въ тотъ-же моментъ порывисто зашумѣлъ „москаль“—и чайки птицею понеслись по темной поверхности мрачной рѣки... Вотъ онъ уже противъ крѣпости... Со стѣнъ слышны неясные голоса... Испуганныя коровы ревутъ за стѣнами.

Чайки уже миновали крѣпость...

— Кихъ-кихъ-кихъ! — не можетъ удержаться Хома.

— Молчи, Хома, еще не дома, — предостерегаютъ его.

— Вотъ такъ батько! Вотъ такъ старый Сагайдакъ!

— Нажимай, нажимай, братцы, чтобъ весла трещали! Нажимай до живыхъ печенокъ! „Або добути, або дома не бути!“

Чайки летѣли стрѣлою, далеко оставивъ за собою злополучный Кызы-кермень.

Уже къ утру, достигнувъ лимановъ, онѣ остановились и попрятались въ необозримыхъ камышахъ, словно дикія утки. Тутъ, подъ защитою камышей, казаки дали себѣ роздыхъ передъ выступленіемъ въ открытое море. Мѣсто для стоянки и для отдыха было великолѣпное. На десятки верстъ тянулись камышевыя заросли, въ которыхъ могло спрятаться цѣлое войско и укрыться цѣлый флотъ изъ мелкихъ судовъ. Дѣвственные камыши были такъ высоки, что среди нихъ могли ходить гиганты, и все-таки вершины красиваго, стройнаго, гибкаго „очерета“ покрывали бы ихъ съ головою.

Въ камышахъ гнѣздились безчисленными стаями водяныя птицы — бакланы, цапли, гуси, утки, кулики, лысухи, дикія курочки, „бугаи“. Отъ птичьихъ голосовъ надъ лиманами стонъ стоялъ. Повременамъ надъ камышами проносилась словно буря: это пробѣгали стада тѣмъ-либо испуганныхъ кабановъ, которыхъ на лиманахъ было великое множество.

Любили казаки вообще камыши, потому что среди камышей они прятались отъ „поганныхъ басурманъ“, среди камышей они охотились на птицу и звѣря, среди камышей и рыбу ловили — одно изъ богатствъ ихъ незатѣйливой жизни. Казакъ и въ пѣснѣ не забывалъ своихъ камышей, а „дивчина“, восхваляя своего милаго, пѣла тоже про „очереть“:

Очереть осока —
Чорни брови въ козака.

Но зато въ камышахъ водился и бичъ казака, который отравлялъ его работу, покой и сонъ, отравлялъ всю его жизнь въ этой палестинѣ: бичъ этотъ — комаръ. Комары въ лиманахъ среди камышей были истиннымъ наказаніемъ Божиимъ, казнями египетскими, и народная поэзія, упоминая о горькихъ сторонахъ казачьей вольной жизни, упоминала и о комарѣ: каждому молодцу приходилось „козацкимъ билимъ тиломъ комаривъ годувати“...

Въ этихъ-то камышахъ и расположились запорожцы, благополучно проскользнувшіе мимо Кызыкерменя. Кто уснулъ въ лодкахъ, кто на берегу, въ камышахъ. Часовые расположились на окраинахъ спящаго войска, хотя тоже между травой, но на болѣе возвышенныхъ мѣстахъ, откуда видны были и лиманы, и разстлавшіяся на необозримое пространство степи.

Часовые располагались небольшими группами — по-двое и по-трое, чтобъ если одинъ нечаянно задремлетъ, то другой бы бодрствовалъ.

Вдругъ гдѣ-то въ травѣ или въ камышахъ послышался крикъ перепела.

„Пидь-подомъ, пидь-подомъ“,—повторился онъ явственно снова.

„Сховавъ-сховавъ-сховавъ!“—откликнулся на это запорожецъ.

„Сховавъ-сховавъ-сховавъ!“—повторилось въ разныхъ мѣстахъ.

Это осторожный Небаба провѣрялъ „варту“—часовыхъ; для этого онъ, притаившись гдѣ-то въ камышахъ, подражалъ крику перепела; ему такимъ же крикомъ должны были отвѣчать часовые. Горе тому безпечному, который бы уснулъ и не откликнулся: его ждало жестокое наказаніе кіями.

ХІІ.

Наконецъ казаки въ морѣ.

— Какое же оно большое! — съ невольнымъ страхомъ проговорилъ Грицько, окинувъ своими оробѣвшими глазами необозримое водное пространство.

— А какая вода въ немъ!—не то съ изумленіемъ, не то съ испугомъ вздохнулъ его товарищъ.

— Голубая, не то блаkitная.

— Нѣтъ, синяя.

— Не синяя—зеленая.

— И конца-краю нѣтъ ей!

— Такъ вотъ оно море! И, Господи!

— Только небо покровъ ему...

— Небо простре яко кожу—эхъ!—какъ-то досадливо проворчалъ Олексій Поповичъ, который, видимо, былъ не въ духѣ, потому что въ походѣ, и особенно на морѣ, строжайше запрещалось пьянствовать. — Чортово море!

— Эге! если-бъ все это была горѣлка, а не вода,—то-то-бъ!—подтрунилъ надъ нимъ усатый Карпо.

И не однихъ новичковъ поразилъ видъ моря. Необъятная масса воды и ся невиданный цвѣтъ, невозможность на чемъ-либо успокоить взоръ, который, сколько ни глядѣлъ вдаль, все, казалось, болѣе и болѣе утопалъ въ этой безковечности, одномѣрныя покачиванія чайекъ, ужасающее безлюдье этой водяной, мертвой пустыни,—все наводило на душу тоску, одурь, физическую тошноту. Чувствовалась какая-то страшная безпомощность, оторванность отъ всего міра. Это было даже не между небомъ и землей, а между небомъ и бездною, которой нѣтъ предѣла, которая поглотила самую землю и которая нѣма и глуха какъ могила, какъ смерть.

Хоть бы что-нибудь показалось живое на этомъ мертвомъ морѣ! Хоть бы татары!

Чайки шли открытымъ моремъ, повидимому, на полдень. Что же тамъ — хотѣлось спросить—еще дальше, еще глубже, за этой безконечной синевой? Тамъ, казалось, еще страшнѣе.

Только вѣтви, далеко-далеко, словно у конца моря, тянулась длинная туманная полоска и тоже таяла вдали, въ этомъ самомъ безбрежномъ морѣ,

таяла какъ дымокъ, какъ облачко, какъ туманное дыханіе куда-то исчезнувшей земли.

— А то что такое?—показывали молодые казаки.

— То Крымъ.

И эта туманная полоска за синюю далью, это таявшее облачко — это Крымъ! Не можетъ быть! Это тамъ, гдѣ кончается и небо и море... Да это, должно быть, конецъ свѣта...

А какъ печетъ солнце!.. Неужели это то же солнце, что и въ Украинѣ, въ Киевѣ, въ Острогѣ, въ Прилукахъ, въ Пирятинѣ?.. И на море пала отъ него безконечная полоса, которая искрится и дрожить на этой страшной, омовно дышащей водѣ и которой тоже нѣтъ ни конца, ни краю...

Ближе къ кормѣ большой чайки, „отаманской“, на размалеванномъ возвышеніи, называемомъ „чердакомъ“, сидитъ, поджавши по-турецки ноги, сѣдоусый Небаба, лѣниво покуриваетъ свою люльку и „куняетъ“ — дремлетъ. Люлька его постоянно гаснетъ, что заставляетъ его ворчать, вспоминать „сто конанокъ чертей“, вырубать снова огонь, оглядывать изъ-подъ сѣдыхъ бровей море и снова лѣниво сосать люльку, и снова „кунять“.

Длинноусый Карпо, расположившись на днѣ чайки, весь углубился въ приведеніе въ достоудный видъ шкуры убитаго имъ тура, шкуры, съ которою онъ носился какъ курица съ первымъ яйцомъ: тщательно обрѣзалъ ее, выполоскалъ въ соленой морской водѣ, отдѣлилъ отъ нея великолѣнные рога и отрѣзалъ хвостъ, которые онъ предназначалъ приподнести въ даръ войску, какъ войсковые клейноты. Поперемѣнно онъ бралъ въ руки то рога, то хвостъ и любовался этими сокровищами. Для него, повидимому, не существовало море—ни его внушающая красота, ни его томительная безбрежность: онъ уже бывалъ на немъ, нечего смотрѣть—не то что въ степи или въ камышахъ, гдѣ всегда есть съ кѣмъ помѣряться ловкостью. А море что!—наплевать! Одна негодная вода, которую и пить нельзя.

Олексій Поповичъ тоже расположился недалеко отъ Карпа и отъ нечего дѣлать, навалившись грудью на бортъ чайки, методически поплеывалъ въ противное море, на которомъ запрещено пить горилку, и вспоминалъ свой родной Пирятинъ, гдѣ онъ шибко гульнулъ, передъ отъѣздомъ въ Сѣчь: пьяный у отца и матери „прощенья“ не взявъ, безпечно на улицѣ на конѣ гулялъ, малыхъ дѣтей и старыхъ вдовъ стремениемъ въ груди толкалъ, мимо церкви проѣзжалъ—шапки не снималъ и креста на себя не клалъ...

— Смотрите, смотрите, дядьку, что вонъ оно такое!—испуганно спросилъ „друкаръ“, показывая на море.

— Что такое?—лѣниво, не поднимая головы, спросилъ Карпо.

— Да вонъ—изъ моря вынырять...

— Э! Да то кони.

— Какіе, дядьку, кони?

— Да морскіе-жъ кони, не наши.

Дѣйствительно, недалеко отъ чаекъ, изъ моря выныряли на поверхность какія-то черныя чудовища, плескали чѣмъ-то—не то хвостомъ, не то руками—и снова скрывались подъ водою. То были стада дельфиновъ, выигрывавшихъ на солнцѣ и какъ-то странно кувыркавшихся среди морской зыби.

— А коли-бъ намъ деры не зададо,—проворчалъ Карпо, расчесывая своимъ гребнемъ хвостъ тура.

— Какой деры, дядьку?—тревожно спросилъ Грицько.

— Коли-бъ море не заиграло...

— А что такое?

— Хуртовина будетъ—буря.

— Съ чего-жъ ей быть, дядьку?

— А съ того, небого, что вонъ тѣ коники выигрываютъ.

Хотя никакихъ признаковъ бури, повидимому, не замѣчалось, но слова опытнаго запорожца холодомъ прошли по сердцу молодыхъ казаковъ. Они слышали отъ старыхъ казаковъ объ этихъ морскихъ буряхъ, они слышали даже думу, какъ два брата-казака потопали въ морѣ и прощались заглазно съ отцомъ съ матерью—просили ихъ помолиться за погибавшихъ, вынести ихъ со дна моря, и какъ потопалъ съ ними третій казакъ—„чужой чуженинъ“, у котораго не было ни отца, ни матери и за котораго некому было даже помолиться... Дума говорила, что они потопали въ чужомъ морѣ за свои грѣхи, за неуваженіе къ старшимъ, за свою безпутную жизнь...

А дельфины все чаще и чаще показывали изъ воды свои отвратительныя головы, черныя, лоснящіеся спины и плесы. Въ воздухѣ марило... Надъ казаками, въ вышинѣ гдѣ-то, съ жалобнымъ крикомъ пролетѣлъ соколъ—„билозерець“... Что-нибудь да предвѣщаютъ эти таинственные вѣстники!..

Но вотъ на востокѣ показалась туча. Она росла какими-то причудливыми образами, быстро мѣнявшими свой видъ, и словно живая вздувалась, ползла изъ-подъ горизонта все выше и выше и постоянно заступала собою небо. Поверхность моря, до этого совсѣмъ синяя, стала чернѣть и мѣстами какъ-бы вздрагивать. Что-то какъ-бы живое забѣгло по морю, дуло въ разгорѣвшіеся лица казаковъ, свистѣло въ снастяхъ, трепало въ воздухѣ взмокшіе чубы гребцовъ...

— Гай-гай!—почесалъ у себя за ухомъ Небаба, поглядывая на небо.

Послышался вдали глухой, протяжный гулъ, какъ-бы что-то тяжелое перекатывалось по горамъ.

Небо и море все темнѣли и темнѣли. По водѣ стали ходить какіе-то бѣлые гребни, которые, словно живые, словно бѣлые дельфины, выскакивали изъ воды и снова ныряли... Въ воздухѣ опять пронесся жалобный крикъ сокола... Казацкія чайки все болѣе и болѣе ныряли и прыгали съ гребня на гребень, держась по возможности въ линіяхъ...

На „чердакъ“ отаманской чайки показался Сагайдачный; онъ сиялъ

шапку и внимательно сталъ вглядываться въ то, что совершалось кругомъ и въ особенности впереди. Съдой чубъ его, какъ значекъ на бунчукъ, трепался въ воздухѣ...

— А быть чему-то, — тихо обратился онъ къ стоявшему тутъ-же Небабѣ.

— Быть, батьку, — отвѣчалъ Небаба.

Сагайдачный, вынувъ изъ кармана „хустку“ — платокъ — махнулъ имъ въ воздухѣ. Изъ числа казаковъ, сидѣвшихъ въ разныхъ мѣстахъ отаманской чайки, отдѣлился одинъ широкоплечій молодецъ и подошелъ къ чердаку. Это былъ пушкаръ.

— Дай вѣстовую, — сказалъ ему Сагайдачный.

Пушкаръ молча пошелъ къ передовой пушкѣ, сильно покачиваясь отъ толчковъ, которыми подвергалась чайка. Вѣтеръ крѣпчалъ въ порывахъ, визжалъ словно отъ боли, словно его кто самого гналъ неволею...

Скоро грохнула пушка, но голосъ ея былъ такъ слабъ передъ ударившимъ тотчасъ громомъ, что казаки изумились. Между тѣмъ вся флотилія, услыхавъ вѣстовой выстрѣлъ, стала скучиваться къ отаманской чайкѣ и скоро совсѣмъ окружила ее.

— Панове отаману и все вѣрное товариство! — началъ громкимъ голосомъ Сагайдачный. — Вотъ сами видите, что Богъ даетъ намъ работу дуновѣнѣмъ своимъ божіимъ... Это встаетъ хуртовина — надо съ нею бороться, а милосердный Богъ намъ поможетъ, ибо мы идемъ за Его святое имя, на ворововъ креста Господня... Держитесь до куны, чтобъ насъ по морю не раскидало, да держитесь противъ валовъ... А воды не бойтесь — воду шапками козацкими выливайте... Чуете, дѣтки?

— Чуемъ, батьку! — заревѣла вся флотилія.

Но другой ревъ — ревъ стихійный — осилилъ голосъ горсти храбрецовъ.

Началась буря, настоящая буря, неожиданная, внезапная, совсѣмъ шальная, какая только бываетъ на югѣ. Громъ, сначала перекатывавшійся изъ края въ край надъ совсѣмъ почернѣвшимъ моремъ, теперь казалось, гвоздилъ тутъ, надъ головами казаковъ, и сверлилъ обезумѣвшее море среди сбившейся въ кучу флотиліи. Молніи, какъ изломанные раскаленные желѣзные шины, стремительно падая въ море, вотъ тутъ, у самыхъ чаекъ, скрещиваясь, перерѣзывая одна другую, слѣпили глаза. Дождь хлесталъ такъ, что, казалось, само море опрокинулось и захлестывало собою тучи.

Казаки, привыкшіе бороться съ этою бѣшеною стихіею на дѣйпрровскихъ порогахъ, гдѣ также ихъ утлыя чайки низвергались съ высоты въ пропасть, вертѣсь на вспѣнной поверхности точно сухіе листья и потомъ вскакивая въ сѣдые буруны водопада, — казаки отчаянно боролись съ взбѣсившимся моремъ и работали всѣ до одного. Рулевой и гребцы смѣло отбивались отъ налетавшихъ валовъ, разрѣзывая гребни водяныхъ горъ и падая въ водяныя же пропасти, чтобъ взлетать на сѣдые гривы бушующихъ по морю чудовищъ, а все остальное товариство работало чернаками, ведрами, шапками, выливая затопляющую ихъ воду... Удары и трескъ грома, скрипъ и трескъ дерева — весель, рулей, чердаковъ, снастей, гулъ

и клекотанье моря, свистъ вѣтра, ободряющіе крики старыхъ казаковъ — все это сливалось въ одинъ неизобразимый концертъ, въ какую-то адскую музыку, отъ которой ю самыхъ мужественныхъ волосы шевелились укорней...

Но буря, видимо, осиливала. У несчастныхъ гребцовъ руки отказывались служить. Нѣкоторыя весла вырвало изъ ослабѣвшихъ ладоней и унесло въ море, другія расщепало въ куски. Вода въ чайкахъ все прибывала — сначала по щиколотки, потомъ все выше и выше...

— Господи! погибаемъ! — слышались отчаянные стоны. — Милосердый Боже, помоги!

— Удержи хляби твои, Отче Вседержителю! Покарай меня одного! — упавъ на колѣни и поднявъ руки къ грозному небу, молился Олексій Поповичъ: — я одинъ грѣшный!

— Братцы! панове! исповѣдаемся Богу милосердному! — слышались голоса съ разныхъ сторонъ вмѣстѣ съ ревомъ бури.

— Исповѣдуй насъ, батьку, — кричали съ другихъ чаекъ: — исповѣдуй, отамане! Потопаемъ!

Сагайдачный слышалъ эти отчаянные вопли. Онъ видѣлъ, что мужество начинаетъ оставлять его храброе войско, и что если оно покорится этому роковому моменту, то все погибло. Надо было во что-бы то ни стало поддержать духъ потерявшихъ надежду и энергію. Зная хорошо привычки моря, онъ зналъ также, что эта неожиданно-негаданно налетѣвшая на нихъ бѣшеная буря такъ-же неожиданно должна и стихнуть... Вотъ-вотъ скоро стихнетъ... онъ это зналъ, онъ это видѣлъ по удаляющимся змѣйкамъ молніи, по болѣе медленнымъ ударамъ грома... Но надо выдержать этотъ послѣдній моментъ — надо поддержать упавшій духъ товариства... Онъ хорошо знакомъ былъ также съ предразсудками людей, съ которыми прожилъ полвѣка: это были дѣти, вѣрившія сказкамъ... Онъ видѣлъ, что всѣмъ имъ въ этотъ отчаянный моментъ вспомнилась дума о бурѣ на Черномъ морѣ, дума, распѣваемая кобзарями по всей Украинѣ и принимаемая всѣми съ глубокою вѣрою, точно евангеліе... И онъ рѣшился дѣйствовать сообразно указаніямъ думы, тѣмъ болѣе, что и казаки требовали „исповѣди“, требовали того, о чемъ вѣщала дума, и онъ рѣшился пожертвовать однимъ человѣкомъ для спасенія всего войска...

Мгновенно рѣшившись, онъ взомель на „чердакъ“ и держась за балясину, громко, подлинными словами думы, провозгласилъ:

— Панове, братія мои и дѣтки! Слушайте! Можетъ, кто межъ вами великій грѣхъ за собою имѣетъ, что злая хуртовина на насъ налегаетъ, судна наши потопляетъ... Исповѣдайтесь, панове, милосердному Богу, Черному морю и всему войску днѣпровому, и мнѣ отаману кошевому! Пускай тотъ, кто наибольше грѣховъ за собою знаетъ, въ Черномъ морѣ одинъ потопаетъ, войска козацкаго не загубляетъ!

Многіе упали на колѣни и подняли руки къ небу.

— Я грѣшень! я наибольше грѣховъ знаю! — слышалось съ разныхъ сторонъ.

Въ этотъ моментъ выступилъ Олексій Поповичъ. Онъ былъ блѣденъ, мокрые волосы падали ему на лицо, по щекамъ текли слезы. Честный по природѣ, но горячій, несдержанный — онъ былъ жертвою своего порывистаго сердца. Онъ сдѣлался пьяницей, буйномъ, со всѣми ссорился; но онъ и легко мирился и сберегъ въ себѣ честное сердце, что чаще приходится встрѣчать въ пьяницахъ, чѣмъ въ непьющихъ...

Онъ рѣшился пожертвовать собою и пожертвовать такъ, какъ указываетъ та же знакомая всѣмъ дума.

— Братія! панове! — громко воскликнулъ онъ: — я тотъ грѣшникъ великій — меня карайте...! Добре вы, братія, учините, червоную китайкою мнѣ очи завяжите, до шеи бѣлый камень прицѣните, карбачемъ пришибите, въ Черномъ морѣ утопите... Пусть я одинъ погибну, войска козацкаго не загубляю...

Съ изумленіемъ, страхомъ и жалостью глядѣли на него товарищи, не замѣчая, что буря и безъ того утихаетъ, громъ удаляется все дальше и дальше, ливень перестаетъ...

Выступилъ усатый Карно, что побѣдилъ тура: онъ былъ пріятель Олексія Поповича.

— Какъ же, Олексій? — сказалъ онъ тоже словами думы: — ты святое письмо въ руки берешь, читаешь, насъ простыхъ людей на все доброеставляешь, — какъ же ты за собою наибольшій грѣхъ знаешь?

Поповичъ глянулъ на него и грустно покачалъ головой.

— Э! — сказалъ онъ: — какъ я изъ города Пирятина, брате, выѣзжалъ, опрощенія съ отцомъ и съ матерью не бралъ, и на своего старшаго брата великій грѣхъ покладалъ, и близкихъ сосѣдей хлѣба-соли безвинно лишалъ, дѣтей малыхъ, вдовъ старыхъ стремелемъ въ груди толкалъ, противъ церкви — дому Божьяго проѣзжалъ, шапки съ себя не снималъ. За то, панове, великій грѣхъ за собою знаю и теперь погибаю. Не есть это, панове, по Черному морю буря бушуетъ, а есть это отцовская и материна молитва меня караетъ.

Всѣ слушали его съ глубочайшимъ вниманіемъ, серьезно, благоговѣнно, словно бы это была проповѣдь въ церкви, чтеніе „святого письма“. Одинъ Сагайдачный, видя, что буря почти совсѣмъ стихла и опасность для его флотилии совсѣмъ миновала, пряталъ улыбку подъ сѣдыми усами и рѣшился довести до конца это — ставшее теперь „комедійнымъ“ — „дѣйство“. Но онъ уже не хотѣлъ губить человѣка, а поступить только сообразно народному предрасудку: бросить въ пасть разъяреннаго моря нѣсколько капель человѣческой крови.

— Панове, братія и дѣти! — громко сказалъ онъ: — добре вы дбайте, Олексія Поповича на чердакъ выводите, у правой руки палець — мизинець отрубите, христіанской крови въ Черное море впустите... Какъ будетъ Черное море кровь христіанскую пожирать, то будетъ на Черномъ морѣ супротивная буря утихать.

— Смотрите, панове, уже и тихо стало! — неожиданно воскликнулъ Грицько, только-что пришедшій въ себя.

— Ай-ай! — и вправду тихо.

— Слава тебѣ, Господи, слава милосердному Богу!

— Ведите, ведите Поповича! Рубите ему палецъ! — кричали другіе.

Олексій Поповичъ самъ вошелъ на „чердакъ“, перекрестился на всѣ четыре стороны и положилъ мизинецъ правой руки на перекладину балясины... Тутъ же стоялъ и Небаба... Онъ вынулъ изъ ноженъ саблю, обтеръ ее мокрою полою и перекрестился.

— Боже, помогай! — рразъ!

И кончикъ пальца свалился съ балясины, стукнулся о бортъ и упалъ въ море. Закапала въ море и кровь казачья.

Всѣ перекрестились. Перекрестился и Олексій Поповичъ и окровавилъ свое блѣдное лицо.

Буря между тѣмъ совсѣмъ улеглась. Глянулъ на это улегшееся море и Олексій Поповичъ — и лицо его совсѣмъ просвѣтлѣло.

— А прочитай намъ святаго писма, Олексій, — заговорили нѣкоторые, совсѣмъ повеселѣвшіе, а мы послушаемъ да помолимся — поблагодаримъ Бога за спасеніе.

Поповичъ досталъ свою толстую книжицу, которая была совсѣмъ мокра, развернулъ мокрыя страницы, поискалъ чего-то и остановился.

— Развѣ вотъ это, — сказалъ онъ: — посланіе апостола Павла къ Тимохвею — о почитаніи старшихъ.

— Да Тимохвея-жъ, Тимохвея! — отозвались нѣкоторые.

Чтецъ откашлялся, перекрестился и началъ все еще дрожащимъ голосомъ:

„Чадѣ Тимохвіе! — старцу не твори пакости, но утѣшай яко-же отца, ювоши — яко-же братію, старицы — яко-же матери“...

— А вонъ и солнышко! солнышко! — радостно закричалъ „дурный“ Хома и прервалъ чтеніе.

XIII.

Нѣсколько дней уже находились казачья чайки въ открытомъ морѣ. Послѣ бури погода установилась прекрасная, тихая, и казаки успѣли уже обогнуть весь западный берегъ Крыма, держась въ такомъ отъ него разстояніи, что земля издали представлялась восходящимъ надъ моремъ продолговатымъ облачкомъ, — и теперь очутились противъ южнаго берега. За все это время они никого не встрѣчали въ морѣ — ни турецкихъ кораблей и галеръ, ни крымскихъ судовъ, а если и замѣчали издали подозрительный предметъ, то, изслѣдовавъ своими дальнѣйшими глазами, по какому направленію двигался этотъ предметъ, они брали въ сторону и исчезали въ туманной дали.

Теперь они уже второй день, держась на такомъ разстояніи, чтобы ихъ не замѣтили съ берега, съ изумленіемъ, смѣшаннымъ съ суевѣрнымъ страхомъ, созерцали величественныя красоты южнаго берега, этого сказоч-

наго царства, про которое столько таинственного, страшнаго и увлекательнаго они слышали отъ своихъ же, находившихся съ ними старыхъ казаковъ, перебивавшихъ въ этомъ волшебномъ краѣ волю и неволю— во время морскихъ набѣговъ на Крымъ или въ качествѣ крымскихъ невольниковъ, полонянниковъ.

Передъ ними въ туманной дали возвышались вершины и зубцы гигантскихъ скалъ, иногда какъ-бы грозившихъ упасть въ море или взлетающихъ на недостижимую высоту, среди глубокихъ долинъ въ зелени и въ неизобразимомъ беспорядкѣ набросанныхъ то тамъ, то здѣсь сѣрыхъ каменныхъ массъ. Казалось, подземные духи, какіе-то могучіе дьяволы боролись здѣсь съ моремъ и выворотили изъ его пучинъ эти грозные зубья каменныхъ горъ, эти гранитные крижи, уходившіе въ голубое небо и заслонявшіе его своими вершинами отъ полуночныхъ странъ для того, чтобы и вѣтеръ не дунулъ съ полуночи на это сказочное царство, на его волшебную природу, на это очаровательное темно-голубое море.

Бывшіе невольники-казаки показывали издали своимъ товарищамъ, не бывавшимъ въ этомъ сказочномъ царствѣ, на всѣ эти чудеса природы, отъ которыхъ невиданная ими чужая, бусурманская сторона казалась еще загадочнѣе, еще страшнѣе. Эти острия, зубчатая скалы Ай-То дора, Ай-Петри, Ай-Буруна, Аю-Дага, эта узкая въ скалахъ прорѣзъ Шайтанъ-Мердевень, которую бывалые казаки называли „Чортовою-драбиною“, эта звѣреподобная гора Бабуганъ-Яйлы, а тамъ громадный Чатырдагъ — каменный шатеръ, подпиравшій небо,—все это наводило священный страхъ на дѣтей степей или прелестныхъ равнинъ Украины...

— Такъ это тотъ Крымъ,—шептали они,—такъ это та земля невѣрная, бусурманская, разлука христіанская, Господи!..

— Гдѣ-жъ тутъ живутъ татары? Гдѣ ихъ города?—спрашивали иные.

— Вотъ погодите—увидите; и татаръ увидите, и Кафу, а можетъ и Козловъ, а можетъ и бѣдныхъ невольниковъ увидите, — отвѣчалъ старый Небаба, всего выдавшій на своемъ вѣку.

Наконецъ они дѣйствительно увидѣли издали и Кафу—этотъ знаменитый памятникъ владычества генуэзцевъ въ Крыму, этотъ всемірный невольническій рынокъ XVI и въ особенности XVII вѣка, когда на базарныхъ площадяхъ его и на пристаняхъ огромными сворами сидѣли или бродили невольники всѣхъ странъ, побрякивая цѣпями, или же, прикованные къ уключинамъ и скамьямъ, работали веслами на турецкихъ галерахъ—„ка-торгахъ“, съ именемъ которыхъ и доселѣ соединяется представленіе о неволѣ, о тяжелой работѣ вдали отъ родины...

Окутанный дымкою дали, предсталъ предъ изумленными глазами казаковъ этотъ страшный городъ—городъ неволи, эта колыбель плача и проклятій всего тогдашняго христіанскаго міра. Въ туманной дали высились надъ голубымъ моремъ его сѣрыя башни и зубчатая стѣна, тянувшись къ небу бѣлые минареты съ золотыми на нихъ полумѣсяцами. Затѣмъ — сѣрыя горы, покрытыя темною зеленью. На пристаняхъ чернѣлся лѣсъ мачтъ все-

возможныхъ кораблей, каторгъ и галеръ, судовъ итальянскихъ, испанскихъ, голландскихъ, которымъ удавалось пробираться въ голубой бассейнъ Понта Эвксинскаго...

Трудно было разглядѣть что-либо отчетливо, въ отдѣльности, потому что казацкія чайки остановились въ морѣ очень далеко, чтобы ихъ нельзя было замѣтить изъ города, но тѣмъ таинственнѣе и волшебнѣе казался казакамъ этотъ невѣдомый городъ, какъ-бы вынырнувшій изъ моря вмѣстѣ съ сѣрыми горами, какъ-бы вышедшій съ того свѣта, откуда, какъ и изъ неволи, нѣтъ выхода на этотъ свѣтъ, туда, далеко, на милую Украину— „въ землю христіанскую“.

— Такъ это-то Кафа проклятая—неволя турецкая!—говорили казаки, задумчиво покачивая головами.

— Она-жъ, она, Иродова! — отвѣчала Небаба, возясь съ погасшею трубкою и вспоминая свои „сто копанокъ“.

Солнце, освѣщавшее утренними золотыми лучами Кафу и весь южный берегъ Крыма, смотрѣло въ тылъ казакамъ и позволяло имъ любоваться чарующею и пугавшею ихъ панорамою этого заколдованнаго царства, въ таинственную область котораго они собирались вступить можетъ быть затѣмъ, чтобы остаться здѣсь навѣки съ смертельною раню въ груди или съ оковами на рукахъ и ногахъ, безъ надежды снова возвратиться на родину, „на тихія воды, въ край веселый, въ міръ крещенный“....

Вдругъ Небаба, стоявшій на „чердакѣ“, рядомъ съ Сагайдачнымъ и писаремъ Мазепою, сталъ къ чему-то особенно приглядываться.

— А ну, пане писарю,—обратился онъ къ Мазепѣ,—у тебя очи молодья, мелкое письмо читають,—погляди-ка туда, что оно тамъ такое метлешить.

— Гдѣ, пане Хвилоне?—спросилъ Мазепа.

— А вонъ тамъ... чернѣетъ что-то на морѣ.

Небаба показалъ на что-то, чернѣвшее дѣвѣ Кафы въ морѣ. Мазепа приставилъ ладонь выше бровей.

— Вижу-вижу: либо татары рыбалки ѣдутъ, либо что другое.

— А не галера?

— Нѣтъ, не галера.

— Да то, дядьку, какъ татарскій,—отозвался снизу Олексій Поповичъ, который снова началъ скучать безъ горилки, хоть недавно и каялся въ своихъ грѣхахъ, и который уже зналъ Крымъ, извѣдавъ крымской неволи.

— Да какъ же, я и самъ вижу,—подтвердилъ Сагайдачный.

Черные, задумчивые глаза его вдругъ блеснули какою-то мыслью. Онъ приложилъ руку ко лбу, какъ-бы что-то раздумывая, припоминая или не зная, на что рѣшиться. Но потомъ онъ выпрямился и быстро оглянулъ свою флотилію, тихо качавшуюся на бирюзовой поверхности моря.

— А нуте, хлопцы, за весла!—громко сказалъ онъ,—хлопнувъ въ ладоши.

Общее движеніе и изумленіе было отвѣтомъ на этотъ окликъ. Гребцы бросились къ весламъ. На всѣхъ чайкахъ встрепенулось „товариство“.

— Панове отаманы и все войсковое товариство!—отчетливо проговорилъ старый гетманъ.—Стойте тутъ вы на-сторожѣ—ждите меня, а я хочу языка добывать.

— Добре, добре, батьку!—отвѣчали со всѣхъ чаекъ.

— Мочи весла, хлопцы! гайда!—скомандовалъ гетманъ.—Догоняйте черную муху, что вонъ тамъ, на морѣ, сѣла,—пояснилъ онъ, показывая по тому направленію, гдѣ вдали чернѣлся предполагаемый татарскій кайкъ, небольшая весельная лодка.

Гребцы „омочили“ весла въ морѣ—и чайка понеслась птицею. Скоро черная точка стала вырисовываться яснѣе и яснѣе. Она, видимо, двигалась къ Кафѣ. Лѣниво, чуть-чуть замѣтно поблескивали на солнцѣ два весла, и вмѣстѣ съ ними также лѣниво покачивалась человѣческая фигура. Это, дѣйствительно, былъ „кайкъ“.

Чайка догоняла его. На кайкъ замѣтили это, но не прибавили ходу, иронично, полагая, что это плыла въ Кафу турецкая кочерма или фелука, а то и другая какая-нибудь большая морская лодка.

Но вотъ чайка уже у самаго предмета погони. Хома, который усердно работать на веслахъ, разстегнувъ отъ жару сорочку до самаго пупа, поглядывалъ на кайкъ, коварно улыбался и подмигивалъ веселому Грицьку, съ которымъ успѣлъ совсѣмъ подружиться.

Вотъ дурень!—ворчалъ онъ, дѣлая хитрое лицо,—вотъ испугается, какъ меня увидитъ!

Гдѣ ужъ такого не испугаться!—подтвердилъ сидѣвшій тутъ-же усатый Карпо Колокузни,—ты такой страшный, что тебя и мать испугалась и дурнемъ родила.

Когда уже чайка была бокъ-о-бокъ съ кайкомъ, на послѣднемъ послышался крикъ испуга.

Алла! Алла!—завопилъ татаринъ,—опуская весла, и сталъ метаться по кайку.—Казакъ! казакъ!

Со дна кайка испуганно вскочили еще двѣ фигуры, повидимому, застывшіеся татары.

— Алла! Алла! Алла-акберъ!—повторились отчаянные возгласы.

Но казацкій багоръ уже зацѣпилъ кайкъ за бортъ, и жилистые руки Карпо тащили его къ чайкѣ.

Не кричите! Не войте, аспидовы цуцики!—окрикнулъ онъ плѣнниковъ.

Скоро нѣсколько казаковъ, въ томъ числѣ и Хома, прыгнувъ съ борта чайки въ кайкъ, тотчасъ-же перевязали своими поясами плѣнниковъ, которыми оказались два старыхъ татарина и одинъ молодой.

— Добре, дѣтки!—похвалилъ Сагайдакъ,—въ чайку ихъ!

Здоровенный Хома, схвативъ въ охапку разомъ двухъ татаръ, поднялъ ихъ къ борту чайки. Тѣ отчаянно метались и колотились въ его засученныхъ, волосатыхъ, какъ собачьи лапы, рукахъ.

— Да не вертитесь, аспидовы, а то утонете,—уговаривалъ онъ своихъ плѣнниковъ.

Ихъ подхватили другіе казаки съ борта чайки и втащили къ себѣ. Хома нечаянно потерялъ равновѣсіе и словно бревно бултыхнулся въ море.

— Ой, лищечко! Хома утонулъ!—испуганные голоса.

Но молодецъ Хома не утонулъ. Его огромная съ русымъ чубомъ голова показалась на поверхности, и онъ, весь красный, фыркать, какъ купаемый казакомъ жеребецъ.

— Вотъ я-жъ говорилъ, чтобъ они, аспидовы, не вертілись!—ворчалъ онъ, цѣпляясь за весло.

Весло придержали, и онъ сталъ карабкаться на чайку, постоянно отплеываясь.

— Какая-жъ поганая вода въ морѣ... соленая да горькая...

Плѣнныхъ татаръ перетащили на чайку. Они испуганно поглядывали по сторонамъ, какъ затравленные собаки. Младшій изъ нихъ въ отчаяньи падалъ на колѣни и бормоталъ молитву, часто, даже слишкомъ часто повторяя имя Аллаха и безнадежно поглядывая на родныя горы и зелень, заливаемая жаркими лучами солнца: онъ, казалось, мысленно прощался съ ними. Старые татары тоже шептали что-то—конечно, прощались съ жизнью и съ своимъ прекраснымъ краемъ, думая, что эти усатые и загорѣлые шайтаны сейчасъ ихъ пришибутъ.

Въ кайкъ оказались корзинки съ огурцами, вишнями, морковью и прочею зеленью. Видно было, что татары везли все это въ Кафу на рынокъ, да слишкомъ отбились отъ берега и попались въ руки страшныхъ гостей.

Сагайдачный, Небаба, Олексій Поповичъ и нѣкоторые другіе изъ казаковъ заговорили съ плѣнными по-татарски, и хотя иные съ грѣхомъ пополамъ, но татары все-таки ихъ понимали. Ихъ допрашивали, кто теперь править Кафою—кто тамъ „санджакуетъ“, сколько въ крѣпости турецкаго и татарскаго войска, есть-ли на пристани цареградскія военныя и купеческія галеры и сколько ихъ. На все это плѣнные отвѣчали большію частью незнаніемъ или повторяли только Алла да Алла-акберъ.

Тогда Сагайдачный велѣлъ прибуксировать кайкъ къ своей чайкѣ и ѣхать къ флотилии. Тамъ очень обрадовались привезенной добычѣ и бросились было на кайкъ, чтобъ сейчасъ-же полакомиться огромными зелеными и желтыми огурцами, вишнями да морковью; но Сагайдачный приказалъ ничего не трогать.

— Я самъ повезу это добро на рынокъ,—пояснилъ онъ.—Хочу самъ въ Кафѣ разузнать, почему тамъ продаютъ ковшъ лиха.

Небаба на эти слова только моргнувъ усомъ, а Мазепа прибавилъ:

— Да оно, батьку отамане, лихо—товаръ дешевый...

— А чтобъ быть хоть на часъ купцомъ, надо купцомъ и одѣться,—добавилъ Сагайдачный и, обратясь къ казакамъ, стоявшимъ около плѣнныхъ татаръ, сказалъ: — А нуте, дѣтки, раздѣньте ихъ до самаго татарскаго гѣла, чтобъ было намъ во что одѣться, коли торговать задумали.

Казаки бросились раздѣвать татаръ. Несчастные, думая, что пришла ихъ послѣдняя минута, что ихъ или въ море бросятъ, или обезглавятъ, отчаянно защищались, бесполезно взывая къ своему бородатому Аллаху и его пророку. Но казаки были неумолимы: схвативъ ихъ за руки и за ноги, они ободрали несчастныхъ, какъ липку, и оставили голыми.

— Накиньте пологъ на татарское тѣло!—приказалъ Сагайдачный.

Несчастныхъ приодѣли старыми полстями, которыя служили и конскими попонами, а въ татарское одѣяніе облачились: самъ Сагайдачный, Небаба и Олексій Поповичъ, какъ уже бывавшій въ турецкой неволѣ и хорошо понимавшій, а при нуждѣ и болтавшій по-татарски.

Казаки такъ и заливались отъ радости, глядя на это переодѣванье.

— Вотъ татары, такъ татары!—хвалилъ Хома.

— Такіе татары, что Хома испугался-бъ, коли-бъ увидалъ ихъ у себя на печи, — подзадорилъ его Карпо.

— Эге! испугаюсь я лысаго бѣса! — огрызнулся Хома, сушась на солнышкѣ.

Одѣвшись совсѣмъ по-татарски и спрятавъ подъ татарскую-же шапку свою сѣдую „чуприну“, Сагайдачный на минуту задумался, а потомъ обратился къ стоявшему тутъ-же своему „джурѣ“:

— А ну, джуро, подай мою булаву.

Джура бросился съ „чердака“ и скоро явился съ гетманскою будавою въ рукахъ. Сагайдачный, взявъ изъ его рукъ знакъ своего гетманскаго достоинства, высоко поднялъ его надъ головою.

— Панове отаманы и все славное войско запорожское!—громко, отчетливо произнесъ онъ на всю флотилію.—Коли я завтра утромъ не вернусь до васъ, чего Боже борони, то добывайте безъ меня славный городъ Кафу и сами выбирайте себѣ батька, а теперь безъ меня пускай гетмануетъ панъ писарь.

И онъ передалъ свою булаву Мазепѣ.

Черезъ нѣсколько минутъ татарскій кайкъ, подъ ровными ударами весель, быстро удалялся отъ казацкой флотиліи. Въ кайкѣ сидѣли Сагайдачный, Небаба и Олексій Поповичъ.

Казаки долго провожали глазами эту небольшую лодочку, пока она не превратилась въ муху, а потомъ въ едва замѣтную черную точку и наконецъ совсѣмъ исчезла изъ виду въ туманной дали.

Кайкъ между тѣмъ медленно приближался къ Кафѣ. Все яснѣе и яснѣе вырисовывались на голубомъ небѣ и на горной покатоности полукругомъ спускавшіяся къ морю мрачныя, остроконечныя башни крѣпости съ ихъ черными, какъ пасть звѣря, зиявшими окошками и бойницами. Ниже шли, извиваясь змѣею и дѣлая крутые изломы къ горѣ, такія-же мрачныя, зубчатая городскія стѣны съ желѣзными „гаками“, крючьями, на которыхъ часто вѣшали за ребра провинившихся христіанскихъ плѣнниковъ, кости которыхъ иногда цѣлыми скелетами, обѣденныя червями и птицею, долго висѣли и стучали отъ вѣтру. Изъ-за этихъ мрачныхъ стѣнъ выглядывали

мечети съ ихъ круглыми, словно глазастыми куполами, тонкіе какъ иглы минареты съ позолоченными полумѣсяцами наверху и узкими, черными, продолговатыми окошечками внизу. Оттуда же, изъ-за стѣнъ, выглядывали расположенные по склону горы въ видѣ амфитеатра дома, съ плоскими крышами, оплетенные густыми гирляндами вьющейся зелени и иногда остѣненные темными, инокоподобными, словно-бы вѣчно задумчивыми кипарисами.

Это было для украинца дѣйствительно волшебное, пугающее своею невиданностью зрѣлище... Такъ сердце и ныло почему-то при видѣ этихъ чудесъ...

А оно ныло вотъ отчего... Кафинская пристань запружена была кораблями, галерами, каторгами и всякими судами. Невиданные всѣхъ цвѣтовъ и величинъ флаги и значки на вершинахъ мачтъ и на снастяхъ рѣяли въ голубомъ воздухѣ, точно сказочныя птицы или змѣи. Виднѣлись чуждые образы, чужія лица, странныя, невиданныя одѣянія. Раздавался гулъ незнакомыхъ языковъ... Но рѣзче всего, пронзительнѣе звякали не далеко отъ пристани какія-то цѣпи... На чемъ онѣ?... на комъ?... кто это звякаетъ?..

Казаки осмотрѣлись и увидѣли огромную, черную и неповоротливую, какъ черепаха, турецкую галеру, на которой у каждой уклучины стояли и сидѣли, скованные иногда по-двое, галерники, прикованные притомъ гремучими кандалами къ скамьямъ, и неустанно работали на веслахъ, потому что галера вела на буксирѣ нѣсколько судовъ изъ Анатоліи, нагруженныхъ тяжелыми товарами. Вглядѣвшись въ работавшихъ, какъ воли, и обливавшихся потомъ галерниковъ, казаки узнали ихъ и затрепетали отъ жалости: они узнали въ нихъ „бѣдныхъ невольниковъ“, большею частью своихъ казаковъ, а также москалей и ляховъ... Казацкій элементъ господствовалъ однако... Это были не люди, а какія-то страшныя привидѣнія, обросшія волосами и бородами, почти совсѣмъ нагія, съ желѣзами и ремнями, вѣвшими въ кости, ибо тѣла на нихъ почти не оставалось... Они работали какъ автоматы, плавно покачиваясь взадъ и впередъ, а по ихъ рядамъ ходили турки-приставники, и если видѣли, что который-либо изъ нихъ, изнемогая отъ непосильной работы, отъ голода или бессонницы, неровно работалъ весломъ, то стегали его по голымъ плечамъ, по спинѣ и по косматой головѣ либо сыромятнымъ, крученымъ ремнемъ, либо гибкими деревянными хлыстами—„червоную таволгу“... Ихъ было набито на галерѣ цѣлое стадо—старые, съ сѣдыми, даже пожелтѣвшими отъ времени волосами и бородами, и юные, съ неоперившимися еще подбородками, но уже постарѣвшіе отъ горя и физическихъ страданій... Когда взвизгивала въ воздухѣ „червоная таволга“ и вливалась въ голое тѣло невольника, онъ не смѣлъ даже отнять рукъ отъ весла, чтобъ, по животному влеченію, схватиться за уязвленное мѣсто, а только извивался всѣмъ тѣломъ и бросалъ жалобный, безнадежный, какъ-бы полный нѣмого укора взоръ къ этимъ прекраснымъ, но такимъ-же нѣмымъ и безжалостнымъ, какъ турецкій приставникъ, небесамъ...

— Мати Божа!—вырвался невольный стонъ изъ груди стараго Небабы, а по загорѣлымъ щекамъ Олекія Поповича текли слезы и скатывались на его татарскую куртку.

Одинъ Сагайдачный какъ-бы не замѣчалъ галеры и не смотрѣлъ на нее: онъ сидѣлъ мрачный, безмолвный, устремивъ изъ-подъ густыхъ черныхъ-черныхъ—при сѣдыхъ усахъ—бровей неподвижный взоръ на пристань.

— Не глядите на галеру,—тихо сказалъ онъ:—можетъ который невольникъ узнать кого да еще отъ радости крикнетъ.

И Небаба, и Олексій Поповичъ отвернули свои лица отъ потрясающей картины невольничества. А галера продолжала медленно двигаться, а въ воздухѣ и въ душѣ нашихъ казаковъ продолжало кричать и плакать звонкое желѣзо кандаловъ...

Пробираясь среди всевозможныхъ судовъ, надъ которыми стоялъ невообразимый гулъ невѣдомыхъ языковъ, казаки поражены были какими-то особыми, стройными звуками, какою-то стонущею изъ глубины души мелодіею. Глянувъ по направленію этого мелодическаго стона, они увидѣли новую партію невольниковъ, значительно отличавшихся вѣщиностью отъ сейчасъ ими видѣнныхъ. Эти были, казалось, еще ободраннѣе, еще голѣе, если только это возможно было, и большею частью русые и рыжіе, и что особенно бросалось въ глаза—это лапти на ногахъ у нихъ; каковы были эти лапти, изъ чего свиты и сплетены—объ этомъ нечего и говорить: но это было подобіе лаптей. На каждого изъ нихъ былъ надѣтъ, какъ на коноводную лошадь, кожаный хомутъ, а отъ хомута шла бичева, оканчивавшаяся канатомъ, который тянулъ огромную посудину, нагруженную камнемъ. У каждого на ногахъ звякали тоже кандалы, но такіе узкіе, что ноги скомутанныхъ невольниковъ могли дѣлать только маленькіе шаги. Ихъ было нахомутано у каната нѣсколько своръ, и они, покачиваясь въ тактъ, опустивъ къ землѣ головы и руки, которыя болтались словно параллельныя или вывихнутыя, стонали какъ видно перенывшею и переболѣвшею грудью: „Эй, дубинушка, ухнемъ!“

И около нихъ также шли приставники и то одного, то другого постегивали...

Наконецъ, толкаясь между спящими лодками и купающимися черно-головыми татарчатами, производившими въ необыкновенно прозрачной водѣ всевозможныя кувырканья, какікъ присталъ къ берегу.

Еще дорогой порѣшено было Небабу оставить на берегу стеречь какікъ, а чтобъ къ нему не приставали татары—продаетъ-ли онъ свой товаръ и почему продаетъ то и то, и чтобъ такимъ образомъ не догадались, что тутъ дѣло не ладно,—рѣшено было, что Небаба расположится въ какікъ на своихъ огурцахъ и моркови и притворится спящимъ, а Сагайдачный съ Олексіемъ Поповичемъ, уже бывшимъ въ неволѣ въ этой самой Кафѣ и изучившимъ ее вдоль и поперекъ, должны были отправиться въ городъ на развѣдки.

Такъ они и сдѣлали.

XIV.

Съ именемъ „Кафа“, „Каффа“, нынѣ Θεοδοσία, связано много историческихъ воспоминаній, которыя питають воображеніе далекими, поэтическими и потому всегда въ то же время и близкими намъ картинами прошлаго, столь подчасъ заманчивыми.

Уже за 500 лѣтъ до нашей эры милетскіе греки основали свою колонію у живописнаго залива, вдавагоса въ землю у подножія горъ, которыя еще поэтическому Гомеру представлялись чуть-ли не горами страшныхъ „лестригоновъ“, упоминаемыхъ въ X-й раисодіи его „Одиссеи“. Во время основанія Θεοδοсії милетцами, Крымъ населенъ былъ тавро-скивами, которые очень любили земледѣліе, и надо думать, что это были наши предки, славяне-скивы, или даже предки нашихъ предковъ, славяне-лестригоны, которые казались столь страшными поэтическому воображенію грека и передъ которыми пасовалъ даже хитроумный Одиссей, оставившій въ дуракахъ даже такое чудище, какъ циклопъ Полифемъ...

И какъ далеко казалась грекамъ и какою суровою и холодною представлялась имъ, съ острова Милета, эта страна, чуть не гиперборейская!.. Это былъ для нихъ край свѣта...

Какъ-бы то ни было, они основали тутъ свою торговую колонію, потому что и при Гомерѣ, и при Периклѣ, и при Александрѣ Македонскомъ греки всегда были въ душѣ торгашами. Наши-же предки—лестригоны и тавро-скивы, какъ и нынѣшніе тамбовцы, саратовцы, самарцы и полтавцы, всегда любили сѣять хлѣбушко и всегда продавали его почти задаромъ хитрымъ милетцамъ, какъ и теперь почти задаромъ продають ихъ потомкамъ, а также французамъ и англичанамъ, сами-же питаются мякиною, „аки звѣрь нѣкій“...

Новую свою колонію греки называли Θεοδοсією — „даромъ Божиимъ“, потому что колонія обогащала ихъ на счетъ всегда простоватыхъ славянъ-лестригоновъ и тавро-скивовъ...

Такъ процвѣтала Θεοδοσία нѣсколько столѣтій. Рай былъ, а не житье! Тутъ распѣвались по площадямъ аттическія пѣсни — Сафо и Анакреона, декламировались раисодіи Гомера, игрались на театрѣ Эсхилъ, Софоклъ... До слезъ смѣшилъ Θεοδοсію и ея богатыхъ торгашей Аристофанъ... По улицамъ и площадямъ стояли пластическія изображенія греческихъ боговъ—Діаны, Венеры, Амура, а наши предки, тавро-скивы, нечесанные, немые, въ лаптяхъ, какъ онѣ изображены на трояновой колоннѣ, свозили на эти площади свою пшеничку и, почесывая то историческое мѣсто своего тѣла, въ которое всякій имѣлъ право „заглядывать“, качали головами, созерцая голую Афродиту, и робко шептали: „ишь, безстыдница!“...

Видѣла въ своихъ стѣнахъ Θεοδοσία и гордаго Митридата, царя понтійскаго, и не менѣ гордыхъ, но быть можетъ болѣе глупыхъ солдафоновъ—римскихъ консуловъ.

Потомъ нагрянули въ благословенную Тавриду и въ Θεοδοσίю „наши молодцы“—гунны, и какъ вообще „наши молодцы“ гдѣ-бы ни проходили, то все „дѣлали чисто“, потому что всегда „рады стараться“,—то они постарались: голыхъ Афродитъ и Амуровъ попривязали къ конскимъ хвостамъ, а все остальное въ доскъ положили... „Бей ихъ лъстивыхъ гречишекъ, растакъ ихъ“...

Отъ Θεοδοσίи осталась только куча развалинъ...

Послѣ выросла тутъ маленькая деревенька Кафа, о которой упоминаетъ Константинъ Багрянородный, но уже хлѣбушкомъ нашимъ предкамъ торговать было не съ кѣмъ.

Потомъ опять пришли сюда „наши“—уже „наши поляне“ и „кіяне“—основали Тмутараканское царство, „измѣрили море по льду“, пригрозили „тмутараканскому болвану“ и загадывали что-то впредь...

Но тутъ случилось нѣчто: пришли къ „нашимъ“ уже „не наши“, а „восточные человѣки“—Чингисханы и Батыи—и „наши“, вложивъ свою богатырскую шею въ ярмо, забыли и о „тмутараканскомъ болванѣ“, и о Кафѣ.

Но о ней вспомнили новые торгоши среднихъ вѣковъ—генуэзцы, — и Кафа, *Каффа* уже, какъ фениксъ, возникла изъ пепла. Это было нѣчто волшебное, чарующее. Вся роскошь, все искусство, дворцы, храмы, статуи, фонтаны—все, чѣмъ такъ гремѣли въ средніе, золотые свои вѣка Генуя, Венеція, Римъ, все это пересажено было въ Тавриду, въ Кафу, и Кафа стала обширнымъ, богатымъ городомъ, дорогимъ алмазомъ среди итальянскихъ колоній...

Какъ древняя Θεοδοсія видѣла въ стѣнахъ тѣснимаго римлянами Митридата, такъ генуэзская Кафа видѣла въ своихъ стѣнахъ „безбожнаго сыроядца“ Мамай, разбитаго русскими на Куликовомъ полѣ и укрывшагося въ Кафѣ, гдѣ генуэзцы и порѣшили этого страшнаго звѣря...

Въ 1475-мъ году, когда турки угрожали потоптать ногами и копытами своихъ коней всю Европу, они отняли Кафу у генуэзцевъ. И стала Кафа—„Кефе“, гордость и слава правовѣрныхъ. Къ тому, что дали Кафѣ генуэзцы, турки прибавили еще своего, своей роскоши и своего восточнаго блеска: воздвигли богатые мечети съ высокими манаретами, роскошныя зданія бань... И стала Кефе „Крымъ-Стамбуломъ“ или „Кучукъ-Стамбуломъ“—малымъ Константинополемъ... Она насчитывала въ себѣ до 80,000 жителей; въ ея портѣ часто стояло до 700 судовъ... Богатство и внѣшняя роскошь поражали глазъ, пугали непривычнаго...

И вотъ этотъ-то волшебный городъ предсталъ во всей своей чарующей красѣ и во всемъ своемъ многолюдствѣ передъ глазами нашихъ „сиромыхъ“—Сагайдачнаго и Олексія Поповича.

Пройдя вмѣстѣ съ прочими сновавшими изъ города въ городъ, подъ массивными крѣпостными воротами, татарами, турками, армянами, греками и зѣюпами въ своихъ до необразимости пестрыхъ нарядахъ и лохмотьяхъ, наши казаки вступили въ кипучій, блестящій и смрадный, полудевропейскій,

полуазиатскій муравейникъ, который оглушалъ и ошеломлялъ разнообразіемъ, дикою нескладностью шума, говора, криковъ, возгласовъ и какой-то адской музыки, которою звучали узкія, запруженные народомъ и скотомъ улицы, широкія, какъ-бы заваленныя снующимъ и гнѣющимъ людемъ площади и площадки. Лязгъ и брязгъ всевозможнаго оружія, желѣза, стали, мѣди, серебра и золота, которымъ обвѣшивали себя дикій человѣкъ, жившій больше чужою кровью, чѣмъ своимъ трудомъ и потомъ, скрипъ арбъ, способный вымотать всю душу, ржаніе лошадей, ослиный ревъ, крики погонщиковъ, водоносовъ, всевозможныхъ продавцовъ, хлопанье бичей, дикіе взвизги и выкрикиванья дровишей, около которыхъ толпились кучи ротоѣющихъ правовѣрныхъ, и въ довершеніе всего этого ноющей и рѣжущей душу скрипучій „невольничій плачъ“ гдѣ-то, который отчетливо выдѣлился изъ этого адскаго хаоса звуковъ и точно рѣзанулъ по сердцу нашихъ казаковъ—вотъ первое, что встрѣтило ихъ въ этомъ городѣ неволи и христіанскаго плача. Самое роскошное воображеніе поэта не можетъ представить себѣ того, что поражало нашихъ странниковъ на каждомъ шагу: роскошныя генуэзскія зданія и дворцы, испещренные и обезображенные восточною, какою-то сверкающею, рѣжущею глазъ роскошью, золото и грязь, гранитъ и мусоръ, шелкъ, весь залитый золотомъ, и нагота, загорѣлая, пыльная, жалкая нагота, сквозящая и сверкающая изъ-за лохмотьевъ; жаркое солнце, еще ярче выставляющее всю эту дикую пестроту, громоздкость и грубую раззолоченность; наглыя лица пашей и янычаръ; черныя съ страшными бѣлками лица курчавыхъ евнуховъ и пугливыя, приближенные лица рабовъ и невольниковъ; журчащіе фонтаны и гдѣ-то знакомый плачущій подъ треньканье бандуры голосъ—„свой“, родной голосъ среди этого ада чуждыхъ звуковъ и голосовъ; красныя, словно кровавыя фески на черномазыхъ лицахъ, раззолоченныя и увѣшанныя шнурами и всякой мишурой куртки, пестрыя, бѣлыя, зеленыя чалмы надъ сѣдыми и красными бородами и горящими дикимъ блескомъ глазами азіатовъ, яркость позументовъ на кафтанахъ и халатахъ, позолоченный сафьянъ богатаго сапога и плетеный изъ осоки лапотъ плѣннаго москаля, оружіе на золотыхъ цѣпяхъ пашей и желѣзныя цѣпи на ногахъ и на рукахъ, а иногда и на горлѣ у людей; лошади, наряженныя въ шелкъ и златоглавъ, и людскія спины, ничѣмъ, кромѣ рубцовъ отъ плетей, не прикрытыя; чудныя, но грустные кипарисы и въ тѣни ихъ—эти стонущіе голуби, которые не похожи на „ихъ“ голубей, на украинскихъ, какъ кипарисы не похожи на милую, родную вербу въ левадѣ—все чужое, все поражающее, страшное, роскошное, цвѣтущее, сверкающее—и все враждебное, злое, не милое этимъ самымъ блескомъ и роскошью, рѣжущее этой яркостью и сверканіемъ, утомляющее и слухъ, и зрѣніе, поражающее контрастомъ рая и ада, бѣшеннаго, безумнаго довольства и такого же безумнаго горя, котораго не выплачешь, не выкричишь, и—ни одного женскаго личика...

Но нѣтъ... вонъ оно, милое женское личико подъ кипарисомъ, въ тѣни—и личико плачущее...

Это невольничій рынокъ!.. Казаки натолкнулись на невольничій рынокъ...

Окаймленная по всѣмъ четыремъ сторонамъ роскошными пирамидальными тополями и стройными, темными иглами какъ-бы тоскующихъ кипарисовъ, бросавшихъ ровныя тѣни по направленію знойныхъ лучей южнаго солнца, вся залитая горячимъ свѣтомъ этого знойнаго свѣтила, которое сверкало алмазами въ серебряныхъ струяхъ ниспадающихъ брызгъ фонтановъ,—эта площадь — „площадь слезъ“ — представляла теперь пеструю, волнующуюся переливами цвѣтовъ и тѣней, яркихъ и мрачныхъ, не передаваемую никакими красками картину. Шло торжище — смотрины невольниковъ и невольницъ, выставка ихъ качествъ,—похвальба ихъ силою, выносливостью или красотой, говоръ, крикъ, смѣхъ, дикіе звуки базарной татарской музыки—и среди всего этого тихій женскій плачъ и такая же плачущая мелодія „невольничьей канты“... Казаки узнали эту „канту“, этотъ знакомый имъ съ дѣтства „невольничій плачъ“, подъ звуки и горькія слова котораго они плакали когда-то, еще маленькими „хлопчиками“, у себя на родинѣ. Около плачущей подъ кипарисомъ дѣвушки и полуголаго хорошенькаго мальчика стояли татары и, показывая на нихъ пальцами, о чемъ-то горячо спорили. А посреди площади, у главнаго фонтана, на самѣмъ припекѣ, въ невозможномъ рубищѣ, сидѣлъ ветхій старикъ съ глиняною мисочкою на колѣняхъ, въ которой лежалъ недоѣденный огурецъ и кусокъ черстваго хлѣба. Видно было, что старикъ былъ слѣпой, и что сейчасъ только онъ всенародно пообѣдалъ огурцомъ и поданнымъ ему кѣмъ-то кускомъ хлѣба, а потомъ, перекрестившись на востокъ, сталъ пить изъ глинянаго кувшина воду, почерпнутую какимъ-то загорѣлымъ и босоногимъ татарченкомъ изъ бассейна и поданную нищему старику. Вокругъ него, скучившись толпою, стояли скованные по-двое и по-трое невольники, которые недавно пригнали на своей каторгѣ грузы изъ города Козлова и, подобно воламъ, сходявшимся въ „ходку“ за солью и отработавшимъ свое, теперь выгнаны были на кафинскій рынокъ для „перепродажи“ съ барышомъ, ибо въ Кафѣ невольники цѣнились дороже, чѣмъ въ Козловѣ-Евпаторіи.

— Сколько-жъ лѣтъ вы тутъ въ неволѣ, старче Божій?—спросилъ нишаго одинъ изъ невольниковъ.

— Былъ тридцать лѣтъ въ неволѣ, а теперь тридцать безъ году въ великой пригодѣ,—усмѣхнулся старикъ.

— Сколько-жъ вамъ, дѣдусю, было лѣтъ, какъ васъ татары забрали?

— По двадцатому году взяли.

— А вы-жъ тогда не слѣпой были?

— Нѣтъ, видющій былъ.

— А когда очи потеряли?

— Передъ самою волею,—снова усмѣхнулся старикъ.

— Какъ-же это такъ дѣдушка?

— Да такъ: какъ захотѣлъ я воли, то разъ какъ-то и бѣжалъ съ галеры, а меня поймали, да въ горшіе кандалы заковали... Я бѣжалъ

другой разъ — еще горше было... А какъ на тридцатомъ году ушелъ въ третій разъ, то меня поймали и бчи выкололи... Съ того часу я и сталъ вольнымъ: двадцать лѣтъ носилъ воду, и какъ сталъ недужій да старый, то и выгнали меня, какъ пса на улицу — и вотъ уже десятый годъ, какъ я старцю.

Глядя на эту живую развалину, невольники грустно качали головою. Каждому представлялось, что и его ждетъ такая же горькая участь.

Сагайдачный и Олексій Поповичъ слушали этотъ разговоръ, затершись въ толпѣ, и обоихъ волновали свои думы. Сагайдачному думалось, давно думалось, что рано или поздно, если только Богъ продлитъ ему вѣку, онъ уничтожитъ это разбойничье гнѣздо, весь этотъ Крымъ; истребивъ на всемъ полуостровѣ послѣдній слѣдъ татарскаго владычества, онъ перенесетъ Запорожскую Сѣчь сюда, въ Крымъ, помѣститъ ее тамъ, гдѣ когда-то былъ городъ Корсунъ и гдѣ Владиміръ принялъ крещеніе. Старому мечтателю казалось возможнымъ, увеличивъ запорожское войско до ста тысячъ, даже болѣе — до двухсотъ, до трехсотъ тысячъ, осадить свой „кошъ“ у той богатѣйшей въ мірѣ бухты, которая вдается въ землю у Корсуна (нынѣ севастопольская бухта), и оттуда громить поганыхъ, выбить турокъ изъ Анатоліи, изъ всего черноморскаго побережья, а потомъ перенести изъ Кіева митрополитій престолъ — шутка сказать! — въ самый Царьградъ. Долой всѣхъ турокъ изъ христіанской Европы!

А Олексію Поповичу вспомнилось, какъ и онъ былъ тутъ, въ этой Кафѣ, въ неволѣ, видѣлъ и этого старика, который и тогда уже былъ такимъ-же ветхимъ и все пѣлъ своимъ разбитымъ голосомъ невольничьи и инны казацкія думы, а татары, слушая его и ничего не понимая, клали ему изъ жалости кто мелкую деньгу, кто кусокъ хлѣба или дешевую овощъ.

— Какой-же вамъ? — долеталъ ло нихъ опять разговоръ старика съ невольниками.

— Да невольничкой же, старче Божій.

— Добре, заплачу и невольничкой...

И старикъ, ощупавъ вокругъ себя землю, нащупалъ свой нехитрый инструментъ, сложенный изъ какого-то деревяннаго ящика и перетянутый струнами, которыя наворачивались на вколоченные въ одинъ бокъ ящика колышки. Онъ потрогалъ струны, прислушался къ ихъ нестройному дребезжанью, повертѣлъ колышки, подстроилъ свои самодѣльные гусли и, вскинувъ къ небу свои выколотые, вытекшіе и давно закрывшіеся глаза, затянулъ что-то хриплое, жалкое, болѣзненное.

Невольники набожно перекрестились, словно-бы это началась обѣдня или печальная литія.

Беззвучное, дребезжащее треньканье, деревянные звуки инструмента, скрипучій и жалкій голосъ покачивавшагося изъ стороны въ сторону старика казались скучившейся группѣ несчастныхъ украинцевъ такою божественною мелодіею, а слова пѣсни, проникавшія каждому въ душу и падавшія елеемъ на изболѣвшее и истосковавшееся сердце — такою священ-

ною, надгробною литанією, что у многихъ изъ нихъ по изможеннымъ лицамъ текли слезы. Они невольно взглядывали на свои желѣзы, на ремни, на эту „сырую сырицу“ и на потертыя кандалами ноги.

Вдругъ слѣпой пѣвецъ, который все тише и тише перебиралъ струны своей скрипучей коробки, совсѣмъ умолкъ; коробка свалилась съ его колѣнъ на мостовую, и онъ, закрывъ лицо руками, заплакалъ, какъ плакали и слушавшіе его невольники.

— Ничего, дѣтки, потерпите,—сказалъ наконецъ старикъ,—можетъ Сагайдачный и къ намъ съ казаками прибудетъ...

Сагайдачный невольно вздрогнулъ, услыхавъ свое имя. Ему даже показалось, что слѣпецъ повернулся въ его сторону.

— Да что-то ничего про казаковъ не слышно на морѣ,—тихо сказалъ кто-то.

— А не слышно, такъ услышите,—наставительно отвѣчалъ слѣпецъ.

— Дай-то Господи!

— Пошли ихъ, Пресвята Покрова.

— Они придутъ!—глухо прозвучалъ чей-то незнакомый голосъ.

Всѣ вздрогнули, всполошились. Оглядывались кругомъ, но никого не видали, кромѣ татаръ, толкавшихся и горланившихъ по всей площади.

— Мати Божа! кто это сказалъ?—въ недоумѣніи поглядывали другъ на друга невольники.

— Точно изъ воды что-то гукнуло...

— А можетъ съ неба...

— Съ неба, дѣтки,—подтвердилъ слѣпецъ.

„Ой! ой! ой!“—послышались болѣзненные крики, и невольники кучею бросились отъ слѣпца въ сторону.

Это налетѣли на нихъ турецкіе приставники, которые невадалекъ сидѣли въ тѣни чинаръ и тополей и, попивая изъ маленькихъ чашекъ кофе, курили трубки. Теперь они кончили свой кейфъ и должны были показывать покупателямъ товаръ лицомъ. Они погвали бичами свое стадо къ другой сторонѣ рынка, гдѣ ихъ ожидали анатолійскіе купцы, искавшіе рабочей силы для отвоза товаровъ въ Трапезонтъ.

За невольниками побѣжалъ и татарчонокъ, поившій водою слѣпца, а слѣпецъ посылалъ вслѣдъ своимъ землякамъ недослужанный ими „невольничій плачъ“. Его дрожащій голосъ плакалъ теперь на всю площадь.

Сагайдачный и Олексій Поповичъ, увидя удобнѣйшій моментъ, подошли къ слѣпцу.

— Добрый день, Опанасовичъ!—тихо сказалъ Олексій Поповичъ.

Слѣпецъ вздрогнулъ и съ изумленіемъ на лицѣ поднялъ на пришельца свои выколотые глаза.

— Кто знаетъ тутъ Опанасовича?—спросилъ онъ тревожно.

— Я, Олексій Поповичъ.

Слѣпецъ чуть не вскрикнулъ—не то отъ радости, не то отъ испуга: такъ велико было его изумленіе.

— Олексіечку!... риднесенькій мій!

Олексій Поповичъ, нагнувшись къ слѣпцу, положилъ ему въ чашку серебряную монету и рылся въ набросанныхъ туда мѣдячкахъ, показывая видъ, что ищетъ сдачи.

— Олексіечку, развѣ-жъ ты опять въ неволѣ?—тревожно спрашивалъ слѣпецъ.

— Нѣтъ, дѣдушка.. Я пришелъ къ тебѣ съ батькомъ отаманомъ войсковымъ, съ гетманомъ Сагайдачнымъ.

— Сагайдачный!... Мати Божа!

— Я тутъ, Сагайдачный, старче Божій,—тихо отозвался предводитель казаковъ, тоже нагибаясь къ нищенской чашечкѣ,—казаки стоятъ въ морѣ... Намъ надо добыть ключи отъ города...

— Чтобъ ночью на Кафу мокрымъ рядомъ упасть,—пояснилъ Олексій Поповичъ.

— Господи!—радостно перекрестился слѣпецъ.

Но Сагайдачный торопливо спросилъ:

— Санджакова бранка Хвеса жива еще?

— Живенька-здоровенька, пане гетьмане, дай ей Богъ счастья, здоровья!—отвѣчалъ радостно старикъ.

— Еще не потурчилась, не побусурманилась?

— Богъ милостивъ, пане гетьмане.

— И ты къ ней ходишь, старче?

— Иногда, бываетъ, хожу—она добрая, меня стараго жалуетъ.

— А по Украинѣ убивается?

— Очень, бѣдная, убивается.

— Такъ скажи ей, старче, что мы ее вызволимъ изъ неволи... Пускай она только отъ своего пана санджака, паши турецкаго, ключи городскіе добываетъ, да ночью ворота отпираетъ и насъ къ себѣ въ гости ожидаетъ.

Слушая это, старикъ весь трепеталъ отъ счастья... Самъ Сагайдачный тутъ, Сагайдачный, одно имя котораго наводитъ ужасъ на татаръ и турокъ,—развѣ же это не Божіе посланіе!..

— Скажу, скажу Хвесѣ... пойду сейчасъ къ ней,—бормоталъ онъ.

Сагайдачный и Олексій Поповичъ, простившись со старикомъ, затерялись среди пестраго рынка.

XV.

Ночь. Темною пеленою раскинулось надъ такимъ-же темнымъ моремъ южное небо, по которому точно золотомъ брызнуто было мірадами звѣздъ. Все кругомъ окутано мракомъ, все застыло въ сонной тишинѣ—и море, едва-едва плескавшееся у берега, и горы, выступавшія изъ мрака безформенными массаами, и городъ, убаюканный этою сонною ночью.

Не спали только казаки. Еще засвѣтло, по возвращеніи Сагайдачнаго,

Небабы и Олексія Поповича съ берега, они занялись приготовленіемъ къ рѣшительному дѣлу—осмотрѣли и привели въ порядокъ оружіе, запаслись лишними зарядами, тругомъ и натертою порохою паклею, распредѣлили между собою предстоящую имъ работу—„працю“ и вмѣстѣ съ спустившеюся на землю ночью, тихо, въ стройномъ порядкѣ, двинулись къ Кафѣ.

Казацкая флотилія раздѣлилась на двѣ части: одна, подъ начальствомъ Небабы и другихъ старшихъ куренныхъ отамановъ, осталась на водѣ—сторожить издали корабли въ гавани, другая пристала къ берегу нѣсколько лѣвъѣ Кафы, гдѣ и укрылась за возвышеніемъ. Этою командовалъ самъ Сагайдачный.

Въ необыкновенной тишинѣ высадились казаки изъ своихъ чаекъ, оставивъ въ нихъ только для охраны по нѣскольку казаковъ, изъ самыхъ младшихъ, конечно, изъ „бузимкивъ“. Тишина нарушалась только неяснымъ шурпаніемъ мелкихъ прибрежныхъ гольшей-валуновъ, производимымъ сотнями и тысячами казацкихъ ногъ, осторожно пробиравшихся въ темнотѣ, да и это шуршанье заглушалось тихими приboями моря, ровные, „гекза-метромъ катавшіеся валы“ котораго съ плескомъ разбивались о прибрежные камни.

Какъ ни осторожно, какъ ни медленно пробирались казаки, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, однако къ полночи они перебрались черезъ южный мысокъ, въ который упирался городъ правымъ, такъ-сказать, крыломъ и который господствовалъ надъ Кафою, и увидѣли подъ собою темные изломы крѣпостной стѣны, мрачныя башни и торчавшія изъ мрака тонкія иглы минаретовъ. Слышно было, какъ надъ городомъ и надъ горами пронесся полуночный вѣтерокъ, заставивъ залепетать листья въ сонныхъ вершинахъ тополей и въ темной зелени, кое-гдѣ разбросанной по полугорью. Явственно донеслось потомъ до казаковъ полуночное „куроглашеніе“,—кое-гдѣ запѣли пѣтухи въ городѣ,—и Сагайдачному, который шелъ рядомъ съ Мазепою и Олексіемъ Поповичемъ, почему-то въ этотъ моментъ вespала на мысль старая, старая пѣсня, которую онъ слышалъ еще въ дѣтствѣ: „Ой, рано-рано птицы запѣли, а еще раньше панъ господарь всталъ—панъ господарь всталъ, лучкомъ забрызчалъ“...

Въ этотъ моментъ брызнула чья-то сабля...

— Какой тамъ чортъ звенить!—послышалось тихое, но грозное предостереженіе.

Отвѣта не последовало... Гдѣ-то на городской стѣнѣ зловѣще прокричать флиръ...

— Это прихмета изъ города—это наши,—прошенталъ Олексій Поповичъ.

— Смотрите, смотрите, хлопцы!... это она летить!—послышался сдержанный шопоть.

— Кто она? гдѣ?

— Вонъ—по небу летить... Бѣлая бранка.

— Ты, что утопилась въ морѣ?

— Она...

Всѣ взглянули на небо. Въ темносиней выси, заслоняя собой млечный путь и созвѣздіе лебеда, двигалось по небу, какъ-бы плыло въ эфирѣ бѣлое продолговатое облачко, образовавшееся, можетъ быть, у вершины Чатырдага и теперь плывшее надъ соннымъ городомъ... Многимъ, дѣйствительно, въ очертаніяхъ облачка представилось подобіе человѣческаго тѣла, закутаннаго въ бѣлый покровъ, и тотчасъ-же вспомнился разсказъ о „бѣлой бранкѣ“ (невольницѣ), утопившейся въ морѣ отъ тоски по Украинѣ и съ тѣхъ морѣ пролетавшей надъ Кафою всякій разъ, когда городъ ожидало какое-либо несчастье *).

— Въ Украину летить, бѣдная...

— На тихія воды, на ясныя зори...

Даже суровому и задумчивому Сагайдачному казалось, что это летить по небу чистая душа той бѣдной дѣвушки, которую онъ любилъ когда-то и которая умерла отъ тоски въ далекой неволѣ, за синимъ моремъ, въ проклятомъ Синопѣ, вспоминая о дорогой Украинѣ и о „казаченькѣ чернобровомъ“, о Петрусѣ Сагайдачномъ... Но онъ тотчасъ-же отогналъ отъ себя эти грезы, далекія видѣнія золотой молодости... Предстояло страшное дѣло—и можетъ быть святая душа той, что пролетала теперь по небу, утѣшится, зная что она и тамъ—идеже нѣсть болѣзнь, ни воздыханіе—не забыта.

Онъ приказалъ одному „курень“ съ отаманомъ своимъ Дженджелемъ отдѣлиться отъ всего войска, обойти кругомъ и обложить снаружи всю городскую стѣну, а когда поданъ будетъ сигналъ крикомъ филина, зажечь вокругъ крѣпостныхъ стѣнъ стояшіе въ разныхъ мѣстахъ стоги сѣна и разныя предгороднія постройки, чтобъ вызвать переполохъ въ городѣ и освѣтить его для предстоявшей „потребы“.

„Палин“—такъ ихъ называли по возложенному на нихъ порученію—получивъ этотъ приказъ, отдѣлились отъ остальныхъ казаковъ и скрылись въ темнотѣ. Сагайдачный-же повелъ все войско далѣе, руководствуясь указаніями Олексія Поповича, которому и мѣстность, и городъ были хорошо извѣстны: находясь тутъ нѣсколько лѣтъ въ неволѣ, онъ вмѣстѣ съ другими невольниками не мало поработалъ, подгоняемый бичами приставниковъ, и въ городѣ и за-городомъ, въ садахъ, и на пристани, мель улицы и поливалъ цвѣты, таскалъ камни и подбивалъ грядки въ виноградникахъ. Наконецъ они очутились у крѣпостныхъ воротъ... Тихо кругомъ, точно въ могилѣ...

Послышался крикъ филина... Изъ-за крѣпостныхъ воротъ отвѣчало мяуканье кошки—и одна складня воротъ съ тихимъ скрипомъ отворилась...

*) Преданіе это давно было записано Н. П. Костомаровымъ, но утратилось въ бумагахъ покойнаго Погодина, котораго было для напечатанія въ „Москвитинѣ“.

— Мати Божа! — послышался тихій женскій крикъ, и жесткую шею Сагайдачнаго обхватили нѣжныя холодныя ручки.

— Хвесь! дитятко!

— Тятя! тятечко мой! о-охъ!

— Полно, дитятко! — некогда теперь отъ радости плакать... Возьмите ее, дѣтки, стерегите какъ золотое яблочко, — распорядился Сагайдачный, вырываясь изъ объятій дѣвушки.

Тутъ-же, въ глубинѣ воротъ, съ фонаремъ въ рукахъ стояла еще одна фигура въ турецкомъ одѣяніи...

— Ивашко! потурнакъ! — всплеснулъ руками Олексій Поповичъ.

— Я, Олексіечку! Я сторожей напоилъ — покотомъ лежать...

Въ этотъ моментъ въ разныхъ мѣстахъ вспыхнуло зарево, и высокія иглы минаретовъ какъ-бы загорѣлись багровымъ румянцемъ... Зардѣлись и вершины тополей, словно-бы ночью всходило солнце...

— За работку, дѣтки! до брони! — раздался повелительный голосъ Сагайдачнаго.

Крѣпостныя ворота распахнулись настежь и въ нихъ, какъ въ пробоину корабля врывается захлестывающая его вода, хлынули запорожцы. Толпы ихъ съ пылающими на „ратицахъ“ пучками пакли, которая у нихъ была раньше припасена и тотчасъ-же при входѣ въ городъ зажжена, разсѣялись во всѣ концы, зажигая все, что могло горѣть, и оглашая воздухъ неистовыми криками...

Кафа разомъ превратилась въ пылающій костеръ. Отчаянные крики проснушагося населенія, трескъ и гулъ горящихъ зданій, ревъ скота, плачъ женщинъ и дѣтей, страшные вопли убиваемыхъ и бросаемыхъ въ огонь несчастныхъ жертвъ казацкаго мщенія, радостные вопли вырвавшихся на свободу невольниковъ, тутъ-же на улицахъ, на площадяхъ, среди зарева пожара разбивающихъ о камни свои оковы, и къ довершенію всего шумные порывы вѣтра, поднявшагося вмѣстѣ съ пожаромъ, — вся эта адская картина вполне выразила собою то ужасное время, когда люди были тѣ-же звѣри и какъ звѣри обращались съ себѣ подобными. Какъ ни пронзительны были крики женщинъ и дѣтей, вопль и стоны убиваемыхъ, звѣриное рыканье обезумѣвшихъ отъ крови казаковъ, какъ-ни оглушительнъ былъ гулъ и трескъ пожара, но надъ всѣмъ этимъ господствовалъ общій отчаянный вопль: „Алла! Алла!“ Улицы и площади по крылись трупами убитыхъ и рыдающими надъ ними женщинами, которыхъ казаки не трогали. Другіе искали спасенія въ бѣгствѣ, кидались съ городскихъ стѣнъ, и если оставались въ живыхъ, то или спѣшили укрыться въ садахъ и горахъ, или бросались въ море, чтобы достигнуть какого-либо корабля.

Скоро „невольничій рынокъ“ сталъ наполняться кучами всякаго добра — товарами, выносимыми изъ лавокъ, дорогими одеждами, уносимыми изъ горящихъ домовъ, мѣшками и боченками золота и серебра, драгоценными вооруженіями и конскою сбруею...

И тутъ-же, на рынкѣ, у знакомаго намъ фонтана, въ струяхъ котораго отражалось теперь кровавое зарево, сидитъ слѣпой невольникъ и, покачиваясь изъ стороны въ сторону, перебираетъ своими костлявыми пальцами жалкія струны своего жалкаго инструмента и поетъ что-то своимъ плачущимъ голосомъ. Но ревъ пожара и вопль людей заглушаютъ его строгое, рыдающее пѣніе...

При заревѣ пожара видно было, какъ прекрасные тополи и кипарисы, охваченные пламенемъ, чернѣли и превращались въ тонкія, обугленные иглы. Въ воздухѣ, надъ длинными языками пламени, носились испуганныя птицы и, застигнутыя дымомъ, охваченныя горячими струями вѣтра, стремглавъ падали въ пылающую бездну и погибали... Все, казалось, горѣло: и дома, и мечети, и минареты, и мрачныя, теперь свѣтящіяся крѣпостныя стѣны съ башнями, и красныя лица спящихъ въ пламени казаковъ, и ихъ одежды, освѣщаемыя багровымъ заревомъ...

— Бей о камень младенцевъ ихъ!—кричалъ Олексій Поповичъ, показываясь на площади и сильно пошатываясь.

Онъ, повидимому, успѣлъ шибко хватить послѣ продолжительнаго „казачка поста“ и теперь находился въ самомъ возбужденномъ состояніи, грозилъ кому-то кулакомъ въ воздухѣ и путался съ саблей, которая колодила его по ногамъ и мѣшала идти.

— Бей о камень младенцевъ!—оралъ онъ.—А! какой это чортъ меня за ноги хватаетъ!... Бей! рѣжь!

Въ это время какой-то маленькій ребенокъ, повидимому, татарочка, курчавенькая и босоногая, очутившись одна на ярко-освѣщенной площади и не зная куда бѣжать и кого искать, громко плакала.

Олексій Поповичъ наткнулся на нее и остановился.

— Чего ты плачешь?—вдругъ ласково заговорилъ онъ къ татарочкѣ. Дѣвочка, увидѣвъ незнакомаго, еще пуще заплакала.

— Да не бойся, дивчинко... А! аспидове! какое-жъ оно хорошенькое!

И пьяный добрякъ нагнулся къ ребенку, гладилъ его головку, заглядывалъ въ глаза.

— Вотъ хорошенькое!—ай-ай!—Ну иди ко мнѣ на ручки—не бойся.

И онъ, несмотря на слезы дѣвочки, взялъ ее на руки, продолжая гладить.

— Постою, не плачь, я пряника дамъ... У меня хорошіе пряники—сладкіе...

И онъ дѣйствительно досталъ изъ кармана пряникъ, захваченный имъ гдѣ-то въ ограбленной лавкѣ.

— Гдѣ твоя мама?—допытывался онъ у дѣвочки, забывъ, что она его не понимаетъ, и суя ей пряникъ:—я понесу тебя къ мамѣ...

Другіе казаки, нагруженные добычей, завидѣвъ пьянаго товарища съ ребенкомъ на рукахъ, не могли удержаться отъ смѣху, какъ ни была ужасна картина, окружавшая ихъ.

— Эй, Поповичъ! гдѣ ты ребенка досталъ?

— Да это его ребенокъ, это ему привела татарка, какъ онъ еще въ неволѣ былъ.

— Что-жъ ты его титькой кормишь — что-ли?

Въ это время вспыхнуло зарево и на морѣ: это распоряжался Небаба, зажегшій турецкіе корабли въ гавани.

— Гей, братцы, сторонись! — кричалъ кто-то неистово.

Всѣ оглянулись: освѣщаемый багровымъ пламенемъ и весь согнувшись подъ какою-то тяжелою ношею, шелъ Хома. Увидавъ его, казаки и руками всплеснули: силачъ Хома несъ на плечахъ пушку!

— Да это Хома! смотрите панове: онъ пушку несетъ!

— Батечки! цѣлую гаковницу претъ!

— Вотъ Вернигора! одинъ пушку тащить!

Хома, весь запыхавшись, красный и растрепанный, бережно сложилъ свою ношу около прочей добычи.

— Вотъ иродова — какая-жъ тяжелая, — ворчалъ онъ, утирая съ краснаго лица потъ.

— Что это ты, Хома? гдѣ ты ее взялъ? — любопытствовали казаки.

— Да на башнѣ-жъ, — лѣнливо отвѣчалъ тотъ.

— Да на что она тебѣ?

— Эге! она мѣдная... А батъко говорилъ, что не хорошо, что у насъ въ Сѣчи нѣтъ ни одной мѣдной пушки. Вотъ я и принесъ эту гаковницу... Да и тяжела-жъ иродова... ажъ плечи болятъ!

Казаки не могли надивиться буйволовою силѣ простака Хомы.

— Вотъ такъ богатырь! Да ты скоро, Хома, будешь на себѣ коня своего носить! — говорили шутники.

— Эге! я и носилъ было маленькаго стригунца, такъ нѣтъ — не то.

— А что? тяжелъ?

— Нѣтъ, брыкается, иродова дѣтина!

Казаки опять засмѣялись.

А между тѣмъ пожаръ въ гавани разрастался. Видно было, что горѣло по всему побережью.

— Это Небаба западилъ свою люльку!

— Добре старый справляется...

На площади показался Сагайдачный съ старшинами. Онъ, какъ и окружавшіе его атаманы куреней, былъ уже на коняхъ, въ богатой турецкой сбруѣ, взятыхъ изъ конюшенъ пашей и янычаръ. Они сѣли на коней для того, чтобы послѣдовать во все мѣста и за всѣмъ наблюдать.

— Спасибо, дѣтки! — обратился Сагайдачный къ казакамъ, бывшимъ на площади: — добре справились.

— Спасибо и вамъ, батъку, что дали намъ работу! — закричали въ отвѣтъ казаки.

— Не забудетъ насъ Кафа проклятая!

— Будетъ ей козацкими душами, какъ скотиной торговать!.. Дали мы ей знать!

Увидавъ зарево въ гавани, Сагайдачный подозвалъ къ себѣ Мазепу.
— Вѣги, пане писарю, на берегъ, гукни до Небабы, чтобъ онъ не вѣтъ галеры турецкія палилъ, потому что при такой корысти (онъ указалъ на груды добычи) намъ безъ галеръ нечѣмъ будетъ взяться, да и не мало съ нами будетъ бѣдныхъ невольниковъ: было-бъ на чемъ ихъ до городовъ христіанскихъ довести.

Мазепа поскакалъ по направленію къ гавани.

Площадь все болѣе и болѣе заполнялась казаками, которые стекались со всѣхъ концовъ пылающаго города, обремененные добычею. Груды послѣдней росли съ каждымъ часомъ. Казаки, сваливъ въ общій „кошъ“ принесенное добро, снова уходили, чтобъ добирать остальное и добивать татаръ, которыхъ не успѣли перебить сразу или которые не успѣли спастись бѣгствомъ. А пламя все свирѣпѣло, пожаръ разрослся и злополучный городъ представлялъ сплошное море огня. Изъ прежнихъ генуэзскихъ дворцовъ и роскошныхъ палаццо, изъ богатыхъ турецкихъ и татарскихъ домовъ, изъ мечетей и общественныхъ бань въ окна и двери вырывалось наружу пламя и огненными языками лизало и коптило стѣны зданій, топило свинецъ и олово водопроводовъ, сѣдало дотла все, что было въ городѣ деревяннаго.

Къ утру пламя начало утихать—ему уже не доставало пищи...

Утреннее солнце освѣтило одиѣ развалины Кафы, еще вчера такой роскошной... Олексій Поповичъ стоялъ на чердакѣ своей чайки, держа на рукахъ заснувшую „татарочку“, и глядѣлъ на развалины города, въ которомъ онъ когда-то томился въ неволѣ... По лицу его катились слезы...

XVI.

„Опровергши до фундаменту“ прекрасный городъ, казаки, обремененные добычею, опять ушли въ открытое море. Они захватили съ собой нѣсколько турецкихъ галеръ, пощаженныхъ Небабою при сожженіи всего находившагося въ гавани, и нагрозили ихъ награбленнымъ добромъ, а также помѣстили на нихъ и всѣхъ освобожденныхъ въ Кафѣ невольниковъ.

Грустно было смотрѣть на удалявшійся изъ глазъ все еще дымившійся городъ, въ которомъ еще наканунѣ жизнь была такимъ широкимъ ключомъ; но казаки глядѣли на него какъ на убитаго гада и безпечно отдыхали послѣ кровавой работы. Флотилія ихъ держалась прямо на полдень, все болѣе и болѣе удаляясь отъ береговъ, такъ что въ тотъ же день казаки увидѣли себя окруженными безбрежно разстилавшеюся во всѣ стороны синею пучиною и такимъ же, какъ море, безбрежнымъ небомъ. Они вспоминали и пересказывали о томъ, что осталось у каждого въ памяти объ этой роковой ночи, передавали потрясающія подробности о томъ или другомъ эпизодѣ своихъ походовъ, перевязывали другъ другу раны, обжогъ, шутили, смѣялись, тѣшились простоватостью Хомы, въ жару кровавой работы потерявшаго свою шапку и низачто не соглашавшагося на-

дѣтъ на себя дорожную, шитую золотомъ ермолку, которую онъ нашелъ въ своемъ карманѣ. Всеобщую веселость возбуждалъ и Олексій Поповичъ, который, проспавшись, увидалъ себя обладателемъ маленькой, хорошенькой какъ херувимчикъ „татарочки“ и не зналъ, что съ нею дѣлать: ребенокъ постоянно плакалъ, показывалъ ручками куда-то вдаль, конечно туда, гдѣ осталась его мать, и Олексій Поповичъ изо всѣхъ силъ бился, чтобъ утѣшить малютку. Дѣвочка, впрочемъ, скоро завоевала любовь всѣхъ казаковъ. Да и то сказать—нигдѣ ребенокъ не возбуждаетъ въ людяхъ взрослыхъ, въ сердцахъ даже черствыхъ, закоснѣлыхъ, никогда не любившихъ не только чужихъ, но и своихъ дѣтей,—нигдѣ, повторяемъ, не возбуждаетъ ребенокъ такого глубокаго умиленія и нѣжности, какъ на морѣ, вдали отъ земли, гдѣ чувствуется полная оторванность отъ земли, гдѣ невинное существо, тоже оторванное отъ своего гнѣзда, напоминаетъ другой міръ, другіе, милые, далекіе образы. Но еще болѣе чувство умиленія и нѣжности къ ребенку вырастаетъ среди такой суровой обстановки, какъ война,—скитанье между жизнью и смертью, страшная неизвѣстность съ неизбѣжными кровавыми спутниками. Даже собачка въ такой обстановкѣ вызываетъ къ себѣ особенную жалость и нѣжность.

Такъ было и съ плѣнной „татарочкой“. Олексій Поповичъ, желая утѣшить ее, то игралъ съ нею „въ ладки“, то выдѣлывалъ на ея маленькой, пухленькой ладони, какъ „сорока-ворона на припечкѣ сидѣла, дѣткамъ кашку варила“; то, нѣжно обнявъ своими корявыми ладонями ея курчавую головку и покачивая ее изъ стороны въ сторону и ласково заигрывая, онъ распѣвалъ, стараясь поддѣлаться подъ нѣжный женскій голосъ: „печу-печу хлибчикъ, меньшому—меньшій, старшому — большій“... Другіе казаки старались ее забавлять то тѣмъ, то другимъ: одинъ игралъ на губахъ какъ на балалайкѣ, другой показывалъ ей своими бревноподобными пальцами „козу“ и кричалъ самымъ усерднымъ образомъ „мекеке“. Усатый Карпо Колокузни смастерилъ ей изъ разныхъ доскутковъ куклу, придѣлалъ ей изъ лозы рога, и кукла плясала. Даже суровый Небаба забавлялъ дѣвочку: становился на-четвереньки и „гавкалъ“ собачкою... Глядя на его улыбающееся, сѣдое, доброе, но смѣшное лицо, дѣвочка, забывъ свое горе, заливалась звонкимъ смѣхомъ... Это всѣхъ казаковъ приводило въ восторгъ: на-четвереньки становились и другіе—кто „гавкалъ“ по собачьи, кто „мукалъ“ коровою...

Куда-же дѣвалась Хвеса, „сандажкова бранка“, которая достала казакамъ ключи отъ Кафы, съ такою радостью бросилась на шею къ Сагайдачному, къ своему крестному отцу, и которую еще этотъ самый Сагайдачный велѣлъ беречь какъ „золотое яблочко?“ Ея нѣтъ теперь съ казаками. Неужели они не устерегли ее? Неужели она погибла въ эту ужасную ночь? Никто этого не зналъ. Казаки, попеченію которыхъ она поручена была Сагайдачнымъ передъ началомъ грабежа города, говорили, что Хвеса велѣла имъ идти съ нею къ дому ея господина, „пана господаря“, который купилъ ее на рынкѣ въ Козловѣ, а потомъ сдѣлалъ ее своею лю-

бимою „бранкою“—невольницею, господствовавшей надъ всѣмъ его сера-
лемъ. Этотъ ея господинъ и былъ „санджакъ“—губернаторъ Кафы. Когда
казаки, сопровождавшіе Хвесю, пришли къ дому ея господина, въ разныхъ
мѣстахъ города уже вспыхнулъ пожаръ. Хвесья сказала, чтобъ казаки по-
ждали ее около дома, что она сбѣгаетъ захватить разныя дорогія вещи,
подаренныя ей господиномъ, а потомъ можно будетъ и грабить его домъ.
Самого же „санджака“, говорила она, не было въ городѣ. Но изъ дома она
уже не возвратилась. Когда-же потомъ казаки, соскучившіеся долгимъ ожи-
даніемъ и опасаясь, не случилось-ли чего съ ихъ землячкою, вошли, ско-
рѣе—вломившись въ домъ „санджака“, то ни Хвеси и никого изъ людей
тамъ не нашли: домъ оказался пустымъ, словно выморочнымъ. Они пе-
репарили всѣ углы, перевернули все вверхъ дномъ, кричали по всѣмъ
комнатамъ, на дворѣ, звали Хвесю, но никто и ничто не откликнулось на
ихъ голосъ. Скоро они увидѣли, что и этотъ домъ горитъ, поторопились
захватить изъ него лучшее, что бросалось въ глаза,—и уже только подъ
конецъ замѣтили потайную дверь въ стѣнѣ дома; когда выломали эту дверь,
то увидѣли, что она ведетъ въ ближайшую крѣпостную башню, а изъ башни
едва замѣтная дверка выводила прямо въ горы. Этимъ путемъ, вѣроятно,
какъ полагали казаки, скрылась ихъ соотечественница. Но зачѣмъ? Или,
можеть быть, ее увлекли туда насильно? Или она сама, какъ Маруся
Богуславка, захотѣла остаться въ неволѣ?.. Кто угадаетъ тайныя движенія
сердца женщины!.. Оно также скоро забываетъ то, что недавно любило,
какъ вотъ эта маленькая татарочка забыла свою мать, переходя съ рукъ
на руки отъ одного казака къ другому.

Такъ думалъ Сагайдачный, блуждая взоромъ по безбрежному морю. Ду-
малось ему и многое другое,—то, что всю жизнь не выходило у него изъ
сердца и о чемъ никто не зналъ, какъ не знали и теперь казаки, куда
онъ ведетъ ихъ... Вотъ разрушена Кафа—„до фундаменту опровергнута...“
Та же участь ждетъ и прекрасный Синопъ, этотъ поэтический „городъ
любви“, какъ его называли турки... Не первый уже разъ казакамъ при-
ходится „плюндровать“ Синопъ—надо еще дать ему чосу. Надо и Царь-
градъ окурить мушкетнымъ дымомъ, припугнуть самого султана въ его се-
ралѣ, а оттуда махнуть до города Козлова и разорить это невольничье
гнѣздо до-тла, вырѣзать турукъ и татаръ до-ноги, чтобъ и на расплодъ,
на сѣмена цыкого не осталось отъ этой саранчи. А тогда и домой—до
„городовъ христіанскихъ“, на „тихія воды“, на „ясныя зори“, „въ міръ
хрещеный, въ край веселый“...

Но этого мало ему—онъ шире загадывалъ безпокойною мыслью. Ему
хотѣлось совсѣмъ отгородить христіанскій міръ отъ міра некрещенаго. Но
какъ? Сдѣлать Черное море совсѣмъ „казацкимъ моремъ“, упереться пя-
тою въ Крымъ, запрудить все море казацкими „човнами и кораблями“,
настроивши ихъ въ самомъ Крыму по истребленіи тамъ „саранчи“ и по
уничтоженіи самаго царства крымскаго, и, соорудивъ несокрушимую „фортецію“
на самой вершинѣ Чатырдага, „гукнуть“ оттуда за море: „сидите турки, смирно!“

Одна мысль гнала другую, переноса его и въ далекую Украину, всю, казалось, сверкавшую переливами свѣта, и въ блестящую, съ ногъ до головы залитую золотомъ, златоглавами и аксамитами Польшу, и на милую, далекую родину, въ горный Самборъ, и въ хмурую, метельную московщину.

Сагайдачный глянулъ на казаковъ, которые беззаботно играли съ татарочкой, и грустно улыбнулся... Онъ велѣлъ своей чайкѣ повернуть къ большой галерѣ, которая шла недалеко, вся наполненная освобожденными невольниками. Чайка подошла къ галерѣ. Сагайдачный взомель на послѣднюю. За нимъ послѣдовалъ Мазепа, а тамъ и Небаба. Маленькая татарочка тоже забормотала, показывая ручками, что и она туда же хочетъ пойти.

— Ишь ты — и она за батькомъ.

— Возьмите ее, панове: пускай и она посмотреть.

Олексій Поповичъ взялъ дѣвочку на руки и тоже взомель на галеру, бережно неся ребенка.

Галера представляла поразительную картину пестраго смѣшенія — жалкихъ лохмотьевъ нищеты, прикрытыхъ яркими, нерѣдко дорогими одеждами: лохмотья — это остатки невольничества, остатки того жалкаго одѣянія, которыми, въ неволѣ, драпированы были полунагія тѣла турецкихъ и татарскихъ рабовъ; на ногахъ, не у всѣхъ еще обутыхъ, но у всѣхъ уже раскованныхъ, виднѣлись слѣды кандаловъ — то живыя раны, то заживающіе или гноящіеся струпья; дорогія одежды — это добыча, взятая съ прежнихъ господъ и мучителей, снятая нерѣдко съ убитаго или умирающаго „господаря“ и оттого иногда окровавленная или полуразорванная въ моментъ схватки съ врагомъ. Почти всѣ невольники были болѣе или менѣе приодѣты въ это добытое въ разрушенномъ городѣ платье... Невольники москали, донскіе казаки, поляки, украинскіе „гречкосіи“, „винники“, „броварники“ и въ особенности казаки — все это, бывшее недавно въ тяжелой неволѣ, всѣ эти давно не стриженные или обкарнавныя, какъ овцы лѣтомъ, головы смотрѣли теперь не то татарами, не то турками, не то армянами... Только истомленные, изнуренныя, загорѣлыя лица выдавали, что все это сейчасъ только вырвалось изъ каторги, сорвалось съ цѣпи...

Говоръ на галерѣ былъ невообразимый: звучала рѣчь польская, московская, украинская, въ особенности эта послѣдняя. Кто спалъ, раскинувшись на солнцѣ, какъ бы досыпалъ недоспанныя въ неволѣ ночи; кто ѣлъ — что успѣлъ захватить съ собою, разставаясь съ „городомъ слезъ и крови христіанской“; кто рассказывалъ другому о своихъ похожденияхъ въ неволѣ, о своей далекой родинѣ, о тѣхъ милыхъ и далекихъ, которыхъ, быть можетъ, давно уже нѣтъ на свѣтѣ. Москали братались съ казаками, „гречкосіи“, „винники“ и „броварники“ — съ ляхами, которыхъ всѣхъ поравняла неволя и „червоная таволга“. Какой-то старикъ, оборотившись лицомъ къ сѣверу, клалъ земные поклоны. Молодой, худой парень съ длинными русыми волосами, одѣтый въ турецкую куртку съ позументами поверхъ голаго,

загорѣлаго тѣла и въ широкія турецкія шаровары, подперевъ худую щеку рукою, пѣлъ, скорѣе — горлянилъ со слезами на голубыхъ, задумчивыхъ, глазахъ:

Какъ по-о мо-орю! какъ по-о мо-орю!

Какъ по морю-морю си-инему!

Но особенно поразила Сагайдачнаго и его спутниковъ среди этого хаоса какая-то молодая красивая женщина, въ богатомъ турецкомъ одѣяніи, съ откинутою назадъ чадрую: она сидѣла, отвернувшись лицомъ къ морю, и горько плакала.

Сагайдачнаго удивили эти слезы среди общаго, повидимому, счастья. Онъ думалъ, что это татарка или турчанка-полоянка, захваченная казаками, и подошелъ къ ней. Женщина сидѣла, не поворачивая головы. Видно было только, какъ вздрагивали ея плечи... „Мати Божья!“ послышалось сквозь плачъ.

Сагайдачный понялъ, что это не „бусурманка“. Ему стало жаль ее — онъ не зналъ, чему приписать это горе, выливающееся такими горькими слезами.

— Молодица! ты чего плачешь? — тихо спросилъ онъ.

Плачущая женщина не отвѣчала. Она заплакала еще горше. Маленькая „татарочка“, увидавъ ее, стремительно бросилась къ ней и громко закричала: бѣдный ребенокъ вспомнилъ мать, которую началъ было уже забывать — костюмъ татарки напомнилъ дѣвочкѣ то, чего она лишилась, и она, обливаясь слезами, уткнулась головкой въ колѣни неизвѣстной женщины. Это была единственная женщина, которую увидалъ ребенокъ послѣ того, какъ потерялъ мать среди пламени и стонów.

Неизвѣстная женщина быстро обернулась, сверкнувъ на всѣхъ своими ясными, прекрасными, но заплаканными глазами и, припавъ лицомъ къ головкѣ дѣвочки, жалостно, но безмолвно рыдала.

Слезы сверкнули на глазахъ суроваго Небабы. У Олексія Поповича задрожали губы. Мазепа какъ-то растерянно теревилъ концы своего саеговаго пояса, моргая глазами и нерѣшительно взглядывая на Сагайдачнаго, который, показывая видъ, что смахиваетъ со щеки муху...

— Что оно такое? Не наша? — тихо указалъ Сагайдачный на плачущую женщину.

— Да она, вашъ милость, сказать бы — воруха, — заговорилъ оборвышъ, глядя въ глаза Сагайдачному и заискивающе улыбаясь.

— Воруха? — удивился гетманъ.

— Точно, бояринъ, воруха — воровского казака, значить, жинка-полоянка: въ полону, сказать бы, была. А вонъ тамотка мужъ ейный будетъ — вонъ пѣсню играетъ: „Какъ по морю“...

И оборвышъ указалъ на поющаго парня.

— Мужъ этой молодицы? — указалъ Сагайдачный на молодую женщину, которая уже перестала плакать и угѣшала всхлипывающую татаротку.

— Ейный, ваша милость, воровской казакъ будетъ—полоняникъ же... А вотъ какъ онъ, казакъ-отъ, увидалъ здѣсь-тка эту самую бабу и спозналъ въ ей свою жену законную, да какъ узналъ, что она бусурманена—вотъ онъ и не признаетъ ея: поганая, говоритъ, бусурмацка... А мы сами, ваша милость, будемъ орловски—изъ Орла града—орлянинъ я, ваша милость,—и въ прошлыхъ годѣхъ, въ спожинки, татарова полонили насъ... А какъ таперево, ваша милость, вы насъ, значить, изъ полону агарянсково ослобонили, и мы ваши вѣчные богомольцы будемъ—молить, значить, вѣчно за вашу милость Бога будемъ и съ робятками и животовъ нашихъ не пожалѣмъ... А ежели чево свѣчку поставить за здравіе вашей милости, и мы тово не пожалѣмъ—богомольцы мы ваши... Коли ежели и животишки наши испустошены, и скотинкою, може, безъ хозяина подбились—ино Богъ намъ пошлетъ свою милость, а мы ваши богомольцы по гробъ живота.

Тутъ только словоохотливый „орлянинъ“ спохватился: началъ за здравіе, а свелъ на упокой—совсѣмъ заболтался. Онъ разомъ оборвалъ, тряхнуть волосами, засеменялъ на мѣстѣ и испуганно поглядѣлъ на Небабу, который казался ему очень страшнымъ.

Сагайдачный между тѣмъ пошелъ дальше, а назойливый „орлянинъ“ не отставалъ отъ него.

— Зовутъ ее, ваша милость, Офимьицей,—скороговоркой досказывалъ онъ недосказанное:—казачья Онисимкина жена Бурькина. А взяли ее погайски татарова на Дону, въ подѣздѣ, и съ Дону свели въ Азовъ-градъ, а изъ Азова-града продали въ эту самую Кефу; и въ Кефѣ она, Офимьица, бусурманена, по середамъ и по пятницамъ и въ великіе посты мясо и всяку скверну и нечистъ бусурманскую ѣдала; и взялъ ее, Офимьица, за себя татаринъ чаушъ во мѣсто жены, безъ вѣнца, и жила она, Офимьица, съ нимъ безъ молитвы и прижила сыночка ребенка, и по бусурмански маливалась, и вѣру бусурманскую держала, а вѣру русскую проклинала съ неволи и каномъ мазана съ неволи-жъ; и мужъ ейный, татаринъ, велѣлъ де ей палецъ подымать, и она-де, Офимьица, палецъ подымала съ неволи-жъ...

Но Сагайдачный уже не слушалъ болтуна, который, впрочемъ, не досказалъ самага главнаго. На душѣ плакавшей казачки было величайшее горе, какое въ состояніи понимать только матери. Она, дѣйствительно, была нѣсколько лѣтъ тому назадъ полонена на Дону вмѣстѣ съ молодымъ мужемъ, съ которымъ не прожила и мѣсяца въ замужествѣ. Ее продали въ Кафу, а его въ Синопъ. Сколько она ни плакала, сколько ни молилась, а въ концѣ концовъ должна была подчиниться волѣ своего господина-татарины: она стала его женой. Года два тому назадъ у нея родился сыночекъ—„злой татарченочъ“, какъ поется въ пѣснѣ, но для нея онъ былъ не „злой татарченочъ“, а родной сыночекъ Халилюшка, котораго она обожала въ своей горькой неволѣ и какъ бы отожествляла въ своемъ сердцѣ съ „миль-сердечнымъ другомъ“, съ Онисимкомъ, пропавшимъ для нея навѣки.

И вдруг не далѣе какъ вчера утромъ, она, сидя у окошка, которое выходило къ морю, на гавань, услыхала знакомое, давно неслыханное пѣніе, родные голоса: „разовьемъ мы березу, разовьемъ-ка кудряву“. Сердце оборвалось у нея. Она глянула въ окошко и увидала, какъ невольники тянули по берегу лямкой какую-то тяжелую посудину и пѣли, скорѣе — стонали „дубинушку“... Слезы брызнули у нея изъ глазъ, и когда она ихъ отерла, то среди оборванныхъ, полуголыхъ и худыхъ невольниковъ она увидала — кого же? — своего мила друга Онисимушку!.. А тутъ вдругъ ночью нагрянули казаки, вслихнуль городъ — крики, стоны, рѣзня... Казаки напали на ихъ домъ... Она съ Халилькой на рукахъ бросилась имъ навстрѣчу, вопя: „родимые, не губите! кормильцы, не стеряйте ребеночка!..“ Ее, конечно, не тронули; а вмѣстѣ съ другими освобожденными невольниками повели на берегъ, къ галерамъ и чайкамъ... Тамъ она увидала своего перваго мужа, Онисима, бросилась къ нему, забывъ даже, что у нея на рукахъ не его ребеночекъ... Онисимъ узналъ ее, затрепеталъ весь и, выхвативъ изъ ея рукъ малютку, съ крикомъ — „а! злой татарченокъ!“ — разможжилъ его о береговые камни...

Вотъ о чемъ плакала несчастная мать.

Торжествующихъ казаковъ ожидало однако горе: къ вечеру ихъ общая любимица и забавочка, ихъ „золотое яблочко“, маленькая татарочка „разгасилась“. Она все хваталась за головку, которая была какъ въ огнѣ, тихонько плакала, все тянулася пить и металась на кучѣ „кожуховъ“, изъ которыхъ ей сдѣлали постельку подъ чердакомъ. Казаки совсѣмъ растерялись, не зная, какъ возиться съ больнымъ ребенкомъ. Они и придумать не могли, съ чего *воно* расхворалось. Отъ роду незнавшіе, что такое значитъ простуда, казаки просто не уберегли, простудили ребенка и теперь не знали, что и подумать. Всѣ были того мнѣнія, что „дитину зглажено“, что кѣмъ-нибудь ей „наврочено“ и всего скорѣе сглазилъ ее чей-либо недобрый глазъ на той галерѣ, гдѣ много москалей-невольниковъ: навѣрное москали сглазили. А можетъ сглазила и та „молодица“, подончиха, что плакала надъ ней. Просто бѣда да и только!

Кинулись казаки лѣчить дѣвочку, и каждый предлагалъ свое средство: Хома слышалъ отъ старыхъ людей, что для того, чтобы „дитину“ не испортили, не „наврочили“, надо вколоть иголку въ шапку, и онъ это сдѣлалъ: засадилъ въ свою шапку огромную иглу.

— Эге, дурный! — замѣчали ему на это: — надо-бъ было тогда втыкать иголку въ шапку, какъ дитя было еще здорово, а теперь оно не поможетъ.

Долго возились съ татарочкой, но наконецъ она уснула, убаюканная тихимъ волненіемъ моря, уткнувшись заплаканнымъ личикомъ въ кожухъ, на который ее положили.

Казаки окончательно присмирѣли. Олексій Поповичъ велѣлъ даже снять всѣмъ „чоботы“, чтобы, ходя по чайкѣ, не стучали чоботищами, а наконецъ и уложилъ всѣхъ спать, хоть многіе порядкомъ отоспались за день, а иные даже распухли отъ сна.

— Сонъ на сонъ не бѣда,—утѣшалъ ихъ Поповичъ.

— Вотъ кій на кій такъ бѣда,—пояснялъ Карпо Колокузни, развалившись на шкурѣ убитаго имъ тура, которую онъ предлагалъ было подъ татарочку, но Олексій Поповичъ не принималъ.

— Еще ребенокъ испугается, либо самого тура во снѣ увидитъ.

Самъ Олексій Поповичъ, успокоившись насчетъ сна дѣвочки, легъ съжившись около нея, чтобъ всегда быть наготовѣ, и скоро захрапѣлъ на всю чайку, потому что не спалъ весь день.

Покойно спала и юная плѣнница. Въ теченіе ночи Небаба, старую голову котораго не бралъ сонъ, нѣсколько разъ тихо подкрадывался къ тому мѣсту, гдѣ лежала татарочка, прикрытая казачьимъ жупаномъ до самой головки, и осторожно прислушивался къ ровному дыханію спящаго ребенка.

Утреннее солнце, вынырнувъ изъ моря половиною пурпуроваго диска, освѣтило необычайно живую, поэтическую картину. Казачья флотилія быстро неслась къ полуденной сторонѣ на вѣсѣхъ веслахъ. Весла въ сухихъ уключинахъ кричали тысячами голосовъ, словно-бы это кричало по зарѣ несмѣтное лебединое стадо. Другіе казаки, не сидѣвшіе за веслами, тѣ, которыхъ „черга“ еще не наступила на начинающійся день и которые, слѣдовательно, могли спать дольше, теперь просыпались и совершали свой нехитрый туалетъ и все то, что казаку Богъ велѣлъ дѣлать; тѣ, почерпнувъ изъ моря ведромъ или водоливнымъ ковшемъ воду, мыли свои загорѣлыя казачьи лица, богатырскіе усы и чубы, фыркали и гогакали какъ стадо жеребцовъ на водопоѣ, приправляя это дѣло казачьими „жартами“—остроумныя мать добродушнымъ Хоמוю и всякими словесными и тѣлесными „выкрутасами“; другой, отфыркавшись отъ „гаспидьской“ соленой воды и утеревъ лицо рукавомъ, полою, „хусткою“, а то и расшитымъ „рушникомъ“, поздравляя матери, сестры или „дивчины“, а то и вовсе ни чѣмъ не утеревъ, съ серьезнымъ лицомъ стоялъ, оборотясь къ востоку, къ солнцу, и орехообразными пальцами тыкалъ себя въ лобъ, въ пузо и въ богатырскія плечи, бормоча иногда то, что только ему было вѣдомо, да и то съ клятвою: „Господи, мати Божа, свята Покрова съ пятницею, та святой Микола съ конемъ, та Иванъ Головосика, та Маковія съ шуликами зъ макомъ и вси святи, помилуйте козака Ониську! Аминь“. Тотъ, снявъ съ себя сорочку и подставивъ свои голыя плечи и спину подъ ласкающіе лучи утренняго солнца, усердно зашивалъ гигантскою иглою дорожныя прорѣхи на своемъ бѣлѣ, болѣе похожемъ на половику въ дегтярномъ складѣ, чѣмъ на якобы „бѣлу сорочку“. А этотъ, совсѣмъ безъ сорочки и безъ штипановъ, ставъ на краю чайки, у свободнаго борта, неистово трясъ надъ подую свое казачье одѣяніе, чтобъ „чортовы блохи“ въ море попадали и не кусали-бъ больше казачкаго тѣла.

Татарочка проснулась здоровенькая, безъ жару, хотя немножко блѣдненькая; сначала, видимо, не поняла, гдѣ она и что съ ней,—заплакала; но, увидавъ знакомыя уже лица казаковъ, успокоилась. Олексій Поповичъ, почерпнувъ изъ моря воды въ ковшикъ, сталъ было осторожно своими мо-

золистыми ладонями мыть нѣжное личико дѣвочки, но она заплакала, и Небаба, давно помолившійся Богу и сосавшій свою люльку, которая теперь не гасла, вступился за татарочку.

— Полно тебѣ, Олексію, вередовать надъ ребенкомъ,—ворчалъ онъ.

— Да оно не умыто,—оправдывался Поповичъ.

— А ты думаешь его своими копытами умытъ?

— Тю! какія у меня копыта!—обидѣлся Поповичъ:—я не жеребецъ.

Вдругъ съ „чердака“ гетманской чайки раздалось протяжное завываніе вѣстового рога. Вся флотилія какъ бы встрепенулась, точно стоя птицъ взмахнула разомъ бѣлыми крыльями:—это всѣ чайки разомъ взмахнули веслами, вынувъ ихъ изъ воды и сверкая на солнцѣ, словно тысячами алмазовъ, спадавшими съ нихъ каплями.

Рогъ Сагайдачнаго трубилъ сборъ. Всѣ чайки, услыхавъ этотъ призывъ, поспѣшно стали собираться вокругъ гетманскаго „човна“. Они скоро сошлись вплотную, бортъ-къ-борту, такъ что можно было перебѣжать черезъ всю флотилію и не попасть въ воду.

— Панове атаманы и все войсковое товариство!—громко сказалъ Сагайдачный, показывая имѣвшемуся у него въ рукѣ зрительною трубкою по направленію къ западу:—тамъ идетъ по морю турецкая галера... Та галера, вѣроятно, какого-нибудь богатаго княжаты либо паши, вся барзо добре украшена — златосиними киндяками обвѣшана, пушками унизана и турецкою бѣлою габою покрыта. Надо намъ, дѣтки, ту галеру добыть: можно и въ ней бѣднаго невольника не мало...

— Добыть! добыть!—закричала вся флотилія.

— Либо добыть, либо дома не быть!—раздались отдѣльные голоса:—веди насъ, батьку, хоть на самаго чорта!

— Разъ родила мать, разъ и умирать!

Сагайдачный, когда голоса смолкли, тотчасъ распорядился, какъ „застучать“ этого звѣря среди открытаго моря, чтобъ онъ не улизнулъ, и велѣлъ трубачу трубить погоню.

Завылъ рогъ. Чайки снова разсыпались какъ птицы, оставивъ подъ командою Джеджиелія нѣсколько лодокъ для прикрытія взятыхъ въ Кафѣ галеръ съ освобожденными невольниками, и полетѣли на западъ тремя кучами—средняя на перерѣзъ турецкой галерѣ, боковыя—въ обходъ ей съ сѣвера и юга. Чайки буквально летѣли стрѣдой: это было что-то живое, трепѣтавшее на поверхности моря бѣлыми, сверкавшими жемчугомъ брызгъ и пѣны крыльями...

Скоро показалось на морѣ стройное, красивое чудовище, на которомъ полоскались въ воздухѣ разноцвѣтные флаги, „златосиніе киндяки“ и сверкала какъ свѣтъ бѣлая „габа“. Чудовище замѣтило погоню и какъ-бы дрогнуло всѣмъ тѣломъ: надъ палубою взвился бѣлый дымокъ, что-то грохнуло, и ядро, не долетѣвъ до среднихъ чаетъ, съ визгомъ упало въ море...

— Вотъ такъ!!—послышался голосъ Карпа Колокузни, и казаки отбѣгли реготомъ со всѣхъ чаетъ.

— Я Зинько, дядьку, — отозвался юноша: — меня и Богданкомъ дразнятъ.

— Такъ, такъ, панове, — это Зинько и есть: его еще третьяго года татары въ полѣ взяли.

— Старого Хмельницкого мы знаемъ, — отозвались другіе казаки: — добрый казакъ.

— Только немного ляхомъ пахнетъ, — замѣтилъ кто-то.

— И сына, говорятъ, въ латинской школѣ учились. Правда, хлопче?

— Правда, — отвѣчалъ юноша: — меня въ Ярославлѣ учили, въ Галичинѣ.

Съ берега донесся протяжный вой: казаки узнали голосъ призывной трубы и постѣшили каждый нагружаться добычею, которая еще не вся была перенесена на чайки и на галеры.

— Скоренько, панове, — батъко кличетъ.

— Часъ до сбора.

— А всѣ казаки живы и здоровы?

— Богъ поможетъ — всѣ живы будемъ.

Со всѣхъ сторонъ навьюченные казаки спѣшили къ берегу. Солнце уже золотило верхушки минаретовъ и ближайшія горы. Надъ пожарнымъ дымомъ вились голуби и галки, которымъ не удалось выпастись въ эту тревожную ночь. Слышенъ былъ ревъ скота, не находившаго своихъ хозяевъ, ржаніе лошадей, распуганныхъ пожаромъ, блеянье овецъ. Вѣтромъ гнало дымъ на море, на которомъ словно стая птицъ колыхалась казацкая флотилія.

Берегъ былъ весь запруженъ казаками, таскавшими на ближайшія чайки свою „корысть“ и передававшими ее съ чайки на чайку и на галеры.

— Смотрите! смотрите! — раздались голоса: — кто-то несетъ на рукахъ козла.

— Да то дурный Хома!

Дѣйствительно, Хома тащилъ на рукахъ бѣлую ангорскую козу, которая билась въ его рукахъ и „мекекекала“ отчаяннымъ голосомъ. Хома, весь красный отъ натуги, сердито ругался, таща въ то же время на веревкѣ корову, которая упиралась и ревѣла, и волоча сверхъ того почти цѣлую копну сѣна.

— Что это ты, Хома? — окружили его казаки, надрываясь отъ смѣху: — на что тебѣ козель?

— Да это не козель, а коза, — сердито отвѣчалъ простоватый Хома: — да еще и брыкается.

— Да на что она тебѣ, дурень?

— Эге! я ее буду доить — она молоко дастъ...

— На что тебѣ, дурню, молоко?

— Овва! татарочку кормить.

— Вотъ такъ Хома! вотъ такъ голова! онъ разумнѣе всѣхъ насъ — и татарочку не забилъ, — смѣялись казаки.

Звонкая труба между тѣмъ продолжала скликать казаковъ. Звуки ея становились все рѣзче и рѣзче.

— Скорѣй, братцы, до чаекъ! баткьо сердится!—заторопились казаки.

— Пускай сердится.

— Хома! бери корову на руки да неси до чайки.

Растерявшійся Хома не зналъ куда повернуться. Наконецъ отчаянно махнулъ рукой и бросился вслѣдъ за другими казаками.

Сагайдачный стоялъ на „чердакѣ“ гетманской галеры, окрушенный главною войсковою старшиною, а передъ ними, въ роли чорта, связавшагося съ младенцемъ, возвышалась плечистая и массивная фигура усатаго Карпа рядомъ съ юнымъ Хмельницкимъ, повидимому сильно смущеннымъ.

— А что ты дѣлалъ у башы?—спрашивалъ Сагайдачный.

— Я жилъ у него... я...—юноша замялся.

— Невольникомъ былъ?—продолжался допросъ.

— Невольникомъ... такъ...

— Что-жъ на тебѣ такія дорогія шаты? Невольники въ такихъ не ходятъ.

— Да они, баша... они тоѣо...

Краска заливала блѣдныя щеки юноши, крутой выпуклый лобъ, шею, уши... Мазепа и Небаба коварно переглянулись...

— Что баша, хлопче?

— Баша меня... они меня любили...

Юноша совѣмъ побавровѣлъ... Слезы выступили на глазахъ...

— Ну, добре, добре, хлопче,—успокоилъ его Сагайдачный,—оставайся на моей галерѣ, я тебя доставлю на Украину...

Не зналъ Сагайдачный, кого онъ спасалъ изъ неволи, какой „даръ“ приносилъ онъ дорогой Украинѣ...

Если-бы зналъ впередъ гетманъ-мечтатель, что выйдетъ изъ этого крутолобаго юноши, въ скуластомъ лицѣ котораго сказывалось что-то звѣриное, плотоядное, а широкій плоскій затылокъ напоминалъ затылокъ львенка съ ястребинымъ профилемъ; если-бы Сагайдачный могъ прозрѣть впередъ и увидѣть, до чего доведетъ Украину и Польшу этотъ, такъ легко отурчившійся казаченокъ, какъ онъ будетъ топтать конскими копытами украинскія нивы, залеть ихъ казацкою, польскою и іудейскою кровью и превратить въ „руину“ все правобережье, разоривъ и лѣвобережье,—если бы Сагайдачный могъ прозрѣть это въ стоячихъ глазахъ юноши—онъ задавилъ бы его собственными руками...

XVII.

Пока запорожцы гуляютъ по морю и „завдають страхъ“ татарамъ и туркамъ, перенесемся на крыльяхъ воображенія „на тихія воды“, „на ясныя зори“ и посмотримъ, что дѣлается на Украинѣ.

Мы въ Переволочнѣ, на самомъ рубежѣ мирной Украины, тамъ, гдѣ

съ одной стороны кончаются „тихія воды“ и „ясныя зори“, а съ другой, къ югу, начинаются и тянутся на необозримое разстояніе безбрежныя степи.

Душная лѣтняя ночь, словно-бы передъ грозой. На горизонтѣ часто вспыхиваетъ зарница и освѣщаетъ на краткія мгновенія спящее село. За селомъ, на выгонѣ, раздастся иногда одинокій дѣвическій голосъ и тотчасъ же смолкнетъ. Не поется видно, въ душную ночь даже молодости.

Отблескъ зарницы отражается иногда и на лужайкѣ у берега Ворсклы, и на темной, совсѣмъ почти черной зелени развѣсистой вербы, и на бѣлой сорочкѣ сидящей подъ вербою неподвижной человѣческой фигуры. Голова фигуры наклонена низко и неровно покачивается. Это голова мужчины. Что-же онъ—плачетъ, кажется?

Отблескъ зарницы падаетъ по временамъ и на бѣлыя спины не загнанныхъ безпечною хозяйкою и тутъ-же пасущихся коровъ. Одна изъ нихъ подходитъ къ сидящему подъ вербою, нюхаетъ его голову и усиленно дышитъ на него.

— Ну, тебя, кума, не цѣлуй меня,—бормочетъ сидящій и качаетъ головой:—теперь постъ.

Корова тутъ-же продолжаетъ щипать траву. Сидящій поднимаетъ голову.

— Хотя я и пьяненькій, а знаю, что теперь Петровки — скоромнаго ни-ни, кума,—бормочетъ онъ снова.

Корова опятьдохнула на него.

— Да не лѣзь-же, кума, какая ты!

Пьяный увидалъ наконецъ, что передъ нимъ не кума, а корова.

— А, аспидская скотина! тпрруськи! гей до дому!

Онъ встаетъ и, пошатываясь, старается ударить корову шапкой, но не попадаетъ.

— Гей-гей, чортова!.. А гдѣ-жъ кума?

Шатаясь онъ идетъ по лужайкѣ, спотыкаясь не твердыми ногами, и самъ съ собою разсуждаетъ:

— Эге! глупый... Коли жена бить станетъ—пойду въ козаки, ей-же Богу!.. Чѣмъ я хуже Алешки Поповича, либо Карпа? Вонъ — они теперь на морѣ... Кефу, говорить, зруйновали...

Онъ спотыкается и падаетъ на копну сѣна...

— Чуръ тебя, чортова вѣдьма!.. Такъ подъ ноги копною и подкатилась... Ой!

Съ трудомъ, отбиваясь отъ воображаемой вѣдьмы и силясь перелѣзть черезъ копну, онъ только тыкался въ нее носомъ, царапалъ себѣ лицо, бранился и снова лѣзъ на копну.

— Ой! ратуйте, кто въ Бога вѣруетъ... Задушить проклятая баба...

Онъ сдѣлалъ еще усиліе и перекувырнулся черезъ копну.

— Охъ, убила, проклятая! ой!

Съ трудомъ онъ поднялся на четвереньки и поползъ „ракомъ“, отплевываясь и повторяя: „чуръ-чуръ меня“.

Недалеко въ ночной тиши прозвучалъ одинокій женскій голосъ; ему отвѣтилъ мужской—и оба смолкли.

— Это, должно быть, улица идетъ... Поютъ...

Блеснула зарница, другая. Гдѣ-то зашелкалъ соловей.

— Соловейко щебечетъ... Вотъ дурень — не спитъ... Да, можетъ, онъ немножко пьяненькій...

Опять кто-то запѣлъ. И соловей зашелкалъ усерднѣе...

— Пойду на улицу до дивчать... А къ кумѣ не пойду—постъ...

Онъ пошелъ на голосъ, но опять на что-то споткнулся, выругался и полетѣлъ на землю... Захрюкала сердито свинья, завизжали поросята,—оказалось, что онъ споткнулся на спавшую съ поросятами свинью.

— Ой, батечки!—заоралъ онъ:—еще вѣдьма... свиньею перекинулась... Чуръ-чуръ меня!.. Вотъ проклятая сторонка! Вѣдьма на вѣдьмѣ...

Нашъ герой пустился бѣжать и только тогда опомнился, когда наткнулся на какого-то человѣка.

— Ты! вотъ оглашенный!—осадила его чей-то голосъ:—или ты взбѣлся! Что бѣжишь на людей!

— Да я... это я тово... отъ вѣдьмы...

— Отъ какой вѣдьмы?

— Да тутъ вѣдьма на вѣдьмѣ...

Послышался хохотъ мужскихъ и женскихъ голосовъ:—герой какъ разъ попалъ на „улицу“.

— Да это Хорько, хлопцы.

— Это Макитра пьяненькій.

— Откуда вы, дядьку?

— Да отъ проклятыхъ вѣдьмѣ!

Тутъ только нашъ герой сталъ приходить въ себя. Онъ видѣлъ себя въ безопасности отъ „видемъ“, и къ нему не только вернулась обычная храбрость, но даже въ нѣкоторомъ родѣ геройство.

— У, да и вѣдьмы-жъ у насъ тутъ, хлопцы!—вотъ прорва!—началъ онъ хвастаться:—какъ напали на меня, такъ насилу отбился—суцая татарва!

— Да гдѣ ты ихъ видѣлъ, дядьку?

— Гу! гдѣ видѣлъ! тамъ ихъ видимо-невидимо... И ужъ я бился-бился съ ними, ажъ кости болятъ!

Всѣ слушали пьянаго героя съ величайшимъ интересомъ, потому что всѣ вѣрили разсказамъ о вѣдьмахъ и ихъ превращеніяхъ.

Въ это время за Ворсклою въ далекой степи что-то вспыхнуло на горизонтѣ. Это ужъ не была зарница,—видно было, какъ что-то огненною змѣйкою взвивалось къ небу. Потомъ такой же огонекъ, только уже яснѣе, показался ближе и словно живой перебирался все выше и выше... Всѣ съ испугомъ повернули головы въ ту сторону...

— Охъ лищечко! да это татары!

— Мати Божая! татары идутъ.

— Татары, татары... Это „варта“ знакъ даетъ...

— Господи! Покрова! что-жъ съ нами будетъ!

— Вѣжимъ, дивчатоныки, домой!

— Надо въ звоны звонить—людей будить!

Съ криками и отчаянными воплями „улица“ рассыпалась...

Черезъ нѣсколько минутъ набатный звонъ стоналъ надъ всею Переволочною и глухо разносился по Днѣпру, за Днѣпромъ и по сонной степи...

Огни, вспыхнувшіе въ разныхъ мѣстахъ степи за Ворсклою и за Днѣпромъ, дѣйствительно означали, что на Украину шли татары.

Сосѣдство такихъ хищниковъ, какъ крымцы и ногаи, которые почти каждое лѣто дѣлали набѣги на Украину, заставило украинцевъ изобрѣсти очень своеобразный способъ огражденія своихъ границъ отъ безнокойныхъ сосѣдей. По всемъ границамъ Украины и такъ называемыхъ „запорожскихъ вольностей“, по границамъ, которыя тянулись на сотни и тысячи верстъ, и по разнымъ возвышеннымъ мѣстамъ своихъ степей, большею частью на „могилахъ“, на курганахъ, они ставили извѣстнаго рода „фигуры“, нѣчто вродѣ сухопутныхъ маяковъ, около которыхъ всегда находилась казацкая „варта“—сторожа, завѣдывавшіе этими оригинальными телеграфами или вѣрѣе—„пироскопами“. Едва только какая-либо „варта“ или просто какой-либо казакъ, бродившій въ степи или ловившій гдѣ-либо въ низовьяхъ Днѣпра и другихъ рѣкъ рыбу или звѣря,—едва кто-либо узнавалъ какимъ-нибудь случаемъ, что татары вышли изъ Крыма, чтобы тайно нагрязнуть на Украину, какъ тотчасъ же спѣшили къ ближайшей „вартѣ“ и сообщалъ, что татары идутъ. „Варта“ немедленно приводила въ дѣйствіе свой „пироскопъ“, который состоялъ изъ высокой фигуры или деревянной указки, торчавшей къ небу и обвитой соломой или сухою травой,—солому зажигали, пламя и дымъ взвивались надъ „вартою“ и тѣмъ давали знать ближайшей „вартѣ“, что идутъ татары. Вспыхивала вторая фигура, за ней третья, четвертая, десятая—и такимъ образомъ въ нѣсколько часовъ всю Украину облетала вѣсть о нашествіи хищниковъ.

Когда за Ворсклою и за Днѣпромъ вспыхнули огни въ описываемую нами ночь, вся Украина проснулась и встала какъ одинъ человекъ.

Татары выбрали на этотъ разъ удобную минуту для нападенія. Когда Кафа была взята казаками и предана огню, вѣсть объ этомъ быстро облетѣла весь Крымъ. Казаки въ морѣ—значить, Украина открыта для набѣга, ее некому защищать. Надо отомстить Украинѣ за Кафу—и татары ринулись на сѣверъ нѣсколькими „загонами“.

Переволочане подъ тревожный гулъ набатнаго звона торопливо собирались на площади, на которой стояла церковь,—то было мѣсто для общественныхъ, „громадскихъ“ сходокъ. Скоро площадь вся была запружена народомъ, а набатъ все не умолкалъ, что дѣлалось съ тою цѣлью, чтобы оповѣстить объ опасности и тѣхъ земляковъ, которые въ это время находились не дома, не въ Переволочнѣ, а гдѣ-нибудь въ степи, на полѣ, на охотѣ или на рыбныхъ ловляхъ. Во мракѣ ночи и набатный звонъ, и

народный гулъ, и общій тревожный говоръ, и дѣтскій плачь, завыванье недоумѣвающихъ собакъ, ревъ испуганной скотины—все это казалось еще страшнѣе, чѣмъ могло бы быть при свѣтѣ солнца. Гдѣ-то голосила и причитала молодница о томъ, что мужъ ея поѣхалъ „у далеку дорогу“, и теперь его поймають татары.

— Панове громадо!—возвысилъ голосъ одинъ старикъ, опираясь на палку:—слышите, татары идутъ.

— Да, идутъ проклятые! Видимъ, что идутъ,—отозвались нѣкоторые изъ громады.

— Что-жъ мы будемъ дѣлать, панове?—продолжалъ старикъ,—козаки теперь въ морѣ, войска нѣтъ у насъ—некому насъ оборонить.

— А мы на что!—возвышали голосъ нѣкоторые изъ парубковъ,—мы имъ дадимъ чёсу!

— У насъ есть и кони, и сабли, и мушкеты.

— Такъ-то такъ, дѣтки,—отвѣчалъ старикъ,—да мало васъ, а ихъ цѣлая орда.

— Нѣтъ, намъ съ татарами биться не въ-мочь,—подавали свой голосъ другіе громадяне.

— Намъ надо прятаться и добро прятать, и самимъ бѣжать.

— А куда убѣжишь? А господарство? а скотинка?

— А наши хаты, а нашъ хлѣбъ? Они все поपालятъ.

— Что-жъ намъ дѣлать? Придется, вѣрно, помирать.

Поднялся невообразимый говоръ. Одинъ говорилъ одно, другой другое. Женскіе голоса и плачь становились все громче и отчаяннѣе, безутѣшнѣе. Дѣти, глядя на матерей, плакали еще сильнѣе.

— Да можетъ они не на насъ идутъ, а на тотъ бокъ,—отзывались нѣкоторые утѣшители.

Но это утѣшеніе казалось слишкомъ слабымъ.

— И на тотъ бокъ пойдутъ, и на насъ придутъ,—возражали другіе.

— У нихъ не одинъ загонъ.

— Они идутъ, можетъ, на три дороги, а, можетъ, и на четыре.

Тогда въ середину протискался Хорько Макитра. Хотя хмель его еще не совсѣмъ покинулъ, однако онъ смотрѣлъ трезво и смѣло.

— А постойте, панове громадо, что я скажу,—возвысилъ онъ голосъ, откашлявшись.

— Говори, пане Хорьку, послушаемъ.

— Вотъ что панове,—началъ Хорько, крикнувъ словно изъ пустого бочонка,—намъ биться съ татарами не рука—мало насъ.

— Да мало жъ, мало...

— Хорько дѣло говорить...

— А все-жъ таки, панове, намъ прятаться не слѣдъ,—продолжалъ ораторъ.

— Не слѣдъ, не слѣдъ—это правда!—подтверждали громадяне.

Хорько еще крикнулъ, посмотрѣлъ кругомъ и опустилъ голову, какъ

бы что-то очень хитрое и очень сложное соображалъ своею мудрою головою.

— Такъ вотъ что, панове,—продолжалъ онъ:—мы имъ, поганцамъ, въ очи плюнемъ.

Онъ остановился, видимо рассчитывая на пушій эффектъ своей рѣчи.

— А знаете, панове, чѣмъ плюнемъ?—спросилъ онъ неожиданно.

— А чѣмъ-же? Не знаемъ,—отозвались громадяне.

— Пожаромъ!—отрѣзалъ Харько,—огнемъ плюнемъ въ поганья очи!

— Какъ пожаромъ? Какимъ огнемъ?

— Степнымъ... Мы теперь запалимъ за Ворсклою степь со всѣхъ концовъ, такъ огонь и пойдетъ навстрѣчу татарамъ... Мы такого поल्या напустимъ, что ажъ небо потрескается какъ горшокъ.

— Такъ-такъ! вотъ такъ Харько! вотъ такъ мудрая голова!—раздались оживленные голоса.

Старикъ, до этого времени молчавшій и грустно опиравшійся на палку, теперь поднялъ голову. Старые глаза его заискрились.

— Спасибо, сынку, что напомнилъ мнѣ про молодая лѣта мои,—сказалъ онъ, вскидывая на Хорька радостными глазами,—а я, было, старая собака, и забылъ про это... Мы и сами когда-то такъ отбивали татаръ отъ Украины: запалимъ бывало степь, да такъ и выкуримъ всю татарву.

Площадь оживилась. Рѣшено было утромъ-же привести въ исполненіе планъ Хорька Макитры, который сталъ всеобщимъ героемъ.

Едва лишь начало свѣтать, какъ уже вся Переволочна отъ мала до велика высыпала за Ворсклу. И старые, и молодые, женщины и дѣти, здоровые и даже недужные — все это тащило по охапкѣ соломы, сѣна, пакли, труту и всякаго горючаго матеріала. Въ головѣ шествія гордо выступалъ Харько съ подбитымъ глазомъ—это его уже успѣла угостить рогачомъ свирѣпая жонушка за ночныя похождения.

Отойдя на значительное разстояніе отъ Ворсклы, переволочане растянулись ниткою поперекъ степи на нѣсколько верстъ, чтобъ на всемъ этомъ протяженіи разомъ, по сигналу съ переволочанской колокольни, зажечь степь.

Принесенныя охапки сѣна и соломы были положены на траву по всей линіи. Началось вырубанье огня. То тамъ, то здѣсь чикнетъ огниво объ кремень—чиканье пошло по всей степи. Задымились куски трута въ сотняхъ рукъ. Съ переволочанской колокольни донесся одиный ударъ колокола, потомъ другой, третій.

— Скидайте шапки, панове! молитесь Богу!—скомандовалъ Харько.

Всѣ сняли шапки и перекрестились. Крестились и бабы, и дѣти.

— Зажигай разомъ! вотъ такъ! Господи благослови!

Лежавшая передъ Харькомъ охапка сухого сѣна вспыхнула, разгорѣлась въ пламя. Вспыхнула вся линія. Вѣтерокъ погналъ пламя на полдень. Закорчилась высокая, высохшая отъ жаровъ степная трава, ковыль, „тирса“—вспыхнула и она... Пламя, какъ живое, поползло все дальше и дальше и черезъ нѣсколько минутъ вся степь представляла огненное

море, которое колыхалось вѣтромъ и неудержимо катило свои огненные волны къ югу.

Татары шли на Украину тремя загонами. Выйдя изъ Крыма цѣлою ордою подъ предводительствомъ брата крымскаго хана, „Калги-салтана“, татары въ Черной-Долинѣ раздѣлились на три партіи, — двѣ изъ нихъ, переправившись черезъ Днѣпръ у Кызыкермея, двинулись Чернымъ шляхомъ на правобережную Украину, а одна—мимо Молочныхъ-Водъ, черезъ Конскую, Волчью, черезъ Самару и Орель—на лѣвобережную.

Перейдя Самару, правый загонъ расположился на отдыхъ—на хорошій покормъ для коней и верблюдовъ, чтобъ потомъ съ свѣжими силами саранчою налетѣть на беззащитный край.

Безпорядочное, но страшное зрѣлище представляла раскинувшаяся по степи многотысячная орда. На нѣсколько верстъ разбрелись табуны коней и верблюдовъ, щипля роскошную, никѣмъ не тронутую и не помятую зеленую траву, которая по теченію Самары, вслѣдствіе близости воды, была особенно роскошна. Гулъ и гамъ надъ степью стоялъ адекій: ревъ верблюдовъ, ржаніе лошадей, лай собакъ, крики и перебранка чередовыхъ пастуховъ, говоръ нѣсколькихъ тысячъ народа, пѣніе, дикое завываніе роговъ, дикая музыка разгулявшихся правовѣрныхъ— все это стономъ стояло въ воздухѣ и оглашало степь на много верстъ въ окрестности.

Вечерѣло. Разводились костры, дымъ отъ которыхъ сѣвернымъ вѣтеркомъ гнало за Самару. Бѣлѣлись и пестрѣли шатры, раскинутые тамъ, гдѣ имѣли свои ставки разные начальные люди и зажиточные.

Вдругъ со стороны степи послышались необычайные крики, ржаніе лошадей и ревъ черблюдовъ. Въ этомъ новомъ шумѣ и крикѣ слышалось что-то тревожное,—ясно, что тамъ произошло какое-то неожиданное смятеніе. Но отчего? какъ? Не казаки-же нападаютъ—казаки далеко, въ морѣ.

Смятеніе и крики усиливались. Испуганные чѣмъ-то лошади и верблюды неслись прямо на костры, на народъ, на шатры. Что-бы это было? Каждый вскакивалъ съ мѣста и не зналъ, что ему дѣлать, за что ухватиться, куда и зачѣмъ бѣжать. Взбѣсившіяся лошади топтали и гасили своими ногами костры, ржали и бились, опрокидывали шатры, людей, бросались въ Самару. За ними бѣжали пастухи, отчаянно крича что-то непонятное.

Но тутъ случилось нѣчто еще болѣе непонятное и болѣе страшное. За лошадьми и верблюдами неслись цѣлыя стада сайгаковъ, ревушіе туры, точно бѣшеные или кѣмъ-либо гонимые дикіе кабаны, лисицы, волки, зайцы. Это было что-то непостижимое, наводящее ужасъ. Все это несло въ татарскій станъ, все опрокидывало въ своемъ неудержимомъ стремленіи, бросалось въ Самару, ревѣло, стонало. Казалось, вся степь всколыхнулась, или небо обрушилось на землю, или адъ раскрылъ свои страшныя врата и выслалъ на землю всѣ свои разрушительныя силы.

Да—это адъ. Вонъ и пламя,—кровоавое зарево охватило половину го-

ризонта, всю сѣверную окраину неба. Теперь только поняли обезумѣвшіе отъ неожиданности и страха татары, что это такое. — Это горѣла степь. Огненное, безбрежное море шло прямо на нихъ.

— Алла! Алла! Алла!.. Аллахъ-керимъ! Аллахъ-керимъ!

Надо было спастись, уходить отъ волиъ этого огненного моря.

XVIII.

Въ одной изъ боковыхъ пристроекъ обширнаго замка князей Острожскихъ, въ небольшой обитой голубой матеріей комнатѣ, бѣлокуренькая, съ пепельными волосами, панна Людвися, стоя передъ большимъ зеркаломъ, совершаетъ свой туалетъ. Въ голубыхъ съ длинными рѣсницами глазахъ панны свѣтится что-то похожее на затаенную радость. Ей прислуживаетъ красивая, невысокаго роста, смуглая какъ цыганочка, съ сѣрыми задумчивыми глазами, „покоювка“ въ бѣлой, расшитой, заполочью сорочкѣ, голубой юбочкѣ и красныхъ съ подковками черевичкахъ.

— Что ты, Катруню, такая невеселая?—спрашиваетъ по-польски панна, вплетая въ косу нитки крупнаго жемчуга и глядя на отраженіе въ зеркалѣ своего оживленнаго лица и задумчиваго лица покоювки.

— Я ничего, панна,—ласково, тихо, съ затаеннымъ вздохомъ отвѣчаетъ дѣвушка также по-польски.

— Какъ ничего! Съ самой весны тебя узнать нельзя.

Дѣвушка молчала, опустивъ глаза на поднось, на которомъ лежали нити жемчуга, булавки и другія мелочи туалета панны.

— Тебя теперь и не слышно, — продолжала панна, — а прежде ты, бывало, постоянно распѣвала ваши хорошенькія хлопскія пѣсни.

— Не поется что-то,—попрежнему тихо отвѣчала покоювка.

— Вотъ еще!.. Хотя ваши хлопы и грязны, и воняютъ, а пѣсни ихъ очень миленькія.

— Панна называетъ хлоповъ вонючими—они не всѣ такіе,—немножко вспыхнувъ, возразила дѣвушка.

— Ну ужъ!.. А грязны они всегда.

— Какъ-же имъ не быть грязными, панна? Они всегда работаютъ.

— Работаютъ! вздоръ какой! Вонъ и я работаю, и ты работаешь, а мы же всегда чистенькія.

— У панны такая и работа — то шелкъ, то бисеръ, то канва; а у меня часто руки бываютъ грязны.

Панна отошла отъ зеркала, повернулась, глянула въ зеркало черезъ плечо и улыбнулась сама себѣ.

— А хорошо играетъ жемчугъ въ волосахъ, Катруню?—спросила она.

— Ахъ, какъ хорошо, панна!—отвѣчала покоювка.

Панна перекинула косу черезъ плечо и стала ее разсматривать.

— А что, панна, о казакахъ слышно? — немного покраснѣвъ, нерѣшительно спросила покоювка.

— О какихъ казакахъ?

— Да вотъ, что ушли въ море, изъ Запорожья.

— А, эти разбойники!

— Они, панна ласкава, не разбойники. Они за вѣру стоятъ, бѣдныхъ невольниковъ изъ турецкой неволи выручаютъ.

— То-то! А за нихъ мы, паньство, должны раздѣливаться съ турками и татарами. Вонъ и теперь, говоритъ дядя, татары напали на Украину, и гетманъ Жолкевскій собираетъ все наше рыцарство, чтобъ защищать матку Польску.

Потомъ, повернувшись къ покоюнкѣ и глядя ей въ смущенные глаза, панна лукаво прищурилась.

— А, плутовка! такъ я угадала... Ты объ какомъ-нибудь казакѣ то-скуешь?—а?

Покоюнка вся вспыхнула и молчала.

— А! объ какомъ-нибудь усатомъ и чубатомъ великанѣ! А, хитрячка!

Покоюнка силилась непринужденно улыбнуться...

— Говорять, они Кафу взяли, панна ласкава.

— Ого!

— И Козловъ... и еще какой-то городъ...

— Такъ и твой тамъ?—лукаво улыбнулась панна.

Покоюнка не отвѣчала. Панна, наконецъ, справилась съ своей косой.

— А онъ такой-же грязный, какъ и всѣ хлопцы?

Покоюнка опять не отвѣчала. Она старалась перемѣнить разговоръ.

— А какое сегодня къ обѣду платье панна надѣнетъ?—спросила она.

— Палевое съ кружевами,—былъ отвѣтъ.

При этомъ отвѣтѣ покоюнка въ свою очередь улыбнулась.

— Въ палевомъ панна такъ понравилась пану господаричу,—лукаво сказала она.

Пришлось самой паннѣ вспыхнуть.

— Какому господаричу?

— Да вонъ тому красивому черноволосому паничу—пану Могилѣ.

— А!—а ты почему это знаешь.

— Я сама слышала, какъ онъ говорилъ пану Замойскому, что панна въ палевомъ—настоящая Мадонна.

— Ну ужъ!

— Вотъ ей-же Богу! Такъ и сказалъ—Мадонна.

— Да ты не знаешь, что такое Мадонна.

— Нѣтъ, панна ласкава, знаю — вонъ въ кабинетѣ у ясновельможнаго князя...

— Такъ я похожа на нее?

— Нѣтъ... панна красивѣе...

— Ну ужъ!

Вечеромъ того-же дня замокъ князей Острожскихъ горѣлъ огнями. На террасѣ, закрытая зеленью, играла музыка, при чемъ особенно давали себя

знать духовые инструменты, словно-бы въ замкѣ шла охота по крупному звѣрю, а блестящее, раззолоченное панство подъ звуки краковяка и мазура травило прелестныхъ лисичекъ въ образѣ очаровательныхъ полекъ, литвинокъ и нобилитованныхъ украинокъ. Князь Янушъ давалъ роскошный балъ герою „вавилонскаго плѣненія“ московскихъ царей, славному гетману Станиславу Жолкевскому, и потому въ Острогъ съѣхалось самое блестящее панство со всей Польши, Литвы и Украины. Въ то время когда одна часть гостей занята была танцами, другая, уже оттанцовавшая, прохлаждалась и отдыхала на чистомъ воздухѣ, въ роскошныхъ аллеяхъ замковаго парка, казавшагося волшебнымъ отъ разноцвѣтныхъ огней, обливавшихъ фантастическимъ свѣтомъ открытыя аллеи парка и погружавшихъ въ полный мракъ его уединенные, уютные уголки.

Среди воя и визга музыки, въ паркѣ слышался громкій и сдержанный говоръ, смѣхъ, иногда таинственный шепотъ прекрасныхъ парочекъ, мелькавшихъ по аллеямъ парка или укрывавшихся отъ несноснаго свѣта въ тѣни каштановъ, липъ и высокихъ тополей. И темное небо при этомъ освѣщеніи, и зелень съ ея яркими бликами, полутѣнями и полнымъ мракомъ, и сверкающіе всѣми цвѣтами радуги и таинственно журчащіе фонтаны, и веселые, подмывающіе звуки музыки, и самое это освѣщеніе, и замокъ съ его стѣнами—все это казалось волшебнымъ, чарующимъ.

Такое впечатлѣніе, повидимому, производилъ этотъ волшебный вечеръ на одну парочку, уединившуюся въ дальней аллеѣ и сидѣвшую на скамьѣ подъ вѣтвями роскошнаго каштана. Они молчали и, казалось, прислушивались не то къ веселой музыкѣ, не то къ своимъ, можетъ быть не совсемъ веселымъ, но для нихъ чарующимъ мыслямъ.

— Я думаю, какъ панъ веселился въ Парижѣ,—прервалъ это молчаніе тихій, какъ бы робкій голосъ панны Людвиги.

— Панна напрасно такъ думаетъ,—также тихо и задумчиво отвѣчалъ мужской голосъ.

— Почему-же такъ?

— Паннѣ извѣстно, что я въ Парижѣ учился, и...

Фраза не была договорена, и мужской голосъ смолкъ: его заглушили стройные, сильные, подмывающіе звуки мазура.

— И?—подсказала панна:—панъ не досказалъ.

— И... тосковалъ по моей несчастной родинѣ,—со вздохомъ отвѣчалъ мужской голосъ.

— По какой?—по Польшѣ.

— Нѣтъ... Панна знаетъ, что Польша не несчастна.

— Такъ по Влоцизнѣ?

— Да... Она мнѣ дорога, какъ родина.

— И какъ наслѣдіе отцовъ... Вѣдь пану должна принадлежать валашская корона?

— Должна... Но панна знаетъ, что она не принадлежитъ мнѣ:—корона господарей валашскихъ упала съ головы Могилы...

— Такъ панъ ее подниметь и надѣнетъ на свою голову.

— Да... надѣну—или корону, или... клобукъ монаха.

Мужской голосъ выговорилъ это съ дрожью и смолкъ.

— Почему-же клобукъ монаха? — съ такою-же дрожью прошептала женскій голосъ.

— Потому что у меня ничего не остается въ жизни.

— А самая жизнь? Въ ней такъ много прекраснаго.

— Да, когда это прекрасное принадлежитъ намъ... Но когда оно не наше—такъ Богъ съ ней и съ жизнью!

Слова эти были сказаны съ ѣдкой горечью: въ нихъ слышались слезы.

— Я не понимаю пана, — еще тише проговорилъ женскій голосъ.

— И панна желаетъ понять?

— Желаю.

— И простить мнѣ то, что я невольно долженъ высказать?

— Что-же это? что панъ выскажетъ?—еще болѣе дрогнувъ женскій шепотъ.

— Панна!—съ пламеннымъ порывомъ и съ прежнею горечью зазвучалъ мужской голосъ:—все, что есть прекраснаго для меня въ этой жизни, все мое счастье, всѣ мои надежды—все это олицетворили для меня вы, одна вы, божественная панна!

— Ахъ!—не то съ испугомъ, не то съ радостнымъ трепетомъ вскрикнула панна Людвигъ и встала.

Всталъ порывисто и молодой Могила—это былъ знаменитый впоследствии кievскій митрополитъ Петръ Могила.

— Панна, простите меня! — съ тѣмъ-же порывомъ проговорилъ онъ:—простите мое безуміе... Я не хотѣлъ оскорбить васъ... Если я выговорилъ вамъ мое дерзкое признаніе, то это — мой вопль, вопль души моей, моя молитва... а молитва и Бога не оскорбляетъ...

Панна Людвигъ молчала. Бѣлая роза, которую она держала въ рукѣ, дрожала.

— Простите!—еще съ большей силой выговорилъ Могила.

Панна продолжала молчать. Могила взялъ ее за руку.

— Скажите хоть одно слово—слово прощенія,—умолялъ онъ.

— Я... панъ не обидѣлъ меня... я... я не знаю... у пана...—безсвязно бормотала дѣвушка.

— Такъ панна прощаетъ меня?... да?

— Да... да... панъ такъ добръ...

Могила припалъ въ рукамъ дѣвушки и горячо цѣловалъ ихъ... Людвигъ почувствовала, какъ его слезы закапали ей на ладони, которыя онъ цѣловалъ... Она чувствовала, что онъ рыдаетъ...

— Что съ паномъ? Езусъ Марія! Что съ вами?

— О! я хочу смерти... смерти! вотъ тутъ же, сейчасъ!

Онъ обнявъ дѣвушку и въ страстномъ порывѣ припалъ лицомъ къ ея плечу. Людвигъ растерялась, задрожала вся и, обхвативъ руками его голову, стала цѣловать ее...

— Мой панъ! мой добрый!.. Что съ вами!

— Я не хочу жить... я не могу такъ жить... убейте меня сейчасъ, вотъ тутъ, въ вашихъ объятіяхъ!

— Панъ мой... добрый... милый... я не хочу васъ убивать...

— Но вы не знаете всего!—со стономъ вскрикнулъ онъ.

— Чего же, мой панъ милый?

Онъ, казалось, нѣсколько опомнился, взявъ ее опять за руки и, глядя заплаканными глазами въ ея свѣтлые глаза, которые тоже искрились слезами, тихо подвелъ къ скамейкѣ...

А тамъ, въ концѣ аллен, эта несносная музыка словно бы на зло гудѣла и трещала, какъ бы издѣваясь надъ человѣческимъ горемъ.

— Выслушайте меня, дорогая панна,—опять тихо заговорилъ Могила.— Я бы не долженъ говорить вамъ это, не долженъ бы смущать покой вашей невинной души, вашихъ чистыхъ помысловъ... Но, видите Богъ, я не могу, не могу, да и не смѣю унести съ собой въ могилу мою тайну, которая въ то же время и ваша...

— Въ могилу, панъ?—испуганно спросила дѣвушка.

— Въ могилу, дорогая панна... Я... я умираю для васъ, и, можетъ быть, скоро татарское копье пронзитъ сердце, которое билось только для васъ... Я люблю васъ!

Дѣвушка ничего не отвѣчала, только краска залила ея лицо, по которому текли слезы...

— Я люблю васъ больше моей жизни,—продолжалъ Могила со слезами въ голосъ:—люблю больше вѣчнаго спасенія... но... но вы не можете быть моею...

Дѣвушка испуганно подняла глаза; румянецъ щекъ смѣнился блѣдностью.

— Я говорилъ сегодня съ вашимъ опекуномъ и дядей, съ княземъ Янушемъ: я просилъ у него вашей руки, просилъ позволенія поговорить съ вами, чтобы узнать ваши чувства ко мнѣ и отъ васъ самихъ узнать свою судьбу... Но князь Янушъ разбилъ всѣ мои мечты, разбилъ мое сердце... Онъ отказалъ мнѣ!

Теперь румянецъ снова залилъ щеки панны и прекрасные глаза ея брызнули свѣтомъ.

— Дядя? князь Янушъ?.. А кто далъ право князю Янушу располагать моимъ сердцемъ и моею судьбою, какъ судьбою своихъ хлоповъ!—гордо проговорила молодая дѣвушка:—я вольная полька!

Могила припалъ губами къ рукамъ панны.

— Панна! счастье мое!—шепталъ онъ страстно:—но князь Янушъ говорить, что не онъ этого не позволить, а самъ святой отецъ, папа.

— А какое дѣло, панъ, святому отцу до моего счастья?—все также гордо спросила гордая полька.

— Я для васъ схизматикъ, дорогая панна... Я—православный.

— А развѣ панъ не можетъ принять католичество?

— Не могу, дорогая панна.

— Даже ради меня, панъ?—дрогнувъ у дѣвушки голосъ.

— Даже ради панны...

Дѣвушка гордо выпрямилась. Румянецъ нѣ то негодованія, не то стыда опять покрылъ ея щеки.

— Такъ панъ говорить неправду,—рѣзко сказала она.

— Какую неправду, дорогая панна?

— Панъ сейчасъ сказалъ, что любить меня больше вѣчнаго спасенія...

— Да... да... я сказалъ это—и повторю...

— И не хочетъ перемѣнить свою хлопскую, схизматицкую вѣру на истинную, шляхетскую?

— О, панна! вы терзаете мое сердце.

— Не я терзаю, а пану такъ угодно.

— Нѣтъ, нѣтъ! О, Боже мой!

Могила хотѣлъ снова схватить руки дѣвушки, но она отстранилась.

— Я ради панны, ради тебя, божество мое, не могу этого сдѣлать!—порывисто вскрикнулъ Могила.

— Какъ ради меня? Я не понимаю пана.

— Да, да! только ради васъ?

— Панъ въ Парижѣ разучился говорить,—пожала плечами панна.

— О, панна! поймите меня: если я перемѣню вѣру моихъ отцовъ, я потеряю право на корону моей страны—и панна потеряетъ это право!

— Корону! О, всѣ короны міра не стоятъ моего личнаго счастья!

И гордая панна, быстро, не оборачиваясь, обмахивая разгорѣвшееся лицо вѣеромъ, пошла прямо къ замку, откуда неслись задорные, подымающіе звуки мазура. Могила стоялъ блѣдный, провожая глазами удалявшуюся красавицу.

Когда она вошла въ ярко освѣщенную залу, старый гетманъ, „великій“ Жолкевскій, увидавъ панну еще издали, какъ подобаетъ истому люляку, „закрендивъ вонса“ и звеня „острогами“, пошелъ прямо къ ней навстрѣчу.

— Могу просить очаровательную панну на мазура?—шаркая ногами и церемоннѣйше раскланиваясь, нѣсколько прошамкалъ беззубый герой.

— Благодарю за честь пана гетмана,—отвѣчала панна, присѣдая.

Старый гетманъ, согнувъ руку, не особенно свободно двигая по паркету поджаристыми ногами, сталъ выдѣлывать этими ногами всевозможныя глупости, называемыя фигурами. Зато хорошенькая и граціозная панна выдѣлывала эти глупости очаровательно, и у нея онѣ даже не выходили глупостями, а чѣмъ-то очень милымъ...

— Панна танцуетъ какъ ангелъ,—любезничалъ старый гетманъ, путая фигуры.

— А панъ гетманъ былъ на балу у пана Бога?—усмѣхнулась Людвися.

— О! да прекрасная панна такъ же остроумна, какъ и очарова-

тельна, — изловчался старый побѣдитель Наливайка, еще болѣе путая фигуры.

— А панъ гетманъ столь же непобѣдимъ на полѣ чести, сколько слабъ на паркетѣ, — снова отшутилась красавица, сверкнувъ на старика своими прекрасными глазами.

— А это оттого, прелестная панна, — забормоталъ совсѣмъ очарованный старикъ, — что на полѣ чести я не вижу такихъ божественныхъ глазокъ, а то я и тамъ былъ бы такъ же слабъ, какъ на паркетѣ.

— Я слышала, что панъ гетманъ опять ведетъ свои побѣдоносныя войска на враговъ нашей дорогой отчизны, — заговорила панна серьезно.

— Да, прекрасная панна, я долженъ идти поневолѣ.

— Почему же поневолѣ?

— Я бы желалъ отчизнѣ покоя...

— Кто-жъ его нарушаетъ?

— Да все эти лотры оборванные — казаки.

— А, можетъ, панъ, они и дѣлаютъ это потому, что они — оборванные.

— Нѣтъ, прекрасная панна, они по натурѣ хищники.

— А что объ нихъ слышно теперь?

— Да слухи нехорошіе: они насъ совсѣмъ разсорять съ султаномъ.

— А какъ панъ гетманъ думаетъ — они благополучно вернутся изъ похода?

— А почему это такъ интересуешь прекрасную панну?

— Не меня, панъ гетманъ, — улыбнулась Людвися, — а мою покоювку.

— Не знаю... Крымцы вонъ уже нагрянули на Украинну... Я боюсь, что они нагрянутъ и на земли короны польской.

Въ это время къ танцующимъ торопливо приблизился молодой кривой панъ и почтительно вытянулся.

— Что скажетъ панъ поручникъ? — нехотя спросилъ Жолкевскій.

— Тревожныя вѣсти, ясневельможный пане гетмане, — тихо отвѣчалъ молодой поручикъ.

— Тревожнымъ вѣстямъ нѣтъ мѣста здѣсь, на паркетѣ, — отрѣзалъ старый гетманъ.

— Гонецъ прискакалъ...

— Пусть ждетъ конца мазура, — осадилъ его гетманъ и продолжалъ танцовать, пыхтя и задыхаясь.

А въ сторонѣ, у колонны, стоялъ Могила, блѣдный и хмурый. Онъ никакъ не могъ отвязаться отъ мысли, которая какъ червь точила его мозгъ: „почему я долженъ пережѣнить вѣру, а не она? Почему моя вѣра хлопская?..“

XIX.

Могила былъ по рожденію молдаванинъ. Что-то римское, классическое было и въ его наружности, и въ характерѣ. Хотя онъ былъ еще очень молодъ—около двадцати лѣтъ отъ роду—однако въ немъ уже обнаруживались задатки будущаго великаго человѣка.

Прошедшее его рода покрыто было славою и знатностью. Дядя его, Іеремія, былъ господаремъ молдавскимъ, а когда маленькому Петронелло,—такъ звали будущаго митрополита Петра Могилу,—было не болѣе шести лѣтъ, отецъ его Симеонъ вступилъ на престолъ валахскій.

Все улыбалось въ будущемъ маленькому, черноглазому, смуглому и задумчивому Петронелло. Семья его вступала въ родство съ знатнѣйшими польскими магнатами—съ князьями Вишневцами, Борецкими и Потоцкими, потому что черноглазая и большеносая сестричка его, по типу истыя римлянки, очаровали собой этихъ вельможныхъ пановъ и осчастливили собою ихъ дома.

Когда серьезному не по лѣтамъ Петронелло исполнилось четырнадцать-пятнадцать лѣтъ, онъ уже былъ наслѣдникомъ престола Молдавіи и Валахій.

Надо было подумать о болѣе широкомъ образованіи будущаго господаря—и Петронелло отправили въ Парижъ для изученія премудрости эллинской, римской и новѣйшей европейской. Молодой Могила оказалъ блистательныя способности, и успѣхи его въ наукахъ превзошли всякія ожиданія.

Но и среди парижскаго шума, среди блеска, среди золотой польской молодежи, тоже учившейся въ Парижѣ и набравшейся тамъ европейскаго лоску, Могила оставался все тѣмъ-же задумчивымъ, сосредоточеннымъ въ себѣ, тихимъ и скромнымъ Петронелло. Когда его сверстники и почти земляки, польскіе юные магнатики, прожигали молодыя силы въ обществѣ ловкихъ парижанокъ, нелюдимъ Могила, въ свободное отъ ученія время, бродилъ по окрестностямъ Парижа, по полямъ и лѣсамъ, любуясь роскошью полей, зеленью рощъ и прислушиваясь къ разнообразному, чарующему говору природы.

Въ этомъ нѣмомъ созерцаніи поэтической жизни природы мысль его уносилась къ далекой родинѣ, къ другимъ, болѣе дикимъ и дѣвственнымъ и потому-то дорогимъ ему картинамъ природы и жизни, блуждала по мрачнымъ и величественнымъ горамъ и по необозримымъ степямъ родины, по берегамъ величественнаго, синяго Дуная и извилистаго Прута. Онъ мечталъ сдѣлать эту милую родину счастливою и могущественною. Въ союзѣ съ Польшей и Украиной она станетъ, думалъ молодой мечтатель, охраномъ и оплотомъ христіанскаго міра отъ всепоглощающихъ волнъ мусульманскаго моря, которое все болѣе и болѣе надвигалось на Европу.

Но молодымъ мечтамъ его не суждено было осуществиться: ему не пришлось видѣть не только короны своей родной земли на мечтательной, черноволосою головѣ своей, но и самой родной земли... Могилы потеряли престолъ Молдаво-Валахін—и юнаго изгнанника изъ отчины, мечтательнаго „господарича“ пріютила гостепріимная Польша.

Ученый мечтатель поступилъ въ ряды польскихъ воиновъ, подъ начальство славнаго гетмана Жолкевскаго.

Но ни военная слава, ни польская жизнь не удовлетворяли требованіямъ молодого мечтателя. „Не война—призваніе человѣка, думалъ онъ,—не мечомъ пріобрѣтается человѣческое счастье“.

Не возбуждала въ немъ симпатіи и другая сторона польской жизни—аристократизмъ. Въ іезуитахъ и ксендзахъ онъ видѣлъ не послѣдователей Христа, а тѣхъ же неискреннихъ пановъ, у которыхъ военные достѣхи только прикрывались рясою.

Онъ думалъ было остановиться на лютеранствѣ; но оно, казалось ему, изушило духъ христіанства; въ немъ не было поэзіи. И онъ предпочелъ православіе, въ которомъ взлелѣлось его золотое дѣтство.

Въ этотъ періодъ душевнаго разлада и борьбы съ самимъ собой онъ встрѣтилъ существо, которое очаровало его своею невинной, цѣломудренной красотой. Это была панна Людвися, племянница князя Острожскаго. Молодой мечтатель видѣлъ въ ней идеалъ чистоты и непорочности. И онъ полюбилъ эту чистоту всѣми силами своего могучаго духа. И дѣвушка полюбила этого задумчиваго „изгнанника“, въ глубокихъ, кроткихъ глазахъ котораго ей видѣлось что-то такое, чего не видѣла она ни у кого изъ всѣхъ, кого знала на свѣтѣ.

Но когда они признались другъ другу въ любви, то увидѣли, что ихъ раздѣляетъ пропасть. Могила только теперь поняла, какая пропасть отдѣляетъ Польшу отъ его родины, которую онъ потерялъ, и отъ Украины, которая стала его второю родиною. Дѣвушка, которую онъ любилъ всѣми силами души и которая его любила—эта дѣвушка вдругъ говорить ему, что его вѣра—„хлопская“...

„Хлопская“... Нѣтъ, она не должна быть „хлопскою“!.. Она должна быть такою-же высокою и могучею, какъ та, которою гордится эта гордая красавица...

И Могила сталъ чаще и чаще задумываться надъ „хлопскою“ вѣрою. Онъ сталъ изучать ее, поставивъ это изученіе цѣлью всей своей жизни. Онъ сталъ изучать и ея—„панскую“ вѣру—и все думалъ, думалъ думалъ надъ истинами той и другой...

И въ концѣ концовъ онъ надумалъ то великое, выполнить которое была способна только его великая душа. И онъ выполнилъ его: онъ далъ презираемымъ панамъ хлопамъ науку, и хлопы до основанія потрясли то зданіе, подъ свѣнію котораго процвѣтала „панская“ вѣра и панская неправда.

Но послѣ панны Людвисы онъ уже никого не любилъ: свое горячее

сердце онъ спряталъ подъ монашескою рясою, и никто не слыхалъ, какъ и чѣмъ оно тамъ билось, страдало и радовалось.

На другой день послѣ бала Могила уѣхалъ въ Кіевъ, а изъ Кіева— въ лубенское имѣніе князя Михаила Вишневецкаго, который былъ женатъ на двоюродной сестрѣ Могила—на Раинѣ.

Но ни князя Михаила, ни княгини Раины тогда уже не было въ живыхъ. Всѣми несмѣтными богатствами и безчисленными имѣніями князей Корибутовъ-Вишневецкихъ на Волыни, въ Подоліи, въ Галичинѣ, Литвѣ и лѣвобережной Украинѣ владѣлъ молодой ихъ сынъ, князь Іеремія Вишневецкій. Онъ недавно женился на хорошенькой паннѣ Гризельдѣ, изъ знатнаго и богатаго рода Замойскихъ, и теперь, справляя медовые мѣсяцы и возя свою молоденькую жену по своимъ безчисленнымъ имѣніямъ, временно отдыхалъ и забавлялся охотою въ своихъ украинскихъ „маенткахъ“, именно—въ роскошномъ своемъ замкѣ подъ Лубнами.

Съ глубокою тоскою въ душѣ ѣхалъ Могила къ своему знатному родственнику, чтобъ хоть въ дальнихъ, еще невиданныхъ имъ краяхъ лѣвобережья размыкать тоску, отогнать отъ себя милый образъ, который сталъ теперь для него источникомъ невыразимыхъ страданій.

Какая скучная дорога! Какъ унылы эта зелень, этотъ лѣсъ, это небо и это облачко, тиходвигающееся по небу туда, туда—къ Острогу... Вспоминаетъ-ли она о немъ?... Нѣтъ, она танцуетъ и смѣется съ старымъ Жолковскимъ, болтаетъ съ молодымъ Замойскимъ, слушаетъ любезности князя Корецкаго, а о немъ—забыла...

А недавно еще цѣловала въ голову и плакала—„мой панъ“ говорила... И будетъ это-же говорить другому, а онъ все будетъ думать о ней, ее одну помнить, ее одну любить...

А въ душѣ все звенитъ эта музыка, которая тогда играла, когда онъ плакалъ у нея на плетѣ...

— Назадъ!—крикнулъ онъ своему возницѣ, который, натянувъ возжи, сдерживалъ лихую, взмыленную четверку коней, несшихъ грузную коляску ровнымъ лубенскимъ полемъ.

Возница дрогнувъ и обернулъ свое усатое и загорѣлое лицо.

— Что панъ волить?—недоумѣвающе спросилъ онъ.

— Ничего, это я спросонокъ,—досадливо отвѣчалъ Могила.

Вдали, на горѣ, изъ-за темнаго, освѣщеннаго заходящимъ солнцемъ лѣса, выглянули вершины башенъ.

— То замокъ князя Вишневецкаго?

— Замокъ и есть, пане,—былъ отвѣтъ.

Дорога пошла въ гору, гладкая, укатанная, широкая, окаймленная высокими, стройными тополями, которые сторожили ее словно часовые. Золотые лучи солнца играли на зелени тополей, отъ которыхъ вдоль дорои ложились длинныя, косыя тѣни. Между тонкими стволами кое-гдѣ видѣлись женщины и дѣти, возвращавшіяся изъ замка, и кланялись незнакомому „чорнявому“ пану, сидѣвшему въ богатой коляскѣ. Лошади,

чую близость стояла, весело фыркали и все усерднѣе забирали въ гору.

Скоро показались темныя крыши замка, мрачныя стѣны, ряды колоннъ, поддерживающихъ балконы. Окна горѣли заходящими лучами солнца, какъ будто въ замкѣ зажжены были всѣ свѣчи и канделябры. Мрачность замковыхъ стѣнъ еще болѣе увеличивали каменные устои, на которые какъ-бы опирались основанія стѣнъ и которые, казалось, были изъѣдены и источены временемъ. Видно было, что не мало вѣковъ прошло по этимъ стѣнамъ и ихъ каменнымъ устоямъ.

Внутренній фасадъ замка, обращенный къ Сулѣ, выходилъ въ паркъ, раскинутый по берегу этой красивой рѣки. Изъ замка въ паркъ выходъ былъ крытою галлереею, словно повисшею надъ кручею, а изъ галлерей внизъ вели двѣ каменные лѣстницы, уставленныя тропическими растеніями и прекрасными мраморными статуями. Отсюда открывался великолѣпный видъ на Засулье и на широкія украинскія степи, далеко-далеко сливавшіяся съ горизонтомъ.

Много хлонскихъ и всякихъ другихъ рукъ и головъ поработало надъ паркомъ. Огромные, нагроможденные другъ на дружку камни изображали собою искусственныя скалы, и подъ этими титаническими сооружениями чернѣлись искусственные гроты, повитые плющемъ и всякою ползучею зеленью. Съ другихъ скалъ низвергались водопады, блестя на сѣрыхъ камняхъ и обдавая водяною пылью роскошныя клумбы всевозможныхъ цвѣтовъ. Въ другихъ мѣстахъ били фонтаны... Вся вода, какая только была въ окрестностяхъ замка, была собрана въ разные резервуары, и подземными, а подчасъ и висячими трубами проведена въ паркъ и превращена въ шумныя каскады и прелестныя фонтаны.

Ниже замка, по направленію къ Лубнамъ, тянулись внѣ-замковыя постройки, длинныя, въ нѣсколько рядовъ „курени“ — казармы на три-тысячи „грошевого“ и „кварцнаго“, а также дворцового войска, которое оберегало сонъ вельможнаго пана, а подчасъ служило его панскимъ потѣхамъ—набѣгамъ на провинившихся сосѣдей. Тамъ-же раскинулся цѣлый кварталъ разныхъ „официнъ“—построекъ для прїѣзжей или постоянно прихлебающей мелкой шляхты и для всей оравы дворской челяди. Въ сторонѣ отъ всего этого, окруженный лѣсомъ, стоялъ особый палацъ—собачій: это была княжеская царня, съ особыми отдѣленіями для всевозможныхъ породъ собакъ, изъ коихъ многія, за выслугою лѣтъ, получали пожизненныя пенсіи и аренды, а другія обучались въ этомъ собачьемъ университетѣ, слушая лекціи опытныхъ собачьихъ профессоровъ—доѣзжачихъ, псарей, „довудцевъ“, „дозорцевъ“ и многихъ собачьяго ранга людей.

Когда коляска Могилы, гремя колесами по плотно утрамбованому плотну двора, подкатила къ главному крыльцу и лакеи доложили о прїѣздѣ высокаго гостя, князь Іеремія, какъ привѣтливый хозяинъ и знатокъ обычаевъ высшаго панскаго круга, самъ вышелъ на крыльцо среди цѣлой шеренги челяди и парадныхъ гайдуковъ. Это былъ молодой, сухощавый,

высокаго роста человѣкъ, привѣтливая улыбка котораго совершенно не гармонировала съ сѣрыми, точно оловянными глазами, повидимому, никогда не свѣтившимися ни радостью, ни жалостью. Острая рыжая борода окаймляла его острый, точно лисій подбородокъ, а надъ высокімъ, бѣлымъ лбомъ торчалъ рыжій клокъ, какъ-бы говоря о непреклонномъ упрямствѣ головы, надъ которою онъ выросъ. Въ выраженіи лица князя, несмотря на всю его изысканную вѣжливость, видѣлась какая-то усталость, словно-бы ему въ жизни, и уже очень давно, все приглядѣлось, все надоѣло и не представляло ничего новаго и интереснаго: ни люди, ни богатство, ни добро, ни подлость, ни природа—ничто не могло заставить забыть его сердце, блеснуть теплотою его оловянные глаза, умилиться, обрадоваться или опечалиться.

На князѣ былъ богатый „алтебасовый“ кунтушъ съ серебряными пуговицами и безчисленнымъ множествомъ чудно переплетенныхъ шнурковъ, подпоясанный широкимъ гранатоваго цвѣта поясомъ. На ногахъ желтые „буты“ съ серебряными подковками и такими же „острогами“—шпорами. На боку позвякивала „карабеля“, усыпанная по золотой и серебряной оправѣ драгоценными камнями.

— Безконечно радъ дорогому гостю... цѣню великую честь,—разсыпался ловкій хозяинъ.

— Благодарю княжескую милость... много чести,—торопливо отвѣчалъ смущенный Могила.

— Панъ изъ Острога?

— Изъ Острога, князь.

Они вступили въ обширную пріемную, полъ которой устланъ былъ свѣже-скошенной травой и полевыми цвѣтами, а по стѣнамъ, и особенно въ углахъ, на пунсовыхъ горкахъ, блестѣли груды серебра и золота въ старинной посудѣ, рогахъ и кубкахъ.

— Что новаго въ Острогѣ слышалъ панъ?

— Панъ гетманъ собирается въ походъ.

— Да, пора... Поганцы уже жгутъ Украину, а козацтво все выбралось въ море, разбойничаетъ...

По знаку явившагося маршалка, лакеи принесли серебряное блюдо съ умывальникомъ и гость совершилъ обрядъ омовенія рукъ, который строго соблюдался въ польскомъ обществѣ.

— Прошу пана къ княгинѣ—она съ гостями на галлерей...

— Очень радъ видѣть прекрасную княгиню.

— И она вамъ будетъ несказанно рада...

Хозяинъ повелъ гостя черезъ внутренніе покои замка, и они вскорѣ вышли на галлерею, съ которой открывался прелестный видъ на раскинутый внизу паркъ, на Засулье и на степи.

При видѣ молодого Могила, княгиня Гризельда и другіе гости шумно привѣтствовали его. Тутъ были и князя Четвертинскіе, и Сангушки, и Кисели, и другая лѣвобережная и правобережная польская знать.

Княгиня Гризельда была еще совѣтъ молоденькое существо, съ круглыми, розовыми щеками, съ ямочкой на пухломъ подбородкѣ, маленькимъ носикомъ и игривыми черными глазами подъ тонкими, дугобразными и такими же черными бровями.

— Что Людвися? все такая же хорошенькая? — спросила молодая хозяйка послѣ первыхъ привѣстій.

Могила невольно опустила глаза; щеки его вспыхнули.

— Да, княгиня,—пробормоталъ онъ.

— А панъ не забылъ охоту по первой порошѣ? — продолжала хозяйка.

— О какой охотѣ княгиня изволятъ говорить?—спросилъ Могила.

— А вынѣшней зимой, въ Острогѣ, по первой порошѣ...

— Не помню, княгиня.

— О, коварный! И лисичку забыли?

— Какую лисичку, княгиня?

— О, какой же панъ! забылъ лисичку!.. Припомните, какъ лисичка выскочила изъ кустовъ, а вы за лисичкой, а за вами на ворономъ конѣ панна Людвися... И, кажется, тамъ за лѣсомъ гдѣ-то панъ поймалъ лисичку съ пепельными волосами — вы и панна Людвися воротились такіе красные...

Могила и теперь сидѣлъ весь пунсовый.

— Ахъ, если-бы скорѣй зима, скорѣй пороша—какъ хорошо было бы поохотиться по первому снѣгу!—продолжала болтать княгиня.

— Такъ ты желала-бы снѣга?—вдругъ спросилъ ее князь Іеремія.

— Ахъ, какъ желала бы!.. Снѣгъ, бѣлыя деревья — какъ это очаровательно.

— Лѣтомъ княгиня желаетъ снѣга, а зимой пожелаетъ зелени — это въ порядкѣ вещей,—улыбаясь замѣтилъ панъ Кисель.

— Конечно, всегда хочется того, чего нѣтъ,—отвѣчала избалованная княгиня.

— Такъ княгиня желаетъ себѣ старости?—улыбнулся Кисель.

— Нѣтъ, только снѣга...

— Такъ снѣгъ завтра будетъ,—громко сказалъ хозяинъ: — панове! завтра прошу васъ раздѣлить со мною охоту по первой порошѣ.

— Охотно! охотно!—загремѣли гости.

Князь Іеремія многозначительно взглянулъ на жену, на гостей и, улыбаясь, сказалъ:

— Прошу извинить, панове: я отлучусь на минуту, чтобы сдѣлать распоряженіе на завтрашній день.

И онъ, поклонившись гостямъ, торжественно вышелъ, покручивая правый усъ.

XX.

Когда, на другой день утромъ, совершивъ, при помощи полудюжины покоювокъ, свой роскошный туалетъ, княгиня, вся сияющая молодостью и красотой, вышла на галерею, она поражена была необыкновеннымъ зрѣлищемъ.

Изъ-за роскошной зелени плюща, дикаго винограда и другихъ ползучихъ растений, которыя непроницаемою стѣною защищали галерею отъ лучей солнца, она вдругъ увидала за Сулою... не сонъ-ли это? не грезить-ли она послѣ вчерашняго разговора?... она увидала снѣгъ!—цѣлую снѣжную равнину, сверкавшую на солнцѣ первымъ, чистымъ, яркимъ и блестящимъ зимнимъ покровомъ... И кусты на полянѣ, и высокая трава, и деревья въ рошѣ—все сверкало первымъ дѣвственнымъ снѣгомъ; отъ всей засульской равнины, казалось, вѣяло чуднымъ, волшебнымъ холодомъ, настоящею зимою, тогда какъ здѣсь, кругомъ, цвѣло самое роскошное украинское лѣто...

— Езусъ—Марія!... что это! въ самомъ дѣлѣ снѣгъ!—вскричала княгиня.

Выходили на галерею вчерашніе гости и, вмѣсто привѣтствія хозяйкѣ, вмѣсто пожеланія ей добраго дня, останавливались въ нѣмомъ изумленіи и какъ бы въ испугѣ. Одни только лакеи, стоявшіе навытяжку у дверей и вдоль стѣны, скромно, почтительно улыбались.

— Да это сонъ!—воскликнулъ долгоногій князь Четвертинскій, протирая глаза.

— Это волшебство, панове! чары! Княгиня волшебница, фея!—изумлялся не то притворно, не то искренно, кругленькій панъ Кисель.

— Мы живемъ въ вѣкъ чудесъ!

— А какъ солнце сверкаетъ въ снѣжинкахъ!

— Да это изъ „тысячи-одной ночи“!

Дѣйствительно, предшествовавшая этому дню ночь была поистинѣ выхвачена изъ „тысячи и одной ночи“. Въ началѣ вечера, наканунѣ, князь Іеремія, оставивъ своихъ гостей, пришелъ въ свою главную вотчинную контору и приказалъ позвать къ себѣ всѣхъ главныхъ управителей по завѣдыванію имѣніями и принадлежавшими ему на этой сторонѣ Днѣпра городами, а равно начальниковъ „кварцинаго“, „грошеваго“ и дворцоваго войска. Онъ отдалъ имъ слѣдующій приказъ: тотчасъ-же взять изъ замковыхъ магазиновъ соль, которой у него запасено было нѣсколько сотъ-тысячъ пудовъ, и кромѣ того скакать немедленно въ Лубны, закупить на наличныя деньги, не жалѣя ничего и не взирая на цѣны, всю имѣющуюся въ городѣ соль, какъ въ городскихъ магазинахъ, такъ и у частныхъ обывателей, а если попадутся чумацкіе обозы съ солью—то ихъ всѣ скупить и везти всю эту соль за Сулу, на равнину, и при помощи всего войска,

а также всѣхъ окрестныхъ холоповъ и лубенскихъ обывателей, засыпать этою солью всю равнину отъ берега Сулы до лѣса и по обѣимъ сторонамъ, вправо и влѣво, сколько можно изъ замка глазомъ окинуть; потомъ точно также, взявъ изъ замковыхъ и изъ городскихъ магазиновъ всю молотую пшеничную муку, съ помощью садовыхъ складочныхъ лѣстницъ, служащихъ для собиранія плодовъ съ высокихъ деревьевъ, — обсыпать этою мукою всѣ листья на деревьяхъ въ той рощѣ за Сулою, которая видна изъ замка, а равно посыпать мукою и весь мелкій, видимый изъ замка кустарникъ.

И вотъ закопошились тысячи народа—войска и хлопы—чтобъ втеченіе ночи исполнить этотъ грандіозно-безумный планъ безумнаго родителя будущаго безумнаго короля польскаго, Михаила Вишневецкаго.

Мало того—княземъ отданъ былъ приказъ, что когда весь планъ посыпки равнины и лѣса солью и мукою будетъ выношенъ до конца, то чтобъ войско и всѣ согнанные для этого дѣла хлопы оцѣпили всю равнину и лѣсъ живою цѣпью, рука въ руку, но спрятавшись такъ, чтобъ этой цѣпи изъ замка не было видно. Изъ имѣвшагося при замкѣ звѣринца онъ велѣлъ взять всѣхъ звѣрей—волковъ, лисицъ, сайгаковъ и зайцевъ—переправить ихъ бережно въ особо для этого приспособленныхъ клѣткахъ за Сулу и тамъ распустить ихъ по равнинѣ, по кустарникамъ и по лѣсу. Это—для предстоящей охоты.

Безумная работа закипѣла—и къ утру Засулье представляло снѣжную равнину съ заиндевелѣвшимъ лѣсомъ и такимъ-же кустарникомъ.

— Мама! мама! какая зима!—завучалъ въ дверяхъ свѣжій, мелодическій голосокъ и радостно, и испуганно вмѣстѣ.

Всѣ оглянулись и на всѣхъ лицахъ расплѣла веселая, добрая улыбка, съ какою обыкновенно люди смотрятъ на прелестнаго ребенка или на очень ужъ юную особу.

Это была Софья Кисель—общая любимица была блестящаго панскаго общества. Она показала на галлерѣ вмѣстѣ съ своею черноглазою, яркаго, южнаго типа „мамою“, и, возбудивъ общее вниманіе своимъ стремительнымъ восклицаніемъ: „мама! мама!“ — теперь стояла вся пунсовая отъ смущенія.

Хотя ей было восемнадцать лѣтъ, но она смотрѣла совсѣмъ ребенкомъ. Видно было, что ея головка, обремененная массивными пасмами великолѣпной золотистой косы, которая, казалось, такъ и давила ее, постоянно работала, во все вслушиваясь, все замѣчая и обдумывая; но заговорить самой, спросить о чемъ—низачто! И едва лишь кто въ этомъ обширномъ, блестящемъ обществѣ обращалъ на нее вниманіе, хотѣлъ заговорить съ ней, какъ глаза ея мгновенно вспыхивали вмѣстѣ со щеками, и она, подобно хорошенькому кролику, который стремительно улепетываетъ въ кустъ при видѣ собаки, — она вся уходила въ себя, точно мысленно прячась за маму или за няню, какъ кроликъ за кустъ. Если съ кѣмъ она была смѣла, даже, можно сказать, за панибрата, такъ это съ котенкомъ

Васькой, котораго она закармила такъ, что онъ ужъ до мышей и не до-трогивался, а охотно ѣлъ изъ ея рукъ икру.

— Ахъ, Соня, ты все хорошеешь!—привѣтствовала ее хозяйка, видя крайнее смущеніе дѣвушки:—ты, конечно, поѣдешь съ нами на охоту—да?

— Какъ мама!—былъ торопливый отвѣтъ.

— Что мама!—улыбнулся старикъ Четвертинскій:—панна теперь со-всѣмъ ужъ большая.

На галлерей появился самъ хозяинъ, князь Іеремія, гости привѣтство-вали его возгласами „браво“ и дружными аплодисментами. Холодные, оловянные глаза князя свѣтились какъ холодная сталь,—онъ, видимо, самъ доволенъ былъ своей выдумкой.

Тотчасъ же заговорили о предстоящей охотѣ, которую страстно любить всякій истый полякъ.

— А вѣдь охоту-то, пане ксѣнже, откладывать нельзя,—весело ска-заль Сангушко:—вонъ какъ солнце печетъ—какъ бы вашъ снѣгъ не растаялъ!

— О, мой снѣгъ не растаетъ!—самодовольно отвѣчалъ хозяинъ, за-кручивая усы.

— Да, правда, скорѣе мы растаемъ,—подтвердилъ Кисель, который не выносилъ зноя:—правда, Соня?

— Правда,—отвѣчала она, вся вспыхнувъ.

Общимъ голосомъ рѣшено было тотчасъ же отправиться на охоту, и потому гости разошлись по своимъ комнатамъ, чтобы переодѣться къ предстоящему выѣзду.

Прислужники и конюхи тѣмъ временемъ чистили и сѣдлали коней, псары выводили и наставляли собацѣму благоразумію и всѣмъ псовымъ мудростямъ своихъ воспитанниковъ — гончихъ, медвѣжатниковъ, волкода-вовъ и иныхъ специалистовъ собачьяго дѣла,—того хлестали арапникомъ, другого драли за ухо, на третьяго надѣвали почетный ошейникъ. Лай и визгъ собакъ, ржанье коней завываніе рожковъ — это была такая мело-дія, отъ которой восторгомъ трепетало сердце каждого добраго пана.

Наконецъ панство торжественно выступило на замковый дворъ. Всѣ были одѣты самымъ блестящимъ образомъ; вездѣ блистало серебро и зо-лото. У князя Іереміи висѣлъ черезъ плечо огромный турій рогъ въ зо-лотой оправѣ. Изящный рожокъ, висѣвшій у корсажа княгини Гризельды, горѣлъ брилліантами. Такіе же брилліанты сверкали и на ея прелестной охотничьей шапочкѣ съ перомъ. Высокій гайдукъ не отходилъ отъ кня-гини, держа надъ нею широчайшій зонтикъ изъ тончайшей золотистой соломы и защищая отъ солнца прелестное личико своей госпожи. Съ нею рядомъ была и Соня Кисель; она была необыкновенно оживлена и счастлива какъ ребенокъ. Да и всѣ были необыкновенно оживлены. Одинъ Могила какъ бы сторонился отъ всего этого и былъ глубоко задумчивъ. Только по временамъ онъ переносилъ свой тоскующій взглядъ на Соню—и глаза его точно теплѣли. Соня напоминала ему далекое, невозвратное счастье.

Къ дамамъ подвели осѣдланныхъ коней. Княгиня Гризельда потрѣпала

своей маленькой ручкой лебединую шею бѣлаго какъ снѣгъ и тѣлаго какъ овечка аргамака; тотъ отвѣтилъ ей ржаніемъ.

Старый Сангушко съ ловкостью юноши поддетѣлъ къ княгинѣ, щелкнулъ „острогами“, изогнулся и протянулъ впередъ правую руку ладонью вверхъ. Княгиня стала своей маленькой ножкой на эту широкую ладонь и птичкой вспорхнула на сѣдло, держась рукою за гриву коня.

Къ Сонѣ, волоча подагрическия ноги, но стараясь изловчиться, фертонъ подошелъ старикъ Четвертинскій, хотѣлъ звякнуть шпорами, но не могъ и, съ усиліемъ согнувъ свои старыя ноги, сталъ на одно колѣно и также протянулъ правую руку ладонью вверхъ.

— Мамъ гоноръ, очаровательная панна,—прошамкалъ онъ.

Панна вспыхнула какъ макъ, но ножку все-таки поставила на широкую ладонь старика и ловко вскочила на сѣдло.

— Падамъ до ногъ,—прошамкалъ старый любезникъ,—и цѣлую слѣдъ ножки очаровательной панны.

И онъ театрално поцѣловалъ свою ладонь, но съ земли уже подняться не могъ, и его поспѣшили поднять гайдуки.

— Что за ножки! — шамкалъ онъ, обращаясь къ Сонѣ и кланаясь ей,—онѣ обѣ съ трудомъ-бы закрыли мои губы.

Скоро всѣ были на лошадяхъ. Князь Іеремія затрубилъ въ свой турій рогъ, и блестящее общество двинулось изъ замка, сопровождаемое сотнями псарей и собакъ. За замковыми зданіями, при поворотѣ къ Сулѣ, передъ глазами охотниковъ снова раскинулась снѣжная равнина Засулья съ открытыми инеемъ деревьями. Даже собаки неистово залаiali, увидавъ передъ собою необычайное явленіе.

Но никто, повидимому, не обратилъ вниманія на другое явленіе, хотя, можетъ быть, менѣе необычайное, но зато грозное, страшное. Только юная Соня Кисель замѣтила это послѣднее явленіе, и дѣтское оживленіе мгновенно сбѣжало съ ея хорошенькаго личика; глаза ея, за минуту горѣвшіе счастьемъ, широко раскрылись отъ ужаса и губы дрогнули. Прямо къ югу, за далекимъ горизонтомъ, на синевѣ чистаго неба, гдѣ-то далеко за Днѣпромъ, клубились дымныя облака и, гонимыя южнымъ вѣтеркомъ, зловѣще ползли къ сѣверу. Она вспомнила разсказъ своей старой няни, вчера только возвратившейся изъ-за Днѣпра, что на правобережную Украину напали татары, жгутъ и рѣжутъ все, что попадется имъ подъ руку, берутъ сотнями полоняниковъ,—и бѣдные хлопы, бросивъ свои дома и имущества, толпами бѣгутъ спасаться на эту сторону Днѣпра.

Подъ копытами лошадей уже хрустѣла бѣлая соль вмѣсто снѣга, всадники уже рыскали по всей равнинѣ, крики загонщиковъ сливались въ нестройный гулъ съ воемъ роговъ, лаемъ собакъ и ударами арапниковъ. Хорошенькая княгиня звонко трубила что-то въ свой изящный рожокъ, но ея никто не слушалъ.

А за далекимъ горизонтомъ дымныя облака продолжали клубиться и тихо плыть на сѣверъ.

XXI.

Мы снова на Черномъ морѣ.

По темнобирюзовой, колеблемой тихимъ южнымъ вѣтеркомъ поверхности его, уже четвертый день плавно движется богатая галера, вышедшая изъ Трапезонта и держащая путь къ Козлову, главному невольничьему рынку всего тогдашняго черноморскаго побережья. Галера украшена роскошно — во вкусѣ поражающей азіатской цѣстроты: разноцвѣтные флаги и всевозможныхъ яркихъ цвѣтовъ ленты то куцаются въ прозрачномъ воздухѣ, когда совсѣмъ падаетъ вѣтерокъ, то треплются и извиваются какъ змѣи при малѣйшемъ дуновеніи зефира. Чердаки и сидѣнья обиты бѣлымъ кашемиромъ съ золочеными кистями, которыя такъ и горятъ на солнцѣ.

Изъ люковъ громадной галеры выглядываютъ черныя пасти пушекъ — галера вооружена солидно и можетъ постоять за себя.

Обширныя палубы, чердаки и подчердачья галеры вмѣщаютъ до семисотъ богато разодѣтыхъ и хорошо вооруженныхъ турецкихъ моряковъ и спаговъ, да до четырехъ сотъ пышныхъ и своевольныхъ янычаръ, которые не дадутъ въ обиду богато убранную галеру и того, кто ея повелѣваетъ.

Наконецъ, до трехъ сотъ пятидесяти казаковъ-невольниковъ, прикованные желѣзами къ галернымъ „опачинамъ“, попеременно, день и ночь работаютъ на веслахъ, двигая это изукрашенное чудовище по морю.

На галерѣ находится самъ славный Алканъ-паша, „трапезонтское княжа“: его трапезонтское сятельство изволить ѣхать въ Козловъ для свиданія съ своею хорошенькою невѣстою, дочерью козловскаго „санджака“ или губернатора. Его обширная каюта, устланная богатыми коврами и уставленная по бокамъ низенькими турецкими диванами, убрана со всею восточною роскошью — серебромъ, золотомъ и бирюзою, блестящими кубками изъ золота и серебряною посудой.

Паша сидитъ на низенькомъ диванѣ, поджавши калачикомъ ноги, и машинально тянетъ синій дымокъ изъ длиннаго чубука, поглядывая на море съ полнымъ безмысліемъ человѣка, которому прискучили всякія наслажденія жизни. Въ тупомъ выраженіи его стоячихъ, немигающихъ глазъ есть что-то, напоминающее оловянные, холодные глаза Іереміи Вишневецкаго, какъ-бы говорящіе: „все извѣдано, все надоѣло...“

Передъ нимъ въ почтительной позѣ стоитъ сѣдоусый, сильно сгорбленный, съ мигающими сѣрыми, едва видимыми изъ-подъ сѣдыхъ бровей глазами, старикъ и молча, по старческой привычкѣ, жуетъ губами. Онъ очень старъ, но лицо его все еще сохранило выраженіе лукавства и рѣшительности. Это — довѣренное лицо Алкана-паши, его главноуправляющій Иляш-потурнакъ, ренегатъ, бывшій казацкій переяславскій сотникъ, родомъ полякъ. Тридцать лѣтъ онъ былъ въ турецкой неволѣ, а теперь вотъ уже двадцать четыре года какъ получилъ свободу и своею охотою потурчился

„ради панства великаго, ради лакомства несчастнаго“, подобно Марусть-Богуславкѣ.

— А что, мой вѣрный рабъ,—далеко еще до Козлова?—не поднимая глазъ, спросилъ паша.

— Далеко еще, о тѣнь падишаха!—отвѣчалъ Иляшъ-потурнакъ, низко кланяясь.

— Сегодня не доѣдемъ?

— Воля Аллаха!

— А гдѣ мы теперь?

— Противъ Чернаго камня, недалеко отъ Сары-Кермень.

Чтобы подтвердить свои слова, Иляшъ-потурнакъ раздвинулъ бѣлый пологъ чердака—и передъ сонными глазами Алкана-паши открылась дивная картина.

Изъ темносиней глубины, направо отъ галеры, выползали, казалось, какія-то чудовища и тянулись къ небу. То были мрачныя базальтовыя скалы, выхोдившія изъ моря, береговыя стремнины съ причудливыми изломами. То были грозныя и въ то же время обаятельно чарующія очертанія мыса Фіолента, гдѣ когда-то стоялъ храмъ Ифигеніи Таврической,—храмъ, съ которымъ соединялось во всѣ вѣка столько поэтическихъ преданій...

Кругомъ господствовала необыкновенная тишина, и только слышно было, какъ волны моря, словно живыя, мѣрно разбивались о прибрежныя скалы и гдѣ-то на камнѣ или въ воздухѣ плакалась чайка...

Влѣво синѣлось море, которому и конца не было; оно посылало свои волны къ чудному берегу, и волны, плача мѣрнымъ гекзаметромъ, разсыпались у берега бѣлыми какъ снѣгъ слезами...

Ничего этого не видѣли безсмысленныя глаза паши; только старыя глаза Иляша-потурнака словно-бы слезой заискрились подъ хмурыми сѣдыми бровями... При видѣ этого берега и дивныхъ скалъ, онъ вспомнилъ молодость, зеленый, холмистый берегъ Днѣпра, печерскія горы и церкви съ золотыми крестами... Онъ тихо вздохнулъ...

Солнце уже половиной своего диска окунулось въ море и посылало багровый свѣтъ и облакамъ, и Крыму.

— Гдѣ-жъ мы ночевать остановимся?—снова спросилъ паша.

— Если прикажетъ мой повелитель, прибѣжище и щитъ невинныхъ, если прикажетъ мой великій господинъ, то противъ Сары-Кермень,—отвѣчалъ Иляшъ-потурнакъ, скрывая невольный вздохъ.

— Въ морѣ?

— Въ морѣ, о тѣнь падишаха:—такъ легче смотрѣть за проклятыми собаками, за невольниками.

— А ты ихъ крѣпче приковывай.

— Крѣпко приковываю, мой повелитель.

Южная ночь скоро спустилась на море, и галера должна была остановиться. Иляшъ-потурнакъ, взявъ съ собою двухъ янычаръ и приказавъ имъ зажечь фонарь, съ огромною связкою ключей на рукѣ пошелъ по рядамъ

невольниковъ, чтобъ осмотрѣть цѣпи и замки, которыми они приковывались къ „опачинамъ“. Какъ ни привыкъ онъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, къ своему суровому ремеслу „галернаго ключника“, однако всякій разъ, какъ онъ становился лицомъ къ лицу съ несчастными каторжниками, въ немъ закипало что-то острое, жгучее—не то стыдъ, сверлящій сердце, бросающій кровь къ старымъ щекамъ, не то тупая злоба на этихъ невольниковъ, на себя, на пашу, на всю свою проклятую долю. Когда свѣтъ фонаря падалъ на ржавое желѣзо, которое охватывало ноги или станъ несчастнаго казака у „опачины“, на рубища, покрывавшія только нижнюю часть его тѣла, на это исполосованное „червою таволгою“ тѣло или изможденное казачье лицо, обросшее волосами и изрытое морщинами тоски, голода и холода,—Иляшъ-потурнакъ невольно отворачивался отъ этого лица или пряталъ свои глаза подъ сѣдыми бровями, а въ его душѣ самъ собою звучалъ скорбный припѣвъ думы:

Потурчився, побусорманився,
Для панства великого,
Для лакомства несчастного,
Для роскоши турецкой...

Долго ходилъ Иляшъ-потурнакъ по рядамъ невольниковъ, долго звякали въ темнотѣ ключи его и невольничкія цѣпи. Но вотъ кто то окликнулъ его по имени.

— Пане Иляшу! преклони ухо къ моленію моему!—послышался старческій голосъ.

— Кто меня кличетъ?—спросилъ Иляшъ, останавливаясь.

— Я, пане: Кишка Самойло, старецъ Божій и бѣдный невольникъ, а когда-то гетманъ славнаго войска запорожскаго.

Какъ ножомъ рѣзнуло Иляша-потурнака по сердцу. Онъ дрогнулъ и пошатнулся, когда янычары навели свѣтъ фонаря на говорившаго невольника. Это былъ древній старикъ, хотя ни годы нравственныхъ страданій, ни турецкіе бичи и „червоная таволга“ не согнали съ его лица ни энергіи молодости, ни прежней величавости казака, „какихъ на свѣтѣ мало“. Это былъ дѣйствительно Кишка Самойло, когда-то гетманъ славнаго Запорожья, а теперь вотъ уже тридцать лѣтъ „бѣдный невольникъ“.

— О чемъ твое моленье, Кишка Самойло? — дрогнувшимъ голосомъ спросилъ Иляшъ-потурнакъ.

— Мое моленіе сице, пане Иляшу,—отвѣчалъ Кишка Самойло, стараясь говорить „по письменному“: — зѣло старъ есмь азъ, пане, смерть моя за плещима моима стоитъ и въ очи мои зазираетъ, аки орелъ сизокрылецъ, хотяи очи мои изъ лоба выклевать... Такъ молю тебя, пане Иляшу,—когда я помру въ землѣ турецкой, въ неволѣ бусурманской, то не вели тѣло мое козачье ни землѣ турецкой предавать, чужимъ пескомъ мои очи козачіи засыпать, ни турецкимъ собакамъ на растерзаніе, ни турецкимъ птицамъ на расклеваніе метать, а невели тѣло въ Черное море съ камнемъ на шеѣ

вергнуть! Можетъ, заплыветъ оно въ Днѣпръ, а Днѣпромъ до славнаго Запорожья...

Кишка Самойло замолчалъ. Иляшъ-потурнакъ стоялъ блѣдный и безмолвный.

— Такъ исполнишь мою волю, пане Иляшу?—помолчавъ, спросилъ Кишка.

— Исполню,—глухо отвѣтилъ потурнакъ.

— А мою?—послышался въ темнотѣ другой голосъ.

Иляшъ-потурнакъ обернулся на голосъ. Янычары навели фонарь на говорившаго: это былъ тоже старенькій, сѣденькій невольникъ.

— Кто ты такой?—спросилъ Иляшъ.

— Я—Марко Рудый, когда-то былъ судья войсковый.

— А объ чемъ просишь?

— Не просьба моя до тебя, потурначе, а позывъ, — я зову тебя на страшный судъ передъ самого Господа Бога... Какъ будешь помирать—вспомни мои слова: на томъ свѣтѣ мы съ тобой увидимся.

Потурнакъ нахмурился и молча вышелъ, позванивая ключамъ.

Между тѣмъ Алканъ-паша, выкуривъ на ночь трубку хашиша, спалъ въ своей роскошной каютѣ; но сонъ его былъ тревожный; вмѣсто сладкихъ грезъ и чарующихъ видѣній, сонный мозгъ его угнетали страшныя картины. Онъ видѣлъ себя на морѣ, на этой же богатой, роскошной галерѣ, разрисованной и изукрашенной. Но что случилось съ этой галерой! Она вся оборвана, обагрена кровью, разграблена; дорогія ткани ея въ клочкахъ, цвѣтныя ленты посорвавы, дорогія вещи растащены. Всѣ его янычары порубаны; поколоты, въ море побросаны, а всѣ невольники раскованы и овладѣли галерою. Мало того: старый невольникъ Кишка Самойло его самого, Алкана-пашу, разрубилъ на три части и бросилъ въ море... Но ни тогда, когда Алканъ-паша видѣлъ гибель своей галеры и янычаръ, ни тогда, когда Кишка Самойло рубилъ его саблею на три части, Алканъ-паша не проснулся:—онъ проснулся только тогда, когда голова его, отдѣлившись отъ туловища и скатившись съ чердака, упала въ море и стала погружаться въ холодную воду...

Мучительно билось его сердце, когда онъ проснулся; но сознание и радостное успокоение воротились къ нему, когда въ каютное окошечко онъ увидѣлъ, что галера тихо стоитъ на морѣ, а востокъ неба начинаетъ рожать утреннюю зарю...

— Слава Аллаху! это былъ сонъ! — невольно вырвалось у него изъ груди.—Но какой страшный сонъ!

Онъ задумался... Сонъ тревожилъ его...

Паша троекратно ударилъ въ ладоши. На этотъ зовъ распахнулась занавѣсъ у дверей каюты и предъ мутныя и тревожныя очи паша предсталъ Иляшъ-потурнакъ и низко поклонился, приложивъ обѣ руки къ сердцу.

— Да будетъ благословенно имя Аллаха, пославшаго сонъ и пробужденіе тѣни падишаха!—сказалъ онъ, не подымая головы.

— Ля-иллахъ иль Аллахъ Мухамедъ расуль Аллахъ,—пробормоталъ папа.

— Спокоенъ-ли былъ священный сонъ прибѣжища и цита угнетенныхъ?

— Нѣтъ, не спокоенъ.

— Что же тревожило сосудъ мудрости и благодати?

— Я видѣлъ страшный сонъ, и не знаю, какъ понять его... Я желалъ бы, чтобъ кто-нибудь истолковать его мнѣ... Кто это сдѣлаетъ, тому я—если онъ янычаръ—подарю три города, а если невольникъ—то ему я дамъ фирманъ на свободу, и никто его пальцемъ не тронетъ.

Иляшъ-потурнакъ стоялъ и смущенно переминался на мѣстѣ.

— Какой же сонъ видѣло свѣтлое око падишаха?—спросилъ онъ:—можетъ, я и угадаю, что онъ значить.

— Видѣлось мнѣ,—началъ паша, глядя куда-то своими черными, но какими-то безцвѣтными глазами и какъ бы созерцая то, что ему пригрезилось во снѣ:—видѣлось мнѣ, что моя галера ободрана, ограблена, кровью вся залита, мои янычары всѣ порѣзаны и въ морѣ потоплены, а невольники всѣ раскованы и на галерѣ хозяйничаютъ... Меня же—о, сохрани Аллахъ!—меня Кишка Самойло, старшій невольникъ, разрубилъ саблею на три части и бросилъ въ море... Вотъ какой я страшный сонъ видѣлъ!

— О, солнце правды, мѣсяцъ добродѣтели!—воскликнулъ потурнакъ:—Аллахъ сохранить тебя... А этотъ твой сонъ ничего не значитъ, прикажи только построже наблюдать за невольниками, вели ихъ покрѣпче заковать въ желѣза, да чтобъ и не думали о волѣ—прикажи янычарамъ взять по два прута червонной таволги и бить ею каждого невольника, чтобы кровь христіанская твою галеру окрасила,—тогда ничего не будетъ.

Паша махнулъ рукой.

— Хорошо, дѣлай какъ знаешь: я тебѣ вѣрю.

Скоро галера прибыла къ Козлову и, еще не подходя къ пристани, сдѣлала изъ пушекъ нѣсколько выстрѣловъ. Съ козловской цитадели ей отвѣчали такимъ же числомъ пушечныхъ привѣтствій.

Съ горькимъ чувствомъ страха и какого-то нѣмого укора смотрѣли невольники на этотъ ужасный городъ, въ которомъ когда-то ихъ, полонниковъ, словно скотину татары на рынкѣ продавали. Крѣпостныя башни и тонкія иглы минаретовъ ярко очерчивались на голубомъ фонѣ южнаго неба. Пристань была полна турецкими галерами и кораблями другихъ европейскихъ націй. Пестрые флаги ихъ, точно разноцвѣтныя птицы, рѣяли въ воздухѣ. И надъ пристанью, и надъ всѣмъ городомъ стоялъ гулъ голосовъ, стукъ колесъ о камни—тотъ неудовимый рокотъ, которымъ, какъ бурнымъ дыханіемъ, даетъ о себѣ знать большой кипучій городъ. Невольникамъ казалось, что они издали слышать рыночный невольничій плачъ.

На берегу Алкана-пашу ожидала пышная встрѣча. Самъ санджакъ, окруженный блестящею свитою изъ янычаръ и крымскихъ татаръ, выѣхалъ на берегъ, чтобы какъ можно привѣтливѣе принять дорогого гостя и зятя. Алкану-пашѣ подвели бѣлаго арабскаго коня съ расшитымъ золотомъ и шелками сѣдломъ. Всю дорогу, отъ пристани до санджакова дома, играла музыка.

За Алканомъ-пашою вошли въ городъ и его янычары, для которыхъ уже было приготовлено угощеніе на рынкѣ, на томъ самомъ роковомъ рынкѣ, гдѣ всегда въ Козловѣ шель торгъ невольниками.

Алканъ-паша пировалъ у самого санджака. Но и во время пира у него изъ головы не выходилъ страшный сонъ, видѣнный имъ въ эту ночь. А что, если Иляшъ-потурнакъ измѣнитъ? Что, если онъ, пользуясь тѣмъ, что всѣ янычары пируютъ въ городѣ, отдастъ галеру въ руки невольниковъ и уйдетъ съ галерою и невольниками въ море?

Онъ велѣлъ позвать къ себѣ двухъ вѣрныхъ евнуховъ-наушниковъ, исполнявшихъ у него въ Трапезонтѣ роли гаремныхъ смотрителей и доносчиковъ и для этой цѣли наученныхъ языкамъ черкесскому, армянскому, греческому, польскому и украинскому. Евнухамъ онъ приказалъ тотчасъ же отправиться на галеру и наблюдать тамъ за Иляшемъ-потурнакомъ и за невольниками, въ особенности за Кишкою Самойломъ.

Пробравшись тихонько на галеру, стоявшую у берега, евнухи увидѣли, что Иляшъ-потурнакъ разговариваетъ о чемъ-то съ Кишкою Самойломъ. Они стали прислушиваться къ разговору, спрятавшись за канатами.

— Иляше-потурначе, брате старесенькій!—говорилъ Кишка Самойло:—когда-то, брате пане, и ты былъ въ такой неволѣ, какъ мы теперь... Брате! добро намъ учини—хоть насъ, старшину, отомкни, пускай бы и мы въ городѣ побывали, панское веселье повидали.

У потурнака глаза блеснули не то радостью, не то злобой—и мгновенно опять погасли.

— Ой, Кишка Самойло, гетманъ запорожскій, батько козацкій!—отвѣчала Иляшъ, стараясь скрыть свою коварную улыбку:—добро ты учини—вѣру христіанскую подъ ноги подтопчи, крестъ на себѣ поломи... Когда будешь вѣру христіанскую подъ ноги топтать—будешь у нашего пана молодого за родного брата пребывать.

— Ляше-потурначе, сотникъ переяславскій, недовѣрокъ христіанскій!—съ горечью воскликнулъ Кишка Самойло:—пусть ты того не дождешь, чтобъ я вѣру христіанскую потопталъ! Хоть буду до смерти бѣду да неволю принимать, а буду вѣру вашу поганую проклинять: вѣра ваша поганая и земля проклятая!

Теперь, въ свою очередь, потурнакъ выпрямился и схватился было за саблю, но удержался.

— Проклятая! проклятая!—звenea кандалами, повторялъ старый гетманъ-невольникъ.

— Такъ вотъ-же тебѣ, собака!

И потурнакъ со всего размаху ударилъ въ щеку сѣдого гетмана. Всѣ невольники, какъ одинъ, вскочили съ мѣстъ, гремя цѣпами, но „опачины“, къ которымъ они были прикованы, крѣпко держали ихъ.

— Это тебѣ за вѣру христіанскую, Кишка Самойло, гетманъ запорожскій!—сказалъ потурнакъ, мрачно глянувъ по рядамъ невольниковъ:—будешь ты меня вѣрой христіанской укорять, то буду я тебя паче всѣхъ

невольниковъ доглядать, старыми и новыми кандалами буду ковать, цѣпями поперекъ вязать.

Соглядатаи-евнухи видѣли всю эту сцену и не проронили ни одного слова. Послѣ этого они такъ-же тихонько ушли съ галеры, какъ вошли на нее.

— Ну что?—спросилъ Алканъ-паша, когда они воротились къ нему.

— Будь покоенъ, могущественный повелитель!—отвѣчалъ одинъ изъ нихъ, низко кланяясь:—твой рабъ вѣренъ тебѣ какъ собака.

— Безконечно веселись, источникъ нашего веселія! — добавилъ другой: — твой ключникъ Кишку Самойло пощечинами кормить — собаку къ правовѣрію склоняетъ.

Успокоенный этими вѣстями, Алканъ-паша велѣлъ отнести на галеру своему вѣрному ключнику всякаго корму и напитковъ, чтобы онъ пилъ за здоровье паши и его невѣсты.

Все было исполнено, какъ приказалъ паша.

Угостившись принесенными ему яствами и напитками, Иляшъ-потурнакъ глубоко задумался. Онъ разомъ почувствовалъ страшное одиночество, хотя вся галера была полна, и все это было ему родное, близкое, изъ той земли, гдѣ когда-то безпечно бѣгали его маленькіе ножки, а невинная дѣтская головка загадывала быть казакомъ... Онъ и былъ потомъ казакомъ, мало того—казацкимъ сотникомъ... Что то было за время, что за пора золотая, невозвратная!.. Потомъ онъ попалъ въ плѣнъ: вотъ въ этомъ самомъ Козловѣ, полстолѣтія назадъ, его продали на рынокъ въ Трапезонтъ, отцу вотъ этого самаго Алкана-паши... Тридцать лѣтъ онъ былъ въ неволѣ... А тамъ—разумъ его помутился: онъ бросилъ свою вѣру, которой однако въ глубинѣ души продолжалъ сочувствовать... Онъ побусурманился, сталъ потурнакомъ... Стыдно ему было глядѣть въ глаза другимъ невольникамъ и онъ возненавидѣлъ ихъ. Онъ сталъ свирѣпымъ ключникомъ—бичомъ невольниковъ... И одиночество, сиротство его стало еще ужаснѣе...

Теперь, когда онъ такъ жестоко поступилъ съ старымъ гетманомъ-невольникомъ, ему стало еще тяжелѣе. Въ этомъ отчужденіи отъ всего родного ему теперь мучительно вспоминалось все прежнее, далекое, милое, навѣки утраченное. Въ виду этого чужого города, съ чужимъ даже солнцемъ на небѣ, съ этими высокими минаретами, ему вспомнились родныя колокольни, родное солнце, знакомое пѣніе въ церквахъ...

Ему вдругъ мучительно захотѣлось теперь поговорить съ кѣмъ-нибудь объ этой милой далекой родинѣ, о родной вѣрѣ, которую онъ промѣнялъ на чужую, вспомнить молодые годы, перенестись мыслью въ тотъ край, потерянный давно-давно, но постоянно живущій въ середѣ, какъ-будто бы только вчера онъ пилъ дыпровскую воду, какъ-будто вчера слышалъ, какъ мать его поетъ за прялкою...

— Господи!—думалось ему: — есть у меня теперь всего вдоволь — и поѣсть, и попить, да нѣтъ души родной, съ кѣмъ-бы поговорить объ Украинѣ, о родной вѣрѣ, о родныхъ людяхъ...

Возбужденный и виномъ и своими думами, онъ всталъ и пошелъ къ старому гетману-невольнику. Тотъ сидѣлъ прикованный къ борту и молча смотрѣлъ, какъ на высокихъ башняхъ и минаретахъ медленно погасалъ багровый свѣтъ солнца, опускавшася въ море... Сколько лѣтъ уже онъ смотритъ на этотъ закатъ солнца въ чужой сторонѣ и всякій разъ вспоминаетъ закатъ его тамъ, далеко, въ незримомъ родномъ краю...

— Прости меня, батьку!—упавшимъ голосомъ заговорилъ потурнакъ, приближаясь къ гетману.

Послѣдній поднялъ голову и грустно посмотрѣлъ на говорившаго.

— Прости, батьку,—повторялъ потурнакъ.

— Богъ проститъ, и я прощаю...

Черезъ минуту потурнакъ, припавъ на колѣни, дрожащими руками размыкалъ кандалы на рукахъ и на ногахъ у гетмана.

— Пойдемъ, батьку, ко мнѣ... Я тебя угощу... да объ вѣрѣ христіанской поговоримъ...

У стараго гетмана блеснулъ въ глазахъ какой-то таинственный огонекъ, но онъ силою воли загасилъ его и молча пошелъ за потурнакомъ, провожаемый недоумѣвающими взглядами другихъ невольниковъ...

XXII.

Иляшъ-потурнакъ привелъ стараго гетмана въ свою каюту, что была бокъ-о-бокъ съ роскошною каютою паши, и сталъ угощать его вѣемъ, что у него было. Гетманъ не отказывался отъ угощенія, но пилъ очень осторожно, между тѣмъ какъ потурнакъ, уже и безъ того подвыпившій, теперь, на радостяхъ, что по душѣ сошелся съ почетнымъ землякомъ, глоталъ разнообразныя вина чарку за чаркою, постоянно чокаясь съ дорогимъ гостемъ. Онъ уже не замѣчалъ, какъ гость, вмѣсто того чтобы подносить чарку къ губамъ, черезъ каютное окошечко ловко выливалъ ее въ море. Онъ только безсвязно бормоталъ объ Украинѣ, о проклятой турецкой вѣрѣ, о томъ, что онъ поневолѣ сдѣлался галернымъ ключникомъ.

Кончилось тѣмъ, что потурнакъ, во время сомага разгара угощенія, положилъ голову на столъ и, бормоча безсвязныя рѣчи, заснулъ.

Старый гетманъ, оглядѣвшись кругомъ и убѣдившись, что пьяный потурнакъ спитъ мертвецкимъ сномъ, упалъ на колѣни и сталъ тихо молиться. Сѣдая голова его долго лежала на полу каюты. Но вотъ онъ приподнялся...

— Господи! изведи изъ темницы душу мою и души рабовъ твоихъ, козаковъ,—шепталъ онъ, поднимая руки къ небу.

Затѣмъ онъ всталъ, тихо отстегнулъ отъ пояса потурнака огромную связку ключей и спряталъ ихъ въ карманъ широчайшихъ, давно истрепанныхъ казацкихъ штановъ своихъ.

Осторожно выйдя изъ каюты и затворивъ ее, гетманъ тотчасъ-же бросился къ невольникамъ и торопливо сталъ отмыкать ихъ кандалы...

— Батьку!.. Мати Божа!—невольно вырвалось у несчастныхъ.

— Молчите, дѣтки! тише, тише!—останавливалъ ихъ гетманъ.

— Батьку родный! Господи!

Расковавъ нѣсколько человѣкъ, гетманъ раздѣлилъ между ними всю связку ключей.

— Идите, дѣтки, одинъ другого отмыкайте, да только кандалы съ ногъ и съ рукъ не скидайте, а полуночной поры поджидайте.

— Добре, батечку родный, добре!

— Да ключи, дѣтки, назадъ мнѣ принесите.

— Принесемъ батьку.

Казакъ бросились расковывать другъ друга. Въ нѣсколько минутъ всѣ невольники были раскованы, но кандаловъ съ себя не снимали.

Получивъ обратно ключи, старый гетманъ пошелъ съ ними въ каюту потурнака. Тотъ продолжалъ спать, всхрапывая на всю галеру. Кишка Самойло снова прицѣпилъ ему ключи къ поясу и осторожно взялъ за плечи.

— Брате Иляше! брате Иляше!—будилъ онъ спящаго.

— Какого тебѣ чорта! прочь!—бормоталъ пьяный.

— Да ты бѣ легъ на постель; иди—я доведу тебя...

— А ключи гдѣ?

— Вотъ у тебя на поясѣ.

Пьяный ощупалъ связку ключей.

— Добре... води меня... а самъ пей...

Съ трудомъ Кишка уложилъ пьянаго на койку, и, трижды перекрестившись, вышелъ изъ каюты.

Воротившись на свое мѣсто, гетманъ, по примѣру другихъ невольниковъ, вложилъ свои руки и ноги въ кандалы, да кромѣ того обмоталъ себя трижды особою желѣзною цѣпью.

Между тѣмъ ночь давно уже окутала мракомъ и землю, и море. По городу и по пристани кое-гдѣ мигали огоньки. Дневной шумъ стихалъ, замирая, тишина опускалась и на городъ, и на пристань, и на море: только лай собакъ отъ времени до времени нарушалъ ночное безмолвіе.

Скоро, однако, берегъ оживился и замигалъ огоньками. Это Алканъ-паша, въ сопровожденіи янычаръ, возвращался къ себѣ на галеру.

Онъ взшелъ на палубу, съ частью своего экипажа, такъ какъ большая часть янычаръ, наугощавшись въ городѣ, повалилась спать прямо на пристани, въ повалку. Менѣе пьяные остались съ пашою, который, взойдя на галеру и увидѣвъ, что всѣ невольники сидятъ на своихъ мѣстахъ, прикованные къ „опачинамъ“, остался вполне доволенъ порядкомъ на судахъ и своимъ вѣрнымъ ключникомъ, хотя этотъ послѣдній, противъ обыкновенія, и не вышелъ его встрѣтить. Паша понималъ, что его ключарь пьянъ, и не велѣлъ его будить.

— Не шумите,—сказалъ онъ, обращаясь къ своему экипажу:—русскій спитъ мой вѣрный рабъ—ему нуженъ отдыхъ. Проидитесь по рядамъ невольниковъ и осмотрите, всѣ-ли они хорошо закованы.

Янычары зажгли фонари и отправились на ревизию. Но такъ какъ и они всѣ были порядочно навеселѣ, то и осмотръ произвели поверхностный:—убѣдившись, что кандалы у всѣхъ невольниковъ на мѣстѣ, они уже не обратили вниманія на замки и доложили своему владыкѣ, что все обстоитъ благополучно.

— Почивай спокойно, звѣзда Трапезонта! Аллахъ за тебя не спитъ,—сказалъ первый евнухъ.

— Не бойся ночи, солнце Анатоли! Вѣрнаго тебѣ Аллахъ послалъ ключника: онъ всѣхъ невольниковъ рядами посажалъ, ручными и ножными кандалами ихъ сковалъ, а Кишку Самойла тремя цѣпями связалъ, — повесилъ другой.

Алканъ-паша окончательно успокоился, и голова его, отяжелѣвшая на пиру еще, погрузилась въ глубокой сонъ... Ему грезилась его золотокосяя, съ глазами газели, невѣста, прелестная Фатъма, и мрачныя видѣнія уже не терзали его... Онъ плылъ съ своею красавицею по Босфору и по Золотому Рогу, а съ берега имъ салютовали цареградскія пушки...

Мертвымъ сномъ спала и вся галера...

Нѣтъ, не вся... Вонъ кто-то поднимается среди рядовъ невольниковъ... Мѣсяцъ, выглянувшій изъ-за тучи, серебрить чью-то голову... Это сѣдая голова Кишки Самойла... Онъ тихо снимаетъ съ себя цѣпи, такъ тихо, что не одно звено не звякнетъ,—поднимаетъ голову къ небу, крестится, а потомъ нагибается черезъ бортъ... Тихое звяканье цѣпей... плескъ воды... Это цѣпи рабства и неволи упали въ море...

Старый гетманъ осторожно пошелъ по рядамъ невольниковъ, изъ которыхъ ни одинъ не спалъ: всѣ ждали рокового момента и у всѣхъ въ рукахъ находились кандалы, снятые тотчасъ по осмотрѣ ихъ янычарами и евнухами.

— Ну, дѣтки, панове молодцы, пускай вамъ Богъ помогаетъ! — говорилъ Кишка, проходя по рядамъ:—теперь кидайте кандалы въ море, да только желѣзомъ не брызните—турчина не будите.

Сонное море, тихимъ, но могучимъ дыханіемъ дышавшее у берега, сотнями всплесковъ отвѣчало на эти слова стараго гетмана: это падали въ море кандалы, столько лѣтъ до костей протиравшіе казацкое тѣло въ горькой неволѣ. Мѣсяцъ, совсѣмъ выбравшись изъ-за тучъ, обливалъ блѣднымъ свѣтомъ эти полуголыя, прикрытыя рубищемъ тѣла, эти косматыя, нечесанные, но теперь высоко поднятыя головы, эти худыя, загорѣлыя, измощенныя, но теперь трепетавшія счастьемъ и энергіею лица.

— Дѣтки!—продолжалъ тихо гетманъ:—забирайте теперь у сонныхъ янычаръ сабли булатныя, да мечи острые, да мушкеты.

Казаки какъ кошки тихо распозлились по галерѣ, ница оружія. Скоро они опять собрались около гетмана—кто съ ружьемъ, кто съ саблею, кто съ кинжаломъ.

— А мой турчинъ было проснулся, такъ я его на мѣстѣ закололъ.

— А я руками, какъ собаку, задавилъ.

Такъ перешептывались казаки, добывшіе себѣ оружіе.

— А теперь, дѣтки,—сказалъ гетманъ,—половина васъ на пристань выходите, да тамъ сонныхъ янычаръ рубите, а мы ужъ тутъ другою половиною справимся съ галерою.

Мѣсяцъ снова спрятался за тучу, какъ бы для того, чтобы не глядѣть на то кровавое дѣло, которое должно было совершиться на его глазахъ. Темныя тѣни, сверкая во мракѣ кленками кинжаловъ и шашекъ, сошли съ галеры на берегъ и какъ-бы растаяли во мракѣ и въ ночной тиши...

Скоро въ темнотѣ слышались слабые крики и стоны:—„о-о!.. Алла! о-о!..“

И галера застонала и зазвенѣла оружіемъ. Слышались глухіе вскрики, удары, неясный говоръ, иногда отчаянный вопль и частые всплески воды—всплески падавшихъ въ море турокъ.

Въ этой поголовной сѣчѣ Самойло Кишка взялъ на свою долю Алкана-пашу, сказавъ предварительно казакамъ, чтобы не трогали одного Иляша-потурнака.

— Пускай онъ у насъ, дѣтки, за „ярызу войскового“ останется.

Когда старый гетманъ вошелъ въ каюту Алкана-паши, этотъ послѣдній сладко спалъ, раскинувшись на широкомъ оттоманѣ и улыбаясь чарующимъ видѣніямъ. Кишка оставовился въ глубокомъ раздумѣ. На обнаженной саблѣ, которую онъ занесъ надъ головою спящаго и которая нѣсколько дрожала, игралъ причудливый свѣтъ висячей лампы, тихо качавшейся вмѣстѣ съ плавнымъ покачиваніемъ галеры. Свѣтомъ лампы искрились и мишурныя съ золотомъ и серебромъ украшенія каюты.

Кишка глянулъ на всю эту роскошь, потомъ на свои лохмотья, снова перенесъ взоры на золото и серебро, сверкавшія на украшеніяхъ...

— То наши слезы,—прошепталъ онъ:—это кровь наша... Помоги, Боже!.. Пускай спитъ вѣчно...

Сабля сверкнула и врѣзалась въ толстую, бѣлую шею спящаго... Глаза паши открылись, страшно глянули въ глаза гетмана...

— Га! узналъ меня, бѣшо!.. Такъ прощай же!

И сабля гетмана вторично еще глубже врѣзалась въ бѣлую шею. Голова паши отдѣлилась отъ туловища и стукнулася глухо о полъ каюты.

— Голова думала злое, а руки злое творили, —сказалъ раздумчиво гетманъ.

Сабля снова сверкнула—и правая рука паши отлетѣла прочь у самаго плеча. Старый гетманъ, вздвѣвъ на саблю мертвую голову и взявъ отрубленную руку, съ которыхъ капала черная кровь, вышелъ на палубу. Его окружили казаки, уже покончившіе съ турками и перебивавшіе свои рубища на богатое платье янычаръ.

— Что, дѣтки, порѣшили?—спросилъ гетманъ.

— Порѣшили, батьку,—былъ отвѣтъ.

— А это ихъ matka,—пояснилъ гетманъ,—высоко поднимая мертвую голову:—это его правая рука... Голова, голова! злое еси думала, а еще алѣйшее твоя рука творила... пусть же васъ земля не принимаетъ!

И онъ бросилъ голову и руку въ море.

Трупъ паши былъ вытащенъ за ноги и также брошенъ въ воду. Это былъ послѣдній глухой всплескъ моря, —всплескъ, которымъ завершилось кровавое дѣло на галерѣ.

Затѣмъ Кишка распорядился, чтобы половина казаковъ тотчасъ же сѣла за весла и выгнала галеру въ открытое море, подальше отъ Козлова, а другая занялась бы очисткою палубы отъ крови и приведеніемъ всего судна въ надлежащій порядокъ.

— Сегодня, дѣтки, у насъ суббота, а завтра святое воскресенье, — сказать онъ:—такъ надо, чтобы было намъ гдѣ на чистомъ помолиться, милосерднаго Бога поблагодарить.

Утреннее солнце озарило галеру во всемъ ея блескѣ и красотѣ. По палубѣ ходили и сидѣли кучками казаки въ богатыхъ янычарскихъ нарядахъ. Правда, кое-гдѣ на этихъ нарядахъ виднѣлась черная запекшаяся кровь, зіяла прорѣха отъ сабли или кинжала, обведенная кровавою каймою, темнѣли кровавыя пятна то на курткахъ, то на шараварахъ; но зато лица казаковъ были праздничныя, оживленныя. А тутъ это утро, тихое, яркое, роскошное; это голубое небо надъ головами, это темно-бирюзовое море подъ ногами... А вдали за ними, какъ бы все болѣе и болѣе утопая въ морѣ, тянулася дымчатая полоса земли—край прекрасный, роскошный, но проклятый по воспоминаніямъ горькой неволи... Крымъ все болѣе и болѣе уходилъ изъ глазъ.

Вдругъ на палубѣ появился Иляшъ-потурнакъ. Увидѣвъ казаковъ и замѣтивъ что-то необыкновенное вокругъ себя, онъ дрогнулъ всѣмъ тѣломъ, глянулъ кругомъ на море, на небо, на дымчатую полосу земли, уходившей изъ глазъ и въ изнеможеніи, въ отчаяніи упалъ на колѣни. Сѣдая голова его повисла на грудь, руки сложились какъ бы для молитвы...

— Что, ляше?—тихо сказалъ гетманъ, подходя къ нему.

Потурнакъ припалъ головой къ ногамъ Кишки и застоналъ.

— Не горюй, брате,—также тихо и ласково проговорилъ гетманъ:—теперь тебѣ будетъ съ кѣмъ объ вѣрѣ христіанской поговорить.

Потурнакъ поднялъ свое блѣдное, искаженное лицо.

— Гетманъ! батьку козацкій!—съ силою отчаянія воскликнулъ онъ, всплеснувъ руками:—батьку! не будь же ты такимъ со мною, какимъ я былъ съ тобою... Пощади мою сѣдину!

Безнадежный взоръ его блуждалъ по небу, по морю.

— О! тяжкій мой грѣхъ, Господи, тяжкій!—стоналъ онъ.

Но вдругъ глаза его блеснули и приковались къ чему-то далекому на синевѣ моря... Онъ весь превратился въ зрѣніе...

— Батьку!—воскликнулъ онъ громко, почти радостно:—Богъ тебѣ помогъ врага побѣдить, да только не сумѣешь ты въ землю христіанскую вернуться... Погляди на море!..

И онъ указалъ рукою по направленію, куда самъ глядѣлъ напряженно.

Старый гетманъ обернулся и посмотрѣлъ туда-же. Всѣ головы казаковъ обратились по указанному направленію.

— Видишь, батьку?—спросилъ Иляшъ.

— Вижу,—отвѣчалъ гетманъ.

— А знаешь, что оно такое?

— Нѣтъ, не знаю... Можетъ галеры...

Въ далекой синевѣ, на поверхности моря, бѣлѣли какія-то точки.

— То галеры турецкія,—сказалъ потурнакъ,—то двѣнадцать галеръ бѣгутъ изъ города Цареграда, чтобъ Алкана-пашу съ его невѣстою поздравлять... А какъ ты имъ будешь отвѣтъ давать?

Старый гетманъ задумался. Если то, что говорилъ потурнакъ, было правда, то только-что спасшимся невольникамъ угрожала гибель неминуемая:—двѣнадцать галеръ — ихъ уже теперь можно было различить — на всѣхъ парусахъ, надуваемыхъ ровнымъ утреннимъ вѣтеркомъ, летѣли по направленію къ казацкой, бывшей Алкана-паши, галерѣ. Развѣ вступить въ бой и погибнуть?.. Такъ жаль этихъ бѣдныхъ невольниковъ, молодыхъ, у которыхъ впереди еще много жизни, которыхъ ждетъ родина, милые сердцу... И затѣмъ-ли все было такъ счастливо совершено, чтобъ теперь, и именно теперь, погубить?.. Холодъ проникъ въ душу стараго гетмана.

— Самъ вижу, что галеры!—тихо, въ глубокомъ раздумьѣ сказалъ онъ.

Потурнакъ всталъ. Глаза его свѣтились.

— Батьку!—сказалъ онъ, взявъ гетмана за руку,—добре ты учини—половину казаковъ въ оковы къ опачинамъ посади, въ невольничье лохмотье наряди, а другую половину въ дорогое турецкое платье одѣнь; турки и будутъ думать, что это Алканъ-паша на своей галерѣ по морю гуляетъ. А я ужъ знаю, какъ ихъ отъ нашей галеры отогнать да въ Царьградъ направить.

Едва только половина казаковъ успѣла вновь превратиться въ невольниковъ и усѣсться на мѣстахъ, съ веслами въ рукахъ, какъ турецкія галеры были уже на разстояніи пушечнаго выстрѣла. Гранулъ выстрѣлъ, другой...

Иляшъ-потурнакъ, схвативъ бѣлый турецкій флагъ—„завивало“—быстро взомелъ на чердакъ и сталъ махать этимъ „завиваломъ“. Выстрѣлы тотчасъ-же смолкли.

— Нѣтъ Бога, кромѣ Бога, и Магометъ пророкъ его,—закричалъ потурнакъ „разъ-то по-грецки, другой по-турецки“, какъ говорить дума,—не стрѣляйте, ради Аллаха, правовѣрные! Не будите моего господина, пресвѣтлое солнце Трапезонта: онъ теперь спитъ, порядкомъ погулявъ въ Козловѣ.

Турецкія галеры, услыхавъ это предостереженіе, повернули къ Козлову и только издали выпалили изъ двѣнадцати пушекъ въ честь Алкана-паши, на что казацкая галера отвѣчала имъ семью выстрѣлами—„ясу воздавала“.

— Спасибо тебѣ, брате Иляше,—сказалъ гетманъ, обвиняя потурнака и провожая глазами удалявшіяся галеры,—теперь я тебя буду за родного брата почитать.

На глазах потурнака выступили слезы; но онъ ничего не сказалъ; онъ чувствовалъ, что послѣдней услугой казакамъ онъ искупилъ многое, но ужасное прошлое все еще стояло у него за спиною, и никакими молитвами онъ не могъ замолить его ни передъ Богомъ, ни передъ Украиной.

Казаки снова собрались на палубѣ. Многие изъ нихъ радостно крестились.

— Хвалимъ Тя, Господи, и благодаримъ!—торжественно воскликнулъ гетманъ.—Былъ я пятьдесятъ-четыре года въ неволѣ, а теперь не дастъ-ли Богъ хоть часъ пожить на волѣ!

Казаки молились и плакали, работая на веслахъ. Галера ихъ несла съ птицею, все болѣе и болѣе удаляясь отъ постылой, проклятой земли турецкой. Вотъ ужъ она совсѣмъ утонула въ морѣ. А тамъ, казалось, синеватою дымкою выступала изъ воды земля христіанская, дорогая Украина.

Нѣтъ, далеко еще была милая Украина: изъ воды выступалъ туманный островъ Тендровъ.

XXIII.

Съ островомъ, или, вѣрнѣе, съ полуостровомъ Тендра, какъ и со всѣмъ побережьемъ Крыма, соединены историческія и поэтическія воспоминанія самой глубокой, мифологической древности. Это былъ самый дальній предѣлъ міра, куда только достигало пламенное воображеніе классическаго грека или куда могли пробираться только такія полумифическія личности, полубоги и полублюди, какъ Ахиллесъ или Одиссей. На возвышенномъ мысѣ, у конца Тендры, стоялъ нѣкогда храмъ, окруженный священною рощею Гекаты, а недалеко отъ этой рощи находилось ристалище Ахиллесово — „дромосъ Ахиллеосъ“, гдѣ этотъ герой древности скакалъ на своихъ дикихъ коняхъ, готовясь къ нечеловѣческимъ подвигамъ. Роща Гекаты и до сихъ поръ зеленѣетъ, шелестомъ листьевъ навѣвая воспоминанія о сѣдой, невозвратной классической старинѣ и ея чарующей поэзіи.

Ничего этого не знали и ни о чемъ подобномъ не вспоминали казаки, подвѣзжая къ этому поэтическому острову; они вспоминали только о своей поэтической Украинѣ, о ея рощахъ—„гаяхъ зелененькихъ“.

Но что это темнѣется около острова Тендрова? Не то гуси плаваютъ стадами, не то лебеди. Нѣтъ, не гуси то и не лебеди.

Недалеко отъ рощи Гекаты, вдоль всего берега, словно заснувшія на водѣ утки, чернѣются казацкія чайки, а среди нихъ, подобно огромнымъ птицамъ-бабамъ или бакланамъ, высятся галеры, отнятыя казаками у турокъ какъ около Кафы, такъ и въ Синопѣ и среди открытаго моря. Это—флотилія Сагайдачнаго, возвращающаяся изъ своего далекаго и славнаго подвигами похода — въ землю христіанскую, „на тихія воды, на ясныя зори“.

По берегу бѣгаетъ курчавенькая, черноглазенькая татарочка и съ веселымъ лепетомъ собираетъ красивенькіе камушки и раковинки. Тутъ же

сидят казаки, курят люльки и любят свою „дивчинку“. Олексій Поповичъ не спускалъ съ нея глазъ, боясь, чтобы она не упала въ воду. Хома, смастеривъ изъ камыша нѣчто вроде вѣтряной мельницы, дулъ на нее въ отверстіе пустой камышинки, необыкновенно раздувая свои красныя и безъ того раздутыя щеки, и мельничка вертѣлась.

Нѣсколько въ сторонѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ находилось когда-то знаменитое „дромось Ахиллеосъ“, три острожскіе товарища, веселый сѣроглазый Грицько и черномазый Юхимъ, нѣкогда возившіе на себѣ въ „чертопхайкѣ“ патера Загайлу, и острожскій „друкаръ“, Хведоръ Безридный, пробовали добытыя въ походѣ самопалы и стрѣляли въ цѣль. Мишенью служила старая шапка, вздѣтая на воткнутое въ землю копье. Всѣ они одѣты были въ дорогое турецкое платье и увѣшаны оружіемъ. Хведоръ Безридный уже не смотрѣлъ робкимъ „друкаремъ“: онъ пополнѣлъ, загорѣлъ, превратившись въ боевого казака, въ „лыцаря“, что и доказалъ своею беззавѣтною храбростью въ походѣ, такъ что самъ Сагайдачный обратилъ на него вниманіе и отличалъ передъ прочими казаками. У бывшаго „друкаря“ былъ теперь свой собственный „джура“ — оруженосецъ, въ который охотно пошелъ одинъ изъ молодыхъ невольниковъ, родомъ москаль, спасенный „друкаремъ“ въ Синопѣ отъ турецкой сабли.

Джура стоялъ недалеко отъ мишени и наблюдалъ за выстрѣлами. Первымъ выстрѣлилъ Грицько.

— Попалъ?—спросилъ онъ, когда разсѣялся дымомъ.

— Нѣту, мимо,—отвѣчалъ джура.

Выстрѣлилъ Юхимъ и схватился за щеку: ружье, заряженное не въ мѣру, отдало.

— Ой, аспидское!.. Попалъ?

— Попалъ, да не туда—пальцемъ въ небо.

— Попалъ себѣ въ лобъ,—усмѣхнулся Грицько.

Прицѣлился и Хведоръ Безридный. Послѣдовалъ глухой ударъ. Шапка повалилась вмѣстѣ съ копьемъ.

— А что, джуро?

— Попалъ, какъ пить даль,—радостно отозвался джура,—въ самую точку угодила.

Между тѣмъ у самаго мыса полуострова Тендры, въ хвостѣ казацкой флотиліи, стояла большая, отнятая казаками на морѣ турецкая галера, которая на этотъ разъ исполняла „вартовую“ или сторожевую службу. На верхнемъ ея чердакѣ стоялъ пожилой казакъ, съ загорѣлымъ, открытымъ лицомъ и, отгнѣивъ ладонью глаза, смотрѣлъ пристально вдаль. Это былъ одинъ изъ куренныхъ атамановъ, веселый казакъ Семень, по прозвищу Скалозубъ, названный такъ потому, что на его добродушномъ лицѣ при малѣйшей улыбкѣ, словно перламутры, сверкали изъ-подъ густыхъ усовъ бѣлые зубы. Семень Скалозубъ почесалъ у себя за ухомъ, оглядѣлъ кругомъ море, снова отгнѣнилъ глаза ладонью и тихонько свистнулъ.

На свистъ его оглянулись другіе казаки, которые, сидя въ „холодку“,

подъ пологомъ, развлекались невинною игрою—плевали въ море: тотъ, кто дальше всѣхъ плевалъ, дралъ за чубъ того, кто плевалъ всѣхъ ближе.

— Эй, панове молодцы!—овликнулъ ихъ Семень Скалозубъ.

— А-говъ!—отозвались козаки.

— А поглядите, панове, не галера то?

Козаки повскакали съ мѣстъ и бросились на чердакъ.

— Да, галера, пане отамане,—отозвался вскорѣ тотъ изъ нихъ, который недавно передралъ за чубъ почти всѣхъ своихъ товарищей.

— Да галера-жъ, да еще и разрисованная,—подтвердили другіе.

— Я и самъ вижу, что галера,—согласился Скалозубъ,—а что она такое есть галера—не то она блудить, не то свѣтомъ нудить?

— А Богъ его знаетъ,—отвѣчали козаки.

— Такъ вы, хлопцы,—продолжалъ Скалозубъ,—заряжайте пушки, да галеру грозною рѣчью встрѣчайте, гостинца ей дайте.

— Вотъ тебѣ на! — махнулъ рукою тотъ, который всѣхъ дралъ за чубъ.

— А что?—удивился Скалозубъ.

— Что! Вѣрно ты, батьку отамане, самъ боишься и насъ казаковъ страмишь:—сія галера ни блудить, ни свѣтомъ нудить.

Скалозубъ посмотрѣлъ на него еще съ большимъ удивленіемъ.

— Такъ какая-жъ галера?

— Да это, можетъ, давній бѣдный невольникъ изъ неволи убѣгаетъ.

— Невольникъ? на такой галерѣ?

— Да невольникъ-же.

— Ты почему знаешь.

Колѣ-бъ не звалъ—не говорилъ.

Овва!

— Турки-бъ не полѣзли прямо намъ въ глаза.

Но осторожный Скалозубъ не согласился съ этимъ доказательствомъ и велѣлъ зарядить пушки.

Козаки должны были повиноваться, тѣмъ болѣе, что неизвѣстная галера быстро приближалась къ сторожевому посту. Грянуло разомъ нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ. Быстро приближавшаяся галера дрогнула всѣмъ корпусомъ и остановилась: выстрѣлы съ сторожевой галеры пробили три доски у самой воды. Послышались крики съ пробитой галеры. Какой-то старикъ, съ сѣдою по поясъ бородою, въ турецкомъ одѣяніи, показался на чердакъ. Въ рукахъ его трепалось красное, „хрещатое“, истрепанное казачье знамя. Старикъ махалъ имъ въ воздухъ и кланялся. До сторожевой галеры отчетливо донеслись слова, сказанныя чистою казачкою рѣчью.

— Ой, козаки, панове молодцы!—звучалъ старческій сильный голосъ.— Се есть не турецкая галера, а се есть давній бѣдный невольникъ, Кишка Самойло, изъ неволи убѣгаетъ.

— Кишка Самойло!—воскликнулъ Семень Скалозубъ.—Господи!

— Онъ, панове, съ козаками, — отвѣчалъ старикъ, махая казацкою хоругвою, — были пятьдесятъ-четыре года въ неволѣ, а теперь не дасть-ли Богъ хоть часъ погулять на волѣ!

— Тонемъ! тонемъ! — раздавались отчаянные голоса, покрывавшіе слова Кишки.

— Спускай лодки! Ратуйте бѣдныхъ невольниковъ, дѣтки! — крикнулъ Скалозубъ.

Казакъ, скидая торопливо шапки и крестясь, стремглавъ бросился въ лодки и въ нѣсколько ударовъ веселъ успѣли подлетѣть къ медленно потопавшей галерѣ. Слышно было, какъ вода клокочущими фонтанами врывалась въ ея пробойны, и галера, скрипя и покачиваясь, осаживалась все глубже и глубже.

Казакъ зацѣпилъ ее баграми, бросилъ на бортъ канаты, которые были схвачены потопавшими невольниками, и общими усиліями потащилъ галеру къ берегу.

Между тѣмъ къ этому мѣсту берега, привлеченное выстрѣлами и суматохою около сторожевой галеры, высыпало все казачество. Узнавъ въ чемъ дѣло, увидавъ, что это убѣгаютъ изъ турецкой неволи „бѣдные невольники“ и что съ ними находится давно пропавшій безъ вѣсти „старый батъко Кишка Самойло“, казакъ радостно бросалъ вверхъ шапки, а другіе стрѣляли въ воздухъ изъ мушкетовъ, салютуя спасшимся товарищамъ.

Пришелъ и Сагайдачный съ старшиною. Увидавъ Кишку Самойла, они невольно остановились: сбѣдая голова стараго гетмана припала къ землѣ, которую онъ цѣловалъ, обливая слезами.

Когда онъ поднялся, Сагайдачный, приблизясь къ нему, поклонился въ ноги и съ глубокимъ чувствомъ проговорилъ:

— Здоровъ будь, здоровъ будь, Кишка Самойло, гетманъ запорожскій! Не загинувъ еси въ неволѣ, не загинешь съ нами козаками на волѣ!

Одинъ Иляшъ-потурнакъ стоялъ въ сторонѣ, какъ отверженный, боясь приблизиться къ бывшимъ своимъ товарищамъ и землякамъ.

XXIV.

Послѣдняя стоянка казаковъ на полуостровѣ Тендры вызывалась серьезными стратегическими соображеніями. Казацкой флотиліи, достаточно погулявшей по Черному морю и оставившей послѣ себя кровавые слѣды какъ въ Крыму, такъ и въ Малой Азіи, въ Анатоліи, предстояло теперь возвращаться во-свои, къ „Днѣпру-Славутѣ, на тихія воды, на ясныя зори“. А это не легко было сдѣлать: входъ въ Днѣпръ сторожили такіе грозныя турецкія крѣпости, какъ Очаковъ и Кызыкермень. Если казакъ, выступая въ походъ, успѣли благополучно пробраться мимо этихъ твердынь, такъ это потому, что тогда ихъ турки не ждали. Теперь же, послѣ того какъ казаки „до фундаменту опровергли“ Кафу и Синопъ, взяли съ бою въ открытомъ морѣ нѣсколько галеръ и „мушкетнымъ дымомъ оку-

рили“ самыя предмѣстья Стамбула, послѣ того какъ они навели ужасъ на все побережье Чернаго моря, и испуганный султанъ думалъ уже бѣжать изъ своей столицы, на азіатскій берегъ своихъ босфорскихъ палестинъ.— послѣ этого казаки должны были знать, что возвращенія ихъ въ Днѣпръ турки ждутъ, и ждутъ не съ пустыми руками.

Теперь казакамъ предстояло пробиваться сквозь убійственный огонь турецкихъ батарей Очакова и Кызыкермена и, кромѣ того, выдержать, можетъ быть, атаку цѣлой турецкой флотиліи въ устьяхъ Днѣпра.

Старая голова Сагайдачнаго все это сообразила, взвѣсила и пришла къ рѣшенію: „у шоры убрать проклятыхъ янычаръ“—провести, обмануть, на сивой кобылѣ обѣхать.

При входѣ въ Днѣпръ, параллельно полуострову Тендры, тянется длинная коса, нынѣ Кинбурнская, противъ оконечности которой, по ту сторону днѣпровскаго лимана, стоитъ Очаковъ. Коса эта тогда называлась Прогноемъ.

Сагайдачный порѣшилъ: послѣ роздыха на Тердрѣ, всю легкую казацкую флотилію, то-есть всѣ чайки, волокомъ перетаскать черезъ Прогнойскую косу и такимъ образомъ неожиданно-негаданно очутиться въ Днѣпрѣ на нѣсколько верстъ выше Очакова. Казацкой воловьей силы на это хватило-бы.

Такъ какъ взятыхъ въ плѣнъ турецкихъ галеръ, нагруженныхъ всякою добычею, по ихъ массивности нельзя было перетаскать волокомъ черезъ Прогной, то Небаба, Дженджелій и Семень Скалзубъ съ частью казаковъ должны были на этихъ галерахъ пробиться мимо Очакова и, если нужно, сквозь турецкія галеры, памятуя при этомъ, что едва лишь казаки вступятъ въ бой съ турками, и съ той и съ другой стороны заговорятъ пушки,—Сагайдачный съ своею флотиліею, какъ снѣгъ на голову, ударить туркамъ въ тылъ и покажетъ имъ, какъ козамъ рога правятъ.

— Это, значить, тертаго хрѣну,—моргнулъ усомъ Небаба,—выслушавъ планъ „казацкаго батька“.

— Се-бъ то, якъ кажуть, нате и мій глекъ на капусту,—усмѣхнулся Мазепа Стецько.

Въ первую-же ночь послѣ стоянки у острова Тендры, казацкая флотилія подошла къ Прогнойской косѣ, и тотчасъ же началось перетаскиванье чачекъ въ Днѣпръ. Дѣлалось это съ крайнею осторожностью и при необыкновенной тишинѣ. Сначала отправлено было нѣсколько опытныхъ казаковъ для осмотра наиболѣе удобнаго перевала и для удостовѣренія въ томъ, что по ту сторону косы берегъ Днѣпра свободенъ отъ непріятеля. Карпо Колокузин, который распоряжался этимъ осмотромъ мѣстности, скоро воротился съ своими товарищами и доложилъ старшинѣ, что перетаскиваться можно безопасно.

Работа закипѣла быстро. И казаки, и бывшіе невольники, и старшина — все участвовало въ этой дружной „войсковой“ работѣ. Героемъ этой ночи былъ глуповатый, но необыкновенно способный къ этому дѣлу силачъ

Хома: онъ таскалъ чайки по песчаной косѣ съ такою легкостью, словно-бы это были салазки, скользившія по укатанному снѣгу. Больше всѣхъ дивился этой силищѣ болтливый „орлянинъ“.

— Ужъ и богатырина же, братцы, Хома вашъ,—шепталь онъ, качая головой:—такой богатырина, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать... Ужъ и диво-же дивье!.. Сказать-бы Илья Муромецъ—такъ и то въ пору будетъ... Ишь ево претъ, инда пискомъ пищитъ посудина-то!

Еще утро не занималось, а всѣ чайки были уже на той сторонѣ косы, размѣщенные вдоль берега и утнутыя въ камыши, словно утки. Всѣ казаки были на своихъ мѣстахъ, по чайкамъ, и гребцы сидѣли у уключинъ, держа весла наготовѣ.

Ночной мракъ окутывалъ и Днѣпръ, и противоположный его берегъ, гдѣ, нѣсколько ниже, расположенъ былъ Очаковъ. Съ этой стороны доносился иногда собачій лай, да въ камышахъ крикали повременамъ проснувшіяся утки. Къ утру въ травѣ задергали коростели, да иногда высвистывала знакомая казакамъ ночная птичка—„овчарикъ“.

„Гдѣ-то Небаба съ галерами?“ думалось каждому. Успѣтъ-ли онъ вмѣстѣ съ своими товарищами, съ Дженджелемъ и Семеномъ Скалозубомъ, пробраться мимо крѣпости?.. Ему не привыкать стать обманывать и турокъ, и татаръ. Говорять, онъ „характерникъ“: шукою иногда перекидывался и на днѣ Днѣпра карасей себѣ ловилъ на завтракъ. А по ночамъ онъ „пугачемъ“ обертывался и за ночь успѣвалъ изъ Сѣчи долетать до Кафы и до Козлова, и тамъ стоналъ на высокихъ минаретахъ, чтобъ бѣдные невольники могли его услышать и догадаться, что это „пугачъ“ прилетѣлъ къ нимъ съ Украины и принесъ вѣсточку о далекой родной сторонѣ. Вотъ если-бъ и теперь онъ самъ перекинулся окунемъ, либо шукою, и галеры-бы свои рыбами подѣлалъ, да и проплылъ-бы подъ водою мимо Очакова!..

Вдругъ что-то глухо стукнуло и покатилося; отзвучившее такое-же глухое эхо отстукнуло въ камышахъ. Это пушка. Вотъ еще грохнуло, и еще, и еще...

Что-то черное мелькнуло надъ нимъ самимъ и заставило его невольно закрыть глаза. Открывъ ихъ снова, онъ увидѣлъ, что на груди у него сидитъ воронъ. Онъ пробирается къ его глазамъ... Глаза человека и глаза ворона встрѣтились... Какъ ошпаренный, воронъ взмахнулъ крыльями, и шархнулъ въ сторону... Испугался!.. Его еще боялся воронъ...

Что же случилось? Зачѣмъ онъ лежитъ тутъ? Кто его бросилъ? Кто бросилъ всѣхъ этихъ?..

Солнце косыми лучами бьетъ ему въ глаза... Больно глазамъ... Онъ закрываетъ ихъ и старается припомнить что-то...

Что-то зашуршало травой у самой его головы... Онъ открываетъ глаза—опять голубое небо!.. Куда отъ него спрятаться!.. Но тутъ что-то шевелится надъ головой... Онъ всматривается: это зеленая ящерица сво-

ими дѣйскими лапками взобралась на стебель сухого чернобыльника и глядеть на него черненькими глазами... „О-охъ!“ — и ящерица юркнула въ траву!

Гдѣ же море? гдѣ Днѣпръ? куда дѣвались чайки, казаки?..

Вспомнилъ!.. Не добъзжая Кызыкермена, они увидѣли на берегу табунъ осѣдланыхъ коней... Это были татары, возвращавшіеся изъ Украины: они пустили стреноженныхъ коней, а сами улеглись спать. Отрядъ казаковъ вышелъ на берегъ изъ чаекъ и захватилъ этотъ табунъ... И на долю Хведора Безроднаго досталось два добрыхъ коня... Потомъ напали на спящихъ татаръ, побили ихъ, — и онъ, Безродный, билъ ихъ... И тамъ, такъ же, какъ здѣсь казаки, лежатъ порубанные татары и смотрять на голубое небо...

Вспомнилось дальше, да такое странное, непонятное: — за Кызыкерменемъ на нихъ напали другіе татары — много ихъ, какъ саранча... Гудятъ, воютъ, алалакаютъ... Обступили и его, Хведора Безроднаго... А дальше онъ опять ничего не помнитъ: должно быть его убили... Отчего-жъ онъ еще не на томъ свѣтѣ? Такъ это, значитъ, душа его еще ходитъ по мытарствамъ — сорокъ дней ей ходить... Зачѣмъ же она не ходитъ по знакомымъ, по роднымъ мѣстамъ? Зачѣмъ она не на Украинѣ, а на этомъ чужомъ полѣ, усыянномъ мертвецами?..

А кто это идетъ по полю и ведетъ двухъ коней въ поводу?.. Что, кого онъ ищетъ?.. Ходитъ между мертвецами, нагибается къ нимъ, разсматриваетъ, качаетъ головой... Вороны испуганно снимаются съ мертвецовъ и разлетаются по сторонамъ...

— Кто жъ это такой?.. Да никакъ „джура“ Ярема, молодой синопскій невольникъ изъ москалей, изъ Ельца? Да, это онъ, и у него въ поводу его, Федоровы, кони, что онъ захватилъ за Кызыкерменемъ... Онъ силится крикнуть, позвать „джуру“, но только стонетъ, да такъ слабо, глухо, а въ груди, кажется, все обрывается и душа вылетаетъ изъ тѣла... Глаза сами собой закатываются подъ лобъ — и ничего больше не видятъ: ни джуры съ конями, ни голубого неба, ни склоняющагося къ закату солнца...

Когда онъ открылъ глаза, то увидалъ, что „джура“ стоитъ надъ нимъ на колѣняхъ и плачетъ.

— Это ты, джуро Яремо?

— Я, паночку милый.

— Я убить, джуро?

— Нѣту, не убили тебя, а только поранили, паночку милый.

Раненый опять закрылъ глаза. Джура снялъ висѣвшую на плечѣ фляжку и тихо влилъ красной жидкости въ открытый, съ запекшимися губами, ротъ казака. Мертвенное лицо раненаго какъ-бы оживилось и глаза взглянули осмысленнѣе.

— Дай еще, джуроньку, — прошепталъ онъ.

Джура исполнилъ его просьбу, вливъ нѣсколько капель въ ротъ умирающаго.

— Всѣ побиты?

— Всѣ, паночку милый: одинъ я убѣжалъ.

— А гдѣ тѣ, что въ чайкахъ?

— Они, полагають надоть, плывутъ благополучно Днѣпромъ... Этотъ проклятый Кызыкормень проплыли по вашей милости, а вы вотъ, паночку, на поди... помираете за нихъ...

Раненый помолчалъ немного, закрывъ глаза и тихо шевеля губами. Джура отвелъ волосы отъ его лба.

— Жарко мнѣ... печеть меня,—прошепталъ раненый.

Джура, отломивъ отъ ближайшаго кустика калиновую вѣточку, сталъ махать ею надъ лицомъ умирающаго. Тотъ опять открылъ глаза. Они упали на оружіе, которое валялось тутъ-же,—на саблю и мушкетъ.

— Кому-то мое добро достанется?—тихо вздохнулъ онъ.

Джура молчалъ. Вороны продолжали каркать, трапезу на болѣе отдаленныхъ трупахъ.

— Джуро Яremo!— снова прошепталъ раненый:—возьми мое добро... Дарую тебѣ, джуро, по смерти моей и вороного коня, и того другого бѣлогриваго, и тягеля червонья, отъ поля до ворота золотомъ шитые, и саблю булатную, и пицаль семицядную...

Онъ остановился, чтобы перенести духъ. Джура продолжалъ по-прежнему молчать, только слезы тихо катились по его худымъ, загорѣлымъ въ неволѣ щекамъ.

— Не плачь, джуро!—какъ-бы оживился немного умирающій.—Садись ты на коня, подвиги саблю: пусть я посмотрю, какой изъ тебя будетъ казакъ.

Джура молча опоясался саблею, перевѣсилъ черезъ плечо мушкетъ, вскочилъ на коня и тихо проѣхался между трупами.

Когда онъ воротился къ умирающему, тотъ тихо, но горько плакалъ.

— Благодарю тебя, Господа милосерднаго,—шепталъ онъ,—что доброму человѣку мое добро достанется: будетъ кому за меня Бога молить.

И онъ снова закрылъ глаза отъ крайняго истощенія. Тихо кругомъ.

Но что это за шумъ?.. Отдаленный гулъ несется отъ Днѣпра—не то гусиный или лебединый крикъ, не то эхо многихъ человѣческихъ голосовъ.

Лицо умирающаго судорожно передернулось и все тѣло какъ-бы вытянулось. Онъ открылъ глаза и напряженно прислушивался: далекій гулъ, казалось, приближался.

— Джуро Яremo, слышишь?

— Слышу, паночку милый.

— А что оно такое?

— Не знаю, паночку: може лебеди кричать, може козаки шумять.

Раненый силился поднять голову, но она опять безсильно падала на землю.

— Джуро Яremo! садись на коня, да ступай ты по-надъ тѣмъ лугомъ да по-надъ Днѣпромъ-славуютою—посмотри, что тамъ такое.

Джура перекрестился, вскочилъ на коня и, взявъ другого коня въ по-
водъ, поскакалъ по направленію къ Днѣпру.

Умирающій остался одинъ... Слухъ его все еще жадно ловилъ далекій,
неясный гулъ, но воронье карканье раздавалось все назойливѣе и назой-
ливѣе, оглашая собою все поле...

И ему опять вспомнился старый городъ, зеленые сады, журчащая и
обмывающая старые корни тополя Горынь, мрачная, съ закоптѣлыми стѣ-
нами типографія—литеры, все литеры, безъ конца литеры,—изъ нихъ ка-
закъ Карпо летѣть пули на татаръ и турокъ... Много онъ уложилъ этими
литерными пулями... А какая пуля уложила его самого, Хведора Безрод-
наго, бѣднаго когда-то „друкаря“, а теперь славнаго казака „лыцаря“?..
Славнаго!.. Вонъ гдѣ эта слава: эта слава дымомъ стала, мушкетнымъ ды-
момъ, что вылетаетъ изъ мушкета и мигомъ исчезаетъ... А это синее, без-
конечное море — Кафа — огонь, трескъ, гулъ и вопли, маленькая „тата-
рочка“, Синопъ въ огнѣ... А Катря, добрая, ласковая Катря... Въ самую
глубь души глядятъ ея черныя, какъ мушкетное дуло, очи... Эти очи убили
его... ради нихъ онъ пошелъ въ казаки — славы „лыцарства“ добывать...
Вотъ и добытъ...

Джура между тѣмъ, прискакавъ къ Днѣпру, увидѣлъ, что это дѣйстви-
тельно плывутъ казаки. Черныя и разрисованныя кое-гдѣ чайки укрыли со-
бою всю рѣку. Впереди плыли разукрашенные турецкія галеры, точно гор-
дые лебеди впереди стада сѣрыхъ утокъ... Чудная была картина! Казаки
въ ихъ разноцвѣтныхъ, большею частью турецкихъ одѣяніяхъ, и въ шап-
кахъ всевозможныхъ, большею частью красныхъ цвѣтовъ, пестрѣли и били
въ глаза какъ нива цвѣтущаго мака, перемѣшаннаго съ гвоздикомъ и ва-
сильками. На галерахъ вѣяли флаги. На оружіи играло заходящее солнце.

Джура, остановившись на пригоркѣ и вдѣвъ шапку на копье, сталъ
махать имъ и кланяться. Казаки замѣтили его, и стали приворачивать
чайки къ берегу.

— „Да то козакъ“, — слышались голоса съ чаекъ. — „Нѣтъ, не ко-
закъ“. — „Козакъ!“ — „Вотъ тебѣ разъ! тутъ, можетъ, и самъ нечистый ко-
закомъ нарядился!“ — „Да козакъ же!“ — „Эге! козакъ—только чубъ не
такъ!“ — „Да это жъ москаль Ярема — джура...“ — „Да джура жъ и
есть!..“

Нѣсколько чаекъ пристало къ берегу. Прибылъ на большой галерѣ и
Сагайдачный съ войсковою старшиною. Всѣ догадывались, что это—вѣст-
никъ отъ отряда, посланнаго въ обходъ и въ тылъ къ Кызыкермену. Но
гдѣ же самый отрядъ? И почему вѣстникомъ отъ него явился простой
джура, даже не казакъ, а плѣнный москаль, и при томъ не въ своемъ
одѣяніи? Не случилось-ли бѣды какой съ отрядомъ?

Сагайдачный вмѣстѣ съ другими казаками вышелъ на берегъ. Джура
сошелъ съ коня и кланялся еще ниже. Выраженіе лица его выдавало силь-
ное безпокойство.

— Джура Ярема! — сказалъ Сагайдачный, пытливо глядя въ глаза при-

бывшему: — это ты не со своим конем гуляешь, и тягели червонны, отъ полъ до ворота золотомъ шитыя, не свои носишь, не своею саблею булатною и пищалью семиядною владѣешь. Вѣрно, ты своего пана убилъ?

Москаль порывисто тряхнулъ волосами.

— Нѣтъ, батюшка господинъ кошевой, атаманъ войсковой! — заговорилъ онъ торопливо: — я свою пана не убилъ и не истребилъ — ни Боже мой! — и молодой души не губилъ... Это на меня затѣя, напраслина — видитъ Богъ!.. Мой панъ лежитъ тамъ, на лугу въ полѣ, прострѣленный, посѣченный острыми саблями — татары его зашибли смертно... Помираетъ онъ нонѣ... Я прошу вашу милость Христомъ Богомъ — прикажите вашимъ молодцамъ на лугъ итти и моего господина и другихъ казаковъ честно похоронить.

— И другихъ казаковъ? — спросилъ Сагайдачный.

— Такъ точно, ваша милость. Всѣхъ татары посѣкли...

— Всѣхъ! Матерь Божія!

— Всѣхъ, ваша милость, зашибли, всѣхъ до единого, окаянные.

Скоро казаки были уже на полѣ, на которомъ лежали ихъ побитые товарищи... И на Хведорѣ Безродномъ сидѣлъ уже воронъ и подбирался къ его глазамъ: глаза эти продолжали смотрѣть на то же голубое небо, но уже не видѣли его..

Быстро казаки выкопали могилы своимъ павшимъ товарищамъ: — копали суходолъ саблями, а шапками и приполами землю выносили изъ глубокихъ ямъ...

Хведора Безроднаго, какъ общаго любимца, накрыли червонною китайкою, и на могилѣ, въ головахъ, вмѣсто креста конье его боевое воткнули, а къ коню привязали бѣлую „хусточку“ — платокъ. Всѣмъ остальнымъ павшимъ товарищамъ честь отдали продолжительною стрѣльбою изъ мушкетовъ.

Во время стрѣльбы изъ-за горы показались знамена и всадники и затѣмъ цѣлые отряды. Это были польскіе отряды, которые, подъ начальствомъ князя Вишневецкаго и другихъ пановъ, гнались за опустошавшими Украину татарскими загонами. Отъ нихъ-то и убѣгали съ богатою добычею тѣ татары, которые на пути встрѣтили небольшой отрядъ казаковъ, высланныхъ Сагайдачнымъ въ обходъ и въ тылъ Кызыкермену, и всѣхъ ихъ перебили. Тутъ погибъ и Хведоръ Безродный.

Въ этихъ польскихъ хоругвахъ находился и молодой господаричъ Петръ Могила. Въ отчаянной гонкѣ за татарами онъ никакъ не могъ забыть плачущихъ глазъ Сони Кисель, которые теперь для него отождествлялись съ глазами навсегда имъ потерянной панны Людвиси Острожской... „Они — эти плачущіе, дѣтски невинные глаза послали насъ спасать Украину“, думалось ему, и личное его горе какъ-бы стихало, и сердце менѣе ныло о невозвратимой утратѣ...

XXV.

Мы опять въ Запорожской Сѣчи.

Вотъ уже третій день гуляютъ казаки, шумно празднуя свое возвращеніе съ моря и поминая погибшихъ въ походѣ товарищей. Весь островъ, окрестности его и Днѣпръ стонутъ веселыми или буйными криками молодцовъ, въ разныхъ концахъ раздаются разноголосыя пѣсни, гудятъ, скрипятъ и визжатъ бандуры, дудки и скрипки. То тамъ, то здѣсь гремятъ мушкетные выстрѣлы въ честь павшихъ, выкрикиваются ихъ имена, потрясаются въ воздухѣ турецкіе волосатые бунчуки, захваченные при раззореніи турецкихъ городовъ, сверкаютъ обнаженные сабли, невѣдомо кому грозящія, летятъ въ воздухъ казацкія шапки. На самой серединѣ сѣчевой площади, на солнечномъ припекѣ, насунувъ шапки на самые глаза, другъ противъ дружки, выплываютъ гопака старый Небаба съ погасшею въ зубахъ трубкою и такой-же старый, если не болѣе, сивоусый Нечай, завернувшій полы кунтуша за поясъ, чтобъ они не мѣшали ему выдѣлывать старыми ногами невообразимые „выкрутасы“. Съ обоихъ стариковъ потъ льется ручьями, а они постоянно покрикиваютъ на слѣпого бандуриста, на дѣда Опанасовича, десятки лѣтъ томившагося въ неволѣ, въ Кафѣ, а теперь воротившагося умирать на родину: „еще ушкварь, дѣду, еще ушкварь!—чтобъ горѣло“!

Не видно было только Сагайдачнаго и писаря Стецька Мазепы. Да еще одного добраго казака не доставало—Олексія Поповича.

Сагайдачный и Мазепа сидѣли въ то время въ куренѣ за столомъ и писали смертный приговоръ Олексію Поповичу, который содержался подъ карауломъ въ „холодной“ — въ земляной тюрьмѣ, освѣщаемой сверху въ небольшое отверстіе. Онъ сидѣлъ на соломѣ, подперши голову руками, а около него, играя и шурша соломою, возилась маленькая „татарочка“ и что-то лепетала по-своему.

Что же случилось, что Олексію Поповичу пишутъ смертный приговоръ?

А случилось вотъ какое несчастье. По возвращеніи изъ похода, какъ сказано выше, казаки загуляли. Шибко загулялъ и Олексій Поповичъ, который всегда былъ мастеръ по части выпивки. Въ пьяномъ видѣ вполне сказалась и его задорливая, несмотря на мягкость сердца, натура: онъ то цѣловался съ казаками, то насакивалъ на нихъ съ кулаками и даже съ саблей. Зная эту слабость Поповича, товарищи еще болѣе подзадоривали его. А тутъ выискался отличный поводъ дразнить буяна: повodomъ этимъ была маленькая „татарочка“, въ которой Олексій Поповичъ души не чаялъ. Казаки вдругъ вздумали доказывать, что „татарочка“ не можетъ оставаться въ Сѣчи, что она — женщина, „дивчинка“, а женщины, по запорожскому обычному закону, такъ же не допускались въ Сѣчь, какъ и въ алтарь. Чтобы разсердить Поповича, они грозили ему изгнаніемъ „татарочки“, а то такъ и его вмѣстѣ съ нею. Въ виду всего этого Олексій

Поповичъ совсѣмъ взбѣсился. Онъ началъ ругать казаковъ, запорожскіе обычаи и всю старшину; говорилъ, что самъ уйдетъ изъ этого „проклятаго гнѣзда“ и передастся москалямъ, да въ отместку казакамъ наведетъ на нихъ москалей и ляховъ. Когда ему сказали, что его велитъ усмирить „батько“, онъ и батька началъ ругать, обзывалъ его „старой собакой“, говорилъ, что не онъ, не Сагайдачный, и Кафу-то взялъ, и что она взята его, Олексія Поповича, ловкостью, да прежнимъ знакомствомъ съ старымъ кобзаремъ, слѣпымъ Опанасовичемъ. Мало того, въ слѣпомъ изступленіи онъ бросался на казаковъ и рубилъ ихъ саблѣй. А когда, въ виду этой суматохи, Сагайдачный вышелъ изъ куреня съ булавою, чтобъ усмирить буйновъ, Олексій Поповичъ кинулся на гетмана съ ругательствами, вышибъ изъ его рукъ булаву и, сбивъ съ головы его шапку, сталъ таскать старика за чубъ...

При видѣ этого зрѣлища казаки разсвирѣпѣли и хотѣли было тутъ-же растерзать дерзкаго, но Сагайдачный остановилъ ихъ, отдавъ виновнаго на судъ войска. Войско единогласно приговорило: Олексія Поповича „скарать горломъ—забить кіями до смерти“...

Вотъ теперь онъ и сидитъ въ „холодной“ въ ожиданіи смерти. Невеселы его думы: Въ такіе моменты слишкомъ многое вспоминается — вспоминается все, вся жизнь, всѣ ея наиболѣе яркіе моменты, и свѣтлые, и мрачные, и дорогіе до боли и до боли безотрадные, которые хотѣлось бы забыть, вытравить изъ памяти... да они не вытравляются, а такъ и гвоздятъ душу, холодятъ сердце...

Шумъ за дверкою „холодной“ и звяканье ключей. Дверь открывается и показываются казаки съ обнаженными саблями, а съ ними писарь Мазепа съ бумагою въ рукѣ.

— Пора, Олексію, да кола козацкаго,—сказалъ онъ хрипло:—молись въ послѣдній разъ милосердному Богу.

Олексій Поповичъ всталъ и молча опустилсѣ на колѣни. Недолга была его послѣдняя молитва; онъ перекрестился, положилъ нѣсколько поклоновъ и выпрямился, не говоря ни слова. Но тутъ глаза его упали на „татарочку“, которая прижалась къ нему, обхвативъ его ногу... Онъ приподнялъ ее, поглядѣлъ въ ея свѣтлые глазки, перекрестилъ и поцѣловалъ...

— Отдайте ее моей матери, въ Пирятинѣ, — сказалъ онъ Мазепѣ и поставилъ дѣвочку на землю.

Мазепа сдѣлалъ знакъ одному казаку, чтобы онъ увелъ ребенка. Дѣвочка съ плачемъ была вынесена изъ „холодной“. За нею вышелъ и Олексій Поповичъ въ сопровожденіи конвоя. Онъ не протестовалъ, не жаловался—онъ зналъ казацкіе порядки.

Осужденнаго повели черезъ бушующую сѣчевую площадь; передъ нимъ и за нимъ шли казаки съ обнаженными саблями. Поповичъ шелъ блѣдный, съ потупленною головою. При видѣ осужденнаго бушующее море казаковъ разомъ стихло. Умолкли бандуры, скрипки, „сопилки“. Всѣ лица сдѣлались серьезными.

Въ концѣ площади, ближе къ сѣчевымъ воротамъ, стоялъ толстый брусъ, врытый въ землю. На высотѣ около трехъ аршинъ отъ земли въ столбъ вбиты были два желѣзные кольца. Около столба, нѣсколько въ сторонѣ, стоялъ огромный чанъ—онъ былъ наполненъ водкою, „оковитою“. Въ чанѣ на тонкой цѣпочкѣ плавалъ деревянный ковшъ — „корякъ“, огромная съ ручкою чара, грубо выдѣланная изъ корня березы. Тутъ же, около чана, наваленныя кучею, лежали кѣи—казацкія орудія публичной казни.

По временамъ глаза осужденнаго останавливались на товарищахъ, какъ бы ища отвѣта на послѣдній тревожившій его вопросъ или спрашивая: „что жъ это такое?... за что же? неужели же это въ самомъ дѣлѣ?“ — Но глаза казаковъ избѣгали встрѣчи съ глазами несчастнаго товарища, укоризненно смотрѣли на другихъ, какъ бы говоря: „кто жъ это сдѣлалъ?—кто велѣлъ губить человѣка?“—Въ иныхъ глазахъ искрились слезы. Слышалось учащенное, тяжелое дыханіе толпы, вырывались глубокіе вздохи.

Осужденный глянулъ на небо, на солнце, которое ударило ему въ глаза, и опять потупился.

Поповича подвели къ столбу. Онъ остановился и еще разъ глянулъ вокругъ себя. Всѣмъ, казалось, было невыносимо тяжело... „Кто-жъ это его хочетъ убить? кто этотъ злодѣй?“ видѣлось на пасмурныхъ лицахъ казаковъ и въ глазахъ ихъ искрился стыдъ, ссѣдъ и стыдъ...

Мазепа развернулъ бумагу и сталъ читать, но его никто, казалось, не слышалъ—каждый думалъ о чемъ-то своемъ, далеко и близко... И Олексій Поповичъ думалъ... „Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ“, вспомнилось ему, какъ онъ читалъ по покойномъ отцѣ...

—„скарать горломъ—забить кіями до смерти“,—явственно слышалось чтеніе писаря Мазепы.

Чтеніе кончилось. Два казака изъ чужого куреня подошли къ осужденному и двумя сыромятными ремнями обвили ему кисти рукъ. Олексій Поповичъ самъ повернулся къ смертному столбу и поднималъ руки къ желѣзнымъ кольцамъ... но тотчасъ же опустилъ ихъ...

— Я не собака,—мрачно сказалъ онъ.

Порывисто разорвавъ воротъ у рубахи, онъ снялъ съ шеи крестъ, перекрестился и поцѣловалъ его. За нимъ перекрестились всѣ казаки.

Осужденный искалъ кого-то глазами... Глаза остановились на Небабѣ... Небаба подошелъ...

— Что, Олексіечку?—тихо спросилъ онъ.

Осужденный подаль ему свой крестъ.

— Надѣйте на дитину, на татарочку,—глухо произнесъ онъ.

Потомъ онъ снова повернулся къ столбу и поднималъ руки къ кольцамъ.

— Теперь бейте!—были его послѣднія слова.

Ремни продѣли въ кольца и завязали. Лица осужденнаго уже не видно было, а видѣлась только широкая спина, затылокъ, шея и широко разставленныя ноги.

— Данило Гнучкій—первый кій!—громко сказалъ писарь.

Отъ казаковъ отдѣлился широкоплечій, черномазый, неповоротливый козарлюга, медленно подошелъ къ чану съ „оковитой“, медленно перекрестился, зачерпнулъ полный ковшъ водки, выпилъ его, крикнулъ, утеръ рукавомъ усы, взялъ изъ кучи одинъ кій и подошелъ къ осужденному.

— Прощай, Олексію!—громко сказалъ онъ, и, широко размахнувшись въ воздухъ, ударилъ кіемъ по синій осужденнаго, который дрогнулъ и крѣпко сжалъ кулаки.

— Карпо Вареникъ—другой кій!—продолжалъ Мазепа.

И Вареникъ подходилъ къ чану, выпивалъ, перекрестившись, ковшъ водки, бралъ кій и возглашалъ:

— Прощай, брате Олексіечку! Не я бью—войско запорожское бьетъ!

И опять взвился въ воздухъ кій, и опять раздался глухой ударъ.

— Костя Додотоносенко—третій кій!

И вновь то же питье, и кій въ рукахъ.

— Прости, душа козачья! Прости, братику!

— Дорошъ Лизогубъ—четвертый кій!

— Молись, Олексіечку! молись, друже!

Пятый кій, десятый, двадцатый... Хоть бы крикъ, хоть бы стонъ у стола...

Только руки все болѣе и болѣе вытягиваются и натягиваютъ ремни... Сжатые кулаки разгибаются... Широко разставленные ноги подкашиваются... Тѣло уже не вздрагиваетъ...

— Пропалъ козакъ!—слышится въ толпѣ.

А изъ куреня доносится дѣтскій плачь: то плачетъ „татарочка“.

XXVI.

Никогда еще, съ тѣхъ поръ какъ стоитъ и цвѣтеть Украина, Кіевъ не видѣлъ такой торжественной встрѣчи, какой удостоился Сагайдачный съ казаками по возвращеніи изъ морского похода.

Весь Кіевъ высыпалъ на берегъ Днѣпра къ тому мѣсту, гдѣ пристало запорожское войско, подплывшее къ городу на своихъ побѣдоносныхъ чайкахъ. Весь покатый берегъ, подъемъ въ гору, ближайшія улицы, ведущія къ Софійскому собору, всѣ крыши домовъ — все было усыяно народомъ, пестрѣвшимъ какъ весеннее поле всевозможными яркими цвѣтами своихъ нарядовъ. Духовенство всѣхъ церквей, монахи и монахини всѣхъ монастырей, члены всевозможныхъ цеховъ, „братчики“ и „спудеи“ или „скубенты“ братской школы вышли навстрѣчу „славному рыцарству“ съ хоругвями, иконами, крестами и значками различныхъ цеховыхъ обществъ. Во всѣхъ церквахъ торжественно звонили колокола.

Когда Сагайдачный, съ гетманскою булавою въ рукѣ и сопровождаемый старшиною, ступилъ на берегъ подъ невообразимый гулъ мушкетныхъ и пушечныхъ выстрѣловъ со всѣхъ чашекъ, къ гетману подведенъ былъ великолѣпной, бѣлой масти, арабскій жеребецъ подъ роскошнымъ, расшитымъ

золотомъ и шелками чепракомъ. Сагайдачный ловко вступилъ своимъ краснымъ сафьяновымъ сапогомъ въ позолоченное стремя и въ одинъ мигъ очутился въ сѣдлѣ, словно вросшій въ своего коня. За нимъ выступили хорунжіе съ войсковыми знаменами и турецкими и татарскими бунчуками, добытыми въ походѣ. Казаки смыкались въ ряды, по куренямъ, и шли въ гору за гетманомъ, предшествуемые куренными отаманами и знаменами. Войско представляло такое зрѣлище, которое невольно поражало самый привычный глазъ. Дорогія турецкія одѣянія, добытыя въ Кафѣ, Синопѣ и на взятыхъ турецкихъ галерахъ и вздѣтыя теперь казаками на свои молодецкія плечи; казацкіе и польскіе кунтуши съ длинными откидными рукавами и „вылетами“, подбитыми самыхъ яркіхъ цвѣтовъ матеріею—„алтебасами“, „златоглавами“, атласами, „одомашками“; шапки съ красными верхами и всякихъ цвѣтовъ „смушками“—бѣлыми, черными, сивыми; дорогія турецкія и широчайшія казацкія, тоже всѣхъ цвѣтовъ радуги, шаравары; цвѣтные, большею частью красные, зеленые и желтые сафьянные и юхтовые сапоги; всевозможное оружіе, которымъ увѣшанъ былъ каждый казакъ—мушкеты, книжалы, ятаганы, сабли,—все это горѣло на солнцѣ, слѣпило глаза, кричало своей яркостью, картинностью и невообразимымъ разнообразіемъ. Казаки выступали гордо, молодцовато, хотя, повидимому, съ полною небрежностью и съ сознаниемъ своей полнѣйшей передъ всѣмъ міромъ независимости и полнѣйшей свободы въ поступкахъ, движеніяхъ—во всемъ, во всемъ!

Старый Небаба шелъ во главѣ своего куреня и, улыбаясь чуть замѣтною улыбкою подъ сѣдыми усами, косился на великана Хому, у котораго на рукахъ, держась правою рукою за его воловью шею, сидѣла „татарочка“ и своими большими южными глазами изумленно посматривала по сторонамъ, словно бы ища тамъ своего пѣстуна и любимца, горемычнаго Олексія Поповича, молодецкое тѣло котораго давно уже было обглодано до костей дѣйпровскими раками.

Тутъ же выступалъ и усатый Карпо Колокузни съ своими острожскими товарищами по степнымъ скитаньямъ—съ веселымъ Грицкомъ и густобровымъ Юхимомъ, нѣкогда возившими на себѣ плетеную „чертопхайку“ съ длинновязымъ патеромъ Загайлою. Недоставало только третьяго ихъ товарища, „друкаря“ Хведора Безроднаго, который лежалъ далеко-далеко, на берегу Дѣйпра, почти у самаго Кызыкермена. Зато тутъ же выступалъ его бывший джура Ерема, который теперь смотрѣлъ почти совсѣмъ казакомъ и только желтоватые глаза да жидкоуосость выдавали его московскую породу.

За казаками шли освобожденные ими невольники. Они двигались нестройною толпою, какъ не принадлежавшіе къ войску, и возбуждали необыкновенное вниманіе кіевлянъ. Впереди всѣхъ невольниковъ, опираясь на палку, шелъ маститый старецъ Кишка Самойло. Онъ глядѣлъ и радостными, и въ то же время грустными глазами на стоявшія по обѣимъ сторонамъ ихъ пути пестрыя массы кіевлянъ. Все это, что стояло тутъ и вышло поглядѣть на казаковъ и на возвращенныхъ ими изъ плѣна не-

вольниковъ — почти все это успѣло народиться и вырасти въ то время, какъ Кишка Самойло изнывалъ въ тяжелой турецкой неволѣ, далеко отъ родной Украины. Рядомъ съ нимъ шелъ почти такой же маститый старецъ, Иляшъ-потурнакъ, котораго глаза почти ни разу не взглянули на пестрые толпы киевлянъ: онъ не могъ забыть свое постыдное прошлое, свое потурченье, свой тяжкій грѣхъ передъ братьями-невольниками. По другую сторону Кишки Самойлы выступали его товарищи по неволѣ—Марко Рудый, бывшій судья войсковой, и Мусій Грачъ, бывшій войсковой трубачъ. Виднѣлась и юркая фигурка болтуна „орлянина“, и донского казака Анисимушки, около котораго робко шла его блѣднолицая жена, которая гдѣ-то на морѣ, въ виду пылающей Кафы, такъ безумно оплакивала прижитаго въ неволѣ сына своего, Халилку-татарченка.

— Смотрите! Смотрите!—послышалось въ толпѣ зрителей, — вонъ запорожецъ несетъ на рукахъ какую-то дѣвочку.

— Ахъ, да какая-жъ она маленькая, а онъ какой великанъ!

— Да это, вѣрно, его дочка—какая хорошенькая!

— Нѣтъ, она на него не похожа.

— Ова! что-жъ изъ этого? Безъ него жена привела.

— Да это полоняночка... бранка... татарочка.

Великанъ Хома, слыша эти отзывы о своей татарочкѣ, нѣжно гладилъ ее по головкѣ, а старый Небаба ворчалъ въ свои сѣдые усы, что нельзя закурить люльку—близко церковь.

— Охъ, Грицю! Пресвятая Покрова!—со стономъ выкрикнулъ кто-то въ толпѣ.

Сѣроглазый Грицько, шедшій рядомъ съ своимъ другомъ, густобровымъ Юхимомъ, вздрогнулъ точно обожженный и тревожно оглянулся на толпу. Тамъ какая-то дѣвушка, сильно загорѣлая, съ длиннымъ посохомъ и котомкою за плечами, упавъ на колѣни, протягивала руки не то къ ближайшей церкви, не то къ сѣроглазому Грицьку.

Послѣдній порывисто вышелъ изъ рядовъ своего куреня.

— Одарю! это ты, сердце?

— Я, Грицю; охъ!

Запорожецъ обнялъ дѣвушку, которая вся прильнула къ нему, безъ словъ, и только плакала.

Вдругъ позади нихъ раздался чей-то дрогнувшій голосъ:

— А меня не признаешь, дочка?

Дѣвушка отняла свои руки отъ молодого запорожца, вся залитая жаркимъ румянцемъ и радостными слезами, искрившимися на загорѣлыхъ щекахъ. Передъ нею стояла высокая, сухая фигура, съ яркимъ серебромъ въ густыхъ, понурыхъ усахъ—не то татаринъ, не то турокъ,—такое было на немъ чудное, неказачье одѣяніе.

— Не узнаешь, батька?—повторилъ незнакомецъ.

Голосъ этотъ знакомъ дѣвушкѣ. И глаза знакомые. Гдѣ она ихъ видѣла? А, вспомнила, вспомнила! Она видѣла эти глаза еще маленькою

„дивчинкою“, она лежала въ своей „колысочкѣ“ — въ люлькѣ, въ зыбочкѣ, что висѣла около постели старой „бабуся“, и „бабуся“ качала эту „колысочку“ и пѣла про „котика“ да про „сонѣ“, что ходитъ по улицѣ ить бѣлой сорочкѣ. И вотъ, надъ нею, надъ маленькою „дивчинкою“ наклонился кто-то усатый, да добрый такой и ласковый, и глаза добрые и ласковые. И изъ этихъ глазъ капнули на нее, на дѣвочку, двѣ слезы... Это были „татко“, какъ послѣ ужъ сказывала „бабуся“, „татко“, который, по смерти ей матери, съ тоской ушелъ на Запорожье да тамъ и сгинулъ...

Тато! да это-жъ вы?

Я, доню голубко...

И дѣвчушка съ крякомъ бросилась на шею незнакомцу.

Тату! татку мѣ! Да вы-жъ еще живы!

Живъ, мѣ, живъ, голубко!

Татко! татко! Какъ тебя Богъ спасъ?

Спасъ, голубко, спасъ Богъ милосердный, да вотъ этотъ...

И дѣвчушка на сѣроглазого Грицько, который стоялъ красный какъ ракъ.

Тѣмъ же часъ спасъ отца своей Одарочки? И передъ нимъ встаетъ та же самая Одарочка, подожженная казаками со всѣхъ сторонъ, Кафа горитъ, какъ свѣча, багровымъ заревомъ освѣщая и горы, и море на далекомъ пространстве. Среди пожарнаго гула и треска, среди догорающихъ воплей и отчаянія и дикаго казацкаго говора, криковъ и проклятій, онъ вдругъ отчетливо слышитъ, какъ изъ какого-то подземелья, изъ каменныхъ зданій, до него доносятся возгласы: „Помогай, Боже, помолитесь, братцы, за души бѣдныхъ невольниковъ! Отнесите имъ поклонъ на Украину—на тихія воды, на ясныя зори, гдѣ край земли, гдѣ мѣръ крещеный!“ Онъ оглядывается съ удивленіемъ и страхомъ и видитъ освѣщенное заревомъ пожара оконце въ подземельѣ, а изъ этого оконца, изъ-за желѣзной рѣшетки, выглядываютъ худыя, изможденные лица невольниковъ, обросшихъ бородами.—„Боже, да это-жъ козаки!“— „Были когда-то, братику, козаками, а теперь невольники“... И Грицько ногою разбиваетъ тюремную дверь, и оттуда, гремя кандалами, выскакиваютъ узники—цѣлуютъ его и плачутъ, цѣлуютъ и молятся... А Кафа горитъ, Кафа пылаетъ...

— А какъ ты попала сюда, доню, изъ Острога?

— Я, тату, пришла къ петерскимъ угодникамъ молиться за...

— За Грицько?—улыбнулся отецъ.—А старики еще живы?

— Живеньки еще—и дѣдусъ, и бабуся, слава Богу.

Голоса ихъ заглушены были ревомъ толпы, которая привѣтствовала Сагайдачнаго. Недалеко отъ Софійскаго собора, на площади, у золотыхъ воротъ, казаки встрѣчены были всею мѣстною знатю—польскими панами и русскими. Тутъ были и князь Янушъ Острожскій, и Іеремія Вишневецкій, и молодой господаричъ Петръ Могила, попрежнему грустный и задум-

чивый. Они раньше казаковъ возвратились изъ похода, не успѣвъ достигнуть ни одного татарскаго загона. Былъ тутъ и патеръ Загайло, и болтливый панъ Будзило, который во время кремлевскаго сидѣнья съѣлъ своего гайдуга безъ соли; тутъ же торчала и неуклюжая фигура Мелетія Смогрицкаго въ огромныхъ чеботищахъ. Рядомъ съ Геремією Вишневецкимъ стоялъ, опираясь на свой старческій посохъ, панъ Кисель, сѣдая бородо котораго отливала серебромъ подъ лучами яркаго утренняго солнца. Тутъ же была и панна Софія съ своей матерью.

А колокола звонять все громче и громче. Передніе ряды казаковъ уже поровнялись съ золотыми воротами. Сагайдачный проѣзжаетъ мимо пановъ и кланяется имъ, привѣтливо снявъ шапку съ перомъ. Передніе бунчуки также наклоняются въ знакъ отданія чести вельможнымъ панамъ.

— А каковъ лайдакъ этотъ Сагайдакъ, яснеосвѣщенный ксенже?— лукаво улыбается Острожскому Мелетій Смогрицкій. — Цезаремъ смотреть!

Острожскій ничего не отвѣчаетъ.

— А вѣрно въ Острогѣ въ школу босикомъ ходилъ! — не унимается Мелетій.

У собора Сагайдачный сошелъ съ коня и приложился къ иконѣ.

— Буйте здоровы, пане Загайло! — окликнулъ кто-то благочестиваго патера.

Удивленный Загайло глянулъ въ ряды казаковъ. Двое изъ нихъ вышли изъ рядовъ и приблизились къ нему: это были Грицько и Юхимъ.

— Не узнаете насъ, пане? — спросилъ Грицько.

Патеръ молчалъ.

— Какъ, коней своихъ не узнаете? — продолжалъ Грицько.

— Да вы на насъ ѣздили, пане, въ таратайкѣ, — пояснилъ Юхимъ, — теперь мы изъ коней козаками стали.

— Перекозачились, — засмѣялся Грицько, — были кони, да перекозачились.

— Езусъ-Марія! — только и нашелся изумленный патеръ.

Подъ неумолкаемый гулъ церковныхъ колоколовъ слышались радостные возгласы привѣтствій и поздравленій. Знакомые и незнакомые здоровались, обнимались и цѣловались, какъ „на великдень“. Матери обнимали возвратившихся изъ похода или изъ неволи сыновей-казаковъ, жены мужей и братьевъ; „дивчата“ находили потерянныхъ и давно оплаканныхъ жениховъ; возвратившіеся изъ плѣна „батьки“ не узнавали повзрослыхъ изъ пеленокъ и рубашенокъ своихъ „хлопчиковъ“ и дѣвочекъ. Ручьями лились слезы радости; но рядомъ съ ними, у другихъ по блѣднымъ и горестнымъ лицамъ текли слезы отчаянія: слышались стоны по убиеннымъ и умершимъ въ далекой сторонѣ. „Охъ, откуда-жъ мнѣ тебя, орле сизый, ожидать, съ которой стороны тебя, сыночку мой, выгладать!..“

Въ числѣ богомолковъ, пришедшихъ въ Кіевъ изъ Острога, виднѣлась блѣдная, похудѣвшая Катря, покоювка хорошенькой паняны Людвиси, княжны Острожской. Она жадно прислушивалась къ тому, что рассказы-

валъ собравшейся кучкѣ кіевлянъ бывшій джура Ерема, и слеза за слезой катились изъ-подъ ея длинныхъ рѣсницъ.

— Одинъ я, братцы, въ живыхъ остался, а какъ — и самъ не знаю. Какъ налетѣли это на насъ поганые бесерметы — и видимо ихъ не видно, да и начали крошить нашихъ. А наши молодцы сами непромахъ: одинъ Ѳеодоръ Безродный что ихъ уложилъ!

— О-охъ! Мати Боже! павна найсвѣтша! — застоналъ кто-то въ толпѣ.

— Только же, братцы, и прорва ихъ, аспидовъ, навалила! Ну и осилили нашихъ — всѣхъ до одинаго постѣкли да пострѣляли...

— А Хведора Безроднаго?

— И Ѳеодора пострѣляли да порубили.

— О-о!.. и кто-то упалъ въ толпѣ богомолковъ. Это упала смугленькая, какъ цыганочка, покоювка княжны Острожской... Не ждатель ей больше того, кого она ожидала...

XXVII.

Прошло семь лѣтъ. За эти семь лѣтъ имя Сагайдачнаго завоевало себѣ безсмертную славу въ исторіи Украины и Польши. Въ то же время имя это стало страшнымъ и ненавистнымъ у сосѣдей Украины — въ Крыму и Турціи.

Не наше дѣло изображать бурную политическую жизнь героя Украины — какъ онъ свято соблюдалъ союзъ съ Польшею, какъ спасалъ ее отъ турокъ и крымцевъ, какъ, вѣрный своимъ союзникамъ-полякамъ, спасалъ своего королевича: это дѣло правдивыхъ историковъ.

Для насъ же болѣе симпатична личная жизнь этого суроваго „козакаго батька“. Жизнь эта была полна поэзіи, хотя мало кто зналъ всю теплоту души и юношескую свѣжесть чувствъ этого сивоусаго юноши. Знала это только Настя Горовая, „шинкарька молодая“, къ которой онъ когда-то явился оборвышемъ, потомъ — Ганджою Авдыберомъ, а потомъ... это уже секретъ Насти...

Такъ прошло, говоримъ, семь лѣтъ со времени возвращенія казаковъ въ Кіевъ послѣ разоренія Кафы и Синопа. За это время Сагайдачный не разъ видѣлся съ Настей, которая уже жила въ Кіевѣ, но не въ качествѣ шинкарьки, а въ качествѣ „честной вдовы“. При этихъ свиданіяхъ они, вспоминая старое времячко, непремѣнно говорили о „бранкѣ“ Хвесьи и оплакивали ее: Хвесья была тѣмъ свѣтлымъ воспоминаніемъ въ ихъ жизни, которое не вытравили изъ ихъ сердца ни годы, ни жизненные бури.

Сагайдачный опять въ полѣ съ своими казаками „сиромахами“. На Польшу, по злобѣ на этого же Сагайдачнаго, султанъ Османъ ведетъ болѣе чѣмъ полумилліонное войско.

Войска сошлись у Хотина. Во главѣ казаковъ былъ все тотъ же хму-

рый и молчаливый Сагайдакъ съ Стецькомъ Мазепою и Небабою. И „дурненскій“ Хома тутъ же, и Карпо Колокузни, и Грицько, и Юхимъ изъ Острога, и Хорько Макитра изъ Переволочны. Не было только „татарочки“, которая оставалась у Наси Горовой въ качествѣ пріемной дочери.

Въ главѣ польскихъ польскихъ хоругвей стоялъ величественный Ходкѣвичъ съ цвѣтомъ польскаго „рыцарства“.

Каждый день идутъ стычки, и только ночи даютъ роздыхъ воинамъ.

Ночь, августовская ночь, довольно свѣжая... Съ сѣвера, съ Москвитины, холодный вѣтеръ гонить по небу сѣрыя тучи, которыя отъ времени до времени серебрить молодой, остророгій мѣсяцъ, то и дѣло ими заволакиваемый.

Недалеко отъ берега Днѣстра пылаетъ костеръ; вокругъ него расположилась кучка казаковъ.

— Ты что, Хома, задумался? объ чемъ? — заговорилъ сѣроглазый Грицько, кладя красный уголекъ въ свою трубку.

— Тсс! — предостерегъ товарищъ Карпо: — молчите!

— Что такое?

— Да вонъ, что-то крадется въ бѣломъ.

— А ну, бѣги, Хома, поймай.

— Чорта съ два! Пускай Хорько ловить.

— А въ самомъ дѣлѣ, чтобъ оно такое значило, братцы? — серьезно заговорилъ Карпо, вставая съ турьей кожи, которая была разостлана у костра и съ которою онъ не разлучался.

— Да, надо поймать, — согласился и Грицько.

— Можетъ, это бранка убѣгаетъ отъ татаръ.

— А можетъ — та „бѣлая бранка“, что пролетала надъ Кафою.

Отъ костра отдѣлились двѣ фигуры и тихо поползли къ тому мѣсту, гдѣ показалась было бѣлая, таинственная фигура и исчезла за ближайшимъ кустарникомъ.

Прошло нѣсколько минутъ. Вдругъ за кустарникомъ послышался испуганный женскій крикъ:

— Господи!.. Ратуйте!

— Поймали!

Всѣ вскочили на ноги и бросились къ кустарнику.

— Не пугайте ее, братцы! Ведите сюда, къ костру.

— Да не кричите, вражьи дѣти! Татары почуютъ.

Скоро показалась и бѣлая женщина, сопровождаемая Грицькомъ и Макитрою.

— Да ты кто-жъ такая? — ласково спрашивалъ послѣдній.

— Я бранка-полонянка.

— Изъ какого мѣста?

— Изъ города Черкась.

— А давно полонена?

— Давно — лѣтъ десять будетъ.

— А кто будетъ твой отецъ съ матерью?

— Я родомъ изъ мѣщанскаго стану... Батька не помню, а мать звали Анастасією Горовою...

— Какъ! Нasti Горовой дочка!—вскричали почти всѣ разомъ.

— Да она-жъ теперь живетъ въ Кіевѣ, и у нея наша татарочка, — пояснилъ Хома.

Казаки только руками всплеснули, когда бѣлая женщина подошла къ костру, и пламя освѣтило ея красивое, бѣлое, съ черными бровями личико, полуприкрытое длинною бѣлою чадрою.

— Святая Покрова! Да это-жъ Хвеса, санджакова бранка!

— Да она-жъ! Она и ключи намъ достала отъ Кафы.

Вотъ батько Сагайдакъ обрадуется!

Это была дѣйствительно Хвеса. Холодъ августовской ночи и страхъ за свою жизнь лишили ее силъ. Она вся дрожала и едва стояла на ногахъ. Трепетно, бѣлою, унизанною дорогими перстнями рукою она постоянно крестилась; ея поспѣвавшія губы шептали молитву.

Дѣвушку усадили у костра. Грицько накиннулъ ей на плечи свой жупанъ. Ласковыя, родныя рѣчи, участливыя слова, добрыя лица земляковъ— все это было слишкомъ неожиданно для бѣглянки. Она закрыла лицо руками и тихо заплакала.

Плачь, плачь, бѣдная!—участливо проговорилъ кто-то сзади:—отъ слезъ на сердцѣ полегишаешь.

Всѣ оглянулись. То былъ старый, совсѣмъ сивый Небаба. Ему не спалось въ своемъ атаманскомъ шатрѣ, и онъ подошелъ къ костру. Узнавъ, кто была эта бранка, онъ радостно и благоговѣнно перекрестился.

— Хвеса! дитятко!—заговорилъ онъ дрожащимъ голосомъ.

— Тату! это ты!—бросилась къ нему бранка:—тату любимый!

— Нѣту, дитятко,—я не твой батько, я—Хвилонъ Небаба... Я зналъ тебя еще вотъ такую—съ локоть ростомъ—и на рукахъ носилъ тебя, и про „сороку“ пѣлъ...

— А гдѣ мой тато?

— Тутъ же, дитятко, недалеко.

— Я къ нему хочу.

— Постой, рыбка!.. Пускай уснетъ—ему недужилось сегодня.

— Онъ хворый? Я хочу его видѣть... Бѣдный мой татуня!

— Нѣтъ, ясочка моя, я не пушу тебя сегодня къ нему; пусть завтра утормъ... Какъ же ты ушла? Какъ попала сюда?

— Мой господинъ, санджакъ, уѣхалъ сегодня къ султану: за нимъ пріѣзжалъ чаушъ; я оставалась въ его ставкѣ съ рабами и евнухомъ... Евнухъ отлучился къ другому евнуху, что у Калги-хана, а часовыхъ я напоила... Да меня и слушались всѣ... И вотъ я съ вами... Богородица Пречистая.

Хвеса снова начала креститься. Бѣдное лицо ея покрылось румянцемъ.

— Такъ ты, рыбка, не потурчилась?—робко спросилъ старикъ.

— Нѣтъ, дядечку, Богъ миловаль... Я не Маруся Богуславка.

— Слава Богу... Ну, а того, сказать бы... тее того...

Старикъ замаялся. Онъ хотѣлъ что-то спросить, но не рѣшался.

— Что, дядечку?

— Да какъ оно... тее... насчетъ, сказать бы... какъ его... Дѣтки у тебя есть?

— Слава Богу—не было,—стыдливо отвѣчала бранка.

— И то славу Богу; а то не бѣжала бы, поди, отъ дѣтей.

— А Расскажи, будь ласкова, Хвесю, какъ ты это сгнула отъ насъ въ Кафѣ?—спросилъ вдругъ Карпо:—точно въ воду канула.

— Да-да,—подтвердилъ Небаба.

— Ужъ и грималъ же на насъ за тебя батько, что мы упустили тебя,—попсынялъ Карпо:—вотъ грималъ! У, не приведи Богъ!

— Да-да, сто копанокъ! чуть кѣими ихъ не накормилъ,—подтвердилъ Небаба, раскуривая люльку.

— Только вотъ дядька Хвилонъ и упросилъ.

— Вотъ какъ это было,—начала Хвеса, снимая съ головы чадру, къ которой и въ десять лѣтъ неволи она не могла привыкнуть. — Когда я вошла въ палацъ санджака, меня тамъ ужъ поджидали другіе его невольники и невольницы. Они знали, что всѣмъ имъ достанется за меня отъ санджака—а его не было въ городѣ—такъ они схватили меня, завязали мнѣ ротъ и голову, да потайнымъ ходомъ изъ крѣпости и вывели... Два дня потомъ прятались со мною въ горахъ, пока санджакъ не воротился изъ Бахчисарая... Ахъ, что тогда со мною было! Съ той поры санджакъ ни на шагъ не отпускалъ меня отъ себя: куда самъ—туда и меня везетъ.

Вдругъ со стороны турецкаго обоза раздались выстрѣлы.

— Тревога, панове! До брони!

— А, сто копанокъ!—не удастся и сегодня соснуть нашему батькови... Берегите, панове, Хвесю: ужъ въ другой разъ Сагайдакъ не спуститъ вамъ.

Тревога началась по всей линіи.

Блѣдную, трепещущую Хвесю богатырь Хома взялъ на руки, какъ ребенка, и бѣгомъ пустился вдоль берега Днѣстра.

Натискъ татаръ на казацкое войско былъ страшно стремителенъ; бѣшеный какой-то кафинскій санджакъ съ своими мурзами и перекопскими наѣздниками, какъ бурный потокъ, пробился сквозь казацкіе ряды до самаго крайняго обоза, почти до палатки Сагайдачнаго, куда—онъ увѣренъ былъ—скрылась его прекрасная бѣглянка, золотокося ханымъ—Хвеса; но казаки, съ самымъ „батькомъ“ Сагайдакомъ и Небабою въ головѣ, сомкнутой лавы, выдержали убійственный натискъ гикающихъ и алакающихъ хищниковъ, покрыли все пола трупами ихъ, опрокинувъ остатки недобитаго скопища въ болото.

Сѣрое, чуть брежжущееся утро застало казаковъ уже на возвратномъ

пути съ кровавой сѣчи. Но тутъ страшная вѣсть пронеслась по ихъ разстроеннымъ рядамъ:

— Батько пропалъ! Гетмана нигдѣ не видать!

— Убили батька! убили проклятые!

— Кто видѣлъ?... гдѣ?... когда?

— Заарканили, говорятъ, гетмана... На арканѣ утащили...

— Будь мы всѣ прокляты, что допустили до этого!

— Впередъ, братцы! Либо гетмана добыть, либо живыми не быть!

— Срамъ на наши головы! И насъ громомъ не побилъ, проклятыхъ!

— Либо гетмана добыть, либо живыми не быть!—осилилъ всѣ голоса могучій и хриплый голосъ Карпа Колокузни, и казацкая конница направила свой бѣшеный скокъ въ обходъ разстроеннымъ татарскимъ загонамъ.

— Стой, черги! стой! Раздавите батька гетмана, раздавите, родовы дѣти!

Ближайшіе кони шарахнулись въ сторону при видѣ какого-то гиганта, который несъ что-то на плечѣ, поддерживая лѣвою рукою, а правой неистово махая саблей.

— Да стойте же, чортовы выродки! Я гетмана несъ—стой!—кричалъ гигантъ, отмахиваясь отъ налетавшихъ на него коней.

— Да это Хома, братцы!

— Хома-жъ и есть!—удивлялись казаки:—какого чорта ты на дорогѣ сталъ?

— Да какого собачьяго сына ты несешь?

— Татарина, что-ли, поймалъ, дурный?

— Отой-и! не тронь! не подступайте, дьяволы,—зарублю!—дико кричалъ Хома, сверкая въ воздухѣ саблей.

— Да что ты—взбѣсился, что-ли? Что на своихъ лѣзешь!

— Отойди прочь! Я батька несъ!

— Какъ батька: что ты!

— Батька... пана гетмана... убитаго...

— Господи! Батька убили!...

— Убили! Пана гетмана убили... Вотъ онъ мертвый... Мати Божая!

Могучій стонъ прошелъ по полю: — Сагайдачнаго убили! Мертваго гетмана нашли!

Всѣ бросились съ коней, тѣснились къ той группѣ, въ серединѣ которой обезумѣвшій отъ горя и злобы великанъ продолжалъ размахивать саблей, боясь потерять дорогой трупъ. По многимъ лицамъ, никогда не ощущавшимъ на своихъ щекахъ слезъ, теперь текли горячія слезы...

— Не подходи!—безумствовалъ великанъ:—живого батька не уберегли, собачьи дѣти: потеряли живого батька—теперь хотите мертваго потерять... Прочь! Не подходи! Зарублю!

— Хомо, братику, что съ тобою?

— Прочь! Не подходи! Онъ еще теплый—никому не дамъ...

— Хомо! что ты! Дай его—положи...

— Убью! Не дамъ! Прочь!

— Возьмите его, сто копанокъ! Сзади хватайте, дьявола! За ноги!—
вотъ такъ!

— Вали его наземъ! Держи!

— Да легче! батька не зашибите! Не уроните гетмана!!

Съ трудомъ удалось осилить обезумѣвшаго гиганта и вырвать у него изъ рукъ дорогой трупъ героя Украины, славнаго казацкаго вождя, теперь блѣднаго, неподвижнаго, такого, повидимому, маленькаго, жалкаго. Его бережно положили на разостланные наземъ казацкіе жупаны. Изъ нѣсколькихъ рабъ еще сочилась черная кровь, окрашивая собою бѣлую сорочку:—нечаянный набѣгъ татаръ не далъ возможности казацкому вождю хорошенько одѣться и застегнуть свой темномалиновый бархатный кунтушъ съ „контцами“.

— Мати Божа!.. смотрите, панове!.. булава-то!

— Гетманская булава въ рукѣ! Вотъ диво: мертвая рука булаву держать!

— Не выпустилъ, голубъ снзый, булавы своей—не отдашь поганымъ, и мертвый не отдашь.

— До смерти додержалъ гетманскія клейноты, вотъ такъ гетманъ!

Дѣйствительно, мертвый гетманъ былъ съ булавою: закопченъѣлая рука его держала дорогой казацкій клейнотъ.

Въ скучившейся около мертвеца толпѣ произошло движеніе.—Разступись, панове,—пропустите, пропустите небогу, дай дорогу панночкѣ, панове!

На трупъ гетмана бросилась женщина съ золотомъ, растрепавшеюся косою и, припавъ головой къ его холодному лицу, такъ и закрыла его золотыми волосами.

— Тату мой! родной мой!

— Хвесю! дитятко! не убивайся! — плакалъ Небаба, уткнувъ свое старое лицо въ мозолистыя ладони.—Такъ было Богу угодно.

— Татуню мой! Солнышко мое!.. Охъ... да онъ еще теплый! Онъ... онъ... охъ!.. онъ живой еще!.. онъ дышетъ!.. Тату! тату!.. Охъ!.. онъ открылъ глаза!.. смотрите!.. Татуню мой! не закрывай ихъ больше!

Сагайдачный дѣйствительно открылъ глаза. Онъ не былъ мертвъ.

Въ Кіевѣ, въ одной изъ просторныхъ келій Братскаго монастыря, нѣкоторые изъ высшихъ монастырскихъ властей и изъ казацкой старшины собрались около постели умирающаго ктитора этого монастыря.

Умирающій ктиторъ былъ — гетманъ Петро Конашевичъ-Сагайдачный. Полученныя имъ подъ Хотиномъ раны, которыя онъ мужественно принялъ на себя, защищая Польшу и дорогую Украину съ не менѣе дорогимъ для него существомъ — несчастною половянкою Хвесею, — оказались смертельными.

Тихо вокруг постели умирающего. Сейчас только онъ говорилъ окружающимъ его свою послѣднюю волю, но это усиліе до того ослабило его уже разрушенный ранами и предсмертными страданіями организмъ, что онъ впалъ въ минутное забытѣе.

Всѣ молчали. На суровомъ лицѣ стоявшаго у постели стараго друга умирающаго, Хвилона Небабы, просвѣчивало какое-то тихое, глубокое умиленіе. На лицѣ этомъ написана была мысль: „сподоби, Господи, такой праведной кончины всякаго добраго казака—умереть отъ ранъ за мать Украину да за ея дѣтокъ“. Тутъ стоялъ и Хома, который не отходилъ отъ своего батки съ той минуты, какъ полу-умирающаго вынесъ его на своихъ плечахъ изъ кровавой сѣчи. Не то, что у Небабы, читалось на добромъ, похудѣвшемъ отъ горя лицѣ этого простоватаго богатыря: его, какъ богатыря тѣломъ, пугала эта невидимая для него сила—эта смерть, какая-то „бабуся“ съ косой, которая даже самого „батка“ осилила, да и его, богатыря Хому, осилить.

Тутъ былъ и Петръ Могила, значительно возмужавшій и, повидимому, еще болѣе, чѣмъ когда-либо, грустный и задумчивый.

За изголовьемъ умирающаго стоитъ немолодая уже женщина, но еще красивая. Изъ-подъ чернаго, какъ-бы чернеческаго, платка кое-гдѣ сверкаютъ пряди золотыхъ съ яркими серебряными нитями волосъ. Черные глаза ея заплаканы до опухли вѣкъ. Это—бывшая „Настя Горовая, шинкарочка молодая“, дочь которой, такую же золотоволосую бранку Хвесею, взялъ къ себѣ „въ приемы“ умирающій гетманъ, послѣ того, какъ ей подѣ Хотинномъ удалось какимъ-то образомъ вѣжжаты въ казацкій станъ изъ полону, отъ своего ревниваго кафѣнскаго санджака. Хвесея стоитъ на колѣняхъ у своего умирающаго „татуни“ и дрожащею рукою поправляетъ подѣ его сѣдою головою подушки—бѣлая, какъ и сѣдина умирающаго гетмана. Тутъ же стоитъ и Настина „прійма“—черноволосенькая и черномазенькая „татарочка“, которую Хома выносилъ на своихъ богатырскихъ рукахъ до одиннадцати лѣтъ и теперь мечтаетъ на ней въ скорости жениться.

Сагайдачный глубоко вздохнулъ и открылъ глаза. Хвесея прекрестилась.

— Это ты, доню?—слабо спросилъ умирающій.

— Я, таточку.

— Положи мою руку къ себѣ на головку... я хочу... слышать тебя...

Хвесея исполнила это желаніе умирающаго и припала головой къ его груди.

— Бѣдное, бѣдное мое дитятко... Не довелось мнѣ пожить съ тобою... На неволю родилась эта головка бѣдная, золотая головочка!—тихо шепталь Сагайдачный, и двѣ крупныя слезы выкатились изъ его конвульсивно заморгавшихъ глазъ и сбѣжали на подушку.

— А мама гдѣ?—также тихо спросилъ старикъ.

— Я тутъ, Пестро,—почти шепотомъ отвѣчала, перегибаясь чегезъ изголовье, та, которую когда-то называли „Настей кабашною“.

Сагайдачный глянул на нее, силясь улыбнуться, потом перенес свой взор на наклоненную к нему на грудь голову Хвеси и остановился на „татарочкѣ“.

— Береги ихъ, Настя, и ту, татарочку, береги... У нея никого нѣтъ... Мы у нея все отняли—и отца, и мать, и пышную Кафу... неволю козацкую... разлуку христіанскую...

Онъ остановилъ свой просвѣтлѣвшій взоръ на молча стоявшихъ у его постели боевыхъ товарищѣхъ.

— Будете, дѣтки, помнить мое смертное слово?—заговорилъ онъ болѣе сильнымъ голосомъ.

— Будемъ; батько, будемъ!—глухо отвѣчалъ Небаба.

— А ты, Хвилоне-друже, передай всѣмъ дѣткамъ мою волю—ты ее знаешь.

— Знаю, батько.

Больной заметался на подушкахъ—ему тяжело было дышать.

— Охъ, широко я загадывалъ, дѣтки... да не дожиль... не увижу Украину въ славѣ... не раздавилъ крымскаго звѣря... А святѣйшій патріархъ благословилъ меня на это... сказалъ: буду я въ Іерусалимѣ, у гроба Господа Спаса, молиться за Украину... и за дѣтокъ ея...

Всѣ молчали. Небаба сердито смахнулъ слезу, которая катилась, словно горошина, черезъ сивый усъ.

— Широко... широко загадывалъ... Скажите Іову... святѣйшему отцу митрополиту... Украина... Польша... Гдѣ Могила?

— Я здѣсь, ясневельможный гетманъ.

— Добывай Волощину...

За окномъ закаркалъ воронъ. Сагайдачный широко раскрылъ глаза.

— Воронъ кричать... недоленьку четь... Надо мною кричать... въ полѣ лежитъ козакъ... пострѣленный, порубанный... то Хведоръ Безродный... Гдѣ Хвеса?

— Та я-жъ тутъ, таточка!

— Не давайте имъ Украины... Зажигай, Хвилоне, галеры... Какъ горить Кафа... Алканъ-паша, трапезонское княжа... Берегите Хвесю—золотое яблочко... Хвеса... Ганджа-Андыберъ—у Насти Горовой... не узнали дуки сребляники... Прощай, Украина, прощай, мать...

Черезъ нѣсколько дней хоронили Сагайдачнаго. День былъ пасмурный. Вѣтеръ гналъ по небу сѣрыя облака. Они безформенными массами двигались къ югу, словно бы затѣмъ, чтобы пронестись надъ Запорожьемъ, Крымомъ и Чернымъ моремъ и разнести по всему югу вѣсть о смерти того, кто долго заставлялъ трепетать этотъ роскошный югъ. У стѣнъ Братскаго монастыря глухо шумѣли вербы. Колокола уныло звонили.

У гроба и у могилы славнаго гетмана собрался почти весь Кіевъ. Молодые „спудеи“, или студенты Братской школы, громко пѣли своему ктитору „вѣчную память“. Ректоръ ихъ, Кассіянъ Саковичъ, подоиди къ гробу, изъ котораго отчетливо выглядывало восковое лицо покойника съ длинною апостольскою бородою, развернулъ листъ бумага и, глядя въ лицо мертвецу, дрогнувшимъ отъ волненія голосомъ заговорилъ подъ шумъ вѣтра:

Несмертельной славы достойный гетмане!
Твоя слава въ молчаніи нѣкгда не зостане;
Пока Днѣпръ съ Днѣстромъ многорыбные плынути
Будуть—поты дѣлности тежъ твои слынути.

Вербы своимъ порывистымъ шумомъ иногда заглушали слабый голосъ чтеца.

Казаки наполовину не понимали, что читалъ пѣнта, но угрюмо слушали.

Иногда слышались тихія, сдержанныя женскія всхлипыванья.

Недалеко отъ гроба стоялъ Могила и сосредоточенно глядѣлъ въ восковое лицо мертвеца, какъ бы силясь слушать оратора, но не понимая его. Отъ лица покойника глаза Могила машинально перенеслись на казаковъ, стоявшихъ понуро, на Небабу, Мазепу, на Хому, глубоко убитаго, на духовенство, на семьи пановъ, пришедшихъ въ послѣдній разъ поклониться славному мертвецу.

Могила показалось, будто порывомъ вѣтра разогнало тучи и на печальную процессію глянуло солнце. Но это былъ обманъ его нервовъ—не порывъ вѣтра, а порывъ его дрогнувшаго сердца: на восковое лицо покойника глядѣло съ кроткой задумчивостью то дорогое для него личико, которое онъ вотъ уже восьмой годъ носилъ въ душѣ, какъ святыню. Но личико это скоро скрылось.

Оттертый толпою, Могила нечувствительно очутился въ самомъ отдаленному углу монастырской ограды, гдѣ надъ могильными плитами глухо шумѣли густо разросшіяся вербы и тополи. На дальней плитѣ, полузакрытой кустомъ шиповника, сидѣла та, которую онъ искалъ скорѣе сердцемъ и нервами, чѣмъ мыслью.

Онъ робко, съ глубокимъ смущеніемъ подошелъ къ ней. По ея лицу онъ замѣтилъ, что дѣвушка сейчасъ только отерла слезы.

— Панна плакала?—все такъ же робко спросилъ онъ.

— Да, панъ, такое горькое зрѣлище! — отвѣчала дѣвушка, не вставая съ плиты.

— У панны доброе, жалостливое сердце.

Дѣвушка молчала, какъ бы прислушиваясь къ пѣнію надъ покойникомъ.

— Панна Софія, простите меня,—заговорилъ Могила еще болѣе робко, и слезы слышались въ его голосѣ,—простите... Но я еще разъ позволю

себѣ повторить мой вопросъ: панна не перемѣнила своего рѣшенія? Богомъ умоляю васъ, скажите: что мнѣ дѣлать?

— Я уже сказала вамъ: добывайте корону вашихъ отцовъ, — почти шепотомъ отвѣчала дѣвушка.

— Но для кого, дорогая панна?

— Для пана.

— А для панны?

Дѣвушка грустно покачала головой.

— Но безъ панны мнѣ не нужны короны всего міра.

Дѣвушка улыбнулась.

— Панъ говорилъ то же самое и паннѣ Людвигѣ, княжнѣ Острожской.

Могла вздрогнуть и поблѣднѣть.

— Я не ожидалъ, что панна такъ жестока! Панна плакала надъ людскимъ горемъ, и за это я полюбилъ ее. А надъ моимъ горемъ она смѣется... Панна Софія!

Дѣвушка встала.

Свѣтлые, ясные глаза ея блеснули слезой.

— Простите меня, мой добрый, дорогой панъ! — горячо заговорила она. — Я не хотѣла васъ обидѣть.

— Дорогая моя! святыня души моей! скажите же! Рѣшайте судьбу всей моей жизни!

Дѣвушка опять грустно опустила голову.

Изъ за вербъ доносилось скорбное, за душу хватающее пѣніе „помилуй, помилуй раба твоего!“

— Помилуй, панна! помилуй раба твоего! — какъ-то простоналъ голосъ надъ самымъ ухомъ дѣвушки.

Она вздрогнула.

— О, мой дорогой, мой милый панъ! — порывисто заговорила она, — простите меня! Забудьте меня, забудьте, мой бѣдный!.. Ищите вашу корону, ищите другую голову дѣвушки, достойную носить эту корону... Но я — забудьте меня, панъ, добрый мой, честный! Я должна, наконецъ, все сказать пану: я не принадлежу себѣ, я...

— Какъ! Панна Софія!..

„Со святыми упокой“, — доносится рѣжущее по душѣ мертвогласованіе.

— Я принадлежу Богу, панъ... Я посвятила себя Ему... Не корона покроетъ мою голову, а чернечскій клобукъ прикроетъ тоску мою.

— Панна! ради Бога!

— Мой добрый! успокойтесь... Я бы любила васъ, если-бъ судьба не разбила моего сердца: — мнѣ нечѣмъ любить васъ... Того, кому я разъ отдала сердце, нѣтъ на свѣтѣ — въ могилу съ собой онъ унесъ и мое сердце... Его убили подъ Цоцорой о бокъ съ Хмельницкимъ, отцомъ его, а другіе говорятъ, что его въ полонъ взяли...

— Хмельницкій! Зиновій Богданъ Хмельницкій!

Могила закрылъ лицо руками, какъ бы желая раздавить и его, и голову.


Когда онъ отнялъ руки отъ лица, дѣвушки уже не было около него. Только вербы шумѣли надъ нимъ, да надъ гробомъ Сагайдачнаго плакали хоръ со всѣхъ кievскихъ церквей: „вѣчная, вѣчная, вѣчная память!“

А тамъ загрохотали пушки. Это казаки провожали своего батька „у далеку-далеку дорогу“.

К О Н Е Ц Ъ.



СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. Мордовцева.



ГОСПОДИНЪ
ВЕЛИКІЙ НОВГОРОДЪ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ.

— — — — —
Томъ III.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. О. Мертца
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 5-го января 1901 г

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“, Фонтанка, 95.

I.

Избраніе владыни.

Мнѣ бы хотѣлось перенести читателя въ глубокую древность, въ которой витають теперь моя мысль, сердце и воображеніе, словно губка, на-питанная картинами, образами, рѣчами и звуками этой чарующей своею таинственностью древности.

Правда, это не та далекая, поэтическая, закутанная дымкою тысячелѣтій, сѣдая древность Востока, куда переносить своего читателя высоко-даровитый Эберсъ, подѣ художественнымъ перомъ котораго оживаетъ таинственная жизнь древняго Египта — Египта временъ фараоновъ и Моисея, а давно умершіе цари и царицы страны Нила, ея жрецы и воины, „парасхиты“ и „Уарды“, давно истлѣвшіе подѣ знойнымъ солнцемъ юга, либо въ видѣ мумій спящіе непробуднымъ сномъ въ пирамидахъ да въ разныхъ европейскихъ музеяхъ, встають передѣ нами какѣ живые, съ ихъ радостями и печальми, любовью и ненавистью.

Это и не та миѳическая древность временъ Цимбеллина, ни классическая древность Эллады и Рима, въ которую иногда переносить насѣ геніальное, неистощимое творчество величайшаго изъ рожденныхъ женщиною смертнаго — Шекспира.

Древность, въ которую я хочу перенестись съ моимъ читателемъ — только относительно глубокая; но это наша родная, русская древность, кровавымъ, такъ сказать, пятномъ засохшая на исторической памяти московской Руси. Это — древность „Господина Великаго Новгорода“ съ его вольною вѣчевою жизнью, когда подѣ звонъ „вѣчнаго“ колокола собирался къ „Ярославову дворищу“ или на Софійскій дворъ весь „Господинъ Великій Новгородъ“ съ его знатыми мужами и посадниками, съ степенными тысяцскими и боярами, съ богатыми гостиными и „пошлыми“ купчинами, съ „лучшими старыми“ и молодыми людьми“, когда на вѣчахъ съ вѣчевого помоста держали рѣчь къ „Господину Великому Новгороду“ его излюбленные говоруны, когда тамъ же на ступеняхъ вѣчевого помоста шумѣли во все мужицкія горла „худые мужики вѣчники“ и привалившіе изъ пригородовъ, изъ дальнихъ „пятинъ“ и селъ „рольники“ и „обжиные тяглецы“

и когда вѣче превращалось въ бурное море, а провинившіеся передъ „Господиномъ Великимъ Новгородомъ“ ораторы и цѣлыя массы „недобрыхъ людей“ свергались съ великаго моста въ Волховъ, подобно идолищу Перунищу, и сотнями погибали въ его волнахъ, а дома ихъ и „животы“ брались недовольною стороною на „потокъ и разграбленіе“.

Мнѣ кажется, что я вижу передъ собой этотъ вольный, шумный, поражающій кипучею дѣятельностью и богатствомъ „великій градъ“. Передо мною встаютъ изъ развалинъ его старыя стѣны съ мрачнымъ „дѣтинцемъ“, видѣвшимъ въ себѣ еще Мстислава Удалого; передъ моими очами раздвигаются вширь и вдаль всѣ его пять „концовъ“ съ „улицами“, раскидываются на десятки и сотни верстъ его пригороды, которые такъ и кричатъ, кажется: „на чемъ Господинъ Великій Новгородъ постоитъ, на томъ и мы, пригороды, станемъ“. Встаютъ изъ развалинъ многочисленныя церкви и часовни этого „великаго“ города съ раскинутыми на десятки верстъ кругомъ монастырями, и во всѣхъ церквахъ ярко горятъ свѣчи во множествѣ массивныхъ паникадилъ, стоятъ тучи дыма отъ „темьяна“ и ладона и тремить хвала Великому Богу и святой Софін и вѣчная слава — „Господину Великому Новгороду“. Я слышу звонъ безчисленнаго множества колоколовъ, которые кричатъ до самаго неба Божью славу, и межъ всѣми этими колоколами особенною мелодію звучитъ для меня голосистый „вѣчный“ или вѣчевой колоколъ, отъ котораго „дрожало каждое новгородское сердце“. Передо мной встаютъ изъ могилъ славные „мужіе новгородстїи“, бородатые посадники, бояре и купчины гостинные, усатые удалые добрые молодцы — „хоробые ушкуйники“ съ Ваською Буслаевымъ во главѣ и съ Садко богатымъ гостемъ и его гусельцами звончатыми.

И все это — все величіе и богатство „Господина Великаго Новгорода“, его многолюдство, его шумныя вѣча, его торговыя площади, обширныя и густо населенныя „концы“, его испоконная свобода и право „показывать путь“ нелюбимымъ князьямъ и говорить имъ: — „иди, княже, откуда пришелъ — ты намъ нелюбъ“, — все это исчезло какъ дымъ...

Что теперь изображаетъ изъ себя „Господинъ Великій Новгородъ“? — жалкій губернской городишко, занимающій собою можетъ быть десятую долю своихъ обширныхъ развалинъ. Онъ изображаетъ отчасти то, что говорила якобы на вѣчѣ Марѳа-посадница, которой Карамзинъ влагаетъ въ уста слѣдующую цвѣтистую рѣчь: „скоро ударитъ послѣдній часъ нашей вольности, и вѣчевый колоколъ, древній гласъ ея, падетъ съ башни Ярославовой и навсегда умолкнетъ!... Тогда, тогда мы позавидуемъ счастью народовъ, которые никогда не знали свободы. Бѣ грозная тѣнь будетъ являться намъ подобно мертвецу блѣдному и терзать наше безполезнымъ раскаяніемъ!... Но знай, о Новгородъ! что съ утратою вольности исчезнетъ и самый источникъ твоего богатства: она оживляетъ трудолюбіе, изошряетъ серпы и златитъ нивы; она привлекаетъ иностранцевъ въ наши стѣны съ сокровищами торговли; она же окриляетъ суда новгородскія, когда они съ богатымъ грузомъ по волнамъ несутся... Бѣдность, бѣдность

накажетъ недостойныхъ гражданъ, не умѣвшихъ сохранить наслѣдія отцевъ своихъ! Померкнетъ слава твоя, градъ великій, опустѣютъ многолюдныя *концы* твои; широкія улицы заростутъ травой, и великолѣпіе твое, печезнуетъ навѣки, будетъ баснею народовъ. Напрасно любопытный странникъ среди печальныхъ развалинъ захочетъ искать того мѣста, гдѣ собиралось вѣче, гдѣ стоялъ домъ Ярославовъ и мраморный образъ Вадима: никто ему не укажетъ ихъ. Онъ задумается горестно и скажетъ только: здѣсь *былъ* Новгородъ! "...

Конечно, Марѳа-посадница не могла говорить *такъ*; но все, что она могла говорить другими словами, сбылось...

Эти-то послѣдніе дни независимости „Господина Великаго Новгорода“ и составляютъ предметъ нашего повѣствованія.

Мягкое морозное утро 15-го ноября 1470 года.

На колокольныхъ всѣхъ новгородскихъ церквей раздается торжественный трезвонъ. Подъ этотъ трезвонъ все населеніе Новгорода изъ церквей и домовъ повалило на Софійскую сторону, прямо черезъ Волховъ, по льду, и по „великому мосту“, кто успѣвалъ раньше другихъ попасть на мостъ.

Скоро Софійскій дворъ съ площадью около собора, и безъ того полные народа, окончательно запружены были колымавшимися массами. Народъ толпился и въ улицахъ и по всему „дѣтницу“, но цѣлое море головъ колыбалось около собора.

У святой Софіи только-что кончилась служба. Двери собора, несмотря на зимнее время, были растворены настежь. Въ воздухѣ слышался запахъ ладону. Всѣ головы и глаза обращены были къ паперти—ждали чего-то. Начиная отъ церковныхъ дверей, на паперти, на ступенькахъ соборнаго крыльца и около него стояли старосты „концовъ“, сотскіе и десятичники, поблескивая на солнцѣ бердышами. Среди нихъ терся слѣпой нищій, извѣстный всему Новгороду Тихикъ блажененькій—характерный типъ своего времени: „Христа ради юродъ“ и, за неимѣніемъ глазъ, духомъ своимъ „провидящій вся сокровенная“. Онъ прикасался то къ тому, то къ другому изъ старостъ и сотскихъ, трясъ косматою, нечесаною головою и идиотически улыбался. Въ рукахъ у него была длинная палка — посохъ съ ручкою въ видѣ семиконечнаго креста, на которомъ висѣли различной величины сумки. Двѣ большія сумы перекинута были, посредствомъ ремней, черезъ плечи, крестъ-на-крестъ.

Въ это время изъ соборныхъ дверей вышелъ на паперть священникъ въ полномъ облаченіи и съ крестомъ въ рукахъ. За нимъ показалась сѣдая голова съ золотою „гривною“ на шеѣ. Священникъ оскрѣпилъ крестомъ народъ на всѣ стороны—и тысячи рукъ замахахи въ воздухъ, творя крестное знаменіе. Отъ этого нѣмого движенія народныхъ массъ глухой гулъ прошелъ по площади и по всему „дѣтницу“.

— Братіе новгородьци! — раздался съ паперти скрипучій старческій голосъ:—жеребій Господень совершается! Молитесь святой Софіи, да укажетъ персть Божій на достойнаго владыку.

Тысячи рукъ снова замотались въ воздухѣ, и снова глухимъ гуломъ нѣмая молитва прошла по всему „дѣтинцу“.

— Сыщите, братіе, Тихика блаженнаго,—снова раздался тотъ же старческій голосъ.

— Тихика!.. Тишу блаженненькаго!—пронесся говоръ въ толпѣ.

— Здѣсь Тихикъ, здѣсь блаженный.

— Я тутотка, — отвѣчалъ самъ слѣпой нищій, ощупывая посохомъ землю и подходя къ паперти:—туто изгой Тишка... Подайте Христу!

И онъ протягивалъ руку, ожидая получить милостыню.

— Чадо Тихиче!—заговорилъ священникъ, осяняя нищаго крестомъ:—сотвори знаменіе.

Нищій перекрестился и поднялъ голову, поводя слѣпыми глазами и какъ бы ища чего-то въ воздухѣ. Священникъ приложилъ крестъ къ его губамъ.

— Гряди за мною, чадо,—продолжалъ священникъ: — тебѣ, слѣпорожденну, подобаетъ налѣзти жребій владыченъ; гряди за мною.

Нищій, стуча посохомъ по ступенькамъ соборнаго крыльца, взомель на паперть. Священникъ повернулся и пошелъ снова внутрь храма. Слепой слѣдовалъ за нимъ, ощупывая путь свой посохомъ. Всѣ разступались передъ ними.

Массы народа, заполнявшія площадь, еще болѣе понадвинулись къ собору. На лицахъ выражалось нетерпѣливое ожиданіе и какъ бы испугъ. Многіе со страхомъ крестились и глубоко вздыхали. Казалось, всѣ эти массы ожидали чего-то невѣдомаго, роковаго. То тамъ, то здѣсь слышался едержанный говоръ.

— Тишеньку слипеньково повели владыку вынимать.

— Слепой-ту зрячѣе у Бога, братцы, живеть.

— У кого-ту святая Софія дасть намъ во владыки.

— Отца Пимена, вѣдомое дѣло.

— А, можетъ, Варсонофья слѣпенькой выметъ.

— О, Господи и святая Софія, спаси градъ свой!

Между тѣмъ, слѣпецъ, слѣдуя за священникомъ, прошелъ черезъ весь соборъ и очутился у амвона. Въ церкви всѣ усердно молились, поглядывая въ то же время на царскія врата, которыя были открыты. Въ алтарѣ, вокругъ престола, собралось все высшее духовенство Новгорода. Именитые люди города, степенные посадники, бояре, знатные люди и гости, блистали золотымъ платьемъ и дорогими мѣхами, а иные массивными золотыми гривнами, занимали весь правый придѣлъ. Въ лѣвомъ придѣлѣ стояли женщины и почти всѣ жарко молились, не сводя глазъ съ темныхъ ликонъ иконъ и съ дорогихъ окладовъ. Впереди всѣхъ ихъ, у лѣваго клироса, на почетномъ мѣстѣ, стояла высокая, довольно дородная и уже немолодая боя

рыня, съ матовой бѣлизной смуглыхъ полныхъ щекъ и съ черными широкими бровями. Черные съ большими бѣлками глаза ея неподвижно устремлены были чрезъ царскія врата на престолъ, на которомъ стояла дароносица, покрытая богатыми воздушками; а около нея—три блюда, тоже прикрытыя каждое малиновою тафтою.

Женщина эта была—Мареа Борецкая или Мареа посадница; посадниками и посадницами называли въ Новгородѣ не только настоящихъ, дѣйствительныхъ посадниковъ и ихъ женъ, но и тѣхъ, которые когда-либо были на посадѣ, равно и жены ихъ всю жизнь назывались посадницами.

— Дерзай, чадо!—уже въ царскихъ вратахъ обратился священникъ къ нищему слѣпцу.

Слѣпецъ, продолжая посохомъ ощупывать полъ, поднялся на амвонъ и, сдѣлавъ передъ царскими вратами три земныхъ поклона, вошелъ въ алтарь и остановился у престола.

— Дерзай, рабе Божій Тихиче!—продолжалъ священникъ:—нынѣ престолу Бога жива предстони.

Слѣпецъ еще перекрестился. Рука его дрожала.

— Простри руку твою,—подсказывалъ священникъ.

Слѣпой протянулъ руку. Глаза всѣхъ находившихся въ соборѣ напряженно слѣдили за движеніемъ руки нищаго. Глаза же Борецкой, казалось, пожирали дрожащую руку слѣпца.

Рука эта дотронулась до одного блюда, покрытаго тафтой—до праваго. Разнородныя ощущенія прошли по лицамъ присутствовавшихъ въ церкви.

— Вознеси горѣ жребій сей, да узрять стоящій здѣ, — распоряжался священникъ.

Нищій поднялъ первое блюдо надъ головой. Къ нему подошелъ соборный протодіаконъ съ ораремъ на рукѣ и, бережно взявъ блюдо, возложилъ его себѣ на голову, какъ бы это былъ дискосъ съ агнцемъ пасхальнымъ. Потомъ вмѣстѣ съ священникомъ, державшимъ въ рукахъ крестъ, онъ вышелъ изъ алтаря и направился къ выходу изъ собора. За ними слѣдовалъ тотъ сѣдой бояринъ съ золотою гривною на шеѣ, который и прежде этого выходилъ на паперть. Это былъ посадникъ—глава „Господина Великаго Новгорода“. Всѣ глаза попрежнему напряженно слѣдили за движеніями этихъ трехъ лицъ.

Выйдя на паперть, протодіаконъ снялъ съ головы блюдо и подаль его посаднику. Посадникъ снялъ съ блюда тафту. Подъ тафтою оказалась свернутая дудочкою бумажка. Посадникъ развернулъ ее и прочелъ написанное на ней.

— Господине Великій Новгородъ! — громко произнесъ онъ, поднимая вверхъ бумажку:—смотрите—вотъ жребій преподобнаго Варсонофія!

— Варсонофій! Варсонофій!—прошелъ говоръ по площади и по всему „дѣтинцу“.

— Не быть владыкой Варсонофію—не на него палъ перстъ Божій.

Все заволновалось. Говоръ, хотя сдержанный, но могучій, какъ вско-

лыкнутое бурей море, волнами ходилъ по всему пространству, занятому народомъ.

— Отца Пимена! Пименъ во владыки!

— Не надо Пимена—онъ латынецъ!

— Теофила протодіакона! Теофила!

— Въ Волховъ Теофила! Онъ московской руки... холопъ княженецкій!

— Пимена въ прорубь! Пименъ похваляется: меня-де и въ Кіевъ пошлютъ на ставленье... я и въ Кіевъ пойду... Латынецъ онъ... литва хохлатая.

Между тѣмъ священникъ, протодіаконъ съ блюдомъ и посадникъ воротились въ соборъ. Первые два вошли въ алтарь, гдѣ у престола все еще стоялъ слѣпой Тихикъ.

— Паки дерзай, рабе Божій Тихиче!—провозгласилъ священникъ.

Слѣпецъ вздрогнулъ, протянулъ руку и ощупалъ лѣвое крайнее блюдо. При этомъ движеніи слѣпота яркая краска залила полныя щеки Марыи посадницы, не спускавшей глазъ съ престола.

И это блюдо протодіаконъ возложилъ себѣ на голову. Тѣмъ же порядкомъ и священникъ съ крестомъ, и протодіаконъ съ блюдомъ на головѣ, и посадникъ вышли къ народу.

Опять сняли тафту съ блюда и раскрыли жребій.

— Господине Великій Новгородъ!—раздался тотъ же голосъ стараго посадника:—вотъ жребій преподобнаго отца Пимена!

— Пименъ! Пименъ!... Не быть латынцу владыкой!... не вывезла кривая.

— Теофилъ владыка! Многая лѣта владыкъ Теофилу!

— Ай да Тиша блаженненькой! Зналъ, кого вымать! Исполать Тишѣ!

Дѣйствительно, на престолѣ остался жребій Теофила-протодіакона, и это было знаменіемъ, что Богъ благословляетъ избраніе во владыки новгородскіе Теофила, а Варсонофія и Пимена отвергъ.

Такимъ образомъ избраніе владыки совершилось. Но это событіе не сопровождалось, какъ это водилось прежде, всенароднымъ ликоваіемъ. Напротивъ, только немногіе голоса огласили стѣны „дѣтинца“ и соборную площадь шумными восклицаніями въ честь и во здравіе новому владыкѣ. Мало того, дѣло кончилось тутъ же, у святой Софіи, свалкой, во время которой у кричавшихъ „слава“ да „многая лѣта“ были поразбиты носы до крови и перещупаны ребра. А когда толпы повалили съ Софійской стороны на торговую, то „кончане“ и „уличане“ съ Славенскаго и Плотницкаго концовъ, да нѣкоторыхъ изъ пригорожанъ, болышею частью „худые мужики вѣчники“, обрушились на „житыхъ людей“ и на богачей изъ Людина и Неревскаго концовъ, шибко ихъ помяли, а нѣкоторыхъ съ мосту прямо пошвыряли на рѣку, на ледъ. „Худые мужики вѣчники“ кричали, что избраніемъ во владыки не Пимена, а „Теофила“ богатые люди хотятъ продать Новгородъ Москвѣ, въ московскую кабалу, гдѣ козамъ рога правятъ и „слезамъ не вѣрять“...

— „А мы-де ей, Москвѣ“—прибавляли „худые мужики вѣчники“, вставляя въ свою рѣчь родительницу да уснащая свое вѣчевое краснорѣчіе трехъ да четырехпредложными глаголами съ перцомъ,—„мы-де ей тертаго хрину поднесемъ“, произнося при этомъ звукъ *ѣ*—*ятъ* по новгородски, какъ звукъ *и*.

— „Мы-де ей покажемъ Кузькину мать!“—А какова была эта „Кузькина мать“—они и сами не знали, а только хвастались.

Вообще чернь осталась недовольною избраніемъ Теофила, потому что онъ тянулъ руку богатыхъ, а богатые давно шептались съ Москвой, какъ бы-де Великій Новгородъ взять въ московскія ежовыя рукавицы да согнуть въ три погибели, какъ Москва уже согнула княжество тверское и нынѣ. Избраніемъ же Пимена, покровительствуемаго притомъ Мареою-посадницею, думали советѣмъ отбиться отъ Москвы, а въ случаѣ чего—коли ужъ Москва начнетъ шибко наѣдаться—можно было и съ Литвой побрататься да Москвѣ носъ утереть (разсуждали „худые мужики вѣчники“), „чтобъ она, Москва—растакъ да порездакъ—знала, что Господинъ Великій Новгородъ ни кречету, ни соколу, а тѣмъ паче татарскому улуснику гнѣзда своего—святой Софій—въ обиду не дастъ“.

Всего же болѣе самой Марѣѣ было не по сердцу избраніе Теофила. Эта баба загадывала многое... а тутъ сорвалось—не выгорѣло...

Когда она выходила изъ собора, окруженная сторонниками, и горстями бросала „рѣзаны“, „куны“ и „мордки“ въ толпы ея почитателей, „мужиковъ вѣчниковъ“, лице ея вспыхивало багровыми пятнами, а глаза металы искры. Народъ провожалъ ее криками радости, а у нея сердце щемило досадой.

Какъ бы то ни было, хитрая баба проглотила обиду судьбы и изъ собора же пригласила и высшее духовенство, и посадника, и тысяцкаго и другихъ знатныхъ людей къ себѣ на пиръ, чтобы духовное торжество завершить приличнымъ случаю плотскимъ радованіемъ.

Вмѣстѣ съ прочими Марѣя пригласила на пиръ и слѣпого нищаго, блаженнаго Тпхика, и, не взирая на его лохмотья и нищенскія сумы, болтавшіяся на немъ, посадила его на почетное мѣсто.

Въ числѣ ея гостей былъ еще одинъ человѣкъ, привлекавшій къ себѣ общее вниманіе. Это былъ невысокенькій, сухенькій старичекъ съ льяными отъ старости волосами и бородою, но съ необыкновенно живыми, советѣмъ молодыми сѣрыми глазками, которые, однако, рѣдко поднимались, постоянно опущенные въ землю и отбѣняемые рѣсницами. Старичокъ былъ въ грубомъ монашескомъ одѣяніи. Безстрастное, какъ бы глубокоосозерцательное выраженіе лица его и глаза, которые, казалось, постоянно наблюдали что-то нездѣшнее, не то, что окружало его, а то, что сидѣло гдѣ-то въ немъ самомъ, глубоко гдѣ-то или гдѣ-то за предѣлами видимаго міра—все въ немъ говорило, что лицо это и эти глаза и глядѣвшая въ нихъ какая-то неувомимая мысль—все это не отъ міра сего. Хотя все вокругъ этого таинственнаго гостя говорило, улыбалось, кланялось и ловко, отъ

священнаго писанія, цѣлыми цитатами изъ пророка Исаіи, изъ „Слова“ Даниіла Заточника и изъ „Вопросовъ“ Кирика льстило радушной хозяйкѣ, говорило о славѣ „Господина Великаго Новгорода“, о его управленіи, о разныхъ „пятнахъ“ новгородской земли, о торговлѣ съ амбурскими и аглицкими нѣмцами, о томъ, что у Спаса на Хутыни сами собой звонили колокола, а на Ѳеодоровой улицѣ съ вѣтвей малыхъ топольцевъ капали слезы,—однѣй этотъ гость, казалось, не принималъ ни въ чемъ участія и молчалъ, тихо перебирая четки.

Этотъ молчаливый старичокъ былъ знаменитый подвижникъ Соловецкой обитатели—преподобный Зосима. Печать необыкновенно аскетической энергіи лежитъ на всей жизни этого необыкновеннаго человѣка. Родившись въ предѣлахъ вольной новгородской земли, онъ еще съ юныхъ лѣтъ чувствовалъ въ себѣ недовольство той жизнью—жизнью мелочныхъ цѣлей и желаній, которая окружала его. Его пламенная душа искала подвиговъ, жаждала идеала—и этотъ идеалъ воплотился у него въ отшельничество, въ борьбу съ дьяволомъ, который, казалось ему, господствовалъ надъ міромъ. Глубоко поэтический, онъ любилъ природу—любилъ слушать „говоръ древесныхъ листовъ“, чувствовать „травъ прозябанье“, прислушиваться къ лепетанью горнаго ручья, къ прибою сердитыхъ волнъ роднаго озера—Ладожскаго, которое въ бурю клокотало и пѣнилось въ скалахъ Валаама. Только съ природой онъ чувствовалъ свою духовную связь, только среди безмолвной, но для него говорливой природы онъ любилъ—любилъ эту недосытаемую даль синяго неба, эти легучія облака, суровую зелень сѣвернаго лѣса—и молился, стараясь забиться подальше отъ людей. Сначала онъ молился и „трудился“ на Валаамѣ, но этотъ трудъ показался ему ничтожнымъ; онъ искалъ болѣе суровыхъ подвиговъ, и прослышавъ, что отшельники Савватій и Германъ нашли недоступный для людей островъ, гдѣ-то у полуночнаго моря, перебрался и самъ туда. Это было въ 1430 году. На этомъ далекомъ островѣ они и основали Соловецкую обитель, самую сѣверную въ мірѣ и самую суровую. Кругомъ небо да море—и то и другое безъ конца-краю...

Савватій скоро умеръ, но не въ своемъ мрачномъ уединеніи, а вдали отъ острова, на Вагѣ. Остались на островѣ только Германъ да Зосима. Никто въ Новгородѣ не хотѣлъ вѣрить, что люди могутъ жить въ такой далекой и суровой странѣ, а между тѣмъ слава отшельниковъ росла, имя Зосимы разносилось по всѣмъ концамъ новгородской земли. Зосима перенесъ мощи Савватія съ Ваги на островъ и толпы поклонниковъ изъ далекихъ мѣстъ потянулись къ новой святынѣ, на невѣдомый „отокъ моря“, гдѣ, по слухамъ, „изхождаше овогда изъ моря китъ-рыба, иже пожре пророка Іону, чюдище неизглаголанно, хотяще потопити островъ и вся сущая на немъ“, и только молитвами преподобнаго Зосимы исчезалъ подъ вобую „оный звѣрь гороподобный“.

Но слава человѣческая всегда рождаетъ зависть мелкихъ людей. Позавидовали многіе новгородцы и преподному Зосимѣ съ его обителью, ко-

торая съ каждымъ годомъ возростала числомъ иноковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и богатѣла. Новгородскіе рыбники-стяжатели помыслили оттягать у отшельниковъ рыбныя ловли, и вотъ преподобный Зосима и явился въ Новгородъ отстаивать свои права на островъ.

— На китѣ, родимая, сказываютъ, угодничекъ-отъ приплылъ съ кіянъ-моря, съ самова острова Буяна,—разсуждали новгородскія бабы, видѣвшия Зосиму въ числѣ гостей Мары-посадницы.

— На китѣ! матушки! вотъ страстобушка!... И онъ ево, угодничка, не стюнуть—китъ-отъ?

— А крестъ на что? Онъ, этотъ титъ самый, родимая, креста ни-ни!

— Знамо крестъ—онъ и тита испужае, а не то что.

— Такъ вотъ онъ каковъ живеть, этотъ угодничекъ, Зосима, дивныи. А истъ онъ одну просвирку въ недѣлю—такой постникъ!

— И—и!... что-жъ и на пиру-ти у Мары у посадницы онъ, угодничекъ, ничево истъ не буде?

— Ничевошеньки, родимушка, ни синь пороха... Просвиручку, може, махоньку любо причастица святово ложечку, вотъ и все: они вить, святыя угоднички, только просвирую да причастицемъ святымъ и живутъ.

— Тото святость-то—не легко ее сподобиться.

Правы-ли были новгородскія бабы—это мы сейчасъ увидимъ.

II.

Пиръ у Мары-посадницы.

Домъ Борецкихъ находился на Софійской сторонѣ, въ Неревскомъ концѣ, на Побережѣ, между Розважею и Борковою улицами. По словамъ лѣтописца, домъ этотъ былъ „чюдень“ своею лѣпотою извнѣ и богатствомъ внутри. Онъ не походилъ на тогдашніе московскіе дома, которыхъ неуклюжая татарская пестрота такъ и кричала своею грубостью, такъ и била глазъ аляповатостью и татарско-византійскимъ безвкусіемъ—чѣмъ-то среднимъ между монастыремъ, кибиткою и острогомъ. Къ Новгороду не привилась еще тогда эта византійско-татарская оспа. Домъ Мары скорѣе напоминалъ средневѣковое жилище богатаго бюргера, въ которомъ славянская простота первобытнаго стиля и первобытныхъ украшеній скрашивалась европейскимъ искусствомъ и предметами, созданными западною цивилизаціею: славянская братина въ полтретя ведра и славянская чара съ днью астраханскую стояли рядомъ съ красивымъ кубкомъ изящной итальянской работы и позолоченнымъ литовскимъ турьимъ рогомъ; родныя ска-терти бранныя, покрывавшія длинныя столы съ дорогими приборами, мѣшались съ сукнами и шелками „любскими“, „дацкими“, „аглицкими“ и „амбурскими“; вычурныя издѣлія „рыбій-зубъ“ и шелки шемаханскіе вѣдѣлись и на гостяхъ, и на стѣнахъ, и на скамьяхъ тамъ же, гдѣ и бархаты

„фларенски“ и „венедицки“, „камжи куфтери“ и „сукна лундыши“... Видно, что въ Новгородѣ уже давно было прорублено то окно въ западную Европу, которое черезъ нѣсколько столѣтій пришлось Петру пробивать въ Петербургѣ кровавымъ топоромъ, долго плававшимъ въ московско-русской крови. Мало того, въ Новгородѣ была отворена въ Европу цѣлая дверь, и Марѳа Борецкая, какъ любезная хозяйка, стояла на порогѣ этой двери и принимала дорогихъ нѣмецкихъ гостей, наѣзжавшихъ въ Новгородъ изъ любскихъ, аглицкихъ, амбурскихъ, венедицкихъ, дацкихъ, шпанскихъ и иныхъ мѣстъ...

И настоящій пиръ у Марѳы-посадницы не обошелся безъ иноземныхъ гостей.

Обширная передняя палата Марѳы была уставлена длинными столами „покоемъ“. Столы были покрыты скатертями браными, а скамьи у столовъ — дорогими коврами и сукнами. На столахъ дорогая посуда, братины, чары, кубки, блюда и шитыя полотенцы для утиранія рукъ, хотя въ обычаѣ было, что каждый гость имѣлъ свою собственную „ширинку“ въ кармагѣ и ею утирался, а люди старые — такъ тѣ, по старинѣ, обсасывали запачканные кушаньями пальцы или просто обтирали ихъ о свои головы, тогда еще не такъ скоро плѣшивѣвшія, какъ нынѣ, или же утирались рукавами, а то и просто, „по естеству“, облизывались.

На почетномъ концѣ посажено было высшее духовенство Новгорода — новоизбранный владыка Теофилъ, софійскаго собора казначей и другъ Марѳинъ — Пименъ, отецъ Варсонофій, духовникъ покойнаго владыки Іоны. Тутъ же чернѣлась и скромная фигурка преподобнаго Зосимы, а недалеко — и лохмотная одежда блаженненькаго Тихика съ его нищенскими сумами. По сторонамъ ихъ возсѣдали — сѣдоволосый, но необыкновенно моложавый на видъ, съ живыми сѣрыми глазами и золотую гривною на шеѣ степенный посадникъ „Господина Великаго Новгорода“ Василій Аваньянъ, вожди анти-московской партіи Василько Селезневъ-Губа, Кипріянь Арзубевъ и Іеремія Сухощекъ, архіепископскій чашникъ; тутъ же старый бояринъ Памфилъ и другіе бояре. Между почетными гостями особенно бросался въ глаза недавно прибывшій изъ Кіева „на кормленіе“ князь Михаилъ Олельковичъ съ нѣсколькими кіевлянами, которыхъ одѣяніе напоминало собою что-то ни то польское, ни то литовское, а хохлы на маковкахъ да черные усы приводили новгородскихъ бабъ въ немалое изумленіе, а иныхъ въ трепетъ даже, а нѣкоторыхъ, помоложе, и въ восхищеніе... „Ни то, мать моя, ефіопы, ни то Ягоры хоробрые“...

Сама хозяйка и ея два статныхъ сына — черноглазый, весь въ мать Димитрій и бѣлокурый, кудравый и съ кудреватой бородкою Федоръ, сопровождаемые челядью съ блюдами и кувшинами въ рукахъ, постоянно ходили около гостей и усердно потчивали каждого разными наваленными горою на блюда яствами и питіями. Постоянно слышалось: „не побрезгуйте, дорогіе гости — куровя печеное, а се лебедь жарена, а се боранъ молодой — осетринка добрая — пирожокъ съ вязигой — теша межукосна съ

хрѣнкомъ—романейка добрая—ренское сладенькое—мальвазейцы стопочку махоньку—чарочку угорсково—грибковъ рыжиковъ—семушки свѣжей—отвадajte, гостюшки, не побрезгуйте—чимъ богаты—отъ чистово сердца—сижка копченово—поросеночка, молочново—гусачка съ яблочкомъ—глухарика малость испробуйте—индійсково алектора-пѣтеля съ шпанскимъ мочонымъ виноградкомъ—пивца аглицково чорново—много довольны, матушка Марѳа, ажно рыгаемъ со умиленіемъ и молитвою о твоємъ здравіи“...

Одно кушанье смѣняло другое, и казалось, что имъ и конца не будетъ. Челядь не успѣвала вносить, разносить и уставлять блюда, чтобы смѣнить и унести опорожненную посуду, а хозяйка съ сыновьями все угощала да умащивала дорогихъ гостей и ласковыми словами, и низкими поклонами, и улыбками. Братины, рога, ковши, кубки и всякія чапарухи переходили изъ рукъ въ руки, сверкая серебромъ и золотомъ. Вносились и уносились енды, глиняные кувшины, бутылки.

Только двое изъ гостей не принимали участія въ пиршествѣ — блаженный Тихикъ и преподобный Зосима. Первый бралъ отъ каждого блюда порядочный кусъ и, крестясь и улыбаясь, совалъ его въ одинъ изъ висѣвшихъ на немъ мѣшковъ и мѣшечковъ и при этомъ бормоталъ: „Дѣткамъ своимъ понесу—птицамъ небеснымъ, что не сіютъ, не жнутъ, ни въ житницы собираютъ... Много у меня такихъ птичекъ“.

И всѣ знали, кто были эти „птички“: — блаженненькій Типа такъ называлъ нищихъ.

Зато преподобный Зосима положительно ни до чего не дотрогивался, какъ ни упрашивала его хозяйка. Онъ только благословлялъ каждое подносимое ему блюдо, конечно постное, но ничего не ѣлъ и хранилъ глубокое молчаніе.

Сначала бесѣда на пиру шла безпорядочно, шумно, но потомъ разговоръ овладѣло нѣсколько лицъ и въ особенности благообразный сѣдоголовый посадникъ, котораго всѣ слушали очень внимательно. Посадникъ съ своими рѣчами преимущественно относился къ князю Михаилу Оленьковичу и къ преподобному Зосимѣ соловецкому, которые, какъ недавно прибывшіе въ Новгородъ гости, не знали самыхъ свѣжихъ, весьма важныхъ новостей, волновавшихъ послѣднія новгородскія вѣща.

Князь Оленьковичъ слушалъ посадника, окидывая и его, и все общество черными, блистающими глазами, и по временамъ вставлялъ въ рѣчь своего собесѣдника, отъ себя, то игривое замѣчаніе, то вопросъ, вызывавшій улыбки и смѣхъ гостей. Преподобный же Зосима слушалъ молча, не подымая головы, и только иногда какъ-бы окатывалъ свѣтомъ своихъ сѣрыхъ, небольшихъ, но живыхъ глазъ красивое лицо посадника или его сосѣда, Селезнева-Губу, и опять пряталъ эти прозорливые глаза и поникалъ головою.

— Такъ не ласковъ москаль?—вставилъ Оленьковичъ, блеснувъ разомъ и свѣтящимися глазами и бѣлыми, такими же свѣтящимися зубами изъ-за приподнятыхъ улыбкою черныхъ усовъ:—яко котъ до сала.

— Точно, княже,—какъ котъ до мышей,—улыбнулся и посадникъ.

— А мыши что?

— Да мы, новгородскія мыши, княже—будь тобѣ видно,—посольство къ московскому коту правили... О земскихъ дѣлѣхъ своихъ я былъ посланъ въ Москву... Приѣхалъ это я въ Москву, поклонился боярамъ новгородскими поминками. Приняли дары—не спесивились.

— Любятъ сало—ласы до него?

— Любятъ, княже... Поклонъ правлю имъ отъ Господина Великаго Новгорода—прошу доложиться великому князю на очи... Не подобаетъ, говорить, тебѣ, холопу, предъ свѣтлыя царскія очи становиться.

— Холопу!—проворчалъ сердито Селезневъ-Губа, стукнувъ чарою объ столъ:—холопы они, а мы вольные люди.

— Что-то зазнались!—вскинулъ на посадника стоячими глазами и сосѣдъ Селезнева-Губы, бѣлокурый Арзубьевъ Кипріянь:—а давно онъ у поганого Ахматки стремя и ногу цѣловаль?

При этихъ словахъ соловецкій отшельникъ, въ свою очередь, какъ бы изумленно вскинулъ глазами на Арзубьева и Селезнева-Губу и снова спрятавъ ихъ.

— Такъ и не допустили тебя до князя? — интересовался Олельковичъ.

— Не допустили, княже... Да еще меня же и докоряютъ: какъ же это,—говорятъ,—приѣхалъ ты отъ Великаго Новгорода великому князю посольство править о своихъ земскихъ новгородскихъ дѣлѣхъ, а о грубости и неисправленіи новгородскомъ ни одного-де и слова покорнаго не правишь?

— О грубости?... эге-ге! Мыши коту согрублили...

— Да, о грубости... А я имъ на это аркучи тако:—„Господинъ-деи Великій Новгородъ не мнѣ это приказывалъ—мнѣ-деи это не названо“.

— А чимъ бы то мыши согрублили коту?—улыбнулся Олельковичъ хозяйкѣ, которая въ это время подошла къ нему сама съ золотымъ кубкомъ на подносі.

— Да Новгородъ, княже, не пустилъ черезъ свои земли пословъ псковскихъ ради того, что они ѣхали къ великому князю не съ добромъ,—отвѣчала Марѳа, кланяясь князю кубкомъ.

— Какое же было ихъ недоброе дѣло?

— А они, княже, плетутъ въ Москвѣ на насъ безлѣпныя сплетки,—отвѣчалъ посадникъ вмѣсто Марѳы. — Такъ вотъ, когда я отвѣчалъ боярамъ,—продолжалъ онъ, не давая говорить хозяйкѣ,—что мнѣ того въ посольствѣ править не указано, такъ бояре, аки псы оцѣтнясь, рекли, что-де сіе великому государю вельми грубо—не въ истерпѣ-де воля новгородская, и что-де и великій государь тебѣ, Василию посаднику, указалъ отвѣтъ ево, государевъ, держать, Великому Новуграду, аркучу тако: „Исправьтесь-де и, отчина моя, Великій Новгородъ, людие новугородстїи,

сознайтесь въ винахъ своихъ, въ земли и воды мои не вступайтесь, имя мое держите честно и грозно по старинѣ, ко мнѣ, великому государю, посылайте бить челомъ по докончанью, а я васъ, отчину свою, жаловать хочу и въ старинѣ держу“.

Посадникъ договаривалъ послѣднія слова взволнованнымъ голосомъ, блѣдное лицо его вспыхивало багровыми пятнами, и когда, замолчавъ, онъ протянулъ руку къ братинѣ за чарой, рука его дрожала. Глаза преподобнаго Зосимы какъ-то робко вскидывались на него изъ-подъ опущенныхъ рѣсницъ и снова прятались. Глаза Марѣы, которыми она обводила собраніе, горѣли молодымъ огнемъ.

— Что-жъ онъ и впрямь! Ноли мы холопи московскіе! Новгородъ ни у кого въ холопахъ не былъ,—заговорилъ сынъ Борецкой, Димитрій, блѣдный и взволнованный.

— Не былъ и не будетъ!—ударилъ мясистымъ кулакомъ по столу Арзубьевъ.

Отъ этого удара чары и братины задрожали и расплескали вино. Преподобный Зосима вздрогнулъ и съ нѣмымъ укоромъ глянулъ на Арзубьева. Марѣа самодовольно обвела гостей своими большими глазами. Она видѣла, что уже довольно подпито и разгорячена кровь у большинства; а это-то и было ей на руку: честолюбивая баба заваривала кашу... каша закипала...

— „Охъ! кто-то ее расхлебывать будетъ?“ — казалось, говорили задумчивые глаза соловецкаго отшельника.

Михайло Омельковичъ, тоже подвыпившій, веселыми и лукавыми глазами оглядывалъ расходившіхся новгородцевъ и подзадоривалъ ихъ то улыбкой, то кивкомъ головы.

Духовные чины между тѣмъ вели болѣе скромную бесѣду—о церковныхъ дѣлахъ. Отецъ Пименъ, бѣлокурый и рыжебородый попина, жарко оспаривалъ въ чемъ-то своего сосѣда, новоизбраннаго владыку Теофила.

— И ты-таки на Москву новолочишься на ставленье?—говорилъ онъ, откидывая отъ кистей своихъ пухлыхъ рукъ широкія рукава рясы, мѣшавшіе ему жестиковать.

— И поволокусь, — невозмутимо отвѣчалъ октавой сухой, черный и горбоносый Теофилъ.

— Ноли и свиту токмо, что въ окошкѣ?

— Точно—у насъ оконце едино въ царствіе Божіе: греческая восточная церковь.

— А чѣмъ кіевская церковь не греческая?

— Олатынилась она латынскою коростою.

— Эхъ, владыко! не тебѣ бы говорить, не мнѣ слушать! Ноли московскіе митрополиты не ѣздили въ орду ярлыки себѣ хански на митрополичій престолъ выкланивать? Ноли Алексѣй митрополитъ не обивалъ пороги у поганяго сыроядца? А вѣтъ московская церковь не отатарилась. Почто же ты латынскою коростою позоришь кіевскую церковь? Ужъ коли

бы она окоростовѣла латынью, такъ святіи печерскіе угодники не стали бы лежать въ своихъ пещерахъ—ушли бы въ Москву либо тамъ во Іерусалимъ.

— На то ихъ святая воля.

Чѣмъ болѣе горячился Пименъ, тѣмъ спокойнѣе держалъ себя Теофилъ, а лицо Зосимы, не проронившаго ни одного слова изъ всего этого словеснаго „розарья“, становилось все задумчивѣе и грустнѣе.

Кругомъ бесѣда становилась все шумнѣе и шумнѣе.

— Отцы и братія, мужіе новгородстін!—возвысилъ голосъ старшій сынъ Марѳы, Димитрій. — Послушайте меня! Хотя я человѣкъ молодой, а многое исповидалъ на своемъ вѣку. Я бывалъ въ Литвѣ—Литву я знаю и Кіевъ знаю. Добре знаю и Москву загребистую: Москва на крови стоитъ, Москва слезамъ не вѣрить. На Москвѣ плачъ и скрежетъ зубомъ, въ Литвѣ—жизніе блаженное. Не вѣрьте, братіе, что Литва латынью опоганена—неправда то: въ Литвѣ истинное православіе; пастыри литовскіе—не латынской ереси—отъ Москвы тѣ наговоры на нихъ. Поразмыслите, отцы и братія: въ тѣ поры, какъ Москва добывала рускіе города и княженія огнемъ и мечемъ, проливала и проливаетъ кровь хрестіанскую, Литва никого не ставила въ обиду, и вотъ нонѣ своею волею даются за литовскаго князя Козимира и Чеси, что призвали королевича на столъ къ себѣ, на господарство, дается за Козимира и угорская земля и просятъ себѣ другого королевича, Козимирова сына... А кто волею своею задавался за Москву?—Какая овца охотою волку служить похочетъ?

— Истину, святую истину глаголетъ Димитрій! — кричалъ сухопарый Іеремія Сухощекъ, чашникъ владычній, и лѣзъ цѣловаться съ ораторомъ.

— Слава Димитрію!—стучалъ по столу Арзубьевъ.

— И матери его Марѣ слава!—хрипѣлъ Селезневъ-Губа. Одинъ бояринъ, совсѣмъ пьяный, тоже лѣзъ цѣловаться съ Димитріемъ и бормоталъ:

— Блажено чрево... блажени сосцы...

— Полно-ка, кумъ, объ сосцахъ-то!—перебилъ его Сухощекъ, таща за руку.

— А что, кумъ?... Воистину блажени сосцы,—защищался пьяный.

— Да ты хозяйку своими сосцами соротишь.

— Почто соротить! Отъ писанія глаголю.

— За короля Козимира!—кричали пьяные голоса.

Марѣ ходила по палатѣ довольная, счастливая, привѣтливая: то она заговаривала съ однимъ, улыбаясь другому, дружески кивала головою третьему; то подходила къ „отцамъ“, взглядомъ и улыбкой одобряла запальчивую рѣчь Пимена и пожимала плечами на холодное, сухое слово Теофила; то силилась заглянуть въ потупленные глаза молчаливаго соловейка отшельника, который упорно не глядѣлъ на нее или при приближеніи ея шепталъ: „не вмѣни, Господи“... То она подходила къ блаженненькому Тишѣ и совала въ его переполненные сумы либо рыбу, либо курова печеное, а тотъ только идиотически улыбался и шепталъ: „птичкамъ моимъ, птицамъ небеснымъ“.

Посадникъ, который пилъ меньше всѣхъ, больше всего разговаривалъ съ княземъ Одельковичемъ, который горячо хвалилъ литовскіе порядки, превозносилъ силу и величіе короля Казимира, говорилъ о льготахъ и милостяхъ, коими этотъ мудрый король осыпалъ своихъ подданныхъ и не тѣсилъ ни вѣры ихъ, ни совѣсти. По временамъ посадникъ задумывался, какъ бы силясь разрѣшить трудный, мучившій его вопросъ, и при этомъ вопросительно взглядывалъ на Зосиму соловецкаго или на постное, строгое лицо Теофила.

Между тѣмъ Дмитрій Борецкій, около котораго столпилось нѣсколько бояръ, положивъ три поклона передъ кіотой, стоявшей въ переднемъ углу и наполненной дорогими образами въ золоченыхъ ризахъ, снялъ съ гвоздей висѣвшее тамъ серебряное распятіе и положилъ его на стоявшій въ переднемъ углу, передъ кіотой, аналой, покрытый малиновымъ бархатомъ.

— Ты что, сынокъ, задумался?—спросила удивленная Марѳа.

Всѣ оглянулись на передній уголъ. Дмитрій казался крайне возбужденнымъ.

— Что съ тобой, Митя? на что крестъ-отъ вынулъ? — спрашивала встревоженная мать.

— Во славу Великаго Новгорода,—отвѣчалъ сынъ посадницы и снова положилъ три земныхъ поклона.

Потомъ онъ поднялъ надъ головою правую руку со сложенными для крестнаго знаменія пальцами и громко, дрожащимъ голосомъ произнесъ: „Се язъ Митрей, Исаковъ сынъ, Борецкой, цѣлую животворящій крестъ сей на томъ, что положити мнѣ голову мою за волю новгородскую и не дать воли той и старины новгородской, и вѣча новгородскаго, и вѣчнаго колокола, и святой Софіи въ обиду ни Москвѣ, ни княземъ московскимъ; а будетъ голова моя ляжетъ въ поли чи въ неволи, и се общая я и вручаю по животѣ моемъ на вѣчную свѣчу по душѣ моей всѣ мои земли, угоды и деревни и воды съ рыбными ловы, куды топоръ, и соха, и коса, и лодка ходила:—нию горить той свѣчѣ вѣчной у престола святой Софіи до страшнаго суда, какъ стоять вѣчно волѣ новгородской до трубы архангела!“

Онъ остановился блѣдный и дрожащій. Шумъ пирующихъ стихъ какъ отъ удара грома. И посадникъ, и Марѳа стояли блѣдные. На изможденномъ лицѣ Зосимы соловецкаго изобразился ужасъ.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! — глухо произнесъ Дмитрій и поцѣловалъ крестъ.

— Аминь!—пронесся по собранію голосъ Пимена.

Дмитрій глянулъ кругомъ. Глаза его встрѣтились съ глазами Селезнева-Губы.

— И язъ цѣлую крестъ на томъ же!—громко произнесъ Селезневъ.

— Аминь!—снова прозвучалъ голосъ Пимена.

— И язъ цѣлую крестъ на томъ, что лечь мнѣ костями за волю новгородскую!—выкрикнулъ Арзубевъ.

— Аминь!—повторилъ Пимень.

— И язъ цилую крестъ за святую Софію и за вѣчный колоколъ!—отозвался и Іеремія Сухощекъ.

— Аминь! аминь! аминь!

Вдругъ послѣдовавшая за этимъ возгласомъ тишина нарушена была какими-то странными, непонятными звуками: казалось, что кто-то навзрыдь, хотя сдержанно, всхлипывалъ. Всѣ оглядѣлись въ изумленіи. Дѣйствительно, за переднимъ столомъ, на почетномъ мѣстѣ, Зосима соловейкій, закрывъ свое сухое, испостившееся лицо такими же сухими ладонями, тихо рыдалъ, покачивая головою какъ бы отъ нестерпимой боли, между тѣмъ какъ слезы, выступая изъ-подъ ладоней, скатывались на четки и разбивались объ нихъ, какъ капли дождя о камень.

Всѣхъ, уже настроенныхъ предыдущимъ, поразило это неожиданное явленіе. Марѳа, казалось, окаменѣла и растерянно переносила испуганные взоры съ сына у аналоя на плачущаго отшельника, съ Зосимы на гостей. Благообразное лицо посадника выражало больше, чѣмъ изумленіе: онъ съ ужасомъ видѣлъ, что совершается что-то такое, чего онъ ни ожидать, ни предотвратить не могъ... А что означаютъ эти слезы угодника? Онъ не къ добру... Онъ вспомнилъ, что недавно видѣли, какъ у Ефимья въ церкви текли слезы по лику Богородицы, какъ плакала икона Николы чудотворца на Никитской улицѣ, какъ плакали „топольцы“ на Ѳедоровой улицѣ... Затѣвается страшное дѣло для Новгорода... Онъ съ боязнью и съ горькимъ укоромъ въ душѣ взглянулъ на Марѳу... „Все это бабой бѣсъ играетъ на пагубу намъ... Баба погубила Адама прародителя—погубить и Великій Новгородъ... Боже, не попусти!“...

А Зосима все плакалъ, да все горше и горше, словно бы у него душу разрывали на части... Даже безумное лицо слѣпца Тиши выразило испугъ...

Вдругъ подъ окнами послышался конскій топотъ и тотчасъ же замеръ у крыльца дома Борецкихъ.

Всѣ переглянулись испуганно, перенесли глаза на двери...

„Что это?... кто?... кто?... не гонецъ ли?... откуда?... съ какими вѣстями?“

Дверь отворилась, и въ палату вошелъ „нѣкій мужъ не великъ гораздо“, съ бородою, заневѣвшею снѣгомъ и съ длиннымъ мечомъ у кожаного съ наборомъ пояса. Онъ перекрестился торопливо, поклонился, тряхнулъ волосами.

— Тутай будетъ господинъ посадникъ?

— Язъ есми посадникъ Господина Великаго Новаграда. А ты, чловѣче, кто еси?

— Я гонецъ изъ Пскова—новугородецъ.

— Съ какими вѣстями?... отъ вѣча?

— Съ недобрыми, господине... не отъ вѣча, а самъ отъ себя—ради Новгорода да святой Софіи..

Всѣ гости понадвинулись къ прибывшему. Марѳа видимо все болѣе и болѣе приходила въ смущеніе и вопросительно поглядывала на старшаго сына.

— Не смущайся, матушка, мы стоимъ за волю новгородскую, — шепнулъ онъ нетерпѣливо.

— Сказывай вѣсти—правъ свое дѣло,—сказалъ посадникъ гонцу.

Марѳа, какъ-бы опомнившись нѣсколько, торопливо взяла со стола пустой серебряный ковшъ, зачерпнула изъ братины вина и сама подала чару гонцу.

— Выпей съ дороги, человѣче добрый!

Гонецъ взялъ чару, перекрестился и выпѣдилъ ее всю въ свой уса-тый ротъ.

— Спасибо,—кланялся гонецъ:—болого.., а то въ гортани пересохло.

Онъ крикнулъ, утерся рукавомъ, снова трянулъ волосами. Посадникъ нетерпѣливо глянулъ на Марѳу: „суется бѣсъ-баба“,—казалось, говорили его глаза,

— Ну, сказывай...

— Онома-дни пригналъ во Псковъ посолъ съ Москвы, — началъ гонецъ:—псковичи сзвонили вѣче... Ладно — болого... Посолъ-отъ и говорить на вѣчѣ: великій-де князь велѣлъ мнѣ сказать вамъ, псковичамъ, отчинѣ своей: коли-де Великій Новгородъ не добьетъ мнѣ челомъ о моихъ старинахъ, ино отчина моя Псковъ послужилъ бы мнѣ, великому князю, на Великой Новгородъ за мои старины.

Точно громъ разразился у всѣхъ надъ головами. Никто не шевелился, кругомъ воцарилась мертвая тишина. Слышны были только тихія, сдержанныя, но страстно-глухія всхлипыванья. Это плакалъ Зосима, съ тихимъ шопотомъ: „что видѣлъ я, Воже!.. О! ужасеся душа моя... ужаса исполнено видѣніе сіе... безъ головъ“...

Гонецъ передохнулъ, съ боязнью глядя на плачущаго старца.

— И что-жъ—на чемъ положилъ Псковъ?—хрипло спросилъ посадникъ.

— Положилъ стоять за великаго князя—пословъ послать въ Великой Новгородъ бить челомъ Москвѣ о миродокончальной грамотѣ...

— О миродокончальной?

— А тако-жъ и объ разметныхъ вѣче шумѣло... точно — болого—о миродокончальной и о разметной...

— А! разметной!.. вонъ оно что! Холопы!

И посадникъ оглянулъ все собраніе. Глаза его упали на Марѳу, потомъ на плачущаго Зосиму, снова на Марѳу... „У, змѣя подколодная... не терпѣлось тебѣ... мужа захотѣла, старая вѣдьма“...

Посадникъ опомнился. Опомнилось и все собраніе. Послышались возгласы, угрозы: „мы ихъ, сякихъ-такихъ!.. мы имъ, разѣдакимъ!.. да мы ихъ!“...

— Звонить вѣче! Послать вѣчново звонаря-ать звонить на всю землю новгородскую!—покрылъ все голосъ посадника.

— На вѣче! на вѣче!—повторили всѣ въ одинъ голосъ.
Черезъ нѣсколько минутъ надъ Новгородомъ и его окрестностями разносился въ воздухѣ звонкій, рѣзкій, точно человѣческимъ голосомъ стонущій крикъ вѣчевого колокола.

III.

Предсказанія кудесницы.

Не успѣли еще гости разойтись изъ дома Борецкой и отправиться, по призыву вѣчевого колокола, на вѣче, какъ кто-то торопливо вышелъ изъ этого дома и, нахлобучивъ на самые глаза бобровую шапку, а также поднявъ мѣховой воротникъ „мятели“, чтобъ не видно было лица, скорыми шагами направился по берегу Волхова, вверхъ, по направленію къ Ильмену. Онъ шелъ, не оглядываясь по сторонамъ, а между тѣмъ зорко присматривался ко всѣмъ проходившимъ мимо, хотя прохожихъ въ это время было очень мало: весь Новгородъ, послѣ избранія владыки, или обѣдалъ, или, скорѣе, спалъ послѣ обѣда по заведенному изъ старины обычаю.

Изъ-за поднятаго воротника „мятели“ у таинственнаго прохожаго видѣлся только конецъ рыжей бороды да изъ-подъ бобровой шапки выбивалась прядь рыжихъ волосъ, которую и трепалъ въ разныя стороны перемѣнячивый вѣтеръ. Прохожій прошелъ такимъ образомъ весь Неревскій конецъ, оставилъ за собою ближайшіе городскіе сады и огороды, спускавшіеся къ Волхову, прошелъ мимо кирпичныхъ сараевъ и гончаренъ и достигъ старыхъ, уединенныхъ каменоломенъ, нынѣ уже брошенныхъ, гдѣ брали камень на постройку новгородскихъ церквей, монастырей и боярскихъ хоромъ очень давно, еще при первыхъ князьяхъ, вскорѣ послѣ „Перунова вѣка“.

Здѣсь берегъ былъ высокій, изрытый, со множествомъ глубокихъ пещеръ, изъ которыхъ многія уже завалились, а другія зіяли между снѣгомъ, какъ черныя пасти.

Подойдя къ пещерамъ, прохожій невольно, съ какимъ-то ужасомъ остановился. Ему почудилось, что точно бы подъ землею или въ одной изъ пещеръ то-то поетъ. Хотя голосъ былъ пріятный, женскій, почти дѣтскій, но въ этомъ мрачномъ уединеніи онъ звучалъ чѣмъ-то страшнымъ...

— Чуръ — чуръ меня!—невольно пробормоталъ прохожій, крестясь испуганно и прислушиваясь.

Таинственное пѣніе смолкло.

— Ноги старая чадь такъ поетъ — кудесница? Съ нами крестъ святой...

Но въ эту минуту невдалекѣ послышался другой голосъ, скрипучій, старческій:

— Ну-ну—гуляй, гуляй... А завтра я тебя съймь,—бормоталъ гдѣ-то скрипучій голосъ.

Волосы, казалось, стали живыми и задвигались подъ шапкою прохожаго...

Боммъ!.. раздался вдругъ въ Новгородѣ первый ударъ вѣчевого колокола, и голосъ его, словно живое что-то, прокатился по воздуху и ему какъ бы что-то живое отвѣчало глухимъ откликомъ въ пещерахъ...

— Го-го-го! заговорилъ Господинъ Ведикий Новгородъ!—опять послышался тотъ же старческій голосъ:—а коли-то смолкнеть...

Точно въ бреду какомъ прохожій двинулся впередъ къ каменному выступу и невольно остановился. Внизу, на Волховѣ, у трехугольной проруби, середина которой была покрыта соломой, на льду, бокомъ, опираясь на клюку, стояла старуха и глядѣла въ прорубь...

— Кричи, кричи, матка, созывай пчелокъ... А кому-то медокъ достанется?

Старуха потыкала клюкой въ прорубь, погрозила кому-то этой клюкой въ воду...

— Гуляй, гуляй, молодець, покуль я тебя не съила, а мальцовъ ни-ни! не трогай...

Старуха оглянулась и съ изумленіемъ уставилась своими глѣбоко запавшими глазами въ неподвижно стоявшаго на берегу прохожаго. Голова ея покрыта была тѣмъ-то вродѣ ушастаго малахая и тряслась. Одежда ея, вся въ разноцвѣтныхъ заплаткахъ, напоминала одѣяніе скомороха.

Прохожій снялъ шапку и показалъ свою большую, обильную рыжими волосами голову.

— Фу-фу-фу-фу! русскимъ духомъ запахло!—тѣмъ же скрипучимъ голосомъ проговорила старуха.—Опять рыжій... рудой волкъ...

„Рудой волкъ“, надѣвъ шапку, хотѣлъ было спуститься съ берега.

— Стой, молодець!—остановила его старуха:—дила пытаешь, ци отъ дила лытаешь?

— Дила пытаю, бабушка,—отвѣчалъ рыжій: — къ твоей милости пришелъ.

— Добро... пойдѣмъ въ мою могилку...

По узенькой тропинкѣ старуха поднялась на берегъ и, поровнявшись съ пришельцемъ, пытливо глянула ему въ очи своими сверкавшими изъ глубокихъ впадинъ чернымп, сухими глазами. Острый подбородокъ ея шевелился самъ собою, какъ будто бы онъ не принадлежалъ ея серьезному, сжавшемуся въ безчисленныя складки лицу.

— Иди за мной, да не оглядывайся,—сказала она и повела его къ ближайшей пещерѣ, входъ въ которую чернѣлся между двухъ огромныхъ камней.

Пришлецъ поспѣдовалъ за нею. Согнувшись, онъ вошелъ въ темное отверстіе и остановился. Старуха три раза стукнула обо что-то деревянное клюкой. Словно бы за стѣной послышалось мяуканье кошки... Пришлецъ

дрогнулъ и задержалъ дыханіе, какъ бы боясь стука собственного сердца...

Старуха пошуршала обо что-то въ темнотѣ.

— Отворись—раскройся, моя могилка.

Что-то отворилось въ темнотѣ, точно дверь скрипнула, но ничего не было видно. Вдругъ пришлецъ ощутилъ прикосновеніе къ своей рукѣ чего-то холоднаго и попятился было назадъ.

— Не бойся—иди... Это старуха потянула его за руку.

Ощупывая ногами землю, онъ осторожно подвинулся впередъ, переступилъ порогъ... Опять мяуканье...

— Брысь—брысь, желтый глазъ...

Пришлецъ увидѣлъ, что недалеко, какъ будто въ углу, тлѣютъ уголья, нисколько не освѣщая мрачной пещеры. Старуха бросила чего-то на эти уголья и они, мгновенно вспыхнувъ яркимъ пламенемъ, освѣтили на одинъ мигъ подземелье. Въ тотъ же моментъ у старухи очутилась въ рукахъ зажженная лучина, которую она и поднесла къ глиняной плошкѣ, стоявшей на гладкомъ большомъ камнѣ среди пещеры. Свѣтильня плошки вспыхнула въ свою очередь и мгновенно освѣтила все подземелье.

Въ одинъ моментъ произошло что-то необыкновенное, страшное, отъ чего пришлецъ хотѣлъ бы тотчасъ же бѣжать, крестясь въ ужасѣ и дрожа, но ноги отказались служить ему...

Словно бѣшенный замаякалъ и зафыркалъ огромный черный котъ съ фосфорическими желто-зелеными глазами и сталъ метаться изъ угла въ уголъ... Какая-то большая птица, махая крыльями, задѣла ими по лицу обезумѣвшаго отъ страха пришельца и, сбѣвъ въ какое-то углубленіе, устала на него свои круглые, огромные, не моргающіе глаза — глаза точно у человѣка, и уши торчатъ какъ у кота — голова какъ у ребенка, круглая, съ загнутымъ книзу клювомъ, которымъ она щелкаетъ какъ зубами... Со всѣхъ сторонъ запорхали по пещерѣ летучія мыши и задѣвали своими крючковатыми крыльями пришлеца за лицо, за уши, за волосы, которые шевелились у корней отъ ужаса...

На жердяхъ и веревкахъ висѣли пучки всевозможныхъ травъ, цвѣтовъ, кореньевъ... Межъ ними висѣли сушенныя лягушки, ящерицы, змѣи... Страшный котъ, вспрыгнувъ на одну изъ жердей, сердито фыркалъ и глядѣлъ своими ужасными, свѣтящимися зеленымъ огнемъ глазами, какъ бы слѣдя за каждымъ вздохомъ растерявшагося пришельца...

А между тѣмъ изъ Новгорода продолжали доноситься въ это страшное подземелье медленные, торжественные удары вѣчевого колокола... Казалось, что Новгородъ хоронитъ кого-то — себя хоронитъ, по своей кончинѣ звонить и плачетъ...

Старуха, что-то копавшаяся въ углу, подошла къ пришельцу и снова пылливо взглянула ему въ глаза.

— Своей волей пришель, добрый молодецъ?

— Своей, бабушка.

Онъ испугался своего собственного голоса — онъ не узналъ его — это былъ не его голосъ... И котъ при этомъ опять замыкалъ.

— А за какимъ помысломъ пришелъ?

— Судьбу свою узнать хочу.

— Судь свой... что сужено тебѣ... И ейный судъ?

— И ейный такъ-жъ, бабушка... и Марейнъ...

— И Марейнъ?

— Точно... какова ея судьбина...

— Фу-фу-фу! — закачала своею сѣдою головой старуха: — высоко со-коль летаетъ — идѣ-то сядетъ?..

Старуха подошла къ страшной птицѣ — то была сова — и шепнула ей что-то въ ухо... Сова защелкала клювомъ...

— А?.. на ково сердитуешь?.. на Марѣу?.. ци на Марейну сношеньку молодую?

Сова опять защелкала и устала свои словно бы думающіе глаза на огонь.

— Для чего разбудили старика? — обратилась вдругъ старуха къ пришельцу.

Тотъ не понялъ ея вопроса и молчалъ.

— Вѣче для чево звонятъ? — переспросила она вновь, прислушиваясь къ протяжнымъ ударамъ колокола.

— Гонецъ со Псковѣ пригналъ съ вѣстями.

— Знаю... Великой князь псковичей на Великой Новгородъ подымае, и самъ скоро на конѣ всяде...

— Но-ли правда?

— Истинная... И ко мнѣ гонцы пригнали съ Москвы — мои гонцы вѣрѣе вашихъ — безъ опасныхъ грамотъ ходятъ по аеру...

Летучія мыши продолжали носиться по пещерѣ, цѣплялись за сѣрые камни, пищали...

— Такъ судь свой знать хочешь?.. и ейный — той, черноглазой, бѣлогрудой ластушки?.. и Марейнъ?.. и Великаго Новагорода?

— Ей-ей хочу.

— Болого — добро... Сымай поясъ.

Тотъ дрожащими руками распоясалъ на себѣ широкій шерстяной поясъ съ разводами и пышными цвѣтными концами.

— Клади подъ лѣву пату.

Тотъ повиновался... Опять послышалось невдалекѣ, словно бы за стѣною, тихое, мелодическое женское пѣніе.

— Что это, бабушка?

— То моя душенька играе... А топереве сыми подпояску съ рубахи... Въ ту пору какъ попъ тебя крестилъ и изъ купели вымалъ, онъ тебя и подпоясочкою опоясалъ... Сымай ее... клади подъ лѣву пату...

Снята и шелковая малиновая подпояска и положена подъ лѣвую ятку...

— Сыми топерево хрестъ и положъ подъ праву пятау.

Руки, казалось, совсѣмъ не слушались, когда злополучный рыжій разстегивалъ воротъ рубахи и снималъ съ шеи крестъ на черномъ гайтанѣ... Но вотъ снять и крестъ и положенъ подъ правую пятку.

Невѣдомое пѣніе продолжалось гдѣ-то, казалось, подъ землей. Явственно слышался и нѣжный голосъ, и даже слова знакомой пѣсни о „Садкѣ богатымъ гостѣ“:

И поихаль Садко по Волхову,
А со Волхова въ Ильмень-озеро,
А со Ильменя-ту во Ладожско,
А со Ладожска въ Неву-рѣку,
А Невую-рѣкой въ сине море...

— О-охъ!—невольно простоналъ несчастный, не попадая зубъ на зубъ.

Послышался плескъ воды, а потомъ шопотъ старухи, какъ бы съ кѣмъ-то разговаривавшей... „Ильмень, Ильмень, дай воды Волхову... Волхово, Волхово, дай воды Новугороду“...

Старуха вышла изъ угла, подошла къ своему гостю, держа въ рукахъ красный лоскутъ.

— Не гляди глазами—слушай ушами и говори за мной.

И старуха завязала ему краснымъ лоскутомъ глаза.

— Сказывай за мной, добрый молодецъ, слово по слову, какъ за попомъ передъ причастьемъ.

И старуха начала нараспѣвъ причитать:

Встаю я, доберь молодецъ, не крестясь,
Умываюсь не молясь,
Изъ воротъ выхожу—
На солнушко не гляжу,
Иду я, доберь молодецъ, лѣсами-полями,
Невѣдомыми землями,
Гдѣ русково духу не слыхано,
Гдѣ живой души не видано,
Гдѣ пѣтухъ не поеть,
Ино сова гласъ подаеть,—
Подъ нози Христа метаю,
Суда свою пытаю...

Несчастный дрожалъ всѣмъ тѣломъ, повторяя эти бессмысленныя, но для него страшныя слова. Кудесничество и волхвованіе въ то время пользовались еще такою вѣрою, что противъ нихъ безсильны были и власть, сама вѣровавшая кудесникамъ, и церковь, допускавшая возможность ѣзды на бѣсахъ, какъ на лошадяхъ, или на коврѣ самолетѣ... Давно-ли преподобный Іоаннъ успѣлъ слетать на бѣсѣ въ Іерусалимъ въ одну ночь?...

Послышался стонъ филина...

— Слышишь?

— Слышу...
— Топерево самая пора... пытай судьбу... Спрашивай...
— Что будетъ съ Великимъ Новгородомъ?
— Былъ Господинъ Великой Новгородъ — и не будетъ ево... Будеть осударь...

— Какой государь?
— Православной.
— Такъ за нево стоять?
— За тово, кто осударемъ станеть.
— А какой судъ ждеть Марѳу?
— Осударевъ судъ.
— А Марья будетъ моя?
— Коли Новгородъ осударевъ будетъ, ино и Марья твоя.
— А любъ-ли я ей?
— Оже ли бы не любъ, не приходила бы она ко мнѣ пытать о тебѣ.
— Ноли она была у тебя?
— Она и посямѣсть тутъ...

У вопрошающаго ноги подкашивались. Онъ готовъ былъ упасть и силнлся сорвать повязку съ глазъ.

— Не сымай! не сымай! — остановила его старуха.

Потомъ она сняла съ жерди пучекъ какихъ-то сухихъ травъ и бросила на тлѣвшіе въ углу уголья. Угли вспыхнули зеленымъ пламенемъ, и по пещерѣ распространился какой-то удушливый, одуряющій запахъ. Затѣмъ старуха прошла въ какое-то темное отверстіе въ углу пещеры, и черезъ минуту воротилась, но уже не одна: съ нею вышла молоденькая дѣвушка и остановилась въ отдаленіи. Котъ, увидавъ ее, спрыгнулъ съ жерди, онъ на которой все время сидѣлъ, распушивъ хвостъ, подошелъ къ дѣвушкѣ и сталъ тереться у ея ногъ.

— Сммотри на свою суженую — вонъ она! — сказала старуха и сорвала повязку съ глазъ своей жертвы.

Тотъ глянулъ, ахнулъ и какъ снопъ повалился на землю...

IV.

Бурное вѣче.

Долго, не умолкая ни на минуту, гудѣлъ вѣчевой колоколъ. Странный голосъ его, какой-то кричащій, подмывающій, не похожій ни на одинъ изъ многихъ сотенъ голосовъ всѣхъ колоколовъ множества новгородскихъ церквей и соборовъ, какъ-то нервно, тревожно точно голосъ нервнаго челоуѣка, разносился надъ Новгородомъ, то усиливаясь и возвышаясь въ одномъ направленіи, надъ одними „концами“ города, то падая и стихая

надъ другими, смотря по тому, куда уносили его порывъ вѣтра, дувшаго казалось то съ московской, то со псковской, то съ ливонской стороны.

„Вѣчный“ звонарь, одноглазый, сухой и сморщенный старичокъ, которому одинъ глазъ еще въ дѣтствѣ отецъ его, тоже „вѣчный“ звонарь, нечаянно выхлестнулъ веревкою, привязанною для звона къ языку вѣчевого колокола, безъ шапки, съ мятущимися по вѣтру сѣдыми, рѣдкими волосенками, съ восторженнымъ умиленіемъ на старческомъ лицѣ, точно священнодѣйствуя, звонилъ ни на мигъ не переставая, качая желѣзный языкъ изъ стороны въ сторону, колотя имъ объ мѣдные, сильно побитые края колокола, который вздрагивалъ и кричалъ словно отъ боли и котораго стоны заглушалъ новый ударъ желѣзнаго языка, и онъ опять вздрагивалъ и кричалъ—кричалъ какъ живой человѣкъ, какъ раненный или утопающій, а подчасъ какъ плачущая женщина. „Вѣчный“ звонарь хорошо изучилъ натуру и голосъ своего колокола, изучалъ его всю жизнь и умѣлъ заставить его кричать такимъ голосомъ, какого ему хотѣлось, какого ожидалъ отъ него Господинъ Великій Новгородъ—тревожнаго, радостнаго, набатнаго или унылаго.

Теперь онъ кричалъ тревожно. „Вѣчный“ звонарь зналъ, по какому поводу созывается вѣче: ему впопыхахъ повѣдали о томъ отроки, прибѣжавшіе отъ посадника, прямо съ Марейна пира, и велѣвшіе звонить вѣче.— „Москва на насъ собирается“... „Псковъ поломалъ крестное цитованье—миродокончальныя грамоты розмѣтываетъ“...

На голосъ призывнаго колокола новгородцы, только что было соснувшіе послѣ избранія новаго владыки и послѣ ранняго обѣда, спросонья бѣжали на вѣче, къ Ярославову дворищу, словно на пожаръ, кто безъ шапки и пояса, кто съ едва накинутымъ на одно плечо кафтаномъ или однорядкою. Двери, ворота и запоры по всему Новгороду хлопали, визжали и скрипѣли словно испуганные, собаки лаяли, людской говоръ несся волнами, какъ и самъ народъ, со всѣхъ пяти „концовъ“ и улицъ, запружая узкія улицы и мосты, валомъ валя напрямки черезъ Волховъ по льду, оглашая воздухъ криками, вопросами, руганью, невѣдомо кому и невѣдомо за что, и подчасъ звонкимъ смѣхомъ и веселыми шутками.

— Новаго владыку вѣчемъ ставить—Пимена!

— Ой-ли? А чи Фефилъ не любъ?

— Не любъ.. московской руки... княженецкой.

— Нѣмцы може идутъ на насъ.

— Гдѣ нѣмцамъ? Москва, сказываютъ, съ татары... кобылятники!

Скоро вѣчевую площадь и помость запрудили народныя волны. Вѣчевой колоколъ умолкъ и только тихо стоналъ, замирая въ воздухѣ. Звонарь, набожно перекрестившись и перекрестивъ колоколъ, потянулся къ нему своими мозолистыми, корявыми руками и сталъ ими гладить края все тихо стонавшей мѣди, какъ бы лаская что-то милое, родное, дорогое ему.

— Утомился, мой батюшко, колоколець мой миленькой, утомился, родной,—любовно бормоталъ онъ. — Ну, ино отдохни—передохни, корми-

лецъ мой, колоколушко вѣчной... Ишь какъ тяжело дышитъ старина... Ино буде, буде стонать, батюшко...

Потомъ старикъ, привязавъ конецъ колокольной веревки къ балясинѣ, оперся руками о перила башеннаго окна и сталъ смотрѣть на вѣче, на площадь, затопленную народными волнами. Зрѣлище было поразительное: видѣлись сплошныя массы головъ, шапокъ, плечъ—плечо къ плечу, хоть ходи по нимъ отъ одного конца площади до другого.

— Ишь дитушки, мои новгородци—экое людо людное... Совокупилися дитки у единыя матки... Головъ-то, головъ-то что!—качалъ онъ косматою головою.

Внизу, на вѣчевомъ помостѣ, отчетливо выдѣлялись фигуры посадника и гонца, пригнавшаго изъ Пскова. Сѣдая голова посадника какъ-то сверкала на солнцѣ серебряное руно, а золотая гривна горѣла и словно искрилась, какъ богатое ожерелье на иконѣ.

Гонецъ что-то говорилъ и кланялся на всѣ стороны. По площади волнами ходилъ невнятный говоръ, не то гулъ, не то рокотъ волнъ.

— Господинъ Великій Новгородъ сердать учаль,—бормоталъ про себя „вѣчный“ звонарь, глядя съ высоты на колыхающееся море головъ и прислушиваясь къ рокоту голосовъ.

— Ино псковичи на вѣчѣ приговорили, что-де и Господинъ Великій Новгородъ, нашъ старшій братъ, намъ-де и не въ брата мѣсто сталъ,—доносился голосъ гонца.

— Хула на святую Софію!.. Не потерпимъ, братцы, таковыя хулы!..

— Соромъ Великому Новгороду отъ молодчаго брата!

— Всядемъ, братцы, на конь за святую Софію и за дома Божіи и за честь новгородскую!—вырывались голоса изъ толпы, и площадь колыхалась, какъ боръ подъ вѣтромъ.

Посадникъ тряхнулъ своею серебряною головою и заговорилъ громко и внятно. Онъ вторично передалъ собранію содержаніе вѣстей, привезенныхъ гонцомъ изъ Пскова. Великій князь подымаетъ псковичей на Великій Новгородъ, не предувѣдомивъ его объ этомъ. Онъ ищетъ воли новгородской—на старину вѣковѣчную и на святую Софію пятою наступить умыслилъ. А Новгородъ старше Москвы—Новгородъ старше всѣхъ городовъ русскихъ. Въ Новгородѣ сидѣлъ Рюрикъ князь, прародитель всѣмъ князьямъ русскимъ, когда Москвы еще и на свѣтѣ не было. Великій князь чинить неправду—обиду налагаетъ на землю новгородскую. Новгородъ былъ вольнымъ городомъ, искони-бѣ, съ той поры какъ пошла есть русская земля...

Долго говорилъ посадникъ, обращая рѣчь свою на всѣ стороны. Но осторожный правитель новгородской земли не ставилъ вопросъ ребромъ: онъ только излагалъ положеніе дѣлъ, говорилъ о грозившей Новгороду опасности, спрашивалъ, что ему дѣлать—бить-ли великому князю челомъ объ его старинахъ, виниться-ли ему въ своей грубости и просить опасной грамоты новому владыкѣ, чтобы ѣхать въ Москву на ставленье?

— Говори свою волю, Господине Великій Новгородъ!—закончилъ онъ свою рѣчь:—на чемъ ты постановишь, на томъ и пригороды стануть.

Онъ смолкъ и низко кланялся на всѣ стороны.

Казалось, что разомъ прорвалась давно сдерживаемая плотина, и бушующія волны съ ревомъ, шумомъ и невообразимымъ клокотаньемъ ринулись съ горъ въ долину и все топили, ломали, сносили съ мѣстъ и уносили невѣдомо куда. Сначала слышался только ревъ и стонъ. Отдѣльные возгласы и рѣчи стали выдѣляться уже послѣ...

— Ишь разыгралось Ильмень-озеро!—качалъ головою звонарь, поглядывая на волнующееся вѣче: — распалились дѣтушки новгородци — фу-фу-фу!

Новгородцы дѣйствительно распалились. Звонарь ждалъ, что тотчасъ же разразится буря, которая не разъ доводилось наблюдать на своемъ вѣку этому старому сторожу „вѣчного гласа“ съ высоты своей исторической колокольни. Это бывало тогда, когда народъ — эта самодержавная сила древнѣйшей сѣверно-славянской республики — „худые мужики вѣчники“, выведенные изъ терпѣнія какими-либо неправильными или отягощающими ихъ быть дѣйствіями или распоряженіями правящихъ властей и богатыхъ людей, подымали бурю на вѣчѣ, стаскивали провинившихся противъ верховной власти народа ораторовъ съ вѣчеваго помоста, били и истязали ихъ всенародно, бросали съ моста въ Волховъ, а потомъ грабили ихъ дома — грабили цѣлые „концы“ или „улицы“ разжившихся на счетъ самодержавнаго народа бояръ, посадниковъ и тысяцкихъ и, такъ сказать, своими кулаками, каменьемъ и дубьемъ дѣлали поправку въ законахъ своей оригинальной, мужицкой, чисто-русской республики. Не сдѣлали власти того, чего хотѣлъ народъ, — и этотъ самодержавный мужикъ тутъ же, на вѣчѣ, расправлялся съ властями, замѣнялъ ихъ новыми, направлялъ дѣла новгородской земли туда, куда желала державная воля народа, и тутъ же, подъ вѣчевой колоколь, подъ ревъ тысячъ мужицкихъ глотокъ, изрекалъ свое державное „быть по сему“.

Такимъ и теперь сказался на вѣчѣ этотъ „самодержавный мужикъ“ — Господинъ Великій Новгородъ.

— Не хотимъ московскаго князя! мы не отчина его!—выдѣлялись отдѣльные голоса изъ общаго народнаго рева.

— Мы вольные люди, какъ и земля стоимъ!

— Мы Господинъ Великій Новгородъ! Москва намъ не указъ!

— Московскій князь чинить надъ нами, вольными людьми, великія обиды и неправды!

— За Коземира хотимъ за литовскаго... къ чорту Москву!

— Не надоть для владыки опасной грамоты отъ Москвы! Пускай идетъ на ставленіе въ Кіевъ.

Никто не смѣлъ перечить расхившемуся народу. Посадникъ, тысяцкіе и старосты, люди степенные и богатые, сбившись въ кучу подъ вѣчевой башней, стояли безмолвно. У посадника, когда онъ поправлялъ, по

привычекъ, золотую гривну, блиставшую на груди, рука дрожала замѣтно.

Откуда ни возьмись на помостѣ появилась рыжая голова на плотномъ туловищѣ всѣмъ извѣстнаго новгородца. Волосы его казались золотыми на солнцѣ, а небольшіе черные глазки, казалось, смотрѣли черезъ головы народа и искали кого-то вдали.

Это былъ Упадышъ, человѣкъ бывалый, хотя не старый, не разъ ѣзжавшій въ Москву и имѣвшій тамъ знакомство.

Онъ по русскому обычаю тряхнулъ своими рыжими волосами и поклонился на всѣ стороны.

— Повели мнѣ, Господине Великой Новгородъ, слово молвить,—заговорилъ онъ, снова кланяясь.

— Упадышъ ричъ держать, братцы, послушаемъ-косъ, что Упадышъ скажетъ.

— Помолчите, братцы!

— Долой Упадыша!

— Врешь!.. Говори-скаживай, Упадышъ!.. держи свою ричъ!

— Скаживай! скаживай!

Эти голоса ослепили. Упадышъ оправился, снова тряхнулъ волосами, снова поклонился.

— Братіе! Господине Великой Новгородъ! нельзя тому быть, какъ вы говорите, чтобъ намъ даться за короля Коземпра и поставить себѣ владыку отъ ево митрополита-латинина. Изъ начала, какъ и земля наша стоить, мы отчина великихъ князей...

— Не отчина мы ихъ! вреть Упадышъ!

— Отчина! онъ правду говорить!

— Отъ перваго великаго князя Рюрика—мы отчина ихъ. Князя Рюрика изъ варягъ избрала наша земля, новгородская, а правнукъ Рюриковъ, Володимеръ князь кievской, крестился отъ грековъ и крестилъ всю русскую землю, и нашу словенскую—ильмевскую, и вескую—бѣлозерскую, и кривскую, и муромскую, и вятичей,—продолжалъ Упадышъ, несмотря на ропотъ народа.

— А Москвы ту пору и въ заводѣ не было, а вонъ она нонѣ верховодить нами хочетъ...

— Не бывать тому! Не видать Москвѣ Новгорода какъ ушей своихъ!

— Братіе новгородцы!—выкрикивалъ Упадышъ:—и мы, Великой Новгородъ, до нонѣшнихъ временъ не бывалъ за латиною и не ставлявали себѣ владыки отъ Кіева. Какъ же топереве хотите вы, чтобъ мы поставили себѣ владыку отъ Григорья?—Григорій—ученикъ Исидора латинина.

— Къ Москвѣ хотимъ! къ Москвѣ, по старинѣ, въ православіе.

— Къ Москвѣ! къ Москвѣ!—раздались голоса степенныхъ мужей.

Вдругъ въ воздухѣ мелькнуло что-то бѣлое, и снѣжный комъ влѣпился Упадышу въ голову.

— Разбойники! злодѣи!—крикнулъ онъ, хватаясь за голову.

Снѣжки полетѣли со всѣхъ сторонъ. Они обсыпали стоявшихъ на помостѣ, у вѣчевой башни. Крики усилились.

„Вѣчный“ звонарь съ высоты своей колокольни видѣлъ, какъ въ толпѣ ходило нѣсколько человекъ, хорошо одѣтыхъ, и что-то горячо говорили народу. Звонарь узналъ между ними сыновей Марѣи посадницы, а также Арзубьева, Селезнева-Губу и Сухощека. Старикъ улынулся.

— Все это Мареутка мутить... бѣсъ-баба—знала бы свое кривое веретено; такъ нѣтъ—мутить...

Старикъ оглянулся на свой колоколь, и лицо его озарилось радостной улыбкой.

— Ахъ, колоколушко, мой, колоколець родной!.. Нѣтъ!.. не отдамъ тебя Москвѣ—голову за тебя положу, а не отдамъ...

И онъ снова глянулъ на площадь, гдѣ гулъ и крики усиливались.

— Не давайтесь Москвѣ, дѣтушки, не давайтесь,—бормоталъ старикъ:— мути, Мареуша, мути вѣчниковъ — не давай ихъ Москвѣ... И-и колоколушко мой!..

На площади уже почти не видно было ни головъ, ни плечъ мужицкихъ — въ воздухѣ махали только руки да кулаки, да снѣжки—самодержавный мужикъ валить стѣной, чтобы стереть съ лица земли все, что противилось его державной волѣ...

Но въ этотъ моментъ посадникъ, словно бы выросшій на цѣлую четверть, обратился къ вѣчевой башнѣ и махнулъ своею собольею шапкой... Голоса его все равно никто бы не услышалъ за этою народною бурей...

Звонарь хорошо зналъ этотъ нѣмой приказъ посадника. Онъ торопливо ухватился за колокольную веревку и точно помолодѣлъ. Онъ зналъ, что одного движенія его старой руки достаточно, чтобы въ одинъ мигъ улеглась народная буря.

— Ну-ко заговори, колоколушко мой, крикни...

И вѣчевой колоколь крикнулъ. Затѣмъ еще разъ... еще... еще... Мѣдный крикъ пронесся опять надъ площадью и надъ всѣмъ городомъ. Народная буря стихла—поднятые кулаки опустились.

Посадникъ выступилъ на край помоста. Онъ былъ блѣднѣе обыкновеннаго. Въ душѣ онъ чувствовалъ, что, быть можетъ, рѣшается участь его родины, славнаго и могучаго Господина Великаго Новгорода... На сердцѣ у него и въ мозгу что-то ныло—слова какія-то ныли и щемили въ сердцѣ...

„Марео! Марео!“ невольно звучали въ ушахъ его евангельскія слова, и ему припоминалась эта другая Марѣя, которую, казалось, Богъ въ наказаніе послалъ его бѣдной родинѣ... „Проклятая Марѣя!“... И передъ нимъ промелькнули годы, промелькнула его молодость, а съ нею обаятельный образъ этой „проклятой Марѣи“ во всей чудной красотѣ дѣвчества... „Проклятая, проклятая“...

Онъ вскинулъ вверхъ свою серебряную голову, чтобы отогнать нахлынувшія на него видѣнія молодости... А колоколь все кричалъ надъ нимъ... Онъ глянулъ туда, вверхъ, и два раза махнулъ шапкой. Колоколь умолкъ,

точно ему горло перехватило, и только протяжно стоналъ... Надъ вѣчевымъ помостомъ кружился бѣлый безъ отъѣтки голубь...

— Господо и братіе!—прозвучалъ взволнованный голосъ посадника.— Вижу, Господине Великій Новгородъ, нѣтъ твоей воли стать за князя московскаго, за его старины...

— Нѣтъ нашей воли на то!

— За короля хотимъ! за Коземира!

— Мы вольные люди, и подъ королевъ наша братья, русь, тожъ вольные люди!

— Да будетъ твоя воля, Господине Великій Новгородъ,—продолжалъ посадникъ, когда нѣсколько смолкли крики.—За короля—такъ за короля. И того-дедя подобаетъ намъ съ королевъ договорную грамоту написать и печатями утвердить...

— Болого! болого! на то наша воля!

— Ниту нашей воли, ниту!—кричали сторонники Москвы — большею частью люди старые, степенные, богатые и ихъ прихлебатели.

— Не волимъ за короля! не волимъ за латынство!

— За православіе волимъ! за старину!

Но ихъ голоса покрыты были ревомъ толпы.

— Не хотимъ въ московскую кабалу! Мы не холопи!

— Бей ихъ, идиловыхъ сыновъ! Съ мосту толстобрюхихъ!

— На потокъ и на разоренье хоромы ихъ, Перуньево отродье!

Опять полетѣли въ воздухъ комья снѣгу, а съ ними и камни. Опять тысячи рукъ съ угрозой махали въ воздухъ. Народъ двигался стѣною, давя другъ дружку. Противная сторона посунулась назадъ; но дальше идти было некуда. Свалка уже начиналась на правомъ и на лѣвомъ крылѣ, гдѣ первые натиски толпы приняли на себя рядскіе молодцы и рыбники, защищавшіе интересы торговыхъ людей и свои собственные.

— Братцы кончане, за мною!—кричалъ богатырскаго роста рыбникъ съ Людина „конца“:—бей ихъ, худыхъ мужиковъ вѣчникивъ!

— Не дадимъ себя въ обиду, братцы уличане!

— Луи, братцы, сѣрыхъ лапотниковъ!

— Разнесемъ ихъ, гостинныхъ крысъ! Разнесемъ Перуньевы сѣмена!—отвѣчали сѣрые вѣчники.

Русскій народъ мастеръ биться на кулачки, а новгородцы по этой части были мастера первый сортъ: всю зиму, по большимъ праздникамъ и по воскреснымъ днямъ, а равно на широкую масленицу, послѣ блиновъ, на Волховѣ, на льду, сходились чуть не весь Новгородъ — и начинался „бой-драка веселая“. „Конецъ“ шелъ на „конецъ“, Нервской конецъ на Людинъ, Славенскій на Плотницкій, Околотокъ на загородный конецъ. А тамъ сходились улица съ улицей—и кровопролитье изъ носовъ шло велие: ставились фонари подъ глазами, сворачивались на сторону скулы-салазки, доставалось „микиткамъ“ и ребрамъ... Въ порывѣ крайняго увлеченья торговая сторона шла лавой на Софійскую, и тогда въ битвѣ участвовали

не одни молодцы рядские, рыбники да мужики вѣчники, а выступали и солидные „житые люди“ и бояре, и гости, молодое и старое...

Такую картину разомъ изобразило изъ себя вѣче въ этотъ достопамятный день. Богатырь рыбникъ схватилъ за ноги какого-то щедущаго тяглеца-„пидблянина“ и сталъ махать имъ направо и налево словно мѣшкомъ и приговаривать изъ былины про Илью-Муромца:

Захватилъ Илья тутъ за ноги татарина,
Сталъ кругомъ татаринѣ помахивать:
Гдѣ махнетъ—тамъ улица татаровой,
Отмахнется—съ переулками...

Но „сѣрые лапотники“ навалились массой на рыбниковъ и рядскихъ молодцовъ, отбили злополучнаго „пидблянина“, котораго богатырь рыбникъ замахалъ и заколотилъ чуть не до смерти, приперли своихъ противниковъ къ стѣнамъ, ринулись какъ звѣри и на самихъ торговыхъ и степенныхъ людей и превратили вѣче въ чистое побоище.

Тщетно всѣ старосты концовъ, сотники и тысяцкіе, размахивая своими должностными знаками — бердышами и почетными палицами, крича и ругаясь, силились остановить побоище — оно разгоралось все сильнѣе и сильнѣе. Напрасно кричалъ посадникъ, грозя сложить съ себя посадничество—его голоса никто не слыхалъ.

Одинъ „вѣчный“ звонарь радовался, глядя съ своего возвышенія на побоище, къ которымъ онъ такъ привыкъ и которыя съ дѣтства умиляли его вольную новгородскую душу.

— Такъ ихъ, песьихъ дѣтей, такъ, дѣтушки!—не продавай воли новгородской!.. Крѣпче! крѣпче!

Мужики одолѣвали. Тамъ, гдѣ недавно богатырь рыбникъ махалъ на всѣ стороны „пидбляниномъ“—уже не видно было этого богатыря: осиливаемый „вѣчниками“, которые цѣплялись за него какъ собаки за раненаго медвѣдя, онъ стрѣлъ разомъ троихъ мужиковъ и повалился съ ними на землю, другіе бросились—кто на него, кто за него, тутъ же падали въ общей свалкѣ, сцѣпившись руками и ногами или таская другъ друга за волосы, и катались клубками; на нихъ лѣзли и падали третьи, на третьихъ четвертые, такъ что надъ рыбникомъ и его жертвами образовалась цѣлая гора-курганъ изъ вцѣпившихся другъ въ дружку борцовъ, тузившихъ другъ друга по всей площади, постоянно путались потерянные въ бою шапки, рукавицы, пояса; тутъ же краснѣли, чернѣли и рыжѣли на свѣту лужи выпущенной изъ носовъ крови, клочки „брадъ честныхъ“ и волосъ...

Но этого мало. У Новгорода, у Господина Великаго Новгорода, у Новгорода, у этого „самодержавнаго мужика“, какъ и древняго Рима, имѣлась своя Тарпейская скала, для сбрасыванья съ нея всѣхъ провинившихся передъ державнымъ городомъ: такую Тарпейскую скалу въ Новгородѣ замѣнялъ „великій мостъ“, соединявшій Софійскую сторону съ Тор-

говой, мостъ, съ котораго когда-то новгородцы свергнули въ Волховъ своего бога—идолище Перунище...

Этому богу, съ этого самого моста, новгородцы постоянно приносили потомъ человѣческія жертвы...

— Съ мосту злодѣвъ!—кричали осилившіе мужики.

— На мостъ! къ Перунищу ихъ!

— Волоки Упадыша!—онъ заварилъ кашу, онъ мутитъ Москвой.

За волосы, за руки, за ноги, избитыя и окровавленные, волоклись уже нѣкоторыя жертвы державнаго гнѣва. Все повалило за этой страшной процессіей, чтобы посмотрѣть, какъ будутъ „злодѣвъ“ сбрасывать съ мосту... Зрѣлище достолюбезное! красота неизглаголанная!..

— Поволокли-поволокли дѣтшки—фу-фу-фу!—радовался съ колокольни „вѣчный“ звонарь.

Вдругъ раздался дѣтскій крикъ, отъ котораго многіе невольно вздрогнули.

— Мама! мама! батю волокутъ съ мосту!—о... о!

Въ ту же минуту женщина, протискавшись сквозь толпу, стремительно бросилась на одного изъ влекомыхъ къ мосту, обхватила его руками да такъ и ооченѣла на немъ.

— И меня съ нимъ! и меня съ нимъ!—безумно причитала она.

Но въ это время толпы невольно шарахнулись въ сторону. Отъ моста, въ середину озадаченныхъ толпищъ, поднявъ надъ головою большой черный крестъ, съ ярко блиставшимъ на немъ серебрянымъ Распятіемъ, шелъ съдой монашекъ. Лыняные волосы его, выбивавшіеся изъ-подъ низенькаго чернаго клубочка, и такая же бѣлая борода трепались вѣтромъ и словно серебряные сверкали на солнцѣ. Онъ казался какимъ-то видѣніемъ.

— Преподобный Зосима... Зосима угодникъ! — прошелъ говоръ по площади, гдѣ все еще шло побоище.

Это былъ дѣйствительно Зосима соловецкій. Что-то внушительное и страшное видѣлось въ его одинокой фигурѣ съ Распятіемъ надъ головою.

— Дѣтки мои! народъ православный! что вы дѣлаете? Опомитесь, православные! Не губите души хрестіянскія! не губите града святой Софїи Премудрости Божїи! Почто вы котораетесь и ратитесь? Почто братъ на брата распялете сердца ваша?.. Убейте меня грѣшнаго, меня сверзайте съ великаго мосту, токмо градъ свой и души свои не губите...

Толпа оцѣнѣла на мѣстѣ, какъ испуганныя дѣти. „Самодержавный мужикъ-вѣчникъ“, превратившійся было въ звѣря, монашка съ крестомъ испугался...

— Ко мнѣ, дѣтки!.. кланяйтесь Распятому за ны — Его молитѣ, да пощадитъ градъ вашъ... Кланяйтесь знаменію сему!

И онъ осѣнялъ крестомъ испуганныя толпы направо и налево... Новгородцы падали ницъ и крестились... Буря мгновенно утихла...

— Эхъ-ма!.. не далъ доглядѣть до конца,—ворчалъ „вѣчный“ звонарь, спускаясь съ колокольни.

V.

„Бѣсъ въ ребрѣ“ у Марѣы посадницы.

„Самодержавный мужикъ“, какъ и слѣдовало ожидать, осилилъ партію бояръ, степенныхъ и житыхъ людей, сторонниковъ московской руки. Господинъ Великій Новгородъ постановилъ, а на томъ и пригороды стали, чтобъ отъ московскаго князя отстать, крестное цѣлованье къ нему сломать, какъ и самъ онъ его „ежегодъ“ сламливалъ и топталъ подъ нозѣ, а къ великому князю литовскому и королю польскому Коземиру пристать и договоръ съ нимъ учинить навѣки нерушимо...

— Ужъ такую-то грамотку отодралъ нашъ вѣчной дьякъ королю Коземиру, такую отодралъ, что и-и-и!—хвастались худые мужики вѣчники, шатаясь кучами по торгу, задирая торговыхъ людей да рядскихъ молодцовъ да рыбниковъ и зарясь на ихъ добро.

— Да, братцы, на нашей улицѣ нониче праздникъ.

— Масляница, брательники мои, широкая масляница! Эхъ-ну-жги-поджигай-говори!

— Не все коту масляница—будетъ и великій постъ,—огрызались рядскіе молодцы да рыбники.

Дѣйствительно, на томъ же бурномъ вѣчѣ, по усмирении преподобнымъ Зосимою волненія, вѣчнымъ дьякомъ составлена была договорная грамота о союзѣ съ Казимиромъ и вычитана передъ народомъ, который изъ всей грамоты понялъ только одно, имъ же самимъ сочиненное заключеніе, что съ этой поры Москвѣ уже ни „черной куны“ и никакой дани и пошрины не платить и всякаго московскаго человѣка можно въ рыло, по салазкамъ и подъ „микитки“... „Микитка“ пользовался особенной любовью новгородцевъ.

— Можно и московскимъ тивунамъ нониче въ зубы,—толковали грамоту худые мужики вѣчники.

— Знамо—на то она грамота.

Съ грамотою этою Господинъ Великій Новгородъ отправилъ къ Казимиру посольство—Аеонасыя Аеонасыча, бывшаго посадника, Дмитрія Ворецкаго, старшаго сына Марѣы, и отъ всѣхъ пяти новгородскихъ концовъ по житуму человѣку.

Въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ худые мужики вѣчники совсѣмъ размечтались. Поводомъ къ этимъ мужицкимъ мечтаніямъ служили пріѣхавшіе съ княземъ Михайломъ Олельковичемъ „хохлы“—княжеская дружина, состоявшая изъ кіевлянъ. Все это былъ народъ красивый, рослый, черноусый, чернобровый и „весь наголо черномазъ гораздо“. Они были одѣты красиво, пестро, въ цвѣтное платье, въ цвѣтные сапоги: высокія шапки съ красными верхами и широчайшіе штаны горѣли какъ жаръ. Новгород-

скія бабы были безъ ума отъ этихъ статныхъ гостей, а мужики такъ со-всѣмъ перебѣсились отъ заманчивыхъ розсказней этихъ хохлатыхъ молод-цовъ. Прїѣзжіе молодцы разсказывали, что въ ихъ кїевской сторонѣ со-всѣмъ нѣтъ мужиковъ, а есть только одни „чоловики“ и притомъ все народъ вольный, богатый. Всѣ „чоловики“ ходятъ у нихъ такъ, какъ вотъ они, дружинники—нарядно, цвѣтно и „гарно“.

На основаніи этихъ розсказней худые мужики вѣчники возмечтали, что и они теперь, „за королемъ Коземиромъ“, будутъ всѣ такими же мо-лодцами, какъ эти „хохлы“, будутъ ходить въ цвѣтномъ платьѣ, ѣздить верхомъ на добрыхъ „комоняхъ“ и ничего—„ровно таки ничевошеньки не дѣлать“.

— Ужъ и комонъ же у меня будетъ, братцы!—изъ ушей дымъ, изъ ноздрей полымя...

— А я соби, братцы, шапку справлю—во каку!—со святую Софію...

— Дадимъ мы въ ту-пору знать московскимъ холопамъ,—косясь на богатыря рыбника, процѣдилъ сквозь зубы тотъ тѣдешный мужиченко „пидблянинъ“, которымъ на послѣднемъ вѣчѣ такъ ловко помахивалъ этого богатыря и на лицѣ котораго все еще оставались синяки.

На что богатырь, оскаливъ свои бѣлые, какъ у пса зубы, отвѣчалъ приговоромъ изъ извѣстной ксему Новгороду пѣсни о Васкѣ Буслаевѣ:

А и стой, Васька, не попархивай,
Молодой глуздырь, не полетывай:
Изъ Волхова воды не выпити,
Въ Новѣгородѣ людей не выбити.
Есть-ста молодцы супротивъ тебя:
Стоимъ мы, молодцы, не хвастаемъ.

Мареа посадница торжествовала. Ея честолюбивыя затѣйки удались исполнѣ. Торжество ея еще тѣмъ было полнѣе, что ея любимецъ сынокъ, красавецъ Митрюшка, былъ отправленъ къ королю Казимиру чуть не во главѣ посольства...

— Младъ-младъ व्यюношъ, а поди-на!—посольство править,—хваста-лась она своей „другинѣ“ закадычной, богатой боярынѣ Настасьѣ Гри-горовичевой, съ которою они когда-то въ дѣвкахъ вмѣстѣ гуливали, а потомъ уже и замужемъ, отай отъ своихъ старыхъ, не милыхъ, постылыхъ муженьковъ, съ милъ-сердечными друзьями возжались.—Во каковъ мой сынокъ, мое чадо милое!

— А все по тоби честь, по матушкѣ,—поясняла ей другиня Настасья:—ты у насъ соколъ.

— Какой ужъ соколъ! Ворона старая.

— Не говори... Вонъ на тебя какъ тотъ хохлачъ свои воловы бур-калы пялить.

— Какой хохлачъ?—вспыхнула Мареа.

— Тото... тихоня... соби на уми...

- Ахъ, Настенька, что ты! Не вѣмъ, что говоришь...
-- Ну-ну! полно-ка... А для кого брови вывела да подсурмилась?
-- Что ты! что ты!.. для кого?
-- А князь-то на что?.. Оленьковичъ...

Марѳа еще болѣе вспыхнула.

- Стара я ужъ... бабушка...

- Стара-стара, а молодуху за поясъ заткнешь.

Какъ ни старалась скромничать продувная посадница, однако слова пріятельницы, видимо, понравились ей, лстили пожирившему ее тщеславію. Это была женщина до крайности честолюбивая, привыкшая помыкать всѣми. Перебалованная съ дѣтства у своихъ родителей еще, какъ холеное, „дрочное дитя“, которое не иначе кушало бѣлые крупитчатые калачи, какъ только тогда, когда мать и нянюшка, души печавшія въ своей Марѳу-гочкѣ „глазокъ во лбу“—увѣряли свое „золотое чадушко“, что калачикъ „отнять у зайныки сѣренькаго“,—которое пило молочко только отъ „коровушки-золотые рога“ и спало въ своей раззолоченной „зыбочкѣ“—тогда только, когда ее убаюкивалъ и качалъ какой-то сказочный „котикъ-сергеорыны лапки“—потомъ перебалованная въ молодости своею красотой, на которую „вѣтеръ дохнуть не смѣлъ“, а добрые молодцы новгородскіе отъ этой красоты становились „аки изступленные“,—перебалованная затѣмъ старымъ мужемъ посадникомъ, „постылымъ Исачкомъ“ за котораго она вышла изъ тщеславія и который „съ рукъ ее не спускалъ, словно золотъ перстень“, но которымъ она помыкала какъ старою костригою въ тренахъ,—избалованная наконецъ всѣмъ Новгородомъ, лстившимъ ея красоту, богатству и посадничеству.—Марѳа обезумѣла: Марѳѣ былъ что называется чертъ не братъ... Она не разъ принимала у себя великаго князя московскаго и ей захотѣлось быть такою же какъ онъ—государемъ всея новгородскія земли со всѣми ея „пятнами“, рѣками и морями.

И она на этотъ счетъ забрала себѣ что-то въ свою безумную съ „долгимъ волосомъ“ голову...

- Ужъ попомни мое слово, что быть тебѣ княгинею,—настаивала пріятельница.

— И точно: княгинею новгородскою и кіевскою,—улыбнулась хитрая бабища.

- Почто милая, кіевскою?

— А какъ же?.. Онъ—хохлачъ-отъ—будетъ кіевскимъ княземъ, а я съ нимъ.

И Марѳа задумалась. Лицо ея, все еще красивое, приняло разомъ мрачное выраженіе. Она сжала свои пухлыя руки и досадливо хрустнула пальцами.

- Что уже и молоть бездѣлочно!.. Я вѣтъ ужъ давно и сорокоустъ справила.

- По комъ, Марѳушка?—удивилось Настасья.

- По соби, мать моя.

- Какъ по собі? Я не разумію тебя.
- Да мнѣ давно сорокъ стукнуло... А сорокъ лѣтъ—бабій вѣкъ...
- Токмо не про тебя сіе сказано.
- Про меня... къ пятидесятиці дило подходить...
- Что ты! опомнись: топереву у насъ святки—рожество...
- А у меня скоро пятидесятиці...

Пріятельницы сидѣли въ извѣстномъ уже намъ, „чюдномъ“, по выраженію лѣтописца, домѣ Борецкихъ, что стоялъ на Побережѣ, въ Неревскомъ концѣ, и изумлялъ всѣхъ своимъ великолѣпіемъ.

Марѳа то-и-дѣло поглядывала своими черными съ большими бѣлками глазами то въ зеркало—мѣдный, гладко отполированный кругъ на ножкѣ, стоявшій на угольномъ ставцѣ, то въ окно, изъ котораго открывался видъ на Волховъ, гдѣ съ одной стороны новгородцы дрались на кулачки—одинъ конецъ шелъ на другой и неревскіе кончане сворачивали на сторону скулы людинскимъ кончанамъ и наоборотъ, а съ другой—шли святочныя игрища: ребятишки Господина Великаго Новгорода катались на конькахъ, на лыжахъ и на салазкахъ, изображая изъ себя то „ушкуйниковъ“, то дружину Васьки Буслаева, а парни и дѣвки—золотая молодежь новгородская—просто веселилась или, по словамъ строгаго старца Памфила, игумена Елизарьевской пустыни, „чинили идольское служеніе, скверное возмѣненіе и возбѣшеніе, и въ бубны и въ сопѣли играніе, и струнное гудѣніе, и всякія неподобныя игры сатанинскія, плесканіе руками и ногами плясаніе, жеманъ же и дѣвамъ и главами киваніе и устнами ихъ непріязненъ клить, и всѣ скверныя бѣсовскія пѣсни, и хребтомъ ихъ вихляніе, и ногамъ ихъ скаканіе и топтаніе, ту же мужамъ и отрокомъ великое паденіе, ту же и на женское и на дѣвичье шатаніе блудное воззрѣніе, и женамъ мужатымъ оскверненіе и дѣвамъ растлѣніе“...

Такая-то картина представлялась глазамъ Марѳы, когда взоръ ея изъ комнаты, гдѣ она сидѣла съ своей другиней, переносился на Волховъ, ровная, льдистая поверхность коего вся покрыта была цвѣтными массами, словно бы живой садъ, полный цвѣтовъ, выросъ и двигался по льду и по бѣлому снѣгу. Милая, давно знакомая картина, но теперь почему-то хва-тавшая ее за сердце, заставлявшая вздыхать и хмуриться... Картина эта напоминала ей ея молодость, когда и она могла совершать это „кумирское празднованіе“, грѣховное, сатанинское, но тѣмъ болѣе для сердца сладостное... А теперь ужъ ни „главою киваніе“, ни „хребтомъ вихляніе“, ни „ногами скаканіе и топтаніе“—не къ лицу ей; а если что и осталось еще, такъ развѣ „очами намизаніе“—вонъ какъ эта Настя говоритъ, будто бы она своими красивыми очами заигрываетъ съ „воловыми буркалами“ этого хохлача князя...

Вонъ какъ кончане Плотницкаго конца погнали къ великому мосту Гончарскихъ кончанъ... Вонъ какъ падаютъ и теряютъ шапки разбитые гончары—и побѣдители и побѣжденные трутъ снѣгомъ разбитые и окровавленные носы... родныя, милыя картины!..

— Ахъ, милая, смотри, какъ людишки погнажи переводъ.
— Ниту, то худше мужики наши бьютъ московскихъ перевѣтчиковъ.
— Болого... такъ имъ и надобеть... А скоморохи-тѣ, скоморохи, смотри, Мароушка—въ какихъ харахъ!.. и гусли у нихъ, и бубны, и сопѣли и свистѣли разны...

— Вижу, вижу—то знамые мнѣ гудцы—околоточные гудошники...

— Знаю и я ихъ... Еще намъ онома-дни дѣйство творили, какъ гостище Терентьище у своей молодой жены недугъ палкой выгонялъ... А недугъ-отъ испужался и безъ портовъ въ окно высигнулъ...

Пріятельницы переглянулись и засмѣялись—молодость вспомнили...

Въ это время въ комнату въѣхалъ хорошенькій черноглазенькій мальчикъ лѣтъ пяти-шести. На немъ была соболья боярская шапочка съ голубымъ верхомъ, бархатная шубка—„мятелька“, опушенная соболемъ же, голубые сафьяные сапожки и зеленныя рукавички. Розовыя щечки его горѣли отъ мороза, а черныя какъ смоль волосы, подрѣзанные скобой на лбу, выбивались изъ-подъ шапочки и кудрашками вились у розовыхъ ушей и на затылкѣ. За собою мальчикъ тащилъ раззолоченныя сусальнымъ золотомъ салазки съ рѣзнымъ на передкѣ конькомъ.

— Баба-баба, пусти меня на Волховъ,—бросился мальчикъ къ Марѣ.

— Что ты, дурачекъ?... почто на Волховъ?—ласково улыбулась посадница, надвигая ребенку шапку плотнѣе на курчавую головку.—А, дурашка, почто?

— Съ робятками катацца—на саночкахъ... Пусти, баба.

— Со смердьими-ту дитьми? Ни-ни!

— Ниту, баба,—не со смердьими—съ боярскими... Вася посадничъ... Гавря тысячковъ... пусти!

— Добро—иди, да токмо съ челядью...

— Съ челядью, баба.

— И смердятъ къ соби ни-ни... ни на сто шаговъ.

Мальчикъ убѣжалъ, стуча по полу салазками.

— Весь въ тебя—огонь малецъ,—улыбулась гостыя.

— Въ отца... въ Митю... блажной.

Скоро пріятельницы увидѣли въ окно, какъ этотъ „блажной“ внучекъ Марѣи уже летѣлъ на своихъ раззолоченныхъ салазкахъ вдоль берега Волхова. Три дюжихъ парня, словно тройка коней, держась за веревки, бѣжали вскачь и звенѣли бубенчиками, на подобіе пристяжныхъ, откидывая головы направо и налево, а парень въ корню даже ржалъ по лошадиному. Маленькій боярченочекъ вошелъ въ роль кучера и усердно хлесталъ по спинамъ своихъ коней шелковымъ кнутикомъ. За нимъ поспѣвали съ своими салазками „Вася посадничъ“ да „Гавря тысячковъ“.

— А вонъ и самъ легокъ на поминѣ.

— Кто, Настенька?—встрѣнула Марѣя, глядя въ окно.

— Да твой-то...

— Что ты, Настенька... кто?

— Ходлять-то чумазый...

— А—ахъ, ужъ и мой!

Дѣйствительно, въ это время мимо оконъ, гдѣ сидѣла Марѳа съ своею гостью, проѣзжалъ на статномъ ворономъ конѣ князь Михайло Олельковичъ. Онъ былъ необыкновенно картиненъ въ своемъ литовскомъ, скорѣе кievскомъ одѣяніи: зеленый зипунъ съ позументами на груди, верхній опашень съ откидными рукавами съ красной подбойкой и съ краснымъ откиднымъ воротомъ; на головѣ—сѣрая барашковая шапка съ краснымъ колпакомъ наверху, сдвинутая набекрень. За нимъ ѣхали два вершника въ такихъ же почти одеждахъ, но попроще, зато въ широчайшихъ, желтыхъ какъ цвѣтущій подсолнухъ штанахъ.

Проѣзжая мимо дома Борецкихъ, князь глядѣлъ на окна этого дома, и, увидавъ въ одномъ изъ нихъ женскія лица, снялъ шапку и поклонился. Поклонились и ему въ окнѣ.

— Ишь буркалицы запускаетъ. Ухъ!

— Это на тебя, Настенька,—отшутилась Марѳа.

— Сказывай! На меня, курносату рипу, и съ молоду мало засматривались.

— А Степанко?

— Степанко мужемъ сталъ моимъ ради батюшковыхъ животныхъ—на нихъ позарился, не на меня, курносату рипу.

Бѣлобрысая и весноватая пріятельница Марѳы была дѣйствительно не казиста, но зато богата: всякій разъ какъ московскій великій князь Иванъ Васильевичъ навѣщалъ свою отчину, Великій Новгородъ, онъ непремѣнно гащивалъ либо у Марѳы Борецкой, либо у Настасьи Григоровичевой, у „курносой рѣпы“.

— А скажи мнѣ на милость, Марѳушка, — обратилась Настасья къ своей пріятельницѣ, когда статная фигура Олельковича скрылась изъ глазъ:— я вотъ никоимъ способомъ въ толкъ не возьму—за коимъ дидомъ мы съ Литвой плутаться на вѣчѣ постановили, съ онымъ королемъ, съ Коземиромъ?—Вопрошала я о томъ муженька своего, Степанка, какъ онъ отъ нашево конца въ посольство съ твоимъ Митей къ Коземиру посыланъ былъ,—такъ одна отъ него отвѣдь: „ты—говорить,—баба дура“... Я сама знаю, что я дура, а все бы для чево не сказать? Такъ ниту-ти—одно заладилъ: „баба деи дура—знай сверчокъ“ да либо „знай-деи кривое веретено“... Ну, я и не возьму въ домежъ.

Марѳа добродушно улыбулась простотѣ своей пріятельницы, которая дѣйствительно не отличалась умомъ, а была только добруха.

— Да какъ тебѣ сказать, Настенька,—загорела она подумавъ:—московское-то чадушко, Иванушко князь, недоброе на насъ, на волю новгородскую, умыслилъ—охолопить насъ въ умѣ имѣетъ. Такъ мы отъ него, аки голубица отъ коршуна, къ королю подъ крыло хоронимся, токмо воли своей ему не продаемъ и себя въ грамотѣ выгораживаемъ: ни медовъ ему не даримъ, какъ московскимъ князьямъ дождѣ варивали, ни даровъ ему не

даемъ, ни мыта княжецакаго, а токмо-дей посламъ и гостямъ нашимъ путь чистъ по литовской землѣ, литовскимъ путь чистъ по новгородской.

— А какъ же, милая, о латынствѣ люди сказываютъ?

— То они сказываютъ безлипно, своею дуростию.

— А про черный боръ сказывали?

— Что жъ черный боръ! Боръ-ту единожды соберемъ, какъ и всегда такъ поводилось, а черную куну будутъ ллатить королю токмо порубежныя волости—ржевски да великолуцки.

— Такъ... А хохлатъ-ту почто сидитъ на Ярославовѣ дворищи?

— Онъ князь намѣстникъ и судъ токмо судитъ на владычнѣ дворъ заодно съ посадникомъ, а въ суды тысячково и владычни и монастырски ему не вступать.

— Такъ-такъ... Спасибо... Вотъ и я знаю топереву.. А то на:— дура да дура!

Въ это время на улицѣ, подъ самыми окнами, показались скоморохи. Ихъ было человекъ семь. Нѣкоторые изъ нихъ были въ „харахъ“—въ маскахъ, и выдѣлывали разныя характерныя тѣлодвиженія, неистово играя и дудя на сопѣляхъ, дудахъ и свистѣляхъ.

Въ то же время въ комнату, но уже безъ салазокъ, влетѣлъ вихремъ, счастливый и раскраснѣвшійся, внучекъ Марѣи, да такъ и повисъ на ея подолѣ.

— Баба, баба! пусти въ хоромы гостыице Терентыице!—просилъ онъ, умоляюще глядя на бабку.

— Полно, дурачекъ...

— Пусти! пусти, баба!

— И то пусти, Марѣушка,—присоединилась съ своей просьбой и гостыя:—я такъ люблю скомороховъ—таково хорошо они дѣйства показываютъ... Пусти, золотая моя!

— Баба! бабуся! пусти!

— Ну ино пусть войдутъ,—согласилась Марѣа.

Юный внучекъ стрѣлой вылетѣлъ изъ хоромъ, радостно восклицая: „иди, гостыице Терентыице, иди въ хоромы, баба велѣла...“

Скоморохи не заставили себя ждать. Маленькій Исачко—такъ звали рѣзваго внука Марѣи посадницы въ честь дѣда, Исаака Борецкаго,—влетѣлъ въ палату, а за нимъ съ поклонами, кривляньями и разными мимическими ужимками вошли скоморохи. Одинъ изъ нихъ, съ длинною мочальною бородой, изображалъ старика немножко подслѣповатаго и тугаго на ухо:—это былъ легендарный гость Терентыице, у котораго на поясѣ висѣла большая калита. Рядомъ съ нимъ жеманно выступалъ молодой краснощекій парень, одѣтый бабою. Баба была набѣлена и насурмлена, неистово закатывала глаза подъ лобъ, показывая, что она „очами намизаетъ“—кокетничаетъ, глазками стрѣляетъ. Этотъ ломающійся малый изображалъ молодую жену гостя Терентыица—полнотѣлую Авдотью Ивановну.

При видѣ этой пары добродушная и простоватая пріятельница Марѣи,

курносая Настасья, такъ и покати́лась со смѣху, хватаясь пухлыми руками за своей почтенныхъ размѣровъ животь.

— Охъ! умру со смѣху,—качалась она всѣмъ тѣломъ.

Юный Исачко также заливался звонкимъ дѣтскимъ смѣхомъ. Смѣялась и Марѳа, но сдержанно.

Другіе скоморохи также старались поддержать свою репутацію — репутацію „людей веселыхъ и вѣжливыхъ“, „скомороховъ очестливыхъ“—и тоже кривлялись съ достаточнымъ усердіемъ. Говорили они большею частью прибаутками и притчами, такъ чтобы выходило и „ладно“ и „складно“ и ушамъ „не зазорно“.

— Жилъ-былъ въ Новѣгородѣ, въ красной слободѣ Юрьевской, чесной гость Терентье, — тараторилъ одинъ краснобай, подмигивая льяной бородѣ:—мужъ богатой, ума палата...

Льяная борода охорашивалась и кланялась:—„Прошу любить и жаловать, вдова чесная“...

— И была у него жена молодая, привѣтливая, шея лебедина, брови соболіни...

Молодая Авдотья Ивановна жеманно кланялась — „хребтомъ вихляла, очами намизала“, аркучи тако: „И меня младу прошу въ милости держать...“

Потомъ Авдотья Ивановна стала охать, хвататься за сердце за голову...

— Что съ тобой, моя женушка милая? участливо спрашивалъ старый мужъ.

— Охъ, мой муженекъ Терентье! — неможется мнѣ, нездоровится...

Расходился недугъ въ головѣ,
Разыгрался утинъ въ хревтѣ,
Подступилъ недугъ къ сердечушку...

— Ахъ, моя милая! чѣмъ мнѣ помочь тебѣ?

— Охъ-охъ! зови волхвовъ ко мнѣ, зови кудесницу...

Старый мужъ заметался и вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ скомороховъ вышелъ въ сѣни; а оставшіе съ Авдотьею Ивановною молодой „прелестникъ“, котораго молодая Терентьева принимала тихонько отъ мужа, сталъ весьма откровенно „изгонять изъ нея недугъ“—обнимать и миловать...

Настасья Григоровичева и юный Исачко заливались веселымъ смѣхомъ, глядя на кривляюща скомороховъ...

Вдругъ въ сѣняхъ послышались голоса... „Калики переходяіе идутъ — калики!“...

„Прелестникъ“, якобы испугавшись этихъ голосовъ, заметался и спрятался подъ лавку, покрытую ковромъ. Въ палату вошли тѣ же скоморохи, но въ видѣ „каликъ переходяихъ“. Одинъ изъ нихъ, самый дюжій, тащилъ на спитѣ огромный мѣшокъ, въ которомъ что-то шевелилось, и положилъ мѣшокъ на полъ у порога.

— Здравствуй, матушка Авдотья Ивановна! — кланялись „калики“.

— Здравія желаю вамъ, калики перехожіе! — отвѣчала Терентыха: — а не встрѣчали ли вы моего муженька, гостя Терентыха?

— Сустрѣли, матушка: приказалъ онъ тебѣ долго жить... Лежитъ онъ въ полѣ мертвый, а вороны клюютъ его тѣло бѣлое.

Запрыгала и забила въ ладоши отъ радости Терентыха.

— Ахъ, спасибо вамъ, калики перехожіе, за добрую висточку!.. А сыграйте-ко про моево мужа старово, постылово веселую писенку, а я млада на радостяхъ скакать-плясать буду...

Заиграли и задудѣли скоморохи. Пошла Терентыха выплясывать, приговаривая:

Умеръ умеръ Терентыхе!
Околѣлъ постылый мужъ!..

Вдругъ изъ мѣшка выскакиваетъ самъ Терентыха съ дубиною и бросается на жену. Жена взвизгиваетъ и падаетъ на полъ. Терентыха бросается на ея „прелестника“, котораго ноги торчали изъ-подъ лавки... „А! вотъ гдѣ твой недугъ! вонъ куда утинъ забрался!“... И пошла писать дубинка по спинѣ „недуга“... „Недугъ“ выскакиваетъ изъ подъ лавки и бѣжитъ вонъ — Терентыха за нимъ... Кругомъ хохотъ... Маленькій Исачко плещетъ отъ радости въ ладоши...

Вдругъ въ дверяхъ показывается — и кто же! — самъ князь Михайло Олельковичъ...

Мареа такъ и побагровѣла отъ неожиданности и стыда... „Ахъ, соромъ какой! ахъ, соромъ!“...

VI.

Дурныя вѣсти.

Наступила весна. Новгородъ, вмѣстѣ съ своими монастырями и посадами раскинувшійся на десятки верстъ въ окружности, казалось тонуть въ зелени.

Утро. Солнце, котораго дискъ еще не выкатывался изъ-за горизонта, золотило однако своими лучами кресты нѣкоторыхъ новгородскихъ церквей и колокольни монастырей Юрьева, Антоньева и блестящія густою позолотою маковки церквей Хутынскаго и Перыня.

Надъ гладкою поверхностью Волхова кое-гдѣ клубился еще утренній туманъ.

Слышенъ былъ медленный, протяжный благовѣстъ: прозвучить гдѣ-либо одинъ колоколъ, ему отвѣтить, не спѣша, другой, въ другомъ мѣстѣ; то прозвучить скромный колоколецъ гдѣ-нибудь на Торговой сторонѣ, а на

зовъ его отделился зычный мѣдный голосъ съ Софійской; то донесется по Волкову далекій благовѣстъ съ Хутины, а какъ-бы въ привѣтъ ему отзовутся мѣдною, протяжною мелодіею съ Перыня, словно бы это подавало свой голосъ пробуждавшееся отъ сна Ильмень-озеро.

По Волкову, въ это раннее утро, вверхъ къ Ильмену, плыла большая раскрашенная яркими красками лодка—„насадъ“, на носу и на кормѣ которой красовались рѣзныя фигуры, изображавшія—одна какую-то невиданную птицу, должно быть „птицу-сирий“, „глазъ коей вельми силенъ“, другая—нѣчто въ родѣ „трясавицы“, „дѣвки простоволосой“ съ рыбьимъ хвостомъ. Хотя насадъ былъ построенъ новгородскими плотниками, но, видимо, въ работѣ своей они позаимствовали у нѣмецкихъ мастеровъ нѣкоторыя заморскія хитрости.

Насадъ шелъ на веслахъ. Гребцы, которыхъ было по двѣнадцать человекъ на каждую сторону, работали исправно, мѣрно качаясь въ своихъ красныхъ рубахахъ и глубоко забирая воду длинными крашеными веслами, напоминавшими распущенныя крылья огромной птицы.

На насадѣ, на обитыхъ малиновымъ сукномъ лавкахъ, сидѣло нѣсколько женщинъ и мужчинъ, одѣтыхъ въ богатое боярское платье. Въ самой серединѣ, какъ бы на почетномъ мѣстѣ, сидѣла женщина вся въ черномъ, съ лицомъ до половины закрытымъ тѣмъ-то вродѣ фаты или легкаго головного покрывала. Она сидѣла, глубоко, повидимому, задумавшись, и не обращала, казалось, вниманія на припавшую къ ея колѣнямъ курчавую головку мальчика.

— Марез! Марез! Марез! — раздался вдругъ въ воздухѣ какой-то глухой, странный, точно картавый голосъ.

Женщина въ черномъ вздрогнула и перекрестилась. Мальчикъ быстро приподнялъ отъ ея колѣнъ свою курчавую головку, вскочилъ на ноги и взглянулъ вверхъ, откуда раздался странный возгласъ.

— Гавря! Гавря! — закричалъ онъ радостно.

Высоко въ воздухѣ, надъ насадомъ, кружилась большая черная птица. Всѣ головы—и головы гребцовъ и другихъ, сидѣвшихъ на насадѣ, поднялись вверхъ и глядѣли на кружившуюся въ воздухѣ птицу.

— Ахъ, окаянный! какъ смутилъ меня, — проговорила женщина въ черномъ.

— Гавря! Гавря! Гаврюша! — снова закричалъ мальчикъ.

— Новгородъ! Новгородъ! — глухо прокаркала въ отвѣтъ птица.

— Это къ добру, матушка: онъ славить тебя и весь Новгородъ Великій, — замѣтилъ молодой мужчина, сидѣвшій недалеко отъ женщины въ черномъ.

— Такъ зря каркаетъ...

— Не зря... Это птица вещая.

— Варламъ! Варламъ! — опять прокаркала странная птица.

— Слынишь, матушка, кого она поминаетъ?

— Слышу... преподобнаго Варлаама хутыньского.

— А мы у него и не были еще, не кланялись угодничку.

— Завтра надоть и къ ему-свѣту побывать со вкладомъ же.

— Точно, надоть: онъ заступа и крѣпость Великаго Новгорода.

— Гавря! Гаврюша! летай къ намъ! я калачика дамъ!

— Корниль! Корниль! Корниль звонарь! — продолжала выговаривать удивительная птица.

— Ишь! и Корнилку звонаря вѣчново славить.

— Корниль! Корниль! Корниль!

Удивительная птица покружилась надъ насадомъ, и, продолжая глухо выкаркивать „Корниль, Корниль“, полетѣла назадъ, въ Новгородъ.

Удивительная эта птица была — воронъ, котораго еще въ дѣтствѣ своемъ выкормилъ и научилъ говорить маленькій Корнилко, нынѣ кривой Корниль, вѣчевой звонарь, и назвалъ его „Гаврилкою“. Вороненокъ вывелся на вѣчевой колокольнѣ, на перекладинахъ, на которыхъ висѣлъ вѣчевой колоколь. Тамъ испоконъ вѣку было воронье гнѣздо, и въ чемъ-то вывелся воронъ Гаврилка, котораго воспиталъ и приручилъ Корнилко, сынъ вѣчеваго звонаря и нынѣ самъ звонарь. Воронъ этотъ никогда не оставлялъ своей колокольни и своего гнѣзда, гдѣ онъ успѣлъ вывести цѣлые десятки молодыхъ крылатыхъ поколѣній, которые и улетали въ сосѣднія рощи, заводили свои гнѣзда по другимъ новгородскимъ церквамъ и монастырямъ, селились на такъ называемыхъ „кострахъ“ или воротныхъ башняхъ города, на старыхъ башняхъ Дѣтинца и на новыхъ любимыхъ этою птицею высотамъ; а Гаврилко все оставался вѣренъ своей вѣчевой колокольнѣ.

Ворона этого зналъ весь Новгородъ и относился къ нему съ суетвѣрнымъ уваженіемъ. Его считали вѣщею птицею, тѣмъ сказочнымъ ворономъ, который зналъ, гдѣ доставать живую и мертвую воду. О немъ ходило въ Новгородѣ нѣсколько сказаній и всѣ вѣрили, что онъ оберегаетъ Новгородъ и его вѣчевой колоколь. Когда онъ каркалъ въ неурочный часъ, то это непременно было или къ добру, либо къ худу — и всегда его карканье сбывалось. Такъ онъ каркалъ передъ смертью послѣдняго владыки, каркалъ и передъ смертью посадника Исаака Борецкаго, мужа Марейна. Иногда своимъ карканьемъ онъ останавливалъ бурныя вѣчевыя волненія и даже усобицы и „розрѣзья“. Новгородцы вѣрили, что воронъ этотъ — „птица неслетельная“, какъ неслетельна, вѣчна новгородская воля и вѣчевыя порядки Господина Великаго Новгорода.

Но болѣе всѣхъ любилъ своего крылатога Гаврилку его воспитатель и учитель — вѣчевой звонарь, кривой Корниль. Эту страстную, родительскую и въ то же время суетвѣрную любовь свою онъ дѣлилъ почти поровну между ворономъ и вѣчевымъ колоколомъ. Только къ ворону онъ относился болѣе покровительственно и фамиллярно, называлъ его иногда „воромъ Гаврилкою“ или просто „Гаврею“, „Гаврюшею“, шутилъ съ нимъ, разговаривалъ, какъ съ существомъ разумнымъ, стыдилъ его, когда въ борьбѣ съ коршуномъ или ястребомъ, высматривавшимъ цыплятъ на владычнемъ дворѣ, его задорный любимецъ не всегда оставался побѣдителемъ. Но вѣчевой ко-

локолъ онъ оживотворялъ и почти боготворилъ. Каждое утро, чуть свѣтъ, онъ взбирался на колокольню, молился оттуда на востокъ, потомъ кланялся на всѣ четыре стороны, говоря: „здоровъ буди, Господине Великій Новгородъ—съ добрымъ утромъ“; а потомъ обращался съ привѣтомъ и къ колоколу: „здравствуй, колоколушко! съ добрымъ утромъ, колоколецъ родимый!—каково почивалъ есте?“ Здоровался онъ и съ ворономъ, если тотъ былъ на-лицо, но чаще случалось, что воронъ спозаранку улеталъ за добычей, и когда возвращался на свою колокольню, то звонарь встрѣчалъ его словами: „что, Гаврилко — набилъ зобокъ, очищаешь носокъ?.. Ранняя птичка клевокъ очищae, а поздняя глаза протирае... Такъ-ту, воръ Гаврюшенька“

Насадъ продолжалъ плыть по направленію къ Ильменю. Солнце уже выкатилось изъ-за горизонта и брызнуло золотыми снопами на зеленые лѣса, на Новгородъ, отходившій все далѣе и далѣе, на ровную, струйчатую поверхность Волхова. Марea посадница—это была она „женщина въ черномъ“—снова погрузилась въ задумчивость.

— Кому бы тутъ быть такъ рано? — снова заговорилъ младшій сынъ Марeы.

— Что, сынокъ?—встрепенулась послѣдняя.

— Да вонъ чоловикъ невидимой берегомъ идетъ...

— Вижу, и не худой мужикъ—изъ житыхъ людей кто-то.

— Точно... и рыжъ волосомъ... кто бы это?

— Упадышева походка...

— Да Упадышевъ и есть...

— Чего онъ тутъ ищетъ раннимъ временемъ?

Лѣвымъ берегомъ Волхова дѣйствительно шелъ какой-то человѣкъ. Лица его не было видно, но рыжіе волосы и профиль красной бороды горѣли на солнцѣ. Повидимому, онъ шелъ торопливо.

Вдругъ онъ исчезъ, словно сквозь землю провалился.

— Господи!.. святъ... святъ!.. Гдѣ онъ пропалъ, матушка?

— Точно, сгинулъ... И не взвидѣла, какъ исчезъ изъ очей... уму не постижимо...

— Не бѣсъ-ли то былъ въ образѣ Упадыша! — волосомъ красенъ — рудожелтъ.

И Марea и сынъ ея перекрестились. Маленькій внучекъ Исаченко съ испугомъ припалъ къ колѣнямъ бабки. Другія женщины, бывшія въ насадѣ, тоже испуганно крестились. Исачко лепеталъ:

— Я боюсь бѣса, баба... боюсь... боюсь... онъ съ рогами и съ хвостомъ... въ церкви видѣлъ...

— Полно, Исачко, полно, дурачекъ, съ нами хрестъ святой.

Вдругъ, повидимому, отъ того мѣста берега, гдѣ исчезъ таинственный рыжій человѣкъ или „бѣсъ въ образѣ Упадыша“, донеслось до насада тихое мелодическое пѣніе. Въ тихомъ утреннемъ воздухѣ, когда ни листъ на деревьяхъ по берегамъ Волхова, казалось, совсѣмъ не шевелился и

какъ бы къ чему-то прислушивался, ни прибрежная осока и камышъ не шептались между собою и только слышалось тихое, равномерное пологанье гребенныхъ веселъ въ водѣ да переливчатое журчанье Волхова у крутыхъ боковъ насада,—пѣніе это сдавалось до того мягкимъ и чарующимъ, что всѣ сидѣвшіе въ насадѣ въ изумленіи прислушивались къ нему, какъ къ чему-то таинственному, можетъ быть тоже бѣсовскому, а маленький Исаченко раскрывъ свои большіе, свѣтящіеся недоумѣніемъ глаза, такъ и застылъ въ нѣмомъ ожиданіи чего-то невѣдомаго, чудеснаго...

— Господи Иисусе! не бѣсовское-ли мечтаніе сіе?

— А чи не онъ ли то—рудожелтый?

— Ахъ, сестрицы мои! что-й-то!..

— Ниту, братцы, то знать русалка манить коего чоловіка,—послышалось между гребцами.

— И то она, русалка простоволоса...

— Мели гораздо! Ноли топереву ночь?

— Не ночь, ино утро, чаю.

— Тото, часешъ! А русалка только ночью косу-то чеше да добрыхъ молодцовъ заманивае.

— Чу-чу! слова слыхать... слышь-ко...

Дѣйствительно, слышались слова, произносимыя женскимъ голосомъ:

Калина—малина моя

Кудреватая!

Почто ты, калина, не такъ-такова,

Какъ весеннею ночью была?..

— И точно, пѣсня не русалья...

— Мели русалья! наша—хрестыянска пѣсня.

— Новугорочкая, право слово... Кто-жъ бы то былъ?

— А може то не русалка, ино полуденница поетъ—водяная ци дѣшая дѣвка.

— А то бывае и морская дѣвка, что вонъ у насъ на кормѣ—съ рыбнымъ плесомъ...

— Ахти, диво дивное!

Но скоро, при дальнѣйшемъ движеніи насада, изъ-за берегового уступа показалась и сама таинственная пѣвуня—ни то русалка, ни то морская дѣвка...

— Ахъ ты, Перунъ ее убей! Вонъ она...

— И точно, сидитъ, вся въ травахъ...

На береговомъ склонѣ, на выступавшемъ изъ земли камнѣ, вся обложенная травами и полевыми цвѣтами, сидѣла молодая дѣвушка и, повидимому, вся поглощенная разсматриваніемъ набранныхъ ею цвѣтовъ и зелени, задумчиво пѣла. Бѣлокурые какъ лень волосы ея, заплетенные въ толстую косу и освѣщаемые косыми лучами утренняго солнца, казались окружены были какимъ-то сіяніемъ. Одежда ея состояла изъ бѣлой, расщеп-

той красными узорами сорочки и пояса, перевитого зелеными листьями. Изъ-под короткаго подола виднѣлись босые ноги и голыя икры. При всей бѣдности и первобытной дѣвственности этого наряда, тонкія, красивыя черты и красиво вскинутыя надъ ясными глазами темныя брови этой таинственной дикарки невольно приковывали къ себѣ вниманіе.

Увидавъ приближающійся насадъ, она встала съ камня и разсыпала лежавшіе у нея на колѣняхъ цвѣты и травы. Недопѣтая пѣсня замерла у нея на губахъ.

— Да это, братцы, очавница...

— Яковая очавница?

— Да чаровница, что по лугамъ и по болотамъ, и въ пустыняхъ, и въ дубравахъ дивные коренья копае да отравное зелье собирае на пагубу человѣкомъ и скотомъ.

— Что ты! Ноги и эта чаровница?

— Чаровница, вѣстно.

— Такова молода да образомъ красна!

— Да это, господа, кудесница—кудесницына внука... Тутай недалеко и берлога старой вѣдуньи...

Мареа посадница не спускала глазъ съ этой таинственной дѣвушки, появившейся въ такомъ пустынномъ мѣстѣ и въ такое раннее время. При послѣднихъ словахъ одного изъ гребцовъ она вздрогнула и, видимо, поблѣднѣла.

Въ одно мгновеніе передъ нею всталъ какъ живой образъ ея тайнаго, покинушаго ее бѣса-преступника... Такіе же льняные курчавые волосы, такіе же темныя, красивыя брови, гордо вскинутыя надъ ясными очами...

„Ево волосы... ево брови... Такъ вотъ она... окаянное отродье“...

Точно ножомъ рѣзнуло ее по сердцу... Ей разомъ вспомнилось далекое дѣтство—далекій, облитый солнечными лучами Кіевъ, дымчатая горы, покрытыя кудрявою зеленью, тихо катящій свои воды и сверкающій на солнцѣ Днѣпръ, Аскольдова могила, васильки и барвинки... И эти льняные волосы новгородскаго боярина...

А потомъ эта холодная, суровая сторона—этотъ Новгородъ подъ хмурымъ небомъ, холодный Волховъ, несущій свои холодныя воды не на полдень, не въ теплые края, а на полночь, въ сторону чуди бѣлоглазой...

Она — жена другого, богатаго, но не того льняноволосого боярина... Она—посадница—словно глазокъ во лбу у Господина Великаго Новгорода... А непокорливая память все не можетъ забыть Кіева... и его, бѣса, не забыть ей...

Насадъ миновалъ таинственную дѣвушку, которая продолжала стоять на берегу и провожать глазами удалявшуюся ладью...

— Она на насъ чары по вѣтру пущаетъ, господа.

— Чуръ-чуръ! вѣтеръ ихъ не доноси, земля не допусти...

Мареа невольно оглянулась назадъ... „Окаянное, окаянное отродье!.. Ево постать, ево волосы“.

— Это, баба, русалка?.. очавница? чаровница? — приставалъ Исачко. Молчи, невѣголость! Ступай къ мамѣ...

А для чего Упадышь тутъ? Да онъ ли то былъ? Не дьяволь-ли навѣщааетъ кудесницу?..

Чайки все чаще и чаще кружились надъ водой, оглашая утренній воздухъ криками. Впереди синѣла и искрилась широкая, словно море, полоса воды. Это Ильмень-озеро, которое поить своею водой Волховъ, а Волховъ — Новгородъ Великій...

„Изъ Волхова воды не вычерпать — изъ сердца туги не выгнати“...

Вотъ и Перынь монастырь — почти у самаго Ильмень-озера... Вонъ то мѣсто, гдѣ волокли когда-то съ холма Перуна — вонъ тамъ его столкнули въ воду.

„Выдыбай, боже! выдыбай, Перуне!.. Какъ-то, ты, Господине Великій Новгородъ, выдыбаешь?.. Выдыбай, выдыбай!.. А отъ князя Михайлы все нѣту вѣстей... Эхъ, Олельковичу, Олельковичу!.. Вотъ уже третій мѣсяцъ, какъ уѣхалъ въ свой столичный Кіевъ градъ, а про Марѳу и забылъ... Забвѣнна буди десница твоя!..“

Въ безпокойной головѣ ея роились невеселыя думы. Заварила она, охъ! круто заварила московскую кашу, а кому-то расхлебывать придется?..

Казимиръ общалъ помочь, да не шлетъ... Объ Олельковичѣ ни слуху, ни духу: сѣрымъ волкомъ бѣжалъ изъ Новгорода, какъ услышалъ о смерти киевскаго князя, своего брата Симеона...

„Сяду-де на столъ кіевскій, на столъ Володимировъ и Ярославовъ, и князь-де, Марѳу голубку, посажу рядомъ съ собою... Жди Марѳо! дождешься князя кіевскаго... а може вѣнчика похороннаго“...

Она гордо подняла голову... Ей уже рисовался княжескій вѣнецъ на ея черноволосой головѣ... А сѣдина подъ золотомъ?... Ни-ни... вѣнецъ помолочить и мою буйную головушку... На зло' же тебѣ, бѣсу-прелестнику, за ту льняную дѣвью косу, что тамъ на брезѣ Волхова красуется... твоя она... а ты самъ гдѣ?..“

— Мама! мама! сколько воды тамъ!.. все вода, все вода!.. какой большой Волховъ!

— Это, сыночекъ, Ильмень-озеро.

— Ильмень-озеро... ихъ какое! А какая вонъ, мама, церква?

— То, дитятко, Перынь монастырь.

„Далеко, далеко Ивану московскому до Новгорода Великаго, не дотягнута — руки коротки... Далеко кулику... Ковшомъ моря не вычерпаешь — Москвою Новгорода не изымаешь... А я сяду на золотой столъ кіевской и закричу гласомъ лебединымъ: горю! горю! — лови меня, Иване, княже московскій“...

— Чаровницѣ-ту и цвѣтъ папоротника въ руки даетца...

— А единова худой мужикъ вѣнчикъ искалъ ночью подъ Ивановъ день коня, конь сѣжалъ у него, а цвѣтъ папоротника и запади ему въ лапоть... И видитъ онъ подъ землею клады великіе — золото и серебро...

— Суши весла!—раздался вдруг повелительный голос кормчаго, которымъ былъ самъ Димитрій, старшій сынъ Марѳы, недавно возвратившійся изъ посольства, отъ короля Казимира.

Гребцы разомъ взмахнули веслами—и насадъ, силою прежняго хода, ровно и тихо подошелъ къ берегу.

— Выноси на берегъ поминки!—крикнулъ рулевой:—да съ осторогою.

Кинули на берегъ сходцы. Марѳа, держа за руку внука и сама поддерживаемая Ѳеодоромъ, сошла съ насада на землю и перекрестилась. За нею сошли другіе члены ея семейства и нѣкоторыя изъ челяди—„старая чадь“. Остальная челядь и гребцы стали выносить изъ насада на берегъ монастырскія „поминки“—богатый вкладъ монастырю, привезенный Марѳою.

Вынесли на берегъ, вѣрнѣе—выкатили бочку беременную романеи на утѣшеніе братіи, боченокъ вина „алкану“, боченокъ „бастру краснаго“, а тамъ потащили „сахары головные“, „цвѣта мушкатные“, „гвоздики ряженныя“, „ягоды изюмны“, „кардамонъ“, „ядра миндальны“, пшено сорочинское для кутежей поминальных—всего навезла благочестивая вдовица Марѳа братіи монастырской, чтобы братія молилась о ея здравіи и спасеніи и „о во всемъ благомъ поспѣшеніи...“ А объ этомъ обо всемъ никто не зналъ не вѣдалъ:—знала только ея грудь да подоплека, да постель нѣмая, да еще зналъ и вѣдалъ обо всемъ этомъ ея другъ сердечный, милый ладо, князь Михайлушко Олельковичъ...

„А объ ладонѣ-то росномъ да про воскъ на свѣчи я и забыла“,—спохватилась Марѳа, да было уже поздно:—„ахъ, я грѣшная... Затмилъ мои помыслы окаанный“...

И снова въ тревожной памяти промелькнулъ каменистый берегъ Волхова, а на берегу—эта таинственная дѣвушка съ травами и цвѣтами въ рукахъ и съ отвѣчивающею на солнцѣ лянною косою...

„Такъ это она!... Вонъ кому онъ далъ свои волосы, свои брови, свои очи змѣиныя... Добро, Иванушко, добро, бѣсъ прелестникъ?.. А я еще тебя ради Кіевъ покинула... добро!—на томъ свѣти сосчитаемся — кто-то здѣсь останется?..“

— Оповистуйте братіи, что Марѳа посадница пожаловала... А се что за насадъ? откуда?

Отъ Ильмена, быстро, на двѣнадцать веслахъ, словно птица, несся къ монастырю новый насадъ, меньше того, на которомъ пріѣхала Марѳа. Онъ порывался съ насадомъ постѣдней. Гребцы на немъ работали съ такою порывистостью и напряженностью, что и лица ихъ, и волосы, и рубахи были мокры отъ поту.

— Чей насадъ и куда путь держите, люди добрые? — окликнули съ берега.

— Изъ Русы—въ Великій Новгородъ,—отозвались съ насада.—А это чей насадъ?

— Марѳинъ... посадничей... Борецкой.

— И сама Марѳа тутай?

томъ III.

— Я—Мареа,— былъ отвѣтъ.

— Правъ къ берегу! живой рукой!

Сдѣлавъ на всемъ бѣгу полуоборотъ, бѣжавшій съ Ильмена насадъ быстро присталъ къ берегу. Изъ насада вышелъ молодой бояринъ съ русой бородкой и съ серьезными задумчивыми глазами.

— А! князь Василій! Слыхомъ не слыхать, видомъ не видать...

Тотъ, кого назвали княземъ Васи́ліемъ, поклонился.

— Матушкѣ Марѣ много лѣтъ здравствовать!

— Спасибо, княже... Кавово ради промысла съ великимъ поспѣшиемъ гоняшь въ Новгородъ?

— Вонискаго ради чину—съ вѣстами... Москва на насъ идетъ..

Мареа отступила назадъ. Глаза ея сверкнули. Краска замѣтно отливала отъ щекъ.

— Москва... такъ нагло... безъ размѣнныхъ грамотъ?..

— Вонистину, госпоже, нагло... ..

— А кто воеводы и куда ради идутъ?

Воевода Василей Ѳедоровъ сынъ Образецъ да Матвѣевъ сынъ Тютчевъ Борисъ съ первымъ полкомъ погнали на Двину, а другой полкъ съ князь Данилоу князь Димитріевымъ Холмскимъ прямить на Русу да на Великій Новгородъ...

На Новгородъ!.. Не быть сему!

Да третій, госпоже, полкъ съ князь Васи́лемъ князь Ивановымъ (Одоевскимъ-Стригою да съ подручникомъ московскимъ съ царевичемъ татарскимъ Давыаромъ да съ касимовскимъ царемъ съ Даміаномъ Касимовичемъ...

Святая Софья! Премудрость Божія! заступи градъ твой — вотчину твою...

Словно зимнимъ холодомъ обдало и тѣло ея и душу... А готовъ-ли Новгородъ?—Гдѣ его рати?—гдѣ рати короля Козимира? — гдѣ этотъ большескій князь—этотъ Олельковичъ?—кто отстоитъ святую Софью и честь великаго города?..

А тутъ это проклятое видѣніе на берегу — эта льняная коса, эти змѣиные очи и этотъ хватающій за душу голосъ пѣсни:

Почто ты, калина, не такъ-такова,
Какъ весеннею ночью была?..

А развѣ она сама, Мареа, такова, какъ тою—о! дивно прошедшею и вѣчно памятною весеннею ночью была?... Не воротиться этимъ ночкамъ весеннимъ... А устоятъ ли Новгороду?...

— Баба-баба! смотри, какую Мартынъ большую рыбу поймалъ!

VII.

„Начала Моснва!“.

Мареа не долго оставалась въ монастырѣ послѣ привезенныхъ княземъ Василюмъ Шуйскимъ-Гребенкою тревожныхъ извѣстій. Она отслушала тамъ только обѣдню, приложилась къ иконамъ и, простившись съ братіею, тотчасъ же отплыла обратно въ Новгородъ, куда раньше ея долженъ былъ прибыть вѣстникъ войны, князь Шуйскій-Гребенка. Она отложила поѣздку свою и въ Хутынской, и въ другіе монастыри, куда собиралась тоже на богомолье. Дѣла призывали ее въ Новгородъ.

Всю дорогу она почти молчала, разсчитывая въ умѣ своемъ возможные послѣдствія роковымъ обвозомъ сложившихся обстоятельствъ и—она не могла скрыть этого—сложившихся такъ главнымъ образомъ по ея винѣ, въ силу ея тайныхъ замысловъ... Сознаніе это не могло не грызть ея честодюбивую душу... Вѣнца кіевского захотѣлось бабѣ да молодого красиваго мужа—вотъ что шептала ей совѣсть. Но она гнала отъ себя эту непрощенную дутью... Не вѣнца бабѣ захотѣлось, не мужа, а на волю новгородскую пускай никто не наступаетъ...

„Положи московскому Иванушкѣ Новгородъ мизинецъ въ ротъ—онъ и голову проглотитъ, и святую Софію, и вѣчной колоколь съ Корниломъ звонаремъ и Гаврею ворономъ“...

Она, казалось, не замѣчала, какъ быстро неся ея насадъ внизъ по теченію Волхова, какъ мелькали красивые берега рѣки и уходили назадъ синія рощи.

Только у старыхъ каменоломенъ, недалеко уже отъ Новгорода, она неожиданно выведена была изъ своего раздумчиваго состоянія. На правомъ берегу, отчетливо вырисовываясь на глубокомъ фонѣ горизонта, опираясь на клюку, стояла какая-то старуха. Пасмы ея сѣдыхъ волосъ выбивались изъ-подъ повязаннаго платкомъ стараго головника съ рогами и трепались по вѣтру. У ногъ ея сидѣла та же, уже видѣнная ею, льняноволосая дѣвушка, окруженная травами и цвѣтами.

— Гляди! гляди на нее!—хрипло, но громко сказала старуха, обращаясь къ дѣвушкѣ и показывая на насадъ, который въ эту минуту какъ-разъ поровнялся съ ними:—это она—Мареа посадница!

Удивленная дѣвушка вскочила на ноги.

— Бабушка! я знаю ее...

— Не знаешь!.. Это змѣя подколотная... Одна я ее знаю...

И старуха, поднявъ клюку, погрозила насаду.

— Помни меня, Мареа!—рѣзко прокричала она:—помни кудесницу!.. А ее (она указала на дѣвушку) вспоминаешь въ ину пору!

Мареа сидѣла блѣдная, безмолвная. Испуганные гребцы еще сильнѣе налегли на весла, и страшная старуха скоро скрылась изъ ихъ глазъ.

Въ Новгородѣ между тѣмъ уже заговорилъ вѣчевой колоколъ и разносилъ еще неизвѣстную, но тревожную вѣсть по всѣмъ улицамъ новгородскимъ и по ближайшимъ монастырямъ съ посадами. Корнилъ звонарь усердно работая желѣзнымъ языкомъ, съ любовью прислушиваясь къ трепетнымъ и вопящимъ крикамъ своего любимца, а испуганный воронъ дѣлалъ большіе круги надъ колокольнею, поднимаясь все выше и выше къ глубокому, безоблачному небу.

Вѣчевой колоколъ не умолкалъ нѣсколько дней. Новгородцы готовились встрѣтить страшнаго врага, и потому каждый день шумѣло вѣче: то стояли къ ратному дѣлу гончаровъ, рыбниковъ, плотниковъ, лодочниковъ; то унимали худыхъ мужиковъ вѣчниковъ, которые съ дубьемъ, вилами и косами порывались идти сами не зная куда и бить не вѣдая кого и горланили — „разнесемъ-ста такихъ распроедакихъ“, и такъ далѣе, и тѣмъ крѣпче и все трех- и четырехъярусными словами; то метали съ мосту „супротивниковъ“ и перевѣтниковъ; то всѣмъ Новгородомъ ваялись ничкомъ и слезно голосили передъ Знаменской Богородицей, прося ея заступы; то ставили свѣчи, чуть ли не въ оглоблю величиной, у гробовъ прежнихъ владыкъ, охранявшихъ своими молитвами Новгородскую волю... Новгородъ стоналъ голосами, бабы выли, а имъ вторя, заливались новгородскія собаки...

Все казалось зловѣщимъ и необыкновеннымъ... Новгородское небо, всегда дождливое, теперь, въ теченіе всей весны не посылало ни одной тучки съ дождемъ на новгородскую землю. Новгородскія болота, по которымъ ни татары, ни московскіе люди не могли, бывало, съ своими ратями добраться до Новгорода, теперь попересыхали. По ночамъ сами собой звонили колокола, выли собаки и каркали вороны. Изъ сухой старой „дски“, на которой написана была Знаменская Богородица, изъ глазъ Богоматери текли слезы, и знаменскій пономарь Акила, пріятель Упадыша, сказывалъ, что слезъ этихъ накапало цѣлую дароносицу. Бабы въ Неревскомъ концѣ слышали, какъ ночью что-то летѣло по аеру надъ Людинымъ концомъ и плакало. Другою ночью нѣкій человѣкъ, проходя съ Торговой стороны на Софійскую по мосту, видѣлъ дивное видѣніе — „два мѣсяца на небеси, зѣло страшны, хвостаты, и ударилися тѣ мѣсяцы вмѣстѣ, и одинъ у другаго хвостъ отшибъ, и тотъ мѣсяцъ отшибеной хвостъ приволокъ къ себѣ, и знати стало на мѣсяцѣ томъ какъ перепояска“...

— И то знаменіе къ тому явися, — толковалъ на вѣчевой площади Упадышъ: — то Москва у Новгорода хвостъ отшибеть.

— Брешешь, рудой песь! — возражалъ тщедушный мужиченко „пидблянинъ“, уже оправившійся отъ потасовокъ богатыря рыбака: — мы у поганой Москвы отшибемъ хвостъ и пошибемъ у нея рога.

— А я, братцы, зрѣлъ таковое знаменіе, — ораторствовалъ одинъ рядской говорунъ: — на новцы явишася два мѣсяцы рогагы, рогами противу себе, одинъ повыше, а другой пониже, и спихались рогами — страхъ!

— Ну и что жъ — кто ково зашибъ?

— Не вѣмъ, братцы, не дозрѣлъ конца: оболочко на мѣсяцы набѣжало.

— Эка малость! Маленько бы подождать...

— А я вамъ скажу, господо, таково диво, — ввернулъ свое слово озорникъ Емеля Сизой: — я видѣлъ въ Волховѣ, какъ карась щуку сгло- нулъ...

— Ври, ври пуще! — засмѣялись слушатели.

Все время, пока собирались новгородскія рати, Упадышъ то-и-дѣло шептался съ московскими сторонниками и часто пропадалъ изъ города. Нерѣдко видѣли, какъ онъ пробирался къ старымъ каменолознямъ, а иногда замѣчали, что къ нему по ночамъ приходила какая-то женщина, но всякій, кто видѣлъ ее, тотчасъ убѣгалъ, боясь, что это какая-нибудь „огавница“, и что она можетъ по вѣтру напустить лихую немочь, а то и самого бѣса...

Наконецъ рати собраны какъ собственно по Новгороду, такъ и по ближайшимъ пригородамъ, и всѣ стянуты къ сборному мѣсту. Все новгородское войско раздѣлилось на два полка — на конный и пѣшій. Первый долженъ былъ обогнуть вдоль западнаго берега Ильмена и явиться у Коростыня. Пѣшій же полкъ долженъ былъ сѣсть на суда и плыть къ Коростыню Волховомъ, а потомъ Ильменемъ.

Весь Новгородъ вышелъ провожать своихъ воиновъ. Владыка и все новгородское духовенство вышло съ хоругвями и иконами. Ратники были окроплены святою водою. Проводы сопровождались плачемъ дѣтей и причитаемыми женъ и матерей.

Старшій сынъ Марѣы посадницы, въ качествѣ одного изъ воеводъ пѣшаго полка, сопутствуемый своими подручниками — Арзубевымъ, Селезневымъ-Губою и Сухощекомъ — блисталъ, словно новая риза на иконѣ, своими латами, кольчугою и дорогимъ шлемомъ съ золоченымъ „еловцомъ“ наверху. Блѣдное, матовое лицо его, окаймленное шлемомъ и чешуею, казалось очень юнымъ, но восторженнымъ.

Мать плакала, благословляя и цѣлуя его. Слезы гордой, честолюбивой женщины, припавшей къ груди сына, падали одна за другою на блестящія латы оковывавшія молодую грудь ея любимца, и скатывались на землю какъ крупныя жемчужины...

Давно-ли, казалось, она держала его, маленькаго, у себя на колѣняхъ, а онъ игралъ ея дорогимъ ожерельемъ?

— Не плачь, матушка, не скорби, — утѣшалъ ее сынъ.

— Охъ, сыночекъ, прискорбна душа моя...

— Не кропи слезами моихъ латъ, родная, — потускнѣютъ.

— Охъ, сама вѣдаю, дитятко: горьки слезы матерни... что ржа проѣдятъ онѣ латы твои...

— Марѣа! Марѣа! — прокаркалъ воронъ, кружась надъ церковными хоругвями.

Марѣа вздрогнула... „Что онъ вѣщаетъ, Господи!..“ Глаза всѣхъ невольно обратились на вѣщую птицу. Владыка осянилъ ее крестомъ...

— Вѣщай на добро, птакъ Божій!—проговорилъ онъ.

— Варлаамъ! Варлаамъ!—казалось отвѣчала странная птица.

А съ вѣчевой колокольни съ любовью и умиленіемъ слѣдили за ворономъ и за вѣмъ происходившимъ на берегу Волхова блестящіе старческими слезами глаза вѣчнаго звонаря.

— Фу-фу-фу, сколько дитушекъ у Господина Великова Новгорода! сколько стяговъ, сколько насадовъ!.. Не видать поганой Москвѣ Новгорода какъ ушей своихъ... Кричи, кричи, Гаврюшенька!—каркай славу Великому Новгороду...

— Новгородъ! Новгородъ!—какъ бы отвѣчая звонарю, бессмысленно каркала глупая птица заученныя слова.

Владыка знакомъ подозвалъ къ себѣ воеводу коннаго полка, сѣдобородаго боярина Луку Климентьева. Воевода подъѣхалъ къ Теофілу, проворно соскочилъ съ коня, звеня сталью своей кольчуги и оружіемъ.

— Преклони ухо, Лука,—тихо сказалъ владыка.

Воевода почтительно нагнувъ голову какъ для благословенія.

— Помнишь, Лука, мой нагазъ?—попрежнему тихо спросилъ Теофілъ.

— Не забылъ есми, владыко.

— Помни же, сынъ мой: егда сойдутся рати въ полѣ, рази токмо окаянныхъ псковичей, а на княжой полкъ не води мой полкъ... не благословляю на сіе...

— Будеть по глаголу твоему, владыко.

— Корниль! Корниль! Корниль!—каркалъ воронъ.

— Ахъ, сыночекъ мой, Гавря!—умилялся звонарь, слушая свою птицу:—и меня старика вспомнилъ... А вонъ и Тихикъ блаженненькой съ боярынею Настасьею... Что они везутъ?..

Вдоль рядовъ пѣхоты два рослыхъ парня везли телѣжку, нагруженную платками и холстомъ, а впереди шла боярыня Настасья Григоровичева, пріятельница Марѳы, вся раскраснѣвшаяся отъ жару, а съ нею рядомъ слѣпой Тихикъ, обвѣшенный своими сумками. Они брали изъ телѣжки платки и лоскуты холста и раздавали ратникамъ.

— Для чево это?—недоумѣвали ратные люди.

— Кровушка, кровушка,—охъ, много кровушки будетъ, — загадочно отвѣчалъ слѣпецъ.

— Добро, пригодится ширинка носъ утереть...

— Кровушку, кровушку, кровушку горячую, — твердилъ свое Типа блаженный.

— Мы-ста кому иному носъ утремъ, — похвалялся тщедушный мужиченко „пидблянинъ“.

Князь Василій Шуйскій-Гребенка, стоявшій впереди вѣсѣхъ и разговаривавшій съ посадникомъ, обнявъ этого послѣдняго и грузною походкою направился къ иконѣ Знаменской Богоматери, которую, какъ величайшую святыню Новгорода, вынесли передъ войско и держали темнымъ, заковтѣлымъ ликомъ къ выстроившимся противъ нея ратамъ. Князь Василій съ

головы до ногъ былъ закованъ въ желѣзо и только русая борода и серьезные глаза, выглядывавшіе изъ-подъ низко надвинутаго шлема, обнаруживали, что подъ этимъ движущимся желѣзомъ и кольчатою сталью скрыто человѣческое тѣло. Князь Василій былъ главнымъ воеводою посылаемаго теперь противъ москвичей передового новгородскаго полка.

Онъ подошелъ къ иконѣ, три раза поклонился въ землю и приложился къ разѣ Богоматери. Владыка, у котораго замѣтно дрожала рука, покропилъ его святой водой.

Къ воеводѣ подвели рослаго вороного коня, который нетерпѣливо рылъ копытомъ землю и пѣнилъ удила. Воевода медленно сѣлъ на него и въ сопровожденіи подручныхъ воеводъ сталъ объѣзжать ряды.

— Постоймъ, братіе, за святую Софію, за дома свои и за волю новгородскую!—то-и-дѣло обращался онъ къ войску.

— Утремъ пота за святую Софію!—отвѣчали ратные.

— Положимъ головы за волю новгородскую! Ляжемъ костями!

— Не посоромимъ Господина Великова Новгорода!

По знаку воеводы затрубили рога, загудѣли гудки, заколотили бубны.

— Въ насады! въ насады!—прошло по рядамъ.

Войско двинулось къ насадамъ, которые покрывали сплошною массою весь Волховъ по ту и по другую сторону „великаго мосту“. Бабы и дѣти снова взвыли.

— Фу-фу-фу!—радовался съ колокольной вѣчной звонарь:—полетѣли пчелки для своей матки медокъ добывать... Фу-фу-фу! сила какая!

Мареа въ послѣдній разъ повисла на шеѣ сына... „Митя!.. соколикъ мой!.. золото червонное!.. о-о-охъ!“... И острое, нехорошее чувство шевельнулось у нея въ груди противъ того статнаго, черноусаго „хохла“, который обнадеживалъ ее когда-то литовскою помощью... „Аспидъ пучеглазый!..“

— Баба! баба!—теребилъ ее за подолъ маленькій Исачко:—по комъ ты плачешь?... И я заплачу...

— Новгородъ! Новгородъ!—отчаянно каркалъ воронъ, взбудороженный необычайнымъ движеніемъ и плачемъ.

Скоро насады, наполненные ратными людьми, уже пѣнили гладкую поверхность Волхова сотнями и тысячами веселъ, а оставшіеся новгородцы и пригорожане несмѣтными толпами, большею частью бабы и дѣти, двигались берегомъ, провожая глазами своихъ „ладъ милыхъ“ и махая усталыми руками все далѣе и далѣе уходившимъ насадамъ.

Мареа тоже стояла заплаканная, провожая глазами воеводскій стягъ, который тихо полоскался въ воздухѣ надъ воеводскимъ насадомъ, умчавшимъ ея дорогого Митю на кровавый пиръ. И ей невольно вспалъ на память таинственный сонъ, видѣнный ею этою ночью,—сонъ, въ которомъ ея суевѣрный умъ угадывалъ что-то пророческое, страшное, но что — она не знала... Ей снилось, что она стоитъ на вѣчевомъ помостѣ и слышитъ у святой Софіи похоронный перезвонъ и жалобное причитанье многихъ жен-

скихъ голосовъ. Она спрашиваетъ—кого хоронятъ, и ей отвѣчаютъ, что хоронятъ волю новгородскую. Она торопится съ помоста, чтобы посмотреть на похороны, но въ этотъ моментъ у нея на шеѣ разрывается дорогое ожерелье и крупныя жемчужины рассыпаются по землѣ. Откуда ни возьмись куры, и стали клевать ея жемчугъ... „Несутъ-несутъ“,—слышитъ она голоса и видитъ, что люди несутъ гробъ, а въ гробу лежитъ она сама, Марѳа, и за гробомъ идетъ та льняноволосяя дѣвушка, которую она недавно видѣла за городомъ, на берегу Волхова, обсыпанную цвѣтами и зеленью, и голосно причитаетъ: „матушка родимая! на кого ты меня, сиротинку, покинула“...

— А мнѣ батя посулилъ привезти пряникъ московской—во какой,—бормоталъ между тѣмъ маленькій Исачко, теребя ее за подолъ.

А издали, съ передовыхъ насадовъ, уже доносилась голосистая, какъ бы заунывная, раздумчивая пѣсня:

Въ Новѣгородѣ-ли было на Софійской сторонѣ,
Раззвонился, братцы, раскричался вѣчной колоколь:
Ужъ и что-й-то, братцы, у насъ въ Новѣгородѣ нездорово...

Конный полкъ тоже уже давно взбивалъ облака пыли за городомъ, дую лѣвымъ берегомъ Волхова по направленію къ устью Шелони. Въ этихъ облакахъ пыли трепались новгородскіе стяги, поблескивая на солнцѣ золочеными яблоками, крестами и унизанными разноцвѣтнымъ камнемъ ликами угодниковъ, изображенныхъ на широкихъ полотнищахъ знаменъ. Это былъ владычній полкъ, предводительствуемый благочестивымъ бояриномъ Лукою Клементьевымъ.

Насады между тѣмъ, сверкая въ воздухѣ безчисленными веслами, словно крыльями, быстро подвигались къ Ильменю. Въ воздухѣ, на всемъ пространствѣ, занимаемомъ этою флотиліею, носился говоръ и гулъ тысячъ голосовъ, и всѣ эти голоса покрывала заунывная, хотя и удалая мелодія:

Разыгралось, расплескалось, братцы, Ильмень-озеро,
Расходились, разъусобились люди новгородскіи,
Выходила-ли Торговая сторона на Софійскую...

— Глянь, братцы, опять на берегу огавница...

— Смотри, смотри! кому-то клюкой грозить.

— Ахъ, старая кудесница!... Чуръ-чуръ!... съ нами хрестъ...

— А вояъ дивка чаровница... Коса-то, коса-то какая бѣлая — лень чесаный.

Дѣйствительно, на берегу опять стояла старуха кудесница и грозила кому-то клюкой, но кому—этого никто не зналъ, хотя каждый суетливо принималъ на свой счетъ. Кудесница эта слыла въ Новгородѣ за злую вѣдунью и всѣ ея боялись. Разсказывали старые люди, что родилась она въ

незапамятные времена отъ зашедшаго сюда изъ чуди волхва и бабы кудесницы, которая могла напускать на людей моръ, низводить съ неба дожди и повелѣвать солнцемъ и мѣсяцемъ, которая иногда даже „скрадывала“ солнце и мѣсяцъ,—и все это страшное вѣдовство передала своей дочери, настоящей кудесницѣ, жившей въ никому недосигаемой пещерѣ... Съ нею жила и другая молодая чаровница, которую будто бы старая вѣдунья прижила съ дьяволомъ уже на старости лѣтъ...

Эта молодая чаровница тоже стояла на берегу. Она, видимо, искала кого-то глазами среди насадовъ. Наконецъ отыскала кого-то, узнала, и лицо ея всникнуло, а потомъ мертвенно поблѣднѣло...

Когда насады проплыли мимо нея, она закрыла лицо руками и, казалось, заплакала. Лынная голова ея качалась изъ стороны въ сторону, словно бы она причитала...

Но вдругъ, къ изумленію и ужасу ратныхъ людей, она отняла руки отъ лица, быстро, спотыкаясь, послѣдовала вдоль берега за насадами и на ходу все крестила ихъ...

— Что за притча!—удивлялись ратные люди: — ни то она хрестить, ни то расхрещиваетъ...

Долго эта таинственная чаровница шла за насадами, пока они не скрылись у нея изъ виду.

А насады уже вышли въ Ильмень-озеро. Всѣ были оживлены, разговаривали, смѣялись, бранили москвичей и Псковъ, который не шелъ Новгороду на помощь. Воевода, князь Шуйскій-Гребенка, окруженный подручными воеводами, каковыми были молодой Марейнъ сынъ Димитрій, Василій Селезневъ-Губа, Капріянъ Арузбевъ и Іеремія Сухощекъ,—говорилъ о предстоящемъ воинскомъ дѣлѣ, о трусости москвичей, о вѣроломствѣ „молодшаго брата“—Пскова и объ иномъ прочемъ.

Одинъ только Упадышъ молчалъ, смутно свѣсивъ свою золотистую голову на грудь, покрытую кольчугой, и по временамъ оглядывался назадъ къ тому мѣсту, гдѣ маячилась на берегу лынная головка молодой чаровницы, пока и она, и берегъ, по которому она шла, не скрылась изъ виду.

Видѣлся еще сзади Перынь-монастырь съ его золотистыми главами, но скоро и онъ какъ бы погрузился въ воду. Кругомъ разстилалась гладкая поверхность Ильменя, которую иногда рябилъ тихій южный вѣтерокъ, да на голубомъ небѣ стояли неровными рядами перистыя облачка, которые, какъ и само небо, казалось, тихо двигались на полночь, къ оставленному назади Новгороду, и далѣе за Новгородъ, въ далекую чудскую землю.

Пѣсня давно смолкла. Многіе изъ ратныхъ людей, соскучившись однообразіемъ картины и убаюканные плавными покачиваньями насадовъ, свернувшись гдѣ кто попалъ, спали или дремали, вспоминая свои дома, женъ и другихъ близкихъ сердцу, которыхъ инымъ, быть можетъ, уже не суждено больше увидѣть и объять, какъ еще недавно они обнимали ихъ на прощаньи, а тѣ благословляли и цѣловали ихъ съ ласками и плачемъ.

Упадышъ, все время молчавшій, уже не оглядывался болѣе назадъ, а серьезное лицо и задумчивые черные глаза сосредоточенно слѣдили, казалось, впередъ за чѣмъ-то далекимъ, чего никто не видѣлъ. По временамъ губы его подергивались какъ бы отъ внутренней боли, и онъ встряхивалъ своими искрасна-рыжими волосами, словно бы его преслѣдовала не то надоедливая муха, не то неотвязчивая мысль. Онъ, видимо, искалъ чего-то впередъ, ждалъ этого чего-то, а позади его, вотъ тутъ за плечами, стояло что-то другое и не отходило, какъ онъ ни отмахивался отъ него.

Вечерѣло. Солнце начинало уже клониться къ западу и косвенными лучами золотило и мачты, и стяги новгородскіе, и плавно взмахивавшіяся надъ водою весла, а Упадышъ, неподвижно сидя на носу своего насада, все глядѣлъ впередъ.

Усталые гребцы отъ времени до времени перекидывались словами, но Упадышъ точно не слыхалъ ничего.

— А какой нониче у насъ, братцы, день?

— Ноли забылъ?

— Забылъ-ста... да и какъ не забыть! Съ коей години на ногахъ!

— И точно, забудешь... Кажись, вторникъ у насъ.

— Вовторникъ и есть... Ноли забыли, какой завтра праздникъ?

— А какой? Мы не попы.

— А Ивзна Пердотечу забыли—Иванову-ту ночь?

— Ай-ай, робятушки! и въ самъ-дѣль завтра у насъ святой Ярила живетъ...

— И вправдѣ—ай-ай!.. Такъ нонѣ у насъ Ярилина ночь буде?

— Ярилина! эхъ ты, кумирсловъ! Али забылъ, какъ тоби попъ въ загривокъ наклакъ за Ярилу?

— Помню, что-жъ! Не велѣлъ Ярилѣ молиться — Ярила, слышь, идоль...

— Идолъ и есть...

— Сказывай!

— Того сказывай! Попу ближе знать. Нонѣ ночь Пердотечева живетъ.

— У тебя Пордотечева, а у меня Ярилина... Тото бабы да дивки взбѣсятся нонѣ!... тото скаканье да плесканье буде! тото пѣнье да славление!—эхъ!.. А мы вотъ туто возжайся!... подавиться-бъ ей, Москвѣ косо-брюхой!

— Смотри, братцы, смотри, дымъ-отъ какой!

— Гдѣ дымъ, паря?

— Да вона—прямо на берегу...

— И точно,—и-и какой дымина!... откуда бы ему быть?

— Да, точно... Это, господо, дымъ въ Русѣ...

— Въ Русѣ и есть... Ноли Ярилены костры разводять?

— Каки Ярилены костры!—нашелъ-ста!—рано Ярилинымъ кострамъ быть...

— Такъ ноли пожаръ?

— Пожаръ и есть; ребятки—ахъ! вотъ прятка!—нну!

Дѣйствительно, надъ берегомъ, гдѣ должно быть устье Ловати и гдѣ, по всѣмъ видимостямъ, находилась Руса, густой дымъ клубами вставалъ надъ горизонтомъ и зловѣщею дымкою разстилался къ Ильмену. Ясно было, что горѣло что-то большое и горѣло не въ одномъ мѣстѣ... Но что горѣло?—неужели Руса?..

Упадешь уже не сидѣль, а стояль. Глаза его, обращенные къ зловѣщимъ клубамъ дыма, лихорадочно горѣли. Дрожащею рукою онъ держался за рукоятку длиннаго меча, привѣшеннаго у бедра, и блѣдныя губы его беззвучно, судорожно шевелились...

И смѣлое, задумчивое лицо главнаго воеводы выражало тревогу. Онъ оглянулъ всѣ новгородскіе насады, которые разбились по Ильмену какъ огромное стадо лебедей, перенесъ взоръ на свой насадъ, на тихо вѣявшій надъ его головою войсковой стягъ и, снявъ съ головы шлемъ, широко перекрестился...

— Начала Москва!—сказалъ онъ какъ бы про себя:—кто-то кончить?..

VIII.

Пораженіе новгородцевъ на берегу Ильменя.

Въ ту ночь, когда пѣшее новгородское ополченіе, переправившись въ своихъ насадахъ черезъ Ильмень, приближалось къ устью Ловати и видѣло поднимавшіеся вдаль изъ-за горизонта клубы чернаго дыма, отъ берега Волхова, противоположнаго Перынь-монастырю, тихо, какъ бы крадучись отъ кого, отчалила небольшая рыбацкая лодка и тоже выплыла въ Ильмень.

Чернецы Перынь-монастыря, замѣтившіе эту лодку, не обратили на нее вниманія, основательно полагая, что это рыбаки отправились на какую-нибудь далекую тоню, чтобы къ утру или къ полуночи попасть на мѣсто работы.

Но они не замѣтили, что лодка направилась не вдоль берега Ильменя, а напрямки черезъ озеро по направленію къ устью Ловати. Чернецы не могли видѣть также, кто находился въ лодкѣ, а если-бъ увидали, то не знали бы, что подумать объ этомъ. Въ своей суетѣрной фантазіи они бы порѣшили, что это—„дьявольское навожденіе“, „мечта“, „нѣкое бѣсовское дѣйство“, что это, однимъ словомъ, „нечистый играетъ на пагубу чело-вѣкомъ“.

Въ лодкѣ было всего два живыхъ существа — молодой парень и съ нимъ бѣсъ, непременно бѣсъ въ образѣ лѣповидной дѣвицы. Кому же другому быть, какъ не бѣсу!—да еще къ ночи; мало того!—въ самую Ивановскую ночь, наканунѣ рождества Предотечева, когда и папортникъ цвѣтетъ, и земля надъ кладами разverzается, и утопленники голосами выпл-

стопнуть въ камышахъ, и русалки въ Ильменѣ плещутся, празднество идолу Яриль править...

Но если-бъ святые отцы видѣли, какъ у парня, сидѣвшаго въ лодкѣ, сидитъ бѣсъ въ образѣ лѣповидной дѣвицы...

Парень усердно работалъ на веслахъ, робко поглядывая иногда на дѣвушку, которая сидѣла у руля и задумчиво, сосредоточенно глядѣла вдаль.

Это была та лѣняволосая дѣвушка, которую мы уже не разъ видѣли на берегу Волхова.

Куда она ѣхала? И что за необходимость была ѣхать противъ ночи? Правда, ночь была июньская, сѣверная, глазастая. Спящее озеро какъ на ладони... Полуночный край неба совсѣмъ не спитъ—такой розовый, бѣлосоватый... Казалось, что тамъ, дальше, туда за Новгородъ, въ чудской землѣ—день, и что бѣлоглазая нѣжится на солнышкѣ... Но вода въ Ильменѣ такая темная, страшная—бездонная пучина, а въ этой пучинѣ, глубоко-глубоко жавѣются разные чудища копошатся и смотрять изъ глубины, какъ нѣтъ ея жалкая лодочка куда-то торопится...

Охъ, Богородица!

— Что ты? Чево испужалась?

Лодка выкинулась... Я думала... Богъ вѣсть что...

Ничего, не пужайся, не впервые...

Лодка продолжала быстро нестись по гладкой поверхности тихаго озера. Ея ма проходила, тамъ оставался слѣдъ на водѣ, и двѣ полосы расхо-
дились далеко-далеко позади лодки въ видѣ распушеннаго хвоста ласточки. Вокругъ тишина мертвая, только слышится тихое плесканье веселъ и шорохъ воды у боковъ лодки...

Охъ, боюсь, Петра...

Чево, ладушка, боишься?

Не угодимъ ко времени.

Угодимъ—не разъ плаывали въ Русу.

Да ужъ часъ ко полуночи...

Къ первому солнышку какъ разъ угодимъ—истину сказываю, ладушка.

Парень налегаетъ на весла. Лодка вздрагиваетъ, подскакиваетъ и нестется еще быстрѣе. И загорѣлое лицо, и черные кудрявые волосы у парня укажаны потомъ. Онъ что-то хочетъ сказать—и не рѣшается...

А дѣвушка все молчитъ, не отрывая глазъ отъ далекаго горизонта...
Чего ей тамъ нужно?

— Ты бы, ладушка, сыграла что.

— Не до игры мнѣ, Петра... не къ порѣ...

— Ничевошно... Легче бы на сердцѣ было... Ты бы „калину“... Нонѣ Ярилину ночь... Сыграй—

Почто ты не такъ-такова,
Какъ въ Ярилину ночку была...

— Богъ съ тобой, Петра.

Но Петра повидимому не о пѣснѣ хотѣлъ бы заговорить, да не смѣть... „Эхъ, зазнобила сердечушко!“...

— А вить наши новугороцки рати осиять Москву.

— Про то Богу видно, Петра.

— А обидно таково.

— Что обидно?

— И я собирался вить на рать, да мать не пустила... А чешутся руки на Москву кособрюхую!

— Молодъ ты еще.

— Како молодъ!

Опять помолчали. Парень выбивался изъ силъ, видимо изнемогалъ.

— Дай, Петра, я погребу.

— Что ты! на кой?

— Ты ослабъ, а еще далеко... Садись къ правилу.

— Гдѣ тоби!... твоя сила—дивичья, не мужичья.

— Я обыкла грести—у меня силища въ рукахъ.

— Ну, болого, будь по твоему хоченью.

Дѣвушка оставила руль, встала и направилась къ весламъ. Парень и любовно, и несмѣло глядѣлъ на нее. Но дѣвушка разомъ остановилась какъ вкопанная, уставив испуганные глаза на далекій горизонтъ, изъ-за котораго выползали не то темныя облака, ни то клубы дыма. Они слишкомъ скоро измѣняли положеніе и форму и слишкомъ явственно волновались, чтобъ ихъ можно было принять за облака. Казалось, кто поддувалъ ихъ снизу и они рвались къ небу и какъ будто таяли, расплываясь по сторонамъ.

— Охъ, Господи!... что тамotka, Петра!

— Что?... что узрила, ладушка?

— Ни оболоки, ни дымъ... какъ живые по небу мянутся.

Парень всталъ, повернулся лицомъ впередъ и долго смотрѣлъ на волнующіеся клубы дыма.

— Горить тамъ что, Петра?... Пожаръ?

— Може пожаръ, а може лѣса горять—не впервой.

— Охъ, не лѣса—жилы горить... То люди, то Москва огни распустила...

— А може и Москва... Она, проклятая, что твой татаринъ...

— Такъ мы опоздали?... Господи! помилуй!

— Для-че опоздали!... Нагонимъ живой рукой...

— Охъ, не нагонимъ, соколикъ!

Дѣвушка быстро схватила въ руки весла, метнула ихъ въ воду, налегла разъ, два, три — и лодка затряслась и запрыгала подъ сильными взмахами веселъ. Откуда взялась сила въ молодомъ существѣ, которое за минуту казалось такимъ тихенькимъ и слабымъ...

— Ишь ты... ай да ну!.. ай да дюжая! — любовался и недоумѣвалъ парень.

Лодка неслась быстро, а еще быстрее летѣла сѣверная весенняя ночь—ночь Ярилы. Восточная половина неба становилась все яснѣе и яснѣе, и тѣмъ отчетливѣе двигались по небу, какъ живые, клубы дыма, верхніе слои которыхъ уже начинали принимать блѣдно-алые оттѣнки.

Вотъ-вотъ настанетъ утро, выглянетъ солнышко, и будетъ уже поздно...

Странная дѣвушка еще сильнѣе налегла на весла...

— Ну и дюжа же... Эхъ, чтобъ тебя!

По небу, черезъ озеро, какъ-то наискосокъ летѣли какія-то черныя птицы. Они видимо летѣли туда, гдѣ клубились и восходили къ небу облака дыма... Затѣмъ они летѣли? куда?—встрѣчать солнце...

Птицы обговани лодку...

— То воронье, чаю?

— Воронье... ишь взапуски, умная птица...

— А для чего? что имъ тамъ?

— Къ солнышку... Они вотъ такъ-ту всягды... на солнышко, поди, посматривать...

— Что ты, Петра!.. Это не къ добру... Они мертвеца чуютъ—кормъ... Они ощущаютъ насъ...

Что-жъ! они на то, чаю, птица... А мертвеца—это точно, падалъ изъ воды, чуютъ...

Дѣвушка задрожала. Она не чувствовала рукъ — точно одеревенѣли. По озеру прошла рябь, что-то пахнуло въ лицо... Ильмень то тамъ, то тутъ становился точно чешуйчатымъ...

Утренникъ пробегъ—утро скоро... Охъ, не угодимъ...

Не бойся, скоро и къ Ловати подобьемся... Наши, поди, дрыхнутъ. къ утру сладко спится.

И парень зѣвалъ и крестилъ ротъ. Ему вспомнился ихъ рыбацкій шажокъ: какъ бы теперь онъ славно спалъ, укрывшись теплымъ кожомъ... А тамъ заварили бы съ отцомъ уху, похлебали бы горяченькаго, да и на работу... Нѣтъ сегодня праздникъ—Иванъ Пердотеча...

Видень уже былъ берегъ и выдававшаяся въ озеро длинная коса, поросшая тальникомъ. У берега стлался надъ водою и какъ бы таялъ бѣловатый туманокъ. Дымъ становился багровымъ и медленно рѣдѣлъ.

Ну, вотъ и угодимъ-ста—вонъ берегъ... И туманокъ подымается...

Ахъ ты, туманъ мой, туманъ-туманокъ,
Что по Ильмену онъ, туманъ, похаживаетъ...

— Что ты! что ты, Петра, съ ума сошелъ!

Парень спохватился и пересталъ пѣть. На берегу вдругъ изъ-за тальника выросла человѣческая фигура, закутанная въ охабень. На головѣ ея что-то блестѣло.

Увидавъ лодку, неизвѣстный человѣкъ приблизился къ берегу. На головѣ его оказался шлемъ. Выткнувшееся изъ-за горизонта солнце позолотило высокій, заостренный, еловецъ илема.

— Эй, лодка! кто там?—послышался окликъ съ берега.

Дѣвушка вскочила, испуганная, дрожащая. Она, казалось, глазамъ своимъ не вѣрила, или то, что она видѣла, казалось ей сномъ, привидѣніемъ. Человѣкъ въ шлемѣ, стоявшій на берегу, былъ не менѣе ея пораженъ.

— Горислава! ты ли это!... какъ сюда попала?

— Гребь! гребь къ берегу!—торопила она парня.

Лодка пристала къ берегу. Дѣвушка какъ кошка выпрыгнула изъ лодки. Стоявшій на берегу человѣкъ распахнулъ охабень, скрывавшій половину его лица и рыжую бороду. Это былъ Упадышъ.

— Горислава! что съ тобой?... почто сюда пріѣхала?

— Я... я отъ бабушки...

— Отъ бабушки?... За конимъ диломъ?... какъ?

— Я... не отъ бабушки... я сама... я слыхала... не нарокомъ... Охъ Господи!

— Что слыхала? Сказывай...

— Москва... Москва тамъ въ Русѣ... она утромъ, отай, ударить на вась... всѣхъ посѣчеть...

Вдругъ произошло что-то необыкновенное, страшное, точно земля и небо задрожали и застонали отъ какихъ-то неистовыхъ, нечеловѣческихъ голосовъ и кликовъ.

„Москва! Москва! Москва!“ слышалось въ этой бурѣ, въ этомъ раздирательномъ ревѣ голосовъ.

Дѣвушка, дрожа всѣмъ тѣломъ и дико озираясь, ухватила за Упадыша да такъ и закоченѣла. Парень отъ неожиданности и страха присѣлъ на землю.

— Матушки! матушки! что это О-охъ!

— Уходи... уходи въ лодку! ступай, Горислава!—силился Упадышъ отцѣпить отъ себя ея закоченѣвшія руки.—Иди въ лодку—плыви дальше, не то пропадешь...

— О-охъ! а ты! что съ тобой станется! о-о-о!

— Уходи, говорю! Это московской ясакъ, это Москва на насъ напала...

Ревъ голосовъ между тѣмъ становился все неистовѣе и диче. Стучали и стонали бубны, выли рога...

— „Москва! Москва! Москва! бей окаянныхъ измѣнниковъ! бей новгородскую челядь!“...

Съ возвышенія, тянувшагося вдоль берега Ильменя, отъ лѣваго рукава Ловати, словно лѣсъ—„аки борове“, по выраженію лѣтописца—лавиною двигались московскія рати, блистая на солнцѣ шеломами, еловцами, кольчугами, сулицами, бердышами и развѣвая въ воздухъ всевозможныхъ цвѣтовъ стяги, потрясая копьями и рогатинами съ острыми желѣзными наконечниками.

Новгородское войско, которое ночью пристало съ своими насадами тутъ же къ берегу, нѣсколько правѣе, не ожидая такъ скоро непріятеля и вы-

гадивая время, пока не пришла ея конная рать—„владычній стяг“—безпечные новгородцы, повалившись покотомъ, кто на берегу, на песокъ или на травѣ, кто въ насадахъ, спали еще мирнымъ сномъ, когда услышали, словно громъ съ неба, страшный московскій „ясакъ“...

— „Москва! Москва! Москва!“—стоналъ и вылъ этотъ ужасный ясакъ.

Новгородцы спросонья не знали что дѣлать, что думать, за что хвататься. Какъ безумные метались они по берегу и по насадамъ.

А москвичи уже били ихъ, прокалывали копьями, разбѣкали топорами ихъ голыя, не прикрытыя шеломами головы... А шелома валялись тутъ же, на землѣ—кто же спитъ въ шоломѣ!...

— Уходи, безумная!... уходи, Горенька!—отбивался Упадышъ отъ обезумѣвшей дѣвушки.

— О-охъ! ниту! ниту!... тебя убьютъ... о-о! матушки!

— Малый! возьми ее—неси въ лодку...

— Не пойду... о-охъ!... я съ тобой помру... о-о-о!

— Тащи! волоки ее!... отваливай дальше отъ берега!

— Иди, ладушка! иди, дивынька! подь, Горя!

И дюжій парень, не обращая вниманія на сопротивленіе дѣвушки, какъ медвѣдь стрѣбъ ее въ охапку и поволокъ къ лодкѣ.

— Пусти! пусти меня, Петра! о-охъ?

— Не пушу! ишь ты... не царапайся!... не пушу... ушибутъ тебя... Полно-ка!

А тамъ шла кровавая сѣча. Новгородцы, не успѣвшіе со сна захватить оружіе, бросались въ рукопашную и съ свирѣпостью отчаянья душили за горла своихъ враговъ, обвивались вокругъ ихъ ногъ, грызли ихъ какъ собаки зубами. и, не смотря на то, что другіе москвичи пронизывали ихъ копьями, тростили головы бердышами, пропарывали ихъ рогатинами—новгородцы голыми руками задавливали своихъ враговъ, и тутъ же, обнявшись съ ними, какъ съ братьями, смертными объятіями, умирали разомъ, обгряя кровью желтый ильменскій песокъ и зеленую прибрежную траву.

Крики, проклятія, стоны раненыхъ и умирающихъ, боевые возгласы, лязгъ желѣза о шелома и латы, визгъ скрежещающихся мечей и сабель, хрясть ломаемыхъ копій, рогатинъ и костей человѣческихъ, проклятія нападающихъ и поражаемыхъ, хрипъ и свистъ перерѣзанныхъ и недорѣзанныхъ горлъ, стукъ дерева о дерево и желѣза о желѣзо, нечеловѣческіе вопли удушаемыхъ за „тайные у...“ — все это сливалось въ такую адскую музыку, о которой нельзя даже составить себѣ понятія по современнымъ литвамъ, даже болѣе кровавымъ и ужъ гораздо болѣе разрушительнымъ, когда и стоны и вопли человѣческіе, и ржаніе лошадей, и проклятія раненыхъ, и вопли задавленныхъ конскими копытами, и визгъ и лязгъ оружія, и сигнальные звуки трубъ—и все, все, весь адъ звуковъ заглушается громомъ орудій, лопаньемъ разрывныхъ снарядовъ, неумолчнымъ лопотаньемъ тысячъ ружьевъ... Нѣтъ, тогда, когда еще не въ ходу было огнестрѣльное оружіе, когда дрались кулаками, рвались зубами, душили другъ

дружку руками, рѣзались и кололись холоднымъ оружіемъ—тогда смерть и ея голосъ, ея ужасные крики были слышнѣе, реальнѣе, ужаснѣе — тогда все было слышно... слышно было, какъ души человѣческія разставались съ тѣлами и кричали, невообразимо кричали объ этихъ тѣлахъ, оставляемыхъ ими, объ этой землѣ, о жизни...

Все это видѣла и все это слышала бѣдная дѣвушка, силою втолкну-тая въ лодку и отвезенная далеко отъ ужаснаго берега... Ей какъ на ла-дони видна была эта ужасная сѣча...

Одного не видала она—Упадыша... Куда онъ исчезъ, когда силою оттолкнулъ ее отъ себя и когда широкоплечій Петра сгребъ ее въ свои объ-ятія, что съ нимъ сталося, бросился ли въ сѣчу вмѣстѣ съ другими и по-гибъ подъ ударами москвичей, или бѣжалъ отъ ихъ ужаснаго „асака“, который все еще гремѣлъ по всему берегу—она ничего не могла сказать, Но всего вѣроятнѣе ей казалось, что онъ убитъ, раздавленъ, разломанъ по костямъ, какъ вонъ тѣ, распластанные на пескѣ или кровавыми ру-ками цѣпляющіеся за траву, за кусты,—и холодный ужасъ охватывалъ ее, и она, ломая руки, глядѣла на кровавый берегъ, по временамъ думая ри-нуться въ воду и плыть къ берегу или скрыться подъ водою отъ этихъ ужасовъ...

Но вдругъ ей показалось, что она видитъ его... Да, это онъ... Онъ лежитъ распластавшись на землѣ, глубоко закинувъ назадъ свою рыжую, прикрытую шеломомъ голову. Это его борода — огненнаго цвѣта—такъ и горитъ подъ лучами солнца... Онъ, она!... Она хочетъ броситься въ воду...

— Что ты! стой! что задумала!

— Охъ! пусти! пусти меня! я къ нему пойду!

— Къ кому?... что съ тобой?

— Къ нему... вонъ онъ на пескѣ... распластался... его борода—рудая...

— Кака борода!.. то кровь... руда, значить... Видишь, горло перерѣ-зано и кровь льетъ на рубаху—не борода то рыжая, а кровь...

— Охъ! пусти! убей и меня!

И она отчаянно билась въ здоровенныхъ рукахъ парня... „Дурнись... не выпущу... тамъ смертный бой...“

Дѣйствительно, бой былъ смертный. Московскія рати осилили и смяли новгородцевъ. Многіе изъ нихъ, видя, что москвичи все прибываютъ, не выдержали натиска и бросились берегомъ къ насадамъ. Напрасно воевода, князь Шуйскій-Гребенка, махая мечомъ и напоминая бѣглецамъ Новгородъ Великій и святую Софію, силился остановить ихъ. Напрасно онъ кричалъ, чтобъ поддержались немного, что вотъ-вотъ сейчасъ подоспѣтъ владычній стягъ конниковъ и ударить на москвичей съ тылу, что вонъ уже вдали развиваются новгородскія знамена и слышны боевые окрики новгородцевъ и ихъ воинскія трубы—бѣглецы не слушали его. Многіе, бросаясь въ на-сады другъ черезъ друга, попадали въ Ильмень и тонули подъ тяжестью латъ, а другіе, подымая руки изъ воды, напрасно просили о помощи... Было не до нихъ—каждый думалъ о себѣ...

Все бросилось въ насады. Одинъ увлекалъ другого, толпились, падали, вставали и снова бѣжали къ насадамъ. Тѣхъ, что въ пылу сѣчи зашли далеко и изнемогли, москвичи брали въ полонъ и привязывали конскими цѣпями и ремнями другъ къ другу.

Молодой сынъ Мары, Димитрій, положивъ на мѣстѣ нѣсколько москвичей и ошеломленный рогатиною въ голову, потерялъ сознание и, приподнявшись на песокъ, бормоталъ что-то безсвязно, водя пальцами по окровавленнымъ латамъ и блестящему, теперь окровавленному нагруднику...

— Материны слезы... красны слезы стали... и на землѣ материны слезы... и тутъ... на латахъ... красныя слезы... заржавѣли... Исачкѣ пріятель московской...

Арзубевъ и Селезневъ-Губа, увидавъ его въ такомъ положеніи, схватили подъ руки и силою втащили въ насадъ.

— Материны слезы... красны... у-у-у въ головѣ...

— Господи! спаси его, раба Митрея! о-охъ!

— Измѣна... Владычній стяг поломать крестъ... цѣлованье преступилъ...

— У-у-у! красныя слезы...

Насады въ безпорядкѣ отчаливали отъ берега, не обращая вниманія ни на раненыхъ, ни на тѣхъ, которые не успѣли попасть на суда. Многіе изъ нихъ кидались въ воду, чтобы догнать своихъ, услывшихъ отъ берега, отчаянно боролись съ зотоплявшею ихъ водою, и, поражаемые московскими стрѣлами и каменьемъ, тонули на глазахъ у земляковъ, то молясь, то проклиная кого-то...

Оставшихся на берегу москвичи ловили, словно табунщики коней, арканами. И тутъ начались возмутительныя сцены надругательства надъ плѣнными новгородцами. Москвичи отрѣзывали у нихъ носы и губы, бросали эти кровавые трофеи въ Ильмень, приправляя эти воинскія забавы не менѣе возмутительными прибаутками.

— Эхъ, Ильмень, Ильмень-озеро! на тебѣ носовъ новугороцкихъ!

— На поди—высморкайся да выкупайся въ Ильменѣ, носъ новугороцкой! н-на!

— А вотъ губы лакомы новугороцки! Цѣлуйтесь-ко со Ильменемъ-озеромъ.

— Ну-ко, поди понюхай—чѣмъ пахнетъ! Ловите, храбрыи новугородцы, носы своихъ витязей!

— Эй, щука-рыба! эй, окунь ильменской! собирайтесь носы да губы новугороцки кушать во здравіе!

Дикій хохотъ, крики и стоны далеко разносились по берегу и по озеру...

— А вотъ губы съ усами—ловите ихъ, новугородцы, краснымъ дѣвкамъ въ подарокъ!

— Подите—покажитесь теперь своимъ!—отпускали москвичи изуродованныхъ плѣнниковъ.

.

Тихо кругомъ. Московскія рати ушли, оставивъ побитыхъ враговъ на покормъ птицъ и звѣрю. И насадовъ новгородскихъ не видать—всѣ отплыли въ Новгородъ съ печальными вѣстями.

Тихо на кровавомъ полѣ. Всѣ спать непробудно. Только воронье, которое еще раннимъ утромъ летѣло черезъ Ильмень изъ Новгорода и съ его полей, принялось теперь за свою трепезу. Черные хищники бродятъ между трупами, перелетываютъ съ одного мертвеца на другого, спорятъ о добычѣ, дерутся крыльями и кровавыми клювами... Не смѣй-де трогать моего: я-де ужъ выдралъ у него одинъ глазъ изъ лба—до другого добираться...

Подъ ивою лежитъ, разметаившись руками, словно крыльями, богатырь мертвецъ. Ноги оперлись въ стволъ ивы, а голова запрокинулась назадъ, и блѣдное, съ кровавыми знаками лицо, кажется, смотреть на небо: что-то-де тамъ?.. Такъ-ли-де какъ здѣсь скверно?.. Около него ходитъ воронъ, нерѣшительно заглядывая ему въ лицо... Можно-ли-де начать? Не схватить ли-де?..

Воронъ вспрыгиваетъ на грудь мертвецу... тихо подбирается къ лицу... борода мѣшается... Онъ перелетаетъ на землю и подходитъ съ затылка—не такъ страшно-де—не увидитъ... Вскакиваетъ на словоцъ шлема, цѣпляется лапами, неловко держаться, переходитъ выше, ко лбу... Нацѣлился огромнымъ клювомъ словно долотомъ и садонуть лѣтѣе переносицы...

Мертвецъ дрогнувъ, открылъ глаза и шевельнулъ рукою... Испуганный воронъ взвился на воздухъ, болтая крыльями...

— Мареа! Мареа! Мареа!—каркалъ воронъ.

— Окаянная Мареа! о Господи!—простоналъ мертвецъ-богатырь.

Это былъ новгородскій силачъ, рыбакъ Гурята... „Вѣчной“ воронъ, прилетѣвшій вмѣстѣ съ другимъ вороньемъ изъ Новгорода на добычу, своимъ клювомъ разбудилъ раненаго и ошеломленнаго ударами богатыря.

— Новгородъ! Новгородъ!—каркала испуганная птица, не зная, на какой трупъ опуститься.

IX.

Какія вѣсти принесъ воронъ.

Въ тотъ день, когда на берегу Ильменя недалеко отъ Коростыня происходила битва новгородцевъ съ москвичами, вѣчевой звонарь, кривой Корниль, сидѣлъ на своей колокольнѣ и, опершись на оконныя перила, разсыянно смотрѣлъ своимъ однимъ глазомъ то на Новгородъ, противъ обыкновенія тихій и почти безлюдный, то на Волховъ, по которому кое-гдѣ скользили рыбацкія лодки, тоже какъ бы опустѣвшія, то туда, въ туманную даль, къ Ильмену, гдѣ вчера скрылись изъ виду новгородскія на-

сады съ воинствомъ и откуда шли заплаканныя бабы новгородскія и дѣти, провожавшія на войну своихъ мужей и братьевъ.

Скучно, ничего не видать тамъ вдали, да и скоро-ли еще видно, что будетъ?

У воротъ и подъ окнами домовъ, либо на мосту, сходились иногда бабы, о чемъ-то тихо бесѣдовали, качали головами и показывали туда, вдали, къ Ильмену, куда часто обращался и одинокій глазъ звонаря.

Вонъ прошелъ Тихикъ блаженненькій, ощупывая своимъ крестатымъ костылемъ дорогу и тихо съ собою разговаривая.

■ ■ Прошелъ посадникъ въ сопровожденіи тысяцкаго и старосты Неревскаго конца, взглянулъ на солнце, которое уже клонилось къ западу, поправилъ на груди свою золотую гривну, что-то сказалъ тысяцкому и тоже какъ-то раздумчиво покачалъ головой.

а Точно вымеръ Новгородъ. Давно такъ не было въ немъ тихо и суморочно.

Отъ скучнаго города звонарь перенесъ свой взглядъ на вѣчевой колоколъ.

Что, колоколушко, скучаешь, родной?—заговорилъ онъ ласково:— ниту твоихъ дитюшекъ—новгородцевъ? Далече, далече ушлили...

Онъ приподнялся на подставку и сталъ вытирать рукавомъ края колокола.

Запылился, батюшко фодной, запорошило тебя малость... Ну, инъ дий смахну съ тебя пыль-оть... Что, братъ, скучно намъ старикамъ?..

Съ такой же рѣчью обратился онъ и къ желѣзному языку колокола.

Что, старина, помалкиваешь?.. А? Ишь ты, говорунъ! Повремени малость заговоримъ на весь міръ хрещеный, на всѣ концы и пятныш...

Онъ опять глянулъ на Новгородъ, на Волховъ, туда, къ Ильмену, на солнце, все опускавшееся ниже и ниже. На западѣ сгустились облачка.

Ишь ты! и воръ Гаврилка улетѣлъ за ратными людьми... Тото, воръ,— оно тамъ не доставало, а насъ, стариковъ, покинулъ... Погодижь ты! уже дамъ тебѣ!.. Ишь ты какой витязь! а!.. на поди!.. А и ево, дурака, кормилъ-ростилъ...

Онъ приставилъ ладонь ко лбу, отгѣнилъ глазъ свой и всматривался нѣ даль синюю.

— Не онъ—не онъ, не Гаврюша, а голубокъ полетываетъ... А скучно безъ него, безъ ворона глухово.

Онъ опять обратился къ колоколу.

— Вотъ ты не улетишь отъ меня, колоколушко... Умру съ тобой— похоронишь меня, старика, и самъ по мнѣ позвонишь-поплачешь, сиротчка... Кто-то послѣ меня буде звонить тобой, колоколокъ вѣчной? Э-э-хе-хе! живи, да и помри... А вотъ ты, колоколокъ, не умрешь—все будешь говорить да плакать по душамъ новгородцкимъ... и по мнѣ, старомъ, поплачешь...

Но вдругъ добродушное лицо старика приняло горестное выраженіе. Онъ задумался.

— А какъ осилитъ Москва попущеніемъ Божиимъ? Что съ нами будетъ?.. что станетъ съ вѣчемъ, съ моимъ колоколомъ?.. Вить на Москвѣ, сказываютъ, ниту вѣча и колокола вѣчно нитуті... Не жить мнѣ безъ тебя, колоколушко мой, не жить...

Онъ снова сталъ глядѣть въ синюю даль. Вечерѣло. Съ полей возвращались стада, подымая по улицамъ пыль. То въ томъ, то въ другомъ концѣ слышался пастушескій рожокъ. Ревѣли коровы.

Много десятковъ лѣтъ наблюдалъ старый звонарь эти знакомыя картины съ своей родной колокольни. Милъ и дорогъ ему былъ этотъ видъ города, краше котораго, какъ ему казалось, и на свѣтѣ не было. Сколько церквей, колоколенъ, монастырей!.. Еще ребенкомъ онъ засматривался на этотъ, кипѣвшій жизнью, городъ, на величавую, спокойную рѣку, катившую свои воды куда-то въ невѣдомую Чудь, кривой Корниль, да его вѣчною колоколушко господствовали какъ пастухъ надъ стадомъ?.. И неужели все это возьметъ Москва? Ужели на вѣки пропадетъ новгородская воля?..

По блѣднѣвшему небу отъ времени до времени тянулись едва замѣтныя темныя точки. Старикъ приглядѣлся: это воронье возвращалось на ночь съ полей къ своимъ старымъ гнѣздамъ.

— Поди и мой гуляка скоро пожалуетъ... Ишь загулялся!

По мосту проходила, опираясь на клюку, сильно сгорбившаяся старуха. Звонарь узналъ въ ней старую кудесницу, жившую за городомъ въ старыхъ каменоломняхъ и рѣдко появлявшуюся въ городѣ. Она, видимо, кого-то искала. Кого бы?...

Вдругъ въ воздухѣ, надъ самой головой звоноря, зашумѣло что-то...

— Корниль! Корниль! Корниль!—послышался гортанный крикъ.

Лицо старика прояснилось. Онъ поднялъ голову. Въ колокольное окно влетѣлъ воронъ и сѣлъ на перекладину.

— А... гуляка! добро пожаловать!—радостно заговорилъ старикъ:— гдѣ, разбойникъ, пропадалъ до сей поры?.. а?.. Забылъ старика?

Воронъ, сидя на перекладинѣ, усердно очищалъ свой могучій, какъ долото, клювъ.

— А! нажрался, воръ?.. набилъ зобъ?.. А подь сюда.

Воронъ, какъ бы понимая слова своего собесѣдника, съ перекладины перебрался пониже, на перила.

— Нажрался падали? Экой татаринъ!.. Весь зобъ въ крови по самыя очи... Ишь безстыдникъ!

Запекшаяся на зобѣ ворона кровь, дѣйствительно, покрывавшая и весь клювъ до самыхъ глазъ птицы, ясно обличала, что крылатый хищникъ усердно копался въ крови.

— У... татаринъ! все падалъ, поди, жрешь?.. А, може, и мясо?.. а?.. мясо?.. а чье?

Старикъ подошелъ къ ворону и сталъ гладить его блестящую спинку.

— А... воръ... може, московское мясо пробоваль?.. а?.. Скусна московская говядинка?

Воронъ топырился, не давалъ себя гладить, даже клювомъ пробоваль долбануть въ руку старика.

— Фу ты—пу ты! дратца учаль?.. Чево еще не видавали!.. На... на... клюй старика, подлый!.. А кто тебя выкормилъ-выростилъ?.. Такъ-ту добро помнишь?..

Птица продолжала чиститься, ощипываться, охорашиваться...

— Матушки! у нево, у подлово, и ноги въ крови!.. Гдѣ это ты, разбойникъ, по крови бродилъ? гдѣ по самое брюшко окровавился?.. а?.. ноли въ московской крови?

Вдругъ старикъ, самъ не зная чего, испугался. Круглая голова ворона и этого могучій клювъ съ запекшеюся на немъ кровью представились ему какою-то страшною долбнею, чѣмъ-то отдѣльнымъ отъ птицы, самодѣйствующимъ... Это была въ самомъ дѣлѣ долбня съ долотомъ и съ глазами... Глазастая долбня глядѣла куда-то, не обращая на него вниманія, и какъ бы думала о чемъ-то... И ему чудилось, какъ вотъ эта страшная голова съ клювомъ выдалбливала человѣческіе глаза изъ-подъ черныхъ бровей.. А если это были глаза новгородцевъ, новгородскія черныя молодецкія брови?.. Въдь ему, ворону, вѣщей птицѣ, все равно, чьи бы ни были тѣ глаза и брови... А если онъ бродилъ по новгородской крови?.. Да не онъ одинъ, а вонъ ихъ сколько, этихъ вѣщихъ птицъ, поналетѣло въ Новгородъ...

— Ково клеваль?.. сказывай... а?

Старикъ оперся на перила и сталъ напряженно гладѣть на поддень, гдѣ небо становилось все блѣднѣе и блѣднѣе. Ничего не видать! Только птица продолжала летѣть отъ Ильмена, съ той стороны, куда направились вчера новгородскія рати.

Неужели была уже битва? И неужели это съ кроваваго поля летитъ птица?.. Такъ кто же одолѣлъ?.. Въ чьей крови такъ забродился воронъ?

Старикъ перекрестился, взглянулъ на небо, на колоколъ, на ворона...

— Святая Софія! заступи градъ твой... не дай колокольца твоего въ обиду...

Торопливыми шагами онъ сталъ спускаться съ колокольни, бормоча что-то и покачивая головой...

— Колоколушко мой... Ахъ, воронокъ... ножки въ крови...

Заперевъ колокольню и сойдя съ вѣчевого помоста, онъ пошелъ по направленію къ Неревскому концу. Попадавшіеся ему изрѣдка на пути бабы, гнавшія коровъ или несшія ведра съ водою изъ Волхова, кланялись старику привѣтливо, а иная приговаривала: „путь-дороженька гладкая, Корнилушко батюшко, звонарикъ вѣчной“...

Старикъ вышелъ на Побережье, остановился, глянулъ вверхъ по Волхову и тоскливо покачалъ головой.

— Ахъ воронокъ-воронокъ... и гдѣ онъ покровянился?..

Встрѣчавшіяся ему на пути бабы замѣчали, что звонарь былъ какой-то чудной, несебѣшный, точно, и все какъ-бы съ кѣмъ-то разговаривалъ, хотя съ нимъ никого не было... „Съ анѣломъ своимъ гуторилъ, а то съ колоколомъ да съ ворономъ...“

На Побережѣ онъ опять замѣтилъ старую кудесницу, которая шла берегомъ Волхова, видимо торопясь къ своимъ каменолознямъ. Онъ вспомнилъ, что видывалъ ее когда-то, еще при жизни стараго посадника Исаака Борецкаго, у его жены Марѣи... Зачѣмъ она ходила къ ней?..

— Темное дило... темное... Ахъ, воронъ—воронъ...

Между Разважью и Борковою улицами старикъ поровнялся съ „чюднымъ“ домомъ Борецкихъ, перешелъ черезъ улицу и сѣлъ на каменной ступенькѣ крыльца Марѣина дома, чтобы передохнуть. Былъ чудесный вечеръ, ясный, тихій, и окна дома были открыты. Изъ дому слышались голоса. Старикъ прислушался, и явственно различилъ голосъ самой посадницы и даже слова, которыя она говорила.

— Такъ рцы добре знаешь?—спрашивала кого-то Марѣя.

— Добре, баба,—отвѣчалъ дѣтскій голосокъ, въ которомъ старый звонарь тотчасъ же узналъ голосъ любимца Марѣина внука, Исаака.

— А каки слова на рцы знаешь?—снова послѣдовалъ вопроса.

— Риза, баба.

— Риза... а еще?.. а?

— Запамятовалъ, баба.

— Того, дурачокъ,—запамятовалъ... Все купаешься съ смердятами—всѣ урки и прокупалъ... Еще утонешь...

— Я, баба, не утону—я плаваю.

— Добро-ста!... А каки слова на рцы?

— Риза... вода...

— Вода!.. Ахъ ты тетеря!.. Розгою бы тебя за воду... Все купаешься—вотъ вода и неидеть у тебя изъ ума... Ну, риза—еще?.. а?.. рыба...

— Ахъ, рыба! рыба точно!.. А она, баба, въ водѣ!

Марѣя засмѣялась. И старый звонарь, слушая эту рѣчь, добродушно разсмѣялся... „У—у—вострой малецъ!“...

— Ну, такъ рыба, да еще рогъ...

— Да, баба, рогъ.

— А какой стихъ на рцы?

— Стихъ я, баба, знаю:

Ризу вздѣнь, рыбу яждь, рогъ не возноси,
Смирненныхъ си блаженствъ у Бога испроси.

— Добре, похваляю... А что есть рогъ?

— Рогъ, баба, у коровы, и у борана рога, и у козла рога.

— Ахъ, дурачекъ! дурачекъ!.. Какъ же человекъ рогъ возносить будетъ?.. Коли у тебя есть рога?

- Ниту, баба... у козла рога, у коровы...
— Тото... А у чловѣка рогъ—сѣ есть гордыня:—рогъ не возноси—
вирѣчь не гордись... А еще на рцы каки словеса знаешь?
— Запаматоваль, баба.
— А это что у тебя?
• — Рубашечка, баба... Ахъ, вспомнилъ!—рубаха, рубаха...

Рубаха бѣла праздникъ есть младому,
Душевна бѣлость не боится грому.

Старый звонарь, слушая это, только головой качать отъ умиленія...
„Ужъ и малецъ же! У... у... востеръ... пострѣленокъ!“...

— Такъ... такъ... хорошо... Стихъ добре помнишь... „Рубаха бѣла
праздникъ есть младому“—точно...

- А у меня, баба, рубашечка аленька...
— Есть и бѣленька, и синенька, и жолтенька... Ну, а ещё каки сло-
веса на рцы?
— Рѣшето, бабы...
— Ну, еще... а? Что ты ѣлъ утромъ нонѣ?
— Рѣпу... Да—да, баба, рѣдка, рѣпа...

Въ рѣшето потребъ сбири—рѣдку, рѣпу,
Сѣй въ народъ милость богату и слѣпу.
Въ правдѣ походишь и безъ рукавицы,
Вездѣ бо въ любви устрѣтять ты лица...

- Хорошо, хорошо, дружокъ... Только не забывай урка.
— Не забуду, баба.
— А то отецъ не привезетъ московскаго прыника.
— Ахъ, баба! баба!

Въ это время старикъ закашлялся, и голова Марѣи-посадницы
показалась въ окнѣ. Рядомъ съ нею выглядывалъ и маленькій Исачко
въ красной рубашонкѣ. Старикъ низко поклонился.

- А! это ты, Корниль,—здравствуй,—привѣтливо сказала Марѣи.
— Здравія желаю, маѣушка, золотая моя.
— Что скажешь, Корнитушко?
— Къ твоей милости, посадница золотая.
— Войди въ хоромы.
— А что Гавря, дидушка, воротился?—интересовался Исачко судьбою
ворона, котораго онъ очень любилъ и хотѣлъ себѣ завести такого же:
онъ за день нѣсколько разъ бѣгалъ на вѣчевой помость—справиться
у звонаря—прилетѣлъ-ли съ поля его воронъ.—Воротился?
— Воротился, батюшко посадить.

Челядинцы отворили крыльцо, поклонились старику, уважаемому всѣмъ
Новгородомъ, и ввели его въ хоромы черезъ свѣтлыя сѣни.

Онъ очутился въ большой, знакомой ему палатѣ, окнами на Побережье и на Волховъ, и помолился на образа и на распятіе, ярко блиставшіе въ богатой кіотѣ.

— Паки здравія желаю, матушка посадница.

— Спасибо, Корниль. Присядь... Бражки не хочешь-ли испить? Прикажь, Исачко, наточить браги.

Исачко, вертѣвшійся около бабки и хотѣвшій все заговорить о своемъ любимцѣ, воронѣ, стрѣлой бросился къ челяди—исполнять бабкино приказаніе.

— Не до браги бы топереву, матушка,—медленно проговорилъ старикъ, все еще стоя у порога.

— Почто не до браги? Брага добрая—млеко старости.

— Такъ-ту такъ, матушка посадница, да время топереву не такое.

— Что-жь! всякое время—Божье, всякъ часъ—Боговъ.

— Точно—все Богово, и мы Боговы, да пора-то ратная... думается все... оже случится что...

— А что?

— Да вотъ воронъ, матушка...

— А что воронъ, дидушка?... ково нарицаеть?... бабу?—зачастилъ опять Исачко, воротившійся въ палату.

— Что ты про ворона, Корнилушко, говоришь?—переспросила Марѳа.— Не суйся, пострѣленокъ! (это къ Исачку).

— Я, баба, не суюсь.

— Да съ поля, матушка посадница, воротился воронокъ мой—съ ночи пропалъ... А топереву воротился весь въ крови...

— Что ты! какъ?

— И клевало-то у ево все въ крови по самыя, сказать бы, очи — по головку...

— Кто ево такъ зашибъ, дидушка?—опять вмѣшался Исачко.

— Молчи, не перебивай, глупый невѣголось!

— Не зашибенъ онъ, батюшко посадичъ, а покровянился по саму головку...

— Ну и что-жь?—начала блѣднѣть Марѳа.

— И ножки въ крови, матушка, по самое черевцо...

Марѳа становилась все блѣднѣе и блѣднѣе... Исачко смотрѣлъ и на нее, и на старика недоумѣвающими глазами...

— Не въ падали, думается мнѣ, матушка, закровянился онъ.

— Не въ падали?

— Не въ падали, золотая... Отъ падали, матушка, крови нитуті... Въ живой кровушкѣ, думается мнѣ, матушка, бродилъ воронокъ-отъ мой...

— Въ живой?... бродилъ?..

— Бродилъ—ясно, что бродилъ... А въ чьей?

— Въ чьей?—съ ужасомъ повторила Марѳа.

— Богу то видно, матушка... А токмо хрестыанская-то кровь, думается мнѣ...

— Хрестыянская?..

— Хрестыянская, точно... Либо московска, либо...

— Наша?.. новгородска?..

— Не знаю, золотая моя.

Марѳа такъ сжала свои руки, что пальцы ея, несмѣтра на всю ихъ пухлость и рыхлость, звонко хрустнули. Грудь ея высоко подымалась. Тонкія ноздри расширились, какъ у испуганной лошади... Казалось, ей дышать было нечѣмъ—воздуху не хватало въ ея полной, широкой груди...

Она глянула на кіоту, на распятіе... Вспомнила, какъ на этомъ распятіи клялись ея сыновья: Арзубевъ Кипріанъ, Селезневъ-Губа Василій, Сухощекъ Іеремія, какъ плакалъ Зосима соловецкій...

Ей почему-то вспомнилась и неудачная поѣздка въ Перынь-монастырь, и странная льняноволосяя дѣвушка на берегу Волхова, при видѣ которой воспоминанья молодости ножомъ прошли по ея душѣ и вызвали образъ того, кого она силится забыть всю жизнь — и не можетъ... И эта старая кудесница, грозившая клюкой—она ей, Марѳѣ, грозила, и Марѳа, словно осужденная, выслушала эту угрозу...

Неужели теперь именно должна разразиться надъ нею кара за прошлое?.. А Горислава съ льняными волосами—неужели это она?.. Она, не-премѣнно она...

Но зачѣмъ плакалъ Зосима соловецкій?.. кого онъ оплакивалъ?.. Бояринъ Панфилъ сказывалъ, что угодникъ видѣлъ тогда у меня на пиру людей безъ головъ... Но кого?

— Ноги, матушка, не было никакихъ вѣстей?—прервалъ старикъ размышленія Марѳы.

— Никакихъ... Передъ тобой заходилъ ко мнѣ посадникъ, такъ говорить—рано-де быть вѣстямъ.

— Такъ одинъ воронъ гонцомъ прилетѣлъ... дивное дило.

— Да, воронъ... точно — гонецъ, и въ крови весь... дивно... дивно... въ крови...

— Весь какъ есть, матушка.

— Дивно-дивно, о, Господи!

— Только не говорить, чья она, кровь-то...

Марѳа задумалась и снова смотрѣла на кіоту. Лицо ея выражало глу-бокую тревогу.

Потомъ она подошла къ кіотѣ и взяла лежавшую тамъ книгу въ ко-жаномъ переплетѣ.

— Откровеніе святаго Ивана Богуслова... Благослови, Господи, испы-тать судьбы твои, — сказала она тихо, какъ бы про себя, держа въ ру-кахъ книгу.

Потомъ она перекрестилась, положила книгу себѣ на голову, трижды повернула ее на головѣ, щелкнула серебряными застежками, и наудачу открыла книгу.

— Что-то Господь скажетъ?.. Благослови, Боже.

И она медленно прочла: „И видѣхъ, и се конь бѣлъ, и сѣдй на немъ имѣше лукъ: и данъ бысть ему вѣнецъ, и изыде побѣждая, и побѣдитъ“... Она остановилась.

— Данъ бысть ему вѣнецъ—ноли это Иванъ князь московскій?—говорила она въ раздумѣ:—и конь бѣлъ, и побѣдитъ.

Старый звонарь въ суетѣрномъ страхѣ прислушивался къ ея словамъ, и, казалось, что-то страшное слышалъ въ нихъ...

А Марѣѣ вспомнился князь Михайло Олельковичъ на бѣломъ конѣ... „А, може, вѣнецъ кievской, не московской?“... Она вздохнула и читала дальше: „И егда отверзе печать вторую, слышахъ второе животно глаголюще: гряди и виждь. И изыде другій конь рыжъ, и сѣдѣщему на немъ дано бысть взяти миръ отъ земли, и да убіетъ другъ друга, и данъ бысть ему мечъ великій“...

— Рыжъ конь... Кто бы это былъ?.. И убіетъ другъ друга... Господи!

— Рыжъ конь, матушка, у воеводы владычня стяга, у Луки у Клементьева,—проговорилъ звонарь.

Марѣя ничего не отвѣчала и, закрывъ книгу, вторично положила ее на голову... „Попытаю вдругорядъ — до трижды судьбы Господни испытуются“...

Снова повертѣла книгу на головѣ и снова открыла.

— Благослови, Господи... Что-то святая книга проречеть? Она прочла: „И взявъ единъ ангелъ крѣпокъ камень, великъ яко жерновъ, и верже въ море, глаголя: тако стремленіемъ вверженъ будетъ Вавилонъ градъ великій, и не имать обрѣстися ктому. И гласъ гудецъ и мусикій, и пискателей, и трубъ не имать слышатися ктому въ тебѣ; и всякъ хитрецъ всякія хитрости не обрящется ктому въ тебѣ; и шумъ жерновный не будетъ слышанъ въ тебѣ; и свѣтъ свѣтильника не имать свѣтити въ тебѣ ктому, и гласъ жениха и невѣсты не имать слышенъ быти въ тебѣ ктому, яко купцы твои быша вельможи земстѣи“...

По мѣрѣ чтенія лицо ея становилось все блѣднѣе и блѣднѣе... Руки дрожали... Но вдругъ за окномъ раздался голосъ Исачка: „баба! баба! наши ѣдутъ... насады видно“.

Х.

Остромира за чтеніемъ лѣтописи.

Но Исачко ошибся. Это были не насады возвращавшагося изъ похода новгородскаго войска, а простыя рыбацкія ладьи.

Какъ бы то ни было, подъ впечатлѣніемъ гаданья на Апокалипсисѣ и въ виду страшнаго разсказа вѣчеваго звонаря о возвратившемся откуда-то окровавленномъ воронѣ, рѣшено было на другой же день утромъ ѣхать на богомолье въ Хутынскій монастырь, чтобъ умолить преподобнаго Вар-

линии, кутянского чудотворца, стать невидимымъ заступникомъ новгородскихъ ритой и Великаго Новгорода.

Мирон отпирившаяся на богомолье не одна, а въ сообществѣ съ своею дружиною Настасьею Григоровичевою и многими знатыми новгородскими боярынями, такъ что поѣздъ состоялъ изъ нѣсколькихъ насадовъ, ибо въ Хутынѣ приходилось ѣхать водою вслѣдствіе того, что монастырь этотъ отстоялъ отъ Новгорода въ десяти верстахъ внизъ по теченію Волхова.

Погода вою эту весну стояла ведрянная, безоблачная, сухая. И это утро выдалось ясное, тихое. Когда насады стали только отъѣзжать отъ Новгорода, то Марса, сидѣвшая въ переднемъ насадѣ, взглянувъ на голубое, трепетавшее первыми лучами восходящаго солнца небо, увидѣла, что и сегодня, какъ назавтра, птица летѣла куда-то на полдень, къ Ильмену, не то за Ильменъ. Сердце ея сжалось. Она догадалась, куда летятъ эти стаи крылатыхъ птицъ.

Марса ѣхала въ переднемъ насадѣ. Тутъ же находилась и Настасья Григоровичева вмѣстѣ съ своею дочкою, съ семнадцатилѣтнею Остромирою, названною такъ въ честь одного изъ предковъ ея, знаменитаго посадника Остромира, именемъ котораго называется одинъ изъ древнѣйшихъ памятниковъ русско-славянской письменности, именно извѣстное всему ученому миру „Остромирово евангеліе“.

Богородица Остромира была похожа на свою толстую матушку, только что въ природѣ трудилась, повидимому, болѣе тщательно и любовно, чѣмъ мать матушкой: можно сказать, что невидимый скульпторъ вылепилъ Остромиру изъ самой хорошей глины, лѣпилъ набѣло, съ любовью лѣпилъ каждый штрихъ ея миловиднаго личика и все ея молодое, смуглое и розовое тѣло, ея роскошную свѣтлорусую косу, ея высокія темныя и свѣтлоглубые глаза съ поволокой, совсѣмъ дѣтскій безъ острыхъ кончиковъ профиль и такой же хорошенькій ротикъ съ дѣтскимъ подбородкомъ. Но какъ матушка ея слѣплена была, казалось, простымъ гончаромъ изъ гончарной глины и притомъ совсѣмъ начерно, какъ не отшлифованная горшокъ.

Дня утро было прелестное и береговья картины да и весь Волховъ, торжественны по берегамъ зеленю садовъ и рошъ, невольно должны были радовать глазъ и душу, однако богомолки, казалось, не замѣчали ни красоты природы, ни прелести утра: они тихо разговаривали о томъ, что у всякаго лежало на душѣ—о невѣдомомъ никому ходѣ ратныхъ дѣлъ.

Такъ на лицѣ Остромиры, въ глазахъ и во всей ея постати сказывалось необыкновенное оживленіе. Около нея такимъ же оживленіемъ сіяло ивичко Ивачки, потому что Остромира забавляла его любопытнымъ „дѣйствомъ“: она изображала изъ себя косолапую Москву, въ видѣ медвѣды, который, желая поѣсть и похватать новгородскихъ дѣтей, попалъ въ новгородскій каицанъ и потерялъ одну ногу. Сдѣлавъ себѣ ногу изъ липы, онъ опять собрался на Новгородъ. Этотъ самый моментъ и изображала Остромирушка своимъ „дѣйствомъ“. Она взяла у одной богомолки клюку

и, опираясь на нее, шла съ угрожающимъ видомъ на Исачка, который изображалъ собою Новгородъ. Остромира ковыляла своей липовой ногой и страшнымъ голосомъ приговаривала:

Я иду—иду медвѣдь
На липовой на ногѣ,
На березовой клюкѣ,
А скрыши-скрыши, нога,
Скрыши, липовая!
Всѣ по селамъ спать,
По деревнямъ спать;
Одна бабушка не спитъ,
На колодѣ сидитъ,
Мою шерстку прядетъ,
Мое мясо варитъ
Въ горнущекѣ,
Въ черепушечкѣ...

— Гамъ... гамъ... гамъ! съѣмъ тебя, Господинъ Великой Новгородъ!

Исачко повидимому и боялся этого страшнаго медвѣдя съ такимъ хорошенькимъ личикомъ, и въ то же время былъ въ восторгѣ, стараясь изобразить изъ себя хоробраго новгородца.

— Это твою ногу бабушка варитъ?—спрашиваетъ онъ, стараясь подалше стать отъ страшнаго медвѣдя.

— Мою!—страшнымъ голосомъ отвѣчаетъ медвѣдь съ хорошенькимъ личикомъ.

— А твою шерстку прядетъ?

— Мою! мою!.. гамъ... гамъ... гамъ!

Исачко заливался звонкимъ смѣхомъ на весь насадъ — ему было необыкновенно весело. Съ своей стороны и Остромирушка имѣла свои причины веселиться, и очень важныя. Дѣло въ томъ, что еще въ прошломъ году, во время Ярилиныхъ игрищъ, когда новгородскіе молодцы играли съ новгородскими дѣвицами въ старинную игру и—конечно „нарокомъ“, для игрища только „умыкали у воды дѣвицъ“, Остромирушку на тотъ разъ „умыкалъ“ одинъ добрый молодецъ, боярскій сынъ Павша Полинарьинъ, и такъ приглянулся дѣвушкѣ, что она спала и видѣла его:—черныя кудри и черные глаза Павши не выходили у нея изъ ума. Между тѣмъ матушка ея, дородная Настасья, по дружбѣ къ Марѣѣ-посадницѣ, давно прочила ее за младшаго сына Марѣѣ, за золотушнаго Ѳедюшку, котораго Остромирушка иначе не называла какъ „вейкой“ и „чудью бѣлоглазую“. Но въ послѣднее время, когда Павша, въ качествѣ „отрока“, вмѣстѣ съ другими „отроками“, состоялъ при посольствѣ, которое правили у короля Казимира новгородцы, и понравился отцу Остромирушки, бывшему въ числѣ пословъ, и когда старый Григоровичъ узналъ, что любимица его воструха сохнетъ по Павшѣ, то и общалъ выдать ее за этого суженаго, какъ только онъ воротится изъ похода и когда будетъ передъ всѣмъ Новгородомъ доказано

и воеводами засвидѣтельствовано, что Павша „утеръ поту“ за святую Софію и за волю новгородскую.

Теперь Остромирушка, увѣренная въ „хороборствѣ“ своего суженаго, со дня на день ожидала, что вотъ воротятся рати и воеводы объявятъ на вѣтъ, что Павша Полинарьинъ дѣйствительно „утеръ поту“ за святую Софію и что онъ оказался на ратномъ полѣ такимъ молодцомъ, какого не бывало „какъ и Новгородъ сталъ“...

Вотъ о чемъ она мечтала, изображая изъ себя страшнаго медвѣдя на липовой ногѣ.

Едва успѣли насады съ богомолками пристать къ берегу у Хутынскаго монастыря, какъ Остромирушка вмѣстѣ съ Исачкомъ выскочили на берегъ и лобѣжали впередъ. Остромирушка знала Хутынскій монастырь, какъ свои пять пухленькихъ пальчиковъ, потому что игумень этого монастыря, отецъ Назанайтъ, былъ изъ рода Григоровичей и приходился Остромирушкѣ дѣдушкой. Старый игумень до слабости любилъ свою хорошенькую внучку, шальную воструху, и съ дѣтства баловалъ ее, не отказывая ей ни въ чемъ и, что называется, души въ ней не чая. Шалуныя знала это и тиранила старика, сколько ея рѣзвой душѣ угодно было.

Когда Остромира и Исачко вошли въ келью игумена, то нашли старика сидящимъ у низенькаго аналая, на которомъ лежала развернутая большая книга, а старикъ писалъ что-то въ этой книгѣ.

— Господи Исусе! здравствуй, дидушка!—прозвучалъ въ тихой кельѣ молодой голосъ.

Старикъ вздрогнулъ и поднялъ голову отъ книги. Въ лицѣ его блеснула радость.

— Аминь... Это ты, козочка востроглазая?

— Я, дидушка, и съ Исачкомъ... Благослови...

Дѣвушка подошла къ старику, протянула руки, нагнула свою русую головку. Старикъ положилъ на аналой перо, всталъ и любовно перекрестилъ наклоненную голову. Дѣвушка поцѣловала благословляющую руку, потомъ, положивъ свои руки на плечи старца, полѣзла было цѣловаться съ нимъ...

— Ни-ни, козочка... ты ужъ большая,—отстранялся старикъ.

— Вотъ еще, дидушка!.. ну-же... н-ну!

— Полно-ка, не дури, коза...

— Ахъ, какой!.. ну ужъ!

Маленькій Исачко тоже протянулъ свои руки подъ благословеніе.

— А! посадничъ!.. иди, иди!.. Господь благослови васъ, дидушки... Сказано бо—не возбраняйте дѣтемъ, ихъ бо есть царствіе божіе... А мать что же?—обратился онъ къ Остромирушкѣ.

— Матушка съ тетей Марѳеусей идутъ... А ты, дидушка, лѣтописецъ все пишешь?

— Пишу, дитятко, Богу споспѣшествующу.

— У! какой толстый лѣтописецъ... Какія заставки! Ахъ, какая кино-варь красная!

Она начала перелистывать книгу. Исачко занялся киноварью и ужъ успѣлъ запачкать себѣ носъ. Самъ старикъ игуменъ, стоя въ сторонѣ, съ ласковою улыбкою смотрѣлъ на своихъ юныхъ гостей и не то съ горестью, не то съ крѣпкою любовью тихо качалъ своею сѣдою головою, прикритою черной низенькой скуфейкою. Можетъ и онъ вспоминалъ свое беззаботное дѣтство, когда жизнь и горькія сомнѣнія ея не привели его еще въ эту тихую обитель и не спрятали подъ черную рясу и подъ черную скуфью горячее сердце и такую же горячую буйную голову... То-то золотая молодость!...

А Остромира между тѣмъ, остановившись на одной изъ страницъ лѣтописца, стала читать вслухъ: „Се же хощу сказати, яко слышалъ прежде сихъ четырехъ лѣтъ, яже сказа ми Гюрята Роговичъ новгородецъ, глаголя сице: яко послахъ отрокъ свой въ Печору — люди, яже суть данъ дающе Новгороду; и пришедшу отроку моему къ нимъ, и оттуда иде въ Югру; Югра же людье есть языкъ нѣмъ, и сѣдять съ Самоядью на полунощныхъ странахъ. Югра же рекоша отроку моему“...

— Хорошо, складно читается козочка, — тихо говорилъ старикъ, съ любовью глядя на дѣвushку.

— И я, дидушка, навыченъ ужъ читать, — хвастался Исачко, утирая носъ: — про рцы все знаю:

Ризу вздѣнь, рыбу яждь, рогъ не возноси,
Смиренныхъ блаженствъ у Бога си проси.
Рубаха бѣла праздникъ есть младому,
Душевна бѣлость не боится грому..

— Такъ, такъ, посадничекъ, истину говоришь! Душевна бѣлость, точно, не боится грому, — ласково улыбался старикъ.

— Какъ же, дидушка, тутъ написано — Югра языкъ нѣмъ, а какъ же они говорили съ отрокомъ? — съ удивленіемъ спросила Остромира.

— Такъ и говорили, козочка: которые умѣли говорить по новгородски — тѣ и говорили, — отвѣчалъ старикъ.

— А!.. Ну что жъ они говорили отроку?... „Дивно мы находимъ чудо, — продолжала она читать нараспѣвъ, — его же нѣмы слышали прежде сихъ лѣтъ; се же третье лѣто поча быти: суть горы зайдуче луку моря, имъ же высота яко до небесе, и въ горахъ тѣхъ кличъ великъ и говоръ, и сѣкутъ гору, хотяще высѣчися“... Ахъ, какъ страшно, дидушка!... Кто жъ то за людье?

— А чтѣ далѣ — и познаешь.

— „И въ горѣ той просѣчено оконце мало, и тудѣ молвятъ, и есть не разумѣти языку ихъ, но кажутъ на желѣзо и помаваютъ рукою, просяще желѣза, и аще кто дастъ имъ ножъ ли, ли сѣкиру, дають скорою противу“... Что есть, дидушка, „скорою противу“?

— Скорѣ есть шкура звѣрина, козочка.

— А, разумѣю... Такъ они шкурою на желѣзо мѣняются?

— Такъ, козочка милая.

— Кто жъ они, дидушка?

— А Богу то вѣдомо, милая... Лѣтописецъ повѣдастъ, якобы то суть людье, заклєненіи Александромъ, царемъ македонскимъ... Егда оный Александръ македонскій, покоряючи народы многи, прииде на восточныя страны до моря, нарицаемаго солнче мѣсто, и видѣ тамо чєловѣки нечисты— ядять скверну всяку, комары и муш. бѣшки и змїи, и мертвецъ не погребаютъ, то видѣвъ, Александръ, ужасъ...

— А то, дидушка, не ратныи людье?—неожиданно спросилъ Исачко, весь превратившійся въ слугу и даже забывшій киноварь и свой разри-сованный носъ.

— Каки рахманы, посадищець?

— А баба мнѣ объ нѣмъ сказывала—они за Києвомъ живутъ.

— Не знаю, посадищець.

— Ну,—перебѣла нѣ Остромира:—что жъ Александръ то, дидушка?

— А заклєналъ нѣ въ горы.

— А они не придуть къ намъ?

— Богъ вѣсть... Може и придуть... въ послѣдніи времена, сказано въ писаніи.

Остромиръ вдругъ стало страшно... А какъ послѣднія времена уже настали?... Не они ли, эти страшные люди, идутъ на Новгородъ вмѣстѣ съ Москвою?..

И ей вспомнилася ея Павша—далеко онъ, на полѣ ратномъ... А какъ и его возьмутъ заклєненные въ гору люди?... Сердце ея сжалось... „Скоро-ли онъ воротится? скоро-ли свадьба?“... Она невольно покраснѣла и снова опустила глаза на лѣтопись... Строки и слова рябили въ глазахъ, но она читала дальше, хотя уже не вслухъ: „И еще мужи старіи ходили за Югру и за Самоядь, яко видѣвши сами на полуночныхъ странахъ— спаде туча, и въ той тучѣ спаде вѣверица млада, аки топеревѣ рожена, и взростши расходятся по земли, и паки бываетъ другая туча и спадають оленцы малы въ ней, и возрастають и расходятся по земли“...

— Такъ это, дидушка, съ неба падають оленцы маленьки?

— Съ тучею спадають, милая.

— Какъ же это?

— Не вѣмъ... Божіе то произволеніе... И кровавый дождь бываетъ—ино и то произволеніе Божіе, и означаетъ кроволитье, рать, огонь и мечъ.

— А новѣ не было кроваваго дожда, дидушка?

— Не слыхалъ, милая.

Дидушка задумалася. Исачко опять завладѣлъ киноварью и хотѣлъ было тоже писать что-то въ лѣтописи, но Остромира отстранила его руку съ перомъ...

— И давно, дидушка, ты пишешь лѣтопись?

— Давно, дитятко, третій десятокъ уже тружусь во славу Божію: — умру я, грѣшный, а мое худое писаніе будуть читать люди новгородстѣи, исправляючи Богадела, и меня, грѣшнаго трудника, поминаючи...

Онъ взглянулъ въ оконце своей кельи, оттѣнилъ глаза ладонью, поправилъ на головѣ скуфейку.

— А вонъ и они, спаси ихъ Господи.

— Кто?... баба моя?

— И Марѳа посадница и Настасья.

Исачко стрѣлой вылетѣлъ изъ кельи.

ХІ.

Глаза безъ лица.

Но не долго пришлось на этотъ разъ богомолкамъ оставаться въ монастырѣ. Не удалось и Исачкѣ повозиться съ интересною киноварью и перепачкать себѣ лицо, руки и новенькую шелковую сорочечку. Не привелось и Остромирѣ въ сотый разъ переспросить дѣдушку Наананаила о томъ, какъ преподобный Варлаамъ основывалъ здѣсь Хутынскую обитель, какъ онъ жилъ въ тѣсной келейкѣ и воевалъ съ бѣсами, какъ неугомонные бѣсы чинили преподобному всевозможныя пакости, какъ они являлись къ нему во образѣ звѣрей невиданныхъ и тудищъ неизглаголаннхъ, и иногда даже во образѣ такихъ востроглазыхъ бѣсеевъ, какъ сама Остромирушка; какъ преподобный всѣхъ ихъ въ концѣ осрамилъ и загналъ въ болото, откуда они и доселѣ выходятъ и людей, особенно рыбаковъ, по ночамъ смущаютъ, какъ преподобный Варлаамъ воскресилъ одного утопленника, или какъ онъ, на приглашеніе новгородскаго владыки побывать у него въ городѣ, отвѣчалъ, что прїѣдетъ къ нему въ санихъ на первой недѣлѣ Петрова поста, и какъ дѣйствительно въ іюнѣ выпалъ снѣгъ, и Варлаамъ прїѣхалъ въ Новгородъ на санихъ...

По монастырю прошла вѣсть, что отправившіяся противъ москвичей рати воротились. Вѣсть эту принесли рыбаки, привезшіе въ монастырь съ Ильменя рыбу.

Богомолки поспѣшили на берегъ—подробнѣе разспросить объ этой радостной вѣсти. Остромира земли подъ собой не чуяла отъ счастья... Вотъ она вернется сейчасъ въ Новгородъ, увидитъ своего ненагляднаго суженаго, черноглазаго Павшеньку — какимъ-то онъ сталъ теперь витяземъ, какъ онъ поглядитъ на нее изъ-подъ своего блестящаго шелома, какъ глаза ихъ встрѣтятся, какъ она замретъ на мѣстѣ отъ стыда и счастья, какъ вечеромъ она выбѣжитъ къ нему подъ „топольцы“, какъ онъ опять обниметъ ее и будетъ цѣловать ея глаза и косу—ахъ, срамъ какой!—и какъ она сама его—фу, срамница!—будетъ цѣловать и въ губы, и въ шелковые усы, и въ мягкую, какъ ея коса, бороду—ахъ, стыдъ какой, ма-

тушки!—ахъ, какъ все-таки хорошо, хоть и стыдно, цѣловаться... Ай-ай! она такъ и дрожала вся, выбѣжавъ на берегъ и прислушиваясь къ говору рыбаковъ...

— Ловимъ мы,—сказываютъ людински ловцы,—рыбку, анъ глядь—блѣютъ парусы..

— Глядь, ажъ то наши насады...

— Видимо-невидимо насаду... уйма!

— И Москву, сказываютъ, погромили начисто—у-у!

— До ноги, слышь, всихъ кособрюхихъ уложили... пусто-бъ имъ!

— А полону-то, полону—и-и!—и не приведи!

— И самово московсково князя, поди, изымали...

— Князь Ивана—чу?

— Ивана князя, великово.

— Гдѣ изымать!.. Нашъ Гюрята, сказываютъ, на ево какъ ринется, а ень возьми да и оборотись куликомъ... да скокъ въ Ильмень—и поплыль, долгоносый...

— Н-ну! сказывай сказки!

— Не сказки... А Гюрята-тѣ соколомъ перекинись, да за имъ...

— Что ты! ври больше!

— Не вру, лопни глаза-утроба... А ень, чу, князь-отъ московской, себѣ на умъ—окунемъ перекинись...

— Окунемъ? рыбой?

— Окунемъ... А Гюрята-то парень не промахъ—щукой перекинулъ...

— Щукой!.. ахъ чтобъ ево!

— Щукой, паря, да за имъ, да за имъ...

— Ну и что жъ?... переялъ?... а?

— Что!.. а ты не суйся подъ языкъ!

— Я не суюсь—не оса...

— Да ты что! дьяволь!

— Вотъ же тебѣ—ина!.. бери да помни!

Трахъ въ ухо!.. и рыбаки подрались, то есть „разговоръ пошелъ“—въ ухо да и въ зубы да за волосы, тѣмъ болѣе, что оба были разныхъ „концовъ“ и, слѣдовательно, и разныхъ до нѣкоторой степени политическихъ партій... Это было обыкновенное явленіе въ Новгородѣ... „Пошелъ разговоръ“...

Мареа-посадница, бывшая при этомъ и слышавшая болтовню рыбаковъ, поняла, что тутъ что-то да не такъ, что это разыгралась фантазія рассказчика, и онъ ударился въ сочинительство объ окунѣ да о щукѣ: ясно, что это вздоръ...

— Да кто видѣлъ самое рать-ту, братцы?—допытывалась она.

— Да, людинцы, сказываютъ, видали, матушка боярыня.

— А кто верхъ одержалъ въ бою?

— Въ бою?... Да мы-ста, боярыня, наши-ста робята...

— А кто сказывалъ подлинно?

- Да людински ловцы...
- Подбляне сами видали...
- Не сами, а робятки ихъ сказывали, что насады пловать...
- Видимо-невидимо насадовъ... уйма!

Мареа видѣла, что опять начались повторенья стараго „уйма“, да „людинцы“, да сами „видали“, да „сказываютъ“—и махнула рукой...

Надо было скорѣй ѣхать въ Новгородъ, тѣмъ болѣе, что въ этотъ самый моментъ издали послышался звонъ вѣчевого колокола... Рыбаки посымали шапки и крестились.

- Вонъ, братцы, чу! заговорилъ родной...
- Кричи—кричи, малиновой голосокъ!
- Покрикивай, новгородца утица!

Крикнула утка—
На мори чутка:
Сбирайтесь, дитки,
Не одной матки!

— Эхъ-ма! резнесли Москву!.. Ай да мы!.. Кричи-кричи, утица!

Мареа не слухала, торопливо приказавъ отчаливать отъ берега... Остромира и Исачко сидѣли сіяющіе, блаженные: первая видѣла себя подъ „топольцами“ съ своимъ суженымъ, а послѣдній воображалъ себя съ огромнымъ московскимъ пряникомъ въ рукахъ—„самъ батя привезъ“... „А тамъ и подъ вѣнецъ—ахъ стыдъ какой!“—мечтала первая.

А колоколъ все кричалъ тревожнѣе и тревожнѣе...

Исачко, которому отъ радости не сидѣлось на мѣстѣ, уже самъ изображалъ изъ себя хромого медвѣдя—Москву и старался испугать бабушку страшными словами:

А скрипи-скрипи, нога,
Скрипи липовая...

— Полно-ка, глупый, не до тебя, — отмаливалась Мареа, у которой было сердце невѣдомой боязнью.

„Не я-ли все заварила?.. Охъ, какъ ноетъ сердечушко — не то радость, не то печаль... А оже-ли беда?.. и какъ сорвалось?... охъ!“...

— Прибавь ходу, ребятушки, — мочи глыбче весла, — говорила она гребцамъ.

— Ну-ко разомъ... ну-ко ухнемъ, братцы!

— У-ухъ—у-ухъ—у-у!

Гребцы наддали, весла глубоко бороздили Волховъ, насадъ вздрагивалъ и рѣзалъ острымъ килемъ воду, оставляя за собою длинную полосу.

„А такъ-ли онъ по мнѣ соскучился, какъ я по ѣмъ? Нѣтъ, я больше-

...и между того не повидаю... Ахъ, стыдно! ахъ, хорошо таково“,
...Остроміра.

...и о сѣ пору князь Михайло не думаетъ обо мнѣ?... Эхъ, княже,
...и вѣвской вѣнецъ?... Охъ, какой онъ холодный, вѣнецъ-отъ—такъ
...и сердце мое“, тревожно думалось Марѣѣ.

Кормилецъ нашъ! на кого ты насъ покинулъ?... О-о, дитушки
...о-о-о!

Горькая я сиротина! и глазыньки ево не закрою! о-охъ!

Соколикъ мой!.. Гдѣ ты?—матушки!

— Сыра земля! желты пески! примите и меня горемычную! Охъ, тошно,
тошнехонько!..

Марѣя и Остроміра очнулись отъ своихъ грезъ... Что это? О чемъ
воютъ бабы? Куда они бѣгутъ?... Что за шумъ, говоръ, крики отчаянья?..

Они въ Новгородѣ—и не замѣтили какъ очутились у моста, у пло-
щади... Волховъ заставленъ насадами...

Вѣчевая площадь запружена колышущимися массами... Слышны вопли...
У Марѣи похолодѣли руки, оборвалось сердце, потемнѣло въ глазахъ...

Съ трудомъ, цѣпляясь за народъ, она почти безсознательно протиски-
валась въ середину, къ вѣчевому помосту... До слуха ея со всѣхъ сто-
ронъ, словно жужжащія шмели, долетали бессмысленныя, страшныя слова,
кочки говора, непонятныя и въ то же время страшно ясныя своимъ ужа-
сомъ полурѣчи, и какъ шмель впились въ ея сердце...

— У Коростыня... на берегу... измѣною...

— Владыченъ стягъ не дошелъ... наши не устояли...

— Которы потонули, котороньки-свѣты въ полонъ взяты.

— И Гюрята убить... наши кончане вси полегли костью...

— Пропалъ Великій Новгородъ!.. пропали наши головы!

— А все идолъ Марѣища!.. на потокъ ее, идола окаяннаго!

— На потокъ!.. разнесемъ Марѣины животы!.. Она пьетъ кровь ново-
городскую!

У края вѣчевого помоста стоялъ посадникъ, весь блѣдный, бѣлый, какъ
его борода и обнаженная передъ разгнѣваннымъ и потрясеннымъ событіями
самодержавнымъ мужикомъ-вѣчникомъ сѣдая голова. Онъ что-то говорилъ,
кричалъ, но голоса его не слышно было въ бурѣ народныхъ голосовъ,
проклятій и воплей... Въ окнѣ вѣчевой колокольни торчала сѣдая голова
вѣчевого звонаря съ жалкимъ, испуганнымъ лицомъ...

„Вотъ въ чьей кровушкѣ бродилъ воронъ—и теперь, поди, въ ей бро-
дить, окаанный“...

Вдругъ среди общаго гама и ропота явственно послышалось всѣмъ
знакомое карканье ворона. Вѣче—суевѣрное до мозга костей, а теперь
еще болѣе настроенное на что-то страшное, необычайное—все вѣче ра-
зомъ подняло голову... Да, это онъ, вѣчный воронъ... „Корниль! Кор-
ниль!“ Все разомъ смолкло, точно окаменѣло...

Въ тотъ же моментъ къ ногамъ посадника упало что-то съ воздуха,

точно съ неба что-то свалилось... Онъ невольно нагнулся и посмотрѣлъ на помость, гдѣ лежало это что-то съ неба упавшее... Что это?.. Что-то черное, волосатое и какъ будто покрытое запекшеюся кровью... Живое или мертвое?... Звѣрь или птица?..

Посадникъ нагнулся и поднялъ это что-то страшное; но въ ту же минуту задрожалъ и съ ужасомъ отбросилъ отъ себя... Ему показалось, что это—носъ человѣческой и губы... „Господи!“—онъ перекрестился...

— Что, посадникъ?.. что такое, господине?

— Не знаю... страшное вѣчно.... аки носъ и уста...

— Поли съ небесе спаде?

— Не вѣмъ... страшно... кроваво...

— Воронъ, поди, принеси съ поля—вонъ онъ кружится и каркает...

— „Корниль! Корниль!.. карръ! карръ!“

— Воронушко! Гаврюшенька! подь ко мнѣ—летай сюда! — слышалось съ колокольной.

Кто-то, стоявшій ближе къ помосту, поднялъ съ земли это что-то страшное, невѣдомое... Взглянулъ—и тоже бросилъ съ ужасомъ... „Чуръ! чуръ! чуръ! охъ, Господи“...

Другой нагнулся и поднялъ... „Святъ-святъ!.. Аминь“.

— Да это носъ, братцы!

— И съ усамъ... съ чернымъ усамъ, господо.

— Носъ! носъ!... Чей носъ, братцы? У ково носа ниту?

— Есть! есть!.. У всѣхъ, чу, носы при себѣ...

— И губы, братцы, подь усамъ...

— Ай-ай! откелева носъ, господо?... 'чей носъ? чьи чубы?

— Отрѣзаны... вонъ и кровь присохла... запеклась кровь...

— Воронъ принеси съ поля... московской носъ...

— А може нашъ, новгородской... Ахъ, Господи! помилуй насъ!

Дѣйствительно, отрѣзанный съ губами и съ усами страшный, съ запекшеюся кровью носъ переходилъ по вѣчу изъ рукъ въ руки... Что-то ужасное представлялъ этотъ кровавый кусъ человѣческаго лица... Откуда этотъ страшный лохмотъ, эта жалкая часть невѣдомаго мертвеца?.. Ясно, что съ поля битвы, что воронъ принеси его оттуда, пресытившись трупами... Но кто отрѣзалъ? у кого? чья рука поднялась на такое неслыханное злодѣяніе?..

„Карръ! карръ! карръ!“ слышалось надъ голодами.

— Отдайте ему, отдайте ворону, вонъ онъ какъ плачетца на насъ...

— Какъ отдать! хрестыанско-то мясо—тило человичье.

„Карръ! карръ! карръ!“ несло съ воздуха что-то зловѣщее.

Вдругъ сзади слышались новые крики, вопли, стenanія... Женскіе голоса перекрикивали всѣхъ—они были въ истошный голосъ, были до неба, раздирали душу...

Мареа посадница, которая, отыскавъ въ толпѣ своего сына Димитрія, еще блѣднаго, но уже оправившагося отъ ударовъ рогатинъ и сулицъ у

Коростыня, обнимала и цѣловала его, услыжавъ эти вопли, опустила руки и смотрѣла на толпу испуганными глазами... Посадникъ, стоя на помостѣ впереди концовыхъ старостъ и тысяцскихъ, ждалъ чего-то еще болѣе ужаснаго, стараясь черезъ головы толпы разсмотрѣть, что тамъ еще случилось... „Какая новая бѣда?.. Не Москва-ли обступила Новгородъ?“

Толпа отхлынула въ разные стороны, и глазамъ всѣхъ представилось страшное, непонятное, непостижимое зрѣлище... „Что это? кто? что у нихъ на лицахъ?“...

Вопли и стоны все усиливались. Стоналъ весь Новгородъ.

— Злодѣи! душегубы! Матушка Софья святая!—кричалъ съ колокольной вѣчный звонарь и рвалъ свои жидкіе, сѣдые волосы.—О, злодѣи адовы!..

Къ вѣчевому помосту приближались какіе-то страшные люди... Да, это лю и... Но лицъ ихъ не видать... Видна запекшаяся черная кровь... Иныя лица обернуты кровавыми тряпками... На иныхъ видны только глаза—о! какіе глаза!.. На другихъ бѣлѣютъ зубы, ничѣмъ не прикрытые—безъ губъ, безъ усовъ... Все это обрѣзано—и губы и носы... Видны только глаза и бѣлые зубы, да тряпки, да черная кровь... Всѣ въ пыли, худые, страшные, безъ доспѣховъ, босые, полунагіе...

Это были новгородцы, опущенные москвичами съ коростынского поля послѣ дьявольской операціи надъ беззащитными плѣнными... Они добрались-таки до родного, вольнаго города, но не всѣ, далеко не всѣ...

Остроміра, безмолвная и блѣдная, дрожа какъ осиновый листъ и держась за мать, искала кого-то растерянными глазами въ этой толпѣ страшныхъ пришельцевъ... Но какъ узнать того, кого она искала?... Гдѣ его лицо, гдѣ его ласковая, игривая улыбка?..

Но она узнала его—не *его*, нѣтъ—*его* не было, а она узнала его глаза, одни глаза... А подъ глазами не было его лица—не было *его*... Это не онъ—нѣтъ, и глаза не его... Это не онъ—это чужой кто-то...

„Когда-жъ свадьба?.. Но съ кѣмъ!.. его нѣтъ... это не онъ—лица нѣтъ, не онъ, не онъ“...

И онъ узналъ ее... Его глаза увидѣли ее и сказали это—глаза сказали—страшно говорятъ глаза безъ лица... Страшные глаза, ужасные... Охъ, какъ они говорятъ, какъ смотреть на нее страшно...

И зубы бѣлые подъ черною пропастью, гдѣ прежде былъ носъ, зубы осклабились на нее.

„Не Павша... не онъ... страшный, охъ! страшный!“...

Она подняла глаза къ небу, только бы не глядѣть на него, не видѣть страшныхъ глазъ и бѣлыхъ, ничѣмъ не покрытыхъ зубовъ.

„Не его глаза... не бывать свадьбъ... не онъ... не онъ... Глаза безъ лица“...

Она увидѣла вѣчевую колокольню... колокольня шатается... Кто-то рветъ тамъ на себѣ волосы... Каркаетъ и кружится воронъ... кружится колокольня, шатается, небо кружится и шатается... И колокольня, и небо, и солнце упали...

И Остроміра упала какъ подрѣзанный косою аленькій цвѣточек...

ХП.

Перевѣтница.

Прошло около трехъ недѣль послѣ битвы у Коростыня и послѣ того, какъ отважнѣйшіе изъ новгородцевъ, въ пылу этой битвы врѣзавшись въ ряды москвичей, частью пали тамъ же на берегу Ильменя подъ ударами московскихъ мечей и сулицъ, частью попались въ плѣнъ и воротились въ Новгородъ злодѣйски обезображенные.

Надъ Ильменемъ ни то ночь, ни то прозрачныя сумерки. Нѣтъ, это ночь... Гдѣ-то пѣтухи поютъ...

— Третьи алекторы поютъ—утро скоро.

— Каки, баушка, алекторы?

— Кочета... по церковному алекторы.

— Я, баушка, питушка слышу.

— Ну, инъ питушекъ... А ты-ко гребь гуще.

— И то, баунька, густо—не прогребешь инда.

— Догоняй ночь-ту—ишь уходитъ... третьи алекторы... должно, въ Коростынѣ... Догоняй, догоняй ноченьку-ту.

— Ее, баунька, теперь не догнать—скорѣе день нагонимъ, солнушко.

— Ну-ну, гребь, близко берегъ.

— Точно,—берегъ... Ухъ! страшно...

— Чево страшно?

— Тутай наши съ Москвой бились, мы съ Гориславонькой сами видали.

Лодка пристала къ берегу. Изъ лодки вышла старуха, уже знакомая намъ кудесница. На берегу она остановилась и оглядѣлась кругомъ: — что-то желтѣлось и бѣлѣлось по берегу, точно кости, разбросанныя на мѣстѣ, гдѣ лежала пададь. То и были кости — кости новгородцевъ, павшихъ на этомъ мѣстѣ три недѣли назадъ... Кое-гдѣ при слабомъ мерцаніи зари виднѣлось, какъ среди костей шевелились какія-то живыя фигуры, только не люди... Слышно было, какъ что-то хрустѣло... Это лисицы изъ сосѣдняго лѣса догрызали новгородскія кости... Въ воздухѣ стоялъ запахъ мертвечины...

— Го—го—го—го!—ту—ту—ту—ту!—глухо прокричала старуха.

Тѣни, возившіяся около костей, бросились въ разсыпную, не произведя ни малѣйшаго шума, точно въ самомъ дѣлѣ это были тѣни, а не живыя существа...

— Фу—фу—фу—фу! новгородскимъ духомъ завоняло.

Лодка, въ которой оставался гребецъ, отплыла отъ берега.

— Куда ты, Петра?

— Страшно тамъ, баушка.

— Страшно... они ужъ безъ зубовъ... одни кости—не кусаютца...

— Я тутай побуду, баунька, на водѣ—не далечко.

— Обглодала новгородски косточки Марѳа.

Изъ-за пригорка выросли двѣ человѣческія фигуры съ сулицами и рогатинами. Появление старухи ихъ, видимо, озадачило.

— Кто идетъ?

— Кто идетъ—тотъ и идетъ.

— Кто ты? Сказывай.

— Я—сказываю.

— Имя сказывай... Кто костямъ покою не дастъ.

— Лиса да воронъ, да сѣрый волкъ.

— А ты сама кто? Сказывай, не то рогатинной... Кто ты?

— Я—баба-яга, костяна нога.

— Чуръ! чуръ! чуръ! съ нами хрестъ святой...

— И со мной...

Пришедшіе со страхомъ попятились назадъ, несмотря на свои рогатины и сулицы.

— Нечистая сила... чуръ! чуръ! чуръ!

— Не чурайтесь, добры молодцы... Третьи пѣтухи пропѣли...

Пришедшіе остановились въ нерѣшительности... Въ самомъ дѣлѣ — третьи пѣтухи давно пропѣли: теперь нечистой силы не должно быть... Скоро солнце выглянетъ...

— Кто-жъ ты будешь? — заговорили они опять.

— Про то я скажу вашему старшому.

— А кто нашъ старшой?

— Князь Данило, князь Димитріевъ сынъ, Холмской.

— Правда... Старуха правду говоритъ.

— Такъ ведите меня къ нему.

— За коимъ дѣломъ?

— Это дило не ваше и не мое... Вы сторожа московская? ратные?

— Сторожа... А ты сама откуда?

— Изъ воды да изъ земли...

— Фу, какая чудная старуха!

Ратные опять приблизились, хотя съ той же нерѣшительностью. Они видѣли въ старухѣ что-то необычайное, возбуждавшее страхъ.

— Ну, идите-жъ со мной, добры молодцы, — не бойтесь меня.

Она двинулась впередъ, но залпулась за что-то и остановилась.

— Пфе! пфе!... кости, все кости!..

— Новогороцки, обглоданы, — подтвердилъ одинъ изъ ратныхъ.

Онъ нагнулся и отшвырнулъ ногою обглоданный звѣрьемъ и обклеван- ный птицами скелетъ. На скелетѣ что-то блеснуло.

— Чуръ мое! чуръ пополамъ! — разомъ вскричали оба ратника, броса- саясь къ скелету и схватывая что-то блестящее. — Чуръ пополамъ... Чуръ мое! мое! я первымъ увидалъ!

— Врешь! я первый...

— А! подрались вороны изъ-за кости... У! улю-люлю!... ату ево! ату! — засмѣялась старуха тихимъ старческимъ смѣхомъ.

Ратники продолжали возиться около скелета... „Мое! отдай!“ ... „Нѣтъ, моя! гривна золота—моя!“

— Стойте! стойте, добры молодцы! не деритесь... Подувайтесь лучше, а то помѣряться на рогатинѣ—кому достанется.

Но гривна, висѣвшая на скелетѣ, не снималась — шейныя жилы еще оставались цѣлы, черепъ не былъ отглоданъ отъ остального скелета...

— Ишь, чортъ, держитъ, не прощаетъ...

— А вотъ я ево топоромъ.

И топоръ отдѣлилъ черепъ отъ скелета. Гривна снялась съ мертвеца.

— Какъ ее раньше не сняли наши ребята?

— Да онъ, должно, въ кустѣ лежалъ — такъ звѣрье ужъ кости выволокло изъ куста... Наше счастье... Что-жъ, давай дуваниться пополамъ...

— Нѣтъ, на рогатинѣ приметнемъ — кому... Баушка правду баетъ...

— На рогатинѣ, такъ на рогатинѣ... Берись за конецъ...

— Ты берись—у тебя въ рукахъ гривна.

— Ну, ладно, на—перехватывай.

Первый ратникъ взялъ правой рукой конецъ рогатины, и, держа ее торчкомъ, протянулъ къ другому: „перехватывай“... Этотъ также перехватилъ древко рогатины какъ разъ у самой руки перваго, вплотную. Затѣмъ опять такимъ же образомъ перехватилъ первый, потомъ опять второй, и они чередовались перехватами до тѣхъ поръ, пока рогатины, у ея остраго съ желѣзнымъ остреемъ конца, не осталось на одинъ перехватъ. Этотъ послѣдній перехват выпадалъ на долю второго ратника. Онъ крѣпко захватилъ рукою остріе рогатины...

— Удержишь? Нуко-сь...

— Удержу-ста... видывали—не впервой.

— Ту, а черезъ голову перекинешь?

— Перекину-ста... Лови за хвостъ свою рогатицу!

— Добро, кидай... Уухъ!

Но рогатина, у которой древко было очень тяжелое, а остріе тонко, при размахѣ, при усилии перекинуть ее черезъ голову, выскользнула изъ руки ратника и ударила его по лбу...

— Ахъ, дьяволъ!

— Что! угораздило? Вотъ тебѣ и гривна.

— Не задача добру молодцу—не вывезла кривая,—улыбнулась старуха.

Это былъ народный способъ гаданья или жеребьевки: кому при перехватахъ рукой палки или рогатины, или даже длинной соломенки или камышинки, кому выпадалъ послѣдній перехватъ въ подобной жеребьевкѣ—тотъ выигрывалъ, но только если этотъ послѣдній перехватъ приходился на такой остатокъ перехватываемаго предмета, что тотъ, кто обхватилъ рукою этотъ остатокъ, въ состояніи будетъ удержать одной рукой всю палку

или рогатину, и не только удержать за этот остатокъ, но даже перекинуть черезъ голову.

Второй ратникъ не могъ этого сдѣлать—и терялъ право на находку. Но онъ не хотѣлъ разстаться съ такой дорогой вещью, какъ гривна, и началъ спорить, требуя дувана...

— Ну, полно-ка!—перебила ихъ старуха:—ведите меня къ князь Данилъ—онъ насъ разсудитъ, а то къ тѣну ступайте.

— Что намъ тивунъ!—наплевать-ста... Мы на походѣ...

— Такъ идите къ князю... Скоро солнушко выглянетъ... Мое дило нудное—не терпѣть—великое дило... Прощайте, косточки,—почивайте до страшной трубы...

И старуха, сопровождаемая ратниками, пошла по направленію къ Коростыню, бормоча про себя: „много, много костей... а еще больше будетъ скоро“...

Съ возвышенія, на которое они взошли, открылась равнина, кое-гдѣ поросшая мелкимъ лѣсомъ, и, словно бѣлыми концами, усыпанная большими и малыми шатрами. По сторонамъ паслись табуны коней, виднѣлись вездѣ группы и кучи сидѣвшихъ кругами, лежавшихъ на землѣ и бродившихъ въ безпорядкѣ людей. То тамъ, то сямъ дымились костры, посылая къ утреннему небу бѣловатые клубы дыма, который, подымаясь выше и разсѣваясь въ воздухѣ, все дѣлался розовѣе и розовѣе по мѣрѣ того, какъ розовѣла восточная окраина неба.

Скоро стали попадаться ратники, кто съ оружіемъ, кто съ уздой въ рукахъ, кто съ вязанкою свѣжей травы или хвороста. Слышалось ржаніе лошадей, доносились возгласы и смѣхъ.

Чѣмъ ближе къ шатрамъ и кострамъ, тѣмъ больше встрѣчныхъ.

— Гдѣ, братцы, запопали вѣдьму?—слышались оклики.

— Али она, вѣдунья, ратныхъ коней доила?

— Баба-яга—костяна нога въ ступѣ прилетѣла, метлой погоняла.

— А гдѣ метла?

— Да вонъ у тебя на подбородкѣ, рыжая... Ха-ха-ха!

— Подависъ ты яйцомъ на Пасху, дьяволъ!

Подошли къ большому полосатому шатру—полоса бѣлая, полоса зеленая, полоса красная на верху золоченое яблоко. У входа стоятъ часовые, опершись на алебарды.

— Къ воеводѣ?

— Къ воеводѣ.

— Али языка привели?

— Должно, языка... Къ воеводѣ доложитца сказываетъ...

— На духу, значить?

— На духу какъ есть...

— Пущать никово не указано...

Въ этотъ моментъ пола шатра отпахнулась, и оттуда вышелъ низенькій человѣчекъ въ боярскомъ кафтанѣ съ золотыми шнурами. Рыжая

съ простѣю бородка и сѣдая съ пробормомъ голова. Въ лицѣ и въ глазахъ что-то сухое, постное, черствое...

Часовые подобрались, сверкнули алебардами и глазами, придавъ своимъ лицамъ выраженіе собаки на стойкѣ.

Черствые глаза глянули на старуху. Они встрѣтились съ такими же черствыми, холодными глазами послѣдней, и словно застыли...

— Тебѣ ково, баушка?

— Воеводу—князь Данилу.

— Я князь Данило Холмской... А ты кто?

— Я ворона изъ Новагорода.

— А почто прилетѣла, старая карга?

— Къ худу каркать...

— Ну, старая, мнѣ съ тобой не въ засидки играть... Сказывай дѣло— а то на осину!

— Я осины не боюсь, пока жива...

Старуха порылась у себя за пазухой и вынула оттуда что-то завернутое въ тряпочку. Развернувъ тряпку, она показала воеводѣ что-то блестящее. Тотъ отшатнулся, словно его обожгло...

— Знаешь это?—спросила старуха.

— Знаю... Такъ ты?.. постой—не сказывай,—заторопился воевода:—иди за мной—тамъ скажешь...

И онъ, распахнувъ полы шатра, вошелъ въ него. Старуха послѣдовала за нимъ.

— Ну и бѣсъ—баба—ахъ! невольно прошенталь часовой, все еще сохраняя, положеніе собаки на стойкѣ:—самово воеводу испарила—нну!

XIII.

Шелонская битва.

Въ тотъ же день, послѣ таинственнаго посѣщенія загадочной старухой князя Холмскаго, московское войско, стоявшее у Коростыня, снялось съ поля и потянулось на западъ, къ рѣкѣ Шелони.

Впереди главной рати во всѣ концы разсыпались небольшіе загоны касимовскихъ и мещерскихъ татаръ, въ качествѣ развѣдчиковъ, и словно собаки ищейки обнюхивали, казалось, самый воздухъ, чтобы развѣдать, не пахнетъ-ли гдѣ по близости новгородскими ратами. Хищники по инстинкту, воспитанные на историческихъ традиціяхъ отцовъ и дѣдовъ, которые съ своими баскаками, темниками и пардусниками болѣе двухъ столѣтій волками рыскали по русской землѣ, собирая черный боръ и всякую дань, татары умѣли выслѣживать свою добычу и нападать на нее врасплохъ, въ такой именно моментъ, когда нападеніе всего менѣе ожидалось. Если имъ нужно было словить языка, то они такъ ловко издали закидывали воло-

сяной арканъ на шею жертвы, что та не успѣвала даже пикнуть, какъ ей забивали ротъ „кляпомъ“, связывали по рукамъ и по ногамъ, прикручивали къ „торокамъ“ или перекидывали черезъ спину лошади, какъ переметную суму, и исчезали съ ней.

Пока главныя московскія силы двигались къ Шелони, татарскіе загоны уже успѣли, незамѣтно ни для кого, пробраться къ этой рѣкѣ и нашли именно то, чего желали. Новгородскія рати, развѣвая въ воздухѣ знаменами съ изображеніемъ на цвѣтныхъ и золотыхъ полотнахъ Богоматери и другихъ угодниковъ, двигались лѣвымъ берегомъ Шелони по направленію къ Пскову, который они хотѣли прежде всего наказать и разгромить за отложеніе отъ воли „старшаго брата“ своего—Новгорода Великаго—и за союзъ съ окаянною Москвою. Это было конное новгородское войско. Пѣхота же плыла въ насадахъ по самой Шелони и далеко отстала отъ конницы.

Татары замѣтили это и сообщили тотчасъ же Холмскому. Сухое лицо князя передернулось нехорошею улыбкой, а жесткіе глаза просвѣтлѣли.

— А много ихъ, измѣнниковъ, царь Демьянъ Касимовичъ?—спросилъ онъ касимовскаго царя.

— У-у! минога... видимъ-нэвидимъ... ай-ай-ай какъ минога!—отвѣчалъ царь Даміанъ Касимовичъ.

— Тѣмъ лучше гораздо, царь, — улыбнулся князь Данило все тою-же недоброю улыбкой.

— О! тѣмъ лучи, тѣмъ лучи! якши... у-у якши!

— И конники и пѣшіе?

— И лапшадямъ минога, и лоткамъ минога—у-у! видимъ-нэвидимъ!

— Добро... Похваляю тебя за службу, царь Демьянъ Касимовичъ.

— Рады постарались, воевода... А какой халатъ на нихъ—всо залатой, всо залатой! у-у!

— И то добро—посдираете халаты-тѣ съ нихъ.

— Поздирай, бесперемѣвъ поздирай...

Къ вечеру 13-го іюля, въ субботу, москвичи, приблизившись къ Шелони, могли уже ясно различать, какъ по ту сторону низменнымъ берегомъ двигались новгородскія конныя рати, блестя на солнцѣ золотомъ знаменъ и сталью доспѣховъ и шоломовъ. Скоро оба войска такъ сблизились, что могли уже различать лица непріятелей, масть ихъ коней и цвѣта платья, слышать голоса и бряцанье доспѣховъ.

Болѣе молодые и здоровые изъ новгородцевъ, подъѣзжая къ берегу, грозили москвичамъ оружіемъ, бросали черезъ рѣку крѣпкія слова и похвалки. Москвичи отвѣчали еще крѣпче, „московскою рѣчью“, крѣпко какъ сыромятный ремень и узловатою какъ кнутъ московскій—этого словеснаго „матернаго товару“ у Москвы всегда было довольно, такъ что и татары научились у нихъ сему многопредложному краснорѣчію съ перцемъ. Одного не могли снести москвичи—это того, какъ новгородцы „лаяли, износя хульныя словеса на самого великаго князя“...

— У! вы окаянны! бабники! За бабымъ, за Мареуткинымъ хвостомъ, треплетесь.

— Эхъ вы, косопалые медвѣди! Рѣшетомъ мѣсяцъ ловили, кнутомъ на обухъ рожъ молотили.

— Пошехонцы московски! Межъ Москвой и Клиномъ князя потеряли.

— Промежъ трехъ сосенъ заблудились.

— На Мареуткиной косѣ бы вамъ повѣситься, окаянны!

Между тѣмъ подоспѣла ночь, и хотя заря не сходила съ неба до утра, однако около полуночи сдѣлалось настолько темно, что ни москвичи не могли видѣть движенія новгородскаго войска за рѣкой, ни новгородцы, остановившіеся на почлегъ, не могли замѣтить, что не все московское войско расположилось на ночевку. Если бы взоры новгородцевъ могли проникнуть хотя за версту вверхъ по Шелони, то они увидѣли бы, что тамъ, за лѣскомъ, въ ложбинѣ, происходило какое-то таинственное движеніе, что вдоль праваго берега рѣки покрылась тамъ какими-то темными массами, что массы эти тихо, беззвучно, тянулись все выше и выше, окутывая берегъ какою-то живою опушкою. Если бы они могли различить это въ полусумеркахъ сѣверной іюльской ночи, то, вѣроятно, различили бы и то, какъ эти темныя тѣни цѣлыми массами, такъ же тихо и беззвучно, медленно-медленно сползали съ берега къ самой Шелони, какъ отъ нихъ темнѣла и пѣнилась вода въ рѣкѣ, какъ что-то иногда фыркало въ водѣ, какъ эти темныя тѣни все болѣе и болѣе затемняли собою поверхность рѣки, медленно подвигаясь къ лѣвому берегу, какъ эти тѣни выползали изъ воды и встряхивались, все болѣе и болѣе покрывая собою уже не правый, а лѣвый берегъ Шелони. Они увидѣли бы, что на ихъ берегу что-то выросло точно лѣсъ, и живой лѣсъ этотъ двигался все далѣе, оставляя за собой Шелонь и расположенное на другомъ берегу московское войско. Если-бъ они могли прислушаться, припавъ ухомъ къ землѣ, то быть можетъ услышали бы, что земля какъ бы не спитъ, а что съ нею что-то дѣлается, словно бы подъ нею или надъ нею что-то двигалось и какъ бы гудѣло— не то вода гдѣ-то подъ землею шумить, не то Ильмень съ вѣтромъ разговаривался, и его глухой говоръ сообщался берегамъ, а берега передавали этотъ говоръ Шелони, и она доносила его до ратнаго, крѣпко спящаго новгородскаго поля. Въ тишинѣ ночной они, быть можетъ, уловили бы какія-то непонятныя, шепотомъ къѣмъ-то произносимыя слова— „Алла“, „ляиль-Алла“, „расулы“. Точно шепталась осина съ березой, точно береговая осока съ камышомъ осторожно перешептывалась—и потомъ все смолкло, только иногда робко просвистывала ночная птичка пастушокъ, да иногда глухо выстонавала въ камышахъ безсонная выпь-птица, да тяжело дышала ной конь, вытянувшись на росистой травѣ и засыпая чуткимъ, короткимъ сномъ...

Только одинъ человѣкъ въ новгородскомъ станѣ все это слышалъ и догадывался, съ кѣмъ это земля глухо разговаривала ночью порою. Недалеко отъ потухающаго костра онъ лежалъ на землѣ, завернувшись въ

охабень и опершись затылкомъ на кожаную подушку брошеннаго на землю сѣдла. На лицо его падалъ слабый красноватый свѣтъ отъ костра и, казалось, золотилъ его бороду и голову съ густыми волосами. Онъ лежалъ съ открытыми глазами и глядѣлъ задумчиво на небо и на блѣдныя, мигающія звѣзды.

Это былъ Упадышъ. Ему не спалось, но много думалось. Онъ думалъ о Новгородѣ, о послѣднихъ событіяхъ, о невѣдомой, грядущей судьбѣ своего родного города, и болѣе—о своей собственной судьбѣ.

Горькая была его судьбина. Сирота, безъ роду и племени, чужой выкормышъ, онъ всѣмъ вышелъ—и умомъ, и красотой, и молодецкой поводкой, только не выпало на его долю счастья въ жизни. Что бы онъ ни дѣлалъ, какъ ни были замѣтны его подвиги и личная храбрость во время неладовъ съ сосѣдями—онъ оставался въ тѣни, какъ сирота, не могшій выставить въ своемъ прошедшемъ ни „почетнаго роду“, ни отческаго имени... „Упадышъ безродникъ“—вотъ и вся его слава... Онъ умѣлъ говорить и на вѣтъ, его любили слушать, особенно „худые мужики вѣчники“, какъ онъ громилъ „житыхъ людей“ и ихъ неправды, и посадники и тысяцкіе обходили Упадыша, предпочитая ему какого-нибудь губошлепа, Марейна сына, Оедюшку гугняваго... Вездѣ ему была беѣзадача...

Спознался Упадышъ во время весеннихъ игрищъ на берегу Волхова, въ одну изъ „радуницъ“ или въ Ярилинъ праздникъ, когда, по старинѣ, парни обыкновенно „умыкали дѣвицъ у воды“—спознался Упадышъ съ боярскою дочерью, полюбилъ ее, душу всю въ нее вложилъ, полюбилъ пуще Новгорода, пуще славы молодецкой, пуще будущей жизни; и она полюбила его... Совыкались цѣлое лѣто, сходились въ ея саду по ночамъ въ тѣни черемухъ... Что было тутъ счастья, тайнаго, никому невѣдомаго!.. И все прахомъ пошло... Силкомъ отдали Грушу за Марейна сына, за Димитрія, и стала сохнуть Груша, и стала таять по Упадышъ... И на сына своего, на Исачку, прижитаго отъ немилаго мужа, она глядѣтъ не хотѣла; утопиться думала, такъ на мосту перехватили, какъ она собиралась броситься въ Волховъ.

А Упадышъ съ горя ушелъ въ ушкунники, подобравъ себѣ партію отчаянныхъ головъ... Девять лѣтъ ушкунничалъ—и по морю громилъ бусы корабли, и по Двинѣ гулялъ, и по Волгѣ вплоть до Астрахани, а все не размыкалъ тоски.

Воротился... Опять видѣлся съ Грушей тайкомъ... Годы не отняли у нихъ того, что дала имъ когда-то „радуница“—пуще окрѣпло... А Новгородъ попрежнему не любитъ Упадыша... Обозлился, окаменѣлъ Упадышъ...

Нѣтъ, не окаменѣлъ—къ Новгороду только окаменѣло его сердце...

Не окаменѣлъ... Онъ чувствуетъ, какъ бьется подъ охабнемъ его сердце... И тогда такъ же смотрѣли на него—нѣтъ, на *нихъ*—такъ же смотрѣли эти звѣзды, когда, на „радуницу“, десять лѣтъ назадъ, *они* сидѣли подъ ракитовымъ кустомъ на берегу Волхова, недалеко отъ старыхъ каменѣломенъ...

Тамъ теперь эта кудесница и ея бѣлоголовая Горислава... Бѣдная... А кудесница все сдѣлала, что обѣщала... Не даромъ придвинулись московскія рати, не даромъ ночью земля глухо съ кѣмъ-то разговаривала—вонъ тамъ, выше, за лѣскомъ...

Здѣсь и Димитрій, мужъ Груши—оправился постѣ Коростыня... Оправится-ли на Шелони?..

Какъ стонетъ выпѣ!.. Чего она по ночамъ стонетъ?

А какъ и Димитрій воротится въ Новгородъ, какъ тѣ всѣ, какъ и Павша Полинарьинъ—воротится безъ носа и безъ губъ?.. Безъ головы развѣ?.. Не воротится ему... это будетъ не Коростынь...

Куда же дѣвались звѣзды?.. Ни одной не осталось на небѣ и небо стало какимъ-то темнымъ, темнымъ...

Неужели это такія птицы большія летятъ по небу?.. Все небо покрыли и летятъ такъ низко-низко, что, казалось, отъ маханія ихъ крыльевъ волосы у него на головѣ шевелятся...

Что это?.. Какія большія головы у этихъ птицъ...

Вотъ одна надлетѣла надъ самымъ костеръ, взмахнула крыльями, костеръ вспыхнулъ отъ вѣянья крыльевъ и освѣтилъ голову птицы... Это человѣческая голова, только безъ носа и губъ... Видны только глаза и бѣлые зубы, и глаза эти смотрятъ на него, Упадыша...

Все летятъ, все машутъ крыльями эти птицы съ человѣческими головами, а костеръ разгорается все больше и больше...

Какъ страшно глядятъ на него эти глаза, а головы киваютъ съ угрозою: „О, Упадышъ! Упадышъ! лучше бы тебѣ не быть въ утробѣ матерней, чѣмъ быть предателемъ Великаго Новгорода“...

Это не выпѣ стонетъ — это стонутъ головы на птичьихъ крыльяхъ: „О, Упадышъ, Упадышъ!“...

Кто-то тихо поетъ... Это ея голосъ... Какой грустный напѣвъ...

Почто ты, калина, не такъ-такова,
Какъ весеннею ночью была?..

Да, тою весеннею ночью, на „радуницу“, давно, давно... Все прошло—одна память осталась...

„О, Упадышъ, Упадышъ!“ — это, кажется, вздыхаетъ сама земля, не то воздухъ: — „лучше бы тебѣ не быть въ утробѣ матерней, не родиться на свѣтъ божій“...

Такъ нѣтъ—родила его сука мать, родила какъ щенка, и какъ щенку не дала счастья-доли...

Кто это ходитъ по полю, межъ сонными? Чего ищетъ эта темная фигура, нагибаясь надъ спящими новгородцами?... Однихъ она креститъ, мимо другихъ такъ проходить... Вотъ она все ближе и ближе подходитъ къ костру... Костеръ освѣщаетъ темную чернеческую монатью и сухое, блѣдное лицо...

Это Зосима соловецкій... Онъ глядитъ на Упадыша и съ укоромъ качаетъ головой... „О, Упадышъ, Упадышъ!“...

А надъ головой его, казалось, все небо двигалось къ западу, и восточная половина его становилась все свѣтлѣе и свѣтлѣе...

Вдругъ раздался ударъ вѣчевого колокола, Упадышъ вздрогнулъ — и проснулся... Костеръ давно потухъ, на востокъ занималось утро, алѣло небо и небольшія легкія облачка...

Упадышъ приподнялся. Все еще спало кругомъ, но за Шелонью, въ московскомъ войскѣ виднѣлось уже движеніе.

Упадышу вдругъ страшно стало. Ночныя грезы и ужасы не выходили изъ головы... „О, Упадышъ! Упадышъ!“

Что тамъ дѣлается?... Московское войско построилось уже въ ряды... Впереди виднѣются воеводы... Всѣ на коняхъ — на конѣ и князь Данило Холмскій... Онъ что-то говоритъ... Если бъ Упадышъ могъ слышать черезъ рѣку, онъ услышалъ бы слѣдующее:

— Братіе!—обращалъ Холмскій къ воеводамъ свои черствые глаза:— мѣра намъ топерь, братіе, послужить великому князю, своему государю, и биться съ ними (онъ указалъ черезъ Шелонь) за осудареву правду, хотя бы ихъ и триста тысячъ было... Богъ и Пречистая Богородица вѣдаютъ, что правда нашего государя передъ нами...

— Положимъ наши головы за осудареву правду! Утремъ поту! Ляжемъ костями за великаго князя, осударя нашего!—разомъ воскликнули воеводы расправляя бороды и звеня доспѣхами.

Потомъ Холмскій снялъ шлемъ съ головы, на которой густо засѣло серебро сѣдины межъ золотомъ рыжихъ волосъ. Онъ глянулъ на большой стягъ, съ изображеніемъ воскресшаго Спасителя... Всѣ московскіе ряды обнажили свои головы и тоже воззрились на главный стягъ...

— Господи, Иусе Христе!—скрипучимъ, но здоровымъ голосомъ выкрикнулъ Холмскій, такъ что голосъ этотъ прошелъ по рядамъ:—Боже, пособивъ кроткому Давиду побѣдить иноплеменика Голиава и Гедeonу съ тремя стами одолѣть множество иноплеменихъ! Пособи, Господи, и намъ, недостойнымъ рабомъ твоимъ, надъ сими новыми отступниками и измѣнниками, восхотѣвшими покорить православную вѣру хрестіанскую и приложить къ латынской ереси, и поработить латынскому королю и митрополиту, и помянать имена враговъ твоихъ, Господи, въ твоей соборной церкви!

Онъ размахисто перекрестился, колотя пальцами въ стальные латы и въ наплечники. Невообразимый гулъ, скрипъ, звякъ и какой-то стонъ былъ отвѣтомъ на рѣчь главнаго воеводы:—это молилась бранная Москва, широко размахивая въ воздухъ руками, стуча и гремя шеломами и доспѣхами... Это былъ шепотъ смерти, которая вѣяла въ воздухъ невидимыми крыльями, навѣвала холодъ на душу, проходила морозомъ по спинѣ... За-скрипѣли знамена при движеніи древковъ — и потомъ какъ-бы все замерло...

И за Шелонью все пришло въ движеніе. Строились ряды, слышались возгласы, ржанье коней, бранные окрики, которые доносились до москвичей...

— Впередъ, молодчая братія!

— Вы впередъ, старшіи! Вамъ мисто впереди—какъ въ церкви, такъ и тутай!

— Вы легче насъ, молодчіи—идите!

— Легче! тото легче! Мы испротерялись доспихомъ и коньми... Мы голые! Такъ ступайте впередъ вы, богаты и нарядны! Вамъ честь и мисто!

Упадышъ стоялъ въ отрядѣ Дмитрія Борецкаго и тревожно прислушивался къ этимъ возгласамъ. Горькая улыбка скользила по его блѣдному лицу...

— Господо и братіе!—покрывалъ всѣхъ металлическій голось вожди новгородцевъ, князя Шуйскаго - Гребенки, который скакалъ между рядами съ обнаженнымъ мечомъ:—постоймъ за святую Софію и за волю новгородскую... А оже кто тылъ покажетъ, богатый и старшій, ино того домъ и животы отдамъ молодчимъ на потокъ и разграбленіе... Впередъ! Пейте, братіе, кровавое пиво московскос!

„Раньше бы было думать о молодчихъ“,—горько усмѣхнулся на эти слова Упадышъ:—„нами, молодчими, а не старшими, держалась воля новгородская, нами она и кончитца“...

Пробѣжалъ вѣтерокъ по новгородскимъ знаменамъ, и они заскрипѣли у огорлій древковъ... „О, Упадышъ, Упадышъ!“ слышалось ему въ этихъ звукахъ...

Вдругъ московскій берегъ Шелони закричалъ тысячами голосовъ...

— Москва! Москва! Москва!—гремѣлъ въ утреннемъ воздухѣ московскій боевой кличъ—„ясакъ“.

— Господо и братіе!—звучали въ этомъ кличѣ голоса воеводъ:—лучче намъ здѣсь положить головы свои за государя своего, великаго князя, не чѣмъ со срамомъ возвращаться!

— Въ воду, братцы! въ Шелонь!.. го-го-го-го,—стонали москвичи—и ринулись въ Шелонь.

Какъ въ котлѣ закипѣла вода въ новгородской рѣкѣ отъ множества ринувшихся на нее московскихъ коней... Казалось, Шелонь остановилась... Слышенъ былъ невообразимый шумъ и плескъ воды, ревѣли голоса всадниковъ, фыркали кони... Не стало рѣки передъ новгородцами—вмѣсто рѣки двигались на ихъ берегъ массы лошадиныхъ тѣлъ, мордъ, фыркающія ноздри, сверкающіе мечи и шеломы и дико ревуція глотки: „Москва! Москва!..“

— Святая Софія и Великій Новгородъ!—грянуло съ новгородскаго берега.

— За Коростынъ, братцы новгородцы! за соромъ коростынскій!—бѣшено ревѣлъ богатырь-рыбникъ, знакомый уже намъ Гюрята, оправившійся послѣ побоевъ коростынскихъ и кое-какъ добравшійся до Новгорода цѣлымъ и невредимымъ.

— За носы да за губы, братцы! — кричалъ и тщедушный „пидблянинъ“, раздобывшійся конькомъ и смотрѣвшій теперь совсѣмъ казакомъ, только безъ усовъ и чуба.

— Въ Шелонь ихъ! коли! топи!

Сшиблись передніе ряды. Застучали шелома и латы, поражаемые сулицами и рогатинами. Положеніе новгородцевъ было выгоднѣе — они напирали съ берега внизъ и опрокидывали москвичей въ воду. Передніе ряды, падая въ воду, разстраивали послѣдующіе ряды. Латники, выбитые изъ сѣделъ и падавшіе въ воду, изнемогали подъ тяжелыми доспѣхами и захлебывались въ мутной рѣкѣ, уже окрашенной московской кровью.

— Пруды Шелонь московскимъ собачьимъ тиломъ! — неистовствовалъ Гюрята, все опрокидывая на пути.

— Вотъ вамъ за носы! вотъ вамъ за губы! — пищалъ за нимъ и „пидблянинъ“, одною рукою держась за гриву коня, а другою — размахивая сулицей.

Московскіе задніе ряды словно задумались, дрогнули, попятились... Дрогнулъ и стягъ воеводскій, зашатался въ воздухѣ...

— Господо, воеводы и братіе! — нестоно прокричалъ съ берега Холмскій: — перваго, кто покажетъ лицо свое заднему ряду, колите на мѣстѣ!

Но новгородцы напирали все болѣе и болѣе... Хмурое лицо Холмскаго зеленѣло, и онъ подымался на стременахъ, чтобъ разглядѣть, что дѣлается тамъ, за новгородскою ратью... Но тамъ не видно было того, чего онъ ждалъ...

И Упадыша нигдѣ не видать. Димитрій нѣсколько разъ оглядывался, ища его глазами, но его не было... „Не убить-ли?“...

Нѣтъ, онъ не былъ убитъ. Въ пылу общей схватки онъ незамѣтно исчезъ изъ рядовъ и, выскакавъ въ поле за небольшой лѣсокъ, поднялъ вверхъ свое копье, на которомъ развѣвался красный платокъ. Брови его были сумрачно надвинуты на глаза, горѣвшіе лихорадочнымъ огнемъ: — какъ будто бы то, что онъ оставилъ позади себя, или то, что онъ самъ дѣлалъ или что еще должно было послѣдовать, причиняло ему невыразимыя мученія...

— Сатано! сатано! тебя кличу! что-жъ ты не идешь? — со стономъ прошепталъ онъ.

Красный платъ его продолжалъ трепаться въ воздухѣ, а онъ все глядѣлъ вдаль...

Вдругъ въ этой дали что-то, словно огромныя птицы, зарѣяло въ воздухѣ... По небу трепалось что-то желтое, хвостатое, трепалось въ разныхъ мѣстахъ... Послышался глухой топотъ множества конскихъ копытъ... Упадышъ схватился рукою за сердце...

— Совершилось... О, Каинъ, Каинъ! — простоналъ онъ.

Желтыя хвостатыя полосы все ближе и ближе... Видно, что это знамена, но не христіанскія: на желтыхъ полотнищахъ видны полумѣсяцы, золотые и бѣлые. Это татарское войско — это московская засада...

Татары обскакали лѣсъ, скрывавшій ихъ отъ новгородцевъ, и съ во-
племъ, воемъ и гиканьемъ понеслись на послѣднихъ, когда они уже почти
всѣхъ москвичей, во всю длину битвы, успѣли опрокинуть въ Шелонь...

Страшное алакаканье съ тылу заставило новгородцевъ оглянуться. Они
увидѣли позади себя чтѣ-то непостижимое, ужасное: эти желтые, трепав-
шіяся въ воздухѣ полотна, эти нехристіанскаго вида, несущіеся на нихъ
и алакакающіе дьяволы въ остроконечныхъ мѣховыхъ шапкахъ, эти развѣ-
вающіеся надъ ними на длинныхъ древкахъ лошадиные хвосты, нечеловѣче-
скій, а какой-то звѣриный говоръ, непонятныя слова, непонятныя выклики,
изрыгаемые этими дьяволами,—все это вселило нѣмой ужасъ въ новгород-
цевъ, думавшихъ, что на нихъ обрушились сами дьяволы...

При появленіи этихъ дьяволовъ битва сразу замерла на всѣхъ кон-
цахъ... Новгородцы на мгновеніе окаменѣли: они не видѣли уже передъ
собою москвичей, видѣли только за собою нечистую силу...

— Татары! татары! — раздалось, наконецъ, по дрогнувшимъ рядамъ
новгородской рати.

Москвичи между тѣмъ оправились и снова запружали новгородскій
берегъ Шелони.

— Не по людямъ стрѣлай, братцы,—по конемъ!—кричалъ Холмскій,
появившійся на этомъ берегу съ главнымъ стягомъ.

— По конемъ бей! по конемъ! — разнесли его приказъ воеводы во
всѣ концы поля.

Это были роковыя слова для Новгорода, какъ съ другой стороны ро-
ковымъ было появленіе татаръ въ тылу. Съ одной стороны въ воздухѣ
свистали татарскія стрѣлы и арканы, захлестывавшіе новгородцевъ за шею,
стаскивавшіе ихъ съ коней и волочившіе по землѣ словно заарканенныхъ
барановъ; съ другой—московскія стрѣлы, которыя впились въ коней—
и раненыя животныя приходили въ бѣшенство отъ боли, становились на
дыбы, выбивали изъ сѣделъ всадниковъ или стремительно неслись назадъ,
сбивая съ ногъ еще не упавшихъ, наскакивая на другихъ коней, раз-
страивая и безъ того дрогнувшіе ряды. Падали другъ на дружку люди,
лошади; верхніе давили нижнихъ, а затѣмъ сами падали, и ихъ давили
другіе. Цѣлые ряды сталкивались и падали; новгородцы давили сами себя,
не видя нигдѣ выхода, словно изъ пропасти, со всѣхъ сторонъ обложен-
ной огнемъ и смертью. Щиты, копья, доспѣхи — все оказалось лишнимъ
и бесполезнымъ: приходилось или бороться съ петлей, которая стягивала
съ коня и душила, или грызть ужасный арканъ зубами, или выбиваться
изъ стремени, ущемившаго ногу, тогда какъ конь бѣшено перескакивалъ
черезъ трупы убитыхъ, черезъ головы раненыхъ или черезъ кучи брошен-
наго оружія. Бросались на землю щиты, доспѣхи, которые только мѣшали.
Мѣшала и песчаный берегъ, въ которомъ вязли ноги, искавшія спасенія
въ бѣгствѣ.

Бѣжало все—и конные и потерявшіе коней, вооруженные и безоруж-
ные, здоровые и раненые, бѣжали, куда глаза глядятъ, лишь бы уйти отъ

смерти, отъ этихъ удушающихъ аркановъ, отъ коней и стрѣлъ, отъ топоровъ и сулицъ... Это было безумное, бѣшеное бѣгство... Новгородцы слышали только крикъ смерти, и имъ, обезумѣвшимъ отъ страха, казалось, что это съ неба гремѣлъ страшный московскій ясъкъ— „Москва! Москва!“— и ужасное алаканье— „Алла! Алла!“...

„Господь ослѣпи ихъ!“— восклицаетъ московскій лѣтописецъ:—поглочена бысть мудрость ихъ“. Несчастные бѣжали въ лѣса, уходили и вязли въ болотахъ, тонули въ рѣчкахъ; раненные, истекая кровью, заползали въ кусты, въ чащи, и тамъ, теряя послѣднія капли крови, издыхали какъ отравленные собаки; иныхъ засасывала болотная тина... Тѣ летѣли на коняхъ, пока не падали кони и не издыхали вмѣстѣ съ придавленными и обезсиленными всадниками. Иныхъ кони доносили до самаго Новгорода, но несчастные, обезумѣвъ отъ страха и отъ всего видѣннаго, не узнавали своего родного города и неслись дальше, мимо, сами не вѣдая куда и только слыша ужасное: „Москва! Москва!“

Вѣчевой звонарь видѣлъ съ своей колокольни, какъ скакали мимо города невѣдомые всадники; но онъ не зналъ, что это были разбитые новгородцы...

Двѣнадцать тысячъ новгородскихъ тѣлъ покрыли шелонское поле, лѣса и болота на десятки верстъ кругомъ. Болѣе полторы тысячи взяты въ полонъ, въ томъ числѣ и много воеводъ съ боярами. Взяты были и знамена новгородскія, и договорная грамота съ Казимиромъ, и самъ писарь, сочинявшій ее въ вѣчевой избѣ... А онъ еще такъ тщательно, съ такими киноварными завитушками писалъ ее въ назиданіе будущимъ родамъ новгородскимъ... Нѣтъ, не судьба!...

Все покончили москвичи... Къ вечеру не достало кроваваго вина— упились новгородцы и легли спать навѣки... Спите, послѣдніе вольные люди несчастной русской земли.

А Москва и татары сошлись среди polegшихъ сыновъ новгородской воли, радостно протрубили побѣду—и тутъ же стали прикладываться къ образамъ, изображеннымъ на отбитыхъ у новгородцевъ знаменахъ... Родовались москвичи и татары—было чему радоваться!...

По другую сторону Шелони стоялъ Упадышъ и видѣлъ все это... По блѣднымъ щекамъ его текли слезы...

„О, Упадышъ, Упадышъ!“— отдавались въ ухахъ его слова ночныхъ видѣній:— „лучше бы тебѣ не родиться на свѣтъ Божій!“...

XIV.

Казни въ Русь.

— Мама! а мама!

— Чево тебѣ, дочечка?

— Скоро уйдутъ московски люди?

— Не видаю, родненька, може скоро, може не скоро.

— Я исть хочу, мама.

— Знаю, дитятко. О-охъ!.. Вотъ морошки малость осталось—посося, дитятко, полежае.

— Я хлиба хочу... молочка бы... яичка...

— Ниту, родная, ни хлибушка, ни молочка... Сама знаешь—хлибушко московски люди на корню потравили, а коровушку соби взяли... И курочекъ побрали.

— А за что они нашъ городъ пожгли?

— Такъ... Богу такъ угодно было... За то, что мы новгородской земли а не московской.

— И тятку за это убили?

— За то же, дитятко, за то. О-охъ!

Такъ, въ виду разоренной и сожженной московскими ратными людьми Русы, разговаривали, прячась въ сосѣднемъ лѣсу, остатки этого стариннаго новгородскаго пригорода—мать и дочь, небольшая, лѣтъ десяти дѣвочка. Ужасное то было время! Москва шла наказывать Новгородъ за его вины великія—за то, что онъ былъ Новгородъ, что въ немъ жила вѣковѣчная народная воля, что его порядки не похожи были на московскіе порядки, что онъ былъ богатъ и силенъ, что слава его далеко гремѣла за предѣлами русской земли и мозолила глаза Москвѣ заgreбистой, только что отбившейся отъ татаръ и ихъ вѣкового ярма и гнувшей подъ свое такое же ярмо другія русскія земли,—за то, наконецъ, что Москвѣ хотѣлось прибрать къ рукамъ и разерить богатый Новгородъ, какъ она прибрала Тверь, Рязань, Нижній,—шла она на Новгородъ и опустошала, жгла, разоряла ничѣмъ неповинные передъ нею города и селенія новгородской земли, вытравливала и вытаптывала на корню ихъ посѣвы, забирала изъ ихъ закромовъ „жито и всякое болото“, а закрома и избы жгла, скотъ и птицу угоняла и сѣдала, населеніе выбивала и уводила въ полонъ, хотя оно и не сопротивлялось ей да и не могло сопротивляться... Такъ поступила она и съ Русой, стариннымъ новгородскимъ пригородомъ.

Что могло уйти отъ этого безпричиннаго, бессмысленнаго погрома—и ушло и поприпраталось по лѣсамъ и болотамъ; что не успѣло уйти—погибло...

Изъ числа ушедшихъ были и эти двѣ собесѣдницы, мать и дочь-дѣвочка, которыя давно уже скитались въ лѣсу волизи своего роднаго города, превращеннаго въ груды пепла и мусора, питались кореньями, древесной корой, морошкою и другими, еще не вполне созрѣвшими лѣсными ягодами, а теперь прибрели поближе къ своему горькому пепелищу и украдкой смотрѣли изъ лѣсу на торчащіе изъ земли обгорѣлые столбы отъ заборовъ и воротъ, на уцѣлѣвшія трубы отъ сожженныхъ домовъ, на кучи золы и угля, на колокольни и церкви роднаго города, пощаженные своими же, родными имъ варварами, тоже называвшимися христіанами...

Смотрѣли они и на невиданные шатры, бѣлѣвшіе и пестрѣвшіе всѣми

цѣтами на мѣстѣ разрушеннаго города и на примыкавшей къ нему лугу-
винѣ. Около шатровъ сновали люди, блестяе оружіе, шлемы, знамена,
жазлись лошади и награбленный скотъ. По новгородской, по псковской и
московской дорогамъ, шедшимъ изъ Русы, постоянно скакали какіе-то вса-
дники въ шеломахъ, двигались тѣмъ-то нагруженные возы и колымаги, раз-
давались возгласы.

— А чья та, мама, больша палатка?

— Кака палатка, милая?

— Пестра—съ золотомъ, точно церква.

— Не знаю, дитятку... Може старшова ихнево, самово князя.

— А гдѣ мы зимой будемъ жить, мама?

— Не вимъ, родная... Може, до зимы помремъ... къ отцу пойдемъ...

Дѣвочка тихо заплакала. Безкровное, изможденное лицо матери выра-
жало глубокую скорбь.

Нынѣшній день, 24 іюля, черезъ десять дней послѣ шелонской битвы,
въ московскомъ станѣ, въ Русѣ, замѣчалось особенное движеніе. Нака-
чунѣ прибылъ въ Русу самъ великій князь съ огромнымъ ѳбозомъ и боя-
рами, а сегодня, рано утромъ, Холмскій съ частью своего войска (осталь-
ное продолжало разорять новгородскія земли вплоть до Наровы, до ливон-
скаго рубежа) прибылъ поклониться великому князю знатными новгород-
скими полоняниками и всѣмъ добромъ, добытымъ на берегахъ Шелони.

— Видишь, мама,—вонъ тамъ какихъ-то людей ведутъ къ большой
палаткѣ.

— Вижу, милая, должно полоняниковъ.

— Нанихъ, мама?

— Нанихъ давно увели, а конхъ тутай побили на смерть, вотъ какъ
и отца... А это, должно, новгородски полоняники.

Да, это было дѣйствительно такъ.

На площади разрушеннаго москвичами города разбита была велико-
княжеская палатка. Она была очень велика, такъ что казалась тѣмъ-то
вродѣ собора, за которымъ стояли рядами, полукругомъ, другія меньшія
палатки. Она имѣла какъ бы два яруса, изъ которыхъ верхній кончался
небольшимъ купольцемъ съ золоченымъ на немъ яблокомъ и осьмиконеч-
нымъ крестомъ. У входа въ палатку стояли алебардщики.

Но великій князь былъ не въ палаткѣ, а сидѣлъ на особомъ возвы-
шеніи, въ рѣзномъ золоченомъ креслѣ, подъ балдахиномъ, стоявшимъ пе-
редъ палаткою, лицомъ къ площади и уцѣлѣвшей отъ пожара церкви. Съ
балдахина спускались золотыя кисти, перехватывавшія богатую парчевую
драпировку. Эта драпировка, защищая великаго князя отъ солнца, кото-
рое въ этотъ день особенно ярко свѣтило, бросала тѣнь на хмурое, мато-
вое лицо Ивана Васильевича III, непреклоннаго „собирателя русской земли“,
и выдавала особенный, холодный блескъ сѣрыхъ глазъ, сурово смотрѣвшихъ
изъ-подъ мѣховой, широкой, съ острымъ верхомъ, татарковатой шапки.
По бокамъ его стояли отроки во всемъ бѣломъ и держали въ рукахъ сѣ-

киры съ длинными рукоятками. Бояре полукругомъ стояли около балдахина, а нѣсколько впереди ихъ, сбоку, у ступенекъ, стоялъ знаменитый грамотѣй своего вѣка, тогдашній ученый и академикъ, архіепископскій дякъ Степанко Бородатый, отмѣннымъ манеромъ „умѣвший воротити русскими лѣтописцы“ — однимъ словомъ, наичетвѣйшій воротила и историкъ, знавшій всѣ провинности Господина Великаго Новгорода не хуже современнаго историка сего злосчастнаго града, почтеннѣйшаго А. И. Никитскаго. У ногъ Бородатаго (борода у Степана была, дѣйствительно, внушительная) — у ногъ этого бородатаго ученаго лежалъ кожаный мѣшокъ, наполненный лѣтописями.

Странно было видѣть это сборище молчаливыхъ, угрюмыхъ людей среди жалкихъ пепелищъ сожженнаго города. Зачѣмъ они сюда пришли? Чего имъ еще нужно послѣ того, что они уже сдѣлали?

На сумрачномъ лицѣ дѣда Грознаго и въ холодныхъ глазахъ, задумчиво глядѣвшихъ на свѣжіе слѣды пожарища, казалось, написано было: „посѣтилъ Господь“... Ему, вѣроятно, искренно думалось, что это дѣйствительно „Господь посѣтилъ“, а не человѣческое безуміе...

Кое-гдѣ между грудями пепла перелетали вороны и, каркая, всорились между собою изъ-за несовѣстѣ обклеваннаго костей.

Гдѣ-то впереди протрубили рога. Глаза великаго князя глянули на церковь, потомъ опустились ниже и остановились на чемъ-то съ тѣмъ же холоднымъ вниманіемъ... Изъ-за церкви что-то двигалось сплошною массою. Впереди и по бокамъ видѣлись копы и еловцы племевъ. Въ серединѣ — что-то безформенное, какія-то волосатыя головы, ничѣмъ не прикрытыя, несмотря на палившее ихъ солнце...

Ближе и ближе — видно, наконецъ, что это ведутъ связанныхъ людей. Много ихъ, этихъ связанныхъ, очень много. Впереди — четверо въ рядъ. Руки связаны назади, на ногахъ кандалы. Это не простые люди — на нихъ остатки богатаго одѣянія; но все оно исполосовано, выпачкано грязью и засохшею кровью. За ними — цѣлое стадо перевязанныхъ людей.

Откуда-то выбѣжала худая-худая — одни кости да кожа — желтая собака, вѣроятно, искавшая своего сгорѣвшаго жилья или безъ вѣсти пропавшихъ хозяевъ, остановилась какъ-разъ противъ возвышенія подъ балдахиномъ, и, поднявъ къ небу сухую, острую морду, жалобно завывла, какъ бы плача на кого-то... Бояре бросились отгонять ее... „Цыцъ-цыцъ!.. улю-лю, окайная!“...

А связанные люди уже совсѣмъ близко — видны блѣдныя, измученныя лица, опущенные въ землю глаза.

Отъ переднихъ латниковъ отдѣлился князь Холмскій и, не доходя нѣсколькихъ шаговъ до балдахина, поклонился въ землю.

— Государю, великому князю Иванъ Васильевичу всеа Русіи, положомъ новгородскимъ кланяюсь, — проговорилъ онъ, не вставая съ колѣнъ.

— Похваляю тебя, князь Данило, за твою службу... Встань, — громко и отчетливо проговорилъ Иванъ Васильевичъ.

Холмскій всталъ. Плѣнники стояли съ опущенными въ землю глазами.

— Подведи начальныхъ людей, — приказалъ дѣдъ Грознаго, ткнувъ массивнымъ жезломъ по направленію къ переднимъ связаннымъ.

— Приблизьтесь къ государю, великому князю Ивану Васильевичу всеа Русіи, новгородскіи воеводы, — повторилъ приказъ Холмскій.

Стоявшіе впереди всѣхъ четыре плѣнника приблизились.

— Кто сей? — ткнулъ жезломъ Иванъ Васильевичъ, указывая на блѣдное лицо съ опущенными на глаза волосами.

— Дмитрій Борецково, сынъ Марѣи посадницы, — былъ отвѣтъ Холмскаго.

— А!.. Марѣинъ сынъ... помню, — какимъ-то страннымъ, горловымъ голосомъ промолвилъ великій князь.

Дмитрій поднималъ свои большіе, черные материнскіе глаза изъ-подъ нависшихъ на лобъ волосъ. Глаза эти встрѣтились съ другими, сѣрыми холодными глазами и нѣсколько секундъ глядѣли въ нихъ не отрываясь... Кто кого переглядываетъ?.. кто? На лицѣ великаго князя дрогнули мускулы у угловъ губъ, у глазъ... А тѣ глаза все глядятъ... „Выколотъ бы ихъ... ну—якъ и сами скоро закроются“.. Что-то недоброе шевельнули въ сердцѣ великаго князя эти молодые, покойные, молча укоряющіе глаза...

— Марѣинъ сынъ... Точно—весь въ нее, — какъ бы про себя проговорилъ великій князь. — А какъ ты, Дмитрій, умыслилъ измѣну на насъ, великаго князя, государя и отчича и дѣдича Великаго Новгорода?

— Я тебѣ не измѣнялъ, — спокойно отвѣчалъ Дмитрій, по прежнему глядя въ глаза вопрошающему.

— Ты, Дмитрій, пошелъ на насъ, своего государя, войною и крестное цѣлованье намъ, государю своему, сломалъ еси — и то тебѣ вина.

— Ты Великому Новгороду не государь, и креста тебѣ я не цѣловалъ... Господинъ Великій Новгородъ самъ себѣ и господинъ и государь.

При этомъ отвѣтъ глаза великаго князя точно потемнѣли. Правая рука вмѣстѣ съ жезломъ дрогнула... Бояре какъ-то попятились назадъ, точно балдахинъ на нихъ падалъ...

— Прибрать ево, — едва слышно проговорили блѣдныя губы.

Холмскій повернулся къ латникамъ. Тѣ взяли Дмитрія подъ руки и отвели въ сторону.

— Сей кто? — направился жезлъ на другого связаннаго.

— Седзневъ-Губа, Василей.

Губа выступилъ впередъ. Глаза его также остановились на глазахъ великаго князя.

— И ты, Василей?.. Я зналъ тебя, — какъ бы съ укоризной сказалъ Иванъ Васильевичъ.

Губа молчалъ. Полная грудь его высоко подымалась.

— Почто ты, Василей, вступился въ наши старины? — допрашивалъ великій князь.

— Не мы, Господинъ Великій Новгородъ, вступились въ твои старины,

а ты нашу старину и волю новгородскую потоптать хочешь... Али мы твои города жгли и пустошили, какъ ты наши города впустишь полагаясь? Кто за это дастъ отвѣтъ Богу?

И Селезневъ, говоря это, обвелъ глазами окружающія развалины. Не-вольно и глаза великаго князя послѣдовали за его глазами.

— Кто это сдѣлалъ?

— То сдѣлали вы, отступивъ свѣта благочестія.

— Али ты въ нашу душу лазилъ?.. Благочестіе!.. Это-ли благочестіе—кровь лить хрестіанскую!

Въ это время опять завyla близко собака.

— Слышишь?.. Это на тебя песь, безсловесная тварь Богу плачетца...

„Господи! за что же это!“—послышался стонъ въ толпѣ плѣнниковъ.

— Слышишь?.. а?.. И онъ, Господь, это слышитъ...

— Замолчи, смердь! — крикнулъ великій князь, стукнувъ жезломъ о поможсть.

Холмскій подскочилъ къ дерзкому, чтобы взять его.

— Прочь, холопъ!—осадила его Селезневъ:—топору нагну голову свою, а не тебѣ, холопу!

— Взять его!.. Голову долой!—раздалось съ возвышенія.

— Голову долой!.. Тото наши головы поперегъ твоей дороги стали, улусникъ!

Большой мастеръ былъ сдерживаться и притворяться „собиратель русской земли“, однако и онъ тутъ не выдержалъ—швырнулъ въ дерзкаго своимъ массивнымъ жезломъ... Жезлъ угодилъ Губѣ прямо въ голову...

— Собака!.. Отдать псамъ его мерзкій, хульный языкъ!

Латники бросились на Селезнева и увели его подальше. Холмскій почтительно подалъ жезлъ разгнѣванному владыкѣ.

— Кто тамъ еще?—болѣе покойнымъ голосомъ спросилъ Иванъ Васильевичъ.

— Арзубевъ Кипріянь, государь.

— А! Арзубевъ—все латынцы.

Арзубевъ молчалъ; но видно было, что это стоило ему большого труда.

— А сей кто?

— Сухощекъ Еремей, чашникъ владычній.

— И чашникъ приложился къ латынству... до чего дошло.

— Къ латынству мы не прилагались,—тихо отвѣчалъ Сухощекъ.

Великій князь глянулъ на Бородатаго, который смиренно стоялъ около своего мѣшка съ лѣтописями и беззвучно шевелилъ губами, какъ бы читая молитву.

— Подай, Степанъ, грамоту,—пояснилъ великій князь.

— Якову, государь?

— Каземирову.

Бородатый порылся въ своемъ мѣшкѣ, и, доставъ оттуда свитокъ, съ

поклономъ подалъ великому князю. Тотъ дрожащими отъ волненія руками развернулъ его.

— Это что?—показалъ онъ грамоту Сухощеку.

— Не вижу,—отвѣчалъ послѣдній.

— Князь Данило, покажь ему грамоту,—обратился великій князь къ Холмскому.

Тотъ взялъ изъ рукъ князя грамоту и поднесъ ее къ Сухощеку.

— Узнаешь?

— Узнаю, наша грамота съ королемъ Каземиромъ,—былъ отвѣтъ.

Холмскій снова поднесъ грамоту великому князю. Въ это время изъ толпы плѣнныхъ чьи-то глаза особенно жадно слѣдили за грамотой. Это были глаза вѣчеваго писаря, писавшаго ее... „Пропала моя грамота... и голова моя пропала... Ахъ, грамотка, грамотка!... Какъ заставки-то я выводилъ со стараніемъ, какова киноваръ-то была... О, Господи!“...

— Сія грамота — улика вамъ и отчинѣ моей, Великому Новгороду,—спокойнымъ, ровнымъ голосомъ продолжалъ великій князь: — въ ней вы отступили свѣта благочестія и приложились къ латынству, вы отдавали отчину мою, Великій Новгородъ, и самихъ себя латынскому государю — и то ваша вина... Вы, Еремей Сухощекъ, и Кипріянь Арзубьевъ, и Василій Селезневъ-Губа, и Димитрій Борецкой, вы подъяли на меня, государя своего и отчича и дѣдича, мечъ крамолы—и то ваша вина.

Всѣ молчали. Слышно было только, какъ гдѣ-то въ отдаленіи жалобно выла собака да, перелетывая съ груди на грудь пепла, каркали вороны.

— И за таковую великую вину казнить сихъ четырехъ смертію—усѣчь топоромъ головы,—закончилъ великій князь и далъ знакъ рукою Холмскому.

Холмскій поклонился и, отойдя нѣсколько назадъ, обратился къ взводу алебардщиковъ, сопровождавшихъ плѣнныхъ новгородцевъ:

— Ахметка Хабибулинъ!

— Я Ахметка.

Отъ алебардщиковъ отдѣлилось приземистое, коренастое чудовище съ изрытымъ осною лицомъ, съ воловьею шеей и ручищами, бревноподобные пальцы которыхъ, казалось, съ большимъ удобствомъ могли бы служить слону или носорогу, чѣмъ человѣку. Маленькіе, черненькіе глазки его глубоко сидѣли подъ безбровнымъ лбомъ и смотрѣли совсѣмъ добродушно. На плечѣ у него покоилась алебарда, топоръ которой представлялъ отрѣзокъ въ три четверти длины и напоминалъ собою отрѣзокъ желѣзнаго круга въ колесо величиною.

— Знаешь свое дѣло?—кинулъ ему Холмскій.

— Знай, бачка... Кесимъ башка,—улыбнулось чудовище.

— Ладно... орудуй...—Холмскій указалъ ему на стоявшихъ въ сторонѣ присужденныхъ къ обезглавленію.

— Съ котора начинай кесимъ башка?

— Вонъ съ черненьково...—Холмскій вопросительно глянулъ на великаго князя.

— Съ нево,—послышалось одобрение съ возвышенія, и жезлъ ткнулся по направленію къ Дмитрію Борецкому.

Ахметка подошелъ къ нему, заглянулъ въ немного наклоненное лицо и добродушно осклабился.

— Хады суды, хады, малой.

Онъ тихо тронулъ осужденнаго за плечо. Тотъ машинально повиновался и подвинулся къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ Холмскій.

— Ставай на калѣнь—лавчѣй рубиль, — дружески шепнулъ Ахметка осужденному.

Димитрій глянулъ на великаго князя. Глаза ихъ опять встрѣтились. Одни глаза не вынесли другихъ.

— Лицомъ къ церкви,—послышалось съ возвышенія.

Палачъ повернулъ осужденнаго лицомъ къ церкви. Димитрій глянулъ на нее, на крестъ... шевельнулъ руками; но руки были связаны за спиной... Онъ молча поклонился церкви. Потомъ поклонился своимъ землякамъ, на-пряженно слѣдившимъ за каждымъ его движеніемъ. Когда онъ поклонился, длинные, вьющіеся волосы падали ему на матовый лобъ, на глаза, на блѣдное лицо...

— Простите, господа и братіе!

— Богъ проститъ! Богъ проститъ!—простонало все, что было связано.

— Поклонитесь Великому Новгороду, коли живы будете.

— Поклонимся! поклонимся!

— И святой Софьи... и Волхову... и вѣчевому колоколу... и волѣ новгородской...

— Поклонимся земно!

Онъ сталъ на колѣни и нагнулъ голову, чтобъ выставить для топора свою бѣлую шею... „Матужка! матужка... Сыночекъ мой, Исаченко!“...

— Волосы откинъ съ шеи!—послышалось съ возвышенія.

Палачъ исполнилъ повелѣніе—подобралъ длинные волосы своей жертвы.

— Воротъ разстегни,—снова голосъ съ возвышенія.

И воротъ разстегнули... „Сыми крестъ!“. И крестъ сняли.

Палачъ занесъ надъ головой топоръ... „Сычасъ канчалъ — закрой глаза“,—дружески шепнулъ онъ.

„Грахъ!“... Совершилось христіанское правосудіе... Отрубленная голова закрылась своими собственными волосами—и туловище ткнулось туда же въ общую лужу крови... Связанные со стономъ ахнули...

На Селезнева-Губу ткнули жезломъ... Тотъ вышелъ самъ...

— Развяжи руки... я молиться хочу—я христіанинъ...

Не развязали рукъ—не велѣли... „Прощайте, господа!“ — „Богъ проститъ!“...

Онъ вытянулъ впередъ свою толстую, короткую шею... „Руби такъ—я стоя хочу умереть, яко кадило предъ Господомъ!“...

— Сыми крестъ!—это опять съ возвышенія.

Палачъ потянулся къ шеѣ осужденнаго... „Не трошь, собака!.. Пальцы

перегрызу... Я съ крестомъ хочу предстать предъ Господомъ... Съки такъ— съ крестомъ руби“...

Онъ разставилъ широко ноги, нагнулся... Пододвинулся ближе къ трупъ Димитрія...

— Рядышкомъ... други искренніи... породнимся кровью.

Холмскій нерѣшительно оглянулся на возвышеніе.

— А языкъ послѣ вырѣзать—собакамъ отдать?

— Послѣ,—отвѣчалъ самъ осужденный:—живой не дамся.

— Руби!—стукнули жезломъ по помосту, такъ что Бородатый вздрогнулъ и попятился назадъ.

— Да смотри— сразу,—подсказалъ осужденный.

— Воламъ шеямъ рубилъ—толщи твоей,—успокоилъ его Ахметка: —смотри—самъ увидишь...

Увидѣлъ-ли „самъ“ Селезневъ-Губа, какъ его упрямая голова удари- лась широкимъ лбомъ объ землю — объ этомъ никакіе историческіе доку- менты не говорятъ; но что онъ уже не видалъ, какъ рядомъ съ его го- ловою полегли головы его друзей—Араубьева и Сухощека, и какъ вырѣ- заннѣй изъ его мертваго рта языкъ бросили той собацѣ, которая все выла на всю Русу,—такъ это вѣрно.

XV.

И у тебя руна поднялась на Новгородъ?

Съ Шелонскаго поля почти никто не воротился въ Новгородъ.

Вѣчевой звонарь рассказывалъ послѣ, когда дошла до Новгорода вѣсть о шелонскомъ пораженіи, и люди находили на дорогахъ и въ полѣ, дальше города, всадниковъ, валявшихся вмѣстѣ съ издохшими лошадьми, что въ день шелонской битвы, къ вечеру, онъ видѣлъ съ своей колокольни много скачущихъ людей, „аки изумленныхъ“, которые въ безуміи ужаса, пови- димому, не узнавали своего родного города и проскакивали мимо, чтобъ умереть, не выдавъ ни Новгорода, ни своихъ родныхъ и близкихъ...

Цѣлую недѣлю пропадалъ потомъ „вѣчный воронъ“, съ ранняго утра улетаая на Шелонъ клевать новгородское мясо и возвращаясь поздно ве- черомъ.

Все это время звонарь бродилъ какъ тѣнь, предчувствуя новыя бѣды и съ тоскою поглядывая на своего неизмѣннаго любимца, на вѣчевой „ко- локолушко“, и съ досадой отворачивался, когда прилеталъ воронъ, кото- рый отъ роскошной трапезы успѣлъ сильно оправиться.

— Ишь, подлый, подлый! раздобрѣлъ на новгородскомъ мясцѣ, на хрестыянскій плоти!—ворчалъ старикъ:—и глаза бѣ мои не видали тебя, окаяннаго!

Въ городѣ не умолкали вопли и стenanіе. Въ каждой семьѣ было кого

оплакивать, и чѣмъ дальше, тѣмъ ужасъ положенія всей земли становился очевиднѣе, зловѣще: Днемъ, куда бы ни достигалъ глазъ съ городскихъ стѣнъ, видно было, какъ по всему горизонту, и съ запада, и съ востока, съ полудня и съ полуночи, къ небу подымались черныя тучи дыма, которыя все окутывали мрачною дымкой, какъ бывало въ тѣ несчастные года, когда, по выраженію лѣтописцевъ, Богъ посылалъ на землю огонь, и отъ этого небеснаго огня горѣла вся земля—лѣса и болота. Птицы даже не знали куда летѣть среди этой дымной мглы и метались въ воздухъ, оглашая его криками. Даже вороны перестали летать за Ильмень, куда они каждое утро стаями направлялись послѣ коростынской и шелонской битвы и куда теперь боялись летѣть за дымомъ, принимая день за сумерки, и „вѣчный“ воронъ по цѣлымъ часамъ сидѣлъ на своей колокольнѣ, нахохлившись и лѣниво ощипываясь.

— Человѣкоядецъ, человѣкоядецъ!—укоризненно качалъ на него головою старый звонарь.—Вотъ до чего дожили: новгородская земля горитъ—вся огнемъ взялась... А все за грѣхи...

По ночамъ огромное кольцо зарева, на десятки верстъ, со всѣхъ сторонъ—и съ полуденной и съ полуночной, съ восточной и западной—охватывало Новгородъ, какъ-бы огненнымъ поясомъ опоясывая посады и пригороды несчастной столицы вольной земли. Это московскіе люди и татары, разбѣявшіе загонями по новгородской землѣ, жгли и пустошили ее, убивая „всякъ мужескъ полъ“, оскверняя „женское естество“ и—что покрасивѣе, поблагообразнѣе—уводя въ полонъ, а „ссущихъ младенцевъ“ расшибая головами о пни, камни, косяки, приворотные столбы, или живьемъ вметая въ горящія избы, саран, овины.

Не такое то было время, чтобы щадить воюемую землю и ея населеніе. Не было тогда ничего, что теперь лицемѣрные „законы“ войны придумали для возможнаго укрытія отъ глупаго и довѣрчиваго человѣчества всѣхъ ужасовъ освященнаго законами человѣкоубійства. „Тогда было изъ этого просто“—не рисовались, не хитрили, не виляли хвостомъ передъ тѣми кого убивали или разоряли. Не было тогда ни „сестеръ милосердія“, ни „красныхъ крестовъ“, ни „походныхъ лазаретовъ“, ни „санитаровъ“, ни „перевязочныхъ пунктовъ“, ни „носилокъ“ и „повозокъ для раненыхъ“, ни „военныхъ врачей“, ни „бараковъ“, ни „искусственныхъ ногъ и рукъ“—ничего такого, чѣмъ старается современное лицемѣріе замазать то, чего ничѣмъ замазать нельзя. Тогда не миндальничали съ людьми, которыхъ шли убивать или которыхъ вели на убой и на убійство. Разорь и пустоши страну, съ которою воюешь или даже въ которой воюешь, жги ея города и села, убивай, вырѣзывай ея населеніе, кормись ея хлѣбомъ и ея скотомъ, ибо тогда не было ни „интендантствъ“, ни „поставщиковъ на армію“—такова была война въ то „откровенное“ время...

И московскіе люди „откровенно“ воевали новгородскую землю.

Что успѣвало бѣжать изъ разоряемыхъ городовъ, селъ, близкихъ и далекихъ пригородовъ Господина Великаго Новгорода, то бѣжало въ Нов-

городъ, заполняя собой и оглашая воплями всѣ его „концы“, всѣ улицы, площади, „дѣтинецъ“, Софійскую и торговую стороны; что не могло бѣжать—погибало или укрывалось по лѣсамъ и болотамъ, „по порамъ и язвинамъ, аки лисы, аки звѣріе, а Сынъ человѣческій, не имѣвый гдѣ главу преклонити“...

А дымный и огненный поясъ все болѣе и болѣе затягивался, пожарное кольцо все суживалось, приближаясь къ самому Новгороду.

— Видишь, окаянный!—словно помѣшанный обращался вѣчевой звонарь къ своимъ единственнымъ собесѣдникамъ—къ ворону и къ вѣчевому колоколу:—видишь, человѣкоядецъ! Все это за грѣхи—за наше немолёніе... О, мой колоколушко!

Вопли съ каждымъ днемъ становились раздражительнѣе. Люди съ отрѣзанными носами и губами, толкаясь по вѣчевой площади и по всѣмъ улицамъ и показывая народу свои полузажившія, обезображенные лица, кричали — да какъ еще страшно, гугнявою рѣчью, приводившею всѣхъ въ трепетъ—горестно кричали о мщеніи...

— Безъ лицъ люди... Господи!—бормоталъ несчастный звонарь, глядя съ своей колокольни на этихъ „людей безъ лицъ“.

Слѣпой Тиша, встрѣчаясь съ кѣмъ-либо на улицѣ или на площади, прежде всего лѣзъ ощупывать его лицо—цѣло-ли де?

— Образъ и подобіе божіе урѣзали, окаянные!—качалъ онъ головою, если рука его ощупывала слѣды московскаго звѣрства.

Часто видѣли посадника, тоже какъ-бы помѣшаннаго, который иногда разговаривалъ самъ съ собою и безпомощно разводилъ руками или хватался за свою сѣдую голову... Казалось, что онъ потерялъ что-то и напрасно искалъ...

Иногда видѣли и несчастную Остромиру, которая ходила по берегу Волхова и тоже какъ-будто искала чего-то потеряннаго.

— Чево ты ищешь, Остромирушка?—спрашивала ее мать.

— Христа ищу... Взяли Христа—и не знаю, гдѣ положили его,—отвѣчала несчастная:—вѣту Христа—некому молиться... Ахъ, скоро-ли радуница?... Можетъ, найду...

Но ее тотчасъ уводили домой, служили молебны, кропили святою водою; но ничто не помогало. Отъ креста она съ боязнью отстранялась, лишь только чувствовала прикосновеніе къ губамъ холоднаго серебра Распятія...

— Ему нечѣмъ цѣловать Христа, нечѣмъ прикладываться,—испуганно шептала она.

Видя, что зарево пожаровъ все приближается, и ожидая, что московское войско не остановится на одномъ разореніи земли, а приступитъ и къ осадѣ Новгорода, посадникъ, собравъ вѣче и объяснивъ возможность нападенія москвичей на самый городъ, испросилъ у народа дозволеніе—жечь всѣ ближайшіе къ городу посады и монастыри, чтобы тѣмъ лишить осаждающихъ пристанища на случай осеннихъ непогодъ, а затѣмъ—и на случай суровой зимней непогоды.

Начались новые пожары, новые ужасныя картины: жители сожигаемыхъ посадовъ и монастырей толпами шли въ Новгородъ, чтобъ укрыться, и шли съ воплями, таща свое добро — „животики“ кое-какіе да скотину. Скотина ревѣла, точно ее вели на убой. За людьми и скотомъ летѣла въ Новгородъ и птица — вороны, галки и воробьи, гонимые дымомъ пожаровъ.

Скоро и изъ Русы чернецы-рыбари Перыня монастыря, ѣздившіе Ильменемъ къ устью Ловати за рыбнымъ дѣломъ, привезли страшныя вѣсти, для выслушанія которыхъ вѣчевой колоколь звонилъ все населеніе новаго злосчастнаго Карвагена на вѣче.

— Повѣствуемъ Господину Великому Новгороду, отцемъ и братіи своей, печаль велію: въ сію среду, іюлія мѣсяца 24 дня, на память преподобныхъ мученикъ, князей Бориса и Глѣба, въ Русѣ, на площади, велѣніемъ онаго Навуходоносора московскаго усѣчены топоромъ головы Димитрію сыну Исаакову Борецкому, Василью Селезневу-Губѣ, Кипріяну Арзубьеву да Іереміи Сухоцеку, а остальныхъ большихъ людей, человѣка до полуста, въ оковахъ, аки скотъ безсловесный, погнали въ Москву.

Марѳа, стоявшая тутъ же недалеко отъ посадика, при вѣсти о смерти пошатнулась было, схватившись за сердце, но устояла, перекрестилась и подняла руки къ небу.

— Богъ даде, Богъ и взя... Да будетъ Его святая воля!—громко сказала она.

Но у этой великой притворщицы было меньше сердца чѣмъ воображенія. Посадникъ заплакалъ, услышавъ эту вѣсть; многіе рыдали, глядя на мать, потерявшую сына; у всего вѣча, какъ у одного человѣка, вырвался изъ груди не то глубокій вздохъ, не то стоны. Звонарь обхватилъ вѣчевой колоколь руками, точно друга, и слезы изъ его одинокаго глаза лились на холодную мѣдь, какъ на грудь близкаго, дорогаго существа. А она стояла какъ камень, блѣдная и сумрачная, а подъ длинными посѣдѣвшими волосами и гдѣ-то въ сдавленномъ сердцѣ колотились ни то мысли, ни то слова: „вѣнца сподобился Митюшка, вѣнца нетлѣннаго, мученическаго... А мнѣ, окаянной, вѣнецъ княженецкой на мою сѣдую косу не выпадетъ-ли?... О, князь Михайло, князь Михайло! Долго же не идешь ты ко мнѣ на выручку съ твоею Литвою“...

— Баба! когда-жъ воротится батя и привезетъ мнѣ большой московской пряникъ?—встрѣтилъ ее Исачко, когда она воротилась домой.

Тутъ и ея жестокое; но все же материнское сердце не выдержало. Она обхватила руками голову внука и зарыдала. Ей разомъ, со всею ужающею ясностью, представилась вся невозвратимость того, что совершилось: никогда, никогда она его больше не увидитъ, никогда не доскажетъ ему того, что между ними въ теченіе жизни осталось недосказаннымъ, невыясненнымъ, взаимно непонятымъ... Все, что онъ могъ думать о ней, все, что думалъ и какъ—все это онъ взялъ съ собой, и она никогда этого не узнаетъ, какъ никогда не узнаетъ онъ многого въ ея жизни, что дол-

женъ былъ бы знать... Онъ не увидить ее, не пойметъ ее... Все кончено и навсегда...

— О, мой птенчикъ! о, мой сиротинка!—голосила она, захлебываясь слезами и покрывая поцѣлѹями голову внучка.

Ребенокъ сначала испуганно молчалъ, потомъ самъ заплакалъ.

Вошла жена Димитрія Аграфена. Красивое, молодое лицо ея, какъ и ясные, голубые, задумчивые глаза выражали что-то глубоко-сдержанное, самозамкнутое. Она не то съ испугомъ, не то съ недовѣріемъ взглянула на плачущую—что съ нею рѣдко случалось—свекровь и на сына, и, точно защищая отъ кого свою пышную грудь, быстро схватила за нее, точно боясь, что изъ нея выскочитъ сердце.

— О, сироточка! о, мой сыночекъ! на кого ты насъ покинулъ?

— Димитрій?—испуганно, едва слышно спросила молодая женщина.

Мареа подняла на нее свои заплаканные глаза, съ изумленіемъ, точно не узнавая ее.

— Матушка!—повторила Груша.

— Вдова... да, вдова ты стала... Теперь и въ черницы вольна...

Молодая вдова ничего не отвѣчала. Она только перекрестилась и вышла.

Но вотъ и ночь настала. Зарево догорѣвшихъ вокругъ Новгорода посадовъ умалѣлось то тамъ, то здѣсь. Въ иныхъ мѣстахъ, видимо, тлѣли догоравшія бревна, въ другихъ—пламя, найдя новую пищу, усиливалось и бросало на новгородскія церкви и на крѣпостныя стѣны зловѣщій багровый цвѣтъ.

Зарево освѣщаетъ и стоящую на стѣнѣ, у западной башни, какую-то человѣческую фигуру. Лицо ея обращено на западъ, къ ливонской сторонѣ. Она какъ-будто ждетъ оттуда кого-то.

Зарево вспыхиваетъ и освѣщаетъ ярко всю фигуру и лицо этой женщины.

То была Мареа. Она не могла спать въ эту томительную для нея ночь, и далеко за полночь, но и задолго до разсвѣта, послѣ вторыхъ пѣтуховъ, она пошла къ „дѣтинцу“ и ей одной знакомымъ потайнымъ ходомъ у западной башни вышла на городскую стѣну. Она съ часу на часъ ждала вѣстей отъ посла, отправленнаго Новгородомъ къ королю Казимиру за помощью, а лично его отъ себя—къ князю Михайлѣ Олельковичу. Гонецъ отъ посла долженъ былъ воротиться черезъ западные ворота.

Зарево на много верстъ освѣщаетъ за городомъ дорогу, ведущую въ Ливонію, но на ней не видно никакихъ признаковъ движенія. Гонецъ, видимо, запоздалъ. Она ждетъ, долго ждетъ...

Въ заревѣ пожара рисуется ей лицо обезглавленнаго сына. Вонъ и длинные, вьющіеся волосы... Нѣтъ, это клубы дыма и—огненная кровь на шепѣ... Все это огонь и дымъ... Она бредитъ...

А вонъ и лицо Олельковича... Нѣтъ, все это видѣнія, мечтанія помутившагося разсудка...

И бѣлокурый, льяновополосый „бѣсъ-прелестникъ“, Иванушка бояринъ,

встаетъ въ этихъ видѣнiяхъ... Она любила его, да—его одного только любила она, а онъ — обманулъ ее. И вонъ та льняноволосяя чаровница на берегу Волхова, у старыхъ каменоломенъ... То его лукавая душа, то ея грызущая душу совѣсть...

А гонца все нѣтъ... Ужъ и востокъ алѣетъ...

И съ вѣчевой колокольни кто-то смотритъ на зарево. Это старому звонарю тоже не спится, и вонъ его единственный глазъ свѣтится, обозрѣвая догорающiе посады. Воронъ спитъ въ углу на перекладинѣ, но и на его гладкiя, блестящiя перья падаетъ свѣтъ отъ пожара. И колоколъ спитъ, хотя одинъ бокъ его, обращенный къ пожару, играетъ точно живой... Но звонарю не видна за западной башней фигура Мары...

Кто же это крадется по крѣпостной стѣнѣ?... Онъ то-и-дѣло останавливается... Останавливается онъ около пушекъ, разставленныхъ на стѣнѣ... Что же онъ съ ними дѣлаетъ?... Вотъ подходитъ ближе, нагибается къ жерлу пушки... Слышится какой-то глухой стукъ, точно забиваютъ что въ пушку... Кому бы это быть?..

Звонарь тихонько спускается съ колокольни и идетъ къ воротной ка-
раулкѣ. Сторожа спать.

— Господи Иусе! Вставайте, братцы!

— Кто тутъ? какой лѣшiй?

— Я Корнилъ, вѣчной звонарь.

— Чево тебѣ, старина? Али звонить собрался? Мы не колокола, чу...

— Вставайте, робятки... На стѣнѣ у насъ что-то нездорово...

— Что ты! Перунъ те ушиби!

— Нездорово, робятки... Какой-то перевѣтникъ нарядъ заколачивает...

Сторожа повскакали. Кинулись на стѣну. Идутъ тихонько, крадутся, останавливаются...

— Гдѣ, Корнитушко, ты видалъ ево?

— У восточной башни...

Прислушиваются... Явственно слышится глухой стукъ... Двигаются впередъ, въ тѣни...

— Не шелохнись... Тихе... Вонъ видите?

— Видимъ... точно... у самова наряда... заколачивает...

Стукъ продолжается. Корнилъ и сторожа подкрадываются къ пушкѣ и бросаются на нагнувшуюся къ жерлу пушки фигуру...

— Ты что тутъ творишь, окаинный?

— Вяжи ево!... держи!... такъ... такъ!... И у тебя рука поднялась на Новгородъ?..

— А-ахъ! дьяволы!...

Его схватили и тутъ же скрутили ему назадъ руки. Онъ не выровилъ больше ни одного слова.

XVI.

Казнь Упадыша.

Схваченный на городской стѣнѣ неизвѣстный человѣкъ, заколачивавшій пушки, былъ личность слишкомъ хорошо знакомая всему Новгороду: это былъ Упадышъ.

Что побудило его на эту страшную, уже не первую измѣну своему родному городу?

То были очень сложныя причины и очень сложныя чувства. Хотя говорить, что чужая душа — потемки, но бываетъ такъ, что и собственная душа иногда становится для человѣка потемками. Въ такомъ положеніи находился Упадышъ: въ своей душѣ онъ ничего не находилъ, кромѣ мрака, и выходу изъ этого мрака для него, казалось, не было.

Въ ту эпоху, когда люди еще глубоко вѣрили въ спасительную мощь аскетизма и въ своей дѣтской наивности полагали, что призваніе человѣка — въ отчужденіи отъ міра, въ отчужденіи отъ себя, какъ отъ человѣка, — въ ту эпоху, другой на мѣстѣ Упадыша, не обладавшій такою жизненною энергіею, какъ онъ, нашелъ бы выходъ изъ этого душевнаго мрака въ монастырь и былъ бы спокоенъ, роясь звѣремъ въ пещерѣ и убивая свою плоть постомъ и молитвою. Но для души Упадыша и монастырское самоубійство представляло тѣ же потемки. Онъ искалъ жизни со всѣми ея тревоженіями: въ его душу глубоко запалъ неизвѣстно когда слышанный имъ завѣтъ самого Бога: „живите“.

Но жизнь съ самаго момента его рожденія толкнула его въ „изгойство“. Упадышъ былъ „изгой“ — существо безъ роду и племени. А какъ понималось въ то время „изгойство“, можно судить по древнимъ толкованіямъ этого слова: „изгойство же толкуется — безконечная бѣда, непрестающія слезы, немолчно воздыханіе, неусыпающій червь, несогрѣемая зима, неугасая огонь, нестерпимая гроза, неисцѣлимая болѣзнь — вся же та суть безъ конца“. Вотъ что такое было „изгойство“.

„Изгой“, однимъ словомъ, былъ отброскомъ общества или, говоря современнымъ языкомъ, человѣкъ, котораго само общество сдѣлало „нелегальнымъ“.

Но въ Упадышѣ было слишкомъ много жизненной энергіи, ума, красоты, удали и силы, чтобъ помириться съ „непрестающими слезами“ и „немолчными воздыханіями“. На вѣчѣ, среди „худыхъ мужиковъ вѣчниковъ“, онъ являлся первымъ говоруну и вѣчевымъ воротилой; среди „большихъ“ людей и бояръ онъ былъ „язва“ за свой языкъ и за беззавѣтную удаль.

И онъ былъ оттертъ отъ всего.

Мало того—у него отняли то, что онъ любилъ.

Онъ, съ горя, пошелъ въ ушкунники, какъ мы говорили выше.

Воротился домой изъ своихъ далекихъ странствій и нашелъ Новгородъ все такимъ же „неправеднымъ“: партія богатыхъ одна вѣдала счастье жизни, а вся новгородская земля „работала“ на богатыхъ, какъ нѣкогда евреи въ Египтѣ. Правда, этотъ рабочій-скотъ, эти „худые мужики вѣчники“ часто брыкались и заставляли богатыхъ трепетать или летать съ мосту въ воду; но это мужичье самодержавіе и кончалось вспышкой: побрякались—да и опять въ ярмо.

Упадышу другого хотѣлось. Онъ думалъ, что это другое есть въ Москвѣ и жестоко ошибся. Но онъ ступилъ на этотъ путь и уже не сворачивалъ съ него.

Онъ вошелъ въ союзъ съ темной силой—съ кудесницей, и вмѣстѣ съ нею они устроили для Новгорода два кровавыхъ пира—подъ Коростынемъ и на Шелони. У кудесницы были свои счеты съ Новгородомъ.

Шелонская рѣзня, подготовленная имъ же, произвела на него, въ душѣ совсѣмъ не злодѣя, такое потрясающее дѣйствіе, что онъ тамъ же, на берегу Шелони, хотѣлъ заколоться; но потомъ раздумалъ и воротился въ Новгородъ, чтобъ во всемъ признаться на вѣчѣ и покаяться всенародно, доказавъ, что распря съ Москвою будетъ конечной утратой Новгородомъ своей воли...

Вѣсть о казняхъ въ Русѣ дала другой исходъ его отчаянью.

Смерть Димитрія Борецкаго дѣлала свободной ту, которую онъ любилъ: онъ захотѣлъ жить.

Весь этотъ день, послѣ вѣча, гдѣ онъ хотѣлъ всенародно каяться и гдѣ, напротивъ, онъ услышалъ о смерти мужа той женщины, которая была горькой отравой всей его жизни,—онъ ходилъ какъ помѣшанный. Передъ его глазами носились кровавыя картины коростынской и шелонской битвъ; онъ слышалъ ужасающій кличъ москвичей и татаръ — „Москва! Москва!.. „Алла! Алла!“... Невѣдомыя птицы съ человѣческими лицами вѣяли на него своими крыльями, и онъ слышалъ въ шумѣ вѣтра, въ журчаньи водъ Волхова—„о, Упадышь! Упадышь!“... Эти живые люди безъ лицъ, ходящіе по Новгороду—это ходить его мрачная совѣсть. Мракъ, ужасный мракъ на душѣ!.. Гдѣ же выходъ изъ этого мрака?.. Горислава, ломающая руки въ виду рѣзни на берегу Ильмена... Что ему до нея и что ей до него?.. А между тѣмъ, мракъ на душѣ все темнѣе и темнѣе...

Та, которую онъ любилъ, теперь можетъ принадлежать ему... Что она?..

Но тутъ же передъ нимъ вставали новыя ужасныя картины... Москва идетъ на Новгородъ: опять предстоитъ рѣзня, опять польются рѣки крови, но Новгородъ не устоитъ... Чѣмъ упорнѣе будетъ сопротивленіе со стороны новгородцевъ, тѣмъ ужаснѣе должна быть месть москвичей... А месть московская извѣстна: они не пощадаютъ ни женъ, ни дѣтей...

Не пощаждать женъ... Не пощаждать и ее, ту, которая одна была солнцемъ его пасмурной жизни...

„Утоиись, утоиись, Упадышь“, что-то шептало ему:— „тебѣ одинъ конецъ“...

И онъ шелъ на мостъ... Но съ моста онъ видѣлъ Побережье и выходящій на Побережье ихъ домъ— „чюдный“ домъ Марен...

— Отыди, сатано, не смущай, — шепталь онъ и съ ужасомъ отворачивался отъ воды, которая манила его въ свою глубь, и убѣгалъ съ мосту...

„Измѣнникъ, измѣнникъ“, — шепталь ему другой голосъ: — „окаянное чадо новгородское“...

— Воистину окаянное...

Онъ глянулъ на небо, ища утѣшенья, на святую Софію, на вѣчевую колокольню... Тамъ, надъ оконной перекладиной, торчитъ съдая голова звонаря...

— Одинъ Корнилъ любилъ меня, какъ приبلуднаго щенка...

Онъ хотѣлъ было идти къ кудесницѣ—посоветоваться съ ней, но ему стало страшно...

— Она, всему она виной, окаянная.

Онъ глянулъ опять на вѣчевую колокольню, на угрюмыя стѣны „дѣтинца“... На стѣнахъ чернѣлись пушки... Ему представилось, какъ онъ будетъ палить въ москвичей...

— Забить ихъ, заколотить весь нарядъ, — сказалъ онъ вслухъ, и самъ вздрогнулъ:—не устоять тогда Новугороду—не быть и кроволитью...

И онъ исполнилъ это безумное рѣшенъе. Но его схватили.

И вотъ теперь его привели на казнъ предъ лицо всего Новгорода. Онъ казался спокойнымъ, только блѣднѣе обыкновеннаго и задумчивѣе. Глаза его, видимо, искали кого-то въ толпѣ и не находили... Онъ грустно качалъ головой, какъ-бы говоря: „вѣтъ, не увижу, и въ этотъ послѣдній часъ не увижу“...

Вѣчевая площадь была полна народа, но онъ безмолствовалъ. Не привыкли новгородцы видѣть казни. Въ пылу разгара политическихъ страстей, въ порывѣ всенароднаго увлеченья, они не задумывались забивать каменьями посадниковъ и житыхъ людей, топить своихъ лиходѣевъ въ Волховѣ какъ собакъ; но это дѣлалось въ минуты вспышекъ. А видѣть, какъ человѣка, который стоялъ смирно и не защищался, будутъ убивать обдуманно, хладнокровно—этого видѣть вольнымъ новгородцамъ не доводилось...

И посадникъ и всѣ власти смотрѣли съ помоста такими сумрачными. И имъ казалось тяжкимъ казнить новгородца.

Даже палача для этого дѣла нельзя было найти въ Новгородѣ: никто не соглашался убивать хладнокровно беззащитнаго брата своего.

Выискался какой-то „чудинъ“ изъ „скудельнаго мѣста“—гробоконатель, и ему вручили огромный, заржавѣвшій, хотя теперь и отточенный топоръ палача.

Упадышь стоялъ лицомъ къ помосту. Около него палачъ съ топоромъ и рогожнымъ мѣшкомъ да нѣсколько ратниковъ съ бердышами.

— Госнодо и братіе!—дрожащимъ голосомъ сказалъ посадникъ:—вы знаете вины человѣка сего... За измѣну святой Софіи и Господину Великому Новгороду повиненъ есть смерти... Право мое слово?

— Право, господине,—перѣшительно отозвалось нѣсколько голосовъ.

Площадь разомъ всколыхнулась какъ волна и снова точно застыла.

— Верши, человѣче!—махнулъ рукой посадникъ „чудину“.

— Постой!—вдругъ остановилъ его Упадышъ:—дай помолиться.

Палачъ нѣсколько отодвинулся, а Упадышъ сталъ молиться на Софійскій храмъ. Всѣ глаза напряженно слѣдили за нимъ. Никто не шевелился.

Кончивъ молиться, осужденный сталъ кланяться на всѣ четыре стороны, глаза его снова, повидимому, искали кого-то въ толпѣ.

— Простите меня, окаяннаго,—надтреснутымъ голосомъ произнесъ онъ, низко кланяясь, такъ что густые рыжіе волосы покрыли до половины его блѣдное лицо.

— Богъ и святая Софья простятъ!—прошелъ ропотъ по толпѣ.

— За васъ, братцы, умираю... Вамъ добра искалъ... не привелъ Богъ... за молодчиxъ, за сиротъ голову свою полагаю... Простите!

Какой-то смѣшанный говоръ прошелъ по толпѣ. Все заколыхалось, за-двигалось... „Ахъ, Упадышъ! Упадышъ! лучше бъ тебѣ не быть въ утробѣ матерней, нечѣмъ наречься придателемъ Новгорода!“, — явственно прозвучалъ въ толпѣ чей-то голосъ.

Осужденный всталъ на свое мѣсто, сложилъ на груди руки, нагнулся впередъ и вытянулъ шею.

— Я готовъ — верши, — самъ подсказалъ онъ палачу и закрылъ глаза.

Палачъ поплевалъ себѣ на ладони, обхватилъ конецъ топорика и высоко занесъ топоръ надъ головою, словно собираясь рубить бревно.

Топоръ блеснулъ въ воздухѣ и глухо ударился о толстую, загорѣлую шею Упадыша, но и до половины не перерубилъ ее. Несчастный упалъ на колѣни. Кровь брызнула ручьемъ.

— Охъ, Господи! не осилилъ!—послышались голоса.

— Не перерубилъ! вдругорядь... ахъ!

Палачъ снова ударилъ по тому же мѣсту. Жертва людского безумія валилась уже на землѣ, въ ужасныхъ корчахъ, истекая кровью. А неумѣлый палачъ продолжалъ добивать ее, рубя какъ дрова, какъ-то растерянно хрюкая топоромъ то по шеѣ, то по головѣ...

— Ахъ, батюшки, живъ еще... трепыхается...

— Ахъ, чудинъ, чудинъ! Не за свое дило взялся...

— Въ Москвѣ бы сразу...

— Москва сему дилу навична... Москва на крови стоитъ...

— Тамъ какъ пить бы дали...

— Точно... А то на! Вонъ еще все ручкой шевелить...

— А нога вонъ отмахкою дыгнула... Страхъ какой!

— Сапоги-то, сапоги, братцы, новеньки... Жалость...

— Пропалъ чоловікъ ни за мидну мордку... Ахъ! и Боже!

— За насъ, чу, пропалъ—за сиротъ... Спаси ево душевкѣ!

— Ахъ, Упадышъ, Упадышъ! лучше бы тебѣ не быть въ утробѣ матерней,—повторялъ голосъ, уже раздававшійся на площади... То былъ голосъ лѣтописца Новгородскаго, настоятеля Хутынскаго монастыря Наваналпа, который пришелъ въ Новгородъ посѣтить свою больную ввучку, Остромиру, и угодить на мѣсто казни.

Съ вѣчевой колокольни смотрѣлъ старый звонарь и по сморщенному лицу его текли слезы. Это плакалъ единственный глазъ добраго старика...

— И твой ворогъ—я, окаанный, погубилъ тебя,—шепталъ онъ.

Упадышъ болѣе не трепыхался. Онъ плавалъ въ своей собственной крови, разметавши руки и ноги, точно въ самомъ дѣлѣ собирался уплыть... Да, далеко пришлось теперь плыть старому ушкуннику...

Цалачъ между тѣмъ обтеръ топоръ объ рогожный мѣшокъ, разложилъ этого мѣшокъ на землѣ и стащилъ трупъ съ кровяной лужи. Потомъ онъ сталъ усердно закидывать его въ свой вѣстительный мѣшокъ... Вотъ какой саванъ пришлось надѣть Упадышу!... „Изгой-изгоємъ“ и кончилъ... Сначала „чудинъ“ впихнулъ въ мѣшокъ голову казеннаго, потомъ втиснуть туда его широкія плечи и сталъ натягивать рогожу на остальное туловище... Изъ мѣшка торчали ноги въ сапогахъ, о которыхъ сейчасъ пожалѣлъ одинъ „худой мужиченко вѣчникъ“... „Чудинъ“ согнулъ колѣна мертвому, всунулъ ноги въ мѣшокъ, завязалъ его и, взваливъ съ трудомъ на плечи, понесъ черезъ толпу къ великому мосту.

Прощай, сиротинушка! — шепталъ съ колокольни вѣчный звонарь, провожая своимъ единственнымъ глазомъ измѣнника Великаго Новгорода.

Толпа сопровождала печальное шествіе. Со всѣхъ концовъ сбѣгались женщины и дѣти, не бывшія на вѣчѣ и желавшія взглянуть, какъ будутъ топить Упадыша.

На мосту „чудинъ“ положилъ свою тяжелую ношу на землю и привязалъ къ ногамъ мертвеца огромный булыжникъ. Приподнявъ трупъ, онъ съ трудомъ положилъ его на перилы моста. Еще не застывшее тѣло казеннаго перевѣсилось на обѣ стороны перилъ.

— Прощай, Упадышъ, кланяйся Ладогѣ и моей родной чутцкой сторонѣ,—сказалъ „чудинъ“, перекидывая и ноги трупа за перила.

Еще мгновенье и Упадышъ грузно бутыхнулъ въ Волховъ...

Въ толпѣ послышался отчаянный, душу раздирающій женскій крикъ. Всѣ оглянулись: на землѣ лежала и колотилась о камни головою какая-то женщина, молодая и богато одѣтая...

— Матушки! сестрицы!—взвыли бабы: — да это никакъ Марейна посадничихина сноха...

— Она и есть, кормилицы,—Аграфена, Димитріева жена...

— Вдова, скажи, матушка, а не жена... Была женой. О-о-хо-хо!—а нонѣ сирота горькая...

— И то правда... Что же съ нею?.. Али попритчилось?

— Да по муженьку, знамо, убивается... То-то—горькая!.. Не одна она... То-то время-времячко!..

А то мѣсто Волхова, которое всколыхнулъ Упадышъ своимъ паденіемъ, давно сравнялось, и вода попрежнему тихо струилась по направленію къ далекой Ладогѣ, къ родинѣ „чудина-скудельника“..

XVII.

Великій князь Иванъ Васильевичъ всеа Русіи.

На утро опять звонилъ вѣчевой колоколъ. Опять плачущій голосъ его разносился по вѣсѣмъ концамъ. Опять вспугнутый воронъ дѣлалъ по небу круги все шире и шире, все выше и выше...

А вѣчевой звонарь, колотя что есть мочи въ свой „колоколушко“, горько плакалъ: слезы такъ и катились изъ его одинокаго глаза, а ему и утереть ихъ было нечѣмъ...

— Что, братцы, объ чемъ вѣчать? Чево звонить вѣщунъ нашъ?

— Да должно объ хлѣбѣ, объ борошнѣ: вонъ жита не хватило, голодь въ городѣ...

— Да пшеница, сказывали, есть—много навезено.

— Да пшеница-то, братецъ, не про насъ, житниковъ, припасена, а про богатыхъ, про пшеничниковъ! Вотъ что!

— А люди сказывали—за князя-де за московсково задаваться удумали.

— Это точно—потому не въ моготу...

— А все Мареа, окаянная баба!

— Все Марейща, ни дна-бъ ей, ни покрывки... Склизкая баба!

— Пусто-бъ ей! Сулила все свово Коземира да хохловъ, а ихъ и слѣдъ простылъ...

— Посла нашево, чу, нѣмцы къ Коземиру не пропустили—ни съ чѣмъ нонѣ воротился.

— Какъ же топерево намъ быть, братцы?

— Да за князя задаваться пришло, а то изморомъ помремъ...

— А князь-отъ головы намъ, поди, долой, какъ въ Русѣ вонъ Марейчу да Селезневу-Губѣ съ товарищи.

— Ну, насъ худыхъ мужиковъ не про что, — бояръ рази да житыхъ людей?

Вѣче готовилось быть бурное. Городъ наполненъ былъ бѣглецами со всѣхъ новгородскихъ волостей, разоренныхъ московскими ратями, и въ Новгородѣ оказалась недостатка хлѣба: уже и теперь чувствовался голодь, а что же будетъ дальше, когда москвичи осадятъ городъ! А уже ходятъ слухи, что великій князь, совершивъ казни въ Русѣ и отославъ важнѣйшихъ новгородскихъ плѣнниковъ въ Москву, словно загонъ татарскій, — готовился самъ идти на Новгородъ. Между тѣмъ хлѣба взять и ожидать

не откуда — москвичи потоптали и вытравили его весь на корню. Смерть была неминуемая, если не от московских мечей, то от голода.

Тѣ, которые кричали прежде съ голоса Марѣ, теперь проклинали ее и ея „литовскіе посулы“: гнали за журавлями въ небѣ, а потеряли изъ рукъ и послѣднюю синицу.

— Похвалялась море зажечь, синица-то наша, дуй ее горой!

— Осоромотила насъ баба, братцы,—а-ахъ!—волновались бывшіе приверженцы Марѣ.

Она не смѣла показываться народу. Да и ея личное горе было слишкомъ велико: кромѣ потери сына, съ которою она еще могла помириться, она потеряла вѣру въ возможность осуществленія своихъ тайныхъ честолюбивыхъ замысловъ... Не бывать вѣнцу кievскому и новгородскому на ея буйной головѣ... Въ два дня эта голова совсѣмъ посѣдѣла...

— Это не я, не я, не Марѣ! — съ ужасомъ шептала она, увидавъ себя въ металлическомъ полированномъ дискѣ, замѣнявшемъ тогда зеркало.

Она не вѣрила зеркалу, она брала свои густыя косы въ руки — и они были сѣдыя! Она подносила ихъ къ свѣту, расплетала, наматывала на руки — сѣдыя, сѣдыя!

— Это не мои косы, это — борода посадника, это волосы Корнила звонаря! — съ горечью повторяла она: — не мои! не мои!

Она снова обращалась къ зеркалу, снова всматривалась въ свою голову, въ свое лицо, въ глаза...

— Глаза не мои, Господи!... это старуха! — шептала она въ отчаяньи.

Она слышала звонъ вѣчевого колокола и догадывалась, въ чемъ дѣло...

— Кричи! кричи до неба! кричи до Кіева, чтобъ слышалъ мой измѣнникъ! кричи, зови Ивана московсково!

Она ломала руки, не находила мѣста... А колоколъ все звонѣлъ — надирывался...

— Звони! звони по Марѣ посадницѣ...

— Баба, баба! какая у тебя головка бѣлая, сѣденька! Это не твоя головка...

Это голосъ Исачка — и онъ не узнаетъ свою сѣдую бабушку...

— Что это, баба? Зачѣмъ ты сѣденькая стала?... И мама лежитъ — недужна, хвора... Мы съ ней вчера ходили смогритъ, какъ Упадыша топили, и мама тамъ съ испугу захворала...

Марѣ только застонала.

А между тѣмъ толпа уже затопила собой вѣчевую площадь. Это уже было не прежнее самоувѣренное вѣче, хотя еще болѣе бурное, страшное...

— Что — гдѣ вашъ Коземиръ! — кричали худые мужики, пристукая съ кулаками къ сторонникамъ Марѣ, къ Григоровичу, отцу Остромира, къ Пимену и другимъ: — гдѣ онъ? Подавайте его!

— Гдѣ ваша сука Марѣ, что щенятъ своихъ не ублюда! Сказывайте!

Тѣ стояли блѣдные, безмолвные, ожидая народной расправы — съ мосту да въ Волховъ. Но народу было не до того — слишкомъ тяжело было каж-

дому... Да и чѣмъ поможешь Новгороду, коли бояръ пометаешь въ Волховъ? Поздно ужъ! — надо было пометать туда ихъ всѣхъ раньше, когда они еще не довели Новгорода до гибели... А теперь что! — все равно пропадать...

Такъ думалъ самодержавный мужикъ, ввергнутый въ пропасть людьми, не оправдавшими его народнаго довѣрія.

— Вотъ до чего довели вы насъ и себя, прелестники, обманщики!

— Литва-де, Коземиръ—эхъ!—и укусилъ бы локтя, да не достанешь!

По другую сторону, на серединѣ помоста, стоялъ посадникъ съ „большими людьми“. Василий Анашкинъ также успѣлъ постарѣть за это время. Лицо его осунулось, умные, ласковые глаза глубоко запали... Развѣ легко ему было сознавать, что въ его именно посадничество такіа великія бѣды обрушились на его городъ, на всю его страну!..

— Ахъ, дитушки, дитушки! Ахъ, посадничекъ, посадничекъ!—горестно качалъ головою вѣчевой звонарь, обозрѣвая съ высоты цѣлое море головъ новгородскихъ:—горьки, сиротски головушки!..

Мужики посунулись къ посаднику и къ „большимъ людямъ“, снявши шапки.

— Простите вы насъ, окаянныхъ!—кланялись они со слезами:—согрѣбили мы вамъ—чинили свою волю да волю Марѣину.

— Смилуйтесь, господо и братіе, простите!—вопили мужики.

— Смертный часъ пришелъ, батюшки! Научите вы насъ.

— Не слушались мы васъ, большихъ умныхъ людей, себѣ на гибель и послушались безумцевъ, что и сами наглостною смертію пропали и насъ подъ бѣду подвели...

— Смилуйтесь, родные! Теперь ужъ будемъ васъ во всемъ слушать...

— Не будемъ вамъ перечить—ни-ни! ни Боже мой!

— Пощадите насъ и животишки наши, отцы родные!

— Не дайте Новгороду пропасть пропадомъ, миленькіи! Идите добывать челомъ великому князю, чтобъ помиловать насъ, сиротъ горькихъ!

Тогда выдвинулся впередъ Лука Клементьевъ—лукавый старикашка!—тотъ самый, что воеводилъ во владычнемъ стягѣ и съ умысломъ, по наказу Теофила, опоздалъ къ коростынской битвѣ.

Онъ разгладилъ свою бороду, откашлялся, трахнулъ по-московски волосами (онъ давно снюхался съ Москвою, лукавецъ!).

— Вотъ то-то, братцы,—началъ онъ, косясь на посадника,—коли-бъ вы бабъ не слушали и зла не починали, то и бѣды бъ такой не сложилось...

Мужики вѣчники кланялись, охали, усиленно сопѣли, утирая потъ съ лицъ и съ затылковъ—день былъ жаркій—упека страхъ!

— Пусто бъ ей было, бабъ-бѣсу!—ворчали они.

— Сказано—волосъ дологъ...

— Гдѣ чертъ не сможетъ, туда бабу пошлеть....

— Такъ, такъ, братцы,—подтверждалъ Лука-лукавецъ:—да добро-ста, лихъ-бѣда научила васъ... Добро и то, что хоть топереву гнѣхъ да безу-

міе свое познали... Токмо мы, братцы (онъ глянулъ на посадника), не можемъ за зкое дило сами взяться, а пошлемъ отъ владыки просить у великого князя опасу: коли дастъ опасъ—знакъ, что смирить свою ярость и не погубить своей отчины до конца.

— Къ владыкѣ, братцы, къ владыкѣ!—заревѣло вѣче:—Будемъ просить опасу!

— На Софійской дворѣ, господо вѣчники, къ отцу Фефилу!

— Въ ноги ему, батюшкѣ, упадемъ: смилуйся, пожалуй!

Толпа, какъ вешнія воды черезъ плотину, ринулась на Софійскій дворъ.

Великій князь Иванъ Васильевичъ, совершивъ казни въ Русѣ, двинулся съ войскомъ къ Новгороду и 27-го іюля остановился на берегу Ильменя для роздыха.

Вечерѣло. Солнце серебрило косыми лучами небольшую рябь Ильменя, который, казалось, плавно дышалъ своею многоводною грудью и отражалъ въ себѣ розоватыя облачка, стоявшія на небѣ, далеко тамъ, надъ Новгородомъ. Надъ стаюмъ стоялъ обычный гулъ.

Иванъ Васильевичъ вышелъ изъ своей палатки и въ сопровожденіи братьевъ родныхъ—Юрія и Бориса и двоюроднаго Михаила Андреича, которые соединились съ нимъ на походѣ, приблизился къ берегу Ильменя. За ними почтительно слѣдовали князья, воеводы, бояре и неизмѣнный ученый посохъ великаго князя—Степанъ Бородатый.

Иванъ Васильевичъ и теперь, какъ и всегда, казался одинаковымъ: серьезень, сухъ и молчаливъ. Но и на него видъ Ильменя съ этою массою воды, которая—Иванъ Васильевичъ это помнилъ—принадлежала ему, какъ и земля, на которой стояли его владѣтельные козловые съ золотомъ сапоги, съ этимъ мягкимъ голубымъ небомъ, которое тоже ему принадлежало, съ этимъ мягкимъ, теплымъ вѣтеркомъ, осмѣлившимся ласкать его русую съ рыжцею бороду—и на него, повторяю, сухого и чуждаго всякой поэзіи, этотъ видъ произвелъ впечатлѣніе.

Онъ остановился, глянулъ на бояръ, опять на Ильмень, на небо, на зеленѣвшіе лѣса. Всѣ пододвинулись къ нему, замѣтивъ мягкость—рѣдкое явленіе—на задумчивомъ лицѣ своего господина.

— Красно, воистину красно твореніе рукъ Божіихъ!—сказалъ онъ со вздохомъ.

— Воистину, господине княже,—вставилъ свое слово Бородатый, замѣтивъ на себѣ ласковый взглядъ государя:—точно красно... Ино сказано есть въ писаніи: се что добро и се что красно, во еже жити братіи вкушѣ...

— Такъ, такъ,—улыбнулся великій князь:—похваляю Степана—гораздѣ воротити писаніемъ.

Всѣ съ почтительной завистью посмотрѣли на счастливаго Степана.

Но Иванъ Васильевичъ, взглянувъ на Ильмень, возрился вдаль и осѣнилъ глаза ладонью. Прямо къ тому мѣсту, гдѣ они стояли, плыло какое-то судно.

— Кажись, новгородское...

— Точно, господине княже, новгородское,—подтвердили бояре:—иха походка...

— Насадъ, господине княже, и хоругвы владычня въ аерѣ рѣть,—точно, они—иха повадка...

Великій князь направился обратно въ свой шатеръ. Онъ не шелъ, а „шествовалъ“: онъ дагадался, что гордый Новгородъ смиряется наконецъ... „Сокрушилъ гордыню... то-то—не возноси рога“, стучало его жесткое сердце, и онъ шествовалъ плавно, ровно, не ступая по новгородской землѣ, а „попирая“ ее...

— Эка шествуешь!—тихо, холопски любовался сзади Степанъ Борода-тый:—аки пардусъ...

— Аки левъ рыкай,—поддакнулъ кто-то изъ бояръ.

— Яко орелъ... Ишь красота!—подхлонуилъ еще кто-то.

Дѣйствительно, къ берегу присталъ новгородскій насадъ. Изъ насада вышли нареченный владыка Теофилъ, за нимъ попы отъ семи соборовъ новгородскихъ, старые посадники и тысяцкіе и житые люди, по одному отъ каждаго „конца“. Въ числѣ ихъ находились Лука Клементьевъ—„лукавъ человекъ“ и Григоровичъ, отецъ Остромирушки. За ними слугивыкали и вынесли изъ насада „всяки поминки“—взятки или подарки для московскихъ бояръ, для братьевъ великаго князя и для него самого. Новгородцы уже знали „московски свичаи и обычаи“: къ москвичамъ нельзя было являться съ пустыми руками... „Пустая-де рука ничего не беретъ, и сухая-де ложка ротъ деретъ“.

Тутъ были и вина, и сукна, и шелки, и объаръ, и всякое заморское узорочье...

Начались поклоны, доклады: доложились боярамъ и поклонились поминками.

Бояре поминки приняли и покрутили головами: „мы ничево-ста не можемъ... и на пресвѣтлыя очи показаться не дерзаемъ... мы-ста холопи... мы-ста черви, а не человекѣ, поношеніе человекомъ... мы-ста доложимся ихъ милостямъ—рожнымъ братцамъ осударя всеа Русіи“...

Доложились ихъ милостямъ... Поклонились поминками.

Ихъ милости поминки приняли и головами покрутили: „мы-де тоже ничево-ста не можемъ... мы-де тоже холопи великаго князя осударя всеа Русіи... какъ онъ... мы-ста доложимся“...

А новгородцы все кланяются... „Фу! вотъ земелька! Все кланяйся да кланяйся... Экъ ихъ вышколили татары на поклонахъ!“...

Доложились великому князю... И слушать не хотеть, и на очи не пускаетъ... Заряженный сидтъ въ своей татарской шапкѣ, „аки вепръ“...

Братя упрасиваютъ, умаливаютъ сжалиться надъ своею отчиною—положить гнѣвъ на милость...

— Не положу, дондеже не сокрушу...

Но наконецъ сжалился.

Ввели новгородцевъ въ шатеръ. Шатеръ—словно церковь, а на возвышеніи возсѣдаетъ „самъ“, холодный, каменный, какъ Перунъ... Бояре и князья полукругомъ—очей поднять не смѣютъ, и Степанъ Бородатый шепчетъ псаломъ чetyредесятый: „помилуй мя, Боже, по велицей... Охъ!“...

Новгородцы пали ницъ... Перунъ хотъ бы вѣкой пошевелилъ—камень и холодъ... „Помяни, Господи, царя Давида“, шепчетъ „лукавъ челоуѣкъ“ Лука, лежа окарачъ вмѣстѣ съ прочими... Сопять новгородцы отъ непривычки кланяться... Приподнялись — не глядѣть Перунъ — это не глаза, а стекла—мертвые, холодныя...

Владыка складываетъ дрожащія руки словно на моленіе.

— Господине!—со слезами въ горлѣ восклицаетъ онъ:—великій князь Иванъ Васильевичъ всеа Русіи милостивый! (Голосъ его срывается, взвизгиваетъ). Господа ради, помилуй виновныхъ предъ тобою людей Великаго Новгорода, отчины своей... (Владыка не можетъ говорить—всхлипываетъ).

Моргаютъ и „лукавъ челоуѣкъ“... У кого губы дрожать, у кого руки... А у Перуна все тотъ же стеклянный взглядъ...

— Покажи, господине, свое жалованье!—плачетъ владыка:—смилуйся надъ своею отчиною... Уложи гнѣвъ и уйми мечъ!—выкрикиваетъ онъ.

Слезы текутъ по лицу, по бородѣ... Нѣтъ словъ, нечего больше говорить... Камень, холодный камень передъ нимъ на возвышеніи...

— Охъ! угаси, господине, огне на земли и не порушай старины земли твоея... Дай свѣта видѣть безотвѣтнымъ людемъ твоимъ! Смилуйся, пожалуй, какъ Богъ положить тебѣ на сердце!

Молчитъ, хотъ бы слово, хотъ бы движеніе.

Всѣ опять повалились на земь—колотятся головами... А онъ все такой же каменный...

Стали упрашивать братья. Молчитъ!

Повалились въ ноги бояре—молчитъ!.. „Сокрушу до конца“...

Бородатый выручилъ... Онъ зашуршалъ бумагой. Великій князь глянулъ на него и увидѣлъ у него бумагу — вспомнилъ: то, была грамота митрополита—сжалиться надъ Новгородомъ.

Глаза Перуна ожили, онъ „прорекъ“, по выраженію Бородатого, „слова огненны“.

— Отдаю нелюбе свое. Унимаю мечъ и грозу въ земли. Отпускаю полонъ новгородскій безъ окупа. А что залого старые и пошлины — и о всемъ томъ укрѣпимся твердымъ цѣлованьемъ по старинѣ.

Но холодомъ вѣяло отъ этихъ „огненныхъ словесъ“... Но на этотъ разъ туча прошла мимо Новгорода.

XVIII.

Послѣдній посадникъ и послѣдній вѣчный дьякъ.

Дорого обошлась Новгороду несчастная попытка отстоять свою вѣковѣчную волю.

— Эхъ, колоколушко, колоколушко!—изливалъ вѣчевой звонарь свое горе передъ вѣчнымъ собесѣдникомъ своимъ, задумчиво качая сѣдой головой:—оставили тебя, родимаго, намъ на радость вороги наши, насытились, окаянные, новгородскою кровушкой—и прочь пошли... А ты виси, виси, колоколецъ родной, виси до страшнаго суда.

А на ворона онъ все продолжалъ сердиться за его людоедство.

— Эхъ ты, человѣкоядецъ подлой!.. Може за твои окаяинства все это случилось... Шутка сказать—сколько народу полегло у Коростыня да у Шелони, а тутъ еще копейное добивай ему, аспиду, за нашу-де проступку... А какова наша проступка? Старину держать хотимъ. Эхъ! Такъ вотъ и добивай ему, аспиду, копейное—на рожество полтретьи тысячи, да на крещенье три тысячи, да на великъ день пять тысящей... Легко молвить!.. Да опять-таки и на усиленье пять... Эхъ!—высчитывалъ онъ по пальцамъ то, что Новгородъ долженъ былъ выплатить великому князю „окупа“ или „копейнаго добить“ за свою послѣднюю проступку.

— Вотъ ты и сочти, сыроядецъ подлой!.. Что клеветъ-отъ чистипь?—Али опять человѣчинку клеветъ? Чево-жъ ее не клеветъ! По всей землѣ нозогороцкой аспиды человѣчины горы наметали, да еще и копейное доби́ли. Эхъ!.. А съ Коземиромъ-де Новгородъ ни-ни! не могя!.. Эхъ, Марѳа, Марѳа! не задалось намъ съ тобой.

И онъ опять считалъ по пальцамъ, опять поглядывалъ на колоколь...

— Что-жъ—на то воля божья... Только живи ты, колоколушко, а мы наше наворачстаемъ: была бы жива съ нами наша воля да нашъ вѣчный колоколушко, такъ и мы на ноги станемъ...

Но трудно уже было Новгороду стать на ноги. Бѣда за бѣдой валилась на него.

Когда москвичи ушли съ своими ратями восвояси, жители новгородскихъ селъ и пригородовъ, бѣжавшіе въ Новгородъ послѣ московскаго погрома, теперь стали возвращаться на свои пепелища. Сколько слезъ они пролили, найдя свои родныя гнѣзда разоренными! Но другихъ постигли иныя, болѣе горькія бѣдствія. Жители Русы и всего зайльменскаго побережья, возвращаясь къ своимъ роднымъ пепелищамъ, закупили готовыя хоромы и на плотахъ везли ихъ на родину вмѣстѣ съ женами и дѣтьми. Цѣлая вереница судовъ плыла по Ильменю. Но вдругъ потемнѣло небо, завывли вѣтры, забушевалъ Ильмень... Старцы Перыня монастыря видѣли, какъ на берегу Ильменя стояла какая-то простоволосая старуха. Вѣтеръ

рвать ея сѣдые волосы, а она стояла и руками махала на тучи: казалось, она призывала бури, громы и молніи... И громы разразились надъ Ильменемъ... Вереница судовъ и плотовъ была разбросана по озеру и поопрокидывана: все погубло въ разъяренной стихіи—и дома и люди... Однихъ людей потонуло до семи тысячъ душъ.

Но Новгородъ все-таки крѣпился. Старыя раны заживали; жизнь снова была ключомъ. Но московскій ядъ уже дѣлалъ свое дѣло въ организмѣ вольнаго города.

Прежде новгородцы во всѣхъ своихъ дѣлахъ судились у себя дома. Теперь они иногда стали являться въ Москву съ своими жалобами. А Москвѣ это и на руку—лишь бы была прищипка.

Такъ прошло шесть лѣтъ. Марѳа посадница стала окончательно старухой. Она уже не мечтала объ Олельковичѣ и о кіевскомъ вѣнцѣ, и съ горестью вспоминала бывшее счастье. Исачко подросталъ, и уже думалъ, какъ онъ возмужаетъ и отмститъ Москвѣ за своего отца и дядю Федора, который тоже томился въ московской неволѣ. Мать его давно была черничкой, а нѣкогда его пріятельница, ясноглазая Остромирушка, поврежденная разсудкомъ, была неузнаваема: она все твердила, что ей нечѣмъ цѣловать Христа, и Христосъ отъ нея отвернулся...

Все въ Новгородѣ точно постарѣло и осунулось. Горислава послѣ казни Упадыша по цѣлымъ часамъ сидѣла на берегу Волхова, безмолвно глядя въ воду, какъ бы ожидая, что вотъ-вотъ выглянетъ оттуда рыжая голова и поманить ее за собою; но рыжая голова не показывалась изъ воды. На берегу Волхова давно уже не было слышно пѣнія Гориславы, которое рыбаки принимали за пѣніе русалки.

Простоватый и добродушный Петра, сердце котораго загнобила эта льняноволосая русалка, загулялъ съ горя и все собирался въ ратники, чтобъ прельстить свою недотрогу шеломомъ и краснымъ щитомъ.

А къ кудесницѣ все чаще и чаще навѣдывались новгородцы и все о чемъ-то съ ней шептались. Въ послѣднее время къ ней чаще всего навѣдывались вѣчный дякъ Захаръ, что такъ хорошо разрисовалъ когда-то заставки въ грамотѣ съ королемъ Казимиромъ и который вмѣстѣ съ прочими былъ отпущенъ изъ московскаго полона, да подвойскій Назаръ.

И вдругъ въ февралѣ мѣсяцѣ 1477 года Захаръ и Назаръ отправились зачѣмъ-то въ Москву.

— Вы почто къ намъ есте прибыли?—спрашивали ихъ на Москвѣ бояре.

— Къ осударю великому князю къ Иванъ Васильичу всеа Русіи съ челобитьемъ.

— Къ осударю?—переспросили бояре, точно не слыхали.

— Къ осударю-ста,—былъ вторичный отвѣтъ.

— И ты, Захаръ, къ осударю?—новый лукавый вопросъ.

— И я-ста къ осударю.

— И ты, Назаръ, къ осударю?

— И я-ста къ осударю.

Бояре лукаво переглянулись между собою.

— Такъ стойте на томъ, что къ осударю?—опять заладили бояре.

— Да что вы валадили—къ осударю да къ осударю! Знамо къ осударю, а не къ вамъ,—вспылил наконецъ вѣчный дьякъ.

— Добро-ста... Помните это слово...

— Помнимъ—не забыли...

— По-русскому, чаю,говоримъ.

— Добро-добро, къ осударю...

Бояре оставили челобитчиковъ и торопливо пошли къ великому князю. Они доложили ему, что новгородскіе челобитчики, вѣчный дьякъ Захаръ Овиновъ да подвойскій Назаръ, въ челобитьяхъ своихъ назвали его, великаго князя, „осударемъ, и стоять-де на томъ накрѣпко.

По безразсудному, каменному лицу дѣда Грознаго прошло какъ бы что-то свѣтлое—не лучъ и не тѣнь, и холодные глаза холодно блеснули...

— Государемъ именуютъ—точно?—тихо спросилъ онъ.

— Точно, осударемъ, господине княже.

— И стоять на томъ?

— Стоять накрѣпко.

— Хорошо... похваляю васъ...

„Собиратель земли русской“ глубоко вздохнулъ, точно бы камень свалился съ его груди: — онъ нашель зацѣпку“, которой напрасно искалъ столько лѣтъ... Сами новгородцы назвали его „государемъ“—„титло государское дали“...

Черезъ полтора мѣсяца въ Новгородъ явились послы великаго князя... „Какъ? зачѣмъ? никто ничего не зналъ.

Заговорилъ вѣчевой колоколъ, замоталась изъ стороны въ сторону сѣдая голова Корнилы звонаря.

Собралось вѣче. Явились на помостѣ московскіе послы.

— Шапки! шапки доловъ!—послышалось въ толпѣ.

Послы были въ шапкахъ, потому, можетъ быть, что видѣли, что и все вѣче не сымало шапокъ.

— Доловъ шапки передъ Господиномъ Великимъ Новгородомъ! — закричали уже сотни голосовъ.

— Передъ Новгородомъ, что передъ храмомъ Божіимъ, ломай шапку!

— Новгородъ — та же церква! Сымай шапки, не то сшибемъ!

Послы сняли шапки; но говорить медлили.

— Сказывайте! почто есте посланы?—раздавались голоса.

Одинъ посолъ выступилъ впередъ, поклонился и откашлялся.

— Осударъ великій князь Иванъ Васильевичъ всеа Русіи,—началъ онъ немножко дрожащимъ голосомъ,—велѣлъ спросить Новгородъ, отчину свою: какого государства онъ хочетъ?

Все, казалось, замерло послѣ этихъ словъ, точно всѣ дышать пере-

стали. Такъ бываетъ въ воздухѣ передъ бурей, когда птицы торопятся подъ доревья, а деревья какъ-бы головы стлonyaютъ отъ страху.

И буря разразилась. Заходили плечи и головы, замахали руки...

— Государства! какво государства?

— Мы не хотимъ никакого государства!

— Не надоть намъ государства!

— Мы сами государство!

Посадникъ, стоявшій рядомъ съ послами тоже безъ шапки, былъ блѣденъ. На груди его замѣтно колыхалась золотая гривна.

— Ишь, осерчали дитушки,—улыбался съ своей колокольни звонарь:— осерчаютъ Господинъ Великій Новгородъ. По дѣломъ имъ, татарскимъ объѣздамъ...

Когда буря нѣсколько утихла, московскій посолъ снова откашлялся.

— Дайте слово молвить,—началъ онъ.

— Говори, да помни, гдѣ ты!

Великій Новгородъ,—продолжалъ посолъ,—посылалъ къ великому князю отъ владыки и отъ всѣхъ людей Великаго Новгорода пословъ своихъ, Захара да Назара, бить челомъ о государствѣ, и послы называли великаго князя государемъ!

Эти слова вызвали новую бурю.

Вѣче никою не называло!

Вѣче никогда не называло великаго князя государемъ! Какой онъ намъ государь!

— Отъ вѣка того не бывало, какъ и земля наша стала, чтобъ какого-ни-на-есть князя мы называли государемъ!... не бывало того!

— Всяково князя свою мы называли господиномъ, а не осударемъ!

— Осударей у насъ не бывало и не будетъ!

— А что вашему князю сказывали, будто мы посылали—и то сказывали ложно!

— Давай сюда Захара! гдѣ Захаръ?

— Подавай сюда Назара! Мы ихъ спросимъ!

Десятскіе бросились искать Захара и Назара. Голоса то возвышались до крику, то падали. Болѣе степенные люди просили посла объяснить имъ какая разница между „господиномъ“ и „государемъ“.

— Осударь—титло.

— Что жъ такое что титло?... а?... Прислушайте, господо и братіе: онъ объ осударевой титлѣ намъ скажетъ.

— О какой такой титлѣ? Знать не хотимъ никакой титлы!

— Да ты допрежъ выслушай, да тогда и ори!

— Я не ору...

— Полно, слушайте, братцы!

Кое-какъ удалось уговорить крикуновъ. Они замолчали — и все стихло. Посолъ заговорилъ.

— Титло есть слово великое... Коли вы великаго князя осударемъ

назвали, и то знакъ, что вы за него задались, и тогда слѣдуетъ быть ево суду въ Великомъ Новѣгородѣ, и тиуномъ ево сидѣть по всѣмъ улицамъ, и Ярославово дворѣще великому князю отдать, и въ суду ево не вступатца...

Опять буйа—еще сильнѣе прежней. Застонало вѣче.

— Такъ вотъ она титла!

— Кака она китла! она не китла, а петля на шею Великому Новгороду!

— Нашли китлу!... къ чорту ее! къ чорту китлу!

— Не китла, а титла!

— Все едино! одинъ чортъ на дьяволъ!

— Захара подавайте сюда!

— Назара тащите на вѣче!... Какъ смѣли они ходить въ Москву судитца и крестъ цѣловать великому князю какъ осударю!.. Этого отъ вѣка не бывало!

— И въ докончаньи сказано, чтобы новгородца не судить на низу, а судить въ Новѣгородѣ! Тащи сюда тѣхъ, кто ѣздилъ на нихъ судитца!

— Ишь китлу выдумали!... и народецъ же!

Сквозь толпу съ трудомъ протискивались десятскіе съ бердышами. Они вели виновныхъ.

— Пропусти! Вѣчново дьяка ведутъ, Захара!

— Назара пропустите, братцы, къ помосту!... Пускай отвѣтъ держать!

Блѣдные и трепещущіе подошли виновные къ помосту. Они глянули на посадника—тотъ не смѣлъ, повидимому, поднять на нихъ глазъ и глядѣлъ въ землю.

— Перевѣтникъ!—схватилъ за-грудки вѣчнаго дьяка ближайшій новгородецъ:—ты былъ у великова князя, ты цѣловалъ ему на наши головы крестъ?... Сказывай!

Вѣчный дьякъ заговорилъ; но слова замирали у него въ горлѣ. Онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе, и крикливо, точно съ плачемъ, бросалъ слово за словомъ, размахивая руками.

— Точно—я былъ у великова князя... цѣловалъ ему крестъ... ино цѣловалъ въ томъ, что служить мнѣ великому осударю...

— Осударю! слышите!... это китла!

— Служить мнѣ правдою и добра хотѣть... токмо не на осударя моего Великій Новгородъ.

— Опять китла!... и на Новгородъ китлу накинута, перевѣтникъ.

— Ни-ни!... не на Новгородъ и не на васъ, свою госпуду и братью...

Голосъ его совсѣмъ порвался. Съ лица крупными каплями катился потъ... Онъ упалъ на колѣни...

— И Назаръ ходилъ за китлой!... Сказывай, Назарыще!

Тотъ стоялъ безмолвно и только дрожалъ.

— Говори! зачѣмъ ходилъ?

— Посадникъ...

[illegible]

Иванъ Васильевичъ у гроба Варлаама хутынскаго.

Иногда старикъ, какъ бы забывая все окружающее, грозилъ кому-то кулакомъ по направленію къ московскому стану.

— Уу—мукобрыне! *) московски мыши! всю новгородку муку пожрали!

Приближались рождественскіе праздники. Смутно было въ Новгородѣ передъ этими послѣдними праздниками, но зато особенное оживленіе проявляли москвичи. Съ обѣихъ сторонъ готовились къ послѣднему рѣшительному бою, и Москва дорого бы заплатилась, если бы она рѣшилась напасть теперь на это гудѣвшее отчаянной рѣшимостью гнѣздо шмелей.

Но московскій князь былъ хитеръ: онъ зналъ, что лучше истомить ихъ истомой, изволочить до отчаянья московской волокитой, взять изморомъ... И онъ морилъ ихъ, сидя въ своемъ станѣ да разѣзжая на богомолье по занятымъ его ратями монастырямъ.

— Чево, аспиды мукобрыне, развозились, словно мыши въ соломѣ?—ворчалъ звонарь, замѣтивъ однимъ утромъ особенное движеніе у москвичей.

По льду, по Волхову, ѣхала цѣлая вереница саней, высились на коняхъ вершники. Шествіе, казалось, направлялось къ Хутынскому монастырю.

— Али Хутынъ поганить поплелись, мукобрыне?—продолжалъ ворчать старикъ.

Онъ замѣтилъ, что и воронъ туда же полетѣлъ, и на него тоже поворчалъ: „совсѣмъ перемосковился“.

Это великій князь дѣйствительно ѣхалъ на богомолье въ Хутынскій монастырь. Шествіе обставлено было всѣми признаками величія. Князя сопровождала толпа бояръ и дружина латниковъ, а въ числѣ приближенныхъ находился и Степанъ Бородатый, особенно заплотившій Іоанново сердце мудрыми изреченіями изъ писанія, которыя онъ ловко умѣлъ подтачивать подъ московское міровоззрѣніе.

Въ монастырѣ великаго князя встрѣтилъ игуменъ Наванайлъ съ братією. Иванъ Васильевичъ прямо изъ саней направился къ церкви, опираясь на дорогой массивный жезлъ свой, украшенный самоцвѣтными камнями и съ рукояткою на подобіе жезла Ааронова.

Всходя на паперть, онъ замѣтилъ сидящую на одной изъ ступенекъ крыльца молоденькую дѣвушку, которая грустно глядѣла куда-то въ сторону, ни на кого не обращая вниманія. Ни приближеніе великокняжескаго поѣзда, ни топотъ лошадей всадниковъ, ни самое шествіе къ паперти князя со свитою и монастырскою братією—ничто не вывело ее изъ созерцательнаго состоянія. Она была одѣта хорошо, даже богато, а миловидное личико приковало къ себѣ общее вниманіе. Великому князю показалось даже, что это личико ему знакомо, что онъ видѣлъ его гдѣ-то, любовался имъ... Особенно эти задумчиво созерцающіе что-то свѣтлые, невинные глаза...

Иванъ Васильевичъ невольно остановился.

— Кто сія дѣвица?—тихо спросилъ онъ игумена.

*) „Мукобрынами“ назывались жившіе на Городищѣ московскіе служилые люди, получавшіе отъ Новгорода продовольствіе (отъ „мука“ и „братъ“).

— Се агнецъ, стригущему его безгласенъ,—былъ уклончивый отвѣтъ.
— Юродивая Христа ради?
— Ни, господине княже: Господь взялъ у нея разумъ.
— А каково она роду, отче?
— Болярково, господине княже.
— И я такъ гадать въ умѣ своемъ... Думается мнѣ, я ее допрежъ сего видѣлъ.

Не токмо видѣлъ, но и на рукахъ своихъ пестовалъ, господине княже. Безстрастное лицо Ивана Васильевича выразило изумленіе.

— Пестовать?... Кто же она?

— Григоровичева дщерь, Остромира.

Остромирушка!—невольнo вырвалось восклицаніе изъ устъ, рѣдко выражавшихъ удивленіе, а еще рѣже говорившихъ то, что чувствовалось.

Онъ зналъ Остромиру еще дѣвочкой. Наѣзжая иногда въ Новгородъ, какъ въ свою отчину, и гостя то у Мары посадницы, то у Григоровичей, онъ любилъ ласкать эту хорошенькую дѣвочку и часто бралъ ее къ себѣ на колѣни, а она, играя его бородой, часто смѣшила наивными вопросами:— „отчего, напр., тебя зовутъ великимъ, а батю не зовутъ,—а батя выше тебя“; или—„отчего у тебя глаза такіе, какъ на образѣ“ и т. п. Теперь онъ узналъ ее и подошелъ къ ней.

— Остромирушка!—окликнулъ онъ ее.

Дѣвушка какъ-бы опомнилась, поднялась со ступеньки и поглядѣла своими прекрасными глазами на великаго князя.

— И у тебя лица нѣтъ,—грустно сказала она:—и тебѣ нечѣмъ Христа цѣловать... Одни глаза... глаза какъ на образѣ—не смѣются...

Князь изумленно глянулъ на Наанайла.

— Что говорить она?

— Ей видится, господине княже, что у тебя лица нѣтъ.

По лицу великаго князя прошла тѣнь какого-то суевѣрнаго страха. Онъ перекрестился...

— Господи, спаси... Лица нѣту...

— Отжени отъ себя сомнѣніе, господине княже, — успокаивалъ его старецъ:—на семъ помутился ея разумъ... Памятуешь, господине княже, коростынскую битву?

— Помню... Что жъ изъ сего?

— Въ той битвѣ, господине княже, твои ратные люди урѣзали великое множество носовъ и губъ у новгородскихъ полоняниковъ. А у Остромиры былъ женихъ—и у него бысть урѣзано лице. Какъ увидала она безобразіе лица жениха своего—съ той поры и кажется ей, якобы люди стали безъ лица... На семъ она и помѣшалась...

При этомъ разсказѣ на лицо великаго князя легла мрачная тѣнь. Онъ глянулъ на Остромиру, которая опять созерцала, казалось, что-то внѣ всего ея окружающаго, и что-то вродѣ упрека совѣсти заговорило въ немъ, зашевелилось въ сердцѣ, подступило краской къ лицу.

— Все бо приемшии ножъ, ножемъ погибнуть,—какъ-бы про себя проговорилъ Бородатый.

— Такъ-такъ, Степанъ, воистину,—глянулъ на него великій князь:— новгородцы на меня пріяли ножъ—и сбылся надъ ними писаніе.

— Еще сказахъ—сказахъ,—снова подковырнулъ Степанъ по-московски.

— Воистину: еще сказахъ—сказахъ,—согласился и великій князь.

Бояре рты поразинули отъ восторга, а старецъ Нааанаилъ ничего не сказалъ; онъ только вздохнулъ.

Великій князь, еще разъ взглянувъ на Остромиру, взшелъ въ церковь.

Послѣ обычныхъ поклоновъ и лобызанія мѣстныхъ иконъ, онъ направился къ гробу чудотворца Варлаама и поклонился ему до земли. Губы его что-то судорожно шептали, когда онъ поднялся съ полу... „У тебя лица нѣтъ“, все еще, казалось, слышался ему тихій и грустный голосъ отроковицы Остромиры... Онъ невольно провелъ рукою по лицу.

— Почему вы не открываете раки чудотворцевой и не прикладываетесь къ мощамъ его?—спросилъ онъ Нааанаила.

— Не дерзаемъ, господине княже,—былъ отвѣтъ.

— Затѣмъ же?.. У насъ на Москвѣ таковъ обычай, что ко всѣмъ мощамъ прикладываются и цѣлуютъ ихъ, аки икону.

— У насъ такова обычая ниту, господине княже.

— А я имѣю усердіе облобызывать святителевы мощи.

— Намъ, господине княже, невѣдомы его мощи.

— Какъ невѣдомы?

— Не вѣдаемъ мы, господине княже, гдѣ положены оныя — верху-ли земли, подъ землею-ли...

— Такъ подобаетъ открыть ихъ...

— Никто же ставитъ свѣтильникъ долу, ино на горѣ,—опять съехидничалъ Бородатый изъ писанія.

— Истину говоришь, Степанъ, — похваляю, одобрилъ его великій князь:—я хочу поставить свѣтильникъ Великаго Новагорода, отчины моей, мощи Варлаама чудотворца—горѣ.

Игуменъ молчалъ. Братія смущенно поглядывала на него. Бояре заискивающе заглядывали въ глаза своего повелителя.

— Точно, съ мощами бы куды какъ охотнѣе.

— Знамо—и молитва крѣпче при мощахъ живетъ.

— Чевожь лучше!.. При мощахъ оно точно горазже...

Великій князь глянулъ на Нааанаила. Тотъ понялъ, что это былъ нѣмой вопросъ—надо отвѣчать.

— Господине княже! — началъ онъ, смущенно перебирая четки: — искони никто не смѣлъ видѣть чудотворцевыхъ мощей — ни князи, ни архіепископы, ни бояре... И такъ повелось искони и до нашихъ дней ведется, дондеже самъ Богъ не благословитъ и чудотворецъ Варлаамъ самъ не явится и не повелитъ... А сами мы не дерзаемъ...

Противорѣчія стараго чернеца, притомъ истаго новгородца, начинали,

видимо, сердить великаго князя. Онъ и тутъ начиналъ усматривать духъ непокорства—„новгородчины“. Ему казалось, что это дѣлалось въ укоръ ему, въ обиду. При всемъ своемъ желѣзномъ самообладаніи онъ любилъ переламывать именно тѣхъ, у кого замѣчалъ сходныя съ собою качества... „А! кремень, такъ я же выскы изъ тебя огонь: меня и мощи новгородскія послушаются“...

— Что ты говоришь!—сказалъ онъ громко, но хладнокровно:—вонъ Іоаннъ Предотека не вашему Варлааму чета, а и то руку его показываютъ въ Цареградѣ... Вѣдомо тебѣ сіе?

— Вѣдомо, господине княже.

— То-то же... А то на!.. Самово Крестителя ручку показываютъ въ день ево рожества: коли ручка прострется—и тогда Богъ даруетъ землѣ изобиліе, а коли согнетъ перстику свои—ино бываетъ скудость плодовъ и земное нестроеніе... Такъ, Степанъ?

— Истинно такъ, господине княже,—поспѣшилъ отвѣтить Бородатый:—самъ Предотека, чу, что преди Христа текъ,—загнулъ онъ филологическую штуку.

Наанаилъ опять молчалъ. Великій князь все болѣе и болѣе каменѣлъ въ своемъ упрямствѣ...

— А то на!.. Варлаама, смердовича, равнять съ Предотекою,—видимо волновался онъ.

— Ина слава солнцу, ина слава лунѣ, ина слава звѣздамъ, — подгвоздилъ Бородатый.

— И звѣзда бо отъ звѣзды разнствуеъ во славѣ,—погнался было за нимъ одинъ бояринъ, но запнулся:—такоже и... по мощамъ судя... звѣзда отъ звѣзды, значить... потому... потому коли звѣзда... ну, и значить, сказать бы, махонька... Варлаамъ, сказать бы...

Великій князь задумался. Упрямство Новгорода давно сердило его; но онъ не показывалъ этого. Онъ никому сроду не показывалъ своей души, а тѣмъ паче сердца—есть-ли оно у него. Онъ ничего, повидимому, не предпринималъ самъ, ничего не начиналъ, но подводилъ такъ, что другіе начинали, а онъ ихъ только прихлопывалъ, говоря:—„вы того хотѣли—на то воля Божія“... Во всякомъ дѣлѣ онъ какъ-бы былъ исполнителемъ „общаго хотѣнія“; онъ во всемъ совѣтовался съ матерью, съ братьями, съ боярами, всѣхъ выслушивалъ, каждое ихъ слово заносилъ въ свою память, десять разъ взвѣшивалъ его, перевѣшивалъ, уважалъ чужое мнѣніе, каково бы оно ни было, держась пословицы — „всѣ умнѣе одного“ и часто повторяя, что „у всеа Русіи голова больше чѣмъ у ея государя“, и всегда дѣла его были какъ-бы отголоскомъ, исполненіемъ заветной думы „всеа Русіи“. Только прислушиваясь къ голосу „всеа Русіи“, онъ сумѣлъ „собрать“ ее воедино...

Такъ и тутъ, у гроба Варлаама. Онъ глубоко вѣрилъ божественной силѣ мощей. Ему казалось, что если онъ вынетъ изъ-подъ спуда мощи Варлаама угодника и почтитъ ихъ, какъ онъ почиталъ мощи московскихъ

святителей,—Варлаамъ будетъ его невидимымъ союзникомъ и сломитъ „рогъ“ упрямаго Новгорода... Окружающіе его бояре поддерживали въ немъ это, запавшее въ него, хотѣніе. Значитъ, такъ надо: онъ дастъ Новгороду сокровище нетлѣнное и славу — онъ горѣ поставитъ свѣтильникъ новгородской земли...

Онъ рѣшился. Онъ тотчасъ же приказалъ позвать монастырскихъ каменщиковъ съ ломами, заступами, лопатами и велѣлъ при себѣ отрывать мощи угодника.

Глухо стучали о каменный помостъ тяжелые желѣзные ломы и отдавались въ куполѣ храма. Упорный цементъ не легко поддавался усиліямъ рабочихъ. Гранитныя плиты помоста то-и-дѣло брызгали искрами. Игуменъ и монахи, стоя въ сторонѣ, при каждомъ ударѣ лома, испуганно крестились и вздыхали, точно желѣзо било ихъ по сердцу. Въ церкви, въ короткій декабрьскій день, все болѣе темнѣло: свѣчи у образовъ чуть теплились и бросали длинныя тѣни отъ раки Варлаама, отъ аналоевъ, отъ бояръ, стоявшихъ полукругомъ, отъ черныхъ фигуръ монаховъ. Всѣ лица казались блѣдными, мертвенными. И лицо великаго князя было сумрачно блѣдное...

Онъ думалъ: хорошо-ли онъ поступаетъ, что, не узнавъ воли самого святителя, онъ дерзнулъ потревожить его прахъ? А если святителю не приспѣло время выйти изъ-подъ спуда? Что если онъ поразитъ дерзкаго своимъ гнѣвомъ?

Ему стало страшно. Чернецы, смущенно стоявшіе въ отдаленіи, казались ему какими-то призраками, тѣнями. Изъ-подъ желѣзныхъ ломовъ все болѣе и болѣе сверкали искры. Гдѣ-то надъ церковью каркалъ воронъ, и великому князю слышалось, будто бы онъ человѣческимъ голосомъ выговариваетъ какое-то слово.

Онъ глянулъ на ликъ Спасителя, тускло освѣщенный лампадкою. Большія очи Христа смотрятъ съ укоризною... „Зачѣмъ ты это дѣлаешь?... кто благословилъ тебя?“...

А стукъ ломовъ все глуше и глуше. Все глубже взрывается каменная почва могилы святителя. Искры снопами вылетаютъ изъ темнаго зѣва могилы...

„Зачѣмъ?... кто благословилъ?“... Глаза Спасителя не отрываются отъ него, въ душу смотреть...

Что-то треснуло въ лампадкѣ и вспыхнуло — и еще ярче, еще укоризненнѣе выглянуть ликъ Спасителя изъ-за золотого вѣнчика, словно изъ-подъ терноваго вѣнца... Глубоко смотрятъ божественныя очи, все видятъ, они зрятъ незримое — душу его зрятъ... А какова его душа? что въ ней?... не мерзость-ли запустѣнія?..

„О, не смотрите, божественныя очи!“ хочется простонать ему, и онъ слышитъ, какъ волосы на головѣ становятся живыми, шевелятся, отодвигаются другъ отъ дружки, словно сами себя боятся...

И опять каркаетъ воронъ...

Отъ входныхъ дверей отдѣлилась какая-то тѣнь и движется, движется ближе, къ разрываемой могилѣ...

Не самъ-ли святитель?... Не пришелъ-ли онъ взглянуть, что дѣлаютъ съ его вѣчнымъ жилищемъ?..

— За что вы лице его взяли?—шепчетъ тихій голосъ.

— О-охъ! преподобне, помилуй! — слышится стонъ изъ среды чернецовъ.

Густая бѣлая пыль выходитъ изъ отверстія ямы, точно дымъ... Не дымъ-ли это?... Не огонь-ли поломя?

Церковь колеблется... Каменные плиты подъ ногами двигаются... Свѣчи и лампы тускнѣютъ и колеблются — и ликъ Спасителя отдѣляется отъ стѣны...

Что это?... Это не чернецы... ихъ лица мертвыя... И у бояръ мертвыя лица, и у Степана Бородатого...

Опять каркнулъ воронъ у самаго окна... Что это!.. онъ каркаетъ— „Варламъ, Варламъ!“...

— Дымъ, дымъ... огонь изъ могилы...

— Господи, помилуй!.. точно дымъ и огонь.

Великій князь затрепеталъ—первый разъ въ жизни онъ почувствовалъ неодолимый ужасъ...

— Бросьте! бросьте! не копайте!.. Господи! помилуй насъ... Чудотворче Варлааме! прости мя, грѣшнаго...

И точно гонимый невидимою силою онъ бросился изъ церкви, стуча жезломъ о каменный помостъ... „Господи! и тутъ пламя!“... Изъ-подъ желѣзнаго наконечника жезла вылетали искры...

— Помилуй мя, Боже, по велицей милости... Охъ! что это?

Бояре, при всей своей татарской солидности и холопской важности, также испуганно метнулись за великимъ княземъ, словно овцы, крестьяне и повторяя: „охте—хте! батюшки! святъ... святъ... святъ!“...

А великокняжескій жезлъ все стучить о гранитныя плиты помоста церковнаго, паперти, крыльца, и огненные брызги по пятамъ преслѣдуютъ бѣглеца...

— Чуръ... чуръ... чуръ!.. охте намъ! охте!

Въ концѣ каменныхъ мостковъ, ведущихъ изъ монастыря, великокняжескій жезлъ въ послѣдній разъ ударяется о гранить и извлекаетъ изъ него искры...

— Карръ! карръ! Варрамъ! Варрамъ! — каркалъ надъ головою ужасный воронъ.

Иванъ Васильевичъ бросилъ жезлъ и торопливо сѣлъ въ сани, едва успѣвъ опереться на плечи отроковъ.

— Въ станъ! въ станъ! домой!—хрипло торопилъ онъ возницу и вершниковъ.

Поѣздъ быстро двинулся назадъ, а вслѣдъ ему доносилось карканье страшнаго ворона.

XX.

Послѣдніе дни Новгорода.

Настали страшные, послѣдніе дни для Новгорода.

Москвичи все туже и туже затягивали мертвую петлю, которою они исподволь душили несчастный городъ. У новгородцевъ не хватало съѣстныхъ припасовъ, а подвозъ былъ отрѣзанъ. Начался голодъ. Люди пухли отъ голодовки и мерли. Въ городѣ начался моръ—ужасный бичъ въ тѣ времена, когда еще не существовало ни докторовъ, ни медицины. Люди заболѣвали и умирали, прибѣгая къ единому врачу и къ единственному лѣкарству—къ попу и причастью...

Больные ложились на лавки и съ восковыми свѣчами въ рукахъ умирали.

Мертвыхъ хоронить было негдѣ—кладбища были въ рукахъ у непріателя—и новгородцы едва-едва присыпали своихъ мертвецовъ снѣгомъ да приметывали соломкой да навозомъ.

„Вѣчному“ ворону уже нечего было летать за добычей въ московскій станъ: человѣчины вдоволь было и въ городѣ... Новгородское воронье такъ отлѣлось за это время, что просто хотъ на убой...

Прошли первыя святки, ужасныя святки какихъ никогда не приходилось справлять новгородцамъ, никогда съ той поры, „какъ нземля ихъ стала“...

Вѣчевой звонарь только глядѣлъ на свой колоколъ и почти не осушалъ своего единственнаго глаза.

— Ахъ, колоколушко мой, колоколушко!... на ково то ты насъ покидаешь, кому насъ, сиротъ, приказываешь?—тихо причиталъ онъ, качая своею бездольною головою, ибо слухъ прошелъ, что великій князь порѣшилъ: „вѣчу не быть, колоколу не быть и посаднику не быть“.

Пришло совсѣмъ погибать Новгороду—онъ безъ войны вымиралъ „наглою смертію“.

Тогда сзвонилось послѣднее вольное вѣче—звонарь навзрыдъ рыдалъ, колотя желѣзнымъ языкомъ въ мѣдныя края колокола—и новгородцы въ послѣдній разъ отправили къ великому князю пословъ: владыку Теофила, всѣхъ архимандритовъ, игуменовъ и священниковъ семи соборовъ новгородскихъ, степенныхъ посадниковъ тысяцкихъ, старостъ и житыхъ людей отъ всѣхъ „концовъ“.

Великій князь велѣлъ ихъ позвать къ себѣ на очи. Онъ стоялъ въ это время на Городищѣ.

И вотъ въ княжескую палату вступило все оставшееся величіе Господина Великаго Новгорода, все то, чѣмъ заправлялась великая сѣверная страна, не знавшая ни войнъ, ни поборовъ, а развивавшая свою силу, богатство и энергію вольнымъ трудомъ и свободой личности.

Робко вступили послы великой страны. Это уже были не тѣ смѣлые представители воли: воля не спасла вольныхъ людей—ихъ побѣдили, какъ это всегда бываетъ, невольники и холопы. Несчастія родины, горей личныя страданія провели неизгладимыя борозды—„черты и рѣзы“ на ихъ лицахъ.

Лицо великаго князя было все то же—лицо сфинкса, каменное, холодное, неподвижное. И бояре попрежнему стояли истуканами, и Степанъ Вородатый смотрѣлъ своими круглыми птичьими глазами, точно собирался зловѣще каркать отъ писанія.

Послы поклонились земно. Голова великаго князя хотъ бы шевельнулась.

Владыка первый началъ говорить голосомъ и тономъ, какимъ онъ обыкновенно молился всенародно объ избавленіи отъ огня, меча, труса и нашествія иноштемныхъ.

— Господинъ великій князь Иванъ Васильевичъ всеа Русіи милостивый!—просительно возглашалъ онъ:—я, богомолецъ твой, и архимандриты, и игумены, и вси священники седми соборовъ новгородскихъ и вси людіе, бьемъ тебѣ челомъ! Мечъ твой ходитъ по новгородской землѣ, кровь хрестіянская льется...

Владыка захлебывался слезами. Многіе изъ пословъ также плакали.

— Смилиуйся, господине, надъ своею отчиною—уйми мечъ, угаси огонь!

Онъ не могъ далѣе говорить. Его продолжалъ общій плачъ посольства, общее рыданье.

Иванъ Васильевичъ молчалъ. Рыданія оглашали палату.

— Смилиуйся, господине, не погуби въ конецъ люди твоя, свою отчину... О-о-охъ, милостивъ буди! не погуби! пожалѣй женъ и младенцы сосущія... помираемъ наглою смертию... о-о!

Иванъ Васильевичъ поднималъ свои холодные какъ стекло глаза къ темному потолку, словно призывая небо во свидѣтели.

— Ты, богомолецъ мой, владыка Теофилъ, и вы, отчина моя, Великій Новгородъ, слушайте глаголь мой!—началъ онъ съ разстановкою, точно по писанному.—Вы сами гораздо знаете, что присылали есте къ намъ, великимъ княземъ, отъ нашей отчины, Великаго Новгорода, подвойскаго Назара да вѣчнаго дьяка Захара, и они назвали насъ государями. По вашей присылкѣ и челобитью мы отправили къ тебѣ, владыкѣ, и ко вѣсему Великому Новгороду пословъ своихъ и велѣли спросить каково есте государства хотите вы въ Великомъ Новгородѣ? Вы заперлись и сказали есте, что пословъ-де къ намъ не присылавали и на насъ, великихъ государей, взваливали, якобы мы чинимъ надъ вами насиліе, и тѣмъ ложь положили на насъ, своихъ государей. Много и иныхъ неисправленій чинится отъ васъ; токмо мы все ждали вашего обращенія, а вы есте явились паче того лукавѣйшими. За сіе мы болѣе не возмогли терпѣть и положили итти на васъ ратью, по Господнему словеси (при этомъ ораторъ покосился на Степана Вородатаго: „слушай-де какъ отдеру изъ писанія“):

„аще согрѣшишь братъ твой, шедъ, обличи его предъ собою и тѣмъ единымъ, и аще послушаетъ тебе—пріобрѣлъ еси брата твоего. (Бородатый одобрительно киваль головой: „важно-де чешетъ изъ писанія“); аще же не послушаетъ тебе, пойми съ собою двои или трои свидѣтели, при устахъ бо дву или тріехъ да станеть всякъ глаголь; аще же и тѣхъ не послушаетъ—повѣждь церкви, аще и о церкви нерадѣти начнеть—буди ти якоже язычникъ и мытарь“ (Бородатый даже крикнулъ: „ну и отодраля же... ахъ!“). Вотъ мы такъ и учинили,—продолжалъ великій князь, хорошо понявъ крикъ Бородатаго,—посылали къ вамъ, отчинѣ своей: престаните отъ злобъ вашихъ. А вы не восхотѣли и вмѣнились намъ яко чужи... И мы, положи упованіе на Господа Бога и пречистую его Матерь, и на святыхъ, и на молитвы прародителей своихъ, пошли на насъ за ваше неисправленіе.

Великій князь умолкъ. Онъ самъ чувствовалъ всю неправоту рѣчи своей: не того добивался онъ отъ Новгорода, не исправленія его, а того, чтобы въ конецъ добить этого опаснаго, сильнаго сосѣда, эту энергическую народность, еще не деморализованную неволей и восточнымъ холопствомъ. И онъ вспомнилъ свое бѣгство изъ Хутынскаго монастыря, мрачную могилу, огонь и дымъ, карканье ворона, потерю жезла... Ему холодно стало... „Такіе у нихъ и угодники разбойники, какъ они сами“, мелькнуло у него въ умѣ...

Посольство безмолвно плакало. Великій князь сдѣлалъ неопредѣленный знакъ рукой и, шурша шелками своего одѣянія, вышелъ въ другую палату.

Новгородцы стояли въ какомъ-то оцѣпенѣніи... Суровый попрекъ на всѣ ихъ моленія и слезы—и больше ничего... Съ чѣмъ же они воротятся въ Новгородъ?... что скажутъ городу?... съ чѣмъ явятся на вѣче?

Владыка безпомощно перекрестился.

— Господи! не яко же мы хоцемы, но якоже хоцеша Ты.

Къ нимъ подошелъ Степанъ Бородатый и лукаво глянулъ на своихъ московскихъ бояръ: „мекайте-де—я имъ загну калачъ московской—не разогнуть“...

— Не попригожу вы, отцы и братіе, челомъ бьете,—тайнословно сказалъ онъ новгородцамъ:—и какъ васъ великому государю на томъ челобитьѣ жаловать?... Не попригожу...

— Почто не попригожу?—удивился владыка.

— Мекайте сами,—загадочно отвѣтилъ Бородатый. — А захочетъ Великій Новгородъ бить челомъ—и онъ знаетъ, какъ ему бить челомъ.

На словъ *какъ* онъ сдѣлалъ удареніе. Въ этомъ удареніи слышалось что-то роковое для Новгорода, грозное, зловѣщее—безповоротное рѣшеніе его судьбы...

Послы оставались въ станѣ—ихъ не отпускали въ Новгородъ, не давали „опасной грамоты“ или пропуска: ихъ съ умысломъ томили.

А Новгородъ между тѣмъ ждалъ ихъ возвращенія. Что тамъ происходило—того и старецъ Наеанайлъ, послѣдній новгородскій лѣтописецъ, не

въ силахъ былъ передать: „за слезами убо не видѣлъ ни листа, на чемъ писать, ниже куда тростію скорописною мокать“...

Въ отчаяніи новгородцы все еще укрѣплялись, насыпали валы острожные, и изъ мертвыхъ, не доѣденныхъ собаками и воронами тѣлъ человѣческихъ, прикрытыхъ кое-какъ мерзлою землею, дѣлали себѣ бойницы и заставки...

Вѣче уже не собиралось, а вѣчевая площадь и всѣ улицы такъ просто стонали голосами... Вѣчный звонарь все это видѣлъ и, сидя подъ колоколомъ, коченѣющими руками шилъ себѣ саванъ...

Марѳа надѣла суровую власяницу на свое нѣжное, пухлое тѣло, и ходила по больнымъ и умирающимъ, разнося имъ милостыню успокоенія ради душъ боярина Димитрія, старшаго своего сына, и новопреставленнаго боярина Феодора, младшаго сына, о которомъ она узнала, что онъ недавно умеръ въ заточеніи, гдѣ-то въ далекомъ Муромѣ... Какъ горькое безуміе прошлаго, она часто вспоминала о князѣ Олельковичѣ и представляла княжескую корону на своей сѣдой головѣ... „О, суета суетствій!“ А какъ сладка была эта суета...

Послы все томились въ московскомъ станѣ, моля допустить ихъ вновь на очи великаго князя. Въмѣсто князя къ нимъ являлся Степанъ Бородастый.

— Не попригожу, не попригожу бьете челомъ,—твердилъ онъ новгородцамъ:—для чево вы отпираетесь отъ тово, съ чѣмъ прїѣзжали на Москву Захаръ да Назаръ, и не объявили, каково государства хотите вы, и тѣмъ возложили на великаго государя ложъ.

— Мы не лгали,—оправдывались новгородцы.

— А не лгали, такъ не попригожу бьете челомъ... А восхоцетъ Великій Новгородъ великимъ княземъ бить челомъ—и онъ самъ знаетъ, какъ бить челомъ,—снова заканчивалъ онъ своимъ ядовитымъ намекомъ.

Это было убійственное томленіе человѣка, котораго присудили къ повѣшенію—такова была политика „собирателя русской земли“!.. „Зачѣмъ-де сами не смекнете, что вамъ дѣлать?.. Сами-де принесите на себя петлю и сами на ней повѣсьтесь—такова-де наша воля“...

— Не попригожу, не попригожу,—потиралъ онъ свои пухлыя руки.

Новгородцы, наконецъ, съ отчаянья повинились въ томъ, въ чемъ никогда не были виновны: приняли на себя личную вину Захара да Назара, которыми имъ постоянно кололи глаза.

— Мы внимся въ томъ, что посытали Назара да Захара и передъ послами великаго князя заперлись,—проговорили они свой приговоръ.

Бояре пошли къ великому князю и скорѣ воротились отъ него съ отвѣтомъ.

— А коди вы,—отвѣчалъ онъ черезъ бояръ,—коли вы, владыка и вся отчина моя, Великій Новгородъ, предъ нами, великими князи, виноватыми сказались и сами на себя свидѣльствуете и спрашиваете—какого государства мы хотимъ...

— Мы о семъ не спрашивали и не спрашиваемъ, — перебилъ одинъ изъ новгородцевъ.

— Не перебивай слово государево, — сердито остановилъ его Бородатый:— слово государево что литургія—перебивать не годится—ни-ни!

Бояринъ продолжалъ по заученому: „и спрашиваете—какого государства въ нашей отчинѣ, Великомъ Новѣгородѣ, какъ у насъ въ Москвѣ“.

Новгородцы въ отчаянны опустили руки... Заставили-таки ихъ принести на себя веревку и свить мертвую петлю!.. „О, московское лукавство!“—колотилось въ сердцѣ у владыки; но онъ смолчалъ.

Тогда новгородцы рѣшились на послѣднее средство: подѣйствовать на алчность московскую. Они по опыту знали, что это была за бездонная копилка—„казна осударева“, какъ на Москвѣ любили изреченіе изъ новаго-московскаго евангелія: „чтобы нашей осударевой казнѣ было поприбыльнѣ“.

— Пускай бы великій князь,—предложили они,—бралъ съ насъ на каждый годъ со всякой сохи по полугривнѣ, держалъ бы намѣстниковъ своихъ и въ пригородахъ, какъ въ Новгородѣ, токмо чтобъ судъ былъ по старинѣ, не было бы вывода людей изъ новгородской земли и на службу въ низовскую землю новгородцевъ не посылали бы. А мы ради оборонить рубежи, что сошлись съ новгородскими землями... Да чтобъ великій князь въ боярскія вотчины не вступался.

Опять бояре толкнулись къ великому князю и опять вынесли суровую отповѣдь. Вотъ слова великаго князя:

— Я сказалъ вамъ, что мы хотимъ такого государства, какое въ нашей низовской землѣ—на Москвѣ; а вы нынѣ сами мнѣ указываете и чините урокъ нашему государству... Такъ что жъ это за государство!

Ничто не помогало! Одно слово—налагай на себя руки... Но и въ петлѣ все еще есть надежда...

— Мы не учиняемъ урока государства своимъ государямъ, великимъ князьямъ!—въ отчаянны всплеснулъ руками владыка:—ино Великій Новгородъ низовскаго обычая не знаетъ—какъ наши государи, великіе князья, держать тамъ въ низовской землѣ свое государство?

Почва уходила изъ-подъ ногъ несчастныхъ: они уже сами говорятъ—„наши государи“. А давно-ли за одно это слово разнесли на подошвахъ сапогъ и лаптей кровавые клочки тѣлъ посадника Василія Ананьина да вѣчнаго дьяка Захара, да подвойскаго Назара, а остатки ихъ и волосы, смѣшанные съ кровавою грязью, вѣчевой звонарь защищалъ отъ своего прожорливаго ворона!

А теперь ужъ все пропало—не до словъ больше... Государи, такъ государи—все равно!.. Новгородъ ужъ умеръ.

— Ниту пословъ, ниту!—съ тоской посматривалъ звонарь на московскій станъ:—померли они, чи и имъ головы урѣзали?

И онъ, словно потерявшій разсудокъ, обращался къ ворону:

— Полети, сынокъ, полети, воронушко, принеси отъ нихъ висточку...

— Со свя-тыми упо-кой!— раздавался по улицамъ Новгорода погребаль-ный гимнъ.

Это пѣлъ слѣпой Тихикъ: онъ хоронилъ новгородскую волю, а самъ плакалъ... И что ему, слѣпому нищему, была новгородская воля!.. А все жаль... Да вотъ и мнѣ, пишущему это, черезъ четыреста лѣтъ послѣ того, какъ она прошла и быльемъ поросла, жаль ее. А что мнѣ Новгородъ?.. Что мнѣ Гекуба?..

Но воронъ не приносилъ звонарю вѣсточки. Ее принесла кудесница, та старая кудесница, что жила за городомъ въ каменоломняхъ. Она, какъ знахарка, бродила по московскому стану и тамъ ее всѣ знали.

И вотъ какъ она все узнала. На святкахъ, гуляя у князя Холмскаго, Степанъ Бородатый хватилъ черезъ край—перепилъ маленько. Послѣ этого у него сдѣлался „чемеръ“—болѣзнь эдакая московская. Такъ кудесница у него якобы „чемеръ срывала“, а можетъ была у него и по другимъ дѣламъ. Отъ него она все узнала и рассказала звонарю, своему старому знакомому.

— Впустили это нашихъ къ нему,—разсказывала она:—а *енъ* сидитъ на золотомъ столѣ, золоту палка въ рукахъ держитъ... А глазищи у *его* во-каки... А вокругъ *его* бояре тихеньки-претихеньки, словно песи-ки махоньки... А наши-то стоятъ и плачутъ. А *енъ* и возговорить, точно вѣчной колоколъ...

— Ну ужъ, бабка,—обидѣлся старикъ:—далеко ему до колокола.

— Ну, не какъ вѣной, а какъ юрьевской... *Енъ* и молвить: отдайте мнѣ Марѳу посадницу, тогда я отдамъ вамъ нелюбѣ мое.

Дѣло было однако же не совсѣмъ такъ. Истомивши пословъ напраснымъ ожиданьемъ, великій князь велѣлъ, наконецъ, пустить ихъ къ себѣ на очн.

Когда послы вошли, то Иванъ Васильевичъ, ласково взглянувъ на нихъ, что съ нимъ рѣдко бывало, подошелъ къ владыкѣ подѣ благословеніе, и, стоя среди палаты, сказалъ свое послѣднее, роковое рѣшеніе:

— Вы мнѣ бьете челомъ, — произнесъ онъ съ своею обычною точностью,—чтобы я вамъ явилъ, какъ нашему государству быть въ нашей отчинѣ, Великомъ Новѣгородѣ. Ино вѣдайте—наше государство таково: вѣчу и колоколу въ Новѣгородѣ не быть...

Нѣкоторые послы отшатнулись и перекрестились...

— Посаднику не быть...

Онъ помолчалъ. Въ палатѣ, казалось, никто не дышалъ. Только у владыки хрустнули пальцы... „Вѣчу и колоколу не быть... посаднику не быть“,—шепталъ, стоя въ сторонѣ, Бородатый, словно бы это была молитва.

— Государство свое намъ держать, какъ подобаетъ великимъ князьямъ, какъ держимъ мы свое государство въ нашей низовской землѣ. И земли великихъ князей, что за вами, отдать намъ, чтобъ это наше было. А что вы бьете челомъ мнѣ, великому князю, чтобъ не было вывода изъ новгородской земли и чтобъ мнѣ не вступаться въ боярскія земли, и мы тѣмъ

жалуемъ свою отчину, и судъ будетъ по старинѣ въ Новѣгородѣ, какъ въ землѣ судъ стоитъ.

Больше онъ не сказалъ ни слова и вышелъ.

— Вѣчу и колоколу не быть... посаднику не быть, — растерянно, точно во слѣ бормотали новгородцы, дико озираясь.

— Новугороду не быть... новгородской воли не быть.

— Господину Великому Новугороду не быть... всѣмъ намъ не быть...

— Помереть, помереть — ничево болѣ не осталось.

— Что вы?.. зачѣмъ же, — утѣшалъ ихъ Бородатый, — вона мы-ста живемъ за осударемъ, великимъ княземъ, а не помираемъ...

— Живемъ какъ въ раю, аки у Христа за пазухой, — подтверждали другіе бояре.

— Аки сыръ въ маслѣ катаемся...

— Что и говорить!... помирать не надобеть...

— Ну и вы, братцы, поживете — свыкнетесь, а свыкнется — слюбится...

— Вѣчу не быть... колоколу не быть... посаднику не быть, — бормотали свое новгородцы какъ потерянные, — помереть — одно осталось...

Когда они, наконецъ, нѣсколько пришли въ себя и увидѣли, что дѣло ихъ уже безповоротное, что и ихъ вѣча, и посадники, и ихъ дорогой вѣчевой колоколь съ его живою, для каждаго новгородца понятною, рѣчью отошли въ вѣчность и похоронены на московскомъ кладбищѣ, — они рѣшились попробовать сберечь хоть что-нибудь, хоть частицу своей воли — свой судъ и свою личную неприкосновенность, чтобъ ихъ по крайней мѣрѣ не брали на службу въ эту страшную „низовскую землю“, въ эту ужасную Москву, — не звали туда на „шемякинъ судъ“, не „выводили“, не угоняли въ полонъ.

Какъ и прежде, они думали, что то, что сказалъ сейчасъ великій князь, онъ скрѣпитъ крестнымъ цѣлованьемъ — присягнетъ, что будетъ держать свое слово. Такъ у нихъ велось отъ старины. Поговоривъ тихонько между собою, покачавъ безнадежно головами и утеревъ не одну слезу, они снова обратились къ боярамъ:

— Бьемъ челомъ, — поклонился боярамъ владыка, — чтобъ великій государь далъ крѣпость своей отчинѣ — грамоту... и крестъ поцѣловать.

Бояре пошли во внутренніе покои князя.

— Прощай, наша волюшка! — вздыхали старые новгородцы: — прощай вольный свить!

Бояре скоро воротились.

— Великій осударъ креста цѣловать не будетъ, — былъ короткій отвѣтъ.

Новгородцы недоумѣвающе посмотрѣли другъ на друга. Ихъ уже, казалось, ничто не удивляло — такъ много они видѣли и слышали и такъ глубоко переболѣли душой, что имъ уже было почти все равно... Не всели равно умирать!... Но они должны были дать отчетъ Новугороду, отчетъ тѣмъ роднымъ братьямъ, сестрамъ и дѣтямъ, которые довѣрили имъ все,

что имъ было дорого на свѣтѣ, и теперь ожидали ихъ въ мучительномъ невѣдѣніи и страхѣ.

— Такъ вы, братіе, цѣлуйте крестъ за великаго государя,—прервалъ владыка мучительное молчаніе, глядя робкими глазами въ круглые, безстыжіе глаза Борздатого.

Бояре опять пошли къ государю.

— И бояре великій государь креста цѣловать не велить,—вынесли они короткій отвѣтъ.

— Такъ хоти намѣстникъ, что будетъ въ Новѣгородѣ, пусть крестъ цѣлуетъ! возмолвилъ владыка.

Опять ушли и опять воротились.

— Цѣловать креста не будетъ и намѣстникъ!—былъ послѣдній отвѣтъ великаго князя.

Что оставалось послать? Идти и броситься въ ноги всему Новгороду—выплакаться, по крайней мѣрѣ, передъ нимъ, выкричать боль души, позоръ, отчаянье, да подумать всѣмъ Новгородомъ, вымолить себѣ помощь у Бога, у святой Софіи, у всѣхъ силъ небесныхъ, а потомъ умереть на родномъ пепелищѣ, какъ умираетъ волчица, защищая своихъ дѣтей...

Но дѣдъ Грознаго подумалъ объ этомъ раньше. Онъ зналъ, что и курица защищается, когда ее рѣжутъ, что и воробей клюетъ когти ястреба, пока они не растерзаютъ его, не лишатъ способности трепыхаться.

А Новгородъ еще трепыхается... Надо его выморить совсѣмъ... При томъ его, Ивановы рати, разсѣявшіяся по обширной новгородской землѣ отъ Шелони до самой Печоры, еще не все вырѣзали и пожгли это живучее змѣиное племя новгородское... Надо такъ „ускромнить“ это племя, чтобъ его и на сѣмена не осталось, чтобъ не взошло оно вновь, не дало новыхъ порослей... Тогда уже новгородская земля „не отрознится“ отъ низовской земли, отъ Москвы...

Вотъ что думалъ „собиратель земли русской“ — и не пустил новгородскихъ пословъ изъ своего стана. Онъ зналъ, что въ городѣ моръ — пусть же вымрутъ сами змѣеныши, волею Божіею, а не его, великаго князя повелѣніемъ...

И оно вышло такъ, какъ онъ удумалъ—„какъ ему Богъ и Пречистая его Матерь на сердце положили“.

30 декабря явился въ станъ послѣдній защитникъ Новгорода — нашъ старый знакомый, князь Василій Шуйскій-Гребенка.

Послы увидѣли его, обрадовались было ему, какъ родному: свой человекъ, долго жилъ съ ними, бился за Великій Новгородъ, за святую Софію и за волю новгородскую.

— Что, князь Василей, почто присланъ? — спросилъ его владыка, осылая крестомъ.

— Я, владыко святой, не присланъ—самъ пришелъ.

— Что такъ, княже?

— Вчера съ откланялся Господину Великому Новгороду.

• Теофилъ, казалось, не понималъ его—онъ не хотѣлъ понимать.

— Что, княже?.. Не уразумѣю я тебя.

— Вчерась, говорю, на вѣчѣ, предъ всѣми оставшимися вживѣ людьми сложилъ есмь съ себя крестное цѣлованье Господину Великому Новгороду, благодарилъ за хлѣбъ, за соль... Уже я Новгороду не слуга...

Владыка все поняла. Но ему страшно было спрашивать дальше—и все-таки спросилъ:

— А какъ же мы?

— Надоть покоритца—на то воля Божья... Новгородъ уже, владыко, не Новгородъ, а, сказать бы, пустой улей—пчелки всѣ почтай вымерли, и медъ осы растаскали... Я пришелъ служить Москвѣ.

Великій князь ласково принялъ послѣдняго потомка нѣкогда могущественныхъ, а потомъ низложенныхъ владѣтельныхъ князей суздальскихъ, „закудалаго“ князя Василя, послѣдняго „кормленаго“ князя Господина Великаго Новгорода.

Узнавъ отъ него, въ какомъ отчаянномъ положеніи находится Новгородъ, Иванъ Васильевичъ приказалъ позвать къ себѣ новгородскихъ пословъ на очи. Они ожидали услышать отъ него послѣднюю волю, но услышали опять что-то старое, загадочное, зловѣщее.

— Вы мнѣ били челомъ, чтобъ я отложилъ гнѣвъ свой, не выводилъ бы людей изъ новгородской земли, не вступался въ вотчины и животы людскіе, чтобъ судъ былъ по старинѣ и чтобъ васъ не наряжать на службу въ низовскія земли,—проговорилъ онъ, глядя неподвижно на наперстный крестъ Теофила. — Я всѣмъ симъ жалую отчину свою, Великій Новгородъ.

И ни слова больше. Поворотился и велѣлъ посламъ уходить. Тѣ поклонились и попятились къ дверямъ... Зачѣмъ же звалъ?.. Они это давно отъ него слышали... Новое лукавство!

А лукавство было вотъ въ чемъ. Едва послы вышли, какъ къ нимъ вышли и бояре.

— Великій князь велѣлъ вамъ сказать вотъ что: чтобъ-де наша отчина, Великій Новгородъ, далъ намъ волости и села: намъ-де, великимъ государямъ, немочно безъ того держать свое государство на своей отчинѣ, въ Великомъ Новгородѣ.

Надо было отдать и села, и волости—все отдать! Да еще дань—по полугривнѣ съ сохи!...

— Какъ липку ободрали на лапотки,—хихикалъ себѣ въ бороду Степанъ Бородатый, когда новгородскіе послы, убитые горемъ и измученные, не смѣя поднять глазъ къ родному небу и на святую Софію, возвращались въ свой нѣкогда шумный и веселый, а теперь почти вымершій улей.

Проходя мимо вѣчевой колокольни, они не рѣшались поднять глазъ, чтобъ взглянуть на свое сокровище—на вѣчевой колоколъ, какъ ни хотѣлось имъ видѣть и слышать его въ послѣдній разъ...

Но съ этого дня колоколъ уже не звонилъ!

— Переставился, колоколушко мой!... Померъ, померъ, родной мой батюшка — о-охъ!—рыдалъ навзрыдъ вѣчевой звонарь, обнимая и цѣлуя холодную мѣдь...

XXI.

Увозятъ вѣчевой колоколъ и Марю посадницу.

— Князь великій Иванъ Васильевичъ всеа Русіи, государь нашъ, тебѣ, своему богомольцу, владыцѣ, и своей отчинѣ, Великому Новгороду, глаголетъ такъ: „ты, нашъ богомолецъ, Теофилъ, со всѣмъ освященнымъ соборомъ и вся наша отчина, Великій Новгородъ, били челомъ нашей братьи о томъ, чтобъ я пожаловалъ—смиловался и нелюбіе сердца сложилъ. Я, князь великій, ради своей братьи жалую свою отчину и отлагаю нелюбіе. Ты, богомолецъ нашъ архіепископъ, и отчина наша написали грамоту, на чемъ-де били намъ челомъ и цѣловали крестъ,—ино пусть теперь всѣ люди новгородскіе, моя отчина, цѣлуютъ крестъ по той же грамотѣ и оказываютъ намъ должное. А мы васъ; свою отчину, и впредь хотимъ жаловать по вашему исправленію къ намъ.

Такъ говорилъ князь Иванъ Юрьичъ всему Новгороду отъ имени великаго князя. Это было 15 января 1478 г. Онъ говорилъ на Софійскомъ дворѣ—тамъ, гдѣ когда-то мы видѣли весь Новгородъ при избраніи владыки Теофила. Съ того времени прошло около 12 лѣтъ. Какъ измѣнился съ тѣхъ поръ Новгородъ! Какъ рѣдки стали толпы, слушавшія теперь московскаго оратора, и лица новгородцевъ стали худы и блѣдны, а у многихъ—и совсѣмъ лицъ не было... То были жертвы коростынскаго звѣрства москвичей...

Они точно не понимали, что имъ говорилось: такъ дико звучали въ ихъ ушахъ слова—„смиловался“, „нелюбіе сердца сложилъ“, „жаловать хотимъ“; такъ не согласовались эти слова съ тѣмъ, что они видѣли, что пережили... „Гдѣ же Богъ?“ думали они: „гдѣ правда?“

„А вонъ гдѣ Богъ, вонъ гдѣ правда: у владыки Теофила въ рукахъ, на серебряномъ крестѣ... Вонъ гдѣ Богъ—на крестѣ... Правда распята—вонъ гдѣ правда на землѣ—на крестѣ, она, правда-то... И ручки и ножки гвоздями пробиты, да крѣпко-крѣпко ко кресту приколочены, чтобъ и не сойти ей, правдѣ-то, со креста... И ребрушки у правды-то, у Бога, прободены копіемъ, до самаго сердца прободены, за то, что любовію къ бѣднымъ людямъ билось это сердце... Такъ вонъ гдѣ Богъ... А мы ищемъ его... Вонъ Онъ—и святую головку на плечико склонилъ“, въ какомъ-то забытій думалъ „пидблянникъ“, глядя на распятіе, которое сверкало въ рукахъ владыки.

— Цѣлуйте слово и крестъ Спасителя нашего!—возгласилъ князь Иванъ Юрьичъ.

И всѣ стали цѣловать книгу, что сохранила слова Спасителя, и крестъ,

на которомъ Его распяли... Это присягали новому государю—уже не Господину Великому Новгороду...

Присяга шла по всѣмъ соборамъ, по всѣмъ церквамъ, во всѣхъ пяти концахъ. Бояре, бывшіе посадники, тысячскіе, житые и бывшіе власти Новгорода приводились къ присягѣ на Софійской сторонѣ московскими боярами, а на торговой сторонѣ—дѣтьми боярскими и дьяками.

По церквамъ, площадямъ и улицамъ слышался плачъ. Новгородцы цѣловались и прощались другъ съ другомъ, знакомые и незнакомые, друзья и недруги, кланяясь одинъ другому въ землю и словно въ „прощеный день“.

Видя слезы старшихъ, по всему Новгороду плакали дѣти, отыскивая матерей и отцовъ, которыхъ гнали къ присягѣ. Слышался лай и вой собакъ, которыя на лицахъ людей читали что-то недоброе. Ревѣлъ некормленный скотъ, котораго давно и кормить было нечѣмъ.

Многіе сгѣбили на могилы отцовъ, чтобы проститься съ ними и съ новгородскою волею.

Слѣпой Тихикъ, ходя по улицамъ, продолжалъ пѣть „со святыми упокой“. Во всѣхъ церквахъ шелъ перезвонъ какъ по покойникѣ. Это замѣтили москвичи и не велѣли звонить. Тогда общій плачъ сталъ еще слышнѣе и раздражительнѣе.

Павша Полинарынь, бывший женихъ Остромиры, у котораго при Коростынь москвичи обрубилъ носъ и губы до самыхъ челюстей, пригнанный въ церковь для присяги вмѣстѣ съ прочими, не хотѣлъ цѣловать креста.

— Цѣлуй слово и крестъ Спасителя нашего,—напомнилъ ему Бородатый.

— Мнѣ нечѣмъ цѣловать,—отвѣчалъ Павша.

— Какъ нечѣмъ, малый?

— Видишь—мои губы воронъ склеваль.

— Ну, приложись такъ.

— Я не песъ, чтобы Христа зубами тыкать.

— Такъ я те въ зубы-тѣ крестомъ!

И Бородатый дѣйствительно ударилъ Павшу въ зубы крестомъ, но получилъ такой сдачи, что самъ потерялъ три зуба. Павшу взяли „за приставы“—и его бѣлые зубы вмѣстѣ съ челюстями и черепомъ сгнили потомъ гдѣ-то далеко въ „низовской землѣ“, за Окою...

У Ярославова дворища, на вѣчевой площади, собрались послѣдніе вѣчники, чтобы проститься съ колоколомъ. Но москвичи не пустили ихъ на колокольню: они сами туда отправились снимать колоколъ.

Старикъ звонарь заперся было на своей башнѣ, но москвичи выломали дверь и вошли на башню. Звонарь встрѣтилъ ихъ съ оружіемъ въ рукахъ—съ старымъ, заржавленнымъ бердышомъ, которымъ онъ въ блаженное время лучину себѣ щепалъ по зимамъ; но бердышъ у него отняли и сбросили съ колокольни, а самого хотѣли связать. Старикъ съ плачемъ бросился имъ въ ноги.

— Батюшки! родимые! дайте проститца съ колоколушкомъ! родимые, не погубите!—вопиль онъ такъ горько и безпомощно, что москвичи сжалились надъ старикомъ.

— Ну, прощайся, старина... Али онъ тебѣ сыномъ былъ?

— Батюшки! голубчики!.. сыночекъ онъ мѣ... отецъ родной... кормилецъ мой!—безсвязно бормоталъ старикъ.

Онъ обхватилъ колоколъ руками, колотился объ него головою, цѣловалъ, плакалъ, приговаривая: „прощай, колоколушко! прощай, сыночекъ, золото мое—серебро!.. 0-0!“

— Полно, старина, будетъ тебѣ плакатца-то!.. Ишь, словно съ женой цалуется,—смѣялись москвичи:—полно... эка невидаль!

— Убейте вы меня, голубчики! заколите на мѣстѣ!—плакался несчастный.

Его силой оттащили отъ колокола и стали снимать новгородскую вѣковую стятину. Колоколъ, казалось, стоналъ, но такъ глухо, точно въ самомъ дѣлѣ умиралъ.

Старикъ какъ помѣшанный бѣгалъ то къ тому, то къ другому, ломая руки.

— Батюшки! голубчики! легче! для Бога легче! не ушибите вы ево, не уроните!.. для-Бога прошу легче!.. не такъ... не такъ, кормилцы!.. за ушко-то легче, не отломите!.. Охъ! язычокъ-отъ не надо... не надо трогать... легче! не зашибите... Бочкомъ... бочкомъ ево, золото мое червонное...

Встревоженный вознею на колокольнѣ воронъ заметался и закаркалъ надъ самыми головами москвичей, задѣвая ихъ крыльями.

— Кой чортъ! воронъ!.. откуда онъ взялся!.. Ахъ, аспидъ!—удивлялись москвичи.

— Чуръ... чуръ!.. Ахъ ты дьяволъ!

Крикъ ворона, казалось, усилилъ отчаянье старика. Онъ всплеснулъ руками.

— Воронушко! миленькой! смотри... смотри!.. берутъ ево, берутъ колоколецъ нашъ... Господи! что-жъ это будетъ...

Съ площади грустно смотрѣли новгородцы на возню на колокольнѣ и горько качали головами.

— Эхъ! Христа со креста симаютъ—и гриха на нихъ нитути... Жиды, сущи жиды!..

Когда колоколъ спускали съ колокольни, онъ раза два прозвонилъ.

— Заговорилъ заговорилъ колоколушко!—кричалъ старикъ, сбѣгая съ помоста:—заговорилъ: прощаетца съ Новгородомъ... 0-охъ!

Площадь уже была полна народомъ, но ее, для порядка, стѣной окружали московскіе и татарскіе конники. Тутъ же, подъ колокольней, стояли уже сани-дровни, которыя должны были везти колоколъ въ московскій станъ.

— Заговорилъ батюшка!.. заплакать колоколецъ!.. прощаетца съ дитушками!

Стоны и вопли новгородцевъ, смотрѣвшихъ, какъ тихо, качаясь и

вздрагивая, спускалась вниз их древняя святыня, заглушили послѣдніе, „незаконныя“ удары колокола, глашатая утраченной ими воли.

— Прощай, прощай, нашъ вѣчной колоколь!— раздавались голоса:— прощай, родимый! прощай, наша волюшка!

Опускаясь все ниже и ниже, колоколь сталъ прямо на сани. Толпа бросилась было прощаться съ нимъ, но конники всѣхъ оттирали отъ саней. Не отгоняли одного звонаря—такъ онъ былъ жалокъ. Даже одинъ татарскій конникъ, видя, какъ старикъ, голоса и причитая, бѣгалъ вокругъ саней и то соломки подъ бока колокола подсовывалъ, „чтобъ ему помягче было“, то вытиралъ его полонъ своего зипунишка, сжалился надъ стариной.

— Зачимъ, бачка, плакалъ? Онъ и на Москву зыванить будетъ— ай-ай хорошъ!

Сани тронулись, сопровождаемые отрядомъ конниковъ. На облучкѣ саней сидѣлъ знакомый уже намъ татаринъ Ахметка, тотъ самый, что въ Русѣ рубилъ головы Димитрію Борецкому съ товарищами и правилъ лошадыми. Звонарь слѣдовалъ за самими санями и плакалъ.

За санями же, по сторонамъ, шли толпы новгородцевъ. Многіе изъ нихъ также плакали, особенно бабы, а когда сани равнялись съ кѣмъ-нибудь на улицѣ изъ прохожихъ или съ чѣмъ-либо домомъ, то всѣ вы-бѣгали за ворота, снимали шапки, кланялись и крестились, точно бы мимо нихъ провозили покойника.

Когда сани съ колоколомъ, выѣхавъ изъ Славенскаго конца, прослѣдовали черезъ „великій мостъ“ и вѣзжали въ конецъ Людинъ, то на самомъ Побережьѣ встрѣтились съ другими санями, пошевнями, тоже окруженными конниками и тоже слѣдовавшими по направленію къ загородному сѣду боярина Лошинскаго, гдѣ былъ станъ великаго князя.

Въ пошевняхъ, въ богатой собольей шубѣ, закутанная чернымъ платкомъ, изъ-подъ котораго кое-гдѣ выбивались прядочки сѣдыхъ волосъ, сидѣла старуха, повидимому, погруженная въ глубокую думу. Морщины, такія рѣзкія и отчетливыя, бороздили ся нѣкогда красивое лицо. Она, казалось, ничего не видѣла. Рядомъ съ ея санями шель юноша, высокій и стройный, въ богатой шубѣ и высокой боярской шапкѣ, изъ-подъ которой выбивалась цѣлая масса черныхъ, выющихся кудрей. Онъ часто оглядывался назадъ, на Новгородъ, и, казалось, прощался съ нимъ.

Это везли въ московскій станъ Марѳу посадницу, и рядомъ съ нею шель ея внучекъ Исачко, теперь уже совсѣмъ большой юноша, лѣтъ семнадцати-восемнадцати, и уже не Исачко, а Исаакъ Борецкій — послѣдній изъ рода Борецкихъ, посадниковъ Господина Великаго Новгорода.

Марѳа смотрѣла совсѣмъ старухой.

Увидавъ колоколь и плачущаго за нимъ звонаря, она перекрестилась.

Въ это время, пробившись сквозь рядъ конниковъ, къ Марѳинымъ санямъ съ плачемъ бросилась какая-то дѣвушка. Голова ея не была ничѣмъ прикрыта и льняные волосы, совсѣмъ незаплетенные, трепались по вѣтру, окутывая и плечи ея, и миловидное личико.

— Матушки моя родимая! мама моя милая! возьми меня съ собою!.. Для чего ты раньше не признала меня, не сказала мнѣ, что я чадо твое! Матушка!.. Мнѣ крестница все сказала и крестъ твой отдала мнѣ... О, проклятая я! сгубила Новгородъ! Я тебя сгубила, матушка!

Марѳа вся задрожала, услышавъ эти крики дѣвушки. Она приподнялась, протянула руки...

— Иди, иди ко мнѣ, дитятко!.. У меня никого не осталось... Я мать твоя проклятая... Я боялась суда людского — и покинула тебя... А Богъ наказалъ меня. Иди же ко мнѣ, чадо мое милое!..

И она закутала пубою молодую дѣвушку, крестя и цѣлуя ее. Это была Горислава, мнимая внучка кудесницы.

Поѣздъ не останавливался. Впереди ѣхала Марѳа, а за нею слѣдовалъ колоколь. Старый звонарь уже не плакать — нечѣмъ было.

Зато воронъ, видя своего воспитателя въ необычномъ мѣстѣ и въ необычной обстановкѣ, отчаянно каркалъ, летая надъ поѣздомъ.

Такъ палъ Господинъ Великій Новгородъ какъ независимое государство. Палъ онъ и какъ народность въ смыслѣ гражданскомъ. Герберштейнъ, посѣтившій Россію или какъ онъ ее называетъ — Московію въ слѣдующемъ за паденіемъ Новгорода столѣтіи, говорить о Новгородѣ и о всей его народности такъ: это была „гуманнѣйшая и честнѣйшая“ народность; но когда москвичи внесли въ нее „московскую заразу“ она сдѣлалась развращеннѣйшею *).

К О Н Е Ц Ъ.

*) Novagardia gentem quoque humanissimam ac honestam habebat: sed quae nunc procul dubio peste moscovitica, quam eo commeantes Mosci secum iuxerunt, corruptissima est.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ГЛАВЫ:	СТР.
I. Избраніе владыки	3
II. Пиръ у Марѣ Посадницы	11
III. Предсказанія кудесницы	20
IV. Бурное вѣче	25
V. „Бѣсъ въ ребрѣ“ у Марѣ посадницы	34
VI. Дурныя вѣсти	42
VII. „Начала Москва!“	51
VIII. Пораженіе новгородцевъ на берегу Ильменя	59
IX. Какія вѣсти принесъ воронъ	67
X. Остроміра за чтеніемъ лѣтописи	75
XI. Глаза безъ лица	81
XII. Перевѣтница	87
XIII. Шелонская битва	91
XIV. Казни въ Русѣ	100
XV. И у тебя рука поднялась на Новгородъ?	108
XVI. Казнь Упадыша	114
XVII. Великій князь Иванъ Васильевичъ всеа Росіи	119
XVIII. Послѣдній посадникъ и послѣдній вѣчный дьякъ	125
XIX. Ивацъ Васильевичъ у гроба Варлаама хутынского	130
XX. Послѣдніе дни Новгорода	137
XXI. Увозятъ вѣчевой колоколъ и Марѣу посадницу	146

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

КУМЪ ИВАНЪ

БЫЛЬ

— 1485. —

ЦАРЬ И ГЕТМАНЪ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Томъ IV.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание Н. О. Мертца
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 18-го февраля 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“. С.-Пб., Фонтанка, 95.

Кумъ Иванъ.

I.

Неизвѣстный путникъ.

Быль прекрасный, яркій зимній день, какіе бываютъ на Руси въ концѣ января или въ началѣ февраля. Лучи, на этотъ разъ холоднаго солнца, искрились иридевыми блестящими въ морозной, кристаллизованной пыли. Сѣверный вѣтерокъ, тихій, но рѣжущій, переметалъ черезъ дорогу бѣдыя струйки сухихъ снѣжинокъ—позѣмки.

Солнце, однако, клонилось уже къ закату, и еще ярче, казалось, сверкало на золотыхъ маковкахъ и крестахъ московскихъ церквей и башенъ Кремля.

Въ это время изъ Серпуховскихъ воротъ вышелъ высокій и плечистый мужикъ въ мѣховой шапкѣ-треухѣ, въ дубленомъ тулупѣ и бѣлыхъ, подбитыхъ кожею, валенкахъ на ногахъ. Большая рыжая борода его и усы, нѣсколько подрѣзанные вдоль верхней губы, серебрились морознымъ инеемъ. Опираясь на длинный посохъ, рыжій мужикъ шелъ ровною, бодрою поступью, не глядя по сторонамъ, хотя сѣрые, живые и, повидимому, хитрые глаза какъ-будто что исподтишка высматривали.

То, что въ настоящее время давно составляетъ городскія зарѣчныя части Москвы, тогда, четыреста лѣтъ назадъ, представляло разбросанные подгородніе поселки и деревни, отдѣлявшіеся отъ города полями, а частью садами и огородами. Въ одинъ изъ такихъ поселковъ повидимому и направлялся рыжій мужикъ.

Но едва нашъ путникъ отошелъ отъ города на такое разстояніе, которое скорѣе приближало его къ поселку, чѣмъ къ городу, какъ снѣгъ позѣмка сталъ срываться съ земли порывистѣе и крутиться вихремъ, а до того яркое солнце заволокло скоро не то этими крутыми вѣтрами позѣмками, не то густыми снѣговыми тучами. Скоро оказалось, что дѣйствительно повалилъ снѣгъ, который, будучи гонимъ вѣтромъ и крутясь вмѣстѣ съ позѣмкою, началъ хлестать въ лицо, въ глаза и наметать сугробы. Начинаясь пурга, буранъ. Это тотъ обыкновенный, причудливый и опасный капризъ нашей суровой зимы, который даже привычнаго къ своей родной вьюгѣ мужика застаетъ врасплохъ, какъ злойный хамсинъ араба въ пустынѣ: буранъ останавливаетъ и замедляетъ обозы въ полѣ, заста-

вляеть мужика, выхавшаго въ лѣсъ за дровами, или въ ближній лугъ къ своему стогу сѣна—почевать или подъ этимъ стогомъ въ снѣжномъ сугробѣ, или у своей же околицы; онъ застаётъ бабъ съ бѣльемъ на рѣчкѣ, и ослѣпляемая „понизухою“—понизовою мятелью и вьюгою порывисто мчащихся съ вѣтромъ снѣговыхъ тучъ, бабы едва-едва попадаютъ ко дворахъ. Это тотъ капризъ зимы, когда, въ самый разгаръ вьюги, въ селахъ начинаютъ звонить въ колокола, точно на пожаръ, чтобы погибающіе въ полѣ путники могли идти на звонъ, подобно тому, какъ погибающіе на морѣ въ бурю корабли могли бы держать путь на огонь спасительнаго маяка.

— Святъ... святъ... святъ!—невольно остановился нашъ путникъ и, перекрестясь, сталъ оглядываться.—Вотъ въ недобрый часъ вышелъ.

Онъ повернулся лицомъ туда, гдѣ должна была находиться Москва. Но съ той стороны именно и неслась снѣжная буря, бросая въ лицо и въ глаза снѣгъ комьями.

— Батюшки свѣты!.. инъ къ Москвѣ мнѣ не попасть. А Котлы, кажись, не далеке,—пойду въ Котлы.

И онъ, распустивъ треухъ малахая и надвинувъ его на самыя глаза, бодро зашагалъ впередъ.

Буря гнала его въ спину, а впереди снѣжные облака застилали и даль и близъ, наметая сугробы и отнимая у путника послѣдній слѣдъ дороги.

— Господи!.. что-жъ это такое?.. Да туда-ли я, полно, иду?

Сугробы попадались все чаще и чаще. Ноги вязли въ снѣгу по колѣни; идти было все труднѣе и труднѣе. Сумерки надвинулись такъ быстро, что въ какихъ-нибудь полчаса на землю налегла непроглядная тьма.

Путникъ остановился.

— Боже всесильный! спаси отъ наглыя смерти,—шепталъ онъ растерянно:—пощади не ради меня окаяннаго, а ради народа твоего, православнаго крестьянства... Гдѣ я?

Какъ бы въ отвѣтъ на его отчаянную мольбу, гдѣ-то вправо послышался заглушаемый бурей слабый крикъ пѣтуха.

— Пѣтель возгласи, Господи!—перекрестился онъ:—Не знаменіе-ли сіе, аки Петру апостолу?.. Полно, пѣтухъ-ли это? Не почудилось-ли мнѣ то въ воѣ вѣтра?

Онъ тревожно прислушался. Теперь онъ явственно услыхалъ то, къ чему жадно прислушивался; но ему отъ этого еще страшнѣе стало: пѣтухъ прокричалъ теперь не съ правой стороны, а гдѣ-то далеко влѣво.

— Куда идти?.. Силы небесныя!

Но оставаться было невозможно: снѣгъ заносилъ его, наметая кругомъ все большіе и большіе сугробы; отъ трудной ходьбы и внутреннего волненія онъ чувствовалъ страшную усталость и потъ градомъ катился изъ подъ малахая.

— Пойду вправо—правымъ путемъ... А правымъ-ли путемъ шель я

доселъ?—мелькнуло вдругъ въ его смущенной мысли.—Господи! пощади ~~окаяннаго~~: съ сего часу буду идти всю жизнь правымъ путемъ... Твоимъ путемъ, Господи!

Онъ еще разъ перекрестился и взялъ вправо, по тому направлею, откуда въ первый разъ донесся до него голосъ ибѣуха. Но потому-ли, что ~~кѣсь~~ перемѣнился, или онъ круто сбился съ пути, но только теперь порывами бури снѣгъ несло ему не въ затылокъ, а прямо въ лицо. Ноги ~~его~~ постоянно вязли въ сугробахъ, а когда онъ выбирался изъ сугроба, ~~то~~ попадали или въ рытвину или на кочки. Подъ нимъ подкашивались ~~ноги~~, звенѣло въ ушахъ. Ему чудилось, что онъ слышитъ отдаленный звонъ ~~какого-то~~ колокольчика.

— Да, да,—колоколець... Сказываютъ, это бѣсовская свадьба... Святъ... ~~святъ~~... святъ! съ нами крестная сила!

И онъ со страхомъ прижималъ руку къ груди, гдѣ подъ тулупомъ нащупывалъ тѣльный крестъ свой, съ которымъ не разставался всю жизнь.

Но вотъ ему показалось, что не вдалекѣ блеснулъ огонекъ, но какъ-то странно, точно онъ двигался и мигалъ.

— Не волкъ-ли свѣтитъ очами?.. Часъ отъ часу не легче.

Онъ наткнулся на что-то въ родѣ загородки и ощупалъ.

— Плетень—точно жильѣ, должно, не далеко.

Онъ пошелъ вдоль плетня. Впередѣ опять мелькнулъ огонекъ, и уже ~~гораздо~~ явственнѣе.

— Слава тебѣ, Боже всесильный!—не оставилъ меня.

Но около плетня нельзя было идти дальше: сугробы намело непроходимые. Онъ повернулъ въ сторону. Путеводный огонекъ исчезъ.

Путникъ собралъ послѣднія силы и съ рѣшимостью отчаянія двинулся ~~впередъ~~. Въ глазахъ у него темнѣло, ноги дрожали и заплетались, звонъ въ ушахъ все усиливался и усиливался.

— Изба!—прошпенталъ онъ не то радостно, не то испуганно.

Изъ-за неплотно прикрытой ставни свѣтился огонекъ. Прохожій подошелъ къ окну.

— Господи Иусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ!—постучалъ онъ ~~малкою~~ въ ставню.

Не обычнаго отвѣта—„аминь“ изъ избы не послѣдовало.

Онъ снова постучалъ.

— Господи Иусе...

— Кто тамъ шляется въ эку непогодъ по ночамъ?—раздался со двора сердитый голосъ.

— Прохожій заплутался,—былъ отвѣтъ:—пусти, человѣче, переночевать.

— Коли прохожій, такъ и проходи,—снова отвѣчали сердито:—у меня ~~же~~ съѣзжій дворъ.

— Я Христомъ Богомъ прошу: не дай погибнуть душѣ православной.

— То-то—погибнуть!—кто тебя знаетъ: можетъ самъ души губишь—~~иди~~ себѣ... ищи мѣстовъ у другихъ.

Прохожій поднялъ было палку, но рука его моментально остановилась въ воздухѣ, только въ глазахъ, на которые упала полоса свѣта изъ окна, блеснулъ зловѣщій огонь.

— Га! души гублю... Можетъ и вправду,—прошенталъ прохожій, отступая отъ окна:—можетъ за это и наглую смерть посылаетъ мнѣ Господь... О-о!

Онъ зашагалъ дальше, бормоча какъ бы въ забытѣ:—„Помни это, Иванушка,—помни: самъ, можетъ, души губишь... Охъ, много, много погубилъ,—самъ знаю мое оконство“...

Вдругъ нога его споткнулась обо что-то. Онъ нагнулся. Это была небольшая дверца калитки, сорванная вѣтромъ. Прохожій вошелъ въ калитку. Вправо, въ маленькомъ, подслѣповатомъ окошечкѣ, затынутомъ пузыремъ, вмѣсто стекла, мигалъ огонекъ, вѣроятно отъ лучины.

Прохожій и тутъ постучался. На обычное обращеніе—„Господи Иисусе“,—изъ избушки послѣдовалъ отвѣтъ: „аминь“.

Скоро сѣнная дверка скрипнула и кто-то вышелъ изъ избушки.

— Кого Богъ принесъ?—послышался окликъ.

— Прохожій, кормилецъ... Непогодь загнала... съ пути сбился... думалъ въ полѣ замерзать... Пусты, родимый, на ночь: не дай погибнуть душѣ крестьянской.

— Что ты, что ты, отецъ родной!—отвѣчалъ привѣтливый голосъ:—али на мнѣ креста нѣту? Ноги я самъ не вижу, что въ полѣ теперь смерть въ очи глядитъ?... Взойди ко мнѣ—переночуй. Только—сказать-ли тебѣ, отецъ родной?—у меня въ избѣ-ту не ладно...

— Чѣмъ не ладно?

— Да какъ тебѣ сказать?... Жена-ту моя опростаться собралась.

— Какъ? умираетъ?—участливо спросилъ прохожій.

— Нѣту, гдѣ умирать!.. рожать собралась... не дастъ она тебѣ всю ночь покою.

— Ничего, милый человѣкъ, подъ заборомъ-то хуже замерзнуть.

— И то, и то. Ну, инъ, иди съ Богомъ... переночуй.

II.

„Не ангель-ли это?“

Добрый мужичокъ ввелъ прохожаго въ маленькія сѣнцы. Такъ какъ неожиданный гость былъ мужикъ рослый, то онъ долженъ былъ согнуться, чтобъ войти въ низенькую дверь.

— Постой, милый человѣкъ, дай мнѣ отряхнуться малость,—сказать гость:—вонъ что на мнѣ снѣгу,—какъ бы избу твою не выстудить.

— Отряхнись, отецъ, отряхнись.

Скоро и хозяинъ и гость вошли въ избу. Избенка была бѣдвенная, тѣсная. Закопѣлыя стѣны въ иныхъ мѣстахъ завалились. У печи, надъ

лоханью, трещала лучина. Въ избѣ не было никого, только изъ печурки выглядывала бѣлая кошечка и усердно умывалась лапкой.

— И вправду, милая, къ гостямъ умываешься,—улыбнулся мужичокъ хозяйинъ.

Гость вошелъ, отыскавъ глазами въ переднемъ углу закоптяный деревянный образокъ и набожно три раза перекрестился.

— Миръ дому сему,—сказалъ онъ, кланяясь хозяину и кладя малахай на лавку.

Тотъ въ свою очередь поклонился.

Гость съ помощью хозяина распоясался, снялъ тулупъ и остался въ суконномъ кафтанѣ.

— За кого-же я долженъ молиться?—ласково обратился онъ къ хозяину, вытирая цвѣтной ширинкой мокрое лицо и бороду. — Какъ зовутъ тебя, милый человѣкъ?

— Киткой меня дразнятъ, отецъ родной,—сказалъ улыбаясь хозяйинъ:— Киткой Голодранцемъ: Китомъ меня попъ окрестилъ—вотъ я и Китка; а Голодранецъ—по шерсти кличка—видишь, отецъ, голо.

И онъ, попрежнему добродушно улыбаясь, развелъ руками, показывая, что не красна его изба ни углами, ни пирогами. Самъ онъ былъ маленький, тщедушный, съ рѣдкою бороденкой и бѣлыми какъ кипень зубами; но въ маленькомъ лицѣ было столько добродушія и честной прямоты, что оно сразу располагало къ нему всякаго.

— Видишь, отецъ,—пояснилъ онъ:— не красна изба ни углами, ни пирогами; а и всей скотинки-ту у меня—одна кошечка.

И онъ погладилъ кошечку, которая вылезла изъ печурки и терлась у ногъ гостя; граціозно выгибая свою пушистую спинку, а потомъ вскорѣ перебралась къ нему на колѣни.

Гость уже сидѣлъ на лавкѣ, опершись локтемъ о столъ, и, видимо, отдыхалъ. Выразительные глаза его были задумчивы и грустны. Онъ машинально гладилъ кошечку и что-то, повидимому, соображалъ: въ глазахъ свѣтился не то укоръ кому-то, не то смущеніе.

Вдругъ послышался слабый стонъ.

— Что это?—встрепенулся гость.

— Это, отецъ, баба моя на печкѣ,—смущенно заговорилъ хозяйинъ:— я сказывалъ тебѣ.

— Знаю, знаю. Вотъ что, Титъ,—а какъ по отчеству?

— Захаровъ былъ.

— Вотъ что, Титъ Захарычъ,—сказалъ гость, вставая:— ужъ коли ты не далъ мнѣ замерзнуть подъ заборомъ, такъ буду я тебѣ кумомъ—крестнымъ отцомъ младенца, котораго нынѣ вамъ Богъ посылаетъ.

Титъ радостно заволновался.

— Ахъ, отецъ родной!.. вѣкъ за тебя будемъ Бога молить: вѣтъ ко мнѣ, къ нищему, ни кто въ кумовья не пойдетъ: а вотъ тебя Богъ послалъ, вѣстимо. Онъ самъ Батюшка. Вонъ и куму-то давѣ насилу запла-

кала моя Орина у сусѣда—въ ногахъ валялась: шибко норовистъ богатый сусѣдушко.

— А кто такой?—спросилъ гость.

— Да Илья Щекинъ.

— Это тотъ, что изба вотъ тутъ большая?

— Онъ и есть богатей на всю губу.

— Точно!.. А меня взашей прогналъ изъ-подъ окошка, когда я приселъ къ нему почевать. Не постучись я къ тебѣ—пришлось бы замерзнуть подъ заборомъ.

— Оо-хо-хо!—вдохнулъ Тить:—до чего богатство доводитъ—Бога богатые забываютъ.

При этихъ словахъ гость какъ-то особенно странно взглянулъ на хозяина: взглядъ этотъ говорилъ что-то, допрашивалъ, казалось, о чемъ-то, ждалъ отвѣта; но простоватый Китка ничего не понялъ, и ему какъ-будто чего-то страшно стало.

Онъ нерѣшительно глянулъ въ глаза незнакомцу. Никогда не видать онъ такихъ глазъ. Ему казалось, что если такими глазами глянуть на печь—печь развалится, на дерево—дерево усохнетъ. А между тѣмъ въ глазахъ свѣтилось что-то доброе, ласковое. И онъ съ суетѣрнымъ страхомъ сталъ молиться въ душѣ; но этотъ страхъ былъ особенный. Ему почему-то тутъ-же припомнились слова батюшки, отца Нифонта: „страннаго примешь—ангела примешь, а то и самого Христа“. А можетъ и въ самомъ дѣлѣ ему Богъ ангела послалъ. Такъ нѣтъ: онъ видѣлъ въ церкви ангеловъ на образахъ—все молоденькіе... „въ родѣ какъ-бы дѣвушекъ, а то и махонькихъ робятокъ съ крылышками“. А этотъ—здоровый мужикъ да и борода рыжая, большая. Зато руки незнакомца поразили Китку: такихъ рукъ, какъ и глазъ, онъ никогда не видывалъ.

На печкѣ повторился стоѣтъ.

— Китюшка... родной... бѣги за баушкой—часъ мой насталъ.

Тить заметался по избѣ, отыскивая шапку.

— Не осуди, отецъ родной,—робко обратился онъ къ пришельцу:—я побѣгу.

— Бѣги, бѣги, милый человѣкъ.

— А какъ-же ты не поужинавши?

— Я не голоденъ, милый человѣкъ, я только усталъ—лягу на лавку, укроюсь тулупомъ, усну себѣ, а тѣмъ временемъ Богъ подаритъ меня крестникомъ—не хочу крестницы!

Хозяинъ ушелъ, а гость, оставшись одинъ, опустился на колѣни и сталъ горячо, со слезами на глазахъ, молиться. Долго онъ молился, долго шепталъ молитвы, а потомъ, улегшись на лавку и укрывшись съ головой тулупомъ, скоро заснулъ крѣпкимъ сномъ.

III.

Неожиданное нумовство.

Зимнее яркое утреннее солнце сквозь прозрачный пузырь заглядывало уже въ бѣдную избушку Тита, когда незнакомецъ, спавшій на лавкѣ, проснулся. Онъ сбросилъ съ себя тулупъ, торопливо поднялся и перекрестился. Глаза его изумленно оглядѣли ветхую избушку и, казалось, говорили: „гдѣ я?.. что со мной?“

Но скоро взглядъ незнакомца засвѣтился радостью. Бѣлая кошечка уже терлась около его ногъ.

— А... Тить Захарычъ, здравствуй!—весело сказалъ онъ.

— Здравія желаю, кормилецъ,—какъ почивалъ?—засуетился хозяинъ.

— Отмѣнно, милый человекъ: давно такъ не спалъ.

Послышался крикъ новорожденного.

— А! кого Богъ далъ?—улыбнулся незнакомецъ.

— Сына, отецъ родной.

— Я такъ и зналъ... не люблю дѣвчонокъ. А когда же крестины?

Мнѣ надо сгнѣшить въ Москву—дѣло есть.

— Какъ прикажешь, отецъ родной, хоть сейчасъ.

— Добро!.. а ждать некогда.

Тить опрометью бросился звать батюшку и куму. Незнакомецъ остался одинъ въ избѣ, да на печи, слышно, роженица возилась съ ребенкомъ.

Странная улыбка играла на выразительномъ, нѣсколько суровомъ лицѣ незнакомца. Онъ такъ задумался, сидя у стола и подперевъ ладонью голову, что и не замѣтилъ сразу, какъ хозяинъ тихо вошелъ въ избу въ сопровожденіи какой-то бабы.

— А, это ты, Тить Захарычъ?

— Я, отецъ, а вотъ и кума.

— Жена сосѣда, что вчера?..

Незнакомецъ не договорилъ. Въ дверяхъ показался священникъ. Это былъ старенькій попикъ съ кроткими голубыми глазами и благообразнымъ лицомъ.

Незнакомецъ при видѣ священника всталъ и подошелъ подѣ благоговеніе.

— Благослови, отче.

Священникъ глянулъ на незнакомца и какая-то внезапная мысль поразила его. Онъ гдѣ-то видѣлъ это лицо. Какъ молнія, память перенесла его въ Москву, въ Архангельскій соборъ. Тамъ онъ видѣлъ это лицо, но въ какой-то другой обстановкѣ. Казалось, онъ видѣлъ его тамъ въ какомъ-то сіяніи, въ золотѣ. Но не образъ-ли онъ это видѣлъ въ соборѣ?.. Нѣтъ, не образъ, а живое лицо...

Онъ вспомнилъ—и весь задрожалъ. Изба, казалось, заходила кругомъ... Онъ упалъ на колѣни...

— Не мнѣ благословлять тебя,—бормоталъ онъ растерянно:—ты благовослови меня...

Все это произошло необыкновенно быстро, такъ что едва-ли кто и замѣтилъ случившееся въ избѣ.

Священникъ глянулъ въ глаза незнакомцу и увидѣлъ, что тотъ приложилъ палецъ ко рту. Глаза незнакомца все сказали—и растерявшійся понялъ это. Онъ быстро вскочилъ съ полу и сдѣлалъ широкое крестное знаменіе.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа...

— Аминь.

Незнакомецъ смиренно принялъ благословеніе отъ священника и поцѣловалъ его руку. Подѣлуй этотъ, казалось, обжогъ благословляющую десницу скромнаго служителя церкви. Онъ не зналъ, какъ ему стать, куда глянуть. Но незнакомецъ прервалъ тягостное замѣшательство.

— Ну, куманекъ,—обратился онъ съ улыбкой къ хозяину, который былъ точно на иголкахъ, догадываясь о чемъ-то необыкновенномъ, что совершалось въ его жалкой избенкѣ. Особенно смущало его замѣшательство отца Нифонта.—„Ужъ и въ самъ дѣлъ не аядела-ли я принялъ?“—шевелилось опять въ его простоватомъ мозгу.—„Дакъ нѣтъ—тѣ съ крылышками, а для Христа онъ, сказать-бы, старъ“.—Ну, куманекъ,—говорилъ этотъ таинственный гость: проси батюшку крестить младенца.

— Поспѣшу... поспѣшу — неукоснительно,—бормоталъ батюшка: — въ храмъ или здѣсь?

— Здѣсь, здѣсь, —отвѣчалъ гость.

Священникъ торопливо вышелъ. Черезъ нѣсколько минутъ онъ воротился вмѣстѣ съ дьячкомъ, который внесъ въ избу купель и узелъ съ священническимъ облаченіемъ. Оба они казались очень взволнованными и дѣлали все торопливо, нервно. Дьячокъ хлопоталъ съ кумой около купели, устанавливая ее на неровномъ полу избы и наливая холодной водой изъ кадки, стоявшей у порога. Священникъ между тѣмъ облачился. Смущенный хозяинъ, его жена-роженница и кума съ удивленіемъ замѣтили, что отецъ Нифонтъ облачился на этотъ разъ въ лучшія свои бѣлыя глазетовыя ризы, которыя онъ надѣвалъ только въ Свѣтлое Христово Воскресенье и на Тронцу.

По заведенному обычаю, кума положила на столъ принесенныя ею для новорожденнаго „ризки“.

Таинственный гость, увидѣвъ это, вспомнилъ, что и онъ, какъ восприемникъ, долженъ съ своей стороны принести „даръ“ для воспринимаемаго имъ новаго христіанина—и непременно крестъ.

Тогда онъ, разстегнувъ свой кафтанъ, снялъ съ шеи великолѣпный золотой крестъ, усыпанный драгоценными камнями.

— Вотъ и мой даръ младенцу,—сказалъ онъ, положивъ крестъ на ризки:—пусть носить на здравіе и души спасеніе.

Крестъ сверкалъ разноцвѣтными огнями.

— Отецъ родной!—не вытерпѣлъ Титъ:—стоймъ-ли мы, нищѣ захребетники, такихъ даровъ!

— Про то я знаю да Богъ,—отвѣчалъ гость:—душа человѣческая дражае злата и камней самоцвѣтныхъ: а ты, милый человѣкъ, душу мою спасъ—ты не далъ мнѣ помереть наглою смертію.

Приступили къ крещенію.

— Какъ-же младенца-то назвать?—тихо обратился священникъ къ родителямъ:—нонѣ память преподобныхъ Кира и Іоанна безсребренниковъ; не дать-ли крещаемому имя Кира?

Титъ смущенно глянуть въ глаза гостю.

— Пусть будетъ Иванъ,—сказалъ этотъ послѣдній:—у насъ нонѣ на Москвѣ государствуетъ государь великій князь Іоаннъ Васильевичъ всеа Русіи.

— Аминь,—тихо, но внятно произнесъ священникъ.

Едва кончился обрядъ крещенія, какъ дверь избы отворилась, и въ нее робко вошла матушка, старушка попадая. Въ рукахъ у нея былъ узелокъ. Низко поклонившись гостю и вѣмъ находившимся въ избѣ, она развязала узелокъ, достала изъ него чистую скатертцу, хлѣбъ, кусокъ вяленой бѣлорыбицы, берестяночку съ солеными грибами и бутылку заморскаго вина, которое отецъ Нифонтъ хранилъ у себя на случай посѣщенія его убогой церкви какою-либо вышею духовною особою.

Потомъ матушка накрыла своей скатертью столъ, положила хлѣбъ, переложила рыбу на деревянную тарелку, достала ножъ, которымъ сдѣлала на хлѣбѣ крестъ, и молча поклонилась гостю, приглашая его на трапезу.

— Спасибо, матушка,—ласково сказалъ гость.—Отецъ Нифонтъ! благослови трапезу.

Отецъ Нифонтъ благословилъ.

— Садись-же, отче.

Отецъ Нифонтъ смущенно переминался на мѣстѣ, но садиться не рѣшался.

— Садись-же,—повторилъ гость, лукаво улыбаясь:—тебѣ подобаетъ сидѣть въ переднемъ углу.

Но отецъ Нифонтъ не могъ совладать съ своей робостью и не сядя.

— Ну, инъ, я сяду, коли такъ,—рѣшилъ гость, пробираясь подъ образъ.

Онъ сѣлъ и весело и лукаво обвелъ глазами всѣхъ присутствовавшихъ.

— А помнишь, отче, русскую поговорку про передній уголъ?—съ лукавою улыбкой обратился онъ къ отцу Нифонту.

Тотъ еще больше смѣшался и ничего не отвѣчалъ.

— Не помнишь? Такъ я тебѣ напому, — продолжалъ гость тѣмъ-же тономъ:—въ переднемъ углу сидитъ либо попъ, либо дуракъ... Ну, инъ, пусть-же я на сей разъ буду дуракомъ.

И гость весело разсмѣялся, наливая себѣ чарочку вина и выпивая ее маленькими глотками.

— Э!—разсмѣялся онъ весело, ставя чарочку на столъ и обращаясь къ Титѣ:—да ты, братъ кумъ, не промахъ; вишь какимъ винцомъ дурака угощаешь—на славу вино!

— Ахъ, отецъ родной!—заметался Титъ:—ахъ, куманекъ любезный! да и вино-ту не мое, и все угощеніе не мое, а батюшкино, отца Нифонта. А у меня, куманекъ, ни синь-пороху.

— Добро, добро,—улыбался гость, закусывая грибами.

Вставъ изъ-за стола, онъ благодарилъ и отца Нифонта и хозяевъ за пріютъ и угощеніе, а кумѣ и женѣ Тита далъ нѣсколько серебряныхъ и золотыхъ монетъ—„корабленниковъ“.

— А теперь, куманекъ,—обратился онъ снова къ хозяину:—гдѣ-бы мнѣ раздобыть клячку да санишки—до Москвы добраться.

А Титъ уже раньше выбѣгалъ на дворъ и видѣлъ, что сани и лошади-сосѣда, того самого Ильи Щекина, что ночью прогналъ отъ своего окна путника, уже стоятъ у крылечка, а на козлахъ сидитъ его батракъ.— „Для кого это?“— „Для твоего кума“— „Самъ Илюша прислалъ?“— „Онъ самый.“— „Ишь догадливый!.. спасибо ему“.

— А?.. какъ-же, куманекъ?.. будетъ клячка?—спрашивалъ гость:—вонъ ты меня такъ угостилъ, что я теперь самъ, сѣяну, поиди и **Москву** не найду.

Ободренный Титъ весело смѣялся.

— Помилуй, куманекъ дорогой,—говорилъ онъ, кланяясь:—вонъ и **сани** стоятъ у крыльца.

— Спасибо, милый человѣкъ.

Гость наскоро одѣлся, попрощался со всѣми и вышелъ изъ избы. **Всѣ** провожали его съ низкими поклонами.

Гость сѣлъ въ сани и велѣлъ трогать.

— Какъ-же, куманекъ милый, намъ поминать тебя?—кричалъ ему въ слѣдъ растроганный Титъ:—за кого молиться?—да приведетъ-ли **намъ** Богъ видѣть тебя когда?

— Такъ ты приходи самъ ко мнѣ на Москву въ гости,—отвѣчалъ незнакомецъ.

— Ахъ, куманекъ! Москва—не Котлы: какъ тебя найдешь тамъ?

— Найдешь, спроси только *кума* *Ивана* и тебя приведутъ ко мнѣ.

Сани исчезли за сугробами снѣга, а озадаченные котловяне все **смотрѣли** имъ въ слѣдъ, давно ничего не видя.

— Ужъ и чудной-же человѣкъ!—развелъ руками Титъ:—либо онъ большой бояринъ, или набольшій протопопъ.

Отецъ Нифонтъ ничего не отвѣчалъ.

IV.

Государыня Софья Ѧоминишна.

Въ то время, когда въ Котлахъ, въ жалкой избѣ Тита, крестили новорожденнаго, въ Москвѣ, особенно-же въ Кремлѣ и въ великокняжескомъ дворцѣ происходило что-то необыкновенное. Раннимъ утромъ по всему дворцу разнеслась страшная вѣсть, что, наканунѣ еще, великаго князя и государя Ивана Васильевича не оказалось въ княжескихъ палатахъ, и гдѣ онъ дѣлся—никто ничего не вѣдалъ.

Съ вечера еще, ближній бояринъ, князь Данило Холмскій, знаменитый побѣдитель новгородцевъ въ Шелонской битвѣ, явившись во дворецъ съ докладомъ, не нашелъ великаго князя. Кого онъ ни спрашивалъ—не видали-ли государя—всѣ отвѣчали, что великаго государя никто не видалъ съ самаго обѣда.

Холмскій явился къ государынѣ, къ великой княгинѣ Софьѣ Ѧоминишнѣ, чтобъ у нея освѣдомиться о государѣ, но и та ничего не знала.

Тогда разослали гонцовъ во всѣ концы города и въ Замоскворѣчье; но дѣти боярскіе, возвращаясь во дворецъ одинъ за другимъ, къ ужасу Холмскаго, докладывали, что великаго князя нигдѣ нѣтъ и никто о немъ ничего не слыхалъ.

Такъ прошла ночь.

Холмскаго пугало одно обстоятельство. Онъ больше другихъ зналъ привычки великаго князя, „собирателя русской земли.“ Онъ зналъ, что Иванъ Васильевичъ любилъ тайно, переодѣтымъ, ходить по городу, по базарамъ и площадямъ, чтобы лично прислушиваться къ народному говору, къ тому, что о немъ и о его дѣлахъ и подвигахъ думаетъ вся Русь и доволенъ-ли народъ его порядками и людьми, долженствовавшими блюсти эти порядки. Въ то время на Руси не было ни газетъ, ни того, что въ настоящее время называется общественнымъ мнѣніемъ. Все, что ни дѣлалось на Москвѣ и во всей русской землѣ, доходило до государя или черезъ уста ближнихъ бояръ или чрезъ отписки воеводъ и намѣстниковъ. Но для умнаго государя этого было мало. Онъ самъ хотѣлъ слышать, что говорить и думаютъ о немъ не одни бояре и воеводы. Онъ крѣпко вѣрилъ непогрѣшимости народнаго изреченія: „гласъ народа—гласъ Божій.“ Онъ чувалъ своимъ практическимъ чутьемъ, что покореніе Новгорода и суровыя мѣры, примѣняемыя къ новгородцамъ, вызывали въ странѣ глухой ропотъ. На разореніе Новгорода многіе смотрѣли какъ на ненужную, не только не полезную для государства, но совершенно вредную для него жестокость. „Али мы татары!“ слышалъ онъ однажды на базарѣ возгласъ новгородца: „за то, что мы были богаты и вольны—такъ насъ и разорять. У насъ былъ свой вѣчный колоколь — онъ и говорилъ намъ про волю; а у васъ на

Москвѣ и колокола святыя пикнуть не смѣютъ. “ Слова эти запали въ душу великаго князя и онъ ихъ не забылъ, а потомъ все чаще и чаще прислушивался къ народному говору.

Холмскій зналъ это, и когда не нашелъ во дворцѣ великаго князя, то тотчасъ же догадался, что онъ прошелъ изъ дворца тайнымъ ходомъ, ему одному извѣстнымъ, и этимъ же ходомъ возвратится во дворецъ. Но когда разомъ налетѣла на городъ вьюга, а за нею настала и ночь, а великій князь не возвращался, Холмскимъ овладѣлъ страхъ. — “Долго-ли до грѣха въ такую непогоду!”

Такія же опасенія, но только въ болѣе острой степени, угнетали и великую княгиню. Она не спала всю эту ужасную ночь; она постоянно ставилась на молитву; но и молитва не приносила облегченія ея смущенной душѣ. Стоя на колѣняхъ или прижавъ пылающей годовой къ холодному дереву кіоты съ чудотворнымъ образомъ Богородицы, она невольно прислушивалась къ вою вьюги, бушевавшей надъ Кремлемъ, и въ этомъ воѣ ей слышался стонъ, заставлявшій трепетать все ея тѣло.

То она подходила къ кроваткѣ своего маленькаго сына Васюты и, глядя на его розовое, во снѣ улыбающееся личико, въ сотый разъ повторяла обычное бабье причитанье: „на кого ты насъ, сиротъ, кормилецъ нашъ, покинулъ?“—и слезы неудержимо лились изъ ея прекрасныхъ черныхъ глазъ, въ которыхъ и подъ московскими снѣгами не погасъ огонь южнаго, жаркаго солнца ея далекой родины.

Вотъ и теперь, утромъ, когда яркое зимнее солнце, ворвавшись тѣлыми снопами лучей въ окна терема великой княгини, сверкаетъ золотомъ на шелковыхъ узорахъ вышиванья, передъ которымъ сидитъ, глубоко задумавшись—Софья Ѳоминишна, глаза ея видимо заплаканы.

Въ эти мучительно тревожные часы передъ нею проходитъ вся ея жизнь. Что-то будетъ съ нею, когда ея великаго князя не станетъ? А если его уже нѣтъ въ живыхъ? При одной этой мысли руки ея холодѣютъ, и иглъка падаетъ на малиновый бархатъ ея работы.

Любила-ли она его, однако? Нѣтъ, когда она, тамъ, въ далекой, милой Италіи, еще дѣвушкой, узнала, что за нее сватается великій князь московскій—ее охватилъ ужасъ. Какъ это ей покинуть милое южное небо, это бирюзовое море, свои привычки, всю привычную обстановку всей ея жизни—и тащиться въ далекій, невѣдомый край, гдѣ по хмурому небу ходитъ такое холодное, непривѣтливое солнце, гдѣ царствуетъ вѣчный снѣгъ, гдѣ не понимаютъ ея родной рѣчи и гдѣ не съ кѣмъ ей будетъ обмѣняться живымъ словомъ! А каковъ онъ самъ, ея нареченный женихъ?.. Варваръ, въ полномъ смыслѣ варваръ, какъ ей казалось.

Но выбора не было для бѣдной отрасли царственнаго дома нѣкогда могущественныхъ Палеологовъ. Внучка императоровъ византійскихъ — она тамъ, на даломъ сѣверѣ, должна возстановить свой царственный родъ. И какъ горько она плакала, расставаясь съ родными и отправляясь въ невѣдомый путь!

Нѣтъ, тогда она не любила его, не могла любить!

Какой безконечный путь, безконечное плаваніе по невѣдомымъ морямъ! Все это теперь припомнилось ей. Чѣмъ дальше уносилъ ея сердце чужой корабль отъ ея милой родины, тѣмъ болѣе и болѣе ныло и тосковало это сердце. Еще когда корабль плылъ вдоль италійскихъ и гишпанскихъ береговъ, она видѣла съ палубы этого корабля что-то свое, родное: зеленныя и лазоревыя горы, красивые берега, лимонныя и апельсиновыя рощи, красивые букеты гордыхъ пальмъ, ярко-голубое небо; но чѣмъ болѣе корабль подвигался къ сѣверу, тѣмъ однообразнѣе и грустнѣе становились картины, на которыя она глядѣла грустными глазами: бирюзовое море смѣнялось какимъ-то свинцовымъ, пологіе берега становились все однообразнѣе и однообразнѣе, и небо было уже не то, что тамъ, на ея родномъ югѣ.

Тоскливый, безконечный путь!

Но вотъ однажды, пасмурнымъ, туманнымъ утромъ, когда мокрый западный вѣтеръ порывисто надувалъ мокрые паруса ея корабля, ей указали на низменную, такую-же туманную какъ утро полосу земли и сказали, что это русская земля! Какой тревогой и боязнью сжалось ея и безъ того истосковавшееся сердце!

Такъ вонъ она та далекая, невѣдомая русская земля, гдѣ она должна похоронить свою молодость, свою красоту!.. Сыро, туманно, тоскливо кругомъ...

Нѣтъ, она не любила его!

Но вотъ она покинула и свой корабль, на которомъ она такъ много и такъ нерадостно думала. Теперь и корабль этотъ казался для нея чѣмъ-то своимъ, роднымъ, близкимъ. Но она и съ нимъ должна была проститься—проститься навсегда!

Какъ она помнить эти псковскія суда—„насады“, которые окружили ея корабль! Эти псковскіе бояре въ высокихъ мѣховыхъ шапкахъ, эти длинные, шитые золотомъ кафтаны, эта незнакомая рѣчь — какъ все это было не похоже на то, къ чему она привыкла съ дѣтства!..

Вотъ они плывутъ Наровою по землямъ великаго Пскова... Вотъ и Псковъ, торжественныя встрѣчи, а тамъ—Москва и—онъ!—ея будущій мужъ и государь!

Нѣтъ!—тогда она не любила его...

Зачѣмъ же теперь слезы текутъ по ея смуглымъ щекамъ и падаютъ на богатое вышиванье?

— Мама, мама! о чемъ ты плачешь? — услышала она дѣтскій голосъ.

Это прибѣжалъ изъ сосѣдней палаты ея сыночекъ, князюшка Васюта, пяти или шести лѣтъ хорошенькій мальчикъ.

— О чемъ ты, мама?—заглядывалъ онъ ей въ глаза.

— Ахъ, сыночекъ!.. да все о томъ, что батюшки князя доселѣ нѣту,—отвѣчала княгиня.

И она, обхвативъ руками курчавую головку сына, тихо причитала: „и на кого ты насъ, сиротъ твоихъ, покинулъ?“

Ребенокъ тоже громко заплакалъ, уткнувъ лицо въ колѣни матери. Княгинѣ стало жаль малютку, и она начала утѣшать его.

— Не плачь, дитятко, батюшка князь скоро воротится.

— А гдѣ онъ?—спросилъ ребенокъ.

Этотъ наивный вопросъ смутилъ княгиню. Она не знала, что отвѣчать.

— А я знаю, куда поѣхалъ батюшка, — серьезно сказалъ мальчикъ, утирая заплаканные глаза.

— А куда, дитятко?—обрадовалась мать.

— Псковъ громить,—быстро отвѣчалъ мальчикъ:—вчера батюшка за что-то разгнѣвался на Псковъ и говорить князю Данилѣ Холмскому: „я,—говорить,—скоро и Псковъ разгромлю, какъ разгромилъ Новгородъ“. А что, мама,—продолжалъ лепетать ребенокъ,—и во Псковѣ есть Марѳа посадица и вѣчной колоколь? А знаешь, мама, когда я буду государствовать на Москвѣ,—знаешь—кого я разгромлю?

— Кого, дитятко?—глота слезы, спросила княгиня.

— Крымъ!.. Я возьму въ полонъ крымскаго хана... А что это ты вышиваешь, мама?

— Орла государева, дитятко.

— Орла!.. А для чего у него двѣ головы?

— Это двуглавый орелъ, дитятко: это наше государское знаменіе, это мое вѣно—это государское знаменіе моихъ отцовъ и дѣдовъ.

Вдругъ въ сосѣдней палатѣ, со стороны „государевыхъ переходовъ“, послышались чьи-то шаги.

Княгиня радостно, скорѣе какъ бы испуганно встрепенулась. Она узнала знакомые шаги—шаги того, котораго она когда-то не могла полюбить—его, всегда угрюмаго, вѣчно занятаго своими думами о „собираніи русской земли“, всегда холоднаго... „Стерпится—слюбится“—слова эти не сходили съ его устъ... И вотъ „стерпѣлось“—она полюбила его...

— Это онъ!

— Кто, мама?

Шаги все ближе и ближе... Вотъ онъ сейчасъ войдетъ...

Княгиня сорвалась съ мѣста... Въ дверяхъ стояла могучая фигура мужчины. На рыжей окладистой бородѣ заиграло солнце—это былъ онъ!

Княгиня съ радостнымъ крикомъ бросилась ему на шею...

— А ужъ я, горькая, не чаяла и въ живыхъ видѣть тебя, свѣта моего!.. Ваня! соколикъ!.. радость очей моихъ!

V.

Титъ ищетъ нума Ивана.

Миновала суровая московская зима. Солнце все лѣвѣе и лѣвѣе восходить за Москвою, когда Титъ, выйдя изъ своей избенки утромъ, молится,

оборотятся лицомъ къ востоку, а потомъ обернется лицомъ къ своей избенкѣ и увидитъ, что она все больше и больше разваливается: и крыша вся расползлась, и углы позавалились.

Покачаетъ, покачаетъ Титъ своей безталанной головой, почешетъ въ затылкѣ,—а что подѣлаешь? чѣмъ взяться?

Котлы все ярче и ярче одѣваются въ зелень. Ласточки давно прилетѣли и не гнушаются жалкой, разваливающейся избенкой Тита...

— Вонъ, касатя, и гнѣздышко у меня лѣпнютъ—это къ счастью, — утѣшаетъ себя Титъ.

А между тѣмъ въ избѣ ѣсть нечего. Плачется Орина и ребенокъ плачетъ съ голоду, а Титъ все утѣшаетъ жену:

— Погоди, Орина, вотъ уже пойду въ гости къ куму Ивану...

— О! дуракъ, дуракъ!—махнетъ на него рукой Орина: — гдѣ ты будешь этого кума искать?

— Гдѣ?... на Москвѣ!... Онъ сказалъ—онъ не обманетъ... онъ не такой человекъ...

— Ахъ, дуракъ! дуракъ!.. да вить Москва, чать, не Котлы!

— Онъ самъ сказалъ... онъ не обманетъ.

— Да какъ ты его сыщешь тамъ, дурацкая твоя образина!.. Ноли на Москвѣ только и есть одинъ Иванъ твой кумъ?

— Да онъ самъ сказалъ: спроси, гыть, только кума Ивана, и тебя приведутъ ко мнѣ... А онъ не обманетъ—не такой онъ человекъ... А я хлѣбца попрошу у него, и лѣску для избы—онъ всего дастъ.

— О, дуракъ, дуракъ!.. что мнѣ съ нимъ дѣлать, Господи!

Идетъ огорченный Титъ и къ сосѣду своему, къ Ильѣ Щекину—позичить хлѣбца, а тотъ ему тоже въ отвѣтъ: „эхъ, дуракъ, дуракъ! да чѣмъ ты отдашь?“

— Да вонъ я уже пойду на Москву къ куму Ивану.

— Ха-ха-ха—вотъ дуракъ!

— Онъ мнѣ всего дастъ...

Опять та же исторія. Всѣ смѣются надъ дуракомъ Киткой; а Титъ не унываетъ.

Наконецъ онъ идетъ къ батюшкѣ, къ отцу Нифонту.

— Благослови, отецъ Нифонтъ, на Москву иду.

— Что? какъ?

— Да пойду къ куму Ивану.

— Что-жъ, дѣло хорошее, давно бы пора надуматься тебѣ, Титушко: вить онъ звалъ тебя въ гости.

— Звать-то звалъ... А вонъ всѣ смѣются—говорятъ: дуракъ, дуракъ!—въ одно слово всѣ дуракомъ называютъ. А ты какъ, батюшка, думаешь?

— Да думаю, Титушко, что ты не дуракъ, а только смиренъ, и тебѣ за смиреніе Господь пошлетъ.

— А какъ ты думаешь, отецъ Нифонтъ, я найду его на Москвѣ?

— Непременно найдешь: тебя такъ къ нему и привести.

— А какъ ты думаешь: кто онъ такой? Большой бояринъ?

Палагаю, что большой.

А може самъ митрополитъ?

Можетъ и митрополитъ.

Гото и я мекаю.

О! да ты мужикъ не промахъ.

Наконецъ Титъ рывнулся. Съ утра натянулъ на себя рваный чапанчикъ, подвязалъ новой мочалкой лапти, досталъ пзъ сосѣдняго плетня залку и, перекрестясь на востокъ, а потомъ на церковь, потянулъ къ Москвѣ, ничто-же сумняся...

— Боянъ нашъ дуракъ пошелъ на Москву кума Ивана искать,—смѣялись ему въ слѣдъ мужики.

А Титъ идетъ себѣ, полный вѣры въ своего кума, и посмѣивается себѣ въ ороуду.

Богъ уже посмотримъ, кто засмѣется,—думаетъ онъ себѣ.

Какъ нарочно, на этотъ разъ и утро выдалось великолѣпное. Солнце такъ ласково грѣетъ. Зеленая трава словно живая тянется къ небу и не нарадуется, что она опять оживаетъ послѣ суровой зимы. Въ рошѣ гдѣ-то заливается соловей, а на сосѣднемъ огородѣ, надъ развѣсистыми ветлами, съ радостнымъ задоромъ выются стаи грачей.

Но Тита не занимаетъ весенній концертъ природы. Онъ думаетъ о оцѣли своего путешествія, о томъ, что его ожидаетъ въ Москвѣ и обрадуется-ли ему кумъ Иванъ.

А Москва все ближе и ближе. Золотыя маковки церквей такъ ярко горятъ на солнцѣ. Въ нѣкоторыхъ церквахъ слышится благовѣсть. Титъ снимаетъ свою шапчонку и набожно крестится. Въ головѣ его шевелится даже игровая мысль при видѣ рваной шапки:

Эхъ, ты, шапка, ты, шапка моя,
Одново сукна съ онучею!

Онъ смотритъ и на онучи. Не казисто сукно на онучахъ.

— Ну, ужъ недолго мнѣ носить такіа,—думаетъ онъ.

Но вдругъ его поражаетъ мысль. А что если да кумъ его уѣхалъ куда изъ Москвы?.. что если теперь онъ совсѣмъ не живетъ въ бѣлокаменной? Онъ, довѣрчивая душа, не сомнѣвался, что найдетъ только онъ кума Ивана, тотъ озолотитъ его. Онъ почему-то глубоко увѣровалъ въ своего кума. Но что если его нѣтъ въ Москвѣ?.. Отчего онъ ни разу не вспомнилъ ни о немъ, о своемъ кумѣ Титкѣ, ни о своемъ крестникѣ?.. Отчего, если онъ такой большой бояринъ, не прислалъ кого-либо изъ холопей навѣдаться о здоровьѣ своего крестника?..

А тутъ вотъ уже и Серпуховскія ворота. Ярко горятъ на вершинѣ ихъ золотой крестъ.

Титъ къ воротамъ—снимаетъ опять шапку и крестится.

У воротъ стоятъ два стражника съ бердышами. Титъ почтительно хотѣлъ-было проскользнуть мимо нихъ.

— Стой!—закричали стражники.

Титъ оторопѣлъ и снялъ шапку.

— Ты кто таковъ?—спрашивали его.

— Я... я Китка изъ Котловъ, кормильцы.... Китъ.

— А куда идешь?

— Въ Москву, кормильцы.

— Зачѣмъ?—продолжался допросъ.

— Кумъ у меня тамotka есть.

— Кумъ, говоришь?—и стражники многозначительно переглянулись.— Какой кумъ?

— Да кумъ Иванъ, родимые: приходи-гыть-ко мнѣ въ гости, Китъ Захарычъ.

— Это онъ! держи его!

И стражники схватили несчастнаго подъ руки. Онъ весь затрепеталъ.

— Батюшки свѣты!.. за что-же!.. О-о!

VI.

У князя Холмскаго.

Перепуганнаго Тита повели прямо въ Кремль. Онъ не зналъ, что и подумать обо всемъ съ нимъ приключившемся, но разспрашивать боялся, тѣмъ болѣе что молчали и сопровождавшіе его стражники. Но какъ ни страшно казалось ему все окружающее, въ душѣ онъ глубоко вѣрилъ въ своего кума.

„Не такой онъ человекъ“, копошилось у него въ мозгу.

Скоро стражники подвели его къ богатымъ каменнымъ палатамъ. У крыльца стояли два ратника съ алебардами въ рукахъ.

— Дома князь его милость бояринъ Данило Димитричъ?—спросилъ одинъ изъ стражниковъ.

— Дома, сейчасъ отъ великаго государя пришелъ,—отвѣчалъ ратникъ.

— Поди и доложи боярину: отъ Серпуховскихъ—де воротъ стражники пришли по самонужнѣйшему дѣлу.

Ратникъ вошелъ въ хоромы. Черезъ нѣсколько минутъ онъ воротился и приказалъ стражнику отъ имени князя идти въ покои.

— Тамъ тебя проведутъ,—пояснилъ онъ.

Въ покояхъ стражника встрѣтилъ молоденькій боярченокъ—сынъ боярскій и провелъ его во внутренніе покои князя.

Князь Холмскій задумчиво ходилъ вдоль образной палаты въ ожиданіи стражника. Сѣдая, но мужественная еще голова его была низко опущена

на грудь, на которой ярко блестѣла золотая гривна. Отъ времени до времени онъ теребилъ нетерпѣливо свою длинную, серебристую бороду.

Да и было о чемъ задуматься! Сегодня великій князь такъ гнѣвенъ. Изъ Пскова пріѣхало посольство съ жалобою на своего князя Ярослава Владиміровича и на его намѣстниковъ. Великій князь сегодня намѣренъ пустить пословъ къ себѣ на очи, но очень гнѣвенъ: какъ-бы Холмскому не пришлось вести рати противъ псковичей, какъ онъ водилъ противъ новгородцевъ. А легко-ли проливать кровь своей же братьи, православныхъ!.. Вонъ и до сихъ поръ по ночамъ, въ тонцѣ снѣ, ему видится часто Марѳа посадница, которая рветъ свои сѣдые косы и горько плачется: „отдай мнѣ моихъ сыновей! вороти мнѣ мою вотчину, Великій Новгородъ! зачѣмъ отняли у него вѣчный колоколь!“

— Ты что?—спросилъ онъ вошедшаго въ эту минуту стражника.

— Я отъ Серпуховскихъ воротъ, ваша милость,—отвѣчалъ послѣдній, кланяясь.

— По какому такому самонужнѣйшему дѣлу?

— Да мужичка, бояринъ княже, задержали у воротъ.

— Какого мужичка?

— Изъ Котловъ, бояринъ: кума Ивана пытается.

— А!.. кума Ивана... Помню, помню... Спасибо за службу...

— На томъ крестѣ цѣловали, ваша милость.

— Спасибо, спасибо... Инъ пусть взойдетъ ко мнѣ мужичокъ.

Стражникъ вышелъ, бережно ступая по одной половицѣ. Черезъ нѣсколько минутъ въ дверяхъ показалось испуганное лицо Тита. Сзади его тихонько подталкивалъ молоденькій боярченкокъ: — „иди же!.. иди, не бойся!“

— А! здравствуй, Титъ Захарычъ!.. добро пожаловать! ласково обратился къ нему князь Холмскій. — Что—къ куму Ивану въ гости пришелъ?... Давно, давно бы пора. А то ужъ мы подумывали, что ты заспесивѣлся и видѣть не хочешь своего куманька.

Титъ совершенно растерялся. Все, что онъ видѣлъ кругомъ, все, что съ нимъ произошло этимъ утромъ, казалось ему сномъ. Эти стражники съ бердышами, схватившіе его, едва онъ произнесъ имя кума Ивана; этотъ Кремль, черезъ который его провели какъ осужденнаго на казнь; эти богатые палаты, въ которыя его ввели, богатство и великолѣпіе, бросившіяся ему въ глаза,—все это казалась ему волшебствомъ, дьявольскимъ нововожденіемъ.

И вдругъ этотъ сѣдой бояринъ, весь въ золотѣ, точно образъ Николая Чудотворца въ золотой ризѣ, называетъ его Титомъ Захарычемъ, величаетъ по имени и отчеству, словно какого боярина — „добро пожаловать...“

„Господи! что-жъ это такое?“—мутилось у него въ головѣ. — „Да вѣдь это не кумъ Иванъ... У того рыжая голова, и тотъ моложе этого...“

— Ну, какъ поживаешь, милостивецъ?—говорилъ между тѣмъ этотъ

сѣдой бояринъ, съ золотою гривною на шеѣ.—Здоровъ-ли твой сыночекъ Иванушка?.. Что твоя жена—здорова-ли?

Отъ изумленія бѣдный Титъ не могъ промолвить ни слова и стоялъ весь растерянный. Только дрожащія руки его нервно теребили жалкую шапчонку.

Холмскій положилъ ему руку на плечо, желая ободрить.

— Я все знаю,—говорилъ онъ:—мнѣ твой кумъ все рассказалъ. Я знаю, какъ твой богатый сосѣдъ не хотѣлъ пустить къ себѣ на ночь прохожаго, а ты сжалился надъ ближнимъ, ты спасъ христіанскую душу отъ наглої смерти,—и тебя за это Богъ наградитъ на томъ свѣтѣ, а государь великій князь пожалуетъ тебя на этомъ. А знаешь-ли ты, кого ты спасъ?

— Не вѣдаю, родимый,—пробормоталъ допрашиваемый.

— И не догадываешься?

— Отецъ Нифонтъ сказывалъ: либо большой бояринъ, либо самъ владыка.

— Добро, добро, ты самъ его скоро увидишь.

VII.

Псковское посольство.

У государя великаго князя Ивана Васильевича всея Русіи пріемъ псковскихъ пословъ.

Великій князь сидитъ въ Грановитой палатѣ на державномъ мѣстѣ въ полномъ великокняжескомъ облаченіи. На головѣ у него шапка большого выхода. Въ одной рукѣ скипетръ, въ другой—державное яблоко. Золотыя ризы прикрыты бармою. Длинная рыжая борода расчесана по волоску и тоже отливаетъ червоннымъ золотомъ. По правую его руку стоитъ князь Данило Холмскій. Ниже, у подножія трона, около стола стоитъ думный дьякъ Курицынъ и осторожно расправляетъ лежащіе на столѣ свитки—государственные грамоты и договоры. По обѣимъ сторонамъ полукругомъ расположились именитые и думные бояре.

По срединѣ палаты, ближе къ державному мѣсту, кучкою, сбившись какъ испуганное стадо овецъ, стоитъ посольство великаго Пскова: два посадника, именитые бояре и по два посланца отъ каждаго пригорода.

Въ сторонѣ отъ всѣхъ, у окошка, стоитъ нашъ знакомецъ, милѣйшій Титъ Захарычъ въ своемъ обтрепаномъ чапанишкѣ, и добрые глаза его, то и дѣло застилаемые слезами, съ неизреченною любовью смотрятъ на того, кто сидитъ на державномъ мѣстѣ...

„Такъ вотъ кто кумъ Иванъ!..“

Великій князь держитъ рѣчь. Онъ гнѣвенъ, заряженъ негодованіемъ.

— Я вамъ говорилъ тогда, когда жаловаль мою отчину, Псковъ, золотымъ кубкомъ (отчетливо и гудко лилась грозная рѣчь на всю Грановитую палату),—я говорилъ: смотрите-же, псковичи, я, князь великій, хочу васъ, свою отчину, держать въ старинѣ, и вы, наша отчина, слово свое держите честно и грозно надъ собою и жаше себѣ жалованье. Чтoby вы это знали и помнили!.. Помните?

Мертвая тишина. Только слышенъ нервный шорохъ свитковъ подъ дрожащими пальцами дьяка Курицына да у окна—тяжелый, глубокий, но сдержанный вздохъ.

— Нѣтъ, вы это забыли! Забывъ мое, великаго князя, жалованье, вы прислали ко мнѣ пословъ съ безлѣпными, извѣтными рѣчами, что-деи московскіе послы, ѣдучи Псковскою землею, по дорогѣ обижаютъ людей, у проезжихъ-деи отымають лошадей и животы, грабятъ по станамъ и на подворья въ городѣ, требуютъ-деи отъ Пскова грубо поминокъ не по силѣ, а что имъ-деи Псковъ даетъ—то не берутъ... И то ваша вина! Забыли ваше грубство?

Та же мертвая тишина. Слышно только, какъ за окномъ, на карнизѣ, голуби воркуютъ.

— Слушайте, псковичи, моя отчина!—Великій князь возвысилъ голосъ.—Слушай и ты, кумъ!

Титъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и едва не упалъ отъ ужаса. Онъ понималъ, онъ видѣлъ, что послѣднія слова великаго князя обращены къ нему. Но глаза Ивана Васильевича, доселѣ грозные, смотрѣли теперь на трепещущаго Тита ласково, какъ тогда, зимой, у него въ избѣ.

— Слушай, кумъ, какъ я учу моихъ ослушниковъ и какъ жалую добрыхъ людей,—пояснилъ великій князь и снова обратился къ псковскому посольству, которое съ недоумѣніемъ смотрѣло на стоявшаго у окна оборваннаго смерда.

— Слушайте ваши вины, послы Пскова, моей отчины! Когда князь Ярославъ Владиміровичъ, котораго я вамъ далъ, совокупно съ посадниками написалъ грамоту о смердѣй работѣ, вы супротивъ той грамоты возстали крамолою—у многихъ посадниковъ дворы порубили, посадника Гаврилу убили на вѣтъ до смерти, а смердовъ Стехна, Сырня и Лежня посадили въ погребъ. Опасаяся смертнаго убійства, достальные посадники бѣжали къ намъ на Москву, спасаячи свои головы, а вѣче написало на нихъ мертвую грамоту и закликало ихъ во Псковъ на смертную казнь. Помните—въ тѣ поры я указалъ Пскову, моей отчинѣ, откликать отъ смерти посадниковъ, опечатать мертвую грамоту и принести повинную князю Ярославу... Что-жъ вы сдѣлали тогда?.. Забыли?.. Такъ я напому вамъ!

Послы стояли блѣдные, не смѣя поднять глазъ. Иванъ Васильевичъ глянулъ на князя Холмскаго—и тотъ стоялъ блѣдный, безмолвный.

Дьякъ Курицынъ молча подаль князю какой-то свитокъ.

— Да, вотъ она,—сказалъ великій князь, пробѣгая глазами свитокъ и возвращая его дьяку.—И вы, псковичи, моя отчина, и въ тѣ поры оказа-

лись мнѣ, великому князю, ослушны: смердовъ изъ погреба не выпустили, посадниковъ не откликали, князю Ярославу челомъ не добили. Отвѣчайте!.. истину я говорю?.. Отвѣчайте-же!

— Истину, господине,—послышался робкій отвѣтъ.

— Я вамъ не господинъ!—грозно перебилъ посла великій князь.— Будеть и того, что Новгородъ умалялъ до господина мое государское титуло. А что я сдѣлалъ съ Новгородомъ?.. Ноли и Псковъ, моя отчина, того же хочеть!

— Смилуйся, государь!.. Положи гнѣвъ на милость!—упали послы на колѣни.

— Встаньте!—приказалъ великій князь.

Никто не шевелился. Все замерло въ палатѣ.

— Встаньте!

Всѣ послы повалились въ ноги точно передъ иконой. Слышно было какъ боярскіе лбы стукнулись о дубовый помостъ Грановитой палаты.

— Я вамъ говорю—встаньте!—въ третій разъ сказалъ Иванъ Васильевичъ.

— Не встанемъ,—послышались слабые голоса:—либо вели снять съ насъ головы, великій государь, либо отложи твое нелюбе—все равно намъ живыми не быть.

Великій князь глянулъ на Холмскаго. Въ глазахъ у своего любимца онъ замѣтилъ слезы. Плакалъ, закрываясь шапкой, и тотъ, который стоялъ у окна.

— Добро!—сказалъ Иванъ Васильевичъ:—во имя святыни отчины моей, Пскова, во имя Живоначальныхъ Троицы, я, государь и великій князь Иванъ Васильевичъ всеа Русіи, говорю нынѣ въ послѣдній разъ: если отчина моя, Псковъ, исправитъ мое слово—отпечатаеть мертвые грамоты на посадниковъ своихъ и отклнчить ихъ и выпуститъ смердовъ изъ погреба и учнетъ потомъ бить мнѣ челомъ о своей нечести, то я, великій князь, отдамъ Пскову, моей отчинѣ, мое нелюбе и буду васъ миловать по пригожаю. Таково мое слово!.. Встаньте.

Послы встали. Не одна грудь вздохнула глубоко, глубоко, точно она долго придавлена была камнемъ. Тотъ, который стоялъ у окна, широко крестился.

VIII.

Добро за добро.

Когда послы встали и отошли въ сторону, великій князь подаль свой скипетръ князю Холмскому, а державное яблоко—дьяку Курицыну и самъ поднялся съ трона. Глаза свѣтились радостью.

— Ну, куманекъ, подойти теперь ты ко мнѣ,—сказалъ онъ, ласково взглянувъ на Тита.

Тотъ робкими шагами подошелъ къ трону и упалъ на колѣни.

— Узналъ меня?—улыбнулся Иванъ Васильевичъ: — узналъ кума Ивана?

И онъ протянулъ къ Титу свою руку. Титъ съ благоговѣніемъ прильнулъ къ ней, словно къ рукѣ Спасителя на плащаницѣ, и заплакалъ отъ умиленія.

— Что—узналъ меня?—повторилъ великій князь.

— Узналъ, батюшка надежа-государь, узналъ!—всхлипывалъ растроганный бѣднякъ.—Въ какомъ бы ты одѣяніи ни былъ, осударь батюшка, я узналъ бы тебя... узналъ-бы твои свѣтлыя очи.

— Добро, добро! А отчего долго не приходилъ ко мнѣ?

— Не смѣлъ, осударь батюшка.

— А ты догадался, что это былъ я у тебя?

— Гдѣ, осударь, догадаться!.. Ноли я смѣлъ подумать, что самъ батюшка, надежа-государь... А-ахъ!

И онъ снова залился горячими слезами.

— Я думалъ — большой бояринъ, либо именитый купецъ, либо... а тутъ... о-охъ!

— Добро! добро! встань!

Съ этими словами великій князь повернулся къ посламъ великаго Пскова и сказалъ:

— Видите человѣка сего?.. Онъ смердь и смердяго рода. Но онъ для меня почетнѣе боярина. И вотъ почему: онъ соблюдаетъ заповѣдь Христову—„страннаго пріими“... Прилучилось мнѣ нонѣ зимою дѣйства нѣкоего ради тайнымъ образомъ выйти изъ Москвы, и не по образу великокняжескаго хожденія, а во образѣ простаго селянина. Не успѣлъ я отойти стадій пять-шесть отъ Серпуховскихъ воротъ, и се внезапно взялся мятель велія, и вста вѣтръ сильный, и объять мя тьма ночная. Воротиться къ Москвѣ—за темнотою и сугробами снѣжными дороги не найду; далѣе идти — могутъ моей нѣтъ. Пришлось погибать наглою смертію въ полѣ. Но Господь, не воздавая мнѣ по грѣхамъ моимъ, оказалъ мнѣ свою милость. Внезапу увидѣлъ я свѣтъ не вдалекѣ. То были Котлы. Я на свѣтъ иду, а самъ мало-мало не падаю отъ утомленія. Вижу — изба хорошая, новая, большая, и огонь въ ней свѣтитъ. Я стучусь въ окно — и меня гонятъ отъ окна, аки пса смердячаго. Я затаилъ въ сердцѣ моемъ гнѣвъ, поминаючи словеса Христовы—за зло платить добромъ, и постучался въ другую, бѣдную избенку. Въ ней меня приняли какъ отца родного. А не всякій бы принималъ въ такой неподобный часъ: у того, кто меня принималъ, въ ту ночь должна была жена разродиться... Вотъ кто принялъ меня!—указалъ великій князь на смущенно стоявшаго Тита.—А на утро я съ нимъ и покумился... Но я все еще въ долгу передъ моимъ спасителемъ. Видите, какая на немъ бѣдная одешонка—и то моя вина!... Каюсь предъ послами

отчины моей Пскова: мнѣ первому подобаетъ награждать за добрыя дѣла и казнить за злыя.

Потомъ, снова обращаясь къ Титу, великій князь спросилъ:

— Скажи, кумъ: твоя изба все такая-же ветхая, какъ зимой была?

— Совсѣмъ разваливается, государь, — былъ отвѣтъ.

— И скотинки у тебя нѣтъ?

— Нѣту-ти, надежа-государь, одна бѣлая кошечка.

— Добро!.. все будетъ у тебя... Федоръ! — обратился великій князь къ дьяку Курицыну: — напиши въ мой государевъ приказъ, чтобъ крестьянину Титу въ Котлахъ отпущено было лѣсу на избу, хлѣба на прокормъ и на сѣмена, пару лошадей, коровъ, овецъ и всего, что понадобится; да чтобъ мои государевы плотники срубили ему добрую избу; да сейчасъ-же прикажи одѣть его во все новое и доброе, а ужъ князь Данило (Иванъ Васильевичъ взглянулъ на Холмскаго) позаботится, чтобы у моего кума все было и всего вдоволь.

Титъ снова упалъ на колѣни и только качалъ головою, за слезами не будучи въ состояніи выговорить ни одного слова.

— Ну, полно, кумъ, вставай! — ласково сказалъ Иванъ Васильевичъ.

Титъ поднялся, шатаясь точно пьяный.

— Ну, кумъ, а чѣмъ-же ты меня одаришь? — улыбнулся великій князь.

Титъ не зналъ, что отвѣчать, и смотрѣлъ какъ-то растерянно.

— Вотъ что, кумъ, — продолжалъ великій князь: — подари мнѣ свою бѣлую кошечку. Когда я, въ тѣ поры, воротаясь отъ тебя, рассказалъ государынѣ княгинѣ Софѣѣ Фоминишнѣ и сыночку моему, князю Васютѣ, о томъ, какъ я ночевалъ у тебя и какъ ласкалась ко мнѣ твоя бѣлая кошечка, — съ той поры сынокъ мой не даетъ мнѣ проходу: достань да достань ему бѣлую кошечку отъ котловскаго кума... Такъ смотри-же, привези мнѣ кошечку. Да кланяйся кумѣ Оринѣ и другой кумѣ — Щекиной, и отцу Нифонту скажи, что я кланяюсь ему саномъ протоіерея и палицею, съ возложеніемъ на него златой митры. Это дѣло святѣйшаго патріарха — я самъ скажу ему о томъ.

— А вы, — обратился онъ къ псковскимъ посламъ, — скажите Пскову, моей отчинѣ, мое послѣднее слово, и помните, что слово мое крѣпко.

И великій князь медленно направился къ выходу.

IX.

„Дуранамъ счастье“.

Вечерѣло. Весеннее солнце, опускаясь за верхушки сосноваго бора, раскинувшагося къ западу отъ Котловъ, послѣдними лучами золотило разнесенную вѣтрами и непогодю соломенную крышу жалкой избенки Тита.

Подъ избою, на осунувшейся завалинкѣ сидѣла жена Тита, Орина, съ ребенкомъ на рукахъ. За послѣднее время Орина очень исхудала и поблѣднѣла. Тихо качая ребенка, она тревожно поглядывала на дорогу, ведущую къ Москвѣ. Съ ранняго утра ушелъ туда ея горемычный мужъ искать кума Ивана—и словно въ воду канулъ.

Горько и стыдно ей было за мужа. И добрый онъ былъ мужикъ, и ласковый, никогда ее не билъ и дурнымъ словомъ не обзывалъ; но—нечего грѣха таить—придурковать былъ. А съ того времени, какъ покумился съ какимъ-то прохожимъ, ужъ и совсѣмъ сталъ дуракомъ. Ничего-то онъ не дѣлалъ, да и дѣлать-то безъ скотинки и хозяйства ему было нечего. А ему все, кажется, ни по чемъ. Забралъ себѣ въ голову, что у него на Москвѣ есть кумъ богатый—либо набольшій бояринъ, либо набольшій протопопъ, и все ждетъ, что ему съ неба счастье свалится. И всѣ Котлы ужъ стали надъ нимъ смѣяться:—дуракъ да дуракъ... съ цѣлою Москвою покумился.

Такъ какъ дѣло было къ вечеру и скоро должна была возвращаться въ Котлы скотинка съ поля, то котловскія бабы одна за другою стали сходить къ избѣ Тита, которая была крайнею въ поселкѣ, чтобы тамъ поджидать своихъ коровокъ да телушекъ.

— Ждешь, видно, муженька, Оринушка? — спрашиваетъ одна баба, садясь на завалинкѣ и участливо подпирая щеку ладонью.

— Поджидаю, родимая,—отвѣчаетъ Орина.

— Э-э-хе-хе! житье наше горькое, касатая.

— И не говори, мать моя!—соболезнуетъ другая баба, присаживаясь тутъ-же:—али легко жить съ дуракомъ-то мужемъ.

— Гдѣ легко!.. Вонъ мой-то идолъ хоша и дерется, а все у насъ и лошадки есть и коровенка.

— Вѣстимо: что нашу сестру не бить, коли за дѣло?

— Ужъ и подумаю я, мать моя: какъ это въ цѣлой Москвѣ найти кума Ивана!

— Вотъ поди-жъ ты! Пошолъ искать.

— Гдѣ тамъ найти!.. найди иглу въ стогу сѣна... Ужъ коли-бъ онъ. кумъ-отъ московскій, былъ путящій человекъ, а не озорникъ, какъ-бы не сказать: ищи-де меня тамъ-то, на такой-то улицѣ, а вотъ такъ и такъ меня зовутъ и вотъ такъ прозываютъ. А то на!.. спроси кума Ивана!

— Озорникъ и есть... тфу!

Въ это время по дорогѣ, ведущей къ Москвѣ, показалась пыль и видно было, что кто-то ѣхалъ парой. Лошади были бойкія, красивыя, да и телѣга не простая, а совсѣмъ господская, выкрашенная голубою краскою.

Въ телѣгѣ сидѣли и правили лошадыми—бояринъ не бояринъ, мужикъ не мужикъ, а скорѣе посадскій человекъ.

Телѣга все ближе и ближе. Вотъ она поворачиваетъ къ избенкѣ Тита.

— Кто-бы это былъ такой?

— Матыньки!.. кажись, самъ Китка.

— Китка и есть!.. Ахъ, мать моя!

— Тирру!

Это и былъ Титъ Захарычъ.

Осадивъ хорошо выѣзжанныхъ лошадей, онъ выскочилъ изъ крашеной; господской повозки и бросился цѣловать жену и сына.

— Ну, молись, Оринушка!.. молись земно!—захлебывался онъ отъ радости.—Шлеть тебѣ поклонъ самъ благочестивѣйшій государь и великій князь Иванъ Васильевичъ всеа Русіи!.. Вотъ кто таковъ кумъ Иванъ!.. Все это мое (онъ указалъ на лошадей и повозку, нагруженную разными мѣшками и узлами),—все это подарилъ самъ надежа-государь, куманекъ нашъ. Онъ же пожаловалъ намъ и коровокъ, и овечекъ, и лѣсу на новую избу—и всего, и всего! И велѣлъ построить намъ новую избу своимъ государевымъ плотникамъ. Слава нашему государю Ивану Васильевичу!

Онъ казался помѣшаннымъ отъ радости. Жена же его, казалось, окаменѣла отъ неожиданности: она только прижимала къ себѣ ребенка и тихо повторяла: „Владычица!.. государевъ крестникъ!.. Матушки мои!.. самъ князь Иванъ Васильичъ! А я-то, безстыжая, орала при немъ, рожамши! Свѣты вы мои! сыночекъ мой! государевъ крестникъ!“

Неслыханная вѣсть быстро разнеслась по Котламъ. Всѣ спѣшили къ избенкѣ Тита, всѣ говорили, удивлялись, спорили, горячились. Но всѣхъ покрывалъ одинъ голосъ.

— Сказано, дуракамъ счастье!

— Вѣстимо—дуракамъ.

Но съ тѣхъ поръ, какъ Титъ Захарычъ въ своемъ новомъ домѣ подъ зеленою крышею зажилъ чуть не бояриномъ—онъ пошелъ за умнаго.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. Мордовцева.

ЦАРЬ И ГЕТМАНЪ

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. О. Мертца
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 1-го февраля 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“. С.-Пб. Фонтанка, 95.

I.

Царь Петръ Алексѣевичъ осматриваетъ работы, производимыя подъ наблюденіемъ стараго Виніуса въ новоотвоеванномъ у шведовъ Шлиссельбургѣ.

Работа идетъ напряженно, нервно, сообразно той страстной возбужденности, съ которою неугомонный царь, въ своемъ меркуріевомъ бѣгѣ за Европою, дѣлаетъ каждый свой быстрый шагъ, кладетъ кирпичъ на кирпичъ въ этой вавилонской башнѣ, въ которую онъ обратилъ всю Россію, какъ бы желая скорѣе добраться до неба, захватить у времени и у исторіи все, что потеряла Россія въ теченіе не одного столѣтія спячки, застоя и внутреннихъ неладяцъ.

Со всего сѣверо-восточнаго клина Россіи согнаны десятки тысячъ рабочихъ къ этому крѣпкому Орѣшку, который, какъ прославляли хвалители царя, удалось, наконецъ, разгрызть всесокрушающимъ зубамъ російскаго льва. Тысячи тачекъ неистово скрипятъ своими немазанными колесами. „словно лебеди распушенные“. Тысячи лопатъ въ нѣсколько часовъ срывають до основанія горы и въ другихъ мѣстахъ громоздятся новыя: не надо тамъ, гдѣ было, надо тамъ, гдѣ не было. Надо все сѣизнова, съ корня, отъ листьевъ до почекъ перевернуть старое дерево...

А царь-непосѣда все торопить, все гонить, показываясь съ своею геркулесовскою дубинкою то на томъ мѣстѣ работъ, то на другомъ. То падаетъ его гигантская тѣнь съ крѣпостной стѣны на воду, на насыпь, то вырастаетъ вдругъ словно изъ земли между землекопани въ канавахъ—и рабочіе вздрагиваютъ при видѣ этой колоссальной фигуры, и лопаты, тачки, заступы, топоры шибко, лихорадочно двигаются, словно бы въ тактъ учащенному біенію пульса великана, который заставляетъ учащенно и усленно биться пульсъ всей Русской земли.

Глубокою осенью 1702 года взята была съ бою шлиссельбургская крѣпость у неподатливаго шведа Шлиппенбаха, а теперь уже весна, апрѣль—рѣки и моря вскрылись, и шведы не сегодня-завтра могутъ придти водою къ Орѣшку и взять его обратно... О! это значитъ взять у Петра его любимое новорожденное дѣтище, его новую Россію... Вѣдь этотъ ковшъ воды—это ковшъ живой сказочной воды, отнятой у шведскаго ворона... Эта паутина Нева—это Аріаднина нитка, которая приведетъ Россію къ золотымъ яблокамъ Геспериды Европы... Эта пядь земли, этотъ маленькій

„шлссель“—ключъ, Орѣшекъ—это ключъ въ Европу, ключъ апостола Петра, который отпереть царю Петру и его Россіи двери въ рай... И послѣ этого утратить эту дорогую пядь земли!... Ни за что! никогда!..

Вотъ почему такъ лихорадочно горятъ глаза у безпокойнаго царя при видѣ этой нервной работы землекоповъ и каменщиковъ...

Прислонившись къ одной изъ башенъ крѣпости, Петръ задумчиво глядеть вдаль. Онъ одѣтъ такъ просто, такъ бѣдно—такое грубое темнозеленое сукно у него на кафтанѣ, такое грубое, что когда нѣмка Аннушка, Монцова дочь, при видѣ его бросается ему на шею, то всегда поколетъ себя объ это сукно и нѣжныя ручки, и розовыя щечки; но зато это—свое сукно, не заморское, не астрадамовское, а сдѣланное на первой русской суконной фабрикѣ... Энергическое лицо царя отъ времени до времени нервно подергивается... Передъ нимъ влѣво—даль водная, все Ладожское озеро искрится на солнцѣ серебряною рябью... Вдоль берега его—флотилія изъ лодокъ... Жалкія лодки—и ни одного корабля!.. А вправо—эта нитка водяная, эта синяя паутина, протянутая къ Европѣ—Нева... Но Нева еще не вся его—устье въ рукахъ у шведовъ, и море закрыто для этого водяного царя... Добраться до моря нельзя: тамъ стоитъ проклятый Ніеншанцъ—это дьяволъ съ огненнымъ мечомъ, не пускающій въ рай... Надо его взять, этого дьявола... А какъ еще возьмешь?.. Шереметевъ скоро прибудетъ съ войскомъ... Ну, а если и тутъ ждетъ новая Нарва?.. Петръ вздрогнулъ и машинально такъ стукнулъ геркулесовскою дубинкой о стѣну, что молодой денщикъ его, юноша лѣтъ восемнадцати-девятнадцати, чернокудрый Павлушка Ягужинскій, молча наблюдавшій за царемъ своими живыми, бѣгающими еврейскими глазенками, тоже невольно вздрогнулъ... Тутъ и Алексашка Меншиковъ, боящійся прервать задумчивое молчаніе царя... Петръ золь, заряженъ—онъ нервно подергивается: онъ шибко осерчалъ на стараго Виніуса, на его медленность. Онъ чуть со стѣны не сбросилъ обезумѣвшаго отъ страха стараго дьяка за недоставку артиллерійскихъ снарядовъ и лѣкарствъ для крѣпости, которую не сегодня-завтра могутъ обложить шведы...

Вдругъ распаленные внутреннимъ огнемъ взоры царя останавливаются на чемъ-то, что, повидимому, не было замѣчено прежде. Павлуша Ягужинскій съ юношескимъ любопытствомъ разсматриваетъ что-то копошащееся подъ стѣною крѣпости, у новаго канала.

А у канала—мальчикъ въ лохмотьяхъ. Мальчику не болѣе семи-восьми лѣтъ. Оборвышъ чѣмъ-то серьезно занятъ. Живые глаза царя невольно приковались къ тому, что дѣлалъ этотъ оборвышъ. А оборвышъ, оснативъ веревочками лапотъ, поставивъ на немъ мачту изъ большого гусянаго пера и натянувъ изъ доскута онучи парусъ, перепускаетъ это оригинальное судно черезъ каналъ. Лапотъ, подгоняемый вѣтеркомъ, бойко плыветъ черезъ каналъ. Оборвышъ радостно слѣдитъ за нимъ своими дѣтскими глазенками и по положеннымъ черезъ каналъ доскамъ перебѣгаетъ на ту сторону канала, чтобы причалить свое судно-лапотъ. Такъ же ра-

достно слѣдять за продѣлками маленькаго оборвыша и живые глаза царя. Лицо его, доселѣ хмурое, мрачное, темное и холодное, мгновенно озаряется какою-то теплотой — такъ былъ на немъ быстръ переходъ отъ мрачнаго гнѣва къ всепрощенію.

— Смотри-тко, Данилыч! — сказалъ онъ отрывисто, показывая на маленькаго оборвыша.

— Вижу, государь... молодой матросъ...

— Навигаторъ, — вставилъ Павлуша.

Ругувый царь не вытерпѣлъ и сошелъ со стѣны къ каналу. Маленькій оборвышъ, увидавъ передъ собой громаднаго человѣка, такого большущаго, какого онъ ни разу не видалъ въ жизни, такъ и остался съ разинутымъ ртомъ, изумленно поглядывая на этихъ, какъ ему казалось, солдатъ.

Царь ласково улыбался, глядя на маленькаго оборвыша, одѣтаго въ женскую кацавейку и опорки.

— Это что у тебя, малецъ? — спросилъ онъ.

— Карапъ, — бойко отвѣчалъ мальчикъ.

Царь засмѣялся. Павлуша Ягужинскій даже приснулъ.

— А изъ чего онъ у тебя сѣженъ? — снова спросилъ царь, трепля мальчика по блѣдной, обвѣтренной щекѣ.

— Это тяткины лапоты, а это онучка моя.

— Ай-да молодецъ! ай-да морякъ! — радостно говорилъ царь.

Но мальчуганъ что-то заботливо бросился къ лаптю, бормоча: „Ишь ты, швединъ поганый!.. постой я тебя!..“ Въ лаптѣ возилось что-то черненькое.

— Что это тамъ у тебя въ корабль? — спрашивалъ царь.

— А швецкой полоняникъ...

— Какъ! какой полоняникъ?..

— Онъ царскій кормъ воровалъ — я и накрылъ его... Стой-стой! опрокинешь карапъ.

— Да что у тебя тамъ? Говори! — нетерпѣливо спрашивалъ Петръ.

— Мышонокъ... онъ у насъ въ сумкѣ сухари все грызъ... А тятка и говоритъ: это шведъ, царскій кормъ воруетъ... Я его и поймалъ — привязалъ на веревочку, и катаю по морю, а послѣ кошкѣ отдамъ.

Бойкій мальчикъ, не подозревая кто передъ нимъ, смѣло болталъ, видя, что всѣхъ занимаетъ его „карапъ“, и вынулъ изъ лаптя самого мышенка... „Вотъ онъ, швединъ... ишь юркой какой!..“

Мальчикъ окончательно очаровалъ царя. Онъ видѣлъ въ немъ врожденное стремленіе къ водѣ, къ морю. Это самородокъ. Его только поддержать, выучить, направить — и изъ него выйдетъ мореходецъ.

— А чей ты, мальчикъ? какъ тебя зовутъ? откуда ты? — нетерпѣливо спросилъ царь.

— Меня зовутъ Симкой... Насъ съ тяткой сюда пригнали на царскую работу... Тятка тамъ землю роетъ...

Царь задумался и молча глядѣлъ на мальчика. При видѣ его рубищъ,

которыхъ онъ никогда не замѣчалъ, какъ, по привычкѣ, не замѣчалъ жалкаго вида рабочихъ, широко загадывая обо всей Россіи, о ея славѣ и могуществѣ,—при видѣ дырявой кацавейки и старыхъ портокъ, чрезъ которыя сквозило маленькое, худощавое тѣло ребенка, онъ нервно тряхнулъ головой и, доставъ изъ кармана нѣсколько серебряныхъ монетъ, бросилъ ихъ въ лапоть.

— Это тебѣ и тяткѣ; скажи, что царь пожаловалъ, — сказалъ онъ отрывисто и погладиъ ребенка.

Мальчикъ оторопѣлъ и обратилъ на великана свое сѣрые, свѣтлые, испуганные глаза.

А ты, Павелъ, запиши его вмѣстѣ съ отцомъ—кто и изъ какихъ властей, —обратился онъ къ Ягужинскому.

Мальчикъ попрежнему стоялъ испуганно, не смѣя прикоснуться къ лаптю.

Возьми же деньги, Сима, не бойся... Я пожаловалъ ихъ тебѣ, — ласково сказалъ онъ мальчику.—А ты, Данилычъ, не забудь о немъ...

Не забуду, государь.

Запиши его въ мои навигаторы, въ московскую школу.

Будетъ по сему, государь,—отвѣчалъ Меншиковъ.

Въ это мгновеніе на доскахъ, перекинутыхъ черезъ новый, узкій, но глубокий каналъ, по которымъ за нѣсколько минутъ передъ этимъ перебѣгала Сымка за своимъ кораблемъ, а потомъ переходили царь, Меншиковъ и юный Ягужинскій, послышался крикъ испуга, и что-то тяжелое бухнуло въ воду...

— Караулъ! караулъ!—послышались отчаянные крики.

Въ канавѣ кто-то барахтался, безпомощно хлопая объ воду руками и глухо взывая о помощи... Изъ воды показывается еще одна голова, потомъ другая... Все это отчаянно мечется... утопающіе хватаются одинъ за другого... видна послѣдняя, безумная, молчаливая борьба изъ-за послѣднего дыханія—и всѣ трое исчезаютъ подъ водой...

Царь первый бросается спасать утопающихъ... Но какъ? чѣмъ?

— Лодокъ!.. багровъ!.. сѣти!—кричалъ онъ громовымъ голосомъ, такъ что вся крѣпость встрепенулась, тысячи рабочихъ, солдатъ и матросовъ бросились къ каналу, слышавъ крикъ царя, и нѣкоторые матросы отважно ринулись въ холодную, апрѣльскую, ледяную воду...

— Лодокъ! багровъ!—гремѣть голосъ царя.—Кто утонулъ?

— Доктора Лейма, государь, я позналъ,—отвѣчаетъ Меншиковъ.

— А я, государь, видѣлъ Кенигсека и Петелина,—прибавилъ Ягужинскій.

— Господи! какое несчастье.

Но вотъ и лодки съ баграми... Въ одну изъ нихъ прыгаетъ царь съ такою поспѣшностью, что едва не опрокидываетъ ее; да ему это ни по чѣмъ—онъ любитъ воду.

— Государь! береги себя!—кричитъ испуганно Меншиковъ.

— Иди тамъ!.. подавайся ниже!..

Лодки бьются на мѣстѣ, толкуются въ узкомъ каналѣ словно въ ступѣ, а утопленниковъ все не найдутъ.

— Спускай ниже!.. ихъ водой снесло... подайся сюда!—командуетъ царь, бороздя воду длиннымъ багромъ.

Лодки стучаются одна о другую. Меншиковъ постоянно новтворяетъ, чтобъ берегли царя. Берега канала усыпаны народомъ, который напряженно ждетъ... Иные крестятся...

— Кто утонулъ?

— Нѣмцы, паря.

— Туда имъ, куцымъ, и дорога,—отзывается кто-то.

Наконецъ, багоръ царя зацѣпилъ что-то, тащить... Изъ воды показывается что-то сѣрое... спина человѣческая, а голова и ноги въ водѣ... Приподнимается багоръ выше—виденъ затылокъ утопленника и черные, мокрые волосы, падающіе на лицо...

— Благодареніе Богу... Кенисенъ, бѣдняжка...

Царь быстро схватываетъ его за шиворотъ и втаскиваетъ въ лодку.

— Ищи другихъ... тутъ должны быть,—распоряжается царь.

— Не клади, не клади, царь государь! — торопливо предупреждаетъ старый матросъ.— Не клади на земь—не отойдетъ, не откачаешь...

— Качать! качать!—слышится голоса.

Лодка, пристаётъ къ берегу. Утопленника, словно мѣшокъ, слабо набитый чѣмъ-то мягкимъ, съ рукъ на руки сдаютъ стоящимъ на берегу. Царь, проворно сбросивъ съ своего громаднаго тѣла кафтанъ, въ который можно было завернуть двухъ утопленниковъ, кидаетъ его на берегъ.

— Качайте на моемъ кафтанѣ!.. А ты, Давилычъ, обыщи его карманы — можетъ быть важныя бумаги, государственныя — запечатать надо тутъ же...

— Еще тащутъ!—дрожить толпа.—Вонъ, вонъ, матушки!

Снова изъ-подъ воды показывается что-то скомканное, перегнутое, мертвое, но еще не окоченѣвшее... А Кенигсека кладутъ на царскій кафтанъ. Меншиковъ, исполняя приказъ царя, опараживаетъ карманы утопленника и найденныя у него мокрыя бумаги тутъ же вкладываетъ въ небольшой сафьянный портфель и отдаетъ Ягужинскому.

— Запечатай тотчасъ и сохрани.

Кенигсека качаютъ. Безпомощно переваливается мертвое, посинѣвшее тѣло по кафтану. Изъ-за спутавшихся мокрыхъ волосъ, падающихъ слипшимися прядями на лицо, видны красивыя очертанія этого молодого, еще за нѣсколько минутъ полнаго жизни лица... теперь оно такое серьезное, молчаливое, застывшее...

— Лѣкаря бы надо,—съ безпокойствомъ говоритъ Меншиковъ, сильно встряхивая царскій кафтанъ.

— Да вонъ и лѣкаря тащутъ,—отвѣчаетъ юный Павлуша, который все видитъ и все слышитъ.

Дѣйствительно, изъ другой лодки выносятъ на берегъ другого утопленника—это докторъ Леймъ... Отыскиваютъ наконецъ и Петелина...

Въ трехъ мѣстахъ на берегу канала идетъ энергическое качанье трехъ свѣжихъ труповъ. Петръ не спускаетъ глазъ съ Кенигсека. Ему особенно жаль его—надо во что бы то ни стало оживить этого мертвеца, откачать, отнять у смерти... Она еще не успѣла его далеко унести... Душа его тутъ, близко, можетъ быть за тѣми плотно сжатыми красивыми губами... Стоить только ихъ разжать—и онѣ порозовѣютъ, языкъ заговорить, душа скажется... Петръ трогаетъ эти губы—холодныя такія, мертвыя...

Кенигсекъ или Кенисенъ, какъ называлъ его Петръ, былъ саксонскимъ посланникомъ при русскомъ дворѣ; а недавно, прельщенный выгодами службы въ Россіи, онъ поступилъ въ русское подданство, и Петръ былъ очень радъ приобрести себѣ такого служаку... И вдругъ—на глазахъ его онъ погибаетъ! Это большая потеря...

Но, можетъ быть, онъ отойдетъ... Онъ такъ недолго былъ подъ водой... Правда, вода ледяная, рѣжетъ, обжигаетъ своимъ холодомъ.

— Что, Данилычъ?

— Трясу, государь... Душу, кажись бы, всю вытрясти можно, кабы...

— Кабы не отлетѣла?

— Да, государь.

Царь нагибается къ трупу, щупаетъ голову мертвеца—холодна какъ глыба. И тѣло коченѣетъ.

— Помре... Царство ему небесное. (Царь снимаетъ шляпу и крестится; крестится и толпа). Вотъ не ждали, не гадали... Въмѣсто радости—печаль.

— Надо же было, государь, нѣмецкому водяному и жертву принести водою и нѣмцами,—заговариваетъ Меншиковъ.

— Правда... правда... А все за мои грѣхи.

— За всѣхъ, царь государь.

— А бумаги вынулъ?

— Вынулъ, государь... У Павлуши.

Но царю некогда долго останавливаться на этомъ печальномъ эпизодѣ. Надо спѣшить впередъ. Шереметевъ съ войскомъ поди ужъ у Ніеншанца. Надо съ легкой флотиліей плыть на сигурсъ къ нему.

Царь велитъ съ честію похоронить утопленниковъ и готовится въ походъ подъ Ніеншанць.

— А объ Симкѣ не забыли?—вспоминаетъ царь о маленькомъ оборвышѣ.

— Нѣтъ, государь,—отвѣчаетъ Меншиковъ.—Неумедительно иду сыскать его отца и все учиню, какъ ты, государь, указать изволилъ.

— Изрядно. Тутъ потеряли, а тамъ, можетъ, Богъ дастъ, найдемъ.

— Истинно, государь: не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь...

— Дай Богъ... Кто знаетъ, что можетъ изъ Симки выйти. Пути Господни неисповѣдны...

II.

Въ то время, съ котораго начинается наше повѣствованіе, весной 1703 года, Петербурга еще не существовало. Нева принадлежала шведамъ, равно какъ и все Балтійское море, и только небольшой камень, на кото-

рожь, при выходѣ Невы изъ Ладожскаго озера, ютилась шведская крѣпостца Нотебургъ, древній новгородскій Орѣшекъ, былъ взятъ Петромъ, укрѣплень и переименованъ въ Шлиссельбургъ вмѣсто Орѣшка. Петру такъ нравились нѣмецкія названія.

Послѣ Шлиссельбурга надо было во что бы то ни стало отвоевать и всю Неву. Съ этой цѣлью, похоронивъ Кенгссека и другихъ его несчастныхъ товарищей по смерти, онъ двинулъ свою лодочную флотилію внизъ по Невѣ, съ тѣмъ, чтобы идти на помощь Шереметеву, который съ двадцатитысячнымъ войскомъ тоже подвигался къ Невѣ, имѣя намѣреніе напасть на Ніеншанцъ, стоявшій при впаденіи рѣчки Охты въ Неву. На мѣстѣ же нынѣшняго Петербурга чернѣлъ сплошной дремучій лѣсъ.

Лѣсомъ покрыты были и всѣ берега Невы вплоть отъ Ладожскаго озера до устья рѣки, до Финскаго залива.

Спускаясь съ своей небольшой гребной флотиліей внизъ по Невѣ, Петръ былъ глубоко взволнованъ всѣмъ, что видѣлъ передъ собою. Угрюмый боръ, покрывавшій берега рѣки, онъ уже превращалъ въ пылкомъ воображеніи своемъ въ безчисленныя армады кораблей—и эти армады будутъ не чета „непобѣдимой армадѣ“ Филиппа II, короля испанскаго. Нѣтъ! его армады будутъ дѣйствительно непобѣдимы... А эта многоводная рѣка, по которой скользя его флотилія—такой рѣки онъ не видалъ во всей Европѣ. Что Волга! То рѣка неустойчивая, съ расползающимися, песчаными берегами. А Нева—она точно закована въ свои берега, и несетъ постоянную, неубывающую массу воды въ то заманчивое, чужое, Варяжское море... О! тутъ, на этой рѣкѣ, должна быть столица Россіи...

И пылкое воображеніе царя уносится вдаль—въ глубину грядущихъ вѣковъ... При устьяхъ Невы видится ему величавый городъ, столица восточныхъ царей, къ которой обращены удивленные взоры всего свѣта. Со всѣхъ морей и океановъ, отъ всѣхъ народовъ Старога и Новаго Свѣта плывутъ корабли въ этотъ величавый городъ—въ городъ Петра... Петроградъ... Нѣтъ, это слово противное, Москвой затхлою пахнетъ, византійскимъ ладономъ отдается. Не быть тутъ Петрограду—довольно и византійскаго Царьграда... А будетъ тутъ Россенбургъ, или Ризенбургъ—городъ богатый... Нѣтъ, пусть лучше будетъ Питербургъ... Да, это лучше всего... Онъ будетъ славенъ, болѣе славенъ, чѣмъ Тиръ и Сидонъ, болѣе славенъ, чѣмъ Римъ и Кароагенъ... Онъ будетъ весь на водѣ, какъ Венеція. Каналы изрѣжутъ его вдоль и поперекъ... Вода, море-океанъ станутъ колыбелью русскаго народа...

А флотилія, взмахивая длинными веслами ловкихъ гребцовъ, словно стая длиннокрылыхъ птицъ, неслышно пѣнитъ прозрачную невскую воду. Съ каждымъ взмахомъ весель, съ каждымъ поворотомъ руля открываются новые пустынные берега, окаймленные зелеными борами, а выше—голубымъ небомъ... На берегахъ—ни души человѣческой, да и пѣнія птицъ не слышно, хотя самая пора бы пѣть и птицѣ, и человѣку: апрѣль на исходѣ... Только и видѣются надъ водой длиннокрылыя, бѣлогрудыя чайки, кото-

рыхъ жалобный скрипучій крикъ, совсѣмъ не похожій на крикъ сѣрой, чубатой южной чайки, нарушаетъ могильную тишину этой красивой, но холодной, непривѣтливой природы...

На царскомъ катерѣ, на низенькомъ сидѣннѣ, почти у самыхъ ногъ сидитъ Павлуша Ягужинскій и грустно смотритъ на эти непривѣтливые берега, на эту красивую, но холодную природу... И ему вспоминается другая природа, другая зелень, другое солнце... Какъ ни молодъ онъ, но и у него уже есть свои воспоминанья, свои могилы въ сердцѣ. Жизнь его, начавшаяся гдѣ-то дилеко на югѣ, въ польской Украинѣ, среди чубатыхъ и усатыхъ казаковъ, и, какъ нитка, оборвавшаяся тамъ полнымъ забвеньемъ, потомъ та же жизнь въ шумной, толкучей Москвѣ, перенесшая его словно на коврѣ-самолетѣ сюда, въ эту холодную Карелію, — эта жизнь оставила въ его памяти какіе-то клочки воспоминаній, смѣсь ощущеній сладостныхъ и горькихъ, смѣшеніе вѣры въ людей и глубокаго къ нимъ недовѣрія, — эта жизнь научила его думать, задумываться, вспоминать...

Да, Павлуша Ягужинскій рано началъ думать. Еще тамъ, на далекой, теплой родинѣ, которая вспоминается ему какъ сонная греза, онъ уже началъ задумываться. Чѣмъ-то сиротливымъ, чужимъ росъ онъ среди родной природы, которая была ему болѣе близка, болѣе отзывчива, чѣмъ люди. Эти гордые, надутые маленькіе польскіе панки, его сверстники, чуждались его, какъ не родовитаго шляхтича, у котораго не было ни хлоповъ, ни быдла, ни грунту, ни палаца, ни богатыхъ маентковъ; хоть его, Павликовъ, татко былъ такой же благородный, какъ и тѣ надутые паны, но только не былъ ясновельможнымъ паномъ, а учителемъ и музыкантомъ. И эти черномазые хохляты, отцы и матери которыхъ работали на пановъ какъ быдло, тоже избѣгали Павлиши Ягужинскаго... „Жидовиня“, „лядскій недовирокъ“, „перекинчикъ“, „собача вира“, „свиняче ухо“ — вотъ что онъ слышалъ среди этихъ чумазныхъ хохлятъ, и недоумѣвалъ, за что они его не любятъ... „Жидъ“, „жидъ“... нѣтъ, не жидъ, потому что и жиденята бѣгаютъ отъ него, какъ отъ чужого...

Вотъ что помнится ему изъ далекаго дѣтства... Еще помнится ему его отецъ, вѣчно грустный и задумчивый, сидящій надъ какими-то старинными книгами или въ тихій лѣтній вечеръ играющій на скрипкѣ... Что за плачущіе звуки лились тогда изъ-подъ горькаго смычка татки! Слушаетъ бывало, маленькій Павликъ эти всхлипыванья смычка, слушаетъ — и у самого польются слезы невѣдомо отчего... И становится маленькому Павлику жаль всего, на что онъ ни взглянетъ, хочется ему обнять все плачущее, утѣшить...

Татко говорилъ потомъ, что когда они жили еще въ Польшѣ, за Днѣпромъ, то Павлику пошелъ только пятый годъ... А онъ помнитъ эти зеленныя иглы — тополи высокіе, что вели къ панскому палацу...

Потомъ онъ помнитъ себя уже въ Москвѣ. Помнить, какъ съ таткомъ ходилъ онъ въ нѣмецкую кирку, гдѣ татко тоже игралъ, но уже не на скрипкѣ, а на органѣ. На скрипкѣ онъ продолжалъ играть только дома, да и то осторожно, потому что нерѣдко слышалъ, какъ москвичи говорили:

„вонъ нѣмецкій пѣсъ воетъ—себѣ на похороны, на свою голову...“ А московскіе мальчишки дразнили Павлика „нехристомъ“ и нерѣдко бросали въ него камнемъ. За что?.. Павликъ и объ этомъ часто думалъ. Но чаще и чаще до слуха Павлика начинаютъ долетать слова: „какое красивое чертово отродье“, „какой хорошенькій жиденокъ“, „нѣмчура, нѣмчура— а поди ты, зѣло лѣповиденъ бѣсенокъ“...

Павликъ учится читать, писать, чертить, рисовать... Татко его такъ много знаетъ и самъ учитъ Павлика...

И Павликъ все растетъ, вытягивается, хорошо уже говоритъ по-московски, попривыкъ къ Москвѣ...

А въ Москвѣ такъ страшно становится, такіе зловѣщіе слухи ходятъ... Говорятъ, что стрѣльцы всѣхъ нѣмцевъ, всѣхъ нехристей перебить хотятъ... А тамъ какія-то смуты въ Кремлѣ — то царя хотятъ убить, то царевну Софью заточить... Стономъ стонетъ Москва—страшно кругомъ...

А эти ужасныя казни стрѣльцовъ... Ъдутъ на телѣгахъ съ зажженными свѣчами въ рукахъ, а за ними бѣгутъ стрѣльчиhi, да воютъ, душу разрывають—воютъ... Какая страшная Москва!

— Что, Павлуша, задумался? По Москвѣ, чаю, скучаешь?—говоритъ царь, ласково глядя на юношу.

Павлуша невольно вздрогнулъ. Онъ дѣйствительно думалъ о Москвѣ, только страшной, кровавой, стрѣлцкой.

— А? заскучалъ, поди, по Москвѣ?

— Нѣту, государь, не скучаю,—отвѣчалъ юноша, къ которому разомъ воротилось его привычное самообладаніе.

— То-то! со мной скучать некогда.

— Некогда, государь, да и не охота.

— Правда. Скучають только дармоѣды да лежебоки. А мы не лезимъ,—отрывисто говорилъ царь, глядя вдаль и тихо налегая на руль.

Юноша молчалъ. Слова царя такъ и обдали его холодной дѣйствительностью... Царь былъ въ духѣ.

— А что, хотѣлъ бы ты тутъ жить? — снова спросилъ онъ своего юнаго любимца, лукаво улыбаясь.

— Гдѣ государь поволитъ жить, тамъ и я.

— Такъ... А можетъ быть Богъ и доведетъ до благополучнаго конца,—сказалъ царь въ раздумьи.

Это сами собой сказывались его завѣтныя думы, его мечтанія.

А флотилія все скользитъ неслышно по гладкой водяной поверхности холодной, непривѣтливой рѣки. Тихо кругомъ. Ни говору не слышно, ни смѣху, ни пѣсенъ. Да и какъ пѣть, когда всякій часъ флотилія можетъ наткнуться на шведскіе корабли, на замаскированныя редуты, на засады?

Глаза царя зорко слѣдятъ за всей флотиліей. Ничьимъ другимъ глазамъ онъ не вѣритъ—вѣритъ онъ только своимъ глазамъ. Онъ самъ хочетъ все видѣть, все знать... Были только одни глаза, которымъ онъ довѣрялъ какъ своимъ собственнымъ—это бойкіе, живые глаза Павлуши Ягужинскаго.

— Это мое око, — часто говорилъ Петръ, указывая на Павлушу: — коли Павелъ увидить что, то истина дойдетъ до меня такую же истину, какъ ежели бы я самъ ее видѣлъ.

А теперь Павлуша сидитъ такой задумчивый. Ему было нехорошо, страшно чего-то... И зачѣмъ утонулъ этотъ Кенигсекъ? Зачѣмъ эти проклятыя бумаги онъ носилъ съ собой!.. Когда Павлуша, по приказанію царя, запечатывалъ ихъ, то онъ увидѣлъ между ними что-то такое страшное, отъ чего у него волосы стали дыбомъ, кровь застыла... Неужели же это правда?.. О! какъ онъ желалъ бы, чтобъ эти проклятыя бумаги пропали, уничтожились, исчезли бы подъ водой вмѣстѣ съ трупомъ Кенигсека...

И Павлуша силился отогнать отъ себя это страшное, которое онъ видѣлъ въ бумагахъ утонувшаго Кенигсека. Онъ старался думать о своемъ прошломъ... Въ этомъ прошломъ былъ такой крутой переломъ. И опять все это точно во снѣ было... Понравился Павлуша Головкину, Гаврилѣ Ивановичу, и онъ взялъ его къ себѣ въ жильцы, въ комнатные... „Такого смазливенькаго паренька, какъ Павлуша, всякому охота держать около себя на глазахъ“, говорилъ бывало Гаврило Ивановичъ: „и показать гостямъ есть что — малый бойкій“... И Павлушѣ жидось у Головкина — не то хорошо, не то дурно; а надо было привыкать — домъ знатный, можно въ люди выйти... Зорко присматривается Павлуша ко всему, что около него, быстро все понимаетъ — и Головкинъ не нахвалится Павлушей... Онъ его любитъ какъ сына, балуетъ его, ласкаетъ... И Павлушѣ вспоминается, что почему-то ему противно становилось отъ этихъ ласкъ... Но у Павлуши уже образуется характеръ будущаго государственнаго человѣка: онъ уже многое знаетъ, и знаетъ, гдѣ что нужно сказать, гдѣ помолчать... Онъ все обдумываетъ, взвѣшиваетъ — всему отводить надлежащее мѣсто...

Замѣчаетъ Павлушу и царь у Головкина. Павлуша и царю нравится...

И вотъ Павлуша у царя на глазахъ, въ денщикахъ его вмѣстѣ съ Ванькой Орловымъ... Только тотъ больше все за дѣвками дворскими... А Павлуша — ни-ни — не глядитъ на дѣвокъ, какъ онѣ ни заигрываютъ съ нимъ... Одну только дѣвушку не можетъ забыть — да то не здѣшняя... Далеко она... а такъ вотъ и стоитъ передъ глазами... Да и имя-то какое милое — Мотря — такихъ именъ во всей Москвѣ нѣтъ...

На-дняхъ только они воротились съ царемъ изъ Воронежа. Царь осматривалъ тамъ новые корабли, веселъ былъ, всѣхъ торопилъ — все ему хочется Азовское да Черное море себѣ отвоевать — изъ Воронежа-то! Мало того — и султана турецкаго воронежскими кораблями изъ Цареграда выгнать, а Донъ — отъ соединить и съ Волгой, и съ Днѣпромъ, и съ Двинами обѣими, и съ Обью — Донъ-отъ! — Вотъ чадушко! Со всѣми концами свѣта задумалъ Донъ и Воронежъ соединить... „И на тотъ свѣтъ, говорить, прокопаюсь — только-бъ у меня помощники были!...“ А Павлушу вмѣстѣ съ бывшимъ тамъ въ Воронежѣ, по молороссійскимъ дѣламъ, генеральнымъ судьей Васиіемъ Кочубеемъ и съ бумагами царь посылалъ изъ Воронежа къ гетману, къ Мазепѣ Ивану Степановичу; а гетманъ въ то время гостилъ на

хуторъ у Кочубеихи—въ Диканькѣ... Вотъ тамъ-то Павлуша и видѣлъ эту дѣвушку, дочку Кочубея—ее-то и не можетъ онъ забыть...

Вотъ и теперь, отъ этой невоской холодной пустыни, мысль Павлуши отлетаетъ въ ту яркую зелень юга, въ эту счастливую Диканьку... Апрѣль въ началѣ—а уже все въ цвѣтѣ. Никогда Павлуша не подозрѣвалъ даже, что такъ дивенъ и прекрасенъ можетъ быть свѣтъ Божій... Деревья—вишни, яблони, груши, тернъ—словно снѣжною, розоватою метелью засыпаны сверху до-низу: хлопья, комья, горы этого снѣгу цвѣточнаго куда ни глянешь, гдѣ ни ступишь... Деревьевъ не видать совсѣмъ, а виденъ только цвѣтъ, цвѣтъ, цвѣтъ безъ конца. Только ниже виднѣется зелень, да и та вся усыпана цвѣтами, живыми и умирающими, опавшими, завядающими... Это—цвѣточное море кругомъ!—А птицы заливаются—Господи!—Павлуша такъ и затрепеталъ всѣмъ тѣломъ, когда очутился въ этомъ раю... Разомъ какъ-будто воскресъ одинъ день изъ его дѣтства, изъ той золотой, забытой, застланной пеленою лѣтъ поры, когда они жили гдѣ-то далеко, тамъ, за Днѣпромъ... Только не слышно плачущей скрипки добраго татка... Но зато поютъ птицы—столько голосовъ, столько мелодій неувимыхъ, столько подмывающаго, добраго, нѣжнаго, сладкаго, что, послѣ московскаго холода и угрюмаго молчанья природы, Павлуша не выдержалъ—и, бросившись лицомъ на траву, зарыдалъ...

Вдругъ онъ слышитъ, что кто-то тихо трогаетъ его за плечо. Въ изумленіи, онъ приподымаетъ голову и... не вѣритъ глазамъ своимъ: передъ нимъ стоитъ—русалка, не то богиня этого рая... и она вся въ цвѣтахъ, вся сіяющая какъ весна, какъ это это дивное голубое небо... На волосахъ ея, густыхъ и черныхъ какъ вороново крыло—корона изъ цвѣтовъ. И коса ея вся переплетена цвѣтами. Гирлянды цвѣтовъ обвиваются вокругъ шеи вмѣстѣ съ кораллами и спадаютъ внизъ по бѣлой, шитой красными узорами сорочкѣ... Смугло-бѣлое, матовое безъ румянца личико смотритъ ласково, дѣвушка открываетъ розовыя губы, и изъ-за бѣлыхъ мелкихъ какъ у мышки зубковъ вылетаютъ какія-то слова, не похожія ни на польскія, ни на московскія, но довольно понятныя...

— Чого вы плачете?—спрашиваетъ она.

— Такъ... мнѣ хорошо... я не знаю, — бормочетъ Павлуша, боясь взглянуть на видѣніе.

— Та вы-жъ съ таткомъ приехали?

— Нѣтъ... мой татко въ Москвѣ...

Павлуша замѣтилъ, что дѣвушка улыбнулась.

— Ни, не вашъ татко, а мій—Кочубей... Винъ зъ вами видъ царя приїхавъ до пана гетьмана...

— Да... онъ... я,—лепеталъ Павлуша, все еще не пришедшій въ себя.

— Може васъ кто обидивъ у насъ?

— Нѣтъ, никто—я такъ заплакалъ, вспомнилъ дѣтство.

— А вамъ якій рикъ?—спрашивала дѣвушка.

Павлуша не понимает слово „рикъ“ и молчить, глядя вопросительно въ черные, дѣтски добрые глаза.

— Годъ вамъ якій?—допытывается дѣвушка.

Павлуша понялъ:

— Мнѣ восемнадцать уже исполнилось.

— Овва! А мени вже скоро симнадцатый буде...

Въ это мгновеніе за кустами мелькнула тѣнь—и показалась бодрая фигура старика съ сѣдыми усами и живыми сѣрыми глазами, которые, при постоянно понуромъ лицѣ старика, смотрѣли словно изъ-подлобья, но смотрѣли бойко, лукаво и какъ-будто притѣливо... Это былъ Мазепа.

— Те-те-те!—весело заговорилъ гетманъ. — Уже моя дочечка изъ москалемъ женихается...

Дѣвушка вспыхнула. Павлуша тоже стоялъ растерянный—онъ узналъ Мазепу.

— Оттакъ дивка! Оттакъ Мотренька! вже й підчепила царьского деньщика... Ото дивчача натура!—смѣялся гетманъ, но смѣялся немножко ревнивымъ смѣхомъ.

— Ну бо, тату... Вамъ бы все жарты,—заговорила дѣвушка, надувъ губки.

— Яки жарты! У васъ тутъ не до жартъ...

— Та вони жъ бо, тату, плакали...

А вонъ идетъ и самъ хозяинъ сада—Кочубей, осыпанный, какъ снѣгомъ, цвѣтомъ вишенъ, яблонь, грушъ... Господи! какой рай, какія свѣтлыя видѣнія...

И мысль Павлуши, плывущаго по неприглядной, холодной Невѣ, переносится въ этотъ рай—и изъ хмураго сѣвернаго лѣса выступаютъ свѣтлыя видѣнія...

— Павелъ!—вдругъ пробуждаетъ его голосъ царя.

— Что изволишь, государь?

— Бумаги Кенисена запечаталъ?

— Запечаталъ, государь.

— Хорошо. Послѣ спрошу.

Опять проклятыя бумаги... Быть бѣдѣ, какъ онъ самъ увидить это страшное...

III.

Вечеромъ того же дня, 24 апрѣля, флотилія пристала къ берегу недалеко отъ устья Охты, гдѣ Шереметевъ, во главѣ двадцатипяти тысячнаго войска уже ожидалъ царя съ флотскимъ подкрѣпленіемъ. Царь прибылъ не одинъ и не самъ онъ командовалъ своимъ лодочнымъ флотомъ: флотиліею командовалъ самъ адмиралъ Головинъ, а въ числѣ другихъ командировъ были Головкинъ и Меншиковъ. Царь всѣхъ ихъ превратилъ въ моряковъ, а самъ носилъ званіе простаго бомбардирскаго капитана.

Ніеншанецъ былъ тотчасъ же обложенъ русскимъ войскомъ и со стороны суши, и со стороны Невы. Надо было торопиться взятіемъ крѣпости,

потому что шведская эскадра скоро должна была войти въ рѣку съ моря и сѣйши на помощь Ніеншанцу.

На другой день крѣпость была бомбардирована. Когда все было готово къ приступу, и всѣмъ начальникамъ частей отданы были соотвѣтственные приказы—куда идти, гдѣ стоять, какъ дѣйствовать, царь подозвалъ къ себѣ Ягужинскаго, который, какъ не принимавшій еще непосредственнаго участія въ дѣлѣ и не получившій никакого особаго назначенія, стоялъ поодаль и безпокойно ожидалъ—что же будетъ дальше.

— Ну что, Павлуша, ты еще не видывалъ настоящей баталіи?—спросилъ его царь ласково взволнованнымъ голосомъ.

— Не видывалъ, государь,—отвѣтилъ юноша.

— Воишься, чаю?

— Чего бояться?.. За тебя, царь государь, боюсь.

Въ холодныхъ, быстрыхъ взорахъ царя засвѣтилась нѣжность. Онъ положилъ руку на плечо юноши.

— За меня не бойся... Меня хранить Богъ для блага Россіи... Молись Ему...

— Буду молиться, государь.

— Такъ стань тамъ—къ тому лѣску—и видно будетъ, и въ безопасности находиться будешь...

Царь быстро повернулся, снялъ шляпу, набожно перекрестился и исчезъ въ числѣ прочихъ, шедшихъ на приступъ.

Павлуша сталъ на указанное мѣсто. Крѣпость, Нева, снующія по ней лодки, двигающіеся ряды войскъ—все это спуталось въ его глазахъ, смѣшалось, потеряло всякій смыслъ... Онъ видѣлъ что-то неопредѣленное, не ясное, непонятное для него...

Что-то глухо бухнуло, словно упало, оборвалось, разбилось... Это пушка... Буханье повторилось—чаще и чаще... Вотъ уже стелется дымъ надъ Невую... И на крѣпости, на стѣнахъ, всплываютъ какіе-то бѣлые громадные пузыри—и лопаются съ гуломъ... Это дымъ отъ пушекъ... Глуше и сердитѣе ревутъ пушки—и Нева стонетъ, и лѣсъ словно вздрагиваетъ... Вздрагиваетъ и Павлуша...

Онъ машинально крестится, но не знаетъ о чемъ молиться, что просить и за кого. Ему разомъ стало страшно за всѣхъ—и за тѣхъ, что рядами двигались къ крѣпости какъ-бы подгоняемые громомъ, и за тѣхъ, невѣдомыхъ ему, которыхъ эти за что-то ненавидѣли и стремились убить ихъ...

— Езусъ-Марія! о!—послышался сзади его тихій стонъ.

Онъ съ испугомъ обернулся—и остолебѣлъ отъ изумленія. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него опять показалось что-то въ родѣ того видѣнія, которое поразило его въ саду Диканьки, среди цвѣтущей природы Украины. Но это было другое видѣніе, хотя такое же прелестное, только безъ короны и цвѣтовъ. Павлуша видѣлъ только большіе черные глаза, которые его пугали своимъ какимъ-то глубокимъ и густымъ—такъ по крайней мѣрѣ Павлушѣ казалось—блескомъ... Это была молоденькая дѣвушка, высокенькая, плотная.

— Его убьют! Езусъ-Марія! — повторила дѣвушка какъ бы вопросительно.

— Кого убьютъ? — невольно спросилъ Павлуша. — Царя?

— Нѣтъ... царя я не знаю...

— Такъ кого же?

— Моего добраго господина.

— А кто твой господинъ?

— Мой господинъ — Александеръ Данилычъ.

— Меншиковъ?

— Да, Меншиковъ.

У дѣвушки замѣтенъ былъ не русскій выговоръ. Но русскіе слова, какъ видно, она знала.

— А ты кто же? — спросилъ Павлуша.

— Я Марта Скавронска, изъ Маріенбургъ. Меня русскіе въ полонъ взяли. А ты кто?

— Я денщикъ царскій — Ягужинскій Павелъ. А ты у Меншикова теперь?

— У Меншикова. Онъ добрый...

— Что-жъ ты у него дѣлаешь?

— Я служу ему.

Между тѣмъ канонада разгоралась. Слышался уже не стукъ отдѣльныхъ ударовъ, а сплошной гулъ, который перекатывался изъ конца въ конецъ, какъ удаляющаяся гроза.

Войско, предводительствуемое Борисомъ Шереметевымъ и ведомое молодыми русскими и преимущественно нѣмецкими офицерами, извивалось вокругъ маленькой крѣпости въ видѣ огромной змѣи, которая съ каждой минутой суживала свое страшное кольцо и должна была скоро задавить жалкій Неншанцъ. Крѣпостныя батареи, въ большей части подбитыя русскими ядрами, умолкали одна за другой. Казалось, что войско шло на мертвеца...

— Лють сегодня Борисъ, — слышался голосъ царя.

— Да добрымъ былъ-ли онъ, государь, и отъ молодыхъ ногтей?

— Подлинно такъ. Намедни доносить мнѣ: „послалъ-де я во всѣ концы плѣнить и жечь, дабы-де помнили враги твои, государевы, твоихъ ратныхъ людей — какъ они-де чисто брѣютъ“.

— Брадобрѣй, государь, точно брадобрѣй, Шереметевъ Борисъ Петровичъ.

— Да, крутенецъ Боря.

Это царь, въ сопровожденіи Меншикова, ѣхалъ къ другому концу поля битвы, чтобы ничего не оставить безъ вниманія. Ягужинскій и Марта увидѣли ихъ. Узнавъ Меншикова, Марта радостно вскрикнула. Царь оглянулся.

— А! это ты, Павлуша... А кто съ тобой?

— Это Марѣуша, государь, моя полонянка ливовская, — отвѣчалъ Меншиковъ, ласково взглянувъ на дѣвушку, которая тоже глядѣла на него радостно.

Быстрымъ взглядомъ царь окинулъ интересную полонянку съ ногъ до головы. Глаза дѣвушки, встрѣтившись съ глазами царя, словно застыли: это былъ какой-то дѣтскій, полный глубокаго удивленія взглядъ.

Царь тоже какъ-бы изумился. Передъ нимъ почему-то медькнулъ образъ Анны Моевъ... Точно Аннушка... Нѣтъ, не Аннушкины глаза.

— Какъ тебя зовутъ?—быстро спросилъ царь.

— Марта, ваше... ваше величество.

— А кто твой отецъ?

— Самуэль Скавронски.

Дѣвушка отвѣчала тихо, робко, не спуская глазъ съ вопрошающаго, точно это была исповѣдь... По лицу царя пробѣжало нервное подергиванье.

— Давно она у тебя?—спросилъ царь, быстро обращаясь къ Меншикову.

— Недавно, государь.

— А при какомъ дѣлѣ она у тебя?

— Портомоя...

Царь снова молча взглянулъ на дѣвушку, потомъ на Ягужинскаго, припшипорилъ коня и скрылся. Ускакалъ и Меншиковъ.

Осыпаемая ядрами, не видя ни откуда помощи, крѣпость недолго сопротивлялась. Петръ широко перекрестился, когда увидѣлъ, что на одной изъ крѣпостныхъ башенъ показался бѣлый флагъ.

— Пардону просить,—весело сказалъ царь:—я не чаялъ такъ скоро добыть ключи отъ рая.

— Ключи-то, государь, можетъ и добыты, да дверь-то въ рай еще не отворена,—замѣтилъ Меншиковъ.—Можетъ она приперта изнутри...

— Что ты врешь, Данилычъ!—сердито сказалъ царь.

— Не вру, царь государь... Дверь-то райская не токмо засовомъ изнутри засунута, да и архистратигъ Михаилъ за дверью съ огненнымъ мечомъ стоитъ.

— Что ты!

— Вѣрно, государь: сейчасъ самъ увидишь—погоди немного.

Сказавъ это, Меншиковъ удалился, а царь поскакалъ къ тому мѣсту, гдѣ Шереметевъ распоряжался осадой крѣпости.

Крѣпостныя ворота скоро отворились и престарѣлый шведскій комендантъ вынесъ ключи на блюдѣ.

Пока все это происходило, изъ обоза воротился Меншиковъ въ сопровожденіи сѣдого какъ лунь старика. Онъ былъ одѣтъ не какъ мѣстный житель, не по-чухонски, а по-русски. Характерныя лапти, покрой рубахи съ косымъ воротомъ и волосы съ подстриженной маковкой изобличали его національность. Старикъ молча приблизился къ царю. Изъ старыхъ, запавшихъ, но еще свѣтившихся жизнью глазъ текли слезы. При видѣ царя, старикъ повалился въ землю.

— Встань, старикъ. Говори—кто ты такой и зачѣмъ пришелъ къ намъ?—спросилъ царь.

Старикъ поднялся и, всплеснувъ руками, снова зарыдалъ.

— Ну, говори же, старичокъ.

— Господи! сорокъ годовъ я рускова духу не слыхалъ, слово родное забывать сталъ... А нонѣ вотъ на поди! — самъ осударь великій... рѣчь православную слышу...

И старикъ крестился дрожащими руками.

— Ну, такъ говори—кто ты и что хочешь повѣдать намъ, — повторилъ царь.

— Песъ я, осударь, одичалый,—мотая головой, говорилъ старикъ.— Одичалъ совсѣмъ—отбился отъ родного дому, отъ земли православной. Блаженныя памяти при царѣ Лексѣй Михайлычѣ ушелъ я изъ Великаго Новагорода отъ тѣсноты боярской—и вотъ скоро пятый десятокъ какъ молюсь тутъ среди чуди бѣлоглазой... Охъ, опостылѣла мнѣ она, эта сторона чужая, проклятая, а повороту мнѣ къ родной землѣ нѣту... Хутъ бы кости старыя привелъ Богъ родною землицею присыпать...

— Ну, такъ что-жъ ты хотѣлъ повѣдать намъ? — нетерпѣливо говорилъ царь.

— Осударево дѣло, батюшка, осударево,—какъ бы спохватился старикъ.—Я вотъ, осударь, здѣсь грѣшнымъ дѣломъ рыбку ловлю и на взморѣ частенько бываю. Такъ нонѣ, осударь, утромъ я и видѣлъ корабли швецкіе въ морѣ—отъ Котлина отъ острова, надо бы такъ полагать, сюда идуть...

— А много кораблей?—тревожно спросилъ царь.

— Многонько, осударь. Только я такъ тебѣ скажу, царь батюшка,—эти-то швецки корабли можно голыми руками побрать.

— А какъ?.. Говори, старикъ,—я твою службу не забуду.

— Спасибо, царь осударь, на добромъ словѣ, а я служить своему батюшкѣ-царю всегда радъ.

— И ты говоришь—корабли сюда идуть?—нетерпѣливо спрашивалъ царь.

— Надо такъ думать, осударь. Я ихъ обычай знаю. Всяку весну они тутъ плавають—по Невѣ вплоть до Ладоги... Такъ я тебя научу, осударь, что дѣлать!.. Вотъ туда пониже, за этимъ колѣномъ, отъ Невы влѣво рѣчечка махонька течетъ—Мыя называется,—такъ лѣсомъ-то эта самая Мыя и доходитъ до взморья... А вправо отъ Невы идетъ рукавъ—онъ идетъ за островомъ за Янисари—и тоже въ море входитъ... Такъ ежели, примѣромъ сказать, ты, осударь, пойдешь, кочами своими рукавомъ, а кто другой у тебя съ другими кочами войдетъ въ Мыю-рѣчку, такъ коли швецки корабли придуть да въ Неву зайдуть, тутъ и бери ихъ, какъ карасей въ вершѣ...

Царь казался взволнованнымъ. Никогда ему не представлялась такою легкою возможность—первой морской викторіи. И вдругъ!.. Да это вѣроподобно, разскажъ старика дышетъ такой простотой, такой увѣренностью... А онъ и не подозрѣвалъ о существованіи тутъ лѣсной рѣченки, обходной струи, въ которую корабли не могутъ попасть, но которая именно создана для его легкихъ лодочекъ... Промыслъ Божій... Дверь райская открывается...

Старикъ—это посланникъ Божій, это новый старецъ Целгусій, который предсказалъ побѣду Александру Невскому, тутъ же на берегахъ этой самой заколдованной Невы...

— И ты вѣрно, старичекъ, знаешь, что есть здѣсь обходъ лѣсомъ?— съ волненіемъ спрашивалъ царь.

— Есть, осударь,—Мыя называется.

— И ты проведешь по ней мои кочи?

— Проведу... какъ не провести!

Ночь — тихая, прозрачная, съ широкою зарею отъ заката до востока, съ прозрачно-голубоватымъ небомъ, съ робко мигающими звѣздами, которыя какъ бы боятся, что вотъ-вотъ изъ-за темнаго бора выглянетъ безсонное солнце и прогонитъ ихъ съ блѣднаго неба. Но все же это ночь, обязывающая ко сну и къ покою. Спать полуразрушенный Ніеншанць, окруженный бѣлыми палатками. Это — русское войско, которое тоже спитъ, оберегаемое дремлющими часовыми. Спать темная Нева, и только слышится ея тихій, сонный шопотъ—это катится сонная вода рѣчная отъ Ладоги до самаго моря. Спать, уткнувшись въ берега, словно утки, маленькія лодочки, составляющія флотилію царя. А среди ихъ, среди этихъ сѣрыхъ утокъ, спятъ двѣ огромныя птицы — не то гуси, не то лебеди... Это два шведскіе корабли, взятые съ бою маленькими русскими лодочками...

Не спитъ одинъ кто-то... Вонъ на берегу рѣки стоитъ этотъ кто-то, задумчиво глядя на воду, на рѣку, сонно бѣгущую къ морю... Кому же больше быть какъ не царю? У кого другого такой нечеловѣческій ростъ—въ полтора роста человѣческаго? У него одного только...

Да, это онъ—онъ не спитъ. Не спится ему послѣ первой славной морской викторіи. Могучія грезы одолѣваютъ безпокойную голову царя... Радостью и гордостью блестятъ его глаза всякій разъ, какъ они останавливаются на шведскихъ корабляхъ...

„Все это мое—мое отнынѣ и до вѣка“, думается царю. — „На семъ мѣстѣ созижду домъ мой — и будетъ стоять онъ, пока стоитъ російское государство, пока земля стоитъ“...

И онъ нетерпѣливыми шагами начинаетъ ходить по берегу, останавливается, размѣриваетъ, говорить самъ съ собою... А безпокойная мысль забѣгаетъ впередъ. Уже ему видится на этомъ мѣстѣ громадный городъ, весь изрѣзанный каналами, охраняемый неприступною крѣпостью, и корабли, корабли... Никогда въ жизни Петръ не былъ такъ счастливъ, какъ въ этотъ день. То, о чемъ онъ мечталъ съ дѣтства, съ тѣхъ поръ какъ увидалъ Переславское озеро, для чего онъ подтянулъ на дыбу всю Россію,—сбывалось: ноги его стояли на клочкѣ земли, который омывала морская вода, вода европейскаго моря — и этотъ клочокъ земли былъ его собственностью, и никто у него этого клочка не отыметъ... А эти два чудовища морскія—и ихъ онъ взялъ съ бою, какъ и этотъ клочъ земли... Теперь у него будутъ свои морскія чудовища—имъ есть гдѣ разгуляться, расправитъ свои бѣлыя крылья...

— Пойду — напишу про свою радость Аннушкѣ да князь-кесарю, — сказалъ онъ, топнувъ ногой...

И онъ быстро пошелъ къ своей палаткѣ. Ему не спалось въ домѣ, не спалось подъ крышей—его тянуло подъ открытое небо, а потому онъ и по взятіи Нienшанца оставался въ походной палаткѣ, гдѣ и работалъ и спалъ. У входа въ палатку стояли часовые. Царь, отдернувъ пологъ, увидѣлъ, что у самого входа лежить что-то на пологѣ, скомкавшися въ клубочекъ.

— А—это ты, Павлуша, — сказалъ царь. — Ступай къ себѣ—спи, я еще писать буду.

Ягужинскій, не совсѣмъ очнувшійся отъ сна, тихо удалился въ свое отдѣленіе палатки. Но царь тотчасъ же вернулъ его.

— А бумаги Кенисена гдѣ? — спросилъ онъ.

— У тебя на столѣ, государь, — отвѣчалъ юноша, блѣднѣя и со страхомъ глядя на царя.

— Хорошо, ступай спи.

Но Ягужинскому не довелось спать въ эту ночь...

Онъ внимательно сталъ слушать изъ-за наружной перегородки, что дѣлаетъ царь... Все слышно — слышно даже его могучее дыханье, слышно, какъ онъ потянулся, зѣвнулъ, хрустнулъ пальцами и присѣлъ къ своему походному столу.

— Боже, благодарю Тебя! — слышалось изъ-за перегородки. — Сна мнѣ нѣтъ отъ великаго счастья... Какой день, какой славный день...

Послышался шорохъ бумаги, хрустъ взламываемаго сургуча... У Ягужинскаго сердце упало... Скоро, сейчасъ онъ увидить это страшное...

— Эхъ, бѣдный, бѣдный Кенисенъ! не дожилъ ты до моего счастья, — слышался тихій, задумчивый говоръ царя съ самимъ собою. — Посмотримъ, что-то у тебя тутъ есть... А! что это такое!

„Страшное, страшное увидаль“, думалъ Павлуша, дрожа всѣмъ тѣломъ.

— Аннушка... Анна Монцова... Какъ она къ нему попала!.. И письма ея... знакомая рука... Такъ вотъ она какъ... Такъ вотъ гдѣ змѣя подкоподная... А! „зейнъ гетрейсте бетъ инъ мейнъ дотъ“... какъ и мнѣ писала... „по гробъ вѣрная“... А! шлюха...

Что-то звякнуло, разломилось, хрустнуло... Упала табуретка...

— На дыбу!.. на плаху!.. нѣтъ! на колъ, на колъ нѣмецкое отродье!..

Голосъ царя страшенъ. Онъ быстро ходитъ по обширной палаткѣ, роняя и разбрасывая все, что попадалось ему на пути... Потомъ онъ снова шуршалъ бумагами, комкалъ ихъ, бормоталъ несвязныя слова...

— Вотъ тебѣ и радость—вотъ тебѣ и викторія... Что-жъ! изъ-за сей мрази радость великую погубить? Нѣтъ!.. Не любя мнѣ была Москва, а теперь стала еще постылѣе... Тамъ убить меня хотѣли, въ Москвѣ же и обманули меня... Къ чорту Москву! У меня есть новое мѣсто для столицы, и отнынѣ будетъ оно моимъ парадизомъ и парадизомъ всего руссiйскаго царства...

Ягужинскій сталъ спокойнѣе прислушиваться. Онъ зналъ, что когда без-

покойный царь заговорить о российскомъ царствѣ, о его славѣ, то все другое, личное, уже менѣе острымъ становится для него.

— Я здѣсь сооружу мою новую столицу... Се будетъ новый мѣхъ, и въ новый мѣхъ я волю новое вино — и просвѣщеніе, и новыя доблести российскія... А Москва — пусть останется Москвою... Ишь ты! Москва-де сердце Россіи—ну ишь и пусть останется сердцемъ, кое присно живетъ въ разладѣ съ разсудкомъ... Такъ и Москва... А эта нѣмка—Анна.. Что-жъ! пускай ее... не любить ужъ... Да и любила-ли, полно? Не царя-ли видѣла во мнѣ, а не любовника?.. Да, любить и царь не можетъ заставить...

Ягужинскій видѣлъ, какъ громадная тѣнь царя наклонилась надъ столомъ. Голова опустилась на руки. Тихо стало въ палаткѣ.

— А эта—Марта, что-ли? Какіе глаза—чистые, невинные... Можетъ эта и полюбить не какъ царя... Ну, да благо—быть здѣсь „Питербургу“!

Царь даже кулакомъ объ столъ стукнулъ... Потомъ зашуршала бумага, заскригѣло перо...

Подъ скрипъ царскаго пера и уснулъ Павлуша Ягужинскій.

IV.

Малороссія.. Украина... Всегда, во всѣ вѣка исторической жизни русской земли край этотъ выступалъ изъ могильнаго мрака исторіи подъ дымкою очарованія, поэзіи, чего-то чудеснаго... Да, чудесное, героическое, легендарное прошло и сквозь всю исторію этого симпатичнаго, но несчастнаго края. Яркость историческихъ красокъ такъ бьетъ въ глаза, когда вы переноситесь въ прошедшее Украины: первые богатыри народнаго эпоса, богатыри стихійные и полумифы, потомъ богатыри-запорожцы, гетманы, казаки, гайдамаки, чумаки—на всемъ этомъ лежитъ печать поэзіи.

- Шо се ты, доню, читаешь?
— Та се, мамо, про блудного сына.
— Що жъ воно—изъ евангелія, изъ святаго письма?
— Ни, мамо,—се комедія.
— Яка, доню, комедія?
— Воно, мама, виршами писано.
— А хто его написавъ?
— Симеонъ Полоцькій, мамо.
— Що жъ воно тамъ пише?
— Та пише, мамо, що у одного чоловіка було два сны, старшій—тихій та слухяный, а меньшій—якійсь козакуватый, непокійный, мовъ за-порожській козакъ: „отпусти та отпусти“, каже, „мене, тату“...
— Та се жъ и святе письмо такъ пише... Яка жъ се комедія, доню?
— Ахъ, мамцю, яка бо ты! тутъ вирши...
— Такъ що-жъ що вирши?
— Тимъ воно й комедія называється.
— А ну-ну, почитай, я послухаю—що воно таке е.

— Слухай, мамо... Ото винь, менший сынъ, уже на воли, десъ у чужій земли... Слухай, мамцю, що винь каже:

Бѣхъ у отца моего, яко рабъ плѣненный,
Во предѣлѣхъ домовыхъ якъ въ тюрьмѣ заключенный.
Ни что быше свободно по воли творити,
Ждахъ обѣда, вечера, хотяя ясти, пити;
Не свободно играти, въ гости не пушано,
А на красныя лица зрѣти запрещено...

— Овва! се-бѣ то его батько на вечерниці не пускавъ...

— Ни, мамо,—яка-бо ты!.. Слухай...

— Та чого-жъ слухать! Волоцюга—волоцюга и есть... Одно слово—блудный сынъ—Семенъ Палій...

— Ну вже, яка-бо бы, мамцю!.. А люди кажутъ, що Палій такий козакъ, якого и въ свити нема.

— Не все то правда, що люди кажутъ.

— Якъ же-жъ, мамо?... Винъ за виру стоить...

Такъ говорили между собою мать и дочь,—дочь, Мотренька Кочубей. Затѣмъ Пушкинъ называлъ Мотреньку „Маріей“? Развѣ не благозвучно было бы это имя въ поэмѣ?—Вѣроятно.—А можетъ быть Пушкину неизвестно было настоящее имя знаменитой дочери Кочубея.

Горница, въ которой сидятъ мать съ дочерью, не похожа на то, что въ настоящее время разумѣется подъ комнатами людей средняго состоянія, а въ особенности богатыхъ. Это ни зала, ни гостиная, ни кабинетъ, ни столовая, ни уборная, ни спальня—просто горница. Четыре окна ея выходятъ непременно въ „вишневый садочокъ“. Вдоль двухъ стѣнъ горницы тянутся широкія лавки, которыя сходятся въ переднемъ углу, украшенномъ богатою кіотою. Въ кіотѣ блестятъ иконы въ золотыхъ и серебряныхъ окладахъ. Самый богатый окладъ на образѣ „Покровы“—это наиболѣе почитаемая икона украинца.

У другихъ стѣнъ горницы—нѣсколько рѣзныхъ, съ прямыми стѣнками стульевъ, и тамъ же шкапы и поставцы, наполненные серебряною и золотою посудою. Особеннымъ богатствомъ отличаются кубки, между которыми есть и дорогой итальянской работы. Верхнія половины шкаповъ стеклянные, а нижнія—глухія, съ глухими дверцами. Дверцы эти украшены рисунками, малеванными масляными красками. Рисунки—большею частью изъ народной жизни и исторіи, а также изъ священнаго писанія и нравоучительные. Такъ, на одномъ изображены два человѣка, стоящіе другъ противъ друга; у одного въ глазу нарисованъ сукъ, а у другою — цѣлое бревно. Подпись гласитъ:

У ближнего въ очи бачишь маленькій сучокъ,
А въ себе не бачишь здоровый дручокъ.

На другомъ рисунокѣ изображены „козакъ“ и „москаль“; послѣдній держитъ перваго за полу, которую первый обрѣзываетъ саблей. Подпись: „Видь москала полу врижь та втикай“. На третьемъ рисунокѣ: „козакъ“ и „ляхъ“, которые жмутъ другъ другу руку, а козакъ другую руку дер-

жить за пазухой. Подиись гласить: „Зъ ляхомъ дружи, а камнѣ за пазухой держи“. „Стара Кочубейха“ смотритъ еще женщиной не старой и красивой, но въ этой красотѣ не видно уже привлекательности, нѣжности и обаянія молодости. Скорѣе въ красотѣ этой есть что-то отталкивающее, жесткое и надменное. Движенія ея изобличаютъ желаніе властвовать, повелѣвать, и если сфера этого владычества является ограниченной, то она превращается въ семейный деспотизмъ, въ формѣ держанія мужа подъ башмакомъ, а дѣтей—въ ежовыхъ рукавицахъ. Передъ Кочубейхой прислуга должна непременно трепетать, ходить въ страхѣ Божиємъ и исполнять не приказанія госпожи, а движенія ея бровей и глазъ, мановенія руки, и понимать ея молчаніе. Не даромъ Мазепа, которому Кочубейха не мало насолила, называлъ ее „женою гордою и велерѣчивою“.

— „На Кочубейху троба добраго муштука, якъ на бриклину кобылу“,— не разъ говорилъ онъ.

— „Якъ бы не вы, Иванъ Степановичъ“,—замѣчалъ на это лукавый Семень Палій, „то вона бъ давно була гетьманомъ“.

Кочубейха, подойдя къ Мотренкѣ, стала разсматривать лежащую передъ ней книгу.

— Кто се тобі давъ таку книгу?—спросила она.

— Панъ гетьманъ, мамо,—отвѣчала Мотренька.

— Отъ-ще! старый собака—задумавъ вчити чужу дитину.

— Ну вже—яка-бо ты, мамцю! за що ты его не любишь!—возразила дѣвушка, глядя на мать.—Винъ такій добрый...

— Добрый, якъ китъ до сала.

— Та ни бо, мамо,—винъ мени и ласощивъ дае.

— Знаю, бо самъ даже ласый....

— Та за що жъ его, мамцю, не любишь? — настаивала Мотренька, ласкаясь къ матери.

— За те, що ты ще дурне,—отвѣчала Кочубейха, глядя голову дочери.

— Та ну бо, мамчику, скажи—за ви що?—ласкалась дѣвушка.

— Выростешъ, тоди сама знатимешъ.

— Ахъ, мамо!.. та-я-жъ выросла вже...

— Выросла, та ума не вынесла.

— Ну, яка-бо ты, мамо... мени вже скоро синадцятий рикъ буде...

— Знаю... а молоко материне онъ ще и доси на губахъ не обсохло...

И Кочубейха тронула Мотреньку по губамъ.

— Ни, обсохло, мамцю,—лукаво возражала дѣвушка.—Я знаю, за що...

— А за що бо? Ну, скажи, Мотрона Васиlivна, будте ласкови.

— Не скажу, мамо.

— Отъ дурне!

— Ни, не дурне... Я чула, якъ ты разъ таткови казала: „коли бъ не сей старый собака—Мазепа, ты бъ давно бувъ гетьманомъ“...

— Що жъ—воно й правда... Винъ уже чужій викъ заидае.

— Та ни бо, мамо, винъ вже не такій старый.

— А якого-жъ тобі ще?

— Хочъ винъ и старый, мамо, та жвавий, умный—винъ кращій видъ молодыхъ...

— Тю на тебе!.. отъ сказала!

— Та правда жъ, мамо,—винъ мовъ и не старый.

— А знаєшь, якій винъ старый?—сказала Кочубейха, поправляя намісто на шеѣ у дочки.—Оце намісто винъ тобі подарувавъ, якъ хрестили тебѣ, та й казавъ, що сему намістови вже сорокъ лѣтъ буде, що коли винъ женився, то подарувавъ его свой невисти, а теперъ—тоби... Та ще дуже мы тоди сміялись, якъ хрестили тебе... Якъ пипъ, отецъ Матвій, обливъ тебе свяченою водою та положивъ тебе ему на руки, винъ, Мазепа, дивлячись на тебе... а ты була така малесенька, мовъ рачокъ маленький... и каже: „отъ дивчина такъ дивчина“, каже, „а нижки яки малюсеньки—Господи!—а коли виростуть, каже, то такъ-то любенько бигатимуть по мой могильци“... Отъ тобі й могилка!.. А батюшка, отецъ Матвій, и каже: „Не загадуйте-ка, пане гетьмане, попереду Господа Бога: у егд своя черга на наши могилки. Може на вашу труну, каже, дерево ще и зъ земли не вылазило: може, коли оце нова раба Божа Мотрона виросте, то вы бъ до неи й свативъ прислали, да тильки пани гетманова васъ за чубъ вдержитъ“... Ото смиху було!

При послѣднихъ словахъ матери дѣвушка задумалась. То, что говорила мать, для нея было совсѣмъ не смѣшно. Старый Мазепа всталъ передъ нею въ какомъ-то чарующемъ обаяніи, съ его загадочнымъ, угрюмымъ, задумчивымъ взглядомъ, въ которомъ свѣтилась молодая прелесть и ласка, когда онъ смотрѣлъ на Мотреньку... Эти задумчивые глаза смотрѣли на ея маленькія ножки, когда онъ, послѣ купели, держалъ ее на рукахъ и думалъ: „эти маленькія ножки будутъ бѣгать по моей могилѣ... могила травой заростетъ“... Нѣтъ! эти живые глаза стараго гетмана не заглядываютъ еще въ свою могилу — они заглядываютъ далеко впередъ, какъ глаза шноши, смѣло глядятъ въ таинственное будущее — и это будущее обаятельно манитъ къ себѣ Мотреньку.

Мотренька росла какой-то загадочной дѣвочкой. Она не походила на другихъ дѣтей Кочубея, и когда дѣвочкѣ было пять лѣтъ только, мать ея, гордая Кочубейха, державшая свой домъ въ такомъ же строгомъ повиновении, въ какомъ батько-кошевой держалъ запорожскую сѣчь, урѣкала бывало пучеглазую Мотреньку: „Та ты въ мене така неслухьяна дитина, що вже й въ пелюшкахъ було пручалася, мовъ козиня, —та изъ колиски коженъ тобі день литала... Въ кого воно й уродилось, прости Господи! А оно уродилось пожалуй въ нее же самое—въ Кочубейху... „Тильки було прокинѣться, вже й кричить у колиці:—„не хочу, мамо, не хочу“!—Се, бачъ, не хоче, що бъ ии мыли й обували... И само лизе зъ колиски—та бебехъ додолу—писне трошки, та й мовчить, не плаче, а тильки сопє... Якъ не доглянуть бувало, то вою вже й ганя по двору босо та розхристане... А було піймаєшь его, считаєшь: „та чи вмивали тебе, Мотю?“—

Такъ воно й одриже: „Мене, мамо, каже, дрибенъ дощикъ вмивъ“, або воно, непутне, „росою, каже, вмивалося“... Оттака дитина“!

Мазепа, какъ крестный отецъ и бездѣтный, тоже не могъ не обратить вниманія на этого бѣдоваго ребенка. „Се у тебе, кумо, царь-дѣвица росте“, — говорилъ бывало старый гетманъ, любуясь своею хорошенькою крестницей, которая, сидя у него на колѣняхъ, теребила его за усы и за чубъ: — „а мени не давъ Богъ такой утихи“... Кромѣ гетманскихъ усовъ и чуба, Мотренька любила также забавляться гетманскою булавою, которую старикъ, когда у него гостила крестница, тихонько отъ старшины давалъ дѣвочкѣ „погратись“. Не было, кажется, просьбы, которую старый гетманъ не исполнилъ бы ради своей крестницы. — „Попроси воно въ мене Батуъ ринъ — и Батуринъ оддамъ, тильки гетьманства не оддамъ, бо воно, мале, дивча, до вашихъ, панове, чубивъ ручками не достане“, — обращался онъ бывало къ своимъ полковникамъ, держа на рукахъ маленькую Мотреньку.

Когда Мотренька стала большенькою, уже она не любила обыкновенныхъ дѣтскихъ игръ и выдумывала для себя собственные развлечения. У нея былъ цѣлый заводъ и домашней и прирученной птицы, а также разныхъ звѣрей, начиная отъ ручныхъ зайцевъ, ежей, кроликовъ и кончая сайгаками. Журавли, аисты, лебеди, пеликаны — все это бродило на ея птичьемъ дворѣ, и когда по утру Мотренька являлась къ своимъ любимцамъ, то звѣри и птицы наперерывъ старались завладѣть ея вниманіемъ и лакомыми яствами, съ которыми являлась къ нимъ дѣвочка.

— Ото въ тебе, Василій Леонтіевичъ, росте царица Клеопатра, — говаривалъ Мазепа Кочубею, видя Мотреньку, окруженную звѣрями и птицами.

— Такъ-то такъ, пане гетьмане, — Клеопатра, та тильки Антонія у насъ немае, — отвѣчалъ на это Кочубей.

— Овва! за такими дураками дѣло не стане, — смѣялся старый гетманъ, не подозрѣвая, что этимъ Антоніемъ будетъ онъ самъ и такъ же, какъ Антоній римскій, погибнетъ чрезъ свою Клеопатру.

Врожденная-ли впечатлительность и самоуглубленіе, или любовь къ разсказамъ о сверхъ-естественныхъ силахъ и явленіяхъ, о чарахъ, скрытыхъ въ природѣ, необыкновенно развили въ дѣвочкѣ воображеніе. Когда ей уже было лѣтъ пятнадцать, она ночью ходила въ лѣсъ отыскивать цвѣты папоротника, для того чтобы съ его помощью облетѣть весь міръ и посмотреть, что въ этомъ мірѣ дѣлается. Особенно ее тянуло въ тѣ невѣдомыя страны, гдѣ, по народнымъ разсказамъ, томились на „турецкихъ галерахъ“ казаки-невольники, думу о которыхъ она никогда не могла слышать безъ того, чтобы въ концѣ концовъ не разрыдаться. Судьба невольниковъ не выходила у нея изъ головы съ тѣхъ поръ, какъ она въ первый разъ услышала думу „про Марусю Богуславку“. Это было въ Батуринѣ, когда Мотренькѣ не было еще десяти лѣтъ. На первый день Пасхи, когда Мотренька восхищалась надаренными ей разными „писанками“ да скрашанками“, на дворъ къ нимъ прибрелъ старый слѣпой лирикъ и, усѣвшись подъ заборомъ, запѣлъ подъ однообразное тренькащее бандуры

тоскливое причитанье про Марусю Богуславку. Мотренька стояла въ stondѣ и жадно слушала незнакомую ей думу. Немного поодоль стояли другіе слушатели—домочадцы Кочубеевъ, преимущественно „жиночки“, „дивчата“ та „дитвора“. Тутъ же была и Устя, старая нянька Мотреньки, „удова Варенька“, какъ она себя называла, большая фантазерка—баба, воображавшая, что она та „удовица“, объ которой поется въ думахъ и у которой былъ сынъ „удовиченко“, хотя этотъ сыночекъ былъ большой „гульвиса“ и лѣнтяй, за что Кочубеиха и сослала его на хутора—пасты конскій табунъ. Это-то обстоятельство и заставило Устю воображать, что сыночекъ ея въ „турецкой неволѣ“, за синими морями, за быстрыми рѣками.

— Яку ты се, дидушка, проказати хочешь?—спросила Устя, когда лирникъ настроилъ свою бандуру и жалобно затренькалъ.

— Та великодну жъ, люде добри,—отвѣчалъ лирникъ, не поднимая своего слѣпного лица:—бо сегодня, кажутъ люде, святой великдень.

— Та великдень же, старче божій.

— Такъ и я великодной...

Старикъ откашлялся, пробѣжалъ привычными пальцами по струнамъ и визгливымъ старческимъ голосомъ затянулъ:

Ой що на Чорному мори,

Ой що на билому камені,

Тамъ стояла темная темниця,

Ой що у тій-то темниці пробувало симсоть козаківъ,

Бидныхъ невольниківъ.

То вже тридцять лить у неволи пробувають.

Божого свиту, сонця праведного въ вичи собі не видають...

И онъ подвѣлъ свои слѣпые глаза къ небу, какъ бы желая показать, что онъ, слѣпорожденный, можетъ созерцать „праведное солнце“: „бидни невольники“ лишены и этого.

Глубоко подѣйствовалъ припѣвъ на слушателей. Чѣмъ-то священнымъ, казалось, вѣяло на нихъ и отъ этихъ повятныхъ всѣмъ горькихъ словъ, и отъ этого скорбнаго, тихаго треньканья. Мотренька вся задрожала, когда до слуха ея долетѣли слова: „тридцать лить у неволи...“

— Що мати Божа! спаси и вызволи,—тиху простонала Устя, въ воображеніи которой всталъ ей „бидный невольникъ“—сыночекъ у конскаго табуна.

А старикъ, чуткимъ ухомъ своимъ уловившій и этотъ невольный стонъ матери и едва слышные вздохи другихъ слушательницъ, продолжалъ, разомъ возвысивъ свой дребезжащій голосъ до октавы:

Ой тоди до ихъ дивка бранка,

Маруся-Поливна Богуславка.

Прихождає,

Словами промовляє:

„Гей козаки,

„Вы бидни невольники!

„Угадайте, що въ нашій землі християнський за день тепера?“

Що тоди бідни невольники зачували,

Дивку бранку,
Марусю-Попивну Богуславку

По ричахъ познавали,
Словами промовляли;

„Гей, дивко бранко,
„Марусю-Попивно Богуславко!

„Почимъ мы можемъ знати,

„Що въ нашій землі христіянській за день тепера,

„Бо тридцять лить у неволи пробуваємъ,

„Божого свиту, сонця праведного у вичи соби не видаємъ,

„То мы не можемо знати,

„Що въ нашій землі христіянській за день тепера?“

То дивка бранка,
Маруся-Попивна Богуславка

Тее зачуває,
До козаківъ словами промовляє:

„Ой козаки,

„Вы бідни невольники!

„Ой що сьогодні у нашій землі христіянській великодная суббота,

„А завтра святой празникъ, роковий день великдень...”

Стоявъ прошедь по всему сборищу добрыхъ слушательницъ... Съ послѣднимъ визгомъ струны словно оборвалось у каждой изъ нихъ на сердцѣ... Мотренька стояла какъ окаменѣлая, не чувствуя, какъ изъ ея широко раскрытыхъ глазъ катились крупныя слезы и капали на красивыя крапанки, которыя словно замерли въ ея рукахъ...

Въ это время на крыльцѣ панскаго дома показалась фигура стараго гетмана. За нимъ вышли Кочубей и находившіяся у нихъ вмѣстѣ съ Мазепою гости. Кружокъ, обступившій лирника, при видѣ пановъ, дрогнувъ и хотѣлъ было разступиться; но Мазена махнулъ рукой—и всѣ остановились.

Мотренька ничего этого не видѣла, не спуская глазъ съ лирника, который тихо тренькалъ по струнамъ и молча кивалъ сѣдою головою, какъ бы давая роздыхъ наболѣвшей груди и глотая накопившіяся въ груди слезы. Около слѣпого лирника сидѣлъ маленькій „хлопчикъ“. Это былъ вожатый слѣпого бродяги и его „михоноша“. Хорошенькое личико ребенка, которое, повидимому, ни разу въ жизни не было обмыто заботливыми руками любящей матери, непокрытая головенка съ спутавшимися прядями никогда нечесанныхъ волосъ, босыя ноги, вмѣсто сапоговъ обутыя въ черную кору засохшей грязи—все это, буквально „голе и босе“, само напрашивалось на сожалѣніе и участіе; а между тѣмъ ребенокъ беззаботно игралъ краснымъ яичкомъ, не обращая вниманія ни на вздыхающихъ слушательницъ, ни на плачущую бандуру своего „дида“.

А скрипучій голосъ „дида“ опять занылъ, мало того—зарыдалъ, потому что зарыдали „бідни невольники“:

Ой якъ козаки тее зачували,
Билимъ лицемъ до сырой землі припадали,
Плакали-рыдали,
Дивку бранку,

Марусю-Попивну Богуславку

Кляли-проклинали:

„Та бодай ты, дивко бранко,

„Марусю - Попивно Богуславко,

„Щастя й доли собі не мала,

„Якъ ты намъ святой праздникъ, роковой день великдень
сказала!“

И важный Мазепа—этотъ „батько козацькій“ и Кочубей, и ихъ гости, и всѣ эти босыя и обутыя бабы и „жиночки“, „дивчата“, „дивчаточки“ и „дитвора“ — все это съ глубокимъ вниманіемъ и интересомъ слушало родную, дорогую для каждого украинца повѣсть страданій ихъ бѣдныхъ братьевъ, словно бы это было народное священнодѣйствіе, поминовеніе тѣхъ, которые теперь, въ этотъ свѣтлый праздникъ, изнываютъ въ темной неволѣ, вдали отъ милой родины...

Но особенно потрясающее впечатлѣніе на женщинъ произвели послѣднія, заключительныя строфы думы, когда слѣпой поэтъ, нарисовавъ, какъ Маруся Богуславка, освободивъ невольниковъ, прощалась съ ними, — рыдающимъ голосомъ изображалъ это прощанье:

„Ой, козаки,

„Вы, бидни невольники!

„Кажу я вамъ, добре, дбайте,

„Въ города християньски утикайте,

„Тильки прощу я васъ одного—города Богуслава не минайти,
Моему батькови й матери знати давайте:

„Та нехай мій батько добре дбае,

„Грунтивъ, великихъ маеткивъ не збуває,

„Великихъ скарбивъ не збирає,

„Та нехай мене, дивки бранки,

„Маруси-Попивны Богуславки,

„Зъ неволи не вызволяє:

Бо вже я потурчилась, побусурменилась —

„Для роскоши турецької,

„Для лакомства нещастного!..“

— Ото-жъ проклята?—невольно вырвался крикъ у молоденькой, бѣлокурой Горпины, когорая все время молча слушала надрывающее душу причитанье.—Отъ проклята!

— Де не проклята!—подтвердили бабы—потурчилась суча дочка!

А Мотренка! вся поцупцовѣвшая отъ войненія, сожалѣнія и стыда, при послѣднихъ словахъ лирика бросилась къ матери да такъ и повисла у нея на шеѣ...

— Мамо! мамо!—лепетала дѣвочка:—яка-жъ вона негожа... яка вона, мамо!..

— Хто, доню?

— Маруся-Попивна Богуславка...

И дѣвочка разрыдалась... Всѣ были растроганы... Даже молчаливый Мазепа, у котораго заискрились старые глаза, тихо подошелъ къ своей крестницѣ и перекрестилъ уткнувшуюся въ подолъ Кочубеихи чорненькую го-

ловку. Мотренька съ той поры никакъ не могла забыть ни Маруси Богуславки, ни „бидвыхъ невольниковъ“...

V.

Въ то время, когда началось наше повѣствованіе, крестницѣ Мазепы было уже шестнадцать лѣтъ. Дѣвочка выровнялась въ статную, стройную, прекрасно развитую женщину, которая казалась нѣсколько старше своихъ, въ сущности еще дѣтскихъ лѣтъ. Но эта возмужалость пришла къ ней вмѣстѣ съ ея южнымъ, горячимъ темпераментомъ, въ которомъ сказывалась немножко восточная кровь — кровь Кочубеевъ, можетъ быть хаджибеевъ, давно забывшихъ свое татарское гнѣздо и превратившихся въ коренныхъ украинцевъ. Необыкновенно живая, впечатлительная, страстно-стремительная Мотренька съ годами становилась все сдержаннѣе, ровнѣе. Быстрыя движенія кошки превратились въ движенія плавныя, полныя непринужденности и граціи. Только цвѣтъ волосъ и какой-то глубокій свѣтъ черныхъ глазъ изобличали что-то жаркое, азіатское, смягченное необыкновенною мягкостью лицевыхъ чертаній. Но грезы дѣтства не отлетѣли отъ нея съ возмужалостью, и если она не искала цвѣтка папоротника въ шестнадцать лѣтъ, какъ искала его нѣсколько раньше, то взамѣнъ этого мысль ея и живое воображеніе развертывали передъ нею картины всего міра, среди которыхъ не послѣднее мѣсто занимали далекія, никогда невиданныя моря съ плавающими по нимъ галерами турецкими... А на галерахъ—эти „бѣдные невольники“... А вдали, на азіатскомъ берегу, на сѣрой скалѣ, висящей надъ моремъ, стоитъ дѣвушка и ломаетъ себѣ руки... Это—Маруся Богуславка...

Нѣсколько лѣтъ Мотренька прожила въ Кіевѣ, въ одномъ изъ женскихъ монастырей, гдѣ она, подъ надзоромъ настоятельницы и наиболѣе образованныхъ монашенокъ, докончила свое образованіе, начатое дома. Въ монастырѣ ее часто навѣщаль Мазепа, который все попрежнему любилъ и баловалъ свою крестницу, и всегда съ интересомъ разспрашивалъ настоятельницу объ успѣхахъ своей любимицы. И Мотренька съ своей стороны все болѣе и болѣе привыкала къ старому гетману. Она даже узнавала топотъ гетманскаго коня, когда Мазепа, особенно по праздникамъ, заѣзжалъ въ монастырь или во время обѣдни, или послѣ службы. Когда онъ входилъ въ церковь, то, не оглядываясь, Мотренька узнавала о его приближеніи, и всегда была рада его видѣть, тѣмъ болѣе, что онъ или привозилъ ей вѣсти отъ отца и матери, или одѣлялъ ее и подружекъ-монастырокъ разными „ласощами“.

Какъ дома, такъ и въ монастырѣ Мотренька проявляла нѣсколько большую самостоятельность характера и пытливость, чѣмъ того желали бы ея родители и воспитатели, выросшіе на преданіяхъ и на законѣ обычая, столь крѣпкомъ въ то старосвѣтское время. Дома она ходила искать цвѣтъ папоротника, бродила одна по лѣсу, чтобы встрѣтиться съ „мавкою“ или русалкою; но исканія ея оказались напрасными. Въ монастырѣ она зада-

лась упрямымъ рѣшеніемъ—помогать выкупу „бидныхъ невольниковъ“ изъ турецкаго плѣна. Съ этою цѣлью каждую церковную службу, особенно же въ большіе праздники, она вмѣстѣ съ матерью казначеею и другими инокинями обходила всѣхъ молящихся въ церкви, таская огромную кружку съ надписью: „на освобожденіе плѣнныхъ“—и часто къ концу службы кружка ея была биткомъ набита мѣдью, серебромъ и золотомъ... „На бидныхъ невольниковъ... на страдающихъ въ плѣненіи“,—шептала она, погромыхивая звонкою кружкою—и карбованцы сыпались въ кружку черноглазой клирошанки...

Однажды Мотренька произвела въ монастырѣ небывалый, неслыханный соблазнъ... Дѣло было такимъ образомъ. Монашенки постоянно твердили, что женщина не можетъ входить въ алтарь, что она—нечистая, что разъ она вступила въ святая святыхъ—ее поражаетъ громъ... Мотренька рѣшилась войти во святая святыхъ, но не изъ шалости, а по страстному влеченію того чувства, которое влекло ее ночью въ лѣсъ за цвѣткомъ папоротника... Три дня она постилась и молилась, чтобъ очиститься—и наконецъ, когда церковь была пуста, со страхомъ вступила въ алтарь... Тамъ она упала на полъ и жарко молилась—благодарила Бога за то, что она—не нечистая... Въ этомъ положеніи застала ее старая монастырская „мать оконома“—и остолбѣла на мѣстѣ... „Изыди... изыди, нечистая!.. Огнь небесный пожретъ тя“—завопила старушка... Мотренька тихо поднялась съ колѣнъ, приложила къ кресту, благоговѣнно вышла изъ алтаря и радостно сказала изумленной „окономѣ“:

— Матушка! Богъ помиловалъ мене... Винъ добрый—добришій, ниже вы казали...

Дѣвочка была строго наказана за это; но Мазепа, которому мать игуменья пожаловалась на его крестницу, съ улыбкой замѣтилъ:

— Вы кажете, матушка, що дивчиннѣ не слѣдъ у олтарь ходитъ—щѣ дивчина не чиста... А якъ вы думаете, мать святая,—дякъ Опанасъ, що по шинкахъ, да по вертепахъ да по пропастьхъ земныхъ вештається—чище надъ сю дитинку Божу?

На это матушка игуменья не нашлась что отвѣчать.

Съ годами Мазепа все больше и больше привязывался къ своей крестницѣ. Иногда ему казалось, что онъ былъ бы счастливъ, если бъ судьба послала ему такую дочку, какъ Мотренька. Съ нею онъ не чувствовалъ бы этого холоднаго, замкнутаго сиротства, которое особенно стало чувствительно для старика послѣ смерти жены, болѣе сорока лѣтъ дѣлившей его почетное, но тягостное одиночество въ мірѣ. Міръ этотъ казался для него монастырской кельей, острогомъ, изъ котораго онъ управлялъ миллионами свободныхъ, счастливыхъ людей, а самъ онъ былъ и несвободенъ, и несчастливъ. Да и съ кѣмъ онъ раздѣлилъ бы свою свободу, свое счастье? Кому онъ нуженъ не какъ гетманъ, а какъ человѣкъ?... На высотѣ своего величія онъ видѣлъ себя бобылемъ, круглымъ сиротой—гетманскою булавою, передъ которой всѣ склонялись, но которую никто не любилъ. Хотѣ

бы дѣти! хоть бы какія-нибудь семейныя заботы, горе, боязнь за другихъ!.. Нѣтъ, ничего нѣтъ, кромѣ власти и отчужденія!..

Иногда на старика нападала страшная, смертная тоска... Для кого жить, зачѣмъ? Чего искать? — Личнаго счастья? Но какое же у булавъ личное счастье! Да и какое возможно счастье подъ семьдесятъ лѣтъ! Отрепья старые, жалкіе обноски—сухое перекатиполе, зацѣпившееся за чужую могилу...

Хоть бы дѣти! Такъ нѣтъ дѣтей! никого нѣтъ! Какое проклятое одиночество! Есть дѣти... усатые и чубатые „дитки-козаки“... А онъ—ихъ „батько“... Но не радуютъ и эти „дѣтки“... Не радуешь вся Украина-матка... Для нея развѣ жить? Ее оберегать?—Но надолго-ли? Кому она потомъ, бѣдная вдовица, достанется?—Развѣ не начнутъ ее опять трепать и москали, и ляхи, и татары?—А ей бы пора отдохнуть, успокоиться...

Вси покою щире прагнуть...

А тамъ, по ту сторону Днѣпра, „тогочная Украина“ тоже мутится... Семенъ Палій широко загадываетъ... Палій свербитъ на языкѣ поспольства, на языкѣ всей Украины... Сколю Мазепа и на Украинѣ останется вдовцомъ, бобылемъ.

Такое мрачное раздумье нападало на стараго гетмана всякій разъ, когда ему нездоровилось. Къ тому же изъ Москвы приходили тревожныя вѣсти: царь разлакомился успѣхами... Этою весною онъ уже сталъ пятою на берегу моря—и не сбить его оттуда... А оттуда, разохотившись, повернетъ опять на Донъ, поближе къ этимъ морямъ, да и на Днѣпръ, да на всю Украинну...

— „А ты, старый собака, чого дивишься! Отъ винъ загарба твою стару неньку, Украинну—и буде вона плакать на рикахъ вавилонскихъ... О, старый собака!..“

Такъ хандрилъ старый гетманъ, взволнованно бродя по пустымъ покоямъ гетманскаго дворца въ Батурицѣ, въ то время, когда Кочубеиха, заставъ свою дочь за чтеніемъ Димитрія Ростовскаго, заговорила о Мазепѣ и о томъ, какъ онъ когда-то крестилъ Мотреньку.

— Занедужавъ, ваяжуть, дидусь,—замѣтила кстати Кочубеиха.

— Хто, мамо, занедужавъ?—спросила Мотренька.

— Та винъ же, гетьманъ.

Дѣвушку, повидимому, встревожили слова матери. Она давно привыкла къ старику, привязалась къ нему — ее привлекалъ его свѣтлый умъ, его ласковость, а еще болѣе—его одиночество, которое дѣвушкѣ казалось такимъ горькимъ, такимъ достойнымъ участія.

— Що въ его, мамо?—спросила она торопливо.

— Та все то-жъ, мабуть...

— Та що-бо, мамочко?

— Певне—подагра та хирагра... Чому-жъ бильше бути въ его! Нагулявъ собі... Часъ и въ домовину...

— Ахъ, мамо! грихъ тобі... А видъ подагры, мамо, можно вмерти?

— Якъ кому... Винъ уже сто литъ вмирає—та й доси не вмеръ...

Дѣвушка ничего не отвѣчала—слова матери слишкомъ возмущали ее. Но она рѣшилась навѣстить больного старика, какъ онъ навѣщалъ ее въ монастырѣ, и потому оставила безъ возраженія то, противъ чего въ другое время она непременно бы возстала.

Послѣ разговора съ матерью Мотренька вышла „у садочокъ“ и нарвала тамъ лучшихъ цвѣтовъ, которые, какъ она знала, нравились старому гетману, особенно когда ими была убрана его крестница. Ей такъ хотѣлось утѣшить, развлечь бѣднаго „дидуса“, который всегда бывало говорилъ, что Мотренька—чаровница, которая всякую боль можетъ снять съ человѣка однимъ своимъ щебетаньемъ.

Нарвавъ цвѣтовъ, она направилась къ дому гетмана черезъ свой садъ, за которымъ тянулись гетманскія усадьбы. На дорогѣ встрѣтился ей отецъ, который шелъ вмѣстѣ съ полтавскимъ полковникомъ Искрою. Лицо Кочубея просіало при видѣ дочери. Искра тоже любовался дѣвушкою.

— Де се ты, дочко, идешь? Чи не на Купалу? — ласково спросилъ отецъ.

— Якій сегодня, тато, Купало?

— Та якъ-же-жъ! Якого добра нарвала повни руки. Хочь на Купалу.

— Та се я, татуню, до пана гетьмана... Мама каже — винь занедужавъ...

— Та що-жъ—ты его причащать идешь?

— Ни, тату,—такъ... щобъ вони не скучали...

— Ахъ ты моя ясочка добра!—говорилъ Кочубей, цѣлуя голову дочери.

— Та якъ-же-жъ, татуню,—мини жаль его...

— Ну, йди-йди, рыбочко... Видь твого голосу й справди полегшае...

— Бувайте здорови!—поклонилась она Искрѣ.

— Будемо. А дайте-жъ и мини хочъ одну квиточку,—улыбнулся Искра.

— На що вамъ?

— Та хочъ понюхати... може й мини легше стане...

— Ну, нате оцей чернобривецъ...

— Овва! самый никчемный... Отъ яка...

Дѣвушка убѣжала. Она знала, что Искра, какъ истый украинецъ, любившій „жарты“, долго не оставилъ бы ее въ покоѣ; а ей теперь было не до „жартъ“.

У воротъ гетманскаго двора стояло нѣсколько „сердюковъ“, принадлежавшихъ къ личному конвою гетмана. Это были большею частью молодые украинцы, дѣти наиболѣе „значныхъ“ малороссійскихъ семействъ, изъ коихъ Мазепа, воспитавшійся на польскій ладъ, старался искусственно выковать нѣчто похожее на европейское дворянство и польское шляхетство, положительно несовмѣстимое съ глубоко-демократическимъ духомъ казачества и всего украинскаго народа. Молодые люди, скучая бездѣйствіемъ, выдумали себѣ забаву: они свели на единоборство огромнаго гетманскаго козла съ такимъ же великаномъ, гетманскимъ бараномъ. И козелъ, и баранъ давно жили на одномъ дворѣ и всегда враждовали другъ

противъ друга: козель считалъ своею территоріею ту часть гетманскаго двора, гдѣ помѣщались конюшни, а баранъ считалъ себя хозяиномъ не только около поварни, но и у самаго нанскаго крыльца, и при всякой встрѣчѣ враги вступали въ бой. Теперь „сердюки“ заманили ихъ за ворота и раздражили того и другого. И козлу, и барану они присвоили названія сообразно ходу тогдашнихъ политическихъ дѣлъ: козель у нихъ изображалъ „москаля“, а баранъ — „шведа“.

Въ то время, когда на улицѣ показалась Мотренька, бой между „москалемъ“ и „шведомъ“ былъ самый ожесточенный: козель, вставъ на заднія ноги и потрясая бѣлой бородой, свирѣпо шелъ на своего противника; а баранъ, стоя на одномъ мѣстѣ и понутивъ голову, съ бѣшенствомъ рылъ землю ногами. Въ то время, когда козель не успѣлъ пройти половину пространства, отдѣлявшаго его отъ противника, баранъ разомъ ринулся впередъ — и противники страшно стукнулись лбами. Сила удара со стороны барана была такова, что козель осѣлъ на заднія ноги и замоталъ головой.

— Крипись, москалю!

— У пень его! у пень, шведе!

— А ну ще, москалю! не той здоровъ, що поборовъ...

Но голоса сердюковъ разомъ смолкли, когда они увидѣли, что разсвирѣпѣвшій козель, замѣтивъ идущую по улицѣ Мотреньку, поднялся на дыбы и направился прямо на нее... Молодые люди оцѣпенѣли отъ ужаса, растерялись, не зная что дѣлать, куда броситься. Дѣвушка также растерялась... А между тѣмъ страшное животное шло на нее... разстояніе между ними съ каждымъ мгновеніемъ ока уменьшалось.

Но въ этотъ моментъ изъ кучки сердюковъ бросается кто-то впередъ, въ нѣсколько скачковъ достигаетъ до козла — и хватаетъ его за заднюю ногу... Животное спотыкается, ищетъ новаго врага, оборачивается — и въ это время остальные сердюки окружаютъ его. Тутъ изъ нихъ, который первымъ столь самоотверженно бросился на разъяренное животное и остановилъ его, поднялся съ земли при нѣмомъ одобреніи товарищей. Онъ былъ блѣденъ. Глаза его смущенно смотрѣли въ землю.

Дѣвушка первая оправилась отъ испуга. Подойдя къ тому, который первымъ бросился на ея защиту, она остановилась въ нерѣшимости. Молодые сердюки также чувствовали себя неловко.

— Спасибо вамъ, — первую заговорила дѣвушка, обращаясь къ тому, который оказался находчивѣе прочихъ. — Чи вы не забились?

— Ни, Мотрона Василиевна, — отвѣчалъ тотъ, не смѣя взглянуть на дѣвушку. — Простить насъ, Бога ради, — мы васъ налякали...

— Якъ вы?.. Вы тутъ не вѣйни...

— Ни... се наши игрушки... Се мы, дурни, его розсердили... Тильки не кажить, будьте ласкави, панови гетьманови, що вы злякались...

— Не скажу... на що казати?.. Я не маленька...

— Щире дякуємо... А то винъ насъ со свиту сжене...

Их близость. А онъ ямъ рожа — за те що вы смилый козакъ.

И дѣвушка подила ему розу. Молодой сердюкъ взялъ ее, повергѣлъ на рунища, понохалъ и поткнулъ за околышъ шапки.

О, нѣй лицарь! — засмѣялись товарищи.

Козиничій лицарь, — поясняя тотъ, кому досталась роза.

Дѣвушка также засмѣялась. Она не знала, что этотъ „козиничій лицарь“ будетъ играть важную роль въ ея жизни... Это былъ Чуйкевичъ...

Пройдя мимо часового, хитяшаго около крыльца гетманскаго дома, дѣвушка изъ свѣтлыхъ стѣнъ вступила въ большую приемную комнату, убранную оружьемъ и бунчуками. На порогѣ встрѣтилъ ее огромный дяткій песъ, видимо обидовавшийся гостьѣ.

Здоровъ, Червонъ, — сказала Мотренька, глядя красивое и ласковое животное. Лянь домъ?

Песъ внятно являясь, услыхавъ про пана, которымъ онъ эти дни быть готоватаръ, эти дня панъ такой хмурый, сердитый, что какъ ни вни въ прѣдъ, нѣтъ хвостомъ — онъ не замѣчаетъ этого собачьяго усердія и прѣдъ и поощрять его.

Въ приемной дѣвушка отворила дверь въ слѣдующую комнату и пріотворила ее на полосу. Это была также довольно просторная комната съ стѣнами, украшенными картинами и портретами. Одна стѣна занята была полками, уставленными съ книгами, а вдоль другой на полкахъ блестяло золото. Сидячьи головы съ рогами, кабаньи морды съ огромными клыками и чучело громаднаго орла съ распростертыми крыльями доминировали въ убранствѣ этой комнаты.

Выйдя на порогъ, дѣвушка увидала знакомую широкую спину знакомого, польскій сѣдой затылокъ. Мазепа, нагнувшись надъ лежащею, материвалъ лежавшую на немъ ландкарту.

Давира за Случъ, а тамъ за Горынь, а тамъ за Стырь и Бугъ Кракова... Такъ-такъ... А отъ Кракова Червоною землею до Коломи до самого моря... Ото усе наше... Де била со-... жый комиръ — то наше... Охъ, бисова поясница! — бормоталъ Мазепа, водя пальцемъ по картѣ.

Здоровень, тату... Здоровеньки були, — тихо сказала дѣвушка.

Усталая спина старика мгновенно выпрямилась. Онъ обернулся — и увидѣвъ усталое, угрюмо-болѣзненное лицо его освѣтилось радостной улыбкой. По свѣрымъ глубоко-запавшимъ глазамъ прошло что-то теплое... Се ты, ясочка моя... Спасибо, доненько...

Старика дрогнулъ голосъ — онъ остановился... Дѣвушка быстро подошла къ нему и поцѣловала руку.

Помогай-би, тату, — еще тише сказала дѣвушка: — що вы шукаете (Она указала на карту).

Старикъ, взявъ ее за руки и грустно глядя ей въ глаза, такъ же тихо отвѣчалъ:

Могили собі шукаю, доненько.

— Якои могилы, тату любый? (И у нея голосъ дрогнулъ).

— Глыбокои, глыбокои, доненько, могилы, щобъ, почпваючи въ ній, моя сидая голова плачу людського не чула, щобъ очи мои старіи, сырою землею присыпаніи, не бачили бильше твоеи головки чернявенькой, щобъ замистъ горя сумной едноты—въ сердци моимъ черви-гробаки мишкали... Глыбокои, глыбокои могилы шукаю я, доненько моя.

Въ голосъ старика звучала глубокая, тихая, безнадежная тоска, словно бы въ самомъ дѣлѣ онъ хоронилъ себя... Дѣвушка чувствовала, что къ горлу ея приливають слезы... Она крѣпко сжала старыя руки.

— На що могилу!... Не треба могилу, таточко... Не треба вмирати... Що болить у васъ?

— Душа болить, доню... Прискорбна душа моя даже до смерти,—говорилъ старикъ, садясь около стола и усаживая около себя дѣвушку. — Для чого я живу? кому на корысть, на утиху?—продолжалъ онъ какъ-бы самъ съ собою. — Ни дитей у мене, ни ближнихъ... Ближній далече мене сташа—и азъ въ мѣрѣ семь, тоцію въ пустынѣ пространной... О! ты не знаешь дитятко, яке то велике горе — сиритство старости! Яки довги, страшни ночи для старика безридного!.. Оце ходишь—ходишь по пустыхъ покояхъ, слухаешь витру або ляю собачого, ждешь сонця... а сонце прійде—и воно не гріе... Такъ лучше въ домовину, та въ могилу—щобъ не бачить ничего и ничего не чути... Де мои други и искреніи? — Нема ихъ! Одинъ Церберъ другъ мій и товаришъ—песъ добрый и вирный... Буде зъ мене и пса, бо я—гетьманъ, игемонъ великій народу украиньского... Та Господи-жъ Боже мій! И Богъ-саваооъ, игемонъ видимого и невидимого міра—и той не одинъ, и той въ тройци... А я—я одинъ, одинъ якъ собака!

Онъ остановился. Дѣвушка грустно склонила голову, машинально перебирая цвѣты, положенные ею на столъ

— Се ты мени, доню, на могилу принесла?—тихо спросилъ Мазепа, дотрогиваясь до цвѣтовъ.

— Богъ зъ вами, тату! — съ горечью сказала дѣвушка и тихонько смахнула слезу, повисшую на рѣсницѣ.

— Богъ... Богъ зо мною... истинно... А ты знаешь, дочко, что есть посѣщеніе Божіе?—какъ-то загадочно спросилъ онъ.

— Не знаю, тату.

— Охъ, тяжко Его посѣщеніе!.. Посѣти Богъ моромъ и голодомъ... Огнемъ посѣти Богъ страну—вогъ что есть посѣщеніе Божіе... А мене посѣтивъ Богъ—горькою самотою...

Острою болью по сердцу проходили эти безнадежныя слова одинокаго старика—эту острую боль чувствовала дѣвушка въ своемъ сердцѣ, и слезы копились у нея на душѣ... Бѣдный старикъ!.. И власть, и богатство, и почетъ—все есть, а душа тоскуетъ... Дѣвушка не знала, что сказать, чѣмъ утѣшить несчастнаго...

— А вы бъ чаще до насъ ходили, тату, — сказала она, не зная, что сказать.

Мазепа горько улыбнулся и опустил голову.

— До вась?... Спасибо, моя добра дитина.

— Далиби, таточку, — ходить... А то онъ вы яки... могилу шукаете... Мене вамъ и не жалъ...

И дѣвушка вдругъ расплакалась. Она припала лицомъ къ ладонямъ, и слезы такъ и брызнули между пальцами...

Старикъ задрожалъ—эти слезы ребенка не то испугали его, не то обрадовали...

— Мотренько!... Мотренько моя!... дитятко Боже... сонечко мое весинее... рыбочко моя,—бормоталъ онъ, сжимая и цѣлуя чорненькую головку.— Не плачь, моя ясочко, ластивочко моя! я не вму, я не хочу вмирати... Я буду довго, довго жити... Подивись на оцю бумагу (и онъ поворачивалъ плачущую голову дѣвушки къ лежащей на столѣ ландкартѣ), — подивись оченятами твоими ясенькими... Я не могилу шукавъ собі—ни! я мирявъ нашу Украину-неньку... Онъ яка вона! Дивись, якъ вона разглася — одъ Сейму до Карпативъ и одъ Дону до самоп Вислы... Оце все наше буде, доненько моя,—все твое буде... Ты хочешъ, щобъ воно все твое було?—спросилъ онъ, загадочно улыбаясь.

— Якъ мое, тату? (Дѣвушка отняла руки отъ заплаканнаго лица и глядѣла на старика изумленными глазами).

— Твое, доненько... Оце все твое буде: и Батуринъ, и Кіевъ, и Черкасы, и Луцкъ, и Умань, и Львिवъ, и Коломія, и вся Червона Русь, и Прилуки, и Полтава—все твое, якъ оця твоя запасочка червоненька, якъ оци твои корали на шійци биленькіи... Тоби жалко мене, дочечко моя?

— Жалко, тату.

— И твои очинята каріи плакатимуть на мой могильци?

— Тату, тату!

Дѣвушка опять заплакала. Мазепа опять началъ утѣшать ее.

— Ну, годи-годи, серденько мое, не плачь... Я не буду... Подумаемъ лучше, що маемъ робити... Мы ще поживемо... Коли ты хочешъ, щобъ я живъ—я буду жити.

— Хочу, таточко...

— И ты будешъ до мене старого ходити, якъ теперь прійшла, рыбочко?

— Буду... хочъ коженъ день...

— И ты не скучатимешъ съ старымъ собакою?

— Ну, яки-бо вы, тату!

— Такъ не скучатимешъ?

— Не скучатиму... я таки буду жити зъ вами...

Опять загадочнымъ свѣтомъ блеснули старые, помолодѣвшіе глаза гетмана.

— А твои—батько й мати?—нерѣшительно спросилъ онъ.

— Тато—ничого... винъ добрый... А мати—може й вони ничого...

— А сама ты хочешъ до мене?

— Та хочу жъ бо! яки вы!...

Мазепа задумался. Онъ хотѣлъ еще что-то спросить, но не рѣшился.

— Такъ будемо жити,—сказалъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанья. — Ты мени даси и здоровье, и молодіи годы... А я вже думавъ кинчати мою писеньку... А писня моя тильки ще заводиться...

Куда дѣвалась и подагра и хирагра! Мазепа бодро заходилъ по комнатѣ. Сѣдая голова его гордо поднялась и просвѣтлѣвшіе глаза глядѣли куда-то вдаль...

— Чи чить, чи лишка?... Чи Петро, чи Карло,—бормоталъ онъ, нерпѣливо встряхивая головою, словно бы на нее садилась докучливая муха.—О, Семене-Семене Палю... мы ще не мирились съ тобою... Помиряємось... чи чить, чи лишка... О, мое сонечко весиннее!..

VI.

Семень Палій... Почему Мазепа вспомнилъ о немъ при воспоминаніи о Петрѣ и Карлѣ? И почему онъ желалъ бы съ нимъ помѣряться?

Эти вопросы очень беспокоило занимали Мотреньку послѣ ея свиданія съ Мазепой, да и многія другія мысли наводнили ея впечатлительную голову послѣ разговора съ старымъ гетманомъ, разговора, подобнаго которому она еще ни разу не веда въ жизни ни съ Мазепой, ни съ кѣмъ-либо другимъ. И что стало съ гетманомъ? То онъ ищетъ могилы, говорить, что востосковалъ на этомъ свѣтѣ, не глядѣлъ бы на міръ Божій въ своемъ одиночествѣ; то общается ей, Мотренькѣ, всю Украину, какъ вотъ эту червоную плахту... И отчего ей не жить съ нимъ, чтобъ онъ не скучалъ? У него нѣтъ дѣтей, никого на свѣтѣ, не такъ какъ у нихъ, у Кочубеевъ—и братья, и сестры, и родичи... А онъ—одинъ, бѣднякѣй, какъ былиночка въ полѣ... Но что ему сдѣлалъ Палій! И зачѣмъ они всѣ четверо сошлись—Мазепа, Палій, Петръ-царь и Карлъ-король! Надо бы разспросить кого-нибудь? Но кого?... Маму хибя? Такъ мама ни Палія, ни Мазепы не любитъ... А хибя татка?—Татко добрый. Такъ татко сміячиметься... „Пиди—скаже—въ цяцю пограйся...“ Отъ кого спытаю: стару няню,—вона все знае...

Такъ думала Мотренька, ворочаясь съ боку на бокъ въ жаркой постели... А тутъ еще этотъ „соловейко“ не даетъ спать—щебечеть тебѣ подъ самымъ окномъ всю ночь, точно ему сорокоустъ заказали: щебечи да щебечи отъ зари до зари...

Да и ночь какъ на-бѣду жаркая, тихая, душная—листь на деревѣ не шелохнетъ, воздухъ куда-то пропалъ, нечѣмъ дышать человекъ... Вмѣсто воздуха въ окна спальни пышетъ душный запахъ цвѣтущей липы—точно и она задыхается... А этотъ „соловейко“ такъ и надрывается, такъ и стучитъ, кажется, подъ самое сердце...

„А той сердючокъ молоденькій, що цапа за ногу піймавъ... Якій чудний... Козинячій лицарь... И яки въ его очи чудни... А ну буду думати про цапа, можетъ й засну... Цапъ-цапъ—у цапа роги, у цапа борода мовъ у москаля... Цапъ... цапъ... Мазепа... Палій... Петро... Карло... А те молоденьке москальча, що весною плакало у садочку?... Царьскій, бачъ,

деньщик—Павлуша Ягужинський, а плаче мовъ дивчинка... А що се соловейко все'одно спиває?... А може й ранокъ близько... Подивлюсь у викну..."

И Мотренька осторожно сползла съ кровати, чтобы пробраться къ окну, выходящему въ садъ. Она была въ одной сорочкѣ, босикомъ и съ распущенной косой, потому что не любила спать ни въ чепчикѣ, ни съ заплетенною косой... А теперь же такъ жарко!.. Вотъ она идетъ къ окну, а въ окна кто-то смотреть... Охъ!.. да это бѣлые цвѣты липы—это они такъ пахнутъ...

— Оце вже!—чи не коровъ дойти?—послышался вдругъ голосъ изъ угла спальни.

— Ахъ, няня! якъ ты мене злякала! (Это была старуха нянька, Устя, спавшая у панночки на полу).

— Де злякати!—Сама злякалась... Думала—видьма йде,—розхристана, простоволоса...

— Мени, няню, жарко—не спиться...

— Може блишки кусають?

— Ни, няню,—блохъ нема... А такъ жарко... Я все думаю про Палія..

— Отъ тоби на!—Чи тебѣ не зглажено часомъ?

— Ни, няню... А ты бачила Палія?

— Бачила, панночко... Що се винъ тоби, дитятко, приснився?

— Не приснився, няню,—а я такъ думала... Якій винъ, няню?

— Та старый, дуже старый... Такій старый, якъ ота тополя у перелазу... Отъ, сказать бы, я стара: ще коли живъ бувъ старый Хмильницькій и мене замижъ отдавали, такъ и тоди Палій бувъ уже старый - старый, ажъ сивый... Отъ уже я семей десятокъ по земли вештаюсь, симсотъ, може, разъ на мене смерть косою замахувалась, симсотъ, може, молоденькихъ дубкивъ, що мини на домовину росли, посохло й позрубовано, а я все, мовъ бовкунъ-зилья, бованію на свити,—а Палій Семень такъ и передо мною такій ветхій, якъ я передъ тобою, моя зелененька ягідко...

— А якій, винъ, няню, изъ себѣ?

— Великій та понурый,—а очи—оттаки, а вусы—орераки—сиви та догчи могъ ретязи...

И старуха, сидя на полу, показывала, какіе огромные глаза у Палія и какіе длинные усы.

— Що жъ винъ робе, няню?

— Татаръ, та ляхивъ, та жидивъ бѣ. Ему такъ видъ Бога наказано...

— А самъ винъ добрый?

— Такій добрый, рыбка моя, такій добрый, що и сказати неможно...

Бо винъ одъ святой золы уродивсь...

— Якъ одъ святой золы, няню?

— Такъ—одъ золы... Въ его й батька не було—тильки мати...

— Якъ-же-жъ се, няньцю,—я не розумію.

— А отъ-якъ, рыбка моя... Оце бувъ соби чоловікъ та жинка, а въ

их дочка Оленка. Отъ и поихавъ той чоловікъ у поле орати. Оре та й оре—коли хрусь!—щось хруснуло пидъ плугомъ у земли... Дивиться чоловікъ—ажъ то голова чоловіча, та така велика голова, мовъ казань... Отъ и дума той чоловікъ: „се мабуть великого лицаря голова, такого лицаря, що вже давно перевелись“... Отъ винъ и взявъ ту голову — дума: „нехай батюшка пипъ надъ нею молитву прочитає, та помьяне, та водою свяченою скропитъ, та по християнськи поховає...“ Прихавъ до дому той чоловікъ и голову съ собою привизъ та й положивъ їй на лаву, а самъ сивъ вечеряти... Повечерявъ — а голова все лежить на лави. А жинка, гляючи на голову, и каже: „Мабуть голова ця на своимъ вику богато хлиба перенла“. А голова й каже: „Буде вона ще исти“...

— Охъ, няню! се мертва голова сказала? — съ испугомъ спросила Мотренька, поглядывая на окно.

— Та мертва жъ, рыбко.

— Охъ, якъ страшно!

— Чого страшно, рыбко? Се одъ Бога.

— Ну, няню?

— Ну, голова й каже: „Буду я ище исти...“ Отъ жинка та якъ злякається, та у пичъ ту голову й кинула... И стала та мертва голова блию золою... Выгрибли золу у горщикъ—поставили на лави, щобъ москалямъ на поташъ продати... А дочка того чоловіка, що найшовъ голову, не знала, що то зола—думала, що сіль, та й посолила собі кусочокъ хлиба—такъ маленький шматочокъ,—и ззила... Та важкою ото и стала...

— Важкою, няню? Якъ се-бъ-то?

— Важкою, рыбко... Ты сего не знаєшь ще... Богъ їй сына давъ... одъ золы...

— Ну, няню,—се казка...

— Яка казка!

— Та казка жъ, няньцю...

— А Палій казка?

— Ни, няню,—Палій не казка.

— Такъ то, бачъ, рыбенько, и бувъ самъ Семень Палій—отъ золы родився... Тоди винъ ще не бувъ Палій, а просто Семеникъ—Гурченко, бо его мати була Гурченкова... Той чоловікъ, що найшовъ мертву голову, бувъ Гурко.

— Якій Гурко? Що въ Борзни?

— Та винъ-же-жъ борзеньскій, рыбко... Ото Гурки въ Борзни—то его родичи по матери та по дидови, а самъ винъ одъ золы родився, видъ попиду... Ему-бъ, бачъ, треба було бути Золенкомъ, або Попилченкомъ, а винъ самъ себе зробивъ Паліємъ...

— Якъ-же-жъ се, няню?

— А отъ-якъ, рыбко... Якъ той Семеникъ, що видъ попиду родився, ставъ парубкомъ, отъ и захтивъ козакувати: „пиду, каже, мамо, та пиду въ Запороги“. Отъ и пишовъ. Йде-йде, дивиться—Запороги стоять, горы

страшенни. А на горахъ тихъ запорозци стоять та й дивляться—сміються: якъ-то винь, молоденькій хлопчикъ, на гору страшенну злизе... Бо посередини гори, рыбка, на великому камини сидить—не къ ночи будь сказано—сидить самъ... Старуха остановилась.

— Хто самъ, няню?

— Та чорный, рыбка.

— Якій чорный?

— Та нечистый, сказать бы,—чортяка...

— Ну?—Се впьять казка, няню...

— Ни, не казка, рыбка... Отъ сидить та козинячими ніжками тупотить та рогами въ гору бье...

Мотренькѣ вспоминается козель, который сегодня шелъ на нее, потрепая бородой и рогами—и ей стало смѣшно...

— Такъ у ёго, няню, роги якъ у цапа?

— Якъ у цапа, рыбка... Отъ винь сидить та ніжками тупотить та рогами въ гору бье... А Семеникъ якъ стрелить изъ мушкета, якъ загукотить по горахъ,—дивляться козаки, ажъ тамъ, десидивъ нечистый, одно поломя паше та смола пекельна кишить... Се бачъ, Семеникъ чорта убивъ — спаливъ его. Отъ запорозци й кажутъ: „Оце такъ козакъ! оце такъ Палій — самого чорта спаливъ“. А кошовый и каже: „Ну, брате, буде же ты Палиемъ, та йди на Украину, та пади оттакъ усяку нехристь, якъ ты дядька лисого спаливъ“. И съ того часу ставъ винъ Палиемъ.

— Ахъ яка-бо ты, няньцю,—возразила Мотренька:—та се жъ не про Палія разказують, а про святого Юрія, якъ винъ чорта спаливъ.

— Эге, рыбка,—то таки святой Юрко, а се —Палій... Отъ и пишовъ Палій за Днипръ на Украину. Иде та й иде. Якъ оце побаче татарина, такъ заразъ изъ мушкета — лусь! — и вбивъ татарина. А якъ побаче ляха, то заразъ шаблюкою — брызъ! —и стявъ головку у ляшка. А якъ побачить жиловина, то заразъ на арканъ ёго, та на осику и повисить якъ собаку... Такъ одъ самого Запорожжа до Украины и проложивъ великій шляхъ: заразъ знати, де йшовъ Палій—оце тутъ татаринъ застреленый валяется у степу, а тутъ ляхъ порубаный лежитъ, а тутъ жиловинъ повишеный висить—такъ и знати Палиеву дорогу... А самъ винъ—Мати Божа!—такій, що ёго ни куля не бере, ни шабля не вруба, мовъ зализо. А оце якъ начнутъ козаки съ татарами або зъ ляхами битись, то Палій самъ гарматы заряжае навхрестъ—и бье за двадцать верстъ, а чужи гарматы до ёго не достаютъ. А кинь у ёго такій, що ледве земля ёго держить, а на простого коня винъ только руку положить, такъ той кинь на землю пада. А шабля въ ёго въ пять пулъ—така важка. Якъ оце якій козакъ провиниться, то Палій и дае ему свою шаблю нести,—такъ той бидный ажъ стогне—не пидниме нести, а други козаки зъ ёго сміються... Оттакій-то, рыбка, той Палій...

А „рыбка“ между тѣмъ, слушая болтовню старушки, спала крѣпкимъ сномъ. Упавъ горячей головой на руки, положенныя на подоконникъ, она

долго прислушивалась къ шелканью соловья и къ монотонному говору старой няни; передъ нею проходили, словно въ туманѣ, образы Палія и Мазепы, которые сливались какъ бы въ одно лицо, и только у Мазепы старые глаза искрились слезою — и Мотренкѣ стало его жалко-жалко... То выступалъ этотъ молоденькій бѣлокурый сердючокъ съ пышною розою на шакѣ, то шелъ на нее никогда невиданный ею москаль Петръ въ видѣ огромнаго „цапа“... И сонъ неслышно подкрался къ ней подъ шелканье соловья, такъ что когда няня подошла къ ней, то увидала только бѣлую спину, до половины прикрытую бѣлою сорочкою, да черныя косы, густыми прядями лежавшія на подоконикѣ... Въ окно уже заглядывала заря чуднаго, просыпающагося утра...

— А воно вже й спить... Отъ дурна дитина! — тихо бормотала старуха, качая головой. — Отъ дурне! Якъ-же-жъ я его теперь положу на лизко—вже меня его не підняти на руки: славу Богу—выросло... Онъ яке-спасибі Бовови — выгодавалось: здоровеньке та повнотиле та кругленьке, мовъ яблучко червоне,—и не вщипнешь его... А де-жъ его подняти!—мене, стару, переросло... О-о-хо-хо!.. А чи давно-жъ его на рукахъ носила, кашкою, мовъ горобчика, годувала?.. Молоде росте, якъ твой макъ цвите, та якъ макъ и опадає: сонечко пригріє, витрець повіє—весь цвить розвіє... Поки дитина, поти й горя не знає, писни спиває та въ косу стрички заплитає... Спи-спи, дитятко, поки косою свитешь, горенька не знаєшь... А прийде часъ—и его пизнаєшь...

— У могили темно-темно,—слышится сонный лепетъ дѣвušки.

— Господь съ тобою, рыбонько,—яка могила...

— Гетьманъ могилу шукає...

— И нехай шукає... Може й могила его шукає давно, та не найде...

А ты, дитятко, лягай спати...

— Я, я, няню. сплю...

Старушка тихо приподняла голову панночки. Та не сопротивлялась.

— Иди жъ, рыбка, лягай...

— Иду, няню.. нехай соловейко щебече, а я буду спати...

— Спи, спи, мое золото червоне...

Дѣвušка, придерживаемая старухой, улыбаясь сквозь сонъ, перешла на кровать.

— Нехай соловейко щебече, а ты кажи про Палія,—бормотала она въ полуснѣ.

Недаромъ занималъ Палій и Мазепу, и Мотреньку. Въ одинаковой мѣрѣ онъ занималъ и царя Петра, когда онъ, твердо ступивъ своею пятою на берегъ Невы и воткнувъ трезубецъ Нептуна въ пастъ Швеціи, мечталъ уже поразить этимъ трезубцемъ и турецкую пастъ въ устьяхъ Днѣпра.

— Что же былъ Палій для Петра и Петръ для Палія?

Палій, дѣйствительно, былъ борзенскій казакъ, какъ увѣрила п Усти, старая няня Кочубеевны. Родовая фамилія его, дѣйствительно, была Гурко, а уже послѣ, по народному обычаю, онъ получилъ прозвище Палія, съ

которымъ и перешелъ на страницы исторіи, какъ послѣдній представитель исторически вымиравшаго казачества „тогочной“, правобережной Украины, хотя самъ родился въ лѣвобережной Украинѣ.

Тихимъ, добрымъ, ласковымъ „хлопчикомъ“ росъ Семеникъ Гурченко въ своемъ родномъ городишкѣ. „Хлопчикъ“ этотъ всегда казался робкимъ, застѣнчивымъ, и если его и любили товарищи-хохлята, то именно не за казачкія качества, а за то, что онъ былъ добрый и деликатный „якъ дивчинка“. Обыкновенно эти качества не нравятся сверстникамъ; такихъ они называютъ „мизями“, „плаксами“ и другими подобными укоризненными „дражненіями“. Но Семеника Гурченка, напротивъ, любили за эти качества, потому что съ восковою мягкостью характера въ немъ амальгамировалась необыкновенно стойкая честность, самоотверженность и беззащитная доброта. Не умѣя плавать, онъ бросался въ воду вытаскивать утопающихъ товарищей; голодный самъ, онъ отдавалъ свой кусокъ голодной собацѣ, и чѣмъ существо, взятое имъ подъ покровительство, было жалче и беззащитнѣе, тѣмъ болѣе убивался надъ нимъ Семеникъ. Подъ внѣшней робостью и застѣнчивостью въ немъ крылись поэтическіе инстинкты, и онъ любилъ степь больше, чѣмъ обработанное поле, горы и лѣса предпочиталъ садамъ Борзны, а пустыню его воображеніе населяло цѣлымъ міромъ таинственныхъ существъ.

Когда Семеника отдали учиться въ кievскую коллегію, онъ оказалъ необыкновенныя способности, и здѣсь онъ уже начиналъ проявлять себя такъ, какъ потомъ проявлялся всю жизнь: онъ становился нечувствительно центромъ и головою кружка, въ которомъ вращался; онъ всегда зналъ больше всѣхъ, усиѣвалъ дѣлать больше всѣхъ; всѣ товарищи, пугаемые латынью и всѣми школьными чудовищами, прибѣгали къ Семенику, и Семеникъ разгонялъ эти чудовища съ такою легкостью и скромностью, что товарищи невольно преклонялись передъ этою ласковою „дивчинкою“.

Но вотъ онъ выучился, выросъ, сталъ „козакувать“... Застѣнчивая „дивчинка“ встрѣчаетъ другую, болѣе бойкую „дивчину“ съ „довгою косою“ и „бровями на шнурочку“... Начинаются свиданья „у вишневому садочку“, по ночамъ, чтобъ не стыдно было — „щобъ не соромно було дивчину обнимати“... Цѣловались-цѣловались — и доцѣловались „до рушниковъ“... Вотъ и руки полъ связалъ „рушниками“... А все Семенику и въ церкви „соромно“ было при людяхъ взглянуть на свою невѣсту...

Оженился Семеникъ — и овдовѣлъ... Гдѣ утопить горе великой потери, гдѣ размыкать тоску одиночества? Такія робкія, застѣнчивыя натуры не скоро забываютъ „свое“... Гдѣ этотъ омутъ забвенія? — Въ степи, въ пустынѣ — тамъ, гдѣ отъ Украины осталась одна „руина“ — за Днѣпромъ, далеко отъ родины...

И Семенъ Гурченко пропадаетъ, словно въ воду канулъ...

Вынырнулъ онъ въ Запорожѣ: это уже Палій — „такій козакъ, якого зъ-роду-вику не видано“...

Но и въ Запорожѣ заскучалъ онъ. Не такого простора искала душа

его, не по сердцу ему была собачья жизнь — или сидѣть сторожевой собакой, или ловить въ полѣ татаръ, словно волковъ. Душа его искала дѣла живого, творческаго... И затосковалъ онъ...

Нерѣдко казаки и рыбаки видѣли одинокаго Палія бродящимъ по берегу Днѣпра и о чемъ-то думающимъ. То сидеть онъ на горѣ и смотреть куда-то вдаль своими добрыми глазами...

— Кто дастъ мнѣ крылѣ яко голубинѣ — и полечу, — часто шепталъ онъ молитвенно.

И онъ улетѣлъ изъ Запорожья. Видѣли его потомъ на той сторонѣ Днѣпра, въ польской Украинѣ.

Что же онъ тамъ дѣлалъ? — Его неудержимо влекла къ себѣ „руина“ Украины — пустынная мѣстность, бывшая когда-то цвѣтущею страной, а потомъ свидѣтельницаю кровавѣйшихъ войнъ казаччины съ поляками, мѣстность, на которой Хмельницкій добивалъ господство ляха надъ украинцемъ и гдѣ потомъ преемники его добились самую казаччину... Мѣстность эта была разорена, — разорена самымъ безбожнымъ образомъ, какъ не разорена была когда-то даже Палестина, посыпанная римскою солью. Западная Украина была залита кровью, и надъ ней произнесено было проклятіе земныхъ владыкъ: вывести изъ нея на лѣвый берегъ оставшееся въ живыхъ населеніе и пусть она навѣки останется „руиною“.

Среди этой-то „руины“ и явился Палій. Что онъ нашелъ тамъ — этого онъ не могъ забыть всю жизнь!

Страна лежала въ развалинахъ; но и развалины уже перегнивали окончательно, проросли травой и могильною плѣсенью... На мѣстѣ обширныхъ, цвѣтущихъ нѣкогда селъ — кучи мусора, золы, разносимой вѣтромъ, и обуглившихся бревенъ... Кое-гдѣ уцѣлѣли трубы отъ домовъ, размытая дождемъ глина и кирпичи отъ печей, да какой-нибудь покосившійся одинокій столбъ, свидѣтельствовавшій, что здѣсь когда-то стояли дубовыя казацкія ворота, которыя вели во дворъ, полный дѣтьми, стариками, „дивчатами“ и „молодцами“ — и ничего этого не осталось, ничего, кромѣ слѣдовъ стараго кладбища съ торчащими кое-гдѣ крестами... Старики померли гдѣ-то въ пути въ новый казацкій Іерусалимъ, дѣти повзростали вдали отъ родины, „дивчата“ и „молодцы“ похоронили своихъ жениховъ и мужей — подъ „руинами“ дорогой Украины... Бурьяномъ позаросли обширныя сельскія площади, а слѣды улицъ еще хранятъ память о прошломъ въ кое-гдѣ сохранившихся коленяхъ отъ желѣзныхъ ободьевъ тяжелыхъ возовъ чумацкихъ... И поля, вмѣсто пшеницы, поросли бурьяномъ, среди котораго кое-гдѣ бѣлѣются кости человѣческія, кости казаковъ, павшихъ за эту дорогую „руину“, когда она еще не была „руиною“...

Заплакалъ Палій, когда увидалъ эту пустыню, усѣянную сухими казацкими костями, и долго плакалъ онъ, припавъ лицомъ къ крутой шеѣ своего любимаго коня...

— О чемъ плачешь ты, сынъ мой? — раздался вдругъ голосъ позади его.

Палій вздрогнуль... Кому быть въ этой пустынь, проклятой Богомъ и людьми?... Оглянувшись, онъ увидѣлъ старика, сѣдая борода котораго спускалась до пояса. На головѣ у него была скуфейка—нѣчто среднее между восточной фесой, только черной, и монашескою шапочкой. Въ рукахъ у него былъ большой дорожный посохъ, а за плечами кожаная сума. Въ лицѣ старика было столько доброты, а въ черныхъ глазахъ столько искренности и какой-то дѣтской незлобивости, что Палій сразу узналъ въ незнакомцѣ чловѣка не отъ міра сего...

— О чемъ слезы твои, сыне мой по благословенію?—повторилъ незнакомецъ, осыная крестомъ Палія, у котораго на груди блестяло большое серебряное распятіе.

И видъ и благословеніе незнакомца расположили Палія къ полной искренности.

— Плачу я надъ сею пустынею и надъ костями чловѣческими, отче,—отвѣчалъ Палій.

— Плачь, сынъ мой... дороже ѳиміама слезы сіи предъ Господомъ... Ты тутошній?

— Нѣ, отче,—тогочужбій.

— А ради какого дѣла пришелъ сюда?

— Поклониться праху предковъ моихъ — и сердце мое разорвалось при видѣ сей руины... Богомъ проклята, видно, отчизна предковъ моихъ...

— Не говори сего, сыне...

И незнакомецъ, снявъ съ плечъ котомку, досталъ изъ нея толстую книгу въ кожаномъ переплетѣ.

— Читаешь, сынъ мой?—спросилъ старикъ.

— Читаю, отче.

— Раскрой пророка Іезекиіа главу тридесять седьмую,—сказалъ старикъ, подавая книгу Палію.

Палій отыскалъ указанное мѣсто.

— Чти, сынъ мой.

„И бысть на мнѣ рука Господня, и изведе мя въ дусѣ Господни, и постави мя средѣ поля, се же быше полно костей чловѣческихъ“,—читалъ Палій.

— Се поле, и се кости,—сказалъ старикъ, указывая на пустыню. — Чти далѣе.

„И обведе мя окрестъ ихъ около, и се мнози зѣло на лица поля и се сухи зѣло (продолжалъ Палій дрожащимъ голосомъ). И рече ко мнѣ: сыне чловѣчъ, оживутъ ли кости сія? И рекохъ: Господи Боже, ты вѣси сія. И рече ко мнѣ: сыне чловѣчъ, прорцы на кости сія, и речеши имъ: кости сухія, слышите слово Господне: се глаголетъ Адонаи Господь костьмъ симъ: се азъ введу въ васъ духъ животень, и дамъ на васъ жиы, и возведу на васъ плоть, и простру по вамъ кожу, и дамъ духъ мой въ васъ, и оживете и увѣсте, яко азъ есмь Господь“...

Палій остановился отъ волненія. Книга дрожала въ его рукахъ. На

него, ничего не боявшагося, напалъ страхъ, — не страхъ, а священный ужасъ...

— Отче святыи, мнѣ страшно, — тихо сказалъ онъ, боясь взглянуть на незнакомца...

— Не бойся слова Божія... чти далѣ...

„И прорекохъ, якоже заповѣда ми Господь (читалъ Палій, блѣдный, растерянный). И бысть гласъ вшегда ми пророчествовати, и се трусь, и совокуляхуся кости, кость къ кости, каяждо къ составу своему. И видѣхъ, и се быша имъ жилы, и плоть растяше и протяжеса имъ кожа вверху, духа же не бяше въ нихъ. И рече ко мнѣ: прорцы о Дусѣ, прорцы, сыне чловѣчъ, и рцы духови: сіе глаголетъ Адонаи Господь: отъ четырехъ вѣтровъ прииди душе, и вдуци на мертвые сія, и да оживуть. И прорекохъ, яко же повелѣ ми, и вниде въ ня духъ жизни, и ожиша, и сташа на ногахъ своихъ, соборъ многъ зѣло“...

Палій зарыдалъ и упалъ на колѣни.

— Отче святыи... благослови мя...—молился онъ.

— Встань, сыне... Я грѣшный чловѣкъ... встань...

— Охъ! Боже! оживуть ли кости сія! — рыдалъ Палій, цѣлуя книгу.

— Оживутъ-оживутъ—и будетъ соборъ многъ зѣло.

— Благодарю тя, Господи Боже! Благодарю тебя, отецъ святыи!.. Но кто ты?

— Я скажу тебѣ, кто я... Ты въ Хвостовъ ѣдешь?

— Въ Хвостовъ, отче.

— Такъ пойдемъ вмѣстѣ—дорогой ты все узнаешь...

VII.

— Я—Юрій Крижаничъ, словенинъ, изъ Загреба, града цесарскаго,— началъ свой рассказъ незнакомецъ.— Нынѣ возвращаюсь въ отчину свою изъ Москвы, отряхнувъ прахъ московскій отъ ногъ моихъ, чтобы лечь въ родную землю. Многотрудна была жизнь моя, сынъ мой, но я не жалѣю о томъ, что потрудился и пострадалъ ради великаго дѣла. Я вижу, что ты истинно любишь страну свою, и я открою тебѣ то великое дѣло, ему же я отдалъ и жизнь мою и душу мою. Дѣло сіе благословилъ Богъ безсмертіемъ, и подобно тому, какъ воскресли сухія кости чловѣческія подъ дуновеніемъ духа Божія, такъ воскреснетъ дѣло сіе подъ дуновеніемъ духа жизни. Крижаничъ остановился. Палій вспомнилъ, что слышалъ когда-то это имя, но гдѣ и отъ кого—не припоминалъ.

— Разверну я передъ тобою, сынъ мой, свитокъ жизни моей, и ты узришь, куда привела меня нитка моей жизни,—продолжалъ Крижаничъ.— Родился я въ Загребѣ градѣ, и въ ономъ же отданъ былъ въ книжное наученіе. Съ дѣтства осталось въ моей памяти нѣчто обидное, горькое: уже въ школѣ нѣмчата тыкали въ меня перстами и попрекали меня тѣмъ, что я словенинъ, „склавинъ“—рабъ сирѣчь... Ты разумѣешь, сынъ мой, латинскую рѣчь?—вдругъ обратился онъ къ Палію.

— Рязумбю... Я учился въ кievской коллегіи.

— Такъ ты поймешь меня, яко чeлoвѣкъ просвѣщенный... Такъ я и пошелъ съ отрочества за „раба“. Въ Вѣнѣ потомъ учился я, и наименованіе „раба“ не снимали съ меня, а глумились еще болѣе надъ моимъ несчастнымъ рожденіемъ отъ матери-рабыни. Но жажда знанія росла во мнѣ съ годами; я отправился къ самому источнику мудрости чeлoвѣческой—въ университетъ, въ Болонію. Я жадно пилъ изъ сего источника, какъ только можетъ пить рабъ, чающій своего освобожденія. Но на мнѣ тяготѣло проклятіе—на мнѣ оставались слѣды словенской проказы: я былъ словенинъ. Изъ Болоніи ушелъ я въ Римъ, а словенская проказа была у меня за плечами: и въ Римѣ я чувствовалъ себя прокаженнымъ... Но не было Христа, который исцѣлилъ бы меня, а если бы и исцѣлилъ, то оставались бы миллионы прокаженныхъ словенъ... Я много трудился, сынъ мой, много писалъ, а жажда моя все еще не была удовлетворена, ибо жажда сія превратилась въ жажду вѣчную; я думалъ найти Христа, который бы снялъ проказу съ словенскаго тѣла... Я направилъ стопы мои въ Царьградъ, съ мыслию поискать и тамъ Христа для спасенія словенскаго рода; но тамъ я нашелъ токмо алчность и лживость греческую, и вспомнилъ бытописателя вашего, преподобнаго Нестора: „суть бо лъстиви греци и до сего дне...“ Тамъ же я нашелъ, что словенскіе народы превратились въ вола подъяремнаго подъ турецкою властію, и нѣкогда славные болгаре, сербы илирцы стали притчею во языцѣхъ... Тогда я обратилъ мои взоры на сѣверъ, къ великому народу руссiйскому—не найду-ли тамъ Спасителя словенства, который бы снялъ проказу съ тѣла словенскаго. Пришедъ въ Вѣну, я обратился къ бывшему тамъ посланнику московскаго царя, къ Якову Лихареву съ товарищи. Лихаревъ усердно звалъ меня на службу въ Московію, обѣщая мнѣ царское жалованье таково, „какого-де у тебя, Юрія, и на умѣ нѣтъ...“ Но не жалованья искалъ я, а Спасителя словенскаго.

Крижаничъ опять остановился. Сѣдая голова поникла въ раздумьи и изрѣдка вздрагивала.

— И что же, отче, нашелъ въ Москвѣ, кого искалъ?—спросилъ Палій, грустно глядя на старика.

— Нашелъ...

Крижаничъ опять остановился. Видно было, что тяжело говорить ему, что въ памяти его разбередились какія-то раны, еще не зажившія. И Палій молчалъ. Въ его душѣ слышался чей-то таинственный голосъ: „сыне чeлoвѣчъ, оживутъ-ли кости сія?..“ И ему казалось, что пустыня оживаетъ—совокупляются сухія кости казацкія, кость къ кости, каждая къ составу своему, и кости связываются жилами, и растетъ на нихъ плоть, и плоть покрывается кожей... Боже! какой соборъ людей!—конные и пѣшіе, и знамена вѣютъ по воздуху, и бунчуки косматые развиваются, и чубы казацкіе по вѣтру распущены...

— Да, нашель я, сынъ мой, нашель въ Москвѣ... ссылку, Сибирь,— продолжалъ какъ-бы про себя Крижаничъ.

— Ссылку?... Сибирь?

— Сибирь, сынъ мой... Въ Сибирь послалъ меня царь искать Спасителя словенства...

На лицѣ Палія выразилось глубокое изумленіе.

— Который царь сослалъ тебя?—спросилъ онъ.

— Тишайшій.

— И долго ты пробылъ въ Сибири?

— Пять-надесять лѣтъ—до смерти Тишайшаго.

— За что же сослали?

— Богу одному вѣдомо... Но думаю, что по какому-то ни на есть подозрѣнію: боялись меня. А можетъ и за то, что царю докучалъ я своимъ словенскимъ дѣломъ... О! тяжело было мнѣ, сынъ мой, говорить съ человѣкомъ, отъ котораго зависить спасеніе всего словенскаго міра и который не разумѣтъ своихъ выгодъ. Я говорилъ ему: „посмотри, державный владыко сѣвера, какъ гнется подъ нѣмецкимъ и турецкимъ ярмомъ вся словенина, болгарина, хорвата, серба, илирца, чеха... Онъ уподобляется Христу, ведомому на пропѣтіе и несущему свой страстный крестъ, а ты, о царю! уподобляешься Агасферу, не токмо не помогшему Спасителю нести его тяжкій крестъ, но и не давшему ему успокоенія при домѣ своемъ...“ Я громко вопіялъ къ царю: „помни, о царю, участь Агасферову: не поможешь ты нынѣ словенамъ снять съ себя тяжкій крестъ мученичества, этотъ крестъ падеть на выю твоихъ преемниковъ, царей російскихъ, и тогда крестъ сей будетъ еще тяжеле-тяжеле цѣлыми вѣками страданій словенскихъ народовъ. Въмѣсто тысячъ жертвъ во искупленіе словенства, преемники твои принесутъ на алтарь словенства миллионы жертвъ, ибо Россіи не избыть того, что предопредѣлено ей Провидѣніемъ. Чѣмъ раньше совершится сіе, тѣмъ легче будетъ самое совершеніе. И не ради себя долженъ ты сдѣлать сіе, а ради ихъ: не думай завоевывать ихъ, расширять твое царство насчетъ словенскихъ народовъ—ты только освободи ихъ, и ты будешь въ тысячу красть сильнѣе и могущественнѣе того, чѣмъ ежели бы ты покорилъ ихъ подъ власть свою...“

Старикъ снова умолкъ.

— Чудна, чудна Москва,—проговорилъ про себя Палій въ раздумьи.

— Ты что говоришь, сынъ мой?—спросилъ Крижаничъ, какъ-бы очнувшись отъ забытья.

— Та кажу—дурна Москва,—отвѣчалъ Палій по украински.

— Истинно, дурна—выгодъ своихъ не разумѣть...

— Такъ за щожъ царь разсердився?—продолжалъ попрежнему Палій.

— Не царь, а бояре, думаю... Я говорилъ царю: „покореніе словенскихъ народовъ—се гибель московскаго царства: сіе покореніе будетъ не иное что, какъ самоукушеніе скорпіево... Покоривши—дунайскихъ-ли словенъ, ляховъ-ли, болгаръ-ли, Москва всенепремѣнно наложить на нихъ же-

лѣзную цѣпь тяжкихъ законовъ царя Ивана Грознаго и царя Бориса-татарина: она наводнитъ словенскія земли своими темниками и баскаками, приставами да цѣловальниками, боярами да стольниками, дьяками да подьячими; и сіе зло—злѣе зла турецкаго, злѣе яду нѣмецкаго...”

— Се-бъ то дуже правда,—покачиваль головой Палій.

— Какое не правда! Позналъ я московскую душу: ее и въ десяти водахъ не вываришь...

— Такъ-такъ... Онъ и у насъ, на Украинѣ, Москва вже свои порядки заводитъ, така вже московска натура—ижаковата...

— И я сіе сказываль царю.

— Що-жъ винъ?

— Милостиво молчалъ и шубу съ плеча своего пожаловаль мнѣ...

— А тамъ и гайда!.. у Сиберію?

— Да, сынъ мой.

Палій даже рассердился. Онъ передвинулъ свою курпейчатую шапку съ одного уха на другое и съ досадою остановился.

— Такъ це все бояры?

— Бояре—кому жъ больше: они и царя обманули.

— Ахъ, гаспидовы дити! вотъ Ироды! А царь и не знавъ ничего?

— Ему доложили, якобы мнѣ „надобеть быть у государевыхъ дѣлъ, у какихъ пристойно“—и сослали въ Тобольскъ.

Разсказъ Крижанича произвелъ на Палія тяжелое, удручающее впечатлѣніе. Опять передъ нимъ вставало поле, устѣянное костями человѣческими; но кости эти уже не оживали... „Не оживутъ кости сія“, звучала подъ сердцемъ плачущая погребальная нота... Кто поможетъ воскресевію сухихъ костей, на кого надежда?

Крижаничъ угадалъ его мысль и кротно посмотрѣлъ на него своими старческими, ясными, какъ у юноши, глазами.

— А все-таки, сынъ мой, оживутъ кости сія,—съ глубокимъ убѣжденіемъ сказалъ онъ.

— Хиба духомъ святымъ,—грустно замѣтилъ Палій.

— Духомъ животнымъ, сынъ мой... А кто ты? какъ имя твое? Я и не спросилъ тебя.

— Я Семень, Палій, изъ Борзны... Бувъ запорожцемъ, а теперъ... Онъ остановился.

— Хочешь оживить кости сія?

Палій молчалъ,—вѣра его въ Москву вновь была глубоко потрясена.

— Не отвѣщай,—я знаю,—продолжалъ старикъ:—я умѣю читать душу человѣческую на лицахъ людей... Я прочиталъ твою душу. Ты оживишь кости сія...

— Какъ же, отче? Научи!

— Знаешь, сынъ мой, какъ засѣвають поле, поросшее волчцами?

— Знаю...

— Засѣй же поле сіе пшеницею — и волчцы погибнутъ... кости жи-

вуть... Какъ зерно всходитъ пшеничнымъ стеблемъ и колосомъ, такъ кости сія—взойдутъ людьми живыми... Живая пшеница — за Днѣпромъ: кликну кличь—и пшеница сама придетъ сюда, и ты засѣешь ею сіе поле мертвое—и „оживутъ кости сія“...

Палій видѣлъ, что эта мысль отвѣчаетъ его собственной, давно лелѣемой мечтѣ. Еще будучи въ Запорожьѣ, онъ много думалъ о судьбѣ западной, заднѣпровской Украины, и ему казалось, что безбожно было бы оставлять ее „руинною“. Эта „руина“ подъ бокомъ у Кіева. Ксендзы уже угнѣздились въ Хвастовѣ и какъ пауки начали растягивать свои цѣпкія нити по Волини, Подоліи и Полѣсью. Сухія кости казацкія уже хрустятъ подъ копытами панскихъ коней... Палію кажется, что это хрустятъ его собственные кости... А тутъ этотъ таинственный, невѣдомо откуда явившійся старикъ съ апостольскою бородою и рѣчью пророка, съ этимъ не отъ міра сего выраженіемъ глазъ, читающихъ душу чужую, какъ раскрытую книгу, эта мертвая тишина степи, нарушаемая лишь иногда мѣрными взмахами бѣлыхъ крыльевъ луны, словно разыскивающего по „руинѣ“ погибшія казацкія души, да звонкій клекотъ въ вышинѣ орла, не находящаго себѣ добычи, — все это сковывало впечатлительную душу Палія священнымъ ужасомъ... Кто этотъ старикъ? куда онъ идетъ, чего ищетъ?

„Бысть человекъ посланъ отъ Бога... къ своимъ придетъ, и свои его не познаша“, невольно повторяется евангельскій стихъ.

— Снять... сбить подобаетъ на новой нивѣ,—говорилъ какъ-бы самъ съ собою старикъ.—А сѣятеля лукавы суть...

— Какіе сѣятеля, отче?

— Лукавые... Одинъ—Дорошенко, гетманъ сегобочный, другой—Самойловичъ, гетманъ тогобочный... Оба они сѣютъ на чужое поле, — продолжалъ старикъ про себя, не поднимая головы.

— А третій сѣятель?

— Мазепа...

— Осавуль енеральный?

— Онъ... Се—дѣволъ въ образѣ сѣятеля... Плевелы онъ сѣетъ, и заглашатъ сіи плевелы всю Украину...

— Да онъ еще не гетманъ.

— Будетъ гетманомъ... Гетманскую булаву онъ уже носитъ за пазухою, у сердца лукаваго.

— А Дорошенко и Самойловичъ?

— Дорошенко на турецкую ниву сѣетъ словенское добро, а Самойловичъ — на московскую, на боярскую... никто не сѣетъ на свою ниву, на народную...

Крижаничъ остановился. Сгорбленная спина его выпрямилась. Онъ положилъ руку на плечо Палія и глянулъ ему прямо въ очи.

— Семень Ивановичъ!..—сказалъ онъ медленно.

Палій вздрогнулъ отъ этихъ словъ — онъ точно испугался чего, и съ недоумѣніемъ глядѣлъ на старика.

- Какъ ты позналъ мое имя?—робко спгосилъ онъ.
— Я давно его знаю и тебя знаю, — загадочно отвѣчалъ Крижаничъ.—Хочешь добра землѣ своей?
— Хочу—видитъ Богъ.
— Помнишь исторію народа израильскаго?
— Помню.
— И работу египетскую?
— Помню, отче.
— И Моисея?
— Все помню.

— Будь же Моисеемъ народа украинскаго... Изведи изъ плѣна латинскаго въ сію Палестину... Помни, сынъ мой, что сила народовъ—въ согласіи ихъ... Когда оживетъ пустыня сія и кости сухія возстанутъ и будетъ соборъ многъ зѣло—соедини десницу народа украинскаго съ шуйцею, тогобочную страну съ сегобочною, и тогда не страшно для васъ будетъ жало латинское... Жало сіе—злѣе жала скорпія для словенскаго рода: Польша уже гнить начинается отъ сего змѣинаго яда—и сгнѣтъ она... А вы останетесь и живи будете... Придетъ время—вы узнаете другихъ братьевъ своихъ—словенъ... О! много горькаго будетъ между братьями—горькую чашу испити имать родъ словенскій... Но горечь сія, вѣръ мнѣ, будетъ ему во спасеніе... Только помните: *concordia parvae res crescunt*...

Крижаничъ остановился, какъ-бы что-то припоминая. Палій не прерывалъ его молчанія—онъ былъ слишкомъ взволнованъ.

— Прими же мое благословеніе,—снова заговорилъ Крижаничъ,—и не забывай меня, сынъ мой... Не забывай и словесъ моихъ—не мои то словеса, а Божьи: я умру, а словеса сія ни умрутъ... Я теперь иду на родину, и тамъ, на краю гроба, ставъ ногою у самой могилы своей, крикну къ словенскому роду: „отъ четырехъ вѣтровъ прииди, о душе словенскъ, и вдуй на мертвыя сія, и да оживутъ!..“

Много лѣтъ прошло со времени встрѣчи Палія съ старымъ энтузіастомъ Крижаничемъ. Самъ Палій сталъ уже ветхимъ, хотя бодрымъ старикомъ. И Крижаничъ, и Дорошенко, и Самойловичъ отошли въ вѣчность. Мазепа вынулъ гетманскую булаву изъ-за пазухи и царствуетъ надъ Україною въ качествѣ холопа царей московскихъ...

А Палій все застѣваетъ „руину“ новою человѣческою пшеницею... О! какъ мощно возшла новая великая нива украинская! какой налила богатый, ядреный колось яровая пшеница Заднѣпровья!

Бывшая „руина“ опять превратилась въ страну, текущую молокомъ и медомъ... Ожила заднѣпровская казаччина... Сухія кости ожили—и сталъ соборъ многъ зѣло...

Какъ оживали эти сухія кости, какъ скрѣплялись жилами, покрывались плотью и кожею—объ этомъ, благосклонный читатель, зри почтенныхъ историковъ—Соловьева, Костомарова, Антоновича, Кулиша и въ особенности Костомарова, который уже заготовилъ и полотно, и краски, и кисти

для созданія великой картины „руины“ и ея воскресенія... Я же, благосклонный читатель, поведу тебя туда, куда не смѣетъ проникнуть историкъ, и покажу то, чего историкъ показать не можетъ. Я поведу тебя въ область творчества, черпающаго свои идеалы изъ архива болѣе обширнаго, чѣмъ всѣ архивы государства, открытые историкъ, и, не отступая отъ исторической правды, покажу тебѣ самую душу историческихъ дѣятелей: для насъ открыты самыя сокровенныя думы Палія; мы проникнемъ въ темную глубину души Мазепы; мы подслушаемъ, какъ бьется сердце у спящей Мотренъки, о чемъ грозитъ эта „неслухъяна дитина...“

Не спится и старому Палію въ эту жаркую ночь, какъ не спится Мотренъкѣ... Мотренъкѣ не даютъ спать молодыя грезы; безпокойное сердце колотится подъ горячею отъ жаркаго тѣла сорочкомъ; а Палію не даютъ спать старыя думы...

О! многое думается этой сивой, почти столѣтней головѣ казацкаго батька... Вонъ какимъ пышнымъ цвѣтомъ цвѣтетъ „руина“, нѣкогда представлявшая обширное, разрытое кладбище, усыянное сухими костями казацкими. Вотъ бы теперь прійти сюда тому старцу словенскому, Юрію, который благословлялъ эту степь своею старою, дрожащею рукою, да поглядѣть на нее да поплакать отъ радости...

И усталыя отъ безсонницы очи Палія плачутъ теплыми, хорошими слезами. Нѣтъ, не прійти ужъ вѣрно старцу Юрію,—гдѣ прійти! Въ могилѣ, поди, отдыхаютъ его святые, нывшія за словенскій родъ старыя кости...

Тихо такъ кругомъ, сонно... Палій выходитъ изъ своего дома, что въ Бѣлой Церкви, садится на рундукѣ и думаетъ, думаетъ, думаетъ... Что за тихая ночь! Темное небо усыяно звѣздами — много ихъ, какъ много казаковъ на всей этой степи, по всей Хвастовщинѣ и по Полѣсью... Вотъ ужъ сколько лѣтъ, словно пчелы за маткою, летятъ въ Хвастовщину казаки и голода со всѣхъ концовъ—все до Палія, до батька казацкаго... И запорожцы чубатые идутъ „погуляти“, и волохи черномазые цѣлыми поселками валятъ въ Хвастовщину, и подольяне идутъ сюда же, и Червоная Русь, и Волинь — все бредетъ въ царство батька казацкаго, Палія Семена Ивановича... Мазепинцы, лѣвобережные, словно саранча летятъ сюда же, и нѣту имъ удержу—не устеречь ихъ карауламъ мазепиннымъ... И лютуетъ на Палія старый, лукавый Мазепа. Да и какъ не лютовать ему!—Самъ видитъ, что у Палія житье людямъ привольнѣе, чѣмъ у него, въ гетманщинѣ... А самъ и виноватъ же... Лядскимъ ладономъ прокурень Мазепа Иванъ Степановичъ, ляхомъ смердитъ отъ всего духа мазепинскаго—такъ и остался старымъ королевскимъ пахолкомъ, что блюда лизалъ въ королевскихъ переднихъ, да и всѣхъ молодыхъ, знатныхъ казацкихъ сыновъ въ пахолковъ перевернуть хочеть... Гдѣ-жъ тутъ, у чортовой матери, хотѣть, чтобъ казаки его любили! Вонъ онъ, старый пахолковъ, панство на Украинѣ расплодить хочеть—мало польское панство залило сала за шкуру народу украинскому! „До живыхъ печенокъ“ дошло это панство! А онъ и свое, казацкое панство на поругу народу разводить...

А эти ляшки-панки, словно осы въ улей съ медомъ, забрались въ Украину, да такъ и гудуть около Мазепы въ охотничьихъ, да компанейскихъ, да сердючьихъ полкахъ... Такъ и этого мало—надо своихъ трутней въ улей напускать... Ну, и напустилъ бунчуковыхъ товарищей, землю у посольства отнял, паничину завелъ вражий сынъ, да еще и на старого Палія лютуетъ... То-то! засѣлъ въ свой Батуринъ, окопался какъ въ чужой землѣ и носу показать безъ сердюковъ да московскихъ стрѣльцовъ не смѣетъ... Пропадетъ за нимъ милая Украина!

Вонъ недавно проѣзжалъ черезъ Хвастовъ къ святымъ мѣстамъ попъ московскій, отецъ Іоанъ, по отчеству Лукьяновъ, такъ говорилъ „не абы яке“ про Мазепу...

— Крипко сидитъ тамъ гетманъ?—спрашивалъ попа Палій

— Да крѣпокъ-то онъ только стрѣльцами, и онъ, и Батуринъ его—на караулахъ все москали стоятъ, цѣлый полкъ стрѣльцовъ живетъ въ Батуринѣ, Анненковъ полкъ съ Арбату...

— А народъ—посольство?

— Яко собака передъ горячею кочергою... Коли-бъ не стрѣльцы, то-бъ хохлы его давно уходили, что медвѣдя въ берлогѣ,—только стрѣльцовъ и боятся, а онъ безъ нихъ не ступить и шибко жалуется ихъ—все имъ кормъ, да кормъ, да питія всякія...

Недаромъ сегодня Палій, проходя по рынку, слыхалъ, какъ старый запорожець „на бандури wygrававъ, та словами промовлявъ“.

Хочъ у нашего Семена Палія и не велике військо охотнее

Тилько одна сотня, да и та голая,

Безъ сорочокъ и штанивъ, тилько зъ очкурами,

А буде та сотня голая,

Буде та сотня безштанная,

Буде паньскую тысячу убраную,

Аксамитомъ крытую,

Шовками пошиту—

Буде мовъ череду гнати,

У-пень рубати.

Буде великимъ панамъ великій страхъ завдавати...

А казаки да голода слушаютъ да смѣются, такъ и „регочуть“ на весь рынокъ... „Добре! добре, брате, граєшь... правду промовляєшь!“

И радостью искрятся старыя очи Палія при этомъ воспоминаніи... Доброе что-то проходить по его ветхому, такому же, какъ и въ дѣтствѣ, кроткому лицу...

— Добри въ мене дитки-козаки... Хочъ голи—та весели...

Да и попъ этотъ московскій, отецъ Іоаннъ Лукьяновъ, что отъ святыхъ мѣстъ ѣхалъ на Вѣлую Церковь—„таке чудне попиня“... Турки, что провожали его съ купцами по степи, боятся, говорятъ попинь, Палія...

— Мы-бъ васъ съ радостью и до Кіева проводили, говорятъ, да боимся Палія вашего: онъ насъ не выпуститъ вонъ отъ себя... тутъ-де и побѣтъ...

— Чудни турки...

— То-то чудны. У насъ говорятъ про Палія страшно грозная слава.

— Овва-бо! Яка вже тамъ гризна!

— Еще бы!.. Мы,—говорять,—никого такъ не боимся какъ Палія... Намъ-де и самимъ зѣло хочется его посмотрѣть образъ... каковъ-де онъ?

И доброе лицо старика свѣтится дѣтски-старческимъ улыбкою...

— Образъ... у мене образъ... Отъ дурни!

И старикъ, сойдя съ рундучка, тихо побрелъ черезъ обширный дворъ къ левадѣ, усаженной вербами. Начинало свѣтать, но вербы съ своими густыми, низко опустившимися вѣтвями казались еще совсѣмъ темными и только въ просвѣтахъ между ними виднѣлось небо, розовыя краски котораго обѣщали прелестное утро. Двѣ собаки спали, разметавшись среди двора, словно бы увѣренныя, что не ихъ дѣло лаять, когда не на кого, увидавъ хозяина, поднялись съ земли и точно по заказу замахали хвостами, какъ бы говоря: „ну, вотъ соснули и мы маленько... а теперь за дѣло...“

— То-то, выспались, сучи дити,—ласково бормочетъ старикъ:—знаете, що я, старый собака, не сплю...

У конюшни, распластавшись на соломѣ, спять „хлопцы“, которые всю ночь гуляли „на улицѣ“ и напролетъ всю ночь горлачили то „Гриця“, то „Ой сонъ, мати“, то „Гоць, мои гречаники...“

— Эхъ, вражи сыны... набигались за ничъ за дивчатами, — продолжаетъ ласково ворчать старикъ.

А тамъ кони, узнавъ хозяина, повысовывали морды въ открытыя двери конюшни и ржутъ весело..!

— Що, дитки... пизнали старого,—обращается онъ къ конямъ...

А вотъ и утро... совсѣмъ свѣтло становится... Вдоль левады ко двору приближается конный казакъ, и, узнавъ „батька“ Палія, осаживаетъ лошадь...

— Здоровъ, Охриме,—ласково говоритъ Палій.

— Бувайте здорови, батьку,—отвѣчаетъ казакъ, снимая шапку

— Звидки?

— Та зъ Кива жъ... московського попа проводили.

— Отца Іоанна?

— Его-жъ.

— Добре.

Казакъ что-то мнется, копаясь въ шапкѣ. Вынувъ изъ шапки хустку, онъ достаетъ что-то тщательно завернутое.

— Що въ тебе у шапци тамъ... кїївскій бубликъ, чи-що?—улыбаясь спрашиваетъ Палій.

— Ни, батьку, не бубликъ.

— Такъ, може, гарна цяця?

— Ни, батьку... Ось-де воно гаспидське, — радостно сказалъ казакъ, вынувъ изъ платка какую-то бумагу и подавая ее Палію.

— Що се таке?—спрашиваетъ этотъ послѣдній.

А Богъ его знае що воно таке е... писано щось...

А с кимъ?

У Паволочки дали... У того козака нашли за скриней, де москвитский книжечникъ ночувавъ... Може воно яке тамъ... Богъ его знае, що воно накрицано... Може й пса тамъ наволопуно...

И Палій, развернувъ бумагу, прочель: „А въ Хвастовѣ по земляному валу ворота частыя, а во всякихъ воротахъ копаны ямы да солома насыпана въ ямы—тамъ палиевщина лежитъ, человекъ по двадцати по тридцати голы, что бубны, безъ рубахъ, нагіе, страшны зѣло; а въ воротахъ изъ селъ проѣхать нельзя ни съ чѣмъ... все рвутъ, что собаки: дрова, солому, сѣно... съ чѣмъ ни поѣзжай...

— Бреше гаспидивъ москаль, — не утерпѣлъ казакъ:—бреше сучій сынъ...

Палій улыбнулся.

— Себѣ то ты попа такъ, Охриме?

Охримъ смутился, но не растерялся...

— Охъ, лищечко... Хиза жъ се пипъ пише?

— Пипъ, Охриме.

— Такъ окримъ его священства... А все-жъ бреше...

„А когда мы приѣхали въ Паволочъ,—продолжалъ читать Палій,—и стали на площади, такъ надъ обступили, какъ есть около медвѣдя, всѣ козаки-палиевщина: и все голутьба безпорочная, а на иномъ и клока рубахи нѣтъ, страшные зѣло, черны, что арапы, и лихи, что собаки — изъ рукъ рвутъ. Они на насъ, стоя, дивятся, а мы имъ и втрое, что такихъ уродовъ мы отъ роду не видали; у насъ на Москвѣ и на Петровскомъ кружалѣ не скоро сыщешь такова хочъ одного“...

— А то-жъ! воно трохи й правда,—замѣтилъ старикъ, кончивъ читать и догадавшись, что это, вѣроятно, листокъ изъ дневника или путевыхъ замѣтокъ отца Іоанна, оброненный въ Паволочи.

Какъ бы то ни было, но листокъ этотъ заставилъ задуматься старика. По листку Палій могъ судить, какія вѣсти и въ какомъ видѣ доходятъ о немъ до Москвы, до бояръ и до царя, и насколько эти вѣсти отвѣчаютъ его душевнымъ, глубоко тайнымъ отъ всѣхъ планамъ... Вѣсти не лестныя—онѣ могутъ только бросать тѣнь на то, что всю жизнь лелѣялъ Палій въ своей казацкой душѣ, а теперь уже свѣтилось вдаль—не то путеводною звѣздой, не то погребальнымъ факеломъ... Вѣдь могила-то ужъ не за горами...

— Спасибѣ, Охриме... Приходь сгодня—дѣло буде, — сказалъ старикъ, и, поникнувъ сѣдой головой, снова направился къ дому, бормоча:—„Бидна Украина... коли-то твое сонечко встанетъ?..“

Солнце, дѣйствительно, вставало, но не то, котораго искали старыя очи Палія Семена.

VIII.

Много было въ это время работы Палію, и было о чемъ подумать—и молодому черепу такъ впору бы лопнуть отъ думъ безпокойныхъ, отъ тяжелой неизвѣстности, которая тяготѣла надъ правобережной Украиной, которую старая, но еще мощныя руки Палія буквально вынули изъ могилы, какъ о томъ пророчествовалъ Юрій Крижаничъ... Не хочетъ брать Палія съ его воскресшею Украиною подъ свою высокую руку московскій царь,— да и какъ ему взять его и всю его буйную Паліевщину подъ свою руку, когда онъ шибко задралъ шведскаго короля, отнялъ у него влючъ къ морю и сердить Польшу не приходится. А взять Палія — значитъ разсердить Польшу, потому: Палій-де полковникъ въ подданствѣ состоитъ у польскаго короля, союзника царскаго, да вся правобережная Украина, вся Паліевщина — польская земля... То-то польская! Разодрали бѣдную Украину по живому тѣлу на-двое: одну половину Москва взяла, другую, правобережную, дали польскимъ собакамъ на съѣденіе... Такъ не быть же этому! Старый Палій всѣ собачьи зубы переломаетъ у ляховъ, а не дастъ имъ Украины! Вонъ сколько воды въ Днѣпрѣ, что бѣжить къ морю мимо Кіева: то кровь да слезы украинскія, а не вода... Какъ же отдать все это ляхамъ? Пускай лучше ужъ съ мертваго сымутъ сорочку, когда Палій умретъ, а Украину онъ не отдастъ ляхамъ... Не Іуда онъ, чтобы продать Христа; да и Іуда— и тотъ удавился... А то царь пишетъ—покорись ляхамъ, отдай имъ мать родную на поругу... Царю хорошо: онъ тамъ у самаго моря новый городъ строить началъ — это онъ свѣчечку затеплилъ тамъ въ память пращура своего, Александра Невскаго... А Палію велитъ загасить свѣчу, что онъ затеплилъ надъ могилой Украины... Не бывать этому! Лобъ расшибутъ поляки объ стѣны Бѣлой Церкви, что укрѣпилъ Палій. Не видать имъ, какъ своихъ панскихъ ушей, ни Богуслава, ни Корсуна, ни всей Хвастовщины, ни Полѣсья, ни Побережья—все это Паліево; умретъ—такъ Богу завѣщается свою отчину-Украину, а не панамъ на прогулъ да на проплясъ, да на венгринь, да на мазура...

А и попъ этотъ московскій, отецъ Иванъ Лукьяновъ, подозрителенъ. И туда изъ Москвы ѣхалъ, въ Царьградъ, такъ все высматривалъ да вынюхивалъ, и назадъ теперь съ караваномъ торговыхъ московскихъ людей шелъ—такъ тоже до всего докапывался. Ужъ не подосланъ-ли къмъ?..

Вотъ ужъ и солнце высоконько взошло. Казакъ Охримъ, что пріѣхалъ изъ Павлочи, успѣлъ соснуть и идетъ къ батьку-полковнику. Палій сидитъ на рундукѣ, въ холодку, подъ навѣсомъ своего дома, и завтракаетъ: на бѣлой скатертѣ, посланной на небольшомъ дубовомъ столѣ, стоитъ сковорода съ шипящею яичницею; тутъ же на столѣ бѣлая „паланица“—хлѣбъ — огромный каравай, съ воткнутымъ въ него ножомъ; тутъ же и „пляшка“ съ „горилкою-оковитою“ и серебряная съ ручкою чара. Палій

ѣсть шипящую яичницу, прямо съ сковороды, круглою деревянною ложкою... Тутъ же и собаки оближаются...

— Що, Охрime, выпався?—спрашиваетъ старикъ, завидѣвъ казака.

— Выпався, батьку.

— А свидавъ?

— Свидавъ.

— А оцѣи не цилувавъ?—указываетъ Палій на бутылъ съ водкой.

— Зачепивъ трохи, батьку,—улыбается Охримъ.

— А ну, зачеши ще, и Палій наливаетъ чару.

Охримъ бережно, словно чашу съ дарами, беретъ чару въ правую руку, потомъ передаетъ ее лѣвой, широко крестится, снова беретъ чару въ правую руку и опрокидываетъ ее подъ усы, словно въ пропасть...

— На здоровьячко,—говоритъ Палій, утирая „рушникомъ“ губы.

— Нехай васъ Богъ милуе, батьку,—отвѣчаетъ Охримъ, ставя чару на столъ.

— Теперь побалакаемо... Що тамъ у васъ у Паволочи?

— Спасибѣ Богови—усе гораздъ.

— Козаки не скучають?

— Скучають, батьку... На долоняхъ, кажутъ, шерсть пророста...

— Оттакои!—Якъ на долоняхъ шерсть пророста?

— Давно, кажутъ, ляхивъ не били—тимъ и пророста?

— Эть, вражи дити... А що пани моя стара?

— Пани-матка здоровеньки, кланяються.

— А московського попа бачила?

— Бачили... вони жъ его й привитали и обидомъ частували.

— А купци московськи, що за нимъ були?

— И ихъ пани-матка частували... Не називаються москали: „отъ, кажутъ, такъ полковниця!—вона, кажутъ, и цилымъ полкомъ управить—хоть на войну, такъ поведе“...

— О! вона баба-козакъ у мене,—улыбаясь и моргая сивымъ усомъ, говоритъ Палій.

— Та козакъ же-жъ, батьку...

— Козакъ-то козакъ, тилько чубъ не такъ...

И Охримъ оскабляется на эту остроту стараго полковника.

— Москали казали,—що пани-матка у насъ така, якъ онъ у ихъ у Москви була царевна Сохвія—kozyрь-дивка...

— Эге! козырь-дивка... Высоко летала—тільки царъ ий крыла при-буркавъ.

Разговоръ шелъ о второй женѣ Палія, на которой онъ женился уже въ Хвастовщинѣ, когда началъ превращать „руину“ въ цвѣтущую Украину. Палиха была женщина умная, энергическая, какъ-разъ подъ пару неугомонному старику, этому Иисусу Навину заднѣпровской Украины, который на время остановилъ солнце западной Малороссіи, склонявшееся къ закату и погружавшееся въ мутныя воды Рѣчи Посполитой. Въ отсутствіе

мужа, который былъ въ безпрестанныхъ разбѣдахъ, то воюя съ поляками и татарами, то сооружая крѣпости, Палиха брала правленіе полкомъ и и землею въ свои умѣлыя руки—и изъ этихъ рукъ ничто не вываливалось: она отдавала приказы казацкимъ старшинамъ, выслушивала ихъ доклады, держала судъ и расправу, принимала посланцовъ со всѣхъ мѣстъ—изъ Кіева, изъ Батурина, отъ польской шляхты... По всей правобережной и частью по лѣвобережной Украинѣ раздавалось имя „пани-матки“, „Палихи“, почти столь-же громко, какъ имена Палія и Мазепы...

Историческая судьба украинской женщины и женщины московской, великорусской, представляетъ собою явленія, далеко не похожія одно на другое. На жизнь московской женщины, особенно боярыни и боярышни, а равно женъ и дочерей всѣхъ „лучшихъ“ — по тогдашнему выраженію — „людей“, татарщина наложила вѣковую печать теремности и замкнутости, печать, которую пробовали было сорвать съ этой отатаренной жизни первыя вольнодумки русской земли—мать царя Петра Перваго и сестра его, царица Наталья Кирилловна Нарышкина и царевна Софья, — но не осилили, и которую уже сорвалъ самъ Петръ вмѣстѣ съ кусками живого русскаго мяса и съ переломомъ реберъ и голеней русской земли. Московская женщина ничего не знала и не видала кромѣ, терема и церкви. Эта тюремная жизнь скрапивалась только возможностью отъ утра по ночи, не разгибая спины, сидѣть надъ нехитрыми рукодѣльями—шить и вышивать пелены, ризы да воздухи для церквей и поповъ, кроить и строчить для себя кики, да повойники, да душегрѣйка, да иногда пропѣть грустную пѣсню о томъ,—

„Какъ милъ сердечный другъ меня не любить,
Онъ кормить-пить меня млада не хочетъ...

Каторгу выносила московская женщина, а не жизнь, и изъ домашней тюрьмы-терема ей оставался одинъ-два выхода: либо въ монастырь, въ „темну келью“, на новую теремную жизнь, либо — погостъ, на вѣчное успокоеніе... Государственная, общественная и даже уличная жизнь проходила мимо московской женщины, не задѣвая ее, не интересуясь ею, и только задѣвало ее время, проводя черты и рѣзцы по ея отцвѣтающему лицу, вплетая серебряныя блестки въ ея косу русую, вѣчно прикрытую, мало-по-малу задувая огонь ея очей... Выходила московская женщина замужъ, не зная и не видя своего суженаго: это была не радость для нея, а судъ—судъ Божій, да судъ батюшковъ, да матушкинъ—за кого „осудили“ ее выдать, тотъ и „суженный“ ея, и этого суженаго ни коземъ не объѣдешь, ни пѣшей отъ него не уѣжишь... И стала, исторически, наслѣдственно стала московская женщина „бабою“, у которой волосъ дологъ, да умъ коротокъ... А гдѣ было ей набраться этого ума, чѣмъ отростить и обострить его.

Не такова была историческая судьба украинской женщины. Надъ Украиною не тяготѣла татарщина и не отатарила ее, какъ землю москов-

скую, не заперла украинскую женщину въ теремъ. Надъ Украиною татарщина пронеслась ураганомъ, оставивъ повсюду слѣды разрушеній; но отатаренія тамъ не было: послѣ урагана историческая жизнь дала новые, свѣжіе побѣги. Эта своеобразная жизнь создала пресимпатичный и препоэтический типъ вольнаго казака, который не терпѣлъ никакой—ни узды, ни повода. Эта же жизнь создала и своеобразный типъ украинской женщины, которая никогда не была ни рабою, ни теремнымъ, бесполезно прозябающимъ растеніемъ. Украинская женщина росла, часто, по цѣлымъ годамъ, не видя ни своего „татака любого“, ни своихъ „братиковъ милыхъ, якъ голубонькихъ сизыхъ“, которые рыскали „по степахъ та по байракахъ“, съ ляхами да татарами воюючи, да своимъ казацкимъ бѣлымъ тѣломъ „комаровъ годуючи“. Выходила украинская „дивчина“ замужъ всегда по любви, потому что, живя на свободѣ, любя до страсти „вулицю“ и „писню“, короводясь къ казаками-парубками по цѣлымъ ночамъ, на общественныхъ сходбищахъ, выдаясь съ ними и тайно, то въ вишневыхъ садочкахъ“, то „у темному лузі“, то „коло криниченьки съ холодною водиченькою“,—она успѣвала изучить своего милаго и знала, за кого выходила... А тамъ глядѣть—ея милый „стрепенувся та й полинувъ“ съ ляхомъ да татарвою драться, а у нея на рукахъ—и дѣти, и хозяйство, „быки та коровы“ та „волы крутороги...“ Надо обо всемъ подумать, за всѣмъ усмотрѣть—чтобъ и „быки та коровы не поздыхали“, да чтобъ и ея „чорни брови не полиняли...“ И вырабатывался изъ украинской женщины прелестнѣйшій историческій типъ—это типъ самостоятельной женщины, самостоятельной вездѣ, куда-бы ни покатилося ея жизненное колесо: если красота и несчастья родины дѣлали ее „полонянчочкой“, если она попадала въ руки какого-нибудь паши-янычара, то и тамъ она становилась гошепожею—либо „дивкою бранкою Марусею Богуславкою“, которая самими пашою заправляла, либо султаншею въ родѣ Роксанды изъ Рогачева, которая играла судьбою всей Османской Порты, держа въ своихъ красивыхъ рупахъ сердце и волю повелителя правотѣрныхъ; если же она оставалась дома, то она въ общественной жизни имѣла свой голосъ, а въ семьѣ—она властвовала нерѣдко надъ самымъ „чоловикомъ...“ Такова была старая Кочубейха...

Тотъ же типъ самостоятельной украинки представляла и Палиха. Московскій попъ Лукьяновъ, привыкшій видѣть московскую боярыню только на исповѣди, на смертномъ одрѣ, да въ гробу, былъ пораженъ тѣмъ, что онъ нашелъ въ Павлочи. Этимъ мѣстечкомъ заправляла Палиха: она была и комендантомъ крѣпости, и полковникомъ въ мѣстечкѣ, и хозяйкою въ своемъ домѣ.

Едва купеческій караванъ, съ которымъ Лукьяновъ слѣдовалъ изъ Цареграда въ Москву, въѣхалъ въ Павлочъ и остановился на площади, какъ тотчасъ же былъ окруженъ любопытствующими казаками, у которыхъ, какъ они жаловались, отъ скуки волосы стали проростать на ладоняхъ, долго, можетъ быть нѣсколько мѣсяцевъ не бравшихъ сабель въ руки. Лукьяновъ.

который, проѣзжая въ Царьградъ, видѣлъ какъ въ Паволочи же его окружили казаки „голы что бубны, безъ рубахъ, нагіе, страшны зѣло“, „все голудьба безпорточная“, „чорны, что арапы, и лихи, что собаки“,—замѣчалъ теперь, что казаки смотреть уже не „голудьбою безпорточной“, а порядочно одѣтыми, кромѣ тѣхъ, которые, „пропивъ штаны и сорочку“, бродили въ чемъ мать родила, одѣтые лишь солнечнымъ лучомъ, да кое-гдѣ волосами...

— Видкиля, добри люде?—спрашиваетъ одинъ изъ такихъ молодцовъ, одѣтый лишь въ солнечные лучи, подходя къ каравану.—Хотя онъ былъ весь голый, но на головѣ всетаки красовалась казацкая шапка.

— Изъ Цареграда, родимый, — отвѣчаетъ московскій купчина, потолкавшійся по бѣлу свѣту и всего выдавшій на своемъ вѣку. — Изъ самой турской земли.

— Добре... А самого бисового сына козолупа бачили?

— Какого, родимый, козолупа?

— Вавилонську свиню...

— Не вѣдаю, родимый,—отвѣчаетъ купчина въ недоумѣніи.

— Нашого Бога дурня,—настаивалъ голый казакъ.

— Не вѣдаю, не вѣдаю, родимый, про кого баишь, — недоумѣваетъ купчина.

— Та самого жъ салтана, Иродову дитину...

— О! видывали, видывали...

Увидавъ попа, голый казакъ, не забывающій своего человѣческаго достоинства, хоть оно и ничѣмъ не прикрыто, почтительно подходитъ къ Лукьянову, и, сложивъ руки пригоршней, протягиваетъ ихъ къ священнику.

— Благословите, батюшка, козака Голоту.

— Господь благословить... Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

— Аминь...

— Что это ты, любезный, безъ рубахи?—спрашиваетъ священникъ.

— А на що вона теперь, батюшка?—въ свою очередь невозмутимо спрашиваетъ казакъ Голота.—И такъ тепло...

— Какъ на что—наготу прикрыть...

— На що жъ прикрывати те, що Богъ козакови давъ?—озадачиваетъ Голота новымъ, философскимъ вопросомъ.—Богъ ничего худого не давъ козакови...

— Такъ-то такъ, а все же студно...

— Ни, батюшка, не холодно—саме впору...

Вотъ и говори съ нимъ! Но въ это время къ каравану подходитъ хорошо одѣтый казакъ при оружіи и также проситъ благословенія у священника въ свою массивную пригоршню. Получивъ его и, какъ бы боясь просыпать, онъ продолжаетъ держать передъ собой пригоршню и говорить:

— Пани-матка полковникова прислала мене до васъ—запрохати васъ до господы.

— А кто это пани-матка полковникова?—спрашиваетъ отецъ Иванъ.

— Пани-матка—батькова Палива жинка.

— А! спасибо-спасибо на добромъ привѣтѣ... Ради ей, матушкѣ, поклониться... Какъ съ дороги малость приберемся да пообщитимся, такъ и явимся къ ней на поклонъ. Только гдѣ-бъ намъ, у какого добраго чело-вѣка остановиться въ избѣ?

— А въ мене, батюшка,—радушно предлагаеъ голый казакъ.

— У тебя, сынъ мой?—удивленно спрашиваетъ батюшка.

— Та въ мене жъ... У мене сорочки хочъ и нема, такъ хата е: бо хату пропити неможно: пани-матка заразы чуприну почуха.

— Какая пани-матка?

— Та вона жъ... вони жъ, пани полковникова. Вони въ насъ строги...

— Ну, спасибо, другъ мой... Гдѣ жъ твоя изба?

— У меня не изба, а хата...

— Ну, пушай будетъ хата... Гдѣ жъ она?

— А онъ де, коло вербы — безъ воротъ... Ворота пропивъ... та на що вони козакови?

И словоохотливый, радушный голякъ, важно накренивъ свою высокую смушковую шапку на бокъ, повелъ гостей къ своей хатѣ.

— Хата добра... А жинка въ мене вмерла — отъ и никому сорочки пошити,—объяснилъ онъ отсутствіе на себѣ костюма.—Були сорочки, що ще покійна Хивря пошила,—такъ якъ було подивлюсь на ихъ, згадаю якъ вона шила, та усякими стежечками та мережками мережила ихъ—та заразы у слезы... Ну, и пропивъ, щобъ не згадувати та не тужити по жинци...

И бѣднякъ горестно махнулъ рукой. Двѣ крупныя слезы, выкатившись изъ покрасѣвшихъ глазъ, упали на пыльную землю.

И дворъ и хата Голоты представляли полное запустѣніе. Хата была новая, просторная, свѣтлая. И снаружи и внутри она была чисто выбѣлена, разукрашена красною глиною—узоръ на узорѣ, мережка на мережкѣ!

— Се, бачъ, все вона, Хивря, розмолювала... Отъ була дотепна! — грустно говорилъ бѣднякъ, показыв гостямъ свое осиротѣлое жильѣ.

Въ хатѣ—то же запустѣніе — словно недавно отсюда вынесли покойника, а за нимъ и все, что напоминало жизнь, счастье... Столъ безъ скатерти и солоницы, голыя лавки, голыя стѣны, голыя нары безъ постели... Только подъ образами висѣло расшитое красною и синею заполичью полотенце—оно одно напоминало о жизни...

Гости, войдя въ хату, набожно помолились на образа.

— Оце и рушникъ— Хивринъ,—говорилъ Голота, показывая на полотенце.—Одимъ рушникомъ намъ пипъ у церкви руки звязавъ... Такъ смерть развязала. Нема въ мене Хиври—одинъ рушникъ...

И бѣднякъ, упавъ головою на голую доску дубоваго стола, горько заплакалъ... „Одинъ рушникъ... одинъ рушникъ зостався... щобъ мени повиситись на ему...”

Не болѣе какъ черезъ часъ послѣ этого московскіе проѣзжіе люди были

уже на Паліевомъ дворѣ. Они несли съ собой подарки для пани полковничихи: отецъ Іоаннъ — нѣсколько крестиковъ и образковъ, вывезенныхъ имъ изъ святыхъ мѣстъ; купцы московскіе — кто турецкую шаль, кто сафьянные, шитые золотомъ сапожки, кто нитку коралловъ, кто — коробокъ хорошаго цареградскаго „инджирѹ“.

Паліиха встрѣтила гостей на крыльцѣ. Это была высокая, массивная, уже довольно пожилая женщина, на лицѣ которой лежала печать энергіи, а въ обхожденіи проглядывала привычка повелѣвать. Сѣрые, нѣсколько стоячіе глаза, которые въ молодости подстрѣлили такого обстрѣланнаго и окуренаго порохомъ дымомъ беркута, какъ старый Палій; орлиный носъ съ широкими ноздрями, для которыхъ требовалось много воздуха, чтобы давать работу могучимъ легкимъ; плотно сжатые, хотя не тонкія губы, которыя и цѣловались когда-то, и отстаивали вылетавшее изъ-за нихъ рѣчью права и достоинство этой женщины съ страстною энергіею, — все это говорило о цѣльности характера, о стойкости воли и недоужинномъ умѣ. На головѣ у нея было нѣчто въ родѣ фески или фригійскаго колпака, спускавшагося на бокъ и закрывавшаго ея бѣлокурые, густые, но уже посеребренные временемъ и страстностью волосы. На плечахъ — нѣчто въ родѣ кунтуша, изъ-за котораго виднѣется бѣлая, расшитая узорчато сорочка съ синею „стричкою“ у полного горла и голубыми монистами на шеѣ и на могучей груди. Сподница — двуличневая, гарнитуровая. Въ рукахъ — бѣлая „хустка“. На ногахъ — голубые „сапьянцы“.

Сступивъ своей грузной, но свободной, мужской походкой навстрѣчу отцу Іоанну, она наклонила голову, согнувъ только свою воловью шею и не сгибая спины, и ждала благословенія. Священникъ громко и внятно благословилъ и получилъ въ отвѣтъ такое же громкое и внятное „аминь“.

— Миръ дому сему и ти, жено благочестивая!

— И духови твоему.

— Поклонъ тебѣ отъ супруга твоего, благороднаго полковника Симеона Іоанновича, и наше челобитіе.

— Дякую, отче.

— Челомъ бьемъ тебѣ, госпоже, и нашими худыми поминками, — сказалъ купчина, низко кланяясь и шибко встряхивая волосами. — Прими наше худое приношеніе — не побрезгуй.

— Дякую на ласці, дорогіи гости... Прошу до господы...

Купцы низко кланялись, съ удивленіемъ глядя на эту новую Семирамиду. Въ Москвѣ такихъ они отродясь не видавали... „Вотъ баба-яга“, вертѣлось на умѣ у старшаго купчины: — „лихачъ, конь-баба!“

Конь-баба грузно, но бойко повернулась, брызнула о полъ рундука кованными подковами, звякнула бусовымъ монистомъ, визгнула о косякъ гарнитуромъ своей широкой сподницы, словно стекломъ объ стекло, и вошла въ свой домъ, вдавливая дубовыя половицы „помоста“ какъ тонкія жердочки...

„Ну, конь-баба, подлинно конь...“

Попъ и торговые люди робко слѣдовали за нею, точно боясь, что

поль подъ ними подломится. Они вступили въ просторную комнату съ широкими лавками вдоль стѣнъ, увѣшанныхъ оружіемъ и разными принадлежностями и добытками охоты. Съ одной стѣны глядѣла гигантская голова тура съ огромными рогами. Массивный столъ, покрытый шитою узорамн скатерью, былъ уставленъ яствами и пїтіями. На самой серединѣ стола красовался жареный баранъ, стоящій на своихъ ногахъ и съ рогами, перевитыми красною лентою. Противъ барана стоялъ жареный поросенокъ и держалъ въ зубахъ огромный свѣжій огурецъ, висѣвшій на голубой лентѣ.

— Прошу, дорогіи гости, до хлѣба-соли — поснидати съ дороги... Будьте ласковы, батюшка, благословить брашно сіе и пїтіе, — говорила привѣтливая хозяйка, приглашая гостей къ столу.

Священникъ благословилъ. Палїха налила по чарѣ водки-запеканки и поднесла сначала попу, а потомъ и купцамъ. Выпили, крикнули — да и было отчего крикнуть: словно вѣникомъ царапнула по горлу запеканка.

— Ужъ и горѣлка же! — замѣтилъ ошеломленный попъ.

— Спотыкачъ, батюшка, — улыбнулась Палїха, звякнувъ монашествомъ.

— Истинно спотыкачъ, — замѣтилъ и купчина! — отъ сей чары сразу спотыкнешься.

— Спотыкачъ — ишь ты, — качали головами гости.

— Ужъ и подлинно спотыкай-водка...

— Спотыкай — спотыкай...

— Нѣ, воно зъ дороги такъ — водка добра, не сильна...

— Како, матушка, не сильна! — кистень-водка... обухъ-обухомъ...

И москали обѣ полы руками били, дивуясь крѣпости спотыкача, кистень-водки... Ужъ и воръ-водка!..

— Рушайте, батюшка, рушайте, дорогіи гости, — угощала хозяйка.

И рушали. Досталось и барану рогатому, и поросенку зубатому, и огурцу-великану. Хозяйка между тѣмъ свела разговоръ на политическую почву, на московскія, шведскія и польскія дѣла, сообщила имъ, какъ свѣжую новость, о взятіи царемъ устьевъ Невы и заложения тамъ новой столицы. Извѣстіе это порадовало попа и встревожило торговыхъ людей.

— Ну, изъ новаго-то стольна града проку не будетъ, — замѣтилъ старый купчина.

— Чомъ не буде? — спрашивала Палїха.

— Да Варяжское море, матушка, намъ, московскимъ торговымъ людомъ, не съ руки.

— Якъ не зруки? А торги торговать моремъ?

— Да то не море, матушка, — хвостъ единъ отъ моря, да и хвостъ-отъ оный задранъ зѣло высоко... Что въ емъ проку!

— Не говори этого, Кузьма Ѳедотычъ, — возражалъ попъ: — на томъ хвостѣ, въ оно время, великій Новгородъ далеко уѣхалъ — какіе торги торговалъ!

— Что было, та сплыло, а нонѣ Москва всему свѣту голова... Изъ

Москвы вывезти тронъ царскій, да царь-пушку да царь-колоколъ — это все едино, что изъ Ерусалима града гробъ Господень выкрасть...

Ловкая хозяйка искусно прекратила этотъ слишкомъ спеціальный для нея московскій диспутъ, свернувъ разговоръ на путешествіе отца Іоанна.

— А що, батюшка, у Стамбули чути?—спросила она, наливая гостямъ по чарѣ крѣпкой, ароматической „варенухи“.

„Ужъ и это не спотыкай-ли водка?“—съ боязнью подумалъ старый купчина, отстаивавшій міровое главенство Москвы.

— Да турки, матушка, въ большомъ переполохѣ, — отвѣчалъ попъ, чувствуя какое-то нایتіе отъ спотыкача.

— Видь чого се такіи сполохъ?

— А все отъ нашего царя дѣйствъ... Хотятъ запереть себя на замокъ агаряне-то эти.

— Якъ на замокъ, батюшка?

— Да вотъ какъ царь государь Петръ Алексѣевичъ Божиимъ изволеніемъ покори подъ ногаи свои Азовъ-градъ, дакъ агаряне-то и возчувствовали страхъ велій, дабы-де московскіе воинскіе люди моремъ къ Царь-граду не пришли и дурна какого не учинили...

— Се, батъ, по нашему—по запорозьски: якъ наши козаки моремъ на човнахъ подъ самый Стамбулъ подплывали и туркамъ-янычарамъ страху завдавали...

— Такъ-такъ, матушка... Да вотъ они и думаютъ отъ московскихъ кораблей отгородить Черное море, заперши море Азовское — проливъ въ Керчи засыпать хотятъ.

— Э... вражи дити! А якъ вони видь насъ, видь козаківъ, загоро-
дятся?—сказала Палінха и глаза ея сверкнули злобѣщимъ огнемъ.

— Ну, Дитѣрь не засыпать имъ,—робко сказалъ старый купчина.

— Не засыпати!.. Мы ихъ човнами самихъ засыпемо!

И Палінха такъ стукнула по столу своею богатырскою рукою, что жареный баранъ свалился съ ногъ. Но въ это время въ свѣтлицу вошелъ уже знакомый намъ казакъ Охримъ.

— Ще здравствуйте, пайматко! — сказалъ онъ, перекрестившись на образа и кланяясь Палінхѣ.—Хлибъ та силь, люде добри!

— Ты що, Охрime?

— Та козаки, пайматко, скучаютъ...

— Знаю... Отъ вражи дити!.. Ну?

— Нехай, кажуть, пайматка погуляти намъ здозволить...

— А на кого?

— На вражьихъ ляхивъ, пайматинко...

— А хiба пахне лядьскамъ духомъ, Охрime?

— Завоняло таки, пайматинко... У Погребнищи дви корогви ихъ, собачихъ сынивъ, показалось... Здозвольте, пайматочко, кіями ихъ нагодувати...

— Годуйте, дитки... Та щобъ чисто було.

— Буде чисто, пайматко,

- Кто поведе козаківъ?
- Та дядько жъ мій—Панасъ Тупу-Тупу-Табунецъ-Буланы.
- А другу сотню?
- Козакъ Задерживистъ.
- Добре... добрый козакъ... Съ Богомъ!

Охримъ радостно удалился. Московскіе люди, слушая, что около нихъ происходило, такъ и остались съ разинутыми ртами...

„Ужъ и конь-баба! вотъ такъ конь! — Лихачъ, просто лихачъ... Полканъ-баба!..“

IX.

Не успѣлъ Палій управиться съ своей яичницей, какъ на улицѣ послышался конскій топотъ и у воротъ показался отрядъ польскихъ жолнеровъ. Изумленный Охримъ невольно схватился за саблю и недоумѣвающими глазами смотрѣлъ на стараго „казацкаго батька“: ему почему-то представилось, что это тѣ двѣ польскія хоругви, забравшіяся въ Погребщице, противъ которыхъ пани-матка Паліиха отрядила изъ Паволочи казаковъ подъ начальствомъ Тупу-Тупу-Табунца-Буланаго и сотника Задерживистъ и которые, разбивъ казаковъ, ворвались теперь и въ Бѣлую Церковь. Не вѣря своимъ глазамъ, онъ искалъ отвѣта на тревожившій его вопросъ въ глазахъ Палія: но старые глаза „батька“ смотрѣли спокойно, ровно и, по обыкновенію, кротно, безъ малѣйшей тѣни изумленія.

— Чи панъ полковникъ дома?—послышалась съ улицы полупольская рѣчь.

Охримъ не отвѣчалъ—онъ онѣмѣлъ отъ неожиданности.

— Универсалъ его королевскаго величества до пулковника бялоцерковского, до пана Семена Палія!—снова кричали съ улицы.—Дома панъ пулковникъ?

— Дома... дома, панове!—отвѣчалъ Палій.—Бижи, Охриме, хутко — одчиняй ворота.

Охримъ бросился со всѣхъ ногъ. Собаки бѣшено лаяли, завидѣвъ поляковъ.—„Кого Богъ несетъ?“ шепталъ старикъ, отбѣгая рукой свои старые, но еще зоркіе глаза съ сѣдыми нависшими бровями и всматриваясь въ пріѣзжихъ: „щось не пизнаю, хто се такіі“...

Впереди всѣхъ на дворъ въѣхалъ на бѣломъ конѣ бѣлокурый мужчина среднихъ лѣтъ, болѣе, впрочемъ, чѣмъ среднихъ, хотя бѣлокурость и свѣжесть лица значительно придавали ему молоджавости. На немъ было не то польское, не то московское одѣяніе. Подъѣхавъ къ крыльцу, онъ ловко соскочилъ съ сѣдла, бросивъ поводья въ руки ближайшаго жолнера. Палій уже стоялъ на крыльцѣ, вопросительно глядя на этого, повидимому, знатнаго гостя.

— Не полковника-ли бялоцерковского, пана Палія, мамъ гоноръ видѣть предъ собою?—спросилъ гость, ступая на крыльцо.

— Я Семень Палій, полковникъ войскъ его королевскаго величества,— отвѣчалъ Палій.

— Рейнгольдъ Паткуль, дворянинъ, посланникъ его царскаго величества государя Петра Алексѣевича, всея Россіи самодержца, и полномочный эмиссаръ его королевскаго величества и Рѣчи Посполитой имѣетъ объявить пану полковнику бялоцерковскому высочайшее повелѣніе ихъ величествъ,—сказалъ Рейнгольдъ, ставъ лицомъ къ лицу съ Паліемъ.

— Прошу, прошу пана до господи.

Что-то неуловимое, не то тѣнь, не то свѣтъ, скользнуло по старому, какъ бы застывшему отъ времени и думъ лицу и по кроткимъ глазамъ казацкаго батька,—и лицо снова стало спокойно и задумчиво. Рейнгольдъ, окинувъ быстрымъ взглядомъ скромную обстановку, въ которой онъ засталъ человѣка, десятки лѣтъ державшаго въ тревогѣ Рѣчь Посполитую и всемогущихъ, роскошныхъ магнатовъ польскихъ, какъ-то изумленно перенесъ глаза на сѣдого, стоявшаго передъ нимъ старичка, словно бы сомнѣваясь—дѣйствительно-ли передъ нимъ стоитъ то чудовище, одно имя котораго нагоняетъ ужасъ на цѣлыя страны. А чудовище стояло такъ скромно, просто... И эта мужицкая сковорода съ яичницей... Это дикарь, старый разбойникъ, предводитель такихъ же, какъ онъ самъ, голоштанниковъ... Рейнгольдъ чувствуетъ себя великимъ цезаремъ, попавшимъ къ босоногимъ пиратамъ...

Онъ гордо, съ дворянскою рисовкой проходитъ въ домъ впереди скромнаго старичка; а старичокъ хозяинъ, какъ бы боясь обезпокоить вельможнаго пана гостя, ступаетъ за нимъ тихо, робко, почтительно.

Но вотъ они и въ „будинкахъ“—въ большой свѣтлой комнатѣ окнами на дворъ и въ маленькій „садочокъ“, усеянный цвѣтущимъ макомъ, подсолнечниками въ-перемежку съ высокими, лопушистыми кустами „пшенички“—кукурузы, до которой Палій такой охотникъ, особенно до молоденькой, съ свѣжимъ, только-что сколоченнымъ искусною рукой пани-матки масломъ.

— Предъявляю пану полковнику универсалъ его королевскаго величества и пленипотенцію асневельможнаго пана гетмана польнаго войскъ Рѣчи Посполитой,—сказалъ Паткуль, подавая Палію бумаги.

Старикъ почтительно, стоя, взявъ бумаги, почтительно развернулъ ихъ одну за другою и внимательно прочелъ; потомъ, медленно вскинувъ свои умные, кроткіе глаза на посланца, спросилъ тихо:

— Чого жъ вашей милости вгодно?

— А мнѣ вгодно именемъ его королевскаго величества и его царскаго величества государя и повелителя моего объявить тебѣ, полковнику, о томъ, чтобы ты незамедлительно сдалъ Бѣлую Церковь законнымъ властямъ Рѣчи Посполитой,—рѣзко и громко объявилъ Паткуль.

Палій задумался. Кроткіе глаза его опять опустились въ землю, и онъ медлилъ отвѣтомъ.

— Я жду отвѣта,—напомнилъ ему Паткуль.

— Я повинуюсь его величеству... Я заразъ оддамъ Билу Церкву, коли...

Старикъ остановился и нерѣшительно перебиралъ въ рукахъ бумаги.

— Что же?—настаивалъ Паткуль.

— Коли вы покажете мени письменный на то приказъ одъ его царьскаго величества и одъ пана гетьмана Мазепы,—снова вскинулъ онъ своими кроткими глазами.

Паткуль откинулся назадъ. Голубые, ливонскіе глаза заискрились. Глаза Палія, кроткіе, какъ у агнца, стали еще кротче.

— Въ царскомъ желаніи ты не долженъ сомнѣваться,—еще рѣзче и настойчивѣе сказалъ первый.—Бѣлая Церковь уступлена полякамъ еще по договору 1686 года; при томъ же съ того времени царь заключилъ тѣснѣйшій союзъ съ королемъ противъ шведовъ, такъ что нарушать договоръ онъ и не можетъ желать; а ты мѣшаешь успѣшному веденію войны, отвлекаешь польскія войска и упрямствомъ своимъ навлекаешь на себя гнѣвъ царя.

— Упрямствомъ,—тихо, задумчиво повторилъ Палій, — упрямствомъ... Упрямствомъ я помогаю и царю, и королю... Я за-для того и занявъ Вилу Церкву, що боявся, щобъ вона не досталась и царьскимъ, и королевскимъ воеводамъ—шведамъ, бо... бо вы сами гораздо знаете, что у ляхивъ не ма ни силы, ни ума—вои и своихъ городивъ и фортецій не вмѣютъ обороняти... А въ моихъ рукахъ, пане, Бѣла Церква не пропаде, мовъ у Христа за пазухою.

Эта простая, но логическая рѣчь не могла не озадачить ловкаго дипломата, еще недавно отъ имени царя ведшаго переговоры съ вѣнскимъ дворомъ и не встрѣтившаго тамъ такого дипломатическаго отпора, какой онъ встрѣтилъ теперь отъ этого мужика, отъ простого, „подлаго“ старикашки.

— Такъ ты взялъ крѣпость на сохраненіе?—изворачивался дипломатъ, какъ ужъ на солнышкѣ.

— На сохраненіе, пане.

— А есть-ли токмо на сохраненіе, такъ и долженъ возвратитъ ее по первому требованію владѣльца.

— И возврату, пане, коли царь укаже.

— Царь!—Дипломатъ начинаетъ терять дипломатическое терпѣніе.—Именемъ царя ты прикрываешься не по правдѣ!

А старичокъ опять молчитъ. Опять кроткіе глаза его вскидываются на волнующагося пана, и въ этихъ глазахъ свѣтятся не то робость, не то тупость, не то насмѣшка... Паткуль не выноситъ этого въ одно и то же время и покорнаго, и лукаваго взгляда.

Вдругъ въ открытое окно, выходящее на дворъ, просовывается лошадиная морда и тихо, привѣтливо ржетъ...

— Что это еще!—невольно вскидывается Паткуль.

— Да се, пане, дурный коникъ хлиба проситъ,—попрежнему кротко отвѣчаетъ Палій.

— Это чортъ знаетъ что такое!—горячиться дипломатъ.—Я думалъ, что мнѣ придется говорить съ людьми, а тутъ вмѣсто людей—лошади...

— Ну-ну, пишовъ—честь, дурный кося!—машетъ Палій рукою на не-

жданнаго гостя.—Иди до Охрима... Эчъ якій дурный... Мы тутъ зъ господнимъ посломъ ёго королевской милости про государственни рѣчи говоримо, а вить, дурный, лизе за хлибомъ...

Откуда ни возмись подъ окномъ Охримъ—и уведить недогадливаго коя въ конюшню.

— Именемъ царя ты покрываешься не по правдѣ,—снова налаживается дипломатъ.—Тебѣ изрядно вѣдомо, что царь удерживается отъ вооруженнаго противъ тебя вмѣшательства потому тоюмо, что не желаетъ брать на себя разбирательства внутреннихъ дѣлъ Рѣчи Посполитой изъ уваженія къ королю его милости; но если ты послушаніемъ не стараешься тотчасъ же снискать милость короля и Рѣчи Посполитой, то царь, по ихъ просьбѣ, долженъ будетъ, въ согласность трактатовъ, подать имъ сикурсъ и выдать тебя на казню и скананіе горломъ, яко бунтовника...

— Такъ... такъ... Пропала-жъ моя сива головонька,—бормочетъ старикъ, грустно качая головой.

— Такъ покоряешься?

— Покоряюсь, покоряюсь, пане.

— Сдаешь крѣпость?

— Сдаю... Охъ, якъ же жъ не сдать... заразъ здамъ... тоди якъ...

— Что! какъ?

— Тоди, якъ прійде приказъ.

— Да приказъ вотъ...—и Паткуль указалъ на универсалъ.

— Ни, не сей, пане... Се—холостый...

— Къкъ холостой?

— Та холостый... же пане... У ляховъ, пане, усе холосте—и сама Рѣчь Посполита, уся Польша—холоста, не жереба...

Паткуль невольно улыбнулся этой грубой, но мѣткой рѣчи стараго казака. Онъ самъ давно понялъ, что Польша—это холостой историческій зарядъ, изъ котораго ничего не вышло, и потому онъ самъ, бросивъ это неудачливое, не жеребое государство, поступилъ на службу Россіи.

— Холостой приказъ... то-то! А тебѣ нуженъ не холостой—жеребячій?—спросилъ онъ строго.

— Такъ, такъ, пане,—жеребячій, заправскій указъ.

— Отъ кого-же?

— Видъ самого царя, пане... О! тамъ указы не холости...

Паткуль понялъ, что ему не сломать и не обойти дипломатическимъ путемъ упрямаго и хитраго старикашку, прикидывающагося простачкомъ. Онъ попробовалъ зайти съ другого боку—пойти на компромиссъ.

— А если я предложу тебѣ заключить съ поляками перемиріе до окончанія войны со шведами?—заговорилъ онъ вкрадчиво.—Пойдешь на перемиріе?

— Пиду, пане,—опять отвѣчаетъ старикъ, потупляя свои умные глаза.

— А на какихъ условіяхъ?

— На усякихъ, пане... Я на все согласенъ.

— И противиться королевскимъ войскамъ не будешь?

— Не буду—борони мене Богъ.

— И Вѣлую Церковь сдашь?

— Ни, Билои Церкви не здамъ...

Это столпъ, а не человѣкъ!.. Онъ отобьется отъ десяти дипломатовъ, какъ кабанъ отъ стаи гончихъ... У Паткуля совсѣмъ лопнуло терпѣніе...

— Да ты знаешь, съ кѣмъ ты говоришь!—закричалъ онъ съ гнѣвою рта.—Знаешь, кто я!

— Знаю... великій панъ...

— Я царскій посолъ, а ты бунтовщикъ!.. Ты недостойнъ ни королевской, ни царской милости, и съ тобою не стоитъ вести переговоры, потому что ты потерялъ и совѣсть, и страхъ Божій!..

— Ни, пане, не терявъ.

— Я буду жаловаться царю... онъ сотретъ тебя въ порошокъ!

— О! сей зотре, правда, шо зотре—въ кабаку зотре...

— И сотретъ!

— Зотре, зотре,—повторялъ старикъ, качая головой.

— Такъ покоряйся, пока есть время. Сдавай крѣдость! Правобережье навѣки потеряно для Украины.

Старикъ выпрямился. Откуда у тщедушнаго старичишки и ростъ взялся и голосъ? Молодые глаза его метнули искры... Паткуль не узнавалъ старика и почтительно отступилъ.

— Не отдамъ никому Билои Церкви,—сказалъ Палій звонко, отчетливо, совсѣмъ молодымъ голосомъ, отчеканивая каждое слово, каждый звукъ.—Не виддамъ, поки мене видсила за ноги мертвого не выволочуть!

Положеніе Паткуля становилось безвыходнымъ, а въ глазахъ полнаго гетмана, Адама Сеневого, который истощилъ всѣ средства Рѣчи Посполитой, чтобы выбить Палія изъ его берлоги, и не выбилъ, и которому Паткуль обѣщалъ, что онъ немедленно заставитъ этого медвѣдя покинуть берлогу, лишь только пустить въ ходъ свою гончую дипломатическую свору,—въ глазахъ гетмана положеніе Паткуля, при этой полной неудачѣ переговоровъ, становилось смѣшнымъ, комическимъ, постыднымъ. Испытанный дипломатъ, которому и Петръ, и Польша поручали самыя щекотливыя дѣла, и онъ ихъ успѣшно доводилъ до конца, дипломатъ, который почти на-дняхъ вышелъ съ торжествомъ съ дипломатическаго турнира—и гдѣже—въ Вѣнѣ, съ средѣ европейскихъ свѣтилъ дипломатіи,—этотъ дипломатъ терпитъ полное, поголовное, огульное пораженіе и отъ кого же!—отъ дряхлаго старикашки... Да это срамъ! это значить провалить свою дипломатическую славу совсѣмъ, безповоротно—сломать подъ своею колесницею всѣ четыре колеса разомъ...

А старикъ опять стоитъ попрежнему тихій, робкій, покорный, только сивый усь нервно вздрагиваетъ...

А въ окнѣ опять конская морда и ржаніе...

— Геть-геть, дурный косяю... не до тебе... Пиди до Охрима...

Паткуль вдругъ разсмѣялся, да какимъ-то страннымъ, не своимъ голосомъ... Видно было, что его горлу было не до смѣху...

— Какой славный конь,—сказалъ онъ, подходя къ окну.

— О, пане, такой коникъ, такой разумный мовъ, ляхъ писля шкоды,—весело говорилъ и Палій, приближаясь къ окну.—Мовъ дитина разумна...

А „разумна дитина“, положивъ морду на подоконникъ, дѣйствительно смотреть умными глазами, недовѣрчиво обнюхивая руку Паткуля, которая тянулась погладить умное животное.

— Славный, славный конь... ручной совѣтъ...

— Ручной, бо я его, пане, самъ молочкомъ выгодувавъ замість матери...

— А гдѣ жъ его мать?

— Ляхи вкрали, якъ воно що було маленьке.

Этотъ нежданный, негаданный дипломатъ въ окнѣ помогъ Паткулю выпутаться изъ тенетъ, въ которыя онъ самъ запутался своею горячностью,—помогъ отступить въ порядкѣ съ поля битвы.

— А который ему годъ?

— Та вже шостый, пане, буде.

— И подъ верхомъ ходитъ?

— Ходить, пане, добре ходитъ... тильки пидо мною — никого на себе не пуска, такъ и рве зубами...

— О! вонъ онъ какой!

— Таке... таке воно, дурне.

— Точно самъ хозяинъ,—улыбнулся Паткуль.

— Та въ мене жъ воно, пане, все въ мене—и таке жъ дурне...

— О! знаю я это твое дурне...

— На сему коникови, пане, я и Билу Церкву бравъ.

— А!

Снова приходитъ Охримъ и снова гонитъ въ конюшню избалованнаго Паліеваго „косю“, который такъ ксати подвернулся въ моментъ дипломатическаго кризиса. Паткуль спустилъ тонъ и, видимо, сталъ почтительнѣе обращаться съ старикомъ, который съ своей стороны тоже удвоилъ свою ласковость и добродушную угодливость.

— Охъ, простить менѣ, пане, простить старого пугача,—говорилъ онъ, хватая себя за голову...—Видъ старости дурный ставъ, мовъ коза-дереза... И не почастью ничимъ дорогого, вельми шановного гостя голодомъ заморивъ ясневельможнаго пана,—отъ дурный опебекъ!

И старикъ звонко ударилъ въ ладоши. На этотъ зовъ какъ изъ земли выросли нахлята—два черномазыхъ хлопчика, въ бѣлыхъ сорочкахъ съ красными лентами, въ широкихъ изъ ярко-голубой китайки шароварахъ и босикомъ.

— Чого, батьку?—отозвались въ одинъ голосъ нахлята.

— А, вражи дити!.. Заразъ бижить якъ мога... нехай Вивдя, Катря, Кулина, та Омелько,, та Харько, та Грицько, та вси стари й мали—не-

хай готують снідати, обідати, вечеряти та заразъ несуть дорогихъ напитковъ частувати вельможного пана и усихъ дорогихъ гостей... Худко! швидко! гайда!

Пахолята вѣтромъ понеслись исполнять дриказанія „дидуса“.

Между тѣмъ Паткуль, стоя у окна, разсматриваль внизу городокъ съ его не массивными, но умѣлою рукою возведенными укрѣпленіями, насыпями, окопами, рвами, наполненными водою, и бойницами.

— Однако, панъ полковникъ свилъ себѣ прочно орлиное гнѣздо,—сказаль онъ, обращаясь къ старику.

— Та воно жъ, ясневельможный пане, гнѣздо и есть, тильки я не орелъ, а старый пугачъ,—отвѣчалъ улыбаясь старикъ.

— Не пугачъ старый, а старый Пріямъ,—любезничаль дипломатъ, думая хоть на древностяхъ да на исторіи загонять упрямаго казака.

— Де вже, пане, Пріямъ!.. Анхизъ безногий...

Паткуль удивленно посмотрѣль на старикашку... „А! старая ворона—и въ исторіи смыслить“, подумаль онъ невольно.

— Нѣтъ, не Анхизомъ смотритъ панъ полковникъ, а Ахилломъ,—продолжалъ онъ свои историческія сравненія.

— Якій тамъ Ахиллъ, пане! Анхизка, убогий... Тильки въ мене нема Енея, хто-бъ вынисъ мене изъ моеи Трои... Хіба Охримъ замість Енея...

И старикъ грустно задумался: передъ нимъ прошла картица его молодости... его первая любовь... его первая жена — его хорошенькая дочка Парасочка... Вотъ ужъ двадцать седьмой годъ и Параня его замужемъ... А Енея у него нѣтъ и не было.

— Да, Троя, истинно Троя,—повторяль Паткуль, любуясь видомъ крѣпости:

— Троя, священная Троя Украины,—повторяль и старикъ.—А хто-то введе деревяного коня въ мою Трою, якъ мене не стане? А поки я живъ—не бывать тому коневі въ мой Трои...

— О, это вѣрно,—улыбаясь, замѣтилъ Паткуль.—Я хотѣль было ввести въ твою Трою этого деревяного коня...

— Се-бѣ то Рѣчь Посполиту, Польшу, пане?—лукаво спрашиваетъ старикъ.

— Да, ее, только не удалось...

— Ни, пане, нехай вона и остається деревянымъ конемъ: вона сама себѣ и зруйнує—ся нова Троя разломиться сама натрос, попомнить мое старе слово,—сказаль Палій пророчески.

Угощеніе посла удалось на славу. Паткуль все болѣе и болѣе дивился талантамъ старика: онъ не только умѣеть распутать дипломатическій клубокъ, какъ бы онъ ни былъ спутанъ, не только понюхаль исторіи, но умѣеть быть и любезнымъ хозяиномъ—угостить по-рыцарски.

Когда, послѣ угощенія, Палій, бойко сидя на своемъ красивомъ „коникѣ“, показываль гостю свою Трою, обнаруживая при этомъ необык-

новенныя качества военного организатора и сообразительность государственнаго мужа, Паткуль едва-ли льстилъ старику, когда сказалъ, съ уваженіемъ пожимая его руку:

— Клянусь, панъ полковникъ, что я не преувеличу, если скажу теперь тебѣ, какъ послѣ скажу Рѣчи Посполитой: Палій—это единственный человѣкъ, который могъ бы еще оживить упавшія силы нѣкогда славной и могучей республики польской...

— Э, szkoda!—грустно махнулъ на это старый Палій.—Не тамъ мій Ерусалимъ и не тамъ священный гробъ моего Спасителя... Десь-инде... Alibi...

Паткуль ничего не отвѣчалъ... „Да это необыкновенный старикъ—онъ и языкъ Гораціуса знаетъ“.

А между тѣмъ изъ-за крѣпостнаго вала слышались треньканья бандуры и горловой речитативъ-говорокъ:

...Буде паньскую тысячу убраную,
Аксамитомъ крытую,
Шовками пошитую—
Буде мовъ череду гнати,
У пень рубати,
Буде великимъ панамъ великій страхъ завдавати...

X

На новомъ, новозавоеванномъ сѣверѣ Россіи, гдѣ непосѣда-царь закладывалъ новую столицу и вмѣстѣ съ тѣмъ закладывалъ въ него всю свою крупную, исторически-цѣнную душу,—на сѣверѣ,—это, 1703-е отъ naroжденія Христа Спасителя, лѣто выдалось такое же, какъ и царь, невмѣрное: то не въ мѣру и не въ пору дожди и зябелы, то не въ пору и не въ мѣру бездождіе и засуха. Сначала, всю весну, лились съ неба дожди, словно бы твердь небесная прорвалась или изрѣшетилацъ и оттуда хляби небесныя и облачныя лились на промокшую до послѣдней нитки землю; а потомъ заколодило—ударили жары, настала сушь трескучая, пожгла до корня только-что оправившіеся и выпрямившіеся послѣ ливней хлѣба и всякую снѣдь, задымилось, зачатило удушливымъ чадомъ все поневское, олонекское, новгородское и бѣлозерское Полѣсье, горѣли и тлѣли лѣса, горѣла и тлѣла земля; клубы дыма выползали изъ глубокихъ торфяниковъ, окутывали корни и стволы деревьевъ, заволакивая стоящую въ воздухѣ дымною гарью. Птицы бросали гнѣзда и улетали изъ этого дымнаго парства. Люди ждали преставленія свѣта: это адъ чадить, это геенна огненная просовываетъ свои горячіе, дымные языки изъ-подъ грѣшной замли, адъ пожираетъ землю... „Оле, але прегрѣшеній нашихъ!“ стонуть старые грамотники, покачивая сѣдыми, глупыми головами, невѣдавшими, что невѣдѣніе-то и есть грѣхъ смертный, кара Божья... Сумрачный, заряженный

гнѣвомъ и своими думами ходить царь, съ страстною щемью въ сердцѣ, видя, какъ горятъ его дорогіе лѣса, его корабельные боты, его сила и надежда... „О! проклятое, бородастое, длиннополое невѣдѣніе! это ты палишь мои лѣса, сожигаешь мои корабли... А тамъ—въ голендерской да аглицкой землѣ—не горятъ боры великіе... А у меня—горятъ...”

Въ это время, въ одинъ изъ душныхъ, дымныхъ дней, песчанымъ берегомъ Бѣлаго озера, по направленію къ Крохину, медленно тащилась артель рабочихъ; въ рукахъ — у кого слега длинная, посохъ дорожный, у кого заступъ, видимо, порабатавшій вдоволь въ землѣ-матушкѣ; за плечами—у кого котомочка съ невещественными знаками бѣднаго одѣянія, либо старыя лапти, у кого—жалкіе лохмотья старой овчины въ память о томъ, что они изображали собой когда-то полушубокъ; но ногамъ—у того лапотки-отопочки, у другого—слон засохшей и потрескавшейся грязи... Жарынь страшная, безвоздушная, какая только можетъ быть на болотномъ сѣверѣ во время лѣсогорѣнія. Тихо въ сосѣднемъ, подернутомъ дымною пеленою лѣсѣ, тихо и на тихомъ Бѣлѣозерѣ, надъ поверхностью котораго тоже виситъ что-то дымное, бѣлесоватое. На небѣ стоитъ солнце безъ лучей, а все-таки марить, душить банною теплыню. Очумѣвшія отъ жару вороны сидятъ тихо на деревьяхъ, опутивъ отяжелѣвшія крылья и разинувъ рты—видно, что и птицѣ дышется тяжело.

За артелью плетется мальчуганъ, лѣтъ восьми не болѣе, съ огромнымъ лопухомъ на бѣлокурой головкѣ вмѣсто шапки. Хотя живые глаза мальчика съ любопытствомъ поглядываютъ на плавный полетъ бѣлобрюха мартына, скользившаго надъ поверхностью озера, однако, ноги у мальчика видимо, притомились. Всякій разъ, когда мартынь, дѣлая въ воздухѣ неожиданнныя пируэтъ, быстро падалъ на воду, вытягивая свои красныя ножки за добычей, мальчикъ невольно вскрикивалъ: „Ахъ! ишь ты!.. не пымаль... не пымаль“... И лицо мальчугана оживлялось.

— Ужъ и жарынь же, людюшки, вотъ, жарынь... ухъ-ма! — говорилъ шадроватый, рыбой мужикъ съ клочковатою бѣлой бородкой, распахивая пороть рубахи и обнажая коричневою грудь, которая было темнѣе его свѣтлой спутавшейся бородки.

Чово не жарынь! хушь блины пеки на солнышкѣ...

Баня... что и говорить!.. безъ вѣника баня.

— Это что, ребяташки! А вотъ упека, я вамъ скажу, такъ упека... въ кизилбашской землѣ! — отозвался сѣдой старикъ, видимо изъ ратныхъ людей, въ истоптанныхъ до онучь лаптяхъ.

А ты, поди, былъ тамотка?—отозвался шадроватый мужикъ..

Вывываль... Еще въ тѣ поры мы съ царемъ Петромъ Ликсѣичемъ Азонтъ городъ брали.

А далече эта земля отъ насъ будетъ?

Влизехонько... рукою подать, клюкой достать...

Ой ли, паря?

— Пра!.. У песьихъ-головъ...

— Что ты!.. песьи-головы... у кого?

— У людей... знамо, не у псовъ.

— Ври ты!

— Не вру... самъ видываль, какъ Азовъ градъ громили.

— А далече это, дядя?

— Да какъ вамъ сказать, ребятушки — три не тридевять земель, а безъ малова на краю свѣта — за Дономъ... Спервоначала это лежитъ наша земля-матушка, московская, святорусская, а за нашей-то землей украинная земля—это, стало быть, край земли россейской, какъ, къ при-мѣру, вонъ край земли, гдѣ земля съ небомъ сходится, а далѣ ужъ ни-чево нѣтъ.

— Что ты! на нѣтъ, сталоть, земля сошлась.. А песьи-жъ, чу, головы гдѣ?

— Далѣ... за Дономъ за самымъ... За украинными города лежитъ эта земля черкаская, а въ ней все черкаскіе люди живутъ... народъ черново-лошъ, чубатъ... на головѣ хвостъ...

— Хвостъ! на головѣ на самой?

— На головѣ, говорятъ тебѣ.

— А може коса... не хвостъ?

— Толкомъ тебѣ говорятъ... хвостъ, чубъ поихнему... Коса-то у бабы да у пона сзади живетъ, а это—спереди, отъ лба да за ухо, да на спину али на плечо...

— Ахъ ты, Господи! ну?

— Ну, черкасы это чубатые, голосисты гораздо, пѣсельники и гудцы знатные, говорятъ необычно, а по нашему, по-россейски, разумѣють маленько: скажешь это — „воды!“ — дастъ испить тебѣ, скажешь — „хлѣба!“ — хлѣбъ дастъ... А тамъ за черкасами донскіе казаки, а за донскими ка-заками татары да ноган, а за ногами кизилбаши, а за кизилбаши арапы—черны, что черти, а глазищи и зубы—бѣлы что у псовъ... А тамъ песьи-головы.

— А турки, дѣдушка? — вмѣшиваются въ разговоръ малецъ съ лопу-хомъ на головѣ, заинтересовавшійся розсказами стараго ратнаго че-ловѣка.

— Ахъ ты, „царска пигалица!“ — усмѣхнулся старый ратный маль-чику.—А гдѣ царской ялтынъ?... потерялъ небось?

— Нѣту... вотъ онъ, на гайтанѣ.

И мальчикъ, распахнувъ на груди рубашку, показалъ висѣвшій у него на шеѣ вмѣстѣ съ крестомъ „царскій ялтынъ“ — небольшую серебряную монетку.

— Ишь ты, царско жалованье—не величка кружавочка, а сила въ ей знатная, отъ самова царя, значить, — разсуждалъ старый ратникъ.— Камушекъ царъ пожаловаль, лычко, а все въ емъ сила—поди на!

— Все отъ Бога... никто какъ Богъ,—радоcтно говорилъ шадроватый мужикъ, съ любовью поглядывая на мальчика.

— Вѣcтимо отъ Бога, — подтверждалъ ратный.— Вотъ хушь бы съ турскими людьми, примѣромъ скажемъ, какъ мы Азовъ-отъ градъ добывали. Ужъ и натерпѣлись мы—не одинъ ковшъ слезъ пролили, не одинъ ковшъ и лиха, чу, выпили; а все Богъ на добро концы свелъ. Царь это самъ по Дону на галерахъ рати ведетъ—видимо-невидимо галеръ, а мы, пѣшая рать, берегомъ идемъ. Съ нами и черкаскіе казаки, что съ Запороговъ, и донскіе, съ Дону... Ужъ и житье привольное, я вамъ скажу, на этомъ самомъ Дону! Ни бояръ тамъ нѣтъ, ни князей, ни этой приказной строки—все вольные люди. А села у нихъ — станицами прозываются—какъ маковъ цвѣтъ цвѣтутъ: земли вдоволь, арбузовъ да дынь этихъ — въ вѣкъ не слопать. А тамъ далѣ, къ Азову-то граду, степь голая—ни души, только птица рѣетъ да звѣрь рыщетъ... Вотъ тутъ и натерпѣлись мы по горло: въ степи упека такая, что конь не выносить, падаетъ на ноги, а тебя-то и солнце палить, и комаръ этотъ да муха бьетъ—ну, ложись да и помирай безъ свѣчи-безъ савана, безъ попа-безъ ладону... А тамъ эта татарва проклятая гикаетъ да алакааетъ словно звѣрь лютой, да стрѣлой бьетъ... Ну, смертушка да и только... Ну, шли это мы, шли, маялись-маялись, а тамъ и до Азова дошли... Стоить Азовъ—укрѣпушка крѣпкая, водой обведенъ, валомъ обнесенъ, а тамъ стѣна каменная, а за стѣной еще стѣна, а супереди—еще двѣ укрѣпушки, двѣ каланчи высокихъ, бѣлокаменныхъ... Подошли, глядимъ — какъ ее, чорта, возьмешь! Вотъ и выходитъ самъ царь-отъ на берегъ, на коня садится, конь подъ нимъ что птица. — „Насылай, говорить, ребятушки, земляну стѣну до неба, до облака ходячаго“. — Стали мы это сыпать — гору на гору ставимъ, до неба добираемся. И не диво! не мало насъ было сыпальщиковъ: не одна, не двѣ тысячи, а двудвѣнадцатеро тысячъ рукъ работало,—вонъ оно и понимай!—двудвѣнадцатеро тысячъ, братьеньки вы мои!

— Ну-ну-ну! — качалъ головой шадроватый мужикъ:—сила не махонька...

— Чево больше! прорва!

— До Вожья оконца, поди, добраться можно?

— Гдѣ не добраться! какъ пить дать...

— Такъ-гу, братьеньки вы мои, — продолжалъ ратный:—насыпали мы эту Арарать-гору, а на Арарать-гору пушачки всталили — и ну жарить! Жарили мы ихъ жарили, дымили, братецъ ты мой, дымили, ннда свѣтло небушко помрачилось, ясно солнышко закатилось... А самъ-отъ царь отъ пушачки къ пушачкѣ похаживаетъ, зельемъ-порохомъ пушачки заряживаетъ—да бухъ, да бухъ, да бухъ! А тамъ загикали донскіе да черкаскіе казаки—напроломъ кинулись... И что-жъ бы вы думали! Насустрѣчу къ имъ выходитъ старенькой-престаренькой старичокъ, сѣденькой-пресѣденькой, что твоя куделя бѣлая, и несетъ это въ рукахъ Миколу-чудотворца. „Стоя!—

говорить, братцы! Видишь, кто это?“— „Видимъ,—говорять казаки, шапки сьмаючи:—Микола-угодникъ“... Ну, знамо, икона—крестуются, цѣлуютъ угодничка... А старичокъ-отъ и говорить: „Видите, гыть, братцы, что у ево, у угодничка-то, на ликѣ?“— „Видимъ, говорятъ,—брада чесная“.— „То-то же, говорить, — а царь-отъ вашъ хочеть попамъ да чернецамъ бороды обрить... Такъ не взять ему, говорить, Азова-града: подите и скажите это царю“. Воротились это казаки, говорить царю: такъ и такъ—самъ-де Микола-угодникъ выходилъ насустрѣчу имъ, не велѣлъ брать города... А царь-отъ какъ осерчаетъ на ихъ, какъ закричить, какъ затопаетъ ногами. „А! говорить: сакіе-такіе, безмозглые! Не Микола то угодникъ выходилъ, а старый песь раскольничій, что ушолъ отъ меня съ Москвы, къ туркамъ убежъ, свою козлиную бороду спасаючи... А коли, говорить, онъ Миколой стращаетъ, такъ я супротивъ Миколы, говорить, Ягорья храбраго пошло: ево-де Ягорьина дѣло ратное, а Миколино, гыть, дѣло церковное—такъ Миколѣ, гыть, супротивъ Ягорья не устоятъ“...

— Гдѣ устоятъ!—подтверждаетъ шадроватый мужикъ.

— Не устоятъ—ни въ жистъ не устоятъ,—соглашаются и другіе мужики.

— И не устоялъ,—заключаетъ ратный, торжественно оглядывая слушателей.—Все отъ Бога.

— Это точно, что и говорить!

— А песьи-головы, дядя, что сказывалъ ты,—любопытствуетъ долговязый парень.

— Что песьи-головы?

— Да какіе они? Видалъ ты ихъ?

— Какъ не видать—видывалъ.

— И близко, дядя?

— Нѣ—ни-ни! близко не подпущаютъ аспиды... Ужъ и шибко-жъ бѣгаютъ—такъ бѣгаютъ идола, что и собакой не догнать... А поди ты, объ одной ногѣ...

— Что ты! объ одной?

— Объ одной.

— Ахъ, онъ окаянный! Какъ же онъ, сучій сынъ, бѣгаетъ объ одной-то ногѣ?

— А во какъ. Въ тѣ поры какъ Христосъ народился и въ яслѣхъ лежалъ, прослышали объ этомъ цари и бояре, жида и пастухи и весь міръ,—ну, и пришли Христу поклониться, да не токмо люди, а и птицы и звѣри. И прослышь про то Иродъ царь-жидовинъ, что вотъ-де новый царь народился, и будетъ-де этотъ самый царь царствовать и на землѣ, и на небѣ. Ну, и распалился Иродъ-царь гнѣвомъ и говорить своимъ Иродовымъ слугамъ: „Подите, гыть, вы, Иродовы слуги, скрадите младенца Христа и принесите ко мнѣ!“— „Какъ же мы, ваше царское величество,—говорять Иродовы слуги,—скрадемъ ево, коли тамъ у ево стражъ стоитъ андѣлъ съ огненнымъ мечемъ? Онъ-де насъ огнемъ и мечомъ по-

сѣчетъ и спалить“. — А Иродъ-царь и говорить: „Къ ему-де, гыть, къ младенцу Христу, не токмо люди на поклоненіе идуть, а и звѣри и птицы. Такъ вы, гыть, слуги мои Иродовы, надѣньте на себя шкуры собачьи съ собачьими головами и подите якобы поклониться младенцу со звѣрьемъ со всякимъ—и скрадите ево“. Ну, ладно: сказано-сдѣлано. Надѣли на себя Иродовы слуги шкуры собачьи съ собачьими, съ песьими, значить, головами, и пошли. Входятъ да прямо къ яслямъ. Только что, братецъ ты мой, руки они, Иродовы слуги, протянули, чтобы, значить, скрасть младенца, какъ анѣдель хватъ ихъ по плечу огненнымъ мечомъ, да такъ, братецъ ты мой, ловко хватилъ, что отъ плеча-то самото наскрость и проруби, до самота естества, сказать-бы... Такъ половина-то тѣла съ рукой съ ногой такъ и осталась тутъ на мѣстѣ, у самыхъ яслей, а они-то, Иродовы слуги, сѣпившись другъ съ дружкой, рука съ рукой, нога съ ногой, и ускакали на двухъ ногахъ, по одной у каждаго. Ну, съ тѣхъ поръ, братецъ ты мой, такъ и скачутъ они, Иродовы слуги: коли онъ тихо идетъ, такъ на одной ногѣ скачетъ, а коли ему нужно на-утекъ, такъ заразъ въ спѣлку другъ съ дружкой—и тутъ ужъ ихъ самъ чортъ не пымаеть... А головы-то собачьи такъ и приросли у ихъ къ плечамъ—съ той поры и живутъ песьи-головы...

— Крохино, батя, Крохино!—закричалъ радостно мальчикъ, котораго ратный „царской пигалицей“ называлъ.

Изъ-за дымчатой синевы, вдоль берега озера, неясно вырисовалось что-то похожее на бѣдныя избушки, разбросанныя въ беспорядкѣ по низкому склону побережья. Только привычный глазъ человѣка, родившагося тутъ и выросшаго среди этой непривѣтливой природы, да сердце ребенка, востосковавшагося по роднымъ мѣстамъ, могли различить неясныя очертанія бѣдныхъ, черныхъ, кое-какъ и кой-изъ чего сколоченныхъ лачужекъ.

— Да, Крохино, — отвѣчалъ шадроватый мужикъ, и перекрестился. Перекрестились и другіе артельные.

— Шутка—сотъ семь-восемь, поди, верстъ отломали.

— Добро, что живы остались, — замѣтилъ ратный.—А мы вотъ съ царемъ да съ Шереметьевымъ бояриномъ и тысячи отламывали, а ужъ который живъ оставался, кого въ полѣ да въ болотѣ бросали, которыхъ въ баталіяхъ теряли—про то и не пытали.

Въ это время впередъ показался маленькій, едва замѣтный отъ земли человѣчекъ, который несъ что-то за плечами. По мѣрѣ приближенія этого человѣка къ артели, можно было распознать, что то шелъ мальчикъ съ кузовомъ на спинѣ.

— Мотя! это Мотья идетъ! — кричалъ мальчикъ съ лоухомъ на головѣ.

— А точно онъ, пострѣленокъ, — подтверждалъ и шадроватый мужикъ, приглядываясь къ тому, что шло имъ навстрѣчу.—Куда это онъ, песенокъ, путь держать?

— Къ намъ, батя.

— А что у ево, у псеёнка, за плечами?

— Кошель на грибы.

Мальчикъ въ лопухѣ не выдержалъ и побѣжалъ навстрѣчу мальчику съ кузовомъ.— „Мотя! Мотыка! Мотышка!“— „А! Симушка! А бытъка гдѣ?“

Мальчики остановились другъ противъ друга, разставивъ руки. Мотыка положилъ на землю кузовъ, въ которомъ что-то ворочалось и согбѣло, силясь просунуть мордочку между скважинъ плетешка.

— Что это тамъ у тебя?—съ удивленіемъ спрашиваетъ Симка.

— Мишутка махонькой... Съ дѣдомъ пымали ево... Несу въ городъ за хлѣбъ показывать,—скороговоркой отвѣчаетъ Мотыка.—У насъ ѣсть нечего, все вышло—и мякина и ухвостья, такъ иду съ Мишуткой хлѣбца добывать.

Мотыка, поставивъ кузовъ на землю, развязалъ мочалко, прикрѣпившее плетеную крышку къ кузову, и оттуда высунулась косматая лапка, а потомъ и острая мордочка маленькаго медвѣжонка. Мишутка усиленно моргалъ своими невинными, дѣтски-довѣрчивыми, какъ у ребенка, глазками, карабкаясь изъ кузова и опрокидывая его.

— Ахъ, какой махонькой!—съ восторгомъ суетился около него Симка.

— Ай да звѣрина!.. ха-ха-ха! Вотъ карапузина!

— Фу ты—ну ты, боярченокъ какой!

— Ужъ и точно боярченокъ..

— Нѣ—черноризецъ младшенекъ,—замѣтилъ ратный, подходя къ медвѣжонку:—а вырастетъ въ игумна—давить нашего брата станетъ.

Артель обступила медвѣжонка и забавлялась имъ. А звѣренышъ, глушій еще по звѣриному, довѣрчивый къ человѣку, обласпалъ Симку и ну съ нимъ бороться. Симка сразу, съ человѣческимъ лукавствомъ, подставилъ довѣрчивому звѣренышу подножку, и звѣренышъ растянулся при общемъ хохотѣ артели.

— Ай да Симка! звѣря сломалъ.

— Глушъ звѣрь—честень, на чистоту, а Симка-то ужъ съ хитрецей парень.

Медвѣженокъ снова лѣзъ на Симку, ожидая честнаго боя; но Симка опять сдукавилъ по человѣчески—увильнулъ, и Мишутка съ своей звѣриной честностью опять не потрафилъ.

— Что, Мотюшка, дома у насъ?—ласково спрашивалъ шадроватый мужикъ, глядя бѣлокурую голову Мотыки.

— Хлѣбушка нѣту,—отвѣчалъ мальчикъ.

— А мякина?

— Вышла, и ухвостье вышло... Мамка съ голоду пухнеть....

— Ахти-хти, горе какое... А отецъ екимонъ?

— Лихъ, у-у какъ лихъ! Телку взять на монастырь за лѣтошню соль.

Бѣдная горечь и какая-то робкая, покорная безнадежность отразились на лицѣ мужика при послѣднихъ словахъ мальчика.

— А этого гдѣ добылъ?—спросилъ онъ, указывая на медвѣжонка.

— Съ дѣдомъ въ лѣсу пымали — у бортей, — радостно отвѣчалъ мальчикъ.

— А медвѣдица?

— Мы не видали ее и она насъ не видала... Мы какъ взяли его, такъ обѣгомъ домой...

— То-то, счастливъ вашъ Богъ... А куда ты его несешь?

— Въ городъ, батя—хлѣба мамкѣ да дѣду добыть...

Мужикъ поморщился—не то хотѣлъ улыбнуться, не то заплакать, а скорѣе и то и другое вмѣстѣ.

— Нѣтъ ужъ, сынокъ, пойдемъ домой—я достану хлѣба.

Медвѣжонка, несмотря на его сопротивленіе, снова посадили въ кузовъ, и артель двинулась къ поселку.

Поселокъ Крохино былъ безпорядочно раскинутъ на берегу озера и глядѣлъ чѣмъ-то не то недоделаннымъ, не то разрушеннымъ. Да почти оно такъ и было. Сначала поселокъ былъ вотчиною боярскою, а потомъ сталъ монастырскою, когда послѣдній владѣлецъ Крохина съ сосѣдними пустошами, рыбными ловлями на Бѣлѣозерѣ и иными угодьями, поживъ въ свою волю, уморивъ трехъ законныхъ и семерыхъ незаконныхъ женъ, которыя потомъ поочередно являлись къ нему во снѣ—иная съ пробитымъ до мозга черепомъ, другая—съ вырванною вмѣстѣ съ мясомъ косою, третья съ переломленными ребрами и тому подобное,—засѣкши до смерти дюжины двѣ людшекъ и холопишекъ, разоривши до тла пять другихъ вотчинъ съ ихъ людшками, женишками, дѣтишками и животинками и допившись до того, что у него на носу бѣси въ сонѣли играли и въ бубны били, — это-то чадушко, передъ смертію, поминаючи грѣхи свои, и отписало свои вотчины разнымъ монастырямъ, дабы они, монастыри, служили по немъ, по бояринѣ Юрьѣ, панихиду вѣчную—вплоть до самой трубы архангела, когда та труба призоветъ его, боярина Юрья, на страшный судъ. Но ни въ боярскихъ рукахъ, ни въ монастырскихъ крохинцамъ не было житья окромѣ собачьяго. Бояринъ лютовалъ надъ ними и разорялъ ихъ; старцы монастырскіе сосали изъ нихъ кровь по каплѣ, разоряли поборами, морили на каждадневной работѣ—на ловлѣ рыбы въ пользу братьи и монастырской казны, на рубкѣ, возкѣ и пилкѣ лѣсу, на колѣхъ льду, на собираніи грибовъ и ягодъ, даже на ловлѣ бѣлока, до шкурокъ которыхъ былъ такой охотникъ „отецъ екимонъ“—экономъ монастырскій, любившій и спать на бѣличьей постели, и укрываться бѣличьимъ одѣяломъ, и рясу и штаны носить бѣличьи, и сапоги опушать бѣлкою. Не хуже боярина умѣли и святые отцы лютовать. Лютованье это еще болѣе усилилось съ тѣхъ поръ, какъ молодой царь Петръ Алексѣевичъ, возлюбивъ море и войдя во вкусъ всякихъ баталій и викторій, возложилъ на государственную спину такія великія тяготы, отъ которыхъ, если не лопнулъ російскій государственный хребетъ, такъ благодаря лишь слоновой выносливости и без-

позвоночной податливости російскаго позвоночнаго столба: вся Россія была раздѣлена на „купы“, а изъ „купъ“ сгруппированы „кумпанства“ духовныя, свѣтскія и гостинныя—для постройки кораблей, и къ этой тяжелой барщинѣ привлечена была вся русская земля—кто давалъ деньги, кто дѣлъ, кто рабочихъ и топоры для стройки, а кто и то, и другое, и третье вмѣстѣ; князи и бояре, митрополиты, гостинныя и инныя сотни, а наипаче „хрестыанство“, „подлый народъ“, мужики, все отбывало кораблестроительную барщину. А тамъ рекрутскіе наборы по нѣскольку разъ въ годъ, стоны рабочихъ со всѣхъ концовъ для государевыхъ крѣпостныхъ и иныхъ работъ, насильственные выселенія лучшихъ семействъ въ излюбленныя царемъ мѣста—все это проносилось надъ-страною въ видѣ ежегодныхъ административныхъ эпидемій и изнуряло страну до государственной чахоточности.

Вотъ почему лютовалъ „отецъ-екимонъ“ надъ крохинцами, таская съ ихъ дворовъ за рога послѣднихъ телокъ, выжимая сокъ и изъ спины и изъ топора мужичьяго... „Оскудѣ житница господня даже до нищеты“, плакался „отецъ-екимонъ“ на государственныя тягости и тащилъ въ эту житницу и послѣднюю мужичью телку, и послѣдній снопъ овса, и заячью шкурку, и послѣдній тузюкъ мужичьяго медку...

Да, не красна жизнь въ Крохинѣ. Глядитъ оно такъ, словно послѣ черной немочи: мужиковъ почти не видать—всѣ въ разгонѣ: кто на корабельной стройкѣ въ Воронежѣ, кто у Шереметева въ войскѣ, кто на олонекскихъ заводахъ, кто на крѣпостныхъ работахъ, кто въ бѣгахъ—почти вся Россія обратилась въ бѣглое государство...

У крайней крохинской избы съ прогнившею крышею, съ покосившимися боками, стоятъ баба въ жалкомъ одѣяніи и набожно крестится, вглядываясь въ приближающуюся артель рабочихъ. Въ воротахъ стоитъ ветхій старикъ, переминаясь на своихъ исхудалыхъ босыхъ ногахъ...

— Никакъ нашихъ Богъ несетъ,—шепчетъ онъ недоувѣрчиво.

— Упаси... помилуй... вотъ тѣ хрестъ,—безмысленно молится баба.

— Симушка, кажись, и Мотюнька съ Мишуткой, а гдѣ-жъ Сысой?

— Охъ хрестъ, охъ хрестушка батюшка... помилуй...

Симка, увидавъ мать и дѣда, стремглавъ летитъ къ нимъ. Мать такъ и присѣла не то отъ радости, не то отъ испуга... Нѣтъ, такія страдальческія лица не умѣютъ выражать радости—они разъ застыли на испугѣ и боязни, да такъ ужъ и отделились навсегда въ испуганную, такъ-сказать, форму.

— Мотри, мамка, мотри! — радостно бросается къ матери Симка, распахивая рубашку на груди.

Мать припала блѣднымъ, остеклѣвшимъ отъ долгаго голоданья лицомъ къ лопуху, прикрывавшему бѣлокурую голову сына, и дрожить.

— Мотри-ко, на гайтанъ!—настаиваетъ Симка.

— Что... что, родной?

— Ялтынъ царской.

— Охъ, Господи!

комъ разомъ и на югѣ, и на сѣверѣ, на востокѣ и на западѣ, чтобъ пробыть въ московской, болѣе неподатливой чѣмъ китайская, стѣнѣ международныя продушины, вырвавъ у турокъ клочъ южныхъ морей, а у шведовъ клочъ сѣверныхъ, заложивъ себѣ новую столицу у новаго моря, чтобы развязаться съ постылою, опалѣлою отъ долгаго сна Москвою, переболѣвъ въ то же время своею сурою душою и несутерпчивымъ сердцемъ о томъ, что онъ неожиданно-негаданно открылъ въ проклятомъ карманѣ проклятаго Кенигсека, — царь, по возвращеніи, лѣтомъ 1703 года, изъ вновь заложеннаго „Питербурха“ въ Москву, чувствовалъ необходимость въ отдыхѣ, въ развлеченіи, не забывъ въ то же время послать Мазепѣ бочонокъ ягоды-моршки, выросшей въ „новомъ парадизѣ“, и отправить куда-то на Бѣлоозеро за какимъ-то мальчишкой Симкой гонца „по нарочито важному дѣлу...“

И вотъ царь развлекается, отдыхаетъ. Онъ сидитъ въ своемъ рабочемъ кабинетѣ, заваленномъ бумагами, книгами, ландкартами, чертежами, заставленномъ глобусами, моделями кораблей и машинъ, образцами всевозможныхъ рудъ, камней и почвы, и бѣгло набрасываетъ на бумагѣ новый костюмъ для „всешутѣйшаго патріарха князь-папы“ къ предстоящему всешутѣйшему, всепьянѣйшему и сумасброднѣйшему всероссійскому собору. А Меншиковъ, сидя противъ него, тихо читалъ что-то по складамъ, съ трудомъ разбирая написанное.

— Это ты Мазенино доношеніе по складамъ твердишь, Алексаша? — не глядя на него, спросилъ царь.

— Нѣту, государь, прожектъ кондиціи съ поляками насчетъ полковника Палія... Черничокъ прочитываю, государь.

— А... а ну, чтѣ велухъ...

Меншиковъ началъ читать, спотыкаясь на каждомъ словѣ: „Понеже его королевское величество“...

— Какой артикулъ? — перебилъ его царь.

— Четвертый, государь.

— Ну, чтѣ, да не спотыкайся.

— „Понеже его королевское величество и свѣтлая Рѣчь Посполитая, по причинѣ нынѣшнихъ обстоятельствъ, сами противъ непослушнаго своего подданнаго, Палія, права изобрѣсти никакъ не могутъ, потому отъ его царскаго величества, какъ друга, сосѣда и сильнаго союзника...“

— Знай нашихъ, Алексаша! — снова перебилъ царь. — Вотъ мы и сильные стали...

— Точно, государь, — могущественъ ты...

— Ну, скандуй дальше.

— ...и сильнаго союзника въ таковомъ дѣлѣ просили вспоможенія (продолжалъ нарастѣвъ Меншиковъ). И такъ, по силѣ онаго союза, его царское величество принимаетъ то на себя, что Палій, добрымъ-ли, или худымъ способомъ, принужденъ будетъ области, крѣпости и города...”

При послѣднихъ словахъ Петръ поднялъ свою львиную голову, и лицо его нервно дернулось.

— Постои, Алесаша... Похеръ слово „области“ — будетъ съ нихъ крѣпостей и городовъ... Поляки и съ своими областями не умѣютъ управиться, а ужъ объ этихъ бабушка на-двое сказала,—пояснилъ онъ, какъ-то странно улыбаясь.

Меншиковъ, взявъ перо, похерилъ слово „области“, да такъ усердно, что продралъ бумагу.

— Ну, кончай—пора и за дѣло...

— ...„крѣпости и города, взятые во время бывшихъ недавно въ Украинѣ замѣшательства, возвратить, и оныя его королевскому величеству и Рѣчи Посполитой безъ всякихъ претензій, какъ наискорѣе быть можетъ, а по крайней мѣрѣ до предыдущей кампаніи, отдать, обѣщая Палію вѣчное забвеніе, если насильно захваченныя въ оныхъ замѣшательствахъ крѣпости добровольно отданы будутъ“.

— Зеръ гутъ...

Въ дверяхъ показалось молодое женское лицо и тотчасъ же спряталось. Меншиковъ покраснѣлъ.

— Кто тамъ?—спросилъ царь.

— Дѣвка Дарья, — отвѣчалъ Меншиковъ, усиленно шурша бумагами.

— Это ты, Дарьюшка?—крикнулъ Петръ.

— Я, государь, — отвѣчалъ звонкій голосъ, — Дарья глупая.

— Что ты, Дарьюшка?.. Что Марѳуша?

— Марта Самойловна въ здравіи обрѣтается, — отвѣчала, входя въ кабинетъ, кланаясь и краснѣя, дѣвушка.

Это была дворская „дѣвка“ фрейлина Дарья Арсеньева.

— Не скучаетъ Марѳуша?—спросилъ царь ласково.

— По тебѣ скучаетъ, государь... Спрашиваетъ, въ какомъ платьѣ укажешь ей быть на соборѣ—въ московскомъ или нѣмецкомъ?

— Въ нѣмецкомъ всенаинепремѣннѣйше.

Дѣвушка поклонилась и вышла, скользнувъ свѣтомъ глазъ по лицу и по глазамъ Меншикова.

Энергическія приготовленія къ „всешутѣйшему и всепьянѣйшему собору“ были кончены къ этому дню. Хотя „всешутѣйшій и всепьянѣйшій патріархъ князь-папа“, какимъ считался бывшій учитель молодого царя, Никита Моисеевичъ Зотовъ, обрѣтался въ полномъ здравіи и пьянственномъ ожирѣніи, однако, по случаю закладки новой столицы и перенесеніи русскаго трона къ устьямъ Невы, царь желалъ ради собственнаго развлеченія и потѣхи, а также въ видахъ осмѣянія въ глазахъ народа нѣкоторыхъ застарѣлыхъ московскихъ предразсудковъ, переизбрать „всешутѣйшаго и всепьянѣйшаго патріарха князь-папу“, пополнивъ титулъ его прибавкою эпитета „питербургскій“.

Необыкновенная всешутѣйшая процессія, проходя Кремлемъ, поравнялась съ царскими дворцами.

Впередѣ идетъ князь-папа въ блестящемъ шутовскомъ нарядѣ, ведомый подъ руки архиереями, князь-папиными кардиналами. Въ такомъ же необыкновенномъ видѣ двигаются за нимъ пестрые толпы освященнаго всешутѣйшаго собора—попы, пѣвчіе, шутовскіе архимандриты, суфраганы и прочій всешутѣйшій конклавъ. Но выше всѣхъ и величественнѣе всѣхъ красуется подъ яркимъ лѣтнимъ солнцемъ обрюзгшій и отекашій отъ пьянства, перевитый хмѣлемъ и виноградными листьями, искусно сдѣланный истуканъ Бахуса, несомый „монахами великой пьянственной обители“.

За всешутѣйшимъ соборомъ медленно двигаются толпы музыкантовъ. Неистовый кошачій концертъ всевозможныхъ нестройныхъ музыкальных и антимзыкальных инструментовъ—мѣдныхъ тарелокъ, чугуновыхъ сковородъ и горшковъ, мѣдныхъ тазовъ, трещетокъ, дикихъ свистковъ, дудокъ и всякихъ визжащихъ и скрипящихъ инструментовъ, такихъ, отъ которыхъ нервный человѣкъ съ ума сойти можетъ, а музыкальное ухо навѣки испортиться, лопнуть, оглохнуть.

А тутъ еще звонъ колоколовъ всѣхъ московскихъ церквей, такой звонъ, на который способны только пьяные, нарочно напоенные по приказанію царя звонари московскіе, способные въ моглу уложить своимъ звономъ всякаго немосквича, всякаго, съ дѣтства не привыкшаго къ этому колокольному кнутуванію, оглушенію и задушенію... Звонятъ, гудутъ, орутъ разомъ всѣ колокола, и нарочно нестройно, дико, набатно, въ перебой, перекрестно, такъ что страшно становится отъ этого звону, до того страшно, что одинъ любскій нѣмецъ отъ этого звону повѣсился...

А тутъ еще вся опоенная въ царскихъ кабакахъ на даровщину и охрипшая Москва оретъ, вопитъ дико, неистово, слѣдуя за процессіей и бросая вверхъ, въ зараженный пьянымъ дыханіемъ воздухъ, шапки, шляпы, рукавицы и лапти...

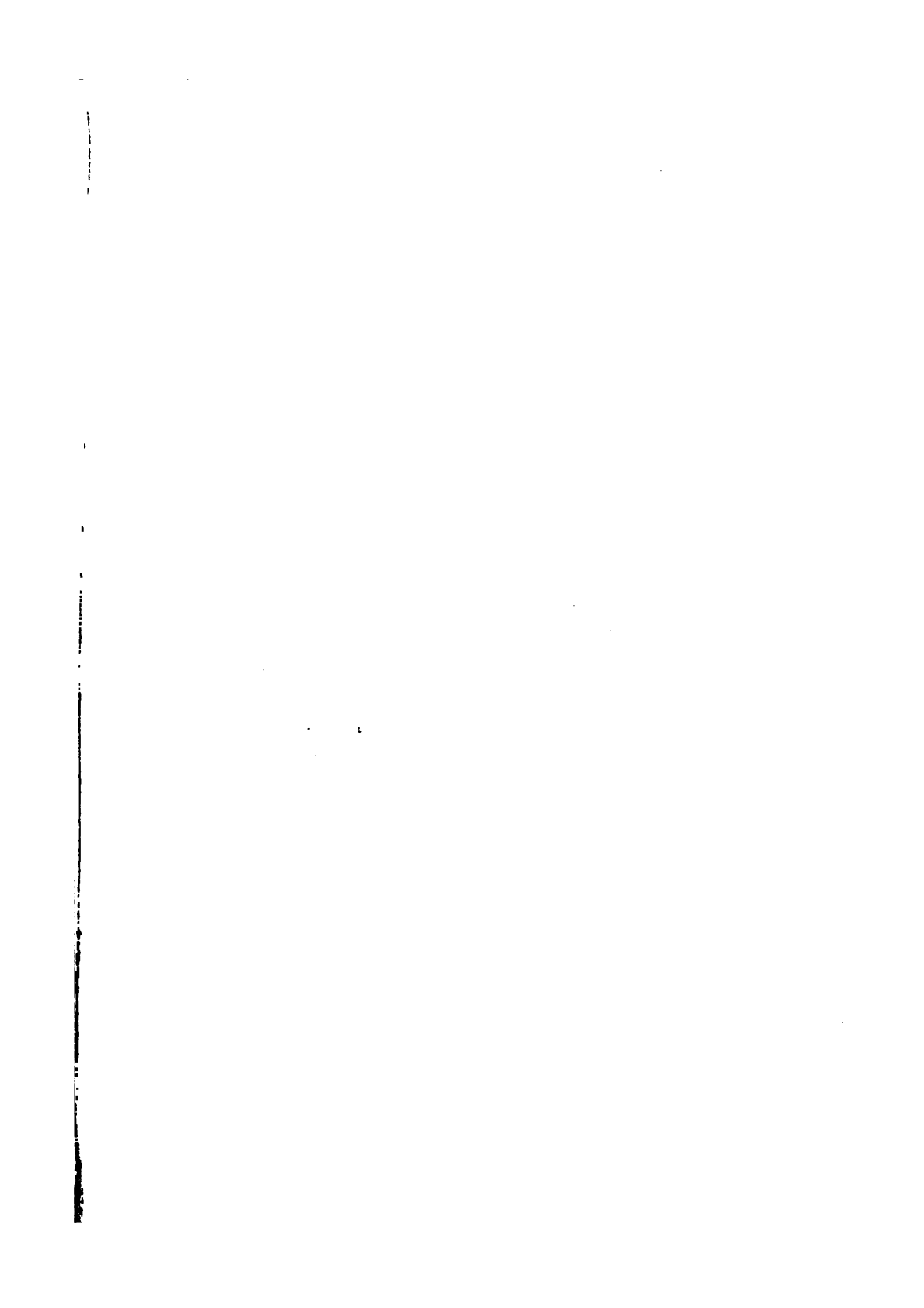
Царь смотреть на все это изъ оконъ дворца—и смотреть хмуро, не весело... Вспоминается ему улица въ Саардамѣ—улица, запруженная мальчишками, и мальчишки бросаютъ въ него, въ царя могучей страны, грязью... А все же тогда легче было на душѣ, свѣтлѣе впереди... Тогда была молодость, а теперь—старость, дряхлость... скоро тридцать два года исполнится... старость-то какая!.. Да, старость души, дряхлость сердца... Только у царей старость начинается съ двадцати лѣтъ... Ничто не радуетъ... любить некого и нечего... желать нечего!... это всего ужаснѣе! Вонъ и нѣмка Анна Монцова тогда любила, и онъ ее любилъ... охъ, какъ хорошо любилось тогда!.. А теперь—все одряхлѣло, и Анна измѣнила старику... Все старѣется... Вонъ и орелъ двуглавый словно бы отъ старости крылья опускаетъ... А Питербурхъ... А Марта... Мареуша...

„Нѣтъ! вонъ отсюда!.. на Неву—въ море, гдѣ воды много, гдѣ свѣту больше... Воды, воды... моря!.. воды больше! свѣту больше, а то я здѣсь залохнусь“...

конецъ первой части.

31 51037 005 2
90 53 23

1166



|

|

|

|

|

—

—

—

—

—

Stanford University Libraries



3 6105 015 016 558

DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

